

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ

А.А. КАРА-МУРЗА

**ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ
ПО РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ,
ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ**

Издательство «Согласие»
Москва
2024

УДК 1(091)
ББК 87.3(2)
К 21

Рецензенты:

О. А. Жукова,

доктор философских наук, профессор
(НИУ «Высшая школа экономики»)

М.М. Федорова,

доктор политических наук (Институт философии РАН)

В оформлении обложки использована картина
К.Ф. Юона «Московский университет», 1911
(находится в общественном достоянии).

К 21 **Кара-Мурза, А.А.**

Избранные работы по русской философии, политике и культуре. – М.:
ООО «Издательство «Согласие», 2024. – 728 с.

ISBN 978-5-907616-45-5

Издание представляет собой сборник избранных работ известного российского философа, историка и политолога А.А. Кара-Мурзы (р. в 1956 г.), главного научного сотрудника Института философии РАН и руководителя сектора философии российской истории ИФ РАН; заведующего кафедрой политологии Государственного академического университета гуманитарных наук. Книга состоит из пяти проблемных разделов, соответствующих научным интересам автора: «Наброски автобиографии», «Вопросы методологии», «Россия в поисках цивилизационной идентичности», «Философия истории», «Философское краеведение».

Издание адресовано специалистам в области истории русской философской и политической мысли, студентам и аспирантам – широкому кругу читателей, интересующихся русской историей и культурой.

УДК 1(091)
ББК 87.3(2)

ISBN 978-5-907616-45-5

© А. А. Кара-Мурза, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	7
-------------------	---

Раздел первый НАБРОСКИ АВТОБИОГРАФИИ

О нашем поколении	17
-------------------------	----

Раздел второй ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ

Между философской критикой и идеологической апологетикой (об уровнях бытования человеческих идей)	35
Философия в России и русская философская публицистика	40
Некоторые вопросы генезиса и типологии русского либерализма	46
Испытание философией. Философия в императорской России перед «великими реформами» 1860-х гг.	56
Как идеи превращаются в идеологии: российский контекст	67

Раздел третий РОССИЯ В ПОИСКАХ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

История цивилизации в России: органическое развитие <i>versus</i> социальный конструктивизм	93
Российский путь цивилизационного развития: преемственность через катастрофы (памяти В.М. Межуева)	105
У истоков «русского северянства»: споры о Ломоносове (конец XVIII — начало XIX вв.: Муравьев, Карамзин, Батюшков)	117
У истоков «русского северянства»: споры о Ломоносове (первая треть XIX в.: Мерзляков, Грибоедов, Бестужев-Марлинский) ...	126

Россия как «север». Метаморфозы национальной идентичности в XVIII–XIX вв.: Г.Р. Державин	141
Улыбышев и Пушкин о «дурном синтезе цивилизаций» («Азиопа» в свете «Зеленой лампы», 1819–1820)	154
«Всемирная отзывчивость» или «русский европеизм»? (Владимир Вейдле о творчестве Пушкина)	167
«Русское северянство» князей Вяземских (к вопросу о национальной идентичности)	175
«Русское северянство» Николая Тургенева (молодые годы)	187
«Северная» идентичность России как предмет цивилизационной самокритики (от Петра Чаадаева до Василия Шульгина)	196
Лев Карсавин о религиозном смысле большевизма и русской революции	208
Восточная теократия на севере Евразии: «пути России» в историософии И.И. Бунакова-Фондаминского.	220
Поэт-философ Иван Ореус-Коневской — культовая фигура «русского северянства» серебряного века	237
Россия как «север»: проблемы цивилизационной идентичности в философии Бориса Пастернака (к 130-летию со дня рождения)	250
Цивилизационная оппозиция «север–юг» в философско-литературном творчестве Осипа Мандельштама (к 130-летию со дня рождения)	263
Проблема «Россия и Европа» в эмигрантских трудах Владимира Васильевича Вейдле (1895–1979)	274

Раздел четвертый ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ

Русские посланцы Петра I у мощей св. Николая в Бар-граде (1697–1698 гг.)	291
Загадка «Великой особы». Европейские странствия князя Петра Алексеевича Голицына (1697–1699 гг.)	305
Карамзин, Шаден и Геллерт. К истокам либерально-консервативного дискурса Н.М. Карамзина	315

«Политическая свобода» <i>versus</i> «свобода от политики»: европейские странствия Карамзина как прототип русских поисков общественного идеала	324
Поэма «Медный всадник» А.С. Пушкина: политико-философские проекции	339
А.И. Герцен в доме князей Голицыных на Волхонке. Следствие и суд по делу «О лицах, певших в Москве пасквильные песни» (1834–1835 гг.)	352
И.С. Тургенев как политический мыслитель (к 200-летию со дня рождения)	366
П.Б. Струве и развитие им концепции «личной годности»	385
Критика революционного сознания в работах Семена Людвиговича Франка (к 140-летию со дня рождения)	420
Проблема «свободы» в интеллектуальном творчестве Г.П. Федотова ...	439
«История» и «исторический случай» в социальной концепции русского большевизма В.И. Талина.	452
Василий Алексеевич Маклаков — один из основателей «политической альтернативистики»	463
«Вождистская» субкультура в России в поисках исторических альтернатив (В.В. Шульгин)	469
«Культура» против «политики» (историософские размышления Бориса Константиновича Зайцева)	483

Раздел пятый ФИЛОСОФСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

Швейцарские странствия Николая Карамзина (1789–1790)	505
Итальянское путешествие Петра Чаадаева (1824–1825)	560
Перерождение души: Иван Тургенев в Риме в 1840 г.	600
Холодный март 1857-го года (о короткой поездке Ивана Тургенева и Льва Толстого в Дижон весной 1857 г.)	611
Сорренто Владимира Соловьева	622
Чехов и Данте (к истории итальянских путешествий А.П. Чехова)	648

Избранные работы
по русской философии, политике и культуре

Венеция Леонида Пастернака (1904)	656
Остров Капри Ивана Бунина	664
Бердяевская Москва	681
Москва «до» и «после» революции: социология родного города в сочинениях Федора Степуна	694
Флоренция Владимира Вейдле	715
Примечания	722
Сведения об авторе	727

ПРЕДИСЛОВИЕ

Перед читателем — сборник работ, написанных автором в последние десять лет. Большинство текстов — ранее опубликованные статьи; меньшая часть — доклады, сверенные по стенограммам. И у всех есть, как мне кажется, общая особенность: они, как правило, написаны по очень локальному поводу, конкретны в своих выводах и созданы в общем исследовательском ключе, который я для себя называю *попыткой приоткрытия «маленькой правды»*.

Принципиальную разницу между *полуправдой*, пусть даже большой и внешне солидной, и *маленькой правдой* (пускай мизерной, но всё-таки правдой), открыл мне в студенческие годы, совсем юному, мой научный наставник, профессор-историк, а сейчас академик, Аполлон Борисович Давидсон. Сегодня я очень хорошо понимаю, как он со мною, зеленым, но упрямо-амбициозным, тогда намаялся.

Еще в школьные годы, я, с детства мечтавший стать, как и отец, профессиональным историком, странным образом одновременно тяготел не столько к фактографии, сколько к *умозрению* — здесь, как я сейчас понимаю, до поры затаилось серьезное противоречие. Когда всякое лето, после старших классов французской спецшколы, я, по протекции отца (имевшего много знакомых среди выпускников истфака), работал в южных археологических экспедициях, старшие товарищи, уже студенты, а некоторые и аспиранты-историки, почему-то прозвали меня *философом* — и в этом, я заметил, было больше искреннего удивления, чем высокомерной снисходительности к малолетке. Природу спонтанного, но, как оказалось, очень точного определения моей юношеской «повадки» я начал понимать спустя годы — вот уже более сорока лет я, историк по первому образованию, работаю в академическом Институте философии. Об обстоятельствах этой философской метаморфозы аспиранта-историка можно прочитать в *первом разделе* настоящего сборника «*Наброски автобиографии*».

Разумеется, все эти годы, проведенные в родном институте, я был активно вовлечен в обсуждение общетеоретических проблем. Так, одним из центральных проектов для научного направления «Социальная и политическая философия», находящегося под моим кураторством в Институте философии РАН вот уже 30 лет, явилось исследование *соотношения философии и идеологии* как форм общественного сознания. Важным импульсом для меня и моих товарищей по отделу стала серия научных докладов, где, конечно, выделяется ставшая уже «исторической» полемика между двумя нашими философскими

корифеями (и моими старшими коллегами и друзьями) Эрихом Юрьевичем Соловьевым и Вадимом Михайловичем Межуевым (увы, уже покойным)¹.

Мои принципиальные тексты на эту тему («Между философской критикой и идеологической апологетикой (об уровнях бытования человеческих идей)», «Как идеи превращаются в идеологии: российский контекст», «Философия в России и русская философская публицистика» и др.) читатель найдет **во втором разделе** книги «*Вопросы методологии*». Во всех этих работах в итоге формулируется конкретный результат — надеюсь, та самая «маленькая правда». Обосновывается, например, на материале истории отечественной мысли, *трехуровневость* бытования человеческих идей: идеи — идеологемы — идеологии. Или: предлагается алгоритм вырождения идей в идеологии — общий, как выясняется, что для социализма, что для национализма, что для либерализма. Или: доказывается, что философская публицистика (в первую очередь, в России) является не трансляцией, «разжижением» для внимающей публики уже готовой философии, а, напротив, способом *восхождения к философии* — за счет всё более отчетливой кристаллизации рождающихся в публицистике философских смыслов.

В **третьем разделе** «*Россия в поисках цивилизационной идентичности*» собраны тексты, написанные с позиций «цивилизационного подхода» к всемирной и отечественной истории, который я, историк-востоковед по первому образованию, исповедую со студенческой скамьи. К примеру, «Россию и Европу» Н.Я. Данилевского я внимательно прочел еще на первых курсах университета, когда большинство нынешних шумливо-сервильных «цивилизационщиков» еще молились на истматовскую стадияльно-формационную «пятичленку».

Я давно пришел к выводу, что в основу любого цивилизационного исследования разумно поместить две логические оппозиции: *органическое развитие versus социальный конструктивизм* (спонтанность / импровизация в терминах А.М. Салмина); и *преемственность versus прерывность*. В этом смысле динамику истории цивилизации в России я определяю, как *преемственность через катастрофы*, которые всякий раз заканчиваются новым «цивилизационным выбором», когда накопившаяся социокультурная инерция неизбежно взрывается энергичным конструктивистским выплеском.

Подобные переходные состояния общества всегда травматичны для современников, ибо «выбор цивилизации» — это ведь одновременно и обрушение, иногда беспощадное, альтернативных цивилизационных возможностей. Но именно постоянное мыслительное присутствие в нашем научном

¹ См.: Соловьев Э.Ю. Философия как критика идеологий. Часть I // Философский журнал, 2016, т. 9, № 4. С. 5–17; Соловьев Э.Ю. Философия как критика идеологий. Часть II // Философский журнал, 2017, т. 10, № 3. С. 5–31; Межуев В.М. Философия как идеология // Философский журнал, 2017, т. 10, № 4. С. 171–180.

дискурсе «альтернатив» и отличает *философию истории* (которой я более 30 лет стараюсь заниматься в качестве руководителя Сектора философии российской истории) от, скажем так, *просто истории*.

В плане определения цивилизационной идентичности России я давно предлагаю обратить внимание на подзабытую концепцию «*Россия как Север*», некогда очень влиятельную, а временами и доминировавшую у нас во второй половине XVIII — первой трети XIX вв. Лишь во времена императора Николая Павловича, с изменением геополитических и идеологических приоритетов, идеи русского северянства постепенно сошли с авансцены, уступив место новой парадигме «*Россия между Западом и Востоком*» с ее противостоянием отечественных западников и славянофилов. Эта парадигма, вместе со всеми новыми ее эманациями (например, нео-евразийством), на мой взгляд, постепенно исчерпывает свой эвристический потенциал.

«Русское северянство» зародилось в Елизаветинскую эпоху в одической поэзии «великого помора» М.В. Ломоносова, а позднее получило статус полуофициальной доктрины в сочинениях императрицы Екатерины и ее ближайшего сотрудника, графа Никиты Панина. Классик русского «золотого века», князь П.А. Вяземский, сам безусловный «северянин», называл годы интеллектуального альянса Екатерины и Панина *самыми русскими* в многовековой истории России.

Статьи, собранные в «цивилизационном» разделе книги, с разных ракурсов показывают эволюцию идей «русского северянства» в трудах наших крупнейших интеллектуалов — Михаила Муравьева, Николая Карамзина, Гавриила Державина, Константина Батюшкова, Алексея Мерзлякова, Александра Грибоедова, Александра Бестужева-Марлинского и др. Декабристская эпоха дала нам примеры и такой утонченной формы русского северянства, как *цивилизационная самокритика* (у Николая Тургенева или Петра Чаадаева), о чем читатель также сможет прочесть в книге. Я вообще считаю, что «российская идентичность», о которой так много спорят, — это есть совокупность представлений о России ее лучших умов. Творческое самовыражение плеяды отечественных талантов, которую я обозначил, не оставляет сомнений: *Россия — северная страна*².

Мотивы северянства отчетливо звучат и в русской художественной литературе XIX–XX вв. К примеру, у Ивана Тургенева (которого за могучий

² Статьи, посвященные разнообразным проявлениям «русского северянства», не остались незамеченными в современной отечественной науке. См. напр.: Тюгашев Е.А., Шумахер А.Е. Социокультурный феномен «русского северянства» // *Личность. Культура. Общество*, 2021, т. 23, № 3 (111). С. 151–156; Терехихин Н.М. Северо-Восточный текст русской геоисториософии, геопэтики и сакральной географии // *Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Сер.: Гуманитарные и социальные науки*, 2023, т. 23, № 4. С. 104–113.

рост и великий талант в Европе называли «северным гигантом»), а также в поэзии Серебряного века — у основоположника поэтического северянства Ивана Ореуса-Коневского (мой дед, адвокат и литератор С.Г. Кара-Мурза, был, кстати, его большим поклонником, о чем я пишу в соответствующей статье), а затем у его прямых литературно-философских последователей — Бориса Пастернака и Осипа Мандельштама³.

Представляется, что общая геополитическая рамка *Россия как Север* позволяет органически соединить и сегодня два главных потока общероссийской цивилизационной общности — христианства (в его восточно-православном варианте, идущим от Византии) и ислама. Мы давно и хорошо знаем, что православие в России — это результат перемещения греческого христианства из региона восточного Средиземноморья на Север — сначала в Киев; потом (начиная, например, с Андрея Боголюбского) — еще севернее, во Владимиро-суздальскую землю; а потом в «северную Пальмиру» — Санкт-Петербург.

Но ведь и российский ислам — это северный ислам. В 2022 г. российскими мусульманами было отмечено 1100-летие присоединения к мусульманскому миру Волжской Булгарии — самого северного из известных в истории исламских эмиратов. Кстати, тенденция к продвижению российского ислама еще далее на север активно продолжается и сегодня: мусульманская молодежь из перенаселенных Кавказа и Средней Азии оседает и закрепляется в наших северных широтах в поисках достойной жизни. Интеграция и взаимопереплетение различных ветвей российского «северянства» продолжается.

Четвертый раздел книги «Философия истории» объединяет статьи и доклады, рожденные на стыке философского мышления и конкретного исторического знания. Так вышло, что из написанных мною до сего дня книг наибольшую известность получили посвященные русскому восприятию Италии⁴. Уже первый четырехтомник, изданный в 2001–2002 гг., стал,

³ Мои тексты о русском поэтико-философском «северянстве» Г.Р. Державина, Б.Л. Пастернака, О.Э. Мандельштама опубликованы и в авторитетных зарубежных журналах. См.: *Kara-Murza A.A. Gavrili Derzhavin on Russian Civilization: Russia as “The North” // Russian Studies in Philosophy*, 2018, vol. 56, № 2. PP. 88–98; *Kara-Murza A.A. Boris Pasternak, “Winter Man”: On the Cultural Self-Identification of Russian Geniuses // Russian Studies in Philosophy*, 2020, vol. 58, № 4. PP. 299–306; *Kara-Murza A.A. Motifs of “the North” in Young Osip Mandelstam’s Philosophical-Poetic Works // Russian Studies in Philosophy*, 2021, vol 59, № 2. PP. 136–145.

⁴ См.: *Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Риме. М.: Независимая газета, 2001; Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Флоренции М.: Независимая газета, 2001; Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Венеции М.: Независимая газета, 2001; Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Неаполе. М.: Независимая газета, 2002. В 2005 г. эти четыре тома были переведены на итальянский язык и изданы с оригинальными иллюстрациями в римском издательстве «Sandro Teti Editore». Позднее, в московском издательстве «Альтекс» вышли еще две мои книги, посвященные русским путешествиям в Италию — по амальфитанскому и генуэзскому побережьям (см.: *Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские в Амальфи. М.: Альтекс, 2012; Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские в Генуе. М.: Альтекс, 2013*).*

по многим оценкам, «отечественным Бедкером» — сходство подчеркивала ярко-красная обложка серии.

Дальнейшее увлечение итальянской темой привело к тому, что, занимаясь ранее в основном русскими XIX и XX столетиями, мне пришлось серьезно углубиться в историю⁵. Важным импульсом к этому стало плотное сотрудничество с итальянским Университетом г. Бари (Бар-града), Ассоциацией «Русская Апулия» и персонально с моим давнишним другом, замечательным русско-итальянским историком Михаилом Талалаем — инициатором ежегодных (увы, прерванных пандемией) «Барградских чтений»⁶. Плодом этой совместной работы стало, например, исследование русских паломничеств в Бари, к мощам св. Николая Мирликийского. Изучение этого вопроса привело к неожиданному выводу: среди т. наз. «русских стажеров», отправленных в самом конце XVII в. молодым царем Петром в Италию для обучения морскому делу, значительную часть составили... вычищаемые из Москвы «потенциальные оппозиционеры». И Николе-Чудотворцу, «русскому Богу», они поклонялись не только как покровителю путешественников (в первую очередь морских), но и как заступнику за невинно преследуемых.

Мое особое внимание к временам, когда «неблагонадежными» (а ранее считавшимися в литературе «верными соратниками» Петра) оказались и Петр Толстой, и Борис Куракин, и даже Борис Шереметев, не говоря уже о братьях Милославских и фактическом теновом лидере «оппозиции» Федоре Лопухине, привлек князь Петр Алексеевич Голицын (1660–1722), который, на основании собранных доказательств, и оказался той интригующей «Великой Персоной», над разгадкой происхождения мемуаров которой историки бились более двух столетий.

В статьях «философско-исторического» раздела книги я, на ряде примеров, показываю также, что известные со школы классики нашей культуры параллельно проявили себе серьезными *политическими мыслителями*. Удалось установить, например, что гениальная поэма А.С. Пушкина «Медный всадник» написана автором в системе понятий трактата Никколо Макиавелли «Государь» и явилась полемическим ответом Пушкина на критику со стороны его бывшего друга — польского поэта и поклонника Макиавелли Адама Мицкевича.

⁵ Так, последнее издание моей «Русской Флоренции» открывается подробным описанием «хождения» на Флорентийский собор 1438–1439 гг. русской делегации во главе с митрополитом-греком Исидором (*Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Флоренции*. М.: Изд-во Ольги Морозовой, 2018. С. 25–45). А книга о «Русской Венеции» начинается очерками о поездках в Республику дожей посланников русских самодержцев Ивана III и Алексея Михайловича (*Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Венеции*. М.: Изд-во Ольги Морозовой, 2018. С. 39–81).

⁶ См.: Барградский сборник. № 1 (под ред. М.Г. Талалая). М.: Индрик, 2019; Барградский сборник. № 2 (под ред. М.Г. Талалая). М.: Индрик, 2020.

Не менее неожиданными стали результаты углубления в творчество И.С. Тургенева. Я и раньше предполагал, что исследователи недопустимо сужают масштабы тургеневского наследия — человека, как-никак проучившегося аж на трех философских факультетах — в Москве, Петербурге и Берлине. Неудивительно, что Иван Тургенев — прямой ученик и наследник безвременно сгоревшего в Италии от чахотки Н.В. Станкевича⁷, вырос в разностороннейшего интеллектуала-энциклопедиста, которого немецкий дипломат и политик Хлодвиг Гогенлоэ прочил ни много ни мало в премьеры кабинета министров царя-реформатора Александра II!⁸

Что касается давно любимых мной социально-политических мыслителей русского «серебряного века»⁹, то я, все последние годы оставаясь еще и руководителем кафедры политологии Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН), в своих публикациях и докладах стараюсь акцентировать внимание на — буквально — *политологических открытиях* наших славных соотечественников. Это — и концепция «личной годности» П.Б. Струве; и концептуальное разведение «философской истины» и «интеллигентской правды» Н.А. Бердяевым; и обнаружение главного смыслового пространства политики «по ту сторону правого и левого» С.Л. Франком; и закладка основ «политической альтернативистики» в сочинениях В.А. Маклакова; и виртуозное противопоставление понятий «свободы» и «воли» у Г.П. Федотова и т.д.

⁷ Совсем недавно Итальянский клуб Института философии РАН, который я имею честь возглавлять, отметил 10-летие клубной поездки в северо-западную Италию (Геную и Нови-Лигуре), по следам Николая Владимировича Станкевича (1813–1840), чей двухсотлетний юбилей широко отмечался нами в 2013 г.

⁸ Подобный ракурс исследования помог по-новому взглянуть на последние годы жизни Тургенева — уже в контрреформаторские времена Александра III. Впечатлил, например, контекст прощания с Тургеньевым, умершего во французском Буживале, отпетого в Париже и похороненного при громадном стечении публики на Волковом кладбище в Петербурге. Политический смысл тех событий был вполне внятен не только «прогрессивной обществу», но и новым руководителям русских охранных ведомств графу Д.А. Толстому и В.К. Плеве, отдавшим панически-беспомощный приказ до предела сократить остановки траурного парижского поезда с телом Тургенева и беспощадно отсекать людей, желающих с ним проститься. Младший друг умершего гения, историк и журналист М.М. Стасюлевич, воочию наблюдая стыдные для властей препятствия, чинимые печальному кортежу, писал впоследствии, что внешнему наблюдателю могло показаться, что по России везут не прах великого писателя-гуманиста, а самого Соловья-разбойника...

⁹ Это пристрастие в свое время подвигло меня стать составителем и редактором антологии «Российский либерализм: идеи и люди», которая, постепенно расширяясь, выдержала уже три издания. В последнем издании 2018 г. я выступаю и как автор биографических очерков о таких корифеях русской политической культуры первой половины XX в., как Н.С. Волконский, В.А. Караулов, М.А. Стахович, П.Н. Милуков, А.А. Корнилов, И.П. Алексинский, С.В. Востротин, М.Г. Комиссаров, С.О. Португейс, Б.К. Зайцев, Г.П. Федотов, В.В. Вейдле. См.: Российский либерализм: идеи и люди. Т. 2: XX век (общ. ред. А.А. Кара-Мурзы). М.: Новое издательство, 2018. — 948 с.

Исследование, посвященное европейским странствиям молодого Николая Михайловича Карамзина¹⁰, открывает заключительный, *пятый раздел* книги — «*Философское краеведение*»¹¹. Мне, надеюсь, удалось доказать, что молодой Карамзин — никакой не «путешественник» (название его знаменитых путевых записок «Письма русского путешественника» — пример горчайшей самоиронии!), а один из первых *русских эмигрантов*, изгнанников, скрывавшийся в Европе в 1797–1798 гг. от преследований буквально охотившегося за ним изошренного екатерининского провокатора, обер-прокурора московского Сената князя Гагарина, метко прозванного современниками «Тартюфом»¹². Возвращение Карамзина в Россию в момент начала открытых гонений на его друзей-мартинистов, группировавшихся вокруг русского просветителя Н.И. Новикова, — акт большого гражданского мужества.

Столь же отважным был поступок и другого моего героя (статья о его итальянском вояже идет в «пятом разделе» сразу вслед за карамзинской) — отставного гвардейского ротмистра и героя Кульма Петра Яковлевича Чаадаева (1794–1856), который вернулся в Россию из своего европейского турне летом 1826 г. — в самый разгар следствия над его друзьями-декабристами¹³.

¹⁰ Отмеченный нами в 2016 г. 250-летний юбилей Н.М. Карамзина (1766–1826), которого Борис Эйхенбаум назвал «нашим первым философом», стал важной вехой в моих философско-исторических штудиях. Моя жизнь и раньше проходила во многом «под знаком Карамзина»: трудно сопротивляться версии, согласно которой Карамзин, самолично записавшийся при Павле I в потомки родовитого татарского князя «Кара-Мурзы», имеет к нашей семье непосредственное отношение! И не мог же я (как «прямой потомок» историка!) отказаться благословить присвоение имени Карамзина гимназии в Ясенево — ведь по московским законам для такого серьезного акта требуется письменное согласие родственников.

¹¹ Сам термин «*философское краеведение*» принадлежит мне и определяет метод и жанр философского исследования, когда тот или иной авторский текст «анализируется в контексте своего замысливания, обдумывания и исполнения в конкретном пространстве и в конкретный промежуток времени» (см.: *Кара-Мурза А.А. Откуда рождаются философские статьи? («Философское краеведение» как метод и жанр историко-философского исследования) // История философии в формате статьи* (отв. ред. Ю.В. Синеокая). М.: Культурная революция, 2016. С. 110–111).

¹² См.: *Кара-Мурза А.А. Загадка «Тартюфа»*. Неизвестные страницы европейского путешествия Н.М. Карамзина (1789–1790) // Николай Карамзин и исторические судьбы России. К 250-летию со дня рождения (общ. ред. А.А. Кара-Мурзы, В.Л. Шаровой, А.Ф. Яковлевой). М.: Аквилон, 2016. С. 361–375. См. также: *Кара-Мурза А.* Чем беглец отличен от путешественника. Загадка европейского турне Николая Карамзина // НГ-Сценарии, 2016, № 7 (165), 27 сентября. С. 14; *Кара-Мурза А.А.* «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина: эмигрантский дневник или художественное произведение? // Проблемы российского самосознания. М. — Ярославль, 2016. С. 283–296.

¹³ Еще один мой любимый автор, О.Э. Мандельштам, очень точно заметил: «Чаадаев был первым русским, в самом деле идейно побывавшим на Западе и нашедшим дорогу обратно. Современники это инстинктивно чувствовали и страшно ценили присутствие среди них Чаадаева. На него могли показывать с суеверным уважением, как некогда на Данта: “Этот был там, он видел — и вернулся”...» (*Мандельштам О. Петр Чаадаев // П.Я. Чаадаев: Pro et Contra* (ред. А.А. Ермичев, А.А. Златопольская). СПб., 1998. С. 406).

В одной из работ, не вошедших в настоящий сборник, я как-то заметил, что драма русской эмиграции: от Александра Герцена — через массовый пореволюционный исход — к диссидентам новейшего времени, во все времена состояла в том, что эти люди, зачастую цвет отечественной культуры, вынуждены были, в силу обстоятельств, предпочесть родине — свободу. И в этом смысле особое, выдающееся место в нашей культуре таких людей, как Карамзин и Чаадаев, обусловлено в том числе и тем, что они — безусловные европейцы по образованию и воспитанию — сумели (или осмелились?) поставить вопрос принципиально иначе: а зачем мне свобода без родины?¹⁴

Вообще, тексты, написанные в жанре «философского краеведения» я отношу к числу наибольших моих удач последнего времени. Это, например, статьи, связанные с теми же исследованиями «русской Италии», — о Риме Ивана Тургенева, о Сорренто Владимира Соловьева, о Венеции Леонида и Бориса Пастернаков, о Генуе Антона Чехова, об острове Капри Ивана Бунина, о Флоренции Владимира Вейдле¹⁵. Но особенно, мне кажется, удался текст, посвященный пятидневному (всего лишь) пребыванию во французском Дижоне весной 1857 г. приятелей-литераторов Ивана Тургенева и Льва Толстого. Для того, чтобы понять детали (от театральных до гастрономических) этого малоизвестного совместного вояжа двух национальных гениев, пришлось, разумеется, поехать в столицу Бургундии и провести, что называется, «расследование на месте».

Однако *«за границей хорошо, если можешь вернуться»*, — как сказал я в одном из интервью авторитетной федеральной газете. Я всегда учил и учу своих студентов и аспирантов: философско-краеведческие откровения (открытия той самой «маленькой правды») возможны и совсем рядом — в родном городе. Свидетельства тому — тексты о «философской Москве», например, о Николае Бердяеве (близится его 150-летний юбилей) и Федоре Степуне. Скоро выйдут и новые работы — «Москва Николая Карамзина» и «Москва Петра Чаадаева». Интереснейшая работа философа-историка, надеюсь, продолжится...

*Алексей Кара-Мурза,
осень 2023 г.*

¹⁴ См.: Кара-Мурза А.А. Философские дилеммы «Писем русского путешественника Н.М. Карамзина // Философские науки, 2016, № 12. С. 59.

¹⁵ Все эти тексты явились результатом многократных поездок в Италию — как одиночных, так и в составе делегаций нашего Итальянского клуба. Моим друзьям наверняка запомнилось посещение отеля «Cocumella» в Сорренто, где В.С. Соловьев писал в 1876 г. свой трактат «Sofia» на французском языке; или осмотр отеля «Quisiana» на острове Капри, где И.А. Бунин прожил в 1910-х гг. три плодотворнейшие писательские зимы.

Раздел первый

НАБРОСКИ АВТОБИОГРАФИИ

О НАШЕМ ПОКОЛЕНИИ

В наш московский академический Институт философии я попал в 1980-м году, можно сказать, случайно. К тому времени я, наверное, даже толком не знал, где такой институт находится. Хотя я коренной москвич и все ранние годы прожил в центре (на Кирова/Мясницкой, на Жданова/Рождественке, у Елоховского собора), я, каюсь, не обращал отдельного внимания на стоящий в глубине квартала на Волхонке бывший дом князей Голицыных, в котором потом пройдут тридцать пять лет моей жизни.

Меня ничего не связывало с этим зданием и с обосновавшимся там учреждением, хотя в 1970-е годы, еще будучи студентом, а потом аспирантом МГУ, я был достаточно глубоко погружен в академическую жизнь Москвы. По профилю своего образования, я десятки раз был и в Институте востоковедения на родной улице Жданова, и в Институте всеобщей истории у станции метро «Академическая», где работал мой научный руководитель, теперь академик Аполлон Борисович Давидсон. Но более всего, по несколько раз в неделю, я бывал в ИНИОНе с его уникальной библиотекой и в Институте Африки — сначала в Староконюшенном переулке, а потом и в новом здании — у Патриарших.

По университетскому образованию я историк — вслед за отцом, окончившим истфак МГУ, а потом несколько десятилетий проработавшим главным редактором историко-педагогического журнала. Дипломированным историком был и мой покойный брат Владимир, более известный, как тележурналист. Я же окончил кафедру африканистики историко-филологического факультета Института стран Азии и Африки при МГУ. Помимо детской тяги к дальним путешествиям (почему-то именно в Центральную Африку и на острова Тихого океана), меня с ранней школы влекло к исторической науке. С первых студенческих лет в старом здании МГУ на Моховой, я активно работал в исторической секции Научно-студенческого общества (НСО), побеждал на конкурсах научных работ и на последнем курсе возглавил объединенное НСО всего Института.

Мой дальнейший карьерный путь был примерно ясен и для меня, и для моих однокашников, и, видимо, для моего тогдашнего вузовского начальства. Помню, от меня очень быстро отстали пришедшие к нам на Моховую «вербовщики в погонах»: не секрет, что ИСАА (там в мое время на десять ребят приходилась одна девушка; сейчас — ровно наоборот) был одним из главных кадровых резервуаров и для нашей внешней разведки, и для разного рода забугорной работы «под прикрытием» (на моем курсе, например,

учились семь или даже восемь будущих генералов). Бегло просмотрев мое личное дело и задав пару вопросов, офицеры разочарованно переглянулись: парень вроде и соображает, но для серьезной службы Родине потерян — пусть идет себе в аспирантуру.

Я и пошел тогда в аспирантуру той же кафедры африканистики, продолжив писать на тему удавшегося, по всем отзывам, диплома: «Формирование новых элит в странах Тропической Африки». Сейчас бы эту тему определили, скорее всего, по ведомству *sciences politiques*, но в те годы такой специальности у нас в стране попросту не было.

Я сейчас совершенно не помню деталей того, что случилось со мной на последнем году аспирантуры. И никто из моих друзей-аспирантов (с некоторыми мы дружим более сорока лет) тоже не в состоянии мне помочь: каким образом меня вдруг угораздило оказаться в нештучном конфликте с самим ректором ИСАА?! По-видимому, я тогда «заигрался», переоценив свою роль «молодежного вожака» (я по-прежнему был руководителем НСО), и, наверное, повел себя демонстративно независимо. А ведь это был еще только рубеж 80-х: идеологическую борьбу, тем более в идеологическом вузе, — никто не отменял. Начальству, наверное, резала глаз и моя очевидная приязнь к определенному складу профессорам и преподавателям, носившим печать идейного фрондерства. Уникальным специалистам, знавшим в совершенстве редкие языки, такое поведение годами сходило с рук, но плодить в серьезном вузе новых полу-диссидентов за счет новобранцев из молодежи руководство, конечно, никак не планировало.

Как бы там ни было, перспектива моего беспроblemного распределения на кафедру довольно быстро затуманилась, а потом и рассосалась. Более того, сведущие люди донесли, что даже спокойно защититься в ИСАА мне вряд ли дадут. С поста председателя НСО пришлось уйти. Последним моим «звездным часом» в университете, как сейчас помню, стало бригадирство летом 1979-го года в сводной бригаде аспирантов МГУ: надо было срочно доделывать за строителями олимпийский гостиничный комплекс в Измайлово (я и сегодня, когда проезжаю мимо, обязательно небрежно так бросаю таксисту: «Мы строили...»).

Олимпиада-80 успешно закончилась, а вопрос с моей будущей защитой и распределением еще больше «завис». И тут случилось «обыкновенное чудо» — иначе назвать это я не могу. Где-то осенью, по-видимому вечером, к нам в коммунальную квартиру на Разгуляе прозвонилась не очень трезвая (как мне показалось) моя бывшая однокурсница Наташа О., по специальности китаистка, и полушутя (или мне опять так показалось?) сообщила, что в Институте философии Академии наук, в секторе философии Востока, ищут молодого сотрудника — и почему-то именно «африканиста»! Я бы, наверное,

еще долго смеялся, но Наташа вызвалась уже на следующий день лично отвести меня в тот самый Институт, в тот самый сектор и познакомить меня с заведующей — «чудесной», по ее словам, Мариэттой Тиграновной Степанянц.

Вот так я и появился в «желтом доме» на Волхонке 14. Мариэтта Тиграновна, действительно, оказалась замечательной женщиной и очень живо рассказала, как из института уволился (или вынужден был уволиться) известный ученый-африканист (его книги я, конечно, читал), освободилась таким образом «ставка», заполнить ее нужно очень быстро, иначе... ну и т.д. Присутствовавшая при разговоре Наташа О. еще раз подтвердила мои бесспорные достоинства: африканист-натурал (что и требовалось), победитель олимпиад, комсомольский активист, бригадир, кандидатская по африканистике почти готова...

Окончательно, как я понимаю, дело решил принесенный мною с собой (на всякий случай — и, как оказалось, очень кстати) старый текст «курсовой» за третий год обучения: «Философские (*sic.* —!) аспекты становления классов и государства в средневековой Руанде». Блеклый текст (чудом сохранившийся третий, если не четвертый, машинописный экземпляр), зато с исключительно удачным названием (работа, конечно, была чисто историко-политологическая и никак не философская), по-видимому, и стал решающим аргументом моего приема на работу. Этот текст потом неизменно фигурировал и на столе курирующего тогда восточный сектор замдиректора, а потом и перед самим директором, оригинальным человеком, как мне объяснили, «другом самого Брежнева». Замусоленная старая курсовая стала, таким образом, главным доказательством моей философской профпригодности: спасибо далекой Руанде, в которой я никогда не был и в которой больше половины населения говорит на до боли знакомом мне (а сейчас прочно забытом) языке суахили!

Некоторая несерьезность обстоятельств моего поступления в ИФАН не отменяла того факта, что у меня, конечно, были неплохие козыри для профессиональной работы на новом месте. Я очень хорошо знал тогда французский язык (спасибо спецшколе), несколько хуже — английский, мог читать и на португальском (это уже от университета). Свою задачу в секторе Востока я понял так: доказать, что и в Тропической Африке была и есть «своя философия».

Ряд обстоятельств мне благоприятствовал. Во-первых, выпускники ИСАА по определению не были европоцентристами: каждый знал и обожал свою далекую локальную культуру. «Цивилизационный» подход к гуманитарным наукам в нашей среде всегда превалировал над господствовавшим тогда «формационным», к которому востоковеды относились с нескрываемой иронией, переходящей в презрение. Пресловутая формационная «пятичленка» в востоковедной среде считалась ругательным словом.

Во-вторых, способствовало делу и мое тогдашнее, наивное, но искреннее, очень своеобразное представление о философии, которое любой выпускник философского факультета высокомерно определил бы как глубоко непрофессиональное. Под философией я понимал (а в какой-то степени понимаю и сейчас) просто *мудрость*: остальное — как говорится, «дело техники». Вывод напрашивался сам собой: если в локальном социуме есть своя «мудрость» (пусть даже весьма немудрёная), значит есть и «своя философия». Надо добавить, что это был в те годы очень модный тренд в востоковедении и африканистике: в разных экзотических странах сотни автохтонов (парадокс: европейски образованных) упражнялись на тему т. наз. *этнофилософии*. Нехитрая логическая цепочка: «автохтонная культура — патриотическая элита — самобытная этнофилософия» была мне внутренне близка, а в исследовательском смысле — еще и весьма удобна. Литературы по теме было полно, языки я знал, навыки исследовательской работы были наработаны в университете. И я, припоминая, еще до защиты кандидатской (которая успешно состоялась-таки в МГУ в 1981 г.), прикинул: перспективы в Институте философии у меня есть, и неплохие; можно начинать задумываться и о докторской.

Разумеется, надо сказать несколько добрых слов о замечательном «восточном» секторе М. Т. Степанянц, в котором я проработал все 80-е годы. Я тогда понял, что буквально означает выражение: «*кататься, как сыр в масле*». Мне симпатизировала и всячески помогала не только Мариэтта Тиграновна, но и старшие коллеги: Е. А. Фролова (арабская мысль), В. Г. Буров (Китай), Ю. Б. Козловский (Япония). Но особенно я сблизился со «средним поколением» сектора. Гуля Шаймухамбетова, Оля Мезенцева, Володя Зайцев, Адик Михалев — увы, никого из них уже нет в живых. Светлая память!

Между тем, общественные настроения «за окном» менялись и сильно меняли нас. А я, надо признаться, всегда был «социально чувствителен». Не люблю выражение: «социально активен», хотя с середины 80-х возглавил в Институте комсомольскую организацию, а потом несколько лет фактически руководил Советом молодых ученых (молодежи, в подавляющем большинстве неостепененной, в институте было тогда много). Именно эта сторона жизни (назову ее условно «общественной»), возможно, в не меньшей степени, чем собственно занятия наукой, сформировала наше институтское поколение «восьмидесятников».

«Поколение», как мне представляется, не стоит путать с «возрастным срезом» — это принципиально разные, хотя и пересекающиеся сущности. «Поколения» создаются по преимуществу *горизонтальными* неформальными связями — чаще всего вопреки *вертикально* выстроенным связям служебным. Несмотря на то, что я всегда считал и считаю Институт философии

учреждением уникальным, я все-таки не настолько сентиментален, чтобы отрицать, что и в годы моей молодости, и сегодня, Институт наш строился и строится вертикально-иерархически *par excellence*.

Иначе и быть не может — или не быть мне заведующим кафедрой прикладной политологии (в ГАУГНе)! Речь может идти лишь о той или иной степени «просвещенности» этого вполне естественного и даже органичного авторитаризма. Институтские старожилы уверяют, что когда-то отдельные сегменты нашего Института (и даже весь он в целом — кто бы мог представить!) управлялись «совсем не просвещенно», но я тех варварских времен почти не застал. По крайней мере, наш «восточный» сектор всегда принадлежал к числу наипросвещеннейших: в самом деле, свободно читать в оригинале суфиев, вайшешиков или джайнистов — это не то же самое, что, пыхтя, «овладевать» Марксом и даже Гегелем в русских переводах.

Но даже самый просвещенный авторитаризм, повторяю, не может стимулировать развитие текущих мимо него низовых человеческих «токов», в том числе поколенческих. Разумеется, такое товарищество (прямо как *grass-roots movements!*) активно формировалось в наше время и на суглинистых почвах подшефных совхозов, и на пахучих просторах плодоовощных баз, но подобное его произрастание (и даже цветение!) было лишь побочным следствием неукоснительного выполнения разнарядок, спущенных из райкома партии.

Мне, наверное, всё равно бы никто не поверил, если бы я стал отрицать наличие элементов авторитаризма в моем собственном стиле руководства сначала комитетом ВЛКСМ института, потом научным сектором, затем отделом, секцией Ученого совета, многочисленными исследовательскими проектами. И, тем не менее (спросите кого угодно — пусть даже сотрудников других подразделений!), «Мурза» в своей работе всегда старался находить время, силы и средства (!) для последовательного культивирования товарищества в отношениях с коллегами. Может быть поэтому мне действительно есть что рассказать о моем поколении в целом.

«Формирование поколения» я бы уподобил трудной и в чем-то рутинной лепке из глины. Кто здесь является Мастером — время, судьба или некие высшие силы — мне неизвестно. Я знаю другое: у масштабных скульптурных проектов всегда есть невидимый миру каркас из прочной арматуры. В отношении нашего поколения таким каркасом стала поначалу не собственно философия, а околонучная молодежная практика. Я могу даже обозначить относительно точные хронологические пределы, когда этот новый поколенческий «каркас» в основном сформировался. Это были годы, немного утрируя, двух «комсомольских секретарств»: моего (1983–1986) и Марии Михайловны Федоровой (1987–1989) — моей приемницы, бывшего зама, старинного друга, а ныне бесспорного лидера новейшей российской

политической философии и теоретической политологии. Характерно, что в указанный период именно к нашему, «комсомольскому» сообществу (а вовсе не к «своему» партбюро) «прилепилась» группа молодых институтских партийцев — Наталья Козлова, Александр Захаров, Федор Блюхер, Марина Быкова.

Если, обернувшись, взглянуть на тогдашнюю политику советского руководства (начиналась полная противоречий «эпоха Горбачева»), то одной из ее главных характеристик стало откровенное идейное попустительство в отношении гуманитарно-ориентированной молодежи. Это был период расцвета всевозможных «молодежных школ», «инициатив», «творческих молодежных коллективов» и т.п. С добрым чувством вспоминаю одно из расширенных заседаний тогдашней дирекции Института. При обсуждении какого-то вопроса, академик Смирнов (Георгий Лукич, разумеется) вдруг повернулся в мою сторону и спросил: «А что по этому поводу думает комитет комсомола?» На что сидящая неподалеку тогдашняя заведомо кадров с чувством выдохнула: «Это не комитет комсомола! Это — банда!».

Из случившихся в ту пору с институтской молодежью чудес назову лишь самые фантастические... Поездка группы молодых философов в 1988 г. на Всемирный философский конгресс в Брайтон! Вспоминаются лица друзей и подруг, не только увидевших тогда «живьем» Поппера, Хабермаса и Рикёра, но и объехавших половину Англии: Лена Петровская, Марина Быкова, Оксана Гоман, Оля Зубец, Саша Филиппов, Виктор Игнатьев... Несколько раундов образовательных поездок в Париж для совершенствования французского языка в «Alliance française»! ... Научные стажировки в Германии, Америке, Франции! ... Неоднократные поездки на международные философские школы в Югославию, Болгарию, Польшу! Не могу отказать себе в удовольствии вспомнить один эпизод. Во время очередной молодежной встречи где-то под Варшавой мы (я, Леонид Поляков, Валерий Перевалов, Владимир Филатов) близко познакомились с ровесниками из КНДР, тоже представившимися «философами». Буквально через пару недель, Поляков, Перевалов и Филатов получили именные приглашения посетить Северную Корею. На естественный вопрос: «А как же Мурза?», серерокорейцы прямодушно ответили: «А мы еще в Польше по глазам поняли, что он — враг социалистической Кореи».

И в нашем Институте некоторые пронизательные старшие коллеги («мудрецов» у нас всегда было в достатке) называли тогда процессы, начавшиеся при Горбачеве,— «заигрыванием с молодежью», что, как и многое другое, «добром не кончится». Так и случилось,— но лично я благодарен Михаилу Сергеевичу за то веселое и творческое время, о чем имел возможность говорить ему лично. Пусть это прозвучит эгоистично, но, потеряй мы тогда эти

восемь-десять лет в старых статусно-идеологических «стойлах», и из моего поколения вряд ли вышло что-то путное. Этот вывод в полной мере касается и тех из моих сверстников, кто не готов признаться в любви к «перестройке». Но ведь и внутри замечательного поколения *шестидесятников*, сполна вкусивших плоды «хрущевской оттепели», редко встретишь поклонников лично Хрущева.

Могу добавить, что я и мои товарищи честно стремились добром ответить руководству всех уровней на оказанное нам доверие — «неблагодарность» я вообще считаю одним из самых больших человеческих грехов. По-моему, в 1986 г. нашими усилиями, Институт философии завоевал первое место на Всесоюзном (!) конкурсе научных учреждений на лучшую постановку работы с молодежью. Сохранились фотографии, где я, на сцене Актового зала дома на Волхонке, получаю Красное знамя из рук Секретаря ЦК ВЛКСМ. На лице сидящего в президиуме первого замдиректора В.В. Мшвениерадзе — целая гамма чувств...

Но, при всем уважении к Красному знамени, случилось тогда и другое, гораздо более существенное и ранее совершенно непредставимое. Институту философии, в качестве поощрения, был выделен дополнительный фонд заработной платы — довольно солидный! — для перевода из младших научных сотрудников в «старшие» особо отличившейся молодежи. К нашей чести, ни один из тогдашних членов комитета комсомола даже на минуту не подумал этим воспользоваться: самым старшим из нас было тогда всего-то по тридцать с небольшим. Единогласным решением, деньги пошли на повышение окладов *бывшим* институтским комсомольцам — лет на пять, на десять, а то и на пятнадцать старше нас: в «старшие научные» переходили в те времена, как говорится, «с сединою на висках». Для нас же, еще зеленых, главным было то, что сделано хорошее дело. Авторитет нашей «банды» в глазах Дирекции заметно вырос...

В обязанности лидера во все времена входила забота о материальном благополучии людей, тебе доверившихся. «Поколению» ведь надо на что-то жить — появляются семьи, потом дети. От старших товарищей я неоднократно слышал фразу: «А по ночам я разгружал вагоны...» В годы моей молодости законным (и легитимным в глазах начальства) способом поправить финансовое положение были выездные лекции от общества «Знание». В нашу молодежную лекторскую группу вошли мои товарищи, не только хорошо владеющие материалом, но и доказавшие навыки коммуникации: Поляков, Перевалов, Захаров, Ханин, Осовцов, Алюшин. Ребятам доставались порой самые экзотические, не нами придуманные темы типа: «Любовь и дружба в условиях развитого социализма». Мне было проще: я, на правах руководителя «цикла», брал себе, как правило, «международное положение».

Сотрудники «Знания» (обществ формально было два: общесоюзное и российское) хорошо знали меня еще со времен востоковедной аспирантуры. Лекторский хлеб кандидатов наук был тогда нелегко: 5–6 лекций в день, причем в не самых комфортных условиях. До сих пор, когда мы общаемся, с юмором, но и с ужасом, вспоминаем два «цикла»: «По домам престарелых Архангельской области» и «По зонам Кировской области» (!). Зато за пять–шесть дней можно было заработать эквивалент месячной зарплаты.

А теперь — о самом главном, о философии. Философское поколение все-таки создается не на овощных базах, и даже не на молодежных «школах». В противном случае это — не *поколение*, а просто «тусовка», пусть даже очень симпатичная. Наше поколение окончательно сложилось, как мне кажется, вокруг определенной, существенно новой философской проблематики и приложенной к ней оригинальной исследовательской оптики. Очевидной и признанной вовне эта наша *самобытность* стала, разумеется, не сразу.

Для меня лично 1980-е годы были временем исподволь зреющей «свободы от Африки». Решающим в этом смысле стало одно курьезное обстоятельство. Как-то к нам в сектор Востока пришла на отзыв (то ли из Киева, то ли из Кишинева) увесистая докторская диссертация, и меня попросили ее посмотреть. Открыв текст и прочитав название, я ахнул: «Философская мысль в Африке» (!). Диссертация была добротной, умно структурированной и базировалась на большом количестве хорошо мне знакомых африканских источников. Курьез заключался в том, что передо мной был, разумеется, чужой, но примерно тот же самый текст, который я сам уже несколько лет как обдумывал, понемногу писал и который я сам собирался защищать в качестве докторской — по моим прикидкам, лет через пять! На столе лежала... *моя* докторская, написанная другим человеком, прежде меня, и, наверно, лучше меня! Особый аромат ситуации придавал тот факт, что диссертант активно и со вкусом использовал мои рефераты по «африканской этнофилософии», которые я несколько лет печатал в сборниках ИНИОН! Однако, — и это было главным во всей этой истории: я тогда поймал себя на мысли, что... почти не расстроился. Я даже с некоторым облегчением и абсолютно чистым сердцем написал положительный отзыв и сейчас думаю, что тот человек (я потом потерял его из виду) сэкономил мне пять, а, может и больше, лет жизни, и, скорее всего, — существенно перенаправил ее течение.

Дело в том, что, работая в секторе Востока и «окучивая» свою конкретную (африканскую) «делянку», я в 80-е годы, возможно, в предчувствии скорых перемен, стал все больше увлекаться отечественной проблематикой: особенностями исторического пути России, русской историософской и политической мыслью, что с тех пор и стало моей главной научной темой. Поначалу это было перечитывание Герцена и Плеханова (иногда и Ленина)

с совершенно новой для меня расстановкой акцентов. Мы, например, в соавторстве с моим университетским другом Игорем Зевелевым (востоковедом-бирманистом, сегодня, безусловно, входящим в тройку самых авторитетных на Западе наших политологов-теоретиков) написали серию статей в журнал «Азия и Африка сегодня», где мы, проводя параллели между «восточными деспотиями» и «сталинщиной», открыто вставали в нашем, разумеется, еще марксистском дискурсе на сторону Плеханова против «азиатского марксизма» в лице... — нет не Ленина, конечно, а Сталина! Наши с Игорем доброжелатели из редколлегии журнала рассказывали, что эти тексты, как говорится, «на грани фола», как будто специально дразнившие «староверов», всякий раз вызывали бурные обсуждения и проходили только после долгого «вентилирования наверху», в аппарате нового главного идеолога страны Яковлева.

А тут и у нас, в Институте философии, в 1988 г., случилось событие, которое многие могли попросту не заметить или посчитать ритуальной формальностью, но которое я, в контексте сегодняшнего разговора о «философских поколениях», считаю принципиально важным. С подачи Президиума АН и изнывающего от реформаторского зуда комсомольского ЦК, в Институте был организован т. наз. «временный молодежный научный коллектив», в который вошли мой давнишний друг Валерий Перевалов (в качестве руководителя), Мария Федорова, Федор Блюхер, Володя Меликов (тоже из востоковедов) и я. Общую тему взяли в полном соответствии с характером тех межумочных времен — что-то вроде «Новейшие тенденции в осмыслении философии марксизма».

Главной «фишкой» нашей тогдашней, исключительной по своей интенсивности работы в форме многочасовых *brain-storming*, ов на частных квартирах (чаще всего у меня на Рижском проезде) стали многораундовые безжалостные «похороны» стадийно-формационного подхода, с его набившей оскомину «пятичленкой», и решительный поворот к животворящему «цивилизационному методу». Здесь всем нашлось место: и нам с индологом Меликовым, и франкофонке Маше Федоровой, блестяще знавшей французский неомарксизм, и, конечно, подлинным знатокам аутентичного Маркса — Перевалову и Блюхеру, которые, с текстами в руках (например, переписки Маркса с русскими народниками), играючи доказали, что «цивилизационный подход» тоже придумал Маркс.

«Группа Перевалова» стала во второй половине 80-х естественным ядром для роста и почкования нашего поколенческого актива. В полном соответствии с законами жанра, «банда», окультуриваясь и матерая, превращалась в «сообщество». Одной из заметных фигур стал историк русской философии Леонид Поляков, вернувшийся из стажировки в США. Из более молодых обратили на себя внимание своей начитанностью, нетривиальными идеями,

амбициозностью в хорошем смысле — аспиранты Наталья Любомирова, Александр Осовцов, Алексей Алюшин, Эдуард Надточий, Сергей Зимовец. Особую благодарность я испытываю к двум моим коллегам (увы, ныне покойным) Наталье Никитичне Козловой и Александру Владимировичу Захарову.

Вспоминаются и околонучные «досуги» нашего сообщества в помещении комитета комсомола на Волхонке — им в те годы была (спасибо Дирекции!) красивейшая зала в бельэтаже с мраморным камином, примыкающая к Актовому залу. Особо запомнились видеопрезентации (прямо на белую стену) незабвенного Альберта Васильевича Соболева о философской Москве Серебряного века — для меня именно АВС был и остается родоначальником «философского краеведения». На этих посиделках, посвященных Вл. Соловьеву, Бердяеву, Эрну, Новгородцеву, с особой силой раскрылся кулинарный талант наших девушек-философов, без которых невозможно представить (да его бы наверняка и не было!) наше поколение «восьмидесятников». Это Марина Бургете, Неля Абдулхаерова, Лена Патуткова.

В истории каждого научного поколения всегда есть события, которые являются знаковыми «вершинами» его существования: это может быть постоянный семинар, научный журнал, цепочка проектов (чаще — всё это вместе). Для нашего поколения первой очевидной вершиной, признанной поколенческим консенсусом, стал проект «Тоталитаризм как исторический феномен» и, в первую очередь, трехдневная международная конференция на одноименную тему, прошедшая в Институте философии 3–5 апреля 1989 г. Хотя именно я являлся председателем оргкомитета и главным ведущим сессий, считаю своим долгом назвать еще двух моих друзей, которые стояли у истоков проекта и сыграли важную роль в обеспечении его совокупной «тяги». Это Алексей Миллер, на тот момент кандидат исторических наук (сегодня доктор, профессор нескольких европейских университетов), и Ольга Ярцева, тогда еще аспирантка ИМЭМО, сейчас успешно работающая в Париже.

Для сотрудников Института философии и Алексей, и Ольга формально были «внешниками», но, частенько наведываясь на Волхонку, пользовались общей симпатией. Они привнесли в проект свой специфический набор идей и контактов, что в итоге и обеспечило беспрецедентный по представительности состав докладчиков.

На конференции выступили признанные (хотя большинством слушателей ранее «не виданные») «звезды» российской гуманитаристики: Алексей Салмин, Виктория Чаликова, Леонид Волков, Борис Орлов, Леонид Седов. Все они, к нашему удовольствию, в полной мере прочувствовали неординарность

происходящего. На той же сцене Актового зала на Волхонке торжественно передавалось уже не Красное знамя, а «поколенческая эстафета» в осмыслении самого драматичного из российских феноменов: периодической смены прорывов к свободе очередным и всякий раз всё более репрессивным идеократическим «упорядочиванием». Удивительно, что при наличии столь звездного состава гостей, многочисленная аудитория (зал был все три дня полон) хорошо понимала: реальными хозяевами мероприятия выступают молодые люди 25–35 лет, интересные не только юной энергетикой, но и новыми нетривиальными научными идеями.

Для меня тогдашний «тоталитарный проект» оказался памятен еще и тем, что он сблизил нашу группу с ровесниками, более тяготевшими к философскому кругу В.А. Подороги. Сам Валерий Александрович, его ближайший соратник Михаил Рыклин (через пару лет мы с ним близко подружились в Париже), лучшая из его учениц Лена Петровская (еще с Брайтона и по сию пору я пребываю под ее обаянием) выступили с интереснейшими докладами, а потом и написали тексты в коллективный сборник.

Книга «Тоталитаризм как исторический феномен», вышедшая по итогам нашей конференции под грифом Философского общества СССР и Всесоюзной ассоциации молодых философов тиражом 3 тысячи экземпляров, быстро стала бестселлером и сегодня является библиографической редкостью. Когда в начале 90-х в книжных магазинах Москвы появилась практика «книгообмена» (книги можно было обменять на одну или несколько равноценных), наш «Тоталитаризм» прочно оказался в числе безусловных «топов», в чем мы не раз убеждались в разных точках столицы, с удовлетворением разглядывая книжные стеллажи.

Авторы нашего сборника, выступившие даже с небольшими текстами, в одночасье стали известными. Им это потом не раз пригодилось в жизни — лучшей «визитной карточки» было не придумать. Получил известность курьезный случай, когда некий немолодой заслуженный профессор прилетел в командировку в Канаду и буквально с первых часов был атакован большим числом жаждущих лично и в подробностях выслушать его точку зрения на феномены «тоталитаризма вообще» и «сталинизма в частности». Профессор вообще-то занимался совершенно другими сюжетами и не мог понять причины столь настойчивого интереса. Он мужественно отбивался, но, не будучи специалистом, вынужден был отделяться общими фразами, но и они, на удивление, «шли на ура», а пару раз даже вызвали овацию. Станный визит уже подходил к концу, когда профессор сообразил, что его попросту спутали с сыном-историком (моим хорошим другом), опубликовавшим в нашем сборнике небольшую, но яркую и в чем-то провокативную статью. А рекламу нашей книги в Канаде, как оказалось, организовал участник сборника,

профессор Университета Гвелфа (Онтарио) Фред Эйдлин, умудрившийся раструбить про наш с ним «Тоталитаризм» на весь североамериканский континент. В самом деле, когда на авансцену выходят Петровская, Любомирова или Ярцева, поневоле забудешь о Хайеке с Бжезинским.

Но даже суперудачный проект, в одиночку, не способен сплотить научное поколение. Вдогонку за «Тоталитаризмом», мы организовали собственный «журнал-альманах социально-философской компартивистики» (под моим редакторством) с претенциозным названием «Параллели», где с успехом печатались набравшие хороший писательский темп молодые авторы: А.В. Смирнов, Л.В. Поляков, В.А. Подорога, М.К. Рыклин, Н.В. Любомирова, Э.В. Надточий, С.Н. Зимовец.

А потом последовал ряд новых масштабных конференций, закрепивших «Волхонку, 14» в качестве самой престижной межинститутской площадки Москвы: «Реформаторство и контрреформаторство в России» (1991), «Россия в поисках идентичности» (1992), «Российское западничество» (1993). В те годы в Институте философии нередкими и всегда желанными гостями стали наши старшие друзья, имевшие заслуженную репутацию в науке: А.С. Ахизер, Г.Г. Водолазов, Ю.Н. Давыдов, В.А. Найшуль, Ю.С. Пивоваров, В.Л. Шейнис, Е.Б. Рашковский, В.Г. Хорос и др. Помню интереснейшие выступления на нашей конференции по «русскому западничеству» бывшего первого вице-премьера и Госсекретаря России Г.Э. Бурбулиса, выдающегося итальянского русиста Витторио Страда, молодого профессора Стэнфордского университета (впоследствии американского посла в Москве) Майкла Макфола.

В те удивительные годы мы прочно сдружились с нашими старшими коллегами по Институту, всегда тяготевшими в своих философских исследованиях к русской проблематике. Назову лишь три ключевых фигуры: Игорь Константинович Пантин, Александр Сергеевич Панарин, Вадим Михайлович Межуев. Всех троих я считаю своими бесспорными учителями, притом, что впоследствии мне довелось довольно долго быть их формальным служебным «начальником».

В жизни каждого научного поколения всегда, при желании, можно разглядеть два периода: этап, когда это поколение консолидируется, наращивая общий (во многом неразложимый на части) потенциал, — и другой, неизбежно следующий за первым: когда происходит раскол первоначального «ядра», и сумма усилий уже совершенно автономных ученых начинает заметно превышать «командный» результат. Индивидуальные «прорывы» неизбежно рвут поколенческую ткань. А, с другой стороны, искусственное (уже имитационное) пролонгирование «коллективного творчества» тормозит индивидуальную работу, которая, в конечном счете, и определяет итоговую судьбу философа.

В 1990 г. у меня появилась возможность длительной командировки в Париж в Дом наук о человеке по линии «стипендии Дидро». Поехал я по квоте «политических социологов», получив в Институте письменные рекомендации Нели Васильевны Мотрошиловой (моего тогдашнего заведомо) и Бориса Андреевича Грушина, за что я им бесконечно благодарен. Ведь я еще со спецшколы был убежденным «франкофоном», и над моей кроватью годами висела карта старого Парижа, которую я изучил в малейших деталях. В короткой, еще «комсомольской», поездке во Францию в 1985 г. я, помнится, поразил русскоязычного «сопровождающего», когда, после общей экскурсии по Монмартру, проложил кратчайший путь («огородами») к ближайшей станции метро — это был триумф моего заочного знания Парижа.

Я здесь опускаю детали моей стажировки во Франции в 1990–1993 гг. — они не имеют прямого отношения к сегодняшнему специальному разговору о «научных поколениях». Не могу, однако, не вспомнить, что именно тогда, в столице Belle France, укрепилась моя дружба с такими уникальными, на мой взгляд, представителями моего философского поколения, как Михаил Кузмич Рыклин и Виктория Георгиевна Лысенко (для меня просто Вика). И еще: всякий раз, когда я возвращался из Парижа в Москву, я обязательно привозил с собой «чемодан ксероксов» — копий оригинальных текстов русских философов-эмигрантов: Бердяева, Франка, Струве, Вышеславцева, Федотова, Степуна, Вейдле. Эти ксерокопии потом расходились среди моих институтских коллег (право «первой ночи» всегда было, конечно, за ними), а потом и по остальной Москве. Могу сказать, что, если кто-то из моих соотечественников когда-то «вышел из шинели» Гоголя или, наоборот, Дзержинского, то моя докторская диссертация, защищенная в Институте в 1994-м году, — точно «вышла» их тех парижских чемоданов.

Еще в 1993 г. наш тогдашний директор Вячеслав Семенович Степин предложил мне возглавить в Институте новое подразделение — «лабораторию философских проблем этнологии» (чуть позже переименованную в «сектор»), призванную произвести интеллектуальную санацию проблематики «национальных отношений», всё с большим скрипом проходившую ранее по ведомству «научного коммунизма». В мою лабораторию (сразу или спустя небольшое время) вошли: А.В. Захаров, Н.Н. Козлова, Л.В. Поляков, В.П. Перевалов, В.С. Малахов, Е.А. Патуткова, Н.В. Любомирова, Э.В. Надточий, С.Н. Зимовец. Повезло нам и с секретарями — Анной Петровой и Мариной Болдыревой. А в 1994 г., после защиты докторской на тему: «Социальная деградация как феномен исторического процесса (проблема «нового варварства» в философско-историческом контексте)», меня

назначили заведующим внушительным даже по тем временам (девять секторов, более ста сотрудников) Отделом социальной философии и философской антропологии. Вот в этой точке, парадоксальным образом, и закончилась, наверное, восходящая линия моего «бригадирства» среди сверстников. «Вертикальные» отношения победили связи горизонтальные — не «нокаутом», конечно, но «по очкам» точно. Думаю, мои товарищи мало потеряли от этой перемены — у всех у них тоже обозначилась своя, индивидуальная, уникальная «траектория».

Некоторые из коллег, почувствовав дефицит преподавательского общения с «новой молодежью», ушли в перспективные университеты: Леонид Поляков — в Вышку; Наташа Козлова и Александр Захаров — в РГУ. Почувствовав вкус к «свободе выезда» и международному признанию, уехали в зарубежные университеты и центры Дмитрий Ханин, Наталья Любомирова, Эдуард Надточий, Сергей Зимовец. С некоторыми из них я потерял связь, и, наверное, лучше осведомлена об их судьбе «наша» заведомо кадров Наталья Владимировна Коваленко. До меня доходили слухи, например, что некоторые из философов-беглецов выходили на связь с Институтом, чтобы оформить российские пенсии. Да, в природной смекалке моему поколению точно не откажешь.

Но многие «восьмидесятники», несмотря на все внешние соблазны, по-прежнему хранят верность Институту и находятся в отличной профессиональной форме. К нашему кругу еще вполне можно «лепиться», и речь здесь не только о естественном «омоложении кадров». В свои последние годы жизни ко мне в сектор пришли работать (именно работать!) такие корифеи нашей философии, как Вадим Михайлович Межуев и Вадим Львович Рабинович. Видимо, им было комфортно у нас, а нам очень хорошо работало (и отдыхалось!) с ними. Светлая им обоим память!

Чем больше я размышляю о моем поколении, тем отчетливее понимаю его не только профессионально-философскую, но и нравственную специфику. У нас, к примеру, сложилось особое отношение к проблеме и сущности «власти». Во-первых, именно мы стали, наверное, первым в многовековой истории России научным поколением, которое получило возможность поставить проблематику власти в центр своих ежедневных профессиональных исследований, без особой оглядки на эту самую «власть». Были и до нас в России авторитеты в этом нелегком деле: от Радищева и Герцена до Авторханова и Амальрика — но все они, как известно, не слишком хорошо закончили. Я очень высоко ценю то, что сделали в области «философии власти» мои (плюс-минус) сверстники: Мария Федорова, Борис Капустин, Сергей Никольский и увы, уже ушедшие от нас Вадим Цымбурский и Сергей Королев.

Нам фантастически повезло в том смысле, что мы выросли, с одной стороны, поколением «непоротым» (ну, почти); а, с другой стороны, — поколением, органически не способным даже помыслить «пороть других». Я, конечно, не имею здесь в виду физическое, «тоталитарное», насилие. Но есть ведь еще и насилие *словесное*, которое я в своих работах называю *большевизмом*, отличая его от *тоталитаризма*. Среди русских интеллигентов, как не раз отмечено в литературе, всегда было много охотников и умельцев поиграть в национальную забаву «Кто виноват?». Чего греха таить, свои «большевички» завелись даже внутри поколения шестидесятников, в целом очень здорового интеллектуально. Придя при Горбачеве к власти, они по принципу «мели, Емеля, твоя неделя», с наслаждением, например, громили несчастных «стариков» с высоких трибун ведомственных съездов — писательских, кинематографических и т.д. Об одном таком шестидесятнике-большевике хорошо написал любимый мною поэт-мудрец Эрих Соловьев: «И стал орудьем, вроде вил, у ворошилы Климова...» Кто знает — тот, как говорится, поймёт...

И я вспоминаю в аналогичных ситуациях людей моего поколения. Как мы, например, оказавшись продвинутыми наверх, с какой-то особой бережностью сохраняли на ключевых научных позициях нашу «старую гвардию» — философов-мудрецов, у которых мы учились. Помню, ко мне, как к многолетнему заведующему социально-политологическим отделом Института, не раз аккуратно подступались председатели двух наших диссертационных советов, «социального» и «политологического», Юрий Константинович Плетников и Игорь Константинович Пантин: «Не пора ли, мол, уступить дорогу молодежи?». И получали и от меня, и от М.М. Федоровой, и от С.А. Никольского неизменно один и тот же ответ: «Очень просим вас, оставайтесь как можно дольше...». И никогда потом об этом не жалели...

Помню также, как будучи в начале 1990-х гг., волею прихотливого случая, приближены к новому «российскому трону», мы, с Александром Рубцовым (оба тогда молодые кандидаты наук), не поддались на подначки горячих голов о необходимости «кардинальных реформ в Академии» и всегда спокойно отвечали: «Не мы строили — не нам и рушить». К сожалению, в отличие от той эпохи, нынешняя оказалась менее щепетильной и щадящей по отношению к престижу Академии. Пандемия игры в «Кто виноват?» опять гуляет по России.

В заключение скажу, что любое явление просматривается и оценивается не столько изнутри, сколько «со стороны» — так, как известно, намного виднее. Прекрасно сказал об этом Борис Леонидович Пастернак, у которого в 2020-м году юбилей — 130 лет со дня рождения. Принципиальные для меня

статьи о Пастернаке-мыслителе я уже отослал в два авторитетных журнала, которыми не первый год и весьма успешно руководят выходцы из моего поколения,— Марине Быковой в США, в «Russian Studies in Philosophy», и Андрею Смирнову в «Философский журнал».

*Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать...*

апрель-май 2020 г.

Раздел второй

ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ

МЕЖДУ ФИЛОСОФСКОЙ КРИТИКОЙ И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ АПОЛОГЕТИКОЙ (об уровнях бытования человеческих идей)

Вопрос о соотношении *философии* и *идеологии* давно занимает умы людей мыслящих — в том числе в России. Еще Н. А. Бердяев, в статье «Философская истина и интеллигентская правда», открывавшей знаменитый сборник «Вехи» (1909), пытался аналитически развести и противопоставить философию, как творческое, новаторское мышление, — и идеологию, как сознание кружковое, «направленческое», озабоченное достижением утилитаристской, корпоративной выгоды. Русская интеллигенция, — писал Бердяев в «Вехах», — «готова принять на веру всякую философию под тем условием, чтобы она санкционировала ее социальные идеалы»¹. И эта же интеллигенция «без критики отвергнет всякую, самую глубокую и истинную философию, если она будет заподозрена в неблагоприятном или просто критическом отношении к этим традиционным настроениям и идеалам»².

Большевистский переворот в России и установление монопартийного идеократического режима, массовый исход культурного класса и принудительная высылка десятков профессиональных философов (феномен «философского парохода») придали новую актуальность академической, казалось, проблеме. Советская власть, поначалу декларируя свою просвещенность и даже прогрессистскую «авангардность», одно время заявляла о неизбежности «расцвета философии в стране победившего социализма» и даже демонстративно пошла на учреждение в центре Москвы не имеющего аналогов в мире «Института научной философии» под руководством авторитетного философа Г. Г. Шпета. Однако накотившие вскоре волны чисток внутри новоучрежденной институции привели к тому, что в ней, через короткое время, остались адепты лишь одного-единственного направления — догматического марксизма. «Институт», заявленный как *философско-плюралистический* (первоначальный состав сотрудников вроде давал к этому основания), очень скоро превратился в *моно-идеологический*. Сам Густав Густавович Шпет недолго оставался директором и вскоре был отставлен, а потом и репрессирован.

¹ Бердяев Н. А. Философская истина и интеллигентская правда // Вехи. Сб. статей о русской интеллигенции (репринтное издание). М.: Новости, 1990. С. 10.

² Там же.

Остается констатировать, что в России, в очередной раз, идеократическая, строго-иерархичная система *не выдержала испытания философией*³. Подтвердилась констатация Бердяева, сделанная на основе анализа явлений 1905–1907 гг.: «В революционные дни опять повторилось гонение на знание, на творчество, на высшую жизнь духа... Доминируют всё те же моральные суждения, какие бы новые слова ни усваивались на поверхности»⁴. Разгром немарксистской философии в Советской России подтвердил отмеченную «веховцами» еще в начале прошлого века «почти маниакальную склонность оценивать философские учения и философские истины по критериям политическим и утилитарным»⁵.

Интеллектуальные усилия, направленные на выявление принципиальной разницы между философией и идеологией, были активно продолжены в русской эмиграции — представителями как раз той самой корпорации, которая была вычищена из большевистской Совдепии. К примеру, один из самых молодых эмигрантов первой волны, можно сказать, «последний из могикан» русского Серебряного века, Владимир Васильевич Вейдле, предложил, в развитие дореволюционных интуиций философов-веховцев, концепцию отечественной культуры, в основе которой — противоположение «*философского мировоззрения*» (которое, согласно Вейдле, всегда вырабатывается творческим личностным усилием) и «*идеологии*», тяготеющей к масовидности и партийному упрощению.

«Мировоззрение, — писал Вейдле в одной из своих поздних эмигрантских работ, — нестрогое единство, мыслительная протоплазма личности... Идеология — система идей, более или менее умело, но всегда нарочито и для известной цели спаянных друг с другом; *система мыслей, которых никто более не мыслит* (курсив мой. — А.К.). Их принимают к сведению и тем самым к руководству; мыслить их, это значило бы подвергнуть их опасности изменения. К личности идеология никакого внутреннего отношения не имеет, она даже и навязывается ей не как личности, а как составной части коллектива или массы, как одной из песчинок, образующих кучу песка»⁶.

В развитие концепции Вейдле, я готов предложить такую формулу: *философские идеи промысливаются — идеологии постулируются*⁷. Действительно, философия — это мышление новаторское, а, стало быть, — *критическое*. Интенция

³ Кара-Мурза А.А. Испытание философией. Философия в императорской России перед «Великими реформами» 1860-х гг. // Вопросы философии, 2022, № 7. С. 39–47.

⁴ Бердяев Н.А. Философская истина и интеллигентская правда. С. 7.

⁵ Там же.

⁶ Вейдле В.В. Только в Россию можно верить. О сборнике «Из-под глыб» // Вестник РСХД, 1974, № 114. С. 247.

⁷ Кара-Мурза А.А. Как идеи превращаются в идеологии: российский контекст // Философский журнал, 2012, № 2 (9). С. 27–44.

мышления действительного философа — уйти от устоявшейся очевидности, заместить вчерашнюю очевидность свежим взглядом. Обновление картины мира через ее профессиональную критику — вот сверхзадача философа.

В отличие от философии, идеология есть сознание по-преимуществу *апологетическое*. Разумеется, многие идеологии перенасыщены критическими инвективами в адрес своих идейных оппонентов. Но вся эта критика является лишь предварительным и подготовительным действием перед главным актом идеологии — постулированием собственной неоспоримости. Декларация своей абсолютной истинности — это, как ни парадоксально, кредо идеолога, а не философа, ибо подлинный философ понимает недостижимость абсолютной истины. Прав был инициатор «Вех» М.О. Гершензон, когда в Предисловии к сборнику 1909 г. писал, что доктринерское осуждение оппонентов с высоты якобы познанной истины — это удел той части интеллигенции, чья идеология покоится «на признании безусловного примата общественных форм» («внешних форм общежития») над «внутренней жизнью личности», эманацией которой только и может явиться философское мышление⁸.

Разумеется, любая утилитаристская идеология нуждается в элементах философии, как в строительном материале, который она потом будет комбинировать в своих целях и по своему произволу. Прав Бердяев, когда говорил, что у русской «интеллигентчины» (другое его определение: «интеллигентское мещанство») всегда находились «свои кружковые, интеллигентские философы и своя направленская философия (этот термин ввел в нашу литературу писатель П.Д. Боборыкин. — А.К.), оторванная от мировых философских традиций»⁹. В этом смысле идеи одних мыслителей (Бердяев называет Чернышевского, Лаврова, Бельтова-Плеханова) были удобным материалом для конструирования идеологий; другие же (Юркевич, Лопатин) — крайне мало подходили для этого и потому были отброшены.

Парадокс, однако, состоял в том, что в поисках возможностей реализовать свой корпоративно-утилитаристский, «направленческий» идеал, идеологизированная часть интеллигенции всегда была готова ухватиться, как за костыль, за любую, даже самую рафинированную, европейскую философию. Тот же Бердяев остроумно заметил, что революционная русская интеллигенция нео-народнического толка «начала даже Канта читать потому только, что критический марксизм обещал на Канте обосновать социалистический идеал»¹⁰. Кстати, потом, уже внутри большевистского крыла русской социал-демократии, другая часть интеллигенции (группа Богданова-Луначарского) «принялась даже за с трудом переваримого Авенариуса, так

⁸ Гершензон М.О. Предисловие // Вехи. Сб. статей о русской интеллигенции. С. 4.

⁹ Бердяев Н.А. Философская истина и интеллигентская правда. С. 9.

¹⁰ Там же. С. 11.

как отвлеченнейшая, чистейшая философия Авенариуса без его ведома и без его вины представилась вдруг философией социал-демократов»¹¹.

Яркий пример мутации успешной поначалу философской рефлексии в идеологическую апологетику дает нам судьба «Немецкой идеологии» Маркса и Энгельса. Попытка двух авторов развенчать идеологические амбиции Бруно Бауэра или Макса Штирнера и создать чисто научное, практическое знание, привела к тому, что работа Маркса и Энгельса сама стала в еще большей степени идеологическим текстом, чем достаточно скромные опыты Бауэра или Штирнера. Ну а потомки, как известно, довершили дело: найденная и опубликованная только в 1930-е гг. рукопись «Немецкой идеологии», во многом черновая и неоконченная (о которой сами авторы скромно писали: «Наша цель была — уяснить дело самим себе»), превратилась из кабинетного аналитического опыта, местами остроумного и полезного, в одну из главных идеологических дубин «всепобеждающего учения».

Кстати, именно русская эмиграция решила в основном эту «загадку Маркса»: как самобытнейший мыслитель-критик превратился (или был превращен) в идеолога-апологета? На этот вопрос, например, убедительно ответил Ф.А. Степун в своей статье «Любовь по Марксу», изданной в 1933 г. в Париже в журнале «Новый град» (который Степун редактировал вместе с Г.П. Федотовым и И.И. Бунаковым-Фондаминским). Степун писал, в частности, что Маркс, по его мнению, был «одним из самых многосторонних и культурных людей своего времени», и согласился с характеристикой Маркса как «утонченного гурмана культуры»¹². Отмечая «внутреннюю чуждость» Маркса «всякому культурному упрощенству», Степун констатировал «неповинность Маркса в цивилизаторском варварстве». Но тогда чем объяснить, задается вопросом Степун, что именно именем Маркса «не только прикрывается, но и подлинно творится тот разгром культуры, что вот уже много лет буйствует в России?»¹³.

По мнению Степуна, в марксизме изначально существовало очевидное противоречие. В идейном смысле философско-социологическая концепция Маркса и по своим истокам, и по своей сущности была классическим выражением буржуазной культуры. А вот «в своем особом идеологическом преломлении», иными словами, «по своим практически-политическим заданиям», марксизм выступил «непримиримым врагом буржуазной культуры»¹⁴. Таким образом, оппозиция «философия» и «идеология» вполне может быть заложена в ту или иную авторскую концепцию *изначально*.

¹¹ Там же.

¹² Степун Ф.А. Любовь по Марксу // Новый Град, 1933, № 6. С. 13.

¹³ Там же.

¹⁴ Там же.

Остается добавить, что, по нашему мнению, существуют не два, а *три уровня*, три «этажа» бытования идей. Первый — это собственно *идеи*, прорывные догадки, в том числе философские. Это уровень персонализированный и предельно индивидуализированный; здесь каждая идея — авторски маркирована.

Второй уровень — это пространство «*идеологем*», т.е. идейных конструкций, еще хранящих память об их персональном авторстве, но уже переименованных (иногда не только банализированных, но и уже деформированных), обросших партийной, или «направленческой», оболочкой. Идеологемы — это сгустки не персонального, творчески-авторского, а уже корпоративного, вторичного, ретранслирующего сознания. Идеологемы — это пока локальные «идейные сборки», в которых фиксируется, постепенно накапливается и отвердевает коллективное сознание. Это идеи-пароли, которыми партийные группы самоопределяются в публичном пространстве, собирают (агрегируют) свои корпоративные интересы, опознают, кто здесь «свой», а кто — «чужой». Идеологемы — это уже не идеи, но еще не идеологии.

И, наконец, третий этаж бытования идей — это собственно идеологии, прочно зафиксированные идейные комплексы, имеющие свою непрерывающую догматику и целый сонм идеологов-пропагандистов, обслуживающих идеологический дискурс власти. Идеологии — это конечная станция пути от «любви к истине» к «воле к власти». Детальная реконструкция этой траектории (Вл. Соловьев, изучая метаморфозы русской славянофильской идеи, называл ее «вырождением»¹⁵) — одна из интереснейших задач историко-философского исследования.

Литература

Бердяев Н.А. Философская истина и интеллигентская правда // Вехи. Сб. статей о русской интеллигенции (репринтное издание). М.: Новости, 1990. С. 5–26.

Вейдле В.В. Только в Россию можно верить. О сборнике «Из-под глыб» // Вестник РСХД, 1974, № 114. С. 240–257.

Гершензон М.О. Предисловие // Вехи. Сб. статей о русской интеллигенции (репринтное издание). М.: Новости, 1990. С. 3–4.

Кара-Мурза А.А. Испытание философией. Философия в императорской России перед «Великими реформами» 1860-х гг. // Вопросы философии, 2022, № 7. С. 39–47.

Кара-Мурза А.А. Как идеи превращаются в идеологии: российский контекст // Философский журнал, 2012, № 2 (9). С. 27–44.

Соловьев В.С. Славянофильство и его вырождение // Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева (под ред. С.М. Соловьева и Э.М. Радлова). Т. 5. СПб.: Просвещение, 1912. С. 181–244.

Степун Ф.А. Любовь по Маркусу // Новый Град, 1933, № 6. С. 12–22.

¹⁵ Соловьев В.С. Славянофильство и его вырождение // Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева в 10 тт. (под ред. С.М. Соловьева и Э.М. Радлова). Т. 5. СПб.: Просвещение, 1912. С. 181–244

ФИЛОСОФИЯ В РОССИИ И РУССКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА

«Русская философия» и «философия в России» — понятия, конечно же, не тождественные¹. Прежде всего, русская философия творилась и вне пределов России. Карамзин, которого Борис Эйхенбаум назвал «нашим первым философом»², писал свою философскую тревэлогию «Письма русского путешественника» в Европе (в Германии, Швейцарии, Франции и Англии), где был вынужден скрываться от преследований изощренного екатерининского провокатора, князя Гагарина, метко прозванного современниками «Тартюфом»³. Да и в двадцатом столетии высланные большевиками за границу отечественные интеллектуалы (мы недавно отметили столетие печальной памяти «философских пароходов») продолжали, вне всяких сомнений, оставаться *русскими философами* — и в Берлине, и в Париже, и в Праге, и в Белграде. Их, кстати, везде так и воспринимали.

С другой стороны, в пределах самой России (Московского царства, Российской империи, короткой «демократической республики», СССР, России постсоветской) философствовали и продолжают философствовать не только русские по языку и культуре. Хотя, надо добавить, очень часто это бывают интеллектуалы, нерусские по культуре, но являющиеся *россиянами* по своему государственно-политическому гражданству. Я, востоковед по образованию, не устаю приводить своим студентам такой пример. Если сегодняшний россиянин-мусульманин в Казани или Уфе, окончивший медресе, а потом, например, египетский или саудовский университет (явление не такое

¹ Темой самоопределения отечественной философской традиции сектор философии российской истории ИФ РАН занимается более тридцати лет. См. напр.: Философия «русской идеи»: Россия и Европа (участники «круглого стола»: А.А. Кара-Мурза, Н.В. Любомирова, В.С. Малахов, В.П. Перевалов, Л.В. Поляков) // *Общественные науки и современность*, 1991, № 5. С. 143–154; Малахов В.С. Возможна ли философия по-русски? // *Логос*, 1996, № 8. С. 117–131; Межуев В.М. «Русская идея» и универсальная цивилизация // *Куда ведет кризис культуры? Опыт междисциплинарных диалогов*. М., 2011. С. 427–451.

² Эйхенбаум Б.М. Карамзин // *Эйхенбаум Б.М.* О прозе. Л., 1969. С. 205. Эйхенбаум точно заметил, что *философичность* исторических текстов Карамзина определялась тем, что «здесь — не просто обоснование исторических занятий, но определение состава исторической эмоции, оправдание самой обращенности к прошлому, и притом оправдание *эстетическое* (курсив мой. — А.К.)» (Там же. С. 203–204). См. также: Кара-Мурза А.А. Тяжба о Карамзине. Юбилейные заметки // *Вопросы философии*, 2016, № 12. С. 106–110.

³ Кара-Мурза А.А. Швейцарские странствия Николая Карамзина (1789–1790). М.: Аквилон, 2016; Kara-Murza A. Traveler or Fugitive? A New Reading of Nikolai Karamzin's Letters of a Russian Traveler // *Russian Studies in Philosophy*, 2017, vol. 55, № 6. P. 410–421.

уж редкое), активно пишет философские тексты на арабском языке, то его корректно называть «российским мусульманским философом», но, конечно же, не русским философом, — он бы и сам не согласился с такой атрибуцией.

Самый знаменитый пример несовпадения «философии в России» и «русской философии» — великий немец Иммануил Кант, который, волею военно-политических коллизий, в 1758–1762 гг. оказался подданным российских самодержцев Елизаветы Петровны (которая захватом Восточной Пруссии сделала Канта россиянином — формально-юридически, разумеется), а потом и Петра III, который, будучи сам больше немцем, чем русским, вернул Кенигсберг, а заодно и немецкого философа Канта, в прусскую юрисдикцию. Чему, как мы знаем, Кант был крайне рад, хотя и успешно зарабатывал в годы оккупации частными уроками для русских офицеров.

Вопрос идентификации: *русский философ или философ в России?* — крайне непростой. Наш крупный историк европейской мысли В.В. Васильев столкнулся с этой дилеммой, занявшись историей публикации неким «*Andrei Koliwanov*» (имя очевидно русское) трактата на немецком языке «Наблюдения о человеческом духе и его отношении к миру»⁴. Установить подлинное имя автора было принципиально важным: ведь трактат мог претендовать именоваться первым профессиональным философским сочинением, написанным россиянином⁵.

Как известно, первоначально проф. Васильев высказал сенсационную и, замечу, очень греющую русскую душу догадку, что за псевдонимом «*Koliwanov*» скрывается не кто иной, как русский князь-рюрикович Андрей Иванович Вяземский (отец литератора П.А. Вяземского) — человек, энциклопедически образованный и объездивший в 1782–1786 гг. главные философские центры Европы⁶. К такому предположению активно подвигал тот факт, что именно псевдоним «*Колыванова*» Вяземский-старший выбрал для своей внебрачной дочери Екатерины, которую потом выдал замуж за своего младшего друга Карамзина.

Но, увы, в результате последующих разысканий, Васильев вынужден был признать, что под псевдонимом «Андрей Колыванов» писал действительно

⁴ *Koliwanov A.* Beobachtungen über den Geist des Menschen und dessen Berhältniß zur Welt. Altona, 1790.

⁵ *Васильев В.В.* Загадка Андрея Колыванова (предисловие переводчика) // Наблюдения о человеческом духе и его отношении к миру. Философский опыт Андрея Передумина Колыванова (1790). Калининград, 2003. С. 2–3.

⁶ Мои собственные исследования привели к заключению, что четырехлетнее европейское путешествие А.И. Вяземского (как ранее считалось — «с образовательными целями»), на самом деле было *вынужденным*: князь опасался возвращаться в Россию, где Екатерина II радикально меняла политические приоритеты (см.: Князь Петр Андреевич Вяземский и исторические судьбы России (к 225-летию со дня рождения). Материалы международной научной конференции // Вопросы философии, 2018, № 3. С. 8–11).

россиянин (т.е. поданный Российской империи), но *этнический немец*, выходец из Ревеля (Кольвань — это русское название города) по имени Христлиб Фельдштраух, окончивший знаменитый философский факультет в немецком Галле — отсюда и отмеченное профессионалами-современниками высокое качество текста⁷. Трактат немца Фельдштрауха, подданного русской императрицы Екатерины, — это, конечно, феномен *философии в России*, но никак не русской философии.

Неоднократно замечено, что в становлении отечественного философствования исключительную роль сыграли русская литература и философская публицистика. Именно они, чаще всего, и делали в России философию, как знание и практики, тяготеющие к универсальности и классическим образцам, идущим от античности, — *национально окрашенной русской философией*.

Само слово «публицистика» происходит от латинского *publicus* (общественный). Интересное определение этого феномена находим у Владимира Сергеевича Соловьева. В некрологе на кончину своего философского учителя — профессора Памфила Даниловича Юркевича, Соловьев написал: «Если высотой и свободой мысли, внутренним тоном воззрений, а не числом и объемом написанных книг определяется значение настоящих мыслителей, то бесспорно почетное место между ними должно принадлежать Юркевичу. Оставленные им философские труды не многочисленны и не обширны. Как и большая часть русских даровитых людей, он не считал нужным и возможным давать полное внешнее выражение всему своему умственному содержанию, выворачивать его наружу напоказ, он не хотел перевести себя в книгу, превратить все свое духовное существо в публичную собственность»⁸.

Итак, *publicus*, в самом широком смысле, согласно Соловьеву, — это «внешнее выражение умственного содержания» или «перевод духовного существа в публичную собственность». Если далее следовать соловьевской логике, «публикус», т.е. духовное содержание, представленное публично, многообразно и многослойно: для Памфила Юркевича, например, главным были университетские лекции. Поэтому вполне можно сказать, что и философия — это тоже важнейший сегмент и особая форма «перевода своего духовного существа в публичную собственность», иными словами — особая форма публичного самовыражения, его высшая, самая строгая, рационально откristаллизованная часть.

Поэтому очень часто в истории отечественной мысли оказывалось так: философская публицистика была не позднейшей трансляцией,

⁷ Васильев В.В. Христлиб Фельдштраух: альтернативное начало русской философии // Философские науки, 2014, № 5. С. 72–86.

⁸ Соловьев В.С. О философских трудах П.Д. Юркевича (1874) // Соловьев В.С. Собрание сочинений в 10 тт. Т. 1. СПб., 1911. С. 171.

«разжижением» для внимающей публики уже готовой философии, а, наоборот: публицистика очень часто становилась *восхождением к философии* — за счет всё более точного определения рождающихся в «публикусе» философских смыслов. Для истории русской мысли, например, XIX в. этот второй путь: от публицистики — к философии (а не наоборот) был не только обычным, но и во многом определяющим. Возьмем только самые громкие философские имена.

Мэтр русского славянофильства Алексей Степанович Хомяков в 17 лет сдал экзамен на степень кандидата математических наук при Московском университете. Затем, как известно, служил офицером конной гвардии. Всю жизнь был человеком с прекрасным техническим мышлением: изобрел свой вариант паровой машины (получил патент в Лондоне!), во время поражений Крымской войны испытывал у себя в Богучарове модель «дальнобойного артиллерийского ружья»... К формулировке философских смыслов пришел относительно поздно, а начинал с публицистики, оттачиваемой, добавлю, в салонных спорах — еще одной популярной в те времена форме «публикуса». И эта его публицистика — начиная от ранних работ «Мнение иностранцев о России», «Письма об Англии» и т.д. — не сразу, а очень постепенно, но неуклонно, отвердевала, кристаллизовалась в концепции, которые мы сегодня вправе называть философскими.

Александр Иванович Герцен окончил физико-математическое отделение Московского университета, а выпускную работу писал по астрономии Коперника, за которую был удостоен серебряной медали. Заказ на первые философские статьи получил, можно сказать, случайно — от издателя «Отечественных записок» Андрея Краевского (кстати, в отличие от Герцена, как раз выпускника отделения философии), разглядевшего в молодом Герцене незаурядного мыслителя-теоретика.

Константин Николаевич Леонтьев окончил медицинский факультет, был батальонным лекарем; в мирное время — домашним врачом, занимался литературой, где был замечен И.С. Тургеневым (в отличие от Леонтьева, учившегося на трех философских факультетах), был дипломатом. Философские тексты Леонтьева — тоже сравнительно поздние.

Отсюда вопрос: были ли Хомяков, Герцен, Леонтьев *профессиональными философами*? Разумеется, среди интеллектуальных корифеев русского XIX в. были и, как мы говорим, философы «по базовому образованию» — например, Михаил Никифорович Катков, который окончил философское отделение университета, потом преподавал там логику и историю философии. Но, парадоксально, как раз у Каткова собственно философских текстов практически нет, и мы можем с полным правом сказать, что для него, публициста *par excellence*, политическая журналистика вовсе не была формой трансляции

какой-то особой философии (за отсутствием таковой). Напротив, философская эрудиция Каткова (как и Ивана Тургенева) стала лишь важным подспорьем в литературной и политической борьбе.

Кстати, в 1885–1886 гг. в Москве имела место острейшая публицистическая дуэль между двумя профессиональными («сертифицированными») философами — Владимиром Соловьевым и Михаилом Катковым: речь тогда шла об актуальной и поныне теме — «государственном преподавании философии»⁹. Была ли та схватка двух философски образованных соперников борьбой *философской*, т.е. противостоянием разных философских систем? Думаю, нет. Это было столкновение двух политиков-публицистов — да, профессионально философски образованных. Соловьев тогда на страницах аксаковской «Руси» обвинял Каткова в «языческом обожествлении власти» — звучит вполне актуально!

В нашей историко-философской литературе все еще бытует такой нехитрый ход. Мыслителей сначала «пришпиливают» (как бабочек или жуков) к определенному философскому направлению, а уж потом начинают припоминать, какими они были при жизни. Возможно, так легче преподавать философию. Но я думаю, акценты надо сместить: «переживания» (почти всегда культурно локализованные и потому национально окрашенные) всегда предшествуют «рассуждениям» (более универсальным), и окончательная философская самоидентификация автора — это сравнительно поздний момент рационализации тех или иных первичных, «сердечных» (в терминах Юркевича) импульсов, которые поначалу получают свое выражение в более оперативных формах публицистики¹⁰. Философская системность, точность и строгость есть, повторяю, лишь результат позднейшего *дисциплинирования* этих протофилософских смыслов. При этом «сердечные импульсы» всегда важнее и глубже любых языковых техник: Петр Яковлевич Чаадаев писал свои «Философические письма» на французском языке, что не мешает ему оставаться, возможно, *самым русским* из отечественных мыслителей.

«Сердечные», а не рассудочные истоки любого философствования объясняют и подчас серьезные (и неоднократные) смещения философских траекторий — не всегда объяснимые с традиционных позиций. Почему тот или иной мыслитель сначала был либералом — потом вдруг стал консерваторм

⁹ «Штабом» соловьевской стороны стал тогда голицынский особняк на Волхонке, наш будущий «Философский дом», где в те годы располагалась редакция газеты «Русь» И.С. Аксакова. Напомню, что Соловьев некоторое время был активным сотрудником изданий Каткова; одно время даже военным корреспондентом его «Московских ведомостей» на турецкой войне. Но потом их пути резко разошлись.

¹⁰ См.: *Кара-Мурза А.А.* Откуда рождаются философские статьи? (Философское краеведение как метод и жанр историко-философского исследования) // *История философии в формате статьи.* М., 2016. С. 110–120.

(как тот же Катков); или: был славянофилом — потом стал западником — потом вроде снова славянофилом (так сплошь и рядом трактуют Владимира Соловьева).

Повторяю, устойчивые философские концепции не столь подвижны — по крайней мере, сначала. Меняются приоритеты и векторы первичных «переживаний» (всегда культурно обусловленных) — и только потом эти публицистические поначалу импульсы закрепляются в откristаллизовавшихся философских формах.

Литература

Васильев В.В. Загадка Андрея Кольванова (предисловие переводчика) // Наблюдения о человеческом духе и его отношении к миру. Философский опыт Андрея Передумина Кольванова (1790) (пер. с нем. В.В. Васильева). Калининград: Изд-во Калининградского гос. ун-та, 2003. С. 2–3.

Васильев В.В. Христлиб Фельдштраух: альтернативное начало русской философии // Философские науки, 2014, № 5. С. 72–86.

Кара-Мурза А.А. Швейцарские странствия Николая Карамзина (1789–1790). М.: Аквилон, 2016.— 110 с.

Кара-Мурза А.А. Тяжба о Карамзине. Юбилейные заметки // Вопросы философии, 2016, № 12. С. 106–110.

Кара-Мурза А.А. Откуда рождаются философские статьи? (Философское краеведение как метод и жанр историко-философского исследования) // История философии в формате статьи (ред. Ю.В. Синеокая). М.: Культурная революция, 2016. С. 110–120.

Князь Петр Андреевич Вяземский и исторические судьбы России (к 225-летию со дня рождения). Материалы международной научной конференции // Вопросы философии, 2018, № 3. С. 5–32.

Малахов В.С. Возможна ли философия по-русски? // Логос, 1996, № 8. С. 117–131.

Межуев В.М. «Русская идея» и универсальная цивилизация // Куда ведет кризис культуры? Опыт междисциплинарных диалогов (общ. ред. И.М. Клямкина). М.: Новое издательство, 2011. С. 427–451.

Соловьев В.С. О философских трудах П.Д. Юркевича (1874) // *Соловьев В.С.* Собрание сочинений в 10 тт. Т. 1. СПб.: Просвещение, 1911. С. 171–196.

Философия «русской идеи»: Россия и Европа (участники «круглого стола»: А.А. Кара-Мурза, Н.В. Любомирова, В.С. Малахов, В.П. Перевалов, Л.В. Поляков) // Общественные науки и современность, 1991, № 5. С. 143–154.

Эйхенбаум Б. Карамзин // *Эйхенбаум Б.М.* О прозе. Л.: Художественная литература, 1969. С. 203–213.

Kara-Murza A. Traveler or Fugitive? A New Reading of Nikolai Karamzin's Letters of a Russian Traveler // *Russian Studies in Philosophy*, 2017, vol. 55, № 6. P. 410–421.

Koliwanov A. Beobachtungen über den Geist des Menschen und dessen Verhältnis zur Welt. Altona: Pinkvoß, 1790.— 144 S.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ГЕНЕЗИСА И ТИПОЛОГИИ РУССКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА

Существуют ли национальные варианты либерализма?

Опыт успешной либеральной модернизации в странах Запада наглядно показывает, что либеральные традиции, например, в Англии, Франции или Германии *национально окрашены*, т.е. осуществление либерального проекта в этих странах стало возможным в результате глубоко самобытного национального социокультурного синтеза¹.

Известно, что либерализм в Англии (его родоначальником справедливо считается Джон Локк) изначально апеллировал к Священному писанию, как мощнейшей форме идейной легитимации. «Английский проект» затем успешно перекочевал в американские Штаты: Локк, как известно, лично сочинил конституцию Северной Каролины.

Французский либеральный проект, восходящий к Вольтеру и Монтескье, в отличие от английского, принципиально не апеллировал к религии (для Вольтера особенно — это невозможно). Его укоренение в период позднего абсолютизма произошло в результате последовательного синтезирования с социальными левыми идеями — ранне-демократическими идеями в духе Руссо. А уже на этапе бурного развития капиталистических отношений имел место еще один синтез — либеральных концепций с идеями социалиста Сен-Симона (как известно, основные лидеры французской буржуазной модернизации были убежденными сен-симонистами).

Сравнивая английский и французский либеральные проекты, можно заметить следующее важное различие. Если становление либеральной демократии в Англии происходило за счет постепенной демократизации аристократических либеральных прав и свобод, то во Франции, напротив, имел место принципиально иной процесс — либерализация демократии, т.е. постепенное насыщение либеральными смыслами генетически первичной радикальной демократии.

Что касается Германии, то ее либеральная модернизация, чтобы стать успешной, сумела, помимо социального аспекта, включить в искомый модернизационный синтез некоторые умеренно националистические идеи.

¹ Очерки истории западноевропейского либерализма XVII–XIX вв. (общ. ред. А.А. Кара-Мурзы). М.: Институт философии РАН, 2004; *Капустин Б.Г., Мюрберг И.И., Фёдорова М.М.* Этюды о свободе. Понятие свободы в европейской общественной мысли. М.: Аквилон, 2015.

Заметим, что националистами были и Фридрих Лист — либерал и конституционалист, ставший идеологом раннего немецкого капитализма, и Фридрих Науманн — крупнейший немецкий либерал, бывший еще и известным теологом.

Является ли русский либерализм «вторичным» по отношению к западному?

В 2017 г. в Москве должно появиться третье, значительно расширенное (уже в двух томах) издание книги «Российский либерализм: идеи и люди»². В новом сборнике биографических очерков, написанных крупнейшими отечественными историками мысли, особое место уделено проблеме генезиса русского либерализма во времена императрицы Екатерины II. Подобное «углубление в историю» (напомню: первое издание книги, вышедшее двенадцать лет назад, открывал очерк о реформаторе-конституционалисте александровской эпохи М.М. Сперанском) помогает четче прояснить истоки и причины генезиса либерализма в России, увидеть в этом взаимосвязь внутренних российских процессов и попыток имплантации общеевропейских образцов. Становится очевидным, что появление в России либеральных проектов (конституционно-реформаторских, просветительских и т.д.) является в первую очередь результатом осмысления причин и последствий всплесков внутренней «русской смуты» XVII–XVIII вв., связанных с крайней неустойчивостью авторитарно-приказного строя и его уязвимостью перед лицом «нового варварства». А это означает, что Россия, с некоторой задержкой, пришла к общеевропейскому выводу, лежащему в основе либерального проекта как такового: человеческой цивилизации угрожает не только «варварство снизу» (позднее Пушкин отчеканит формулу «бунта бессмысленного и беспощадного»), но и «варварство сверху», ибо самовольная, неправовая власть оборачивается, в конечном счете, главным врагом не только искомого гражданского строя, но и самой государственности.

Либеральный социокультурный (и в этом контексте — политический) проект, таким образом, состоит в том, чтобы с учетом национальной специфики промыслить и реализовать срединный путь между деспотизмом и хаосом, между Сциллой неправовой «Власти» и Харибдой неправовой «Антивласти». Роль Запада, как устоявшегося идентификационного зеркала для мыслящей России, становится, таким образом, более отчетливой: путь Запада является для российских либералов не только образцом для

² Российский либерализм: идеи и люди (ред. и сост. А.А. Кара-Мурза). М.: Новое издательство, 2004; Российский либерализм: идеи и люди. 2-е изд., расш. и доп. (ред. и сост. А.А. Кара-Мурза). М.: Новое издательство, 2007.

подражания, но и важным историческим уроком. И в этом смысле уроки западноевропейских революций (в первую очередь, Французской) также лежат в основе зарождения и развития отечественного либерализма.

Что понимать под либерализмом и кого считать либералом?

Многие годы занимаясь историей либерализма — и как философско-политического учения, и как практического социокультурного проекта, — я все более убеждаюсь в точности определения либерализма, данного патриархом российской гуманитарной науки Борисом Федоровичем Егоровым: «Под либерализмом понимается идеологический комплекс, аксиологической вершиной которого является свободная личность. На этой вершине, а иначе можно сказать — на этом идеологическом фундаменте, основано все желаемое социально-политическое здание: общество и государство служат свободной личности; господствуют экономические свободы и частная собственность, свобода вероисповеданий, свобода слова, терпимое отношение к “чужому”; предпочитают, в противовес революционным ломкам, мирные и постепенные реформы»³.

Это интегральное определение хорошо тем, что принципиально и точно вычленив «аксиологическое ядро» либерализма как идеологического комплекса (примат *свободной личности* в качестве общелиберального инварианта), оно оставляет простор для легитимации многообразных либеральных вариаций («либерализмов», по выражению Б.Г. Капустина), различающихся своими социокультурными и политическими «оболочками» («кожурой»). В этом смысле определение, сформулированное Б.Ф. Егоровым, позволяет очистить проблематику генезиса и типологии либерализма от многих проявлений субъективизма — «партийности», «вкусовщины» и т.п., — изрядно засоривших и деформировавших и без того сложнейшую для анализа проблему.

Характерно, что свое определение «либерализма» Б.Ф. Егоров сформулировал в работе под названием «Эволюция русского либерализма в XIX веке: от Карамзина до Чичерина»: для людей, привыкших считать монархиста, и даже «абсолютиста» Н.М. Карамзина безусловным консерватором, подобная формулировка звучит, конечно, парадоксально, если не вызывающе. Между тем, в логике Егорова, которую я считаю глубоко верной, причисление Карамзина (напомню, что 2016-й год — год его 250-летия) к либеральной традиции абсолютно естественно. По мнению Егорова, «у истоков независимой, личностной общественно политической мысли России стоит Н.М. Карамзин... От талантливой, яркой пропаганды внутренней свободы

³ Егоров Б.Ф. Эволюция русского либерализма в XIX веке: от Карамзина до Чичерина // Из истории русской культуры. Т. 5 (XIX век). М.: Языки русской культуры, 1996. С. 480.

человека, пропаганды европейского просвещения, что было характерно для молодого Карамзина, художника и публициста, идет прямая дорога к русскому либерализму средней трети XIX века»⁴.

Иными словами, ту или иную историческую фигуру — интеллектуальную или политическую — нельзя отлучать от либерализма только на том основании, что эта фигура является, к примеру, «монархической». Как показывает история, монархисты (а в определенные времена даже сами монархи — Екатерина II, Александр I, Александр II) вполне могли быть либералами, если они убежденно считали именно «монархию» *наилучшей формой* (т.е. оптимальной политико-юридической «оболочкой») для произрастания свободной личности, накопления ее блага и соблюдения индивидуальных человеческих прав.

Уместно напомнить, что подобный подход к «монархизму» и конкретно к Н.М. Карамзину был характерен в свое время и для историка-эмигранта В.В. Леонтовича (1902–1959) — автора классического труда «История либерализма в России»⁵. Как известно, Леонтович отводит Карамзину одну из первых глав в своем фундаментальном исследовании, аргументируя это тем, что «его (Карамзина — А.К.) идеи, его общий духовный подход и даже его личность сыграли положительную роль в развитии России как раз в либеральном направлении... Он старался всячески расширить те каналы, через которые могли проникнуть и действительно проникали в Россию либеральные идеи... Карамзин, как представитель сентиментального гуманизма, поддерживал как бы кристаллизацию некоторых укорененных в гуманизме предпосылок либерального мышления»⁶.

Еще важнее, по мнению Леонтовича, то, что Карамзин был убежден (и опыт правления Екатерины II подтверждал это), что «значительные элементы либеральной программы могут осуществляться и в рамках абсолютной монархии»⁷. Поэтому Карамзин (которого Леонтович называет «представителем либерального абсолютизма») «считал для абсолютной монархии возможным принять основные требования либерализма в качестве правительственной программы или даже в качестве основных принципов, на которых построено государство, при этом нисколько себе самой не повредив, и тем самым способствовал тому, чтобы направить русских монархов на путь либеральных реформ... По мнению Карамзина, не только возможно, но и необходимо, чтобы абсолютная монархия усваивала принципы либеральной идеологии. Проведение в жизнь либеральных реформ и принятие

⁴ Там же. С. 483–484.

⁵ Леонтович В.В. История либерализма в России (1762–1914) (пер. с нем. И. Иловайской; предисл. А. Солженицына). М.: Русский путь, 1995.

⁶ Там же. С. 98.

⁷ Там же.

либеральных методов управления государством являются требованием справедливости, а, следовательно, и требованием нравственным»⁸.

Таким образом, можно согласиться и с В.В. Леонтовичем, и с Б.Ф. Егоровым, что *либералом* человека (ученого, идеолога, политика) делает принципиальная центрированность его идей и действий на приоритете «блага свободной личности». Кто и что может обеспечить это приоритетное благо — самодержавный монарх, конституция, народное представительство или что-то иное — вопрос вторичный. Поэтому, до тех пор, пока тот же Карамзин в своих мыслях и сочинениях ставил во главу угла приоритет «свободной личности» — *он был либералом*. И, соответственно, Карамзин переставал быть либералом, когда вместо «свободной личности» его приоритетом становилось самодержавное Государство (например, в «Записке о древней и новой России»), а судьба и ценность человеческой личности оказывалась вторичной.

Могут ли славянофилы быть либералами?

Еще одним примером субъективистской «партийности» в исследовании проблематики генезиса и типологии отечественного либерализма является стойкое предубеждение русских западников против самой возможности причисления к русским либералам кого-либо из русских славянофилов. Между тем, наша история показывает, что из среды славянофилов могут произрастать выдающиеся русские либеральные интеллектуалы и практики — такие как И.С. Аксаков, А.И. Кошелев, кн. В.А. Черкасский, Д.Н. Шипов, М.А. Стахович и др. Разумеется, «западническое ухо», настроенное очень определенным образом, не может не быть уязвленным, слыша славянофильские утверждения, что, мол, «до Петра Великого на Руси было больше свободы», что «Петр убил русскую свободу» (или, как вариант: «окончательно добил ее») и т.п. С подобными утверждениями можно (и часто нужно) спорить *фактологически*, но отрицать их *либеральную природу* (т.е. центрированность на проблеме русской личности и ее свобод) неверно.

В этом контексте стоит, наверное, вернуться и к переоценке идейного наследия А.И. Герцена, конкретно, того периода его творчества, когда, разочаровавшись в Европе, Герцен стал апологетом т.наз. «общинного социализма». По-моему, мнению, Герцен и в этот период *оставался либералом par excellence*, ибо «русская община» показалась ему (в результате разочарования во всех иных вариантах) наилучшей оболочкой для сбережения искомой «свободы лица». Герцен, разумеется, никогда не идеализировал русскую общину, но он не мог не отметить, что, при всех ее недостатках и даже пороках, она — едва ли не единственный институт, который во всех драматических коллизиях нашей истории оказывался способным уберечь остатки «свободы лица». Еще

⁸ Там же.

в работе «Русский народ и социализм. Письмо Мишле» (1851) он перечислял эти несомненные заслуги общины в деле сбережения личности от натиска внешних, принудительных форм: «Община спасла русский народ от монгольского варварства и от императорской цивилизации, от выкрашенных по-европейски помещиков и от немецкой бюрократии. Общинная организация, хотя и сильно потрясенная, устояла против вмешательства власти»⁹.

А в известных «Письмах Линтону» (1854) Герцен в наиболее четком виде сформулировал те принципы, которые русская община имеет шанс (именно шанс — не более!) реализовать, чтобы обеспечить, в конечном счете, свободное развитие личности. Главное здесь в том, что община для Герцена — это возможный фундамент «очеловеченной собственности», народного низового самоуправления и представительства — модель, которую затем необходимо распространить на все общество: «Сохранить общину и дать свободу лицу, распространить сельское и волостное самоуправление по городам и всему государству, сохраняя народное единство, — вот в чем состоит вопрос о будущем России»¹⁰. Именно в этой парадоксальности герценовской позиции лежит разгадка того факта, что, спустя несколько десятилетий, деятели русского земского движения смогли с полным правом записать Герцена в ряд родоначальников либерального земства.

Герценовский расчет на общинное самоуправление, как прообраз будущего общенационального гражданского общества, оказался несостоятельным. Но это была еще одна попытка ответить на общий вопрос, волнующий русских либералов: как в России пройти между Сциллой реакции и Харибдой революции и уберечь на этом пути человеческую личность и ее достоинство?

Как соотносятся либерализм и религия?

Глубокая, метафизическая связь христианской религии с политическим воплощением либерального проекта вполне очевидна для евро-американской политико-философской мысли, но в современном российском контексте остается пока темой маргинальной, а для левых либералов радикального толка — в известном смысле и табуированной. Между тем, как уже было отмечено, либеральные учения в Англии, Германии, США — учения, закладывающие в основу национальных вариантов либерализма прямую религиозную санкцию, — дали свои политические плоды, в то время как отечественный либерализм в очередной раз оказался легковесен, не сумев обрести надежную метафизическую опору.

⁹ Герцен А.И. Русский народ и социализм // Герцен А.И. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль. С. 447–449.

¹⁰ Цит по: Плеханов Г.В. Избранные философские произведения. Т. 1. М.: Госполитиздат, 1956. С. 137.

В ряде работ я высказываю точку зрения, что в начале XIX в. русская мысль могла пойти по европейскому пути легитимации «свободы» через религию, и у истоков этого направления «христианского либерализма» стоял именно Н.М. Карамзин¹¹. Об этом говорят, например, некоторые материалы из личных бумаг Карамзина, по большей части не опубликованные при жизни автора. Вот, к примеру, фрагмент «К потомству», который передает разговор Карамзина с императором Александром I в 1819 г. (на французском языке). Став известным, этот документ вызвал полемику, которая продолжается и по сей день. Вот слова Карамзина (в переводе с французского Ю.М. Лотмана): «Государь! Я не боюсь ничего. Мы все равны перед Богом... Государь, я презираю скороспелых либералистов, я люблю только ту свободу, которую никакой тиран не может у меня отнять»¹². Замечу попутно, что часто встречающийся в литературе перевод карамзинской фразы «*je meprise les liberalistes du jour*» как «Я презираю сегодняшних либералов» является либо результатом плохого знания французского языка, либо сознательным подлогом. В своих статьях и лекциях я, в дополнение в лотмановскому, предлагаю такие варианты адекватного перевода: «Я презираю либералистов-одногодневок» или «Я презираю дежурных либералистов».

В конце жизни Н.М. Карамзин прямо и отчетливо подтвердил христианско-либеральную природу своей позиции (позиции больше культурно-этической, нежели политической) в «Мыслях об истинной свободе», написанных незадолго до смерти, в начале 1826 г.: «Можно ли в нынешних книгах или журналах без жалости читать пышные слова? Настало время истины; истиною всё спасем; истиною всё ниспровергнем... Для существа нравственного нет блага без свободы; но эту свободу дает не Государь, не Парламент, а каждый из нас самому себе, с помощью Божиею. Свободу мы должны завоевать в своем сердце миром совести и доверенностию к провидению!»¹³.

В середине XIX — начале XX вв. линию «христианского либерализма» успешно продолжили такие отечественные мыслители, как И.С. Аксаков, В.А. Караулов, М.А. Стахович, П.Б. Струве (и другие авторы «веховского направления»), а также Ф.А. Степун и Г.П. Федотов¹⁴.

¹¹ Кара-Мурза А.А. Карамзин, Шаден и Геллерт. К истокам либерально-консервативного дискурса Н.М. Карамзина // Филология: научные исследования, 2016, № 1. С. 101–106; Кара-Мурза А.А., Жукова О.А. Свобода и вера. Христианский либерализм в российской политической культуре. М.: Институт философии РАН, 2011.

¹² Карамзин Н.М. Неизданные сочинения и переписка. СПб., 1862, ч. 1. С. 9.

¹³ Карамзин Н.М. Из записной книжки. М., 1982. С. 161–162.

¹⁴ Кара-Мурза А.А., Жукова О.А. Свобода и вера. Христианский либерализм в российской политической культуре; Жукова О.А. К философии политической истории России: либерально-христианский синтез В.А. Караулова // Вопросы философии, 2011, № 6. С. 112–122; Жукова О.А. Национальная культура и либерализм в России (о политической философии П.Б. Струве) // Вопросы философии, 2012, № 3. С. 126–135.

Как соотносятся «свобода» и «порядок»?

Наконец, хочется по-новому расставить некоторые акценты и в еще одной активно обсуждаемой исследователями либерализма (в т.ч. отечественного) теме. В многолетнем и не утихающем споре о соотношении «свободы» и «порядка» давно определились две конкурирующие позиции.

Первая исходит из того, что либерализм — учение о свободном индивиду, проявляющем себя в разнообразных сферах. А проблематика «порядка», в свою очередь, сводится к тому, как из этих свободных индивидов создать устойчивое гармоничное общество. К сторонникам именно этой позиции примыкал, кстати, уже неоднократно цитированный В.В. Леонтович. Напомню принципиальный пассаж из его «Вступления» к «Истории либерализма в России»: «Основная идея либерализма — это осуществление свободы личности. А основной метод действия либерализма — это не столько творческая деятельность, сколько устранение всего того, что грозит существованию индивидуальной свободы или мешает ее развитию»¹⁵. Как видим, основной задачей либерализма Леонтович прямо провозглашает задачу *отрицательную* — устранение всех возможных помех индивидуальной свободе.

Я являюсь убежденным сторонником другой позиции, которая состоит в том, что проблема «порядка» является не производной функцией, а *имманентным свойством* любого ответственного идейно-политического течения, в т.ч. и либерализма¹⁶. По моему мнению, в том непрекращающемся споре различных идей и концепций, который представляет собой история философско-политической мысли, единственным допустимым критерием правоты может служить лишь практический ответ на вопрос, какая форма социальной организации эффективнее противостоит общественному хаосу. Прочность политических систем, также как устойчивость цивилизаций или культур, проявляется не в их непосредственном противостоянии друг другу, но в способности сдерживать внутренний энтропийный процесс. Поэтому генезис политической науки и философии один — ощущение опасности политического и социального небытия. Из этого же ощущения рождается либерализм — определенный тип решения все той же «экзистенциальной проблемы».

Задача либерализма, таким образом, именно *творческая*. Она состоит в том, чтобы дать собственные ответы на вполне универсальные вопросы, например, на такой: «как возможен социальный порядок, если он в данный момент отсутствует или находится под угрозой?» А собственно либеральный

¹⁵ Леонтович В.В. История либерализма в России. С. 1.

¹⁶ Кара-Мурза А.А. Свобода и порядок. Из истории русской политической мысли XIX–XX вв. М.: МШПИ, 2009.

ответ на этот вопрос состоит в следующем: «Общественный порядок возможен тогда и постольку, когда и поскольку допущена и защищена свобода человеческой личности». Таким образом, либерализм — это не просто умонастроение: «сентиментализм» или «скептицизм», к примеру, тоже умонастроения, но они не претендуют на роль идеологических концепций, тем более политических моделей. Либерализм не как простое умонастроение, а именно как особый принцип устройства общественно-политической жизни обязан встроить в себя проблематику социального порядка. И подлинный либерализм именно это и делает.

История успешного становления либерального проекта на Западе с очевидностью показывает: системный либерализм конституируется не столько на почве размягчения власти, и тем более не на почве интеллигентского морализаторства, сколько на основе жестко политологической констатации либеральными мыслителями деградации и перспективы краха традиционалистских моделей порядка. Либерализация при таком подходе — и есть способ *социального упорядочивания*, а индивидуальная свобода и гражданские права становятся надежной основой нового более эффективного социального порядка.

Сегодняшней России, как никогда, нужна реабилитация либерального проекта — не только как эмансипаторского, но и как глубоко конструктивного. А это означает, что на переднем плане наших исследований должно проявиться подлинное кредо либерализма — кредо не отрицательное, а творческое, промысливание и конструирование новой гармоничной социальности.

Литература

Герцен А.И. Русский народ и социализм // Герцен А.И. Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1986, т. 2.

Егоров Б.Ф. Эволюция русского либерализма в XIX веке: от Карамзина до Чичерина // Из истории русской культуры. Т. 5 (XIX век). М., Языки русской культуры, 1996. С. 480–490.

Жукова О.А. К философии политической истории России: либерально-христианский синтез В.А. Караулова // Вопросы философии, 2011, № 6. С. 112–122.

Жукова О.А. Национальная культура и либерализм в России (о политической философии П.Б. Струве) // Вопросы философии, 2012, № 3. С. 126–135.

Капустин Б.Г., Мюрберг И.И., Фёдорова М.М. Этюды о свободе. Понятие свободы в европейской общественной мысли. М., Аквилон, 2015. — 288 с.

Карамзин Н.М. Неизданные сочинения и переписка. Ч. 1. СПб.: Тип. Н. Тиблена, 1862. — 250 с.

Карамзин Н.М. Из записной книжки. М., 1982.

Кара-Мурза А.А. Карамзин, Шаден и Геллерт. К истокам либерально-консервативного дискурса Н.М. Карамзина // Филология: научные исследования, 2016, № 1. С. 101–106.

Кара-Мурза А.А. Свобода и порядок. Из истории русской политической мысли XIX–XX вв. М.: МШПИ, 2009. — 247 с.

Кара-Мурза А.А., Жукова О.А. Свобода и вера. Христианский либерализм в российской политической культуре. М.: Институт философии РАН, 2011.— 184 с.

Леонтович В.В. История либерализма в России (1762–1914) (пер. с нем. И. Иловайской; предисл. А. Солженицына). М.: Русский путь, 1995.— 444 с.

Очерки истории западноевропейского либерализма XVII–XIX вв. (общ. ред. А.А. Кара-Мурзы). М.: Институт философии РАН, 2004.— 226 с.

Плеханов Г.В. Избранные философские произведения. Т. 1. М.: Госполитиздат, 1956.— 848 с.

Российский либерализм: идеи и люди (ред. и сост. А.А. Кара-Мурза). М.: Новое издательство, 2004.— 616 с.

Российский либерализм: идеи и люди (2-е изд., расш. и доп.) (ред. и сост. А.А. Кара-Мурза). М.: Новое издательство, 2007.— 904 с.

ИСПЫТАНИЕ ФИЛОСОФИЕЙ. ФИЛОСОФИЯ В ИМПЕРАТОРСКОЙ РОССИИ ПЕРЕД «ВЕЛИКИМИ РЕФОРМАМИ» 1860-Х ГГ.

«Просветители» против «погасильцев»

Хорошо известна сентенция А.И. Герцена о *двухпартийности* как прочной константе российского бытия: «партия народного просвещения» всегда борется у нас с «партией народного затемнения». Еще ранее, в конце 1810-х гг., эту извечную русскую антиномию: «*просветители против погасильцев*» — искусно варьировал в своих выступлениях на полных заседаниях «Зеленой лампы» ее интеллектуальный лидер, литератор и дипломат А.Д. Улыбышев¹.

Заинтересованному современнику или исследователю-историку остается только верно определить истинную «партийную принадлежность» конкретных «актеров» на ниве отечественной политики и культуры, периодически натывающихся на рецидивы «внутреннего варварства»². Занимаемые этими персонажами посты и позиции, равно как и показные одежды, в которые они периодически рдятся, не должны вводить объективного наблюдателя в заблуждение: инициаторами очередного «затемнения» у нас зачастую становились официальные «министры просвещения», а то и первые лица государства.

Будущий декабрист А.Е. Розен, одно время служивший в гвардии под началом Великого князя Николая Павловича, вспоминал, как однажды будущий император, недовольный дисциплиной во вверенной ему дивизии, произнес фразу, ставшую впоследствии крылатой: «Господа офицеры, займитесь службою, а не философией: я философов терпеть не могу, я всех философов в чахотку вгоню!»³ Кто бы мог тогда предположить, что слова, вырвавшиеся из уст энергичного дивизионного начальника, третьего сына императора Павла I, не имевшего, казалось, никаких перспектив на престол, со временем станут идейным кредо долгого (1825–1855) и во многом определившего судьбу России царствования.

¹ Улыбышев А.Д. Письмо другу в Германию о петербургских обществах // Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. М., 1951, т. 1. С. 279–280; подробнее см.: Кара-Мурза А.А. Улыбышев и Пушкин о «дурном синтезе цивилизаций» («Азиопа» в свете «Зеленой лампы», 1819–1820) // Полилог, 2020, т. 4, № 4. С. 3.

² См.: Кара-Мурза А.А. «Новое варварство» как проблема российской цивилизации. М.: Институт философии РАН, 1995.

³ Розен А.Е. Записки декабриста. Иркутск: Восточно-Сибирское изд-во, 1984. С. 114.

Впрочем, гонения на Просвещение начались еще при позднем Александре Благословенном, впавшего, как известно, в последние годы жизни в откровенный обскурантизм (от лат. *obscurans* — «затемняющий», аналог русского «мракобесия»). Характерна в этой связи судьба одного из мэтров отечественного образования, воспитанника Геттингена и Гейдельберга Александра Петровича Куницына (1783–1840), преподававшего философию права, а также логику, психологию и этику в Царскосельском лицее, Главном пединституте, а затем и в воссозданном в 1819 г. Санкт-Петербургском Императорском университете. Определяющую роль Куницына в гражданском становлении культурного юношества той эпохи отчеканил талантливейший из его учеников — в черновиках к «Лицейской годовщине 19 октября 1825 г.» («Роняет лес багряный свой убор»):

*Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена...*

Закономерно, что начавшееся в 1820 г. очередное контрастступление родного мракобесия против отечественного же Просвещения (вошедшее в историю как «дело профессоров») поначалу было направлено персонально против А.П. Куницына. Одиозную славу «первого погасильца» примерил тогда на себя член Главного правления училищ Д.П. Рунич, усмотревший в труде правоведа и философа Куницына «Право естественное»⁴ противоречие «истинам христианского вероучения». Данная книга, доносил тогда Рунич, «есть не что иное, как пространный кодекс прав, присвояемых какому-то естественному человеку, и определений, совершенно противоположных учению Св. Откровения. Везде чистые начала какого-то непогрешимого разума признаются единственною, законною проверкой побуждений и деяний человеческих... Здесь говорится о каком-то внутреннем чувстве, похожем на совесть»⁵.

Настояв на увольнении Куницына из Санкт-Петербургского университета и обезглавив тем самым тамошнюю «партию просветителей», Рунич, получивший к тому времени пост попечителя округа, завершил в 1821 г. зачистку столичного университета, жертвой которой стали в том числе и профессора философии. Так, Александр Иванович Галич (1783–1863), автор двухтомной «Истории философских систем» (и, кстати, еще один царскосельский наставник Пушкина) был принужден к публичному покаянию,

⁴ Куницын А.П. Право естественное. СПб.: Тип. Иос. Иоаннесова, 1818.

⁵ Цит. по: Феоктистов Е.М. Магницкий. Материалы для истории просвещения в России. СПб.: Тип. Кесневилля, 1865. С. 13–14.

прося «не помянуть грехов юности и неведения...»⁶. Донос был написан и на престарелого профессора логики Петра Дмитриевича Лодия (1764–1829): в нем говорилось, что последняя книга философа⁷ «полна опаснейших по нечестию и разрушительности начал; а автор превзошел открытостью нечестия и Куницына, и Галича»⁸.

Аналогичную роль гонителя Просвещения сыграл в те же самые годы другой «попечитель», М.Л. Магницкий, — уже по отношению к Казанскому университету. В юности грешивший либерализмом и входивший в ближний круг реформатора-конституционалиста М.М. Сперанского, Магницкий, после опалы бывшего патрона, быстро переметнулся в ряды обскурантов. Отставленный в конце концов от всех постов за казнокрадство, он и в 1830-е гг. продолжал писать доносы на Сперанского, обвиняя того в подготовке «тайного масонского заговора».

Удивительно похожи типажи наших «погасильцев». В юности, тот же Рунич, пользуясь протекцией отца-губернатора, входил в круг «золотой молодежи», переводил сочинения Дидро, вольнодумствовал и много шалил. Похоже, именно к тем временам относятся воспоминания, которыми Рунич в глубокой старости (1854) опрометчиво поделился с пришедшим навестить его соседом по имени Д.Н. Родионовым: «Мне не спалось, и вдруг воскресло передо мной давно былое время моей юности. Я видел себя в Москве, в том обществе, которое слыло самым образованным, потому что наизусть знало Вольтера, Дидерота и Руссо; но не знало преград в удовлетворении своих хотений, среди роскоши и распутства»⁹.

Впав в неслыханную для него откровенность, Рунич припомнил один эпизод: «У князя N. после обеда барыни ушли на свою половину, а мужчины отправились в диванную. Нам подали халаты, мы одели колпаки и на турецких подушках, в комнате, освещенной пламенем от горевшей жженки, пели богохульные песни. Серебряная миска была неисчерпаемая, а гости становились все беспутнее и беспутнее. Песни, крики, говор, плеск вокруг синеватого огня: всё кружилось при хохоте и песнях этих ужасных!...»¹⁰

И далее полубезумный старик поведал гостю о своих ночных кошмарах, не подозревая, что картины его сумеречного подсознания когда-нибудь

⁶ Жуковская Т.Н. «Дело профессоров» 1821 г. в Санкт-Петербургском университете: новые интерпретации // Ученые записки Казанского университета. Сер.: Гуманитарные науки, 2019, т. 161, кн. 2–3. С. 96–111.

⁷ Лодий П.Д. Логические наставления, руководствующие к познанию и различению истинного от ложного. СПб.: Тип. Иос. Иоаннесова, 1815.

⁸ Цит по: Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии. Т. 2. Материалы. Реконструкция Татьяны Щедриной. М.: Российские пропилеи, 2009. С. 575.

⁹ Воспоминания Д.Н. Родионова // Русская старина, 1898, кн. 8 (август). С. 389–390.

¹⁰ Там же. С. 390.

всплывут в открытой печати: «И вот, всё это воскресло предо мной в ночной тиши, и через более полустолетия повторял я слова давно забытой той страшной песни, и ни от слов, ни от напева не мог я отделаться!... Так вот, теперь понял я те муки, которые души отшедших претерпевать будут в загробной жизни: им вспомнится до мельчайшей черты их деяний дурных, и это неотвязчивое воспоминание, при уразумении их нравственной нищеты и зла, которое от этого последовало, и составит тяжесть загробной кары!»¹¹

Выходит, что талантливый, возвышенный, совестливый философ Куницын и его товарищи-профессора пали жертвой персонажа, не только беспринципного, но и глубоко порочного. Нечто подобное случилось тремя десятилетиями ранее (в начале 1789 г.) с юным Николаем Карамзиным — ближайшим сотрудником лидера тогдашних «просветителей» Н.И. Новикова. Карамзин вынужден был бежать из России и долгие четырнадцать месяцев скитался по Европе: мы до сих пор как-то слишком буквально повторяем предельно самоироничное название его сочинения — «Письма русского путешественника»!¹²

А причиной фактической эмиграции 22-х летнего Карамзина были преследования со стороны обер-прокурора московского Сената, князя Г.П. Гагарина, которого свидетельница той драмы А.И. Плещеева метко назвала «Тартюфом»¹³: за показной набожностью Гагарина (как впоследствии и Рунич) скрывалась все та же нечистая совесть, полное осознание собственной червивости, а за обскурантистским активизмом — тот же тайный ужас перед Всевидящим оком Высшего судии. В 1780-х гг. Гавриил Гагарин, полиглот, автор философско-эзотерических текстов, большой поклонник Сведенборга, уловив смену настроений Екатерины II, покаялся перед императрицей и получил назначение на высокую должность в Москве, где, войдя в доверие к Новикову, занялся подготовкой разгрома московских масонов. В 1792 г. он выступит главным свидетелем на процессе против Новикова и его друзей-мартинистов.

Уже после смерти Гагарина граф Ф.В. Ростопчин представит в 1811 г. императору Александру I свои «Заметки о мартинистах», где о покойном «князе-оборотне» Гаврииле Гагарине сказано следующее: «Этот человек был гроссмейстером тайной масонской ложи в Москве и решился пристать

¹¹ Там же. С. 390–391.

¹² *Кара-Мурза А.А.* Философские дилеммы «Писем русского путешественника Н.М. Карамзина // Философские науки, 2016, № 11. С. 59–68.

¹³ *Крестова Л.В.* А.И. Плещеева в жизни и творчестве Карамзина // XVIII век. Сб. 10. Русская литература XVIII века и ее международные связи. Л.: Наука, 1975. С. 266; *Кара-Мурза А.А.* Загадка «Тартюфа». Неизвестные страницы европейского путешествия Н.М. Карамзина (1789–1790) // Николай Карамзин и исторические судьбы России. К 250-летию со дня рождения (общ. ред. и сост. А.А. Кара-Мурзы, В.Л. Шаровой, А.Ф. Яковлевой). М.: Аквилон, 2016. С. 361–375.

к мартинистам; но, узнав, что им грозит гонение, счел за лучшее избавиться от всякой ответственности и выслужиться посредством разоблачения вверенных ему тайн. Он сделался предателем единственно из страха... Это был человек умный, опытный в делопроизводстве, но корыстный, склонный к пьянству, погрязший в долгах и никем не уважаемый»¹⁴.

Отечественные «Тартюфы» поистине неистребимы, и первыми жертвами их, как правило, становятся по-настоящему верующие и искренние люди — Карамзин, Новиков, Сперанский, Куницын, *etc.*, действительно озабоченные «искрой Божией».

Европейские революции и конец «уваровского» Просвещения

Революционные вспышки в Европе 1848 г. всерьез напугали императорский Двор, только недавно отрешившийся от воспоминаний о попытке «декабристского» переворота и от последовавшей затем суровой расправы с дворянской фрондой. За неимением достоверной информации из Европы, петербургские власти (впрочем, и общество тоже) долгое время пробавлялись, преимущественно, слухами.

«События идут так быстро, что все догадки, ожидания и расчеты на будущее остаются далеко позади,— записал тогда в своем дневнике постепенно выходивший на государственную авансцену П.А. Валуев.— Наши псевдогосударственные мужи не знают, за что взяться. Другие придумывают сумасбродные распоряжения... В городе разносят уже бесчисленные нелепости о дальних областях самой империи. Вчера утверждали, что Тифлис и Варшава вспыхнули, и что в Риге в каком-то клубе из мебели соорудили баррикады»¹⁵.

Любопытен и взгляд на те же самые события «с другой стороны» — например, от набравшего общественный вес молодого доцента университета С.М. Соловьева, будущего отца философа В.С. Соловьева. «11 февраля 1848 года я женился,— вспоминал историк.— Но и медовый месяц был потревожен: не помню которого числа, после обеда тесть мой (морской офицер В.П. Романов, в 1826 г. привлекавшийся по «декабристскому делу».— А.К.), в доме которого я жил после свадьбы, принес журнал с известиями о февральской революции (в Берлине.— А.К.); прочитавши известия, я сказал: “Нам, русским ученым, достанется за эту революцию!” Сердце мое сжалось черным предчувствием»¹⁶.

¹⁴ Ростопчин Ф. Мысли вслух на Красном крыльце. М.: Институт русской цивилизации, 2014. С. 140–141.

¹⁵ Валуев П.А. Дневник графа Петра Алексеевича Валуева (1847–1860) // Русская старина, 1891, № 4 (апрель). С. 173.

¹⁶ Соловьев С.М. Избранные труды. Записки. М.: Изд-во Московского университета, 1983. С. 308.

Соловьев-старший как в воду глядел: репрессии в адрес русской науки и образования не заставили себя ждать. «Чудна эта земля Россия! — записал в дневнике один из самых известных мемуаристов XIX в., доктор философии (и одновременно государственный цензор) А.В. Никитенко. — Полторацта лет прикидывались мы стремящимися к образованию. Оказывается, что это были притворство и фальшь: мы улепетываем назад быстрее, чем когда-либо шли вперед. Дивная, чудная земля!»¹⁷. Никитенко отмечает, что, когда совсем недавно некоторые «горячие головы» пророчили закрытие университетов, «многие считали это несбыточным»: «Простаки! Они забыли, что того только нельзя закрыть, что никогда не было открыто»¹⁸.

Спустя несколько дней, записи Никитенко становятся еще тревожнее: «События на Западе вызвали страшный переполох на Сандвичевых островах... Наука бледнеет и прячется. Невежество возводится в систему... Еще немного — и всё, в течение полуторацта лет содеянное Петром и Екатериной, будет вконец низвергнуто, затоптано... И теперь уже простодушные люди со вздохом твердят: “видно, науки и впрямь дело немецкое, а не наше”»¹⁹.

Странна и двойка в те годы была роль такого видного персонажа русской истории, как граф Сергей Семенович Уваров (1786–1855) — министр просвещения, верный столп николаевского режима, а когда-то активный член либерального общества «Арзамас» с дружеским прозвищем «*Старушка*». Уварова нельзя назвать в полной мере ни «просветителем», ни «погасильцем»; в зависимости от обстоятельств (конкретно, от настроений наверху), он равно мог быть и тем, и другим — и очень убедительно.

«Двуликий», как у римского божества Януса, образ Уварова хорошо уловил близко знавший его С.М. Соловьев, нами уже цитированный. «Уваров, — пишет историк о многолетнем (1833–1849) министре просвещения, — был человек, бесспорно, с блестящими дарованиями... Но в этом человеке *способности сердечные нисколько не соответствовали умственным* (курсив мой. — А.К.). Представляя из себя знатного барина, Уваров не имел в себе ничего истинно аристократического; напротив, это был лакей, получивший порядочные манеры в доме порядочного барина (Александра I), но оставшийся в сердце лакеем»²⁰.

Вот это очевидное расхождение *способностей умственных* (которых у Уварова было в избытке) и его же *способностей сердечных*, и не позволяет в полной мере причислить Уварова к «партии культуры» — в отличие,

¹⁷ Никитенко А.В. Дневник: В 3 т. Т. 1. 1826–1857. Л.: Художественная литература, 1955. С. 312.

¹⁸ Там же.

¹⁹ Там же. 315.

²⁰ Соловьев С.М. Мои записки для детей моих, а если можно, и для других. Пг.: Прометей, 1915. С. 100.

например, от министра народного просвещения эпохи «великих реформ» А.В. Головнина, чье нравственное кредо полностью соответствовало занимаемому посту.

Нельзя, конечно, согласиться и с теми радикалами, которые, вслед за Белинским и Герценом, бескомпромиссно причисляли Уварова к «партии народного затемнения». Следует признать, что в своем противостоянии (пусть даже чисто карьерном) с такими одиознейшими «кромешниками», как Магницкий или Рунич, Уваров часто бывал на стороне Просвещения — так, как он его понимал.

В начале 1849 г., когда слухи о неизбежном закрытии университетов и замене их узкоспециальными учебными заведениями (на манер Училища правоведения) достигли апогея, министр Уваров, с целью успокоения общественности (а заодно и некоторого умиротворения властей предрержащих) поручил своему личному другу, профессиональному философу и талантливому литератору Ивану Ивановичу Давыдову (1794–1863), поклоннику Бэкона и Шеллинга, написать программную статью «О назначении русских университетов и участии их в общественном образовании», напечатанную потом при посредстве П.А. Плетнева в мартовском номере «Современника»²¹.

Статья эта, по-видимому отредактированная самим Уваровым, стала последовательным изложением «консервативно-просветительской» программы уваровского министерства. Задачей статьи было показать, что, в отличие от Европы, всегда готовой вспыхнуть от любой случайно брошенной в общество «горячей» идеи, Россия — цивилизация особая и напитанная высшими смыслами — имеет к таким «поджогам» иммунитет, помогающий выдержать любые испытания философией.

«На Западе, — писал Давыдов, — страсть к преобразованиям, недовольство своим состоянием, пренебрежение к преданиям — общий недуг людей без прошедшего и будущего, живущих для одного настоящего. Но в православной и боголюбивой Руси благоговение к Провидению, преданность государю, любовь к России — эти святые чувствования никогда не переставали питать всех и каждого; ими спасены мы в години бедствий; ими возвышены на степень могущественнейшей державы, какой не было в мире историческом»²².

Залог крепости и стабильности российского Просвещения, по мнению Давыдова (и стоящего за ним Уварова), — верность «классическим образцам», в том числе философским. «Нынешние заговоры и смуты на Западе, — читаем мы в статье, — представляют нам в числе кровожадных мятежников

²¹ Давыдов И.И. О назначении русских университетов и участии их в общественном образовании // Современник, 1849, т. XIV. С. 37–46.

²² Там же. С. 37.

и философов, и юристов, и историков... Но станем ли осуждать за это и учение веры, и науку? Разве виновна религия или наука в том, что фанатики, во зло употребляя их имя, бестрепетно попирают ногами всё для человека священное?»²³

Впрочем, по мнению Давыдова, некоторые «новейшие умы» всё-таки виновны в европейских смутах: «Кто из древних писателей может сравниться в унижении человеческого достоинства с новыми французскими и немецкими, которыми думают заменить греческих и римских классиков? Какой яд ужаснее того, который подносят в позлащенных чашах Виктор Гюго и Кабе, Штраус и Фейербах? Для этого, однако, никто не подумает истребить в училищах языки немецкий и французский?»²⁴. Впрочем, добавляет автор, «европейские эксцессы» вряд ли могут представлять опасность для России, где «образованные, благородные юноши ежегодно исходят на верное служение обожаемому Монарху»²⁵.

В таком контексте основным средством противодействия спонтанно проникающим в Россию с Запада радикальным идеям провозглашалась система «суверенного Просвещения»: «Для идей нет ни стен, ни таможен: при всей бдительности, они, неудержимые и неуловимые, переносятся через моря и горы; против них один оплот — народное образование, основанное на благоговении к православной вере, преданности к православному государю и любви к православной России. Университеты и их учебные заведения этими священными чувствами глубоко проникнуты»²⁶.

Несмотря на очевидно верноподданический характер статьи Давыдова, она вызвала серьезное недовольство императора. В октябре 1849 г. последовала отставка Уварова, а в январе 1850 г. министром народного просвещения был назначен князь-академик П.А. Ширинский-Шихматов.

Путь к интеллектуальной катастрофе

Хорошо осведомленный о настроениях при Дворе барон М.А. Корф (сам метивший в министры) приводит следующую версию нового назначения: «Мне сделалось известным обстоятельство, послужившее непосредственным поводом к назначению князя Шихматова министром. В продолжение управления своего министерством в качестве товарища (князь некоторое время был заместителем Уварова. — А.К.), он представил государю записку о необходимости преобразовать преподавание в наших университетах таким образом, чтобы впредь *все положения и выводы науки были основываемы*

²³ Там же. С. 42.

²⁴ Там же.

²⁵ Там же. С. 46.

²⁶ Там же. С. 45.

не на умствованиях, а на религиозных истинах (курсив мой. — А.К.), в связи с богословием»²⁷. Корф продолжает: «Государю так понравилась эта мысль, что он призвал перед себя сочинителя записки, и Шихматов устным развитием своего предложения до того успел удовольствоваться августейшего своего слушателя, что немедленно по его выходе государь сказал присутствовавшему при докладе цесаревичу: чего же нам искать еще министра просвещения? Вот он найден»²⁸.

По мнению раздраженного чужим назначением Корфа, «бедный князь не пользовался никаким общественным уважением, его считали за человека ограниченного, святошу, обскуранта и жалели, что именно в такую эпоху, при тогдашнем положении дел и настроении умов, к занятию поста, столь важного для будущности России, выбор пал на подобное лицо»²⁹. К тому же, столичные острословы упражнялись тогда переименовывать фамилию нового министра с Шихматова на «Шахматова» и шутили, что «с назначением его и министерству, и самому просвещению в России дан не только шах, но и мат»³⁰.

Комментируя всю эту ситуацию, барон Корф делал глубокомысленный вывод: «Среди этих насмешек, эпиграмм и общего хохота, всегда столь опасных в самодержавном правительстве, где подданные привыкли верить и должны верить в непогрешимость монарха, выборы [министров] последнего времени, так мало удовлетворявшие ожиданиям, приводили на память людям более серьезным достопамятные слова, сказанные некогда Сперанским Александру I: “Не одним разумом, но более силою воображения действует правительство на страсти народные и владычествует ими. Доколе сила воображения поддерживает почести и места в надлежащей высоте, дотоле они сопровождаются уважением; но как скоро, по стечению обстоятельств или вследствие неудачных выборов, сила сия их оставит, так скоро и уважение исчезает”»³¹.

Ширинскому-Шихматову ничего не оставалось, как продемонстрировать решительность в искоренении «крамолы». Поводом для новых гонений на философию явилась безобидная речь профессора И.Г. Михневича: «Опыт простого изложения системы Шеллинга в связи с системами других германских философов»³² для торжественного собрания Ришельевского лицея в Одессе, изданная в 1850 г. отдельной брошюрой. Бдительная цензура,

²⁷ Корф М.А. Записки. М.— Берлин: Директ-Медиа, 2019. С. 577.

²⁸ Там же.

²⁹ Там же. С. 575–576.

³⁰ Там же. С. 576.

³¹ Там же. С. 576–577. См. также: Жукова О.А. Субкультура власти и социальный порядок в России: реформаторский опыт М.М. Сперанского // Полис. Политические исследования, 2013, № 2. С. 179–188.

³² См.: Михневич И.Г. Сочинения. Киев: НГУ им. М. Драгоманова, 2014. С. 77–109.

«на всякий случай», вставила в доклад императору вопрос общего характера: «Может ли быть полезен и благодетелен для умственного и нравственного образования юношества преподавать ему философию?...»³³

Николай I поспешил отреагировать и так оценил речь одесского философа О Шеллинге: «Весьма справедливо; одна модная чепуха. Министерству народного просвещения мне донести, отчего подобный вздор преподается в лицее, когда и в университетах мы его уничтожаем»³⁴.

По приказанию царя до его сведения было доведено имя сочинителя речи: Иосиф Михневич. На докладной записке статс-секретаря барона Корфа последовала Высочайшая резолюция: «Тем более должно обратить на него внимание, что он по-видимому, поляк»³⁵. Уточнение министерства, что профессор И.Г. Михневич — великорусский человек и даже сын православного священника, не слишком успокоили императора.

Слухи о новом наступлении на философию быстро распространились в обществе. В марте 1850 г. А.В. Никитенко записал в дневнике: «Опять гонения на философию. Предположено преподавание в университете ограничить логикой и психологией, поручив и то и другое духовным лицам... Говорят, Блудов настаивает, чтоб в программу была включена и история философии. Министр [Ширинский-Шихматов] не соглашается»³⁶. «У меня был Фишер, — продолжает Никитенко (профессор философии СПб университета, академик. — А.К.)... и передавал свой разговор с министром. Последний главным образом опирался на то, что *“польза философии не доказана, а вред от нее возможен”* (курсив мой. — А.К.)».³⁷

Именно с таким умонастроением правящего класса, соединяющего в себе тотальную подозрительность к свободному гуманитарному творчеству — с полным самодовольством и чувством исключительности, Россия вползла в состояние европейской самоизоляции. Впереди были Крымская катастрофа, трагическая смерть императора Николая Павловича и... «Великие реформы» 1860-х гг.

Литература

Валуев П.А. Дневник графа Петра Алексеевича Валуева 1847–1860 // Русская старина, 1891, т. 70, № 4 (апрель). С. 167–181.

Воспоминания Д.Н. Родионова // Русская старина, 1898, август, кн. 8. С. 389–390.

Давыдов И.И. О назначении русских университетов и участии их в общественном образовании // Современник, 1849, т. 14. С. 37–46.

³³ Цензура в царствование Николая I // Русская старина, 1903, № 9 (сентябрь). С. 652.

³⁴ Там же.

³⁵ Там же.

³⁶ Никитенко А.В. Дневник в 3 томах. Т. 1. С. 334.

³⁷ Там же.

Жукова О.А. Субкультура власти и социальный порядок в России: реформаторский опыт М.М. Сперанского // Полис. Политические исследования, 2013, № 2. С. 179–188.

Жуковская Т.Н. «Дело профессоров» 1821 г. в Санкт-Петербургском университете: новые интерпретации // Ученые записки Казанского университета. Сер.: гуманитарные науки, 2019, т. 161, кн. 2–3. С. 96–111.

Кара-Мурза А.А. Загадка «Тартюфа». Неизвестные страницы европейского путешествия Н.М. Карамзина (1789–1790) // Николай Карамзин и исторические судьбы России. К 250-летию со дня рождения (общ. ред. и сост. А.А. Кара-Мурзы, В.Л. Шаровой, А.Ф. Яковлевой). М.: Аквилон, 2016. С. 361–375.

Кара-Мурза А.А. Улыбышев и Пушкин о «дурном синтезе цивилизаций» («Азиопа» в свете «Зеленой лампы», 1819–1820) // Полилог, 2020, т. 4, № 4 [Электронный ресурс].

Кара-Мурза А.А. Философские дилеммы «Писем русского путешественника Н.М. Карамзина // Философские науки, 2016, № 11. С. 59–68.

Кара-Мурза А.А. «Новое варварство» как проблема российской цивилизации. М.: изд-во ИФ РАН, 1995. — 212 с.

Корф М.А. Записки. М. — Берлин: Директ-Медиа, 2019. — 813 с.

Крестова Л.В. А.И. Плещеева в жизни и творчестве Карамзина // XVIII век. Сб. 10. Русская литература XVIII века и ее международные связи. Л.: Наука, 1975. С. 265–270.

Куницын А.П. Право естественное. СПб.: Тип. Иос. Иоаннесова, 1818. — 135 с.

Лодий П.Д. Логические наставления, руководствующие к познанию и различению истинного от ложного». СПб.: Тип. Иос. Иоаннесова, 1815. — 303 с.

Михневич И.Г. Сочинения. Киев: НГУ им. М. Драгоманова, 2014. — 336 с.

Никитенко А.В. Дневник: В 3 т. Т. 1. 1826–1857. Л.: Художественная литература, 1955. — 543 с.

Розен А.Е. Записки декабриста. Иркутск: Восточно-Сибирское изд-во, 1984. — 480 с.

Ростопчин Ф. Мысли вслух на Красном крыльце (сост., предисл., пер. с франц. А.О. Мещеряковой). М.: Институт русской цивилизации, 2014. — 704 с.

Соловьев С.М. Избранные труды. Записки. М.: Изд-во Московского ун-та, 1983. — 440 с.

Соловьев С.М. Мои записки для детей моих, а если можно, и для других. Пг.: Прометей, 1915. — 174 с.

Улыбышев А.Д. Письмо другу в Германию о петербургских обществах // Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. М., 1951, т. 1. С. 279–285.

Феоктистов Е.М. Магницкий. Материалы для истории просвещения в России. СПб.: Тип. Кесневилы, 1865. — 227 с.

Цензура в царствование Николая I // Русская старина, 1903, № 9 (сентябрь). С. 641–666.

Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии. Т. 2. Материалы. Реконструкция Татьяны Щединой. М.: Российские пропилеи, 2009. — 864 с.

КАК ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ИДЕОЛОГИИ: РОССИЙСКИЙ КОНТЕКСТ

Учитывая общую тему нашего семинара «Философия в публичном пространстве», был велик соблазн назвать доклад «Как философии превращаются в идеологии?» Я, однако, не пошел по этому пути, посчитав, что понятие «философия» (предполагающее высокую степень системности) в данном контексте будет избыточной генерализацией и не даст раскрыть суть процесса.

В свое время на меня большое впечатление произвела созданная в эмиграции концепция культуры нашего соотечественника Владимира Васильевича Вейдле, в основе которой лежит противопоставление им «мировоззрения», которое всегда вырабатывается творческим личностным усилием, — и «идеологии», всегда тяготеющей к массовидности и партийному упрощению.

Приведу цитату из работы Вейдле «Только в Россию можно верить», написанную в 1974 году. «Мировоззрение, — пишет Вейдле, — нестрогое единство, мыслительная протоплазма личности... Идеология — система идей, более или менее умело, но всегда нарочито и для известной цели спаянных друг с другом; система мыслей, которых никто более не мыслит. Их принимают к сведению и тем самым к руководству; мыслить их, это значило бы подвергнуть их опасности изменения. К личности идеология никакого внутреннего отношения не имеет, она даже и навязывается ей не как личности, а как составной части коллектива или массы, как одной из песчинок, образующих кучу песка»¹.

Мне кажется, что выражение «мыслительная протоплазма личности» — это, хотя и метафора, но в данном случае оно лучше, чем понятие «философия» (которая, конечно, «более строгое единство») отражает тот объект, который затем подвергается идеологизации. Я предпочел в первом приближении максимально нейтральное слово «идеи» — идеи, как некие «кванты» любого мыслительного процесса. Думаю, примерно с тем же успехом можно было взять просто слово «мысли», а вместо идеологий подставить, к примеру, слово «доктрины». Тема тогда звучала бы так: «Как мысли превращаются в доктрины?» — суть проблемы от этого не меняется.

Главное, что меня интересует, — это соотношение этих двух смыслов, мутация первого во второе: идей — в идеологии; или: мыслей — в доктрины. Поэтому, вслед за Вейдле, ограничусь пока таким осторожным определением:

¹ Вейдле В. Только в Россию можно верить // Вестник РСХД, 1974, № 114. С. 247.

идеи промышляются — идеологии постулируются. В любом случае, заявляя свою тему, я отдаю себе отчет в том, что вхожу в одну из самых сложных и дискуссионных тем философского знания. Здесь крайне важны исследовательские самоограничения и предельная неторопливость, ибо чрезмерные амбиции чреваты запредельным риском. Не раз в истории мысли бывало так, что попытка азартного «разминирования» проблематики «мутации идей в идеологии» вела, напротив, к быстрому «самоподрыву». Есть такая хорошая русская поговорка: «Пошел за шерстью, а вернулся стриженным...»

Яркий пример тому — хорошо известная «Немецкая идеология» Маркса и Энгельса. Попытка двух авторов развенчать идеологические амбиции Бруно Бауэра или Макса Штирнера и создать чисто научное, практическое знание, привела к тому, что работа Маркса и Энгельса сама стала в еще большей степени идеологическим текстом, чем достаточно скромные опыты Бауэра или Штирнера. Ну а потомки, как известно, довершили дело: найденная и опубликованная только в 1930-е гг. рукопись «Немецкой идеологии», во многом черновая и неоконченная, о которой сами авторы скромно писали: «Наша цель была — уяснить дело самим себе», превратилась из кабинетного аналитического опыта (местами остроумного и полезного) в одну из главных идеологических дубин «всепобеждающего учения».

Собственно, на интуитивном уровне мы все хорошо понимаем, что значит «превращение идей в идеологии». Россия весь XX век пребывала в этих «переплавках». Мы знаем, как мутировала в России левая коммунистическая идея: сначала идеологически «надулась», а потом лопнула. Нечто подобное, может быть, менее трагическое, но зато куда более фарсовое, случилось на наших глазах с либеральной идеей. И я сегодня намерен показать, что и тот, и другой процессы, при всей разнице идейной начинки, произошли примерно по одному и тому же сценарию.

Впрочем, сейчас стало модным приводить эту аналогию и ей ограничиваться — аналогию между процессами деградации в России коммунистической идеи и идеи либеральной. И на то, и на другое зачастую печально сетуют примерно одни и те же западнически настроенные головы: мол, взяли на Западе хорошую идею, но «русская почва», как обычно, всё опошшила... Я, однако, не готов сегодня останавливаться в этом месте — это станция заведомо промежуточная. Хочу напомнить, что в русском контексте хронологически первой была проведена философская работа по анализу вырождения не какой-либо западнической, а самой что ни на есть самобытной идеи — а именно идеи славянофильской, и сделано это было еще в конце позапрошлого века.

Есть замечательная статья В.С. Соловьева «Славянофильство и его вырождение», впервые опубликованная в «Вестнике Европы» М.М. Стасюлевича в 1889 году, первоначально в составе работы «Очерки по истории русского

сознания», а затем вошедшая во второй выпуск сборника «Национальный вопрос в России». Я впервые внимательно прочел эту работу в двухтомнике Соловьева, выпущенного во всем нам известном многотомном приложении к журналу «Вопросы философии» в 1989 г., и уже тогда обратил внимание (остались конспекты) на прекрасные комментарии к этой статье очень уважаемых мною авторов — Николая Всеволодовича Котрелева и Евгения Борисовича Рашковского, которые оценили «своеобразие» самого соловьевского метода (их слова) «*исторической морфологии национализма*», когда Соловьев прослеживает деградацию националистического сознания от форм возвышенного идеализма — и «до низменной ксенофобии».

Котрелев и Рашковский отметили: «Превознесение эмпирического и бессознательного, ставка на стереотипы обыденного массового мышления, отрицание идеальных ценностей и векторов культуры — всё это, по убеждению Вл. Соловьева, ведет не только к идейной апологии, но и прямой практике насилия и палачества». Поэтому, по их мнению, работа Соловьева «имеет прямое отношение не только к истории национализма в России, но и к истории европейских тоталитаристских движений XIX–XX веков»².

Когда я думал над сегодняшним докладом и заново перечитал весь этот соловьевский контекст, я понял, что эти слова, написанные в 1989 году, не были преувеличением времен «горбачевской перестройки». Беда как раз в другом: мы в свое время недооценили и до сих пор недооцениваем значение этого виртуозного анализа процесса «вырождения славянофильства» Владимиром Соловьевым.

Постараюсь предельно кратко воспроизвести соловьевскую логику. Он исходит из того, что история славянофильства есть «постепенное обличение той внутренней двойственности непримиренных и непримиримых мотивов, которая с самого начала легла в основу этого искусственного движения»³.

Это очень важный момент: по Соловьеву, вырождение — это не искажение до неузнаваемости, а, напротив, упрощение за счет полного оголения ядра идеи. Ранние славянофилы, констатирует Соловьев, боролись одновременно с двумя вещами. Во-первых, «против западноевропейских начал» (включая Петровскую реформу) — «во имя древней, московской Руси». А во-вторых, «столь же существенный интерес имела для них прогрессивно-либеральная борьба против действительных зол современной им России»⁴.

Именно этому «русскому злу», а именно «злу всеобщего бесправия» славянофилы, согласно Соловьеву, «противопоставляли принцип человеческих

² Соловьев В.С. Славянофильство и его вырождение // Соловьев В.С. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Правда, 1989. С. 677.

³ Там же. С. 433.

⁴ Там же. С. 434.

прав, безусловного нравственного значения самостоятельной личности — принцип христианский и общечеловеческий по существу, а по историческому развитию преимущественно западный европейский и ни с какими особенными “русскими началами” не связанный». Получается, по Соловьеву, что ранние славянофилы (он использует в их отношении термин «археологические либералы») «могли бороться против нашей общественной неправды единственно только в качестве европейцев, ибо только в общей сокровищнице европейских идей могли они найти мотивы и оправдание для этой борьбы»⁵.

Соловьев отмечает: «Внутреннее противоречие между требованиями истинного патриотизма, желающего, чтобы Россия была как можно лучше, и фальшивыми притязаниями национализма, утверждающего, что она и так всех лучше, — это противоречие погубило славянофильство как учение»⁶.

Итак, налицо первое противоречие славянофильства: междугражданско-правовым универсализмом, с одной стороны, и апологией «русской исключительности», с другой. То же противоречие Соловьев констатирует в области национально-религиозных представлений славянофилов и приходит к очень жесткому выводу: «Я нисколько не сомневаюсь в искренней личной религиозности того или другого поборника “русских начал”; для меня ясно только, что в системе славянофильских воззрений нет законного места для религии как таковой и что если она туда попала, то лишь по недоразумению и, так сказать, с чужим паспортом»⁷. Поэтому здесь «приходится говорить не о православии, а о православничаньи», ибо «та доктрина, которая сама себя определила как русское направление и выступила во имя русских начал, тем самым признала, что для нее всего важнее, дороже и существеннее национальный элемент, а все остальное, между прочим и религия, может иметь только подчиненный и условный интерес. Для славянофильства православие есть атрибут русской народности; оно есть истинная религия, в конце концов, лишь потому, что его исповедует русский народ»⁸.

Отсюда и известная оценка Соловьевым творчества Алексея Хомякова: «Проповедь Хомякова роковым образом была осуждена на бесплодие, потому что при первой попытке дать ей дальнейшее развитие непременно должно бы было обнаружиться в ней противоречие между широкою всеобъемлющею формулою церкви и узким местным традиционализмом, — между вселенским идеалом христианства и языческою тенденцией к особнячеству»⁹.

⁵ Там же.

⁶ Там же.

⁷ Там же. С. 436–437.

⁸ Там же. С. 437.

⁹ Там же. С. 443.

Двойственной, согласно Соловьеву, была и социальная концепция ранних славянофилов. Соловьев подробно разбирает здесь «Записку о внутреннем состоянии России» Константина Аксакова, представленную императору Александру II. Там Аксаков, как известно, писал: «Русский народ есть народ негосударственный, то есть не стремящийся к государственной власти, не желающий для себя политических прав, не имеющий в себе даже зародыша народного властолюбия. Русский народ, не имеющий в себе политического элемента, отделил государство от себя и государствовать не хочет. Не желая государствовать, народ предоставляет правительству неограниченную власть государственную. Взамен того русский народ предоставляет себе нравственную свободу, свободу жизни и духа»¹⁰.

Именно этой «Запиской» Константина Аксакова, по словам Соловьева, «завершается развитие славянофильской мысли и начинается проверка этой мысли на деле». А «на деле» получилось следующее: «Вместо объективно достоверных общечеловеческих начал правды славянофильцы в основание своей доктрины поставили предполагаемый идеал русского народа» и явно недооценили перспективы того, что «плевелы, посеянные ими же вместе с добрым зерном, гораздо сильнее этого последнего на русской почве и грозят совсем заполнить все поле нашего общественного сознания и жизни»¹¹.

В результате всех этих противоречий славянофильство, согласно Соловьеву, в своем развитии было как бы приурочено к «вырождению». Ведь если социальную концепцию славянофилов («государству власть — народу мнение») перевести на язык практики, то получается печальный парадокс: «...Против этой огромной реальной мощи (государства), вполне и безусловно признавая ее права, узаконяя их навеки, выступает кружок литераторов с неким идеальным противовесом в виде заявления о свободе духа и прошения о свободе мнения»¹².

И далее: «Разъяснить это недоразумение, утвердить славянофильскую доктрину на ее настоящей реальной почве и в ее прямых логических последствиях — вот дело, которое с блестящим успехом выполнил покойный Катков...»¹³. Катков, согласно Соловьеву, «имел мужество освободить религию народности от всяких идеальных прикрас и объявить русский народ предметом веры и поклонения не во имя его проблематических добродетелей, а во имя его действительной силы»¹⁴. А поскольку вместилищем этой народной силы, по мнению Каткова, было государство, то он, по выражению Соловьева (прошу прощения у наших востоковедов) «с подлинно мусуль-

¹⁰ Там же. С. 451.

¹¹ Там же. С. 465.

¹² Там же. С. 466.

¹³ Там же.

¹⁴ Там же. С. 468.

манским фанатизмом... уверовал в русское государство, как в абсолютное воплощение нашей народной силы»¹⁵. Есть знаменитое выражение Соловьева: «Катков — это Немезида старого славянофильства» (Немезида, как известно, — это богиня мести, богиня конечной расплаты за сотворенные грехи).

И вот вывод Соловьева о судьбе славянофильства: «Прикрасы “вселенской правды” отпали, и осталось лишь утверждение национальной силы и исключительного национального интереса. Как настоящий фон славянофильства выступил катковский ислам...»¹⁶. Соловьев здесь с горькой иронией цитирует Пушкина:

*Но краски чуждые с годами
Спадают ветхой чешуей...*

Горечь иронии, разумеется, в том, что в знаменитом стихотворении «Возрождение» («Художник-варвар кистью сонной...» и т.д.) у Пушкина под «ветхой чешуей» варварства в итоге обнаруживается первозданная Гениальность. В случае со славянофильством Соловьев констатирует обратное: красивые краски «цивилизации» отшелушиваются и под ними проступает «Варварство»; на месте пушкинского Возрождения — обнаруживается катковское вырождение.

Необходимо добавить, что на Каткове «вырождение славянофильства» у Соловьева не оканчивается. Все-таки Катков, по его мнению, не посмел сделать решающий логический вывод о том, что «обожествление народа и государства, как фактической силы, заключает в себе логически отрицание всяких объективных начал правды и добра». Соловьев объясняет: «Он (Катков. — А.К.) был для этого слишком образованным человеком, слишком европейцем. Самое его преклонение перед стихийною силою народа имело отчасти... философскую подкладку, будучи связано с идеями Шеллинговой “позитивной философии”. Быть может, помешало и личное религиозное чувство»¹⁷.

И вот, по сути, финальный вывод Соловьева, очень важный в контексте сегодняшнего разговора: «Но история сознания имеет свои законы, в силу которых всякое идейное содержание, истинное или ложное, исчерпывается до конца, чтобы в последних своих заключениях найти свое торжество или свое обличение. Крайние последствия из воззрения Каткова выведены ныне его единомышленниками. В них он нашел свою Немезиду, как сам он был — Немезидою славянофильства»¹⁸. Таким образом, беспощадный

¹⁵ Там же.

¹⁶ Там же. С. 470.

¹⁷ Там же. С. 469.

¹⁸ Там же.

анализ Владимира Соловьева последовательно ведет нас от славянофильства — к «черной сотне».

...Оставлю славянофильство и анализ его вырождения в правый национализм и перейду теперь к исследованию в русской мысли другого важнейшего процесса — процесса вырождения в России левой идеи и формирования леворадикальной идеологии. Наиболее интересный анализ в этом направлении принадлежит перу Н.А. Бердяева. Обычно, когда говорят о концепции Бердяева, предпочитают сразу переходить к его знаменитой статье из «Вех» о противоположности «философской истины» и «интеллигентской правды». Эта действительно выдающаяся работа, как известно, появилась весной 1909 года, а между тем Бердяев уже как минимум полтора-два года до этого активно издавал статьи на схожие темы в умеренно-либеральной прессе.

Выделяется, например, его работа «Из психологии русской интеллигенции», опубликованная в конце октября 1907 года в мирнообновленческом «Московском еженедельнике», редактируемом князем Е.Н. Трубецким. Уже в этой статье Бердяев обращает внимание на появление в России массового типа интеллигенции, который он называет «интеллигентским мещанством». Это — наемные земские служащие, статистики, врачи, учителя. Именно они, по мнению Бердяева, и создают опасный «левый крен» в массовом сознании, подпитывают идеологическое «направленство». (Бердяев использует здесь прижившееся тогда в русской публицистике слово «направленство», введенное старым писателем П.Д. Боборыкиным, который, кстати, первым начал активно использовать и понятие «интеллигенции». Боборыкинское «направленство», думаю, и есть ранний синоним искомой нами сегодня «идеологии».)

Что представляет из себя «интеллигентское мещанство»? В нем, по мнению Бердяева, нашли «свое обратное, вывернутое отражение... все грехи нашего исторического прошлого». Бердяев пишет: «В массе это люди полубразованные, обиженные на мироздание, но всегда приписывающие себе прерогативы спасителей отечества... Люди эти понемногу читают, понемногу пишут, понемногу думают, но всегда по шаблону, всегда тем же жаргоном и теми же заученными словами говорят о плане спасения России»¹⁹.

Главные пороки «интеллигентского мещанства», склонного к «направленству», по мнению Бердяева, — его «безрелигиозность» и «беспочвенность» (тема, развитая потом в «Вехах»). Бердяев пишет: «Интеллигенция эта оторвана от народа в органическом смысле этого слова, но идолопоклонствует перед народом в сословно-классовом смысле: чужие интересы, пролетарские или крестьянские, стали для нее идеалом. Все эти разногласия революционных фракций, социал-демократов и социалистов-революционеров,

¹⁹ Бердяев Н.А. Духовный кризис интеллигенции. СПб., 1910. С. 67–68.

большевиков и меньшевиков и т.п.— чисто интеллигентские разногласия, ... отщепенские препирательства (и, внимание! — А.К.), мещанские идеологии»²⁰. (Наконец-то у Бердяева прозвучало это слово!)

Вот в этот-то субстрат полуобразованного, но политически разгоряченного «интеллигентского мещанства» и был вброшен (среди прочих учений) пришедший с Запада марксизм, и претерпел там удивительные метаморфозы. Бердяев пишет: «Реалистический марксизм был пережит русской интеллигенцией как головной процесс, и в голове “третьего элемента” (для Бердяева — синоним “интеллигентского мещанства”.— А.К.) начала уже разлагаться буржуазия, когда в действительности она начала только развиваться»²¹.

Омассовляясь и упрощаясь, подмечает Бердяев, изменяется и сам «левый язык» (дискурс, как мы бы сейчас сказали): «Направленский жаргон, быстро усваиваемый студентами и курсистками, принимается за общечеловеческий язык, в то время как в жаргоне этом исчезают все великие проблемы»²². Вот оно — то явление, о котором говорил процитированный мной в самом начале доклада Владимир Вейдле: «Идеология — это система мыслей, которых никто более не мыслит; мыслить их, значило бы подвергнуть их опасности изменения».

Итак, в работе о «психологии русской интеллигенции», за полтора года до выхода «Вех», Бердяев уже пишет: «Горе русской революции, что в ней господствует (этот) “третий элемент”, своего рода обратная бюрократия, слой не органический, не связанный с основами народного духа... Слишком преобладают в революции злоба к старой жизни над любовью к новой жизни, разрушение над созиданием, жажда возмездия над жаждой творчества, чисто отрицательные идеи над положительными»²³.

На что уповает Бердяев в 1907 году? «Необходимо разорвать эту цепь, выйти из порочного круга революционности и реакционности, необходимо новое крещение и для красной, и для черной сотни. Жажда абсолютной правды у лучшей части интеллигенции может утолиться призрачно — бесовщиной, реально — религией. И я верю: избранная часть интеллигенции, познав ужас путей человеческого самоутверждения, истоскуется и перейдет к сверх-исторической форме христианства... Появится, раньше или позже, новое рыцарство, возродятся в нем традиции старого аристократического благородства, превратится в нем мятеж избранников в высшую покорность Богу, во имя Которого начнется крестовый поход против зла. России нужны рыцарские ордена, нужны личности рыцарского закала»²⁴.

²⁰ Там же. С. 69.

²¹ Там же.

²² Там же. С. 71.

²³ Там же. С. 72.

²⁴ Там же. С. 78.

Фактически Бердяев ставит дилемму, которую он затем будет неоднократно варьировать: «подлинная христианская религиозность или бесовщина?», то есть фактически так: *Христос или идеология?* Как известно, в сборнике «Вехи», задуманном Михаилом Гершензоном и выпущенном весной 1909 году, Бердяеву была отведена особая роль — роль автора первой и, на мой взгляд, решающей статьи. Она — напомним — называлась «Философская истина и интеллигентская правда». «Интеллигентская правда», о которой говорит Бердяев и специально это оговаривает, это «правда» опять-таки не интеллигенции «в общенациональном, общеисторическом смысле», а «правда» интеллигенции особого рода — кружковой политизированной интеллигенции, которую в «Вехах» Бердяев называет «интеллигентщиной».

Согласно Бердяеву, «интеллигентщина» — это своеобразный мир, живущий замкнутой жизнью под двойным давлением: «давлением казенщины внешней — реакционной власти, и казенщины внутренней инертности мысли и консервативности чувств»²⁵.

Подлинные творческие мыслители, породители философских идей и смыслов — это по Бердяеву, конечно, тоже интеллигенция, более того, — это подлинная интеллигенция и есть, и она абсолютно чужда интеллигентщины. (Не могу не добавить здесь следующее. «Вехи» у нас часто называют книгой против интеллигенции. Так пишут люди либо темные, либо предельно лукавые. «Вехи» — книга, направленная против *болезней интеллигенции*, против ее впадения в интеллигентщину. Думаю, что те, кто говорит о Вехах как об антиинтеллигентской книге, могут быть отнесены — в нашей терминологии — не к «мыслителям», пусть даже скромным, а к «идеологам», идеологам периодически вспыхивающих в России антиинтеллигентских погромов.)

Отношение «интеллигентщины» к философским идеям, по Бердяеву, двояко: ее душевная косность соединяется со склонностью к идейным новинкам, чаще всего европейским, которые, конечно же, никогда не усваиваются глубоко. Как результат, философские новинки попадают в очень малообразованный и к тому же еще и придавленный деспотизмом душевный контекст. Что получается в итоге? В итоге высокая философия подчиняется «утилитарно-общественным целям»; во времена Бердяева — это господствующие в среде интеллигентщины «народолюбие» и «пролетаролюбие».

Такой народнический душевный настрой неизбежно порождает то, что философские идеи в России подвергаются в среде интеллигентщины своеобразной селекции. Поскольку, согласно Бердяеву, «интересы распределения и уравнивания» в сознании интеллигентщины всегда доминируют над «интересами производства и творчества», интеллигентщина «всегда охотно

²⁵ Бердяев Н.А. Философская истина и интеллигентская правда // Вехи: Сб. статей о русской интеллигенции. М., 1990. С. 7.

принимала идеологию (Бердяев в «Вехах» уже активно употребляет это слово. — А.К.), в которой центральное место отводилось проблеме распределения и равенства; к идеологии же, которая в центр ставит творчество и ценности, она относилась подозрительно, с заранее составленным волевым решением отвергнуть и изобличить». (Отмечу здесь принципиально новый момент: Бердяев в «Вехах» проводит типологизацию идеологий, отмечая, что помимо примитивной идеологии «распределения и равенства», возможна (пока только теоретически) «идеология, которая в центр ставит творчество и ценности» — я еще вернусь к этой теме).

Диагноз, поставленный Бердяевым русской интеллигентщине более века назад, абсолютно актуален и сегодня. Вот послушайте такие его слова: «До сих пор еще наша... (интеллигентщина) не может признать самостоятельного значения науки, философии, до сих пор еще подчиняет их интересам политики, направлений и кружков...». Я думаю, что многие из нас попадали в такую ситуацию: начинаешь говорить серьезные вещи, а тебе явно или неявно задают вопрос: а ты зачем это говоришь, на чью мельницу, так сказать, воду льешь?..

Наряду с пренебрежением к творческой мысли «интеллигентщина» (по Бердяеву) выделяет своих «мыслителей», называет их «настоящими философами». В 1860-е такими были Чернышевский и Писарев, в 1870-е Михайловский и Лавров, в 1890-е — Плеханов — то есть тех мыслителей, которых оказалось легко упростить и превратить в идеологических «вождей»... Бердяев в своих работах и впоследствии неоднократно откровенно потешался над ситуацией в русской кружковщине начала XX века, когда довольно безобидные Авенариус и Мах «провозглашены были философскими спасителями пролетариата», и на этой базе «Богданов и Луначарский сделали “философами” социал-демократической интеллигенции»²⁶.

Итак, общий вывод Бердяева о той интеллектуальной ловушке, в которую попадает русская кружковая интеллигентщина, следующий: «Философия — есть школа любви к истине... Интеллигенция не могла бескорыстно отнестись к философии, потому что корыстно относилась к самой истине, требовала от истины, чтобы она стала орудием общественного переворота, народного благополучия, людского счастья. Она шла на соблазн Великого инквизитора, который требовал отказа от истины во имя счастья людей»²⁷.

Небольшая реминисценция. Помните нашу дискуссию на первом семинаре после доклада В.М. Межуева, который дал такое определение: «Философия — это любовь к свободе». Ему кто-то возразил: но, позвольте, ведь чисто филологическое определение философии — это «любовь

²⁶ Там же. С. 10.

²⁷ Там же. С. 12.

к мудрости». Вадим Михайлович тогда, фактически процитировав Бердяева, уточнил: «Философия — это любовь к свободному поиску истины». Действительно, ведь поиск истины может быть только свободным. Для Бердяева есть «философия» как «школа любви к истине» и есть «идеология» как канонизированная «интеллигентская правда».

Ну и хочу предложить вашему вниманию третью фигуру из истории русской мысли. Крупнейшим русским аналитиком проблемы трансформации «идей» в «идеологии» в XX веке, на мой взгляд, является Ф.А. Степун — профессиональный философ-неокантинец, окончивший Гейдельбергский университет, где он учился у Вильгельма Виндельбанда.

Посоветовал ему ехать в Германию Б.П. Вышеславцев (философ-правовед, тогда доцент Московского университета, сам прошедший этот путь), убедивший молодого Степуна в том, что «без философии жизнь не осилить». Приехавший в 1902 году в Гейдельберг (учиться философии у Виндельбанда) Степун увидел в среде университетских интеллектуалов картину, прямо противоположную той, которую описал Бердяев применительно к русской кружковой «интеллигентщине». Вот маленький отрывок из мемуаров Степуна «Бывшее и несбывшееся»: «Социологическая незаинтересованность и политическая нечувствительность почти всей нео-идеалистической философии Германии были поистине потрясающими. Успокаиваясь на том, что Ницше — поэт и филолог, а Маркс — экономист и политик, маститые профессора философии или вообще не занимались этими мыслителями, или занимались ими в целях приспособления их идей к положениям научной философии, что по тем временам значило — к Канту»²⁸.

Впрочем, младший друг Степуна, философ и религиозный мыслитель Лев Александрович Зандер, тоже учившийся в Германии, написал как-то в рецензии на книги Степуна, что тогдашний Гейдельберг, благодаря тому же Виндельбанду (главе баденской школы), имел все-таки еще некоторый вкус к реальной жизни и политике, в отличие, например, от Марбурга. «Марбург (Герман Коген, Пауль Наторп) весь захвачен пафосом чистой науки; к жизни (к “психологизму”) он скорее равнодушен... В Гейдельберге — совсем иное; конечно, это тоже неокантианство; но всё оно обращено к жизненным ценностям, к воле к их созданию, к творчеству, в конечном счете — культуре»²⁹.

Но, с другой стороны, Степун прикоснулся в Гейдельберге и к «родной интеллигентщине» (от которой фактически бежал из России), причем в ее наиболее концентрированном варианте. Дело в том, что в тогдашнем Гейдельберге был весьма активен студенческий клуб политизированной русско-еврейской молодежи (из него, кстати, потом вышли многие русские

²⁸ Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. Т. 1. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956. С. 148.

²⁹ Зандер Л.А. О Ф.А. Степуне и некоторых его книгах // Мосты, 1963, № 10. С. 319–320.

идейные радикалы — как эсеры, так и большевики). Здесь, напротив, любой профессорский философский «чих» вызывал ожесточеннейшие споры, мгновенно растаскивался по партийно-идеологическим «норам».

По отношению к этим соотечественникам Федор Степун — этнический немец и православный русский — старался держать дистанцию. Думаю, что уже тогда, в Германии, молодой Степун всерьез примеривался к своему будущему призванию — проработке возможностей интеллектуального прохода между Сциллой философско-академической нечуткости к социально-политическим вопросам и Харибдой «интеллигентского панполитизма» (как он это потом назвал).

Как возможна строгая философия современной культуры, куда бы органично входил анализ социально-политических тем? Вот главный для Степуна вопрос на протяжении всей жизни. Или сформулирую эту проблему в терминах моего доклада: как сделать так, чтобы философские идеи не вырождались в опасные идеологии? Или — еще шире — в терминах нашего семинара: как сделать так, чтобы философия не мутировала до неузнаваемости, попадая в публичное пространство? Я здесь, конечно, имею в виду не то гипотетическое «эллинско-полисное» «публичное пространство», которое, согласно В.М. Межуеву, сама философия и должна в идеале конституировать, а то реальное «публичное пространство», которое имело место в России и Европе...

О дальнейшей работе Степуна над этой проблематикой можно говорить долго. Ограничусь только некоторыми зарисовками. Важная тема — отношение Степуна к метаморфозам «левой идеи», в первую очередь к марксизму: то есть идеям Маркса, с одной стороны, и к марксистской идеологии, с другой стороны. В 1933 году в журнале «Новый град» (который он издавал в Париже вместе с Г.П. Федотовым и И.И. Бунаковым-Фондаминским) Степун опубликовал интересную статью о Марксе, где написал, в частности, что Маркс, по его мнению, был «одним из самых многосторонних и культурных людей своего времени», и согласился с характеристикой Маркса как «утонченного гурмана культуры»³⁰. Отмечая «внутреннюю чуждость» Маркса «всякому культурному упрощенству», Степун констатировал «неповинность Маркса в цивилизаторском варварстве»³¹.

Но тогда чем объяснить, задается вопросом Степун, что именно именем Маркса «не только прикрывается, но и подлинно творится тот разгром культуры, что вот уже много лет буйствует в России?»³². По мнению Степуна, в марксизме изначально существовало очевидное противоречие. В идейном

³⁰ Степун Ф.А. Любовь по Марксу // Новый Град, 1933, № 6. С. 13.

³¹ Там же.

³² Там же.

смысле философско-социологическая концепция Маркса «и по своим истокам, и по своей сущности» является классическим выражением буржуазной культуры³³. А вот в своем особом идеологическом преломлении, то есть «по своим практически-политическим заданиям» марксизм выступил «непримиримым врагом буржуазной культуры». (Чувствуете здесь аналогию с «двойственностью славянофильства» у Вл. Соловьева? Степун, кстати, написал свою докторскую диссертацию в Гейдельберге именно по историософии Соловьева.)

Этот, по выражению Степуна, «неувязкою теоретического сознания и практической воли» в учении Маркса объясняется полное бессилие собственно «пролетарского творчества». «В Европе, — пишет Степун, — особенно в Германии, где после революции 1919 года социал-демократия пришла к власти, пролетариат не произнес не только ни одного нового, но даже и просто своего слова»³⁴. Здесь Степун проводит очень остроумное, на мой взгляд, сравнение — сравнение отношения западноевропейского пролетариата к буржуазной культуре и отношения Льва Толстого — к Бетховену. Толстой, как известно, сначала отрицал Бетховена, потом плакал над Бетховеном, а потом считал свои старческие слезы за грех...

Итак, согласно Степуну, идейный аутентичный марксизм — это самокритика западной культуры, ее имманентная органическая часть. Более того, Степун пишет, что «вся экономическая и социально-политическая наука мыслит уже десятки лет в категориях Марксового учения», и «в каком-то широчайшем смысле этого слова ныне все марксисты»³⁵. Марксизм же, инкорпорированный в большевистскую идеологию, — это воля к уничтожению буржуазной цивилизации. Вот это противоречие Степун констатирует и в самом Марксе, который, с одной стороны, ненавидел «рабскую основу всех допролетарских культур», а с другой стороны, сам самозабвенно увлекался «Эсхилом, Сервантесом, Шекспиром и другими гениями “доисторической” эпохи»³⁶.

Поэтому если у Степуна и есть претензия лично к Марксу, то вот какая: «Быть может, величайшая беда марксизма, — пишет Степун, — заключается в том, что Маркс исключил из него те духовные основы, которые жили в нем и которыми он сам жил. Включением себя в свою систему Маркс мог бы избежать той лжи односторонности и примитивности, которые свойственны всякому, а в особенности советскому марксизму»³⁷.

³³ Степун Ф. А. Сочинения. М.: РОССПЭН, 2000. С. 472.

³⁴ Там же. С. 473.

³⁵ Там же. С. 480.

³⁶ Там же.

³⁷ Там же. С. 472.

Большевики в Советской России, как известно, не пошли западноевропейским путём «включения пролетариата в буржуазную культуру» (Степун оговаривается: «и по всей своей сущности и некультурности русских масс и не могли»). «Но тут-то и оказалось,— пишет он,— что никакого своего пути у пролетарской культуры нет», и «нетерпеливое, волевое утверждение» такого пути ведет «не только к разгрому буржуазной культуры, сколько к разгрому культуры вообще»³⁸.

Идеологизацию марксистской идеи в большевистском ключе Степун связывает, конечно, с Лениным. Здесь он — не только внешний аналитик, но и включенный участник событий, — как активный деятель Февраля. Степун вспоминал, в частности, свой послефевральский разговор с Плехановым в Царском Селе. Плеханов тогда, говоря о Ленине, произнес такие слова: «Как только я познакомился с ним, я сразу понял, что это человек может оказаться для нашего дела очень опасным, так как его главный талант — невероятный дар упрощения»³⁹.

Надо сказать, что в эмигрантской литературе таких инвектив против «Ленина-варвара» — хоть пруд пруди, причем иногда у весьма утонченных интеллектуалов. Но в том-то и удивительная роль Федора Степуна, что он — не примитивный антиленинист, не узкопартийный идеологический человек, а человек культурно-синтетический. В своих «Мыслях о России» он, например, пишет: «Думаю, что подмеченный Плехановым в Ленине дар упрощения проник в русскую жизнь гораздо глубже, чем это видно на первый взгляд. Быть может, он не только материально, экономически развалил Россию, но и стилистически уподобил себе своих идейных противников (курсив мой. — А.К.). Если внимательнее присмотреться ко многим господствующим сейчас в русской жизни культурным явлениям, в особенности же к тем формулам спасения России, которые предлагаются ныне некоторыми “убежденными людьми”, то невольно становится жутко: до того силен во всем ленинский дар упрощения. И в “сменовеховстве”, и в вульгарном монархизме., и в почти модном ныне отрицании демократии как пустой формы., и во многом другом очень много неосознанной большевистской заразы. Спасти всех стоящих сейчас на распутье от этого вездесущего большевизма, от преждевременного движения все равно куда, лишь бы по линии наименьшего сопротивления... — величайшая задача демократии»⁴⁰.

Итак, согласно Степуну, в борьбе с большевистской идеологией и практикой очень важно удерживать высокий тонус культуры, ибо идеологический антибольшевизм, в своем даре упрощения, полностью уподобляется

³⁸ Там же. С. 473.

³⁹ Степун Ф.А. Мысли о России // Новый мир, 1991, № 6. С. 208.

⁴⁰ Там же.

большевизму. Звучит более чем актуально. Вообще, по умению уйти от прямолинейных партийно-идеологических конструкций в стиле «правые–левые» Степун — большой мастер. Его работы в этом отношении можно сравнить разве что с выдающейся, на мой взгляд, в политико-философском отношении работой С.Л. Франка «По ту сторону правого и левого», которую я всегда рекомендую читать своим студентам.

Приведу — для симметрии — анализ Степуном деградации не левой идеи равенства, а правой идеи частной собственности. В одном из своих философских эссе из цикла «Мысли о России» Степун написал о том, как постепенно важнейшая позитивная цивилизационная идея частной собственности вырождается в опасную для цивилизации «идеологию». Степун пишет (это 1926 год): «Наши крайние правые очень любят доказывать нравственно-воспитательное значение этого “священного” института... (собственности. — А.К.). Но как же могут они не видеть, что... унаследованная земля, на которой я живу и над которой творчески работаю,— один вид собственности, нравственное значение которой несомненно; но десятое имение, дешево купленное с торгов и доверенное управляющему,— совсем другой тип; десятое имение — не собственность, а отрицание собственности. Как раз с этической точки зрения на собственность должно быть ясным, что собственность правá и зиждительна лишь до тех пор, пока она строит человеческую личность, и что она грешна, когда она ее расхищает»⁴¹. Мне кажется, это очень показательный пример того, как можно выстраивать в России искомый «цивилизационный консенсус». На место примитивно-партийной склоки: хороша или плоха частная собственность вообще, Степун предлагает (в том числе и нам) разговор о том, *при каких условиях* собственность, как он говорит, «зиждительна», а при каких она — разрушительна.

У Федора Степуна есть работа, которая специально посвящена соотношению «идей» и «идеологий» и трансформации первых во вторые. Это его большая статья «Религиозный смысл революции», напечатанная в парижских «Современных записках» в 1929 году. Начну с того, что для Степуна «идея» — это «структура бессознательного переживания», а «идеология» — «продукт теоретического сознания».

Процесс «идеологизации идей» для Степуна — это верный симптом нарождающейся революции: «Пока классы — держатели старых ценностей, классы — хранители старых форм культуры и восходящие к власти новые классы борются друг с другом лишь за разные воплощения общего им духовного содержания, до тех пор революции, в точном и узком смысле этого слова, быть не может. С момента же, в котором борьба из-за форм культуры накаляется до того, что раскалывается надвое единство

⁴¹ Степун Ф.А. Мысли о России // Современные записки, Париж, 1926, № 28. С. 374.

национального сознания — революция уже налицо, иногда задолго до баррикад и казней»⁴².

«Разложение национального сознания» (то есть раскол «общего духовного содержания» на конфликтующие идеологии), по мнению Степуна, «начинается всегда среди правящих классов, среди представителей старых культурных форм и традиций. Начинается оно всегда одинаково: с обездушения господствующих культурных ценностей путем превращения их в факторы власти и даже насилия над восходящими к жизни новыми народными слоями, новыми классами. Не в субъективно-психологическом, конечно, но в объективно-историческом смысле,— пишет Степун,— застрельщиками революции являются не столько революционные вожди, сколько те власть имущие представители старых форм жизни, что первые производят девальвацию доверенных им культурных ценностей путем прагматически-утилитарного отношения к ним. Народная революция, в сущности, никогда не взрывает подлинных твердынь господствующей культуры. Она лишь по бревнышкам да кирпичикам разносит и прахом развеивает обездушенный остов уже мертвой жизни. Лишь тогда, когда правящие слои царской России превратили исповедуемую ими религиозно-национальную истину в идеологический заслон против народных требований, то есть обездушили ее, восстал русский народ на царя и на Бога во славу Маркса и интернационала»⁴³.

Таким образом, Степун делает важный вывод: «С момента... отрыва идеологий от соответствующих им идей срыв эволюционных процессов в революцию становится неизбежным... Революция рождается всегда из реакции... Реакция есть инерция упорного отстаивания мертвых идей. Чем быстрее распадаются в предреволюционной эпохе старые идеи, тем пышнее расцветают реакционные идеологии»⁴⁴.

Степун подробно развивает тему (пунктирно намеченную уже у Бердяева в «Вехах») об «органической связи идей и идеологий». «Правы и нужны в жизни только те идеологии,— пишет Степун,— которыми органически зацветают идеи, то есть те, которые представляют собою точные теоретические описания духовно-реальных процессов. Вредны же и лживы те., за которыми не стоит никакая духовная реальность, которые порождаются комбинирующими энергиями отвлеченного сознания, которые возгораются не от вечного пламени священного очага жизни, а от случайно попадающих в мозг искр и отсветов чужих идеологий. Эти, реальными переживаниями не оплаченные, заносные, верхоходные идеологии представляют собою

⁴² Степун Ф.А. Религиозный смысл революции // Современные записки, Париж, 1929, № 40. С. 436.

⁴³ Там же. С. 436–437.

⁴⁴ Там же. С. 443–444.

громадную опасность для социальной жизни. Они создают идеологические эпидемии, псевдодуховные поветрия, идеологические моды, они расшатывают устои жизни и разъедают ткань»⁴⁵.

Обстоятельства, «наиболее благоприятствующие расхищению жизненной субстанции беспочвенными идеологиями», бывают, согласно Степуну, «двоякого рода»: «Лжеидеологии особенно легко размножаются или в период зарождения идей, или в период их умирания; представляют собою или результат нетерпеливого желания как можно скорее, хотя бы чужими, заимствованными словами высказать только еще созревающие в душе идеи-реальности; или попытку словесной защиты уже умерших идей. Но самое главное, что характерно для всех беспочвенных, неорганических идеологий, или короче — лжеидеологий, это их взаимная враждебность, их абсолютная непримиримость. Эту непримиримость, этим отсутствием всякой почвы для примирения они отличаются от тех живых идей, на которых они расцветают...»⁴⁶

И далее еще один важный вывод: «Все беспочвенные идеологии тяготеют к взаимному отталкиванию, почвенные же к взаимному притягиванию... Последняя сущность всех революционных идеологий — в их метафизическом малодушии, в их недоверии к органическому вызреванию идей. Новая идея только еще зарождается в объятиях старой, умирающей. Новая идеология, как точная формула вызревающей идеи, — еще не дана. Ситуация требует величайшей осторожности, напряженного всматривания в брезжущие контуры намечающегося мира. Но революционная энергия рвется вперед: требует у еще немой идеи красноречивую идеологию, выдумкою убивает мысль. Уточнение мысли на почве углубленного постижения идеи — невозможно. Остается одно — строить революционную идеологию в качестве “реакции-наоборот”. По этому рецепту и строилось всегда всякое революционное якобинство»⁴⁷.

Беда России, согласно Степуну, в том, что «и на правом и на левом флангах господствуют, никаким золотым фондом идейно-подлинных переживаний не обеспеченные, бумажные идеологии. Встреча между ними невозможна, ибо встреча, как было показано, возможна только между идеями. Остается только одно — борьба. Борьба не на живот, а на смерть. Самое же страшное, что эта борьба на смерть есть борьба между двумя мертвецами: между идеологией, случайно не похороненной вместе со своей идеей, и идеологией, насильнически вырванной из чрева своей идеи»⁴⁸.

⁴⁵ Там же. С. 441.

⁴⁶ Там же. С. 441–442.

⁴⁷ Там же. С. 444–445.

⁴⁸ Там же. С. 445.

В своих многочисленных других работах, прежде всего в цикле «Мысли о России», Степун очень много сделал для того, чтобы развенчать «ложные идеологии». Он глубоко проанализировал, например, трагический разрыв и обоюдную деградацию русских славянофилов и русских западников. Вот его буквальные слова: «Вырождение свободолюбивого славянофильства Киреевского в сановнически-реакционное славянофильство Победоносцева. Вырождение верующего свободолюбия западника Герцена в лжерелигиозный героизм революционной интеллигенции». Степун мечтал о новом «сращении в русской жизни, в русском общественно-политическом сознании консервативно-творческих и революционно-положительных душевных энергий». «Я глубоко уверен, — писал он в “Мыслях о России”, — что величайшим несчастьем России будет, если в ней не создастся некоей центральной психологии, психологии душевно-емкой, культурно многомерной и политически крепкой»⁴⁹.

...Хочу подвести некоторые промежуточные итоги. Процесс превращения «идеи» в «идеологию» (даже учитывая серьезные поправки Степуна) всегда имеет своими константами следующие процессы: примитивизацию, политизацию, массовизацию, нормативизацию, монологизацию. В этом смысле получается, что тенденция к идеологизации идей — это процесс, в значительной мере спонтанный, неизбежный, особенно для эпохи массового общества. Более того, идеологии, ставшие продуктом упрощения и массовизации, бытуют и в тех массовых обществах, в которых все-таки существует сильный костяк общества гражданского. Иначе, повторяю, и быть не может. Меня же в первую очередь волнует ситуация в тех обществах (Россия принадлежит к их числу), где массовое общество получает полное доминирование над обществом гражданским и где появляются не просто «идеологии», а тоталитарные репрессивные идеологии.

Как не допустить тотализации идеологии? — вот главный вопрос. Строго говоря, таких идеологий мы знаем три (возможна ли какая иная? — вопрос открытый). Я их кратко назову (по мере исторического затвердевания, поскольку тенденции существовали и ранее): 1) красная — большевистско-сталинистская; 2) коричневая — фашистско-муссолиниевская; 3) черная — нацистско-гитлеровская. Что их объединяет? Я много писал об этом, начиная с книги «Тоталитаризм как исторический феномен» (1989). Все эти три формы тоталитарной идеократии шли к власти, а потом удерживали власть с помощью сходного идеологического механизма — монополизации и оперирования таким понятием, как «историческая вина». Вообще, моя давняя идея: власть — это возможность приватизации и монополизации проблематики «исторической вины».

⁴⁹ Там же.

Действительно, все три формы тоталитарной идеократии построены на том, что они «вменяют вину и репрессируют за это». В красной идеократии виноваты классы; в нацистском (гитлеровском, черном) варианте «виноваты» народы и расы, отличные от «подлинных арийцев». В муссолиниевском, коричневом варианте так называемого «корпоративного государства» виноваты абстрактные «чужие», «не свои». «Кто не с нами, тот против нас».

Сейчас, кстати, некоторые публицисты утверждают, что в современной России существует «корпоративное государство» на манер муссолиниевского: «свой» может быть и олигарх-еврей в Лондоне, и работяга-русский с «Уралвагонзавода» — в «свои» берут всех, кто присягнул. А виноваты те, «кто не с нами». Надо добавить, что корпоративный вариант идеократии в духе Муссолини в истории был относительно менее репрессивным (хотя бы тем, что лояльность в отличие от «пятого пункта» или «социального происхождения» в любой момент можно изобразить), но кто знает, куда это может привести? Будьте, как говорится, бдительны!

Меня в свое время заинтересовал вопрос, почему прорыв в тоталитарную идеократию в России произошел именно на базе марксизма. Ведь в России имели место и более радикальные и даже изначально террористические идеи, например, радикальное народовольчество? В позднее советское время, в кругах шестидесятников активно бытовала идея (возможно, бытует и сейчас), что в этой стране, на этой русской почве тоталитарная репрессивная идеократия могла вырасти на чем угодно, а не только на марксизме. Вот что писал, например, известный публицист Лев Аннинский: «Нечто близкое, военно-казарменное на этом куске земли было бы выстроено и с помощью какой-нибудь другой системы идей. Пойди иначе ход диспутов в тех или иных интеллигентских кружках прошлого века — замесилось окончательно бы тесто не на марксовом экономизме и не на свободной этике Энгельса..., замесилось бы новое учение на каком-нибудь леонтьевском византизме, на соловьевской софийности, на либеральном “свободном выборе” в духе Михайловского или на “общем деле” в духе Федорова,— тогда хлынула бы вся наша накопившаяся агрессивность в другие формы...»⁵⁰

Я не согласен с Аннинским: круг потенциальных «кандидатов» был значительно уже; внимательный анализ показывает, что по некоторым параметрам марксизм оказался не просто лучшим кандидатом, но и единственным. В учении Михайловского, тем более Соловьева и даже Леонтьева и Федорова (я перечисляю тех, кого называет Аннинский), не было потенциала идеологического сброса «исторической вины» на кого бы то ни было. Или, например, радикальное народничество. Этот идейный комплекс мог быть в некоторых

⁵⁰ Аннинский Л. А. Монологи бывшего сталинца // Осмыслить культ Сталина. М., 1989. С. 60.

своих проявлениях крайне радикальным, однако возможность тотализации российского сознания народничеством блокировалась одним принципиальным обстоятельством. А именно: основная народническая идеологема — принятие на себя вины перед народом и желание «пострадать за народ» — накрепко закупоривала проблематику «исторической вины» в собственно народнической среде. Без разгерметизации этой среды, без инверсивного «выброса вины вовне» запуск идеократического тотализатора был невозможен.

А вот в скромном, казалось, марксизме, поначалу вовсе не историческом, напротив, примиряющим с историей (капитализм, мол, нужен, полезен, хотя бы тем, что создает пролетариат — вспомним и Плеханова, и раннего Ленина), проблематика «исторической вины» наличествовала («экспроприаторов надо экспроприировать») и требовала только решительной идеологической актуализации — что и проделал Ленин.

Один из наиболее блестящих исследователей проблемы тоталитаризма В.А. Чаликова провела (совсем незадолго до своей безвременной кончины) достаточно рискованный мыслительный эксперимент, который, как я сегодня понимаю, был абсолютно корректен и полностью оправдался. Она взяла знаменитый апокриф о молодом Владимире Ульянове, который при известии о казни брата вроде бы произнес историческую фразу: «Мы пойдем другим путем». «Что означала эта фраза?» — задается вопросом Чаликова, оговариваясь, впрочем, что она не уверена, что сцена в Симбирске была именно таковой. Но, замечу от себя, реальная конкретная история и «логика истории» — это разные вещи. Виктория Чаликова (один из немногих известных мне людей, кто в любой идее, в том числе, кстати, и «демократической» с виду, умел рассмотреть тоталитарные задатки), уловила здесь не столько одномоментный исторический факт «поворота», сколько логику мутации русского революционистского мышления. «Я убеждена теперь, — пишет Чаликова, — что “другой путь” действительно, был избран, что был совершен духовный переворот в поколении, в его незаурядном представителе. И только за духовным последовал роковой политический переворот. Владимир Ульянов разрывал с Александром Ульяновым, а Александр был из тех, кто еще верил в исправление мира подвигом и жертвой — убийством одного и искупающей убийство гибелью другого, его крестной мукой. Поколение Александра еще читало некрасовские строки так, как они были написаны: “Дело прочно, когда под ним струится кровь”, — то есть моя кровь. Ленинизм рассчитывал на чужую кровь, хотя обильно пролил свою. В ленинизме не было жажды жертвы, и это выразилось впервые в ясном ощущении мальчика, что он не хочет, “как Саша”, что крест его не манит, что “положить живот за други своя” ему не сладостно»⁵¹.

⁵¹ Чаликова В.А. С Лениным в башке // Век XX и мир, 1990, № 8. С. 34.

С какого момента и в какой пропорции новый тип сознания поселяется и обнаруживается в уме конкретных людей, того же Ульянова, — вопрос специальный, требующий исследовательских усилий историка, а не философа. Философ же предлагает констатировать тот факт, что в большевизме как особой «духовно-политической породе» (удачное определение большевизма Г. Федотовым) было в какой-то момент снято противоречие между нехристианской этикой русских революционеров, уже поправших принцип «не убий», и их же пока еще христианской психологией. Чаликова приводит примеры этого добольшевистского революционного сознания (эсера Зензинова, писавшего, что ни раскаяние, ни даже казнь террориста не спасают его от бремени греха; эсера Каляева, который все откладывал покушение, чтобы не пострадали женщины и дети); эту противоречивость, мешающую запустить «массовый тотализатор», большевизм радикально снял, приведя психологию в гармонию с этикой.

«Оказалось, — пишет Чаликова, — можно заниматься ликвидацией людей и быть спокойным, уравновешенным: играть в шахматы, удить рыбу, наслаждаться горными прогулками. Тут была важная деталь: не делать ничего такого собственноручно, действительно идти другим путем, чем Александр, который взял на себя и деяние, и расплату...»⁵².

В заключение я обещал продемонстрировать некий константный алгоритм вырождения «идеи» в «тотализующую идеологию». Для нас как философов и как граждан каждая из этих «вех» является симптомом опасной болезни, требующей немедленного лечения. Перечисляю кратко по этапам.

1. Начинается радикальное отрицание предшествующей традиции («отречемся от старого мира...») во имя очередного «исторического прорыва в светлое будущее». Идет «игра на понижение» — кто радикальнее отмежует от «проклятого прошлого» во имя скорейшего наступления «светлого будущего».

2. Происходит быстрая радикализация вопроса об «исторической правоте» самих преобразователей («история нас оправдает») и, соответственно, «исторической вине» реакционных субъектов (повторяю: они могут быть разные: чужие народы, чужие классы или просто «чужие»). Социальное творчество вырождается в идею исторического предопределения, якобы гарантированного историческими законами («верной дорогой идем, господа/товарищи!»). Ошибки и неудачи преобразователей регулярно объясняются некими «происками врагов».

3. Выделяется «авангард избранных» («орден меченосцев»), который противопоставляется «косной отсталой массе». Большинство населения становится объектом исторического эксперимента. Завороженное перспективой

⁵² Там же. С. 35.

быстрого прогресса, молчаливое большинство на какое-то время уступает активному меньшинству право на радикальное экспериментаторство. (Зинаида Гиппиус как-то отметила в дневнике эту постоянную воспроизводимость в русской истории одного и того же явления: «Чем власть диче, чем она больше себе позволяет, — тем ей больше позволяют»⁵³)

4. Происходит быстрая «негативная селекция» внутри правящего слоя: рафинированные творцы проекта (условно, «интеллигенты») сменяются «идеологами» — полуинтеллигентами-фанатиками, а затем и циничными прагматиками-карьеристами.

5. Начинаясь как эмансипаторский и антибюрократический, новый идеологический проект постепенно перерождается в сугубо административно-бюрократический. Правящий режим, монополизируя право на «гарантирование светлого будущего», очень быстро самоутверждается (и активно убеждает в этом других) в собственной «безальтернативности».

6. Реализация идеи, как декларируемого изначально комплексного социокультурного процесса, приобретает экономоцентристский характер и суживается на вопросах перераспределения собственности и благ. При этом изначально заложенная в проекте трудовая доминанта (все тоталитаристы говорили: «кто не работает, тот не ест») с неизменным постоянством уступает первенство механизмам вполне корыстного материального перераспределения.

7. Над преобразованиями начинает довлеть своеобразный «страх контрреволюции и реставрации». Николай Бердяев в свое время назвал это явление «комплексом постоянного ожидания жандарма», что придает новому правящему режиму черты самозванства и хлестаковщины.

8. Осуществление проекта постепенно принимает неправовой характер и постепенно подчиняется императиву сначала «революционной законности», а потом и «революционной целесообразности».

Закономерен вопрос: что можно сделать в такой ситуации? Я очень скептически отношусь к самой возможности конструирования «хорошей идеологии». Некоторым ориентиром для меня всегда являлись слова Вл. Соловьева о том, что никогда нельзя верить тому, кто говорит, что знает, «как надо». А главная его великая максима: Задача не в том, чтобы построить рай на земле, а в том, чтобы не допустить здесь ада... Соловьев, как известно, первоначально сказал это в расчете на разумность государства. Но уже в «Трех разговорах» он приходит к выводу, что и государство может быть орудием Антихриста, и делает однозначную ставку на Церковь. Возможна ли секулярная сила, выполняющая задачу «Удерживающего» — например, культура и ее носители — это серьезнейший вопрос.

⁵³ Гиппиус З.Н. Дневник // Мережковский Д.С. Большая Россия. Избранное. Л., 1991. С. 234.

Я никогда не был сторонником идеи «максимизации добра» (помнится, Семен Франк утверждал, что 99% всего зла в мир привнесено в борьбе за ложно понимаемое добро), и считаю, что более права, может, менее привлекательно звучащая, но зато более надежная теория «минимизации зла». Общество должно выстраивать «заслоны», в том числе и институциональные, на пути мутации идей в репрессивные идеологии. Тот же Федор Степун написал в свое время в «Мыслях о России» о том, как и за счет каких механизмов Европа сопротивлялась идеологической тоталитаризации: «Изобретя машину и взрастив индустриализм, Запад бесспорно создал серьезную угрозу духовным основам европейской культуры. Но, создав эту угрозу, он создал и средство борьбы против нее. В гуманизме — в идеях и институтах автономной науки, свободы, права, демократии, капитализме (пусть в секуляризованном виде), как-никак, все же сберег унаследованные им от античности и средних веков духовные начала от разгрома машинной цивилизации»⁵⁴.

Уверен, что и в России этот процесс сопротивления идеократизации со стороны культуры возможен, и философы очень много могут сделать: как за счет своих профессиональных текстов, так и за счет других форм репрезентации в так называемом «публичном пространстве», каким бы куцым и разочаровывающим оно нам подчас ни казалось.

Литература

- Аннинский Л.А.* Монологи бывшего сталинца // Осмыслить культ Сталина. М.: Прошоеес, 1989. С. 54–80.
- Бердяев Н.А.* Духовный кризис интеллигенции. СПб.: Тип. «Общественная польза», 1910. — 314 с.
- Бердяев Н.А.* Философская истина и интеллигентская правда // Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции (репринтное издание). М.: Новости, 1990. С. 5–26.
- Вейдле В.* Только в Россию можно верить // Вестник РСХД, 1974, № 114. С. 240–245.
- Гиппиус З.Н.* Дневник // Мережковский Д.С. Большая Россия. Избранное. Л., 1991.
- Зандер Л.А.* О Ф.А. Степуне и некоторых его книгах // Мосты. 1963. № 10.
- Соловьев В.С.* Славянофильство и его вырождение // Соловьев В.С. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Правда, 1989.
- Степун Ф.А.* Бывшее и несбывшееся. Т. 1. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956. — 398 с.
- Степун Ф.А.* Любовь по Марксу // Новый Град. 1933. № 6.
- Степун Ф.А.* Религиозный смысл революции // Современные записки, Париж, 1929. № 40.
- Степун Ф.А.* Сочинения (общ. ред. В.К. Кантора). М.: РОССПЭН, 2000. — 1000 с.
- Чаликова В.А.* С Лениным в башке // Век XX и мир, 1990, № 8.

⁵⁴ *Степун Ф.А.* Мысли о России // Современные записки. Париж, 1926. № 28. С. 386.

Раздел третий

**РОССИЯ В ПОИСКАХ
ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ**

ИСТОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ В РОССИИ: ОРГАНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ versus СОЦИАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТИВИЗМ

Цивилизационный подход к анализу истории, после долгих лет забвения в советский период, в последние годы прошлого века вновь начал входить в силу и ныне доминирует в нашей общественной науке. Отечественные *самобытники*, уверенные в «особом пути России», сегодня явно берут верх над ушедшими в глухую оборону *западниками*, которым, очевидно, все труднее представлять «путь Запада» в качестве магистрального пути общечеловеческого цивилизационного развития.

Вместе с тем становится все более очевидным, что сам «цивилизационный метод» вовсе не является панацеей от идеологизированного непрофессионализма и гарантией научной корректности, которую не стоит путать с конъюнктурной «успешностью» — временной, а стало быть, преходящей.

Прав был А.С. Ахиезер, который, открывая первый номер «Вопросов философии» за 1993 г., писал о некоей «родовой травме цивилизационного подхода по-постсоветски», который пророс в нашем обществоведении не органично, а, скорее, вынужденно: «Историческое поражение нашего общества в борьбе за “идеалы социализма” — свидетельство краха идеологии, заложенной в основу всей его жизнедеятельности. Ее падение разрушает иллюзию опоры на объективную картину социальной реальности. Кризис порождает соблазн наполнить образовавшуюся пустоту альтернативной идеологией»¹.

Об этом же, более развернуто, писал и В.М. Межуев, до последних своих дней отказывавшийся признавать поражение универсалистского взгляда на человеческую историю и придерживавшийся формулы: *культур много — цивилизация одна*. «О “России как цивилизации”, — отмечал Вадим Михайлович, — стали писать сравнительно недавно и явно под воздействием происшедших в ней перемен. Попытка характеризовать Россию — в лице СССР — в понятиях формационного членения истории, выводившая ее чуть ли не в авангард мирового развития (“первая в мире страна победившего социализма”), оказалась несостоятельной ввиду очевидной ее отсталости по сравнению с развитыми странами Запада и Востока»².

¹ Ахиезер А.С. Россия как большое общество // Вопросы философии. 1993. № 1. С. 3.

² Межуев В.М. Цивилизационная идентичность России // Теоретическая культурология. М.: Академический проект. 2005. С. 196.

Другими словами, запоздалое признание закономерного фиаско с размещением деградировавшего в силу имманентных причин СССР на самый верх всемирной «стадиально-формационной лестницы» вовсе не предполагает успеха в конструировании философско-исторической альтернативы в виде «цивилизационного веера», в котором российский «луч» якобы обречен занять гарантированно достойное место. В своей монографии 1995 г. «Новое варварство как проблема российской цивилизации», написанной по материалам докторской диссертации, защищенной в Институте философии в 1994 г., я, как мне кажется, достаточно наглядно показал, что в мировой истории любая цивилизация борется не столько с конкурирующими соседними цивилизациями (что тоже, конечно, имеет место), но, в первую очередь, *со своим собственным «варварством»*, и часто, увы, проигрывает в этой борьбе³. Не осмыслив этого обстоятельства, наши нынешние, внешне пока удачливые «цивилизационщики» (часто вчерашние рьяные истматовцы) рискуют в обозримом будущем пережить очередное разочарование.

Замечу, что в культурных кругах еще дореволюционной России были хорошо известны классические европейские труды Франсуа Гизо («История цивилизации во Франции») или, например, Генри Томаса Бокля («История цивилизации в Англии») и, тем не менее, отечественные авторы обобщающих текстов о России по каким-то причинам избегали применять понятие «цивилизация» и говорили либо о *российском государстве* (Карамзин, С. Соловьев), либо о *русском народе* (Полевой), либо о *славянском культурно-историческом типе* (Данилевский) и т.д. Логично предположить, что этим образованным русским было ясно, что оперирование таким философски насыщенным понятием, как «цивилизация», таит в себе большие искушения и, наверное, некоторые аналитические преимущества, но и имеет свои ограничения и издержки.

Думаю, что, используя концепт «цивилизация», мы должны в полной мере учесть и то обстоятельство, что в отечественной культуре накопился солидный пласт иронично-пародийной литературы на тему сомнительных претензий на «обобщающие труды»: например, «История села Горюхина» Пушкина (прямо высмеивающая книгу Полевого), «История одного города [Глупова]» Салтыкова-Щедрина или «История села Брехова» Можяева. Учитывая этот контекст, к формулировке любых новаций на тему «российской цивилизации» стоит подходить очень осторожно и в режиме хотя бы относительного и очень предварительного консенсуса.

Итак, ни в коей мере не отказываясь от самого концепта «цивилизация» в исследовании исторического пути России (и даже настаивая на его

³ *Кара-Мурза А.А.* «Новое варварство» как проблема российской цивилизации. М.: Институт философии РАН, 1995.

использовании, впрочем, очень аккуратном и, так сказать, «консервативном») я полагаю, что в центре подобного исследования неизбежно окажутся две оппозиции: *органическое развитие versus социальный конструктивизм* (спонтанность / импровизация в терминах А.М. Салмина); и *преемственность versus прерывность*.

Эта двойная смысловая оппозиция в отношении истории цивилизации в России порождает, в свою очередь, постановку *трех кардинальных вопросов*. Помимо их максимально жесткой формулировки, я, разумеется, намерен дать *собственные ответы* (очень предварительные, конечно) на каждый из них.

Вопрос первый: Можно ли вообще говорить (и примерно с какого времени) о «русской цивилизации»; и, если да, то какой она была по своему генезису?

Ответ: Обращаясь к генезису цивилизации в России, правильнее говорить о «*русской цивилизации*» (в отличие от структурно иного и более позднего образования — российской имперской государственности). «Русская цивилизация» была по своему генезису *православной*, развивавшейся в контексте более общего цивилизационного пространства — христианской Европы.

Вопрос второй: Произошло ли в результате большевистского переворота 1917 г. и последующих насильственных трансформаций крушение «православной цивилизации»; и если да, то что пришло ей на смену?

Ответ: В результате большевистского переворота (по своим главным параметрам завершившегося к 1930-м гг.) произошел слом «православной цивилизации». Ей на смену в России пришла *коммунистическая (советская) цивилизация*.

Вопрос третий: Наступил ли на рубеже 1980–1990-х гг. конец коммунистической (советской) цивилизации и если да, то что пришло ей на смену?

Ответ: После краха (демонтажа) коммунистической (советской) цивилизации в современной России постепенно формируется собственно *росcийская цивилизация*, основной вектор развития и итоговые характеристики которой носят *вероятностный характер*.

Генезис цивилизации в России.

Русская православная цивилизация

История цивилизация в России — это сложный длительный процесс, проходивший в режиме парадоксальной «*преемственности через катастрофы*». Думаю, в целом прав был Арнольд Тойнби, когда различал локальные цивилизации по совокупности (комбинации) двух основных факторов: *жизненный уклад + тип сакральной вертикали*. На этом основании Тойнби,

среди отмеченных им 20–22 цивилизаций (как мертвых, так и живых), выделял две «православные цивилизации»: *основную* (Византия) и *вторичную* (Русь/Россия)⁴. В этом смысле процесс развития и воспроизводства православного мира можно определить, как культурно-географическое смещение его «ядра» из региона Восточного Средиземноморья на русский Север.

«Вторичность» русской православной цивилизации по отношению к византийской (Бердяев определял их как *дочернюю* и *материнскую*) означала в том числе повышенную степень социально-идеологического конструктивизма. В последние десятилетия этот ракурс рассмотрения цивилизационного процесса обрел популярность, благодаря новаторским трудам Пьера Бурдьё о «символической политике», Бенедикта Андерсона о «воображаемых сообществах», Эриха Хобсбаума об «изобретении традиций» и т.д. Эти исследования наглядно показали, что все идентичности, в том числе цивилизационные, будучи в той или иной степени порождением спонтанных органических процессов, так или иначе *конструируются*.

Примером того, как православная цивилизация на русском Севере не только стихийно «проросла», но и была сознательно *выращена*, является известный нам по Ипатьевский летописи факт (пусть полу-мифологический и «сжатый» летописцем во времени и пространстве) *свободного выбора веры* для своего государства в 988 г. князем Владимиром Святославичем с последующей расправой «крестителя Руси» над старыми языческими элитами (см.: «восстания волхвов») и их пантеоном.

Абсолютно точен был Д.Е. Фурман, когда на страницах «Вопросов философии» еще в конце 1980-х гг. писал: «Очевидно, этот рассказ — наполовину легенда, наполовину — чисто литературное произведение. Но, на наш взгляд, как бы ни соотносился рассказ с реальными историческими событиями, в нем содержится одна очень важная истина... Истина эта заключается в том, что Владимир и его окружение — раннефеодальная верхушка русского общества — не орудия каких-то безличных сил, а живые люди, совершившие жизненный выбор, который, как и любой выбор, мог быть и каким-то иным. И выбор этот, опять-таки как любой жизненный выбор, был выбором сложного целого (в данном случае — религии), основывавшимся на неполном знании этого целого. И именно это волевое решение заранее не предпрешенной ситуации делает Крещение Руси историческим событием»⁵.

Разумеется, как всякий исторический выбор, «выбор князя Владимира» мог стать обратимым. В середине XII в. произошел распад первичного естественного вместилища русской православной цивилизации — Киевской

⁴ Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. Мир и Запад. М.: АСТ, 2011. С. 157–161.

⁵ Фурман Д.Е. Выбор князя Владимира // Вопросы философии, 1988, № 6. С. 90–99.

Руси (условной датой здесь называют 1132 г. — год смерти великого князя Киевского Мстислава Великого). Произошла поистине геополитическая катастрофа (распад государства), но именно геополитическая, а не цивилизационная: православный мир сохранился, хотя и распался на ряд обособленных фрагментов.

Принципиальной вехой в окончательном оформлении православного цивилизационного «каркаса» стал 1441 г., когда московский князь Василий II отверг Флорентийскую унию, привезенную из Италии митрополитом Исидором (греком по национальности), назначенного легатом римского папы Евгения IV «для провинций Литвы, Ливонии, Всея Руси и Польши». Исключительность события усугубилась тем, что Исидор успел по прибытии в Москву отслужить в Успенском соборе молебен (в присутствии великого князя) за здравие папы римского, как нового первосвященника, и лишь через три дня был арестован и заключен в Чудов монастырь. Несколько позднее, в 1448 г., Русь избрала своего автокефального православного митрополита Иону Московского.

В целостном виде православная цивилизация на Руси, в совокупности своих *органических* и *конструктивистских* свойств, сложилась в следующее московское княжение Ивана III Великого. По поводу этой констатации в отечественной литературе сложился определенный консенсус: от Карамзина — через Ключевского — и вплоть до последних работ А.С. Панарина.

Держава Ивана III, ставшая мощной защитной оболочкой для ценностного ядра православной цивилизации, обладала рядом базисных характеристик: она одновременно обороняла это «ядро» и с запада — от воинствующего латинства, и с востока — от столь же воинствующего ислама. Ключевой вехой здесь является 1480-й год, т. наз. «стояние на Угре», когда Руси удалось отстоять православную Московию не только от прямой угрозы со стороны мусульманского хана Большой Орды Ахмата, но и от перспективы нападения Казимира IV, католического великого князя литовского и короля польского. (Надо также принять во внимание, что спустя почти столетие, в 1571–1572 г., при царе Иване IV Грозном, было вполне реальным крушение православной цивилизации, когда Московская Русь едва не пала под натиском оправившегося от потерь Казани и Астрахани консолидированного исламского мира — объединенного фронта крымского и ногайского ханов и набравшей силу Османской Турции).

Признавая исторический факт, что именно *православное русло* в развитии цивилизации на территории Руси/России стало *магистральным*, нельзя игнорировать и то, что, с одной стороны, теоретическая возможность стать таковым на территории нынешней России была и у некоторых других конкурирующих локальных «потоков»: у иудаистского Хазарского каганата,

у мусульманской Волжской Булгарии, у Золотой (а потом Большой) Орды на пике их могущества и даже у поклонника суфиев Тимура (Тамерлана), который, преследуя войско хана Тохтамыша, едва не захватил Москву летом 1395 г. С другой стороны, существовала вероятность (также не реализованная в истории), что центром кристаллизации православного мира станет не Москва, а, например, Тверское княжество или поначалу православное Великое княжество Литовское.

Однако, как показала история, альтернативные цивилизационные «потоки» так или иначе иссохли и были поглощены и освоены основным, *православно-московским* руслом отечественной истории. В процессе этого освоения (очень травматичного для многих сообществ с их самобытными укладами), имело место, разумеется, сожителство и переплетение разнородных культур. Однако разговор о некоем «синтезе цивилизаций» абсолютно некорректен, ибо невозможен синтез православия и ислама, православия и иудаизма, православия и буддизма и т.д. Вплоть до краха Петербургской России православная цивилизационная доминанта на территории страны была очевидна фактически и закреплена юридически.

«Государственной оболочкой», в которой развивался православный мир, было Московское царство, а затем Российская империя. Имперский характер тогдашней российской государственности подразумевал, что на периферии «православного ядра» существуют ареалы, тяготеющие к иным, пограничным цивилизациям: это касалось католической Польши, протестантских Прибалтики и Финляндии, мусульманских Центральной Азии и части Кавказа и т.д. Важно, однако, подчеркнуть, что удержание этой периферии в орбите Российской империи осуществлялось *государственными* (силовыми, административными, культурными) механизмами, но никак не «цивилизационным синтезом», невозможным, повторяю, по определению, что доказывает, к примеру, печальный опыт латиногреческого униатства.

Заслуживает также внимания проблема культурно-хронологической *периодизации* внутри эпохи существования православной цивилизации. В этой связи я, в том числе на основе собственных исследований, склонен утверждать, что, при всех отличиях Петербургской России от до-петровской (Московской) Руси, при переходе от одной эпохи к другой сработали мощные механизмы *цивилизационной преемственности*. Самое главное, была сохранена, хотя в обновленном и усложненном виде, базовая комбинация факторов, определяющая особый тип цивилизации: аграрное, по преимуществу, сословное общество + доминирование православия в религиозной сфере, даже с учетом волевого перевода при Петре I православия, как института, из Патриаршего режима функционирования — в Синодальный.

От православной цивилизации — к советской

В первой трети XX в. пролонгация истории цивилизации в России случилась через очередную «цивилизационную катастрофу»⁶. Большевистским переворотом осенью 1917 г. начался последовательный слом православной цивилизации, имевшей к тому же на тот момент имманентные симптомы увядания.

Надо добавить, что кризисы начала XX в., включая первую мировую войну, породили в России, помимо большевизма, и ряд других цивилизационных проектов, альтернативных русско-православному. Российские левые всех мастей, готовые ограничиться умеренным этапом революции (от Февраля до Учредительного собрания), были готовы отпустить из Российской демократической республики всех «угнетенных инородцев», дав им право сформировать собственную государственность и воссоединиться с «материнскими цивилизациями» (христианством западного типа для Финляндии и Прибалтики; исламом для азиатских регионов бывшей Империи). Правоконсервативная часть российского общества, напротив, требовала усиления охранительной функции православия. Парадоксальной была позиция либералов-центристов (Милюков, Струве и др.), которые, будучи готовы «отпустить инородцев» или дать им максимальную автономию, рассчитывали обновить «Великую Россию» за счет присоединения «исконно православных земель», например, турецких проливов.

Тем не менее, реальный итог столкновения русских цивилизационных проектов в первой четверти XX в. хорошо известен: победил именно большевизм, как наиболее насыщенный, согласно Н.А. Бердяеву, «квазирелигиозной энергетикой». Еще за полгода до большевистского переворота Бердяев сделал поистине пророческий вывод: у исторической России появился враг посерьезнее, чем «милитаристская германская душа» (на чем делали акцент многие), и враг этот бурно пророс из самой толщи русской ментальности. После первой, тогда неудавшейся, попытки большевиков взять власть в Петрограде в июле 1917 г. Бердяев опубликовал в газете «Русская свобода» принципиальную статью «Духовные основы русской революции»⁷, ставшую на многие годы интеллектуальным ориентиром не только для самого автора, но и для большого сегмента русской историософии: от коллег Бердяева по знаменитому сборнику «Из глубины» 1918 г. — до знаменитого эмигрантского цикла «Мыслей о России» Федора Степуна.

Бердяев стал практически первым, кто всерьез оспорил заблуждение, будто «большевизм есть явление совершенно внерелигиозное и антирелигиозное»

⁶ *Кара-Мурза А.А.* Российский путь цивилизационного развития: «преемственность через катастрофы» (памяти В.М. Межуева) // *Полилог*. 2020, т. 4, № 3 [Электронный ресурс].

⁷ *Бердяев Н.А.* Духовные основы русской революции // *Бердяев Н.А.* Собрание сочинений. Т. 4. Париж: YMCA-Press, 1990. С. 29–37.

и взамен этого, еще в июле 1917 г., решился на фундаментально иную постановку вопроса: «Я решаюсь сказать, что русский большевизм — явление религиозного порядка, в нем действуют некие последние религиозные энергии, если под религиозной энергией понимать не только то, что обращено к Богу. Религиозная подмена, обратная религия, лжерелигия — тоже ведь явление религиозного порядка, в этом есть своя абсолютность, своя конечность, своя всецелость, своя ложная, призрачная полнота»⁸. Фактически Бердяев показал, что к началу 1917 г. большевизм уже в значительной степени оккупировал русскую национальную душу — после этого антиправительственный переворот стал уже делом «революционной техники».

И именно Н.А. Бердяев, в своем «Самопознании», дал наиболее точную характеристику философской подосновы «революционной смены цивилизаций» в России: «Революция есть тяжелая болезнь, мучительная операция больного, и она свидетельствует о недостатке положительных творческих сил, о неисполненном долге. Я сочувствовал “падению священного русского царства”..., я видел в этом падении неотвратимый процесс развоплощения изолгавшейся символики исторической плоти (курсив мой.— А.К.)... Старая историческая плоть России, называвшаяся священной, разложилась, и должна была явиться новая плоть. Но это еще ничего не говорит о качестве этой новой плоти»⁹.

Системные удары (запрограммированные, последовательные и комплексные) были нанесены большевиками по ослабевшим основам прежней цивилизационной доминанты: в несколько приемов была ликвидирована частная собственность; упразднены сословия; православная религиозность и церковь были подвергнуты гонениям. Удар в России был нанесен и по другим конфессиям, но поскольку центры/ядра соответствующих цивилизаций находились вне досягаемости большевистских богоборцев, то иные цивилизационные общности, в отличие от русско-православной, в целом устояли.

Сделаем небольшое отступление. Радикальные попытки цивилизационной импровизации и социально-идеологического конструктивизма всегда сопровождают революционные эпохи. Наглядный пример — Великая революция во Франции. 24 ноября 1793 г. Коммуна Парижа, находившаяся тогда во власти «левых якобинцев» (Шометт, Эбер, Моморо и др.), издала Декрет о запрете католического богослужения. Вместо него был введен новый революционный культ — «Культ Разума» (Culte de la Raison). Речь шла ни много ни мало, как о замене «религии» — «философией» (!), о фактическом выходе революционной Франции из пространства христианской Европы и начале

⁸ Там же. С. 29.

⁹ Бердяев Н.А. Самопознание (опыт философской автобиографии). М.: Международные отношения, 1990. С. 210.

новой эры с собственным летоисчислением (5 октября 1793 г. григорианский календарь был заменён «республиканским»).

Первые опыты введения Культа Разума имели место во французской провинции. Именно там, ранней осенью 1793 г., якобинский комиссар, бывший воспитанник братьев-ораторианцев, а ныне атеист и профессор философии Жозеф Фуше (тот самый, что станет потом начальником тайной полиции при Баррасе, а затем и при Наполеоне Бонапарте) организовывал первые празднества в честь Культа Разума, которые сопровождалось народными карнавалами, церемониями почитания «мучеников Революции», а заодно разграблением церквей, уничтожением христианских святынь и т.п.

Своего апогея новый культ достиг в Париже во время проведения «Фестиваля свободы» (*Fête de la Liberté*) 10 ноября (20 Брюмера) 1793 г. — в Соборе Парижской Богородицы, украшенном по случаю революционной символикой и огромным транспарантом с надписью: «*Philosophie*». В ходе торжеств, срежиссированных прокурором-синдиком Парижской Коммуны Пьером-Гаспаром Шометтом (новое революционное имя — Анаксагор), юная артистка Оперы *m-lle Obri* короновалась, как Богиня Разума (её образ станет в 1924 г. основой для одноименной парижской новеллы Ивана Бунина). Революционный фестиваль в столичном Нотр-Дам был затем многократно тиражирован по всей стране — с показательными покаяниями католических священников, публичными казнями упорствующих и т.п.

Известно, что массовый террор, сопровождавший насаждение «Культа Разума» и с воодушевлением поддержанный городскими низами (санкюлотами), вызвал неприятие более зажиточной части общества. В целях «укрепления революции», новый диктатор, Максимилиан Робеспьер, при опоре на взявшую верх партию монтаньяров, показательно гильотинировал крайних левых (март 1794 г.) и официально заменил «Культом разума» более умеренным, квази-религиозным «Культом Верховного существа» (*Culte de l'Être suprême*).

7 мая 1794 г. Национальный конвент принял декларацию, согласно которой французский народ «признавал существование Верховного Существа и бессмертие души». Новое грандиозное празднование на парижском Марсовом поле (8 июня 1794 г.) стало очередным примером для провинции. После ареста и казни Робеспьера (28 июля 1794 г.) «Культом верховного существа» быстро сошел на нет, и католическая доминанта французского варианта христианской цивилизации вновь возобладала.

Итак, двухактный эксперимент по смене цивилизационной доминанты в революционной Франции продлился всего несколько месяцев: условно с конца ноября 1793 г. по конец июля 1794 г. — и был расценен как некий «вывих», скоротечная девиация *внутри* процесса развития христианской цивилизации, в целом преемственного. (Древнейшим аналогом

является антисистемная попытка введения единобожия египетским фараоном Эхнатомом, отвергнутая и забытая уже ближайшими потомками.)

Иначе обстояло дело в России начала XX в.: в результате острого цивилизационного кризиса и сопутствующей ему гражданской войны доминирующей системой на этой территории надолго стала коммунистическая (советская) цивилизация. Импровизационно-конструктивистский «эксперимент», который многие современники тоже предполагали поначалу скоротечным инцидентом (на манер французских утопий Шометта или Робеспьера) оказался поразительно живуч и растянулся на семь десятилетий, не потеряв полностью своей инерционной динамики и по сей день.

Решающая схватка двух миров — нарождающегося большевизма и традиционного православия на рубеже 1917–1918 гг. фиксируется в исторических источниках едва ли не по дням. Назову лишь некоторые вехи этого *конфликта цивилизаций*.

Когда в середине января 1918 г., в Петрограде, по распоряжению наркома Коллонтай, отряды матросов несколько раз пытались взять под контроль Александро-Невскую лавру (поначалу безуспешно), наместник Лавры направил доклад заседавшему в Москве Поместному Собору православной церкви. Участник Собора, философ князь Евг. Трубецкой в своем выступлении на заседании 20 января констатировал наличие глубинного конфликта: «То, что сообщили нам о Лавре, — не частное враждебное церкви выступление, а проведение плана уничтожения самой возможности существования Церкви... Это только пробный шаг. Тут открытая война с Церковью, начатая не нами»¹⁰.

Поместный Собор тогда ограничился патриаршей «анафемой безбожникам» и призывом к верующим совершить массовый крестный ход в воскресенье 28 января 1918 г. В этом действе, собравшем до 300 тыс. человек, принял, как известно, активное участие Николай Бердяев: «Эта церковная демонстрация приняла грандиозный характер. Люди шли на неё, не уверенные, что останутся в живых»¹¹.

Апогеем «конфликта цивилизаций» можно считать события мая 1918 г., когда имело место *пересечение/наложение* (и тем самым — прямое столкновение) двух массовых торжеств: празднования большевиками 1 мая (пришедшегося в тот год на Великую среду предпасхальной недели) и «Никола Вешнего» (христианского праздника перенесения мощей св. Николая Мирликийского из Мир Ликийских в Бари) 9 мая ст. ст. 1918 г.

Центром конфликта стала Красная площадь, конкретно — Никольские ворота Кремля, над которыми с конца XV в. помещена фреска с изображением

¹⁰ Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. Кн. VI, вып. 1. М.: Изд. Соборного совета, 1918. С. 10–11.

¹¹ Бердяев Н.А. Самопознание. С. 217.

св. Николая Чудотворца (образ Николы Можайского с мечом в руке). Согласно многим свидетельствам, этот сакральный образ был задрапирован большевиками первомайским транспарантом, но вдруг, «чудесным образом», обнажился, а рваные лоскуты красной материи «опали вниз». Сообщение о «знамени Божьем» быстро распространилось по Москве и привело в Николин день в центр Москвы до полумиллиона человек. Именно это событие, обозначившее предельное противостояние «кто кого?», и побудило Совет Народных комиссаров и персонально Ленина к решению о «беспощадном терроре» в отношении церкви.

В этой связи представляются некорректными утверждения некоторых авторов (как отечественных, так и зарубежных), будто русский коммунизм был лишь «инобытием», «реинкарнацией» русского православия. Думается, это ошибка или иллюзия, аналогичная рассуждениям, будто террористические культы Разума или Верховного существа были лишь инобытием и реинкарнацией французского католицизма.

Советский строй, безусловно, нес в себе многие черты спонтанной цивилизационной преемственности — воспроизводящиеся практики, единство языка и т.д. Но — в принципиальном плане — это была *иная цивилизация*. Другими словами, фундаментальный факт смены типа цивилизации невозможно подменить набором примеров относительной культурной преемственности.

С другой стороны, не подлежат сомнению факты сохранения и после большевистского переворота некоторых фрагментов (осколков) православного мира — как в старо-европейских ареалах (Греция, Сербия, Болгария, Румыния), так и в новых регионах, насыщаемых православной жизнью в результате пост-большевистского исхода (наглядный пример: «галлиполийский лагерь» в Турции отступившей из Крыма врангелевской армии).

Остается сформулировать главные характеристики коммунистической (советской) цивилизации, ставшей на несколько десятилетий доминирующей формой отечественной истории: отсутствие частной собственности; государственная пирамида службы и подданничества (стержневым элементом которой стала монополярная большевистская партия); наличие скрепляющей моно-идеологии (квази-религии) — марксистско-ленинско-сталинского учения.

Пост-советская Россия: поиск цивилизационного пути

В 1980–1990-х гг. на территории бывшего СССР, а также в большинстве стран советского лагеря, произошел демонтаж (а местами и насильственный слом) основных «цивилизационных скреп» советского типа. Было возрождено право частной собственности; дискредитирована, а потом ликвидирована идеологическая монополия коммунистического учения; демонтированы партийно-административные политические институты.

Большую роль в эрозии и аннигиляции идеологии атеистического государства сыграло празднование в 1988 г. «1000-летия крещения Руси». Типичный сюжет, порожденный межеумочным феноменом «перестройки», носил все черты спонтанной политико-идеологической импровизации и породил ряд явлений «кентаврического» свойства: партийное постановление об «усилении кадровой работы среди православных священников»; торжественное награждение высших иерархов Церкви орденами Трудового Красного знамени и т.п.

Наступивший на рубеже тысячелетий кризис идентичности и порожденный им идентификационный вакуум стал восполняться на пространстве распавшегося СССР суррогатными формами: инерционными и мутировавшими проявлениями старых идентичностей (этнократических, нео-имперских, псевдо-космополитических и т.д.), а в наиболее архаичных ареалах пост-советского пространства — новыми культами местных националистических вождей, как правило, бывших партократов.

В отличие от прежних «цивилизационных выбросов», приходившим на смену предшественникам с радикальной презумпцией *«отречения от старого мира»*, начало нового тысячелетия породило в новейшей России запрос на формирование ненасильственной, полифоничной и интегральной цивилизации. Удастся ли новой России серьезно продвинуться на этом пути, органично «вырастив из самой себя» конкурентную цивилизационную целостность — покажет время.

Литература

- Ахиезер А. С. Россия как большое общество // Вопросы философии, 1993, № 1. С. 3–19.
- Бердяев Н. А. Духовные основы русской революции // Бердяев Н. А. Собрание сочинений. Т. 4. Париж: YMCA-Press, 1990. С. 29–37.
- Бердяев Н. А. Самопознание (опыт философской автобиографии). М.: Международные отношения, 1990.
- Кара-Мурза А. А. «Новое варварство» как проблема российской цивилизации. М.: ИФ РАН. 1995.
- Кара-Мурза А. А. Российский путь цивилизационного развития: «преемственность через катастрофы» (памяти В. М. Межуева) // Полилог, 2020, т. 4, № 3 [Электронный ресурс].
- Межуев В. М. Цивилизационная идентичность России // Теоретическая культурология. М.: Академический проект, 2005. С. 196–197.
- Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. Кн. VI, вып. 1. М.: Изд. Соборного совета. 1918.
- Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. Мир и Запад. М.: АСТ, 2011.
- Фурман Д. Е. Выбор князя Владимира // Вопросы философии, 1988, № 6. С. 90–99.

**РОССИЙСКИЙ ПУТЬ
ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ:
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ЧЕРЕЗ КАТАСТРОФЫ**
(памяти В.М. Межуева)

«**Р**оссийский путь цивилизационного развития» — эта привычная нынче формула, очень взвешенная и мудрая (ибо помогает избежать крайностей, в которые так любят впадать наши шумные «цивилизационщики»), принадлежит Вадиму Михайловичу Межуеву. Так называлась его статья в журнале «Власть» (1996, № 11), которую я, на правах руководителя коллективного научно-издательского проекта, попросил его непременно включить в его сборник «избранной социально-философской публицистики», что он с удовольствием и сделал¹.

Говоря о «российском пути», В.М. Межуев (далее просто — В.М.) долгое время сознательно избегал слов «русская» или «российская цивилизация». И в этом он следовал старой отечественной традиции: замечено ведь, что все обобщающие труды о России обходились без понятия «цивилизация» и говорили либо о «*российском государстве*» (Карамзин, Соловьев), либо о «*русском народе*» (Полевой), либо о «*славянском культурно-историческом типе*» (Данилевский).

Что касается В.М., то «цивилизация» была для него слишком ответственным философско-историческим концептом, а сущность, которая за этим концептом предполагалась, — слишком высокой планкой, достойной лишь редких исторических «счастливицев». Всем, знавшим В.М., было хорошо известно, что он, человек скорее мизантропического, «лермонтовского», склада, был весьма критичен по отношению к любым проявлениям «исторической России»: от самых древних — до наиновейших.

Но, разумеется, всего более В.М. переживал за ту Россию, которая досталась на долю его и его соотечественников/современников, мучающихся рядом с ним примерно теми же, как он предполагал, вопросами. Если же вдруг его посещало сомнение в этом товарищеском со-переживании, он, заподозрив собеседника в недолжной заинтересованности, любил обострять разговор прямым вопросом: «Ну ты хотя бы понимаешь, что происходит?!».

¹ Межуев В.М. Российский путь цивилизационного развития // Межуев В.М. Между прошлым и будущим. Избранная социально-философская публицистика. М.: Институт философии РАН, 1996. С. 128–150. В этой же серии со своими подборками «избранной публицистики» выступили А.А. Гусейнов, А.А. Кара-Мурза, А.С. Панарин, Л.В. Поляков и В.С. Степин.

Примерно так же, «с обострениями», В.М. играл в шахматы, и, я — свидетель, очень хорошо.

Чего стоит только поразивший меня когда-то пассаж из уже упомянутой «межуевской» статьи о «российском пути»: «Старой России больше нет. Будет ли новая?... После всех злоключений последнего столетия Россию как бы выбросило в открытый океан, где ей только еще предстоит определиться в координатах своего нового местонахождения. Пока же она плывет “без руля и без ветрил”, смутно осознавая цель своего движения»².

В.М. всю жизнь держался принципа: «культура много — цивилизация одна», и в этом мы с ним, конечно, расходились. Причиной расхождения был, разумеется, разный *background* — как «по времени», так и «по месту». Выпускник послевоенного философского факультета, мыслитель-профессионал до мозга костей, В.М. был знатоком тайн Универсального разума; я же, историк-востоковед по образованию, всегда тяготел к презумпции «культурного плюрализма». В истории человечества В.М. больше занимали обобщения и концепты, а уже во вторую очередь — подтверждающие их факты; меня — ровно наоборот. Но в главном мы с ним были едины: оба терпеть не могли, когда некто (будь то частный индивид или «общество в целом») прикрывали очевидную недоцивилизованность, а то и откровенное варварство и хамство надуманными рассуждениями о «самобытности».

В артистической натуре В.М. таилась одна слабость: он любил забивать эффектные интеллектуальные «голы» и, при всем таланте к импровизации, не мог отказать себе в удовольствии в очередной раз (пусть даже в сотый) красиво выйти на стандартную, обустроенную и уже проверенную им «голевую позицию». Среди таких излюбленных им «стандартов» было, в частности, одно цивилизационное рассуждение, с которым я — и в текстах его, и в устных выступлениях — встречался многократно.

В России, рассуждал В.М., ещё не написана и вряд ли будет скоро написана книга (я, как сейчас, слышу этот, с хрипотцой, баритон, который одна восторженная слушательница назвала «национальным достоянием»), аналогичная классическим текстам по истории других стран, — как например «История цивилизации во Франции» Франсуа Гизо или «История цивилизации в Англии» Генри Бокля.

О чем это говорит? — веско вопрошал читателей/слушателей В.М., держал эффектную паузу, а потом наносил два убойных удара. Во-первых, говорил он, европейские авторы прекрасно понимали и понимают, что нет никаких отдельных «французской» или «английской» цивилизаций, а есть одна, универсальная *Цивилизация* (с большой буквы), которая может иметь

² Межуев В.М. Российский путь цивилизационного развития. С. 128.

некоторую локальную — ту же французскую или английскую — специфику. Отечественные же товарищи, либо не понимают, либо боятся признаться...

А во-вторых, добывал аудиторию В.М., отсутствие в России интегральных «цивилизационных» текстов наглядно свидетельствует и еще об одной простой вещи — о том, что полнокровная «цивилизация» в России попросту *еще не состоялась*...

Эту свою заветную мысль В.М. варьировал и обтачивал постоянно. Вот, по-видимому, аутентичный и наиболее полный вариант — из статьи «Российская цивилизация: утопия или реальность?» (2000): «Вопреки мнению о том, что Россия уже сложилась как особая цивилизация, напрашивается другой вывод: она и по сей день находится в состоянии цивилизационного поиска, то есть поиска своего места в мировой истории. Поиск этот далеко не закончен, о чём свидетельствует длящийся уже несколько столетий спор о том, чем является Россия — частью Запада или чем-то отличным от него»³.

«На отсутствие окончательного решения,— продолжает В.М.,— указывает и постоянно возрождающийся интерес к так называемой “русской идее”. Если Запад осознает себя как сложившуюся цивилизацию, то Россия — только как идею (разумеется, по-разному трактуемую), существующую более в голове, чем в реальности. Подобное направление мысли выходит на первый план там, где реальность находится ещё в состоянии брожения, не отлилась в законченную форму, не застыла в своей цивилизационной определённости. И в нынешнем своём виде Россия представляет собой пример страны, не столько обретшей, наконец, свою цивилизационную идентичность, сколько в очередной раз осознавшей острую необходимость её обретения»⁴.

Так вышло, что несмотря на разницу в возрасте, мои первые и достаточно принципиальные цивилизационные тексты появились примерно в одно время с межуевскими. Он долго упорствовал в верности привычной стадильно-прогрессистской логике, а я, напротив, был резко вброшен в философию напрямую из востоковедения, откуда «цивилизационный подход», собственно, в России и пророс. Ведь наше т.наз. «россиеведение», в силу понятных причин, дольше всех держалось привычных формационных формул.

В 1994 г. я защитил докторскую по теме *соотношения цивилизации и варварства в российской истории* (первую «цивилизационную» диссертацию в Институте философии) и вскоре издал ее в виде книги, получившей

³ Межуев В.М. Российская цивилизация: утопия или реальность? // Россия XXI, 2000, № 1. С. 5.

⁴ Там же. См. также: Межуев В.М. О национальной идее // Вопросы философии, 1997, № 2. С. 3–15; Межуев В.М. Россия в диалоге с Европой: генезис взглядов на становление российской цивилизационной идентичности // Социология власти, 2007, № 1. С. 5–34.

довольно широкую известность⁵. В.М. был тогда членом диссовета (под председательством незабвенного Ю.К. Плетникова); работу мою публично поддержал; голосовал, разумеется, «за» (он всегда, на любых защитах, даже сомнительных, голосовал исключительно «за»). Но я в те дни, помнится, по общему настроению В.М., понял, что в моей концепции цивилизационного развития России (о постоянной борьбе русской цивилизации с собственным же русским «варварством», о преемственности цивилизационных фаз через катастрофы и т.д.) его многое смущало, если не сказать — раздражало. Мы с В.М. потом неоднократно вспоминали те времена в разных контекстах.

Вообще, наш В.М.— европоцентрист-гегельянец по складу ума и марксист-прогрессист по выучке, сначала очень придирчиво относился к цивилизационному методу, небезосновательно подозревая в нем стремление закамouflировать цивилизационные отставания (с их социальной архаикой и несвободой) — под некую «специфику исторической колеи». Помню, он весьма скептически встретил на рубеже 1990-х гг. известие о создании у нас в Институте, на руинах отдела научного коммунизма, нового сектора философии российской истории с «высочайшим» (директора В.С. Степина) наказом мне и моей команде сосредоточиться на входившей тогда в моду проблематике «русской идеи»⁶.

Добавлю, что к этим «фобиям» В.М., порожденным исключительно заботой о чистоте науки, я всегда относился с полным пониманием. Тем более, что лично меня, все-таки профессионального востоковеда, не понаслышке знавшего реальное многообразие не-западных культур, трудно было заподозрить в конъюнктуре или демагогии.

Приведу аргументацию В.М. из его статьи «Цивилизационная идентичность России». «О “России как цивилизации”, — пишет В.М., — стали писать сравнительно недавно и явно под воздействием происшедших в ней перемен. Попытка характеризовать Россию — в лице СССР — в понятиях формационного членения истории, выведившая ее чуть ли не в авангард мирового развития (“первая в мире страна победившего социализма”), оказалась несостоятельной ввиду очевидной ее отсталости по сравнению с развитыми странами Запада и Востока»⁷. (В своей горькой иронии В.М. был не одинок. Вот короткая выдержка из статьи другого моего покойного друга, А.С. Ахиезера, открывавшей первый номер «Вопросов философии»

⁵ Кара-Мурза А.А. «Новое варварство» как проблема российской цивилизации. М.: ИФ РАН, 1995.

⁶ См.: Философия «русской идеи»: Россия и Европа (участники «круглого стола»: А.А. Кара-Мурза, Н.В. Любомирова, В.С. Малахов, В.П. Первалов, Л.В. Поляков) // *Общественные науки и современность*, 1991, № 5. С. 143–154.

⁷ Межуев В.М. Цивилизационная идентичность России // *Теоретическая культурология*. М.: Академический проект, 2005. С. 196.

за 1993 г.: «Историческое поражение нашего общества в борьбе за “идеалы социализма” — свидетельство краха идеологии, заложенной в основу всей его жизнедеятельности. Ее падение разрушает иллюзию опоры на объективную картину социальной реальности. Кризис порождает соблазн наполнить образовавшуюся пустоту альтернативной идеологией...»⁸.)

С другой стороны, продолжает В.М., «явная неудача проводимой экономической реформы (печаталось это, замечу, в 2005 г. — А.К.), задуманной по рецептам западной науки, наводит на мысль о том, что не все в этой науке адекватно срабатывает на российской почве. Россия как бы не укладывается целиком в научное ложе, созданное по мерке западного общества, не открывается полностью принятым там методам анализа и стандартам научного объяснения. Что-то сохраняется в остатке, что затем ломает все расчеты и рушит все ожидания»⁹.

Да, все мы когда-то вышли из марксизма — с большим или меньшим налётом «советизма». Было время, когда и меня тоже вполне устраивало «линейное» понимание истории, например, феномена *модернизации* (ключевая тема для исследований стран «третьего мира»), как просто *переходности* от традиционалистского общества к современному. У такого подхода было немало эвристических достоинств: в частности, «судьба России» (этой темой я стал серьезно интересоваться в очень ранней молодости) могла быть не без пользы для ума истолкована, как печальный опыт постоянных модернизационных срывов, как своего рода *заблокированная переходность*. В этой логике гипертрофия государственного начала в русской истории оказывалась как бы компенсацией за архаичность, недоразвитость гражданских отношений. И наоборот: сам государственный деспотизм столь же обоснованно мог рассматриваться как главный фактор блокировки социокультурной модернизации.

Поэтому двоичная модель *традиция/современность* вовсе не столь примитивна, как может показаться некоторым ее критикам, — все эти выигрышные стороны стадияльно-формационного подхода наилучшим образом и использовал наш В.М.

Вполне доказано, например, что феномен сталинизма в России вовсе не обязательно сводить, по принципу *или-или*: либо к рецидиву «азиатчины» (т.е. традиционности), либо же к вариации на тему «техногенной цивилизации» (т.е. все-таки к *modernity*). Гораздо лучше сталинский тоталитаризм «ухватывается» именно концепцией *псевдомодернизации*¹⁰. В стадияльно-формационной парадигме, думаю, и сейчас еще можно плодотворно работать.

⁸ Ахиезер А.С. Россия как большое общество // Вопросы философии, 1993, № 1. С. 3.

⁹ Межуев В.М. Цивилизационная идентичность России. С. 196–197.

¹⁰ См.: Тоталитаризм как исторический феномен (ред. А.А. Кара-Мурза, А.К. Воскресенский). М.: Философское общество СССР, 1989.

В какой-то момент, однако, я отказался от стадияльной логики и стал трактовать проблему модернизации в цивилизационном аспекте. В ряде своих ранних работ я предложил идею, что все человеческое развитие правильнее рассматривать не на стадияльной линейке (как бы изоциренно ни наносить на нее формационные деления), а как своего рода *цивилизационный веер*, развертывающийся в пространстве между «логически очищенными» (идеал-типическими) осями, которые я, за неимением лучшего, назвал *этатистско-общинной* и *индивидуально-собственнической*¹¹.

Я и сейчас уверен, что эта методология более адекватна исторической реальности, ибо исходит из того, что каждый цивилизационный «луч» равноправен в историческом смысле уже *по праву своего бытия*. Подобный взгляд позволяет увидеть и другое: существуют цивилизации, предрасположенные к модернизации, и есть другие, которые генетически запрограммированы на иной тип эволюции и в лучшем случае обречены на «догоняющее развитие», когда уже трудно разобраться, где заимствование, а где имитация¹².

Прошло, однако, еще какое-то время, и я, наконец, понял, что же меня не устраивает и в «стадияльной», и в «цивилизационной» версиях, и даже в моих первичных попытках их совмещения. Ведь все эти подходы способны более или менее удачно типологизировать лишь уже *случившуюся историю*, но к серьезной философии истории имеют косвенное отношение. Все дело в том, что выстраивание оппозиций «традиционность — современность» (в стадияльной логике) или, предположим, «Восток — Запад» (в логике цивилизационной) предлагает выбор из реальных состояний социального *бытия* и, таким образом, как бы предполагает, что историческое бытие нам в любом случае *гарантировано*. Вся же проблема, как мне представляется, состоит как раз в том, что т.наз. «переходность» вовсе не гарантирует социального бытия как такового. Более того, именно эта *переходность* (или модернизация) ставит это социальное бытие под вопрос.

Сегодня я уверен: философия истории (в отличие от *просто истории*) должна исходить из презумпции, что *традиция* (в глубинном смысле) вовсе не противостоит *новации*, так же как одна цивилизация не противостоит другой цивилизации. Их радикальное противопоставление — лишь *кажимость*, аберрация политизированного взгляда на историю, следствие идентификационных закономерностей самоопределения через конкретного Другого. На самом деле каждая социальность противостоит в первую

¹¹ Кара-Мурза А.А. Общее и особенное в цивилизационно-формационном развитии человечества (проблемы методологии) // *Цивилизация: теория, история и современность*. М., 1989. С. 105–118.

¹² Кара-Мурза А.А. Непродуктивная индивидуальность и продуктивная корпоративность // *Народы Азии и Африки*, 1990, № 4. С. 72–77.

очередь *своему собственному небытию*, тенденции к собственной энтропии, само-варваризации, социальному умиранию.

Таким образом, мой тезис состоит в следующем: проблема модернизации, прогресса, чаемой нами *цивилизационной преемственности* является фокусом глубинной экзистенциальной проблемы — проблемы «социальной смерти», и состоит не в том, *каким быть?* (традиционным или современным, восточным или западным), а в том, *быть или не быть?*¹³

Невозможно отрицать, что именно в России, где цивилизационная преемственность осуществлялась через ряд катастроф, утрату цивилизационных достижений и началом всякий раз «с нуля», это переживание перспективы «небытия», «идентификационной смерти» особенно сильно. Мне давно представляется (и я неоднократно писал и говорил об этом), что именно тема «гибели», тема «Россия как Ничто» есть глубинное смысловое ядро, стержень всей русской философской и общественной мысли¹⁴.

Думаю, что в нашем товарищеском сближении с В.М. личные симпатии счастливым образом подкрепились тем обстоятельством, что наши представления об истории и судьбе России, хотя и исходившие из разных методологий (у него — из линейно-прогрессистской; у меня — из веерно-цивилизационной), удачно совместились, органично «смонтировались».

Помню, что плодотворным полем для нашего интеллектуального сближения стала концепция «негативного (дурного) синтеза Востока и Запада», проще говоря, «*Азиопы*» (по выражению П. Милюкова), выдвинутая мной в ряде статей 1990-х гг. и сведенная потом воедино в докторской диссертации, а затем и в отдельной книге¹⁵.

В.М., с неизменным интересом, переходящим иной раз в искренний интеллектуальный восторг, встречал каждую мою новую «находку» на сблизившую нас тему «*России как негативного синтеза*»: «Ни деятельного творчества, ни сонного затишья, а только — толчея» (Аксаков); «Китай в Европе» (Плеханов); «незрелый плод с одной стороны — и сгнивший с другой» (Розанов); «каменная чухонская деревня» (Мережковский)... Но безусловным «чемпионом» по складыванию парадоксальных цивилизационных пазлов на тему «*Азиопы*» мы всякий раз признавали любимого обоими Александра Герцена. Чего стоит только вот это: «Чингисхан с пушками Круппа» (!). Или более развернутое: «Бесчеловечное, узкое безобразие немецкого рейтера и мелкая, подлая фигура немецкого

¹³ См.: *Кара-Мурза А.А.* Свобода и порядок. Из истории русской политической мысли XIX–XX вв. М.: МШПИ, 2009.

¹⁴ Из недавних обобщающих работ на эту тему см.: *Кара-Мурза А.А.* Проблема «саморазрушения цивилизации» в работах мыслителей русского Серебряного века // *Россия в архитектуре глобального мира: цивилизационное измерение* (ред. А.В. Смирнов). М., 2015. С. 113–166.

¹⁵ *Кара-Мурза А.А.* Между Евразией и Азиопой. М.: Аргус, 1995.

бюралиста давно срослись у нас с широкими монгольскими скулами, с звериной безраскаянной жестокостью восточного раба и византийского евнуха...» (!!!)

...Однажды Николай Бердяев, знаток жизни и творчества Вл. Соловьева, заметил, что самые известные сочинения гениального философа не столько *раскрывают*, сколько *прикрывают* «иррациональные тайны души» Соловьева¹⁶. Бердяев тогда посоветовал читателям искать «настоящего Соловьева» не в крупных его трудах, а «в отдельных строках и между строк, в отдельных стихах и небольших статьях»¹⁷.

Я вот тоже подумал, что «настоящего» и «лучшего Межуева» надо, во-первых, непременно, — *искать!* (Так мы, совсем недавно, небольшой группой философов, «разыскивали Тинторетто» по бесчисленным венецианским церквам — одно из лучших моих до-пандемических воспоминаний!)

Я, в самом деле, очень советую (молодежи в первую очередь) — разыскать и внимательно прочесть то, что, например, написал В.М. для энциклопедии «Теоретическая культурология» (Екатеринбург, 2005, отв. ред. О.К. Румянцев). Дело в том, что В.М., как любой высококлассный «мастер» (наука ведь еще и кормящее нас ремесло), нередко, чего греха таить, работал «на заказ». И, как всякий ремесленник высшего разряда, отлично знал: «что, кому и почём»... Для опытного взгляда нетрудно определить, что тексты, отосланные В.М. в ту самую энциклопедию, ставшую сегодня классикой, — это *вещицы* (иногда совсем миниатюрные) особо тщательной и изысканной выделки. Еще бы: в «философской артели», рядом с В.М., работали тогда такие мастера, как Ахутин, Келле, Михайлов, Неретина, Огурцов!

...Где-то на рубеже 2009/2010 г., лучшая из учениц В.М., профессор ВШЭ О.А. Жукова, сама с тех пор ставшая «классиком» философии культуры¹⁸, сказала мне, что, по ее ощущениям, «цивилизационная составляющая» в идеях нашего В.М. в самое ближайшее время резко усилится и обогатится. Это была, конечно, интуитивная догадка, но так оно и случилось.

В середине 2010 г. фонд «Либеральная миссия» организовал плотную серию научно-экспертных семинаров «Куда ведет кризис культуры?», которые прошли в узком кругу при виртуозном модерировании И.М. Клямкина. Мне тогда довелось в течение нескольких месяцев регулярно наблюдать В.М. «в полном боевом снаряжении», а несколько раз — и в открытом

¹⁶ Бердяев Н. Проблема Востока и Запада в религиозном сознании Вл. Соловьева // Книга о Владимире Соловьеве. М.: Советский писатель, 1991. С. 355.

¹⁷ Там же.

¹⁸ Из последних работ см.: Жукова О.А. Философия русской культуры. Метафизическая перспектива человека и истории. М.: Согласие, 2017; Жукова О.А. Опыт о русской культуре. Философия истории, литературы и искусства. М.: Согласие, 2019.

интеллектуальном «бою». Приведу лишь два примера, учитывая, что подробные стенограммы тех уникальных «мозговых штурмов» опубликованы¹⁹.

На заседании 15 сентября 2010 г. известный культуролог А.А. Пелипенко выступил с проблемным докладом «“Русская система” в культурном измерении»²⁰, вызвавшим оживленную дискуссию. Одним из наиболее горячо обсуждаемых вопросов был такой: «Кого можно назвать *человеком культуры?*».

Получив слово, В.М. произнес тогда блестящий спич (сверяюсь по стенограмме): «Людей, преодолевающих инерцию уже существующего, я и называю людьми культуры. Открытие феномена культуры состояло вовсе не в открытии того, что человек мыслит, обладает речью, верит в богов, способен создавать произведения искусства или полезные для себя вещи. Об этом знали задолго до того, как впервые заговорили о культуре. Культуру открыли гуманисты эпохи Возрождения, осознав, что человек — результат не просто природного или божественного, но и собственного творения. Иными словами, человек — не животное и не ангел, но существо, наделенное свободой воли, позволяющей ему по собственному выбору либо опуститься до уровня животного, оскотиниться, либо вознестись на ангельскую высоту, стать святым. Культура и есть сфера человеческой свободы, отличная от сферы как природной необходимости, так и божественного предопределения. Она есть “царство человека”, где все существует в силу человеческой свободы, а человек является единственным субъектом. Культура и очерчивает собой существование человека в качестве такого субъекта или свободного существа. Мера свободы, доступная человеку, и есть мера его культуры. Все, что существует в силу природной необходимости или божественного предписания, культурой не является»²¹.

В этом самом месте, один из участников семинара (не буду называть имени), не выдержав, воскликнул: «Но божественное, я прошу прощения, это тоже часть культуры!»²². На что тут же получил от В.М. не слишком политкорректную отповедь: «Это только для вас так — для атеистов, а для верующих культура — такое же создание Бога, как и все остальное. Атеисты считают, что религия — часть культуры, а Бог — чисто культурный символ. Для верующих Бог — самая что ни на есть реальность, а культура целиком подвластна Богу»²³. Аудитория, вспоминаю, несколько опешила: В.М. разъясняет атеистам существование религии!

¹⁹ Куда ведет кризис культуры? Опыт междисциплинарных диалогов (ред. И.М. Клямкин). М.: Новое издательство, 2011.

²⁰ Пелипенко А.А. «Русская идея» в культурном измерении // Куда ведет кризис культуры? С. 57–69.

²¹ Куда ведет кризис культуры? С. 86.

²² Там же.

²³ Там же.

А вот другой эпизод. 29 ноября 2010 г. с основным докладом в «Либеральной миссии» выступил уже сам В.М., на тему: «Русская идея и универсальная цивилизация»²⁴. В состоявшемся после доклада обсуждении известный философ и культуролог И.Г. Яковенко, друг и соавтор покойного А.С. Ахиезера, слегка укорил докладчика в том, что тот, называющий себя «европейцем», в своем докладе о «русской идее» фактически воспроизвел «славянофильскую карикатуру на Запад»²⁵.

На этот, действительно серьезный, «укол», В.М. отреагировал немедленно — и столь же принципиально: «Тот Запад, который нравится мне, вряд ли понравится вам: он самокритичен и лишен всякого самодовольства. Отсутствие самокритики в глазах такого Запада — проявление самой дикой азиатчины... Вы мечтаете о жизни в европейском обществе, считая его для себя нормой, а европейская культура в лице своих поэтов, писателей и мыслителей предельно к этой норме критична, полагая ее далеко отстоящей от подлинной свободы и справедливости. Вот с такой Европой, критичной по отношению к себе, русские интеллектуалы и хотели иметь дело. Европа была ценна для них своей устремленностью в будущее, своей постоянной неудовлетворенностью прошлым и настоящим... Постоянная неудовлетворенность собой, критика наличного бытия — вот что характеризует человека европейской культуры. А вы — европеец лишь до тех пор, пока критикуете российскую действительность. И вы перестаете им быть, когда возводите современную Европу в абсолютную норму»²⁶.

И еще я не могу не вспомнить о наших с В.М. постоянных «боданиях» на темы текущей политики. В.М., как гуманист и верный апологет «единой всечеловеческой цивилизации», с большим пиететом относился к М.С. Горбачеву — говорят, они даже дружили. Я же, повторюсь, признавал и признаю в истории не только наличие «локальных цивилизаций», но — как неизбежное следствие этого — их «конфликты» и «столкновения».

Я хорошо знаю, что любая «цивилизация» формируется (конструируется) за счет «самоидентификации через Другого». Православная цивилизация на Руси сформировалась за счет жесткого оппонирования как западному латинству, так и восточному исламу. Пришедшая ей на смену «советская цивилизация» безжалостно затоптала все иные религиозно-конфессиональные альтернативы и до самого прихода реформатора-Горбачева поддерживала свою цивилизационную идентичность за счет парадигмального противостояния «империалистическому Западу».

²⁴ Там же. С. 460.

²⁵ Там же.

²⁶ Там же.

«Перестройка» сломала «западную стену» — В.М. считал это выдающейся заслугой Горбачева. Я же, как исследователь, не мог ограничиться «гражданской солидарностью» и шел в своих рассуждениях дальше, не раз выслушивая от В.М. упреки в «неблагодарности»...

Но ведь это — абсолютно другое. Признавая наличие «локальных цивилизаций», я считал и считаю объективной реальностью, что любая «разгерметизация» (а тем более «одностороннее разоружение») локальной цивилизации перед лицом «всемирного человечества» — для нее губительно. Максимально деликатно указывая В.М. на риски «всечеловечности» Горбачева, я пытался доказать ему, что я столь же принципиально критичен по отношению к любым другим *всечеловекам*, которые, например, продолжая по инерции «советское» оппонирование Западу, полностью распахнули свои сердца перед амбициями с Востока. А ведь за окном, как верно замечено, уже не биполярный, а многополярный мир... И потенциальные угрозы от набирающих силу китайской или исламской цивилизаций сегодня на порядок серьезнее. Поэтому знаменитый вопрос либерала-государственника Павла Милюкова: «Это глупость — или измена?» поздно адресовать Горбачеву...

Вот в этой точке наших с В.М. «диалогов о современности» мы обычно снова сходились. И наша дружба с ним, выдержав очередное испытание, продолжалась и крепла... Он искренне любил и защищал Европу, — а я хорошо знал Восток, не требующий моей защиты...

Конечно, Вадима Михайловича Межуева очень не хватает — и в секторе, где висит его большой портрет, и в Институте, и в жизни в целом. Но я наблюдаю и в характерах, и в научных повадках многих моих коллег отчетливые следы благотворного влияния В.М. Горько, конечно, сознавать, что эта человеческая, душевная, научная эстафета — это *преемственность через катастрофу*, катастрофу утраты близкого человека.

Очень русская тема...

Литература

- Ахиезер А.С.* Россия как большое общество // Вопросы философии, 1993, № 1. С. 3–19.
- Бердяев Н.А.* Проблема Востока и Запада в религиозном сознании Вл. Соловьёва // Книга о Владимире Соловьёве. М.: Советский писатель, 1991. С. 355–373.
- Жукова О.А.* Опыт о русской культуре. Философия истории, литературы и искусства. М.: Согласие, 2019. — 588 с.
- Жукова О.А.* Философия русской культуры. Метафизическая перспектива человека и истории. М.: Согласие, 2017. — 624 с.
- Кара-Мурза А.А.* Между Евразией и Азией. М.: Аргус, 1995. — 40 с.
- Кара-Мурза А.А.* Непродуктивная индивидуальность и продуктивная корпоративность // Народы Азии и Африки, 1990, № 4. С. 72–77.
- Кара-Мурза А.А.* «Новое варварство» как проблема российской цивилизации. М.: Институт философии РАН, 1995. — 211 с.

Кара-Мурза А.А. Общее и особенное в цивилизационно-формационном развитии человечества (проблемы методологии) // *Цивилизация: теория, история и современность* (ред. Л.И. Новикова). М.: Институт философии АН СССР, 1989. С. 105–118.

Кара-Мурза А.А. Проблема «саморазрушения цивилизации» в работах мыслителей русского Серебряного века // *Россия в архитектуре глобального мира: цивилизационное измерение* (ред. А.В. Смирнов). М.: Языки славянской культуры, 2015. С. 113–166.

Кара-Мурза А.А. Свобода и порядок. Из истории русской политической мысли XIX–XX вв. М.: МШПИ, 2009.— 248 с.

Куда ведет кризис культуры? Опыт междисциплинарных диалогов (ред. И.М. Клямкин). М.: Новое издательство, 2011.— 538 с.

Межуев В.М. О национальной идее // *Вопросы философии*, 1997, № 12, С. 3–15.

Межуев В.М. Российская цивилизация — утопия или реальность? // *Россия XXI*, 2000, № 1. С. 44–69.

Межуев В.М. Российский путь цивилизационного развития // *Межуев В.М.* Между прошлым и будущим. Избранная социально-философская публицистика. М.: Институт философии РАН, 1996. С. 128–150.

Межуев В.М. Россия в диалоге с Европой: генезис взглядов на становление российской цивилизационной идентичности // *Социология власти*, 2007, № 1. С. 5–34.

Межуев В.М. «Русская идея» и универсальная цивилизация // *Куда ведет кризис культуры? Опыт междисциплинарных диалогов*. М.: Новое издательство, 2011. С. 427–451.

Межуев В.М. Цивилизационная идентичность России // *Теоретическая культурология*. Екатеринбург: Академический проект, 2005. С. 196–197.

Пелипенко А.А. «Русская идея» в культурном измерении // *Куда ведет кризис культуры? Опыт междисциплинарных диалогов*. М.: Новое издательство, 2011. С. 57–69.

Тоталитаризм как исторический феномен (ред. А.А. Кара-Мурза, А.К. Воскресенский). М.: Философское общество СССР, 1989.— 396 с.

Философия «русской идеи»: Россия и Европа (участники «круглого стола»: А.А. Кара-Мурза, Н.В. Любимирова, В.С. Малахов, В.П. Перевалов, Л.В. Поляков) // *Общественные науки и современность*, 1991, № 5. С. 143–154.

**У ИСТОКОВ «РУССКОГО СЕВЕРЯНСТВА»:
СПОРЫ О ЛОМОНОСОВЕ
(конец XVIII — начало XIX вв.:
Муравьев, Карамзин, Батюшков)**

*Невод рыбак расстилал по берегу студеного моря.
Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака!
Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы:
Будешь умы уловлять, будешь советник царям.*

(А.С. Пушкин «Отрок», 1830)

Внесенное в эпиграф четверостишие написано Пушкиным в Болдине 10 октября (ст. ст.) 1830 г. Зимние предощущения странным образом охватили его уже в середине первой болдинской осени: 7-го октября были закончены «Бесы» («вьюга злится, вьюга плачет...»), а 20 октября — не менее гениальная «Метель».

В своем «Отроке», принадлежащем к жанру «анфологических эпиграмм», Пушкин помещает юного Ломоносова, ни много ни мало, в разряд евангельских персонажей. Спаситель обратился к Петру-Симону и Андрею, которые, до их апостольского служения, были простыми рыбаками: «Идите за Мною, и я сделаю Вас ловцами человеков» (Матф.: 4:19; Марк: 1:17).

Возгонка жития Ломоносова (вышедшего из полярных широт к самому сердцу русской жизни) до метафизических высот отечественной историософии была начата, конечно, не Пушкиным. Первым в ряду авторов, обьявивших факты личной биографии северянина-помора провиденциальными для России, следует назвать поэта и просветителя *Михаила Никитича Муравьева (1757–1807)*, наставника Карамзина, а потом и Батюшкова, отца знаменитых декабристов Муравьевых.

Еще в период учебы в московской университетской гимназии, а затем и в самом Императорском университете, Михаил Муравьев стал восторженным поклонником Ломоносова. Будучи сыном чиновника средней руки, он в юности был вынужден следовать за служебными перемещениями отца — так он оказался на русском Севере — в Вологде и в Архангельске.

В 1770 г. не достигший еще четырнадцатилетия Муравьев побывал и на малой родине Ломоносова, о чем с редкой для его возраста рассудительностью писал своему университетскому однокашнику Николаю Рахманову: «Против Холмогор примечания достойна волость Керостров, место рождения Ломоносова. В одной из сельских хижин образовался сей сияющий дух»¹. «Но вечные льды севера не прохладили восхищений будущего»

¹ *Муравьев М.Н.* Сочинения Т. 2. СПб.: Тип. А. Смирдина, 1847. С. 327.

стихотворца, — продолжает Муравьев, явно сделавший северодвинского отрока своим героем. — В состоянии, посвященном ежедневному труду, далеко от всех способов просвещения, от искусств, от общества — родится разум, обогащенный всеми дарованиями, всеми способностями, которому суждено открыть поприще письмен в своем отечестве... Таково есть владычество духа!»²

А далее в письме Муравьева следует рассуждение загадочное (оно будет приведено ниже) — по всему выходит, что юному автору была известна бытовавшая на старообрядческом Севере (и наверняка проникшая в русские столицы) легенда о «царском происхождении» великого помора. Суть этой версии, по-своему последовательной и логичной, состоит в следующем.

В феврале 1711 г. царь Петр Алексеевич Романов приехал в местечко Усть-Тосно, на полпути между Санкт-Петербургом и Шлиссельбургом, в том месте, где Тосна впадает в Неву, на встречу с деловыми партнерами-старообрядцами — владельцем двинской верфи Федором Баженовым и земским старостой Лукой Ломоносовым, у которых в услужении была девушка-сирота Елена Ивановна Сивкова, приглянувшаяся царю своей красотой. Когда вскоре по возвращении стало ясно, что Елена беременна, ее срочно выдали замуж за племянника Луки Ломоносова Василия и поселили в деревне Денисовка близ Холмогор. А 8 ноября (ст. ст.) 1711 г. родился Михаил Васильевич Ломоносов...³

Достоверно известно, что, будучи обычным рыбаком, Василий, женившись, начал вдруг быстро богатеть и вскоре стал самым зажиточным человеком в округе: обзавелся большим участком земли, построил новую усадьбу, прикупил несколько рыбацких карбасов и — в довершение — построил «на европейский манер» большое двухмачтовое судно, названное «Архангел Михаил»⁴. В 1724 г. Елена Ломоносова умерла — как поговаривали, от побоев мужа. Стало доставаться и неродному сыну; жизнь с мачехами — сначала одной, а потом с другой — стала невыносимой. Вот тогда тянувшийся к знаниям Михайло и решил уйти из дома...

Продолжим, однако, цитировать письмо юного Михаила Муравьева к университетскому другу, в котором автор, говоря о Ломоносове, явно спорит с неким воображаемым оппонентом (возможно, с тем же Рахмановым): «Такое есть владычество духа! Оно не знает различий породы, сана, состояний. Сын первого вельможи (казалось бы, причем здесь Ломоносов? — А.К.)

² Там же. С. 328–329.

³ См.: *Корельский В.П.* Судьба Михайлы Ломоносова: предания нашего рода // На моем веку: воспоминания, предания рода, размышления. Архангельск, 1996. С. 183–212.

⁴ *Меншуткин Б.Н.* Жизнеописание Михаила Васильевича Ломоносова. М.— Л.: Изд-во АН СССР, 1947. С. 11; *Минаева О.Д.* «Отечества умножить славу...» Биография Ломоносова. М.: Изд-во МГУ, 2011. С. 10.

имеет преодолеть столько же и, может быть, *более препятств* (курсив мой.— А.К.) для освободившегося от невежества, как и сын последнего земледельца»⁵.

«Сия самая причина,— продолжает Муравьев,— должна служить побуждением высшим состояниям общества утвердить их преимущество случайной породы и предпочтения сим преимуществам, более основательным просвещенного и украшенного разума. Что думать о сих временах варварства, когда знание почиталось унижением знатности и когда бояре хвалились своим незнанием грамоты, которую они дьякам оставляли»⁶.

Мысль Муравьева витиевата, но ясна: будь Ломоносов сыном не «последнего земледельца», а, напротив, «первого вельможи»,— подвиг его духа тем самым несколько не умалился бы, а стал бы еще величественнее...

Исследователи неоднократно отмечали странность смены монаршей благосклонности к Ломоносову со стороны императрицы Елизаветы Петровны (которая позволяла вернувшемуся после учебы в Германии Михайле любые буйства) — надменной холодностью, переходящей в открытую неприязнь, императрицы Екатерины Алексеевны. Старообрядческая версия легко преодолевает это противоречие. Мол, Елизавета, зная о тайне рождения Ломоносова (считается, что от духовника покойного императора Петра — главы Синода Феофана Прокоповича, которому царь поведал сию тайну на смертном одре), всё прощала «любезному братцу». Со своей стороны, Екатерина, имевшая более чем сомнительные права на престол, серьезно опасалась возможных претензий на власть со стороны ученого «бастарда». Этим заодно объясняют и тот известный факт, что на следующий же день после кончины Ломоносова (4 апреля 1765 г.) группа доверенных лиц Екатерины, еще очень неуверенно чувствовавшей себя на троне, во главе с Григорием Орловым, явилась в дом покойного и изъяла все его бумаги, которые, судя по всему, были уничтожены⁷.

Именно М.Н. Муравьеву во многом принадлежит заслуга, после многих лет замалчивания, вызволения из небытия славного имени Ломоносова. В 1774 г. семнадцатилетний сержант лейб-гвардии Измайловского полка, тяготящийся службой и мечтавший о литературной славе, написал «Слово похвальное Михайле Васильевичу Ломоносову», в котором, казалось, отринул — и даже нарочито — все юношеские предположения относительно царского происхождения своего кумира: «Щедрая природа, наделяя всех смертных вообще различными дарованиями, не поставила ему родиться

⁵ Муравьев М.Н. Сочинения. Т. 2. С. 329.

⁶ Там же.

⁷ См.: Белявский М.Т. М.В. Ломоносов и основание Московского университета (под ред. М.Н. Тихомирова). М.: Изд-во МГУ, 1955. С. 20.

от благородных родителей; не рода славою приобрел он себе честь и имя, но наукою и знанием. Отец его не был из тех, которые состоянием их в блестящем чине поставлены бывають, но коих труд и работа, звание и пища и которые не в сияющих златом и лазурем чертогах, но в убогих хижинах обитают»⁸.

Муравьев пошел даже на явную передержку, дабы полностью исключить всякие персональные параллели Ломоносова с императором Петром, столь рискованные в ранние екатерининские годы: «Крепок от природы, посредственного роста (sic! — А.К.), велик разумом был он»⁹. Согласно всем свидетельствам, рост Ломоносова был не менее 199–200 сантиметров, и вряд ли молодой унтер-офицер, еще в детстве прочитавший о своем славном тезке всё, что только возможно, не знал об этом. Напрашивается вопрос: а не прибежал ли Муравьев в данном фрагменте, потенциально опасном, к языку Эзопа? Если это так, то он и в 1774 г., как ранее и в 1770-м, продолжал, явно или подспудно, верить в «царскую» версию происхождения Ломоносова.

В любом случае, «Похвальное слово Ломоносову» Михаила Муравьева было весьма смело уже потому, что автор поднял вопрос о «величии Ломоносова», который, по словам молодого унтер-офицера, явившись, с далекого Севера «между трудящимися в храме Минервином», со временем «получил председательство между русскими учеными, имел благоволение великой дщери Петровой...»¹⁰ При этом, подчеркивал Муравьев, первейшая культурная миссия Ломоносова состояла не в прославлении, а в обучении земных владык (мысль, которую повторит потом в своем «Отроке» Пушкин): «Повелители народов, наместники божеские власти, градоначальники, притеките на глас гремящего витии, научитесь в стихах его должности своей...»¹¹

Вся последующая биография М.Н. Муравьева — воспитателя великих князей (в т.ч. будущего императора Александра), попечителя основанного Ломоносовым Московского университета, сенатора и поэта — это жизнь россиянина высшего культурного круга, прочно идентифицирующего себя с «русским северянством» — интеллектуальной традицией, идущей от великого Петра и Ломоносова.

Среди разнообразных исторических и литературных трудов Муравьева особняком стоит неоконченная повесть «Оскольд» (1794–1796), найденная после смерти просветителя в его бумагах и опубликованная Карамзиным

⁸ *Муравьев М.Н.* Похвальное слово Михайле Васильевичу Ломоносову, писал лейб-гвардии Измайловского полку каптенармус Михайло Муравьев // М.В. Ломоносов в воспоминаниях и характеристиках современников. М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 36.

⁹ Там же.

¹⁰ Там же.

¹¹ Там же. С. 38–39.

в «Вестнике Европы» в 1810 г.¹². Текст этот, написанный в «оссиановском» духе, может считаться (наряду с карамзинским «Островом Борнгольмом») одним из первых культурных манифестов русского северянства¹³.

В повести «Оскольд» — отечественной стилизации под скандинавскую сагу, рассказывается, как на Русском Севере собирается рать для покорения южного Царь-града (характерная для нашей последующей литературы тема): «Яростно дыхание ветров, странен вид твой, Русское море, и черные волны со злобою умирают между сими острыми скалами, которыми усеян залив отчаяния»¹⁴.

Во главе северян стоит герой Оскольд, земное воплощение Верховного бога Одина: «Бессмертным подобен неустрашимый Варяг; который по стопам Одиновым не убоялся подвергнуться трудам, опасностям, смерти, чтобы присвоить столько сокровищ, столько наслаждений самому себе и племени своему... Из дому Севера заманил он за собою сонмы ратников кровожаждущих, убийственных. Как орел, низвергся он с высоты небес на добычу, на величественный град Царей, процветавший тысячи лет в непроницаемой ограде, в недрах вечной весны...»¹⁵

В ближайшем окружении Оскольда (большинство исследователей не сомневаются, что Муравьев имеет в уме фигуру Петра Великого) замечен «священный сонм скальдов со золотыми арфами»: «Они возжигают вдохновенными песнями мужество воинов в час брани, описывая чертоги Одина, отверстые храбрым, умирающим прекрасною смертью за отечество»¹⁶. Среди поэтов-скальдов, окружающих Героя, Муравьев особо выделяет одного — «златокудрого славянина»: «Нетерпеливый, бодрый, отличается между ими юный Славянин, который на влажных берегах моря и на краю земли почувствовал вдохновение Скальда, оставил сети и парусы, способы скудного пропитания, оставил хижину отца своего, и воспел соотчичам своим неслыханные песни о бранях и Героях»¹⁷.

На тот очевидный факт, что в образе скальда-славянина Муравьев вывел своего излюбленного персонажа — поэта и мыслителя Михаила Ломоносова, первым обратил внимание К.Н. Батюшков в переписке с родственником Муравьева — писателем и дипломатом И.М. Муравьевым-Апостолом (отцом троих декабристов): «Этот юный скальд *напоминает нам Ломоносова*

¹² См.: *Муравьев М.Н.* Оскольд, повесть, почерпнутая из отрывков древних готфских скальдов // *Муравьев М.Н.* Полное собрание сочинений: В 3 ч. Ч. 1. СПб., 1819. С. 270–298.

¹³ *Левин Ю.Д.* Оссиан в русской литературе: конец XVIII — первая треть XIX века. Л.: Наука, 1980. С. 81–82.

¹⁴ *Муравьев М.Н.* Оскольд, повесть... С. 270.

¹⁵ Там же. С. 271–272.

¹⁶ Там же. С. 273–274.

¹⁷ Там же. С. 275–276.

(курсив мой. — А.К.). Конечно, его имел в виду наш автор, и здесь... представил нам в блистательном виде отца русского стихотворства, сего чудесного мужа, которого не только дарования поэтические, невероятные успехи и труды в искусствах и науках, но самая жизнь, исполненная поэзии, — если смею употребить сие выражение — заслуживает внимание позднейшего потомства...»¹⁸

Особый вклад в развитие культа Ломоносова (разумеется, за вычетом всех опасных легенд о его происхождении) внес, уже в александровские годы, *Николай Михайлович Карамзин (1766–1826)*. Воспитанник, как и его старший современник Муравьев, немецкого профессора философии И.М. Шадена¹⁹, трудно переживший поздне-екатерининские и павловские годы, Карамзин, в своем «Пантеоне российских авторов» (1802), писал: «Рожденный под хладным небом Северной России, с пламенным воображением, сын бедного рыбака, сделался отцом российского красноречия и вдохновенного стихотворства... Гений его советовался только сам с собою, угадывал, иногда ошибался, но во всех своих творениях оставил неизгладимую печать великих дарований. Он вписал имя свое в книгу бессмертия, там, где сияют имена Пиндаров, Горациев, Руссо»²⁰.

Одной из ключевых фигур в развитии ломоносовской темы безусловно является уже упомянутый, вологодский дворянин, талантливый поэт *Константин Николаевич Батюшков (1787–1855)*. Будучи двоюродным племянником и воспитанником М.Н. Муравьева, Батюшков в своем творчестве неоднократно обращался к фигуре Ломоносова. Осенью 1815 г. он написал эссе «О характере Ломоносова», опубликованное в № 17–18 карамзинского «Вестника Европы» за 1816 г. В этом сочинении Батюшков, полностью в духе Муравьева и Карамзина, называет своего героя «нашим северным гением», выросшим «среди холмогорских болот»²¹.

Хорошим источником для понимания позиции К.Н. Батюшкова по отношению к петровской России и — в этом контексте — к феномену Ломоносова является его сочинение «Вечер у Кантемира»²², написанное в конце 1816 г. Текст представляет собой вымышленный разговор-спор между реальными персонажами — Антиохом Кантемиром, литератором, русским посланником

¹⁸ Батюшков К.Н. Письмо к И.М. Муравьеву-Апостолу. О сочинениях г. Муравьева // Батюшков К.Н. Сочинения: В 2-х т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1989. С. 68.

¹⁹ Кара-Мурза А.А. Карамзин, Шаден и Геллерт. К истокам либерально-консервативного дискурса Н.М. Карамзина // Филология: научные исследования, 2016, № 1 (21). С. 101–106.

²⁰ Карамзин Н.М. Пантеон российских авторов // Карамзин Н.М. Избранные сочинения: В 2 т. М.— Л.: Художественная литература, 1964, т. 2. С. 168–169.

²¹ См.: Батюшков К.Н. О характере Ломоносова // Батюшков К.Н. Сочинения: В 2 т. Т. 1. «Опыты в стихах и прозе». М.: Художественная литература, 1989. С. 46–49.

²² Батюшков К.Н. Вечер у Кантемира // Батюшков К.Н. Сочинения: В 2 т. Т. 1. С. 49–62.

в Лондоне, а потом в Париже, и двумя французами — философом Шарлем Луи Монтескье и неким «аббатом В.».

Именно этот «аббат В.» (академик М.Ф. Алексеев считает, что под этим именем скрывается единомышленник и поклонник Монтескье, аббат М. Венутти²³) фактически и провоцирует спор между русским дипломатом и французским философом. Восхваляя достоинства своего знаменитого друга, аббат напоминает, что уже давно предсказывал его всемирную славу и, стало быть, «легко быть может, что в эту самую минуту на берегах Ледовитого моря, на берегах Лены или Оби, в пустынях Татарики — читают ваши остроумные письма, и имя Монтескье гремит в становищах калмыков и самоедов»²⁴. На полуироничную-полускептическую ухмылку Монтескье: «Читают “Персидские письма” при свете лампы, налитой рыбьим жиром...», аббат с воодушевлением восклицает: «Или при свете северного сияния... Конечно странно, чудесно! — А мы говорим с таким пренебрежением о великой Московии!»²⁵

Тонко подготовив таким образом «дуэль» между Монтескье и Кантемиром, известным своим русофильством, аббат отходит несколько в сторону. Монтескье (в изображении Батюшкова, разумеется) берет инициативу и выдвигает перед Кантемиром свой главный тезис: «Я думал и думаю, что климат ваш, суровый и непостоянный, земля, по большей части бесплодная, покрытая в зиму глубокими снегами, малое население, трудность сообщений, образ правления почти азиатский, закоренелые предрассудки и рабство, утвержденные веками навыка, — все это вместе надолго замедлит ход ума и просвещения. Власть климата есть первая из властей (Батюшков использует здесь прямую цитату из “Духа законов” — А.К.)»²⁶

Кантемир, разумеется, возражает, полагая, что импульс, данный стране Петром Великим, уже не погасить: «Россия пробудилась от глубокого сна... Заря, осветившая нашу землю, предвещает прекрасное утро, великолепный полдень и ясный вечер: вот мое пророчество!». И тут снова включается аббат, подогревающий спор: «Но это не заря — северное сияние. Блеску много, но без света и без теплоты»²⁷. «Какая сила изменит климат? Кто может вам даровать новое небо, новый воздух, новую землю?» — добавляет Монтескье²⁸.

И здесь А.Д. Кантемир, сам родившийся в Константинополе («во мне играет еще кровь греческая, и я непритворно люблю голубое небо и вечно

²³ Алексеев М.Ф. Монтескье и Кантемир // Алексеев М.Ф. Сравнительное литературоведение. М.: Наука, 1983. С. 133–134.

²⁴ Батюшков К.Н. Вечер у Кантемира. С. 53.

²⁵ Там же. С. 53–54.

²⁶ Там же. С. 54.

²⁷ Там же.

²⁸ Там же. С. 55.

зеленые оливы стран полуденных») и переехавший в северную империю Петра уже в сознательном возрасте, переходит к контраргументам: «Русские, под руководством великого человека, доказали в короткое время, что таланты свойственны всему человечеству... С успехами просвещения Север беспрестанно изменяется, и, если смею сказать, прирастает к просвещенной Европе»²⁹.

Спор продолжается. «Но искусства? Могут ли они процветать в туманах невских или под суровым небом московским?» — задает вопрос Монтескье³⁰. Кантемир переходит в решающим аргументам: «Как знать? Может быть на диких берегах Камы или величественной Волги возникнут великие умы (намек на Г.Р. Державина и И.И. Дмитриева — А.К.), редкие таланты. Что скажете, г. Президент (Монтескье, как известно, был наследственным Президентом парламента Бордо. — А.К.), что скажете, услыша, что при льдах Северного моря, между полудиких родился великий гений (курсив мой. — А.К.)? Что он прошел исполинскими шагами всё поле наук; как философ, как оратор и поэт преобразовал язык свой и оставил по себе вечные памятники?»³¹

«Но к чему сии гипотезы? — прерывает спор аббат. — Легче поверю, что русские взяли приступом Париж и уничтожили все крепости, Вобаном (выдающимся военным инженером, маршалом Франции. — А.К.) построенные!!!...»³²

То, что литературный герой Батюшкова, русский посол Антиох Кантемир, высказывал в своей парижской квартире в начале 1740-х гг., как некое предположение, читатель Батюшкова в конце 1810-х гг. уже знал, как свершившийся грандиозный факт: Россия, эта «Цивилизация Севера», породила всеевропейский гений Ломоносова, а спустя столетие разгромила «южного варвара» Бонапарта (именно так трактовал тогдашнее противостояние тот же Гавриил Державин³³) и покорила Париж...

Литература

Алексеев М.Ф. Монтескье и Кантемир // Алексеев М.Ф. Сравнительное литературоведение. М.: Наука, 1983. С. 119–146.

Батюшков К.Н. Вечер у Кантемира // Батюшков К.Н. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1989. С. 49–62.

²⁹ Там же. С. 56–57.

³⁰ Там же. С. 58.

³¹ Там же. С. 59.

³² Там же.

³³ См.: *Кара-Мурза А.А.* Концепция «русского северянства» в героических одах Г.Р. Державина (к вопросу о российской идентичности) // Политическая концептология, 2017. № 3. С. 187–194; *Кара-Мурза А.А.* Россия как «Север». Метаморфозы национальной идентичности в XVIII–XIX веках: Г.Р. Державин // Философские науки, 2017, № 8. С. 121–134.

Батюшков К.Н. О характере Ломоносова // Батюшков К.Н. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1989. С. 46–49.

Батюшков К.Н. Письмо к И.М. Муравьеву-Апостолу. О сочинениях г. Муравьева // Батюшков К.Н. Сочинения: В 2-х т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1989. С. 62–75.

Белявский М.Т. М.В. Ломоносов и основание Московского университета (под ред. М.Н. Тихомирова). М.: Изд-во МГУ, 1955.— 312 с.

Кара-Мурза А.А. Карамзин, Шаден и Геллерт. К истокам либерально-консервативного дискурса Н.М. Карамзина // Филология: научные исследования, 2016, № 1 (21). С. 101–106.

Карамзин Н.М. Пантеон российских авторов // Карамзин Н.М. Избранные сочинения: В 2 т. М.— Л.: Художественная литература, 1964, т. 2. С. 156–173.

Корельский В.П. Судьба Михайлы Ломоносова: предания нашего рода // На моем веку: воспоминания, предания рода, размышления. Архангельск, 1996. С. 183–212.

Левин Ю.Д. Осиан в русской литературе: Конец XVIII — первая треть XIX века. Л.: Наука, 1980.— 204 с.

Менишуткин Б.Н. Жизнеописание Михаила Васильевича Ломоносова.— М.— Л.: Изд-во АН СССР, 1947.— 295 с.

Минаева О.Д. «Отечества умножить славу...» Биография Ломоносова. М.: Изд-во МГУ, 2011.— 96 с.

Муравьев М.Н. Оскольд, повесть, почерпнутая из отрывков древних готфских скальдов // Муравьев М.Н. Полное собрание сочинений: В 3 ч. СПб., 1819, ч. 1. С. 270–298.

Муравьев М.Н. Похвальное слово Михайле Васильевичу Ломоносову, писал лейб-гвардии Измайловского полку каптенармус Михайло Муравьев // М.В. Ломоносов в воспоминаниях и характеристиках современников. М.— Л.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 35–40.

Муравьев М.Н. Сочинения Т. 2. СПб.: Тип. А. Смирдина, 1847.— 392 с.

**У ИСТОКОВ «РУССКОГО СЕВЕРЯНСТВА»:
СПОРЫ О ЛОМОНОСОВЕ
(первая треть XIX в.: Мерзляков,
Грибоедов, Бестужев-Марлинский)**

Россия одолела Наполеона и покорила Париж, представ миру Цивилизацией Севера, победоносно отбившей атаку варварского Юга во главе с «корсиканским чудовищем Буонапарте». Признанным лидером этой идеологической установки был семидесятилетний литератор и государственный деятель *Гавриил Романович Державин (1743–1816)*, последовательно проводивший ее в своих поздних сочинениях¹. Кульминацией северянского творчества Державина стал «Гимн на прогнание французов из отечества», написанный поэтом осенью 1812 г., когда наметился перелом в Отечественной войне. Взяв за основу тему из Апокалипсиса: «Змей с агнцем брань сотворят, и агнец победит его» (гл. 17, ст. 14), Державин изобразил «князем тьмы» Наполеона (водителя пришедших с Юга «крокодильных стад»), а в образе «белорунного агнца» представил императора Александра I, вступившего на «престол Севера», как известно, под знаком Овна:

*Бегут все смертные смятенны
От князя тьмы и крокодильных стад.
Они режут, свистят и всех страшат;
А только агнец белорунный,
Смирный, кроткий, но челоперунный,
Восстал на Севере один, —
Исчез змей — исполин².*

Русский нордический ветер Борей, согласно Державину, в очередной раз оказался могущественнее южного «Афра»:

*Или аспид, лютый змей,
Бежит так с пол, коль Север дует
И Афра за собою чует...³*

¹ См.: *Кара-Мурза А.А.* Россия как «Север». Метаморфозы национальной идентичности в XVIII–XIX вв.: Г.Р. Державин; *Кара-Мурза А.А.* Концепция «русского северянства» в героических одах Г.Р. Державина; *Kara-Murza A.A.* Gavrili Derzhavin on Russian Civilization: Russia as “The North” // *Russian Studies in Philosophy*, 2018, vol. 56, № 2. P. 88–98.

² Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота: В 9 т. Т. 2. СПб.: Тип. Императорской АН, 1865, т. II. С. 140.

³ Там же. С. 149.

В первой трети XIX в. одним из активных пропагандистов концепции русского северянства, ведущей свой отсчет от Ломоносова⁴, стал поэт и переводчик, литературный критик, профессор русской словесности Московского Императорского университета *Алексей Федорович Мерзляков (1778–1830)*. Он родился в 1778 г. в южноуральском городке Далматове недалеко от Кургана, в семье небогатого купца. Начальное образование получил в Пермском народном училище, директор которого обратил внимание на талантливого мальчика, с детства увлекшегося одами Ломоносова.

В 1790 г. правительство Екатерины II заключило долгожданный Верельский мир со Швецией, и это дало толчок впечатлительному юноше сочинить, в подражание Ломоносову, оду во славу Екатерины-миротворщицы⁵. Тринадцатилетний автор в далекой уральской провинции выражал безусловную уверенность в злых происках «Эвропы» по отношению к стремящемуся к мирному развитию Отечеству:

*Но вдруг блаженство то сокрылось,
Когда невежество явилось
И свой поставило престол,
Тогда Эвропа ослепленна,
Невежеством ожесточенна,
Впадала в бездны бед и зол...⁶*

Однако, продолжает автор, Великая Екатерина, усмирив турок на юге и шведов на севере, вновь восстановила спокойствие на континенте:

*Великая Екатерина,
Достойная Монархов дочь,
Блаженства нашего причина
Отверзла нам к Парнасу дверь.
Везде ее гремяща слава,
Благополучная держава...⁷*

⁴ См.: *Тюгашев Е.А., Шумахер А.Е.* Социокультурный феномен «русского северянства» // *Личность. Культура. Общество*, 2021, т. 23, № 3 (111). С. 151–156; *Кара-Мурза А.А.* У истоков «русского северянства»: споры о Ломоносове (конец XVIII — начало XIX вв.: Муравьев, Карамзин, Батюшков) // *Полилог*, 2022, т. 6, № 1 [Электронный ресурс].

⁵ *Мерзляков А.Ф.* Ода, сочиненная Пермского Главного Народного училища тринадцатилетним учеником Алексием Мерзляковым, который кроме его Училища нигде инде не воспитания, ни учения не имел // *Российский Магазин*. Ч. 1. СПб.: Тип. Шнора, 1792. С. 257–263.

⁶ Там же. С. 259.

⁷ Там же. С. 257–258.

Возвышенный и искренний текст тринадцатилетнего юноши был доведен руководством Пермского училища аж до генерал-губернатора Волкова, а тот, тоже пораженный, переправил его в столицу знакомому – главному начальнику народных училищ графу П.В. Завадовскому со словами: «Сей сочинитель, такой молодой мальчик, нигде кроме здешнего училища не обучался и не воспитывался, и в стихотворчестве ни от кого не был наставляем, да и нет здесь людей таких, от которых бы можно было в оном заимствовать, а читал он только Ломоносовы сочинения (курсив мой. — А.К.), и применяясь к ним написал свою оду... Кажется, что такая ода есть редкость, а сочинивший ее мальчик отменных способностей и дарований»⁸.

Граф Завадовский (когда-то его самого, совсем молодого, заметил и выдвинул генерал-губернатор Малороссии граф П.А. Румянцев) был большим знатоком составления торжественных текстов: именно он совсем недавно писал официальную речь о мире со Швецией для обер-прокурора Сената П.В. Неклюдова⁹. Некогда кабинет-секретарь и фаворит Екатерины II, Завадовский, на правах старого друга, познакомил с одой саму императрицу, и та распорядилась призвать юного автора в одну из столиц для продолжения образования. Текст юноши был опубликован в популярном среди культурной элиты журнале «Российский Магазин», опекаемом самой Екатериной¹⁰.

Алексей Мерзляков сделал уникальную для недворянина карьеру, получив со временем степень доктора философии и пост профессора кафедры русского красноречия и поэзии, а потом и декана словесного факультета и стал поистине знаковой фигурой для культурной Москвы (один из переулков недалеко от старого университета носит его имя). Учениками Мерзлякова, «вождя русской классической эстетики»¹¹, в разные годы были Чаадаев, Веневитинов, Одоевский, Тютчев, Лермонтов, Гончаров...

В 1958 г. молодой Юрий Лотман, в предисловии к собранию стихотворений увлекшего его Мерзлякова, справедливо заметил, что «исследовательская традиция узаконила образ Мерзлякова как благонамеренного чиновника на кафедре, автора хвалебных од»¹². Однако, по мнению исследователя, «изучение

⁸ К биографии А.Ф. Мерзлякова. Журнал комиссии об учреждении училища 1792 года августа 27-го дня // Русский архив, 1881, № 1. С. 422.

⁹ Брикнер А. Война России с Швецией в 1788–1790 годах. СПб.: Тип. Головина, 1869. С. 286.

¹⁰ К биографии А.Ф. Мерзлякова. С. 422–423; Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Московского университета. Ч. II. М.: Университетская тип., 1855. С. 52–53.

¹¹ Каменский З.А. Русская эстетика первой трети XIX века. Классицизм. Вступительная статья // Русские эстетические трактаты первой трети XIX в. (ред. М.Ф. Овсянников и др.). Т. 1. М.: Искусство, 1974. С. 21.

¹² Лотман Ю.М. А.Ф. Мерзляков как поэт // Мерзляков А.Ф. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1958. С. 10.

материалов рисует совсем иной политический облик ученого и поэта»: «Эрудит, организатор публичных лекций и литературных обществ, независимый перед начальством, угрюмый и неловкий в чуждой ему обстановке светского общества и вместе с тем остролов и весельчак в товарищеском кругу»¹³.

Правильнее будет сказать, что Алексей Федорович Мерзляков, проживший всего 52 года, проделал большой идейный и творческий путь, впитавший в себя главные культурные тенденции четырех царствований: поздне-екатерининского, павловского, александровского и ранне-николаевского. При этом в главном он, с ранней юности и вплоть до кончины, остался самим собой — убежденным «русским северянином» по своей цивилизационной самоидентификации, поклонником петровских преобразований и культурного гения Ломоносова.

Итак, призванный самой императрицей из дальней провинции в центр умственной жизни, юный Мерзляков в 1793 г. прибыл в Москву и был препоручен лично куратору Московского университета М.М. Хераскову. Зачисленный 20 декабря 1793 г. в университетскую гимназию на казенный кошт, он неоднократно затем получал поощрения и награды и в списке учеников, переведенных студентами в Московский университет в 1798 г., значился первым. В том же году он из студентов был переименован в бакалавры, а уже в следующем году окончил университет с золотой медалью и степенью магистра¹⁴.

Во времена своего московского студенчества Мерзляков активно совершенствовал свои навыки в одическом стихосложении. В девятнадцать лет он, явно в подражание ломоносовскому определению русского северного пространства («возлегли локтем на Кавказ»), пишет стихотворение «Росс» (1797), где еще отчетливее акцентирует нордическую идентичность Империи:

*Се мощный Росс одяен славой
В броню стальную и шелом
Опершись на Кавказ стоглавый
Стоит, в руках имея гром.
Гремучий лес и холм кремнистый
Под тяжкою пятой трещал,
И океан свирепый, льдистый
Другую ногу лобызал¹⁵.*

¹³ Там же.

¹⁴ Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Московского университета. Ч. II. С. 53–55.

¹⁵ Стихотворения А.Ф. Мерзлякова (ред. М.П. Полуденский). Ч. I. М.: Тип. Грачева, 1867. С. 49.

А год спустя, уже после смерти матушки-Екатерины и воцарения Павла Петровича, с которым он, как и многие, связывал поначалу большие надежды, двадцатилетний Мерзляков пишет программное стихотворение с характерным названием «Великие явления на Севере»:

*На мрачных тучах восседая
Священна, томна тишина,
Уста громам небес сжимая,
Лелея бури в узах сна...
.....
Летал в эфире бледный страх,
Печальный Факел потрясая
Хотел вещать, — не мог, вздыхал,
Рукою робко помавая,
На Север взоры обращал.
Лежала мрачна ночь в долинах,
Нахмурились пещера, бор,
Ревет Борей в глухих пустынях,
С ним воет скорбь и недра гор¹⁶.*

Сегодня уже трудно установить, какое влияние на молодого Мерзлякова оказали события в Московском университете в самые последние годы XVIII столетия. Между тем достоверно известно, что большое волнение среди воспитанников университета произвела история, случившаяся в 1795 г. с ректором университетской гимназии и профессором древней словесности Иоганном Вильгельмом Мельманном (1765–1795). Немецкий профессор был увлечен философией Канта и щедро делился знаниями с московскими воспитанниками, чем вызвал неудовольствие университетских кураторов и самого митрополита Платона (Левшина). В итоге Мельманн был арестован, препровожден в Петербург, допрошен в Тайной экспедиции, а затем, указом Екатерины, выслан из России без права возвращения и вскоре покончил жизнь самоубийством¹⁷.

После смерти императора Павла Мерзляков написал «Оду на разрушение Вавилона», в которой нетрудно усмотреть влияние получившей в те дни популярность сочинения Г.Р. Державина («Умолк рёв Норда сиповатый, закрылся грозный, страшный взгляд»):

¹⁶ Там же. С. 51.

¹⁷ См.: Круглов А.Н. Философская высылка как русская традиция: «дело» И.В.Л. Мельмана // X Кантовские чтения. Ч. 2 (ред. В.Н. Брюшинкин). Калининград: Изд-во РГУ, 2010. С. 60–70.

*Свершилось! Нет его!
Сей град, Гроза и трепет для вселенной,
Величья памятник надменный,
Упал!.. Еще вдали горят
Остатки роскоши полмертвой.
Тиран погиб тиранства жертвой,
Замолк торжеств и славы клич,
Ярем позорный прекратился,
Железный скиптр переломился,
И сокрушен народов бич!¹⁸*

Поворот в идейных настроениях А.Ф. Мерзлякова совершился, по-видимому, в 1799–1800 гг., совпав со временем его сближения с семьей просветителя И.П. Тургенева и, прежде всего, со старшим сыном этого просвещенного семейства — поэтом-северянином Андреем Тургеневым, с которым Мерзляков вдвоем создали знаменитое «Литературное общество»¹⁹.

Фактически именно Мерзляков вместе с А.И. Тургеневым, сформулировали в самом начале XIX в. то, что русская литература повторит спустя более чем столетие — словами, например, В.В. Розанова: «Вот уж сыны севера, и Петр, и Ломоносов... И два эти человека, одни делами и другой сочинениями, на весь XVIII век пустили морозца, отстранив туманы осенние, ручейки веишние, жару летнюю, — всё то, что пришло позднее, пришло уже вне замыслов и предвидений Петра... Это, родившееся с Карамзиным и Жуковским, было отступлением от чисто великорусской и северной складки Ломоносова, от величавых и твердых замыслов Петра» (курсив везде мой. — А.К.)²⁰. В противоположность линии Петра Великого и Ломоносова, Карамзин и его последователи, по мнению северян-классицистов Мерзлякова, Тургенева, а потом и Розанова, «повели линию душевного и умственного развития России совершенно вне путей великого преобразователя Руси и его как бы оруженосца и духовного сына, Ломоносова. Русь двинулась по тропинкам неведомым, загадочным, к задачам смутным и бесконечным»²¹.

В ранние александровские годы Мерзляков, возглавивший московскую кафедру русского красноречия и поэзии, в соавторстве со своим другом — композитором Даниилом Никитичем Кашиным, был неременным

¹⁸ Мерзляков А.Ф. Стихотворения (вступ. ст. Ю.М. Лотмана). Л.: Советский писатель, 1958. С. 216–217.

¹⁹ Лотман Ю.М. А.Ф. Мерзляков как поэт. С. 15–20. См. также: Кара-Мурза А.А. «Русское северянство» Николая Тургенева (молодые годы) // Полилог, 2020, т. 4, № 1. С. 1.

²⁰ Розанов В.В. Ломоносов. Его личность и судьба (4 апреля 1765–4 апреля 1915) // Розанов В.В. О писательстве и писателях. М.: Республика, 1995. С. 609.

²¹ Там же.

автором «нордических» музыкально-поэтических представлений, даваемых в Собрании университета, как правило, в июне-июле, в конце учебного года. Один из примеров — хор «Сошествие Аполлона, или Золотой век»:

*Хвалу, хвалу судьбе всемогущей
Вещай блаженный Геликон!
Хвалу греми весь край полночной:
Снишел на землю Аполлон!
Двери неба растворились:
Вижу светлый лик богов;
Дива Греции открылись
Посреди суровых льдов!²²*

Кульминация этого хорового представления была также выдержана в нордическом духе:

*Я зрю минервин град;
Эллада воскресает!
Весь Север мне блистает,
Как гесперидский сад²³.*

Северянские мотивы наполнили и стихотворную лирику Мерзлякова. В молодости он пережил тяжелое любовное разочарование, и это обстоятельство наложило отпечаток на всю его жизнь — как мы знаем, недолгую. Наглядным примером сочинительства Мерзлякова в этом ключе является известное стихотворение «Зима свой взор скрывает», написанное весной 1814 г. (союзные войска тогда уже брали Париж):

*Зима свой взор скрывает,
Приходит светлый май,
Долина оживает,
Процвел унылый край.
Для всех весна явилась,
Весны нет для меня:
С кем горесть подружилась,
С тем вечная зима²⁴.*

²² Стихотворения А.Ф. Мерзлякова. Часть I. С. 236.

²³ Там же. С. 237.

²⁴ Мерзляков А.Ф. Стихотворения. С. 104.

22 августа 1826 г. в Успенском соборе московского Кремля состоялось таинство Священного миропомазания и коронования императора Николая I. К этому событию профессор Мерзляков сочинил очередную оду, где, в частности, предложил новую вариацию на тему «бесконечности русских пространств»:

*Амур соплещет Вислы току,
Каспию Бельт благовестит;
Ельборус дальнему востоку,
Таймур Алтаю в слух трубит:
К тебе горящие желанья,
Хвалы, любовь и упованья,
К тебе, племен несчетных царь!
Слиясь двух зарей границы
Твоей ометы багряницы,
И день без ночи — твой алтарь!²⁵*

В оде 1826 г. акцент снова сделан на северянской идентичности России:

*Расторгнитесь чертоги славы,
Расторгнись колыбель Славян!
О, солнцы северной державы!...²⁶*

В последние годы жизни Мерзляков неоднократно возвращался к творчеству М.В. Ломоносова. В Татьянин день 12 января (ст. ст.) 1827 г. он выступил в торжественном собрании Совета Московского университета и прочел свое лирико-драматическое сочинение «Шувалов и Ломоносов»²⁷. Ломоносов предстает там верным продолжателем северянской традиции, заложенной Петром Великим:

*Бог рек: — на Севере мой свет —
И Петр восстал в тебе, Россия!
Петр рек: — свершился мой завет! —
Труды, намеренья святые!
Нет! не угаснете со мной! —
О Росс! Я жив! Я ввек с тобой! —*

²⁵ Стихотворения А.Ф. Мерзлякова. Ч. I. С. 190.

²⁶ Там же. С. 196.

²⁷ Мерзляков А.Ф. Шувалов и Ломоносов (лирико-драматическое стихотворение). М.: Университетская тип., 1827.

*И се! на глас Екатерины, —
От Юга вещею струей
Несется стая голубей
На гнезда Севера орлины²⁸.*

Ломоносов, родившийся на берегах Ледовитого океана и призванный Провидением в российские столицы, стал идеальным продолжателем «дела Петра»:

*...Сын бедный рыбаля...,
И с другом — Бедностью, — кормилицей трудов,
Носился по волнам среди громадных льдов;
Но Бог меня воззвал. — Птенец, полетом смелым
Стремлюсь на глас, зовущий издали, —
На глас всесильный, но безвестный...²⁹*

Образ Ломоносов — мыслителя и поэта — остался в нашей истории символом «русского северянства»:

*...Как жрец иль Бард почтенный,
Венцем дубовым увязанный,
Благоговейно предстоял,
И хартию в руке сложенную держал.
Его пылающие очи,
Как ранние светила полуночи, —
Как отблеск северных сияний средь зимы,
Когда оне осветят вдруг, нежданно,
Пустынно-хладную обитель мертвой тьмы, —
Горели радостью восторга несказанной...³⁰*

Любовь к творчеству Ломоносова профессор А.Ф. Мерзляков привил своему ученику Александру Сергеевичу Грибоедову (1795–1929). В 1823–1824 гг. молодой Грибоедов с энтузиазмом готовил стихотворную пьесу о Ломоносове к открытию в Москве нового театра на месте сгоревшего «театра Мэддокса» (Петровского). Близкий друг литератора, С.Н. Бегичев, в своей «Записке об А.С. Грибоедове» вспоминал: «Из планов будущих своих сочинений, которые он мне передавал, припоминаю я только один. Для

²⁸ Там же. С. 5.

²⁹ Там же. С. 2.

³⁰ Там же.

открытия нового театра в Москве... располагал он написать в стихах пролог в двух актах, под названием «Юность вещего»³¹.

Далее в своих мемуарах Бегичев так описывает замысел Грибоедова: «При поднятии занавеса юноша-рыбак Ломоносов спит на берегу Ледовитого моря и видит обаятельный сон, сначала разные волшебные явления, потом муз, которые призывают его, и, наконец, весь Олимп во всем его величии. Он просыпается в каком-то очаровании; сон этот не выходит из его памяти, преследует его и в море, и на необитаемом острове, куда с прочими рыбаками отправляется он за рыбным промыслом. Душа его получила жажду познания чего-то высшего, им неведомого, и он убегает из отеческого дома. При открытии занавеса во втором акте Ломоносов в Москве, стоит на Красной площади. Далее я не помню...»³².

Сохранились черновики самого Грибоедова к «Юности вещего» (они впервые были напечатаны в «Русском слове» в 1859 г.), где автор вкладывает в уста героя — юного Ломоносова, решившегося на берегу Ледовитого океана на побег в Москву, — следующие слова:

*Судьба! О, как тверды твои уставы!
Великим средь Австралии зыбей,
Иль в Севера снегах, везде одно ли
Присуждено! — Искать желанной доли
Путем вражды, препятствий и скорбей!
И тот певец, кому никто не смеет
Вослед ступить из бардов сих времен.
Пред кем святая Русь благоговеет,
Он отроком, безвестен и презрен,
Сын рыбака, чудовищ земноводных
Ловитвой жил; в пучинах ледяных,
Душой алкая стран и дел иных,
Изнемогал в усилиях бесплодных!...*³³

Остается добавить, что театральный замысел Грибоедова, увы, не был воплощен в жизнь. Большой театр открылся в Москве 6 января 1825 г. представлением «Торжество муз» — с прологом на стихи М.А. Дмитриева и с музыкой Ф.Е. Шольца (увертюра), А.Н. Верстовского и А.А. Алябьева.

³¹ Бегичев С.Н. Записка об А.С. Грибоедове // А.С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М.: Федерация, 1929. С. 13.

³² Там же.

³³ Грибоедов А.С. Полное собрание сочинений: В 3 т. Т. 2. Драматические сочинения. Стихотворения. Статьи. Путевые заметки. СПб.: Нотабене, 1999. С. 157.

Замысловатый сюжет в аллегорической форме повествовал, как Русский Гений (в исполнении трагика П.С. Мочалова), в союзе с музами, на руинах сгоревшего старого театра создал новый...

Дипломатическая миссия Грибоедова в Персии, которая трагически оборвалась в Тегеране 30 января 1829 г., овеяна многочисленными легендами. Общее в них одно: русский посол воспринимался всеми сторонами той исторической драмы (персами, турками, армянами и даже англичанами), как посланец «Властелина Севера» — русского императора Николая.

Удивительно, что, внеся, как мы видели, в свое время собственную лепту в создание культа Ломоносова, Грибоедов, после своей трагической гибели, сам стал героем северянского культа. Интересен в этой связи армянский фильм «Северная радуга» 1960 г. (режиссера А. Ай-Артяна по повести Р. Кочара), в котором русский интеллектуал-дипломат Грибоедов (актер Л.М. Фричинский) выступает, вместе с сосланными в Закавказье декабристами (!?), символом освободительной миссии «великого северного народа» по отношению к «малой южной нации» — армянам.

...Большой вклад в развитие «северянской» концепции русской культуры внес в первой трети XIX в. литератор-декабрист *Александр Александрович Бестужев-Марлинский* (1797–1837).

Перед новогодними праздниками 1823 г. подписчики получили первый выпуск литературного альманаха «Полярная звезда» (на обложке значилось: «Карманная книжка для любительниц и любителей русской словесности на 1823 год, изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым»), открывавшийся большой обзорной статьей А.А. Бестужева «Взгляд на старую и новую словесность в России»³⁴. В полном соответствии с нордическим названием нового петербургского альманаха, Бестужев представил «северянскую» концепцию развития отечественной словесности, в которой отвел М.В. Ломоносову едва ли не решающую роль.

Согласно Бестужеву, новое русское слово родилась в результате слияния норманнских и славянских элементов: «Вероятно, что варяго-россы (норманны), пришельцы скандинавские, слили воедино с родом славянским язык и племена свои, и от сего-то смешения произошел язык собственно русский...»³⁵. Однако впоследствии, полагает Бестужев, нордическая магистраль развития русской словесности подверглась искажениям: «С Библиею (в X веке), написанною на болгаро-сербском наречии, славянизм наследовал от греков красоты, прихоти, обороты, словосложность и словосочинение

³⁴ *Бестужев А.А.* Взгляд на старую и новую словесность в России // Полярная звезда, изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым (отв. ред. В.Г. Базанов). М.— Л.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 11–29.

³⁵ Там же. С. 11.

эллинистические. Переводчики священных книг и последующие летописцы, люди духовного звания, желая возвыситься слогами, писали или думали писать языком церковным — и оттого испестрили его выражениями и формами, вовсе ему не свойственными»³⁶.

«Западнические» искажения (польские, немецкие, французские) продолжались и в дальнейшем: «Духовные писатели XVI и XVII столетий, воспитанные в пределах Польши, немало исказили русское слово испорченными славено-польскими выражениями. От времен Петра Великого, с научными терминами, вкралась к нам страсть к германизму и латинизму. Век галлицизмов настал в царствование Елизаветы, и теперь только начинает язык наш отрясать с себя пыль древности и гремушки чуждых ему наречий»³⁷. Согласно Бестужеву, бывали на пути русского слова и жизнотворные, но, увы, крайне редкие, исключения: «В монастырях только и в вольном Новгороде тлелись искры просвещения»³⁸.

В деле становления новой русской словесности решающая роль, полагает Бестужев, принадлежит Ломоносову: «Подобно северному сиянию с берегов Ледовитого моря, гений Ломоносова озарил полночь. Он пробился сквозь препоны обстоятельств, учился и научал, собирал, отыскивал в прахе старины материалы для русского слова, созидал, творил — и целым веком двинул вперед словесность нашу. Дряхлевший слог наш оюнеп под пером Ломоносова»³⁹.

Ломоносов вернул русское слово на изначально-родную — нордическую — колею. А ведь у нашей словесности могли быть и другие — тупиковые, согласно Бестужеву, альтернативы: «В то время как юный Ломоносов парил лебедем, бездарный Тредиаковский пресмыкался, как муравей, разгадывал механизм, приличный русскому стопосложению, и оставил в себе пример трудолюбия и безвкусыя. Смехотворными стихами своими, в отрицательном смысле, он преподавал важный урок последующим писателям»⁴⁰.

Впрочем, отмечает Бестужев, и у Ломоносова встречаются ложные, еще привычно-западнические ходы, которые предстояло преодолеть: «Он занял у своих учителей, немцев, какое-то единообразие в расположении и обилие в рассказе; но величие мыслей и роскошь картин искупают сии малые пятна в таланте поэта, создавшего язык лирический»⁴¹.

Впоследствии А.А. Бестужев, воюя с турками и горцами на Кавказе и взяв псевдоним «Марлинский» (от местечка Марли в Петергофе, где когда-то

³⁶ Там же.

³⁷ Там же. С. 11–12.

³⁸ Там же. С. 12.

³⁹ Там же. С. 14.

⁴⁰ Там же.

⁴¹ Там же. С. 14. См. также: Жукова О.А. Исторический образ России: традиция и традиционализм // Гуманитарные и социально-экономические науки, 2007, № 4 (35). С. 56–60.

квартировал его драгунский отряд), вынашивал большой философско-культурологический этюд, который он отослал в «Московский телеграф» Н.А. Полевому с пометкой: «Дагестан, 1833». Этот текст, напечатанный в четырех номерах «Московского телеграфа» (№№ 15–18 за 1833 г.)⁴² стал поистине этапным в судьбе Бестужева-Марлинского и истории русской словесности.

Фактически Бестужев-Марлинский в своем эссе 1833 г. рисует историософскую картину развития европейской культуры (и в ее контексте — русской), особенно выделяя роль «Севера» и нордических влияний в этом процессе, глубоко своеобразном в каждом конкретном культурном ареале.

Автор видит свою задачу в том, чтобы, с помощью «фонаря истории», «во мраке средних веков разглядеть между развалин тропинки, по коим романтизм вторгнулся в Европу с разных сторон и, наконец, укоренился в ней, овладел ею»⁴³. И, странное дело, восклицает эссеист: «Востоку суждено было искони высылать в другие концы мира, с индиго, с кошенилью и пряностями, свои поверья и верования, свои символы и сказки; но Северу предлежало очистить их от грубой коры, переплавить, одухотворить, идеализировать. Восток провещал их в каком-то магнетическом сне, бессвязно, безотчетно; Север возрастил их в теплице анализа,— ибо Восток есть воображение, а Север — разум»⁴⁴.

Особую роль в становлении европейских культур сыграло, по мнению Бестужева-Марлинского, «вторжение норманнов (наших варягов)»: «Шайки голодных, полунагих, но бесстрашных, бешеных славою скандинавов, кидались в лодки, выбирали себе морского царя (*See Konung*) и под его началом переплывали моря неизвестные, входили в первую встречную реку, волокли на себе ладьи по земле, если нужно было спустить их в другую реку, и по ней вторгались внутрь сильных, обильных государств, гибли или покоряли области, сражались, не спрашивая числа, грабили, истребляли, не щадя ни пола, ни святыни; но взяв оседлость, укрощались верою, хотя страсть к завоеваниям и водному кочевью долго бросала их потомков на другие народы»⁴⁵.

«Скоро забыли скандинавы своего Одина, своих Валкириий, свою Валгаллу (рай), обещанную храбрым», — продолжает Бестужев-Марлинский. Но «дух саг их», накладываясь на автохтонную культуру, везде порождал разные результаты. Так во Франции, «мысленность Севера, соединясь с остроумием и живостию французов, внедрились в характер... Из этой-то амальгамы, беспечного, ветреного, легкомысленного, всегда поющего француза с жителем

⁴² См.: Бестужев <Марлинский> А.А. «Клятва при гробе Господнем. Русская быль XV века». Сочинения Н. Полевого. М., 1832 // Бестужев А.А. (Марлинский). Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1981. С. 412–464.

⁴³ Там же. С. 426.

⁴⁴ Там же.

⁴⁵ Там же. С. 429.

угрюмого Севера, который, будучи осажден зимою в своей хижине, поневоле был загнан в самого себя и углублялся в душу, произошел неподражаемый юмор, отличающий век наш. Стоики величались тем, что презирали страданье и смерть,— юмор делает лучше без всякой хвастливости: он смеется в промежутках страданий и шутит над смертью, играет с петлей, нередко рискует самою душой для острого слова»⁴⁶.

Что касается Англии, то «нордманны», «переплыв за Ламанш с Вильгельмом Завоевателем, перегорев в пламени битв и мятежей», обрели новый образ — «величественный и самобытный в литературе английской, которая по праву и по достоинству стала образцовой»⁴⁷.

Свое своеобразие получил феномен северного завоевания и на Руси: «Характеры князей и народа должныствовали у нас быть ярче, самобытнее, решительнее, потому что человек на Руси боролся с природою более жестокою, со врагами более ужасными, чем где-либо. Двуличный Янус: Русь глядела вдруг на Азию и Европу; быт ее составлял звено между оседлою деятельностью Запада и бродячею ленью Востока»⁴⁸.

Эта западно-восточная амальгама породила, по мнению Бестужева-Марлинского, удивительные явления синтеза в Северной Руси: «Варяги на ладьях покоряют ее. Печенеги, половцы, черные клобуки зубрят ее границы. Грозой налетает Русь на Царь-град и завоевывает в Корсуни христианскую веру. Вольный Новгород опоясывается хребтом Урала и бьется с божьими дворянами в Лифляндии, напирает на свейцев за Невою, режется с литовцами, везет свои товары в города Ганзы. И потом битвы междоусобий, и потом губительное нашествие татар, и душная ночь их власти, в мраке коей спело единодержавие... И потом войны с шумными поляками, с дикими литовцами, Иоанн Грозный, попытка обратить нас в католичество, мятежи самозванцев, и мудрый Алексей, и необъятный Петр!»⁴⁹

Именно за петровско-ломоносовской Россией, по мнению Бестужева-Марлинского, историческое будущее: «Да, это море-окиян!.. море еще не еженное, не изведенное и тем более занимательное, оригинальное»⁵⁰.

Литература

Бегичев С.Н. Записка об А.С. Грибоедове // А.С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М.: Федерация, 1929. С. 3–15.

Бестужев А.А. Взгляд на старую и новую словесность в России // Бестужев А.А. (Марлинский). Сочинения в 2-х тт. Т. 2. М.: Художественная литература, 1981. С. 375–393.

⁴⁶ Там же.

⁴⁷ Там же.

⁴⁸ Там же. С. 451.

⁴⁹ Там же.

⁵⁰ Там же.

Бестужев А. «Клятва при гробе Господнем. Русская быль XV века». Сочинения Н. Полевого. М., 1832 // Бестужев А.А. (Марлинский). Сочинения в 2-х тт. Т. 2. М.: Художественная литература, 1981. С. 412–464.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Московского университета. Ч. II. М.: Университетская тип., 1855. — 689 с.

Брикнер А. Война России с Швецией в 1788–1790 годах. СПб.: Тип. Головина, 1869. — 307 с.

Грибоедов А.С. Полное собрание сочинений в 3 тт. Т. 2. Драматические сочинения. Стихотворения. Статьи. Путевые заметки. СПб.: Нотабене, 1999. — 619 с.

Державин Г.Р. Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота: в 9 т. Т. II. СПб.: Тип. Императорской АН, 1865I.

К биографии А.Ф. Мерзлякова. Журнал комиссии об учреждении училища 1792 года августа 27-го дня // Русский архив, 1881, № 1. С. 422–423.

Каменский З.А. Русская эстетика первой трети XIX века. Классицизм. Вступительная статья // Русские эстетические трактаты первой трети XIX в. (ред. М.Ф. Овсянников и др.). Т. 1. М.: Искусство. С. 7–70.

Кара-Мурза А.А. Концепция «русского северянства» в героических одах Г.Р. Державина (к вопросу о российской идентичности) // Политическая концептология. 2017. № 3. С. 187–194.

Кара-Мурза А.А. Россия как «Север». Метаморфозы национальной идентичности в XVIII–XIX вв.: Г.Р. Державин // Философские науки. 2016. № 11. С. 121–134.

Кара-Мурза А.А. «Русское северянство» Николая Тургенева (молодые годы) // Полилог, 2020, т. 4, № 1 [Электронный ресурс].

Кара-Мурза А.А. У истоков «русского северянства»: споры о Ломоносове (конец XVIII — начало XIX вв.: Муравьев, Карамзин, Батюшков) // Полилог, 2022, т. 6, № 1 [Электронный ресурс].

Круглов А.Н. Философская высылка как русская традиция: «дело» И.В.Л. Мельмана // X Кантовские чтения. Ч. 2 (ред. В.Н. Брюшинкин). Калининград: Изд-во РГУ, 2010. С. 60–70.

Лотман Ю.М. А.Ф. Мерзляков как поэт // Мерзляков А.Ф. Стихотворения (вступ. ст. Ю.М. Лотмана). Л.: Советский писатель, 1958. С. 5–54.

Мерзляков А.Ф. Ода, сочиненная Пермского Главного Народного училища тринадцатилетним учеником Алексием Мерзляковым, который кроме его Училища нигде инде не воспитания, ни учения не имел // «Российский Магазин» (трудами Федора Туманского). Ч. СПб.: Тип. Шнора, 1792. С. 257–263.

Мерзляков А.Ф. Стихотворения (вступ. ст. Ю.М. Лотмана). Л.: Советский писатель, 1958. — 329 с.

Мерзляков А.Ф. Шувалов и Ломоносов (лирико-драматическое стихотворение). М.: Университетская тип., 1827. — 14 с.

Розанов В.В. Ломоносов. Его личность и судьба (4 апреля 1765–4 апреля 1915) // Розанов В.В. О писательстве и писателях (общ. ред. А.Н. Николюкина). М.: Республика, 1995. С. 609–613.

Стихотворения А.Ф. Мерзлякова (ред. М.П. Полуденский). Ч. I, М.: Тип. Грачева, 1867. — 656 с.

Тюгашев Е.А., Шумахер А.Е. Социокультурный феномен «русского северянства» // Личность. Культура. Общество, 2021, т. 23, № 3 (111). С. 151–156.

Kara-Murza A.A. Gavrili Derzhavin on Russian Civilization: Russia as “The North” // Russian Studies in Philosophy, 2018, vol. 56, № 2. P. 88–98.

РОССИЯ КАК «СЕВЕР». МЕТАМОРФОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В XVIII–XIX ВВ.: Г.Р. ДЕРЖАВИН

Идеи «русского Севера», мерцавшие в причудливой амальгаме отечественного самосознания в течение нескольких веков, обрели новый смысл в эпоху Петра Великого, прежде всего, в связи с выдвиганием России к северным морям и переносом национального центра в Санкт-Петербург. Концепция «третьего и последнего Рима», тесно связанная с древней Москвой, как конечным пунктом уединения и спасения «истинной веры», уступила место идее державной Империи, вольно и энергично распространяющейся вширь из новой столицы на Балтике, которую западные наблюдатели поспешили назвать «Северной Пальмирой».

В XVIII в. просвещенная Европа, не решаясь отказать набравшей силу России в ее «европейскости», упрямо указывала одновременно и на ее «северянство». «Северной Семирамидой», по аналогии с предприимчивой и воинственной ассирийской царицей, ставшей основательницей Вавилона, называл императрицу Елизавету Петровну прусский король Фридрих Великий. Точно так же: «Semiramis du Nord» — величал императрицу Екатерину Алексеевну в своих письмах Вольтер. А в 1794 г., в стихотворении «Водопад», Г.Р. Державин уподобил Екатерину II «Северной Минерве» — уже не просто удачливой правительнице, но и символу мудрости и бережения культуры.

На представленной в Третьяковской галерее картине итальянца Сальваторе Тончи, русский литератор Гавриил Романович Державин (1743–1816) изображен на фоне северного пейзажа в богатой собольей шубе и шапке. Под портретом, на диком камне, художник разместил латинское двустишие: «Правосудие изображено в виде скалы, пророческий дух — в румяном восходе, а сердце и честность — в белизне снега»¹.

¹ См.: Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота: В 9 т. Т. II. СПб.: Тип. Императорской АН, 1865. С. 397–404 (далее в тексте: «Сочинения Державина» с указанием тома и страниц.— А.К.). См. также: Иллюстрированный каталог картинной галереи Московского публичного и Румянцевского музеев. Русская школа живописи. М.: Тип. К.А. Фишер, 1901. С. 51.

Картина Тончи (1801), украсившая сначала столовую дома Державиных на Фонтанке², поразила воображение юного князя П.А. Вяземского, который, несколько лет спустя, в статье «О Державине», написанной на смерть любимого поэта³, отметит: «Образ Державина, сей образ, озаренный пламенником гения, сохранен нам знаменитым живописцем Тончи. Живописец-поэт изловил и, если смею сказать, приковал к холсту божественные искры вдохновения, сияющие на пиитическом лице северного барда... Картина, изображающая Державина в царстве зимы, останется навсегда драгоценным памятником как для искусства, так и для ближних, оплакивающих великого и добродушного старца»⁴. Действительно, портрет «северного барда» Державина работы Сальваторе Тончи станет одним из символов отечественной словесности конца XVIII — начала XIX вв.⁵

Представления об историческом происхождении и пути России были у Г.Р. Державина довольно своеобразными. Он полагал, например, что «россияне» явились результатом многовекового сожительства и синтеза двух общностей — «финнов» и «гуннов»: «Финны и Гунны — северные и восточные главные народы, из коих Россия составила. Первые, рыжеволосые, питались разбоем по Варяжскому и Балтийскому морю; вторые, узкоглазые, скитались по степям, не имели хлебопашества, кроме скотоводства; но после, под правлением России, учинились пахарями»⁶. Свой собственный род Державин относил к осевшим кочевникам-«гуннам» и считал себя потомком

² На самом деле, Сальваторе Тончи нарисовал в 1801 г. два портрета Державина, и этому предшествовала любопытная история. Поклонник поэта из далекого Иркутска, купец-золотопромышленник и городской голова М.В. Сибиряков, преподнес в подарок Державину роскошные шубу и шапку из баргузинского соболя. Тогда-то, по заказу поэта, Тончи и нарисовал его «зимний образ»: изобразив его, как того хотел сам Державин, в сибирских дарах на снегу, у дикой скалы. Один портрет, из дома на Фонтанке, был в итоге передан наследниками поэта в Третьяковскую галерею. Другой был подарен Державиным купцу Сибирякову и оказался в Иркутске. В 1870-х гг. на иркутской картине по заказу местного губернатора, ссыльный поляк Вронский талантливо изобразил на дальнем плане вид зимнего Иркутска; сейчас эта картина находится в местной художественной галерее.

³ Сравнивая «северного барда» Державина с античными «певцами юга», кн. П.А. Вяземский отмечал: «Я забываю Анакреона, читая “Хариты”, “Русскую пляску”; вижу перед собою Державина, сего единственного певца, возлежавшего среди печальных снегов Севера огненные розы поэзии, — розы, соперницы цветов, некогда благоухавших под счастливым небом Аттики» (*Вяземский П.А. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1982. С. 2*).

⁴ *Вяземский П.А. О Державине (1816) // Вяземский П.А. Сочинения: В 2 т. Т. 2. С. 4.*

⁵ Разошедшуюся в публике обывательскую версию создания портрета Державина изложил в своем дневнике известный мемуарист С.П. Жихарев (запись от 10 марта 1806 г.): «Тончи ни за что не хотел представить поэта в парике, а Державин не соглашался писать себя плешивым, и потому художник придумал надеть на него соболю шапку. Сказывают, что это верх совершенства» (*Жихарев С.П. Записки современника. М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 281*).

⁶ *Сочинения Державина. Т. III. С. 612.*

татарского мурзы Багрима, перешедшего в XV г. в подданство Великого московского князя-рюриковича (т.е. «финна») Василия Васильевича Темного⁷.

Парадокс литературного творчества Державина, развивавшегося параллельно с его не всегда гладко складывавшейся служебной карьерой, состоял в том, что его первые литературные успехи стали продуктом писательской стилизации вовсе не под парадигму «русского северянства» (условно говоря, — «финско-варяжскую»), а ровно наоборот — под более органичную, как он считал, для него идею «юго-восточную», выражаясь словами самого Державина — «гуннскую».

Речь идет, в первую очередь, о знаменитой державинской оде «Фелица» (1782), в которой автор представил государыню Екатерину — мудрой «киргизкайсацкой царевной», а самого себя — верноподанным и проницательным советником, «мурзой Багримом». Судя по воспоминаниям княгини Е.Р. Дашковой, которая, с некоторым риском для себя, опубликовала державинскую оду в «Собеседнике любителей русского слова», Екатерина с благодарностью приняла эту «восточную игру» («откуда он меня так хорошо знает?» — прослезившись, восклицала она, в очередной раз перечитывая оду Державина), а потом щедро одарила автора золотой, инкрустированной бриллиантами и набитой червонцами табакеркой с припиской: «Из Оренбурга от Киргизской Царевны мурзе Державину»⁸.

Однако «восточная идиллия» между «царевной» и «мурзой-поэтом» длилась недолго. Державин, всерьез рассчитывавший тогда получить губернаторство над родной и хорошо ему знакомой Казанской губернией, получил в итоге назначение на крайний север — губернатором вновь создаваемой Олонецкой губернии с центром в Петрозаводске⁹. Месяцы пребывания на реальном

⁷ Там же. С. 593. Биограф Державина академик Я.К. Грот пишет: «Происхождение Державина от мурзы Багрима, которое льстило его воображению и доставляло ему любимую поэтическую прикрасу, подтверждается семейными документами. Они содержат сведения, что этот мурза, в княжение Василия Васильевича Темного, в 15-м столетии, выехал из Большой орды служить на Руси, был крещен самим великим князем и при этом получил имя Ильи. Ему пожалованы были вотчины в нынешних Владимирской, Новгородской и Нижегородской губерниях. От сыновей его произошли Нарбековы, Акинфовы, Кеглевы; у Дмитрия Ильича Нарбекова был, в числе других детей, сын *Держава*, начавший службу в Казани. Так возник род Державиных» (*Грот Я. Жизнь Державина по его сочинениям и письмам и по историческим документам*. СПб.: Тип. Императорской АН, 1880. С. 19).

⁸ Сочинения Державина. Т. VI. С. 555.

⁹ Возможно, в назначении «мурзы Державина» на крайний север сказался не раз отмеченный в литературе своеобразный юмор императрицы Екатерины II. Как бы там ни было, сам Державин постарался принять неожиданное и разочаровывающее назначение предельно спокойно: «Вдруг получил из Царского Села через графа Безбородку известие, что Государыня назначает губернатором в Олонец... Будучи у Императрицы в хорошем мнении, неблагоразумно бы было не согласиться на ее волю» (Сочинения Державина. Т. VI. С. 559). Я.К. Грот в своей «Биографии» Державина также пишет максимально аккуратно: «Державин был не совсем доволен доставшейся ему губернией...» (*Грот Я. Жизнь Державина*. С. 359).

Севере, поездки чиновника-поэта в отдаленные углы вверенных ему приполярных земель¹⁰, несомненно, повлияли на дальнейшее творчество Державина¹¹.

Как бы там ни было, с конца 1780-х гг. Державин — уже верный аполлет новой и ранее непривычной для себя идентификационной матрицы «русского северянства», которую он не устанет теперь варьировать в своих стихотворных сочинениях. Именно в поэзии Державина идея «северянства», как самобытного образа русской идентичности, начинает кристаллизоваться сначала в придворной поэзии, а затем и в державной идеологии.

Разворот Державина в сторону «русского северянства» произошел в значительной мере под влиянием «нордических» предпочтений самой императрицы Екатерины II, увлеченной опытом историко-художественных реконструкций «времен Рюрика»¹². Вошла тогда в моду в России и «северная поэзия» древнего ирландского барда Оссиана — через ее литературные переложения шотландцем Джеймсом Макферсоном в удачном русском переводе Ермила Кострова. Привычным «наставником» отечественных литераторов в познании «северной мифологии» (не только Державина, но, к примеру, и Н.М. Карамзина) продолжал оставаться в те годы популярный в России немецкий поэт Фридрих Готлиб Клопшток¹³. Известно также, что Державин любил иметь под рукой перевод двухтомного «Введения в историю Дании» швейцарского историка Поля Анри Малле¹⁴.

¹⁰ В мемуарных «Записках», Державин вспоминал, что, объезжая Олонецкий край, он проделал не менее полутора тысяч верст: «то верхом, на крестьянских лошадях по горам и топям, то в челночках по озерам и рекам, где только суда, но и порядочные лодки проезжать не могут» (Сочинения Державина. Т. VI. С. 571).

¹¹ Пробуя Державина на административной должности, Екатерина, разумеется, не забыла создать ему естественный противовес, подчинив «наместнику» Олонецкой и Архангельской губерний, опытному чиновнику, а в прошлом боевому генералу Тимофею Ивановичу Тутолмину. В литературе о Державине принято во всех его последующих конфликтах с Тутолминым брать сторону «просвещенного и честного» Гавриила Романовича, а Тутолмина снисходительно называть в лучшем случае «ограниченным и высокомерным служакой», что, конечно, не вполне справедливо. — А.К.

¹² Моисеева Г.Н. Древнерусские литературные памятники в исторических драмах Екатерины II. // Труды Отдела древнерусской литературы. Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом), т. XXVIII. Л., 1974. С. 289–295.

¹³ См.: Сочинения Державина. Т. II. С. 271.

¹⁴ См.: Сочинения Державина. Т. I. С. 655. П.А. Малле был верным последователем Шарля Луи Монтескье, и его «северянство» основывалось на высказанном знаменитым философом в «Духе законов» убеждении о происхождении свободы и других человеческих добродетелей «из лесов Севера». Сам Малле полагал, что, хотя изначальный монотеизм доисторических времен нигде не сохранился в чистоте, но большинство своих следов он оставил именно на Севере, где «природа умеряет страсти». Великая княгиня, а затем императрица Екатерина Алексеевна была большой поклонницей книги Малле «Памятники мифологии и поэзии кельтов, в особенности древних скандинавов» (1756) и одно время предлагала, правда безуспешно, женева профессору стать воспитателем ее сына, цесаревича Павла Петровича.

В самом конце 1788 г., во время очередной русско-турецкой войны, Державин, в то время тамбовский губернатор, написал оду «Осень во время осады Очакова», где впервые использовал художественный мотив «всепобеждающей зимы» — «седой чародейки», естественным образом выступающей в сражениях на стороне северян-россов. Безуспешно осаждаемая всю осень 1788 г. войсками князя Г.А. Потемкина турецкая крепость Очаков пала только с приходом настоящих морозов, 6 декабря, в день святого Николая Чудотворца, и явно с помощью высших сил и покровительствуемой ими «северной богини-императрицы»¹⁵:

*Борей на Осень хмурит брови
И Зиму с севера зовет,
Идет седая чародейка¹⁶,
Косматым машет рукавом;
И снег, и мраз, и иней сыплет
И воды претворяет в льды;
От хладного ее дыханья
Природы взор оцепенел.
.....
Российский только Марс, Потемкин
Не ужасается зимы...
.....
Мужайтесь, росски Ахиллесеы,
Богини Северной сыны!¹⁷*

А в начале 1791 г. Г.Р. Державин закончил оду «На взятие Измаила», посвященную успешному штурму 11 декабря 1790 г. русскими войсками, казалось, неприступной турецкой крепости на Дунае¹⁸. Штурм русскими Измаила

¹⁵ Державин дает такой комментарий: «Очаков штурмом был взят в Николин день, 6-го декабря, в такой жестокий мороз, что текущая из ран кровь тот же час замерзала» (Сочинения Державина. Т. III. С. 641).

¹⁶ Ср. со строфой из седьмой главы пушкинского «Евгения Онегина»: «...и вот сама идет волшебница зима».

¹⁷ Сочинения Державина. Т. I. С. 225–227. Стоит добавить, что державинские стихи на взятие Очакова немало помогли ему в глазах вернувшегося с юга со славою «Марса-Потемкина» во время разбирательства в начале 1789 г. дела в Сенате о возможных и, к счастью, не подтвердившихся «злоупотреблений» Державина на посту тамбовского губернатора (См.: Грот Я. Жизнь Державина. С. 559–560).

¹⁸ В некоторых изданиях говорится, что Державин мог окончить оду «На взятие Измаила» еще в декабре 1790 г., но это представляется маловероятным: посланный главнокомандующим Г.А. Потемкиным с победным известием в столицу брат тогдашнего фаворита императрицы, В.А. Зубов, прибыл в Санкт-Петербург не ранее 29 декабря (Сочинения Державина. Т. I. С. 335).

поэт уподобил весеннему разливу мощной реки, питаемой снегами Севера, а русских солдат — «рожденным под зимними снегами» богатырям:

*Как воды, с гор весной в долину
Низвержась, пенятся, ревут,
Волнами, льдом трясут плотину,
К твердыням россы так текут.*

.....
*В зиме рожденны под снегами,
Под молниями, под громами,
Которых с самых юных дней
Питала слава, верность, вера, —
Где можно вам сыскать примера?¹⁹*

В центре державинской оды — в очередной раз, образ победоносной «северной царицы» («великим равная мужам»), которая вновь, как в древние времена Олега и Ольги, «сыплет северны блески на Босфор»:

*Уже от северного света
Лицо бледнеет Магомета,
И мрачный отвратил он взор.*

.....
*Поникли гордой Мекки брови;
Стамбул склонился вниз челом...²⁰*

Весьма показательна в этой связи художественная заставка, приложенная к первому изданию державинского «На взятие Измаила», иллюстрирующая начальные строфы стихотворения («Везувий пламя изрыгает, Столп огненный во тьме стоит...»): на ней изображен «огнедышащий Везувий, против которого бесстрашно идет с примкнутым штыком российский grenadier, повалив за собой столбы Геркулесовы»²¹. Эта картинка наглядно демонстрирует, что потаенный смысл державинской оды был намного глубже прославления конкретной победы русских над турками: взятие Измаила мыслилось чуть ли не победой «Севера» над всем метафизическим «Югом»,

¹⁹ Сочинения Державина. Т. I. С. 343, 347.

²⁰ Там же. С. 349, 355–356. Державин вспоминал в «Записках»: «Ода сия не токмо Императрице, ее любимцу (графу Платону Зубову.— А.К.), но и всем понравилась; следствием сего было то, что он получил в подарок от Государыни богатую, осыпанную бриллиантами табакерку, и был принимаем при дворе еще милостивее» (Сочинения Державина. Т. VI. С. 613–614).

²¹ Сочинения Державина. Т. I. С. 337.

одним из символов которого в отечественном сознании многие годы был «огнедышащий» на далеких берегах Неаполитанского залива грозный Везувий.

В начале 1790-х гг., Державин написал одно из самых знаменитых своих стихотворений — «Водопад», которое принято связывать с кончиной в октябре 1791 г. князя Г.А. Потемкина²². Между тем, в «Записках» известного литератора И.И. Дмитриева говорится о том, что Державин начал работу над «Водопадом» задолго до смерти Потемкина²³. Кроме того, имеется свидетельство самого Державина о том, что у «его» водопада есть реальный природный прототип, который автор имел возможность видеть летом 1785 г. во время своего губернаторства на Севере: «Сим описывается точное изображение водопада в Олонецкой губернии, Кивачем называемого»²⁴.

Стоит добавить, что во времена Державина конкуренцию олонечкому Кивачу в Европе мог составить разве что знаменитый Рейнский водопад недалеко от швейцарского городка Шаффхаузена. В 1790-х гг. его литературно-философское описание стало широко известным русскому читателю, благодаря «Письмам русского путешественника» Н.М. Карамзина²⁵.

Как бы там ни было, в екатерининские и последующие годы образ державинского «Водопада» стал символом несокрушимости северной цивилизации, с абсолютной мощью которой, как с «Левиафаном» Гоббса, вынуждены примиряться любые природные и человеческие явления:

*Ю водопад! в твоём жерле
Всё утопает в бездне, в мгле!
.....
Сковать ли воду льды дерзуют? —
Как пыль стекляна ниспадают.*

²² Г.А. Потемкин умер в ночь на 5 октября 1791 г. в степи, по пути из Ясс в Николаев.

²³ *Дмитриев И.И.* Сочинения (ред. А.А. Флоридова). Т. 2. СПб., 1893. С. 36. Завершение окончательной редакции «Водопада» относится, по-видимому, к концу 1794 г.

²⁴ Сочинения Державина. Т. II. С. 36. В «Поденной записке», которую Державин вел во время обозрения «своей» губернии, имеется запись от 20 июля 1785 г.: «Сев на лодки, поехали по реке Суне к порогу, именующимся Кивачем... Дикость положения берегов и беспрестанные видов перемены ежечасно упражняют взор... В версте от порогов показался в правом боку дым, который по мере приближения сгустался. Наконец, пристав и взошел на гору, увидели мы пороги сии. Между страшными крутизнами черных гор, состоящих из темного крупнозернистого кнейса, находится жерло глубиною до 8-ми сажен; в оное с гор, лежащих к востоку и полудню (югу.— А.К.), падает с великим шумом вода, при падении разбивается на мелкие брызги, наподобие рассыпанной во множестве муки. Пары, столбом восстающие, досягают до вершин двадцатипятисаженных сосен и оные омочают... Чернота гор и седина бьющей с шумом и пенящейся воды наводят некий приятный ужас и представляют прекрасное зрелище». (Сочинения Державина. Т. I. С. 458).

²⁵ См.: *Кара-Мурза А.А.* Швейцарские странствия Николая Карамзина 1789–1790 гг. М.: Аквилон, 2016. С. 48–53.

.....
*Не жизнь ли человеков нам
Сей водопад изображает? —
Он так же блеском струй своих
Поит надменных, кротких, злых²⁶.*

Единственная сила, которая, согласно Державину, является безусловно *первичной* по отношению к порожденному ей «водопаду», — это полубоже-ственная «*водопадов мать*», под которой автор, разумеется, имеет в виду императрицу Екатерину, которая напоминает автору бурную северную реку Суну, впадающую в Онежское озеро: «Относится сие к императрице, которая делала водопады, то есть сильных людей, и блистала чрез них военными делами, или победами»²⁷.

*И ты, о водопадов мать!
Река на севере гремяща,
О Суна! коль с высот блистать
Ты можешь — и, от зарь горяща,
Кипишь и сеешься дождем
Сапфирным, пурпурным огнем...²⁸*

Особую роль в развитии Державиным идей «русского северянства» сыграл его одический цикл, посвященный победным походам Александра Васильевича Суворова²⁹. Державин и Суворов были знакомы еще с осени 1774 г., когда вместе преследовали в Яицких степях уже обреченного на поражение «самозванца» Емельяна Пугачева. Но, как установил биограф Державина, академик Я.К. Грот, в товарищеских отношениях, оказывается, были еще их отцы, служившие одно время рядом, — генерал Василий Иванович Суворов и отставленный полковником Роман Николаевич Державин³⁰.

²⁶ Сочинения Державина. Т. I. С. 460, 463. Державин комментирует: «Кивач никогда не замерзает, и зимой солнечные лучи, преломляясь в водяной пыли, превращающейся на лету в лед, «представляют весьма удивительное зрелище» (там же. С. 460).

²⁷ Сочинения Державина. Т. II. С. 37.

²⁸ Сочинения Державина. Т. I. С. 487.

²⁹ При жизни князя Потемкина, который ему симпатизировал, Державин, как мы знаем, не решался славословить персонально Суворова, хотя хорошо знал, что именно тот явился «истинным сокрушителем Измаила» в декабре 1790 г. (Сочинения Державина. Т. VI. С. 617). Как известно, за штурм Измаила Суворов рассчитывал получить от императрицы чин генерал-фельдмаршала, но Потемкин предложил наградить его медалью и чином гвардии подполковника Преображенского полка. Сам же главнокомандующий Потемкин, приехав в Петербург, получил в награду шитый алмазами фельдмаршальский мундир ценою в 200 тысяч рублей и Таврический дворец в придачу.

³⁰ Грот Я. Жизнь Державина. С. 31.

В начале мая 1799 г. Г.Р. Державин написал в Санкт-Петербурге оду «На победы в Италии графом Суворовым-Рымникским французов»³¹, начатую им еще в апреле, при получении первых известий об успехах А.В. Суворова в Северной Италии и взятии ведомыми им русско-австрийскими войсками Брешии, Бергамо, а, после победы в середине апреля на реке Адда, и Милана, повлекшими за собой крах наполеоновской «Цезальпинской республики».

В первом издании оды «На победы в Италии» есть прямое авторское указание на то, что, живописуя победы друга-Суворова, он поставил целью сравнить новейшие победы «героя-росса» с древними подвигами легендарного Рюрика во Франции: «Ода сия основана на древнем северных народов баснословии. Валка — небесная дева. Барды — певцы богов и героев. Валкал — рай храбрых. По истории известно, что Рюрик завоевал Нант, Бордо, Тур, Лимузен, Орлеан и по Сене был под Парижем»³².

*Ударь во серебряный, священный,
Далеко-звонкий, Валка! щит,
Да гром твой, эхом повторенный,
В жилище бардов восшумит.*

.....
*Так он! — Се Рюрик торжествует
В Валкале звук своих побед
И перстом долу показывает
На росса, что по нем идет.
Се мой, — гласит он, — воевода!
Воспитанный в огнях, во льдах,
Вождь бурь полночного народа...³³*

А в сентябре 1799 г., находясь при дворе императора Павла I в Гатчине, Державин узнал о новых подвигах Суворова — его стремительном броске от итальянской Белинцоны к горному перевалу Сен-Готард и уникальном по отваге переходе через Альпы в Швейцарию — и написал оду «На переход Альпийских гор» в духе «северной» поэзии Оссиана:

*Чрез неприступны переправы
На высоте ты новой славы
Явился, северный Орел!
Но что, не дух ли Оссиана*

³¹ Сочинения Державина. Т. II. С. 271.

³² Там же.

³³ Там же. С. 270–273.

*Певца туманов и морей,
Мне кажет под луной Морана (варяжского героя. — А.К.)
Как шел он на царя царей (Наполеона — А.К.)³⁴.*

Когда 6 мая 1800 г. А.В. Суворов скончался в Петербурге, в доме на Крюковом канале, у своего родственника, поэта и сановника Д.И. Хвостова, Державин, бывший до последних мгновений при кончине друга, написал еще одно знаменитое стихотворение — «Снигирь», где уподобил покойного героя-полководца маленькой северной птице — народной любимице. Об обстоятельствах написания этого поэтического шедевра, где «северный Снигирь» образно противопоставит «африканской Гиене», под которой имелась в виду коварная наполеоновская Франция, Державин вспоминал так: «У автора в клетке был снигирь, выученный петь одно колено военного марша; когда автор по преставлении сего героя (Суворова. — А.К.) возвратился в дом, то, услыша, что сия птичка поет военную песнь, написал сию оду в память столь славного мужа»³⁵. «С кем мы пойдем войной на Гиену?», — тревожно вопрошает в поминальной оде Державин и печально констатирует: идти на «южных варваров» теперь не с кем — «северны громы в гробе лежат...»

*Что ты заводишь песню военну
Флейте подобно, милый снигирь?
С кем мы пойдем войной на Гиену?
Кто теперь вождь наш? Кто богатырь?
Сильный где, храбрый, быстрый Суворов?
Северны громы в гробе лежат³⁶.*

В июне 1810 г. Державин, уже находясь в отставке и проживая в своем новгородском имении Званка на берегу Волхова, стал свидетелем проезда по реке из Твери в Петербург сестры императора Александра, великой княгини Екатерины Павловны и ее мужа, принца Георгия Ольденбургского, — генерал-губернатора новгородского, тверского и ярославского. Это запоминающее зрелище стало поводом к написанию Державиным «Шествия по Волхову российской Амфитриты», в котором автор уподобил увиденную процессию приключениям первых русских юриковичей: «Прекраса перевозит в Выбутск Игоря в ладье»³⁷.

³⁴ Там же. С. 278.

³⁵ Сочинения Державина. Т. III. С. 677. См. также: Ларкович Д.В. Державин и Суворов: творческое взаимодействие автора и героя // Русская литература, 2010, № 4. С. 62–72.

³⁶ Сочинения Державина. Т. II. С. 344.

³⁷ Сочинения Державина. Т. III. С. 37–38. По преданию, великая княгиня Ольга жила раньше в Выбутской веси близ Пскова и была перевозчицей. Под именем Прекрасы она является и в драматическом сочинении Екатерины II «Начальное управление Олега».

Не мог не отозваться в тот момент престарелый Державин и на злободневные политические новости. Как известно, в начале 1810 г., во время очередной турецкой кампании, новым главнокомандующим русской армией, после затяжной осады Силистрии, был назначен граф Николай Михайлович Каменский (сын недавно умершего фельдмаршала М.Ф. Каменского), уже прославившийся победами в Пруссии и Финляндии. В «Шествии по Волхову» Державин поэтически называет молодого Каменского «северным Фениксом» («*восставшим из праха отча*»), назначенного на свой высокий пост «царем Норда» (императором Александром) — на счастье Петербургу («*Парнасу меж льдов*») и на погибель «Стамбулу», а заодно и всей «магометанской Азии»:

*Феникс сей, из праха отча
Встав, парит во звездный круг
Гордость, зависть, злоба, молча
В нем признав воинский дух,
Защищать Стамбул престанут,
В Азию Магмет уйдет.
Вновь Эллады лиры грянут,
И почтит тогда весь свет
Александра алтарями.
Но доколе совершится
Древний сей пророчий глас,
Норда царь тем веселится,
Что меж льдов растет Парнас³⁸.*

Апофеозом «северянской» одической поэзии Г.Р. Державина стал, конечно же, его «Гимн лироэпический на прогнание французов из отечества», написанный почти семидесятилетним поэтом осенью 1812 г., после решительного перелома в ходе Отечественной войны. Взяв за основу тему из Апокалипсиса: «*Змей с агнцем брань сотворят, и агнец победит его*» (гл. 17, ст. 14), Державин изобразил «князем тьмы» — Наполеона, а в образе «белорунного агнца» представил Александра I, вступившего на «северный» престол, как известно, под знаком Овна:

*И движут ось всея вселены.
Бегут все смертные смятенны
От князя тьмы и крокодильных стад.
Они ревут, свистят и всех страшат;
А только агнец белорунный,*

³⁸ Там же. С. 40–41.

*Смиренный, кроткий, но челоперунный,
Востал на Севере один, —
Исчез змей — исполин»³⁹.*

«Нордические ветры», согласно с Державину, в очередной оказались могущественнее «южного Афра»:

*«Или аспид, лютый змей,
Бежит так с пол, коль Север дует
И Афра за собою чует...»⁴⁰*

И «Север» вновь, как и в легендарные времена Рюрика, посрамил «Новый Вавилон» — Париж:

*О новый Вавилон, Париж!
.....
Ты мнил попрасть нас и мечом,
Забыв, что северные силы
Всегда на Запад ужас наносили;
Где ж мамелюк твой, где элит?
О вечный Сене стыд!⁴¹*

Когда 8 июля 1816 г. Гавриил Романович Державин скончался в своем имении Званка и был похоронен в Спасо-Преображенском соборе Варлаамо-Хутынского монастыря близ Великого Новгорода, посеянные им в русской поэзии семена «русского северянства» уже начали давать первые всходы — в творчестве К.Н. Батюшкова, князя П.А. Вяземского, барона А.А. Дельвига, молодого А.С. Пушкина. Эстафету глубоких размышлений о «северянской» идентичности России было кому продолжить.

Литература

Вяземский П.А. О Державине (1816) // Вяземский П.А. Сочинения: В 2 т. Т. 2. Литературно-критические статьи. М.: Художественная литература, 1982.

Грот Я. Жизнь Державина по его сочинениям и письмам и по историческим документам. СПб.: Тип. Императорской АН, 1880.

Дмитриев И.И. Сочинения (ред. А.А. Флоридова). Т. 2. СПб., 1893.

³⁹ Там же. С. 140.

⁴⁰ Там же. С. 149.

⁴¹ Там же. С. 153–154. См. также: *Коровин В.Л.* Державин и 1812 год: о смысле и композиции «Гимна лироэпического на прогнание французов из Отечества». // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка, 2012, т. 71, № 6. С. 42–52.

Жихарев С.П. Записки современника. М.— Л.: Изд-во АН СССР, 1955.— 836 с.

Коровин В.Л. Державин и 1812 год: о смысле и композиции «Гимна лироэпического на прогнание французов из Отечества» // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка, 2012, т. 71, № 6. С. 42–52.

Ларкович Д.В. Державин и Суворов: творческое взаимодействие автора и героя. // Русская литература, 2010, № 4. С. 62–72.

Моисеева Г.Н. Древнерусские литературные памятники в исторических драмах Екатерины II. // Труды Отдела древнерусской литературы. Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом), т. XXVIII. Л., 1974. С. 289–295.

Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота: В 9 т. СПб.: Тип. Императорской АН, 1864–1883.

УЛЫБЫШЕВ И ПУШКИН О «ДУРНОМ СИНТЕЗЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ» («Азиопа» в свете «Зеленой лампы», 1819–1820)

*У нас чужая голова,
А убежденья сердца хрупки...
Мы — европейские слова
И азиатские поступки.*

(Николай Щербина)

*Горит на небе новая звезда,
Её зажгли, конечно, хулиганы...*

(Валентин Гафт)

Русские размышления над феноменом «дурного синтеза цивилизаций» породили немало удачных формул: «поп во фраке» (Гоголь); «Чингисхан с пушками Круппа» (Герцен); «Православный царь в мундире гвардейского офицера» (Федотов) и т.д. Наиболее емкую в этом смысле формулировку предложил в 1920-х гг. либерал-европеист П.Н. Милюков, придумавший, согласно мемуарным зарисовкам Г. Адамовича, термин «Азиопа» (как негативного, зеркального двойника «Евразии»), который он в 1920–1930-х гг. с успехом использовал в своих эмигрантских дебатах с евразийцами.

Корни идеи «дурного синтеза», терминологическим увенчанием которой стал «перл» Милюкова, уходят в историю русского самопознания. Они, например, прослеживаются в острословии обряженных в красные фригийские колпаки участников шумных застолий дружеского общества «Зеленая лампа» (1819–1820), которое вошло в историю нашей культуры уже тем, что отшлифовало интеллектуально-поэтический дар юного А.С. Пушкина.

Свое название Общество (девиз которого: «Свет и надежда!») получило от зелёного абажура над круглым столом заседаний в отцовской квартире Никиты Всеволожского между площадью Каменного театра (теперь Театральная) и Екатерингофским проспектом (ныне Римского-Корсакова).

В русской историографии давно обсуждается вопрос, была ли «Зеленая лампа» лишь «оргиастическим» объединением праздной молодежи (этой точки зрения придерживались П.И. Бартенев, П.В. Анненков, В.В. Вересаев, Л.П. Гроссман, В.В. Сиповский), или же её правильнее считать «побочной управой», ассоциированной (через некоторых своих членов — С.П. Трубецкого, Ф.Н. Глинку, Я.Н. Толстого) с «коренным» «Союзом благоденствия» (так считали П.Е. Щеголев, Б.Л. Модзалевский, Б.В. Томашевский, Н.Л. Бродский)?¹

¹ См.: Щеголев П.Е. «Зелёная лампа» // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. СПб., 1908, вып. 7. С. 19–50.

Думается, права нижегородский литературовед В.Ю. Белоногова: «Складывается впечатление, что спор о характере заседаний “Лампы” во многом надуман и вызван скорее уже социологизированными крайностями самого советского литературоведения. По большому счету, четкой грани между веселым застольем и политическими разговорами попросту не существовало»².

Что, кроме театра и актрис, могло волновать в конце 1810-х гг. столичных молодых людей, в основном офицеров, собиравшихся под «Зеленой лампой» у молодого богача Всеволожского после очередного спектакля? Это, конечно, судьба России, которая еще недавно — во время триумфа над Наполеоном — представлялась такой радужной, но теперь, с каждым месяцем, виделась всё более туманной. Центральной проблемой, по сути конституировавшей феномен декабризма, стало соотношение «русского» и «польского» вопросов.

Хорошо известно, что император Александр I, сразу после окончания войны с Наполеоном, амнистировал польских офицеров и солдат, воевавших у Бонапарта против России. В 1814 г. польское войско вернулось домой из Франции. 17 (29) ноября 1815 г. Александр I даровал полякам статус суверенного Царства (Королевства) Польского с собственной Конституцией, сохранявшей наследие Речи Посполитой, которые нашли свое выражение в названиях государственных учреждений, в организации Сейма, в коллегиальной системе государственных органов, в выборности администрации и судей.

15 (27) марта 1818 г., выступая на открытии польского Сейма, собранного в соответствии с дарованной Конституцией, император произнес слова, не только внимательно выслушанные поляками, но и гулко отозвавшиеся в России. «Народ, который вы представлять призваны, наслаждается, наконец, собственным бытием, обеспеченным созревшими уже и временем освященными установлениями»³, — сказал тогда Александр.

А как же Россия? Что будет с ее «собственным бытием» и ее новыми установлениями? Император в польском Сейме сказал об этом крайне обтекаемо, вскользь упомянув, что польская конституция — лишь первый пример «законно-свободных учреждений, бывших непрестанно предметом Моих помышлений, и которых спасительное влияние надеюсь Я, при помощи Божией, распространить и на все страны, Провидением попечению Моему вверенные»⁴. Таким образом, подытожил царь, Польша дала ему «средство явить Моему

² Белоногова В.Ю. Пушкин и Улыбышев: к вопросу о «литературных отношениях» // Болдинские чтения 2015. Сб. трудов Международной конференции Нижегородского гос. ун-та им. Н.И. Лобачевского, 2015. С. 231–239; См. также: Белоногова В.Ю. Отблеск «Зеленой лампы» в десятой главе «Евгения Онегина» // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Сер.: Литературоведение, 2013, № 4 (2). С. 26–30.

³ Величайшие речи русской истории. От Петра Первого до Владимира Путина. М.: Алисторус, 2014. С. 18.

⁴ Там же.

Отечеству то, что Я уже с давних лет ему приготавливаю, и чем оно воспользуется, когда начала столь важного дела достигнут надлежащей зрелости»⁵.

События показали, однако, что император не торопился выполнять свои обещания. Осенью 1818 г. в немецком Аахене состоялся конгресс «Священного союза» — объединения России, Австрии и Пруссии, который многими в Европе был тут же окрещен «союзом королей против народов». Разочарование в «Алекサンドре Благословенном» и тревога за судьбу Отечества охватила широкие круги образованной молодежи обеих российских столиц.

Одним из интеллектуальных лидеров петербургской «Зеленой лампы» был дипломат, журналист, художественный критик Александр Дмитриевич Улыбышев (1794–1858), чьи историко-публицистические доклады на заседаниях «Лампы» сразу становились программными *credo* всего объединения.

В этой статье нас будут интересовать три выступления Улыбышева на заседаниях «Лампы» — виртуозных по форме и глубоких по содержанию (их тексты на французском языке были найдены в архивах кружка). Это — «Разговор Бонапарта и английского путешественника» («Conversation entre Bonaparte et un voyageur anglais»), «Письмо другу в Германию о петербургских обществах» («Lettre à un ami d'Allemagne sur les sociétés de Pétersbourg») и антиутопия «Сон» («Un rêve»).

17 апреля 1819 г., на третьем заседании «Зеленой лампы» в квартире Н.В. Всеволожского, Улыбышев зачитал свой «Разговор Бонапарта с английским путешественником». Вымышленная история (посетивший якобы остров Св. Елены английский путешественник беседует с Наполеоном на политические темы) подтвердила репутацию Улыбышева как опытного дипломата, прекрасно ориентирующегося в хитросплетениях посленаполеоновской европейской политики.

Большой знаток «пушкинского круга» Б.В. Томашевский, исследовавший «Разговор» непосредственно в архиве, пишет: «В действительности автора не интересует ни психология Бонапарта, ни мнения англичан. Из уст подставных персонажей он дает свою оценку политического положения Европы... Сам Наполеон представлен в несколько идеализованном освещении. Он несколько не похож на тот образ, который фигурировал в публицистике периода войны. Объясняется это тем, что политика Священного союза оказалась значительно реакционнее наполеоновской... Подобное изменение в оценке Наполеона позднее мы видим и в лирике Пушкина. Традиционный образ злодея, какой мы встречаем в “Наполеоне на Эльбе” и в “Вольности”, в 1819 г. становится уже анахронизмом»⁶.

⁵ Там же.

⁶ Томашевский Б.В. Пушкин. Книга первая (1813–1824). М.— Л.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 228.

Во всем тексте «Разговора» сквозит разочарование тем, что лозунги «свободы народов», провозглашенные в ходе антинаполеоновских войн, остались невыполненными. Когда в диалоге с «английским путешественником» Бонапарт говорит об «умственном солнце, поднимающемся над горизонтом», его гость отвечает: «Пробуждение свободы во всех сердцах, великолепные обещания наших государей были для нас зарей, предвещавшей прекрасный день, но многочисленные тучи, появившиеся на политическом горизонте, мешают нам до сих пор видеть появление этого солнца»⁷.

Подробный обзор политических изменений в послевоенной Европе (принятие конституций в Баварии и Бадене весной-летом 1818 г., борьба испанцев против короля Фердинанда и поддерживающей его инквизиции и т.д.) явился для Улыбышева лишь прологом к анализу внешней политики русского императора и инициированного им «Священного союза».

Анализ политической сущности этого «Союза» дается в «Разговоре» от имени Бонапарта. Отмечая, что события поставили императора Александра на первое место среди монархов Европы, Наполеон делает вывод, что у царя было два пути, чтобы укрепить свое положение: или завоевания, или овладение общественным мнением. Крушение самого Бонапарта показало опасность первого пути. Александр выбрал второй — отсюда поиски популярности и попытки придать своей политике ореол великодушия и благородства: «Мысль поставить начала веры в основу политики и таким образом осуществить химеру вечного мира поразила его воображение»⁸.

Однако неопределенность принципов «Священного союза» позволяет по-разному трактовать цели и действия императора Александра. Подхватив мысль Бонапарта, «английский путешественник» рассуждает о русском царе: «Одни думали, что он пускает пыль в глаза, другие рассматривали Священный союз как христианский союз против неверных, что-то вроде крестового похода 19-го века; некоторые полагали, что это лига монархов против своих народов»⁹. «Путешественник» предполагает, что увлекшись мистицизмом, император собирается «провозгласить себя нового рода папой», располагающим армией в «восемьсот тысяч апостолов»¹⁰.

...Следующая статья Улыбышева, представленная на заседании «Зеленой лампы», — «Письмо другу в Германию о петербургских обществах»¹¹ (сам автор до 16 лет жил с отцом-дипломатом в Саксонии). Статья открывается сле-

⁷ Там же.

⁸ Там же.

⁹ Там же. С. 229.

¹⁰ Там же.

¹¹ Улыбышев А.Д. Письмо другу в Германию о петербургских обществах // Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. Т. 1. М.: Госполитиздат, 1951. С. 279–285.

дующей «декларацией о намерениях»: «Мой дорогой друг! Вы спрашиваете у меня некоторые подробности о петербургском обществе. Я удовлетворю вас с тем большим удовольствием, что лишен всякого авторского самолюбия и правдивость — единственное достоинство, на которое я претендую»¹².

Давая общую оценку «петербургскому обществу», автор «письма» сразу формулирует свою главную идею: «Посещая свет в этой столице, хотя бы совсем немного, можно заметить, что *большой раскол существует тут в высшем классе общества* (курсив мой. — А.К.). Первые, которых можно назвать правоверными (погасильцами), — сторонники древних обычаев, деспотического правления и фанатизма, а вторые — еретики, защитники иноземных нравов и пионеры либеральных идей. Эти две партии находятся всегда в своего рода войне, — кажется, что видишь духа мрака в схватке с гением света; из этой-то борьбы происходят умственные и нравственные сумерки, которые покрывают еще нашу бедную родину»¹³.

Итак, *борьба еретиков с погасильцами* (антоним *просветителей* — А.К.) — вот он, улыбышевский прототип Азиопы! «Сумеречность» русской жизни, согласно Улыбышеву, порождается и постоянно поддерживается борьбой двух фантазмагорических начал — «духа мрака» и «гения света». Трудно представить себе, какой хохот раздавался в квартире Всеволожских на том заседании «Лампы», большинство членов которой составляли офицеры-театралы.

Улыбышев продолжает свое «письмо», с видимым удовольствием конкретизируя существо конфликтующих партий *правоверных* и *еретиков* (или, как их еще называет автор, *скифов* и *европейцев*). Он начинает с «правоверных»: «Их партия более многочисленна в провинциях, где они, как совы, кричат одни среди ночи, которая все более и более сгущается по мере удаления их жилища от столицы; но здесь (в Петербурге. — А.К.), к счастью, с каждым днем их делается меньше, и часто в доме, где отец принадлежит к царствующему Ивану Васильевичу, дети живут в веке Александра»¹⁴.

«Этих так называемых патриотов, — продолжает Улыбышев, — можно узнать по некоторой грубоватости манер и дерзкой привычке говорить “ты” всем, на кого они смотрят, как на низших. Они говорят почти исключительно по-русски, и если им случается иногда произнести несколько французских слов, то, я думаю, они это делают из хитрости, потому что, надо признать, в их устах этот язык становится самым отвратительным жаргоном, какой только можно услышать»¹⁵.

¹² Там же. С. 279.

¹³ Там же. С. 279–280.

¹⁴ Там же. С. 280.

¹⁵ Там же.

Далее из слов рассказчика следует, что одним из ревностных поборников «партии погасителей», или «скифо-росской», еще недавно был его родственник, друг отца, ныне покойный «сенатор К.». «Поступив в Сенат в звании кописта и с имением в 40 душ крестьян, он через полвека достиг чина действительного тайного советника и обладания состоянием в 8 000 душ», — несколько утрирует Улыбышев способ сделать в столице «скифо-росскую» карьеру¹⁶.

Автор «письма» был представлен влиятельному родственнику: «Я вошел в гостиную, где нашел старика в халате, сидящего на диване... Несколько человек держались в почтительных позах... После я узнал, что они принадлежали к классу тех неутомимых паразитов, которые заодно с хорошим обедом охотно переваривают презрение и всевозможные унижения. Эта многочисленная в Петербурге порода заменила тут шутов, которые совсем вышли из моды и встречаются только в Москве. Я нахожу, что эта замена ничего не дала»¹⁷.

За обедом, к которому подъехали несколько друзей сенатора К., состоялся разговор («всецело направляемый хозяином дома»), который касался «крайностей модного воспитания, извращения национальных обычаев, происшедшего от мании путешествовать и несчастного пристрастия русских к французам, все знание которых, говорили, заключается в пируэтах, а здравый смысл — в каламбурах»¹⁸. «Все же я заметил, — добавляет Улыбышев, — что эта ненависть к иностранцам не распространялась на их вина; поблизости от хозяина дома я увидел две или три бутылки французского вина, и те, кто более всего поносили эту страну, пили также более всего, как бы для того, чтобы дать удовлетворение за нанесенную обиду»¹⁹.

Однако, — продолжает Улыбышев, — «перейдем к изучению европейского общества»: «Нам стоит сделать всего один шаг, чтобы перенестись из XV в XIX век»²⁰. И далее автор, столь же иронически-беспощадно, описывает *партию европейцев*, которая, на первый взгляд, приятно отличается от «скифо-росской».

Действительно: «Нет ничего разительнее контраста французского изящества и гиперборейской грубости, социального равенства, которое отдает предпочтение только уму или любезности, и этого рабского отличия по чинам, — позорящим отметкам деспотизма. Можно подумать, что находишься в Париже, когда войдешь в один из этих роскошных домов, которые стряхнули с себя иго древних предрассудков. Вкус и великолепие обстановки,

¹⁶ Там же.

¹⁷ Там же. С. 281.

¹⁸ Там же.

¹⁹ Там же. С. 282.

²⁰ Там же. С. 283.

костюмы, манеры и самый разговор — все создает иллюзию, похожую на очарование...»²¹

Увы, «после второго или третьего посещения она [иллюзия] понемногу рассеивается»: «Некоторая холодность, сухость разговора, которая находит выход только в карточной игре или в гастрономических увеселениях, старание, которое мужчины и женщины прилагают к тому, чтобы держаться порознь, и неловкость в поддержании начатого с дамою разговора вскоре предупреждают вас, что вы не во Франции и что копия всегда далека от оригинала»²².

Вообще А.Д. Улыбышев, прекрасно знавший реальную Западную Европу и владевший французским языком в совершенстве (в те годы он редактировал франкоязычную газету «Le Conservateur impartial»), не мог согласиться с распространенным мнением о якобы «сходстве характеров» настоящих французов и «культурных русских». «Мы имеем глупость, — писал он, — гордиться тем, что нас называют французами Севера. Мне кажется, что нет ничего менее подходящего, чем это наименование»²³.

Само выражение «*французы Севера*» Улыбышев считал полным нонсенсом: «Как же, в самом деле, влияние климата и образа правления, которые одни могут наложить на характер народа печать национальности, могли придать одинаковые черты двум народам, совершенно противоположным в этих обоих отношениях?»²⁴.

«Мы, правда, — продолжает Улыбышев, — подражаем французам более всякого другого народа и гораздо более того, чем это бы следовало; но самое это подражание, никогда не шедшее, несмотря на все наши старания, дальше самой поверхностной формы, не должно ли доказать нам, сколь мало мы похожи на наши образцы. Не являемся ли мы для них тем же, чем восковые фигуры для людей, которых они изображают? Они имеют те же черты, тот же рост, те же платья, но им недостает жизни и движения. Так же и мы можем присвоить себе моды, смешные и дурные стороны французов, но чего никогда не будет нам дано — это их живость, гений их воображения и главным образом та общительность, которою они отличаются. Источник их обычаев и мод надо искать в их национальных качествах»²⁵.

Улыбышев видит глубинное различие между «оригинальностью» и «подражательностью»: «Всё то, что оригинально, нравится, привлекает и вызывает подражание; но, к несчастью, это последнее всё портит и делает приторным. Вот почему французские манеры, которые так очаровывают

²¹ Там же.

²² Там же.

²³ Там же.

²⁴ Там же.

²⁵ Там же. С. 283–284.

иностранца, кажутся холодными и неуместными в Петербурге. Сразу же можно усмотреть, что они — только условная маска, ни на чём не основаны и создают режущий диссонанс с истинным национальным характером...»²⁶

Разговор о том, что я в своих работах называю «дурным синтезом культур», был продолжен Улыбышевым еще в одном произведении, сохранившемся в бумагах «Зеленой лампы», — в утопии «Сон» (она помечена, как читанная на 13-м заседании Общества, примерно, в ноябре–декабре 1819 г.).

Герой рассказа чудесным образом переносится на 300 лет вперед, в Петербург будущего и, разумеется, не узнает его: «На каждом шагу новые общественные здания привлекали мои взоры, а старые, казалось, были использованы в целях, до странности непохожих на их первоначальное назначение. На фасаде Михайловского замка я прочел большими золотыми буквами: “Дворец Государственного Собрания”. Общественные школы, академии, библиотеки всех видов занимали место бесчисленных казарм, которыми был переполнен город»²⁷.

«Проходя перед Аничкиным дворцом, — продолжает путешественник в будущее, — я увидел сквозь большие стеклянные окна массу прекрасных памятников из мрамора и бронзы. Мне сообщили, что это русский Пантеон, т.е. собрание статуй и бюстов людей, прославившихся своими талантами или заслугами перед отечеством. Я тщетно искал изображений теперешнего владельца этого дворца (им в 1819 г. был великий князь Николай Павлович, будущий император. — А.К.)»²⁸.

Любимая тема знатока театра Улыбышева — особенности национальных одежд: «Проходя по городу, я был поражен костюмами жителей. Они соединяли европейское изящество с азиатским величием, и при внимательном рассмотрении я узнал русский кафтан с некоторыми изменениями»²⁹. Это — одна из излюбленных мыслей автора: то, что на первый взгляд кажется сочетанием «европейскости» и «азиатскости», — на поверку оказывается просто «русскостью» — самобытной и оригинальной. (О том же Улыбышев коротко писал и раньше, в «Письме другу в Германию»: «Я удовольствуюсь тут замечанием, что костюм, который более всего нравится в России даже иностранцам, — это костюм национальный, что нет ничего грациознее русской женщины»³⁰.)

В этом месте улыбышевского «Сна» происходит любопытный разговор героя и одного из граждан «города будущего», который вызвался ему в провожатые. Герой спрашивает: «Мне кажется, Петр Великий велел высшему

²⁶ Там же. С. 284.

²⁷ Улыбышев А.Д. Сон // Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. М., 1951, т. 1. С. 286.

²⁸ Там же.

²⁹ Там же. С. 290.

³⁰ Улыбышев А.Д. Письмо другу в Германию. С. 283.

классу русского общества носить немецкое платье, — с каких пор вы его сняли?»³¹ На что «проводжатый» отвечает: «С тех пор, как мы стали нацией, с тех пор, как, перестав быть рабами, мы более не носим ливреи господина. Петр Великий, несмотря на исключительные таланты, обладал скорее гением подражательным, чем творческим. Заставляя варварский народ принять костюм и нравы иностранцев, он в короткое время дал ему видимость цивилизации. Но эта скороспелая цивилизация была так же далека от истинной, как эфемерное тепличное растение от древнего дуба, возвращенного воздухом, солнцем и долгими годами, как оплот против грозы и памятник вечности»³².

И далее «Проводжатый» развивает мысль о глубинной порочности петровской «модернизации»: «Петр слишком был влюблен в свою славу, чтобы быть всецело патриотом. Он при жизни хотел насладиться развитием, которое могло быть только плодом столетий... Толчок, данный этим властителем, надолго задержал у нас истинные успехи цивилизации. Наши опыты в изящных искусствах, скопированные с произведений иностранцев, сохранили между ними и нами в течение двух веков ту разницу, которая отделяет человека от обезьяны... Нашу литературу, как и наши учреждения, можно сравнить с плодом, зеленым с одной стороны и сгнившим с другой. К счастью, мы заметили наше заблуждение»³³.

Итак, «*плод, зеленый, с одной стороны и сгнивший с другой*» — это еще одно улыбышевское определение «Азиопы», которое я неизменно включаю во все свои антологии³⁴. Определение России Розановым: «дитя-старик» — явная перелицовка улыбышевского прототипа.

В конце рассказа «Сон» герой, вместе со своим проводжатым, доходят до Дворцовой площади: «Вместо двуглавого орла с молниями в когтях я увидел феникса, парящего в облаках и держащего в клюве венец из оливковых ветвей и бессмертника. — Как видите, мы изменили герб империи, — сказал мне мой спутник. — Две головы орла, которые обозначали деспотизм и суеверие, были отрублены и из пролившейся крови вышел феникс свободы и истинной веры»³⁵.

Самая концовка улыбышевской утопии гениальна в своей простоте: «Я собирался перейти мост, как внезапно меня разбудили звуки рожка и барабана и вопли пьяного мужика, которого тащили в участок. Я подумал, что исполнение моего сна еще далеко...»³⁶

³¹ Улыбышев А.Д. Сон. С. 291.

³² Там же.

³³ Улыбышев А.Д. Сон. С. 291.

³⁴ См. напр.: Кара-Мурза А.А. Новое варварство как проблема российской цивилизации. М.: ИФ РАН, 1995; он же. Между Евразией и Азиопой. М., 1995.

³⁵ Улыбышев А.Д. Сон. С. 292.

³⁶ Там же.

...Здесь на авансцену нашего рассказа должен выйти еще один участник «Зеленой лампы» — совсем молодой, начинающий поэт Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837), неизменный участник застолий в квартире Всеволожского³⁷. Среди прочих юношеских виршей, истинную славу в молодежных радикальных кругах Пушкину принес «ноэль» (рождественская притча) «Ура! в Россию скачет кочующий деспот!», написанный, по-видимому, в конце ноября 1818 г., по случаю возвращения императора Александра с аахенского Конгресса «Священного союза» (царь прибыл в Царское село 22 декабря).

Стихотворение было написано в традиционной во Франции форме сатирических рождественских куплетов-ноэлей (от Noël — Рождество). Куплеты эти, осмеивающие чаще всего государственных сановников и их деятельность за истекший год, непременно облекались в евангельский рассказ о рождении Христа.

*Ура! в Россию скачет
Кочующий деспот.
Спаситель горько плачет,
За ним и весь народ.
Мария в хлопотах Спасителя стращает:
«Не плачь, дитя, не плачь, сударь:
Вот бука, бука — русский царь!»
Царь входит и вещает:
«Узнай, народ российский,
Что знает целый мир:
И прусский и австрийский
Я сшил себе мундир.
О радуйся, народ: я сыт, здоров и тучен;
Меня газетчик прославлял;
Я пил, и ел, и обещал —
И делом не замучен.
Послушайте в прибавку,
Что сделаю потом:
Лаврову дам отставку,
А Соца — в желтый дом;
Закон постановлю на место вам Горголи,
И людям я права людей,
По царской милости моей,
Отдам из доброй воли».*

³⁷ Кара-Мурза А.А. «Всемирная отзывчивость» или «русский европеизм»? (Владимир Вейдле о творчестве Пушкина) // Полилог, 2018, т. 2, № 1 [Электронный ресурс].

*От радости в постеле
Запрыгало дитя:
«Неужто в самом деле?
Неужто не шутя?»
А мать ему: «Бай-бай! закрой свои ты глазки;
Пора уснуть уж наконец,
Послушавши, как царь-отец
Рассказывает сказки»³⁸.*

В «Ноэле» Пушкина присутствуют имена ненавистных в культурных кругах цензора Лаврова, чиновника Соца и петербургского обер-полицейстера Горголи. Но главная фигура — сам император — «Бука — русский царь» (этим именем на Руси пугали детей³⁹), беспощадно высмеянный «стихотворцем-мальчишкой».

Существуют свидетельства, что Пушкин многократно исполнял «на бис» своего «кочующего деспота» (вот оно — воплощение Азиопы!) во время ночных пирушек «Зеленой лампы». И, уже став полноправным членом объединения, он напишет в 1819 г. еще одно сочинение «на тему» — стихотворение «Уединение»:

*Блажен, кто в отдаленной сени,
Вдали взыскательных невежд,
Дни делит меж трудов и лени,
Воспоминаний и надежд;
Кому судьба друзей послала,
Кто скрыт, по милости творца,
От усыпителя глупца,
От пробудителя нахала⁴⁰.*

Это стихотворение двадцатилетнего поэта является одним из ранних образцов удивительного переводческого таланта Пушкина. Оппозиция: нахалы-пробудители против глупцов-усыпителей (сравни у Улыбышева: еретики против погасильцев) является точной передачей мысли из стихотворения поэта и драматурга эпохи Французской революции и Первой империи Антуана-Венсана Арно (Antoine Vincent Arnault) «К уединенной хижины» («Pour une cabane isolée») (1794):

³⁸ Пушкин А.С. Стихотворения, 1814–1822 // Пушкин А.С. Собрание сочинений: В 10 т. М.: Художественная литература, 1959, т. 1. С. 61–62.

³⁹ Головин В.В. К проблеме комментария пушкинского ноэля «Сказки. Noël» («Ура! В Россию скачет...») // Вестник Санкт-Петербургского ун-та культуры и искусств, 2010, декабрь. С. 130–134.

⁴⁰ Пушкин А.С. Стихотворения, 1814–1822. С. 84.

*Trop heureux, dans la solitude,
Qui peut partager son loisir
Entre la paresse et l'étude,
L'espérance et le souvenir;
Qui, les yeux ouverts, y sommeille,
Et surtout en ferme labord
A bennuyeux qui nous endort,
A bimportun qui nous réveille!*

Согласно авторитетному мнению Ю.Г. Оксмана, публицистические стихи А.С. Пушкина, созданные им в период членства в «Зеленой Лампе», были написаны «под несомненным идеологическим воздействием, а может быть, и по прямому заданию руководящих членов Союза Благоденствия»⁴¹.

Но, возможно, следует прислушаться к более умеренному мнению не менее авторитетного П.Е. Щеголева: «Союз Благоденствия задавал тон, сообщал окраску собраниям “Зеленой Лампы”. Пушкин не был членом “Союза Благоденствия”, не принадлежал ни к одному тайному обществу, но и он в кружке “Зеленой Лампы” испытал на себе организующее влияние тайного общества»⁴².

Как бы там ни было, именно к 1819–1820 гг. у Пушкина (как и у Улыбышева) обозначились некоторые представления об особенностях цивилизационного развития России, одной из которых является постоянно подстерегающая страну опасность, которую я в своих историко-теоретических работах называю «дурным синтезом» или «новым варварством»⁴³.

Литература

Белоногова В.Ю. Отблеск «Зеленой лампы» в десятой главе «Евгения Онегина» // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Сер.: Литературоведение, 2013, № 4 (2). С. 26–30.

Белоногова В.Ю. Пушкин и Улыбышев: к вопросу о «литературных отношениях» // Болдинские чтения 2015. Сб. трудов Международной конференции Нижегородского гос. ун-та им. Н.И. Лобачевского, 2015. С. 231–239.

Величайшие речи русской истории. От Петра Первого до Владимира Путина. М.: Алисторус, 2014.— 420 с.

Головин В.В. К проблеме комментария пушкинского ноэля «Сказки. Noël» («Ура! В Россию скачет...») // Вестник Санкт-Петербургского университета культуры и искусств? 2010, декабрь. С. 130–134.

⁴¹ Оксман Ю.Г. Агитационная песня «Царь наш — немец русский» // Литературное наследство, т. 59, 1954. С. 69–84.

⁴² Щеголев П.Е. «Зелёная лампа» // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. СПб., 1908, вып. 7. С. 19–50.

⁴³ См.: Кара-Мурза А.А. Новое варварство как проблема российской цивилизации; Кара-Мурза А.А. Между «империей» и «смутой» // Полис. Политические исследования, 1995, № 1. С. 96–97; Кара-Мурза А.А. Поэма «Медный всадник» А.С. Пушкина: политико-философские проекции // Философский журнал, 2018, т. 9, № 1. С. 54–65.

Кара-Мурза А.А. «Всемирная отзывчивость» или «русский европеизм»? (Владимир Вейдле о творчестве Пушкина) // Полилог, 2018, т. 2, № 1 [Электронный ресурс].

Кара-Мурза А.А. «Новое варварство» как проблема российской цивилизации. М.: Институт философии РАН, 1995. — 211 с.

Кара-Мурза А.А. Поэма «Медный всадник» А.С. Пушкина: политико-философские проекции // Философский журнал, 2018, т. 9, № 1. С. 54–65.

Оксман Ю.Г. Агитационная песня «Царь наш — немец русский» // Литературное наследство, т. 59, 1954. С. 69–84.

Пушкин А.С. Стихотворения, 1814–1822 // Пушкин А.С. Собрание сочинений: В 10 т. М.: Художественная литература, 1959, т. 1. — 643 с.

Томашевский Б.В. Пушкин. Книга первая (1813–1824). М.— Л.: Изд-во АН СССР, 1956.— 718 с.

Улыбышев А.Д. Письмо другу в Германию о петербургских обществах // Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. Т. 1. М.: Госполитиздат, 1951. С. 279–285.

Улыбышев А.Д. Сон // Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. М.: Госполитиздат, 1951, т. 1. С. 286–292.

Щеголев П.Е. «Зелёная лампа» // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. СПб.: Имераторская АН, 1908, вып. 7. С. 19–50.

«ВСЕМИРНАЯ ОТЗЫВЧИВОСТЬ» ИЛИ «РУССКИЙ ЕВРОПЕИЗМ»? (Владимир Вейдле о творчестве Пушкина)

Великий Пушкин — ключевая фигура философско-исторического дискурса русского мыслителя-эмигранта Владимира Васильевича Вейдле (1895–1979), который был убежден в том, что культурная Россия есть, несомненно, *неотъемлемая часть культурной Европы*. В этом контексте В.В. Вейдле не устал приводить пример величайшего из русских литературных гениев, настаивая, что «западность и русскость Пушкина — одно»¹, ибо «Пушкин всю жизнь дышал воздухом европейской литературы и так впитал ее в себя, что вне ее (как, разумеется, и вне России) становятся непонятны основные стимулы и задачи его творчества»².

Свою статью, посвященную столетнему юбилею гибели Пушкина, опубликованную в 1937 г. в № 63 парижских «Современных записок», Вейдле начинает с цитирования центрального фрагмента знаменитой «пушкинской речи» Достоевского, произнесенной 8/20 июня 1880 г. в Москве, на заседании Общества любителей российской словесности, где тот говорил о «всемирной отзывчивости» Пушкина, истолкованной писателем как «высшее выражение общенациональной черты, всеотзывчивости русского народа»³.

Вейдле признает правоту основного вывода Достоевского: «С тех пор, кажется, все согласилось с ним (Достоевским. — А.К.), да и как отрицать пушкинскую открытость чужому или свойственные русскому человеку восприимчивость, переимчивость, гибкость...»⁴. Вейдле, однако, настаивает, что в своей «пушкинской речи» Достоевский не досказал главного о Пушкине — а именно о *природе* и о *направленности* его «всеотзывчивости». «В двух

¹ Вейдле В.В. Россия и Запад // Современные записки, Париж, 1938, № 65. С. 265. См. также: Жукова О.А. Границы России: культурный универсализм В.В. Вейдле // Философские науки, 2015, № 7. С. 14–27; Кара-Мурза А.А. Владимир Васильевич Вейдле: «Чем дальше Россия отходила от Европы, тем меньше становилась похожей на себя» // Российский либерализм: идеи и люди (общ. ред. А.А. Кара-Мурзы). М.: Новое издательство, 2018. С. 913–923.

² Вейдле В.В. Пушкин и Европа // Современные записки 1937, № 63. С. 222. См. также: Омеланко В.В. Две идентичности и две России В.В. Вейдле // Философские науки, 2015, № 7. С. 38–44; Сиземская И.Н. В.В. Вейдле о культурной общности России и Европы // Философские науки, 2015, № 7. С. 8–13; Шарова В.Л. Россия как Европа: европейские основы цивилизационной идентичности России // Философская мысль, 2017, № 2. С. 71–83.

³ См.: Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. Т. 1. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1883. С. 304.

⁴ Вейдле В.В. Пушкин и Европа // Современные записки 1937, № 63. С. 220.

отношениях, — пишет Вейдле, — Достоевский *не сказал всего* или даже *сказал не совсем то*, что было бы нужно сказать на эту тему (курсив мой. — А.К.)»⁵.

Достоевский, по мнению Вейдле, не указал, прежде всего, «особого направления пушкинской отзывчивости, поставившего ей известные цели и пределы»⁶. По сути, говоря о «всемирной отзывчивости Пушкина», Достоевский, согласно Вейдле, говорил ни о чем другом, как о пушкинском «европеизме». Более того, Вейдле полагал, что именно эта, общеевропейская по преимуществу, «всеотзывчивость» Пушкина сильно повлияла на эволюцию взглядов самого «почвенника» и «самобытника» Достоевского: «Европа нам тоже мать, как и Россия, вторая мать наша; мы много взяли от нее, и опять возьмем, и не захотим быть перед нею неблагодарными». Это не Пушкин писал, но это писал Достоевский — незадолго до смерти, вскоре после пушкинской речи, *примиренный с Европой Пушкиным* (курсив мой. — А.К.)»⁷. Таким образом, по мнению Вейдле, «не универсализм, а как раз европеизм Пушкина его (Достоевского. — А.К.) отчасти как будто и заразил (что видно и из слов “Дневника писателя” о народности стремления в Европу)»⁸.

Достоевский, согласно Вейдле, не совсем точен и в другом отношении — в понимании самой природы гениальности вообще и пушкинского гения, в частности: «В отзывчивости самой по себе он (Достоевский. — А.К.) не пожелал узнать черту, присущую в той или иной мере всякому вообще гению»⁹. «*Быть гением*», по Вейдле, — «не значит уметь обходиться без чужого (в том числе и национально-чужого); это значит *уметь чужое делать своим* (курсив мой. — А.К.). Гений не есть призвание к самоисчерпыванию, но дар приятия и преображения самых бедных оболочек мира. Очень часто он состоит в способности доделать недоделанное, увидеть по-новому то, что уже было видно другими»¹⁰.

Вейдле настаивал на том, что «восприимчивость столь же существенная черта гения, как и оригинальность (не та, которую приходится искать, а та, от которой нельзя избавиться)», однако «гении узкие и глубокие менее щедро ею наделены, чем те, что покоряют гармонией и широтою»¹¹. Гений Пушкина Вейдле относит ко второй категории: «Его творчество напоминает Ариосто, стихи которого легко внушают мысль, что он лишь вполне удачно повторил не столь удачно сказанное другими, или Рафаэля, в чьем искусстве терпеливый знаток, начисто лишенный художественного чутья, нашел

⁵ Там же.

⁶ Там же.

⁷ Там же.

⁸ Вейдле В.В. Пушкин и Европа // Современные записки 1937, № 63. С. 220.

⁹ Там же.

¹⁰ Там же.

¹¹ Там же. С. 221.

бы только полный инвентарь всего, что сделали итальянские мастера за предыдущие столетия. От гениев, ему родственных, Пушкина отличает, однако, глубокая осознанность его дара впитывать и преобразовать и особенно сознание той роли, которую призван выполнить этот дар не только по отношению к его собственному творчеству, но и к настоящему и будущему его народа»¹². (В последующих изданиях последние слова заменены автором на: «ко всему будущему творчеству его народа»¹³.)

Вейдле полагал, что «феномен Пушкина» есть прямое и непосредственное порождение деятельности реформ Петра Великого. В статье 1937 г. «Три России», опубликованной в тех же «Современных записках», он писал: «Он (Петр Великий. — А.К.) воспитывал мастеровых, а воспитал Державина и Пушкина; он думал о верфях и арсеналах, но вернул Европе Россию, а за ней весь православный мир: основанием Петербурга вновь соединил то, что было разъединено основанием Константинополя»¹⁴.

Вейдле был одним из тех русских философов культуры, который считал Пушкина одним из главных *культурных посредников* между Россией и Европой, порожденных «послепетровской эпохой»: «Принимая или отбрасывая ту или иную часть русского литературного прошлого, он (Пушкин. — А.К.) знал, что и современники, и потомки последуют его примеру. Отбирая и усваивая все то, что можно было усвоить в литературном наследии Европы, он знал, что усвоение это совершает сама Россия при его посредничестве (курсив мой. — А.К.)»¹⁵.

Собственно говоря, органичное «вживание» русской культуры в общий контекст европейской христианской цивилизации и стало, согласно Вейдле, культурно-исторической *миссией* Пушкина: «Призвание поэта было ему дорого, но он не забывал и писательского долга перед языком, ему дарованным, и литературой, этим языком рожденной. Долг этот был, разумеется, не насильственным, а любовным, не переходил никогда в докучную обязанность»¹⁶.

Разумеется, к этому естественным образом привели пушкинские «занятия русской историей, изучение народной поэзии, записи песен, подражания сказкам», но еще более это было сознательным творчеством Пушкина по культурному приобщению «ко всему тому, что составило духовную мощь Европы, что принадлежало по праву рождения как европейской нации и России, но чего Россия была веками лишена вследствие направления,

¹² Там же.

¹³ См. напр.: Вейдле В.В. Задача России. Минск: Белорусская Православная Церковь, 2010. С. 93.

¹⁴ Вейдле В.В. Три России // Современные записки 1937, № 65. С. 311–312.

¹⁵ Вейдле В.В. Пушкин и Европа // Современные записки 1937, № 63. С. 221.

¹⁶ Там же.

принятого некогда ее историей»¹⁷. «Дело Пушкина», по мнению Вейдле, «было прямым продолжением дела Петра, дела Екатерины, перенесенного в область, где оно могло совершаться беспрепятственной, но где оно тоже не могло обойтись без самоотверженного труда. Чем больше Пушкин жил, тем больше должен был понимать, что это и было его дело»¹⁸.

Вейдле особо подчеркивал тот факт, что «феномен Пушкина» — «это едва ли не единственный случай в истории литературы», когда «величайший поэт своей страны» признавался, что «ему легче писать на иностранном языке, чем на своем, и действительно писал на этом языке свои любовные письма и письма официального характера, а также предпочитал бы обращаться к нему для изложения мыслей сколько-нибудь отвлеченных. Когда ему надо было рассуждать, он делал это большей частью по-французски, и русское выражение редко приходило ему первым на ум, как это показывают черновики его критических писаний»¹⁹. Вейдле делает вывод, что «на французской литературе был он (Пушкин.— А.К.) воспитан больше, чем на русской, и не отрекся никогда от иных кумиров своей юности — Парни, Вольтера, не говоря уж о Шенье, которого полюбил немного позже»²⁰.

Владимир Вейдле был, разумеется, далеко не первым из русских мыслителей, кто обратил внимание на особую роль французской культуры в становлении таланта Пушкина. Однако, по его мнению, «как высоко ни оценивать... значение для Пушкина той французской литературной стилистики, которую он с детства в себя впитал, оно во всяком случае не перевесит того, что ему дало свободное и глубокое увлечение литературой английской»: «Французское влияние было неизбежным и всеобщим, английское он (Пушкин.— А.К.) выбрал сам; французское можно сравнить с тем, что дает человеку рождение и семья, английское — с тем, что ему позже может дать любовь и дружба»²¹.

«Ни об одном французском писателе,— замечает Вейдле,— он (Пушкин.— А.К.) не служил панихиды, как о Байроне через год после его смерти. “Отца нашего Шекспира” он, конечно, с совсем другим чувством читал, чем на лицейской скамье какого-нибудь Вержье или Грекура, да и то, что он уже в 1824 года думает о Расине, отнюдь не похоже на юношеские восторги Достоевского. “Скупой рыцарь” недаром выдан за перевод с английского, а “Пир во время чумы” с английского переведен. В “Борисе Годунове” больше Шекспира, чем Карамзина. Без Вальтера Скотта не было бы “Арапа Петра Великого”, “Капитанской дочки”, “Дубровского”, а быть может, и “Повестей

¹⁷ Там же.

¹⁸ Там же.

¹⁹ Там же. С. 222–223.

²⁰ Там же. С. 223.

²¹ Вейдле В.В. Пушкин и Европа // Современные записки, 1937, № 63. С. 223.

Белкина”. Притом дело тут вовсе не в том, что историки литературы любят называть влиянием, т.е. в использовании подходящих приемов и материалов, а в ощущении внутреннего родства, постепенно идущего вглубь по линии от Байрона к Шекспиру»²².

«Общевропейская восприимчивость» Пушкина, его самоидентификация как «русского европейца» были чувствами, выразившими глубокое внутреннее родство с Европой: «Глубокое преклонение перед Гёте, как и чувство, какое испытывал он к Данте, Петрарке, Сервантесу, Кальдерону, Шекспиру, Мильтону и многим другим, не может быть названо иначе, как сыновней любовью. Их имена были для него (Пушкина. — А.К.) священны, как и все прошлое западных литератур; они все, не один Вальтер Скотт, были “пищей души”; они все, не один Шекспир, были его “отцами” в несколько ином, но едва ли и не в более глубоком смысле, чем это можно сказать о Державине, Жуковском или Карамзине»²³. «С русской стороны, — продолжает Вейдле, — у колыбели Пушкина не столько им противостояли русские писатели, сколько противостоял сам русский язык, в который Пушкин как бы их включил, подняв его на высоту их мысли, их искусства. Язык этот он заставил совершать чудеса, и притом так, что они совершаются как бы сами собой, точно сам язык сделался поэтом. Разве не одной уже прелестью языка хотя бы и первая глава “Евгения Онегина” лучше Байрона, а “Капитанская дочка” лучше Вальтера Скотта?... Чудо гения во всех этих случаях есть прежде всего чудо самоотверженной любви. Но любовь выбирает и не может не выбирать; это не просто “всемирная отзывчивость”»²⁴.

По мнению Вейдле, русская «всеотзывчивость» ко всему европейскому — действительно, есть феномен уникальный для той же Европы: «В области литературы русскому легче, чем французу или англичанину, одновременно полюбить Шекспира и Расина; кроме того — и это еще важнее — ему легче почувствовать то, что, несмотря на все различия, у них есть общего: их европейство»²⁵. Разница состоит в том, что «немец, француз, англичанин воспринимают друг друга, прежде всего, как чужих, и в чужом узнают свое лишь в противоположении чему-либо еще более чужому; русский же способен в каждом из них воспринимать европейца прежде всего, а потом уж немца или англичанина»²⁶.

Пушкин, согласно Вейдле, лучше других осознавал тот факт, что «Европу как целое всего легче увидеть, если глядеть на нее именно из России»: «Французский язык был для него не столько языком Франции, сколько

²² Там же. С. 223–224.

²³ Там же. С. 225.

²⁴ Там же. 225–226.

²⁵ Там же. С. 226.

²⁶ Там же.

языком европейского образованного общества; он открывал ему отчасти доступ и к другим литературам, хотя настоящего ключа к ним все же не давал. Французская литература была лишь частью европейской и не могла заменить целого, а к этому целому он и стремился, только оно и могло его удовлетворить»²⁷.

«Европейская всеотзывчивость» Пушкина — есть не только продукт его свободного выбора, но и объект постоянной культурной рефлексии: «Пушкинской отзывчивости им самим были поставлены пределы, пушкинскую Европу он сам очертил уверенной рукой, и, однако, знание границ никогда не означало у него узости, и европеизм его был вполне свободен от основного изъяна позднейшего западничества: поклонения очередному изобретению, “последнему слову”, от склонности подменять западную культуру западной газетной болтовней. Ему-то уж, конечно, были вполне чужды “невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне”, эти признаки “полупросвещения”, которые он так сурово осудил в Радищеве»²⁸. (Вейдле имеет здесь в виду прежде всего статью Пушкина «Александр Радищев»²⁹, которая готовилась для третьей книги «Современника» за 1836 г., но была запрещена министром С.С. Уваровым и впервые увидела свет лишь после гибели Пушкина, в 1857 г.)

И здесь мы подходим к еще одному парадоксальному выводу, к которому пришел Владимир Вейдле. Согласно ему, Пушкин — не только «самый европейский», но и — одновременно — «самый непонятный для Европы» из русских литераторов: «Самый европейский потому же, почему и самый русский, и еще потому, что он, как никто, Европу России вернул и Россию в Европе утвердил. Самый непонятный не только потому, что непереводаемый, но и потому, что Европа изменилась и не может в нем узнать себя»³⁰.

В самом деле, Пушкин «весь обращен к Европе», но сама Европа за последние два столетия пережила глубочайшие трансформации. «Пушкин весь обращен не к сомнительному будущему, а к несомненному и великому прошлому Европы, — утверждает Вейдле. — Он ее еще видел целиком такой, как она некогда была, а не такой, какой постепенно становилась»³¹. Пушкин был и остался продуктом «классической», «Великой» Европы: «Именно эту Европу он для России открыл, России вернул, не “просвещение”, от которого исцелился, не романтизм, которым так и не заболел, а старую, великую Европу, в ее зрелости, в ее здоровье, с еще не растраченным запасом поэтических, творческих ее сил. К этой Европе он сам всем своим существом

²⁷ Там же.

²⁸ Там же. С. 229.

²⁹ См.: Пушкин А.С. Собрание сочинений в 10 тт. Т. 6. С. 210–218.

³⁰ Вейдле В.В. Пушкин и Европа // Современные записки 1937, № 63. С. 220.

³¹ Там же. С. 230.

принадлежал, будучи русским, любя Россию и ее одной и той же сыновней любовью, и если “Европа тоже нам мать”, то потому, что Пушкин не на словах, а всем творчеством своим назвал ее матерью. Он был последним гением, еще избегнувшим романтического разлада, еще не болевшим разделением личности и творчества, формы и души»³².

Пушкин, согласно Вейдле, оказался «русским европейцем» в период глубочайшего «перелома» в культуре самой Европы: «Пушкин едва ли не целиком еще по ту сторону этого перелома. Его гений сродни Рафаэлю, Ариосто, Расину, Вермееру, Моцарту и двум последним старым европейцам — Гёте и Стендалю. Он весь обращен к старой дореволюционной и доромантической Европе; ему врождены все ее наследие, память, вся любовь; его основная миссия — сделать ее духовной родиной будущей России. Миссию эту он выполнил во всю меру отпущенного ему дара, но сращение России с Западом в единой Европе совершилось уже в новой обстановке, Пушкину чужой и с точки зрения которой он сам кажется обращенным не к будущему, а к прошлому»³³.

В работе «Пушкин и Европа», изданной незадолго до второй мировой войны в Париже, Вейдле очень точно отметил природу «непонятости» Пушкина Европой, уже вступившей в эпоху «пост-классики»: «Европа смакует русскую экзотику, но в Пушкине не узнает себя; если же узнает, то узнанного не ценит»³⁴. А уже после войны, в американском переиздании 1956 г., Вейдле переделал этот фрагмент, еще более усилив акценты: «Европа восхищается воспринятой на азиатский лад, искусственно-экзотической Россией, но в Пушкине не узнает себя; если же узнает, то узнанного не ценит: ей хочется чего-нибудь поострее, поизломанней»³⁵. В конце жизни Вейдле стал еще более пессимистичен, часто повторяя, что «небывало разросшийся за последние десятилетия интерес к нашему языку и нашей литературе в рождении своем объясняется, увы, пушками, а не Пушкиным»³⁶.

Но и Россия, в ее «советском» облики, согласно Вейдле, все более утрачивает понимание «всевропейской» природы творчества Пушкина: «А Россия, знает ли она еще, что Пушкин не только Пушкина ей дал, но и Данте, и Шекспира, и Гёте, — а потому и Гоголя, и Толстого, и Достоевского, что в его творчестве больше, чем во всех революциях и переворотах совершилась судьба его страны; знает-ли, что из всех великих дел, начатых или задуманных у нас, ни одно не осуществилось так сполна, как его дело, и что

³² Там же. С. 230–231.

³³ Вейдле В.В. Россия и Запад // Современные записки, Париж, 1938, № 65. С. 270.

³⁴ Вейдле В.В. Пушкин и Европа // Современные записки, 1937, № 63. С. 231.

³⁵ Вейдле В.В. Пушкин и Европа // Вейдле В.В. Задача России. Минск, 2010. С. 105.

³⁶ Вейдле В.В. Отчего нерусские любят русское? // Вестник русского студенческого движения. Париж–Нью-Йорк, 1967. С. 38–48.

все Россией, за сто лет, возвращенное или подаренное Европе, родилось из его труда и пронизано светом его гения?»³⁷

В этих условиях, был убежден Вейдле, особая роль в удержании «европейской классики» — и Пушкина, как ее неотъемлемой части — принадлежит русской пореволюционной эмиграции: «Что бы ни случилось дальше, каким бы мрачным не представлялось будущее русской культуры, можно сказать с уверенностью одно: эмиграция, как эмиграция, как собственным творчеством, досказывающим то, чего не успела досказать предреволюционная Россия, так и своей работой по внедрению России в Европу, достаточно заметной в области художественной, идейной и даже религиозной, завершает тот путь новой русской культуры назад в Европу, который, через сближение с Западом, привел ее одновременно к осознанию своего неотъемлемого места в европейской культуре и своего особого, русского духовного бытия»³⁸.

«Дело Петра, — делает окончательный вывод Вейдле, — если и рушилось, то не в той его части, где оно было доведено до решающих успехов Пушкиным»³⁹.

Литература

- Вейдле В.В.* Задача России. Минск: Белорусская православная церковь, 2010.
- Вейдле В.В.* Отчего нерусские любят русское? // Вестник русского студенческого движения. Париж–Нью-Йорк, 1967. С. 38–48.
- Вейдле В.В.* Пушкин и Европа // Современные записки, Париж, 1937, № 63. С. 220–231.
- Вейдле В.В.* Россия и Запад // Современные записки, Париж, 1938, № 65. С. 260–280.
- Вейдле В.В.* Три России // Современные записки, Париж, 1937, № 65. С. 304–322.
- Жукова О.А.* Границы России: культурный универсализм В.В. Вейдле // Философские науки, 2015, № 7. С. 14–27.
- Кара-Мурза А.А.* Владимир Васильевич Вейдле: «Чем дальше Россия отходила от Европы, тем меньше становилась похожей на себя» // Российский либерализм: идеи и люди (общ. ред. А.А. Кара-Мурзы). М.: Новое издательство, 2018. С. 913–923.
- Омелаенко В.В.* Две идентичности и две России В.В. Вейдле // Философские науки, 2015, № 7. С. 38–44.
- Пушкин А.С.* Александр Радищев // Пушкин А.С. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 6. С. 210–218.
- Сиземская И.Н.* В.В. Вейдле о культурной общности России и Европы // Философские науки, 2015, № 7. С. 8–13.
- Шарова В.Л.* Россия как Европа: европейские основы цивилизационной идентичности России // Философская мысль, 2017, № 2. С. 71–83.

³⁷ *Вейдле В.В.* Пушкин и Европа // Современные записки 1937, № 63. С. 231.

³⁸ *Вейдле В.В.* Россия и Запад // Современные записки, Париж, 1938, № 65. С. 277.

³⁹ Там же.

«РУССКОЕ СЕВЕРЯНСТВО» КНЯЗЕЙ ВЯЗЕМСКИХ (к вопросу о национальной идентичности)

Классическое русское противостояние западников и славянофилов, ставшее определяющим в дискуссиях о судьбах России с середины XIX в., перемололо и выветрило из отечественного самосознания еще одну концепцию национальной идентичности, некогда весьма влиятельную. Речь идет о подзабытой парадигме «русского северянства», которой сегодня, вполне возможно, суждено обрести новую жизнь. Так случилось, что концепция «северянства», не отменяющая, а, скорее, корректирующая европейскую идентичность России, оказалась тесным образом связана с историей рода князей Вяземских, — как в силу их собственной роли в судьбе этого направления мысли, так и потому, что именно в их «родовых гнездах» (московском особняке в Малом Знаменском переулке и в подмосковной усадьбе «Остафьево») был рожден один из классических текстов «северянства» — «История государства Российского» Николая Михайловича Карамзина¹.

Князь Андрей Иванович Вяземский (1754–1807) и его единственный сын, князь Петр Андреевич (1792–1878), были потомками легендарного Рюрика, соответственно в 24-м и 25-м коленах, — и это многое нам объясняет. Рюриковичи Вяземские отлично знали, что их предок, Ярослав Мудрый, был женат на шведской принцессе Ингегерде; его внук, Владимир Мономах — на принцессе-изгнаннице Гите Уэссекской, дочери короля Гарольда II Английского, а сын Мономаха, князь Мстислав Владимирович, великий князь киевский, — на принцессе Христине, дочери шведского короля Инге I. Вяземские, из рода в род, считали себя людьми европейского Севера, северянами. Родной дед князя Андрея Ивановича — князь Андрей Федорович Вяземский, человек петровской эпохи, женился в свое время на простой пленной шведке, и это потом стало сильным аргументом для его внука в отстаивании собственного выбора — жениться, в свою очередь, на ирландке, которую он привез из своего затянувшегося на четыре года европейского вояжа.

Так появился на свет князь Петр Андреевич Вяземский — крупнейший русский литератор и общественный деятель, чье 225-летие культурная Россия, без особого деления на узкие профессиональные цеха, дружно отметила в 2017 г. Один из биографов Вяземского, протоиерей Александр Шабанов, признанный знаток кельтской религиозной культуры, написал в свое время

¹ *Кара-Мурза А.А. Тяжба о Карамзине. Юбилейные заметки // Вопросы философии, 2016. № 12. С. 106–110.*

в статье с характерным названием «“Два племени” князя Вяземского», что его герой, на протяжении всей своей долгой (86 лет) жизни, считал себя человеком «двуединой идентичности», не раз вспоминая о своем «северном» происхождении и «...никогда не упуская возможности признаться и в своих ирландских корнях, и в своих кельтских симпатиях»: «По отцу князь был потомком Рюрика, по матери — ирландцем, что в сумме дает совершенно *северо-западного человека* (курсив мой. — А.К.), ощущавшего свое славянство, свою русскость в разные годы по-разному, но всегда отчетливо и памятно свидетельствуя об этом в стихах, статьях и письмах»².

В середине ноября 1828 г., во время тяжелого душевного кризиса, связанного с трагедией друзей-декабристов, уходом Карамзина, смертью сына Петруши, доносами конкурентов-литераторов, лукавыми советами бывших приятелей «проявить умеренность и покорность» (т. наз. «послание Блудова»), Вяземский в отчаянии написал своему другу А.И. Тургеневу: «Сделай одолжение, отыщи мне родственников моих в Ирландии: моя мама была из фамилии О’Рейли. Она была замужем за французом и развелась с ним, чтобы выйти замуж за моего отца, который тогда путешествовал... Может быть, придется мне искать гражданского гостеприимства в Ирландии»³.

А в 1869 г., будучи уже 77-летним стариком и находясь на лечении на водах в Висбадене, князь напишет стихотворение «Введенские горы», посвященные матери-ирландке и далекой «зеленой стране Эйре»:

*Мне не чужда Зеленая Эрина
Влечёт и к ней сыновняя любовь:
В моей груди есть с кровью славянина
Ирландской дочери наследственная кровь.
От двух племен идет мое рожденье,
И в двух церквях с молитвою одной
Одна любовь, одно благословенье
Пред Господом одним сливались надо мной...⁴*

Гордые князя Вяземские, потомки викинга Рюрика, всегда отличали «русских людей» (россов) от «славян»: русские, по их мнению, неся в себе северную кровь, были исторически призваны быть элитой на этой земле, заселенной славянскими, финно-угорскими, тюркскими и другими племенами. И в этом контексте оппозиция «Запад-Восток», которая для отечественной

² Шабанов А., прот. «Два племени» князя Вяземского // <http://www.pravoslavie.ru/73483.htm> [Электронный ресурс].

³ Остафьевский архив князей Вяземских. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича. Т. III. С. 183.

⁴ Цит по: *Бондаренко В.В.* Вяземский. М.: Молодая гвардия, 2014. С. 27.

историософии станет рабочей с середины XIX в., для русского XVIII века и даже для начала века XIX была, конечно же, еще вполне бессмысленной. В XVIII в. просвещенная Европа, не отказывая России в европейскости, указывала одновременно и на ее «северянство». «Северной Семирамидой», по аналогии с предприимчивой и воинственной ассирийской царицей, ставшей основательницей Вавилона, называл Елизавету Петровну прусский король Фридрих II. Точно так же: «Semiramis du Nord» — величал в своих письмах Вольтер императрицу Екатерину II. О «садах Семирамиды», возрожденных на берегах «великолепной Невы», «главы северных рек», напишет в 1818 г. и князь Петр Вяземский в своем программном стихотворении «Петербург»...

Как известно, ближайшим другом и советником сначала супруги наследника престола, а затем императрицы Екатерины Алексеевны, был граф Никита Иванович Панин (1718–1783), чьим идейным и геополитическим идеалом был так называемый «Северный аккорд» — союз, под эгидой России, государств Северной Европы (Швеции, Дании, Пруссии, Речи Посполитой) против «южных» династий Бурбонов и Габсбургов и поощряемой Францией Оттоманской Порты. Именно времена духовно-политического альянса молодой Екатерины и Панина, когда идеи «северянства» органично окормляли российскую державную идентичность, князь П.А. Вяземский, в одной из записок 1861 г., написанной на французском языке, назовет «самыми русскими» в многовековой истории России: «Общество, хотя и увлекалось блеском, обаянием и, признаемся, зачастую даже уклонениями европейской цивилизации (*les écarts de la civilisation Européenne* — *франц.*), носило, однако, в себе живой элемент своей национальности и, сравнительно с тем, чем оно стало впоследствии, — было более русским»⁵.

Еще при императрице Елизавете Н.И. Панин в течение двенадцати лет был русским посланником в Швеции, где, с одной стороны, стремился закрепить победные результаты Ништадского (1721) и Абоского (1743) мирных договоров, а с другой стороны, тесно сотрудничал с местной «партией колпаков», мечтавшей ограничить королевскую власть, находящуюся в орбите последних французских Людовиков. Именно в Стокгольме Панин напитался конституционными либеральными идеями, выступавшими, как правило, в масонской оболочке.

В русле идейных и геополитических идеалов графа Панина, ставшего наставником цесаревича Павла Петровича (будущего императора Павла I), выросло целое поколение отечественных интеллектуалов — «русских северян» по самоощущению и «вольтерьянцев» по духу. В семье Вяземских именно Панин, либерал и масон, стал культовой фигурой, своего рода «идеалом русского человека».

⁵ Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского. СПб., т. VII. С. 73.

В 1861 г. в работе «О записках Порошина» П.А. Вяземский напишет о Панине: «Воспитатель молодого великого князя граф Панин, хотя и был вполне дипломат и министр иностранных дел, был, однако, русским не только по характеру и направлению своей политики, но и истинно русским человеком с головы до ног. Ум его напитан был народными историческими и литературными преданиями. Ничто, касавшееся до России, не было ему чуждо или безразлично. Поэтому и любил он свою родину — не тепленькою любовью, не своекорыстным инстинктом человека на видном месте, любящего страну свою — в силу любви к власти. Нет, он любил Россию с пламенною и животворною преданностью, которая тогда только существует, когда человек принадлежит стране всеми связями, всеми свойствами своими, порождающими единство интересов и симпатий, в котором сказывается единая любовь к своему отечеству — его прошлому, настоящему и будущему»⁶.

И далее Вяземский формулирует принцип, которому сам стремился следовать всю жизнь: «Только при такой любви и можно доблестно служить стране своей и родному своему народу, сознавая при этом все его недостатки, странности и пороки и борясь с ними, насколько возможно и всеми средствами. Всякая другая любовь — слепа, бесплодна, неразумна и даже пагубна»⁷.

Верным сторонником «панинской партии», присягнувшим на верность идеалам «Северного аккорда», стал в ранние екатерининские годы и молодой генерал-масон, князь Андрей Иванович Вяземский. Он был сыном Ивана Андреевича Вяземского, шведа по матери, женатого на М.С. Долгоруковой, дочери князя-рюриковича С.Г. Долгорукова, талантливого дипломата, казненного в 1739 г. по обвинению в участии в заговоре. Князь Иван Вяземский был человеком жестким и набожным, «с оттенком русского приказного человека XVII столетия и немецкого бюрократа, сформировавшегося при дворе императрицы Анны Иоанновны»⁸.

Однако, несмотря на суровый нрав князя Ивана и его, как тогда говорили, «святошество», он дал крайне либеральное, даже «вольтерьянское», образование сыну, что хорошо видно из отроческих писем князя Андрея к своему воспитателю-французу⁹. Князь А.И. Вяземский, участник русско-турецких войн, ставший в девятнадцать лет полковником, а в двадцать пять — генералом, был одновременно высокопоставленным «вольным каменщиком» — активным членом масонских лож самого Панина и его воспитанника князя А.Б. Куракина, а также «досточтимым мастером» влиятельной петербургской

⁶ Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского. Т. VII. С. 73–74.

⁷ Там же. С. 74.

⁸ Архив князя Вяземского. Князь Андрей Иванович Вяземский. СПб.: Тип. Балашева, 1881, С. III.

⁹ Там же. С. XI.

ложи Zur Verschwiegenheit, название которой принято переводить как «Скромность» или «Молчаливость». В Москве Вяземский-старший вошел в состав масонского «Дружеского ученого общества», где тесно общался с Н.И. Новиковым, М.М. Херасковым, И.П. Тургеневым. Четырехлетний вояж князя Андрея Ивановича в Европу (1782–1786) закрепил за князьями Вяземскими роль интеллектуальных лидеров «русского северянства».

Путевые заметки Вяземского-старшего, сохранившиеся в «Остафьевском архиве»¹⁰, свидетельствуют о том, что 28-летний генерал-майор, в сопровождении двух верных офицеров, выехал 1 марта 1782 г. из Санкт-Петербурга в Стокгольм, по-видимому, с личным заданием престарелого и уже отодвигаемого Екатериной от руководства внешней политикой графа Н.И. Панина. Во всяком случае, путь Вяземского лежал ко дворам «северных» монархов, бывших ранее союзниками России, — к шведскому королю Густаву III, королю Пруссии Фридриху II, курфюрсту Саксонии Фридриху-Августу III. Посылая Вяземского в Европу, Панин делал последнюю и, как оказалось, безуспешную попытку противодействовать «новой политике» Екатерины II, меняющей прежних «северных» союзников на австрийских Габсбургов и французских Бурбонов. В рамках этой новой стратегии императрица отправила в гранд-тур к европейским дворам «южных» династий сына-наследника Павла с супругой Марией Федоровной — формально инкогнито, но под характерными псевдонимами «графа и графини Северных».

Что касается «командировки» А.И. Вяземского, то, помимо контактов с монархами Швеции, Пруссии и Саксонии¹¹, ее апофеозом стали личные встречи князя в середине июля 1782 г. во Франкфурте, в отеле Maison Rouge, с пребывавшим в те дни в германских землях великим князем Павлом Петровичем и участие Вяземского в общеевропейском масонском конгрессе в курортном городке Вильгельмсбаде¹². Там были приняты важнейшие решения о выведении русских лож из-под шведской юрисдикции и создании в России самостоятельной «масонской провинции» под общей эгидой прусского герцога Фердинанда Брауншвейгского. Интересен, однако, другой вопрос, ответить на который непросто в силу отсутствия достоверных источников: почему заграничная поездка Вяземского-старшего, именуемая во многих изданиях «образовательным путешествием», задержалась на целых четыре года?

Выскажем в этой связи осторожное предположение, что после произошедших в Петербурге в конце 1782 — начале 1783 гг. событий сам А.И. Вяземский не торопился возвращаться на родину. Как известно, «граф

¹⁰ Там же. С. 291–350.

¹¹ Там же. С. 304–311, 321–322, 324–325.

¹² Там же. С. 340–342.

и графиня Северные» вернулись в Санкт-Петербург 20 ноября 1782 г. А буквально на следующий день ближайшего друга наследника, сопровождавшего его в путешествии, князя А.Б. Куракина, воспитанника Панина и крупнейшего масона, доставили к генерал-прокурору Империи, несколько дней допрашивали, а через неделю по приказу императрицы отправили в ссылку в саратовское имение, где князь пробыл до самой смерти Екатерины в 1796 г. Однако главный удар по «северянской партии» был нанесен весной 1783 г. смертью 31 марта графа Н.И. Панина. На его погребение 3 апреля в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры императрица Екатерина II не явилась...

Логично предположить, что в этих обстоятельствах князь А.И. Вяземский — на четверть швед, генерал-масон и доверенное лицо Панина и Куракина — опасался возвращения в Россию. К решению остаться в Европе его мог подвигнуть и двоюродный брат отца — князь Алексей Александрович Вяземский, тот самый генерал-прокурор и ближайший сотрудник Екатерины, вряд ли заинтересованный в скором возвращении племянника-диссидента. Справедливости ради надо добавить, что генерал-прокурор Вяземский сделал, похоже, многое, чтобы его племянник сумел-таки, спустя многие месяцы, вернуться на родину к состарившимся родителям.

Весной 1786 г. князь Андрей займется в России обустройством личной жизни: женится на привезенной им из-за границы ирландке Дженни О'Рейли, ставшей русской княгиней Евгенией Ивановной Вяземской и матерью князя Петра Андреевича; потом, уйдя на очередную турецкую войну, отличится при штурме Очакова, а вскоре получит назначение наместником императрицы в отдаленные Нижегородскую и Пензенскую губернии. Там он, по рассказам очевидцев, возымеет парадоксальную цель «в Пензе создать Лондон» и будет раздавать служебные указания «в разуме аглинских обычаев, забывая, что он начальник не в Девоншире, не в Дублине, а в Пензе»¹³.

В московском доме Вяземских в Малом Знаменском переулке (здесь в 1792 г. появился на свет Петр Вяземский) и в подмосковной усадьбе Остафьево многие годы собиралось изысканное общество. Юный князь Петр вспоминал о философско-политических спорах, длившихся там далеко за полночь: «Отец был великий устный следователь по вопросам метафизическим и политическим; сказывали мне, бывал он иногда и очень парадоксальный, но и блестящий спорщик... Князь Яков Иванович Лобанов говорил, что когда отец мой, в жару спора, нанижет себе на пальцы несколько соленых крендельков, которые подавались закуской при водке, то беда: ужин непременно успеет остыть»¹⁴.

¹³ Там же. С. XXV–XXVI.

¹⁴ Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского. Т. I. С. XXXI.

Участников кружка Вяземского-старшего объединяли «северянское» мироощущение, европейская образованность, страсть к дальним путешествиям и вольтерьянский дух; многие были близки в свое время к опальному князю Куракину, а некоторые успели в юности поработать и с самим графом Н.И. Паниным. Большинство со временем заняли высокие должности, однако в разные годы извели и отставки, и даже опалу.

Назовем лишь основные имена: князья-рюриковичи А.М. Белосельский-Белозерский и Я.И. Лобанов-Ростовский, граф Л.К. Разумовский, литераторы и государственные деятели Ю.А. Нелединский-Мелецкий, И.И. Дмитриев, И.П. Тургенев. Именно через Тургенева — влиятельного масона из ближайшего окружения Новикова и родителя известных братьев Тургеневых, в дом Вяземских вошел и молодой литератор Н.М. Карамзин, с которым Вяземский-старший познакомился еще до «европейского вояжа» Карамзина в Европу в 1789–1790 гг.

Судя по всему, князь А.И. Вяземский сыграл немалую роль в судьбе Карамзина, в убережении его от преследований и организации его тайного отъезда из Москвы весной 1789 г. и последующего пребывания в Европе, прежде всего в Дрездене (под опекой посланника в Саксонии князя Белосельского-Белозерского), а потом в Женеве, где сам Вяземский-старший останавливался в 1784 г.

Карамзин, выходит, пережил за границей нечто похожее на недавнюю историю самого Вяземского-старшего — и это очень сблизило обоих, а со временем и породнило: Карамзин, как известно, женился вторым браком на старшей дочери А.И. Вяземского. Именно Карамзин, который долгие годы жил и работал в домах Вяземских в Москве и Остафьеве, принял эстафету в развитии идей «русского северянства»: его многотомная «История государства Российского» явилась в этом отношении одной из классических работ.

Историческая концепция Карамзина, изложенная им в четвертой главе первого тома «Истории», казалось бы, общеизвестна. В своем анализе истоков русской государственности он опирался на летописные источники (прежде всего на «Повесть временных лет») о призвании новгородцами в 862 г. варяжской дружины Рюрика из племени «россов», которое Карамзин, вслед за летописцем, считал шведского происхождения.

Важным элементом его концепции явилось предположение, что за некоторое время до добровольного призвания варяги-россы уже захватывали эти земли силой, но славяне сумели в тот раз изгнать чужеземцев. Однако принявшиеся было править местные вожди устроили такую кровавую междоусобицу, что посадские люди приняли решение о «новом призвании» варягов. Вывод нашего первого историографа очевиден: не народы славянские оказались неспособными к государственности, а местные вожди, в силу

эгоизма и алчности, оказались неспособными к эффективному «договорному» правлению¹⁵.

Отсюда вытекает главная и сквозная тема многотомной «Истории» — тема глубочайшего различия между правлением «праведным» (образцами которого Карамзин считает «государственный подвиг» князей московских) и правлением «неправедным», в котором автор прямо обвиняет «царя-ирода» Ивана IV Грозного.

Остается добавить, что Карамзин сознательно окончил свою «Историю» «смутным временем»: ведь его изначальной задачей было описание истории «дома Рюрика», т.е. «северянской» истории пращуров князей Вяземских, приютивших летописца в своем доме и породнившихся с ним. Изложение истории «дома Романовых» автор сознательно оставил другим поколениям.

Молодой князь Петр Вяземский оказался верным идейным и литературным последователем своего учителя Карамзина: проблематика «русского северянства» станет одной из центральных в его размышлениях. Сегодня трудно себе представить то смятение, которое охватило молодое поколение русских европейцев с началом наполеоновского нашествия 1812 г., быстрым продвижением французов вглубь России и взятием ими Москвы. Ведь на страну напало государство, которое образованным классом России ранее считалось чуть ли не образцово европейским.

О душевном состоянии князя П.А. Вяземского в те месяцы свидетельствует его переписка с А.И. Тургеневым. 16 октября 1812 г. Вяземский писал из Вологды: «Я ввечер узнал по печатным известиям, что французы удастивали деревню Климову, то есть знакомое тебе Остафьево, своим посещением, и что происходила в нем маленькая сшибка. Тихое убежище, в котором за несколько недель тому назад родились страницы бессмертной, а может быть, и никогда не известной свету «Истории» Николая Михайловича, истории *славных наших предков* (курсив мой. — А.К.), было свидетелем сражения с французами, покорившими почти в два месяца первые губернии России»¹⁶.

Мы уже знаем, что «история славных предков» — это для Вяземского не дежурный оборот, а понятие вполне конкретное: «История» Карамзина для рюриковичей-Вяземских была историей *их собственных предков*. В этом контексте особо понятна бесконечная тревога Вяземского за судьбу Остафьева. Это место для него не просто «родовое гнездо», а сакральный центр «русского северянства», где в глубоком уединении («тихом убежище») летописец писал Историю.

Прекрасно поняв, что в письме младшего друга речь идет не только о бедствиях войны, но о цивилизационном вызове идентичности «русских

¹⁵ Карамзин Н.М. История государства Российского: В 12 т. Т. 1. М.: АСТ, 2015. С. 40.

¹⁶ Остафьевский архив князей Вяземских. Т. I. С. 5.

северян», А.И. Тургенев постарался успокоить и воодушевить молодого князя-рюриковича. 27 октября 1812 г. он написал из Петербурга ответное письмо: «Война, сделавшись национальной, приняла теперь такой оборот, который должен кончиться торжеством Севера и блистательным отомщением за бесполезные злодейства и преступления южных варваров»¹⁷.

Первая серьезная попытка Вяземского-младшего философски и литературно выстроить «русско-северную» идентичность относится, по-видимому, к началу 1816 г., когда он тяжело пережил кончину Г.Р. Державина, от поэм которого, по его собственному признанию, всегда «был без ума». В большой работе «О Державине», сравнивая «северного барда» с «певцами юга», Вяземский написал: «Вижу перед собою Державина, сего единственного певца, возлеявшего среди печальных снегов Севера огненные розы поэзии, — розы, соперницы цветов, некогда благоухавших под счастливым небом Аттики»¹⁸.

Работая над статьей о Державине, Вяземский заново пережил детские ощущения, возникшие у него от портрета Державина (1801) работы итальянского мастера Сальваторе Тончи, где «русский бард» был изображен на фоне северного пейзажа в богатой собольей шубе и шапке. Картина Тончи стала для юного Вяземского символом русской литературы: «Живописец-поэт изловил и, если смею сказать, приковал к холсту божественные искры вдохновения, сияющие на пиитическом лице северного барда... Картина, изображающая Державина в царстве зимы, останется навсегда драгоценным памятником как для искусства, так и для ближних, оплакивающих великого и добродушного старца»¹⁹.

А в сентябре того же, 1816 года скончался популярный в свое время русский драматург-трагик В.А. Озеров. Молодой Вяземский получил заказ для написания вводной статьи к посмертному собранию сочинений Озерова и блестяще справился с заданием. Рассмотрев сначала «гомеровский» период в творчестве покойного драматурга, Вяземский перешел к анализу периода «северного», когда Озеров начал писать трагедию «Фингал» на мотивы «северного Гомера» — Оссиана: «Из благословенной Эллады, цветущего отечества изящного и искусств, муза Озерова перенесла его под суровое и туманное небо, прославленное однообразными, но сильными и сладостными для души песнями — северного Гомера!»²⁰.

Мощным подспорьем для Вяземского послужила, конечно, позиция его кумира Карамзина, который, как известно, обожал «северную» поэзию

¹⁷ Там же. С. 6.

¹⁸ Там же. С. 17.

¹⁹ Там же. С. 20.

²⁰ Там же. С. 40.

Оссиана. В описании последней у Вяземского то и дело звучат чисто карамзинские нотки: «У него одна мысль, одно чувство: любовь к отечеству, и сия любовь согревает его в холодном царстве зимы и становится обильным источником его вдохновения»²¹.

И далее Вяземский, который, как вскоре выяснится, в те самые месяцы обдумывал цикл собственных «северянских» стихотворений, излагает некую квинтэссенцию «северной идентичности»: «Северный поэт переносится под небо, сходное с его небом, созерцает природу, сродную его природе, встречается в нравах сынов ее простоту, в подвигах их мужество, которые рождают в нем темное, но живое чувство убеждения, что предки его горели тем же мужеством, имели ту же простоту в нравах и что свойство сих однородных диких сынов севера отлиты были природою в общем льдистом сосуде»²².

Северная природа, по мысли Вяземского-критика, обусловила и особенности русской литературы, и в этом смысле отечественная поэзия сродни «оссиановской»: «Самый язык наш представляет более красот для живописания северной природы. Цвет поэзии Оссиана может быть удачнее, обильно-го в оттенках цвета поэзии Гомеровою, перенесен на почву нашу. Некоторые русские переводы песней северного барда подтверждают сие мнение»²³.

А 22 ноября 1819 г. начинающий поэт Вяземский переслал А.И. Тургеневу начатое в Петербурге и только недавно законченное в Варшаве стихотворение «Первый снег», добавив следующий комментарий: «Тут есть русская красота, чего ни в каких почти стихах наших нет. Русского поэта по физиономии не узнаешь. Вы все не довольны в этом убеждены, и я помню, раз и смеялись надо мною, когда называл себя отличительно *русским поэтом* (курсив мой. — А.К.), или стихомарателем; тут дело идет не о достоинстве, а об отпечатке; не о сладкоречивости, а о выговоре; не о стройности движений, а о народности некоторых замашек коренных»²⁴.

В самом зачине своего «Первого снега» Вяземский открыто противопоставляет себя, «северянина», сына «пасмурных небес полуночной страны», «обвыкшего к свисту вьюг и реву непогоды», — обитателю юга, «нежному баловню полуденной природы»²⁵. Только «северянин», согласно Вяземскому, способен глубоко прочувствовать истинное «воскресение» природы. Ведь еще вчера: «Унынье томное бродило тусклым взором / По роцам и лугам, пу-
стеющим вокруг / Кладбищем зрелся лес; кладбищем зрелся луг...» А уже сегодня: «Лазурью светлую горят небес вершины, / Блестящей скатертью подер-
нулись долины, / И ярким бисером усеяны поля. / На празднике зимы красуется

²¹ Там же.

²² Там же. С. 40–41.

²³ Там же. С. 41.

²⁴ Остафьевский архив князей Вяземских. Т. I. С. 357.

²⁵ Вяземский П.А. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1986. С. 130.

земля...» Стихотворение Вяземского завершается ни много ни мало клятвой поэта беречь это драгоценное «северянское» ощущение: *«Клянусь платить тебе признательную дань; / Всегда приветствовать тебя сердечной думой, / О первенец зимы, блестящей и угрюмой! / Снег первый, наших нив о девственная ткань!»*²⁶.

10 декабря 1819 г. Тургенев написал из Петербурга ответное письмо Вяземскому, предварив его дружески-шутливым обращением: «Мой милый Делиль Андреевич!»²⁷ Тургеневу, наверное, казалось, что он делает комплимент другу, сравнивая его стихи, которые оценил за красоту и энергию слога, с поэзией модного француза Жака Делиля. То, что, написав «Первый снег», Вяземский претендовал на нечто принципиально иное, Тургенев, увы, не понял: «Но почему же ты по этим стихам называешь себя преимущественно русским поэтом и находишь в нем русские краски? Эти стихи более других принадлежат блестящей поэзии французской: ты в них Делиль. Описание, манер — его, а не совершенно оригинальный»²⁸.

Находясь в понятном раздражении, Вяземский 19 декабря ответил Тургеневу: «Отчего ты думаешь, что я по первому снегу ехал за Делилем? Где у него подобная картина? Я себя называю природным русским поэтом (курсив мой. — А.К.), потому что копаюсь все на своей земле. Более или менее ругаю, хвалю, описываю русское»²⁹.

И далее Вяземский прямо перечисляет то «отличительно русское», что он, как поэт, пытается описать: «русскую зиму, чухонский Петербург, петербургское рождество и пр. и пр.; вот что я пою»³⁰. Вяземский заканчивает дружескую отповедь Тургеневу словами: «В большей части поэтов наших, кроме торжественных од, и то потому, что нельзя же врагов хвалить, ничего нет своего». И делает многообещающий вывод: «Вот, моя милуша, отчего я пойду в потомство с российским гербом на лбу (курсив мой. — А.К.), как вы, мои современники, ни французьте меня»³¹.

Литература

- Архив князя Вяземского. Князь Андрей Иванович Вяземский. СПб.: Тип. Балашева, 1881
Бондаренко В.В. Вяземский. М.: Молодая гвардия, 2014.
Вяземский П.А. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1986.
Гиллельсон М.И. П.А. Вяземский. Жизнь и творчество. Л.: Наука, 1969.
Кара-Мурза А.А. Тяжба о Карамзине. Юбилейные заметки // Вопросы философии, 2016, № 12. С. 106–110.

²⁶ Там же. 131–132.

²⁷ Остафьевский архив князей Вяземских. Т. I. С. 369.

²⁸ Там же. С. 369–370.

²⁹ Там же. С. 376.

³⁰ Там же. С. 376–377.

³¹ Там же. С. 377.

Кара-Мурза А.А. Философские дилеммы писем русского путешественника Н.М. Карамзина // *Философские науки*, 2016, № 11. С. 59–68.

Карамзин Н.М. История государства Российского: В 12 т. Т. 1. М.: АСТ, 2015.

Остафьевский архив князей Вяземских. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1899–1913.

Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1878–1896.

Шабанов А., прот. «Два племени» князя Вяземского // <http://www.pravoslavie.ru/73483.htm> [Электронный ресурс].

«РУССКОЕ СЕВЕРЯНСТВО» НИКОЛАЯ ТУРГЕНЕВА (МОЛОДЫЕ ГОДЫ)

В последние годы в русской историософии появились работы, актуализирующие очень влиятельную, а временами и доминировавшую во второй половине XVIII — первой трети XIX вв. (т.е. в периоды правления Екатерины II, Павла I и Александра I), концепцию российской идентичности — «Россия как Север». «Русское северянство» зародилось как полуофициальная доктрина в сочинениях императрицы Екатерины Великой и ее ближайшего сотрудника, графа Никиты Ивановича Панина. Классик русского «золотого века», князь П.А. Вяземский, в одной из записок 1861 г., написанной на французском языке, называл годы интеллектуального альянса Екатерины и Панина «самыми русскими» в многовековой истории России: «Общество, хотя и увлекалось блеском, обаянием и, признаемся, зачастую даже отклонениями европейской цивилизации (*les écarts de la civilisation Européenne.* — *франц.*), носило, однако, в себе живой элемент своей национальности и, сравнительно с тем, чем оно стало впоследствии, — было более русским»¹.

В дальнейшем, концепция «русского северянства» получила блистательные литературные воплощения в «Истории государства Российского» историка Николая Карамзина, в героических одах поэта Гавриила Державина, а затем в поэтическом творчестве молодой литературной плеяды — Петра Вяземского, Антона Дельвига, Александра Пушкина.

Мотивы «русского северянства» отчетливо слышны в русской литературе второй половины XIX — первой половины XX вв. К примеру, у Ивана Тургенева (которого за могучий рост и великий талант на Западе называли «северным гигантом»), а также в поэзии «Серебряного века» — у Игоря Северянина, Александра Блока, Бориса Пастернака.

В число активных идеологов «русского северянства» первой половины XIX в. надо непременно включить знаменитое семейство Тургеневых: в первую очередь отца — масона-просветителя Ивана Петровича Тургенева, близкого друга Карамзина и князя-генерала Андрея Вяземского — сподвижника графа Панина. «Северянские» взгляды отца разделяли и его сыновья, прежде всего Александр и Николай Тургеневы.

Николай Иванович Тургенев (1789–1871) прожил жизнь, исключительно богатую событиями и впечатлениями. Еще в феврале 1806 г.,

¹ Вяземский П.А. Полное собрание сочинений. Т. VII. СПб., 1882. С. 73.

семнадцатилетний Николай записал в дневнике: «Как бы хотелось мне поехать по белу свету, побывать в Азии, Африке, Америке и вместе с этим в Европе, а более всего в Российском Государстве. На путешествие можно положить лет около пяти. Натурально, в Азии, Африке и Америке, если можно, пробыть очень немного. Но немного потеряю, если там и не буду. Почти совсем ничего. Но в Европе, и наиболее в России вот план мой, вот мое намерение: узнать их покороче»².

Таким образом, уже в своих ранних сочинениях Николай Тургенев называл Россию «особым миром», заслуживающим отдельного и специального изучения, без оглядки на разного рода «западнические соблазны». «Северянские» мотивы просматриваются у Николая Тургенева, начитавшегося немца Гете и француза Шатобриана, в дневниковой записи от 24 февраля (ст. ст.) 1808 г.: «И в отдаленных краях можно быть довольным (или, как обыкновенно говорят, счастливым). *Любовь севера* (курсив мой. — А.К.) согреет и на юге сердце, исполненное любви к Отечеству; милое в отдаленности делается еще милее, но не для всех. — Нет, нежный климат Италии никогда не изнежит твердого сердца, которое родилось бы хотя *подле полюса* (курсив мой. — А.К.). Но мне ли говорить об этом после Шатобриана! Я мог только слабо, очень слабо предложить мысли его на Отечественный язык. Но могу ли сам говорить что-нибудь свое?»³

В мае 1808 г. Николай Тургенев отправился из Москвы в Петербург, откуда вместе с группой студентов столичного Педагогического института выехал для продолжения образования в Геттингенский университет, где проучился до 1811 г. В Геттингене он еще застал легендарного профессора Августа Людвиг Шлёцера (1735–1809), одного из авторов т.наз. «норманнской теории», большого друга и поклонника «северного гиганта» — России.

Еще в 1761 г., Шлёцер приехал в Россию по приглашению профессора Ф.И. Миллера. В 1761–1767 гг. работал в Императорской Академии наук (с 1764 г. — ординарный академик, а с 1765 г. — ординарный профессор академического университета по русской истории). Был почетным членом Академии наук (с 1769 г.) и Общества истории и древностей российских (с 1804 г.).

Вернувшись в Геттинген, Август Шлёцер сохранил тесные связи с Россией и ее учеными, став главным «опекуном» молодых русских, приезжающих учиться в германские университеты. Шлёцер активно развивал в русских студентах близкие ему идеи «северянства», следующим образом излагая концепцию российской истории: «Свободным выбором в лице

² Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева за 1806–1811 г. Том 1. СПб.: Тип. Императорской АН, 1911. С. 27.

³ Там же. С. 97.

Рюрика основано государство. Полтора ста лет прошло, пока оно получило некоторую прочность; судьба послала ему 7 правителей, каждый из которых содействовал развитию молодого государства и при которых оно достигло могущества... Но... разделы Владимировы и Ярославовы низвергли его в прежнюю слабость, так что в конце концов оно сделалось добычей татарских орд... Больше 200 лет томилось оно под игом варваров. Наконец явился великий человек, который *отомстил за Север* (курсив мой. — А.К.), освободил свой подавленный народ и страх своего оружия распространил до столиц своих тиранов. Тогда восстало государство, поклонявшееся прежде ханам; в творческих руках Ивана (Ивана III. — А.К.) создалась могучая монархия»⁴.

Учившийся ранее у Шлёцера в Геттингене старший брат Николай Тургенева, Александр Иванович, так вспоминал об одной из лекций профессора: «Шлёцер, говоря о ходе просвещения в Европе, упомянул и о России. Давно ли, говорил он, она начала озаряться лучами его? Давно ли Петр I сорвал завесу, *закрывающую Север* от южной Европы? (курсив мой. — А.К.) и давно ли Елизавета, недостойная дочь его, предрассудками своими, бездейственностью угрожала снова изгнанием скромных Муз из областей своих? И теперь, напротив — какая деятельность в Государе рассадить Науки, какое рвение в дворянах соответствовать его благодетельным намерениям! “Смотрите!” вскричал Шлёцер, указывая на усаженную Русскими лавку: “вот тому доказательство”!»⁵

Удивительно, что молодой Николай Тургенев, будущий признанный лидер российского западничества, в годы обучения в Геттингене активно проявлял не просто славянофильские, но и радикально антизападнические настроения. Это означает, что «русское северянство» не только не отрицает, но даже предполагает и национализм, и даже и своего рода «отторжение Запада».

К примеру, в своем дневнике от 12 (24) февраля 1809 г. Николай Тургенев писал: «Россия! Россия! с благоговением и любовью произношу священное Имя Твое и оставляю в сердце моем таиться различным чувствованиям. Если бы незначущая жизнь моя могла содействовать к Твоему благу — с радостью пожертвовал бы ею. ... Бьет 10 часов ночи. Всё тихо, но сердце мое сильно бьется и напоминает мне, что я в Геттингене. Проклятый город! когда буду я вне стен твоих? Когда буду свободно дышать воздухом Русским, родным. Дышать свободно можно, кажется, только в России. При этом имени

⁴ Общественная и частная жизнь Августа Людвиг Шлёцера, им самим описанная (ред. В. Кеневич). Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук. Т. XIII. СПб., 1875. С. 420.

⁵ Тургенев А.И. Письма и дневники геттингенского периода (1802–1804) // Архив братьев Тургеневых. Вып. 2. СПб, 1911. С. 234–235.

невольный вздох вылетает из моего сердца, угнетенного всем чужим. Самая природа здесь для меня мачеха: и солнце не так тепло, не так красно, и люди не те... Чем далее удаляюсь от Отечества, тем ближе сердце мое делается к Нему»⁶.

С гордостью ощущая себя, подобно отцу и старшему брату, «русским северянином», Николай Тургенев, еще учась в Геттингене, начинает, под воздействием «Итальянского путешествия» Гёте, мечтать о «южных странствиях», в первую очередь, в Италию. Образовательное путешествие в Италию, по его мнению, способно лишь укрепить «северянскую» самоидентификацию культурного русского. 10 (22) октября 1810 г. он записывает в дневнике: «Италия меня теперь *zunachst* (ближе всего.— *нем.*); всего более занимает: непременно хочется побывать в этой благословенной земле. Хочу заняться историей Италии... Благословенная земля!... Если же счастье приведет меня наслаждаться дарами природы и искусства, обогащающими тебя, то восхищение мое будет равно только тем чувствам, кои на каждом шагу будут возбуждаемы памятниками чудес. И тогда, прельщенный, очарованный, излию сердечные чувствования мои на бумагу и тем более запечатлею и утвержу сладостные воспоминания, кои на *холодном отеческом Севере* будут в уединении питать мою душу (курсив мой.— А.К.)»⁷.

А вот еще одна, тоже абсолютно «северянская», геттингенская запись, от 18 (30) октября 1810 г., порожденная грандиозными реформаторскими планами на родине графа М.М. Сперанского: «Надобно только бросить взгляд на правление Екатерины II, чтобы почувствовать и со слезами благодарения признать великие благодеяния Александра I, не уменьшая достоинства великих дел великой женщины... Какая безбоязненность, какая уверенность в любви народной!... Какое старание о распространении просвещения и уничтожении рабства, какие умные, справедливые правила в новых установлениях!... Все сие способствует к тому, что первые года истинного Государя, отца Отечества, могут с справедливостью назваться золотым веком России. Свет чудился необыкновенным *явлением северным* (курсив мой.— А.К.), и Европа, поколебленная в основании своем, с изумлением взирала на счастливую Россию и с благоговением на Творца счастья великого народа.— Еще и дела Екатерины заставляли философов предсказывать, что науки и искусства *перейдут скоро на север* (курсив мой.— А.К.), и что благоденствие, воцаряющееся в России, произведет златый век; но дела Александра заставили всех провозглашать, что сбылось славное пророчество!»⁸

⁶ Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева за 1806–1811 гг. С. 213–214.

⁷ Там же. С. 278–279.

⁸ Там же. С. 280–281.

В предпасхальную субботу 13 апреля 1811 г. за четверть часа до полуночи, «москвич-северянин» Николай Тургенев записывает в геттингенском дневнике: «Радостно бьется теперь сердце у 40 миллионов Русских»⁹. «Великий праздник, — продолжает свой панегирик России Тургенев, — всегда сопровождается великими делами великого народа: благодеяния текут реками на угнетенных роком; они простираются даже и до невинных тварей! Где найдешь тебе подобного, великодушный, храбрый, величавый, одним словом Русский Народ! Если бы я не имел счастья быть Русским (мысль, служащая для меня величайшим утешением в жизни сей), то сердце мое всегда бы стремилось к сему народу. Радуйся, благословенный народ, лучшее произведение Руки Творческой!»¹⁰

Запись заканчивается горьким признанием своей отлученности от родины: «Между тем, как сорок миллионов моих соотечественников находятся теперь в очаровательном волнении, я, отгороженный от отчизны, между презренными иноплеменниками, осужден только чувствовать свое несчастье... Презрение к бесчувственным сердцам Немецким! нет для них радости: Рок судил им быть Немцами... Чем более возвышаюсь я к духу Русского народа, чем более чувствую достоинство, тем более невольно чувствую презрение к тем, с коими претерпел уже почти 3 года»¹¹.

...В 1811 г. юношеская мечта Николая Тургенева — побывать в Италии, наконец, сбылась. Стихи, написанные им в ноябре 1811 г. в одной из римских кофеев (о чем имеется запись в дневнике) — далеки от совершенства, но свидетельствуют о том, что в южной Италии Тургеневым по-прежнему владеет «гетевский» комплекс «пришельца с Севера»:

*В минуты сладостны, покою посвященны,
В кругу одних друзей и с трубкою в руках,
Вспомнить часы прошедшего блаженства —
Вот чем утешусь я и в Питерских снегах!*¹²

(В этом месте в записях Тургенева имеется пометка: «Я никогда бы не решился написать этого вздору в этой книге, если бы я не писал весь мой журнал совершенно для себя одного»¹³.)

Находясь в Южной Италии, Николай Тургенев отмечал, что местные жители очень не любят Наполеона Бонапарта и его родственников,

⁹ Там же. С. 297.

¹⁰ Там же. С. 297–298.

¹¹ Там же. С. 298.

¹² Дневники Николая Ивановича Тургенева за 1811–1816 гг. (под ред. Е.И. Тарасова // Архив братьев Тургеневых. Т. 2, вып. 3. СПб.: Тип. Императорской АН, 1913. С. 139.

¹³ Там же.

ставших наместниками в разных уголках Италии, и, наоборот, — открыто симпатизируют русским, которым еще обязательно предстоит сразиться с «корсиканским чудовищем». Когда, например, в конце 1811 г. на карету нового русского посла в Неаполе, князя Сергея Николаевича Долгорукого (хорошего знакомого престарелого Ивана Петровича Тургенева, снабдившего сына рекомендательными письмами), произошло нападение местных карбонариев, те, узнав, что перед ними посланник «северного царя Александра», выказали ему исключительное почтение. Предводитель «разбойников» оказался тогда весьма политически осведомленным человеком и сказал русскому князю: «Наполеону достаточно нахмурить брови в Париже — и его братцы с сестрами сразу пополнят реддеющую армию Франции за счет несчастных итальянцев. Мюрат в Неаполе уже провел рекрутский набор для своего зятя (Наполеона. — А.К.), который, если верны слухи, собирается напасть на Россию. Будем же молить пречистую Мадонну, чтобы этот злодей, забравшись в русские леса, превратился от холода в звонкую сосульку!»¹⁴

На обратном пути из Италии в Россию, зимой 1812 г., Николай Тургенев был несказанно рад выпавшему во Флоренции снегу — большой редкости в Тоскане! 11 января (н. ст.) он записал в дневнике: «Вчера в 2 часа пополудни приехал я в Флоренцию... Вид снега был для меня приятен: он напоминал мне Отечество, и я тем более радовался, что я к нему теперь приближаюсь, и скорыми, курьерскими шагами. От того чувство сие не имело ничего меланхолического. Если бы я увидел снег теперь и удалялся бы от России, то тогда грусть, но грусть приятная, питательная родилась бы в душе моей...» Перед отъездом из Рима завтракали со мною земляки. Приятно было видеть, что и из Рима провожали меня Русские. Конечно вместе было жалко прощаться с ними... Такого удовольствия не могут иметь Немцы и Французы, ибо кроме того, что они везде находят соотечественников, отечественные чувства для них не так известны, как для Русских»¹⁵.

Характерно, однако, что очная встреча с матушкой-Россией, с ее суровой зимой и, в первую очередь, с «холодом человеческих отношений» никак не вызвали у Николая Тургенева тех теплых чувств, кои он предполагал в Германии или Италии. Более того, он уже жалел, что вернулся и 6 марта (ст. ст.) 1812 г. писал в дневнике: «Вот уже три недели, как я здесь, и по сию пору не опомнился... Незначущие лица, на которых видна печать рабства, грубость, пьянство — всё уже успело заставить сердце обливаться кровью и желать возвращения в чужие края. Непросвещение высших классов также действовало на произведение последнего желания. *Суровая зима* показалась

¹⁴ Там же. С. 150.

¹⁵ Там же. С. 169.

мне совсем не таковою, как я представлял ее, будучи в Геттингене и Неаполе. Она *подлинно убийственна* (курсив мой.— А.К.)...»¹⁶

Между тем концепция «русского северянства», без всякого сомнения, оставалась частью российского официоза и в годы Отечественной войны 1812 г., и зарубежных походов русской армии 1812–1814 гг. В тогдашней отечественной пропаганде вторгшийся в Россию Наполеон Бонапарт (напомним, корсиканец по происхождению) интерпретировался как южный диктатор-варвар, узурпировавший власть на «Западе» (сначала во Франции — и далее во всей Европе), а затем вероломно напавший на «Север» — Россию. Победа русского императора Александра I над корсиканцем Бонапартом трактовалась как победа «цивилизованного Севера» (освободившего заодно и ослабивший в результате разрушительных внутренних революций «Запад») над «варварским Югом»...

Большие сомнения в исключительной культуротворческой роли «Севера» снова посетили Николая Тургенева в покоренной русскими Европе. Вот запись от 14 марта (н. ст.) 1814 г. из французского Шомона: «Долго смотрел я на карту Российской империи. Ужасное, (почти) необъемлемое пространство!... Ужасное пространство России! Как управлять ею из Петербурга? Как ей управляют?»¹⁷

Во время послевоенной службы в Швейцарии и Франции, по-видимому, и произошел решающий поворот в мировоззрении Н.И. Тургенева. Он окончательно понял, что несмотря на внешние, геополитические победы «Севера», «русский холод» (в широком смысле) — это огромное метафизическое «зло». Именно тогда, похоже, Николай Тургенев начал всерьез задумываться о возможности невозвращения в Россию: «Будучи в Женеве, думал я об избрании сего города местопребыванием на несколько лет, и мне казалось, что никакой город для сего столь не приличен, как Женева... Все мои мечтания, подобные сим, заключаются мыслью (совсем не мечтою) о Петербурге: воображение замерзает, когда вспомню о *тамошней зиме* (курсив мой.— А.К.), об образе жизни и качествах жителей,— и мрачная задумчивость заступает место счастливого забвения. Но надобно там жить, где судьба определила. Странствия не вечны. Я уже чувствую необходимость постоянного жилища, постоянной жизни и, не теряясь, как прежде бывало, в мечтаниях, стараюсь с спокойным духом думать о 8-ми месячной зиме и о прочем, что еще почти *хуже зимы* (курсив мой.— А.К.)» (Шомон, 5 февраля 1814 г.); «Сижу один у камина. Ничто не страшит меня, кроме будущности и Петербурга. Чего там ожидать мне?... Холодная зима, *более еще холодные люди* (курсив мой.— А.К.), прямые улицы, рабство! Вот где

¹⁶ Там же. С. 190.

¹⁷ Там же. С. 244.

надобно жить мне без радости, без природы! Это не пустые слова: сердце обливается кровью, слезы навертываются на глазах при одной только мысли о Петербурге и о тамошнем роде жизни. — Но где жить? Умею ли я пользоваться свободою?... Что есть нравственная свобода, как не частое уединение? Свободно дышать и свободно мыслить можно только одному, с самим собою...» (Шомон, 5 марта 1814 г.).

Однако в сентябре 1816 г. Н.И. Тургенев получил уведомление, что срочно отзывается из-за границы и назначается помощником статс-секретаря Госсовета по Департаменту экономики. 15 сентября 1816 г., еще находясь в Берлине, на пути в Россию, он записал в дневнике: «При всем том сердце мое стыло, *приближаясь к Северу* (курсив мой. — А.К.). О, климат великое дело!... И я, стиснув зубами..., начал думать о преимуществах Северных народов пред южными и о выгодах, которые климат доставляет свободе или, еще более, независимости народов. Горестное ощущение! Если бы я не любил более себя своего отечества, никогда и ни за что не согласился бы жить на Севере. Право, *мысль о Севере холодит душу, потушает воображение* (курсив мой. — А.К.)»¹⁸.

Восемь долгих лет после этого Н.И. Тургенев провел в России, пытаясь соединить и в своем воображении, и в практике «тайных обществ» свой идеал «просвещенного Севера» и «потепления» общественных отношений. В 1824 г. ему удалось уехать в длительный отпуск за границу. Находясь в любимой им Венеции, он записал в дневнике 2 октября (н. ст.) 1824 г.: «Пусть идут дни и месяцы как хотят — лишь бы шли скорее. Мне представилась однажды дорогою мысль поселиться в Livorno, если климат петербургский будет вреден для желудка. Но сидя вчера под вечер на площади св. Марка у Café Florian, дыша прекрасным теплым воздухом, мне казалось, что я им уже пресытился, — и климата не довольно для жизни. Надобны люди! Где я их найду, кроме России?... Здесь привыкнешь к хорошему климату и не будешь чувствовать его ценности. В Петербурге не привыкнешь к дурному и всегда будешь чувствовать его невыгоды. Вот различие!»¹⁹

Судьба очень жестко разрешила интеллектуальную коллизию, годами мучавшую Николая Ивановича Тургенева. После восстания декабристов, в котором он, путешествуя по Европе, никакого участия не принимал, он был, тем не менее, заочно привлечен к следствию, которое показало, что Тургенев был одним из главных «идейных вдохновителей декабризма». В Россию он тогда не вернулся: ему реально грозила многолетняя каторга в суровой Сибири, а, может быть (как считают многие историки), и виселица. Николай

¹⁸ Там же. С. 339–340.

¹⁹ Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева. Путешествие в Западную Европу. 1824–1825. СПб.: Нестор-История, 2017. С. 106–107.

Тургенев остался на Западе: идеолог «русского северянства» оказался насильственно отлучен от некогда обожаемого, а со временем всё более и более ненавидимого «Севера».

Литература

Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. Т. VII. СПб., 1882. С. 73.

Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева за 1806–1811 г. (ред. Е. И. Тарасов) // Архив братьев Тургеневых. Т. 1, вып. 1. СПб.: Тип. Императорской АН, 1911. — 512 с.

Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева. Путешествие в Западную Европу. 1824–1825. СПб.: Нестор-История, 2017. — 1032 с.

Дневники Николая Ивановича Тургенева за 1811–1816 гг. (ред. Е. И. Тарасов) // Архив братьев Тургеневых. Т. 2, вып. 3. СПб.: Тип. Императорской АН, 1913. — 501 с.

Общественная и частная жизнь Августа Людвиг Шлёцера, им самим описанная (ред. В. Кеневич). Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук. Т. XIII. СПб., 1875. С. 419–451.

Остафьевский архив князей Вяземских. Т. I. Переписка П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым (изд. гр. С. Д. Шереметева). СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1899.

Тургенев А. И. Письма и дневник геттингенского периода (1802–1804) (ред. В. М. Истрин) // Архив братьев Тургеневых. Вып. 2. СПб.: Тип. Императорской АН, 1911. — 527 с.

«СЕВЕРНАЯ» ИДЕНТИЧНОСТЬ РОССИИ КАК ПРЕДМЕТ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ САМОКРИТИКИ (от Петра Чаадаева до Василия Шульгина)

Тема *северянства* как фундаментальной цивилизационной матрицы России получает всё большую популярность в философской литературе¹. Апология «русского Севера» — глубинной основы нашей самобытной идентичности, похоже, готова занять место казавшегося одно время перспективным отечественного нео-евразийства. Между тем один из важнейших историко-философских аспектов «русского северянства» до сих пор остается вне поля зрения исследователей. Речь идет о традиции *цивилизационной самокритики* — другими словами, не апологетического, а, наоборот, предельно критического осмысления нашего «северянства» теми русскими умами, которые полагали северную (нордическую) обусловленность нашей культуры не достоинством, а, напротив, ее неизбывной кармой, тем изнуряющим «кредсом», который России приходится нести сквозь многовековую историю².

Чаадаев о Севере как о месте «застывания эманаций мысли»

У истоков цивилизационной самокритики «русского северянства» стоит, безусловно, Петр Яковлевич Чаадаев (1794–1856). Еще в конце 1980-х гг., относительно молодые тогда историки русской мысли Е.Б. Рашковский и В.Г. Хорос, признанные сегодня бесспорными мэтрами «цивилизационного подхода» ко всемирной истории, высказали предположение о том, что в историософии П.Я. Чаадаева «судьба России» имеет не западную, не восточную, а, скорее, «северянскую» природу: «Итак, согласно трудам Чаадаева, России свойственна какая-то особая, еще не проявленная цивилизационно-культурная специфика. Она не знает ни западных, ни восточных форм концентрации духа. Географически она — между Западом и Востоком, но

¹ Из последних аналитических обзоров см.: Тюгашев Е.А., Шумахер А.Е. Социокультурный феномен «русского северянства» // *Личность. Культура. Общество*, 2021, т. 23, № 3 (111). С. 151–156.

² У отечественного апологетического евразийства, как известно, очень быстро появился свой «негативный двойник» — идея *Азиопы* («дурного синтеза» Востока и Запада), сформулированная в эмиграции П.Н. Милюковым и опиравшаяся на важные интуиции цивилизационной самокритики XIX в. (См.: *Кара-Мурза А.А. Улыбышев и Пушкин о «дурном синтезе цивилизаций» («Азиопа» в свете «Зеленой лампы»)* // *Полилог*, 2020, т. 4, № 4. С. 3 [Электронный ресурс]).

культурологически — она ни Запад, ни Восток, но скорее *Север* (курсив мой. — А.К.)»³.

Есть много свидетельств, что юноша Чаадаев, сначала в своих домашних штудиях в московском особняке князей Щербатовых, а потом и в Московском университете, сформировался как классический русский западник-прогрессист, убежденный сторонник европейского Просвещения, со временем способного, как ему казалось, поднять Россию до европейских образцов цивилизации и прогресса⁴. Недаром Пушкин, подпавший в ранней юности под человеческое и интеллектуальное обаяние «офицера гусарского», признавался позднее А.О. Смирновой-Россет, что «Чаадаев хотел вдолбить мне в голову Локка»⁵.

С другой стороны, очевидно, что уже в молодости умница Чаадаев, будучи по натуре скептиком и мизантропом, задумывался о странных парадоксах исторического пути России. Вот одна из ранних записей, найденная в бумагах Чаадаева и переведенная с французского его потомком, кн. Д.И. Шаховским: «Говорят про Россию, что она не принадлежит ни к Европе, ни к Азии, что это особый мир. Пусть будет так. Но надо еще доказать, что человечество, помимо двух сторон, определяемых словами — запад и восток, имеет еще и *третью сторону* (курсив мой. — А.К.)»⁶.

Метафорический образ этой загадочной «третьей стороны» прорисовывается в столь нашумевшем первом «Философическом письме» Чаадаева, опубликованном в № 15 «Телескопа» за 1836 г.: «Раскинувшись между двух великих делений мира, между Востоком и Западом, *опираясь одним локтем на Китай, другим на Германию* (курсив мой. — А.К.), мы должны бы были сочетать в себе два великих начала духовной природы — воображение и разум, и объединить в нашей цивилизации историю всего земного шара. Не эту роль предоставило нам провидение»⁷.

Эту знаменитую формулу: «*nous appuyant d'un coude sur la Chine et de l'autre sur l'Allemagne*»⁸ несколько поколений исследователей чаадаевского

³ Рашковский Е.Б., Хорос В.Г. Проблема «Запад-Россия-Восток» в философском наследии П.Я. Чаадаева // Восток — Запад: Исследования. Переводы. Публикации. М., 1988. С. 132–133). Разумеется, эта плодотворная догадка тут же подверглась массивному обстрелу со стороны ортодоксов истмата, апологетов линейно-стадиального (формационного) взгляда на историю. Сегодня вся эта «критика» может вызвать разве что усмешку. — *Авт.*

⁴ См. напр.: Каменский З.А. Парадоксы Чаадаева (Предисловие) // Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. Т. 1. М.: Наука, 1991. С. 10–11.

⁵ Записки А.О. Смирновой (из записных книжек 1826–1845 гг.). Ч. 1. СПб.: Северный вестник, 1895. С. 151.

⁶ Чаадаев П.Я. Сочинения. М.: Правда, 1989. С. 172.

⁷ Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма (отв. ред. З.А. Каменский). Т. 1. М.: Наука, 1991. С. 329.

⁸ Там же. С. 96.

наследия переводят одинаково: «*опираясь одним локтем на Китай, другим на Германию...*». Похоже, в воображении Чаадаева, над евро-азиатским, двусоставным (Восток-Запад) цивилизованным миром нависает *Нечто* огромное, с головой, получается, ... на Севере. Но, увы, «голова» эта, согласно автору «Философических писем», либо обидно пуста («всемирное воспитание человеческого рода на нас не распространилось», «всё течет, всё исчезает, не оставляя следов», «пережитое пропадает для нас безвозвратно»), либо набита беспорядочно («прежние идеи выметаются новыми, потому что последние не происходят из первых, а появляются у нас неизвестно откуда», «лучшие идеи, лишённые связи и последовательности, как бесплодные заблуждения, парализуются в нашем мозгу» и т.п.)⁹.

Как известно, и русская власть, и наше тогдашнее общество были одинаково обескуражены «Философическим письмом» Чаадаева¹⁰. Ведь автор замахнулся, ни много ни мало, на самые сакральные российские сущности: на православную веру (об этом много написано) и на «северянскую» идентичность России, одинаково пребывавшие в национальном самосознании приоритетными предметами культовой апологетики¹¹.

Известно также, что редактор-издатель «Телескопа» Н.И. Надеждин пострадал куда больше, чем сам автор «Письма», объявленный «умалишенным», но оставленный в Москве. Надеждина задержали, переправили в Петербург, где он, водворенный в помещение штаба корпуса жандармов, начал давать показания, сочинив параллельно, по журналистской привычке, несколько «ответов Чаадаеву», — удивительные образчики апологии «русского северянства»¹².

Вчитаемся, к примеру, в один из начальных абзацев первого варианта «ответов Чаадаеву», где — в одном всего абзаце — «Русский Север»

⁹ Там же. С. 323, 324, 326, 328.

¹⁰ «Раздражение московского общества дошло до крайних пределов. И «молодые отчизнолюбцы», и «старые патриоты» и «круглые неучи», и широко образованные люди — все «соединились в одном общем вопле проклятия и презрения» Чаадаеву» (*Козмин Н.К.* Николай Иванович Надеждин. Жизнь и научно-литературная деятельность. 1804–1836. СПб.: Тип. М.А. Александрова, 1912. С. 543).

¹¹ Князь В.Ф. Одоевский писал в тем дни С.П. Шевыреву: «Такое незнание струн, которых нельзя трогать!» (Из бумаг С.П. Шевырева: письма к нему разных лиц // Русский Архив, 1878, кн. 5. С. 58).

¹² Биограф Надеждина, Н.Н. Козмин, писал: «Опытный диалектик, Надеждин, конечно с болью в сердце сознавал, что кривит душою, что поступает своими убеждениями, но он преследовал свою цель — стремился смягчить приговор строгих судей... Намеченная цель не была достигнута» (*Козмин Н.К.* Николай Иванович Надеждин. Жизнь и научно-литературная деятельность. 1804–1836. СПб.: тип. М.А. Александрова, 1912. С. 549–550). Как известно, своим прямым распоряжением, император Николай I отправил Надеждина на дальний Север, в забытый Богом Усть-Сысольск (Сыктывкар).

упоминается Надеждиным трижды (!) и в предельно апологетическом регистре. «Мы не имеем прошедшего, не имеем истории, не имеем преданий и воспоминаний!...» — цитирует опальный журналист основной тезис своего же, теперь всеми проклинаемого, автора¹³.

И далее Надеждин выступает с энергичным опровержением: «Но что значит тысяча лет существования русского имени с тех пор, как Рюрик положил первый камень общественного благоустройства на отдаленнейшем *севере Европы*, с тех пор, как Олег двинул *этот север* на юг и прибил щит русский на стенах гордой столицы древнего мира, с тех пор, как равноапостольный Владимир добыл *этому северу*, еще юному, но уже могучему, и веру, и письменность, и искусства, и нравы? (курсив везде мой. — А.К.)»¹⁴

Столь же апологетичен Надеждин и по отношению к новейшему «северянству». Два последних столетия, прожитые Россией «под благодатным скипетром потомков Михаила» (М.Ф. Романова. — А.К.), он называет «веками непрерывных чудес, которые отдаленнейшее потомство сочтет баснословною поэмою»: «Эти два века, записанные во всемирную историю человечества приобщением к Европе двух третей ее и половины Азии, основанием нового Царя-града на пустынных берегах Финского залива, округлением Европейского Востока в одну великую, твердую и могучую державу, избавлением и умиротворением Европейского Запада, *водружением северных орлов на стенах Парижа и на хребтах Арарата?* (имеется в виду присоединение Восточной Армении к России в 1828 г., курсив мой. — А.К.) Это ли не история?»¹⁵

Фактически, «ответы Надеждина» (их искренность, конечно, вызывает большие сомнения) является хронологически первым в истории русской мысли выстраиванием историософской «триады»: точно так же, как европейский *Запад* в свое время заменил азиатский *Восток* в качестве вместилища «духа истории», так и сам он вынужден будет вскоре уступить свою историческую роль восходящему, молодому *Северу* (России).

«Философические письма» Чаадаева, как мы знаем, были во многом посвящены обоснованию концептуальных отличий «пути России» от «путей Запада». «В то время, когда среди борьбы между исполненным силы варварством народов Севера и возвышенной мыслью религии (*la lutte entre la barbarie énergique des peuples du Nord et la haute pensée de la religion*). — франц.) воздвигалось здание современной цивилизации, что делали мы? — задается вопросом Чаадаев. — По воле роковой судьбы мы обратились за

¹³ Два ответа Н.И. Надеждина Чаадаеву // Чаадаев П.Я. Сочинения. М.: Правда, 1989. С. 534.

¹⁴ Там же.

¹⁵ Там же. С. 535.

нравственным учением, которое должно было нас воспитать, к растленной Византии, к предмету глубокого презрения этих народов»¹⁶.

Напротив, чаадаевская «Апология сумасшедшего», написанная автором по свежим следам скандала в связи с публикацией его «Писем» (и трактуемая большинством исследователей как попытка самооправдания), является, в свою очередь, серьезной попыткой отграничения «судьбы России» от истории стран Востока. «Мы живем на востоке Европы, пишет Чаадаев, — это верно, и тем не менее мы никогда не принадлежали к Востоку (*“nous n'avons jamais fait partie de l'Orient”*. — франц.). У Востока — своя история, не имеющая ничего общего с нашей»¹⁷.

В «Апологии» Чаадаев в очередной раз декларирует северянскую идентичность России: «Мы просто северный народ (правильнее перевести: «северная страна». — А.К.), и по идеям, как и по климату, очень далеки от благоуханной долины Кашмира и священных берегов Ганга (*“nous sommes tout simplement un pays du Nord, et par nos idées tout autant que par nos climats fort loin de la vallée parfumée de Cachemire et des rives sacrées du Gange”*. — франц.)»¹⁸.

Конечно, оговаривается Чаадаев, «некоторые из наших областей... граничат с восточными империями», но «наши центры не там, не там наша жизнь, и они никогда там не будут, пока какое-нибудь планетное возмущение (лучше перевести буквально: «астральная революция» — А.К.) не сдвинет с места земную ось или новый катаклизм опять не бросит южные организмы в полярные льды» (*“à moins que l'axe du globe ne se déplace par je ne sais quelle révolution astrale, ou qu'un cataclysme nouveau ne jette encore une fois les organisations du Midi dans les glaces du pôle”*. — франц.)¹⁹.

¹⁶ Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма, т. 1. С. 97, 331. Стоит напомнить, что на рубеже 1820–1830-х гг. «северянские» идеи, близкие чаадаевским, разделяли многие русские интеллектуалы. К примеру, А.С. Пушкин писал в 1834 г. в не законченном отрывке «О ничтожестве литературы русской» (опубликован уже после гибели поэта): «Долго Россия оставалась чуждою Европе. Приняв свет христианства от Византии, она не участвовала ни в политических переворотах, ни в умственной деятельности римско-кафолического мира. Великая эпоха возрождения не имела на нее никакого влияния; рыцарство не одушевило предков наших чистыми восторгами, и благодетельное потрясение, произведенное крестовыми походами, не отозвалось в краях оцепеневшего севера» (курсив мой — А.К.) (Пушкин А.С. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 6. М.: Художественная литература, 1960. С. 407).

¹⁷ Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма, т. 1. С. 297, 531.

¹⁸ Там же. Выскажем предположение (еще требующее подкрепления), что «цивилизационная самокритика» П.Я. Чаадаева во многом сформировалась под влиянием тесного общения в молодые годы в России и Италии с еще одним «русским северянином», теоретиком декабризма (не вернувшимся потом в Россию) Николаем Ивановичем Тургеневым (1789–1871) (см.: Кара-Мурза А.А. «Русское северянство» Николая Тургенева (молодые годы) // Полилог, 2020, т. 4, № 1 [Электронный ресурс]. С. 1; Кара-Мурза А.А. Итальянское путешествие Петра Чаадаева. Часть II. Рим — Венеция (1825) // Философские науки, 2019, т. 62, № 11. С. 125–143.

¹⁹ Там же. С. 298, 531.

Концовка данной чаадаевской фразы чрезвычайно важна для общего понимания «северянской» концепции автора. Фактически Чаадаев говорит о том, что русская цивилизация являет собой уникальный феномен переноса византийского варианта христианства на Север, «в полярные льды», или, выражаясь словами Пушкина, «в края оцепеневшего севера».

В этом контексте становится более понятен и смысл записей П.Я. Чаадаева, найденных в его бумагах кн. Д.И. Шаховским, точную датировку которых установить пока не удастся. Общее направление мысли Чаадаева между тем очевидно: он печально сетует на то, что «безотрадное зрелище представляет у нас выдающийся ум, бьющийся между стремлением предвосхитить слишком медленное поступательное движение человечества, как это всегда представляется избранным душам, и убожеством младенческой цивилизации, не затронутой еще серьезной наукой»²⁰. А причину такого положения Чаадаев видит опять-таки в «северянской» судьбе Отечества: «...Из тех эманаций научной мысли, которые случайно заносит на наши отдаленные берега с Запада, сколько сбившихся с пути, сколько застывших под ледянящим дыханием севера (курсив мой. — А.К.)»²¹.

Шульгин о Севере, как о месте «охлаждения национального чувства»

Среди активных критиков «русского северянства» XX в. следует назвать Василия Витальевича Шульгина (1878–1976) — крупного русского интеллектуала и политика²². Оппонируя северянству, Шульгин всегда считал себя «русским южанином», полагая именно родной Киев не только *историческим*, но и *стратегическим* центром «русского мира». Геополитические идеи Шульгина, как теперь окончательно выясняется, не оправдались, но критика им уязвимых моментов русского северянства, безусловно, продолжает сохранять свою значимость и актуальность.

Мировоззренческой основой критики Шульгиным «северянства» является оригинальная концепция становления и развития русского народа. «Под словом “русский народ”, — писал Шульгин, — я не разумею одних только северян, то есть великороссов. Эти последние имеют, конечно, полное право называться русскими..., но все же они имеют это право *не столь полное, как южане*. Эти последние имеют право на “русскость” *полнейшее*,

²⁰ Чаадаев П.Я. Сочинения. С. 106.

²¹ Там же. См. также: Жукова О.А. Творчество Чаадаева и его интерпретация в интеллектуальной культуре Серебряного века // Философский журнал, 2021, т. 14, № 1. С. 21–38; Шайтанов И.О. Географические трудности русской истории (Чаадаев и Пушкин в споре о всемирности) // Вопросы литературы, 1995, № 6. С. 160–202.

²² См.: Кара-Мурза А.А. «Вождистская» субкультура в России в поисках исторических альтернатив (В.В. Шульгин) // Философские науки, 2019, № 4. С. 20–30.

ибо слово “Русь” преимущественно связано с Киевом (везде курсив мой. — А.К.)»²³. «Разумеется, — продолжает Шульгин, — я отмечаю все “украинские” рассказы, как лживый вздор, который в свое время будет ликвидирован проснувшейся гордостью южнорусского населения. Оно не позволит, чтобы его обманывали, как малого ребенка. Русским народом я считаю великороссов, малороссиян и белоруссов, а также и всех тех иных кровей российских граждан, которые подверглись процессу ассимиляции и считают себя русскими»²⁴.

Итак, согласно Шульгину, в состав «русской расы» вошло много «кровей», и «эта смесь еще не совсем превратилась в сплав»: «Амальгамирование еще идет; и вот почему русское национальное самосознание еще не очень твердо»²⁵.

Принципиальное значение в ходе этого амальгамирования, по мнению Шульгина, играет природа и характер правящего слоя, который в России всегда был результатом постоянного соперничества за первенство между *северянами* (московскими царями) и *южанами* (казацкими лидерами). Сам Шульгин, как известно был воспитан в семье классического «южанина» — известного русско-казацкого профессора-националиста Дмитрия Ивановича Пихно, и его всегда привлекали образы русских вождей-южан: «Южане напоминали Государю Московскому, что древнее гнездо воссоединяемого русского народа есть Киев... И если на одну минуту задуматься над тем поразительным сходством, которое являют внешние образы Руси Киевской и Руси Запорожской (военного ордена, воевавшего с Стамбулом, как дружины Рюриковичей воевали с Византией; морских корсаров, так же ходивших по Черному морю, в тех же самых челнах, в каких “Русь” с X века терроризировала Царь-город), — то надо признать, что этого рода русскость, то есть древнюю русскость, Юг стойко хранил»²⁶. «Но эта русскость, — продолжает Шульгин, — будем называть ее южной, отличается от Московской, которую будем называть северной (курсив мой. — А.К.)»²⁷.

Согласно Шульгину, в деле консолидации «русского Севера» и «Русского Юга» молодому царю Петру Алексеевичу Романову предстояло продолжить дело своего отца, царя Алексея Михайловича, «направившего Московию с пути местно-московского на путь общерусский»: «Недаром Петр Великий стремился найти новое гнездо для удвоившегося в своих возможностях народа»²⁸.

²³ Шульгин В.В. «Что нам в них не нравится...». Об антисемитизме в России. СПб.: Хорс, 1992. С. 45–46.

²⁴ Там же. С. 46.

²⁵ Там же.

²⁶ Там же. С. 91.

²⁷ Там же.

²⁸ Там же.

И этим «новым гнездом», конечно, уже не могла быть «тесная и провинциальная» Москва, которая в своем изоляционизме, как полагал Шульгин, отринула многие заветы «русского европеизма», историческим центром которого когда-то был Киев. Новым русским центром стал, как мы знаем Петербург: «При помощи прозревших “москвичей” и наследственно зрячих “киевлян” он стал тем котлом, где великолепно, можно сказать “блистательно”, варилась каша из двух воссоединившихся племен русского народа»²⁹.

Некоторые историки петровского царствования справедливо полагают, что у юного Петра одно время были планы заложить новую столицу именно на Русском юге. Еще в 1695 г., по дороге из Москвы на воронежские корабельные верфи и липецкие металлургические заводы, на высоком берегу Ягодной Рясы в районе сельца Слободское, по приказу царя, был построен деревянный путевой дворец. А в 1702 г. (за год до основания Санкт-Петербурга) Петр, собственноручно разработав план, основал здесь крепость по голландскому образцу, которой дал название «Ораниенбург», в честь недавно скончавшегося кумира и старшего друга Петра — Вильгельма III Оранского. Местные богатые земли были розданы ближайшим сподвижникам — Меньшикову, Лефорту и др. Впоследствии, за крепостью и выросшим городком закрепилось название «Раненбург» (сейчас это г. Чаплыгин Липецкой области).

Однако казус раннего петровского правления состоял в том, что, пытаясь синтезировать две части русского народа, в стремлении освободиться от пороков провинциального московского «северянства» и привить к нему варяжско-космополитическую энергетику русского «юга», Петр вынужден был построить новую столицу... еще далее к Северу. Новое «окно в Европу» было воссозданием «южного проекта», но «прорублено» оно было на русском «севере». К осмыслению этого «петровского парадокса» Шульгин неоднократно возвращался впоследствии: он считал тот шаг Петра — *вынужденным* (пробиться к теплым морям не удалось) и — в исторической перспективе — *временным*. Будущая и окончательная столица «русской расы» — четвертая по счету, согласно Шульгину, будет непременно основана на Юге, возможно, — на Юго-Востоке воссоединенной державы³⁰.

Заслуга Санкт-Петербурга, детища Петра Великого, согласно Шульгину, бесспорна. Южанин Шульгин, разумеется, не преминул особо отметить в этих достижениях роли «южнорусского» компонента: «Петербург поле под вишневыми садами Полтавы превратил в ристалище, где разыгрался первый, со времен Владимира Мономаха, общерусский триумф»; «Петербург скромного

²⁹ Там же. С. 91–92.

³⁰ См.: Бабков Д.И. Проблемы территориальной реорганизации России в постреволюционное время в мировоззрении В.В. Шульгина // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика, 2010, т. 16, вып. 19 (90). С. 180.

хотла казака Григория Розума (будущего графа Разумовского. — А.К.) сделал супругом Императрицы Всероссийской — девицы Елисавет»; «Петербург осуществил давнюю мечту Киева “ногою твердой стать при море” — при теплом, южном, Черном море, с IX века называемого “русским”»; «Петербург бросил южнорусское казачество, хранившее варяжские традиции, на новые подвиги, показав ему ручкой Императрицы Екатерины II (ручкой, которую кузнец Вакула почитал не иначе, как сахарной) подножие Кавказа, именуемое Кубань»; «Петербург выковал новый русский язык, который был не московский и не киевский; который проходил выше того и другого, но стоял на этих двух местноречиях, как голова, вместилище развившегося разума, стоит на двух ногах»³¹ и т.п.

В итоге, «Петербург, из двух русских племен, варил сладкий мед, который обещал досыта накормить пищей животной и духовной огромные пространства Русской Империи. Возможности, отсюда проистекавшие, не давали жить соседям; и потому сначала шведы, потом поляки и, наконец, немцы поспешили в этот кипящий мед подбросить ложку дегтя, которая испортила бочку. Этим дегтем была украинская идея»³².

Именно «украинская идея» («идея распри, раздора, идея бифуркации единых русских крови, языка и культуры») сдерживала и будет сдерживать, согласно Шульгину, «сваривание южно- и северно-русских особенностей в единый русский тип»³³. Однако, по мнению Шульгина, «украинская идея, то есть утверждение, что южно-русский народ — не русский, долго не выдержит... Самолюбие проснувшегося южно-русского народа не позволит, чтобы ему морочили голову польско-немецкими сказками, принимая его за дурачка-непомнящего»³⁴.

Однако у петербургской России (Шульгин предпочитал употреблять более «южное», на греческий манер, слово *Петрополь*) есть и другая проблема, связанная с «заражением» Империи (синтетической по замыслу) «северянскими» атавизмами старой Московии и постепенной утратой «южной» энергетики. Имперское продвижение на Север и Восток сопровождалось ослаблением русского национального чувства: «Национализм почти совершенно исчезает в Сибири, пока не утыкается в Японию, которая является огромным аккумулятором национальной энергии»³⁵.

«Северянская» часть России, по мнению Шульгина, «никогда не знала внутренней национальной борьбы и потому оказалась совершенно

³¹ Шульгин В.В. «Что нам в них не нравится...». С. 92.

³² Там же.

³³ Там же. С. 93.

³⁴ Там же.

³⁵ Шульгин В.В. «По поводу одной статьи...» // Спор о России: В.А. Маклаков — В.В. Шульгин. Переписка 1919–1939 гг. (ред. О.В. Будницкий). М.: РОССПЭН, 2012. С. 226.

неустойчивой в этих вопросах и очень легко поддающейся, подавляемой всяким чужим национализмом. Как это не звучит дико и странно, но в период, предшествовавший катастрофе в России, самым денационализированным элементом были сами русские (главным образом великороссы). Поэтому вопросы взаимного сожительства национальностей, их взаимоотношений, их борьбы, сознательной, а главным образом бессознательной, совершенно не входили в поле зрения нашей *северной московско-петроградской политической школы*³⁶.

Шульгин утверждал, что *«северная русская интеллигенция к концу XIX века совершенно утерjala русский национализм»: «Это сказалось с поразительной ясностью в Японскую войну, когда пораженчество... было весьма распространенным явлением в Москве и Петрограде. Вследствие этих своих качеств северная русская интеллигенция страшно легко подпала под еврейское влияние (курсив везде мой. — А.К.)»*³⁷. Очная встреча с совершенно утратившим свою национальную энергию Петербургом была для «южанина» Шульгина (представлявшего в Государственной Думе дворянство Волынской губернии), тяжелым потрясением.

Между тем в начале XX столетия у России, согласно Шульгину, появился шанс на оздоровление. «Нашелся Столыпин» — представитель, несомненно, «южной», энергичной русскости. «Столыпин, — писал Шульгин, — по взглядам был либерал-постепеновец; по чувствам — националист благородной, “пушкинской”, складки; по дарованиям и темпераменту — природный “верховный главнокомандующий”, хотя он и не носил генеральских погон»³⁸. Но он, по словам Шульгина, заплатил своей жизнью за то, что он победил революцию, а еще за то, что «указал путь для эволюции»: «Выстрел из револьвера в Киеве — увы, нашем Киеве, всегда бывшем его лучшей опорой, — закончил столыпинскую эпоху... Печерская лавра приняла пробитое пулей Богрова тело...»³⁹

Катастрофа первой мировой войны, по мнению Шульгина, окончательно обнажила слабые места Империи, все более тяготеющей к изоляционистскому «северянству», лишенному творческой энергии и «национального иммунитета». Фатальной ошибкой русского правительства стало то, что страна оказалась *одновременно* вовлеченной в конфликт с двумя мощнейшими мировыми силами: «милитаристским германизмом», с его склонностью к военной экспансии, и «революционным еврейством», разъедавшим Россию изнутри.

³⁶ Там же.

³⁷ Там же. С. 227.

³⁸ Там же. С. 48.

³⁹ Шульгин В.В. Дни // Шульгин В.В. Дни. 1920 год. М.: Прозаик, 2017. С. 54–55.

После революции В.В. Шульгин принял активное участие в Белом движении: в 1919 г. его особенно вдохновило наступление на «северянскую» Москву «южных добровольцев» генерала А.И. Деникина («царя Антона»): был момент, когда «северный дуумвират» Ленина и Троцкого отдал распоряжение эвакуировать большевистское правительство дальше на север, в Вологду. Крах «Южного похода» белых стал для «южанина» Шульгина личной трагедией.

Гражданская война в России, по мнению Шульгина, продемонстрировала одну закономерность: «Обе половинки России, Северная и Южная, отвергли коллектив и перешли: Южная — к единоличной диктатуре генералов..., а Северная — к двуличной диктатуре двух дворян: одного симбирского (читай: Ленина.— А.К.), а другого иерусалимского (Троцкого.— А.К.)»⁴⁰.

В этой борьбе двух диктатур «красные» выиграли, согласно Шульгину, потому, что, делая ранее ставку на анархию, теперь превратились в настоящих государственников и не только восстановили могущество России в ее «естественных границах», но и фактически подготовили приход нового «самодержца всероссийского»: «Он будет истинно красным по волевой силе и истинно белым по задачам, им преследуемым. Он будет большевик по энергии и националист по убеждениям...»⁴¹

Именно так, полагал Шульгин, будет, наконец, воссоздано задуманное Петром Великим *национальное тело России* — единство «русского Севера» и «русского Юга».

Литература

Бабков Д.И. Проблемы территориальной реорганизации России в постреволюционное время в мировоззрении В.В. Шульгина // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер.: История. Политология. Экономика. Информатика, 2010, т. 16, вып. 19 (90). С. 173–181.

Два ответа Н.И. Надеждина Чаадаеву // Чаадаев П.Я. Сочинения. М., 1989. С. 533–554.

Жукова О.А. Творчество Чаадаева и его интерпретация в интеллектуальной культуре Серебряного века // Философский журнал, 2021, т. 14, № 1. С. 21–38.

Записки А.О. Смирновой (из записных книжек 1826–1845 гг.) Ч. 1. СПб.: Северный вестник, 1895.— 342 с.

Из бумаг С.П. Шевырева: письма к нему разных лиц // Русский Архив, 1878, кн. 5. С. 47–87.

Каменский З.А. Парадоксы Чаадаева // Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. Т. 1. М.: Наука, 1991. С. 9–85.

Кара-Мурза А.А. «Вождистская» субкультура в России в поисках исторических альтернатив (В.В. Шульгин) // Философские науки, 2019, № 4. С. 7–24.

⁴⁰ Шульгин В.В. 1920 год // Шульгин В.В. Дни. 1920 год. С. 403.

⁴¹ Шульгин В.В. Россия, Украина, Европа: избранные работы (ред. А.В. Репников). М.: Посев, 2015. С. 113.

Кара-Мурза А.А. Итальянское путешествие Петра Чаадаева. Часть II. Рим — Венеция (1825) // *Философские науки*, 2019, т. 62, № 11. С. 125–143.

Кара-Мурза А.А. «Русское северянство» Николая Тургенева (молодые годы) // *Полилог*, 2020, т. 4, № 1 [Электронный ресурс].

Кара-Мурза А.А. Улыбышев и Пушкин о «дурном синтезе цивилизаций» («Азиопа» в свете «Зеленой лампы») // *Полилог*, 2020, т. 4, № 4 [Электронный ресурс].

Козмин Н.К. Николай Иванович Надеждин. Жизнь и научно-литературная деятельность. 1804–1836. СПб.: Тип. М.А. Александрова, 1912.— 561 с.

Пушкин А.С. О ничтожестве литературы русской // *Пушкин А.С. Собрание сочинений: В 10 т. т. 6.* М.: Художественная литература, 1960. С. 407–414.

Рашковский Е.Б., Хорос В.Г. Проблема «Запад-Россия-Восток» в философском наследии П.Я. Чаадаева // *Восток — Запад: Исследования. Переводы. Публикации.* М.: Наука, 1988. С. 110–142.

Тогашиев Е.А., Шумахер А.Е. Социокультурный феномен «русского северянства» // *Личность. Культура. Общество*, 2021, т. 23, № 3 (111). С. 151–156.

Спор о России: В.А. Маклаков — В.В. Шульгин. Переписка 1919–1939 гг. (ред. О.В. Будницкий). М.: РОССПЭН, 2012.— 439 с.

Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма: В 2 т. (отв. ред. З.А. Каменский). М.: Наука, 1991.

Чаадаев П.Я. Сочинения. М.: Правда, 1989.— 655 с.

Шайтанов И.О. Географические трудности русской истории (Чаадаев и Пушкин в споре о всемирности) // *Вопросы литературы*, 1995, № 6. С. 160–202.

Шульгин В.В. Дни. 1920 год. М.: Прозаик, 2017. С. 21–200.

Шульгин В.В. По поводу одной статьи // *Спор о России: В.А. Маклаков — В.В. Шульгин. Переписка 1919–1939 гг.* М.: РОССПЭН, 2012. С. 224–246.

Шульгин В.В. Россия, Украина, Европа: избранные работы (ред. А.В. Репников). М.: Посев, 2015.— 416 с.

Шульгин В.В. «Что нам в них не нравится...» Об антисемитизме в России. СПб.: Хорс, 1992.— 286 с.

ЛЕВ КАРСАВИН О РЕЛИГИОЗНОМ СМЫСЛЕ БОЛЬШЕВИЗМА И РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Карсавин: от исторической науки — к религиозной философии истории

В истории русской философии XX в. Лев Платонович Карсавин (1882–1952) занимает особое место. В отличие от многих интеллектуалов его поколения, с которыми он был близко знаком еще в дореволюционные годы, а потом много общался в эмиграции, — Николая Бердяева, о. Сергия Булгакова, Семена Франка, Петра Струве и др. — Карсавин в молодости никак не участвовал в левом революционном движении, «не переболел марксизмом», и, соответственно, не мог знать русский революционаризм *изнутри*. Тем не менее, уже в первые постреволюционные годы, а затем в эмиграции (сначала в Берлине, а потом в Париже), Карсавину удалось занять прочные позиции в деле философского осмысления, выражаясь словами Бердяева, «истоков и смысла русского коммунизма». И это особое место в блестящей плеяде русских мыслителей XX в. Карсавин завоевал с полным правом, ибо для этого в его исследовательском арсенале были накоплены сильные козыри, которых не было у его коллег.

Хорошо известно, что Л.П. Карсавин сформировался, как классический ученый-историк, — специалист по европейскому средневековью, принадлежавший к петербургской исторической школе профессора Ивана Михайловича Гревса (1860–1941). К этому, однако, необходимо добавить, что конкретный исследовательский интерес молодого Карсавина вращался вокруг весьма *специальных сфер* — истории европейской религиозности, средневековых сект и ересей, многообразных форм взаимопереплетений между религией и политикой¹. И этот личный *background*, несомненно, очень помог Карсавину в позднейшем осмыслении «религиозного смысла» русской революции и большевизма.

Известно также, что главным предметом интереса молодого Карсавина-историка было полное противоречий европейское *тринадцатое столетие*, преимущественно в романском католическом мире — Италии и Франции. О принципиальной значимости этого исследовательского выбора хорошо написала старшая коллега Карсавина, еще одна крупная медиевистка,

¹ См.: Карсавин Л.П. Монашество в Средние века. СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1912.; Карсавин Л.П. Очерки религиозной жизни в Италии XII–XIII веков. СПб.: Тип. М.А. Александрова, 1912.; Карсавин Л.П. Основы средневековой религиозности в XII–XIII веках, преимущественно в Италии. Пг.: Тип. «Научное дело», 1915.

выходец из той же петербургской «школы Гревса», Ольга Антоновна Добиаш-Рождественская (1874–1939): «XIII век — век сильного и оригинального движения, в котором с небольшим как будто культурным запасом на Романском Западе творятся почти необъяснимые чудеса»². Именно тринадцатое столетие, продолжает исследовательница, было периодом «самых поразительных откровений средневековья» — веком великой готической архитектуры, небывалых коммунальных свобод, расцвета новых религиозных орденов, «воскрешающих для человеческой мечты весну галилейского христианства»³.

По мнению Добиаш-Рождественской, столь любимый Карсавиным итальянский *tredecimo secolo* был «самый яркий век средневековых кошмаров» и — одновременно — «первый век сознательного Ренессанса»⁴. Иными словами, именно в ту эпоху во всей глубине раскрылись «противоположности, заложенные в человеческом организме и личной психике»: «традиция и искание, свободная личность и деспотизм коллектива, яркость местной жизни и величие централистских концепций, порыв и скептицизм»⁵.

Можно смело утверждать, что и современную ему эпоху, а именно первую половину XX в. (тоже полную революций и войн, интеллектуальных прорывов и культурных обвалов), Лев Карсавин воспринял похожим образом. Разница заключалась в том, что двадцатое столетие после Р.Х., в отличие от века тринадцатого, было его собственным, «карсавинским» временем.

Отношение Карсавина к современной ему эпохе напоминало душевное состояние, несколькими десятилетиями ранее, другого великого русского мыслителя, Владимира Сергеевича Соловьева (1853–1900), которому Карсавин одно время старался подражать, даже внешне. Очень точно написал о молодом Соловьеве его биограф Константин Васильевич Мочульский (1892–1948): «Молодой философ... искал ключа к тайной мудрости, чуда, преображающего мир; ему было мало теоретического познания, он хотел дела»⁶. «Соловьев, — продолжает Мочульский (как потом и Карсавин в его зрелые годы. — А.К.), — не был кабинетным ученым и отрешенным от мира мистиком. Он чувствовал себя *религиозно-социальным реформатором* (выделено мной. — А.К.), жил сознанием приближающегося конца света и хотел действовать немедленно, чтобы его ускорить...»⁷

² Добиаш-Рождественская О.А. Религиозная психология средневековья в исследованиях русского ученого // Русская мысль, 1916, № 4. С. 22.

³ Там же.

⁴ Там же.

⁵ Там же. С. 22–23.

⁶ Мочульский К.В. Владимир Соловьев. Жизнь и учение // Мочульский К.В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995. С. 97.

⁷ Там же.

Историк русской церкви и религиозный деятель Антон Владимирович Карташев (1875–1960) написал в некрологе на мученическую кончину Карсавина в советском ГУЛАГе о том, что переход Карсавина от чисто научного умозрения к активной православной религиозности заметно ускорился с началом Первой мировой войны. Как-то ранней осенью 1914 г., вспоминал Карташев, уже в военном Петрограде, в хорошую солнечную погоду, они вместе шли по Невскому проспекту в направлении Казанского собора. Карсавин тогда «как-то вызывающе изливался о своих неудержимых “карабканьях” на скалу веры, к огню и свету»⁸. Убеденный христианин, Карташев, пожелал тогда младшему другу: «Дай Вам Бог поскорее опалить в этом огне Ваши крылышки», на что Карсавин тотчас, с обычной своей улыбкой,отреагировал: «Да я уже и опалил»⁹...

Эволюция мировоззрения Карсавина не осталась незамеченной его университетскими коллегами из числа «прогрессивных» преподавателей. По словам того же Карташева, присутствовавшего 27 марта 1916 г. на защите докторской диссертации Карсавина «Основы средневековой религиозности в XII–XIII веках, преимущественно в Италии», некоторые оппоненты упрекали диссертанта «за отрыв от конкретных тем и попытку “объять необъятное”»¹⁰. «Но именно к этому-то “необъятному”, — комментирует Карташев, — и потянулась его душа. Он изжил общеуниверситетскую агностическую внерелигиозность и потянулся к положительной средневековой музыке души, дышавшей Богом, естественно, как воздухом»¹¹. Именно в этом ключе и сформировалась постепенно у Карсавина его феноменология русской революции.

Карсавин: особенности историософской оптики

Меняя исследовательские приоритеты и обращаясь к русской философии истории, молодой историк Карсавин имел уже сложившееся в целом мировоззрение, которое, на общей шкале ценностных предпочтений, можно охарактеризовать как «консервативное». На это обстоятельство, с некоторой личной досадой, обратил внимание научный наставник Карсавина, профессор Иван Гревс, близкий тогда к либерально-прогрессивистской, Конституционно-демократической партии. Еще в 1912 г., в рецензии на вышедшую отдельной книгой магистерскую диссертацию Карсавина «Очерки религиозной жизни Италии XII–XIII веков», Гревс отмечал необычность

⁸ *Карташев А. В.* Лев Платонович Карсавин // Вестник РХД, 1960, № 58–59. С. 75.

⁹ Там же. Зимой 1918 г., после своего освобождения из большевистской тюрьмы, А. В. Карташев некоторое время нелегально жил в петроградской квартире Карсавина.

¹⁰ Там же.

¹¹ Там же.

и неожиданность (в том числе для него самого, как учителя) исследовательского подхода своего ученика. «Изучая и ереси, и жизнь Церкви (вернее — послушных ей групп) в избранные им века далекого прошлого Италии, — писал Гревс, — автор стремится познать нечто такое, что стоит, по его мнению, выше тех и другой, — *религиозность эпохи с ее типичным своеобразием* (выделено мной. — А.К.)»¹².

Гревс увидел нетривиальность подхода Карсавина в том, что тот попытался не *противопоставить*, а, напротив, *связать* диссидентские ереси с официальной Церковью и ортодоксальными религиозными движениями и уничтожить, таким образом, «неправильное противоположение, которое, по ходячей традиции, устанавливается между церковью с ее “порчей” и “оппозицией” ей, которая будто одна освобождала религиозную жизнь от застоя, производимого мертвящим влиянием первой»¹³.

Исследование молодого магистра, по словам Гревса, обнаружило, что, во-первых, «Церковь оставалась живою носительницей постоянного обновления и в рассматриваемую эпоху, характеризующую обычно как время ее упадка»¹⁴. А, во-вторых, замечает Гревс, молодому автору «открываются в течениях еретических, враждебных Церкви, многие существенные черты, не отличные, а сходные с католичеством», и он, автор, приходит к заключению, что и официальная Церковь, и диссидентские секты «движутся общим и ей, и им подъемом и напряжением религиозной потребности»¹⁵.

Именно эта особенность: рассматривать и Власть (во всех ее многообразных проявлениях), и наличную оппозицию этой власти, — как две глубоко переплетенные сферы единого «правлящего слоя» конкретной эпохи, и стало фирменным знаком Карсавина — сначала как специалиста по европейскому средневековью, а затем и как философа истории и исследователя метафизических оснований российской судьбы.

Историк Карсавин, талантливо и динамично превращающийся в помудреншего историософа, старался элиминировать из своих ученых рассуждений любые априорные «интеллигентские» предпочтения: Власть не всегда так плоха, как о ней пишет левая интеллигенция; а Интеллигенция не всегда так безупречна, как она предпочитает думать о себе самой. Обе они — суть разные сегменты единого «правлящего слоя», и либо равно сильны и едины в своей метафизической укорененности в национальном религиозном сознании, либо, напротив, болеют примерно одинаковыми недугами, обоюдно толкая общество к опасной пропасти. И горе тому социуму, который, чувствуя

¹² Гревс И.М. Рец. на книгу: Карсавин Л.П. Очерки религиозной жизни Италии XII–XIII веков // Лев Платонович Карсавин (под ред. С.С. Хоружего). М.: РОССПЭН, 2012. С. 97.

¹³ Там же.

¹⁴ Там же. С. 98.

¹⁵ Там же.

деградацию «правлящего слоя», поддастся на демагогию интеллигентской контр-элиты, которая, не исключено, является самой «подгнившей» частью *ancient regime*. И вот тогда, полагает Карсавин, когда старый порядок уже окончательно исчерпает все свои возможности и ресурсы, наступит время решающего социального переворота.

Согласно Карсавину, «Революция» — это не единоразовый политический акт, но протяженный во времени *процесс*, занимающий годы, а, иногда и десятилетия. Так, по его мнению, произошло с великими европейскими революциями прошлого: в Англии (Карсавин ставит этой революции хронологические рамки: 1640–1653–1660), и во Франции (1789–1800–1815)¹⁶. Суть Революции — «длительный процесс вырождения правящего слоя, уничтожения его национальною государственною стихиею и создания нового правящего слоя»¹⁷. Революция — сродни опасной болезни, могущей в перспективе привести как к *Ренессансу* и к новой обновленной государственности, построенной на прочных метафизических основаниях, так и к окончательному распылению социума, к «превращению народа в простой этнографический материал»¹⁸.

Что касается России, то здесь, согласно Карсавину, один раз уже была своя «революция», на рубеже XVI–XVII вв., веки которой: 1598–1610–1613¹⁹, и которую историки предпочитают именовать «Смутным временем» или просто «Смутой». Однако, в логике Карсавина, то была действительно растянувшаяся на полтора десятилетия *революция*, признаками которой были и «вырождение правящего слоя» (в том числе физическое пресечение правящей династии Рюриковичей), и «подъем национальной стихии» (с кризисом привычных форм религиозности и появлением череды лидеров-самозванцев) и, наконец, «национальное исцеление» — с утверждением новой династии Романовых и укреплением государственно-монархической идеологии.

Однако, согласно Карсавину, победа в начале XVII в. новой государственности над «Смутой» не смогла обеспечить «абсолютное основание Православия», как прочного базиса русской самобытности, что впоследствии и сделало возможной насильственную *вестернизацию*, начавшуюся при царе-реформаторе Петре I и «достигшую апогея» в большевистском перевороте²⁰.

Знаток европейской истории, Карсавин, никогда не считал Россию принадлежащей к «Западу». Он полагал (и именно это впоследствии сблизило его с т.наз. «евразийцами»), что многие свойства русского характера сходны

¹⁶ Карсавин Л.П. Феноменология революции // Евразийский временник. Вып. 5, Париж, 1927. С. 29.

¹⁷ Там же. С. 41.

¹⁸ Там же.

¹⁹ Там же. С. 29.

²⁰ Там же. С. 72.

с чертами восточных цивилизаций: «Пассивность, инертность, безразличие к конкретному и реальному — характерный признак русской души, которая спит. Как спит родственная ей душа далекого Востока»²¹.

Однако, был убежден Карсавин, Россия — это всё-таки не Восток, а, скорее, Север, и это позволяет ей сохранять историческую энергетику, хотя и не равномерную (как на Западе), а, скорее взрывчатую, периодически «просыпающуюся»: «Время от времени, на отдельные мгновения, короткие, как лето русского севера и день русской зимы, пробуждается дремлющий дух...»²²

В этом смысле взгляды Карсавина очень близки «северянской» историко-философской концепции П.Я. Чаадаева, который в своих «Философических письмах» писал, что Россия «опирается одним локтем на Китай, другим на Германию»²³. В воображении Чаадаева, над евро-азиатским, двусоставным (Восток-Запад) цивилизованным миром нависает *Нечто* огромное, с головой на Севере²⁴.

Русский большевизм, согласно Карсавину, — и есть яркое свидетельство того, что «национальный дух» в очередной раз внезапно «проснулся»²⁵. Поэтому, полагает он, коммунистический эксперимент вновь поставил перед Россией «не решенную первую русскую революцией, т.е. Смутую, проблему»: «Быть или не быть России сознательно-религиозною, быть или не быть ей особым культурным миром...»²⁶ Большевизм, по Карсавину, — это болезненная, извращенная, но неизбежная стадия религиозного ренессанса России.

В своих эмигрантских статьях Карсавин отмечал, что процесс вырождения в России «правлящего слоя» стал очевиден для внимательных аналитиков еще в годы русско-японской войны 1904–1905 гг.²⁷ Однако порожденные этой несчастной войной драматические события 1905 г., которые в историографии принято считать *первой русской революцией*, Карсавин «революцией» в точном смысле этого слова не признавал. Он считал такую оценку типичным для русской интеллигенции проявлением *западноцентризма* — привычкой делить события на «хорошие» и «плохие». Поэтому он полагал неправильным причислять события 1905 г. к разряду «хороших революций»

²¹ Карсавин Л.П. Религиозная сущность большевизма // Карсавин Л.П. Избранное (ред. Е.Л. Петренко). М.: РОССПЭН, 2010. С. 200.

²² Там же.

²³ Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. Т. 1. М.: Наука, 1991. С. 329.

²⁴ См.: Кара-Мурза А.А. «Северная» идентичность России как предмет цивилизационной самокритики (от Петра Чаадаева до Василия Шульгина) // Философский журнал, 2022, т. 15, № 2. С. 10. См. также: Жукова О.А. Творчество Чаадаева и его интерпретация в интеллектуальной культуре Серебряного века // Философский журнал, 2021, т. 14, № 1. С. 21–38.

²⁵ Карсавин Л.П. Религиозная сущность большевизма. С. 200.

²⁶ Карсавин Л.П. Феноменология революции. С. 72–73.

²⁷ Там же. С. 47.

и считал их всего лишь «бунтами», принудившими Государя к конституционным реформам²⁸. По тем же причинам Карсавин не считал революцией и свергнувший монархию Романовых Февральский переворот 1917 г. В отличие от многих коллег-интеллектуалов, с восторгом встретивших «февральскую весну», Карсавин воспринял ее очень прохладно, — равно как и череду сменявших потом друг друга «временных правительств».

Причины неприятия Карсавиным «Февраля» легко вычитываются из его статьи «Путь православия» (1923): «Государство — часть церкви, церкви в направленности ее на политические задачи... *А-религиозное* государство осуществляет задание Церкви бессознательно, а потому ограниченно и несовершенно. Оно обессиливает себя своею *а-религиозностью*, очень хорошо символизируемое русским “Временным Правительством”»²⁹.

Уже оказавшись в числе пост-революционных изгнанников, Карсавин напишет полные иронии строки об удивительной наивности русского общества, легко поверившего в прекраснодушные лозунги либерального «Февраля»: «Сколько солдатских комитетов присоединялось в свое время к “мудрому вождю русской революции” Родзянко (последнему председателю Государственной Думы. — А.К.), и чем это присоединение кончилось? Сколько русских интеллигентов присоединялось к точке зрения Временного правительства, и в чем их присоединение выразилось?»³⁰

Персональный состав всё более «левевших» в 1917 г. «правительств» не вызывал у Карсавина никакого энтузиазма: «Говоривший с надрывом провинциального трагика от имени народа какой-нибудь Керенский (последний премьер Временного правительства. — А.К.) ничего народного не выражал»³¹. Характерно, что претендовавшие на место демагога-популиста Керенского русские диктаторы (как *слева*, так и *справа*), согласно Карсавину, в гораздо большей степени выражали глубинные настроения русского народа: «Угнетавший от имени Интернационала русских людей Ленин кое-что выразил, как с другой стороны, и генерал Корнилов»³².

С определенным сочувствием воспринял Карсавин наступление на большевистский Петроград осенью 1919 г. армии «белого» генерала Н.Н. Юденича, в «правительстве» которого были некоторые близкие Карсавину люди (например, тот же А.В. Карташев). Однако Карсавин, судя по воспоминаниям близко знавших его людей, уже тогда (и как, наверное, никто другой) ощущал глубинную, «метафизическую», силу

²⁸ Там же.

²⁹ Карсавин Л.П. Путь православия // София. Проблемы духовной культуры и религиозной философии. Берлин, 1923. С. 59.

³⁰ Карсавин Л.П. Европа и Евразия // Современные записки, Париж, 1923, т. XV. С. 301.

³¹ Карсавин Л.П. Феноменология революции. С. 38.

³² Там же.

большевизма, — то, что «История играет за них...»³³. Казалось, наступление «белых» на обессиленный тогда большевистский Петроград неостановимо, но Карсавин чувствовал, что исход: «Кто кого: Юденич или Троцкий?» не предрешен, а на недоуменные вопросы собеседников: «Сколько же в таком случае могут еще продержаться большевики?», — отвечал: «Сравнительно не так долго — лет двадцать...»³⁴

Карсавин: «Большевизм как религиозное явление»

Идея о том, что большевистская революция, как и установленная ею власть, носят, в отличие от власти «демократов-февралистов» (и даже «генералов-реставраторов»), *религиозный*, хотя и сильно деформированный характер, неоднократно высказывалась Карсавиным еще до эмиграции. Это касается, например, работы «Восток, Запад и русская идея», вышедшей отдельным изданием в Петрограде в 1922 г., где автор доказывал, что русский воинствующий атеизм, явленный большевиками, является «неотъемлемой составной частью русской религиозности»³⁵.

А в изданном уже в эмигрантском Берлине «Пути православия» (1923) Карсавин повторил идею о том, что большевизм, в своеобразном, конечно, виде, преодолевает а-религиозность «смутных времён»: «Большевистская государственность выше тем, что живет религиозно, хотя и искаженною идеей, а не абсолютным ничто»³⁶. Похожим образом Карсавин рассуждал и в работе «О сущности православия» (1924): «Большевизм — сила консервативная, спасающая, вопреки своим явным устремлениям к разрушительности, и русскую государственность, и русскую национальность, обнаруживающая религиозный смысл и цель нашего народного бытия»³⁷.

Эта позиция Карсавина, очень далекая от апологии Советской власти, вызывала активное неприятие оказавшихся в эмиграции деятелей «демократического Февраля». М.В. Вишняк, бывший секретарь разогнанного большевиками Учредительного собрания, а теперь влиятельный парижский журналист, писал: «Не случайно, профессор Карсавин отдает предпочтение большевистской государственности, которая “живет религиозно, хотя и искаженною идеей”, по сравнению с “абсолютным ничто” а-религиозного государства, которое символизируется для Л.П. Карсавина в образе демократического Временного Правительства»³⁸. Вишняк делает вывод: «Карсавин

³³ См.: Штейнберг А. Друзья моих ранних лет (1911–1928). Париж: Синтаксис, 1991. С. 194–195.

³⁴ Там же. С. 194.

³⁵ См.: Карсавин Л.П. Восток, Запад и русская идея // Карсавин Л.П. Избранное. С. 47.

³⁶ Карсавин Н.П. Путь православия. С. 59.

³⁷ Карсавин Л.П. О сущности православия // Карсавин Л.П. Избранное. С. 139.

³⁸ Вишняк М.В. Оправдание демократии // Современные записки, 1923, № 16. С. 323.

вообще сторонник православной мечты Достоевского об обращении государства в церковь в противовес католицизму, Риму и его мечте — превратить церковь в государство»³⁹.

Однако, несмотря на острую критику (в том числе со стороны бывших коллег), Карсавин-эмигрант продолжал активно разрабатывать тему «*религиозной сущности большевизма*», полагая, что только на этом пути возможно в перспективе *его преодоление*. В одноименной статье 1925 г. (написанной в Берлине на немецком языке), он утверждал, что *на данный момент* большевики, как политическая сила, являются, увы, наиболее адекватными выразителями глубинных настроений народа. «Не только устремленностью к величию определяется максимализм русских. Они стремятся к недостижимому, к абсолюту...»⁴⁰. Коммунистический идеал большевиков, отмечает Карсавин, — это нечто принципиально иное, нежели любые проекты современных европейских социалистов. Русский коммунизм — это, скорее, «Царство Божие, как оно было представлено в коммунистически-реформационных движениях Германии XVI века»⁴¹.

Особой формой «коммунистической религиозности» являются, согласно Карсавину, официозные декларации о якобы сугубой «научности» большевизма. В этом смысле «марксистских философов» правильнее называть «*филасофами*» (от a-sofia — *анти-знание*)⁴². «Они не знают, чем собственно является наука, и одурманивают себя квазинаучным бормотанием, в котором их религиозная тоска и мечтательность выдается за действительность, а действительность — за мечту»⁴³.

Декларируемое советскими теоретиками «безбожие» (а-теизм) — лишь «неосознанный религиозный идеал»: «Как и коммунизм масс, — это форма религии, форма церкви. Коммунистический атеизм слишком страстен и воинственен, чтобы быть только атеизмом неверия»⁴⁴. «Коммунистическая церковь, — писал Карсавин, — имеет собственные непогрешимые книги, свое “Священное писание” — “Капитал” Маркса и бесчисленные комментарии к нему. Она имеет свой ритуал, свои таинства, своих святых»⁴⁵.

С печальным сарказмом рассуждая о марксистских идеологах, «фанатиках научности» и т.п., Карсавин хорошо знал, о ком и о чем писал. С такими «теоретиками» его столкнула сама жизнь — в последние месяцы перед высылкой из Советской России, когда он, известный ученый и демократически

³⁹ Там же. С. 329.

⁴⁰ Карсавин Л.П. Религиозная сущность большевизма. С. 192.

⁴¹ Там же. С. 194.

⁴² Там же. С. 194, 195.

⁴³ Там же. С. 195.

⁴⁴ Там же.

⁴⁵ Там же.

избранный ректор Петроградского университета, стал едва ли не центральной мишенью для критики со стороны коммунистических активистов.

Один из них, В.А. Тер-Ваганян, большевик с 1912 г., ставший первым редактором официозного идеологического журнала «Под знаменем марксизма», так писал о Карсавине на страницах своего издания весной 1922 г.: «Входит в моду Л. Карсавин. У него две категории поклонников: богомольные старухи, которые вероятно не без охоты слушают его ученые проповеди и читают его душеспасительные брошюры, и усердные интеллигенты, которым стало скучно...»⁴⁶. Издеваясь над Карсавиным и подобными ему религиозно настроенными интеллектуалами, Тер-Ваганян предрекал: «Недалек тот день, когда вся буржуазная интеллигенция начнет вращать тарелки, вызывать духов, ясно видеть и гадать на кофейной гуще, называя это то историей, то философией, то историософией...»⁴⁷

В следующем номере того же журнала, похожим образом по адресу Карсавина высказался еще более высокопоставленный «идеолог», член партии с 1898 г. (!), будущий директор «Института научной философии» и ректор «Коммунистического университета» В.И. Невский. Критикуя статьи Карсавина на религиозные темы, Невский увидел в них «плод расстроенного воображения», «средневековое мракобесие» и «сомнамбулическое бессмысленное бормотание»⁴⁸.

Дальше всех пошел в своих рассуждениях профессор-марксист П.Ф. Преображенский, который, «с партийной пронизательностью», разглядел в теоретических работах и общественной деятельности Карсавина «претензию на формирование новой государственной идеологии», которая призвана заменить большевистский марксизм. Обращая внимание на то, что «источники философии Карсавина лежат, несомненно, в платонизме» (а в государстве Платона, как известно, правили философы), Преображенский иронически комментирует «политический идеал Карсавина»: «Посадить бы пару Нострадамусов, а за их отсутствием двух проповедников Всеединства (основная идея карсавинской философии. — А.К.) в Совет народных комиссаров, — и всё бы пошло как по маслу...»⁴⁹

Остается вспомнить, что все упомянутые «советские критики» Карсавина, одно время занимавшие в большевистской России видные государственные посты, сами впоследствии стали жертвами «идеологических чисток» и сталинского террора: В.А. Тер-Ваганян был расстрелян в 1936 г., В.И. Невский — в 1937 г., а П.Ф. Преображенский — в 1941 г.

⁴⁶ Ваганян В. Ученый мракобес // Под знаменем марксизма, 1922, № 3. С. 45.

⁴⁷ Там же.

⁴⁸ Невский В. Нострадамусы XX века // Под знаменем марксизма, 1922, № 4. С. 95.

⁴⁹ Преображенский П.Ф. Философия как служанка философии // Печать и революция, 1922, № 3. С. 68.

Заключение

Есть все основания полагать, что арест Льва Платоновича Карсавина 16 августа 1922 г. (он пробудет в заключении до 24 октября) явился для него неожиданностью. Перспектива депортации из страны не столько пугала Карсавина, сколько вызывала чувство досады: отлучение от России радикально меняло относительно налаженный быт, стабильную работу в кругу уважающих его коллег и единомышленников, вполне обеспеченную возможность публиковаться в сохраняющихся еще издательствах⁵⁰.

Более того, в 1922 г., уже готовясь к высылке, очень многие (и уж точно Карсавин) считали, что ситуация еще может развернуться вспять — и довольно быстро: Россия, полагали они, скоро вернет своих интеллектуалов, и животворная идейная борьба за «религиозное возрождение России» продолжится на родине. Судьба, как известно, распорядилась иначе.

Вся последующая жизнь Л.П. Карсавина, трагически окончившаяся в тюремном госпитале на Дальнем Севере в 1952 г., была посвящена единственной цели — промысливанию и формулировке «новой философии», способной преодолеть «большевизм» за счет углубления подлинно религиозных — христианских в своей основе — оснований русской культуры. Вопрос о самой возможности такой интеллектуальной работы продолжает оставаться актуальным, как продолжает оставаться экзистенциально важной главная дилемма, сформулированная русским мудрецом: *Возрождение или гибель?*

Литература

- Ваганян В. Ученый мракобес // Под знаменем марксизма, 1922, № 3.
Вишняк М.В. Оправдание демократии // Современные записки, 1923, № 16.
Гревс И.М. Рец.: Карсавин Л.П. Очерки религиозной жизни Италии XII–XIII веков // Лев Платонович Карсавин (под ред. С.С. Хоружего). М.: РОССПЭН, 2012.
Добиаш-Рождественская О.А. Религиозная психология средневековья в исследованиях русского ученого // Русская мысль, 1916, № 4.
Жукова О.А. Творчество Чаадаева и его интерпретация в интеллектуальной культуре Серебряного века // Философский журнал, 2021, т. 14, № 1.
Кара-Мурза А.А. «Северная» идентичность России как предмет цивилизационной самокритики (от Петра Чаадаева до Василия Шульгина) // Философский журнал, 2022, т. 15, № 2.
Карсавин Л.П. Восток, Запад и русская идея // Карсавин Л.П. Избранное (сост., вступит. ст. Е.Л. Петренко). М.: РОССПЭН, 2010.
Карсавин Л.П. Европа и Евразия // Современные записки, Париж, 1923, т. XV.
Карсавин Л.П. Монашество в Средние века. Санкт-Петербург: изд-во Брокгауз-Ефрон, 1912.
Карсавин Л.П. О сущности православия // Карсавин Л.П. Избранное (сост., вступит. ст. Е.Л. Петренко). М.: РОССПЭН, 2010.

⁵⁰ Авторитетный исследователь жизни и творчества Карсавина, С.С. Хоружий, утверждает, что Карсавин был «принципиальным противником акта эмиграции», и высылка за пределы России была для него «всецело нежеланным событием» (См.: *Хоружий С.С. Карсавин и де Местр* // Вопросы философии, 1989, № 3. С. 80).

Карсавин Л.П. Основы средневековой религиозности в XII–XIII веках, преимущественно в Италии. Петроград: Тип. «Научное дело», 1915.

Карсавин Л.П. Очерки религиозной жизни в Италии XII–XIII веков. СПб.: Тип. М.А. Александрова, 1912.

Карсавин Л.П. Путь православия // София. Проблемы духовной культуры и религиозной философии. Берлин, 1923.

Карсавин Л.П. Религиозная сущность большевизма // Избранное (ред. Е.Л. Петренко). М.: Росспэн, 2010.

Карсавин Л.П. Феноменология революции // Евразийский временник, Париж, вып. 5, 1927.

Карташев А.В. Лев Платонович Карсавин // Вестник РХД, 1960, № 58–59.

Мочульский К.В. Владимир Соловьев. Жизнь и учение // Мочульский К.В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995.

Невский В. Нострадамусы XX века // Под знаменем марксизма, 1922, № 4.

Преображенский П.Ф. Философия как служанка философии // Печать и революция, 1922, № 3.

Хоружий С.С. Карсавин и де Местр // Вопросы философии, 1989, № 3.

Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. Т. 1. М.: Наука, 1991.

Штейнберг А. Друзья моих ранних лет (1911–1928). Париж: Синтаксис, 1991.

ВОСТОЧНАЯ ТЕОКРАТИЯ НА СЕВЕРЕ ЕВРАЗИИ: «ПУТИ РОССИИ» В ИСТОРИОСОФИИ И.И. БУНАКОВА-ФОНДАМИНСКОГО

«Цивилизационный метод» в изучении явлений мировой истории, после многих лет забвения, вновь входит в полную силу. Это не может не радовать философа истории, который, как я, исповедует его добрые четыре десятка лет¹.

В истории отечественной мысли не так много фигур, которые могут сравниться по глубине «цивилизационного» анализа с Ильей Исидоровичем Бунаковым-Фондаминым (1880, Москва — 1942, концлагерь Освенцим) — поистине культовой фигурой русского «освободительного движения» и революционной эмиграции. Анализ его историософского наследия и посвящена настоящая статья.

Между террором и святостью: веи пути Ильи Фондаминского (Бунакова)

И.И. Фондаминский родился в богатой купеческой семье и свой жизненный путь начал в традиционалистской московско-еврейской среде, где, по словам его друга и тоже будущего легендарного эсера, В.М. Зензинова, «отцы и дети принадлежали не только к разным поколениям, но и к разным мирам»².

Так случилось, что главными друзьями детства юного Ильи Фондаминского и четырех его сестер стали многочисленные внуки, внучки и зятя московского «чайного короля», миллионера Вульфа Янкелевича Высоцкого — именно они, получив образование в Европе (чаще всего — философское) составили со временем ядро партии социалистов-революционеров — самой философски образованной партии России.

Ближайшим другом Фондаминского стал Абрам Гоц³, сын купца 1-й гильдии Рафаила Гоца и его жены Рахель-Фрейды Высоцкой. Был близок юный Фондаминский и к семье Гавронских — детям зятя и партнера Высоцкого,

¹ Из последних работ см.: *Кара-Мурза А.А.* Российский путь цивилизационного развития: «преемственность через катастрофы» (памяти В.М. Межуева) // *Полилог*, 2020, т. 4, № 3 [Электронный ресурс].

² *Зензинов В.М.* Памяти И.И. Фондаминского-Бунакова // *Новый журнал*, Нью-Йорк, 1948, № 18. С. 300–301.

³ Гоц Абрам Рафаилович (1882–1940). Учился философии в Берлинском и Гейдельбергском университетах. Член Боевой организации эсеров.

купца 1-й гильдии Осипа Гавронского и его жены Либбы-Мирьям Высоцкой. С детства Илья был влюблен в Амалию Гавронскую⁴, на которой он женился в 1903 г. и с которой проживет долгую жизнь. Большую роль в его жизни сыграют братья Амалии — особенно, Дмитрий Осипович, будущий известный философ-неокантианец, товарищ по Марбургскому университету Бориса Пастернака, любимый ученик Германа Когена, друг и биограф Эрнста Кассирера⁵.

Вместе с юным Ильей Фондаминским в этом молодежном кругу вращались отпрыски еще одного зажиточного московско-еврейского семейства — Тумаркиных. Илья, например, хорошо помнил, как в 1892 г. отправилась в Европу учиться философии его старшая приятельница Аня Тумаркина. Обучаясь сначала в Берлине под руководством Вильгельма Дильтея, а потом переехав в Берн и продолжив занятия философией под руководством Людвиг Штайна, Анна Тумаркина в 1895 г. успешно защитила диссертацию по сравнительному анализу концепций Гердера и Канта, а три года спустя получила должность приват-доцента в Бернском университете, став первой в Европе женщиной — преподавателем философии⁶.

А в 1899 г., вслед за Анной, учиться философии в тот же Бернский университет отправилась ее племянница Мария Тумаркина⁷, дочь московского ювелира, подруга детства Ильи Фондаминского. В Европе Мария Тумаркина познакомилась с русским студентом Николаем Авксентьевым, отчисленным за революционную деятельность с московского юрфака⁸, за которого впоследствии вышла замуж.

⁴ Гавронская (Фондаминская) Амалия Осиповна (1882–1835) — жена И.И. Фондаминского. В начале 1900-х гг. училась философии в университетах Германии. Активная деятельница русской эмиграции.

⁵ Гавронский Дмитрий Осипович (1883–1949) — член партии эсеров. В 1910 г. окончил философский университет Марбургского университета. Доктор философии. В 1917 г. депутат Учредительного собрания. В эмиграции — профессор философии Бернского университета.

⁶ Тумаркина Анна Павловна (1875–1951). С 1908 г. профессор философии Бернского университета. 16 февраля 2000 г., в 125-летний юбилей А.П. Тумаркиной, одна из улиц старого Берна получила название *Tumarkinweg*. В Бернском университете организована программа ANNA, в память о знаменитой женщине-философе.

⁷ Тумаркина-Авксентьева Мария Самойловна (1882–1976) — выпускница философского факультета Бернского университета. Вторым браком вышла замуж (1910) за литератора М.О. Цетлина. Парижский салон Цетлиных был одним из главных литературных центров русской эмиграции.

⁸ Авксентьев Николай Дмитриевич (1878–1943). Учился философии в Берлинском, Лейпцигском, Гейдельбергском и Галльском университетах. Доктор философии; автор книги «Сверхчеловек. Культурно-эстетический идеал Ницше» (1906). С 1907 г. — член ЦК эсеровской партии. После Февральской революции — Председатель ВЦИК Всероссийского совета крестьянских депутатов; министр внутренних дел второго коалиционного Временного правительства. После большевистского переворота — глава уфимской Директории. Активный деятель русской эмиграции.

В конце 1900 г., по примеру своих товарищей — Авксентьева, Марии Тумаркиной, Владимира Зензинова⁹, Илья Фондаминский отправился в Европу учиться именно философии — сначала в Берлинский университет, славный именами Фихте, Гегеля, Шеллинга. Вскоре, однако, обстоятельства заставили его покинуть Берлин.

В начале февраля 1901 г. один из его приятелей, Петр Карпович, приехавший в Берлин в 1899 г. после исключения из Московского, а затем Юрьевского (Тартуского) университета и ежедневно обедавший в кругу «русских берлинцев» в ресторане «Zum Franciskaner», неожиданно исчез из города. Спустя несколько дней, когда Фондаминский, Авксентьев и Зензинов проходили мимо газетного киоска, им в глаза бросилась вывешенная в витрине экстренная телеграмма: «С.-Петербург. Сегодня, на приеме у министра народного просвещения Боголепова, один из просителей произвел выстрел в министра, смертельно ранив его в шею. Преступник схвачен. Он оказался приехавшим из-за границы бывшим студентом Петром Карповичем»¹⁰.

Начавшийся в России процесс над Карповичем (тот был в итоге приговорен к 20 годам каторги) насторожил «берлинских москвичей»: «Ведь Карповича здесь видели всегда вместе с нами. И мы на всякий случай решили покинуть Берлин — благо и зимний семестр уже кончился»¹¹.

Фондаминский, Зензинов и Абрам Гоц сговорились на летний семестр 1901 г. перевестись на философский факультет Гейдельберга: «Мы остановились на Гейдельберге не только из-за Куно Фишера, историю новейшей философии которого мы прилежно изучали по его многотомному сочинению... Многие немецкие студенты предпочитали из больших душных городов на летний семестр перебираться в какой-нибудь маленький и уютный университет и тем соединять полезное с приятным»¹².

В Гейдельберге Фондаминский и Абрам Гоц жили на *Карпфенгассе*, Амалия Гавронская — совсем рядом в женском пансионе, а Зензинов — в десяти минутах ходьбы от них, в *Шеффкльхаузе*, на другой стороне Неккара. «В десять часов мы обязательно каждый день все четверо встречались — Абрам,

⁹ Зензинов Владимир Михайлович (1878–1953). Изучал философию, социологию, право в университетах Берлина, Галле и Гейдельберга. Член боевой организации эсеров, участвовал в подготовке терактов в Москве и Петербурге. После Февраля избран депутатом Учредительного собрания. После его разгона, на уфимском Государственном совещании избран членом Временного правительства. Активный деятель русской эмиграции.

¹⁰ Зензинов В.М. Пережитое. Н.-Й.: Изд-во им. Чехова, 1953. С. 78. Спустя две недели после выстрела Карповича, министр Н.П. Боголепов, бывший, при всей своей одиозности в студенческой среде, авторитетным профессором римского права, скончался в больнице от заражения крови. — *Прим. авт.*

¹¹ Зензинов В.М. Пережитое. С. 79.

¹² Там же. С. 84.

Фондаминский, Амалия и я — на лекции»¹³. После обеда кампания расходилась заниматься — или по домам, или в библиотеки: «В 4 или в 5 часов снова двухчасовая лекция — Куно Фишера: либо его классический курс по истории древней философии, где он всех древних философов цитировал наизусть, либо знаменитые толкования “Фауста” Гёте»¹⁴.

Именно в «русском кружке» в Гейдельберге с Ильей Фондаминским познакомился еще один студент из Москвы — будущий знаменитый христианский философ Серебряного века Федор Августович Степун (1884–1965), который тоже оставил мемуары: «Центром русского партийного студенчества была знаменитая гейдельбергская читальня, помещавшаяся под крышей темноватого, трех или четырехэтажного дома на *Merzigasse*... В небольшой комнате, небрежно увешанной портретами русских писателей и “борцов за свободу”, сидели, осторожно шурша тонкою бумагою конспиративных изданий, какие-то сплошь хмурые люди... В двух задних комнатах, заваленных книгами в истрепанных дешевых переплетах и, главным образом, журналами, курило несколько, по всей своей культурно-бытовой сущности совершенно инородных мне молодых людей... С течением времени мы с братом и вся наша компания беспартийных москвичей сблизились с такою чуждой поначалу средой западно-русского социалистического еврейства, но совсем своими мы в этой среде так до конца и не стали»¹⁵.

В 1903 г. Фондаминский женился на Амалии Гавронской: в качестве приданого он, сам человек небедный, получил, помимо крупной денежной суммы, еще и долю в чайных плантациях семьи Высоцких на Цейлоне. А в конце 1904 г. он, с философским дипломом Гейдельберга, вернулся в Москву и вскоре вошел в руководство эсеров, где, как искусный оратор, быстро выдвинулся. В 1905 г. он был кооптирован в ЦК, принял участие в организации московского декабрьского вооруженного восстания, покупая на личные средства крупные партии оружия.

Весной-летом 1906 г. Фондаминский — один из ярких критиков «слева» либерально-кадетской Первой Государственной думы. В те месяцы он, выступавший с докладами и в печати под псевдонимом «Бунаков»¹⁶, начал проявлять интерес к религиозно-философской проблематике, регулярно навещаясь, например, в редакцию журнала «Новый путь», издаваемого супругами Дмитрием Мережковским и Зинаидой Гиппиус, будущими близкими приятелями по эмигрантскому Парижу.

¹³ Там же. С. 86.

¹⁴ Там же. С. 87.

¹⁵ *Степун Ф. А.* Бывшее и несбывшееся. СПб.: Алетей, 2000. С. 90.

¹⁶ Фондаминский как-то признался, что ставший знаменитым псевдоним «Бунаков» он выбрал абсолютно случайно: направляясь на один из московских митингов, где ему предстояло выступать, увидел на Маросейке яркую вывеску с именем владельца. — *Прим. авт.*

После поражения первой революции Фондаминский, вместе с женой Амалией Осиповной, отправился в их первую парижскую эмиграцию, которая продлилась с 1907 по 1917 гг. По свидетельству очевидцев, он в те годы погрузился в теоретическую работу, собрал огромную библиотеку по русской истории, став одним из лучших специалистов по земельному вопросу.

После Февраля он вернулся в Россию, где вскоре был избран заместителем председателя Исполкома Совета крестьянских депутатов. Летом 1917 г., когда Авксентьев стал министром внутренних дел во Временном правительстве эсера Керенского, их соратник по партии Фондаминский был направлен главным комиссаром на Черноморский флот, где, завоевав авторитет среди матросов и офицеров, некоторое время успешно противостоял «большевизации» флота. На выборах во Всероссийское Учредительное собрание Черноморский флот дал эсерам вдвое больше голосов, чем большевикам, а сам Бунаков-Фондаминский был избран депутатом¹⁷.

В ходе единственного заседания Учредительного собрания в ночь с 5 на 6 января 1918 г. в Таврическом дворце в Петрограде депутат Фондаминский, выступая с трибуны, едва избежал смерти. Его друг, секретарь Учредительного собрания М.В. Вишняк, вспоминал: «С секретарского места, лицом к залу, можно было видеть, как вооруженные люди, чтобы скоротать время, для развлечения, вскидывали винтовку и брали “на мушку” кого-нибудь из находящихся на трибуне... Ружья и револьверы грозили ежеминутно “сами” разрядиться, ручные бомбы и гранаты — “сами” взорваться. Какой-то матрос, признав в Бунакове-Фондаминском бывшего комиссара черноморского флота, без долгих размышлений тут же у трибуны взял наизготовку ружье. И только исступленный окрик случайного соседа: “брат, опомнись!”, сопровождаемый ударом по плечу, остановил шалого матроса»¹⁸.

После разгона Учредительного собрания Фондаминский — активный член подпольного «Союза возрождения», а в начале апреля 1919 г. он, вместе с женой, отправился в их вторую французскую эмиграцию. В Париже он стал одним из соредкторов самого авторитетного русского журнала «Современные записки», в котором с 1920 по 1940 гг. публиковался «весь цвет» русской эмиграции. А в 1931–1939 гг. Фондаминский, вместе с Г.П. Федотовым и Ф.А. Степуном, издавал одновременно христианско-демократический журнал «Новый град».

В 1935 г. умерла Амалия Осиповна; в том же году Илья Исидорович вместе с философом Николаем Бердяевым и матерью Марией (Скобцовой), стал одним из основателей объединения «Православное дело».

¹⁷ *Островская И.В.* Выборы во Всероссийское Учредительное Собрание: Севастополь, сентябрь-декабрь 1917 г. // Причерноморье. История, политика, культура, 2018, № 24. С. 67–73; *Зензинов В.М.* Памяти И.И. Фондаминского-Бунакова. С. 313.

¹⁸ *Вишняк М.В.* Всероссийское учредительное собрание. М.: РОССПЭН, 2010. С. 204.

В июне 1940 г. он уехал из Парижа от наступающих немецких войск в неоккупированную зону. После нападения нацистской Германии на СССР Фондаминский был арестован и, вместе с многими другими русскими, содержался в лагере Компьен, где читал заключенным лекции по истории России¹⁹.

20 сентября 1941 г., после всенощной службы под праздник Рождества Богородицы, священник Константин Замбрицкий (настоятель Свято-Троицкого храма в Клиши, сам находившийся в заключении) тайно крестил Фондаминского в православной часовне, устроенной в одном из барачков. По свидетельству крестного отца Фондаминского, Ф.Т. Пьянова, тот был вдохновлен и радостен, чувствовал себя удивительно спокойным, веселым и счастливым, был готов и на жизнь и на смерть, поскольку познал, «что такое благодать»²⁰.

В 1942 г. Илья Фондаминский был отправлен в пересыльный лагерь Дранси, а затем в Освенцим, где и погиб 19 ноября 1942 г. В 2004 г. Священный Синод Константинопольского Патриархата канонизировал имя «мирянина-мученика Илии Фондаминского» (день памяти в Православной Церкви — 20 июля).

Летописец русской эмиграции, В.С. Варшавский, написал в своей книге «Незамеченное поколение»: «Эсер, один из последних эпических героев русского Освободительного движения, Фондаминский всегда всем жертвовал идее... В эмиграции его мирозерцание становится все более религиозным. Он крестился накануне смерти, но уже задолго до того всем сердцем своим принял христианство... Все, кто встречал Фондаминского в последние годы перед войной, чувствовали, что этот апостольский энтузиазм и интеллигентский героизм без малейшего внутреннего противоречия соединялись в его сердце с христианским подвижничеством... Сама смерть Фондаминского была одновременно и смертью борца-революционера и смертью христианского мученика, безропотно и бесстрашно предстоящего перед палачами»²¹.

«Пути России» в контексте мировой истории

Начиная со второго номера парижских «Современных записок»²² (конец 1920 г.), организатор и соредaktor журнала И.И. Фондаминский начинает печатать под псевдонимом «И. Бунаков» цикл статей-очерков под общим названием «Пути России», публикация которых растянется вплоть до

¹⁹ Полторацкая А.Н. Дневниковые записи Василия Сухомлина // Дом князя Гагарина: сборник научных статей и публикаций. Одесса, 2007, вып. 4. С. 224.

²⁰ Гаккель С., свящ. Мать Мария (2-е изд). Париж: YMCA-Press, 1992. С. 203. Из лагеря Фондаминский сумел передать записку, в которой писал: «Пусть мои друзья обо мне не беспокоятся. Скажите всем, что мне очень хорошо. Я совсем счастлив. Никогда не думал, что столько радости в Боге» (там же).

²¹ Варшавский В.С. Незамеченное поколение. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956. С. 287–288.

²² Бунаков И. Пути России. Статья первая Современные записки. 1921, кн. II. С. 141–177.

последнего, семидесятого, номера журнала, вышедшего в 1940 г. уже в разгар второй мировой войны. Всего с 1920 по 1940 гг. увидели свет семнадцать больших очерков Бунакова из этого беспрецедентного по объему и глубине историософского проекта²³.

Как у большинства русских теоретиков-эсеров, принципиально отрицавших «западоцентризм» в осмыслении исторического процесса, в центре внимания И.И. Бунакова-Фондаминского — многообразие путей развития человечества. «Мы многого еще не знаем о культурах прошлого, как не можем знать о потенциале развития тех или иных культур в будущем», — пишет он в одной из первых статей цикла²⁴.

«Еще большее впечатление, чем открытие древних цивилизаций, — продолжает Бунаков, — произвело на Европу пробуждение старых культур Азии. Народы, уже давно отданные европейской наукой в ведение этнографии, оказались носителями глубокой и живой культуры, почти ничем не похожей на европейскую. Европейская культура — и в пространстве, и во времени — оказалась одной, хотя из немногих, но равных»²⁵.

«Какая выше, какая прекрасней? — задается вопросом автор. — На этот вопрос научный ответ почти невозможен. Историческая пирамида человечества, с таким искусством возведенная наукой XIX в., рассыпалась почти без остатка. Человечество в своем историческом шествии идет не по прямой линии и не в одном направлении. История не знает восходящей лестницы прогресса. Человечество подымается на большие высоты, снова спускается и снова начинает тяжкий путь восхождения. И где высший пункт восхождения — неизвестно»²⁶.

Бунаков уверен: «Нет единого человечества. Оно не дано, оно духовно “задано”. Создастся ли — дело веры и духовного прозрения... Путь развития культур глубоко индивидуален... Многие явления, которые рассматривались как фазы общечеловеческого развития, оказываются выражением местной культуры — случайным эпизодом человеческой истории. И наоборот, громадные культурные явления — в особенности культур Востока, — не укладывающиеся в “схемы развития”, рассматривались как местные “особенности”»²⁷.

Подлинная история человечества, полагает Бунаков, протекает иным образом: «Культурные волны распространяются, покрывают друг друга,

²³ См.: *Kara-Murza A. A. Between East and West: Russian Identity in the Émigré Writings of Ilya Fondaminsky and Semyon Portugeis // The Palgrave Handbook of Russian thought* (ed. M. Bykova, M. Foster, L. Steiner). L., 2021, ch. 14.

²⁴ Бунаков И. Пути России. Статья четвертая // *Современные записки*, 1922, кн. XII. С. 170.

²⁵ Там же.

²⁶ Там же.

²⁷ Там же.

перекрещиваются, смешиваются. И в результате культурных движений создаются области более или менее однородной культуры — «культурные округа» человечества, которые, подымаясь над границами рас, языков и народов, связуют друг с другом отдельные государственные образования и создают между ними общность жизненных форм и взглядов»²⁸.

Выдвигая идею *культурных округов человечества*, Бунаков явно следует в русле теории «культурно-исторических типов» Н.Я. Данилевского²⁹: «Культурные округа имеют свои формы хозяйства, государства, религии, материального и духовного быта, даже собственные «лестницы развития». Но и в пределах этих культурных округов далеко не все культурные формы однородны и распространение их далеко не непрерывно. Человечество слишком подвижно, и история его так многообразна. И все-таки только в «округах», в этих культурных единствах, глубоко индивидуальных и неповторяемых, можно искать тайну рождения сложных и загадочных явлений истории»³⁰.

Парижская эмиграция, по преимуществу «западнически» настроенная, недооценила, при всем большом уважении лично к автору, философско-историческую концепцию Бунакова-Фондаминского. Достаточно привести фрагмент из рецензии известного литератора Марка Алданова (М.А. Ландау) в либеральных «Последних новостях» П.Н. Милюкова: «В статьях И.И. Бунакова проявляется несомненная тенденция сопоставлять цивилизации Западной Европы и Востока как приблизительно равноценные. С этим очень трудно согласиться... Видел я некоторые столицы восточно-азиатских и северо-африканских стран и, признаюсь, мне очень трудно понять ту выдуманную в профессорских кабинетах теорию, которая с некоторого птичьего полета приравнивает эти «мировые центры» к Парижу и древним Афинам. Право, при оценке исторических цивилизаций не мешало бы установить какой-нибудь критерий, независимый от численности населения и от величины территории, подпавших под влияние данной цивилизации. Иначе мы всерьез придем к тому выводу, что современный Китай — первая страна на свете»³¹.

Между тем главный объект внимания Бунакова-Фондаминского — историческая Россия. Свое исследование ее цивилизационного пути автор начинает с критики односторонностей исторической науки: «Русская историческая наука — дитя западной. Как вся западная наука второй половины

²⁸ Там же. С. 170–171.

²⁹ Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. М.: Ин-т русской цивилизации, 2008.

³⁰ Бунаков И. Пути России. Статья четвертая. С. 171.

³¹ Алданов М. (М.А. Ландау). «Современные записки». Ежемесячный общественно-политический и литературный журнал. Книга 2 // Последние новости, Париж, 1921, 3 февраля, № 242. С. 3.

19-го века, она ищет последние причины исторических событий и видит их во внешних явлениях: природе, хозяйстве, военных нашествиях. Она недооценивает явлений духа. Она не стремится проникнуть в душу народа и не ощущает тайны его индивидуальности... Она строит Россию на фоне Запада... Восток остается скрытым в тумане и почти сливается с “природой”... Современная историческая наука требует иного построения. Надо вдвинуть Россию в мировую историю»³².

Уже сама пространственно-географическая рамка, в которой Бунаков-Фондаминский предлагает анализировать «пути России», крайне необычна для русской историософии XIX–XX вв. «Великий северный материк — Евразия, — пишет автор, — выходит в окружающий его со всех сторон океан глубокими выступами: на северо-востоке — большим полуостровом, конечные части которого составляют полуострова Чукотский и Камчатка, на юге — полуостровами Индокитайским, Индостаном и Аравийским, на западе — полуостровом западноевропейским. Все великие цивилизации — за исключением цивилизации египетской — родились и достигли своего расцвета на этом материке... Борьба цивилизаций восточных и западных, Востока и Запада, есть борьба великого северного континента с его западным полуостровом»³³.

Согласно Бунакову, уникальное географическое положение Западной Европы предопределило ее историко-культурную динамику: «Западно-европейский полуостров точно купается в окружающей его морской стихии. Его “береговое кружево” удивительно тонко и узорчато... Климат здоровый, крепкий, возбуждающий энергию... Население деятельное, предприимчивое, влюбленное в “мир”, напрягающее свою волю на формирование “явлений”... Природа, история и культура сделали из западноевропейского полуострова мировую фабрику, мировую торговую и банкирскую контору»³⁴.

Что касается России, то ее пространственную локализацию Бунаков очерчивает следующим образом: «На востоке от западноевропейского полуострова, приблизительно по линии, идущей от устья Немана до устья Дуная, в глубь материка разворачивается великая северная равнина (выделено мной. — А.К.). На всем земном шаре нет равной или приближающейся к ней по необъятности. Она тянется на многие тысячи верст с запада на восток вплоть до реки Енисей и с севера на юг от Белого до Черного моря и от берегов Ледовитого океана до гор Гиндукуша»³⁵.

³² Бунаков И. Пути России. Статья седьмая // Современные записки, Париж, 1927, кн. XXXII. С. 229.

³³ Бунаков И. Пути России. Статья третья (начало) // Современные записки, 1921, кн. VII. С. 237.

³⁴ Там же. С. 237–238.

³⁵ Там же. С. 238.

Согласно Бунакову, ««история земли» была удивительно спокойной на этой части земного шара... Море и ледники выгладили легкие шероховатости поверхности. Лишь по середине великой равнины проходит легкая складка земной коры — Уральский хребет. Фантазия истории, произвольно чертившая линию раздела между «Европой» и «Азией», придала этому хребту характер какой-то таинственной значительности. На самом деле географическое значение Уральского хребта ничтожно... Великая северная равнина и географически, и исторически — единое целое»³⁶.

Фактически, говоря о геокультурной идентичности России, Фондаминский отходит от привычной системы координат «Запад-Восток» или «Европа-Азия», и предпочитает говорить о «*России как Севере*»: «Великая северная равнина лежит на берегу Ледовитого океана. Западные европейцы — в ту эпоху, когда Россия еще не была «открыта», — говорившие о таинственной стране, лежащей на берегах Ледовитого океана, были недалеко от истины. Лишь недоступность Ледовитого океана для плавания и торговых сношений заставляет забывать, что береговая линия Северной равнины и раскинувшегося на ней русского государства далеко не так мала. Трагедия России не только в том, что это самая «континентальная» страна на свете, что ее жизненные пункты отстоят на тысячу верст от морского берега. Трагедия России в том, что ее «береговое кружево» сковано льдами Ледовитого океана, что великие русские реки несут свои воды в этот «мертвый» океан»³⁷.

Погружая историю России в этот пространственный контекст, Бунаков-Фондаминский выдвигает оригинальную концепцию российской цивилизации как «*Востока на Севере*». По его мнению, «русские историки, в своих научных построениях, восстанавливали государственное здание Российской Империи по западным образцам: клали в основу классы и сословия, над ними воздвигали государственные учреждения и всё здание заключали императорской властью. Но такое построение — только иллюзия западного отблеска на имперском здании»³⁸.

В действительности, полагает Бунаков, «русское здание» строилось не так: «Как Бог творит мир из себя, так и его земной наместник «сам строит» свое царство — народ только глина в руках строителя. В Российской Империи классы, сословия и государственные учреждения — творения царя. Собственного бытия они не имеют. Если многим это казалось иначе, то только потому, что русские императоры два века старались покрыть свои государственные творения формами, взятыми с Запада и к другому порядку вещей принадлежащими»³⁹.

³⁶ Там же. С. 238–239.

³⁷ Там же. С. 239.

³⁸ Бунаков И. Пути России. Империя IV // Современные записки, Париж, 1933, кн. LII. С. 310.

³⁹ Там же.

По мнению Бунакова, Московское царство надо прежде всего сопоставлять с «великими восточными теократиями»: «Почему Московское царство так мало походит на государства Запада и так удивительно напоминает монархии Востока? Почему, военное по форме, оно многими чертами своего строения сливается с мирным царством древнего Египта? Ответ может быть один: Московское царство — *восточное*. Оно имеет свои черты лица, свою индивидуальность, свой стиль, но оно входит в высшее единство — культурный округ Востока — и несет на себе печать его духовного облика»⁴⁰.

И дело тут не в отдельных заимствованиях и подражаниях: «Дело в общности духовной атмосферы, в общих путях исторической жизни. Весь строй народной души Московского царства — восточный, и весь стиль его культуры — с Востока. Православное Московское царство — *великая восточная теократия*. Как во всех восточных теократиях, вся жизнь Московского царства пронизана религией и верой в Бога. Нет автономного государства, хозяйства, права, нравственности, искусства и быта... Служение Богу и его земному наместнику — царю и есть основное начало московской жизни»⁴¹.

Бунаков отмечает, что в западной историографии «русские смуты» обычно приводятся в качестве доказательств «неустойчивости государственная строя»: «Но, на самом деле, они доказывают противное. Ибо что такое “смута” в глазах московских людей? И во имя чего московские люди поднимались? Смута — когда московские люди были “безгосударны”. И всегда они поднимались во имя Бога и государя»⁴².

В своих «Пути России» И.И. Бунаков-Фондаминский неоднократно отмечает, что вплоть до реформ Петра «Московия» фактически мало отличалась от других азиатских государств: «Как в государствах Востока — Индии, Китая, Японии, — в Московской России выработалась гордая национальная самоуверенность, непоколебимое сознание своего превосходства над всеми другими народами... Московское государство всячески ограничивало доступ иностранцев в свои пределы, лишь в исключительных случаях разрешало своим подданным выезд в чужие страны и принимало все меры к тому, чтобы сохранить свой национальный строй нетронутым»⁴³.

Только с XVIII в. западная цивилизация начинает распространяться в России: Северная Евразия «решительно отворачивается от Востока и обращается к Западу. Петра Великого, совершившего этот переворот, считают самым большим русским гением...»⁴⁴ Однако реформы Петра — «только западный отблеск на старом восточном лице московской России»: «Подлинные

⁴⁰ Там же.

⁴¹ Бунаков И. Пути России. Статья седьмая. С. 229–230.

⁴² Там же. С. 231.

⁴³ Бунаков И. Пути России. Статья вторая. С. 277.

⁴⁴ Там же. С. 277–278.

черты лица изменились мало... Приказывая все делать с примеру сторонних чужих земель, Петр Великий, в государственном строительстве, поступал осторожно и с разбором: брал для постройки из европейских образцов то, что «с ситуацией сего государства сходно»⁴⁵.

Аналогичным образом обстояло дело и при Екатерине: «Екатерина Великая — человек Запада... Как и большинство просвещенных западных людей её времени, она была равнодушна к религии и, если допускала существование Бога, то по Вольтеру, как Творца вселенной... Но Екатерина была умной женщиной и имела талант властвования... Как всякая власть в мире, так и российская императорская могла держаться только на душах людей. Души же русских людей, в её время, за малыми исключениями, были крепко православными. Вот почему еще задолго до вступления на престол, только в предвидении такой возможности, она, с обычной своей решительностью, мужественно преодолела свое религиозное безразличие и ревностно принялась за изучение православного закона; а когда взошла на престол, строго вела себя так, как подобает благочестивой и православной государыне»⁴⁶. Иначе говоря, «в государственном строительстве России, метод Екатерины — метод Петра: строить новое западное государство, не трогая старых восточных основ»⁴⁷.

Подлинная европеизация Северной империи, по мнению Бунакова, начинается только с эпохи Великих реформ Александра II: «Западная цивилизация начинает медленно, но неуклонно, спускаться в низы народа. Падают московские устои народной жизни — крепостная неволя, тягло и рекрутчина. Западные взгляды на мир, государство и личность постепенно проникают в народное сознание»⁴⁸. «Но не надо себя обманывать,—продолжает Бунаков.— Переход от восточной священной теократии к западному правовому государству — спуск среди круч и пропастей. Перелив западной культуры в восточное народное сознание — операция, еще более мучительная и опасная... Западные идеи, проникая в восточное сознание, создают еще невиданную и часто взрывчатую смесь»⁴⁹.

Еще накануне Первой мировой войны, согласно Бунакову, «в низах народной жизни — в быту, хозяйстве и сознании — непочатые пласты Востока и Москвы»: «Европа сюда как будто бы и не заглядывала. Когда революция раскрыла народные недра, эти пласты поднялись наверх. Вот почему Великая российская революция многими своими чертами так удивительно

⁴⁵ Бунаков И. Пути России. Империя I // Современные записки. 1932, кн. XLVIII. С. 305–306.

⁴⁶ Там же. С. 313–314.

⁴⁷ Бунаков И. Пути России. Империя V // Современные записки, Париж, 1933, кн. LIV. С. 281.

⁴⁸ Бунаков И. Пути России. Империя I. С. 324.

⁴⁹ Там же.

напоминает старый московский бунт — «бессмысленный и беспощадный». Вот почему современное советское государство, вышедшее из революции, так странно походит на старое крепостное Московское царство. И революция, и советское государство только по-западному задуманы — выведены и сколочены они по восточному и из наполовину восточных материалов»⁵⁰.

Гибель Империи: «Орден интеллигенции» против теократической государственности

В 1931 г. в Париже вышел первый номер журнала «Новый град», который стал плодом тесного интеллектуального сотрудничества трех «золотых перьев» русской эмиграции — Ильи Фондаминского, Федора Степуна и Георгия Федотова. Фондаминский-Бунаков был представлен на этой «премьере» принципиальной статьей «Пути освобождения», написанной на основе некоторых переработанных текстов из «Современных записок» и новых материалов и размышлений⁵¹.

Главной мишенью Бунакова-Фондаминского в «Пути освобождения» является западническое «клише», будто «русская императорская власть была властью тиранической и основанной на насилии и угнетения народа»⁵². На это Бунаков возражает: «Не надо забывать, что императорская Россия вплоть до второй половины 19 века — а вернее вплоть до его конца была Россией “средневековой”. Вся жизнь снизу и доверху была суровой и мрачной. Императорская власть была не более жестокой, чем власть крестьянина в его семье»⁵³.

Под «тиранической, основанной на насилии властью», — рассуждает далее Бунаков, — надо понимать другое — «власть, ненавистную народу, утверждающую себя против его воли»: «Но этого не было в императорской России. Было обратное — императорская власть управляла с молчаливого согласия народа, окруженная его любовью и благоговением. Для народа Император оставался тем же, чем был московский царь — Помазанником Божиим, его наместником на земле»⁵⁴.

Чем же тогда объяснить бунты и восстания, не прекращавшиеся во весь императорский период? — задается вопросом Бунаков. И отвечает: «Конечно, положение народа было тяжкое, и тяжесть положения вызывала недовольство. Но это недовольство никогда не было направлено против самодержавной власти, и в особенности против ее носителя. Напротив, когда народ восставал, он восставал в защиту законной власти против ее врагов

⁵⁰ Там же. С. 325.

⁵¹ См.: Бунаков И. Пути освобождения // Новый град, Париж, 1931, № 1. С. 31–48.

⁵² Там же. С. 32.

⁵³ Там же.

⁵⁴ Там же.

или в защиту подлинного царя против подменного. Государственная идеология восставших и подавлявших восстание была всегда тождественной»⁵⁵.

Действительно, «против кого восставали сторонники Пугачева? В чье имя? — Против узурпировавшей императорскую власть Екатерины II — во имя законного императора Петра III»⁵⁶. «Только твердо укрепившись в вере, что перед ними — истинный, подлинный, законный государь, шли к нему (Пугачеву. — А.К.) имперские люди — казаки и крестьяне, заводские и помещицы, и священники с церковным причтом, и даже офицеры-дворяне. Шли с любовью и радостью, обливаясь слезами, с хоругвями и крестами и колокольным звоном. Шли не как бунтовщики и разбойники против освященной власти, а как верноподданные рабы, по прежней своей присяге, под скипетр и корону законного государя преклонившиеся»⁵⁷.

О глубочайшей вере русского человека в помазанника-царя свидетельствовало, по мнению Бунакова и т.наз. «восстание декабристов» 14 декабря 1825 г.: «Для нашей левой общественности, декабрьское восстание — начало открытой борьбы русского народа с самодержавием. Но это историческая иллюзия. На самом деле было иное. Несколько сот гвардейских офицеров, увлеченных свободолюбивыми идеями Запада, охваченных воспоминаниями о греческой и римской республиканской доблести, решили сделать попытку захватить власть, чтобы установить в России свободный государственный строй. Ни народ, ни армия не слышали об этом и намека»⁵⁸.

«Чтобы увлечь за собой народ и армию, — продолжает Бунаков, — заговорщики воспользовались междоусобицей. Никто не знал точно, кто законный царь: Константин, которому уже присягали, или Николай, которому надо снова присягать. На святости присяги и построена была вся стратегия заговора... Два царя, две присяги — трагедия верности царю и присяге, и ни тени протеста и возмущения против власти: вот что такое в глазах русского народа декабрьское восстание»⁵⁹.

И, наконец, последний пример — уже из последней трети XIX в.: «Народники-революционеры идут в народ, чтобы поднять его против самодержавной власти. Народ видит в них врагов царя — дворян, вставших на царя за крестьянское освобождение; и выдает их власти»⁶⁰.

...Итак, «Империя ширилась, хозяйственно крепла, имела большой международный престиж, опиралась на любовь и преданность народа и... тем не менее,

⁵⁵ Там же. С. 33.

⁵⁶ Там же.

⁵⁷ Бунаков И. Пути России. Империя II (начало) // Современные записки, Париж, 1932, кн. XLIX. С. 292.

⁵⁸ Бунаков И. Пути освобождения. С. 33.

⁵⁹ Там же.

⁶⁰ Там же. С. 34.

рассыпалась в прах. Почему?»,— задает вопрос Бунаков. И отвечает: «Потому что “сознание разошлось с бытием”. Потому что душа народа ушла от Империи»⁶¹.

Начало этого «исхода народной души» из тела громадной Империи Бунаков видит в единичном, малозначимом, на первый взгляд, факте: «В царствование Екатерины, в Европу — Лейпциг — была послана группа молодых дворян учиться западной науке... Радищев вернулся в Россию, зажженный идеями западного Просвещения — права, личности и свободы. И все, в блестящей Российской Империи, показалось ему ненавистным и мрачным — императорское самовластие, крепостное право, нищета и унижение народа»⁶².

«Душа моя страданиями человечества уязвлена стала»,— цитирует Бунаков Радищева: «И зажженная светом новой истины душа Радищева ушла от Империи. Отблеском этого света и была его знаменитая книга “Путешествие из Петербурга в Москву”. Книга Радищева произвела на Екатерину громадное впечатление: “тут рассеяние французской заразы: отвлечение от начальства; автор Мартинист... он бунтовщик хуже Пугачева”»⁶³.

И Екатерина была права,— подтверждает Бунаков: «Радищев был опаснее для Империи, чем Пугачев. Пугачев поднял бунт “бессмысленный и беспощадный” и потому бесплодный; Радищев положил начало освободительному движению, закончившемуся взрывом Империи: его книга — первая трещина в грандиозном здании императорской России»⁶⁴.

Именно с Радищева, согласно Бунакову, начинается русское освободительное движение: «Душа от души, точно свеча от свечи, зажигается светом новой истины и уходит от Империи. Сначала это одинокие души, бродящие в грандиозной Империи, как в пустыне. Потом они сходятся в небольшие группки, кружки и, наконец, объединяются в *духовный орден русской интеллигенции* (курсив мой. — А.К.), наружно незримый и даже тайно не оформленный»⁶⁵.

С внешней стороны в Империи практически ничего не меняется: «Рыцари ордена ведут мирный образ жизни, как будто ничем не отличный от окружающего; только немногие и не всегда самые доблестные становятся заговорщиками и революционерами. В громадном большинстве, члены ордена — люди высших классов, почти без исключения — военные и чиновники. И, тем не менее, перемена громадная: в теле Империи родилось новое чужеродное ей тело; в теократическом крепостном царстве создан духовный круг свободы»⁶⁶.

«Люди Ордена» постепенно разлагают Империю изнутри: «Империя чувствует грозящую ей опасность и ведет с ними беспощадную борьбу. Но

⁶¹ Там же. С. 35.

⁶² Там же. С. 36.

⁶³ Там же.

⁶⁴ Там же. С. 36–37.

⁶⁵ Там же. С. 37.

⁶⁶ Там же.

борьба эта почти безнадежна. Каждый новый удар Империи по Ордену — новая победа Ордена. Сковывая свободное выражение слова, Империя подымает творческое духовное напряжение на такую высоту, которая при иных условиях была бы невозможной. Преследуя орденских людей, она создает из них героев и мучеников. Отправляя их в изгнание, она разносит духовную заразу по стране. Посылая на виселицу, наносит себе непоправимые удары...»⁶⁷

Парадокс, но именно в царствование Николая I, «когда вся Империя представляла собою “гранитный лагерь”, когда всякое свободное дыхание беспощадно пресекалось, организация Ордена была уже закончена, и победа predetermined»: «Все духовные высоты русского образованного общества были Орденом заняты, все живые талантливые люди были в его рядах. Для полной победы оставался последний подвиг: увести от Империи души людей из народа»⁶⁸.

В 1920–1930-е гг. в «Современных записках» И.И. Бунаков-Фондаминский неоднократно отмечал, что решающий удар по десакрализации русской теократии нанесла первая русская революция, а затем мировая война: «Еще в 1905 году, — по свидетельству большевицких агитаторов, — о царе в деревне надо было говорить с величайшей осторожностью. Народ еще любил царя, хотя уже и начал в нем сомневаться. В период между первой революцией и войной таяние царелюбия шло неудержимо. Во время войны душа народа ушла от царя окончательно. Вместе с царелюбием пала основная опора императорской власти. Российская Империя стояла перед надвигающейся революцией беспомощной»⁶⁹.

Об этом же Бунаков напишет и в своих «Путих освобождения» в «Новом граде»: «К началу Великой войны подвиг (Ордена интеллигенции. — А.К.) окончен: души уведены. Грандиозная Империя обездушена. Это — сухой покров, изнутри пустой. При первом столкновении он рассыпался в прах...»⁷⁰

Историософская концепция И.И. Бунакова-Фондаминского, которая современниками была определена как «нео-славянофильская»⁷¹, еще нуждается в подробном анализе и новом осмыслении. В любом случае, очевидно, что философско-историческое наследие этого человека — мыслителя-энциклопедиста, политического борца и христианского новомученика — заслуживает безусловного внимания и уважения.

⁶⁷ Там же.

⁶⁸ Там же. С. 37–38.

⁶⁹ Бунаков И. Пути России. Империя I.C. 333.

⁷⁰ Бунаков И. Пути освобождения. С. 38.

⁷¹ См. напр., авторитетное рассуждение выдающегося эмигрантского богослова и исследователя православной культуры Николая Михайловича Зёрнова (1898–1980) в: «За рубежом». Белград — Париж — Оксфорд (хроника семьи Зерновых) (1921–1972) (ред. Н.М. и М.В. Зёрновы). Париж: YMCA-Press, 1973. С. 125.

Литература

- Алданов М. «Современные записки». Ежемесячный общественно-политический и литературный журнал. Книга 2 // Последние новости, Париж, 1921, 3 февраля, № 242. С. 3.
- Бунаков И. Пути освобождения // Новый град. 1931. № 1. С. 31–48.
- Бунаков И. Пути России. Статья первая // Современные записки. 1921, кн. II. С. 141–177.
- Бунаков И. Пути России. Статья третья (начало) // Современные записки. 1921, кн. VII. С. 237–260.
- Бунаков И. Пути России. Статья четвертая // Современные записки. 1922, кн. XII. С. 164–210.
- Бунаков И. Пути России. Статья седьмая // Современные записки. 1927, кн. XXXII. С. 216–278.
- Бунаков И. Пути России. Империя I // Современные записки. 1932, кн. XLVIII. С. 304–333.
- Бунаков И. Пути России. Империя II (начало) // Современные записки. 1932, кн. XLIX. С. 289–317.
- Бунаков И. Пути России. Империя IV // Современные записки. 1933, кн. LI. С. 310–338.
- Бунаков И. Пути России. Империя V // Современные записки. 1934, кн. LIV. С. 281–316.
- Варшавский В. С. Незамеченное поколение. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1956. 384 с.
- Вишняк М. В. Всероссийское учредительное собрание. М.: РОССПЭН, 2010. — 448 с.
- Гаккель С., свящ. Мать Мария (2-е изд.). Париж: YMCA-Press, 1992. — 279 с.
- Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. М.: Институт русской цивилизации, 2008. — 816 с.
- «За рубежом». Белград — Париж — Оксфорд (Хроника семьи Зёрновых). (1921–1972) (ред. Н. М. и М. В. Зёрновы). Париж.: Имка-пресс, 1973. — 561 с.
- Зензинов В. М. Памяти И. И. Фондаминского-Бунакова // Новый журнал, Нью-Йорк, 1948, кн. 18. С. 299–317.
- Зензинов В. М. Пережитое. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953. — 416 с.
- Кара-Мурза А. А. Российский путь цивилизационного развития: «преемственность через катастрофы» (памяти В. М. Межуева) // Полилог, 2020, т. 4, № 3 [Электронный ресурс].
- Островская И. В. Выборы во Всероссийское Учредительное Собрание: Севастополь, сентябрь-декабрь 1917 г. // Причерноморье. История, политика, культура, 2018, № 24. С. 67–73.
- Полторацкая А. Н. Дневниковые записки Василия Сухомлина // Дом князя Гагарина: сборник научных статей и публикаций. Одесса, 2007, вып. 4. С. 220–233.
- Степун Ф. А. Бывшее и несбывшееся. СПб.: Алетейя, 2000. — 651 с.
- Kara-Murza A. A. Between East and West: Russian Identity in the Émigré Writings of Ilya Fondaminsky and Semyon Portugeis // The Palgrave Handbook of Russian thought (ed. M. Bykova, M. Foster, L. Steiner). L, 2021. Ch. 14.

ПОЭТ-ФИЛОСОФ ИВАН ОРЕУС-КОНЕВСКОЙ — КУЛЬТОВАЯ ФИГУРА «РУССКОГО СЕВЕРЯНСТВА» СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

*Свисаю с вагонной площадки,
прощайте,
Прощай мое лето,
пора мне...*

(Андрей Вознесенский,
«Осень в Сигулде», 1961)

8 июля 1901 г. в лифляндском городке Зегевольд (ныне латвийская Сигулда) трагически погиб 23-летний русский поэт Иван Иванович Ореус (литературный псевдоним «Ив. Коневской»). «Он сыграл у нас ту же роль, что Рембо в конце 60-х годов во Франции», — написал об Ореусе-Коневском литературовед-эмигрант Е.В. Аничков¹. Ему вторит современный знаток творчества Коневского Е.И. Нечепорук: «Поэтическую культуру русского символизма невозможно постичь без И. Коневского, как французскую — без Ш. Бодлера, английскую — У.Б. Йитса, немецкую — С. Георге, австрийскую — Г. фон Гофмансталя»².

Действительно, имя Ореуса-Коневского, его завораживающая поэзия, обстоятельства гибели, наконец, его романтическая могила на крутом берегу речки Аа (Гауя) — стали поистине культовыми феноменами русского Серебряного века, оказали влияние на Валерия Брюсова, Александра Блока, Юргиса Балтрушайтиса, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака. Так случилось, что в создании «культы Коневского» заметную роль довелось сыграть моему родному деду (по отцу), Сергею Георгиевичу Карамурзе (1878–1956) — выпускнику юридического факультета Московского Императорского университета, литературному и художественному критику и мемуаристу. Однако обо всем по порядку...

Иван Иванович Ореус-младший родился 19 сентября 1877 г. в Санкт-Петербурге в обрусевшей шведско-финской семье. Его прадед — Максим Ореус, сын лютеранского пастора, был выборгским, а затем финляндским губернатором; дед, Иван Максимович — Директором Государственного заемного банка и действительным тайным советником. Отец Коневского — Иван

¹ Аничков Е. Новая русская поэзия. Берлин: Изд-во И.П. Ладыжникова, 1923. С. 10.

² Нечепорук Е. «О слово вещее, слово — сила...». О творчестве Ивана Коневского // Коневской (Ореус) И.И. Мечты и думы. Стихотворения и проза. Томск: Водолей, 2000. С. 3.

Иванович Ореус окончил школу гвардейских подпрапорщиков, затем Николаевскую академию Генерального штаба. В 1863 г. был назначен начальником Военно-исторического архива Генштаба и оставался в этой должности более сорока лет, дослужившись до чина генерала от инфантерии (второй класс Табели о рангах, соответствующий действительному тайному советнику). Мать Коневского, Елизавета Ивановна, урожденная Аничкова, умершая в 1891 г., также происходила из военной дворянской семьи.

В 1896 г. Иван Ореус-младший блестяще окончил элитную 1-ю Петербургскую гимназию, а в 1901 г. историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (славяно-русское отделение, куда он перешел с классического). Его университетскими наставниками были выдающиеся профессора: С.Ф. Платонов (русская история), Н.И. Кареев (средневековая и новая история), А.И. Введенский (история древней философии, логика, психология), С.К. Булич (сравнительное языкознание), В.К. Эрнштедт (Аристофан, Платон, Аристотель), Ф.А. Браун (история западноевропейских литератур).

Ореус-младший был юношей энциклопедического склада, свободно владел немецким, французским, английским языками, профессионально занимался переводами — из Гёте, Ибсена, Суинберна, Верхарна, Метерлинка. Его одноклассник по университету, С.К. Маковский, известный художественный критик и редактор «Аполлона», вспоминал: «Товарищ он был на редкость обаятельный. Правдив, отзывчив, добр, деликатен... Среди студентов за ним установилась репутация необычайно одаренного чудака. Какой-то уж очень особенный. И образован неправдоподобно, и застенчив до обморочной растерянности, и дерзостно смел в самоутверждении...»³

По словам людей, близко знавших его, Ореус-Коневской гордился своими шведскими, «варяжскими» предками, напоминая, что его род, в полном соответствии с «северянской» концепцией происхождения русской государственности Н.М. Карамзина, восходит к Синеусу — князю древнерусского города Белоозеро, брату легендарного Рюрика.

Как и для многих литераторов Серебряного века, для Ореуса-Коневского, еще со студенческих времен, стали неременной частью жизни «путешествия/странствия» — в основном, по русскому Северу (Финляндии, Прибалтике, озерному краю), но и по Европе тоже. В июне-июле 1897 г. он прошел пешком Австрию и Германию, а следующим летом, прибыв пароходом в Любек, добрался до Кельна, проплыл вверх по Рейну, обошел Швейцарию и Северную Италию. Юный литератор-философ отлично понимал, что, путешествуя по Германии, тем более — по Италии, он воспринимает этот «Юг», как «северянин». И, возвращаясь домой, всегда отдавал себе отчет в принципиальной разнице двух миров:

³ Маковский С. Портреты современников. М.: XXI век — Согласие, 2000. С. 410–412.

*Пел на юге весь мир я окрестный,
Здесь я снова в себе буду рыться.
Безотрадный ты, край, бессловесный!
Никуда от тебя не укрыться!*

*Как в былые века Прозерпина
Свет могла созерцать лишь полгода,
Так болот горемычного сына
Лишь недолго ласкала природа.*

*Чую — вновь меня мгла поглощает,
Стих мой тоже стал вял и беззвучен,
Втихомолку и сердце сучает,
И уж солнце любить я разучен.*

(Запись в блокноте: «21 июля 1897. За Кенигсбергом,
на дороге к русской границе»)⁴

Начиная с 1897 г., поэт Иван Ореус начал подписываться псевдонимом — «Ив. Коневской»: строгий отец-генерал запретил сыну-литератору использовать родовую фамилию. «Коневской» — от островного Коневецкого монастыря на Ладожском озере, который Ореус-младший посетил во время одного из «северных странствий». Одно время он обдумывал альтернативу — и тоже «северянскую»: назваться «Иван Езерский», по имени героя неоконченной поэмы Пушкина, также, как и Ореусы, происходившего «от варягов». Вспомним: «Начнем ab ovo: мой Езерский // Происходил от тех вождей, // Чей дух воинственный и зверский // Был древле ужасом морей. // Одульф, его начальник рода, // Вельми бе грозен воевода...»⁵

В своем программном стихотворении «С Коневца» (весна 1898 г.) Ореус-младший (теперь уже «Коневской») открыто продекларировал свою идентичность — предельно патриотическое русское северянство:

*Я — варяг из-за синего моря,
Но усвоил протяжный язык,
Что, степному раздолию вторя,
Разметавшейся негой велик.*

.....

⁴ Коневской (Ореус) И.И. Мечты и думы. Стихотворения и проза. Томск: Водолей, 2000. С. 187.

⁵ Пушкин А.С. Поэмы 1825–1933 гг. // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в 17 тт. Т. 5. М.: Воскресенье, 1994. С. 97.

*И в луче я все солнце постигну,
А в просветах берез — неба зрак.
На уступе устой свой воздвигну,
Я, из-за моря хмурый варяг⁶.*

На рубеже 1899–1900 гг. поэт Коневской публично предстал перед читателем: почти одновременно увидели свет его собрание «Мечты и думы» (изданное тиражом 400 экз.) и коллективный сборник «Книга раздумий» со стихотворными подборками К. Бальмонта, В. Брюсова, М. Дурнова и Ив. Коневского. А в 1900 г. Коневской принял участие в подготовке задуманного Брюсовым альманаха «Северные цветы» (возрождающего северянские литературные традиции одноименных альманахов Дельвига и Пушкина) и опубликовал в первом выпуске принципиальное стихотворение «Осенние голоса»:

*Я на башни немые взирал,
Я внимал грохотанью лавин
И средь северных явных равнин
Я с осенним дыханьем играл⁷.*

Обстоятельства гибели Ореуса-Коневского во время его очередного путешествия в июле 1901 г. установил его родственник Дьяконов, отправившийся на поиски пропавшего в Лифляндии Ивана по следам его вероятного маршрута. В биографическом очерке к посмертному сборнику произведений Коневского, написанном отцом поэта, И.И. Ореусом-старшим, говорится: «Коневской скончался 8 июля 1901 года, 23 лет от роду, едва кончив курс университета. Как и в предыдущие года, в этом году Коневской поехал в небольшое летнее путешествие (“странствие”, как говорил он), на этот раз по Прибалтийским губерниям. Выехав из Риги, он вспомнил вдруг, что забыл в гостинице паспорт, и сошел на станции Зегевольд, чтобы дождаться встречного поезда и вернуться. День был жаркий. Около станции протекает река Аа. Коневской стал купаться... и утонул»⁸.

Непосредственных свидетелей гибели поэта, разумеется, не было. Его тело было найдено через несколько дней и наскоро предано земле по местному лютеранскому обряду. Только после усиленных розысков несчастному отцу удалось узнать о судьбе единственного сына... Немецкая аккуратность

⁶ Коневской (Ореус) И.И. Мечты и думы. С. 58.

⁷ Там же. С. 200.

⁸ Ореус И.И. Иван Коневской. Сведения о его жизни // Коневской (Ореус) И.И. Мечты и думы. С. 453.

местной администрации помогла сберечь оставшееся от неизвестного утопленника: его одежду, найденную на берегу, а также портфель с рукописями последних стихов, сданный на станции в камеру хранения.

Останки Коневского были вторично преданы земле уже по православному обряду. Поскольку русского кладбища в Зегевольде не было, то, как было отмечено в биографическом очерке к посмертному сборнику, «тело Коневского было положено в лесу, прекрасно содержимом. <...> Коневской любил лес, любил ветер; лесу и ветру посвящено у него немало задушевных стихов. И его хоронили в лесу и, при чудной, ясной погоде, бушевал сильный ветер. Скромная могила осенена кленом, вязом и березой»⁹.

...Первую обстоятельную рецензию на посмертное собрание сочинений И.И. Ореуса-Коневского, изданного в 1904 г. символистским издательством «Скорпион» по инициативе Валерия Брюсова¹⁰, написал молодой художественный критик Сергей Георгиевич Кара-Мурза. В № 6 популярного московского журнала «для семейного чтения» дед опубликовал (под псевдонимом «С. Крымский») статью «Неизвестный поэт». В ней он писал: «Вчитываясь теперь в ... то болезненно-лихорадочные, то восторженно-ликующие и беззаботно воркующие о мировой, пантеистической жизнерадостности стихи, нельзя без горечи безвременной утраты не признаться в том, что в лице погибшего поэта мы потеряли необыкновенно тонкий, оригинальный, я бы сказал — благоуханный талант»¹¹.

«Коневской, — продолжает “С. Крымский”, — по своим творческим настроениям и по своим теоретическим воззрениям на искусство, несомненно примыкает к группе наших молодых поэтов, во главе которых идут гг. Бальмонт и Брюсов. Но ни у одного из них я не встречал такого непосредственного, такого первобытно-девственного, чисто овидиевского проникновения в жизнь природы, каким отмечены все произведения Коневского... Более цельного, экзотического отношения к природе я не запомню в нашей молодой поэзии»¹².

В начале 1906 г. о Коневском, как о лидере «русского северянства», проникновенно написал его идейный и поэтический наследник Александр Блок, который посчитал Ореуса-Коневского «ключевой фигурой» для того этапа русской поэзии, когда она от «собственно декадентства» начала переходить к символизму. «Одним из признаков этого перехода, — согласно Блоку, — было совсем особенное, углубленное и отдаленное чувство связи со своей страной и своей природой»: «Как будто впервые добыватель руды ощутил на

⁹ Там же.

¹⁰ *Коневской Иван. Стихи и проза. Посмертное собрание сочинений.* М.: Скорпион, 1904.

¹¹ *Кара-Мурза С.Г. (псевд.: «С. Крымский»). Неизвестный поэт // Семья. 1904. № 6 (8 февраля). С. 10.*

¹² Там же. С. 10–11.

своей лопате родную глину, родные пески и, подняв голову, заметил, в какой стране он работает, куда он опять возвратился, уйдя, казалось — безвозвратно, в глубь собственной души. Иван Коневской именно “на миг и тем — на век” вдохнул в себя запах родной глины и загляделся на “размеры дальних расстояний”. Он полюбил “несокрушимой” любовью родные, кривые проселки в чахлах кустиках, ломаные линии горизонтов, голубую дымку дали; он понял каким-то животнo-детским, удивленным и хмельным чутьем, что это и есть — Россия... Финская Русь была воспринята им сильно, уверенно — во всей ее туманности, хляби, серой слякоти и страшной двойственности»¹³.

В первые годы после трагической гибели Коневского его могилу, по крайней мере на годовщины, старался посещать его престарелый отец — обычно, в сопровождении петербургских гимназических или университетских друзей сына. Однако в 1909 г. Ореус-старший скончался, и лифляндская могила литераторами обеих столиц на некоторое время была забыта.

Впрочем, летом 1906 г. могилу Коневского неоднократно посещал живший в Зегевольде с родителями и двумя младшими братьями 15-летний Осип Мандельштам. Его «свёл» с Коневским (заочно, конечно) близкий знакомый покойного поэта Владимир (Вольдемар) Гиппиус, преподававший юному Мандельштаму русскую словесность в Тенишевском училище. Характерный портрет Гиппиуса («формовщика душ») в «Шуме времени» Мандельштама принадлежит к лучшим образцам «северянской прозы» XX столетия: «У него (В.В. Гиппиуса. — А.К.) было звериное отношение к литературе, как к единственному источнику животного тепла. Он грелся о литературу, терся о нее шерстью, рыжей щетиной волос и небритых щек. Он был Ромулом, ненавидящим свою волчицу, и, ненавидя, учил других любить ее»¹⁴. И далее: «Власть оценок В. В. длится надо мной и посейчас. Большое, с ним совершенное, путешествие по патриархату русской литературы от “Новикова с Радищевым” до *Коневца раннего символизма* (курсив мой. — А.К.) так и осталось единственным»¹⁵.

Образ лесного, «тенистого» кладбища в Зегевольде, на котором был похоронен Иван Коневской, появляется уже в стихотворении Мандельштама «Среди лесов унылых и заброшенных...» (1906), открывающем первый том его Собрания сочинений. Это стихотворение было написано юным Мандельштамом под впечатлением от революционных событий 1905–1906 гг. в Прибалтийских губерниях. Парадокс: их активнейшим участником был отправленный за это в кандалах на иркутскую каторгу мой второй дед

¹³ Блок А.А. Рец. на: Л. Миропольский. «Ведьма», «Лествица». Предисловие Андрея Белого. Книгоиздательство «Гриф». Москва. 1905 // Золотое руно, 1906, № 1. С. 149.

¹⁴ Мандельштам О. Шум времени. М.-Augsburg: Werden-Verlag, 2002. С. 26.

¹⁵ Там же. С. 27.

(по матери) — латышский социал-демократ Вольдемар Янисович Бисениекс (1884–1938).

Читаем у 15-летнего Мандельштама, увлеченного в Зегевольде радикальными идеями:

*Среди лесов, унылых и заброшенных,
Пусть остается хлеб в полях нескошенным!
Мы ждем гостей незванных и непрошенных,
Мы ждем гостей!*

.....
*Они растопчут нивы золотистые,
Они разроют кладбище тенистое (sic! — А.К.),
Потом развяжет их уста нечистые
Кровавый хмель!¹⁶*

Связь этого стихотворения с образом погибшего в Зегевольде Коневского подтверждают и слова из мемуарной книги Мандельштама «Шум времени»: «В тот год, в Зегевольде, на курляндской реке Аа стояла ясная осень с паутинкой на ячменных полях. Только что пожгли баронов, и жестокая тишина после усмирения поднималась от спаленных кирпичных служб <...> В кирпично-красных, изрытых пещерами слоистых берегах германской ундиной текла романтическая речка. <...> Жители хранят смутную память о недавно утонувшем в речке Коневском. То был юноша, достигший преждевременной зрелости и потому не читаемый русской молодежью; он шумел трудными стихами, как лес шумит под корень. И вот, в Зегевольде <...> я по духу был ближе к Коневскому, чем если бы я поэтизировал на манер Жуковского и романтиков»¹⁷.

Очевидны и более поздние «переключки» поэтических размышлений Мандельштама со стихотворными интуициями Коневского. Вот, например, слова Коневского из стихотворения «Соборная дума» (март 1899 г.):

*И как нам отбиться от волка лихого,
Которого тягостный глад
Снедает — от Времени серо-глухого?
Скажи, о бездольный мой брат!¹⁸*

¹⁶ Мандельштам О. Стихи и проза 1906–1920 // Мандельштам О. Собрание сочинений в 4 тт. Т. 1. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993. С. 31.

¹⁷ Мандельштам О. Шум времени. С. 19–20.

¹⁸ Коневской (Ореус) И.И. Мечты и думы. С. 188.

И хорошо известная вариация на эту же тему в гораздо более известном стихотворении Мандельштама 1931 г.:

*Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей.
.....
Уведи меня в ночь, где течет Енисей,
Где сосна до звезды достаёт,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьёт¹⁹.*

А вот еще одна «тема Коневского» — о «крови», как «строительнице жизни», заданная в стихотворении «Наброски оды» (январь 1900 г.):

*И крови мерное течение
Приемлет тела, солнца жар,
И в сердце плеск круговращения
Кипит, как в небе звездный шар.
По сердцу, по среде томится
И вместе вне и вдаль стремится
Строительница жизни кровь,
Ей в срок урочный возвращаться,
Чтоб вновь извне обогащаться,
Чтоб ткать живые ткани вновь²⁰.*

И реакция Мандельштама на эту, предложенную Коневским тему в знаменитом стихотворении «Век» (1922):

*Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И свою кровью склеит
Двух столетий позвонки?
Кровь-строительница хлещет
Горлом из земных вещей...²¹*

¹⁹ Мандельштам О. Стихи и проза 1930–1937 // Мандельштам О. Собрание сочинений в 4 тт. Т. 3. С. 46–47.

²⁰ Коневской (Ореус) И.И. Мечты и думы. С. 211.

²¹ Мандельштам О. Стихи и проза 1921–1929 // Мандельштам О. Собрание сочинений в 4 тт. Т. 2. С. 41.

...Новый этап активного «паломничества» к могиле Коневского начался в 1911 г. Тогда, в июле, в десятую годовщину со дня гибели поэта, его могилу в Зегевольде-Сигулде, после нескольких дней поисков, разыскали Валерий Брюсов и его подруга Нина Петровская. Она потом вспоминала: «В одну из наших совместных летних поездок Брюсов предложил мне поехать в Ливонскую Швейцарию (поблизости от Риги на берегу реки Аа), на могилу Коневского. Он не любил ни кладбищ, ни могил, и меня это желание удивило. В жаркий июльский день мы стояли на берегу Аа. Чуть заметные воронки крутились на сверкающей солнцем и лазурью воде. — В одну из них втянуло Коневского, — сказал Брюсов, — вот в такой же июльский день... вот под этим же солнцем...»²²

«Потом мы пошли на кладбище, — продолжает Петровская. — Зеленым шумящим островом встало оно перед нами: низенький плетень, утопающий в травах, ни калитки, ни засова — только подвижная рогатка загораживала вход — и то, верно, не от людей, а от коров... Совсем у плетня скромный черный крест за чугунной оградой — на плите венки из увядающих полевых цветов, а над могилой, сплетаясь пышными шапками, разрастается дуб, клен и вяз. Брюсов нагнулся, положил руку на венок, долго и ласково держал ее так и оторвал несколько травинок от венка. Я знаю, что он очень берег их потом»²³.

13 июля 1911 г. Брюсов написал стихотворение «На могиле Ивана Коневского»:

*Я посетил твой прах, забытый и далекий,
На сельском кладбище, среди простых крестов,
Где ты, безвестный, спишь, как в жизни, одинокий,
Любовник тишины и несказанных снов.
Ты мне сказал: «Я здесь, один, в лесу зеленом,
Но помню, и сквозь сон, мощь бури, солнца, рек,
И ветер, надо мной играя тихим кленом,
Поэт мне, что земля — жива, жива вовек!»²⁴*

Вернувшиеся в Москву Брюсов и Петровская сообщили о своей находке друзьям. По-видимому, в числе первых сорвался в Зегевольд мой дед, Сергей Кара-Мурза, давний поклонник поэзии Коневского. Через год, в связи с празднованиями 10-летия издательства «Гриф», он напишет в юбилейной заметке в «Московской газете»: «Зегевольд — это прелестное горное

²² Петровская Н. Из «Воспоминаний» // Коневской (Ореус) И.И. Мечты и думы. С. 513.

²³ Там же. 513–514.

²⁴ Брюсов В. Собрание сочинений в 7 тт. Т. 7. М., 1975. С. 63–64.

местечко, прозванное Ливонской Швейцарией. Покрытый яркой зеленью лиственного леса, глубокий обрыв навевает помимо красоты своей величественной картины яркие, исторические воспоминания, так как в густом лесу притаены остатки громадных рыцарских крепостей, возведенных ливонским орденом меченосцев. <...> На дне этого колоссального обрыва протекает быстрая речка Аа, где и нашел свою погибель Коневской»²⁵.

...Особая тема в исследовании поэтических путей русского северянства Серебряного века: «Иван Коневской и Борис Пастернак». Друг юности Пастернака, литератор Сергей Бобров, написал о той атмосфере, в которой Борис создавал свой первый поэтический сборник «Близнец в тучах» (закончен в конце 1913 г., вышел в свет в начале 1914 г.): «Мы вспоминали Блока, Белого, потом бросались читать Баратынского, Языкова. Ужасно любили Коневского (курсив мой. — А.К.), а за него даже и Брюсова...»²⁶

Бобров добавляет: «Он (Пастернак. — А.К.) уходил со всею страстью в эту единственно-питательную среду: там нашел он плоскогорье, о котором говорил его учитель Иван Коневской, “где под шорох кедров дремучих няня рода людского пела”»²⁷.

Речь, разумеется, идет о стихотворении «Обетование», которое Коневской написал зимой 1898 г.:

*Из туманов и топей мшистых
Мы когда-нибудь да умчимся
За края морей золотистых,
Где давно уж в мечтах кружимся.
.....
Обретем ли родник гремящий,
Где впервые жизнь закипела,
Где, под шорох кедров дремучий,
Няня рода людского пела?»²⁸*

Как результат, утверждает Бобров, «Анненский, Коневской — создали Пастернака первой книги»²⁹.

²⁵ Кара-Мурза С.Г. (псевд.: «Саддукей»). Декаденты первого призыва (10-летие «Грифа») // Московская Газета, 1913, № 245, 1 апреля. С. 2.

²⁶ Бобров С. О Б.Л. Пастернаке // Б.Л. Пастернак: Pro et Contra. Б.Л. Пастернак в советской, эмигрантской, российской литературной критике. Антология. Т. 1. СПб.: Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, 2012. С. 38.

²⁷ Бобров С. Казначей последней планеты // Б.Л. Пастернак: Pro et Contra. Б.Л. Пастернак в советской, эмигрантской, российской литературной критике. Антология. Т. 1. С. 46.

²⁸ Коневской (Ореус) И.И. Мечты и думы. С. 139.

²⁹ Бобров С. Казначей последней планеты. С. 47.

Еще более определенен в своих оценках Николай Асеев, написавший от имени издательства «Лирика» Предисловие к пастернаковскому сборнику «Близнец в тучах»: «Выпуская эту книгу, “Лирика” приветствует ее автора — одного из тех подлинных лириков новой русской поэзии, родоначальником которых был единственный и незабвенный Ив. Коневской»³⁰.

Представляя читателям Пастернака-дебютанта, Асеев прямо пишет, что молодой поэт, несомненно ведет свою родословную «из той унылой Сариолы»³¹, имея в виду строки из «финского» стихотворения Коневского «Песнь изгнанника. На мотив Калевалы» (июль 1899 г.):

*Из той унылой Сариолы,
Земли изгнания больной,
Я вновь пришел в крутые доли,
Перевалив за кряж лесной*³².

Очевидна «перекличка» и более поздних стихотворений Пастернака с «северянской» поэзией Коневского. Сравним, например, пастернаковское «определение поэзии» из философского цикла «Занятыя философией» (1919):

*Это — щелканье сдавленных льдинок,
Это ночь, леденящая лист...*³³

с философскими размышлениями Коневского из «Вождей жизни» (1896):

*Луна — укор, и суд, и увещанье,
Закатных судорог льдяная дочь.
Нас цепенит недвижимое молчанье,
Нас леденит безвыходная ночь*³⁴.

...Однако ни с Осипом Мандельштамом, ни с Борисом Пастернаком поэтическая цепочка «русского северянства», зачатая поэзией и судьбой Ивана Коневского, не заканчивается. В 1961 г., через год после смерти своего учителя Пастернака (и в 60-ю годовщину трагической гибели Коневского), в Сигулду отправился 28-летний поэт Андрей Вознесенский. Нет никаких сомнений,

³⁰ Пастернак В.Л. Близнец в тучах (предисл. Н. Асеева). М.: Лирика, 1914. С. 6.

³¹ Там же. С. 5.

³² Коневской (Ореус) И.И. Мечты и думы. С. 195.

³³ Пастернак Б.Л. Стихотворения и поэмы. 1912–1931 // Пастернак Б. Собрание сочинений в 5 тт. Т. 1. М., 1989. С. 134.

³⁴ Коневской (Ореус) И.И. Мечты и думы. С. 186.

что та «осень в Сигулде» была глубоко выношенным планом: уходящий Пастернак, передавая «литературную эстафету» Вознесенскому, понимает-ся, многократно рассказывал ему о своем поэтическом мэтре, уникальном поэте-философе, утонувшем в 1901 г. в Сигулде.

Вознесенский наверняка искал тогда могилу Коневского. Но найти ее он не мог: именно в тех местах, по высокому берегу речки Гауя, осенью 1944 г. прошли жестокие бои: 6 октября войска 3-го Прибалтийского фронта, понеся большие потери, выбили фашистов с «сигулдского плацдарма», а через несколько дней победоносно взяли Ригу.

Между тем остались удивительные стихи молодого Андрея Вознесенского, вот уже шестьдесят без малого лет ставящие в тупик не улавливающих контекста исследователей. «Свисаю с вагонной площадки... Прощайте!» Это, конечно, больше о погибшем поэте Ореусе, чем о самом Вознесенском. Именно Ореус-Коневской, как мы знаем, соскочил 8 июля 1901 г. в Зегевольде с поезда, чтобы ждать обратный поезд на Ригу, — на свою безвременную гибель...

Именно это — предельно ясно — подтверждают и другие строчки из великолепной «Осени в Сигулде»:

*О, родина, прощаемся,
Буду звезда, ветла,
Не плачу, не попрошайка,
Спасибо, жизнь, что была...³⁵*

Литература

- Аничков Е. Новая русская поэзия. Берлин: Изд-во И.П. Ладыжникова, 1923. — 142 с.
- Блок А.А. Рецензия: Л. Миропольский. «Ведьма», «Лествица». Предисловие Андрея Белого. Книгоизд-во «Гриф». Москва. 1905 // Золотое руно, 1906, № 1. С. 149–150.
- Бобров С. О Б.Л. Пастернаке // Б.Л. Пастернак: Pro et Contra. Б.Л. Пастернак в советской, эмигрантской, российской литературной критике. Антология. Т. 1. СПб.: Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, 2012. С. 37–43.
- Бобров С. Казначей последней планеты // Б.Л. Пастернак: Pro et Contra. Т. 1. СПб., Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, 2012. С. 43–53.
- Брюсов В. Собрание сочинений в 7 тт. М.: Художественная литература, 1975, т. 2.
- Вознесенский А. Стихотворения и поэмы в 2 тт. Т. 1. СПб.: Изд-во Пушкинского дома, 2015. — 456 с.
- Кара-Мурза А.А. Россия как «Север»: проблемы цивилизационной идентичности в философии Бориса Пастернака (к 130-летию со дня рождения) // Философский журнал, 2020, № 2. С. 5–20.
- Кара-Мурза С.Г. (псевд.: «С. Крымский»). Неизвестный поэт // Семья. 1904. № 6 (8 февраля). С. 10–11.

³⁵ Вознесенский А. Стихотворения и поэмы в 2 тт. Т. 1. СПб.: Изд-во Пушкинского дома, 2015. С. 109–110.

Кара-Мурза С.Г. (псевд.: «Саддукей»). Декаденты первого призыва (10-летие «Грифа») // *Московская Газета*, 1913, № 245, 1 апреля. С. 2.

Коневской (Ореус) И.И. Мечты и думы. Стихотворения и проза. Томск: Водолей, 2000.— 640 с.

Коневской Иван. Стихи и проза. Посмертное собрание сочинений. М.: Скорпион, 1904.— 256 с.

Маковский С. Портреты современников. М.: XXI век — Согласие, 2000.— 445 с.

Мандельштам О. Собрание сочинений в 4 тт. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993–1994.

Мандельштам О. Шум времени. М.-Augsburg: Werden-Verlag, 2002.— 28 с.

Нечепорук Е. «О слово вещее, слово — сила...». О творчестве Ивана Коневского // *Коневской (Ореус) И.И.* Мечты и думы. Стихотворения и проза. Томск, 2000. С. 3–6.

Ореус И.И. Иван Коневской. Сведения о его жизни // *Коневской И. (Ореус).* Мечты и думы. Стихотворения и проза. Томск, 2000. С. 450–453.

Пастернак В.Л. Близнец в тучах. Предисловие Н. Асеева. М.: Лирика, тип. П.П. Рябушинского, 1914.— 48 с.

Пастернак Б.Л. Стихотворения и поэмы. 1912–1931 // *Пастернак Б.* Собрание сочинений в 5 тт. Т. 1. М.: Художественная литература, 1989.— 751 с.

Петровская Н. Из «Воспоминаний» // *Иван Коневской (Ореус).* Мечты и думы. Стихотворения и проза. Томск, 2000. С. 512–514.

Пушкин А.С. Поэмы 1825–1933 гг. // *Пушкин А.С.* Полное собрание сочинений в 17 тт. Т. 5. М.: Воскресенье, 1994.— 570 с.

РОССИЯ КАК «СЕВЕР»: ПРОБЛЕМЫ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ФИЛОСОФИИ БОРИСА ПАСТЕРНАКА (К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

«И холодно было младенцу в вертене...»
(Борис Пастернак, «Рождественская звезда»)

«Пастернак вышел в жизнь в январский мороз —
и так и остался “январским юношей”»
(Андрей Вознесенский)

Предисловие

В философско-исторических исследованиях последних двух столетий Россию принято трактовать как *особое пространство между Западом и Востоком*. Вариации в осмыслении этого феномена весьма многообразны и порождают, в свою очередь, всё новые волны дискуссий: «*цивилизационный мост между Западом и Востоком*» (апологетическая версия); «*дурной синтез Запада и Востока*» (критическая версия); «*Запад на Востоке, самая восточная часть Запада*»; «*Восток на Западе, самая западная часть Востока*» и т.д.

Между тем в последние годы в русской историософии появились работы, актуализирующие очень влиятельную, а временами и доминировавшую во второй половине XVIII — первой трети XIX вв. (т.е. в периоды правления Екатерины II, Павла I и Александра I), *принципиально иную* концепцию российской идентичности — «*Россия как Север*». Зародившись как полуофициальная доктрина в сочинениях самой императрицы Екатерины Великой и ее ближайшего сподвижника, канцлера, графа Никиты Панина, концепция «*русского северянства*» получила блистательные литературные воплощения в «Истории государства Российского» историка Николая Карамзина, в героических одах поэта Гавриила Державина, а затем в поэтическом творчестве молодой литературной плеяды — князя Петра Вяземского, Антона Дельвига, Александра Пушкина.

«Русское северянство» оставалось частью отечественного официоза и в годы Отечественной войны 1812 г., и зарубежных походов русской армии 1812–1814 гг. В тогдашней российской пропаганде вторгшийся в Россию Наполеон Бонапарт (как известно, корсиканец по происхождению) интерпретировался как *южный* диктатор-варвар, узурпировавший власть на «Западе» (сначала во Франции — и далее во всей Европе), а затем вероломно напавший на «Север» — Россию. Победа русского императора Александра I над корсиканцем Бонапартом трактовалась как победа «цивилизованного

Севера» (освободившего заодно и ослабевший в результате разрушительных внутренних революций «Запад») над «варварским Югом»...

Однако во времена императора Николая I, с изменением геополитических и идеологических приоритетов, идеи «русского северянства» постепенно сошли с авансены, уступив место новой парадигме «Россия между Западом и Востоком» с ее противостоянием отечественных «западников» и русских «самобытников» (славянофилов).

Между тем отголоски «русского северянства» были слышны, иногда весьма отчетливо, в русской литературе и второй половины XIX, и первой половины XX вв. К примеру, у Ивана Тургенева (которого за могучий рост и великий талант на Западе называли «северным гигантом»), в поэзии «Серебряного века» (например, у Игоря Северянина или Александра Блока), в литературе русской пореволюционной эмиграции (у Михаила Осоргина, Бориса Зайцева и др.).

Борис Пастернак: генезис «северного» мироощущения

Борис Леонидович Пастернак (1890–1960), выпускник философского отделения Московского университета, проучившийся летний семестр 1912 г. в неокантианском Марбурге у Германа Когена, Пауля Наторпа, Эрнста Кассирера, Николая Гартмана, всю жизнь считал себя «зимним человеком» или иначе — «русским северянином». И это несмотря на то, что его родители — художник Леонид Осипович Пастернак и пианистка Розалия Исидоровна Кауфман, евреи из Одессы, лишь незадолго до его рождения переехали в Москву. Более того, сам этот факт является свидетельством того, как русско-еврейские интеллигенты старались обрести, преодолевая огромные трудности, свою новую «обетованную землю» — на московско-петербургском «Севере»...

В 1913 г., в своем первом поэтическом сборнике «Близнец в тучах», Пастернак прямо противопоставил свою холодную и строгую «северную» идентичность слишком ясному (в смысле — беспроблемному) «южному» умознанию:

*Под ясным небом не ищите
Меня в толпе приветных муз.
Я севером глухих наитий
Самозабвенно обоймусь...¹*

¹ Пастернак Б.Л. Стихотворения и поэмы. 1912–1931 // Пастернак Б. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1989. С. 432. Пастернак здесь на свой лад воспроизводит «архетипическую» в нашей литературе оппозицию «Север/Юг», представленную, например, в «цивилизационном» споре Шубина и Берсенева из романа И.С. Тургенева «Накануне» (1860). Там, к примеру, идет речь о принципиальной оппозиции «нежных греков» — и «толстокожих скифов», «античных нимф» — и «северных русалок» и т.п.

В 1928 г., существенно переработав это свое раннее стихотворение (по первой строке — «Встав из грохочущего ромба...»), Пастернак несколько иначе высказал своё литературно-философское кредо:

*Под ясным небом не ищите
Меня в толпе сухих коллег.
Я смок до нитки от наитий,
И север с детства мой ночлег².*

И далее, в отличие от варианта 1913 г., Пастернак посчитал важным расшифровать принципиальное для себя понятие «север»:

*Он весь во мгле и весь — подобье³
Стихамиотяженных губ,
С порога смотрит исподлобья,
Как ночь, на объясненья скуп⁴.*

Согласно авторитетному мнению академика-литературоведа М.Л. Гаспарова и его соавтора, пастернаковед К.М. Поливанова, логика авторской переработки стихотворения «Встав из грохочущего ромба...» такова: если в сборнике «Близнец в тучах» (1913) лирический герой — это «поэт, причастившийся вдохновению севера»⁵, то герой сборника «Начальная пора» (1928) — это уже «олицетворенный Север, говорящий словами поэта»⁶. Гаспаров и Поливанов абсолютно правы: для Пастернака именно «приобщение к природе, северной, ненастной, рождает творчество»⁷.

Изучая вопрос о культурной самоидентификации Б.Л. Пастернака невозможно, конечно, обойти вниманием и цикл его стихотворений 1919 г., имеющий принципиально «философский» заголовок — «Заняты философией». Именно там можно найти, к примеру, пастернаковское «определение поэзии» (в одноименном стихотворении) — предельно «северянское»:

² Пастернак Б.Л. Стихотворения и поэмы. 1912–1931. С. 59. В одном из черновиков эта строфа выглядит так: «Под ясным небом не ищите // Меня погожею порой, // Я смог до нитки от наитий // И север — облик мой второй» (там же. С. 641).

³ «Подобье» — излюбленное понятие марбургского неокантианства. В черновом варианте было: «Он весь в снегу и весь подобье...»

⁴ Пастернак Б.Л. Стихотворения и поэмы. 1912–1931. С. 59. В одном из черновиков 1928 г. последние две строчки звучали еще более радикально в формулировании оппозиции «Север/Юг»: «Он юг встречает исподлобья // И на слова, как гордость, скуп» (см.: Гаспаров М.Л., Поливанов К.М. «Близнец в тучах» Бориса Пастернака: опыт комментария. М.: РГГУ, 2005. С. 67).

⁵ Гаспаров М.Л., Поливанов К.М. «Близнец в тучах» Бориса Пастернака. С. 67.

⁶ Там же.

⁷ Там же. С. 64.

*Это — щелканье сдавленных льдинок,
Это ночь, леденящая лист...⁸*

И столь же «нордически», с ледяными нотками, звучит пастернаковское «определение творчества» (из одноименного стихотворения 1919 г.):

*...В саду, где из погребца, со льду,
Звезды благоуханно разохались...⁹*

Как и когда зародилось в Пастернаке это мироощущение? Младший брат Бориса Леонидовича, Александр Пастернак (1893–1982), известный архитектор, написал воспоминания, которые, между прочим, доказывают, что и сам он, как его брат, также был абсолютным «северянином». Литературно-исследовательский посыл мемуариста последователен и крайне любопытен: «Если историки культуры, историки этнографии и этнологии находят — и справедливо! — в масках, в обрядах, в пещерных и наскальных рисунках прямое отражение охотничьей, военной, ритуальной или семейной жизни аборигенов, стоящих на примитивном уровне развития, — то почему не допустить того же и *в играх детей* (курсив мой. — А.К.), то есть подобного “отражения” окружающей их среды? Вероятно, и наши (т.е. с братом Борисом — А.К.) тогдашние игры, в таком понимании, что-то несомненно “отражали”»¹⁰.

В этой связи, Александр Пастернак вспоминает о своих с Борисом детских играх: «Из невероятного количества их мне хорошо запомнилась одна... Игра называлась “К Северному полюсу”»¹¹. Суть игры состояла в следующем: «Четверо отважных — Нансен, Пири, Андрэ и Скотт — с трудом преодолевали препятствия. Четыре небольших оловянных фигурки: “Фрам” (корабль Нансена — А.К.), два воздушных шара с гондолами в цветах национальных флагов Пири и Андрэ, а вот четвертую я как-то не помню — то ли собака, то ли нарты Скотта»¹². «Историю каждого путешественника, — продолжает А.Л. Пастернак, — мы уже хорошо знали и, каждому сочувствуя, играли серьезно и не гогоча. К “Фраму” я испытывал почему-то наибольшее чувство, а то, что он был “затерт льдами”, звучало в моих ушах особо погребально...»¹³

Образы дирижабля шведа Соломона Андре и корабля норвежца Фритьофа Нансена появляются у Бориса Пастернака в стихотворном цикле «Разрыв» (1919) из сборника «Темы и вариации» — как метафоры человеческого подвига и страдания:

⁸ Пастернак Б.Л. Стихотворения и поэмы. 1912–1931. С. 134.

⁹ Там же. С. 137.

¹⁰ Пастернак А.Л. Воспоминания. München, 1983. С. 25.

¹¹ Там же. С. 28.

¹² Там же. С. 28–29.

¹³ Там же. С. 29.

*Мой друг, мой нежный, о, точь-в-точь как ночью,
в перелете с Бергена на полюс,
Валящим снегом с ног гадар сносимый жаркий пух,
Клянусь, о нежный мой, клянусь, я не невольюсь,
Когда я говорю тебе — забудь, усни, мой друг.
Когда, как труп затертого до самых труб норвежца
(Нансена. — А.К.),
В веденьи зим, не движущих заиндевелых мачт...¹⁴*

Становление и эволюция самосознания Пастернака блестяще описаны им самим в поздних мемуарах «Люди и положения». Согласно этому литературному источнику, юный Боря Пастернак помнил себя примерно с пятилетнего возраста, а точнее — с одной зимней ночи конца 1894-го года.

Тогда поздно вечером 23 ноября (5 декабря) в московской квартире Пастернаков на Мясницкой улице давали небольшой концерт «для своих». Играло трио: мать Пастернака — талантливая пианистка и два друга семьи из числа профессоров Московской консерватории — Иван Гржимали (скрипка) и Анатолий Брандуков (виолончель). В тот вечер в квартиру Пастернаков в числе других гостей пришел и большой поклонник музыки, писатель Лев Толстой с дочерьми Татьяной и Марией¹⁵. Среди прочего, было исполнено знаменитое «трио» особо почитаемого присутствующими и умершего год назад композитора Петра Чайковского. Наложило свой отпечаток на атмосферу в московской квартире Пастернаков и то печальное обстоятельство, что в близившемся к концу 1894-м году случились еще две тяжелых утраты: ушли из жизни близкие друзья дома — художник Николай Ге и музыкант Антон Рубинштейн...

Вот эту загадочную связь русской зимы с трагическим мироощущением, передаваемым через чудесную музыку, доносившуюся из родительской гостиной, и почувствовал спящий в соседней комнате маленький Боря Пастернак. В конце жизни, вспоминая свои детские ночные ощущения 1894 г., Пастернак напишет в автобиографическом очерке «Люди и положения»: «Ту ночь я прекрасно помню. Посреди нее я проснулся от сладкой, щемящей муки, в такой мере ранее не испытанной».¹⁶ Ребенок закричал и заплакал от тоски и страха: «Но музыка заглушала мои слезы, и только когда разбудившую меня часть трио доиграли до конца, меня услышали»¹⁷. (В романе «Доктор Живаго» Пастернак потом опишет, как щемящее душу

¹⁴ Пастернак Б.Л. Стихотворения и поэмы. 1912–1931. С. 197.

¹⁵ Родионов Н.С. Москва в жизни и творчестве Л.Н. Толстого. М.: Московский рабочий, 1948. С. 125.

¹⁶ Пастернак Б.Л. Люди и положения // Пастернак Б. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 4. М., 1991. С. 298–299.

¹⁷ Там же. С. 299.

трио Чайковского исполнялось в вымышленном московском доме братьев Громеко в снежном январе 1906 г.¹⁸⁾

Мать вынесла тогда плачущего ребенка к гостям: «Гостиная была полна табачного дыма. Мигали ресницами свечи, точно он [дым] ел им глаза».¹⁹ Тема горящей в зимней ночи свечи станет впоследствии любимой метафорой Пастернака-поэта. В первую очередь вспоминаются строчки одного из стихотворений Юрия Живаго («Зимняя ночь») из знаменитого романа:

*Мело, мело по всей земле,
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела²⁰.*

«Отчего же я плакал и так памятно мне мое страдание? — спрашивал себя, вспоминая зимнюю ночь 1894-го года, Борис Пастернак. — К звуку фортепиано в доме я привык; тембры струнных, особенно в камерном соединении, были мне непривычны и встревожили — как действительные, в форточку снаружи донесшиеся зовы на помощь и вести о несчастье»²¹. «Эта ночь межевой вехой пролегла между беспамятностью младенчества и моим дальнейшим детством. С нее пришла в действие моя память и заработало сознание... Как у взрослого»²².

Пастернак считал, что именно с той зимней ночи он поверил в существование «высшего героического мира, которому надо служить восхищенно, хотя он приносит страдания»²³. Именно тогда он начал осознавать (с годами это чувство всё укреплялось), что сам он «склонен к мистике, суеверию и охвачен тягой к провиденциальному»: «Сколько раз в шесть, семь, восемь лет я был близок к самоубийству. Я подозревал вокруг себя всевозможные тайны и обманы. Не было бессмыслицы, в которую бы я не поверил»²⁴.

Борис Пастернак: «северянская» трагедия творчества

Провиденциальную связь зимы, холодного ветра с трагической стороной человеческого существования уже повзрослевший Борис Пастернак снова прочувствовал поздней осенью 1910 г., когда 7 (20) ноября на

¹⁸ Пастернак Б.Л. Доктор Живаго // Пастернак Б. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 3. М., 1990. С. 56.

¹⁹ Пастернак Б.Л. Люди и положения. С. 299.

²⁰ Пастернак Б.Л. Доктор Живаго. С. 526.

²¹ Пастернак Б.Л. Люди и положения. С. 299.

²² Там же.

²³ Там же. С. 306.

²⁴ Там же.

железнодорожном перегоне Астапово, в квартире начальника станции, скончался бежавший из Ясной Поляны великий Лев Толстой — участник того памятного московского вечера-концерта 1894 г. Отец Пастернака, Леонид Осипович, многократно рисовавший Льва Толстого на правах друга семьи, был тогда оповещен телеграммой и, взяв с собой сына, немедленно выехал в Астапово. «Мы быстро собрались и отправились на Павелецкий вокзал, к ночному поезду», — вспоминал Борис Пастернак²⁵.

И — поразительная вещь: природа провинциальной России, которую они с отцом наблюдали из окна вагона, природа «России деревенской», «которая кормила небольшую городскую Россию и на нее работала», оказывается, уже преобразилась, о чем городская Москва еще не подозревала. Эта «пахотная Россия», которую для горожан-Пастернаков олицетворял скончавшийся Лев Толстой, в начале ноября уже преобразилась — к зиме! «Землю уже посеребрили первые морозы, и не облетевшее золото берез обрамляло ее по межам, и это серебро морозов и золото берез скромным украшением лежало на ней, как листочки накладного золота и серебряной фольги на ее святой и смиренной старине...»²⁶

Мистическим образом вернулась зима в уже, казалось, весеннюю Москву 1930 г., когда Судьбе захотелось положить предел запутавшейся жизни поэта Владимира Маяковского — давнего знакомого и когда-то ближайшего друга Пастернака. «Начало апреля застало Москву в белом остолбенении вернувшейся зимы, — вспоминал Пастернак в «Охранной грамоте». — Седьмого стало вторично таять, и четырнадцатого, когда застрелился Маяковский, к новизне весеннего положенья еще не все привыкли»²⁷.

Спустя годы похожая природная метаморфоза, когда наступившая, казалось, весна неожиданно сменяется снежной бурей, случается с героями романа «Доктор Живаго», когда семья Живаго собралась уезжать из большевистской Москвы на Урал, в бывшее имение Варыкино, близ города Юртына: «Настали последние дни марта, дни первого в году тепла... В растворенную форточку тянуло весенним воздухом»²⁸. Наступил уже апрель, и вдруг: «Накануне отъезда поднялась снежная буря. Ветер взметал вверх к поднебесью серые тучи вертящихся снежинок, которые белым вихрем возвращались на землю, улетали в глубину темной улицы и устилали ее белой пеленою»²⁹.

...31 августа 1941 г. в Елабуге покончила с собой уехавшая в эвакуацию с сыном Марина Цветаева. Накануне она должна была по Каме приплыть

²⁵ Там же. С. 320.

²⁶ Там же. С. 320–321.

²⁷ Пастернак Б.Л. Охранная грамота // Пастернак Б. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 4. С. 235.

²⁸ Пастернак Б.Л. Доктор Живаго. С. 207, 210.

²⁹ Там же. С. 211.

в Чистополь и присоединиться к ждавшей ее литературной колонии. Борис Пастернак тогда в Чистополе еще не было — он приедет туда лишь 18 октября, когда там будет уже полная зима.

Парадоксально (и чрезвычайно показательно!), но это летнее самоубийство ближайшего друга претворилось у Бориса Пастернака в абсолютно «зимнее» стихотворение «Памяти Марины Цветаевой», задуманное, как свидетельствует сам автор, в 1942 г. на снежном берегу Камы и законченное уже после возвращения из эвакуации, в Москве 25–26 декабря 1943 г.:

*Ах, Марина, давно уже время,
Да и труд не такой уж ахти,
Твой заброшенный прах в реквиеме
Из Елабуги перенести.*

*Торжество твоего переноса
Я задумывал в прошлом году
Над снегами пустынного плеса,
Где зимуют баркасы во льду³⁰.*

В черновой редакции этого стихотворении были еще две строфы, подчеркивавшие фантазмагоричность поэтического замысла: вместо друзей, ожидавших Цветаеву на чистопольской пристани 30 августа 1941 г., на берегу Камы оказывается... сам Пастернак, и все это происходит, разумеется, зимой!

*Сумрак веял над снежною степью
Черный точно разбойничий флаг.
Крыши зданий и яблони в крепе
Были белы, как мебель в чехлах.
Ты б в санях переехала Каму
В час налетчиков и громил.
Пред тобой, как пред Пиковой дамой,
Я б от ужаса лед проломил³¹.*

Стихотворение памяти Цветаевой, которое, по словам Пастернака, выдержано в жанре «реквиема», всё пронизано «зимними» деталями:

³⁰ Пастернак Б.Л. Стихотворения. 1931–1959. Переводы // Пастернак Б. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 2. М., 1989. С. 48.

³¹ Там же. С. 545.

*Зима — как пышные поминки:
Наружу выйти из жилья,
Прибавить к сумеркам коринки³²,
Облить вином — вот и кутья.*

*Пред домом яблоня в сугробе.
И город в снежной пелене —
Твое огромное надгробье,
Как целый год казалось мне³³.*

А в черновом наброске этой части стихотворения 1943 г. «зимняя тема» пастернаковского реквиема звучала ещё сильнее:

*Я наподобье евхаристий
Под вкус бессмертья подберу
Промерзшие под снегом листья
И мандаринов кожуру.
.....
И флот речной во льдах затона,
И город на степной земле,
И сад вглухую заметенный,
Как стол или рояль в чехле³⁴.*

...Несомненную для него мистическую связь человеческой трагедии и холодной, ветреной зимы Борис Пастернак многократно подчеркивал, исследуя шаг за шагом нелегкую жизнь и трагическую гибель своего любимого поэта Александра Пушкина, которого, как и себя, тоже считал «человеком зимы», «русским северянином».

Рассказ о северной столице, Санкт-Петербурге, в котором жил, боролся за признание и в итоге погиб Пушкин, дан Пастернаком уже в «Охранной грамоте» — в тотально-зимнем изображении: «Большой, реальный, реально существующий город. В нем зима. В нем рано темнеет, деловой день проходит в нем при вечернем свете... Его надлежало победить, надо было сломить его непризнание»³⁵.

³² В черновике: «В сугробы положить коринки...»

³³ Там же. С. 49.

³⁴ Там же. С. 545–546. Невольно приходит на ум, что строки вроде: «где зимуют баркасы во льду...» или: «и флот речной во льдах затона...» — это прямые реминисценции сильнейшего детского переживания о «затертом во льдах норвежце» — полярном путешественнике Нансене.

³⁵ Пастернак Б.Л. Охранная грамота. С. 233.

Наконец, признание холодного города-призрака, казалось, обретено поэтом: «Его (города. — А.К.) покорность вошла в привычку... В нем мигают огоньки и, кашляя в платки, щелкают на счетах, его засыпает снегом»³⁶.

Но зимний город снова переходит в наступление на художника: «Страшный мир. Он топорщится спинками шуб и санок, он, как гривенник по полу, катится на ребре по рельсам..., валится с ребра в туман, где за ним нагибается стрелочница в тулупе...»³⁷

Всё возвращается на круги своя, и конец этому трагическому «северному» коловращению может положить только смерть: «Большой, реальный, реально существующий город. В нем зима, в нем мороз. Визгливый, ивового плетенья двадцатиградусный воздух, как на вбитых сваях, стоит поперек дороги. Всё туманится, всё закатывается и запропашается в нем... Так это смерть?»³⁸

Итак, саму идею человеческого существования и творчества Борис Пастернак всю жизнь воспринимал метафорически — как своеобразный прорыв сквозь зимнюю пургу и метель. Уже в ранних мемуарах «Охранная грамота» (1927–1928) неоднократно встречается образ зимней Москвы, трудность существования в которой приходится преодолевать большим волевым усилием: «Цепь бульваров прорезала зимами Москву за двойным пологом почернелых деревьев... На деревья низко свешивалось небо, и всё белое кругом было сине... По бульварам, *нагибаясь, как для боданья* (курсив мой. — А.К.), пробегали бедно одетые молодые люди. С некоторыми я был знаком, большинства не знал, все же вместе были моими ровесниками, т.е. неисчислимыми лицами моего детства»³⁹.

В этом фрагменте Пастернак говорит, конечно, обо всём своем поколении: «*Нагибаясь на бегу* (курсив мой. — А.К.), спешили сквозь вьюгу молодые люди, и, хотя у каждого были свои причины торопиться, однако больше всех личных побуждений похлестывало их нечто общее... А, чтобы заслонить от них двойственность бега сквозь неизбежность, чтобы они не сошли с ума, не бросили начатого и не перевешались всем земным шаром, за деревьями по всем бульварам караулила сила, страшно бывалая и искушенная, и провожала их своими умными глазами. За деревьями стояло искусство, столь прекрасно разбирающееся в нас, что всегда недоумеваешь, из каких неисторических миров принесло оно свою способность видеть историю в силуэте. Оно стояло за деревьями, страшно похожее на жизнь... Какое же это было искусство? Это было молодое искусство Скрябина, Блока, Комиссаржевской, Белого, — передовое, захватывающее, оригинальное»⁴⁰.

³⁶ Там же.

³⁷ Там же.

³⁸ Там же. С. 234.

³⁹ Там же. С. 210.

⁴⁰ Там же. С. 211.

Добавим, что жизненная поза: «нагнувшись, как для боданья», которую Пастернак символически атрибутирует своему поколению, была, по жизни, характерна для самого Пастернака! На это, в частности, обратил внимание талантливейший из учеников Пастернака, поэт Андрей Вознесенский: «Пастернак — подросток... Однажды в стихах в авторской речи он обозначил свой возраст: “Мне четырнадцать лет”. Раз и навсегда. Как застенчив до ослепления он был среди чужих, в толпе, как, *напряженно бычась, нагибал шею* (курсив мой. — А.К.)!»⁴¹

Послесловие

Одним из самых дорогих воспоминаний Бориса Пастернака было его юношеское увлечение творчеством гениального композитора-философа Александра Скрябина, а потом и драгоценное личное знакомство с ним. Все врезавшиеся в память московского гимназиста события имели место, конечно, зимой: «Итак, на дворе зима, улица на треть подрублена сумерками... За ней, отставая в вихре снежинок, гонятся вихрем фонари. Дор~~о~~гой из гимназии имя Скрябина, всё в снегу, соскакивает с афиши мне на закорки. Я на крышке ранца заносу его домой, от него натекает на подоконник...»⁴²

В один из январских дней 1906 г., перед отъездом в Италию, Скрябин пришел в московскую квартиру Пастернаков попрощаться: «Он играет, — этого не описать, — он у нас ужинает, пускается в философию, простодушничает, шутит... Приступают к прощанью... Кровавым комком в общую кучу напутствий падает и мое. Всё это говорится на ходу, и возгласы, теснясь в дверях, постепенно передвигаются к передней... Стучит дверь, дважды поворачивается ключ...»⁴³

Мать-пианистка, как вспоминал Пастернак в «Охранной грамоте», присела тогда к роялю, пробегая оставленные Скрябиным свежие этюды: «И только первые шестнадцать тактов слагаются в предложение, полное какой-то удивляющейся готовности, ничем на земле не вознагражимой, как я без шубы, с непокрытой головой (курсив мой. — А.К.) скатываюсь вниз по лестнице и бегу по ночной Мясницкой, чтобы его воротить или ещё раз увидеть»⁴⁴.

...Спустя почти полвека, другой московский юноша, четырнадцатилетний школьник (а в будущем — еще один великий русский поэт) Андрюша Вознесенский с трепетом шёл в Лаврушинский переулок — к Пастернаку:

⁴¹ Вознесенский А.А. «И холодно было младенцу в вертепе...» // Вознесенский А.А. На виртуальном ветру. М.: Центрполиграф, 2018. С. 13.

⁴² Пастернак Б.Л. Охранная грамота. С. 151.

⁴³ Там же.

⁴⁴ Там же. С. 152.

«Шестиклассником, никому не сказавшись, я послал ему стихи и письмо. Это был первый решительный поступок, определивший мою жизнь. И вот он отозвался и приглашает к себе на два часа, в воскресенье...»⁴⁵

Была, разумеется, зима: «Стоял декабрь. Я пришел к серому дому в Лаврушинском, понятно, за час. Подождав, поднялся лифтом на тёмную площадку восьмого этажа. До двух оставалась ещё минута. За дверью, видимо, услышали хлопнувший лифт. Дверь отворилась. Он стоял в дверях... Ветер шевелил чёлку... Он стоял на сквозняке...»⁴⁶

Спустя два часа, Андрей Вознесенский, приняв «московско-северянскую» эстафету от мэтра, возвращался домой зимней Москвой, «неся в охапке» драгоценные рукописи — машинописную копию первых частей «Доктора Живаго» и тетрадку («сброшюрованную багровым шелковым шнурком») новых стихотворений: «Не утерпев, раскрыв на ходу, я глотал запыхавшиеся строчки:

И холодно было младенцу в вертепе...

.....

Все ёлки на свете, все сны детворы,

Весь трепет затепленных свечек, все цепи...»⁴⁷

Первую из этих строчек — из пастернаковской «Рождественской звезды» — настойчиво вымарывали из ранних, «советских» изданий мемуаров Вознесенского, а само название очерка, вместо аутентичного «И холодно было младенцу в вертепе...», поименовали другой строкой, впрочем, тоже из Пастернака — «Мне четырнадцать лет»...

«Почему он откликнулся мне?» — часто задавался вопросом Вознесенский. «Он был одинок в те годы, отвержен, изнемог от травли, ему хотелось искренности, чистоты отношений, хотелось вырваться из круга — и всё же не только это. Может быть, эти странные отношения с подростком, школьником, эта почти дружба что-то объясняют в нём?... Может быть, он любил во мне себя, прибежавшего школьником к Скрябину?...»⁴⁸

Вознесенский как-то заметил: «Есть художники, отмеченные постоянными возрастными признаками. Так, в Бунине и совершенно по-иному в Набокове есть чёткость ранней осени, они будто всегда сорокалетние. Пастернак же вечный подросток... Бунин и Набоков — люди осенние. Пастернак вышел в жизнь в январский мороз — и так и остался “январским юношей”»⁴⁹.

⁴⁵ Вознесенский А.А. «И холодно было младенцу в вертепе...». С. 8.

⁴⁶ Там же.

⁴⁷ Там же.

⁴⁸ Там же. С. 9.

⁴⁹ Там же. С. 13.

На одну удивительную черту Пастернака очень давно обратил внимание приятель его юности, литератор Сергей Бобров: «И вдруг тут в моей жизни появился этот странный юноша, *ходивший по московскому лютому морозу в одном тоненьком плаще* (курсив мой.— А.К.)...»⁵⁰

И если основоположника и классика «русского северянства», Гавриила Державина, мы обычно представляем себе по знаменитой картине италянца Сальваторе Тончи, где поэт изображен в образе седовласого старца в роскошной собольей шубе на фоне торжественного зимнего пейзажа, то «северный» образ Бориса Пастернака кажется иным: «юноша в тоненьком плаще, выбежавший на лютый московский мороз»...

Но можно представить и другой образ, постарше. Февраль 1942 г. Эвакуация в Чистополе. За окном минус сорок... В переполненном Доме культуры, при тусклом свете двух керосиновых ламп (электричества не было), Пастернак читает свежий перевод «Ромео и Джульетты» Шекспира. На нем черный костюм (тот самый, единственный, в котором его и похоронят) — и... белые валенки.

Литература

Бобров С. О Б.Л. Пастернаке // Воспоминания о Борисе Пастернаке (ред. Е.В. Пастернак, М.И. Фейнберг). М.: Слово/Slovo, 1993. С. 59–66.

Вознесенский А.А. «И холодно было младенцу в вертепе...» // Вознесенский А.А. На виртуальном ветру. М.: Центрполиграф, 2018. С. 8–41.

Вяземский П.А. Полное собрание сочинений. Т. VII. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1882.— 520 с.

Гаспаров М.Л., Поливанов К.М. «Близнец в тучах» Бориса Пастернака: опыт комментария. М.: РГГУ, 2005.— 143 с.

Пастернак А.Л. Воспоминания. München: Wilhelm Fink Verlag, 1983.— 298 с.

Пастернак Б. Собрание сочинений: В 5 т. М.: Художественная литература, 1989–1992.

Родионов Н. Москва в жизни и творчестве Л.Н. Толстого. М.: Московский рабочий, 1948.— 68 с.

⁵⁰ Бобров С. О Б.Л. Пастернаке // Воспоминания о Борисе Пастернаке. М., 1993. С. 59.

ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ОППОЗИЦИЯ «СЕВЕР–ЮГ» В ФИЛОСОФСКО-ЛИТЕРАТУРНОМ ТВОРЧЕСТВЕ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА (К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

В своем знаменитом мемуарном цикле «Шум времени» Осип Эмильевич Мандельштам (1891–1938) вспоминал, что в раннем детстве наиболее яркими и сильными впечатлениями его были... массовые похороны: «Даже смерть мне явилась впервые в совершенно неестественно пышном, парадном виде»¹.

Осипу не исполнилось еще четырех лет, когда 1 ноября 1894 г. он наблюдал грандиозную церемонию переноса тела умершего в Ливадии императора Александра III от Николаевского вокзала тогдашней столицы в Петропавловский Собор на Заячьем острове: «Меня взяли из Павловска в Петербург... На Невском, где-то против Николаевской, сняли комнату в меблированном доме, в четвертом этаже². Еще накануне вечером (31 октября ст. ст. — А.К.) я взобрался на подоконник, вижу: улица черна народом, спрашиваю: “Когда же они поедут?”, говорят — “Завтра”. Особенно меня поразило, что все эти людские толпы ночь напролет проводили на улице»³. Хмурый осенний день, пронизывающий ветер и бесконечные темные толпы — таким отпечаталось в сознании ребенка «северное» прощание со «своим царем».

Еще больше запомнилось уже шестилетнему Осипу другое «пышное» прощание — с умершим в Петербурге в середине мая 1897 г. послом итальянского короля Умберто I, маркизом Маффеи ди Больо (*Maffei di Boglio*): «Проходил я раз с няней своей и мамой по улице Мойки мимо шоколадного здания Итальянского посольства (набережная Мойки, 86. — А.К.). Вдруг — там двери распахнуты и всех свободно впускают, а пахнет оттуда смолой, ладаном и *чем-то сладким и приятным* (курсив мой. — А.К.). Черный бархат⁴

¹ Мандельштам О.Э. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. Т. 2. М.: Прогресс-Плеяда, 2010. С. 212 (далее — Мандельштам О.Э. ПСС, с указанием тома и страниц).

² Слова «на Невском, где-то против Николаевской» позволяют предположить, что семья Мандельштамов сняла тогда комнату в доме купца 1-й гильдии М.И. Лопатина (Невский проспект, 100). Именно в этот огромный четырехэтажный дом с широкими балконами на верхнем этаже упиралась бывшая Николаевская улица (с 1918 г. — улица Марата).

³ Мандельштам О.Э. ПСС, т. 2. С. 212.

⁴ «Черный бархат» станет у Мандельштама непременным элементом описания итальянской, «южной», трагической роскоши. См. напр. в стихотворении «Венецйская жизнь» (1920): «Черным бархатом завешенная плаха // И прекрасное лицо...» (Мандельштам О.Э. ПСС, т. 1. С. 108).

глушил вход и стены, обставленные серебром и тропическими растениями, очень высоко лежал набальзамированный итальянский посланник»⁵. Этот второй эпизод — с его солнечным днем, невиданными тропическими растениями и неожиданно-острыми, пряными запахами, отложится в сознании Мандельштама как феномен «праздничной смерти» (столь, оказывается, отличной от мрачно-давящей «северной смерти» по-петербургски) и намертво свяжется у него с образом «Юга», далекого Средиземноморья, Италии...

Согласно семейной легенде, российские Мандельштамы — потомки испанских евреев, в конце XV столетия бежавших на север — в Голландию и Германию — от преследований королей Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской. Еще севернее, в российской Прибалтике, Мандельштамы появились в середине XVIII в., когда некий ювелир-часовщик был приглашен в Курляндию герцогом Эрнстом Бироном, всесильным фаворитом императрицы Анны Иоанновны, и осел в литовском городке Žagarė.

Родители поэта Осипа Мандельштама (1891–1938), выходцы из Žagarė, предприниматель и купец Эмилий Мандельштам и музыкантша Флора Вербловская, поженились в Ковно, а в 1897 г., уже вместе с малолетними детьми, переехали в имперскую столицу, Санкт-Петербург. Небогатая, но в целом обеспеченная еврейская семья, по-видимому, освоилась на русско-европейском Севере. Каникулы проводили у многочисленных родственников в разных местах Прибалтики и на популярных курортах близкой к Петербургу озерной Финляндии, входившей тогда в состав Российской Империи.

Характерно, что именно тихую сельскую Финляндию, а не каменные кварталы Петербурга, Осип (Иосиф) Мандельштам в юности называл по-настоящему «родным» для себе местом. 20 апреля 1908 г., обучаясь в Париже, 17-летний Мандельштам писал матери о замеченной им за собой «маленькой аномалии»: «“Тоску по родине” я испытываю не о России, а о Финляндии»⁶. И приложил к письму матери свои новые «финские» стихи.

Это раннее, наивно-восторженное стихотворение «О, красавица Сайма», посвященное знаменитому финскому озеру, многое говорит о самоидентификации молодого Мандельштама. Явно стилизуясь под древний финский эпос «Калевала», юный поэт сравнивает свою лодку, качающуюся на волнах озера, — с материнской колыбелью!

*О, красавица Сайма, ты лодку мою колыхала,
Колыхала мой челн, челн подвижный, игривый и острый,*

⁵ Мандельштам О.Э. ПСС, т. 2. С. 212.

⁶ Мандельштам О.Э. ПСС, т. 4. С. 11.

*В водном плеске душа колыбельную негу слышала,
И поодаль стояли пустынные скалы, как сестры.*

.....
*Я причалил и вышел на берег седой и кудрявый;
Я не знаю, как долго, не знаю, кому я молился...⁷*

«Северянское» умонастроение звучит и в чуть более позднем стихотворении Манделъштама, написанном в том же 1908 г., но уже после возвращения из Парижа, в Санкт-Петербурге:

*Я от жизни смертельно устал,
Ничего от нее не приемлю,
Но люблю мою бедную землю,
Оттого, что иной не видал.*

*Я качался в далеком саду
На простой деревянной качели,
И высокие темные ели
Вспоминаю в туманном бреду⁸.*

Удивительно то, что признание в любви к родной земле, «оттого что иной не видал», написаны юношей, только что вернувшимся из Франции! В этом стихотворении Манделъштама есть явная реминисценция известной строчки из Федора Сологуба «Я люблю мою тёмную землю»⁹, но решающее воздействие на юношу-Манделъштама оказали в те годы другие литераторы.

Дело в том, что молодой Осип Манделъштам испытал в юности большое влияние поэзии «русского северянства» (идущую от Гавриила Державина и князя Петра Вяземского), и, в первую очередь, — молодого главы этого направления рубежа XIX–XX вв., родоначальника раннего русского символизма Ивана Коневского (настоящее имя — И.И. Ореус), поэта шведского происхождения, трагически погибшего в Зегевольде (современной Сигулде) летом 1901 г.¹⁰

Имя Ореуса-Коневского, его волшебный поэтический слог, обстоятельства гибели, наконец, его романтическая могила на крутом берегу латышской речки Аа (Гауя) — стали поистине культовыми феноменами русского Серебряного века. По мнению литературоведов, прямыми литературными

⁷ Манделъштам О.Э. ПСС, т. 1. С. 32–33.

⁸ Манделъштам О.Э. ПСС, т. 1. С. 35.

⁹ Сологуб Ф. Собрание стихотворений: В 8 т. СПб.: Навьи Чары, 2002, т. 1. С. 100.

¹⁰ Кара-Мурза А.А. Поэт-философ Иван Ореус-Коневской — культовая фигура «русского северянства» Серебряного века // Человек, 2020, т. 31, № 3. С. 155–172.

наследниками Коневского (взявшего свой литературный псевдоним по названию уединенного северного Коневецкого монастыря на Ладожском озере), помимо Мандельштама, стали такие корифеи русской поэзии, как Александр Блок, Валерий Брюсов, молодой Борис Пастернак¹¹. (К слову сказать, автор настоящей статьи считает, что поздний Пастернак передал «северянскую эстафету» лучшему из своих учеников — поэту Андрею Вознесенскому, который посвятил Сигулде и погибшему там шестьдесят лет назад юному поэту Коневскому свое знаменитое стихотворение 1961 г. «Осень в Сигулде»¹²).

«Он сыграл у нас ту же роль, что Рембо в конце 60-х годов во Франции», — написал об Ореусе-Коневском известный литературовед-эмигрант Е.В. Аничков¹³. Ему вторит современный знаток творчества Коневского Е.И. Нечепорук: «Поэтическую культуру русского символизма невозможно постичь без И. Коневского, как французскую — без Ш. Бодлера [Ch. Baudelaire], английскую — У.Б. Йитса [W.B. Yeats], немецкую — С. Георге [S. George], австрийскую — Г. фон Гофманстала [H. von Hofmannsthal]»¹⁴.

Юный Осип Мандельштам познакомился с поэзией Ивана Коневского через своего преподавателя литературы в петербургском Тенишевском училище — известного теоретика «русского северянства» и тоже поэта Вольдемара Гиппиуса. Позднее, в своей мемуарной книге «Шум времени», Мандельштам написал об огромном влиянии на него Гиппиуса, как настоящего «формовщика душ» поэтической молодежи: «Власть оценок В.В. (Гиппиуса.— А.К.) длится надо мной и посейчас. Большое, с ним совершенное, путешествие по патриархату русской литературы... до *Коневца раннего символизма* (курсив мой.— А.К.) так и осталось единственным»¹⁵.

Известно, что летом 1906 г. 15-летний Осип Мандельштам, упрямивший родителей поехать на лето именно в Зегевольд, где в июле 1901 г. утонул Иван Ореус-Коневской, много времени проводил на могиле своего поэтического кумира. Образ «тенистого» кладбища в Зегевольде, на окраине которого был похоронен Коневской, появляется в стихотворении Мандельштама «Среди лесов унылых и заброшенных...» (1906), открывающем первый том всех его Собраний сочинений¹⁶.

¹¹ Kara-Murza A.A. Boris Pasternak, “Winter Man”: On the Cultural Self-Identification of Russian Geniuses // Russian Studies in Philosophy, 2020, vol. 58, № 4. Pp. 299–306.

¹² Кара-Мурза А.А. Россия как «Север»: проблемы цивилизационной идентичности в философии Бориса Пастернака (к 130-летию со дня рождения) // Философский журнал, 2020, т. 13, № 2. С. 5–18.

¹³ Аничков Е. Новая русская поэзия. Берлин: Изд-во И.П. Ладыжникова, 1923. С. 10.

¹⁴ Нечепорук Е. «О слово вещее, слово — сила...». О творчестве Ивана Коневского // Коневской (Ореус) И.И. Мечты и думы. Стихотворения и проза. Томск, 2000. С. 3.

¹⁵ Там же. С. 27.

¹⁶ Мандельштам О. Стихи и проза 1906–1920. С. 31.

Прямую связь этого стихотворения с образом погибшего в Зегевольде летом 1901 г. Ивана Коневского подтверждают и слова из мемуарной книги Мандельштама «Шум времени»: «В тот год, в Зегевольде, на курляндской реке Аа стояла ясная осень с паутинкой на ячменных полях... Жители хранят смутную память о недавно утонувшем в речке Коневском. То был юноша, достигший преждевременной зрелости и потому не читаемый русской молодежью; он шумел трудными стихами, как лес шумит под корень. И вот, в Зегевольде... я по духу был ближе к Коневскому, чем если бы я поэтизировал на манер Жуковского и романтиков»¹⁷.

Очевидны и более поздние «переклички» поэтических размышлений Мандельштама с более ранними стихотворными интуициями Коневского. Вот, например, строки Коневского из стихотворения «Соборная дума» (март 1899 г.):

*И как нам отбиться от волка лихого...,
Скажи, о бездольный мой брат!*¹⁸

А вот хорошо известная вариация на эту же тему в широко известном «северном» стихотворении Мандельштама 1931 г.:

*Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степеней.
.....
Уведи меня в ночь, где течет Енисей,
Где сосна до звезды достаёт,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьёт*¹⁹.

А вот еще одна «тема» — о «крови», как «строительнице жизни», заданная Иваном Коневским в стихотворении «Наброски оды» (январь 1900 г.):

*По сердцу, по среде томится
И вместе вне и вдаль стремится
Строительница жизни кровь,*

¹⁷ Мандельштам О. Шум времени. М. — Augsburg: Werden-Verlag, 2002. С. 19–20.

¹⁸ Коневской (Ореус) И.И. Мечты и думы. С. 188.

¹⁹ Мандельштам О. Стихи и проза 1930–1937 // Мандельштам О. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 3. С. 46–47.

*Ей в срок урочный возвращаться,
Чтоб вновь извне обогащаться,
Чтоб ткать живые ткани вновь*²⁰.

И реакция уже зрелого Мандельштама на эту тему, когда-то предложенную его поэтическим учителем Коневским, в знаменитом стихотворении «Век» (1922):

*Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И свою кровью склеит
Двух столетий позвонки?
Кровь-строительница хлещет
Горлом из земных вещей...*²¹

В литературе о Мандельштаме многократно обсуждался вопрос о его «религиозности», в частности, — о мотивах и обстоятельствах принятия им христианского крещения. Однако, при всей дискуссионности этой темы, центральный факт неоспорим, и он однозначно свидетельствует в пользу «северянской» самоидентификации молодого Мандельштама. 14 (26) мая 1911 г. Осип Мандельштам, вопреки очевидному сопротивлению отца, был крещен в финляндском Выборге, в епископско-методистской общине, пастором Нильсом Розеном из Гельсингфорса (Хельсинки).

Мотивы «Севера» обильно присутствуют в поэзии Мандельштама 1910-х гг. В 1914 г. он пишет свое знаменитое «шотландское» стихотворение «Я не слышал рассказов Оссиана», включившись в литературное обсуждение одного из излюбленных сюжетов «русского северянства» — талантливой стилизации под древний шотландский эпос Джеймса Макферсона, писателя середины XVIII в. Однако, в отличие от одного из зачинателей и классиков «русского северянства», князя Петра Вяземского (как известно, полуирландца по происхождению), Мандельштам — потомок еврейских беженцев с испанского юга, подчеркивает не *кровное*, а *культурное* родство с классической «северной» поэзией:

*Я не слышал рассказов Оссиана,
Не пробовал старинного вина;
Зачем же мне мерещится поляна,
Шотландии кровавая луна?...*

.....

²⁰ Коневской (Ореус) И.И. Мечты и думы. С. 211.

²¹ Мандельштам О. Стихи и проза 1921–1929. С. 41.

*И не одно сокровище, быть может,
Минуя внуков, к правнукам уйдет,
И снова скальд чужую песню сложит
И как свою ее произнесет*²².

Мандельштам возвращается к теме «наследования чужой культуры» и в стихотворении «Когда на площадях и в тишине келейной» (декабрь 1917 г.), посвященное другу-поэтессе Анне Ахматовой. В этом мандельштамовском тексте «зима» и вообще «Север», снова, как и в юношеском «финском» («колыбельном» и посвященном матери) стихотворении 1908 г., служат идеальным местом укрытия и сбережения человеческой культуры в «сходящем с ума» хаотизирующемся мире:

*Когда на площадях и в тишине келейной
Мы сходим медленно с ума,
Холодного и чистого рейнвейна
Предложит нам жестокая зима.
В серебряном ведре нам предлагает стужа
Валгаллы (волшебной страны из северного эпоса — А.К.)
белое вино,
И светлый образ северного мужа
Напоминает нам оно*²³.

Однако, конец 1917-го года — это для России и мира уже совершенно иная эпоха, и нотки небывалой ранее тревоги звучат в тексте Мандельштама:

*Но северные скальды грубы,
Не знают радостей игры,
И северным дружинам любы
Янтарь, пожары и пиры*²⁴.

В начале 1920-х годов О.Э. Мандельштам сделал серьезную попытку стать теоретиком «русского северянства» в области литературоведения и истории культуры. Зимой 1923 г. он выступил на страницах только что созданного журнала «Русское искусство», декларировавшего окончание эксцессов революции и гражданской войны и объединившего (как оказалось, очень ненадолго) лучших деятелей русской культуры, лояльных Советской власти.

²² Мандельштам О. Стихи и проза 1906–1921. С. 103.

²³ Там же. С. 131.

²⁴ Там же.

В программной по сути статье «Буря и натиск» в первом номере журнала Мандельштам писал: «Отныне русская поэзия первой четверти двадцатого века во всей своей совокупности уже не воспринимается читателями как “модернизм” с присущей этому понятию двусмысленностью и полупрезрительностью, а просто как русская поэзия»²⁵. «Произошло то, — делает вывод Мандельштам, — что можно назвать *сращением позвоночника* (курсив мой. — А.К.) двух поэтических систем, двух поэтических эпох»²⁶. (Добавим, что статья «Буря и натиск» готовилась, судя по всему, в конце 1922 г. и в ней, как видим, также как и в стихотворении «Век», помеченного тем же годом, снова присутствует дорогая для Мандельштама «тема Коневского» — о «крови-строительнице», которая «склеивает позвонки» разных эпох).

Правда, уже в следующем номере журнала (оказавшимся и последним) Мандельштам, в своих «Заметках о поэзии», забыл о продекларированном «примиренчестве» и уже писал о том, что «главная линия противостояния» внутри русской литературы сохраняется. По его мнению, в русской культуре по-прежнему имеет место «война Севера и Юга» — собственно русской и византийской традиций, «борьба мирской бесписьменной речи, домашнего корнесловья, языка мирян, с письменной речью монахов, с церковнославянской, враждебной, византийской грамотой»²⁷.

Согласно Мандельштаму, именно византийские монахи, эти «первые интеллигенты», навязали русскому языку «чужой дух и чужое обличье», ибо «чернецы, т.е. интеллигенты, и миряне всегда говорили в России на разных языках»²⁸. Поэтому, делает вывод Мандельштам, «всё, что работает в русской поэзии на пользу чужой монашеской словесности, всякая интеллигентская словесность, т.е. “Византия”, — реакционна»²⁹. И наоборот: «Всё, что клонится к обмирщению поэтической речи, т.е. к изгнанию из нее монашеской интеллигенции, Византии, — несет языку добро, т.е. долговечность, и помогает ему, как праведнику, совершить подвиг самостоятельного существования в семье других наречий»³⁰.

Первой попыткой вырваться из «византийщины» на «Север» была предпринята святыми Кириллом и Мефодием, хотя их «славянщина» для своего времени была примерно тем же, чем стал «язык газеты» для «нашего времени»³¹. Что касается современной русской литературы, то исключительно

²⁵ Мандельштам О. Буря и натиск // Русское искусство, 1923, кн. 1 (февраль). С. 76.

²⁶ Там же.

²⁷ Мандельштам О. *Vulgata* (Заметки о поэзии) // Русское искусство, 1923, кн. 2–3 (февраль). С. 68.

²⁸ Там же. С. 69.

²⁹ Там же.

³⁰ Там же.

³¹ Там же. С. 70.

позитивным примером «обмирщения языка» и его «секуляризации» является поэтическое творчество Бориса Пастернака³².

А кто же является примером негативным? В России, уверен Мандельштам, всё еще бытует иллюзия, «что в русской речи спит латынь..., что спит в ней Эллада»: «С тем же правом можно расколдовать в музыке русской речи негритянские барабаны и односложные словоизъявления кафров. В русской речи спит она сама и только она сама»³³.

Совершенно очевидно, что главной мишенью в своей критике «южной архаики» Мандельштам выбрал «византийско-эллиническую» поэзию Вячеслава Иванова. По мнению Мандельштама, в поисках культурных истоков русской поэзии, безусловно талантливый поэт Иванов, «благодаря отсутствию чувства меры, свойственному всем символистам, невероятно перегрузил свою поэзию византийско-эллиническими образами и мифами, чем значительно ее обесценил»³⁴.

Согласно Мандельштаму, Вячеслав Иванов, конечно, «более народен и в будущем более доступен, чем все другие русские символисты»³⁵. Однако «значительная доля обаяния его торжественности относится к нашему филологическому невежеству»: «Эллинистические стихи Вячеслава Иванова написаны не после и не параллельно с греческими, а раньше их, потому что ни на одну минуту он не забывает себя, говорящего на варварском родном наречии»³⁶.

Безусловно положительным явлением в русской поэзии, способствующей преодолению «южной архаики», Мандельштам считал переход от устаревшего «символизма» к новейшим формам, например, «футуризму». Русский символизм, согласно Мандельштаму, оказался ненадежным инструментом для поступательного преодоления «византийщины», ибо был на деле лишь «сильнейшим сквозняком с Запада»³⁷. Заменить старо-южную доминанту — «византийщину» на банальное «западничество», согласно Мандельштаму, не получилось. Вышла, скорее, пародия: «Воистину русские символисты были столпниками стиля; на всех вместе не больше пятисот слов — словарь полинезийца»³⁸.

В отличие от символизма, футуризм, по Мандельштаму, нес в себе «все черты национального поэтического возрождения», обеспечив перспективу обогащения «национальной сокровищницы языка и глубиной, своей

³² Там же.

³³ Мандельштам О. *Vulgata* (Заметки о поэзии). С. 69.

³⁴ Мандельштам О. Буря и натиск. С. 76.

³⁵ Там же. С. 77.

³⁶ Там же. С. 77–78.

³⁷ Там же. С. 75.

³⁸ Мандельштам О. *Vulgata* (Заметки о поэзии). С. 69.

поэтической традиции»³⁹. Эта самобытность сближала русский футуризм с европейским романтизмом — в отличие от «чужестранного русского символизма, бывшего “культуртрегером”, переносителем поэтической культуры с одной почвы на другую...»⁴⁰.

Результат усилий, предпринятых футуристами не заставил себя ждать — для Манделъштама он сродни европейской Реформации, увлекшей освободившуюся, обмирщенную Европу на Север, подальше от папского Рима. «Когда я читаю “Сестру мою жизнь” Пастернака, — пишет Манделъштам, — я испытываю ту самую чистую радость освобожденной от внешних влияний мирской речи, черной поденной речи Лютера. Так радовались немцы в своих черепичных домах, впервые открывая свеженькие, типографской краской пахнущие свои готические Библии»⁴¹.

Историософская концепция Осипа Манделъштама: «*поступательного движения русской культуры на север*» перекликается с получившими известность тоже в 1920-е годы (в основном в среде русской постреволюционной эмиграции) идеями русского культуролога-европеиста Георгия Федотова (впрочем, гораздо более уважительно относившегося к античным традициям). В своей знаменитой статье «Трагедия интеллигенции», опубликованной в 1926 г. в парижском журнале «Версты» под псевдонимом «*Е. Богданов*», Федотов писал: «Москва для нас имя, покрывшее всю Северную Русь. В нее как в озеро, во внутреннее море (вроде Каспия) вливались все ручьи, пробившиеся в северных мшистых лесах»⁴².

Однако основную роль в «северном» спасении и концентрации русской культуры Федотов отводит не Москве и не Санкт-Петербургу, а Великому Новгороду: «Главное творческое дело было совершено Новгородом. Здесь, на Севере, Русь перестает быть робкой ученицей Византии и, не прерывая религиозно-культурной связи с ней, творит свое — уже не греческое, а славянское или, вернее, именно русское — дело. Только здесь Русь откликнулась христианству своим особым голосом...»⁴³

... В своих знаменитых воспоминаниях об Осипе Манделъштаме его вдова, Надежда Манделъштам, в главке с характерным названием «Вечный жид» пишет, что во второй половине жизни, всё более насыщавшейся мотивами трагизма, Манделъштам, пострадавший от большевистского режима, полностью отказался от апологии любых форм «русского северянства» и, по-видимому, вспомнив о своих «испанских корнях», всё чаще мечтал о «теплом Юге».

³⁹ Манделъштам О. Буря и натиск. С. 75–76.

⁴⁰ Там же.

⁴¹ Манделъштам О. *Vulgata* (Заметки о поэзии). С. 70.

⁴² Богданов Е. [Г.П. Федотов]. Трагедия интеллигенции // Версты, 1927, № 2. С. 155.

⁴³ Там же. С. 155–156.

По мнению Надежды Мандельштам, в середине 1930-х гг. Осип Эмильевич особенно остро ощутил свое родство с южно-европейскими евреями, бежавшими в поиске лучшей жизни на Север. Тогда, будучи в ссылке в Воронеже (1934–1937), он перечитывал в переводе Валентина Парнаха стихи старых испанских и португальских поэтов — жертв католической инквизиции⁴⁴. «Мандельштам убеждал меня, — пишет Надежда Яковлевна, — что тяга на юг у него в крови. Он чувствовал себя пришельцем с юга, волею случая закинутым в холод и мрак северных широт...»⁴⁵

Литература

Аничков Е. Новая русская поэзия. Берлин: Изд-во И.П. Ладыжникова, 1923.

Кара-Мурза А.А. Россия как «Север»: проблемы цивилизационной идентичности в философии Бориса Пастернака (к 130-летию со дня рождения) // Философский журнал, 2020, т. 13, № 2. С. 5–18

Кара-Мурза А.А. Поэт-философ Иван Ореус-Коневской — культовая фигура «русского северянства» Серебряного века // Человек, 2020, т. 31, № 3. С. 155–172.

Коневской (Ореус) И.И. Мечты и думы. Стихотворения и проза. Томск, 2000.

Мандельштам Н.Я. Собрание сочинений: В 2 т. Т. 2. Екатеринбург: Изд-во Гонзо, 2014.

Мандельштам О. Буря и натиск // Русское искусство, 1923, кн. 1 (февраль). С. 75–82.

Мандельштам О. *Vulgata* (Заметки о поэзии) // Русское искусство, 1923, кн. 2–3 (февраль). С. 68–70.

Мандельштам О.Э. Стихи и проза 1906–1921 // Мандельштам О.Э. Полное собрание сочинений и писем: В 4 т. М.: Арт-Бизнес Центр, 1999. Т. 1.

Мандельштам О.Э. Письма // Полное собрание сочинений и писем: В 4 т. М.: Арт-Бизнес Центр, 1999. Т. 4.

Мандельштам О. Шум времени. М.— Augsburg: Werden-Verlag, 2002.

Мандельштам О.Э. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. М.: Прогресс-Плеяда, 2009–2011. Т. 1–3.

Нечепорук Е. «Ослово вещее, слово — сила...». О творчестве Ивана Коневского // Коневской (Ореус) И.И. Мечты и думы. Стихотворения и проза. Томск, 2000. С. 3–26.

Испанские и португальские поэты, жертвы инквизиции (ред. В. Парнах). М.— Л.: Academia, 1934.— 192 с.

Сологуб Ф. Собрание стихотворений в 8 тт. СПб.: Навьи Чары, 2002. Т. 1.

Федотов Г.П. (псевд. «Е. Богданов»). Трагедия интеллигенции // Версты, 1927, № 2. С. 145–184.

Кара-Мурза А.А. Boris Pasternak, “Winter Man”: On the Cultural Self-Identification of Russian Geniuses // Russian Studies in Philosophy, 2020, vol. 58, № 4. Pp. 299–306.

⁴⁴ Испанские и португальские поэты, жертвы инквизиции (ред. В. Парнах). М.— Л.: Academia, 1934.— 192 с.

⁴⁵ Мандельштам Н.Я. «Вторая книга» и другие произведения (1967–1979). (Сост. С.В. Василенко, П.М. Нерлер, Ю.Л. Фрейдин) // Мандельштам Н.Я. Собрание сочинений в 2 тт. Т. 2. Екатеринбург: Изд-во ГОНЗО, 2014. С. 502.

ПРОБЛЕМА «РОССИЯ И ЕВРОПА» В ЭМИГРАНТСКИХ ТРУДАХ ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА ВЕЙДЛЕ (1895–1979)

Творческое наследие Владимира Васильевича Вейдле (1895–1979) — социального мыслителя, историка культуры, поэта, «последнего из могокан» русского Серебряного века, все более привлекает внимание профессиональных философов¹. В марте 2015 г. в Институте философии РАН состоялась Международная научная конференция «Россия и Европа: возвращение или разрыв?», посвященная 120-летию со дня рождения В.В. Вейдле².

Всю свою долгую жизнь Владимир Вейдле, воспитанный в обрусевшей немецкой семье, считал себя «русским европейцем», будучи убежден, что культурная Россия — это неотъемлемая часть европейской христианской цивилизации. Однако, полагал он, высокая культура везде и всегда испытывает давление со стороны «нового варварства», и в этом смысле европеизм в России особо уязвим, ибо культурный слой здесь, как нигде в просвещенной Европе, узок. Вейдле любил метафорически уподоблять Россию «огромной ватрушке», которую «скаредная хозяйка едва прикрыла тонким слоем творога»³. Вот почему *за культуру*, и в этом смысле — *за Европу* в России приходится постоянно и настойчиво *бороться*, подчас — против самой наличной Европы, где тоже могут нарастать, а иногда и брать верх контркультурные тенденции.

Историки философии и культуры относят взгляды В.В. Вейдле к «новому западничеству». «Это западничество — не белинско-герценовское, а христианское, но включающее и античное наследие — общее для всей Европы», — написал в некрологе на смерть Вейдле в 1979 г. его друг, известный историк русской культуры Ю.П. Иваск⁴.

¹ См.: Жукова О.А. Границы России: культурный универсализм В.В. Вейдле // Философские науки, 2015, № 7. С. 14–27; Омелаенко В.В. Две идентичности и две России В.В. Вейдле // Философские науки, 2015, № 7. С. 38–44; Сиземская И.Н. В.В. Вейдле о культурной общности России и Европы // Философские науки, 2015, № 7. С. 8–13; Усманов С.М. Европа и Россия в историософии Владимира Вейдле // Соловьевские исследования, 2013, № 4 (40). С. 140–153.

² Первая большая международная конференция, посвященная философско-историческому творчеству В.В. Вейдле, состоялась в 2003 г. в Перми. В те же дни, по инициативе Национального фонда «Русское либеральное наследие», на историческом факультете Пермского университета, где в 1918–1921 гг. преподавал Вейдле, состоялось открытие мемориальной доски.

³ Вейдле В.В. Три России // Современные записки, Париж, 1938, № 65. С. 308.

⁴ Иваск Ю. Владимир Васильевич Вейдле // Новый журнал, Нью-Йорк, 1979, кн. 136. С. 215.

Петр Великий и Европа

Фигура Петра Великого была объектом постоянного и самого пристального внимания петербуржца по рождению Владимира Вейдле. По его мнению, высказанному в 1938 г. в программной статье «Три России» (первоначально опубликованной в парижских «Современных записках»), и русские славянофилы, и русские западники одинаково заблуждались в трактовке петровских преобразований. Первые допускали ошибку, утверждая, что это был «беспримерный в истории, извне навязанный народу культурный перелом»; вторые же были неправы, когда видели в деятельности Петра «всего лишь осуществление чего-то давно подготовлявшегося и вполне необходимого»⁵.

Согласно Вейдле, энциклопедически образованному историку и культурологу, преобразования русского царя Петра Алексеевича не были так уж уникальны и имели аналоги в мировой истории. Их вполне можно сравнить с тем, «тоже очень болезненным переломом, какой произошел в Германии за два века перед тем, когда ее старая, укорененная в душах средневековая культура столкнулась с неудержимой волной Возрождения, шедшей из Италии»: «Пропасть, разделявшая эти два мира, была ничуть не меньше той, что отделяла Россию царя Алексея от современного ей Запада»⁶.

Процесс «сращения» старого и нового в немецкой культуре был, возможно, еще более трудным, чем в петровской России: «Ничто в самой Германии не подготовляло ее к восприятию чуждых ей культурных форм, в то время как древняя Русь обладала чертами, уводившими ее от Византии и приближавшими к Западу»⁷. При этом две особенности отличали реформу Петра от переворота, пережитого Германией: «низкое качество того, что она хотела России навязать, и само это навязыванье, т.е. революционный ее характер»⁸.

В самом деле, ведь немецкая культура на рубеже Нового времени, согласно Вейдле, «столкнулась лицом к лицу с Флоренцией и Римом, с Леонардо и Макиавелли, а России приказано было заменить Царьград Саардамом, икону “парсунной”, а веру и церковный быт шестипалым младенцем из царской кунсткамеры». С другой стороны, «в Германии никто не заставлял Дюрера подражать итальянцам или позже Опитца писать стихи на французский лад, а в России Петр резал бороды и рукава и перекраивал мозги, поскольку знал, как это делать»⁹.

По мнению Вейдле, грандиозное преобразование, совершенное в России Петром, «было первой революцией, которая вообще произошла в Европе, ибо английская революцией в собственном смысле слова не была, а до французской никто и не думал, что можно в несколько лет создать нечто дотолем не

⁵ Вейдле В.В. Три России. С. 310.

⁶ Там же.

⁷ Там же. С. 311.

⁸ Там же.

⁹ Там же.

известное». И это была именно *революция*, а не реформа, пусть даже и самая радикальная: «Если бы дело сводилось к изменению русской жизни путем прививки ей западных культурных форм, можно было бы говорить о реформе, и притом о реформе вполне назревшей и своевременной, но путь шел к сношению старого и к постройке на образовавшемся пустыре чего-то разумного, полезного и вытянутого по линейке, а такой замысел иначе, как революционным, назвать нельзя»¹⁰.

Однако Петр Великий был революционером особого типа. Вейдле называет его «первым технократом новых времен, тем, что один современный историк (Тойнби. — А.К.) предложил назвать *Homo Occidentalis Mechanicus Neobarbarus*»: «Современный американец мог бы ценить в нем своего предшественника, для которого культура уже сводилась целиком к технической цивилизации»¹¹.

Издержки петровских преобразований были весьма велики, ибо Петр «переделывал» Россию, «не спрашивая ее мнения, не считаясь с ее чувствами, разрушая в ее укладе не только то, что казалось вредным, но и то, что казалось недостаточно полезным»¹². В итоге, Петр «парализовал на два века деятельность русской церкви, он окончательно отрезал от народного быта культурный быт»¹³. Петр, согласно Вейдле, «представлял себе государство по старой русской привычке, получившей поддержку в рационалистическом абсолютизме современного ему Запада, как нечто внеположное стране, почти как смирительную рубашку на сумасшедшем, который иначе стал бы буйствовать, и страна ответила ему еще обострившимся против прежнего взаимным отчуждением государства и народа. В конечном счете мы обязаны Петру, и всем тем великим, что было создано петербургскою Россией, и той катастрофой, что положила ей конец»¹⁴.

Однако, в отличие от славянофильских критиков петровских реформ, Вейдле констатирует, в конечном счете, исключительную благотворность преобразований Петра Великого: «Он многое в России покалечил и многое окостенил, но в самом главном он успел, — как не слишком заботливый хирург, ничего не спасший больному, кроме жизни...»¹⁵. В другом месте этой же статьи «Три России» Вейдле формулирует ту же мысль иначе: «Царь-плотник, к несчастью для нас, был в очень малой мере царем-садовником»¹⁶.

¹⁰ Там же.

¹¹ Там же. В нью-йоркском издании 1956 г. слово «американец» заменено на: «прогрессист» (см.: Вейдле В.В. Три России // Вейдле В.В. Задача России. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956. С. 86).

¹² Вейдле В.В. Три России // Современные записки, Париж, 1938, № 65. С. 311.

¹³ Там же. С. 312.

¹⁴ Там же.

¹⁵ Там же. С. 311.

¹⁶ Там же. С. 312.

Итак, «ограниченность» царя Петра «была велика, но все же не превышала его гения»: «Толкнув Россию к Западу, он все же исполнил ее судьбу и сделал то, что как раз и требовалось сделать. Он воспитывал мастеровых, а воспитал Державина и Пушкина; он думал о верфях и арсеналах, но вернул Европе Россию, а за ней весь православный мир: основанием Петербурга вновь соединил то, что было разъединено основанием Константинополя. Дело Петра переросло его замыслы и переделанная им Россия зажила жизнью гораздо более сложной и богатой, чем та, которую он так свирепо ей навязывал»¹⁷.

Реформы Петра, согласно Вейдле, были, конечно, во многом импровизацией, опиравшейся на огромную личную волю, однако общее направление движения — в Европу — было угадано верно. Ведь сам царь Петр Алексеевич был воспитан, конечно, именно в европейской христианской традиции. «Когда ему не было еще и двенадцати лет, — писал Вейдле о юном сыне царя Алексея, — во всех московских церквах служили благодарственные молебны по случаю освобождения Вены от турецкой осады (осенью 1683 г., в период регенства царевны Софьи. — А.К.)»¹⁸.

«Басурманской столицей та раскольничья, стрелецкая, избяная Белокаменная все же не была, — пишет Вейдле о петровской Москве. — Когда Петр, подросток, растолкал, взбудоражил ее, осрамил и развенчал, когда он всю страну “вздернул на дыбы” и выстегал заморской плетью, многое так и осталось поруганным и оскверненным, но переворот был все-таки направлен верно, окно прорублено на Запад, а не на Восток. Доказательством этому служат все дальнейшие двести лет, и, прежде всего, тот необыкновенно бодрый и быстрый рост государственной, хозяйственной и созидательно-духовной жизни, которым было отмечено время от Ломоносова до Пушкина»¹⁹.

Преобразования Петра Великого, по мнению Вейдле, облегчались тем несомненным для автора обстоятельством, что «Древняя Русь, уже в силу византийского воспитания своего, была Европой, т.е. обладала основными предпосылками европейского культурного развития»²⁰. Более того, согласно Вейдле, «допетровская русская культура была западней византийской»: «И потому дело Петра было лишь законным завершением того круга, прошедшего сквозь четырнадцать веков исторического пути, который начался перенесением римской столицы в Константинополь и кончился перенесением русской столицы в Петербург. Религиозная, государственная, правовая жизнь Древней Руси, при всех отличиях от Запада, все же меньше отличалась

¹⁷ Там же. С. 311–312.

¹⁸ Вейдле В.В. Возвращение на Родину // Вейдле В.В. Безымянная страна. Париж: YMCA-Press, 1968. С. 22.

¹⁹ Там же.

²⁰ Вейдле В.В. Россия и Запад // Современные записки, Париж, 1938, № 67. С. 265.

от него, чем соответственные области византийской культуры, а кое в чем была ближе к нему, чем к самой византийской своей наставнице»²¹.

Между тем, все большее «обособление» Руси от Европы в «московский период» могло привести к «полному отъединению европейского Востока от Запада»: «Россия могла выпасть из Европы»²². Этого тем не менее не случилось, потому что «препятствовали этому не только сохранившиеся, хотя и слабые, связи с западным миром, но и еще больше те западные сравнительно с Византией черты, что проявились в духовном обиходе и культурном творчестве Московской Руси»²³.

«Опасность деевропеизации», по мнению Вейдле, была окончательно устранена Петром: «Константин раздробил, Петр восстановил европейское единство. Удача, по крайней мере в плане культуры, совершенного им всемирно-исторического дела засвидетельствована всем, что было создано Россией за два века петербургской ее истории»²⁴. Именно два столетия расцвета Петербургской России являются главным аргументом Владимира Вейдле в пользу его «европеистской» историософской концепции.

Согласно Вейдле, судить о любой нации «нужно, как о личности» — «не столько по корням ее, сколько по ее плодам»: «У нас слишком часто судили о России не по тому, чем она стала, а по тому, чем якобы обещала стать. Даже если бы древнерусская культура не была частью европейской, а соответствовала во всем славянофильским или евразийским представлениям о ней, новой русской культуры было бы вполне достаточно, чтобы доказать предначертанность для России не какого-нибудь иного, а именно европейского пути. Если бы Петр был японским микадо или императором ацтеков, на его земле завелись бы со временем авиационные парки и сталелитейные заводы, но Пушкина она бы не родила»²⁵.

«Евразия» или «Еврафрика»?

Убежденный европеист, Владимир Вейдле любил поиронизировать над периодически реанимируемой в отечественной историософии версией о том, что Россия — в культурно-цивилизационном смысле — не Европа, а некая «Евразия». «Если называть Евразией Россию, — писал Вейдле в 1936 г. в работе “Границы Европы” (в своей первой большой статье в парижских

²¹ Там же. С. 265–266.

²² Там же. С. 266.

²³ Там же. С. 267.

²⁴ Там же.

²⁵ Там же. См. также: Вейдле В.В. Пушкин и Европа // Современные записки 1937, № 63. С. 220–231. Подробнее об этом: Кара-Мурза А.А. «Всемирная отзывчивость» или «русский европеизм»? (Владимир Вейдле о творчестве Пушкина) // Полилог, 2018, т. 2, № 1. [Электронный ресурс]

«Современных записках»), — то уж, конечно, с не меньшим правом можно назвать Испанию Еврафрикой»²⁶.

Евразийская идея «месторазвития», согласно Вейдле, мало что объясняет. Ведь, «геологически», «Пиренейский полуостров составляет часть африканского материка, да и по сей день Гибралтарский пролив гораздо меньше отделяет его от Африки, чем высокий горный хребет от Европы. Древнейшее население его, иберы — выходцы из Африки, родственные берберам. Что же касается чингисханова воспитания, постулируемого для России, то и сами евразийцы согласятся, должно быть, признать культурно-воспитательную деятельность Омейядов (т.е. мавров в Испании. — А.К.) и более бесспорной, и более длительной. Остается поэтому объявить Сиду, а заодно и Дон-Кихота национальными героями ливийских кочевых племен, а создавшую их страну — начисто исключить из европейского культурного круга. Любопытно, что и в самой Испании появлялись время от времени если не евроафриканцы, то иберофилы, склонные совершенно серьезно рассматривать Пиренеи как непреодолимую преграду между Веласкесом и Хальсом, Дон-Жуаном и Гамлетом, Санчо и Фальстафом и видеть в своей стране наглухо в себе замкнутый культурный мир»²⁷.

Тему «Евразии», как прямого аналога столь же фантомной, на его взгляд, «Еффрафрики», Вейдле продолжил в 1938 г. в работе «Россия и Запад». «Понятие Евразии по отношению к России географически столь же оправдано, как понятие Еврафрики по отношению к Испании, — повторяет свой тезис Вейдле, — но ни о евразийской, ни о еврафриканской культуре говорить нельзя, а можно говорить лишь о национальных культурах русской и испанской, в которых черты, занесенные с Востока, сыграли большую роль, чем в национальных культурах других европейских стран».²⁸ «Все эти простые истины, — продолжает Вейдле, — забывались бы менее легко, если бы сравнительно отчетливые понятия Азии, или Ближнего Востока, или магометанского мира не заменялись постоянно всезначашим словом Восток, беспрепятственно дающим себя использовать любой идеологии»: «Стоит это слово произнести, чтобы все европейское, но не относящееся к Западной Европе, немедленно превратилось в нечто отнюдь не европейское уже, а иное, враждебное, “восточное”. Эта магическая операция удавалась бесчисленное количество раз в минувшем веке, да и сейчас не лишилась способности затмевать как западные, так и русские умы»²⁹.

²⁶ Вейдле В.В. Границы Европы // Современные записки, Париж, 1936, № 60. С. 309.

²⁷ Там же. С. 310. В нью-йоркском издании 1956 г. слова: «Санчо и Фальстафом» заменены на: «Кальдероном и Корнелем» (Вейдле В.В. Границы Европы // Вейдле В.В. Задача России. С. 64).

²⁸ Вейдле В.В. Россия и Запад. С. 261.

²⁹ Там же.

«Позитивистические или натуралистические предпосылки евразийства сказываются в стремлении целиком выводить культуру из данных географии и этнологии, забывая о том, что духовная преемственность может оказаться сильнее и тех, и других, а также в понимании национальной культуры, как некоего непосредственного выделения народа, тогда как она может содержать не только не народные, по своему происхождению, но и противонародные черты»³⁰.

Стать на точку зрения такой теории, согласно Вейдле, означает «не признавать венгров европейским народом, не видеть, что эллиństwo Гете или Гельдерлина столь же подлинно, как их германство, что западность и русскость Пушкина — одно; это значит, в конечном счете, утверждать, что христианами могут быть только евреи или что в средневековой Франции цвела исключительно французская, но никак не христианско-европейская культура»³¹. Верно в этих воззрениях лишь то, продолжает Вейдле, что «духовная преемственность протекает не в царстве духа, а в условиях исторического существования, вследствие чего христианство, античность, византийство и все вообще, что распространяется и передается, неизбежно меняет свой облик под влиянием местных условий, окрашивается по-новому в новой этнической среде»³².

В самом деле, отмечает Вейдле, «никто не отрицает, конечно, что влияние Востока (а не внутреннее с ним родство) сыграло немалую роль в истории России, и особенно Испании»: «Семь веков арабской культуры — не та что два века Золотой Орды. В испанском характере, в испанских нравах, в испанском искусстве и даже в испанской мистике больше восточных черт, чем в русской жизни и культуре, что не мешает Испании, как и России, оставаться Европой: Сервантес — не мавр, и Пушкин — не монгол»³³.

Возвращение в Европу

Европеизация России, согласно Вейдле, была *возвратом в Европу* после долгого отлучения, и в этом смысле принципиально отличается от модернизации стран Востока. Индия или, например, Япония «сохраняют своеобразие вопреки европеизации и ровно в той мере, в какой она не завершена; Россия заложенное в ней своеобразие, только вернувшись в Европу, и смогла полностью осуществить. Она стала, конечно, более похожей на западные страны, чем была до того, но это сходство не уничтожило несходства, а сочеталось с ним и привело к цветению, которое вне такого сочетания было

³⁰ Там же. С. 265.

³¹ Там же.

³² Там же.

³³ Вейдле В.В. Границы Европы // Современные записки 1936, № 60. С. 310.

бы немыслимо»³⁴. По мысли Вейдле, «воссоединение с Западом» означало возвращение Россией своего законного места в Европе, то есть обретение ею самой себя: «Русской культуре предстояло не потерять свою индивидуальность, а впервые ее целостно приобрести, — как часть другой индивидуальности. Европа — многонациональное единство, неполное без России; Россия — европейская нация, неспособная вне Европы достигнуть полноты национального бытия»³⁵.

Этот вывод — один из фундаментальных для русского культурного европеизма: свою подлинную самобытность Россия может обрести только в Европе. Наивны или лукавы те, кто думает, что чем дальше от Европы, тем, якобы, больше самобытности — дело обстоит как раз противоположным образом: «Утверждаясь в Европе, Россия утверждалась и в себе. Современникам Екатерины это было так ясно, что споры, связанные с этим, касались лишь частных дел, а не существа дела; и почти столь же ясно это было современникам Александра I-го»³⁶.

Итак, ключевой вывод Вейдле: в Европе Россия не теряет, а, напротив, обретает свою самобытность. «Золотыми веками» самобытной русской культуры были именно те, когда она наиболее отчетливо осознавала себя частью культуры общеевропейской. И, наоборот: вне Европы Россия свою самобытность теряет. Поэтому европеизм и самобытность не только не противоречат, а, напротив, плодотворно подпитывают друг друга. Пример тому — великий Пушкин, в котором подлинный европеизм и глубочайшая русскость слились воедино³⁷.

Но что же случилось потом с великой Петербургской Россией, казалось бы, прочно вернувшейся в Европу? Последующая историческая драма, по мысли Вейдле, заключалась в постепенной утрате правящим слоем России «петровского», культурно-просветительского импульса. Более того: сам культурный класс, русская интеллигенция, будучи продуктом и двигателем европеизации, сама со временем породила в своей среде настроения и тенденции, ставшие орудием отчуждения России от Европы.

Классические русские противостояние «западников» и «самобытников» было поначалу вполне *внутриевропейским* спором, явлением высокой культуры. Речь шла о том, на какую именно Европу ориентироваться: на христианскую и допросвещенческую, еще не затронутую прогрессистскими искушениями, или, напротив, на уже секулярную Европу, познавшую вкус гражданственности и правового строя? Однако, родившийся на вполне

³⁴ Вейдле В.В. Возвращение на Родину // Вейдле В.В. Безымянная страна. С. 24.

³⁵ Вейдле В.В. Россия и Запад. С. 268.

³⁶ Там же. С. 269.

³⁷ Подробнее об этом см.: Кара-Мурза А.А. «Всемирная отзывчивость» или «русский европеизм»? С. 3.

европейской почве и ставивший по сути общеевропейские проблемы спор отечественных западников и самобытников постепенно внутренне деградировал, что привело к обоюдному упрощению обеих лагерей. Личностные культурные усилия заменили «кружковщина», «партийность», а мировоззренческий поиск и творчество были подменены все более затвердевающими и не терпящими внутреннего диссидентства идеологиями. Поэтому как «самобытническая», так и «западническая» партии, равно деградировавшие, внесли общий вклад в понижение тона русской культуры, а, следовательно, и в отчуждение России от Европы. Их общими жертвами часто становились подлинные европеисты, не укладывающиеся в прокрустово ложе партийных идеологий.

Будучи, согласно формальной классификации, несомненным «западником», Вейдле неоднократно защищал в своих работах замечательного русского поэта, мыслителя и дипломата Ф.И. Тютчева от нападков недалеких полунинтеллигентов, которые записывали европеиста Тютчева в «антизападники» только на том основании, что тот вполне справедливо критиковал «рабское подражание Западу», сравнивая иных русских прогрессистов с «дикарями», которые «бросаются на вещи, выброшенные им кораблекрушением»³⁸.

Вейдле полагал, что Тютчев «не только усвоил европейскую культуру, но и европейскую землю чувствовал своей землей. Мыслил он европейски, т.е. исходя из целого Европы, просто потому, что иначе мыслить не умел, и Россия была для него хоть и Восточной Европой, а Европой. Настоящий Восток был ему чужд, и ничего азиатского он в русском не искал... Тютчев не одобряет русского нарочитого европеизма, т.е. рабского подражания Западу, но это значит также, что двух цивилизаций, двух культур, русской и западной, для него нет, а есть лишь одна европейская, одинаково принадлежащая Западу и России»³⁹.

По мысли Вейдле, такие фигуры, как Тютчев были абсолютно правы, когда считали русский европеизм проблемой *культурного творчества*, а не подражательства, потому что в истории русского «западничества» действительно существовали периоды «преувеличений и односторонностей», вроде «галломании» или «пенкоснимательства и западнического чванства, никогда не исчезавших из русской действительности»⁴⁰.

Псевдоевропеизм русских подражателей, пренебрегавших национальной спецификой и стиравших ее, где только возможно, как это ни парадоксально, мог поставить под угрозу подлинное возвращение России в Европу: «Опасность денационализации России была реальна, и те, кто с ней боролся,

³⁸ Вейдле В.В. Тютчев и Россия // Вейдле В.В. Задача России. С. 189.

³⁹ Там же. С. 177.

⁴⁰ Вейдле В.В. Россия и Запад // Современные записки, Париж, 1938, кн. 67. С. 268.

были тем более правы, что лишенная национального своеобразия страна тем самым лишилась бы и своего места в европейской культуре...». Подлинный русский европеизм обязан быть творческим и синтетичным: он «уже не согласится ни с славянофилом, готовым в некотором роде довольствоваться народным тоническим стихом, ни с западником, уху которого стих Кантемира должен казаться более радикально-»европейским» и, значит, передовым, нежели стих Пушкина»⁴¹.

Но еще более губительными для русской культуры стали новые «заигрывания» как русского официоза, так и русского нигилистического диссидентства с идеями «охранительной самобытности», предельно высокомерные по отношению к культурной Европе. Новое отчуждение России от Европы в последней трети девятнадцатого века имело для России фатальные последствия: «Как только затуманилось для нас лицо Европы, тотчас постигла нас странная сонливость и повсюду стали замечаться уныние, застой, убыль духовных сил. Наши шестидесятники заклеили окно на Запад прокламациями и подметными листками, отказались от всего его богатства ради горсти лозунгов, ничего не дававших мысли, но пригодных для борьбы. Как бы ни расценивать эту борьбу и всю их деятельность с других точек зрения, с точки зрения культуры она была в высшей степени вредоносна. Недаром проявляли они столь крайнюю нетерпимость ко всем инакомыслящим и столь резкую вражду ко всему, что нельзя было поставить на службу политике (разумеется, их политике): к религии, философии, поэзии, искусству и даже к научному знанию, непригодному для пропаганды и не направленному на непосредственное удовлетворение практических нужд»⁴².

Все это, по мысли Вейдле, привело к понижению творческого тонуса России, ее «провинциализации», очень верно отраженной великим Чеховым и, в конечном счете, послужило образованию того умственного склада, который вскоре стал характерен для широких слоев, относящих себя к интеллигенции. Именно этот слой «полуинтеллигентов», использовавший отчуждение от европейской высокой культуры в качестве своего жизненного субстрата, и восторжествовал в России после Октября: «Полуинтеллигенты пришли к власти, а интеллигенция более высокого культурного уровня оказалась выгнанной или уничтоженной. В России началось снижение культуры, а потом и сдача ее на слом при Сталине, вместе с отчуждением от остальной Европы, достигшем размеров невиданных в послепетровские времена. Россия отходила от Запада... Самобытность она этим не приобретала. Наоборот, чем дальше отходила, тем становилась меньше похожей на себя»⁴³.

⁴¹ Там же. С. 269.

⁴² Вейдле В.В. Возвращение на Родину // Вейдле В.В. Безымянная страна. С. 62.

⁴³ Там же.

Каков же был конкретный механизм этого понижения и опошления русской культуры в среде русской «псевдоинтеллигенции»? Здесь Вейдле формулирует еще одну историософскую мысль, которую в таком целостном и одновременно четко афористическом виде, похоже, ни у кого более не найти. Речь идет о проблеме «своего» и «чужого» в культуре и истории. По мнению Вейдле, партийные идеологи-полуинтеллигенты, рядящиеся либо в тогу «западников», либо «самобытников» (по-сути, неважно) и в основном имитируя непримиримые расхождения, на самом деле в главном *едины*. И те, и другие равным образом *неправомерно противопоставляют Россию и Европу* и тем самым играют в общую контркультурную и в этом смысле антироссийскую игру. «Безоговорочное и непримиримое противопоставление России Западу, Запада России есть ядро идейного комплекса, любопытного прежде всего тем, что его создали и дружно развивали ни в чем другом не согласные между собой умы: исключительные приверженцы всего русского в России и фанатические поклонники Запада на Западе»⁴⁴.

И далее: «И те, и другие стремятся возвеличить “свое” путем умаления “чужого”, не понимая относительности различия между своим и чужим, и само стремление это приносит им заслуженную кару, неизбежно приводя к сужению своего, которому начинает отовсюду угрожать их же собственными усилиями раздутое, разросшееся чужое. Ревнивые европейцы окапываются за Рейном и Дунаем, а наши собственные самобытники отступают от Невы к Москве-реке, покуда и Москва не показалась им еще недостаточно восточной»⁴⁵.

Отсюда общий драматический результат: «Вместо осознания России, как органической составной части Европы, от нее временно отделенной и имеющей вернуться в ее лоно, сохраняя при этом свою особенность, свое неповторимое лицо, у нас стремились либо закрепить навсегда ее отдельность, либо совершить непоправимый отказ от ее особой судьбы, от исторической ее личности»⁴⁶.

В этом смысле «грех» русских радикальных западников Вейдле видел в том, что «им очень хотелось сделать Россию Европой, но они упорно забывали, что Россия уже Европа», и в своем прогрессистском усердии часто безжалостно вытаптывали то, что по сути было европейским⁴⁷.

Итак, самобытники отрицали Европу, а западники отрицали Россию. Но и те, и другие противопоставляли Россию Европе, и большевикам оставалось проделать лишь нехитрую идеологическую компиляцию — совместить пороки обеих концепций: «Революция в советской ее форме, роковым образом унаследовала оба отрицания... Отрицание Европы, от которой она

⁴⁴ Вейдле В.В. Россия и Запад. С. 260.

⁴⁵ Там же.

⁴⁶ Вейдле В.В. Границы Европы // Современные записки, Париж, 1936, кн. 60. С. 304–318.

⁴⁷ Там же. С. 311.

Россию отторгла, и отрицание России, которой она навязала глубоко ей чужой... бездушный техницизм»⁴⁸.

Иначе говоря, большевики, убив Европу в России, радикально отторгли Россию от Европы, но тем самым они уничтожили и саму Россию, нивелировав ее с другими «коммунизирующимися» сообществами. Для Вейдле, СССР — принципиально не был и не мог быть наследником российской государственности: «Ведь эти четыре буквы или четыре слова всего лишь ко всем услугам готовая и ради них придуманная кличка, которая при случае подошла бы к Патагонии или Австралии не хуже, чем к Московии... И обозначает она, конечно, не душу России и даже не ее тело, а лишь универсального покроя мундир, натянутый на нее совершенно так же, как он натянут на многие другие страны и который закройщики его готовятся натянуть на весь мир»⁴⁹. Равным образом, и РСФСР («Российская советская...» и пр.) ничего общего не имеет с Россией: «Россия тут хоть и упомянута, но в виде прилагательного, как если бы человека назвали не Иваном, а ивановской разновидностью блондинов среднего роста»⁵⁰.

В России произошла трагедия, но эта трагедия, по мысли Вейдле, является общей для всей культурной Европы. Ведь уничтожение России как части Европы не может быть безразлично самой Европе. Важно всем признать, что Россия в данной ситуации расплачивается не только за свои, но и за общие, в том числе общеевропейские грехи. При этом формой расплаты является не только русский коммунизм, но и итало-немецкий фашизм и «нет в мире ни одной страны, вполне неповинной во взрощении этой двойной отравы». Не любил Вейдле и американского дегуманизованного техницизма, часто самодовольно противопоставляющего себя «старой Европе». Он полагал, что антикультурный американизм — это такой же «вывих» и «болезнь» Европы, как и советский большевизм: «Россия и Америка... Обе страны поражены наиболее крайней формой утилитарно-технического идолопоклонства, так как все отличия рядом с этим отступают на второй план. В России идола принуждают поклоняться, в Америке поклоняются ему свободно; первое — страшней, но второе, пожалуй, еще безвыходней»⁵¹.

В конце жизни Вейдле надеялся, что, переболев большевизмом, получив этот исторический урок и преподав его другим нациям, Россия сможет вернуться в Европу и там, своим примером, послужит предупреждением для самой Европы от новых возможных всплесков антикультурной, тоталитарной варваризации: «Разучилась Россия — под кнутом разучилась — мыслить

⁴⁸ Там же.

⁴⁹ Вейдле В.В. Безымянная страна. С. 5.

⁵⁰ Там же.

⁵¹ Там же.

себя Европой, а все-таки, если спасется она из-под кнута, если вернет себе свою историю, она воссоединится с Западом и будет снова не только христианской, но и европейско-христианской страной»⁵².

Итак: Россия — часть Европы, но она так же самобытна и единственна, как и любая другая страна Европы. Это парадоксальное умозаключение и сегодня может резать слух не только правоверных «самобытников», но и иных западных «идеологов-партийцев», на животном уровне отторгающих сами слова «самобытность», «особое призвание» и пр. И европеист Вейдле хорошо понимал это. «Как это я, прославивший западником, — вопрошал он, — могу говорить о единственности России..., о ее миссии в отношении остальной Европы? Но отчего же нет? Быть Мессией — одно; обладать особым призванием — совсем другое. Давно пора понять, что Россия так же единственна в европейском целом, как Англия или Италия. Причем значение части для целого как раз и определяется ее несходством с другими ее частями»⁵³. Европа здесь уподобляется оркестровой гармонии инструментов, где каждый имеет свой смысл, свой стиль и свою задачу, но звук которого может раскрыться только в общем симфоническом звучании.

Каков же вывод делает Вейдле из этих историософских размышлений? «Пора вернуться в Россию. Не нам, а России, детям и внукам всех тех, с кем мы расстались, когда мы расстались с ней. Пора им зажечь в обновленной, но все же в той самой стране, где мы некогда жили, в России-Европе, в России, чья родина — Европа. Из нерусского, мирового по замыслу, но Европе враждебного СССР пора им вернуться в Россию и тем самым в Европу; пора им вернуться на родину»⁵⁴.

Возвращение России в Европу — это возвращение в свою, европейскую культуру. Скончавшийся в 1979 г. Вейдле верил в новую пост-большевистскую Россию, которая просто обязана будет «заново прорубить окно — не в Европу даже, на первых порах, а в свое близкое и родное, но наполовину неведомое ей, украденное у нее прошлое»⁵⁵.

«Чтобы это случилось, — писал в конце жизни Владимир Вейдле, — нужно вымести сор из избы, убрать гнездящуюся по углам путаницу и мертвечину; нужно совесть раскрепостить, нужно выбросить за окно отрепья давно исчерпавшей себя, давно беспредметной идеологии. Срок для этого настал. Люди для этого есть. Пора нашей стране очнуться, прозреть, пора зажечь на ветру, а не взаперти, новой, зрячей, полноценной жизнью»⁵⁶.

⁵² Там же.

⁵³ Вейдле В.В. Возвращение на Родину // Безымянная страна. С. 26.

⁵⁴ Там же. С. 17.

⁵⁵ Вейдле В.В. Пора России снова стать Россией // Безымянная страна. Париж: Имкапресс, 1968. С. 163.

⁵⁶ Там же. С. 163–164.

Литература

- Вейдле В.В.* Безымянная страна. Париж: YMCA-Press, 1968. — 164 с.
- Вейдле В.В.* Границы Европы // Современные записки, Париж, 1936, кн. 60. С. 304–318.
- Вейдле В.В.* Задача России. Нью-Йорк: Изд-во Чехова, 1956. — 238 с.
- Вейдле В.В.* Пушкин и Европа // Современные записки 1937, № 63. С. 220–231.
- Вейдле В.В.* Россия и Запад // Современные записки, Париж, 1938, № 67. С. 260–280.
- Вейдле В.В.* Три России // Современные записки, Париж, 1938, № 65. С. 304–322.
- Жукова О.А.* Границы России: культурный универсализм В.В. Вейдле // Философские науки, 2015, № 7. С. 14–27.
- Иваск Ю.* Владимир Васильевич Вейдле // Новый журнал, Нью-Йорк, 1979, кн. 136. С. 213–215.
- Кара-Мурза А.А.* «Всемирная отзывчивость» или «русский европеизм»? (Владимир Вейдле о творчестве Пушкина) // Полилог, 2018, т. 2, № 1. [Электронный ресурс]
- Омелаенко В.В.* Две идентичности и две России В.В. Вейдле // Философские науки, 2015, № 7. С. 38–44.
- Сиземская И.Н.* В.В. Вейдле о культурной общности России и Европы // Философские науки, 2015, № 7. С. 8–13.
- Усманов С.М.* Европа и Россия в историософии Владимира Вейдле // Соловьевские исследования, 2013, № 4 (40). С. 140–153.
- Шарова В.Л.* Россия как Европа: европейские основы цивилизационной идентичности России // Философская мысль, 2017, № 2. С. 71–83.

Раздел четвертый

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ

РУССКИЕ ПОСЛАНЦЫ ПЕТРА I У МОЩЕЙ СВ. НИКОЛАЯ В БАР-ГРАДЕ (1697–1698 ГГ.)

В 1697–1698 гг. в апулийском Бар-граде, хранящем мощи св. Николая Мирликийского и находящемся в те годы под властью испанской короны¹, побывало сразу три группы русских дворян, посланных с различными заданиями в Италию молодым царем Петром Алексеевичем Романовым. Об обстоятельствах пребывания этих трех групп (автор условно назвал их «группой Толстого», «группой Куракина» и «группой Шереметева» — по именам главных мемуаристов этих путешествий) и пойдет речь в публикуемой ниже статье.

В начале 1697 г., указом царя Петра Алексеевича, в Венецию, связанную с Русским царством военным договором «Антитурецкой лиги», были направлены на обучение морским наукам 40 русских дворян, главным образом из числа комнатных стольников недавно скончавшегося «старшего царя» Иоанна V (сына Алексея Михайловича от первого брака с Марией Милославской) и правившего теперь в одиночку 24-летнего Петра, направлявшегося в те же дни с «Великим посольством» в Европу, но «северным маршрутом»².

Многие стольники «комнаты Иоанна», оказавшись не у дел после смерти патрона, были пристроены в «потешные», а затем гвардейские полки Петра, принимали участие в Азовских походах. Однако их значительная часть продолжала держать скрытую фронду по отношению к победившему «клану

¹ В Испании в те годы правил последний из Габсбургов на испанском престоле Карл II Околдованный (*Hechizado*). Испанские владения в Италии входили тогда в состав Неаполитанского королевства под управлением вице-короля Луиса Франциско де ла Серда и Арагон (9-го герцога Мединаселли).

² «Великое посольство» под руководством Лефорта, Головина и Возницына (и при участии царя Петра в скромном качестве «бомбардира Петра Алексеева») выехало из Москвы по дороге на Тверь в начале марта 1697 г. В его составе находилось около 300 человек, а обоз составлял до 1000 саней. Общий сбор был объявлен в сельце Никольском, расположенном на тверском тракте на правом берегу речки Ржавки. В те времена в сельце имелся небольшой деревянный храм во имя св. Николая Мирликийского, образ которого и благословил участников небывалого на Руси «путешествия» — в «еретические земли» с участием самого монарха. В наши дни, примерно на этом же месте, входящем ныне в черту города Зеленограда, стоит большой каменный Храм Николая Чудотворца во Ржавках, построенный в начале XIX в. Разоренный при большевиках, он был возрожден в 1990-х гг.

Нарышкиных» и симпатизировать заключенной в Новодевичий монастырь (но еще не постриженной в монахини) бывшей правительнице-регентше Софье. Назначение недавних стольников Иоанна Алексеевича в число отъезжающих в Европу было во многом принудительным и вызвало сопротивление как самих «волонтеров», так и их влиятельных родственников — это обстоятельство стало одной из главных пружин раскрытого в конце февраля 1697 г. антипетровского заговора, вошедшего в русскую историю как «заговор Циклера-Соковнина-Пушкина»³.

Самым известным из стольников из «клана Милославских», отосланных царем Петром в Венецию, стал Петр Андреевич Толстой (1645–1729) — сын окольничего Андрея Васильевича Толстого и Соломонида Милославской — родственницы первой жены царя Алексея Михайловича, царицы Марии Ильиничны⁴.

Придворная служба Петра Толстого началась не вполне обычным для родственника Милославских образом. В 1671 г. он был причислен ко двору второй жены Алексея Михайловича, Натальи Кирилловны Нарышкиной, которая через год родила царю сына Петра. Однако в 1676 г., при вступлении на престол старшего сына Марии Милославской, царя Федора Алексеевича, Толстой покинул Нарышкиных (те, разумеется, восприняли это как предательство) и перешел под покровительство своего двоюродного дяди, Ивана Милославского — влиятельного главы Приказа Большой казны. После смерти царя Федора тот же И.М. Милославский привлек весной 1682 г. стольника Толстого к участию в стрелецком бунте против Нарышкиных: утром 15 мая они вместе бунтовали стрельцов, «на лошадях скачучи, кричали громко, что Нарышкины царя Иоанна Алексеевича задушили», что послужило сигналом для стрелецкой расправы над Нарышкиными, прямо на глазах у 10-летнего Петра и его матери.

После отстранения от власти в 1689 г. регентши Софьи влиянию Милославских пришел конец — именем царя Петра в Москве стали фактически править Нарышкины. Их притихший и внешне смирившийся недоброжелатель Петр Толстой был отослан из столицы подальше — воеводой в Великий Устюг⁵. В Азовских походах он принимал участие на низших офицерских должностях.

В начале 1697 г., когда возмужавший царь Петр собрался в длительное «Великое посольство» в Европу, Москву начали чистить от неблагонадежных:

³ См.: Устрялов Н. История царствования Петра Великого. Т. III. СПб.: Тип. II-го Отделения ЕИВ канцелярии, 1858. С. 20 и след.

⁴ Подробнее см.: Кара-Мурза А.А. Петр Андреевич Толстой // Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Венеции. М.: Изд-во О. Морозовой, 2019. С. 94–116.

⁵ Все рассказы о том, что царь Петр якобы неоднократно посещал умелого воеводу Толстого, проезжая Великий Устюг речным путем по дороге в Архангельск и обратно, — не более чем легенда, придуманная впоследствии самим Толстым. Исторические документы свидетельствуют, что, проезжая Устюг, царь, наоборот, избегал встреч с опальным Толстым.

в их число, разумеется, в первую очередь попали Милославские, замешанные в заговорах в пользу Софьи. Вместе с тремя молодыми братьями Милославскими⁶ и некоторыми другими бывшими стольниками царя Иоанна 52-летний П.А. Толстой был включен в группу московских дворян, посылаемых на обучение морским наукам в Венецию. Возможно, немолодой Толстой, бывший к тому времени уже дважды дедом, сам вызвался ехать в Италию, ибо на родине его, скорее всего, ожидала незавидная участь: уезжая в Европу, царь Петр оставлял Москву на попечение родного дяди — Льва Кирилловича Нарышкина, известного своей мстительностью и, разумеется, не простившего Толстому активного участия в стрелецком бунте 1682 г. и расправе над своими братьями⁷.

Как бы там ни было, 30 января 1697 г. на двор к стольнику Толстому была прислана из Посольского приказа подписанная царем «проезжая грамота», в которой говорилось: «По нашему, Царского Величества, указу послан во европейские христианские государства, и княжества, и в волные города дворянин наш, урожденный Петр Андреев, для науки воинских дел...»⁸

...С другой стороны, в число посылаемых царем Петром в 1697 г. в Венецию попали также представители т.наз. «новых недовольных» из клана Лопухиных, в обилии приближенных к трону после женитьбы Петра на Евдокии Лопухиной, но после охлаждения царя к жене отодвинутых от власти и частью репрессированных. Среди лиц этой категории можно назвать брата царицы Евдокии, Аврама Федоровича Лопухина⁹, их ближайшего род-

⁶ Существуют свидетельства, что во время своего пребывания в Италии братья Милославские, так и не простившие обид от новой власти, тайно приняли католичество.

⁷ Хотя в ходе следствия по «делу Циклера-Соковнина-Пушкина» причастность к заговору П.А. Толстого установлена не была, ход событий не сулил стольнику ничего хорошего. Так, было установлено, что покушавшиеся на жизнь царя заговорщики исполняли «старые заветы» несколько лет как умершего И.М. Милославского — некогда главного наставника Толстого. Царь Петр повелел достать гроб с телом Милославского из семейного склепа, притащить его в упряжке из свиней (!) в Преображенское, а заговорщиков казнить отсечением головы — да так, чтобы кровь их стекала в открытый гроб «идейного вождя».

⁸ См.: Путешествие стольника П.А. Толстого по Европе. 1697–1699. М.: Наука, 1992. С. 8.

⁹ Аврам Лопухин был в 1697 г. отправлен в Венецию, избежав серьезных репрессий, по причине того, что был женат на дочери главы тайной полиции Ф.Ю. Ромодановского. По возвращении из Италии он продолжит оппозиционную деятельность, не смирившись со ссылкой Петром в Суздаль царицы Евдокии. Являясь, по многим свидетельствам, «серым кардиналом» антипетровской оппозиции, Аврам Лопухин активно поддерживал виды на престол своего племянника — царевича Алексея. Когда осенью 1716 г. царевич бежал за границу, Лопухин, зная обо всех его передвижениях, ни словом не обмолвился об этом царю. Осенью 1717 г. умер всесильный тесть Лопухина — Ромодановский, и вскоре Аврам Федорович был привлечен к дознанию по делу царевича Алексея. Его несколько раз пытали, и в ноябре 1718 г. петербургский Сенат объявил приговор: «смертная казнь», который был приведен в исполнение 8 декабря. Отрубленную голову Лопухина, насаженную на железный шест, выставили у многолюдного Съестного рынка, а обезображенное колесованием тело еще несколько месяцев оставалось «в назидание иным» на месте казни.

ственника Михаила Ртищева (Ртищевой была девичестве мать Лопухиных) и трех молодых князей Хилковых — двоюродных братьев Евдокии и Аврама Лопухиных. Наиболее известным участником этой группы — как по своей дальнейшей биографии, так и благодаря частично опубликованному личному архиву, — стал молодой князь Борис Иванович Куракин (1676–1727), потомок Гедиминовичей, впоследствии основатель династии российских дипломатов¹⁰.

Князь Борис родился в семье Смоленского наместника, Ивана Григорьевича Куракина и Феодосии Алексеевны, урождённой княжны Одоевской. Крестным отцом Бориса Куракина стал только что вступивший тогда на престол царь Федор Алексеевич, а крестной матерью — его сестра, царевна Екатерина. С 1683 г., в правление регентши Софьи, юный Куракин попал в ближайшее окружение «младшего царя» Петра Алексеевича, был его спальником, принимал участие в военных «потехах», а с организацией «потешных полков» стал офицером-знаменосцем Семеновского полка, в составе которого участвовал в Азовских походах.

В пятнадцать лет Куракин женился на Ксении Лопухиной, сестре первой жены царя Петра Евдокии, — так он стал еще и царским «свояком». Однако после охлаждения Петра к царице и отставления от двора Лопухиных попал под подозрение и близкий к ним Куракин. Хворый с детства, он в самый разгар очередной болезни получил указ о фактической высылке из Москвы: «После Рождества Христова наипаче припала мне болезнь и теснила голову, и так мозг слышно было... И января месяца сказано ехать для наук навичных (мореходных — А.К.), и так я заставал в болезни своей той, аж по самой февраль, и с тем поехал в Италию»¹¹.

Перед отъездом князь Борис Куракин, вместе с беременной вторым ребенком женой Ксенией, ее братом Аврамом и другими остававшимися в Москве опальными Лопухиными был на прощальном молебне в церкви св. Николая Чудотворца в Турыгине — семейном храме Лопухиных в Малом Знаменском переулке¹², рядом с их богатыми, а теперь пустующими палатами, пожалованными некогда породнившимся с Лопухиными царем¹³.

¹⁰ Подробнее см.: *Кара-Мурза А.А.* Борис Иванович Куракин // *Кара-Мурза А.А.* Знаменитые русские о Венеции. С. 82–93.

¹¹ Записки кн. Б.И. Куракина о его болезнях и лечении в 1676–1718 гг. // Архив кн. Ф.А. Куракина. Кн. 3. СПб., 1892. С. 230.

¹² Обветшавший со временем Храм Николая Чудотворца в Малом Знаменском переулке будет разобран в 1776 г. в связи со строительством Пречистенского дворца для императрицы Екатерины II.

¹³ Во время путешествия царя Петра в Европу в 1697–1698 гг. Евдокия Лопухина, как и подобало царице, продолжала жить с маленьким сыном Алексеем в Кремлевских палатах. Известно, однако, что, находясь за границей, Петр в своих посланиях неоднократно требовал от приближенных склонить нелюбимую жену к уходу в монастырь (это случится позже, с возвращением Петра из «Великого Посольства»).

Конечно, в составе «волонтеров» в Венецию можно при желании отыскать и близких, по-настоящему верных друзей царя Петра, начинавших службу ему еще в детских «потешных полках», а теперь мечтавших «повидать Италию» (это, например, будущий генерал, покоритель Кавказа М.А. Матюшкин¹⁴ или героически погибший в 1700 г. в битве под Нарвой князь Д.А. Гагин¹⁵), однако таковых среди отъезжавших зимой 1697 г. в Венецию было, похоже, меньшинство. Зато вполне характерными фигурами среди отправляющихся в Италию были не раз отличившиеся ранее буйством, непослушанием, а то и разбоем братья Василий и Владимир Шереметевы¹⁶ или князь Яков Лобанов-Ростовский¹⁷, отправленные в Венецию фактически «на перевоспитание».

В конце февраля 1697 г. около сорока «посланцев Петра» были собраны на западе Москвы, у Дорогомилловской заставы, и двинулись с большим обозом на Смоленск, Варшаву, далее на Вену и — через австрийские Альпы — в Венецию. Каждый из участников поездки ехал за свой счет и мог взять с собой одного слугу и одного оплачиваемого из казны солдата.

Одной из первых остановок группы, на ночевку с 2 на 3 марта 1697 г., стал славный русский город Можайск, традиционно связываемый в отечественном сознании с именем св. Николая Чудотворца, русского «Николы Угодника».

¹⁴ Михаил Афанасьевич Матюшкин (1676–1737) – троюродный брат Петра I, внучатый племянник царицы Евдокии Стрешневой. Семи лет от роду назначен к Петру комнатным стольником; одним из первых вступил в его «потешные войска». После командировки в Венецию поступил на воинскую службу; дослужился до генерал-аншефа (1727). После смерти императора Петра II (1730) Матюшкин стал один из основных авторов знаменитого проекта ограничения императорской самодержавной власти (не был принят императрицей Анной Иоанновной).

¹⁵ Князь Иван Данилович Гагин (1670–1700) — сын воеводы в Пскове и Киеве Д.С. Великогагина. С шестилетнего возраста стольник царя Петра. Во время сидения Петра в Троице в решающие дни 1689 г. Гагин сыграл одну из главных ролей: «отправлен с грамотами по всем полкам стрелецким, которым повелено было прислать выборных стрельцов в Троицкой монастырь от всякого полку». Погиб в 1700 г. в битве под Нарвой.

¹⁶ По свидетельству авторитетного мемуариста И.А. Желябужского, весной 1696 г. младшие братья военачальника Б.П. Шереметева — Василий (1659–1733) и Владимир (1668–1737), были обвинены в тяжелых преступлениях: «На Москве они приезжали среди бела дня к посадским мужикам, и дома их грабили, и смертное убийство чинили, и назывались большими. И Шереметевы освобождены на поруки и даны для бережи боярину Шереметеву (старшему брату. — А.К.)» (*Желябужский И.А. Дневные записки // Рождение Империи. М., Фонд Сергея Дубова, 1997. С. 277*). Надо добавить, что учеба в Венеции «пошла впрок» по крайней мере Владимиру Шереметеву: вернувшись в Россию, он сделал хорошую военную карьеру.

¹⁷ Князь Яков Иванович Лобанов-Ростовский (1660–1732), еще один «волонтер в Венецию», был в годы правления царевны Софьи судим за уголовные преступления (например, «грабеж государевой казны»), бит плетьюми, но также взят на поруки родственниками. После возвращения из Венеции служил офицером в Семеновском полку. В битве при Нарве, бросив полк, бежал с поля боя. Предстал перед военным трибуналом, был приговорен к смертной казни, замененной тюрьмой, а затем ссылкой в имение.

В нашей культуре широко прославлен чудотворный образ святителя Николы Можайского, созданный по случаю чудесной помощи Святителя этому городу. Точное время события истерлось в памяти, но известно, что можайский Собор, построенный во имя Святителя, существовал уже в начале XIV в. Историки единодушно полагают именно «можайский образ» (с мечом в правой руке) оригиналом всех подобных изображений Святителя¹⁸.

Историческое предание гласит, что, когда враги задумали напасть на Можайск, в ответ на молитву осажденных жителей, на небесах явилось дивное знамение: в ободрение жителям Можайска и на страх его врагам, Святитель Николай показался в грозном виде — стоящим «на воздушных» и держа в одной руке грозный меч, а в другой — макет обнесенного крепостью храма. Неприятель был так уstraшен этим видением, что снял осаду Можайска и бежал. Тогда-то и создали благочестивые граждане резное изображение Святителя — в том виде, как он им явился. Об особом почитании этого образа нашими предками можно судить по тому, что многие великие князья и цари Московские не раз ездили на поклонение чудотворному образу Святителя Николая в Можайск.

Судя по городской Писцовой книге, резной образ Николы Можайского до начала XVII в. помещался в Никольском приделе надвратной церкви Воздвиженья Креста Господня. Во время польской интервенции в 1612 г. образ Святителя был увезен в Литву и возвращен после Деулинского перемирия в 1618 г. А после 1684 г. чудотворный резной образ Николы Можайского находился уже в новом надвратном Николаевском храме, построенном на основе церкви Воздвиженья.

Именно таким увидели образ Святителя Николая¹⁹ русские стольники, достигнув Можайска в первых числах марта 1697 г. Можно представить себе, какое впечатление произвел образ «Николы Можайского» — покровителя моряков и путешественников — на русских «стажеров», отправляющихся в далекую Италию обучаться морскому ремеслу, а, возможно, и принять участие в морских сражениях против турок. К тому же немалая часть «волонтеров» считали себя незаслуженно обиженными властью — а ведь Никола Угодник традиционно считается у нас и заступником за невинно осужденных.

¹⁸ Изображение Святителя Николая по образу «Николы Можайского» на Никольских воротах Московского Кремля относится к 1401 г.

¹⁹ В 1814 г. образ Святителя был помещен в иконостасе по правую сторону Царских врат в деревянном позолоченном киоте в виде сени, в новом Николаевском соборе, строившемся с 1802 по 1814 г. по проекту ученика Матвея Казакова, Алексея Бакарева. В 1933 г., после закрытия собора, чудотворный образ Святителя Николая был вывезен в Москву в Центральные государственные реставрационные мастерские, откуда был передан в Государственную Третьяковскую галерею.

В путевых записках стольника П.А. Толстого читаем: «Можайск — город каменной, на горе, в котором церковь на воротех чудотворца Николая. В той церкви образ Николая святого резной работы древней, от которого всегда верно приходящим изливаются чудеса неоскудно»²⁰.

...По приезде в Венецию сорок посланцев царя Петра прошли базовый курс обучения в Морской академии в Венеции, а для дальнейшей учебы и прохождения морской практики были разделены на две группы. Одной из них (23 человека) предстояло пройти «морскую школу» непосредственно в Венеции, а другой (17 человек) — в специализированной морской школе «Наутика» в принадлежавшем Венецианской республике городке Пераст в Которской бухте (территория современной Черногории) под руководством известного ученого и опытного капитана Марко Мартиновича²¹.

Именно этой второй группе («каторской» или, в нашей классификации, — «группе Куракина») выпало первой из двух групп русских стажеров достичь Бар-града морским путем — уже осенью 1697 г.

«Группа Куракина» в Бар-граде: благодарение Николаю Чудотворцу

В дневниковых записях князя Б.И. Куракина за осень 1697 г. читаем: «И сентября [1697] в последних числах, поехали на корабле по морю, и были в Далмации и доехали до Рагузы [Дубровника]. Из Рагузы в филуге поехали чрез гольфу венецкую [Адриатическое море] в Бар-град, где мощи чудотворца Николая, и имели в том проезде великой страх, и так были в страхе, аж не потонули. И за противностию ветров, отъехав от Рагузы с тридцать верст, стояли 12 дней, и так пришли до такой трудности, что чуть было что стало есть. И быв в Баре у чудотворных мощей, потом были в Неаполе и в Риме, и, возвратившись в Венецию, жили до другого лета [1698]»²².

Смертельные опасности в разбушевавшейся Адриатике («великой страх»), которые преследовали «каторскую группу» на корабле Марко Мартиновича на морском пути к мощам св. Николая Чудотворца, чудесное спасение, однозначно увязанное участниками путешествия с покровительством Николая Угодника, оставили неизгладимый след в жизни князя Бориса Куракина. Незадолго до кончины, в августе 1727 г., в Париже, где Куракин занимал пост посла императрицы Екатерины I, князь составил «духовную», в которой завещал «купить место на большой улице в Москве, в Белом или

²⁰ Путешествие стольника П.А. Толстого в Европу. 1697–1699. М.: Наука, 1992. С. 8.

²¹ Подробнее об обучении «каторской группы» в Перасте см.: Шереметев П.С. Владимир Петрович Шереметев. 1668–1737. М.: Синодальная тип., 1913–1914, т. 1.

²² Жизнь князя Бориса Ивановича Куракина, им самим написанная // Архив князя Ф.А. Куракина, Кн. 1, 1890. С. 250.

Земляном городе, где пристойно найдется, так пространное, чтобы при том строении и сад мог быть, и на том месте построить церковь маленькую, с доброю архитектурою, во имя чудотворца Николая», а «при той Никольской церкви построить шпиталь (госпиталь)» для увечных воинов-офицеров²³. При этом, «на строение той церкви и того шпиталя» князь Куракин определил «доход двадцать тысяч рублей денег, а ежели того мало, тридцать тысяч рублей»²⁴.

В биографической литературе о князе Борисе Куракине и об истории знаменитой «куракинской богадельни» совершенно напрасно и, разумеется, без каких-либо серьезных оснований, утверждается, что идея построить в Москве госпиталь для увечных воинов пришла к Куракину в бытность его русским послом в Париже — по-видимому, под впечатлением от знаменитого «Дома Инвалидов», построенного в 1670-х гг. по указу короля Людовика XIV.

То, что это мнение ошибочно, и идея постройки в Москве храма во славу св. Николая Чудотворца, а при нем «инвалидного дома», возникла у Куракина не во Франции, а гораздо раньше, еще в далекой молодости, прямо следует из текста духовного завещания Куракина: «Пред многими годами (т.е. много лет назад. — А.К.) учинил обещание образу чудотворца Николая, который стоял в часовне, в богадельне, близ Ильинских ворот (а ныне где стоит тот образ, знать не могу), который образ надлежит приискать, и, приискав тот образ чудотворца Николая, купить одно место на большой улице в Москве, в Белом или Земляном городе... и т.д.»²⁵. У нас есть основания предполагать, что под «николаевской часовней близ Ильинских ворот» Куракин имел в виду и ныне существующий Никольский храм на углу Маросейки и площади Ильинских ворот. В «Окладных книгах» середины XVII в. этот храм (тогда деревянный) упоминается как «Церковь Пресвятой Богородицы Казанския». Но с 1690-х гг., в связи с устройением нового каменного придела во имя св. Николая, храм стал называться «Богородицы Казанския и Николая Чудотворца на Покровке в Ближних», а в начале XVIII в. получил окончательное название «Церковь Святителя Николая Чудотворца, что в Кленниках».

Дополнительным доказательством того, что куракинское завещание построить в Москве храм во славу св. Николая Чудотворца стало прямым отголоском драматических событий на Адриатике осенью 1697 г., служит, по нашему мнению, и тот факт, что своими душеприказчиками в реализации плана строительства Никольского храма Куракин назначил своего близкого

²³ Куракин Б.И. Духовная князя Бориса Ивановича Куракина // Русский архив, 1893, кн. 1, вып. 2. С. 152.

²⁴ Там же. С. 153. См. также: Скворцов Н.А. Княже-Куракинская Николаевская церковь в Москве, у Красных ворот, при Странноприимном Доме князей Куракиных. Исторический очерк. М., 1904.

²⁵ Куракин Б.И. Духовная князя Бориса Ивановича Куракина. С. 152.

родственника, а, главное, — еще одного участника «Бар-градской истории» тридцатилетней давности — князя Дмитрия Михайловича Голицына²⁶, а также его младшего брата Михаила и его сына Сергея²⁷.

П.А. Толстой: две попытки достигнуть Бар-града

Судя по всему, в те же осенние дни 1697 г. в Бар-град, одновременно с «которской группой» («группой Куракина»), должна была приплыть и вторая русская группа (условно «группа Толстого»), продвигавшаяся в те дни на другом учебном корабле из Венеции, вдоль побережья Далмации, по направлению к Задару к Корчуле.

Вот фрагмент из путевых заметок П.А. Толстого от 9 октября 1697 г.: «Стояли мы под тем городом Зарою [Задаром] октября до 7-го числа, а в 7-й день октября из-под Зары пошли, имея намерение итти во владение гишпанского короля в город Бар... И того дни отъехали от города Зары 18 миль италиянских и ночевали в том же канале, что и под Зарою, для того что тот канал велик и ветер в то время нам был неспособен, и стояли на том месте октября до 9-го числа... Потом ветер почел быть нам способной к надлежащему нашему пути в город Бар; тем ветром корабль наш шел на один час по 5 миль италиянских...»²⁸

А вот следующая запись — от 11 октября 1697 г.: «Пришли мы в своем корабле под город Карсуль [Корчула] для того что имели мы намерение итти в город Бар, чтоб нам сподобитца видеть мощи великого чудотворца Николая. И, не дошед до города Барлета [Барлетта] за 80 миль италиянских, поворотились мы в своем корабле назад, для того что в сих числах турецкие воинские 5 кораблей, которые имели на себе каждый по 500 человек енычан [янычар] заступили нам дорогу до города Бару. Того ради не могли мы дойти до святых мощей чудотворца Николая, а стояли под Корсунем октября до 16-го числа, а в 16-м числе октября из-под Корсуля пошли назад к Венеции тем же каналом...»²⁹

Итак, в отличие от «группы Куракина», «группа Толстого» не смогла осенью 1697 г. пробиться к Бар-граду из-за заслона турецких кораблей

²⁶ Князь Дмитрий Михайлович Голицын (1665–1737) — сын стольника Михаила Андреевича Голицына и Прасковьи Никитичны, урожденной Кафтыревой. В 1697 г. послан на обучение морским наукам в Венецию; участник «которской группы». В 1730 г. — главный инициатор составления «Кондиций», призванных ограничить самодержавную власть императрицы Анны Иоанновны. Сослан в подмосковное имение Архангельское, где собрал богатейшую коллекцию европейской литературы и искусства. В 1736 г. арестован, обвинен в подготовке заговора и брошен в Шлиссельбургскую крепость, где вскоре умер (возможно, насильственной смертью).

²⁷ Куракин Б.И. Духовная князя Бориса Ивановича Куракина. С. 149.

²⁸ Путешествие стольника П.А. Толстого по Европе. С. 76.

²⁹ Там же. С. 77.

и вынуждена была вернуться в Венецию и повторить попытку лишь на следующий год, в конце июня 1698 г.

В путевом дневнике Толстого за 21 июня 1698 г. читаем: «С полудня ветер быть мал, которым наш фрегадон шел тихо; и почели там быть видны черни гишпанских берегов, на которых города Барлет [Барлетта] и Бар [Бари]... А в 16-м часе того дня приплыли мы в Гишпанию, под гишпанский город, которой между Барлетом и Барою, а называется тот город Трани»³⁰.

Медленно продвигаясь вдоль побережья, Толстой со товарищи достиг Бар-града 22 июня 1698 г.: «Июня в 22 день. За два часа до свету пошли мы с того места, где стояли, к городу Бару. Ветр был нам способной и немалой, и в 3-м часу того дни приплыли мы под город Бар. И, не пошед в порту, то есть в пристанища, стояли мы против города Бару на море без якоря, для того что тот порт, еже есть пристанища..., суть не знаем, и опасались в него войти, чтоб не разбить фрегадона. А на море против города Бару якоря кинуть было невозможно, для того что в том месте дно морское каменисто и якорь не может тут задержатися»³¹.

Впервые в русской литературе, стольник Петр Андреевич Толстой оставил достаточно подробное описание города Бари: «Город Бар стоит при самом море, фортеца [крепость] каменная и немалая, сделан новою модою, с белвардами, и на белвардах есть пушек, великих и малых, достаток. В городе Баре строение домовное, и костелы, и монастыри каменные и изрядные. Дом губернаторов сделан на городской стене при самом море, зело на веселом месте. В Баре живет арцыбискуп [архиепископ] римской веры, небогат гораздо. Город Бар многолюден, народ в нем гишпанской; говорят по-италиянски, однако ж с венецианами и с римлянами в языке имеют малую некоторую дифференцию, то есть розницу; платье носят гишпанской моды... Губернатор барской из Неаполя гишпанец, породы дворянской, носит на себе кавалерской крест»³².

Получив разрешение сойти на берег, Толстой и его спутники вечером того же дня отправились в храм Святого Николая, где хранятся мощи св. Николая Мирликийского чудотворца: «Того ж числа по обеде, как почели благовестить на vesper, то есть к вечерне, и я пошел в римскую церковь, в которой лежат мощи великого архиерея Христова Николы... В той церкви настоящей престол во имя чудотворца Николы, и иных престолов в той церкви много, как обыкновенно быть в римских костелах... Под олтарем тое церкви в земле низко сделана церковь ж римская ж, в которой лежат святые и чудотворные мощи великого святильника Николы... В тое церковь из

³⁰ Там же. С. 119.

³¹ Там же. С. 120.

³² Там же. С. 123.

вышепомянутой великой церкви два схода, в которых поделаны лестницы каменные, широкие. В той нижней церкви на середине сделан алтарь римской во имя чудотворца Николая, весь серебряной, литой, на котором со всех сторон сделаны из серебра образы чудес чудотворца Николы. Поверх того престола сделан осмероугольной амбон серебряной же, литой, в две ступени в высоту. На том амбоне поставлен образ великого Николы поясной, вылит из серебра, правую руку имеет благословенную, а в левой руке держит святое Евангелие, зело украшено камнем изрядным: алмазы, яхонты, изумруды, лалы... Под тем вышеписанным алтарем лежат в земле низко мощи чудотворные великого иерарха Николы, покрыты единым камнем мраморным. На том камне сделано едино окно малое, круглое; и когда кто хочет видеть его святые чудотворные мощи, тот повинен войти под престол в окно, на то устроенное, и смотреть вниз, в то вышепомянутое малое круглое окно»³³.

Итак, П. А. Толстой «со второй попытки» достиг Бар-града в конце июня 1698 г. и был в Бари с 22 по 25 июня 1698 г., отправившись оттуда сухим путем в Неаполь.

Б.П. Шереметев и его свита в Бар-граде

Однако примерно за месяц до посещения П.А. Толстым мощей св. Николая Чудотворца в Бар-граде побывала еще одна группа «посланцев Петра Великого» во главе с Борисом Петровичем Шереметевым (1652–1719), прибывшая в Бар-град сухим путем из Неаполя в ходе многомесячного путешествия³⁴.

Великолепно образованный Шереметев был, судя по всему, хорошо подготовлен к паломничеству в Бар-град. Детство и юность его прошли в Киеве, где служил воеводой его отец, боярин Петр Васильевич «Большой» — один из первых русских «западников», который демонстративно одевался в польское платье, не носил бороды, содержал певческую капеллу и оркестр, дававший концерты для киевского дворянства. Юный Шереметев учился в Киево-Могилянском коллегиуме с Даниилом Туптало, будущим архиепископом Дмитрием Ростовским, и Иосафом Кроковским, будущим киевским митрополитом. Изучал церковнославянский, греческий, латинский языки, в совершенстве овладел польским языком, которым пользовалась в быту украинская знать.

Государеву службу Борис Шереметев начал при царе Алексее Михайловиче: в тринадцать лет, еще будучи в Киеве, был пожалован в комнатные стольники. А в 1682 г., при вступлении на престол царей Иоанна

³³ Там же. С. 120.

³⁴ Подробнее см.: *Кара-Мурза А.А.* Борис Петрович Шереметев // *Кара-Мурза А.А.* Знаменитые русские о Венеции. С. 117–133.

и Петра, Борис Шереметев, с одобрения регентши Софьи, искавшей поддержки родовой знати, был пожалован в боярство; продолжилась его карьера как дипломата и военачальника. Однако личная неприязнь между Шереметевыми и Голицыными (лидером которых был фаворит Софьи, князь Василий) сблизила Шереметевых с семьей второй жены покойного царя Алексея — Нарышкиными и их ставленником на московское царство — юным Петром Алексеевичем Романовым.

Как мы знаем, в марте 1697 г. молодой царь Петр I, тайно, под именем «Петра Михайлова», отправился в Европу в составе «Великого посольства», призванного укрепить союз христианских государств против Османской Порты. 22 июня того же года в Европу, но «южным маршрутом», отправился 45-летний Борис Петрович Шереметев. Официально он направлялся в Рим «на богомолье», чтобы выполнить обет — поклониться своим небесным покровителям, святым апостолам Петру и Павлу.

По мнению историков, посылая Шереметева в Европу как частное лицо, не обладавшее дипломатическим статусом, Петр I проводил «разведку», ибо путь известного в Европе родовитого московского боярина лежал по тем странам, которые позднее намеревался посетить русский царь. По нашему мнению, дело обстояло гораздо более сложным образом.

Обращает на себя, во-первых, внимание тот факт, что Шереметев отправился в Европу, спустя более чем три месяца (!) после отъезда из Москвы царя и «Великого посольства». Что его задерживало в Москве? Есть основания предполагать, что Шереметев был тем или иным образом привлечен к следствию по делу о «заговоре Циклера-Соковнина-Пушкина». Ведь известно, что И.Е. Циклер признался под пытками, что хотел убить царя Петра и посадить на его место Б.П. Шереметева³⁵.

Известно и то, что перед отъездом за границу царь Петр долго обсуждал с ближайшими соратниками, кому в его отсутствие передать власть в стране. По сообщению хорошо информированного секретаря австрийского посольства И.Г. Корба, один из бояр по неразумию предложил сделать наместником Шереметева, за что тут же был избит вспыльчивым государем, публично заявившим, что видит в военачальнике реального политического соперника и претендента на престол³⁶.

Следствие не установило причастия Шереметева к заговору. Однако он все же, под благовидным предлогом был удален из Москвы — бумаги, заранее подписанные царем, были переданы Шереметеву, скорее всего,

³⁵ См.: Рудаков В. Циклер Иван Елисеевич // Русский биографический словарь: Фабер — Цявловский. СПб., 1901. С. 486–487.

³⁶ Корб И.Г. Дневник путешествия в Московию: 1698 и 1699 гг. СПб., 1906. С. 138; См. также: Путешествие по Европе боярина Б.П. Шереметева 1697–1699 (Под ред. Л.А. Ольшевской, А.А. Решетова, С.Н. Травникова). М.: Наука, 2013. С. 238.

Л.К. Нарышкиным. Прав был И.Г. Корб, когда записал в своем дневнике: «Нет ничего обыкновеннее, как высылать под личиной почета из столицы тех лиц, могущество которых или всеобщее к ним уважение внушают опасение»³⁷.

В 1697–1698 гг. с небольшой свитой Шереметев посетил Вену, Венецию (где к нему присоединились младшие братья Василий и Владимир), Рим, Неаполь, Сицилию и Мальту. На обратном пути, будучи в Неаполе, он решил съездить в Бар-град на поклонение мощам Св. Николая Мирликийского. В состав его группы вошли: Алексей Курбатов, «дворецкий», иногда представлявший при иностранных дворах от имени и под видом Шереметева (позднее выдвинувшийся как крупный российский администратор и финансист); Иосиф Пешковский, духовный чин, занимавшийся переводами и составлением официальных бумаг; дворянин Герасим Головцын, близкий к Шереметеву по военным походам, отвечавший в путешествии за боярскую казну, оплату дорожных расходов, покупку товаров, расчеты за гостиницы, наемные экипажи, морские суда, провизию и другие траты³⁸.

«Группа Шереметева» выехала из Неаполя 25 мая 1698 г. по маршруту: Авелино — Ариано — Ордона — Барлетта — Джовинаццо — Бари. В Бар-град группа прибыла вечером 29 мая, а на следующее утро была на мощах св. Николая Чудотворца: «Мая 30 числа ходили в церковь, где лежат мощи великого чудотворца Николая. Оные святые мироточивые мощи лежат в исподней церкви под престолом, которая церковь сделана под большую церковь в земле. Престол же, стоящий над святыми его мощми, весьма украшен, сделан весь серебряный, высокой работы, вокруг которого сделаны великие серебряные ангелы, также кругом его поставлены многие великие серебряные жшандалы и лампы. Поверх престола сделан образ большой Чудотворца Николая, весь серебряный, сидящий, в одной руке держа Евангелие, а другою благословляет людей... Тут в церкви слушали обедню и вечерню, а вечера приходили и были в сакристии, то есть в ризнице, в которой есть образ Чудотворца Николая стоящий, о котором уверяли, что писан он в то время, как еще в живых был чудотворец Николай»³⁹.

Пробыв в Бар-граде два дня, группа отправилась в обратный путь в Неаполь, «и становились по тем же станциям, как туда ехали»⁴⁰. Удивительно, но почти сразу по возвращении Шереметева и его свиты в Неаполь, произошло редкое по силе извержение Везувия: «Тутошние жители два дня были в великом страхе и ужасе от горы Везувии, горящей непрестанно, потому что

³⁷ Корб И.Г. Дневник путешествия в Московию. С. 254.

³⁸ Позднее, на основании путевых записей Головцына и Курбатова, дьяк Петр Артемьев составил официальные материалы поездки, ставшие известными как «Записка путешествия графа Шереметева».

³⁹ Путешествие по Европе боярина Б.П. Шереметева. С. 91, 92.

⁴⁰ Там же. С. 93.

в те два дня превеликой из оной горы исходил огонь, был гром, треск и шум; и кидало вокруг горы мили на три или четыре большие огненные каменя; многие же с той горы протекли огненные лавы, причем живущих около сей горы пожгло, побило и переранило... И в те два дня в городе такой сыпало от оной горы пепел, что никак по городу ходить было невозможно, и насыпало того пепела во всем городе по всем улицам больше нежелъ на четверть аршина, от чего сделалась престрашная духота...»⁴¹

Как следует из «Дневника путешествия», мистическая связь грозного извержения вулкана, за что-то «осерчавшего на латинян», — с только что совершенным паломничеством в Бар-град к мощам св. Николая Чудотворца была для Бориса Шереметева и его русских спутников совершенно очевидна...

Литература

Желябужский И.А. Дневные записки // Рождение Империи. М.: Фонд Сергея Дубова, 1997.

Жизнь князя Бориса Ивановича Куракина, им самим написанная // Архив князя Ф.А. Куракина, Кн. 1, 1890.

Записки кн. Б.И. Куракина о его болезнях и лечении в 1676–1718 гг. // Архив кн. Ф.А. Куракина. Кн. 3. СПб., 1892.

Кара-Мурза А.А. Борис Иванович Куракин // Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Венеции. М.: Изд-во О. Морозовой, 2019. С. 82–93.

Кара-Мурза А.А. Борис Петрович Шереметев // Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Венеции. М.: Изд-во О. Морозовой, 2019. С. 117–133.

Кара-Мурза А.А. Петр Андреевич Толстой // Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Венеции. М.: Изд-во О. Морозовой, 2019. С. 94–116.

Корб И.Г. Дневник путешествия в Московию: 1698 и 1699 гг. СПб., 1906.

Куракин Б.И. Духовная князя Бориса Ивановича Куракина // Русский архив, 1893, кн. 1, вып. 2.

Путешествие по Европе боярина Б.П. Шереметева 1697–1699 (под ред. Л.А. Ольшевской, А.А. Решетова, С.Н. Травникова). М.: Наука, 2013. —

Путешествие стольника П.А. Толстого по Европе. 1697–1699 (под ред. Л.А. Ольшевской, С.Н. Травникова). М.: Наука, 1992. — 382 с.

Рудаков В. Циклер Иван Елисеевич // Русский биографический словарь: Фабер — Цявловский. СПб., 1901. С. 486–487.

Скворцов Н.А. Княже-Куракинская Николаевская церковь в Москве, у Красных ворот, при Странноприимном Доме князей Куракиных. Исторический очерк. М., 1904.

Устрялов Н. История царствования Петра Великого. Т. III. СПб.: тип. II-го Отделения ЕИВ канцелярии, 1858.

Шереметев П.С. Владимир Петрович Шереметев. 1668–1737. М.: Синодальная тип., 1913–1914, т. 1.

⁴¹ Там же. С. 94.

ЗАГАДКА «ВЕЛИКОЙ ОСОБЫ». ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНСТВИЯ КНЯЗЯ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА ГОЛИЦЫНА (1697–1699 ГГ.)

Вот уже два с половиной столетия историков занимает вопрос об авторстве путевых заметок некоей «Великой особы»¹, совершившей в 1697–1699 гг. большой европейский вояж: из Москвы в Голландию, потом на юг по Рейну в Южную Германию; через австрийские Альпы в государства Италии и далее, повторив обратный путь из Венеции в Амстердам, через Гамбург и Ригу в Москву².

Долгое время считалось, что «Великая особа» — это не кто иной, как молодой русский царь Петр Алексеевич Романов, поехавший в те годы в Европу (как он предполагал, инкогнито) в составе Великого посольства, официально возглавляемого русскими послами Францем Лефортом, Федором Головиным и Прокопием Возницыным³.

От этого предположения пришлось, однако, отказаться, поскольку маршруты Петра I и неизвестной Особы (будем называть ее пока *Анонимом*) очевидным образом не совпадали. Русский царь, как хорошо известно, после Голландии поехал в Англию; потом, вернувшись на континент, направился через германские земли в Вену, а оттуда, согласно официальным данным, сразу двинулся в Москву, так и не посетив ранее планируемую Италию. Наш Аноним, напротив, в Англии не был, а спустившись из Голландии в Южную Европу, проделал обширное турне по Италии (посетив Венецию, Флоренцию, Рим, Ливорно, Геную, Милан и снова вернувшись в Венецию), а потом, прежде чем направиться домой в Россию, зачем-то снова съездил в Голландию.

Загадка удивительного *Анонима* подвигла историков внимательнее приглядеться к другим кандидатам в «Великие особы». Последовательно отпали имена именитых русских вояжеров конца XVII в. — победителя турок, воеводы Бориса Петровича Шереметева, впоследствии генерал-фельдмаршала; и свояка царя (они были женаты на сестрах Лопухиных), князя Бориса Ивановича Куракина. Дневники этих путешествий тоже опубликованы, и эти

¹ Записная книжка любопытных замечаний Великой особы, странствовавшей под именем дворянина российского посольства в 1697 и 1698 гг. СПб.: Б.м., 1788. — 50 с.

² Записки неизвестной особы о путешествии по Германии, Голландии и Италии // Записки русских путешественников XVI–XVII вв. М., 1988. С. 169–184.

³ *Гузевич Д., Гузевич И.* Великое посольство. Рубеж эпох, или Начало пути: 1697–1698. СПб.: Дмитрий Буланин, 2008. — 696 с.

маршруты еще менее похожи на траекторию нашего Анонима: и Шереметев⁴, и Куракин⁵ в 1697 г. сразу направились из Москвы на юг, через Вену в Италию, и, в отличие и от царя, и от Анонима, в Северной Европе не были.

В последние годы отдельные нетерпеливые авторы начали вообще склоняться к мысли (на наш взгляд, глубоко ошибочной), что поименование автора загадочного дневника *Великою особою* — всего лишь заблуждение ранних переписчиков злополучных путевых записок, по неразумию принявших автора за царя Петра Алексеевича. Соответственно, Анонима стали искать среди второразрядных участников Великого посольства, по каким-то причинам «отколовшихся» от головной группы. Например, авторитетные историки Д.Ю. и И.Д. Гузевичи в своей обширной монографии потратили немало усилий для доказательства того, что под именем «Великой особы» скрывался всего лишь ... «праздный турист», царский стольник Алексей Петрович Измайлов. Авторы так и пишут: «Он просто первый москвит, свободно путешествующий по Европе для собственного удовольствия... Перед нами текст абсолютно праздного человека, не обремененного постоянными поручениями и необходимостью учиться, первый и, кстати, единственный за всю петровскую эпоху чисто туристический дневник»⁶.

Я, разумеется, никак не могу согласиться с такой *наивно-облегченной* интерпретацией серьезных, на мой взгляд, событий. Вот уж, поистине: «гора родила мышь...». Со своей стороны, предлагаю собственную версию, и суть ее в следующем: под именем «Великой особы», *по личному заданию царя Петра*, по Европе разъезжал его близкий друг (и родственник, кстати) князь-Гедиминович Петр Алексеевич Голицын (1660–1722).

Князь П.А. Голицын родился в семье ближнего боярина царя Алексея Михайловича, князя Алексея Андреевича Голицына (1632–1694), основателя самой мощной, третьей ветви княжеского рода Голицыных («Алексеевичей»), восходящего к Великому князю литовскому Гедимину. Матерью князя Петра была княжна Ирина Федоровна Хилкова, а старшим братом — князь Борис Алексеевич Голицын (1654–1714), один из главных наставников царевича Петра Алексеевича, его «дядька»: с 1676 г. (т.е. с четырехлетнего возраста царевича) его комнатный стольник, а с 1682 г. — кравчий.

Свои позиции в элите Русского царства князь Борис Голицын удержал и в годы регентства царевны Софьи, когда московским правительством руководил его двоюродный брат и близкий приятель, представитель другой ветви Голицыных («Васильевичей») князь Василий Васильевич Голицын.

⁴ Кара-Мурза А.А. Борис Петрович Шереметев // Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Венеции. М.: Изд-во О. Морозовой, 2019. С. 117–130.

⁵ Кара-Мурза А.А. Борис Иванович Куракин // Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Венеции. С. 82–93.

⁶ Гузевич Д., Гузевич И. Великое посольство. С. 446, 427.

Карьера Бориса Голицына круто пошла в гору после победы в 1689 г. клана Нарышкиных (родственников царя Петра со стороны матери) над ранее доминирующим кланом Милославских. Тогда влияния Б.А. Голицына хватило на то, чтобы спасти жизнь свергнутому с пьедестала двоюродному брату Василию и заменить неминуемую, казалось, смертную казнь на вечную ссылку на далекий Север. Понятно ведь, что публичное умерщвление Василия Голицына (которого требовали Нарышкины и, прежде всего, брат вдовой царицы Натальи влиятельный Лев Кириллович) сильно пошатнуло бы авторитет всего рода Голицыных.

Князь Петр Алексеевич Голицын зимой 1684 г. был пожалован к двенадцатилетнему «младшему царю», своему полному тезке, в комнатные стольники. К тому времени он уже был женат на дочери князя Ивана Алексеевича Воротынского — княжне Анастасии. Тот Воротынский был, как известно, свояком царя Михаила Федоровича: женаты они были на сестрах Марии и Евдокии Стрешневых. Таким образом, первая жена Петра Голицына (последняя в роду Воротынских, она умерла в 1691 г.), приходилась *троюродной сестрой* царю Петру I. Тем самым князь П.А. Голицын оказался на тот момент единственным Голицыным, породнившимся с царствующей династией Романовых. Если учесть, что его опальный двоюродный брат Василий Васильевич (в честь которого в 1682 г. Петр Голицын назвал своего первенца⁷), будучи в зените славы, не стеснясь, позволял называть себя «*великим Голицыным*», то предположение, что и амбициозный князь Петр Алексеевич (современник о нем скажет: «человек приткий и шибкий») вполне мог считать себя той самой *Великой особой*, не покажется чересчур дерзким.

Так почему же прежние исследователи так поспешно исключили князя Петра Голицына из числа возможных кандидатов в «Великие особы»? К этому были, на первый взгляд (но, подчеркну, только на первый), свои причины. Прежде всего, хорошо известны документы, подписанные самим Петром I, где именно князь П.А. Голицын назначался руководителем одной из двух групп царских стольников, направляемых для обучения морскому делу в Венецию, а потом в морскую школу «Наутика» капитана Марко Мартиновича в принадлежавшем Венеции городке Перасте в Которской бухте. Именно эти документы фигурировали потом и при проезде стольников через Вену (например, в донесениях венецианского посла при цесарском дворе), а затем и при представлении москвитов непосредственно правительству Венецианской республики.

Заметим при этом, что *ни один* документ того времени не фиксирует *физического пребывания* князя Петра Голицына в составе группы, направлявшейся в Венецию и Пераст. Вообще, личное присутствие П.А. Голицына

⁷ Голицын Н.Н. Род князей Голицыных. С. 133.

в Венеции в 1697 — начале 1698 гг. отмечают лишь два источника, и оба весьма сомнительные. Это, во-первых, записи одного из сотрудников Б.П. Шереметева, вроде бы видевшего Петра Голицына среди московских стольников, встретивших в январе 1698 г. приехавшего в Венецию уже прославившегося полководца⁸. И, во-вторых, свидетельство известного своей неуравновешенностью киевского архимандрита Тарасия Каплонского, якобы встретившего Петра Голицына в составе группы москвитов по дороге из Бари в Рим осенью 1697 г.⁹

Рискуя оспорить точность этих «свидетельств». Более чем вероятно, что при наличии в составе группы стольников, приехавшей в Венецию, *аж трех Голицыных*, Петра могли попросту спутать с его младшим братом Федором. Во всяком случае, гораздо большего доверия заслуживают мемуары другого автора, прекрасно знавшего всех русских фигурантов того вояжа *в лицо*. В известном сочинении «Путешествие стольника П.А. Толстого по Европе» читаем запись от 10 июня 1698 г.: «За два часа до ночи приплыли мы под город, который называется Каштелново (Кастель-Нуово, ныне Герцег-Нови в Которской бухте.— А.К.); тот город Венецкой провинции, от города Дубровника 40 миль италиянских. Под тем городом наехал я своих москвичей на корабле: князя Дмитрея, князя Федора Голицыных, князя Андрея Репнина, князя Ивана Гагина, князя Юрия Хилкова, князя Бориса Куракина и иных...»¹⁰

Стольник Петр Андреевич Толстой, как видим, точно фиксирует присутствие в группе москвитов, совершавших учебное плавание на предоставленном венецианским Сенатом корабле капитана Иво Лазаревича, *лишь двух князей Голицыных*: Дмитрия Михайловича (двоюродного брата князя Петра) и Федора Алексеевича (его родного младшего брата), но никак не самого П.А. Голицына. Оно и понятно: князя Петра Алексеевича Голицына тогда еще в Которской бухте быть не могло — он выполнял другое, личное задание русского царя.

Моя версия состоит в том, что Петр Алексеевич Голицын *не уехал в Венецию* со своей группой в начале 1697 г. И причина этого была более чем серьезна: он был привлечен к следствию о т. наз. «заговоре

⁸ Путешествие по Европе боярина Б.П. Шереметева 1697–1699 (под ред. Л.А. Ольшевской, А.А. Решетова, С.Н. Травникова). М., Наука, 2013. С. 48, 134.

⁹ *Плохинский М.М.* Путешествие иеромонаха Тарасия Каплонского в Италию в конце XVII столетия // Сборник Харьковского Историко-филологического общества, 1896, т. 8. С. 292.

¹⁰ Путешествие стольника П.А. Толстого по Европе. 1697–1699 (ред. Л.А. Ольшевская, С.Н. Травников). М., Наука, 1992. С. 116. См. также: *Кара-Мурза А.А.* Русские посланцы Петра I у мощей св. Николая в Бар-граде // Барградский сборник. № 1 (под ред. М.Г. Талалая). М.: Индрик, 2019. С. 41–68.

Цыклера — Соковнина — Пушкина». Главные обвиняемые по этому делу (замышлялось убить царя Петра во время подстроеного заговорщиками пожара) были казнены в Преображенском 4 марта 1697 г., за несколько дней до отъезда Великого посольства из Москвы.

Во время допросов руководитель заговора, стрелецкий полковник Иван Цыклер дал под пыткой показания на окольного Алексея Соковнина, в которых фигурировал и князь Петр Голицын: «Был я в доме у Алешки Соковнина..., и он, Алешка, меня спрашивал: каково стрельцам? Я сказал, что у них не слыхать ничего. Алешка к моим словам молвил: где они, б... дети, передевались? знать, спят! где они пропали? можно им государя убить, потому что ездит он один, и на пожаре бывает малолюдством, и около посольского двора ездит одиночеством. Что они спят, по се число ничего не учинят?... Я ему говорил: пеняешь ты на стрельцов, а сам того делать не хочешь, чтоб впредь роду твоему в пороке не быть. И Алексей сказал: нам в пороке никому быть не хочется, а стрельцам сделать можно, даром они пропадают же. Князь Петр Голицын — человек пряткий и шибкий, мы чаяли от него, что то всё учинит над государем (курсив мой. — А.К.)...»¹¹

В старой биографической энциклопедии «Род князей Голицыных» написано: «Князь Петр Алексеевич..., посланный Петром В.<еликим> обучаться за границу, единственный из князей Голицыных, *подверженный пытке (в 1697 году)* (курсив мой. — А.К.)»¹². Факт пыток Петра Голицына в ходе следствия по «делу Цыклера» подтверждается и другими авторитетными источниками¹³.

Как бы там ни было, разбирательство заняло определенное время и окончилось для князя П.А. Голицына благополучно: он был полностью оправдан. Наверняка сказалось влияние старшего брата Бориса Алексеевича, а, главное боярина Тихона Никитича Стрешнева, родственника Голицыных, оставленного царем Петром координировать на Москве все гражданские структуры.

...А 11 мая 1697 г., через два месяца после отъезда Великого посольства, Москву покинула «Великая особа» (наш Аноним), и направилась она не на юг, в Венецию, вслед за уехавшими стольниками, а вдогонку за царем Петром — в Северную Европу. Если это князь Петр Алексеевич Голицын, то почему он поступил таким образом?

Этому есть вполне логичное объяснение. Князь Петр Голицын просто обязан был лично *объясниться перед царем* и передать ему оправдательные

¹¹ Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. 3, тт. XI–XIV (2-е изд.). СПб.: Т-во «Общественная польза». Стлб. 1165.

¹² Голицын Н.Н. Род князей Голицыных. Т. 1. СПб.: типография И.Н. Скороходова, 1892.

¹³ Шереметев П.С. Владимир Петрович Шереметев. 1668–1737. М.: Синодальная типография, 1913–1914, т. 1. С. XII–XIII.

бумаги от Тихона Стрешнева, Федора Ромодановского, Бориса Голицына. Надо или не надо было ему теперь ехать в Венецию, как ранее предполагалось, тоже предстояло решить царю Петру.

Выскажу еще одно дополнительное соображение. Вместе с привлеченным к следствию по делу о заговоре князем Петром Голицыным (возможно, после освобождения ему потребовалось время на лечение), в Москве, похоже, задержался и его родной племянник, планировавшийся в состав Великого посольства, 26-летний князь Алексей Борисович Голицын — сын Бориса Алексеевича, друг детства уехавшего в Европу царя Петра. О том, что Алексей Голицын оставался в Москве до разрешения судьбы родного дяди, говорят следующие факты. Согласно биографическому словарю рода Голицыных, жена Алексея Голицына, княгиня Анна Ивановна, родила сына Якова 11 марта 1697 г. (фактически в момент отправления Великого посольства)¹⁴. А следующий ребенок, княжна Екатерина Алексеевна, родилась 24 января 1698 г.¹⁵, что доказывает, что, по крайней мере, весь апрель предыдущего года князь Алексей Борисович еще находился в Москве, хотя в начале осени его уже видели в Голландии.

Маршрут отправившейся из Москвы в середине мая 1697 г. «Великой особы» первоначально очень похож на маршрут Великого посольства: из Москвы через Новгород к Балтике и далее в Голландию. Судя по записям, Аноним *стремится нагнать царя* (подолгу задерживавшегося в некоторых городах), что в итоге ему удастся: в конце июля он нагоняет Посольство в Амстердаме. Пометки в записной книжке, как мне кажется, вполне доказывают, что речь идет именно о князе Петре Алексеевиче Голицыне.

Вот запись о посещении Великим посольством депутатов Генеральных штатов в Гааге: «Из Амстердама приехали в Гаагу сентября 15-го числа. Встреча была за две версты до города..., под нас 50 карет о 6 конях, а сидели по два человека. *Я сидел с кн. Алексеем Голицыным* (выделено мной. — А.К.)»¹⁶. Это более чем естественно: нагнавших Посольство в Голландии Голицыных — дядю и племянника — разумеется, сажают вместе в одну карету. Предположение, что к другу царя, князю-Гедиминовичу могли посадить какого-то «праздного туриста», например, «стольника Измайлова», кажется мне абсолютно нелепым.

А вот следующая запись Анонима из Гааги: «На другой день приезжали подчивать господин Вытцин (бургомистр Николас Витсен. — А.К.), да два человека стат (депутатов)... На приезде были у статов в каретах; ехали по два человека о шести конях. Ехали к статам в каретах: Франц Яковлевич,

¹⁴ Голицын Н.Н. Род князей Голицыных. С. 143.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Записки неизвестной особы... С. 164.

Федор Алексеевич, против их Прокофий Возницын (три Великих посла.— А.К.), царевич Милитинской, Александр Кикин, Федор Плещеев (особо доверенные люди царя Петра.— А.К.), *я с кн. Алексеем Голицыным* (выделено мной.— А.К.)»¹⁷. Дядя с племянником, как видим, опять рядом, в узком кругу посольской элиты.

Следующая запись из Гааги еще более показательна: направляясь в загородную увеселительную поездку, Аноним оказывается в карете *вдвоем с самим Великим послом Францем Лефортом!* Читаем в дневнике: «В Гааге Франц Яковлевич ездил за город, в сады, в своей карете, которая дана 1800 червонных, 8 лошадей было, шлеи бархатные, вызолоченные; *я сидел с ним вместе* (выделено мной.— А.К.). Еще было три кареты о 6-ти конях, в которых дворяне наши сидели»¹⁸. Причина такого почетного соседства мне хорошо понятна: «Первый посол» Лефорт хотел доверительно переговорить наедине с недавно приехавшим братом своего ближайшего друга Бориса Голицына о последних новостях из Москвы.

Наконец, еще одна запись из Гааги: «У цесарского посла (посла Императора Священной Римской империи Леопольда I — А.К.) *был я один* (выделено мной.— А.К.). У ево одна палата 1-я обита полосатыми материями, 2-я — шпалерами, 3-я — бархатом красным и по швам кружева золотыя, самыя изрядныя, зело богатыя»¹⁹. Напомню, что, спустя недолгое время после возвращения Великого посольства в Москву, именно знаток многих иностранных языков и тонкостей европейской политики князь Петр Голицын будет назначен на ключевой дипломатический пост полномочного посла Русского царства в Вену.

Ну и, наконец, последнее доказательство, относящееся уже к турне загадочной «Великой особы» по государствам Италии. Получило известность мемуарное сочинение «Плоды мира» знаменитого итальянского певца-кастрата Филиппо Балатри о том, как в середине 1698 г. не кто иной, как князь Петр Алексеевич Голицын перекупил во Флоренции его контракт (тогда 16-летнего юноши) непосредственно у Великого герцога Козимо III Медичи и затем увез его через Венецию в Россию и там представил царю Петру²⁰.

Дневниковые заметки «Великой особы» доказывают, что и наш Аноним интересовался, даже несколько болезненно, итальянским пением. Вот, например, запись, сделанная в Венеции незадолго до посещения столицы Тосканы: «По всей Италии славные певцы: 1-й — кастрат Мачуль,

¹⁷ Там же. С. 165.

¹⁸ Там же.

¹⁹ Там же. С. 166.

²⁰ *Balatri F. Frutti del mondo: Autobiogr. di Filippo Balatri da Pisa (1676–1756)*. Palermo: Sandron, 1924. — 292 с.

неаполитанец; 2-я — девка Маргарита; 3-й — кастрат Картуса; 4-й — кастрат Пикуданина... На карнавал одному кастрату дают по найму по 1000 червонных и больше...»²¹

Согласно дневнику Анонима, он был во Флоренции с 27 по 29 мая 1698 г. и близко общался там с Козимо III Медичи в герцогском дворце Питти на левом берегу Арно. Аноним удостоился тогда персональной экскурсии и увидел такие диковинки из личной коллекции Великого герцога, которые не имели чести увидеть и иные гости-аристократы, не говоря уже о «праздных туристах». Читаем в дневнике Анонима: «Был в палатах герцога Тосканского, и видел в оных множество редких и славных картин и всякого рода богатых уборов и фарфоровых безмерно хороших сосудов (эта коллекция и по сию пору составляет гордость Палаццо Питти — А.К.)... Шкатула оправленная золотом и выложенная изумрудами и разноцветными яхонтами, два яшмовые стола с поставленными на них костяными сосудами чрезвычайно искусной работы, поставец с хрустальными и иными вещьми отменно хорошо сделанными, большие изумруды с матками или гнездами их и с землею, где родились, бирюза величиною в нарочитое яблоко, на которой изображен Нерон, жестокий Император Римский, и славной во всем свете алмаз, доска золотая самой высокой работы, выложенная крупным жемчугом и алмазами, и многие другие редкости»²².

Если Аноним — это действительно князь Петр Голицын, то внимание, оказанное ему Великим герцогом, хорошо понятно. Предстоящий визит русского царя Петра I в Италию (а именно его, я уверен, и готовил князь) не был секретом, и Козимо III был крайне заинтересован в развитии торговых связей с Московией. Узнав, что Голицын интересуется придворным певцом, чтобы потом представить сию «диковинку» другу-царю, Великий герцог легко пошел на соглашение.

Кстати, в мемуарах Филиппо Балатри есть фрагмент, где он весьма удивляется, что путь из Италии в Москву оказался таким долгим и трудным. Оно и понятно: ведь князь Голицын повез его в Россию не напрямую, через Вену, а кружным путем — через Альпы, опять Рейн, Амстердам и Ригу. В Москву они приехали лишь зимой 1699 г., что полностью совпадает с графиком путешествия «Великой особы».

Последнее возможное возражение против признания именно князя П.А. Голицына так долго не поддающимся опознанию Анонимом состоит в том, что «Великая особа», мол, никогда не обучалась в морской школе «Наутика» Марко Мартиновича в Перасте — именно это настойчиво утверждают, например, Д.Ю. и И.Д. Гузевичи²³, и, как мне кажется, совершенно на-

²¹ Там же. С. 174.

²² Там же. С. 176.

²³ *Гузевич Д., Гузевич И. Великое посольство. С. 411.*

прасно. Внимательный анализ записной книжки «Великой особы» открывает в этом смысле совершенно другую перспективу.

В самом деле, наш Аноним, в ходе своих странствий по Европе, был в Венеции (откуда до Пераста в Которской бухте несколько дней морского хода) дважды: первый раз около месяца — с 24 апреля по 20 мая 1698 г., а во второй раз достаточно продолжительное время — с 6 июля по 18 октября 1698 г.²⁴, т.е. почти *три с половиной месяца*.

Если Аноним — это действительно князь Петр Алексеевич Голицын, то он вполне мог стажироваться в морской школе в Перасте, предположим, в августе-сентябре 1698 г., и тогда его имя и портрет вполне законно заняли свое место на знаменитой картине «Марко Мартинович обучает морскому делу московских дворян», которую я летом 2019 г. имел возможность в подробностях рассмотреть в художественно-краеведческом музее г. Пераста и даже дать небольшой мастер-класс для своих спутников.

Не будем забывать, что князь П.А. Голицын изначально был назначен царем Петром руководителем именно этой группы московских стольников. И наставник школы «Наутика» был прекрасно об этом осведомлен, и, конечно, мудрый Марко Мартинович (чей бюст стоит сегодня на городской площади Пераста) учел все обстоятельства дела, вошел в положение своего «припозднившегося» ученика и с полным основанием выдал ему выпускной сертификат, наряду с другими, более дисциплинированными московскими стажерами.

Литература

- Голицын Н.Н. Род князей Голицыных. Т. 1. СПб.: тип. И.Н. Скороходова, 1892. — 678 с.
- Гузевич Д., Гузевич И. Великое посольство. Рубеж эпох, или Начало пути: 1697–1698. СПб.: Дмитрий Буланин, 2008. — 696 с.
- Записки неизвестной особы о путешествии по Германии, Голландии и Италии // Записки русских путешественников XVI–XVII вв. М., 1988. С. 163–184.
- Записная книжка любопытных замечаний Великой особы, странствовавшей под именем дворянина Российского посольства в 1697 и 1698 гг. СПб.: Б.и., 1788. — 50 с.
- Кара-Мурза А.А. Борис Иванович Куракин // Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Венеции. М.: Изд-во О. Морозовой, 2019. С. 82–93.
- Кара-Мурза А.А. Борис Петрович Шереметев // Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Венеции. М.: Изд-во О. Морозовой, 2019. С. 117–130.
- Кара-Мурза А.А. Русские посланцы Петра I у мощей св. Николая в Бар-граде // Барградский сборник. № 1 (под ред. М.Г. Талалая). М.: Индрик, 2019. С. 41–68.
- Плохинский М.М. Путешествие иеромонаха Тарасия Каплонского в Италию в конце XVII столетия // Сборник Харьковского Историко-филологического общества, 1896, т. 8. С. 289–296.

²⁴ Записки неизвестной особы о путешествии по Германии, Голландии и Италии... С. 172–175, 181–182.

Путешествие по Европе боярина Б.П. Шереметева 1697–1699 (под ред. Л.А. Ольшевской, А.А. Решетова, С.Н. Травникова). М., Наука, 2013. — 511 с.

Путешествие стольника П.А. Толстого по Европе. 1697–1699 (под ред. Л.А. Ольшевской, С.Н. Травникова). М., Наука, 1992. — 382 с.

Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. 3, тт. XI–XIV (2-е изд.). СПб.: Т-во «Общественная польза», 1890. — 800 с.

Шереметев П.С. Владимир Петрович Шереметев. 1668–1737. М.: Синодальная типография, 1913–1914, т. 1. — 518 с.

Balatri F. Frutti del mondo: Autobiogr. di Filippo Balatri da Pisa (1676–1756). Palermo: Sandron, 1924. — 292 с.

КАРАМЗИН, ШАДЕН И ГЕЛЛЕРТ. К ИСТОКАМ ЛИБЕРАЛЬНО-КОНСЕРВАТИВНОГО ДИСКУРСА Н. М. КАРАМЗИНА

Загадка Карамзина

В 2016 г. отмечается 250-летие со дня рождения Николая Михайловича Карамзина (1766–1826) — замечательного русского историка и литератора. Многие отечественные интеллектуальные и политические направления — от диссидентов-либералов до крайних охранителей — стремятся вести свою родословную от Карамзина (сам он, как известно, вел свой род от татарского князя «Кара-Мурзы») — и ни у кого это всерьез не получается. И это естественно: оригинальность Карамзина — не в его политической позиции (политиком он не был вообще), а в *самобытном интеллектуальном дискурсе*, который, разумеется, мог иметь определенные политические проекции, но нередко перенаправлял их, вводя в замешательство и современников, и потомков.

Петр Струве, в зрелые годы не устававший подчеркивать свое идейное сродство с Карамзиным, называл его родоначальником *либерального консерватизма* (понятие, впервые сформулированное другом Карамзина — князем П. А. Вяземским) — «традиции русской, свободолюбивой и охранительной в одно и то же время, государственной мысли», главным содержанием которой является активное неприятие *«зазывающего и заманивающего суесловия и блудословия»* (курсив мой. — А.К.)¹. К слову, к продолжателям этой традиции Струве относил Пушкина, самого Вяземского, Бориса Чичерина, «Вехи», «Московский еженедельник» братьев Трубецких и свои собственные очерки из сборника «Patriorica».

Думается, Карамзин согласился бы с оценкой своего наследника: за свою жизнь он прооппонировал практически всем «лагерям» и «партиям», и его расхождения с ними были, прежде всего, *дискурсивно-филологические*, ибо оружием Карамзина было Слово (которое в христианской традиции суть Бог), а врагами — те самые «суесловие» и «блудословие», с каких бы сторон они не исходили. И на этом пути десакрализации всякого «ложного слова», развенчания любой идеократии Карамзина не могли остановить ни блажь черни, ни лукавство царей.

В конце жизни Карамзин сам подтвердил свое *дискурсивное кредо* в «Мыслях об истинной свободе», написанных незадолго до смерти, в начале

¹ Струве П. Б. Дневник политика. 1925–1935. М.; Париж: Русский путь; ИМКА-Пресс, 2004. С. 331.

1826 г. «Можно ли в нынешних книгах или журналах без жалости читать пышные слова? — печально-иронически вопрошает уже больной Карамзин, серьезно простудившийся 14 декабря близ Сенатской площади, где он с ужасом наблюдал вспышку братоубийства. — Настало время истины; истинною всё спасем; истинною всё ниспровергнем... Настало время истины: т.е. настало время спорить об ней!»². И далее он раздает «по серьгам» всем старым и новым оппонентам: «Аристократы, Демократы, Либералисты, Сервилисты! Кто из вас может похвалиться искренностью? Вы все Авгуры, и боитесь заглянуть в глаза друг другу, чтобы не умереть со смеху. Аристократы, Сервилисты хотят старого порядка: ибо он для них выгоден. Демократы, Либералисты хотят нового беспорядка: ибо надеются им воспользоваться для своих личных выгод»³.

Так на чьей же стороне Истина? «Для существа нравственного, — заключает свои заметки Карамзин, — нет блага без свободы; но эту свободу дает не Государь, не Парламент, а каждый из нас самому себе, с помощью Божиею. Свободу мы должны завоевать в своем сердце миром совести и доверенности к провидению!»⁴. Гениальная карамзинская формула в его, фактически, «Духовном завещании» 1826 г. о *личной свободе*, которую каждый человек может подарить «самому себе с помощью Божией» позволяет говорить о Карамзине, как об одном из русских зачинателей течения «христианского либерализма», учения не политического, а культуро-центричного⁵.

На стороне Карамзина оказалась сама русская История: она готовила его приход. Прошло не так много лет после воцарения Екатерины, и в русской культуре постепенно укрепилась комплиментарная по отношению к «просвещенной Императрице», но и весьма историософски содержательная, антитеза «тело versus душа» в оценке направления нашей истории XVIII в. Когда весной 1770 г., в Санкт-Петербургской Академии художеств выставили для обозрения модель фальконетовского «Медного всадника», Александр Сумароков сочинил стихотворную надпись «Ко статуе Государя Петра Великого», где выдал запоминающуюся метафору: «Петр дал нам бытие, Екатерина душу»⁶. Похожую формулу находим и в стихотворном послесловии Михаила Хераскова к его роману «Нума Помпилий, или Процветающий Рим» (1768): «Петр россам дал тела, Екатерина душу»⁷.

² Карамзин Н.М. Неизданные сочинения и переписка. СПб.: Тип. М. Тиблена, 1862. С. 194.

³ Там же. С. 194–195.

⁴ Там же. С. 195.

⁵ Кара-Мурза А.А., Жукова О.А. Свобода и Вера. Христианский либерализм в российской политической культуре. М.: Институт философии, 2011.

⁶ Сумароков А.П. Полное собрание сочинений. М., 1781, ч. 1. С. 268.

⁷ Херасков М. Творения. М.: Университетская типография, 1803, ч. XII. С. 165.

Однако не самой Екатерине, а литератору и историку Карамзину было суждено совершить великое дело («подвиг честного человека», по определению Пушкина, — вдохнуть живую душу в тело созданной великим Петром Империи, наполнить самобытным гуманным смыслом самодержавный контур, не повредив при этом оболочки.

Верно заметил на сей счет историк С.М. Соловьев, выступая в Актовой зале Московского университета 1 декабря 1866 г., в день 100-летнего юбилея Карамзина: «После тревожной эпохи преобразования и переходного времени... произошла перемена в основном взгляде русских людей; они заявили свое недовольство одним *внешним* и требовали *внутреннего*, требовали *вложения души в тело* (везде курсив мой. — А.К.), и требование было удовлетворено... Вглядимся в эту мягкость черт Карамзина, припомним в нем это сочувствие к чувству, к нравственному содержанию человека, припомним его выражение, что чувством можно быть умнее людей умных умом»⁸.

Загадку уникальности Карамзина в нашей культуре, похоже, разгадал П.Я. Чаадаев, который в письме А.И. Тургеневу (1838) писал о том, что он «с каждым днем более и более научается чтить память Карамзина», который становится для него символом победы человеческого ума над «фанатизмом»⁹. А критик А.М. Скабичевский советовал всем читателям Карамзина «откинуть в сторону его политические взгляды», и посмотреть на него, как на «моралиста-прогрессиста», который «первый, вопреки средневековой догматике, начал проповедовать и свободу страстей, и право человека на земное счастье», что было по тем временам «неслыханной ересью» и вызвало натуральные доносы, где сочинения Карамзина объявлялись «исполненными вольнодумческого якобинского яда»¹⁰.

Где же Н.М. Карамзин научился этому «вольнодумию», как пришел к нему удивительный дар «сочувствия к нравственному содержанию человека»?

В Москве у профессора Шадена (1778–1782)

Начальное образование Карамзин, как известно, получил в доме родителей и в частном пансионе француза Пьера Фовеля в Симбирске, а в двенадцать лет был направлен в «первопрестольную» для дальнейшей учебы. В сопровождении крепостного дядьки, он приехал осенью 1788 г. в московскую Немецкую слободу, в частный пансион профессора Московского университета Иоганна Шадена.

⁸ Соловьев С.М. Исторические поминки по историке: Речь на юбилее Н.М. Карамзина // Московские университетские известия 1866–1867, № 3. С. 181.

⁹ Чаадаев П.Я. Сочинения. М.: Правда, 1989. С. 411–412.

¹⁰ Скабичевский А.М. Очерки умственного развития нашего общества. 1825–1860 // Отечественные записки. 1870. Т. 5 (192). № 10. С. 255.

Общая недооценка исследователями этого «московского периода» в жизни Карамзина привела к тому, что в, казалось бы, авторитетных биографических изданиях даты его учебы в пансионе Шадена определяются чуть ли не «на глазок» и сильно разнятся. Так, К.Н. Бестужев-Рюмин в дореволюционном «Русском биографическом словаре» А.А. Половцева лишь бегло отмечает, что Карамзина отправили в Москву «*после 1776 г.*». П.Н. Милюков в «Словаре Брокгауза и Ефрона» (1901) пишет: «*На 14-м году К.<арамзин> был привезен в Москву и отдан в пансион моск.<овского> профессора Шадена*». Авторы примечаний к академическому изданию «Писем русского путешественника» (Л.Е. Генин и Ю.М. Лотман) полагают, что Карамзин учился у Шадена «*в 1777–1781*» (т.е. начиная с 10–11 лет). А Г.П. Макогоненко, автор статьи в «Краткой литературной энциклопедии», напротив, утверждает, что Карамзин попал к Шадену «*в 1780 г.*» (т.е. в возрасте аж четырнадцати лет!) и т.д.

Между тем, в судьбе Карамзина четыре года пребывания в московской Немецкой слободе были периодом исключительно важным; фактически — его *первым путешествием в Европу*. Парадокс заключался в том, что эту свою «первую Европу» юный Карамзин нашел не на Западе, а в Москве, причем уже как вполне органичную часть *русской жизни*. Ведь Немецкая слобода времен Карамзина-подростка — это уже екатерининская Москва, прожившая со времен Петра с его «потешными» катаниями по Яузе-реке и наивно-любопытным подглядыванием за жизнью «немцев» (т.е. всех «немых», не говорящих по-русски, чужаков) содержательный период межкультурного синтеза.

Частный пансион профессора Иоганна Шадена стоял примерно в середине главной улицы московской Немецкой слободы — Немецкой (или «Большой»), прорезывающей район с севера на юг, от Елохова и Покровской дороги (ныне Бакунинская улица) до реки Яузы. Домовладение Шадена, включавшее, согласно топографическим планам тех лет, несколько деревянных построек и большой сад, располагалось на углу Немецкой улицы и Бригадирского переулка, на том месте, где сейчас находится дом № 68 по Бауманской улице.

Иоганн Магиас Шаден (1731–1797), уроженец Пресбурга (ныне Братислава), получил степень доктора философии в славящемся своими традициями Тюбингенском университете и в 1756 г. был приглашен графом И.И. Шуваловым и первым Директором Московского университета А.М. Аргамаковым на должность ректора обеих — дворянской и разночинной — университетских гимназий. Накопив за 15 лет уникальный опыт гимназического преподавания, Шаден в начале 1770-х гг. сложил с себя обременительные обязанности ректора (оставив за собой некоторые университетские курсы) и открыл, вместе с женой, в их доме на Немецкой улице, пансион для обучения русских дворянских юношей двенадцати-шестнадцати лет.

В пансионе, в котором обычно было не более восьми учеников, царил почти «домашняя» атмосфера, о которой оставил воспоминания один из воспитанников, учившийся у Шадена чуть раньше Карамзина: «У профессора мне было точно так, как будто мать моя позволила мне погостить у детей какого-нибудь почтенного соседа. Мы не знали никакой подчиненности, любили старика (воспитанники называли Шадена на русский манер «Богданом Богдановичем» — А.К.) как отца родного, а друг друга — как братьев. Все мы были равны, разница существовала только в летах. У нас не было никаких наград, но зато нас иногда ласкали, приголубливали, а наказание заключалось в хорошем нагоняе, в холодном отношении. Мы не знали никаких упреков, продолжительного гнева, интриг и сплетен, и потому все действия наши были свободны и открыты»¹¹.

Распорядок дня в пансионе был следующим: «Поутру каждый со своим маленьким столиком, книгами, тетрадами входил в залу и располагался, где хотел. Уроки наши проверяла профессорша по утрам, когда супруг ее уезжал в университет. Утром в назначенные часы приходили также другие учителя. Обед всегда представлял трапезу семейную с молитвою до и после обеда. В четыре часа начинались классы профессора. О, как любили мы собираться вокруг него, когда он в большом своем кресле, в пестром халате и зеленом тафтяном колпаке, положи ноги на скамейку, рассказывал о разнообразных произведениях природы или событиях в мире. Вечером всякий занимался, чем хотел, но большие ученики позволяли нам играть только после приготовления заданного урока. Так как комнаты наши были довольно тесны, мы не смели ни прыгать, ни шуметь. Обыкновенное занятие всех было слушать, лежа на кроватях, как один из старших учеников читал громко и внятно»¹².

Шаден сам давал воспитанникам уроки латинского, древнегреческого и немецкого языков, а также истории, географии и основ философии — логики, метафизики, эстетики. Французский язык преподавала жена Шадена; русский язык и математику — приглашенные учителя, а Закон Божий — проходящий православный священник. Впрочем, по свидетельству мемуариста, воспитание православных подростков в доме лютеранина Шадена (прихожанина расположенной недалеко кирхи св. Михаила) было вполне светским: «В церковь нас никогда не водили. Профессор не занимался практически нашей нравственностью и довольствовался тем, что преподавал ее во время обеда. Главными предметами его разговоров были правосудие, бескорыстие, любовь к отечеству, трудолюбие»¹³.

¹¹ Муравьев В.Б. Карамзин. М.: Молодая гвардия, 2014. С. 36.

¹² Там же. С. 35–36.

¹³ Там же. С. 36.

В доме имелась богатая библиотека, занимавшая три большие комнаты, где все стены от пола до потолка были уставлены шкапами с книгами: «Шкафы имели свои номера, и каждый из нас имел свое отделение. Наша обязанность заключалась в том, чтобы обметать с книг пыль каждую субботу после обеда. За это мы имели право пользоваться книгами, когда хотим. Из чужого шкафа мы не могли иначе брать, как с согласия того, кто им заведовал»¹⁴. Что касается содержимого «книжного отделения» юного воспитанника Карамзина, то он сам позднее описал его в «Письмах русского путешественника»: «Геллертовы басни составляли почти всю мою библиотеку...»¹⁵. О ком и о чем идет речь?

Излюбленным автором профессора Шадена был Христиан Фюрхтеготт Геллерт (1715–1779), немецкий философ, поэт и баснописец, чьи «Басни и рассказы», по многим свидетельствам, были в XVIII в. самой читаемой в Европе книгой после Библии. В советском литературоведении было принято трактовать Геллерта как «последовательного идеолога немецкого бюргерства в его исторической ограниченности и консервативной застойности»¹⁶. Впрочем, С.В. Тураев, например, признавал, что «нравственный пафос» нередко заводил Геллерта-баснописца «дальше тех умеренных целей, которые он перед собой ставит»: «Как наблюдательный художник, он видит пустоту, ничтожество, паразитизм дворянства и моральное превосходство человека-труженика»¹⁷.

Стоит добавить, что «Лекции о нравственности» профессора Геллерта, а также его не менее знаменитый «Курс по истории литературы» слушал в университете Лейпцига юный студент Гёте. Впоследствии он скажет о том, что «учение Геллерта о морали является *фундаментом немецкой нравственной культуры* (курсив мой. — А.К.)»¹⁸.

Х.Ф. Геллерт проводил в Лейпцигском университете и практические занятия по прикладной этике, и нет сомнения в том, что его верный московский последователь, «Богдан Богданович» Шаден, исповедовал те же педагогическо-воспитательные принципы. Карамзин вспоминал, как Профессор (он писал это слово с большой буквы — А.К.), «преподавая нам,

¹⁴ Там же.

¹⁵ Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / Изд. подг. Ю.М. Лотман, Н.А. Марченко, Б.А. Успенский. Л.: Наука, 1984. С. 62.

¹⁶ Тураев С.В. Ранняя просветительская сатира // История всемирной литературы в 9 тт. Т. 5. М., 1988. С. 202.

¹⁷ Там же.

¹⁸ Климакина Е.А. Басни и притчи в жанровой системе творчества Х.Ф. Геллерта // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2011, № 2. С. 185–190; Климакина Е.А. «Трогательная комедия» Х.Ф. Геллерта // Вестник Коломенского государственного педагогического института. 2009, № 2 (8). С. 131–138.

маленьким своим ученикам, мораль по Геллертовым лекциям (*Moralische Vorlesungen*), с жаром говаривал: «Друзья мои! Будьте таковы, какими учит вас быть Геллерт, и вы будете счастливы!»¹⁹.

Когда Геллерт скончался в Лейпциге 13 декабря 1769 г.,— это стало европейским событием. На его могилу на Иоганново кладбище (*Alter Johannisfridhof*), неделю за неделей, ходило такое количество людей, что властям пришлось перекрыть вход. Скульптор Адам Фридрих Эзер, на средства разбогатевшего на печатании трудов Геллерта издателя Иоганна Вендлера, создал чудесный памятник из белого мрамора, о котором в 1777 г. Гёте написал стихи: «*Счел долгом каждый дилетант / Цветок вплести в венок лавровый / Обряду скорби несуровой / Совсем не надобен талант / Лишь Эзер вне толпы стоял, / Душой к усопшему взывая, / Черты родные вспоминал, / Нетленный образ создавая; / И скорбь нестройную толпы / Собрал он в мрамор вдохновенный, / Так в урну маленькую мы / Сбираем пепел незабвенный*» (перевод А.А. Гугнина).

Удивительно, но московский профессор Шаден оказался поклонником не только философа и моралиста Геллерта, но и талантливого скульптора Эзера: тот, как и Шаден, был уроженцем Пресбурга (Братиславы). Поэтому литографические изображения памятника Геллерту работы Эзера в лейпцигском саду *Schneckenberg*, широко известные во всей Европе, были несомненно, хорошо знакомы и воспитанникам пансиона в московской Немецкой слободе.

В Лейпциге — городе Геллерта (1789)

Летом 1789 г., во время своего вояжа в Европу, двадцатидвухлетний Карамзин задержался в Лейпциге, в Университете которого (славного имени Лейбница, Геллерта, Гете) он мечтал когда-то учиться: «Без всяких дальнейших приключений доехали мы до Лейпцига,— читаем у Карамзина в «Письмах русского путешественника». — Здесь-то, милые друзья мои, желал я провести свою юность; сюда стремились мысли мои за несколько лет перед сим; здесь хотел я собрать нужное для искания той истины, о которой с самых младенческих лет тоскует мое сердце! — Но судьба не хотела исполнить моего желания. Воображая, *как бы* я мог провести те лета, в которые, так сказать, образуется душа наша, и как я провел их, чувствую горесть в сердце и слезы в глазах. — Нельзя возвратить потерянного!»²⁰

Разумеется, на следующее же утро после приезда, Карамзин отправился смотреть места, связанные с жизнью Христиана Геллерта. В «Вендлеровом саду» он, наконец, увидел давно знакомый по рисункам монумент из белого мрамора работы Эзера (в то время Директора

¹⁹ Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. С. 62.

²⁰ Там же. С. 60.

Лейпцигской Академии художеств): «Тут, смотря на сей памятник добродетельного мужа, дружбою сооруженный, вспомнил я то счастливое время моего ребячества, когда Геллертовы басни составляли почти всю мою библиотеку». Карамзин вспомнил тогда два своих самых любимых в юности сочинений Геллерта, над одним из которых — «Инкле и Ярико», он «обливался горькими слезами», а над другим — «Зеленым ослом» — «смеялся от всего сердца»²¹.

«Инкле и Ярико» — это трагико-сентиментальная история любви англичанина Инкле, попавшего в кораблекрушение у берегов Америки, и спасшей его индианки Ярико: один из популярных сюжетов европейской литературы XVIII в. Англичанин берет влюбленную в него индианку с собой в Европу, но по дороге бестрепетно продает ее работоторговцу, причем за двойную цену, ибо девушка носит ребенка.

Басню «Зеленый осел» во времена юного Карамзина, кто мог, читал по-немецки, но в 1782 г. появился великолепный русский перевод И.И. Хемницера. История, восходящая к басне Абстемия «О вдове и зеленом осле» стала популярной: один чудак, чтобы прославиться, раскрасил своего осла в зеленый цвет, а ноги сделал голубыми, чем вызвал небывалый ажиотаж в городе («По улицам смотреть зеленого осла / Кипит народу без числа»). Однако через два дня всё закончилось: «На третий день осла ведут / Смотреть осла уже и с места не встают...» Геллертовская мораль была понятна даже маленьким воспитанникам русско-немецкого пансиона в Москве: «Какую глупость ни затей, / Как скоро лишь нова, чернь без ума от ней. / А лучшие времени глупцов препоручить... / Оно умеет их учить...». Сколько раз в своей жизни Карамзин, оппонируя лукавым словесам всякого рода «новаторов», вспоминал, должно быть, историю о «зеленом осле»!

Подводя итоги, обратим внимание на, казалось бы, рядовой фрагмент дневниковой записи «русского путешественника» Карамзина о его приезде в июле 1789 г. в Лейпциг и первом, казалось бы, вполне банальном, общении с хозяином придорожной гостиницы.

«В 11 часов ночи. Я остановился в трактире у Мемеля, против почтового двора. Комната у меня чиста и светла, а хозяин услужлив и говорлив до крайности. Между тем как я разбираю свой чемодан, рассказывал он мне о порядке, заведенном в его доме, о своем бескорыстии, честности и проч. “Все те, которые жили у меня, — говорил он, — были мною довольны. Я получаю, конечно, не много барыша, да, зато идет обо мне добрая слава; зато у меня совесть чиста и покойна, а у кого покойна совесть, тот счастлив в здешней жизни, и ничего не боится, и ни от чего не бледнеет...” В самую сию секунду грянул гром, и г. Мемель испугался и побледнел. “Что с вами сделалось?” — спросил я.

²¹ Там же. С. 62.

“Ничего,— отвечал он, запинаясь,— ничего; только надобно затворить окно, чтобы не было сквозного ветру” (курсив везде мой.— А.К.)»²².

Ба! Да ведь перед нами — короткая нравоучительная притча — абсолютно в стиле Фридриха Геллерта! Прав Ю.М. Лотман, который считает, что «Письма русского путешественника» — это *тончайшая выделка*.

...Вечер, когда в заштатной гостинице в Лейпциге прозвучал удар грома, так испугавший незадачливого болтуна-хозяина, помечен в дневнике Карамзина 14-м июля 1789 г. В этот день в Париже произошли события, заставившие «испугаться и побледнеть» всю просвещенную Европу. Различные интерпретации этих событий, начинавшихся эмигрантскими текстами Руссо и Вольтера, невинными эскападами проказника Фигаро Бомарше (литературно вымышленного, но в общекультурном смысле ставшего вполне реальным), грозными речами Мирабо и Дантона (а потом еще более грозными — Марата и Робеспьера) определили направления интеллектуальных размышлений всей Европы, захватив и Россию.

14 июля 1789 г. 22-х летнему русскому путешественнику, еще ничего не подозревавшему о событиях в Париже, был дан в Лейпциге (любимом городе любимого им Геллерта) *сигнал свыше* — о том, что Карамзин потом всю свою жизнь не принимал более всего — безответственности в обращении со священными для него понятиями — человеческого достоинства и свободы.

Литература

Кара-Мурза А.А., Жукова О.А. Свобода и Вера. Христианский либерализм в российской политической культуре. М.: Институт философии, 2011.

Карамзин Н.М. Неизданные сочинения и переписка. СПб.: Тип. М. Тиблена, 1862.

Карамзин Н.М. Письма русского путешественника (Ред. Ю.М. Лотман, Н.А. Марченко, Б.А. Успенский). Л.: Наука, 1984.

Климакина Е.А. Басни и притчи в жанровой системе творчества Х.Ф. Геллерта // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2011, № 2. С. 185–190.

Климакина Е.А. «Трогательная комедия» Х.Ф. Геллерта // Вестник Коломенского государственного педагогического института. 2009, № 2 (8). С. 131–138.

Муравьев В.Б. Карамзин. М.: Молодая гвардия, 2014.

Скабичевский А.М. Очерки умственного развития нашего общества. 1825–1860 // Отечественные записки. 1870. Т. 5 (192). № 10. С. 255–321.

Соловьев С.М. Исторические поминки по историке: Речь на юбилее Н.М. Карамзина // Московские университетские известия 1866–1867 — Московские университетские известия. 1866–1867. № 3. С. 181

Струве П.Б. Дневник политика. 1925–1935. М.; Париж: Русский путь: ИМКА-пресс, 2004.

Сумароков А.П. Полное собрание сочинений. М., 1781. Ч. 1

Херасков М. Творения. М.: Университетская типография, 1803. Часть XII

Тураев С.В. Ранняя просветительская сатира // История всемирной литературы в 9 тт. Т. 5. М., 1988.

Чаадаев П.Я. Сочинения. М.: Правда, 1989.

²² Там же. С. 60.

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ СВОБОДА» *VERSUS* «СВОБОДА ОТ ПОЛИТИКИ»: ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНСТВИЯ КАРАМЗИНА КАК ПРОТОТИП РУССКИХ ПОИСКОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ИДЕАЛА

*«Карамзин был не только художником,
но и мыслителем и, можно сказать,
первым нашим философом»*

(Б. Эйхенбаум, 1916)

Предисловие

Во второй половине восемнадцатого столетия, ставшем определяющим в генезисе отечественного философствования, императорская Россия была активно вовлечена в бурные общеевропейские трансформации политической и культурной жизни. Особое значение в сложной цепи событий имела Семилетняя война (1756–1763), в годы которой Россия во многом формировала карту Центральной Европы. По точному замечанию В.В. Сиповского, одного из лучших знатоков той эпохи, «почти шесть лет прожили за границей русские дворяне, служившие в полках Елизаветы... Они увидели совершенно новую жизнь, в которой чувствовалось тогда культурное движение; они присматривались к этой жизни и многое принесли на родину из чужих краев»¹. Поиски *русского общественного идеала* полностью сосредоточились в те годы в общеевропейском контексте.

Характерны в этой связи умонастроения одного из интеллектуальных лидеров того, предкарамзинского, поколения, молодого А.Т. Болотова, который, прослужив офицером несколько лет в покоренном русскими Кенигсберге, так описал свое прощание с этим прусским городом в 1762 г. — году восшествия на престол императрицы Екатерины II: «Прости, милый и любезный град, и прости навеки! Никогда, как думать надобно, не увижу я уже тебя боле! Небо да сохранит тебя от всех зол, могущих случиться над тобою, и да излиет на тебя свои милости и щедрости. Ты был мне полезен в моей жизни, ты подарил меня сокровищами бесценными, в стенах твоих сделался я человеком и спознал самого себя, спознал мир и все главнейшее в нем... Прости навеки!»². —

¹ Сиповский В.В. Н.М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». СПб.: Типография В. Демакова, 1899. С. 4–5.

² Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные им самим. 1728–1793. СПб.: Тип. В. Головина, 1871. Т. 2. С. 143.

Удивительное объяснение в любви к европейской культуре в устах человека, признанного позднее образцом русского патриота! Впрочем, именно эта прочнейшая спайка мировоззренческого европеизма и действенного патриотизма и породила феномен «русских европейцев», определивших направление идейно-политических поисков в екатерининское и александровское время.

«Манифест о вольности дворянства», задуманный еще при императрице Елизавете Петровне, изданный Петром III и подтвержденный Екатериной, разбросал по огромной стране тысячи и тысячи энергичных дворян, которые ранее бывали в родных гнездах лишь наездом: «Возвращаясь на родину уже не с тем, чтобы умирать на покое, а для того, чтобы жить в свое удовольствие, они легко увлекались всем, что могло хотя до некоторой степени поддержать ту культурную атмосферу, в которой они были приучены жизнью в умственных центрах»³. Индивидуальная человеческая жизнь впервые в России стала драгоценным предметом осознанного *культурного выбора*, а не объектом предзаданной регламентации — это была совершенно новая, европейская по сути, экзистенциальная реальность, породившая одновременно многие проблемы.

Русский европеизм в своих многообразных формах проникал в ткань повседневной жизни. И, как это часто бывает, динамизм общественного развития стимулировал быструю дифференциацию умов и даже политическое напряжение: «Русское общество очень заметно раскололось на две половины, враждующие одна с другою: Петербург и Москва были центрами враждующих лагерей; французское влияние, с одной стороны, и немецко-английское, с другой, — вот две столкнувшиеся силы. Императрица, с ее верой в просвещенный абсолютизм, — и молодое русское общество, выходящее на самостоятельный путь, без всяких помочей, своими силами, — вот враги, культурная борьба которых заполнила конец XVIII века»⁴.

По сути, речь шла о соперничестве двух возможных для России стратегий прогресса: властно-контролируемой, исходящей с самого политического «верха», и более спонтанной, идущей от прорастающей «снизу» гражданской просвещенности. Что нужнее и возможнее для России: постепенное окультуривание политики — или, напротив, отвердевание в политической культуре нравственных гуманистических императивов? И что делать с народной толщей: постепенно *просвещать* её или *освобождать*?

Самобытная, свободолобивая мысль просыпающейся к общественной жизни русской провинции ориентировалась в последней трети XVIII в. на Москву и ее мозговой центр — Московский университет. Интеллектуальным лидером, подлинным вожаком этой «московской партии» стал перебравшийся в древнюю

³ Сиповский В.В. Н.М. Карамзин. С. 5

⁴ Там же. С. 11

столицу в 1779 г. литератор и издатель Николай Иванович Новиков⁵. «Творцом этой новой жизни Новиков не был, — отмечает Сиповский. — Он — только талантливый выразитель тех желаний, которые с половины XVIII века пробуждаются в русском провинциальном обществе. Он один из первых дал себе отчет в этих желаниях и помог разобраться в них русскому обществу. Благодарная Россия послала к нему в Москву своих сынов; он соединил их около себя и... повел эту молодежь туда, где, как ему казалось, мерцал свет истины»⁶.

Среди этих молодых людей, вовлеченных в «новиковскую партию», — культурно-просветительскую по сути и масонскую по форме, был и Николай Михайлович Карамзин (1766–1826) — «*первый наш философ*», по точному определению Б.М. Эйхенбаума⁷.

Николай Карамзин: какую Европу предпочесть?

Новейшие исследования доказывают, что знаменитая европейская поездка Н.М. Карамзина 1789–1790 гг., известная нам по «Письмам русского путешественника»⁸, была вовсе не путешествием свободного вояжера, а фактическим бегством за границу, по сути дела *эмиграцией* — одной из первых в новой русской истории⁹.

Причиной отъезда Карамзина из Москвы весной 1789 г. (через Петербург и Ригу в германские земли и далее в Швейцарию, Францию, Англию) были начавшиеся преследования московского кружка просветителя-масона Н.И. Новикова со стороны присланного в Москву Екатериной II обер-прокурора Сената, князя Гавриила Гагарина — раскаявшегося перед императрицей гроссмейстера петербургских масонов шведского обряда, ставшего впоследствии главным свидетелем по делу московских розенкрейцеров во главе с Новиковым¹⁰.

⁵ См.: Лонгинов М. Новиков и Шварц. Материалы для истории русской литературы в конце XVIII века. 2-е изд. М.: Тип. В. Готье, 1958.

⁶ Сиповский В.В. Н.М. Карамзин. С. 12.

⁷ Эйхенбаум Б.М. О прозе. О поэзии. Л.: Художественная литература, 1986. С. 10.

⁸ Карамзин Н.М. Письма русского путешественника (ред. Ю.М. Лотман, Н.А. Марченко, Б.А. Успенский). Л.: Наука, 1984. — 718 с.

⁹ Кара-Мурза А.А. Швейцарские странствия Николая Карамзина (1789–1790). М., Аквилон, 2016; Кара-Мурза А. Чем беглец отличен от путешественника. Загадка европейского турне Николая Карамзина // НГ–Сценарии, 2016, № 7 (165), 27 сентября. С. 14; Kara-Murza A. Traveler or Fugitive? A New Reading of Nikolai Karamzin's Letters of a Russian Traveler // Russian Studies in Philosophy, 2017, vol. 55, № 6. P. 410–421.

¹⁰ Крестова Л.В. А.И. Плещеева в жизни и творчестве Н.М. Карамзина // XVIII век. Сборник 10. Русская литература XVIII века и ее международные связи. Памяти чл.-корр. АН СССР П.Н. Беркова. Л.: Наука, 1975. С. 266; Кара-Мурза А.А. Загадка «Тартюфа». Неизвестные страницы европейского путешествия Н.М. Карамзина (1789–1790) // Николай Карамзин и исторические судьбы России (ред. А.А. Кара-Мурза, В.Л. Шарова, А.Ф. Яковлева). М.: Аквилон, 2016. С. 361–375.

Нечто подобное случившемуся с «путешественником поневоле» Карамзиным произошло несколькими годами ранее с его старшим другом, а позднее и тестем, князем Андреем Ивановичем Вяземским (1754–1807). Затянувшуюся на четыре года зарубежную поездку Андрея Вяземского 1782–1786 гг. тоже пытались одно время объяснить «образовательными целями», тогда как задержка князя в Европе имела *чисто политические причины*.

Путевые заметки Вяземского-старшего (отца князя П.А. Вяземского), сохранившиеся в «Остафьевском архиве»¹¹, свидетельствуют о том, что молодой генерал-масон, в сопровождении двух верных офицеров, выехал 1 марта 1782 г. из Петербурга в Стокгольм с личным заданием уже отодвигаемого Екатериной от руководства внешней политикой графа Н.И. Панина. Путь Вяземского лежал ко дворам «северных» монархов, бывших ранее союзниками России, — к шведскому королю Густаву III, королю Пруссии Фридриху II, курфюрсту Саксонии Фридриху-Августу III. Посылая Вяземского в Европу, Панин делал последнюю и, как оказалось, безуспешную попытку противодействовать новой политике Екатерины II, меняющей прежних «северных» союзников на австрийских Габсбургов и французских Бурбонов.

Дальнейший маршрут Вяземского-старшего: из Швеции морем в Пруссию (где он принял участие в работе Вильгельмсбадского масонского конвента), затем Саксония, Франция, Англия, Голландия, Португалия, Испания, снова Франция, города Италии и Швейцарии. Важнейшим пунктом поездки А.И. Вяземского стал Франкфурт, где в середине июля 1782 г., в отеле Maison Rouge, имели место встречи князя с находившимся в те дни в германских землях наследником русского престола Павлом Петровичем — воспитанником Панина, продолжавшего находиться под сильным влиянием старого наставника¹².

Известно, что цесаревич Павел вернулся в Санкт-Петербург 20 ноября 1782 г. А буквально на следующий день, его ближайшего друга, сопровождавшего его в европейском путешествии, князя А.Б. Куракина, тоже воспитанника Панина и крупнейшего масона, доставили к генерал-прокурору Империи, несколько дней допрашивали, а через неделю, по приказу императрицы, отправили в ссылку в саратовское имение, где князь пробыл до самой смерти Екатерины в 1796 г.

Однако главный удар по «северянской партии» был нанесен весной 1783 г. смертью 31 марта самого графа Н.И. Панина. На его погребение 3 апреля в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры императрица Екатерина II не явилась...

¹¹ Путевые заметки князя А.И. Вяземского // Архив князя Вяземского. Князь Андрей Иванович Вяземский. СПб.: Изд-во графа С.Д. Шереметева, 1881. С. 291–350.

¹² Там же. С. 340–342.

В этих обстоятельствах князь А.И. Вяземский — генерал-масон и доверенное лицо Панина и Куракина, закономерно опасался возвращения в Россию. К решению остаться в Европе его подталкивал и двоюродный брат отца — князь А.А. Вяземский, тот самый генерал-прокурор и ближайший сотрудник Екатерины, не заинтересованный в скором возвращении племянника-диссидента. Справедливости ради надо добавить, что генерал-прокурор Вяземский сделал многое, чтобы его племянник сумел-таки заслужить прощение императрицы и вернуться, спустя многие месяцы, на родину к состарившимся родителям¹³.

Для молодого Карамзина князь Андрей Вяземский, ранее переживший в Европе аналогичные приключения «путешествующего изгнанника», стал поистине «вторым отцом»¹⁴.

Руссоистский «миф Швейцарии»: апология «первобытной вольности»

Согласно Ю.М. Лотману, «путешествие» Н.М. Карамзина (как нам теперь известно, — вынужденное) планировалось «как некая дуга с двумя основными точками опоры: Швейцарией и Англией»¹⁵. Эти две страны «как бы олицетворяли для Карамзина две возможности развития человечества, между которыми колебались симпатии Карамзина в то время, когда он готовился к путешествию... Патриархальности Швейцарии противостоял идеал “просвещенности” — Англия»¹⁶. «В конечном счете, — продолжает Лотман, — это была антитеза общественных устремлений Руссо и Вольтера... Желание произвести “следствие на месте” над идеями двух апостолов Просвещения XVIII века было одной из побудительных причин путешествия»¹⁷.

«Швейцарский миф» стал устойчивым элементом русского отношения к Европе за пару десятилетий до вояжа Карамзина. В нашей культурной традиции Швейцария представала «некой парадигмой, которая тревожила российское сознание необычайностью своей природы и кажущейся идеальностью своей судьбы» и служила россиянам чем-то вроде

¹³ Подробнее см.: Князь Петр Андреевич Вяземский и исторические судьбы России (к 225-летию со дня рождения). Материалы международной конференции // Вопросы философии, 2018, № 3. С. 5–9.

¹⁴ Многие годы Н.М. Карамзин прожил в московском особняке Вяземских на Волхонке и в их подмосковном имении Остафьево. В 1804 г. он женился на старшей дочери А.И. Вяземского — Елизавете Кольвановой, а перед своей смертью в 1807 г. Вяземский-старший оставил на попечение Карамзина своего единственного сына — князя Петра Андреевича Вяземского.

¹⁵ Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. СПб.: Азбука, 2015. С. 101.

¹⁶ Там же.

¹⁷ Там же. С. 102.

«нравственно-политического “зеркала”, в котором отражались социокультурные мечтания и утопические проекты русской общественной мысли. Картины сказочной земли справедливости, таинственного Беловодья народных религиозных преданий, где “мужички-то все богаты”, подспудно проецировались на реально существующую страну»¹⁸.

Швейцария очень рано заняла особое место и в творчестве самого Карамзина. Еще семнадцатилетним юношей, он в 1783 г. опубликовал в Петербурге перевод с немецкого швейцарской идиллии Соломона Геснера «Деревянная нога»¹⁹. Среди главных добродетелей швейцарцев юный переводчик особо превозносит их «вольность». Фразу Геснера «*Freyheit, Freyheit beglückt das ganze Land!*» Карамзин передает следующим образом: «Вольность, сия дражайшая вольность, делает счастливой всю сию страну»²⁰.

А спустя три года, в 1786 г., повзрослевший Карамзин издает — теперь уже в Москве — прозаический перевод поэмы другого швейцарца, поэта и естествоиспытателя Альбрехта фон Галлера «О происхождении зла»²¹. В своих комментариях переводчик подтверждает свое особое отношение к Швейцарии и ее гражданам: «Под сими счастливыми тварями разумеет Галлер альпийских пастухов. Всё, слышанное мною от путешествовавших по Швейцарии в роде жизни их, в восхищение приводило меня. Размышление о сих счастливых часто побуждало меня восклицать: “О смертные! просто уклонились вы от начальной невинности своей! Почто гордитесь мнимым просвещением своим!”»²².

Итак, руссоистская беспорочность вольного человека, свободный отказ от условностей и ограничений цивилизации — вот один из манящих юного Карамзина «общественных идеалов», отождествляемых им с самоуправляющимися кантонами Швейцарии.

Как мы знаем, европейские странствия беглеца-эмигранта Карамзина продлилось около четырнадцати месяцев: с мая 1789 г. по июль 1790 г. Швейцарский период, безусловно, занял в этом турне центральное место: в Швейцарии Карамзин пробыл около семи месяцев — с начала августа 1789-го до начала марта 1790-го. Для сравнения: в Германии он провел менее двух месяцев, во Франции около трех, в Англии меньше двух месяцев. Судя по всему,

¹⁸ Данилевский Р.Ю. Русские миражи в Швейцарских Альпах (Швейцария и российские социокультурные утопии) // К истории идей на Западе: «Русская идея». СПб.: Изд-во Пушкинского дома, 2010. С. 237.

¹⁹ Геснер С. Деревянная нога, швейцарская идиллия господина Геснера (пер. с немецкого Н. Карамзина). СПб.: Тип. Брейткопфа, 1783.

²⁰ Там же. С. 7.

²¹ Галер А. О происхождении зла, поэма великого Галера (в 3-х песнях) (пер. с немецкого Н. Карамзина). М.: Тип. Новикова, 1786.

²² Там же. С. 11.

главным пунктом пребывания Карамзина в Европе изначально намечалась Женева, где друзья-масоны подготовили ему надежное убежище: здесь путешественник прожил долгие пять месяцев — со 2 октября 1789 г. по 1 марта 1790 г.²³

В своих «Письмах русского путешественника» Карамзин, находясь, судя по записям, на пути между Базелем и Цюрихом, сочиняет свою апологию этой земле — полностью в духе кумира своей юности Жан-Жака Руссо: «Уже я наслаждаюсь Швейцариею, милые друзья мои! Всякое дуновение ветерка проникает, кажется, в сердце мое и развеивает в нем чувство радости. Какие места! Какие места! Отъехав от Базеля версты две, я выскочил из кареты, упал на цветущий берег зеленого Рейна и готов был в восторге целовать землю»²⁴.

«Счастливые швейцары! — продолжает изливать свои восторги Карамзин. — Всякий ли день, всякий ли час благодарите вы небо за свое счастье, живучи в объятиях прелестной природы, под благодетельными законами братского союза, в простоте нравов и служа одному богу? Вся жизнь ваша есть, конечно, приятное сновидение, и самая роковая стрела должна кротко влетать в грудь вашу, не возмущаемую свирепыми страстями!»²⁵.

Наилучшее впечатление произвел на Карамзина город Цюрих: «С отменным удовольствием смотрел на его приятное местоположение, на ясное небо, на веселые окрестности, на светлое, зеркальное озеро и на красные его берега, где нежный Геснер рвал цветы для украшения пастухов и пастушек своих; где душа бессмертного Клопштока наполнялась великими идеями о священной любви к отечеству...»²⁶.

Природный рай центральной Швейцарии счастливым образом сочетается в глазах Карамзина с общественной гармонией: «Ни в каком другом европейском городе не найдете вы, друзья мои, таких неиспорченных нравов и такого благочестия, как в Цюрихе. Театр, балы, маскарады, клубы, великолепные обеды и ужины! Вы здесь неизвестны»²⁷.

Распорядок жизни граждан Цюриха естественен, размерен и направлен к общему благу: «Мужчины отправляют поутру дела свои: купец идет в контору или в лавку, ученый садится читать или писать, художник берется за свою работу... Мудрые цюрихские законодатели знали, что роскошь бывает гробом вольности и добрых нравов, и постарались заградить ей вход в свою республику»²⁸.

²³ Согласно нашей версии, в Женеве беглец-эмигрант Карамзин пережил тяжелую душевную болезнь, чем объясняется крайняя скудость женеvских фрагментов в «Письмах русского путешественника» (подробнее см.: *Кара-Мурза А.А.* Швейцарские странствия Николая Карамзина. С. 61–70).

²⁴ *Карамзин Н.М.* Письма русского путешественника. С. 102.

²⁵ Там же. С. 102–103.

²⁶ Там же. С. 106.

²⁷ Там же. С. 119.

²⁸ Там же. С. 120.

Общественная гармония в швейцарских кантонах обеспечивается, согласно Карамзину, не только природными добродетелями граждан, но и разумностью принимаемых законов, не налагающих на граждан избыточных ограничений. «Не увидите вы здесь ничего гниющего, непочиненного, — пишет Карамзин в дневнике по пути из Бадена в Берн. — Во всем соблюдена удобность и все необходимое в изобилии и совершенстве... Цветущее состояние швейцарских земледельцев происходит наиболее оттого, что они не платят почти никаких податей и живут в совершенной свободе и независимости, отдавая правлению только десятую часть из собираемых ими полевых плодов»²⁹.

Именно Карамзин, по справедливому замечанию современной исследовательницы русских вояжей в Швейцарию В.В. Смекалкиной, «без сомнения, сыграл ключевую роль в зарождении русского “паломничества” в Швейцарию и надолго определил парадигму восприятия этой страны русскими путешественниками...»³⁰. «Практически все описанные Карамзиным достопримечательности и природные красоты, а также его маршруты, — отмечает далее автор, — всё это вскоре станет “хрестоматийным” и в некотором роде обязательным для посещения россиянами, а его размышления и переживания превратятся для последовавших за ним путешественников в некий духовный *vademecum*, с которым они будут сверять свои впечатления»³¹.

Швейцария — обетованная земля руссоистской слиянности с Природой, естественной человеческой вольности и полного отсутствия властного произвола — эта тема по-разному варьируется на страницах «Писем русского путешественника». Лишь в очень редких случаях беглец из далекой России позволяет себе усомниться в новообретенном «идеале» и задается тревожными вопросами. А не является ли швейцарская идиллия лишь проявлением глухой архаики, непросвещенности и — в конечном счете — «недоцивилизованности»? Простота жизни «вольных швейцаров» — не есть ли, возможно, лишь следствие бедности и невежества? А «счастливая уединенность» — не является ли она лишь печальным свидетельством «исторической брошенности»?

²⁹ Там же. С. 127.

³⁰ Смекалкина В.В. Русские путешественники в Швейцарии во второй половине XVIII — первой половине XIX в. М.: Языки славянской культуры, 2015. С. 193; см. также: Иванов М.В. Мир Швейцарии в «Письмах русского путешественника» // XVIII век. Сборник 10. Л.: Наука, 1975. С. 296–302; Немировский И.В. Швейцарская тема в «Вестнике Европы» Н.М. Карамзина // XVIII век. Сб. 6. Итоги и проблемы изучения русской литературы XVIII века. Л.: Наука, 1989. С. 271–280.

³¹ Смекалкина В.В. Русские путешественники в Швейцарии. С. 201. К примеру, в своих заметках о европейском путешествии 1862–1863 гг. Ф.М. Достоевский не раз мысленно дискутирует именно с Карамзиным: «Почему Европа имеет на нас, кто бы мы ни были, такое сильное, волшебное, призывное впечатление?... Неужели же кто-нибудь из нас мог устоять против этого влияния, призыва, давления?» (Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений и писем в 30 тт. Л.: 1973. Т. 5. С. 51.)

Так, отплыв поздним вечером в почтовой лодке из Туна — к другому концу одноименного озера, на пути к швейцарским Альпам, Карамзин делает вдруг в дневнике не характерные в целом для него ночные записи: «Внизу дымятся хижины, жилища бедности, невежества и — может быть — спокойствия. Вечная премудрость! Какое разнообразие в твоём физическом и нравственном мире!»³². «Швейцарское спокойствие» — да, но является ли «спокойствие» идеалом индивидуальной и общественной жизни?

Спустя небольшое время, в Англии, Карамзину доведется провести еще одно, выражаясь языком Ю.М. Лотмана, «следствие на месте» — на этот раз относительно принципиально иной модели общественного идеала...

Вольтеровский «миф Англии»: апология гражданского Просвещения

Еще в ранней юности, обучаясь в 1778–1782 гг. в московской Немецкой слободе в частном пансионе профессора Шадена³³, Карамзин «бредил Англией и, почти не выдав англичан, восхищался ими и воображал Англию самую приятнейшую для сердца моего землю»³⁴. «С каким восторгом, — вспоминал он, — читал я во время американской войны донесения торжествующих британских адмиралов!... Я праздновал победы их и звал к себе в гости маленьких соучеников моих. Мне казалось, что быть храбрым есть... быть англичанином, великодушным — тоже, чувствительным — тоже; истинным человеком — тоже»³⁵.

К моменту европейской поездки Карамзина Англия, в отличие от Франции, имела в культурных кругах российских столиц репутацию «образцо-

³² Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. С. 131.

³³ Кара-Мурза А.А. Карамзин, Шаден и Геллерт. К истокам либерально-консервативного дискурса Н.М. Карамзина // Филология: научные исследования, 2016, № 1. С. 101–106. «Немецкая слобода» была для юного Карамзина своего рода «идеальной Россией», открывавшей уникальные культурные возможности: «В судьбе Карамзина четыре года пребывания в Немецкой слободе стали временем исключительно важным; фактически — его первым путешествием в Европу. Парадокс заключался в том, что эту свою “первую Европу” юный Карамзин нашел не на Западе, а в Москве, причем как вполне органичную часть русской жизни. Ведь Немецкая слобода времен Карамзина-подростка — это уже екатерининская Москва, прожившая со времен царя Петра Алексеевича с его “потешными” катаниями по Яузе-реке и наивно-любопытным подглядыванием за жизнью “немцев” (то есть всех “немых”, не говорящих по-русски, чужаков) содержательный период межкультурного синтеза» (Кара-Мурза А.А. Швейцарские странствия Николая Карамзина. С. 10).

³⁴ Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. С. 380.

³⁵ Там же. Исследователи дружно отмечают, что в своем описании Англии Карамзин отталкивался от хорошо известных ему с детства литературных традиций Даниэля Дефо («Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка», 1719) и Лоренса Стерна («Сентиментальное путешествие по Франции и Италии», 1768), полагавших, что «простой свободорожденный англичанин есть высшее творение Бога» (См.: Капустянская К.В., Кубанев Н.А. Англия глазами русских писателей // Научный поиск, 2015, № 3. С. 50–54).

вой страны». Этому во многом способствовали впервые увидевшие свет еще в 1775 г. путевые заметки княгини Е.Р. Дашковой, близко изучившей политические традиции Лондона и Эдинбурга. В своем «Путешествии одной российской знатной госпожи по некоторым Аглинским провинциям» Дашкова, в частности, писала: «Англия мне более других государств понравилась. Правление их... превосходит все усильственные опыты других народов в подобных предприятиях»³⁶.

Знал молодой Карамзин об Англии и из сочинений немецкого просветителя-масона Карла Филиппа Морица. Еще в юности Карамзин «с превеликим удовольствием»³⁷ изучал на немецком трэвелог Морица «Путешествие немца по Англии в 1782 году». А в начале собственного европейского вояжа, в начале июля 1789 г., он лично встречался и беседовал с Морицем в Берлине. И запомнил его слова: «Кто хочет видеть просвещенный народ, который посредством своего трудолюбия дошел до высочайшей степени утончения в жизни, тому надобно ехать в Англию...»³⁸.

И вот, наконец, Карамзин в Англии: в сравнении со Швейцарией, он пробыл там относительно недолго. Прибыв на Туманный Альбион в начале июня 1790 г.,³⁹ он уже в середине июля (по принятому в Европе григорианскому календарю) покинул Англию и 15 июля по юлианскому календарю, принятому в России, был в Санкт-Петербурге, компенсировав, таким образом, те 11 дней, которые были утрачены им при выезде за границу.

Волнение от пребывания в стране, которую так ценили за «просвещенность» авторитетные для Карамзина англоманы (французские, немецкие, русские) охватило его еще при швартовке корабля в Дувре: «Берег! Берег! Мы в Дувре, и я в Англии — в той земле, которую в ребячестве своем любил я с таким жаром и которая по характеру жителей и степени народного просвещения есть, конечно, одно из первых государств Европы»⁴⁰.

Вскоре, в своих «письмах из Англии» Карамзин уже активно полемизирует с собственным, еще совсем недавним, «швейцарским мифом» — о *свободе от политики* (поближе к Природе и подальше от Власти) — как идеале человеческого существования. Англия показала «русскому путешественнику»

³⁶ Дашкова Е.Р. Путешествие одной российской знатной госпожи по некоторым Аглинским провинциям // «Я берег покидал туманный Альбиона...». Русские писатели об Англии. 1646–1945. М.: РОССПЭН, 2001. С. 31.

³⁷ Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. С. 46.

³⁸ Там же.

³⁹ Об этом свидетельствует единственное письмо Карамзина к И.И. Дмитриеву, отправленное из Лондона 4 июня 1790 г., в котором автор сообщает, что пробудет в Англии недолго: «Скоро буду думать о возвращении в Россию» (Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина (пред. Б.Ф. Егорова). М.: Книга, 1987. С. 175.

⁴⁰ Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. С. 327.

наглядный пример того, как социальная динамика, разнообразие общественной жизни способны наилучшим образом удовлетворить потребности культурного и разумного человека.

«Какая земля! — восклицает Карамзин уже по дороге из приморского Дувра в Лондон. — Везде встречается вам множество карет, колясок, верховых; множество хорошо одетых людей... Какое многолюдство! Какая деятельность! И притом какой порядок! Все представляет вид довольства, хотя не роскоши, но изобилия. Ни один предмет от Дувра до Лондона не напомнил мне о бедности человеческой (прямая отсылка к виденным недавно “жилищам бедности” в континентальной Европе. — А.К.)»⁴¹.

После пребывания во Франции и высказанных им тогда многочисленных инвектив в адрес Парижа (здесь наш «путешественник» лишь следует в русле более ранних путевых заметок Д.И. Фонвизина), Карамзин не устает восхищаться Лондоном: «Редкая чистота, опрятность в одежде людей самых простых и какое-то общее благоустройство во всех предметах... Какая розница с Парижем! Там огромность и гадость, здесь простота с удивительною чистотою; там роскошь и бедность в вечной противоположности, здесь единообразие общего достатка; там палаты, из которых ползут бледные люди в разодранных рубищах, здесь из маленьких кирпичных домиков выходят здоровье и довольствие, с благородным и спокойным видом — лорд и ремесленник, чисто одетые, почти без всякого различия; там распудренный, разряженный человек тащится в скверном фиакре, здесь поселянин скачет в хорошей карете на двух гордых конях; там грязь и мрачная теснота, здесь все сухо и гладко — везде светлый простор, несмотря на многолюдство»⁴².

Многообразие форм межчеловеческого общения — вот новый идеал Карамзина: «Я не знал, где мне приклонить свою голову в обширном Лондоне, но ехал спокойно, весело; смотрел и ничего не думал. Обыкновенное следствие путешествия и переездов из земли в землю! Человек привыкает к неизвестности, страшной для домоседов. “Здесь есть люди: я найду себе место, найду знакомство и приятности”, — вот чувство, которое делает его беззаботным гражданином вселенной!»⁴³

Что касается «уединения», которое, разумеется, периодически необходимо каждому разумному человеку (в том числе и прославленному молодому Карамзиным «гражданину вселенной»), то оказывается, что именно многолюдный космополитический город, как это ни парадоксально, предполагает такую возможность: «Я люблю большие города и многолюдство,

⁴¹ Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. С. 329.

⁴² Там же. С. 331.

⁴³ Там же.

в котором человек может быть уединеннее, нежели в самом малом обществе; люблю смотреть на тысячи незнакомых лиц, которые, подобно китайским теням, мелькают передо мною, оставляя в нервах легкие, едва приметные впечатления; люблю теряться душою в разнообразии действующих на меня предметов и вдруг обращаться к самому себе — думать, что я средоточие нравственного мира, предмет всех его движений, или пылинка, которая с мириадами других атомов обращается в вихре предопределенных случаев»⁴⁴.

И, тем не менее, наш помудревший вояжер (напомним, что карамзинские «Письма из Англии», в силу цензурных ограничений, были опубликованы на четыре-пять лет позднее швейцарских) уже понял, что не хотел бы надолго остаться в Англии: «Теперь вижу англичан вблизи, отдаю им справедливость, хвалю их — но похвала моя так холодна, как они сами... Знаю, что и в Сибири можно быть счастливым, когда сердце довольно и радостно... Английская зима не так холодна, как наша; зато у нас зимою бывают красные дни, которые здесь и летом редки... Русское мое сердце любит изливаться в искренних, живых разговорах, любит игру глаз, скорые перемены лица, выразительное движение руки. Англичанин молчалив, равнодушен, говорит, как читает, не обнаруживая никогда быстрых душевных стремлений, которые потрясают электрически всю нашу физическую систему»⁴⁵.

Даже красноречие английских парламентариев Карамзин описывает не только уважительно, но и с иронией: «Я входил в разные кофейные дома: двадцать, тридцать человек сидят в глубоком молчании, читают газеты, пьют красное португальское вино, и хорошо, если в десять минут услышите два слова... Мудрено ли, что ораторы их в парламенте, заговорив, не умеют кончить? Им наскучило молчать дома и в публичке»⁴⁶.

Карамзин высоко ценит то, что «англичане горды» и «всего более гордятся своею конституциею». Но, по его мнению, «законы хороши, но их надобно еще хорошо исполнять, чтобы люди были счастливы», а это уже зависит от гражданской просвещенности. «Итак, не конституция, а просвещение англичан есть истинный их палладиум,— делает вывод Карамзин.— Всякие гражданские учреждения должны быть соображены с характером народа; что хорошо в Англии, то будет дурно в иной земле... Впрочем, всякое правление, которого душа есть справедливость, благотворно и совершенно»⁴⁷.

⁴⁴ Там же. С. 332.

⁴⁵ Там же. С. 380–381.

⁴⁶ Там же. С. 333.

⁴⁷ Там же. С. 382–383.

Возвращение Карамзина

Причины и обстоятельства возвращения Н.М. Карамзина в Россию летом 1790 г. окутаны не меньшим количеством загадок, чем его внезапный отъезд в Европу весной 1789 г. В любом случае, одной из главных причин возвращения стала обострившаяся тоска по родине.

Еще в швейцарских фрагментах «Писем русского путешественника», у Карамзина начинает отчетливо звучать «патриотическая тема», ностальгия по России и оставшимся на родине друзьям: «Для того чтобы узнать всю привязанность нашу к отечеству, надобно из него выехать; чтобы узнать всю любовь нашу к друзьям, надобно с ними расстаться»⁴⁸.

Путешествуя по Швейцарии, русский беглец внимательно прислушивается к местным песням: «Я слышу пение; оно несется из окон соседнего дома. Это голос юноши — и вот слова песни: “Отечество мое! Любовью к тебе горит вся кровь моя; для пользы твоей готов ее пролить; умру твоим нежнейшим сыном... Мы все живем в союзе братском; друг друга любим, не боимся и чтим того, кто добр и мудр. Не знаем роскоши, которая свободных в рабов, в тиранов превращает... Отечество мое!”»⁴⁹.

Не без зависти Карамзин присматривается к разнообразным проявлениям тесной связи жителей Швейцарии с родной землей: «Швейцары так страстно любят свое отечество, что почитают за великое несчастье надолго оставлять его»⁵⁰.

Те же настроения охватывают скитальца Карамзина и в Англии. Еще на пакетботе, пересекшем Ла-Манш, он обратил внимание на своих ближайших спутников, возвращавшихся на родину из Италии, — молодого английского лорда и сопровождавших его жену и сестру: «Лорд важен, но учтив. Леди и мисс любезны. С каким нетерпением приближаются они к отечеству, к родственникам и друзьям своим, после шестилетней разлуки! С какою радостью говорят о тех удовольствиях, которые ожидают их в Лондоне! — Ах! Я завидовал им от всего сердца!»⁵¹

...Драма «путешественника поневоле» Николая Михайловича Карамзина заставляет задуматься об общих судьбах русской эмиграции: от Курбского и Герцена — через массовый пореволюционный исход — к диссидентам новейшего времени. Их трагедия состояла в том, что люди эти, зачастую цвет

⁴⁸ Там же. С. 108.

⁴⁹ Там же. С. 108–109.

⁵⁰ Там же. С. 108.

⁵¹ Там же. С. 326. На том же корабле, рядом с Карамзиным, плыли и два немца, «кажется, ремесленники, которые, думая, что их никто не понимает, свободно разговаривают между собою»: «“Что-то мы увидим в Англии! — сказал один. — Французы нам теперь известны; в них не много пути”. — “Думаю, — отвечал другой, — что и Англия нам не очень полюбится. Где лучше нашей любезной Германии! Где лучше берегов Рейна!”» (там же).

отечественной культуры, вынуждены были, в силу обстоятельств, предпочесть родине — «свободу». В этом контексте, особое, выдающееся место Карамзина в нашей культуре обусловлено в том числе и тем, что он — безусловный европеист по образованию и воспитанию — впервые осмелился поставить вопрос принципиально иначе: *«а зачем мне свобода без родины?..»*

Возвращаясь в Россию летом 1790 г., Карамзин, разумеется, сильно рисковал. Но, как ни парадоксально, именно сам факт возвращения — под сень родного самодержавия и в его полную властную юрисдикцию — в известном смысле «обезоружил» правительство Екатерины II.

Аналогичным, абсолютно бесстрашным образом поступили, вслед за Карамзиным, Петр Чаадаев в 1826 г. (в разгар преследований декабристов), а потом и Владимир Соловьев в 1888 г. (после успеха в Париже его абсолютно диссидентской «Русской идеи») ⁵².

Новообретенный, продуманный и сформулированный в Европе «общественный идеал» — без всяких гарантий на успех — не терпелось реализовать в России...

Литература

Данилевский Р.Ю. Русские миражи в Швейцарских Альпах (Швейцария и российские социокультурные утопии) // К истории идей на Западе: «Русская идея». СПб.: Издательство Пушкинского дома, 2010.

Дашкова Е.Р. Путешествие одной российской знатной госпожи по некоторым Аглинским провинциям // «Я берег покидал туманный Альбиона...». Русские писатели об Англии. 1646–1945. М.: РОССПЭН, 2001. С. 31–45.

Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные им самим. 1728–1793. СПб.: Типография В. Головина, 1871. Т. 2.

Жукова О.А. Творчество Чаадаева и его интерпретация в интеллектуальной культуре Серебряного века // Философский журнал, 2021, № 1. С. 68–83.

Иванов М.В. Мир Швейцарии в «Письмах русского путешественника» // XVIII век. Сборник 10. Л.: Наука, 1975. С. 296–302.

Капустянская К.В., Кубанев Н.А. Англия глазами русских писателей // Научный поиск, 2015, № 3. С. 50–54.

Кара-Мурза А.А. Загадка «Тартюфа». Неизвестные страницы европейского путешествия Н.М. Карамзина (1789–1790) // Николай Карамзин и исторические судьбы России (ред. А.А. Кара-Мурза, В.Л. Шарова, А.Ф. Яковлева). М.: Аквилон, 2016. С. 361–375.

Кара-Мурза А. Чем беглец отличен от путешественника. Загадка европейского турне Николая Карамзина // НГ-Сценарии, 2016, № 7 (165), 27 сентября. С. 14.

Кара-Мурза А.А. Швейцарские странствия Николая Карамзина (1789–1790). М.: Аквилон, 2016, 110 с.

Кара-Мурза А.А. Тяжба о Карамзине: юбилейные заметки // Вопросы философии, 2016, № 12. С. 106–110.

⁵² Подр. см.: Жукова О.А. Творчество Чаадаева и его интерпретация в интеллектуальной культуре Серебряного века // Философский журнал, 2021, № 1. С. 68–83.

Кара-Мурза А.А. Философские дилеммы «Писем русского путешественника» Н.М. Карамзина // Философские науки, 2016, № 11. С. 59–68.

Кара-Мурза А.А. Карамзин, Шаден и Геллерт. К истокам либерально-консервативного дискурса Н.М. Карамзина // Филология: научные исследования, 2016, № 1. С. 101–106.

Кара-Мурза А.А. Свобода и порядок. Из истории русской политической мысли XIX–XX вв. М.: МШПИ, 2009.— 248 с.

Карамзин Н.М. Письма русского путешественника (ред. Ю.М. Лотман, Н.А. Марченко, Б.А. Успенский). Л.: Наука, 1984.— 718 с.

Князь Петр Андреевич Вяземский и исторические судьбы России (к 225-летию со дня рождения). Материалы международной конференции // Вопросы философии, 2018, № 3. С. 5–32.

Крестова Л.В. А.И. Плещеева в жизни и творчестве Н.М. Карамзина // XVIII век. Сборник 10. Русская литература XVIII века и ее международные связи. Памяти чл.- корр. АН СССР П.Н. Беркова. Л.: Наука, 1975. С. 266.

Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина (пред. Б.Ф. Егорова). М.: Книга, 1987.— 336 с.

Немировский И.В. Швейцарская тема в «Вестнике Европы» Н.М. Карамзина // XVIII век. Сборник 16. Итоги и проблемы изучения русской литературы XVIII века. Л.: Наука, 1989. С. 271–280.

Севастьянова А.А. Н.М. Карамзин в Англии (По страницам «Писем русского путешественника») // Европа, Россия, Азия: сотрудничество, противоречия, конфликты. Рязань, 2017. С. 149–153.

Ситовский В.В. Н.М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». СПб.: типография В. Демакова, 1899.— 654 с.

Смекалкина В.В. Русские путешественники в Швейцарии во второй половине XVIII — первой половине XIX в. М.: Языки славянской культуры, 2015.— 376 с.

Эйхенбаум Б.М. О прозе. О поэзии (сост. О. Эйхенбаум; вступит. ст. Г. Бялого). Л.: Художественная литература, 1986.— 456 с.

Kara-Murza A. Traveler or Fugitive? A New Reading of Nikolai Karamzin's Letters of a Russian Traveler // Russian Studies in Philosophy. 2017. Vol. 55. No. 6. P. 410–421.

ПОЭМА «МЕДНЫЙ ВСАДНИК» А.С. ПУШКИНА: ПОЛИТИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПРОЕКЦИИ

В данной статье защищается гипотеза о том, что великая поэма А.С. Пушкина «Медный всадник» написана автором в системе понятий трактата Никколо Макиавелли «Государь» (500-летие со времени написания которого отмечалось в 2013 г.) и является интеллектуальным ответом Пушкина на критику со стороны бывшего друга Пушкина — польского поэта Адама Мицкевича. Я остановлюсь главным образом на политико-философских параллелях «Государя» и «Медного всадника» А.С. Пушкина.

Трактат «Государь» обладает своеобразной текстовой структурой: философская концепция здесь не предшествует основному корпусу назидательных исторических примеров, а завершает и обобщает их. Ключевой политико-философский смысл трактата сформулирован в предпоследней, 25-й главе, которая называется: «*Насколько дела человеческие зависят от фортуны и как можно ей противостоять*»¹. Макиавелли дает здесь следующее определение «фортуны» или «судьбы»: «Я уподобляю ее бурной реке, которая, расвирепев, затопляет долину, крушит дома и деревья..., все уступает и бежит перед стихией, не в силах ей противостоять»².

Больше двадцати назад, уже не первый год читая курсы по истории политической философии, я обратил внимание на то, что главным героем пушкинского «Медного всадника» как раз является разбушевавшаяся река, наводнение, которое обуздывается «Медным всадником», пушкинским воплощением Петра Великого. В свое время я написал об этой перекличке смыслов пушкинской поэмы и «Государя» в книге «Реформатор. Русские о Петре Великом» (1994)³, а затем и в монографии «Новое варварство как проблема российской цивилизации» (1995)⁴, написанной на основе докторской

¹ Макиавелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. Государь. М., 2002. С. 432–435. Здесь и далее в тексте используется вариант перевода «Государя» М.А. Юсима. Впрочем, все профессиональные русские переводчики с итальянского — и расстрелянный в «большом терроре» М.С. Фельдштейн, и Г.Д. Муравьева — одинаково хорошо понимали ключевое значение этой главы, и их варианты перевода отличаются незначительно.

² Там же. С. 433.

³ Кара-Мурза А.А. Формула Петра Великого // Кара-Мурза А.А., Поляков Л.В. Реформатор. Русские о Петре I. Опыт аналитической антологии. Иваново: Форс, 1994. С. 290–291.

⁴ Кара-Мурза А.А. «Новое варварство» как проблема российской цивилизации. М.: Институт философии РАН, 1995. С. 64–65. В этой книге я даже позволил себе сделать такой вывод: «Вообще тот факт, что Макиавелли и Петр Великий не встретились во времени и пространстве, и первый преподнес свой знаменитый трактат “Государь” не Петру, а Лоренцо Медичи, — одно из недоразумений, на которые так богата история» (там же. С. 64).

диссертации. С тех пор идея о том, что «Медный всадник» является русским парафразом на тему «Государя» Макиавелли, неоднократно мною уточнялась, и, как мне кажется, заметно усилилась.

Пушкин, разумеется, хорошо знал труды Макиавелли, еще с Царско-сельского лица, где великий флорентиец фигурировал в курсах любимых пушкинских преподавателей — Александра Петровича Куницына, профессора этики, политической науки и права и профессора русской и латинской словесности Петра Егоровича Георгиевского⁵. Есть все основания считать, что Пушкин весьма уважительно относился к Макиавелли. В своих исторических зарисовках «Table-Talk» (написанных примерно в те же месяцы, что и «Медный всадник»), он, например, с иронией писал о «езуите Посвине» — «одном из самых ревностных гонителей памяти макиавелевой», который «соединил в одной книге все клеветы, все нападения, которые навлек на свои сочинения бессмертный флорентинец» (речь идет о сочинении Антонио Поссевино 1592 г. «Суждение о четырех писателях». — А.К.). Пушкин, напротив, положительно отзывался о немецком историке Германне Конринге (у Пушкина — Conringius), издавшем в 1660 г. «Государя» Макиавелли в переводе на немецкий язык и доказавшем, что «Посвин никогда не читал Макиавеля, а толковал о нем понаслышке». Сведения об этой полемике Пушкин мог почерпнуть из предисловия Ж.-В. Периеса к изданному на французском языке 10-томному собранию сочинений Макиавелли (Paris, 1823–1826), имевшемуся в пушкинской библиотеке. Цитируя в «Застольных разговорах» некоторые известные максимы Макиавелли, Пушкин называл его «великом знатоком природы человеческой»⁶.

Обратимся теперь к обстоятельствам написания поэмы «Медный всадник». Известно, что Пушкин, получив в начале августа 1833 г. Высочайшее разрешение на поездку в Оренбург и Казань для работы над «Историей Пугачева», выехал из Петербурга в Москву вместе с С.А. Соболевским, но чуть было не вернулся из-за очередного разлива Невы. Впрочем, в голове его уже крепко сидела мысль написать произведение, главным

⁵ Пушкин очень любил русского энциклопедиста А.П. Куницына, который, окончив Главный педагогический институт, затем учился еще в Геттингенском и Гейдельбергском университетах. Вспомним слова поэта в «Лицейской годовщине 19 октября 1825 г.»: «*Куницыну дань сердца и вина! // Он создал нас, он воспитал наш пламень, // Поставлен им краеугольный камень, // Им чистая лампада возжена*». Что касается П.Е. Георгиевского, то в опубликованном им «лицейском курсе» есть прямая характеристика Макиавелли: «образователь лучшей их (итальянцев. — А.К.) исторической школы, к сожалению, распространивший самые вредные правила политики в государствах» (*Георгиевский П.Е. Руководство к изучению русской словесности*. СПб., 1836, ч. 4. С. 78).

⁶ *Пушкин А.С. Избранное*. М., 2010, ч. 1. С. 740.

персонажем которого станет именно наводнение: с собой в дорогу он взял книгу В.Н. Берха «Подробное историческое известие о всех наводнениях, бывших в Санкт-Петербурге».

Поскольку из Петербурга Пушкин выехал именно с Соболевским, похоже, что именно он может рассматриваться как главный пушкинский конфидендент в обсуждении литературных планов, и, следовательно, его свидетельства об истории создания «Медного всадника» имеют особую значимость. Согласно рассказам Соболевского (зафиксированным такими авторитетными публикаторами, как П.И. Бартенев, А.П. Милюков и др.), на Пушкина произвела сильное впечатление одна «петербургская легенда», пересказанная ему графом М.Ю. Виельгорским. Якобы в 1812 г., когда Петербургу грозила опасность французского вторжения, император Александр Павлович планировал эвакуировать памятник Петра Великого вглубь России. Но в тот момент друг царя кн. А.Н. Голицын, «масон и духовидец», сообщил ему о своем знакомом, некоем «майоре Батурине», которого преследовал навязчивый сон: «Он видит себя на Сенатской площади. Лик Петра поворачивается. Всадник съезжает со скалы своей и направляется по петербургским улицам к Каменному острову (где жил тогда Батурин), влекомый какою-то чудною силою, несется за ним и слышит топот меди по мостовой. Всадник въезжает на двор Каменно-островского дворца, из которого выходит к нему навстречу задумчивый и озабоченный государь. “Молодой человек, до чего довел ты мою Россию?” — говорит ему Петр Великий. — “Но покамест я на месте, моему городу нечего опасаться!” Затем всадник поворачивает назад, и снова раздается тяжело-звонкое скаканье». Пораженный рассказом Батурина, кн. Голицын передал сновиденье государю, также не чуждого мистики, и статуя Петра Великого была оставлена в покое⁷.

Как мы знаем, император Александр Павлович является одним из действующих лиц «Медного всадника» — правда, вызывающим скорее жалость и призванным оттенить подлинное величие Петра. В поэме Александр появляется единожды: он с фаталистической обреченностью глядит на страшное наводнение с балкона Зимнего дворца.

*...В тот грозный год
Покойный царь еще Россией
Со славою правил. На балкон,
Печален, смутен вышел он
И молвил: «С божией стихией*

⁷ См.: Измайлов Н.В. «Медный всадник» А.С. Пушкина. История замысла и создания, публикации и изучения // Пушкин А.С. Медный всадник. Л., 1978. С. 243–244.

*Царям не совладать...» Он сел
И в думе скорбными очами
На злое бедствие глядел⁸.*

Этот фрагмент пушкинской поэмы позволяет провести новые параллели с «Государем». Как следует из Макиавелли, обуздать фортуна может только личная «доблесть» (*virtu*) «Государя», призванного возвести «заграждения», «плотины» на пути стихийного разлива бурной реки. Макиавелли пишет о «судьбе» («фортуне»): «Ее могущество проявляется там, где доблесть не готова ей противостоять, поэтому фортуна обрушивает свои удары на то место, где она не ожидает встретить сдерживающих ее плотин и запруд». В этом смысле, указывает Макиавелли, современные ему правители разъединенной Италии (которая видится ему уязвимой для разлива хаоса «равниной, лишенной каких бы то ни было плотин и преград»), оказались не в силах «совладать с судьбой». Другое дело — Германия, Испания или Франция, которые надежно ограждены от стихии «подобающей доблестью» их государей⁹.

Именно в 25-й, «философской» главе своего трактата Макиавелли пишет о принципиальной разнице между истинным Государем, умеющим управлять судьбой, и государем мнимым, временным «баловнем судьбы». «Замечу,— пишет Макиавелли, что мы можем наблюдать, как сегодня какому-то государю сопутствует успех, а завтра падение, хотя он нисколько не изменил своих природных качеств. Я думаю, это происходит... потому, что государь, целиком полагающийся на удачу, гибнет из-за ее переменчивости. Я полагаю также, что успех сопутствует тому, кто соразмеряет свой образ действий с обстоятельствами момента; не везет же тому, кто не умеет идти в ногу со временем»¹⁰.

Что же за тип «государя» может противостоять фортуне? Об этом Макиавелли говорит в 18-й главе, где содержится известное определение истинного «государя», как персонажа двойной природы,— человеческой и животной одновременно. Поскольку «можно вести борьбу двумя способами: опираясь на закон или с помощью насилия» (при этом «первый способ

⁸ В черновом варианте этот фрагмент у Пушкина начинался словами: «...Тот страшный год // Последним годом был державства // Царя пред кем>ем>...» По мнению Н.В. Измайлова, далее, по всей видимости, должны были следовать слова: «пред кем склонился Наполеон» или «пал Париж» (там же. С. 203)

⁹ См.: Макиавелли Н. Ук. соч. С. 433.

¹⁰ Там же. Как тут не вспомнить характеристику императора Александра Павловича из 10-й главы «Евгения Онегина»: «Властитель слабый и лукавый // Плешивый щеголь, враг труда // Нечаянно пригретый славой // Над нами царствовал тогда». «Нечаянно пригретый славой» царь Александр, «баловень судьбы» — это очевидная пушкинская антитеза истинному «Государю», «властелину судьбы» Петру Великому.

применяется людьми, а второй — дикими животными»), то, делает вывод Макиавелли, «государь должен уметь подражать и зверю, и человеку»¹¹.

Хорошо известно, что, согласно Макиавелли, из всех зверей Государь должен уподобиться главным образом двум — льву и лисе: «Лев не защищен от капканов, а лиса — от волков. Следовательно, нужно быть лисой, чтобы избежать ловушек, и львом, чтобы напугать волков»¹². Однако немногие помнят буквально соседнее место из 18-й главы, где прямо после слов «государь должен уметь подражать и зверю, и человеку» Макиавелли пишет следующее: «Этот совет в иносказании давали государям древние писатели, которые сообщают, что Ахилл и многие другие из старинных властителей были отданы на выучку кентавру Хирону, который должен был их растить и воспитывать. А иметь наставником полужверя и получеловека означает для государя не что иное, как необходимость пользоваться природой и того, и другого, ибо с помощью одной из них долго не продержаться»¹³.

Но ведь у Пушкина «Медный всадник» — это и есть Кентавр, «получеловек — полуживотное». «Медный всадник», разумеется, — это вовсе не царь Петр на коне; это новая сущность: Государь-Кентавр. И, разумеется, именно к нему, как к философскому образу, а не к просто к лошади под всадником обращены слова Пушкина:

*Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?*

И заметим, сразу же, в следующей же строке, у Пушкина фигурирует «Судьба»:

*О, мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?»¹⁴*

¹¹ Там же. С. 409.

¹² Там же. С. 410.

¹³ Там же. С. 409.

¹⁴ Интересно, что Д.С. Мережковский в романе «Петр и Алексей» (из трилогии «Христос и Антихрист»), устами одной из своих героинь, иностранной фрейлины при русском дворе, уподобил царя Петра Алексеевича именно «кентавру». В дневнике фрейлины русский император предстает как абсолютно «макиавеллиевский» персонаж: «Играя с людьми, существо иной породы, фавн или кентавр (sic! — А.К.), калечит их и убивает нечаянно»; «существо, странное, чуждое — не знаю, доброе или злое, божеское или бесовское — но нечеловеческое» (Мережковский Д.С. Сочинения: в 4 т. Т. 2. М., 1990. С. 414, 415). Вообще, в отличие от большинства исследователей, Мережковский не боялся проводить прямые параллели между Петром Великим и Макиавелли. Это позволило мне еще в 1995 г. сделать вывод: «То, что

Итак, главная идея Макиавелли в «Государе» — абсолютно прозрачна. Судьба, фортуна — это проявления первичного хаоса. Государь же — воплощение Цивилизации, этот Хаос обуздывающий. Об этом же — у Пушкина. Наводнение у него — выплеск «варварской стихии»:

*Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась...*

или:

*Осада! приступ! злые волны,
Как воры, лезут в окна...*

«Медный всадник» Пушкина — это воплощение истинного «Государя», Петра Великого, в свое время победившего фортуна и выстроившего каменную крепость на диких финских болотах, а теперь снова побеждающего наводнение, этот новый выплеск злой «фортуны» и «варварства»:

*Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо как Россия,
Да умирится же с тобой
И побеждённая стихия;
Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра!*

Полагаю, что ближе всего к разгадке философского смысла «Медного всадника» подошел Г.П. Федотов. Еще в раннеэмигрантской статье «Три столпцы» (1926) автор предпринял попытку взглянуть на весь петербургский период через призму многозначности образа «Медного всадника», как его нам представили Пушкин и Этьен Фальконе. По мнению Федотова, «Медный всадник» — это образ борьбы Империи с порожденной ею культурой и ее конечным воплощением — Революцией: «Это борьба отца с сыном и нетрудно

эти фигуры если не одного размера, то, во всяком случае, — одного ряда, интуитивно почувствовал Д.С. Мережковский, у которого в трилогии «Христос и Антихрист» присутствуют и Макиавелли, и Петр — правда, в разных романах» (*Кара-Мурза* А.А. «Новое варварство» как проблема российской цивилизации. С. 64).

узнать фамильные черты: тот же дух системы, “утопии”, “беспощадная последовательность”, “западничество”, отрыв от матери-земли”¹⁵.

Тему пушкинского отношения к Империи, с одной стороны, и к русскому хаосу, с другой, кратко затронутую Федотовым в «Трех столицах», он развил спустя десятилетие, в год столетия гибели Пушкина, в статье «Певец Империи и свободы», напечатанной в парижских «Современных записках» в 1937 г. На мой взгляд, эта статья (хотя Макиавелли в ней опять-таки прямо не упоминается) свидетельствует о полном понимании Федотовым «макиавеллиевского» контекста «Медного всадника». Это ясно видно хотя бы из слов: «В “Медном Всаднике” не два действующих лица, как часто утверждали, давая им символическое значение: Петр и Евгений, государство и личность. Из-за них явственно встает образ третьей, безликой силы: это стихия разбушевавшейся Невы, их общий враг, изображению которого посвящена большая часть поэмы. И какое это изображение!»¹⁶

Для меня очевидно, что в этой статье 1837 г. Федотов *фактически* утверждает (хотя и не пишет об этом буквально), что Пушкин, во-первых, был абсолютно «внутри» контекста трактата Макиавелли в постановке вопроса о правоте Государя перед лицом стихии, а, во-вторых, не был чужд и самого

¹⁵ Федотов Г.П. Три столицы // Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии русской истории и культуры. СПб., 1991, т. 1. С. 51. Федотов завершает этот яркий и глубокий фрагмент (одну из вершин русской историософии Серебряного века) словами: «Размышляя об этой борьбе перед кумиром Фальконе(та), как не смутиться, не спросить себя: кто же здесь змей, кто змеборец? Царь ли сражает гидру революции, или революция сражает гидру царизма? Мы знаем земное лицо Петра — искаженное, дявольское лицо, хранящее следы божественного замысла, столь легко восстанавливаемого искусством. Мы знаем лица революционеров — как лица архангелов, опаленные печалью. В жестокой схватке отца и сына стираются человеческие черты. Кажется, что не руки и ноги, а змеиные кольца обвилились и давят друг друга, и яд истекает из разверстых пастей. Когда начиналась битва, трудно было решить: где демон, где ангел? Когда она кончилась, на земле корчились два змеиных трупа» (там же. С. 52).

¹⁶ Федотов Г.П. Певец Империи и свободы. // Федотов Г.П. Судьба и грехи России. СПб., 1992, т. 2. С. 145. Несмотря на убедительную логику Федотова, советская (а иногда и постсоветская) литературоведческая «классика» (возможно, просто не знакомая с текстами русского эмигранта) продолжала утверждать, что в поэме «Медный всадник» лишь два героя — «Петр Великий» и «мелкий чиновник Евгений», а катастрофическое наводнение является лишь «событием», связавшим судьбы двух персонажей. Это прямо утверждал, например, Н.В. Измайлов: «В поэме, или “Петербургской повести”, как очень точно назвал ее в подзаголовке сам Пушкин, два основных персонажа, два героя, определяющих две сплетенные между собою и сталкивающиеся идейно-тематические линии: первый из героев — Петр Великий, “могучий властелин судьбы”, “строитель чудотворный”, создатель города «под морем», продолжающий как личность жить и после смерти в памятнике, давшем поэме ее заглавие; другой — Евгений, мелкий чиновник из обедневшего дворянского рода, опустившийся до мешчанского уровня, “ничтожный герой”, вошедший в 30-х годах в творческий кругозор Пушкина из окружающего быта... Эти два, казалось бы, неизмеримо далеко стоящих друг от друга героя оказываются связанными событием... — петербургским наводнением 7 ноября 1824 г.» (Измайлов Н.В. «Медный всадник» А.С. Пушкина. История замысла и создания, публикации и изучения... С. 148–149). Разумеется, в такой оптике «макиавеллиевский» контекст пушкинской поэмы не мог быть уловлен.

«макиавеллизма» в разрешении этого вопроса. Читаем у Федотова: «Бесполезно было бы до конца этизировать аполлинический эрос империи, которым живет Пушкин... На бранном поле Аполлону трудно сохранить благородство своей бесстрастной красоты... Бесполезно поэтому видеть в империи Пушкина чистое выражение нравственно-политической воли. Начало правды слишком часто в стихах поэта, как и в жизни государства — отступает перед обаянием торжествующей силы. Обе антипольские оды (“Клеветникам России” и “Бородинская годовщина”) являются ярким воплощением политического аморализма (курсив мой.— А.К.)»¹⁷. Разумеется, на эту оценку «польских» сочинений Пушкина повлияла последовательно «полонофильская» позиция самого Федотова¹⁸.

Настало, видимо, самое время рассмотреть еще одно, принципиальное обстоятельство, позволяющее установить внутреннюю взаимосвязь двух гениальных произведений — трактата Макиавелли «Государь» и написанного более чем через триста лет «Медного всадника». Это — развитие «польской темы» в творчестве Пушкина и его отношения с польским поэтом Адамом Мицкевичем.

Установлено, что среди книг, взятых с собой Пушкиным летом 1833 г. в поездку в Оренбург и Казань, было и четырехтомное польское издание произведений Мицкевича (запрещенных в России), незадолго до этого привезенное Пушкину из Европы С.А. Соболевским, лично встречавшимся с польским поэтом в Риме и Париже. Известны и причины, по которым Пушкин во второй половине 1833 г. был крайне взволнован своими отношениями со старым другом — Мицкевичем¹⁹.

¹⁷ Федотов Г.П. Певец Империи и свободы... С. 146–147. В том, что Федотов ни разу (насколько нам известно) не проводил *прямых* параллелей между «Государем» и «Медным всадником», нет ничего странного. Наивно было бы думать, что Федотов, слушавший исторические курсы в Берлинском и Йенском университетах, специализировавшийся на историко-филологическом университете по средневековой истории Италии и Франции у самого И.М. Гревса, проживший несколько лет в Италии и конкретно во Флоренции (городе, в котором Макиавелли является одной из центральных символических фигур), не обратил никакого внимания на «итальянский» контекст сочинения любимого им Пушкина. Скорее можно предположить обратное: общеизвестная в культурной Европе тема Макиавелли о «Государе», побеждающим варварскую стихию, была для Федотова *органичной до обыденности*, и он посчитал ненужной тривиальностью это впрямую декларировать.

¹⁸ См., например, горькие слова Федотова в статье «Польша и мы» (1939): «Всесветные печальники, готовые отречься от себя, от России ради всечеловечества, кажется, для одной Польши не нашли слова участия, простого сострадания. Так и прошли мимо — в лучшем случае. В худшем — мы имеем оду Пушкина и пародийные эпизоды Достоевского. Издательство над поляком стало одной из типичных тем русской литературы» (Федотов Г.П. Защита России, Париж, 1988. С. 265).

¹⁹ Интересно, что параллельно с обработкой «Истории Пугачева» и работой над «Медным всадником» в свою вторую «болдинскую осень» (октябрь — начало ноября 1833 г.) Пушкин закончил и переписал набело переводы двух баллад А. Мицкевича — «Будрыс и его сыновья» и «Воевода». Н.В. Измайлов полагает, что работа над этими переводами (возможно, начатыми ранее) активно велась весь октябрь 1833 г., «когда Пушкин имел в руках издание стихотворений Мицкевича и много думал о своем польском друге» (Измайлов Н.В. «Медный всадник» А.С. Пушкина. С. 187).

Как известно, во время своего пребывания в России в 1824–1829 гг. Мицкевич неоднократно встречался с Пушкиным в Москве и Санкт-Петербурге и сдружился с ним (поэты были практически ровесниками). Одна их встреча особенно примечательна в контексте нашей темы — она имела место у памятника Петру на Сенатской площади и была позднее описана Мицкевичем в стихотворном отрывке «Памятник Петра Великого» («Pomnik Piotra Wielkiego»), вошедшего в приложение («Ustęp») к III части поэмы «Дядя» (1832): «Вечером под дождем стояли два юноши под одним плащом, взявшись за руки: один был пилигрим, пришелец с Запада, неизвестная жертва злой судьбы; другой был поэт русского народа, прославившийся песнями на всем севере. Знакомы были они недолго, но тесно и уже несколько дней были друзьями. Их души выше земных преград, как две родственные альпийские вершины, которые, хотя и разорваны навеки струею потока, едва слышат шум своего врага, склоняя друг к другу поднебные вершины». (Эта история диалога двух поэтов у «Медного всадника» стала мотивом знаменитого горельефа М.И. Мильбергера на фасаде дома в Глинищевском переулке в Москве, где когда-то, в гостинице «Англия», встречались Пушкин и Мицкевич)²⁰.

...Однако в 1830-е гг. пути друзей разошлись. Пушкин, как известно, с радостью воспринял подавление польского восстания 1830–1831 г. и на пару с Жуковским написал восторженные стихи в брошюре «На взятие Варшавы». Для Мицкевича стало трагедией и падение революционной Варшавы, и «предательство» (как он считал) некоторых русских друзей. В ответ на «антипольские» сочинения Пушкина и Жуковского он написал стихотворное обращение «Русским друзьям» («Do przyjaciół Moskali»), которое, через Соболевского, попало в руки Пушкина летом 1833 г. Стихотворение Мицкевича начиналось весьма благожелательно:

²⁰ В литературе продолжают споры о рисунке, сделанном пером Пушкина на черновой рукописи «Тазита» (и, несомненно, ранее, чем был написан текст). На рисунке — фальконетовский памятник Петру: скала, на ней конь, попирающий змею, но всадник отсутствует; к коню, сначала не имевшему ни седла, ни уздечки, позднее были тщательно пририсованы и то, и другое. Еще в начале 1930-х гг. А.М. Эфрос выдвинул версию, что «рисунок связан с первым замыслом “Медного Всадника”»: с постамента исчезает Петр, но не вместе с конем, как в окончательной редакции, а один, то есть Евгения преследует бронзовая фигура Петра, как мраморная фигура Командора убивает Дон-Жуана в “Каменном госте”». Эфрос датировал рисунок примерно 1829-м годом. (См.: *Эфрос А.* Рисунки поэта. М., 1933. С. 293, 423). Позднее Н.В. Измайлов прямо связал загадочный рисунок Пушкина с его встречами с Мицкевичем: «Не следует забывать, что... летом и осенью 1828 г. происходили встречи Пушкина с А. Мицкевичем, одна из которых — на площади у памятника Петра — послужила основой для позднейшего стихотворения Мицкевича... Беседы их во время этих встреч (при участии П.А. Вяземского) несомненно отразились в замысле и в историко-философском содержании «Медного Всадника». Возможно, что и рисунок Пушкина в какой-то мере отражает эти беседы у памятника» (*Измайлов В.Н.* «Медный всадник» А.С. Пушкина. С. 182).

*Вы помните ль меня? Среди моих друзей,
Казненных, сосланных в снега пустынь угрюмых,
Сыны чужой земли! Вы также с давних дней
Гражданство обрели в моих заветных думах.*

Однако в последующих строфах Пушкин наверняка уловил намек на себя и своих единомышленников:

*Быть может, золотом иль златом ослеплен,
Иной из вас, друзья, наказан небом строже:
Быть может, разум, честь и совесть продал он
За ласку щедрую царя или вельможи.*

*Иль, деспота воспев подкупленным пером,
Позорно предает былых друзей злословью,
Иль в Польше тешится награбленным добром,
Кичась насильями, и казнями, и кровью.
Последнее четверостишие звучало особенно вызывающе:*

*А если кто из вас ответит мне хулой,
Я лишь одно скажу: так лает пес дворовый
И рвется искусать, любя ошейник свой,
Те руки, что ярмо сорвать с него готовы.*

Разумеется, Пушкин не мог оставить едкое сочинение Мицкевича без ответа — оставалось избрать его форму. Известен черновик так и не дописанного стихотворного ответа Пушкина, по смыслу и даже форме абсолютно «симметричного» тексту Мицкевича. Пушкин начинает предельно доброжелательно:

*...Он между нами жил,
Средь племени враждебного; но злобы
В душе своей к нам не питал, и мы
Его любили...*

А заканчивает текст совершенно на иной ноте:

*...Теперь наш мирный гость нам стал врагом, — и ядом
Стихи свои, в угоду черни буйной,*

*Он напояет. Издали до нас
Доходит голос злобного [надшего] поэта... и т.д.²¹*

Тот факт, что данный «ответ Мицкевичу» так никогда и не был закончен, говорит о том, что Пушкин отказался от «стихотворной дуэли» и предпочел иную форму обоснования своей позиции. В значительной мере этой формой и стала поэма «Медный всадник», обосновывающая историческую правоту «Империи» перед лицом «нового варварства» (читай: революции).

Однако, причем здесь Никколо Макиавелли? В том-то и дело, что во взаимоотношениях Пушкина и Мицкевича труды «великого флорентийца» (и прежде всего «Государь») сыграли принципиальную роль. Начнем с того, что для культурного класса католической Польши на протяжении столетий «макиавеллиевская» тема о способах и цене объединения страны была не менее актуальной, чем для разъединенной Италии начала XVI в., когда писался знаменитый трактат.

Сам Мицкевич, как одна из ключевых фигур польского самосознания и национального освобождения, крайне интересовался Макиавелли и часто цитировал его. В своих письмах польским друзьям из Москвы Мицкевич не раз упоминал, что увлечен «итальянскими» литературно-историческими сюжетами — например, «Историей Флоренции» Макиавелли и «Заговором Фиеско в Генуе» Шиллера.

Более того, именно из Макиавелли Мицкевич взял эпитафию для своей главной поэмы «Конрад Валленрод», посвященной излюбленной теме Макиавелли, — вопросу о нравственно приемлемом и неприемлемом в борьбе на свободу. Это — цитата из той самой, «философской», 25-й главы «Государя»: *«Ибо должны вы знать, что есть два рода борьбы... надо поэтому быть лисицей и львом».*

Главный герой поэмы Мицкевича — Конрад Валленрод, литовец, хитростью и обманом пробравшийся на пост Великого магистра Тевтонского ордена, чтобы разложить врага изнутри и добыть для родины желанную свободу. Отметим, что эпитафия из Макиавелли в поэме польского поэта очень насторожил (если не сказать: напугал) наместника русского императора в Польше Н.Н. Новосильцева, который счел большой ошибкой разрешение

²¹ Этот пушкинский черновик некоторое время находился в собрании Великого князя Константина Константиновича, а позднее, согласно его завещанию, был передан в Пушкинский Дом при Российской Академии наук. Как установлено Н.В. Измайловым, пушкинский набросок незаконченного стихотворного ответа Мицкевичу относится к лету-осени 1833 г., а не к 1834 г., как считалось ранее (Измайлов Н.В. «Медный всадник» А.С. Пушкина. С. 187; см. также: *Schwarzband Samuel*. А. Мицкевич и А. Пушкин. 1830–1833. К творческой истории создания «Медного всадника» // *Cahiers du monde russe et soviétique*. 1985, vol. 25, № 3–4. P. 395–411).

санкт-петербургской цензуры на печатание «Конрада Валленрода» в России (да еще и с посвящением царю Николаю!). В своем официальном рапорте Новосильцев, человек хорошо и разносторонне образованный, разъяснял «сокровенный смысл» эпиграфа про «лисицу и льва»: «Согревать угасающий патриотизм, питать вражду и приуготовлять будущие происшествия, учить нынешнее поколение (поляков. — А.К.) быть ныне лисицею, чтобы со временем обратиться в льва». Согласно Новосильцеву, вся поэма была назначена (и на это и намекает эпиграф из Макиавелли) к тому, чтобы вызывать «чувствования, свойственные побежденным, оправдывающие даже неблагодарность и самую измену», чтобы приуготовлять «скрытым образом ужаснейшую войну»²².

Необходимо отметить, что сам Адам Мицкевич отрицательно относился к явлению, получившего с его легкой руки понятие «валленродизм», да и сам его герой определял избранное им средство борьбы за национальное освобождение как «проклятое» и «страшное». Между тем поэма Мицкевича «Конрад Валленрод» стала не только знаменем польского освобождения, но и получила немалую популярность в России. Примечательно, что сам А.С. Пушкин с энтузиазмом принялся за ее перевод на русский язык (переведенные им начальные главы обещали литературный шедевр), но внезапно бросил работу. Логично в этой связи предположить, что «Медный всадник» Пушкина — это не просто своеобразное стихотворное послание к Мицкевичу, а послание на хорошо понятном обоим поэтам (и политикам) языке — языке «Государя» Макиавелли.

И еще один аргумент в пользу «незримого присутствия» Макиавелли в творчестве А.С. Пушкина и его литературно-политической полемики с А. Мицкевичем. Дело в том, что параллельно с «Медным всадником» Пушкин писал еще одну поэму — «Анджело», начатую предположительно в феврале 1833 г. и законченную в Болдино 27 октября 1833 г.²³ Речь идет о тексте, начатом сначала как перевод шекспировской пьесы «Measure for measure» («Мера за меру»), однако вскоре Пушкин вступил на путь свободной импровизации, вернув действие из Австрии в Италию (сам Шекспир заимствовал сюжет пьесы из одной итальянской хроники, но перенес действие в Вену).

Пушкин прежде всего усилил образ главного героя — Анджело, начинавшего как высокоморальный праведник и получившего абсолютную власть для установления мира и наведения порядка, а потом запутавшегося в собственных интригах и превратившегося в коварного деспота. Блестящий

²² См.: Русская старина, 1903, т. 116 (октябрь–декабрь). С. 341–342.

²³ Измайлов Н.В. «Медный всадник» А.С. Пушкина. С. 185. Напомним, что окончание белой рукописи «Медного Всадника» имело место в ночь с 31 октября на 1 ноября 1833 г.

знаток творчества Пушкина, акад. М.Н. Розанов однозначно усмотрел в пушкинском «Анджело» черты «*макиавеллического тирана*» (курсив мой.— А.К.)²⁴

В заключение скажу, что наш русский спор о Макиавелли²⁵ во многом связан с тем, что именно его «Государь» стал неким идентификационным зеркалом для споров о самой России. Далеко не первым, но, безусловно, самым ярким воплощением этого стал «Медный Всадник» Александра Сергеевича Пушкина.

Литература

Измайлов Н.В. «Медный всадник» А.С. Пушкина. История замысла и создания, публикации и изучения // Пушкин А.С. Медный всадник. Л.: 1978.

Кара-Мурза А.А. «Новое варварство» как проблема российской цивилизации. М.: Институт философии РАН, 1995.— 211 с.

Кара-Мурза А.А. Формула Петра Великого. // Кара-Мурза А.А., Поляков Л.В. Реформатор. Русские о Петре I. Опыт аналитической антологии. Иваново: Форум, 1994. С. 290–291.

Макиавелли в России: Восприятие на рубеже веков. М.: Рудомино, 1996.— 143 с.

Макиавелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. Государь. М.: Эксмо, 2002. — 544 с.

Пушкин А.С. Избранное. Ч. 2. М.: РОССПЭН, 2010,— 760 с.

Розанов М.Н. Итальянский колорит в «Анджело» Пушкина // Сборник статей к 40-летию ученой деятельности акад. А.С. Орлова. Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1934.

Федотов Г.П. Защита России: Статьи 1936–1940 гг. из «Новой России». Париж: YMCA-Press, 1988.— 316 с.

Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии русской истории и культуры. Т. 1. СПб.: София, 1991.— 350 с.

²⁴ *Розанов М.Н.* Итальянский колорит в «Анджело» Пушкина // Сборник статей к 40-летию ученой деятельности акад. А.С. Орлова. Л.: Наука, 1934. С. 377–389.

²⁵ Макиавелли в России: Восприятие на рубеже веков. М., 1996.

**А. И. ГЕРЦЕН В ДОМЕ
КНЯЗЕЙ ГОЛИЦЫНЫХ НА ВОЛХОНКЕ.
СЛЕДСТВИЕ И СУД ПО ДЕЛУ «О ЛИЦАХ, ПЕВШИХ
В МОСКВЕ ПАСКВИЛЬНЫЕ ПЕСНИ»
(1834–1835 ГГ.)**

Наш «философский дом» на Волхонке, бывшая городская усадьба князей Голицыных, тесно связан с именами выдающихся русских мыслителей. Здесь жили и работали Борис Николаевич Чичерин и Иван Сергеевич Аксаков, сюда, находясь в Москве, часто заходил к своему старшему другу Аксакову Владимир Сергеевич Соловьев. Сегодня мы вспоминаем имя Александра Ивановича Герцена, который *не менее пяти раз* бывал (правда, не по своей воле) в нашем доме. Речь идет о 1834–1835 гг., когда здесь, в особняке князя Сергея Михайловича Голицына и под его председательством работала Следственная комиссия по т. наз. «делу о лицах, певших в Москве пасквильные песни».

В 1833 г. Александр Герцен окончил физико-математический факультет Московского университета с серебряной медалью за сочинение «Аналитическое изложение Солнечной системы Коперника». Его научный руководитель, астроном и математик Дмитрий Матвеевич Перевошиков (впоследствии ректор университета и академик), к большой досаде Герцена, не поддержал его претензии на золотую медаль, на том основании, что в сочинении Александра он нашел «слишком много философии и слишком мало формул».

В течение одиннадцати месяцев после окончания университета и до своего ареста Герцен формально числился чиновником Московской дворцовой конторы: он имел IX чин «титулярного советника» согласно «Табели о рангах», что соответствовало капитану пехоты, поручику гвардии или капитан-лейтенанту флота. Герцена полностью занимали тогда общественные науки, а также деятельность кружка, созданного им вместе с Огаревым еще в студенческие годы. Он признавался в те месяцы: «Ежели я, после выхода из университета, немного сделал материального, то много сделал интеллектуального. Я как-то полнее развился, более определенности, даже более поэзии». В одном из писем Огареву он писал о своих планах так: «Соберу в одно живые отдельные отличные знания, наполню пустые места и расположу в системе. История и политические науки в первом плане. Естественные науки во втором». В другом письме, отвечая Огареву по поводу сен-симонизма, Герцен

пишет: «Ты прав, saint-simonisme имеет право нас занять. Мы чувствуем... что мир ждет обновления, что революция 89 года ломала — и только, но надобно создать новое... время, надобно другие основания положить обществам Европы: более права, более нравственности, более просвещения... Я теперь крепко занимаюсь политическими науками». Из переписки становится примерно ясен и приоритетный круг его чтения: это Мишле, Тьерри, Вико, Гердер, Шеллинг, Монтескье, Локк, философская поэзия Гете...

И тут в жизни 22-летнего Герцена происходят события, которые круто меняют его жизнь. Впрочем, он потом напишет в «Былом и думах», что произошедшее не стало для него полной неожиданностью: «Полиция следила за нами давно, но, нетерпеливая, не могла в своем усердии дожидаться дельного повода и сделала вздор». А случилось вот что. Некто Машковцев, по случаю окончания им университета, устроил 24 июня 1834 г. дружескую пирушку. Пришли чиновник Уткин, художник Сорокин, студенты Киндяков и Убини, кандидат отделения словесных наук Оболенский и некто Скаретка — как потом выяснилось, полицейский осведомитель. Ни Герцена, ни Огарева, ни других активных членов их кружка на пирушке не было. Герцен потом писал: «Из нас не только не было ни одного на пиру, но никто не был приглашен. Молодые люди перепились, дурачились, танцевали мазурку и между прочим спели хором известную песню Соколовского:

*Русский император
В вечность отошел,
Ему оператор
Брюхо распорол.
Плачет государство,
Плачет весь народ,
Едет к ним на царство
Константин урод.
Но царю вселенной,
Богу высших сил,
Царь благословенный
Грамотку вручил.
Манифест читая,
Сжалился творец,
Дал нам Николая,
Сукин сын, подлец...*

Не Бог ведь что — согласимся... Тем не менее, полицейский осведомитель Скаретка то ли перепугался, то ли, напротив, воодушевился перспективами и рассказал чиновнику III Отделения Кашинцову, что им-де

обнаружено «сборище молодых людей», поющих песни, наполненные «гнусными и злоумышленными выражениями против верноподданнической присяги». Кашинцов доложил «по начальству» жандармскому полковнику Шубинскому, который дал знать о произошедшем московскому обер-полицеймейстеру Цынскому. Ими вместе и была разработана провокация: тот же Скаретка пригласил приятелей к себе домой, якобы на новую пирушку, а когда снова грянули пьяные песни, явился Цынский с жандармами. Цынский потом докладывал московскому генерал-губернатору князю Дмитрию Владимировичу Голицыну: «По прибытии туда секретным образом (он в партикулярном платье просто прятался в соседней комнате. — А. К.), я застал там трех человек в пьяном виде и сам слышал их пение песен, и тех самых, о коих я был уже предуведомлен. Заклучая важность в сборище помянутых людей, удостоверивших меня своими песнями, я в то же время взял их под арест, кои оказались: 1-й — отставной поручик Ибаев, 2-й — чиновник 14-го класса Уткин, 3-й — художник Сорокин».

Вообще, обер-полицеймейстер Лев Цынский — весьма колоритная личность, о которой по Москве ходили анекдоты, — разумеется, шёпотом. Незаконнорожденный сын актрисы Ветрецынской, он, как говорили, «вышел в люди тем, что управлял конным заводом графа Орлова». Это не мешало ему стать «мотором» многих политических процессов: через год после окончания дела Герцена Цынский возглавит разбирательство по факту публикации в «Телескопе» первого «философического письма» Петра Чаадаева. Литератор Михаил Дмитриев, племянник известного поэта, писал о Цынском: «Для нас, современников, не может казаться невозмутительным, что следствие производил невежда, взяточник, солдат и лошадиный охотник, не только не слыхавший о науке, но не знающий даже ни одного иностранного языка, одним словом: обер-полицеймейстер Цынский! Только у нас наука и философия попадают в такие лапы! О Русь!» Что же касается Герцена, то ему запомнилась неоднократно произнесенная фраза Цынского: «Я слышу молчание», — она стала потом крылатой.

Не менее колоритен и другой персонаж, с которым пришлось столкнуться Герцену, — полковник Николай Шубинский, начальник Московского жандармского округа. Карьеру он сделал в Ярославле, разыскивая и преследуя крамолу среди студентов Демидовского лицея; за проявленное усердие был переведен на повышение в Москву.

Как бы там ни было, полиция Цынского и жандармы Шубинского начали раскручивать цепочку связей, звеном в которой оказался сначала Огарев (уже состоявший под надзором полиции), а после просмотра его писем — и Герцен. Было заведено дело «О лицах, певших в Москве пасквильные песни».

Стоит добавить, что Московский военный генерал-губернатор, князь Дмитрий Голицын, похоже, хотел замаять это дело, дабы не бросать тень на вверенную ему Москву накануне планировавшегося приезда государя-императора. 12 июля, т.е. еще до ареста Герцена, генерал-губернатор Голицын писал в Петербург начальнику III отделения и шефу жандармов графу Александру Христофоровичу Бенкендорфу: «Хотя поступки... по-видимому, и заслуживают особенное порицание, но в прочем источник их, кажется, есть не иное, что как нетрезвое людей сих поведение, а не какое-либо преступное намерение». Эту линию Дмитрий Голицын будет вести и дальше. 8 сентября, т.е. уже, когда царь со свитой приехали в Москву, московский генерал-губернатор снова пишет Бенкендорфу: «При всей строгости и предусмотрительности розыска не оказывается доселе даже следов, по которым можно было бы предположить существование между ними общества».

«Дело о лицах, певших пасквильные песни» раздувало жандармское управление при поддержке полицейского начальства. 18 июля Шубинский сообщает Бенкендорфу, что накануне, при разборе бумаг Огарева была открыта его переписка с Герценом, и посылает выписки из писем Герцена к Огареву от 5 и 19 июля 1833 г. и от 31 августа 1833 г. На следующий день, 19 июля, Цынский просит генерал-губернатора Голицына разрешения на арест Герцена: «При рассмотрении бумаг, принадлежащих студенту архива Огареву, найдены письма к нему от Герцена, по содержанию коих и признано необходимым взять под арест для снятия показания и самого Герцена».

Александр Герцен жил тогда на Сивцевом вражке, в доме, недавно купленном его отцом у графини Растопчиной. В ночь с 20 на 21 июля он был арестован и препровожден в Пречистенскую полицейскую часть, которая располагалась в Штатном переулке (сейчас это Кропоткинский переулок — последний между Остоженкой и Пречистенкой перед Садовым кольцом; дом под номером 23, строение 3 в перестроенном виде сохранился).

Уже днем 21 июля Герцена везут на допрос к Цынскому. Дом обер-полицмейстера тогда находился в бывшем «доме Кологривова» на Тверском бульваре (в 1930-е гг. дом был снесен, сейчас на этом месте новое здание МХАТ). Особняк этот с прилегающим участком в 1830 г. приобрела Московская дума для Московского полицейского управления — там оно и существовало вплоть до революции 1917 г. Старый «дом Кологривова» известен, в частности, тем, что здесь, на балу, ежегодно дававшемся знаменитым танцмейстером Петром Андреевичем Иогелем, в декабре 1828 г. 30-летний Пушкин впервые увидел 16-летнюю Натали Гончарову.

23 июля 1834 г., по предписанию московского генерал-губернатора Дмитрия Голицына, учреждается Следственная комиссия в составе московского обер-полицмейстера Л.М. Цынского, жандармского полковника

Н.П. Шубинского, некоторых полицейских и жандармских чинов и обер-аудитора Н.Д. Оранского в качестве секретаря. В эти дни Шубинский, разбиравший изъятые бумаги Герцена, доносит Бенкендорфу, что в личных бумагах Герцена, «подобно письмам его к Огареву, также довольно много обнаруживается дух свободомыслия». «По важности уже вновь открывающегося обстоятельства, требующего наибдительнейшего внимания и быстрого движения», Шубинский предлагает Бенкендорфу создать «особенную секретную комиссию, которая, занимаясь одним сим предметом, могла бы вести ход дела гораздо успешнее».

Это предложение было поддержано Бенкендорфом, а затем и Императором. Николай I принимает решение поручить возглавить следствие своему личному другу, наиболее доверенному лицу в Москве — попечителю Московского учебного округа, князю Сергею Михайловичу Голицыну, т.е. тогдашнему хозяину нашего «философского дома» на Волхонке.

Бенкендорф пишет Сергею Голицыну специальное письмо, в котором, в частности, говорится: «В недавнем времени арестовано в Москве несколько молодых людей, изобличенных в пении пасквильных стихов». Примечательно, что при перечислении этих «молодых людей» Бенкендорф ошибочно называет Герцена — «Герцелем». В тот же день, 31 июля, был утвержден персональный состав второй Следственной комиссии по делу «О лицах, певших в Москве пасквильные песни», куда, помимо председателя, князя Сергея Голицына, вошли: московский комендант генерал-лейтенант Стааль, жандармский полковник Шубинский; комиссии придан в качестве секретаря тот же обер-аудитор Оранский. Активным участником следствия остается обер-полицмейстер Цынский. Итак, вторая Следственная комиссия обосновывается в доме князя Сергея Голицына на Волхонке.

В состав комиссии приказом Императора был включен специально присланный из Петербурга, состоящий по III отделению Его Императорского Величества канцелярии камергер князь Александр Федорович Голицын, которого Герцен в мемуарах называет «Голицын junior». Герцен пишет в «Былом и думах»: «Для большего успеха второй комиссии государь послал из Петербурга отборнейшего из инквизиторов, А.Ф. Голицына. Порода эта у нас редка. К ней принадлежал известный начальник Третьего отделения Мордвинов, виленский ректор Пеликан, да несколько служилых остзейцев и падших поляков».

Что это за фигура? Князь Александр Фёдорович Голицын, 1796 года рождения (т.е. ровесник царя Николая), дипломат, затем сотрудник и ближайшее доверенное лицо великого князя Константина Павловича в бытность его в Польше. Участвовал в подавлении восстания в Варшаве в 1830 г. В 1831 г., после смерти Константина, переведен в Петербург, где

был причислен к Особе Е.И.В.; затем, произведенный в статские советники (в 35 лет уже полковник!), причислен к III отделению Собственной Е.И.В. канцелярии, с которым и до этого сотрудничал.

1 августа жандармский полковник Шубинский доносит гр. Бенкендорфу: «Более всех из содержащихся под арестом обращают на себя внимание Огарев, Герцен и последователь их Оболенский, ибо в отобранных у первых двух бумагах оказываются некоторые сочинения и письма, кои подают повод заключать о каком-то намерении их». Особенно насторожило жандармов письмо Герцена к Огареву от 24–27 июня 1833 г., где Герцен, в частности, писал о «преобразовании рода человеческого в политическом его существовании».

7 августа 1834 г. происходит первый допрос Герцена здесь, в доме на Волхонке — его в сопровождении квартального поручика приводят пешком из Пречистенской части (идти тут недалеко). Допросы производились в библиотеке князя Сергея Голицына, рядом с «красным залом». Напомню, что для хозяев этого особняка, князей Голицыных, эти комнаты по фасадной анфиладе на втором этаже были предметом особого почитания: именно здесь в 1775 г. находились личные апартаменты жившей у Голицыных во время пребывания в Москве императрицы Екатерины II (Кремль она, как известно, не любила).

Герцен вспоминал в «Былом и думах»: «Первый допрос мой продолжался четыре часа... В захваченных бумагах и письмах мнения были высказаны довольно просто; вопросы, собственно, могли относиться к вещественному факту: писал ли человек или нет такие строки. Комиссия сочла нужным прибавлять к каждой выписанной фразе: “Как вы объясняете следующее место вашего письма?” Разумеется, объяснять было нечего, я писал уклончивые и пустые фразы в ответ. В одном месте аудитор открыл фразу: “Все конституционные хартии ни к чему не ведут, это контракты между господином и рабами; задача не в том, чтоб рабам было лучше, но чтоб не было рабов”... — На конституционную форму можно нападать с двух сторон,— заметил своим нервным, шипящим голосом Голицын junior (продолжает Герцен),— вы не с монархической точки нападаете, а то вы не говорили бы о рабах. В этом отношении я делю ошибку с императрицей Екатериной Второй, которая не велела своим подданным зваться рабами...»

Александр Иванович вряд ли знал тогда, что разговор о Екатерине Великой состоялся как раз в тех самых апартаментах, где она когда-то жила. Как бы там ни было, но Голицын junior, похоже, понял, что столкнулся с «твердым орешком». «Яд в ловких руках опаснее», — глубокомысленно заметил тогда Голицын junior, по ироничному замечанию Герцена, «превредный и совершенно неисправимый молодой человек». «Приговор мой лежал в этих словах», — понял в тот момент Герцен.

Он, по его воспоминаниям, получив тогда «вопросные пункты», начал на них отвечать и «сидел один в небольшой комнате». «Вдруг отворилась дверь и вошел Голицын junior с печальным и озабоченным видом. — Я, сказал он, пришел поговорить с вами перед окончанием ваших показаний. Давнишняя связь моего покойного отца с вашим (отец Александра Голицына был камергером двора, попечителем Московского университета) заставляет меня принимать в вас особенное участие. Вы молоды и можете еще сделать карьеру; для этого вам надобно выпутаться из дела, а это зависит, по счастью, от вас...». «Я видел, куда шла его речь, вспоминал Герцен, кровь у меня бросилась в голову — я с досадой грыз перо...». А «инквизитор» продолжал: «Вы идете прямо под белый ремень или в казематы, по дороге вы убьете отца, он дня не переживет, увидев вас в серой шинели». «Я хотел что-то сказать, — пишет Герцен, — но он перервал мои слова. — Я знаю, что вы хотите сказать. Потерпите немного. Что у вас были замыслы против правительства, это очевидно. Для того чтоб обратить на вас монаршую милость, нам надобны доказательства вашего раскаяния. Вы... из ложного чувства чести бережете людей, о которых мы знаем больше, чем вы, и которые не были так скромны, как вы; вы им не поможете, а они вас стащат с собой в пропасть. Напишите письмо в комиссию, просто, откровенно скажите, что вы чувствуете свою вину, что вы были увлечены по молодости лет, назовите несчастных заблудших людей, которые вовлекли вас... Хотите ли вы этой легкой ценой испить вашу будущность? — и жизнь вашего отца? — Я ничего не знаю и не прибавлю к моим показаниям ни слова, — ответил я. Голицын встал и сказал сухим голосом: — А, так вы не хотите, — не наша вина!»

После четырех часов допроса Герцену предстояло возвращаться в Пречистенскую часть, опять пешком, под конвоем. А ведь его дом на Сивцевом Вражке почти по пути, и он как-то уговорил квартального поручика Борзова завести его по дороге к отцу. По этому инциденту было потом специальное разбирательство, о котором Шубинский докладывал Бенкендорфу.

9 августа Следственная комиссия, на основании первых допросов, разделила всех привлеченных к делу на три разряда. Герцен был отнесен к первому вместе с Огаревым, Соколовским и непосредственными участниками криминальной пирушки. В «Записке» второй Следственной комиссии Герцен был охарактеризован как «молодой человек пылкого ума и хотя в пении песен не обнаруживается, но из переписки его с Огаревым видно, что он смелый вольнодумец, весьма опасный для общества».

Здесь важно понять общий фон, на котором происходили описываемые события. Весна и лето 1834 г. были в Москве непростым и очень нервным временем. То и дело в разных частях города вспыхивали пожары, и власти не без оснований подозревали поджоги. А ведь год был неординарный:

августейшая семья собиралась в сентябре приехать в Первопрестольную, а затем проехаться по Центральной России.

Перед юбилеем коронации Николая Павловича (22 августа 1834 г. исполнялось 8 лет со дня его коронации в Москве) усилились слухи о готовящихся новых поджогах. Герцен вспоминал в «Былом и думах» о том, что он лично наблюдал в Пречистенской части: «Перед 22 августа, днем коронации, какие-то шалуны подкинули в разных местах письма, в которых сообщали жителям, чтоб они не заботились об иллюминации, что освещение будет. Переполошилось трусливое московское начальство. С утра частный дом был наполнен солдатами, эскадрон уланов стоял на дворе. Вечером патрули верхом и пешие беспрестанно объезжали улицы. В экзерциргаузе была приготовлена артиллерия... Этот военный вид скромной Москвы был странен и действовал на нервы. Я до поздней ночи лежал на окне под своей каланчой и смотрел на двор... Пожаров не было. Вслед за тем явился сам государь в Москву. Он был недоволен следствием над нами, которое только началось, был недоволен, что нас оставили в руках явной полиции, был недоволен, что не нашли зажигателей, словом, был недоволен всем и всеми. Мы вскоре почувствовали высочайшую близость».

20 августа председатель Следственной комиссии князь Сергей Голицын, явно с подачи Шубинского, предписал московскому почт-директору А.Я. Булгакову «наблюдать за перепиской арестованных», подобно процессам 1827 и 1831 гг., когда в Москве были раскрыты молодежные диссидентские кружки соответственно братьев Критских и Сунгурова. Здесь же прилагался список имен, в котором первыми шли Огарев, Герцен и Оболенский.

23 августа Александр Иванович Герцен вторично побывал в особняке на Волхонке и снова отвечал на вопросные пункты Следственной комиссии. Сохранились полные стенограммы всех допросов, включая даже черновики ответов Герцена. Интересен характер вопросов, а по ответам Герцена можно понять избранную им тактику. Вот только один пример ответов Герцена на вопросные пункты, предложенные ему 23 августа 1834 г. здесь, в этом доме.

Вопрос № 6: «Для чего друг ваш Огарев в письме своем советует вам как можно чаще читать Вильгельма Телля?»

Ответ Герцена: «Вильгельм Телль — лучшее произведение Шиллера, так его понимают германцы, так о нем отзывается Шлегель, посему г. Огарев, пораженный наравне с ними красотами сей трагедии, советует мне читать ее чаще».

Несмотря на усердие жандармского полковника Шубинского, есть основания полагать, что председатель комиссии, князь Сергей Голицын, постоянно осаждаемый прошениями влиятельных дворянских семейств Яковлева и Огарева-старшего, не был настроен раздувать дело и сделал многое для

того, чтобы вывести Герцена и Огарева из числа обвиняемых по «первому разряду», что обещало суровое наказание.

Так, 3 сентября Сергей Голицын запросил управление Московской дворцовой конторы (где формально числился Герцен) справку о его поведении и образе мыслей. 6 сентября управляющий конторой кн. С.И. Гагарин сообщил кн. Голицыну, что за время службы Герцена он «в образе мыслей, которые были бы противны религии и клонились бы к неповиновению властям, замечен не был, равно также не был замечен никогда и с невыгодной стороны». Это позволило Сергею Голицыну написать Бенкендорфу следующее: «Герцен подвергнут аресту по дружественной связи с Огаревым. Он человек самых молодых лет, с пылким воображением, способностям и хорошим образованием. В пении пасквильных стихов не участвовал, но замечается зараженным духом времени. Это видно из бумаг и ответов его. Впрочем, никаких злоумышлений или связей с людьми не благонамеренными доселе в нем не обнаружено».

В первые дни сентября 1834 г. Герцен был переведен из Пречистенской части в Крутицкие казармы (тюрьму на территории бывшего Крутицкого монастыря). Это произошло через нескольких дней после приезда в Москву Государя-Императора Николая Павловича с семьей и свитой.

Здесь надо сказать несколько слов о тогдашнем умонастроении Николая I, ибо, по большому счету, именно он был главной, хотя и закулисной фигурой в той истории. Как известно, драматические обстоятельства его воцарения в декабре 1825 г. оставили по себе глубокий след на всю его жизнь. Пережитый им в связи с «декабристским восстанием» страх особенно отравил первые годы царствования. Так, уже упомянутые молодежные кружки в Москве братьев Критских и Сунгурова, объявившие себе прямыми наследниками декабристов, были подавлены с особой жестокостью в 1827 и 1831 гг. Кружок Герцена и Огарева, фактически выявленный в ходе следствия 1834 г., ожидала та же участь.

Но к 1834 г. настроение Императора несколько изменилось. Он уверовал в собственную силу и во внешнюю молчаливую лояльность общества; Наследник-цесаревич Александр Николаевич достиг совершеннолетия и принял присягу; власть династии укрепилась. В 1834 г. (как раз в том году, о котором идет речь) произошли существенные подвижки в области государственной политики и идеологии. В начале года было принято решение о резком сокращении контактов русских подданных с Европой. В апреле был установлен предельный срок пребывания русских за границей: для дворян — 5 лет, для остальных — 3 года. Через некоторое время будет резко увеличена пошлина на приобретение загранпаспорта.

На вторую половину года было запланировано большое путешествие Императора по губерниям Центрально-Европейской России. В самом

начале сентября император приезжает в Москву, а затем едет по историческим местам, «культовым» для русской государственности: Смоленск, Малоярославец, Тарутино (где был лагерь Кутузова); с особой помпезностью посещает Куликово поле. После возвращения в Москву путь его лежит на восток: в начале октября царь едет в Ярославль, потом Кострому, где посещает Ипатьевский монастырь (откуда пошла династия Романовых), встречается с потомками Ивана Сусанина. Именно после этого визита в России начинается подлинный «культ Сусанина». Молодой Михаил Глинка начинает писать оперу «Жизнь за царя»; главная площадь Костромы — Екатеринославская — переименовывается в Сусанинскую (это было совершенно необычно: площадь имени своей царственной бабушки император лично переименовывает в площадь имени простого крестьянина).

Итак, «меньше Европы — больше народности и православия» — вот новая политика Николая, та политика, которая будет обозначена уваровской триадой: «православие, самодержавие, народность». Император Николай I, судя по всему, был очень доволен своей активностью. По воспоминаниям фрейлины двора Анны Тютчевой, именно в это время любимой фразой императора стали слова: «*Я тружусь, как раб на галерах*».

После посещения Нижнего Новгорода (откуда началась народное движение против Смуты в начале XVII в.) и старорусской столицы Владимира царь возвращается в Москву — по случаю его приезда 22 октября 1834 г. дается торжественный воскресный бал. Дает его князь Сергей Голицын, и происходит этот бал опять-таки в особняке на Волхонке.

Известный мемуарист, тогдашний московский почт-директор А.Я. Булгаков оставил в своих «Современных происшествиях и воспоминаниях» интересные сведения об том вечере: «22-го октября 1834, в воскресенье, был бал у князя Сергия Михайловича Голицына... Хозяин был в полном удовольствии, и, надобно отдать ему справедливость, что он дело свое делал мастерски, в нем виден был истинный вельможа, приобвыкший быть с Государем своим. Он не отягощал Императора беспрестанным своим присутствием и подчеваниями, но никогда не терял Его из виду, и когда Государь имел, что ему сказать, и искал его глазами, то Голицын был всегда тут. Хозяйкою своею избрал он графиню Зубову, но она мало ему помогала и сидела все на одном месте». (Со своей женой хозяин этого дома был, как известно, в разводе.)

А всего лишь через неделю с небольшим после императорского бала, 1 ноября 1834 г. Александра Ивановича Герцена опять привозят в дом Голицына на Волхонке, теперь уже из Крутицких казарм, для нового допроса (это было его третье посещение нашего дома на Волхонке). После допроса, как он вспоминал, ему удалось мельком увидеть в окно Огарева, которого

уже увозили обратно в тюрьму: «Я бросился инстинктом к окну, отворил форточку и видел, как сел плац-адъютант и с ним Огарев; я весь дрожал. Как влюбленный, — но дрожки укатились, и ему нельзя было меня заметить; я сам едва его видел, едва разглядел...»

10 декабря Герцен пишет к своей кузине Наталье Захарьиной (она потом станет его женой): «Привык быть колодником, выброшенным из общества, государственным преступником... Неужели нам суждена гибель, и какая гибель, немая, глухая, о которой никто не узнает...»

Наступает новый, 1835-й год, в тюремной жизни Герцена намечаются послабления: снимаются запреты на его встречи с родственниками. Похоже, это результат деятельности Сергея Голицына, сумевшего повлиять на настроения Бенкендорфа, а главное, императора. 21 января князь С.М. Голицын в рапорте Бенкендорфу предлагает в отношении Герцена, «не участвовавшего в пении и слушании пасквильных стихов и прикосновенного к следствию по одному образу мыслей его, не подвергая дальнейшему аресту, отослать на службу в какую-либо отдаленную губернию под строгое наблюдение начальства».

7 февраля Бенкендорф докладывает дело Николаю I. Сам Герцен, однако, судя по его переписке, сомневается в благополучном для себя исходе, тем более, что ходят слухи, что его и Огарева сошлют-таки на Кавказ. 8 февраля он пишет Наталье Захарьиной: «Мне эта новость и не горька, и не сладка, лучше на Кавказе 5 лет, нежели год в Бобруйске. Хуже всего, что всё то время должно пропасть в моей карьере, ежели забудем пользу от занятий. Я не разлюбил Русь, мне все равно где б ни было, лишь бы дали поприще, идти по нему я могу; но создать поприще не в силах человека». 21 февраля он пишет ей же еще более пронзительное письмо: «Я готов переносить страдания и не такие, как теперь; но не могу снести холода, с каким смотрит свет на нас оловянными глазами; пусть бы нас ненавидели, это всё лучше».

В четвертый раз Александр Герцен был в доме на Волхонке в январе или феврале 1835 г. — точную дату установить вряд ли возможно, потому что допроса как такового не было, запись не велась, повод для вызова был скорее формальным — надо было перечитать и подписать «вопросные пункты». Об этом приезде есть указание в «Былом и думах»: «В январе или феврале 1835 года я был в последний раз в комиссии. Меня призвали перечитать мои ответы, добавить, если хочу, и подписать. Один Шубинский был лицом. Окончив чтение, я сказал ему: — Хотелось бы мне знать, в чем можно обвинить человека по этим вопросам и по этим ответам? Под какую статью Свода вы подведете меня? — Свод законов назначен для преступлений другого рода, — заметил голубой полковник. — Это дело иное. Перечитывая все эти литературные упражнения, я не могу поверить, что в этом-то все дело, по

которому я сижу в тюрьме седьмой месяц. — Да вы в самом деле воображаете, — возразил Шубинский, — что мы так и поверили вам, что у вас не составлялось тайного общества? — Где же это общество? — спросил я. — Ваше счастье, что следов не нашли, что вы не успели ничего наделать. Мы вовремя вас остановили, то есть, просто сказать, мы спасли вас... Когда я подписал, Шубинский позвонил и велел позвать священника. Священник взшел и подписал под моей подписью, что все показания мною сделаны были добровольно и без всякого насилия. Само собою разумеется, что он не был при допросах и что даже не спросил меня из приличия, как и что было...»

Между тем следствие подходило к концу. 11 марта было составлено заключение Министерства юстиции по этому делу за подписью министра Д.В. Дашкова. 14 марта состоялся вторичный доклад Бенкендорфа Николаю I, после чего император, по-видимому, и принял решение.

23 марта Бенкендорф сообщил председателю Следственной комиссии кн. Сергею Голицыну приговор Николая: А.В. Уткина, Л.К. Ибаева, В.И. Соколовского заключить в Шлиссельбургскую крепость, а «прочим по назначению комиссии». Впрочем, «по назначению комиссии» — это всего лишь псевдолиберальная фигура речи, ибо тот же Бенкендорф сообщил министру императорского двора кн. П.М. Волконскому, что приписанный к его ведомству Герцен ссылается в Пермскую губернию. 24 марта Волконский из Петербурга уведомил вице-президента Московской дворцовой конторы кн. А.М. Урусова, что «император соизволил служащего в Московской дворцовой конторе титулярного советника Герцена... отослать в Пермскую губернию», в связи с чем из списков служащих Московской дворцовой конторы Герцена следует исключить.

31 марта 1835 г. все привлеченные по делу выслушали приговор Следственной комиссии (и это было пятое, последнее посещение Александром Герценом дома Голицыных на Волхонке). Герцен писал «по свежим следам» Наталье Захарьиной: «Торжественный, дивный день. Кто не испытал этого, тот никогда не поймет. Там соединили 20 человек, которые должны прямо оттуда быть разбросаны, одни по казематам крепостей, другие по дальним городам; все они провели девять месяцев в неволе. Шумно и весело сидели эти люди под ножом, в большой зале, когда я вошел, и Соколовский, главный преступник, с усами и с бородою бросился мне на шею, а тут Сатин; уже долго после меня привезли Огарева; всё высыпало встретить его. Со слезами и улыбкой обнялись мы».

В «Былом и думах» об этом дне написано подробнее, «праздник» (на этом слове Герцен продолжает настаивать), правда, обретает здесь несколько иную окраску: «Наконец нас собрали всех... к князю Голицыну для слушания приговора. Это был праздником праздник. Тут мы увиделись

в первый раз после ареста. Шумно, весело, обнимаясь и пожимая друг другу руки, стояли мы, окруженные цепью жандармских и гарнизонных офицеров. Свидание одушевило всех; расспросам, анекдотам не было конца... Не успели мы пересказать и переслушать половину походов, как вдруг адъютанты засуетились, гарнизонные офицеры вытянулись, квартальные оправились; дверь открылась торжественно — и маленький князь Сергей Михайлович Голицын вошел, лента через плечо; Цынский в свитском мундире, даже аудитор Оранский надел какой-то светло-зеленый статско-военный мундир для такой радости... Шум и смех между тем до того возрастали, что аудитор грозно вышел в залу и заметил, что громкий разговор и особенно смех показывают пагубное неуважение к высочайшей воле, которую мы должны услышать. Двери растворились. Офицеры разделили нас на три отдела: в первом были Соколовский, живописец Уткин и офицер Ибаев; во втором были мы; в третьем tutti trutti. Приговор прочли особо первой категории — он был ужасен: обвиненные в оскорблении величества, они ссылались в Шлиссельбург на бессрочное время. Все трое выслушали геройски этот дикий приговор... Цынский, чтоб показать, что и он может быть развязным и любезным человеком, сказал Соколовскому после сентенции: — А вы прежде в Шлиссельбурге бывали? — В прошлом году, — отвечал ему тотчас Соколовский, — точно сердце чувствовало, я там выпил бутылку мадеры».

Как сложилась судьба приговоренных «по первому отделу»? Уткин умер в каземате через два года. Соколовского, как пишет Герцен, «выпустили полумертвого на Кавказ, он умер в Пятигорске». «Какой-то остаток стыда и совести заставил правительство после смерти двоих перевести третьего в Пермь. Ибаев умер по-своему: он сделался мистиком».

Герцен был приговорен к административной высылке в Пермь. 9 апреля состоялось его прощальное свидание («на несколько минут») с Натальей Захарьиной в Крутицких казармах, а на следующий день, 10 апреля в 8 утра дежурный офицер объявил, что «через час» Герцен должен отправиться в путь. Он был перевезен в дом московского генерал-губернатора, где ему было разрешено свидание с родными. Оттуда он и отправился в Пермь в сопровождении жандарма Васильева и камердинера Петра Федоровича.

Его оппоненты праздновали победу. Граф Бенкендорф в те месяцы получил высшую награду империи — орден Андрея Первозванного, а Голицын junior — генеральский чин действительного статского советника. Работы у него при Николае Павловиче будет еще много и свою карьеру этот, по словам Герцена, «отборнейший из инквизиторов» закончит действительным тайным советником.

... Вот так, почти 180 лет назад, в «нашем доме», особняке Голицыных на Волхонке, произошла своего рода схватка: схватка убеждений и характеров.

Приоритет личной чести и личного достоинства, верности дружбе Александр Иванович Герцен пронес через всю жизнь. Строго говоря, это всегда и было стержнем его политических взглядов. Взгляды менялись — нравственный стержень оставался.

Любопытна и логика его оппонентов. Отставим в сторону мнения служаек Шубинского и Цынского, старавшихся раздуть дело. Остановимся на «более умеренной» позиции хозяина этого дома, князя Сергея Голицына, в конце жизни дослужившегося до высшего чина империи — действительного тайного советника 1-го класса. Вот буквальное слово председателя Следственной комиссии: «Хотя по образу мыслей Огарева и Герцена суждения их, не имеющие еще существенно никаких вредных последствий в прямом значении, не что иное суть, как одни мечты пылкого воображения, возбужденные при незрелости рассудка чтением новейших книг, которыми молодые люди нередко увлекаются в заблуждения, но за всем тем имеют вид умствований непозволительных, как потому, что, укореняясь временем, могут образовать расположение ума, готового к противным порядку предприятиям; так и потому, что означенные в сем разряде лица по способностям и образованию могут обольщать ими других».

Это слова из документа, впервые опубликованного в журнале «Голос минувшего» за июль 1918 г. Публикатор и комментатор документа, известный историк и библиограф Л.К. Ильинский так прокомментировал этот пассаж: «Это мнение председателя следственной комиссии — целая программа правительственного отношения к общественным деятелям: “не вреден, но может быть вреден”».

Повторяю, это написано в июле 1918 г., уже после большевистского переворота. Вряд ли публикатор Ильинский и тем более редактор журнала С.П. Мельгунов (вскоре высланный из страны) не понимали уже тогда, что реабилитировать Александра Герцена и осудить его врагов и палачей — это вовсе не означает укоренить в России свободу, мораль и право, о чем всегда мечтал Александр Герцен. Под разговоры о «победе над самодержавием» Россия, под новой большевистской властью, лишь заходила тогда на «новый виток» русской несвободы.

И.С. ТУРГЕНЕВ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ (К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Исследование истоков и эволюции политико-философских убеждений человека, тем более человека выдающегося, — дело столь же увлекательное, сколь и рискованное. Особенно, если речь идет не о кабинетном ученом-теоретике или, например, «чистом» политике, а о литераторе, гении образного мышления и мастере художественного слова. «Технически» не так сложно проследить истоки образованности, начитанности, даже энциклопедичности знаний Ивана Сергеевича Тургенева¹. Гораздо сложнее понять историю становления душевного склада, мировосприятия Тургенева.

Известный культуролог Г.С. Кнабе заметил однажды, что «признание Тургенева либералом, а его мировоззрения — либеральным образует одно из самых устойчивых клише истории литературы»: «Оно опирается на признание самого писателя, на суждения современников, на традицию литературоведения и сомнений вызывать не может. Сомнения возникают там, где требуется определить *содержание* такого либерализма» (курсив мой. — А.К.)².

Для верного понимания *особого содержания* тургеневского либерализма Кнабе настаивает на учете двоякого понимания самого понятия «либерализм» во времена Тургенева, восходящее к аутентичной латинской этимологии этого слова, связанного с понятием «свободы»: *liber* — «свободный», и *liberalis* — «достойный свободного человека». В этом смысле, «либерал» в эпоху Тургенева — это, во-первых, человек, свободный, независимый от диктата власти, а во-вторых, — это личность, свободная, независимая от господствующих идей времени и диктата общественного мнения, от социальных и политических сил, эти идеи воплощающих.

В таком контексте можно согласиться с Кнабе, что Тургенев был либералом не только и, наверное, не столько, в первом, узкополитическом значении, сколько — и главным образом — во втором, глубинном смысле: «Отношение Тургенева к сложившейся универсальной духовной ситуации — всегда разобщенной, конфликтной, ориентированной на выбор — поражает свободой от предвзятых предпочтений. Он чаще всего стремится не выбирать между

¹ См.: Кара-Мурза А.А. Иван Сергеевич Тургенев: «Я всегда был “постепеновцем”, либералом старого покроя // Российский либерализм: идеи и люди (общ. ред. А.А. Кара-Мурзы). М.: Новое издательство, 2018, т. 1. С. 279–295.

² Кнабе Г.С. Тургенев, античное наследие и истина либерализма: Сравнительная поэтика // Вопросы литературы, 2005, № 1. С. 84.

полюсами конфликта, а понять каждый, стремится исходить из противостояния, обнаруженного в жизни, а не подчинять ее односторонне понятой ценности — той, которая представляется говорящему более высокой»³. Но как сформировался этот своеобразный, не корпоративно-партийный, а глубоко личностный и нравственно окрашенный либерализм Тургенева?

Прежде всего, стоит подчеркнуть, что Иван Сергеевич Тургенев был не просто литератором (этот образ в обыденном сознании сложился под влиянием школьного курса, однобоко ориентированного и, в отношении Тургенева, политически выхолощенного), а *выдающимся интеллектуалом* с глубоким университетским образованием. Летом 1836 г. он окончил философский факультет Санкт-Петербургского университета по 1-му (словесному) отделению со степенью «действительного студента», а в январе 1837 г. успешно защитил выпускную работу на латинском языке «Об эпиграмме Гомера». В 1838–1839 гг. Тургенев продолжил занятия греческой и римской античностью в Берлинском университете, у таких европейских светил, как профессор древнегреческого языка и литературы Philipp August Böckh и профессор латыни и латинской литературы, академик Karl Gottlob Zumpt. Один из биографов Тургенева, литератор Борис Зайцев, писал об этом периоде жизни своего героя: «Берлинский университет дал ему знание древних языков — он всю жизнь свободно читал классиков»⁴. Так оно и было: в свой последний приезд в Россию в 1881 г. шестидесятитрехлетний Тургенев, по свидетельству его друга, Якова Полонского, «латинские книги читал еще легко и свободно»⁵.

...В истории «эволюции души» каждого человека всегда можно обнаружить вехи, которые обозначают последовательность соприкосновений и сопереживаний с другими людьми, — людьми прошлого, даже отдаленного, и людьми настоящего, твоими современниками. В богатом семейном предании древнего рода Тургеневых, происходившего от татарского мурзы Тургена, приехавшего в 1440 г. из Орды на службу к московскому великому князю Василию Васильевичу, И.С. Тургенев особенно выделял две фигуры. В 1606 г. дворянин Петр Никитич Тургенев бесстрашно обличил в Кремле самозванца Лжедмитрия, за что был пытан и казнен отсечением головы на Лобном месте Красной площади. Другой Тургенев — Тимофей Васильевич, воевода в Царицыне, был зверски убит в 1670 г. в присутствии самого Стеньки Разина: его схватили, надели на шею веревку, привели на крутой берег Волги, прокололи копьем и утопили. Личное самостояние человека, опирающееся

³ Там же. С. 84–85.

⁴ Зайцев Б.К. Жизнь Тургенева // Зайцев Б.К. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 5. М.: Русская книга, 1999. С. 36.

⁵ Полонский Я.П. И.С. Тургенев у себя в его последний приезд на родину // И.С. Тургенев в воспоминаниях современников. Т. 2. М.: Художественная литература, 1983. С. 392.

на внутреннюю силу, гордость и честь перед лицом как сильных мира сего, так и непросвещенной черни, — вот что выделял Иван Тургенев в обеих этих историях из жизни своих предков.

Что касается «современников», то в процессе своего нравственного становления сам Тургенев отмечал, прежде всего, влияние двух людей — Тимофея Николаевича Грановского и Николая Владимировича Станкевича. Знакомство с Грановским (тоже орловцем) состоялось в 1835 г. Тургенев вспоминал, что от Грановского веяло «веяло чем-то возвышенно-чистым; ему было дано редкое и благодатное свойство не убеждениями, не доводами, а собственной душевной красотой возбуждать прекрасное в душе другого, он был идеалист в лучшем смысле этого слова». «К нему, как к роднику близ дороги, — писал Тургенев, — всякий подходил свободно и черпал живительную влагу изучения, которая струилась тем чище, чем сам преподаватель меньше прибавлял в нее своего»⁶.

Будущий лидер русского университетского западничества и либерального просветительства, Грановский собственным примером показал Тургеневу, что либерализм (в глубинном смысле) — есть не декларативность и назидательство, а личное подвижничество, прежде всего духовное. Знакомство с Грановским было продолжено в Берлине, куда девятнадцатилетний Тургенев приехал для углубления своих познаний в области философии, истории и древних языков. Грановский и познакомил Тургенева с Николаем Станкевичем.

В биографической литературе о Тургеневе неоднократно отмечено, что тот с юных лет невлюбил молодежную «кружковщину» — экзальтированно-восторженную и кланово-непримиримую. В этом смысле русский студенческий Берлин рубежа 1830–1840-х гг. представлял собой характерную картину, хорошо описанную Б.К. Зайцевым: «По русскому обыкновению, Гегеля обратили в идола. Поставили в капище и у дверей толпились молодые жрецы, начетчики и изуверы. Воевали и сражались из-за каждой мелочи. “Абсолютная личность”, “перехватывающий дух”, “по себе бытие” — из-за этого близкие друг другу люди расходились на целые недели, не разговаривали между собой». Коллективное помешательство русских студентов «на Гегеле», клановая борьба вызывали у студента Тургенева внутреннее раздражение. «Был ли слишком вообще одиночка? — задавался вопросом Зайцев. — Или слишком уже художник? Он любил сам говорить, но больше рассказывал, изображал. От кружков же его отталкивало доктринерство, дух учительства. Тургенев смолоду любил духовную свободу, ведущую, конечно, к одиночеству»⁷.

⁶ См.: *Кара-Мурза А. А.* Иван Сергеевич Тургенев... С. 280–281.

⁷ *Зайцев Б. К.* Жизнь Тургенева. С. 36.

Но как быть тогда со Станкевичем — бесспорным вожаком русских молодых гегельянцев в Берлине? Зайцев и здесь отвечает точно: «Станкевич... как раз никого не подавлял, ничего не навязывал и ни перед кем не блистал. Действовал тишиной и правдой. Можно было сколько угодно разглагольствовать о Гегеле и разных других модных предметах — Станкевич просто излучал нечто, и этим воспитывал... Вначале Станкевич держался отдаленно. Тургенев робел перед ним, внутренне стеснялся. Но очарование этого болезненного (иногда, впрочем, и очень веселого) юноши было огромно. Тургенев в него влюбился. Попривыкнув, вошел в *воздух* Станкевича, в ту высокую искренность, простоту и вместе — всегдашний полет, которые для Станкевича характерны»⁸. Об этом же пишет и еще один биограф Тургенева, крупнейший италянист Иван Михайлович Гревс (1860–1941): «Тело его (Тургенева. — А.К.) еще не терзалось никакими недугами, дух же открыто рвался в широкий мир, жадно поглощая чудеса, какие дарила ему судьба»⁹.

Но еще более значительным для духовного становления Тургенева стало его почти ежедневное общение с Николаем Станкевичем в 1840 г. Рима. Хорошо описал этот процесс «перевоспитания» молодой души Тургенева тот же Зайцев: «Станкевич... *принял* Тургенева, полюбил таким, каков он был, ни белого, ни черного, а пестрого, живого Тургенева. И тем, что принял, любовью своей, его перевоспитывал... Главная прелесть жизни римской, конечно, вне дома, в блужданиях и экскурсиях. Тургенев со Станкевичем много выходили, много высмотрели... “Царский сын, не знавший о своём происхождении” (так называл друга впоследствии Тургенев) доблестно водил его по Колизеям, Ватиканам, катакомбам. Воспитание Тургенева продолжалось. Италия помогла царскому сыну отшлифовать другого юного принца, престолонаследника русской литературы. Именно в Италии, на пейзаже Лациума, вблизи “Афинской школы” и “Парнаса” Рафаэля, овладевал Тургеневым дух Станкевича — дух поэзии и правды. Прелестно, что и самую Италию увидал, узнал и полюбил он в юности. Светлый ее след остался навсегда в этом патриции». Тогда, в Риме, Тургенев, по его собственным словам, узнал про себя главное: «Перед одним человек безоружен: перед собственным бессилием или если его духовные силы в борьбе... теперь враги мои удалились из моей груди, — и я с радостью, признав себя целым человеком, готов был с ними вступить в бой. Станкевич! Тебе я обязан своим возрождением, ты протянул мне руку и указал мне цель»¹⁰.

⁸ Там же. С. 36–37.

⁹ Гревс И.М. Тургенев и Италия (культурно-исторический этюд). Л.: Брокгауз-Ефрон, 1925. С. 24.

¹⁰ Там же. С. 50. См. также: Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Риме. М.: Изд-во О. Морозовой, 2014. С. 189–190; Жукова О.А. Философия культуры Николая Станкевича: к вопросу о русском европеизме // Вопросы философии, 2014, № 7. С. 81–89.

Были, разумеется, и иные фигуры, оказавшие несомненное влияние на духовное становление молодого Тургенева: Михаил и Татьяна Бакунины, Виссарион Белинский, Петр Анненков, Василий Боткин... Но были и некие внешние *обстоятельства*, которые периодически побуждали будущего великого писателя делать тот или иной жизненный выбор. Что, например, побудило юного Тургенева отправиться за продолжением образования за границу?

«Запад» манил его еще в университете. По свидетельству младшего друга Тургенева, американского писателя Генри Джеймса, Тургенев часто вспоминал о годах своего студенчества: «В юности, когда я учился в Московском университете, мои демократические тенденции и мой энтузиазм по отношению к североамериканской республике вошли в поговорку, и товарищи-студенты называли меня “американцем”»¹¹.

Переведясь из Московского университета в Петербургский и окончив там полный курс по философскому факультету, Тургенев весной 1838 г. отправился доучиваться в Берлин. Через тридцать лет он описал мотивы этого шага во «Вступлении» к своим «Литературным и житейским воспоминаниям», открывавшими, в свою очередь, новое Собрание его сочинений: «Мне было всего девятнадцать лет; об этой поездке я мечтал давно. Я был убежден, что в России возможно только набраться некоторых приготовительных сведений, но что источник настоящего знания находится за границей... Стремление молодых людей — моих сверстников — за границу напоминало искание славы начальников у заморских варягов. Каждый из нас точно так же чувствовал, что его *земля* (я говорю не об отечестве вообще, а о нравственном и умственном достоянии каждого) велика и обильна, а порядка в ней нет». Тургенев вспоминал, что в 1838 г., покидая Россию и отправляясь в Германию, он «весьма ясно сознавал все невыгоды подобного отторжения от родной почвы, подобного насильственного перерыва всех связей и нитей, прикреплявших меня к тому быту, среди которого я вырос». Но — «делать было нечего»: «Тот быт, та среда и особенно та полоса ее, если можно так выразиться, к которой я принадлежал: полоса помещичья, крепостная, не представляли ничего такого, что могло бы удержать меня. Напротив, почти все, что я видел вокруг себя, возбуждало во мне чувства смущения, негодования — отвращения, наконец. Долго колебаться я не мог. Надо было либо покориться и смиренно побрести общей колеей, по избитой дороге; либо отвернуться разом, оттолкнуть от себя “всех и вся”, даже рискуя потерять многое, что было дорого и близко моему сердцу. Я так и сделал... Я бросился вниз головою в “немецкое море”, долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я, наконец, вынырнул из его волн — я все-таки очутился “западником», и остался им навсегда»¹².

¹¹ Кара-Мурза А.А. Иван Сергеевич Тургенев. С. 283.

¹² Там же.

В 1842 г., уже в России, Иван Тургенев успешно сдал магистерские экзамены в расчете получить место профессора философии в одном из столичных университетов, но цепочка случайностей помешала этому — судьба словно расчищала ему путь к иному поприщу. Когда в 1847 г. Тургенев снова и надолго уезжал в Европу, его антикрепостнические убеждения были уже окончательно сформированы. «Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что возненавидел; для этого у меня, вероятно, недоставало надлежащей выдержки, твердости характера, — писал он в 1868 г. — Мне необходимо было удалиться от моего врага затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был — крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решился бороться до конца, — с чем я поклялся никогда не примиряться... Это была моя Аннибаловская клятва; и не я один дал ее себе тогда. Я и на Запад ушел для того, чтобы лучше ее исполнить...»¹³ Добавим, что в этом описании причин своего «исхода на Запад» Тургенев выставляет на первый план мотивы исключительно идейные и умалчивает о «сердечных». Между тем немалую роль в его тогдашней поездке сначала в Германию, а затем во Францию, — и друзьям это было отлично известно — сыграло его увлечение испано-французской певицей Полиной Виардо-Гарсиа...

Три года Тургенев провел тогда за границей и лишь в 1850 г. вернулся в Россию, уже известным автором, и в первую очередь — «Записок охотника», в которых Иван Аксаков увидел «стройный ряд нападений, целый батальонный огонь против помещичьего быта России». А весной 1852 г. Тургенев неожиданно обрел на родине печальный опыт месячной тюремной «отсидки», а потом и годичной ссылки в Спасское за, как ему казалось, достаточно безобидную провинность — публикацию некролога на смерть Н.В. Гоголя, напечатанного в одном из московских журналов. Демонстративная и неадекватная жестокость властей, похоже, нанесла Тургеневу сильнейшую и до конца жизни не изжитую травму. Он пытался тогда апеллировать к наследнику престола, великому князю Александру Николаевичу; меры в отношении Тургенева были действительно несколько смягчены (в 1853 г. ему было разрешено посещать столицу), и писатель посчитал это прямым следствием вмешательства Цесаревича.

Кончина императора Николая Павловича и воцарение Александра II, окончание Крымской войны сыграли важную роль в судьбе многих русских интеллектуалов. О серьезных реформах пока не было речи, но тысячи русских вновь получили возможность свободно выезжать за границу. Получил заграничный паспорт и Тургенев: «Позволение ехать за границу меня радует, —

¹³ Там же. С. 283–284.

писал он в июне 1856 г. графине Ламберт, — и в то же время я не могу не сознаться, что лучше было бы для меня не ехать. В мои годы уехать за границу — значит: определить себя окончательно на цыганскую жизнь и бросить все помышления о семейной жизни. Что делать! Видно такова моя судьба. Впрочем, и то сказать: люди без твердости в характере любят сочинять себе “судьбу”; это избавляет их от необходимости иметь собственную волю — и от ответственности перед самими собою». Причины такого положения Тургенев объяснил далее особенностями русской жизни: «У нас нет идеала — вот отчего все это происходит. А идеал дается только сильным гражданским бытом, искусством (или наукой) и религией. Но не всякий рождается афинянином или англичанином, художником или ученым — и религия не всякому дается — тотчас. Будем ждать и верить — и знать, что пока мы дурачимся. Это сознание все-таки может быть полезным».

Когда-то Европа дала Тургеневу возможность сначала учиться, а потом свободно писать, но она не могла ему, русскому писателю, гарантировать душевный комфорт всякий раз. Как и предвидел Тургенев, Париж середины 1850-х годов не стал для него вождленным раем, стимулирующей творчество. Более того, письма самым близким людям обнаруживают, напротив, тяжелейший нравственный и творческий кризис: «Обанкротился человек — и полно; толковать нечего. Я постоянно чувствую себя сором, который забыли вымести... Третьего дня я не сжег (потому что боялся впасть в подражание Гоголю), но изорвал и бросил в water-closet все мои начинания, планы, и т.д. Все это вздор. Таланта с особенной физиономией и целостностью у меня нет — были поэтические струнки, да они прозвучали и отзвучали — повторяться не хочется — в отставку! Это не вспышка досады ... это выражение или плод медленно созревших убеждений» (из письма В.П. Боткину 11 февраля 1857 г.); «О себе говорить много нечего: я переживаю — или, может быть, доживаю нравственный и физический кризис, из которого выйду либо разбитый вдребезги, либо... обновленный! Нет, куда нам до обновленья — я подпертый, вот как подпирается бревнами завалившийся сарай. Бывают примеры, что такие подпертые сараи стоят весьма долго и даже годятся на разные употребления» (из письма П.В. Анненкову 3 апреля 1857 г.)¹⁴. Некоторый шанс на выход из тупика дала поездка в Германию, на Рейн, где Тургенев начал свою «Асю». Но подлинный прилив творческих сил произошел позднее, в Италии, где — отметим важное обстоятельство — активное сочинительство сопровождалось столь же активным участием в либеральных политических проектах.

Приехав в Рим в ноябре 1857 г., Тургенев сделал ставку на уже знакомый ему «Вечный город», как на свой последний шанс: «Если я и в Риме ничего

¹⁴ Там же. С. 285.

не сделаю — останется только рукой махнуть. В человеческой жизни есть мгновенья перелома, мгновенья, в которые прошедшее умирает и зарождается нечто новое. Горе тому, кто не умеет их чувствовать и либо упорно придерживается мертвого прошедшего, либо до времени хочет вызвать к жизни то, что еще не созрело. Часто я погрешал то нетерпением, то упрямством; хотелось бы мне теперь быть поумнее. Мне скоро сорок лет; не только первая и вторая, третья молодость прошла, и пора мне сделаться если не дельным человеком, то, по крайней мере, человеком, знающим, куда он идет и чего хочет достигнуть. Я ничем не могу быть, как только литератором, — но я до сих пор был больше дилетантом. Этого вперед не будет» (из письма Е.Е. Ламберт 3 ноября 1857 г.)¹⁵.

И, действительно, осень, а потом зима и весна 1857–1858 гг. стали важнейшими в судьбе Тургенева: тогда, в Риме, он, несмотря на досадные приступы застарелой болезни, закончил повесть «Ася» и начал «Первую любовь» и «Дворянское гнездо» — переломные вещи в его творчестве. Об этом, втором посещении Тургеневым Рима литератор Борис Зайцев (сам известный «римский обожатель») красиво написал в своей «Жизни Тургенева»: «Осень и Рим шли к его настроению. Некогда этот Рим наполнял красотой молодую его душу. Теперь помогал изживать горе. Виардо ему не писала — не отвечала на письма... Риму и надлежало перевести Тургенева с одного пути на другой. Нелегко это давалось. Рим пустил в ход все свои прельщения... Вечность входила в него, меняла, лечила... Иногда болезнь неприятно раздражала и томила. Темные мысли — о судьбе, смерти, бренности — именно с этого времени крепче в нем гнездятся. И всё-таки Рим врачевал»¹⁶.

Параллельно с литературной работой, Тургенев в Риме был постоянным участником политического кружка, собиравшегося в салоне великой княгини Елены Павловны и сыгравшего большую роль в идейной подготовке будущих «великих реформ». Участниками этого «римского кружка» были будущие известные деятели реформ князь В.А. Черкасский, князь Д.А. Оболенский, Н.Я. Ростовцев, баронесса Э.Ф. Раден и др.

Как и его товарищи, Тургенев в Риме жадно следил за событиями на родине. «Я здесь, в Риме, все это время много и часто думаю о России — что в ней делается теперь?» — вопрошал Тургенев в письме к Е.Е. Ламберт. В европейских газетах тогда чуть ли не ежедневно писали о строительстве в Англии самого большого в мире парохода «Левиафан», и Тургенев сравнивал с этим гигантом огромную Россию, готовившуюся встать на путь реформ: «Двинется ли этот Левиафан (подобно английскому) и войдет ли в волны, или застрянет

¹⁵ Там же. С. 285–286.

¹⁶ Зайцев Б.К. Жизнь Тургенева. С. 50. См. также: *Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Риме.* С. 196–199.

на полпути? До сих пор слухи приходят все только благоприятные; но затруднений бездна, а охоты, в сущности, мало. Ленив и неповоротлив русский человек, и не привык ни самостоятельно мыслить, ни последовательно действовать. Но нужда — великое слово! — поднимет и этого медведя из берлоги»¹⁷.

Тургенева радовали первые шаги нового императора Александра II. Особенно вдохновили его смелые рескрипты об учреждении комитетов для обсуждения крестьянского вопроса, в которых официально заявлялось о необходимости начать подготовку к освобождению крестьян от крепостной зависимости. Думая о возвращении в Россию, Тургенев предполагал лично включиться в дело крестьянского освобождения. В конце 1857 г. он сообщал из Рима Л.Н. Толстому, что «решил посвятить весь будущий год на окончательный раздел с крестьянами, — хоть все им отдам, а перестану быть “барином”. На это я совершенно твердо решился, и из деревни не выеду, пока всего не кончу»¹⁸. Свое возвращение в Россию Тургенев связывал и с началом серьезной общественной деятельностью: 9 января 1858 г. он отправил в Петербург «записку» одному из лидеров российской «реформаторской партии» А.В. Головнину (будущему министру народного просвещения), где подробно изложил идею издания специализированного журнала «Хозяйственный указатель», должного объединить эмансипаторские принципы с прагматикой аграрного дела.

Между тем, некоторые другие известия из России не могли не настораживать Тургенева. Он, в частности, заметил попытки отдельных чиновных карьеристов второго ряда, приодевшихся во входящие в моду одежды «либералов», устроить погром русского славянофильства, используя само понятие «либерализм» как административную дубинку для сведения личных счетов. Настоящий русский либерал Иван Тургенев направил тогда в европейскую прессу статью в защиту славянофилов, подчеркнув их бесспорные гражданские достоинства, их роль в деле борьбы за русскую свободу. Западник Тургенев не ошибся в своих друзьях: такие лидеры славянофильства, как Ю.Ф. Самарин или князь В.А. Черкасский сыграли большую роль в подготовке и осуществлении «великих реформ».

Можно сказать, что именно на рубеже 1850–1860-х гг. у И.С. Тургенева окончательно сложился тот либерально-западнический мировоззренческий комплекс, который был впоследствии кратко изложен во «Вступлении» к новому Собранию сочинений. Именно этот небольшой текст, написанный в Баден-Бадене в 1868 г., можно считать подлинным *credo* зрелого Тургенева. Отвечая на распространенные среди русских консерваторов упреки в «непатриотизме», Тургенев написал тогда: «Я не думаю, чтобы мое западничество

¹⁷ *Кара-Мурза* А.А. Иван Сергеевич Тургенев. С. 286–287.

¹⁸ Там же. С. 287.

лишило меня всякого сочувствия к русской жизни, всякого понимания ее особенностей и нужд. “Записки охотника”, эти, в свое время новые, впоследствии далеко опереженные этюды, были написаны мною за границей; некоторые из них — в тяжелые минуты раздумья о том: вернуться ли мне на родину, или нет?». «Мне могут возразить, — продолжает заочную полемику с оппонентами Тургенев, — что та частичка русского духа, которая в них (“Записках охотника”. — А.К.) замечается, уцелела не по милости моих западных убеждений, но несмотря на эти убеждения и помимо моей воли. Трудно спорить о подобном предмете; знаю только, что я, конечно, не написал бы “Записок охотника”, если б остался в России»¹⁹.

Впротивовесвношь окрепшим тогда в России охранителям-самобытникам, понимающим патриотизм как примитивное антизападничество, Тургенев прямо декларировал выношенную им идею о том, что Россия — неотъемлемая часть Европы, и восточные славяне по историческому праву принадлежат к семье европейских народов: «Скажу также, что я никогда не признавал той неприступной черты, которую иные заботливые и даже рьяные, но малосведущие патриоты непременно хотят провести между Россией и Западной Европой, той Европой, с которой порода, язык, вера так тесно ее связывают. Не составляет ли наша, славянская раса — в глазах филолога, этнографа — одной из главных ветвей индо-германского племени? И если нельзя отрицать воздействия Греции на Рим и обоих их вместе на германо-романский мир, то на каком же основании не допускается воздействие этого — что ни говори — родственного, однородного мира на нас?»²⁰. По мнению Тургенева, люди, которые под видом защиты самобытных начал стараются отлучить Россию от Европы, демонстрируют как раз крайнее неверие в русскую самобытность: «Неужели же мы так мало самобытны, так слабы, что должны бояться всякого постороннего влияния и с детским ужасом отмахиваться от него, как бы он нас не испортил? Я этого не полагаю: я полагаю, напротив, что нас хоть в семи водах мой, — нашей, русской сути из нас не вывести. Да и что бы мы были, в противном случае, за плохонький народец!» Тургенев ссылается при этом на собственный пример естественного соединения самобытной русскости и европейского универсализма: «Я сужу по собственному опыту: преданность моя началам, выработанным западною жизнью, не помешала мне живо чувствовать и ревниво оберегать чистоту русской речи. Отечественная критика, взводившая на меня столь многочисленные, столь разнообразные обвинения, помнится, ни разу не укоряла меня в нечистоте и неправильности языка, в подражательности чуждому слогу»²¹.

¹⁹ Там же.

²⁰ Там же. С. 287–288.

²¹ Там же. С. 288.

Именно на этих общих принципах И.С. Тургенев старался твердо стоять в 1860–1870-е гг., апеллируя одновременно и к русскому обществу, и к правительственным верхам, и к тем из своих друзей (например, А.И. Герцену), которые все больше уходили от здравого конструктивного европеизма в сторону революционного радикализма и возрождаемой на новый манер «русской исключительности».

Положение либерала-центриста, стремящегося не впасть ни в охранительное чиновничество, ни в радикальный нигилизм, — всегда непросто, часто — драматично. Парадоксально, но Тургеневу всегда в жизни больше нравились активные, пусть идеалистически настроенные, «Дон-Кихоты», нежели излишне рассудочные «Гамлеты» (у писателя даже есть работа, построенная на сопоставлении этих двух «типов»). В тогдашней европейской политике его больше увлекали люди типа бесстрашного революционера Гарибальди, нежели осторожного либерала Кавура — либерал Тургенев прекрасно отдавал себе отчет в этом явном противоречии. «Какая каша происходит в Италии! — писал он 1 августа 1859 г. П.В. Анненкову. — Вот где бы хорошо провести с месяц. Одно беда: пожалуй, досада возьмет нашего брата, исконного зрителя — и заставит сделать какую-нибудь глупость. Вдруг закричишь: *viva* (да здравствует. — *ит.*) *Garibaldi* или: *a basso* (долой. — *ит.*) кого-нибудь другого — и глядь, с трех сторон розги хлещут по спине. В молодые годы это только кровь полирует; под старость — стыдно, или, как говорил при мне один отечески наказанный мужик лет 50: “оно не то что больно, а перед бабой зазорно”. У нас с Вами бабы нет, а всё — зазорно...»²²

Поклонник европейского прогресса, Тургенев верил в разумное преобразование мира и даже иногда называл это рукотворное чудо — «революцией». Но грязной стороны революций он боялся, более рассчитывая на «реформаторство сверху». Он, например, искренне симпатизировал императору Александру Николаевичу, верил в его личное расположение к себе. В конце 1860 г. Тургенев составил даже (но так в итоге и не отправил) специальный «коллективный адрес» императору с изложением ряда принципов, серьезность которых дало основание народнику-эмигранту П.Л. Лаврову говорить об этом документе, как о «проекте конституции».

В тексте «адреса» Тургенев прямо указал, что полностью отдает себе отчет в том, что подобное «выражение искренних убеждений... может встретить недоверие» со стороны царя, ибо «в нынешние смутные времена самое правдивое слово потеряло свою силу, самые чистые намерения возбуждают сомнение». Тургенев поспешил от имени «инициаторов» заверить императора: «Мы принадлежим к числу людей, которые верят в Вас; которые не только не мыслят о перемене правительства, но зывают к власти. Мы не забыли,

²² Там же. С. 288–289.

и вся Россия не забудет вместе с нами, что эта власть освободила крестьян! (к моменту начала распространения «адреса» освобождение крестьян от крепостной зависимости считалось делом решенным. — А.К.) Мы верим в Вас, государь, но мы желаем также разумных свобод нашему отечеству, правильного и успешного развития нашим силам. Мы честно и откровенно приближаемся к престолу и просим нашего царя выслушать голос общественного мнения, обратить внимание на желание его народа»²³. Тургеневский «адрес» декларировал ряд важных принципов: полную отмену телесных наказаний; гласность судопроизводства; прозрачность государственных доходов и расходов; расширение полномочий земства; сокращения срока солдатской службы; уравнивание в правах староверов с прочими подданными.

Характерно, что Тургенев, как автор «адреса», точно воспроизвел классическую либеральную логику рассуждений, восходящую к знаменитым «Трактатам о политическом правлении» англичанина Джона Локка. Смысл этой логики таков: либеральные преобразования есть меры неизбежные необходимые, призванные укрепить, а не ослабить государственный порядок. «Государь! Вам скажут, что подобные слова преступны или безумны; назовут нашу просьбу требованием и прибавят, что уступать подобному требованию — значит вывести страну на путь насильственных переворотов; но мы умоляем Ваше величество не верить тем, которые будут говорить так. Мы, напротив, смеем думать, что, удовлетворив справедливые желания Вашего народа, Вы навсегда устраните возможность таких потрясений, соберете вокруг себя все лучшее, все живые силы общества, подсечете под корень всякие нетерпеливые и необдуманные увлечения».

В завершение «адреса» Тургенев напомнил, что император Александр Николаевич сам уже успешно действовал в этой либеральной логике — подразумевалось, в том числе, обращение Александра II к московскому дворянству весной 1856 г., ставшее прологом целенаправленной работы по крестьянскому освобождению. «Государь, Вам угодно было сказать некогда, собравши дворян: “Дайте мне возможность стать за вас...” Дайте же и нам, всем Вашим подданным, возможность дружно и твердо встать за Вас, как за нашего вождя, не допустите мысли о разъединении блага России с Вашей властью, процветанием Вашего дома... Вы уже много сделали..., двиньтесь вперед по начатому Вами пути, и мы все пойдем за Вами»²⁴.

Перспективу распространения своего «адреса» с целью его подписания «серьезными людьми» Тургенев связывал с Артуром Бенни, идеалистом-англичанином, с которым его познакомил Герцен. Однако миссия Бенни, который до конца скрывал имя автора, успехом не увенчалась: «серьезные

²³ Там же. С. 289.

²⁴ Там же. С. 289–290.

люди» обращения к царю не подписали, и, в конечном счете, «адрес» так и не был отправлен императору. В довершение всего, Бенни получил еще и разнос в Лондоне от А.И. Герцена, в благожелательной поддержке которого ранее не сомневался. «Предполагаемый вами адрес мог бы, при теперешней реакции, погубить вас и многих, — выговаривал ему Герцен. — Адрес умеренный, о котором вы пишете, может, и не дурен (хотя о главном вопросе — о выкупе крестьянских земель, там и не упомянуто), но вы вряд ли успеете что-нибудь сделать... Недостаточно иметь верную мысль, надобно ясно знать средства под руками»²⁵.

Надеясь на «реформы сверху», Тургенев старался всемерно умерить антиправительственный пыл своего друга Герцена, эмигрировавшего в 1847 г. из России. Высоко оценивая роль герценовского «Колокола», Тургенев долгое время пытался корректировать его тактику. Он был уверен, что «Колокол» не должен огульно критиковать русскую власть вообще и по любому поводу, а, напротив, поощрять и поддерживать любые ее реформаторские начинания. Это касалось, в первую очередь, действий самого императора Александра II, который, по мнению Тургенева, лично желает реформ, но вынужден считаться с консервативной партией в своем окружении. 26 декабря 1857 г. Тургенев писал из Рима Герцену: «Не брани, пожалуйста, Александра Николаевича, а то его и без того жестоко бранят в Петербурге все реакционеры. — А.К.). За что же его эдак с двух сторон тузить — эдак он, пожалуй, и дух потеряет»²⁶.

Тургенев также советовал Герцену активнее поддерживать и без особой нужды не критиковать либеральную группу в правительстве, которую тогда возглавляли великий князь Константин Николаевич (младший брат императора) и другой лидер реформаторов — Александр Васильевич Головнин.

В письме Герцену в Лондон от 20 декабря 1860 г. Тургенев передавал просьбу русских либералов-постепеновцев: «Также просят тебя очень щадить великого князя Константина Николаевича в твоём журнале, потому что, между прочим, он, говорят, ратоборствует, как лев, в деле эмансипации против дворянской партии — и каждое твое немилостивое слово больно отзывается в его чувствительном сердце». В другом письме, от 30 января 1862 г. Тургенев просит Герцена уже за Головнина, назначенного незадолго до того управляющим министерством народного просвещения: «В России точно кутерьма, но прошу тебя убедительно, не трогай пока Головнина. За исключением двух, трех вынужденных и то весьма легких уступок, все, что он делает — хорошо... Я получаю очень хорошие известия о нем. Не беспокойся; если он свихнется, мы тебе его “придставим”, как говорят мужики,

²⁵ Там же. С. 290.

²⁶ Там же.

приводя виноватых для сечения в волость...»²⁷ Однако «дружеские советы» Тургенева все менее и менее принимались в расчет Герценом — бывших друзей все более разделяли не только тактические, но и глубокие мировоззренческие различия.

Место И.С. Тургенева в русской общественной жизни было парадоксальным: радикалы считали его чуть ли охранителем, сами охранители, напротив, — чуть ли не радикалом. Любое новое произведение писателя тут же попадало под пристальный анализ партийных интерпретаторов на предмет того, «что на самом деле хотел сказать и на чьей стороне автор?»

Тургенев как-то отметил, что после выхода романа «Отцы и дети» в русском обществе сложилась ситуация, которая его глубоко расстроила и обеспокоила: ему пришлось даже написать специальную статью «По поводу «Отцов и детей»» (1869), где он попытался показать, что в своем литературном творчестве он руководствуется художественными, а не политическими принципами. «Не однажды слышал я и читал в критических статьях, — отмечал Тургенев, — что я в моих произведениях «отправляюсь от идеи» или «провожаю идею»; иные меня за это хвалили, другие, напротив, порицали; с своей стороны, я должен сознаться, что никогда не покушался «создавать образ», если не имел исходною точкою не идею, а живое лицо, к которому постепенно примешивались и прикладывались подходящие элементы». «Господа критики, — продолжал писатель, — вообще не совсем верно представляют себе то, что происходит в душе автора... Они вполне убеждены, что автор непременно только и делает, что «проводит свои идеи», не хотят верить, что точно и сильно воспроизвести истину, реальность жизни — есть высочайшее счастье для литератора, даже если эта истина не совпадает с его собственными симпатиями». И далее Тургенев привел действительно удивительный и показательный пример: «Я — коренной, неисправимый западник, и нисколько этого не скрывал и не скрываю, однако я, несмотря на это, с особенным удовольствием вывел в лице Паншина (в «Дворянском гнезде») все комические и пошлые стороны западничества; я заставил славянофила Лаврецкого «разбить его на всех пунктах». Почему я это сделал — я, считающий славянофильское учение ложным и бесплодным? Потому, что в данном случае — таким именно образом, по моим понятиям, сложилась жизнь, а я, прежде всего, хотел быть искренним и правдивым»²⁸.

Однако странная судьба его художественных произведений, и, в первую очередь, «Отцов и детей» в какой-то момент побудила Тургенева искать новые формы литературного самовыражения. В романе «Дым» (1867) он, в форме сатирического памфлета, по сути дела «симметрично» разоблачил

²⁷ Там же. С. 291.

²⁸ Там же. С. 291–292.

и высмеял обе «русские партии», Реакцию и Революцию — и «генералов-охранителей» (баденский «кружок Ратмирова») и «нигилистов-радикалов» («кружок Губарева»). Более чем за десять лет до «пушкинских торжеств» в Москве, Тургенев уже дал свой, либеральный ответ на ту проблему, которую, казалось, так остро поставил Достоевский в 1880 г. в своей знаменитой «пушкинской речи». Концовка той речи: «Смирись, гордый человек! Потрудись, праздный человек!», заставила, как известно, дружно аплодировать как русских западников, так и славянофилов (высоко оценил речь и присутствовавший Тургенев).

Диагноз беды — наступающего на Отечество в двуединой форме — гордыни и праздности — «нового варварства» был поставлен Достоевским верно, но вот «изгонять», как известно, он призывал главным образом «бесов-нигилистов». То, что новое варварство может прийти в Россию не только снизу, из подполья, но и с самого самодержавно-бюрократического верха: такую опасность бывший узник «Мертвого дома», а ныне убежденный консерватор, похоже, в расчет уже не брал.

Но в 1867 г. либерал И. С. Тургенев показал: «дым» заволакивает и одолевает русскую жизнь с обеих сторон; не только со стороны «нигилистов», но и со стороны «охранителей». Обе «партии» вполне стоят друг друга; обе обуяны беспредельной гордыней (т.е. абсолютно нечувствительны к какой-либо критике и считают свой корпоративный мирок единственно правильным), и обе же абсолютно праздны и социально непродуктивны. В «Дыме», вопреки литературоведческим изысканиям, нет — да и не задумывалось — «положительных героев». Не являются таковыми ни Литвинов, ни Ирина, ни даже западник-резонер Потугин, хотя он и высказывает некоторые близкие автору-Тургеневу идеи. Тургенев, похоже, вообще иронизирует в «Дыме» над необходимостью выведения «положительного героя». Проветрить и очистить Россию от опасных «дымов» должны не герои-одиночки, а принципиально новые общественные отношения, способные превратить вчерашних «одиночек» в социально значимый и достаточно распространенный тип личности.

Между тем, русское общество, похоже, совсем не поняло глубинно либеральной, т.е. принципиально надпартийной сути романа Тургенева. «Объективные» авторы в десятках рецензий бросились взвешивать, кого Тургенев разоблачил больше: «ратмировцев» или «губаревцев»? Клань активно включилась в политическую интерпретацию «Дыма». Имели место молодежные сходки, в т.ч. среди русских студентов за границей, на которых молодые радикалы «выносили порицания» писателю «за критику демократии и революции». Не отстали и сановные охранители: собравшиеся в Английском клубе генералы совсем было собрались писать «коллективное

письмо» Тургеневу, где отказывали ему в своем обществе. Писатель потом досадовал, что его приятель В.А. Соллогуб «отговорил их тогда от этого, растолковав им, что это будет очень глупо». «Подумайте,— восклицал Тургенев,— какое бы торжество было для меня получить такое письмо? Я бы его на стенке в золотой рамке повесил!»²⁹

Однако весной 1879 г. случилось неожиданное, в первую очередь, для самого И.С. Тургенева. Критикуемый еще недавно со всех сторон, он, приехав в Россию, обнаружил свою крайнюю востребованность в новой, снова качнувшейся к либерализму общественной ситуации. П.Л. Лавров писал: «Не только либералы более взрослого поколения видели в нем наиболее честное и чистое воплощение своих стремлений, но и радикальная молодежь разглядела в Иване Сергеевиче подготовителя ее борьбы, воспитателя русского общества в тех гуманных идеях, которые, *надлежащим* образом поняты, должны были фатально привести к революционной оппозиции русскому императорскому самодурству»³⁰.

Обе русские столицы встретили писателя триумфом. Когда 13 марта Тургенева чествовали петербургские профессора и литераторы, он высказал идею единения всех культурных людей России. Отдельно обратившись к молодежи, он пожелал, чтобы в Отечестве сбылись, наконец, слова из пушкинских «Стансов», немного переиначенные оратором: «В надежде славы и добра глядим вперед мы без боязни...». Печать разных направлений поспешила отметить: то был прямой намек на Конституцию. Через некоторое время в номер Тургенева на четвертом этаже гостиницы «Европейская» явился флигель-адъютант императора «с деликатнейшим вопросом»: «Его Императорское Величество интересуется знать, когда Вы, Иван Сергеевич, думаете отбыть за границу?»...

Вернувшись в Париж, Тургенев в первых числах апреля 1879 г. имел интересную беседу с видным немецким дипломатом Хлодвигом Гогенлоэ. Тот потом вспоминал, что русский писатель был поражен, что в России его чествовали как политика. Сам Тургенев объяснял это тем, что русское общество начало понимать, что только либералы способны предложить объединяющую идею, но беда в том, что правительство все еще отождествляет либералов с нигилистами-заговорщиками. Тургенев, по словам Гогенлоэ, напротив, считал, что, поддержав либералов, правительство может привлечь на свою сторону большинство общества. «Неверно утверждают некоторые, что в России нет людей, способных к руководству делами»,— говорил Тургенев и с ходу назвал с десяток дельных провинциальных либеральных чиновников и юристов. Однако, если момент будет упущен, наступит общий

²⁹ Там же. С. 292–293.

³⁰ Там же. С. 293.

крах, ибо революция не способна принести стране пользу. Свои мемуары опытный политик Гогенлоэ (впоследствии, как известно, ставший рейхсканцлером и прусским министром-президентом) заключил весьма характерным образом: «Если бы я был царем Александром, я бы поручил Тургеневу составить кабинет...»³¹

Уже через несколько дней из России пришла весть о новом покушении террористов на императора. Тургенев почти сразу написал Я.П. Полонскому: «Последнее безобразное известие меня сильно смутило, предвижу, как будут иные люди эксплуатировать это безумное покушение во вред той партии, которая, именно вследствие своих либеральных убеждений, больше всего дорожит жизнью государя, так как только от него и ждет спасительных реформ: всякая реформа у нас в России, не сходящая свыше, немислима. Все это прекрасно... но в результате выйдет то, что именно эта партия и пострадает... Очень я этим взволнован и огорчен... вот две ночи, как не сплю: все думаю, думаю — и ни до чего додуматься не могу»³².

Летом 1879 г. И.С. Тургенев получил за свои «литературные заслуги» степень доктора естественного права Оксфордского университета. Понятные радость и удовлетворение омрачались печальным предчувствием: «То-то, я воображаю, на меня прогневаются иные господа в любезном отечестве!»³³

В 1880 г. И.С. Тургенев решил снова непременно ехать в Россию, чтобы лично ответить на новую волну травли в охранительной прессе, третировавшей его чуть ли не за «тайные симпатии к террористам». Тогда в «Вестнике Европы», редактируемом другом Тургенева, либералом М.М. Стасюлевичем, был напечатан ответ Тургенева на оскорбления одного из самых ретивых его критиков, писавшего в «Московских новостях» под именем «Иногородний обыватель». «Если бы г. “Иногородний обыватель”, — так начал свой ответ Тургенев, — ограничился одними посильными оскорблениями, я бы не обратил на них никакого внимания, зная, из какой “кучи” идет этот гром; но он позволяет себе заподозрить мои убеждения, мой образ мыслей, — и я не имею права отвечать на это одним презрением... В глазах нашей молодежи — так как о ней идет речь — в ее глазах, к какой бы партии она не принадлежала, я всегда был и до сих пор остался “постепеновцем”, либералом старого покроя в английском династическом смысле, человеком, ожидающим реформ только свыше, — принципиальным противником революций...»³⁴

Среди множества встреч, состоявшихся у приехавшего в 1880 г. в Россию Тургенева, была и встреча с «демократическими литераторами», на квартире

³¹ Там же. С. 293–294.

³² Там же. С. 294.

³³ Там же.

³⁴ Там же.

у Г. Успенского. Один из молодых писателей, Н. Русанов, задал тогда Тургеневу непростой вопрос: не думает ли он, что в России «на носу революция»? Разве нет сходства нынешней России с предреволюционной Францией конца XVIII века? Тургенев возразил: «В то время во Франции было могущественное оппозиционное течение, и все мыслящие люди, несмотря на различные мнения, соглашались в одном: старый строй должен быть заменен новым». Но так ли единодушны сегодня общественные силы России? В стране есть реакционеры, либералы, реакционеры и их взгляды прямо противоположны. «А пока нет общего могучего течения, в котором сливались бы оппозиционные ручьи,— заключил Тургенев,— о революции, мне кажется, рановато говорить»³⁵.

Весной 1882 г. во Франции у Тургенева обнаружили первые признаки смертельной болезни: привычные, казалось, подагрические боли врачи диагностировали как прогрессирующий рак позвоночника. Иван Сергеевич скончался 22 августа 1883 г. в Буживале близ Парижа. Отпевание прошло в православном соборе св. Александра Невского на улице Дарю; на Северном вокзале Парижа была устроена «траурная часовня», где состоялся митинг перед отправкой свинцового гроба в Россию.

Первым выступил знаменитый французский историк и писатель Жозеф Эрнест Ренан. Один из русских слушателей подробно записал его речь: «Он характеризовал Тургенева, как представителя массы народа, которая в целом безгласна и может только чувствовать, не умея ясно выразить свои мысли. Ей нужен истолкователь, нужен пророк, который говорил бы за нее, умел бы изобразить ее страдания, отвергаемые теми, кому выгодно их не замечать,— ее назревшие потребности, идущие вразрез с самодовольством меньшинства. Таким человеком по отношению к своему народу был в своих произведениях Тургенев, соединяя в себе впечатлительность женщины с нечувствительностью анатома и разочарованность мыслителя с нежностью ребенка». Выступивший затем от имени французских литераторов Эдмон Абу сказал, что «для славы умершего не нужен будет величавый памятник, а несравненно дороже будет простой обрывок разорванной цепи на белой мраморной плите...»³⁶

Следование тела Тургенева по России — России уже Александра III — вызвало чрезвычайные опасения у новых руководителей русских охранных ведомств графа Д.А. Толстого и В.К. Плеве, отдавших приказ до предела сократить остановки траурного поезда и беспощадно отсекаль людей, желающих попрощаться с Тургеневым. Ездивший на пограничный пункт Вержболово, чтобы принять печальный груз, друг Тургенева, историк

³⁵ Там же. С. 294–295.

³⁶ Там же. С. 295.

и журналист М.М. Стасюлевич, наблюдая многочисленные препятствия, чинимые траурному кортежу, написал впоследствии, что можно было подумать, что по России везут не прах великого писателя-гуманиста, а самого «Соловья-разбойника»...³⁷

Литература

Гревс И.М. Тургенев и Италия (культурно-исторический этюд). Л.: Брокгауз-Ефрон, 1925.— 152 с.

Жукова О.А. Философия культуры Николая Станкевича: к вопросу о русском европеизме // Вопросы философии, 2014, № 7. С. 81–89.

Зайцев Б.К. Жизнь Тургенева // Зайцев Б.К. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 5. М.: Русская книга, 1999. С. 36.

Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Риме. М.: Изд-во О. Морозовой, 2014.— 496 с.

Кнабе Г.С. Тургенев, античное наследие и истина либерализма: Сравнительная поэтика // Вопросы литературы, 2005, № 1. С. 84–123.

Полонский Я.П. И.С. Тургенев у себя в его последний приезд на родину // И.С. Тургенев в воспоминаниях современников. Т. 2. М.: Художественная литература, 1983.

Российский либерализм: идеи и люди. 3-е изд, в 2 т. (общ. ред. А.А. Кара-Мурзы). М.: Новое издательство, 2018, т. 1.— 680 с.

Стасюлевич М.М. Из воспоминаний о последних днях И.С. Тургенева и его похороны // Вестник Европы, 1883, № 11. С. 140–150.

³⁷ *Стасюлевич М.М.* Из воспоминаний о последних днях И.С. Тургенева и его похороны // Вестник Европы, 1883, № 11. С. 150.

П. Б. СТРУВЕ И РАЗВИТИЕ ИМ КОНЦЕПЦИИ «ЛИЧНОЙ ГОДНОСТИ»

Предисловие

Общая канва эволюции общественно-политических взглядов Петра Бернгардовича Струве достаточно хорошо известна как из его собственных воспоминаний, так и из серьезных исследований¹. Известно, например, что совсем юный Струве наследовал от отца «патриотические, националистические порывы, окрашенные династическими и в то же время славянофильскими сочувствиями, граничившими с ненавистью к революционному движению»². А первый серьезный мировоззренческий сдвиг произошел в 1885–1886 гг. и был вызван глубоким потрясением от противостояния с режимом кумира его юности, либерального славянофила Ивана Аксакова³. Как результат: идеи «русской исключительности» у юноши постепенно выветриваются; универсальная идея свободы, напротив, укрепляется. Струве, по его собственным словам, «по страсти и убеждению становится либералом и конституционалистом»⁴.

Впрочем, три года спустя он примыкает к марксистам — на этот раз, по его словам, «чисто рассудочным путем»: «Социализм, как бы его ни понимать, никогда не внушал мне никаких эмоций, а тем более страсти. Я стал приверженцем социализма..., придя к заключению, что таков исторически неизбежный результат объективного процесса экономического развития»⁵. К 1900–1901 гг. Струве отходит от социал-демократии: его разводит с ней принципиально разное понимание соотношения «силы» и «права» в историческом

¹ См. напр.: *Струве П.Б. Мои встречи и столкновения с Лениным* // Возрождение. Литературно-политические тетради (под ред. С.П. Мельгунова), Париж, 1950, №№ 9, 10, 12; *Пайнс Р. Струве: левый либерал. 1870–1905*. М.: МШПИ, 2001; *Пайнс Р. Струве: правый либерал. 1905–1944*. М.: МШПИ, 2001.

² *Струве П.Б. Мои встречи и столкновения с Лениным* // Возрождение, 1950, № 9. С. 115.

³ Эту точку зрения высказывает, например, Р. Пайнс, который пишет, что переход к либерализму в середине 1880-х явился у Струве «результатом внезапного озарения»: «При каких обстоятельствах это произошло мы можем только догадываться. Однако имеются твердые указания на то, что этот интеллектуальный кризис был спровоцирован последним столкновением, имевшим место между И. Аксаковым и цензурой незадолго до его смерти в январе 1886 года» (*Пайнс Р. Струве: левый либерал*. С. 39). Более подробное исследование этого вопроса доказывает полную обоснованность этого предположения (см.: *Кара-Мурза А.А., Жукова О.А. Свобода и вера. Христианский либерализм в русской политической культуре*. М.: Институт философии РАН, 2011, гл. 4).

⁴ *Струве П.Б. Мои встречи и столкновения с Лениным*. // Возрождение, 1950, № 9. С. 116.

⁵ Там же.

развитии⁶. Теперь он — снова либерал и конституционалист, поначалу левого, «освобожденческого», толка. Дальнейшее движение его мысли — в результате осмысления причин неудач русского освободительного движения — идет «вправо», в сторону либерального консерватизма. В Белом движении, а затем в эмиграции, Струве прочно занимает правоцентристские позиции, периодически акцентируя свои конституционно-монархические предпочтения.

Замечено между тем, что на протяжении всей своей богатой событиями жизни П.Б. Струве никогда не тяготел к сколько-нибудь существенной откровенности с публикой: жанр партийной прессы, в котором ему приходилось по преимуществу работать, никак не располагал к исповедничеству. Огромная мыслительная работа, проделанная Струве, еще нуждается в реконструкции, тем более, что его идеи разбросаны по бесчисленным небольшим по объему публикациям. В этой связи представляется интересным сместить ракурс изучения эволюции социально-политической мысли Струве, взяв в качестве идейного стержня, пусть и известный⁷, но, как представляется, недостаточно пока освоенный пласт его творчества, а именно: разработку им концепции «личной годности».

Действительно, в самых разных политических обстоятельствах Петра Струве занимали одни и те же вопросы: По каким законам формируется и ведет себя в истории ее деятель — индивидуальная человеческая личность? Какой строй и за счет каких механизмов наилучшим образом формирует оптимальные для культурного и упорядоченного общежития человеческие качества? Каков, в конце концов, набор этих искомых личностных качеств? Или, подытоживая: как формируется и в чем проявляется «личная годность» человека, и каким образом проникает в историю поведенческая патология? Наблюдая за тем, как на протяжении разных этапов жизни Струве отвечал на эти и сопутствующие им вопросы, мы обретаем одну из впечатляющих картин (по крайней мере, ее четкий абрис), на которую только способен профессиональный мыслитель, — общеисторическую типологию личностного поведения. Разумеется, эта концепция не только постоянно уточнялась Струве на протяжении всей его жизни, но и претерпевала существенные трансформации.

⁶ Эту противоположность взглядов либералов и социал-демократов П.Б. Струве четко изложил на страницах «Освобождения»: «Мировоззрению социал-демократии... чужда идея права. Реакционное насилие самодержавия социал-демократия желает побороть революционной силой народа. Культ силы общий с ее политическим врагом; она желает только другого носителя силы и предписывает ему другие задачи. Право в ее мировоззрении есть не идея должного, а приказ сильного. Мы с социал-демократами (и вообще с революционерами) расходимся не только в тактике и даже не только в программе, но в самых основах мирозерцаания. У нас с ними различные принципы» (Освобождение, 5 октября 1905 г., № 78–79).

⁷ См. напр.: *Гайденко П.П.* Под знаком меры // Вопросы философии, 1992, № 12.

«Образованный класс» или «интеллигентщина»?

Известно, что одним из главных посылов в исследовании П.Б. Струве проблематики «личной годности» стала тема роковой мутации русского образованного класса — в «интеллигентщину», что и повлекло за собой цепь катастрофических социальных потрясений. В своей наделавшей много шума «веховской» статье «Интеллигенция и революция» (1909) Струве связал этот процесс с «восприятием русскими передовыми умами западно-европейского атеистического социализма»⁸. В соответствии с таким пониманием, «первым интеллигентом» (а, следовательно, первым «антигероем» русской политической культуры) у Струве в «Вехах» оказался Михаил Бакунин: «Без Бакунина не было бы “полевения” Белинского, и Чернышевский не явился бы продолжателем известной *традиции* общественной мысли»⁹.

Этой, «интеллигентской», линии в русской культуре, по мнению Струве, противостояла другая — линия русского «образованного класса»: «Достаточно сопоставить Новикова, Радищева и Чаадаева с Бакуниным и Чернышевским для того, чтобы понять, какая идейная пропасть отделяет светочей русского образованного класса от светочей русской интеллигенции. Новиков, Радищев, Чаадаев — это воистину Богом упоенные люди, тогда как атеизм в глубочайшем философском смысле есть подлинная духовная стихия, которою живут и Бакунин в его окончательной роли, и Чернышевский с начала и до конца его деятельности»¹⁰.

Итак, именно в «Вехах» П.Б. Струве провел крайне ответственное различие двух, принципиально разных, по его мнению, направлений в русской мысли, которое есть различие отнюдь не историко-хронологическое: «Это не звенья одного и того же ряда, это *два по существу непримиримые духовные течения* (курсив мой. — А.К.), которые на всякой стадии развития должны вести борьбу»¹¹.

⁸ Струве П.Б. Интеллигенция и революция // Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 156. Разноплановая критика русской интеллигенции содержится в «Вехах» и в статьях Н.А. Бердяева, С.Л. Франка, С.Н. Булгакова, а также других участников сборника, но лишь у Струве — и это отметили и вполне оценили оппоненты — эта критика получила законченное концептуальное обоснование.

⁹ Там же.

¹⁰ Там же.

¹¹ Там же. Известно, что за эту весьма провокативную типологию русской культуры 39-летний Струве немедленно подвергся беспощадной критике, в том числе со стороны коллег по либерально-демократическому лагерю. Оппонентов, надо думать, особенно раздражило то, что сам Струве еще совсем недавно был апологетом русской интеллигенции и признавал за честь состоять в ее рядах (см. напр.: Милуков П.Н. Интеллигенция и историческая традиция // Интеллигенция в России. Сб. статей. СПб., 1910).

Особо отметим положительное отношение Струве в «Вехах» к фигуре А.Н. Радищева — это важно для последующего изложения. Противопоставляя Радищева — Бакунину, Струве, разумеется, имел в виду не степень их радикализма — она была высока у обоих. Но в отличие от «упоенного Богом» Радищева, Бакунин для Струве — во-первых, атеист, а во-вторых — социалист, и именно в этом для автора главная разница¹².

Однако к середине 1920-х гг. оценка Петром Струве Радищева меняется кардинальным образом, и теперь уже именно Радищев объявляется первым (вместо Бакунина) «антигероем» русской интеллигенции. В статье «Радищев и Пушкин», опубликованной в газете «Россия» в октябре 1927 г., существенно поправевший эмигрант Струве противопоставляет Радищева и Пушкина, как, ни много ни мало, представителей двух противоположных тенденций в русской культуре: «Вообще в истории русской культуры, быть может, не было людей, более различных по всей их природе, чем Радищев и Пушкин»¹³.

В чем же заключается это принципиальное различие? Струве подробно разъясняет: «Радищев чувствителен, слезлив, слабонервен, психопатичен... Наоборот, Пушкин, будучи подобно Гете, восприимчивым ко всем впечатлениям бытия, был, как и Гете, не только физически и душевно здоров, но и исключительно крепок»¹⁴. При этом Струве добавляет, что перечитав не так давно «Путешествие» Радищева (налицо, таким образом, не поверхностно-случайный, а специальный и глубокий интерес к проблеме), он «получил неотразимое впечатление, что как автор этого произведения, Радищев уже стоял на границе душевной болезни, в припадке которой он наложил на себя руки»¹⁵.

И далее Струве еще более обостряет свою концепцию о двух «психотипах» в истории русской образованности: «Радищев, как неврастеник, не только впадал в преувеличения, но и сам есть какое-то сплошное преувеличение. Пушкин же — воплощенная мера и мерность. Пользуясь тем различием, которое так метко обозначил сам же Пушкин, отличая “восторг” от “вдохновения”, можно сказать, что Радищев был человеком восторженным, а Пушкин — вдохновенным»¹⁶. Наконец, Струве формулирует финальный тезис, кардинально отличающийся от его ранних интерпретаций феномена

¹² Стоит добавить, что вполне позитивное отношение Струве к Радищеву просматривается и до «Вех», а также определенное время после их выхода. См., например, полемику с националистом А.С. Меньшиковым в работе «Клевета и на предков, и на Конституцию» начала 1908 г. (Струве П.Б. *Patriotica*. Политика, культура, религия, социализм. М.: Республика, 1997. С. 103).

¹³ Струве П.Б. Радищев и Пушкин // Струве П.Б. Дух и слово. Статьи о русской и западно-европейской литературе. Париж, 1981. С. 69.

¹⁴ Там же.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Там же. С. 70.

Радищева: «Радищев — отец русской интеллигенции и интеллигентщины». Пушкин же — «самый сильный, душевно и духовно здоровый, выразитель свободного от пут учений и лжеучений, творчески мощного русского национального духа»¹⁷.

Итак, новая концепция Струве относительно путей развития русского образованного сословия окончательно проясняется: будучи детищем Петра Великого, это сословие получает здоровое продолжение в пушкинской линии русской культуры; линия Радищева же — дефектное ответвление русской культурности, продуктом чего и становится феномен «интеллигенции». И основными проявлениями этой «болезни» для зрелого Струве являются уже не столько атеизм и социализм (Радищев, повторяю, не был выразителем ни того, ни другого), а отклонения, скорее, психические: избыточная чувствительность, тяга к преувеличениям, отсутствие меры, что неизбежно ведет к политическому радикализму.

Попутно заметим, что цитируемая статья Струве 1927 г. отбирает приоритет у Н.А. Бердяева, по недоразумению отданный ему невнимательными исследователями, — о том, что якобы именно он, Бердяев, является автором концепции «Радищев — первый русский интеллигент». Действительно, в «Истоках и смыслах русского коммунизма» (появившихся на английском языке в 1937 г., а на русском — лишь в 1955 г.) Бердяев писал: «Уже в XVIII в. начал зарождаться тип русской интеллигенции... Первым русским интеллигентом был Радищев, автор “Путешествия из Петербурга в Москву”. Слова Радищева: “душа моя страданиями человеческими уязвлена была” *конструировала тип русской интеллигенции* (курсив мой. — А.К.). Радищев был воспитан на французской философии XVIII века, на Вольтере, Дидро, Руссо. Но он не был антирелигиозного направления, как многие “вольтерианцы” того времени. Французские идеи преломились в русской душе прежде всего как сострадательность и человеколюбие»¹⁸. Эти фразы Бердяева, написанные, повторяю, в 1937 г., помимо прочего, окончательно дезавуируют противопоставление Петром Струве в 1909 г. «образованного класса» и «интеллигенции», как типологию *общевеховскую* (эта ошибка также кочует из работы в работу)¹⁹.

¹⁷ Там же.

¹⁸ Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990. С. 19.

¹⁹ Более того, слова Бердяева о «сострадательности и человеколюбии», как «конструирующих» признаках русской интеллигенции, и о Радищеве, как, соответственно, «первом интеллигенте», скорее напоминают аргументацию, развернутую против Струве в 1909 г. его критиками — П.Н. Милюковым, И.И. Петрункевичем, Н.А. Гредескулом... Не приходится, однако, сомневаться, что к 1937 г. Бердяев был прекрасно осведомлен, что его бывший соавтор по «Вехам» по крайней мере уже к 1927 г. принципиально уточнил свою «веховскую» трактовку русской интеллигенции.

Разумеется, возникает вопрос: *что конкретно* побудило П.Б. Струве так радикально пересмотреть в 1920-е гг. типологию течений в русском освободительном движении — по сравнению с «Вехами», где он и так уже достаточно далеко ушел «вправо» в своей критике левого радикализма? Несомненно, что эту эволюцию Струве проделал вслед за своим кумиром — А.С. Пушкиным. Будучи блестящим знатоком творчества Пушкина (об этом еще пойдет речь ниже), Струве, разумеется, знал что «Пушкин ценил и поэтический талант, и свободолюбие Радищева»²⁰.

«Правду, однако, сказать,— продолжает Струве,— Пушкин совсем по-иному любил свободу, чем Радищев», и в поздних суждениях Пушкина о Радищеве (речь, конечно, идет о таких работах Пушкина, как «Мысли на дороге» 1833–1835 гг. и о более поздней специальной статье «Александр Радищев», написанной весной 1836 г.) «чувствуется непрерывный протест здорового уравновешенного человека против преувеличений развинченно-чувствительного психопата»²¹.

«История с Радищевым» — показатель существенного уточнения Петром Струве критериев «личной годности» в эмигрантский период. Однако многие базовые характеристики, намеченные им еще в середине 1900-х гг., долгие годы так и остались неизменными.

Формирование концепции «личной годности»

Один из ближайших друзей и соратников П.Б. Струве, как в России, так и в последующий эмиграции, Семен Людвигович Франк, заметил однажды, что одним из «очарований личности» Струве «было сочетание в нем страстной убежденности, морального пафоса с широким, терпимым, снисходительным отношением к людям, с признанием законности многообразия индивидуальных дарований, призваний и склонностей»²².

Именно это внимание к «положительной ценности» каждого конкретного человека, добавляет Франк, исключало для Струве возможность быть «партийным человеком» в собственном смысле слова, «быть плененным какой-либо партийной узостью, односторонностью и пристрастностью». Любимым лозунгом Струве было: *«надо рассуждать по существу»*, что для него означало (опять цитирую Франка) «оценивать явления жизни и ценность

²⁰ Струве П.Б. Радищев и Пушкин. С. 69.

²¹ Там же. С. 69–70. Как представляется, прав В.К. Кантор, который полагает, что Пушкин отказался от ранней редакции своего «Памятника»: «вслед Радищеву восславил я свободу...» не только из цензурных соображений, а «уточняя свою поэтическую и политическую позицию» (см.: Кантор В.К. Откуда и куда ехал путешественник? «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева // Вопросы литературы, 2006, № 4).

²² Франк С.Л. Умственный склад, личность и воззрения П.Б. Струве. С. 480.

отдельных людей по их собственному внутреннему содержанию, по их объективной ценности — независимо от того, имеем ли мы дело с политическим другом или врагом». Франк вспоминал, что Струве «постоянно боролся против распространенной в русской либеральной и радикальной журналистике привычки без разбору высмеивать политических противников, высказывать о них огульные отрицательные или пренебрежительные суждения, а также применять разные мерилы моральной оценки к врагам и друзьям». Франку запомнилось, например, возмущение Струве, когда один из штутгартских сотрудников «Освобождения» грубо-пренебрежительно отозвался в одной из статей о литературных достоинствах консерватора М.Н. Каткова: идейно-политические расхождения не могли, согласно Струве, колебать качественные оценки масштабной личности. Франк вспоминал также, что и суждения Струве о личном составе русской правящей бюрократии (даже в эпоху юности, когда тот был ее бескомпромиссным оппонентом), всегда были строго индивидуальны: «Струве отчетливо различал в ней между людьми одаренными и бездарными, просвещенными и грубыми, добросовестными и недобросовестными. И такое же различие между людьми он делал позднее в оценке своих политических противников слева... Питая жгучую личную ненависть к Ленину, как натуре злобной и жестокой, он с почти благоговейным уважением отзывался о личности социал-демократки Веры Засулич»²³.

Создание основного смыслового каркаса концепции «личной годности» можно отнести к 1906–1907 гг. В статье, написанной на новый 1906-й год и опубликованной в «Русских ведомостях» в первом, новогоднем номере, Струве выдвинул важный тезис о том, что судьбу больших социальных событий в конечном счете определяет *тип человеческого поведения*. Согласно Струве, общественные катаклизмы очень часто провоцируют у людей утрату душевного равновесия и самоконтроля. Такая потеря самообладания может проявляться в двух, внешне несхожих, но в сущности *единых* в своей основе вариантах человеческого поведения. «Жестокие удары, обрушившиеся на нас, — пишет Струве, — могут одних, всегда плывущих по течению, привести к постыдной капитуляции, других — лишить всякого самообладания и довести до исступления. В сущности, эти различные по своим внешним проявлениям состояния *тождественны* (курсив мой. — А.К.), ибо они имеют один глубокий внутренний источник — утрату душевного равновесия»²⁴.

Струве, таким образом, нащупывает тему, которую потом будет многократно варьировать на протяжении всей дальнейшей творческой биографии. Россия, согласно его умозаключению, страдает не только, а подчас и не столько от консервативной негибкости, апатии и конформизма, сколько

²³ Там же.

²⁴ Струве П.Б. Накануне Нового (1906) года // *Patriotica*. С. 15.

от ложного активизма — самонакрутки и самоисступления, иногда искусственно спровоцированных и нагнетаемых. Но размах и горячность — вовсе не признак силы: «Бывают исторические моменты, когда сила может быть только в холодном самообладании, в выдержке, в упорстве, когда размах обнаружил бы только слабость»²⁵. Здесь, как мне кажется, уже намечается тот основной круг личностных человеческих качеств, который впоследствии будет представлен Струве как эталонный набор «личной годности»: «холодное самообладание», «выдержка», «упорство»...

Практически никто из исследователей творчества Струве не написал еще подробно о том, что разработка им концепции «личной годности» в известном смысле была результатом глубокой самокритики и переоценки собственной роли в освободительном движении и привычных методов борьбы с режимом. В статье «Русская идейная интеллигенция на распутье», опубликованной в «Полярной звезде» в конце января 1907 г., Струве фактически пишет о *своем личном распутье*, на котором он сам находился еще совсем недавно. «Политическая мысль интеллигенции наивна еще в том отношении, что ей чужда идея политической ответственности... Кому не чужда политическая ответственность, тот не станет вкладывать в свою политическую проповедь всё, что он лично считает правильным, независимо от того, как отразится в умах слушателей или читателей такая проповедь и какие реальные плоды она может дать»²⁶.

Действительно, нельзя не признать, что совсем недавно сам Струве, согласно его же типологии, был типичным «интеллигентом». Но теперь, в начале 1907 г., сделав выводы из прошедшей революции, он мыслит принципиально иначе: «Сознание политической ответственности свидетельствует не о беспринципности, а, наоборот, о чрезвычайно строгом, принципиально-моральном отношении к политической деятельности... Более высокая степень политического понимания обуславливает более высокую мораль политической деятельности»²⁷.

Особую роль в формировании струвистской концепции «личной годности» сыграл цикл «Размышлений о русской революции», печатавшийся зимой 1907 г. в «Русской мысли». Ключевой здесь стала первая статья, в которой Струве в качестве своеобразного камертона использовал стихи своего друга М. А. Волошина, в частности, его блестящее «Народу русскому: я — скорбный ангел мщения...». Акцентировав внимание на волошинской строке: «Один ты видишь свет. Для прочих он потух...», Струве увидел в ней поэтический ключ к расколдованию всей порочности и бесперспективности недавних

²⁵ Там же.

²⁶ Струве П. Б. Русская идейная интеллигенция на распутье // *Patriotica*. С. 16.

²⁷ Там же. С. 16–17.

«революционных событий», прошедших под знаком высокомерного сознания всеми действующими лицами «личной и групповой непогрешимости»²⁸.

Ведь, по мысли Струве, именно «сомнение в своей абсолютной личной правоте или непогрешимости есть основа человеческого отношения к другим людям и соглашения с ними. Там, где отсутствует эта основа, открывается простор для пожирания одних людей другими, сперва идейного, а потом и фактического». В русской же практике «соглашение, или компромисс, недоступен больным политической злобой, насквозь пропитанным “хмельной отравой гнева” (еще одно выражение из Волошина.— А.К.) душам»²⁹.

Центральной публикацией П.Б. Струве на тему «личной годности» является статья «Интеллигенция и народное хозяйство», появившаяся в «Слове» поздней осенью 1908 г., а затем перепечатанная в «Русской мысли»³⁰. Струве сразу оговаривается, что материалом работы явилось «всё перечувствованное и передуманное за последние пять лет». По его мнению, было бы ошибочно думать, что пережитые Россией годы были «только политическими», и что, соответственно, страна нуждается «только в политическом поучении, в политических выводах». «Чисто политическая точка зрения пока бесплодна», отмечает Струве, и, хотя случившаяся трансформация на основе Манифеста 17 октября 1905 г. есть «огромный принципиальный шаг вперед в политическом отношении», Россия столкнулась с совершенно иными проблемами — *проблемами культурными*. Если раньше, отмечает Струве, можно было говорить о том, «что никакой культурный прогресс невозможен без решительного, принципиального политического разрыва с прошлым», то теперь «так же решительно можно утверждать, что никакой политический шаг вперед невозможен вне культурного прогресса; без такого прогресса всякое политическое завоевание будет призраком, будет висеть в воздухе»³¹.

Прочный правовой порядок в России до сих пор не обеспечен, констатирует Струве, но «всё свести к критике правительства, значило бы безмерно преувеличивать значение данного правительства и власти вообще». Источник «неудач, разочарований и поражений», постигших Россию, лежит, по его мнению, гораздо глубже: «Даже если бы каким-нибудь чудом политический вопрос оказался разрешенным, решение его лишь более выпукло выдвинуло бы значение другой, более глубокой задачи. Это значит: общество

²⁸ Струве П.Б. Из размышлений о русской революции. 1. «Современность» и «элементарность» русской революции // *Patriotica*. С. 25.

²⁹ Там же. С. 25–26.

³⁰ Такое дублирование, нечастое для Струве, подчеркивает значение, которое он сам придавал этой статье. См.: Струве П.Б. Интеллигенция и народное хозяйство // *Patriotica*. С. 202–208.

³¹ Там же. С. 202.

должно задуматься над самим собой. Мы переживаем идейный кризис, и его надо себе осмыслить во всем его национальном значении»³².

Согласно Струве, в России в ходе революции «потерпело крушение целое миросозерцание, которое оказалось несостоятельным». Основами этого миросозерцания, по его мнению, были две идеи: идея личной безответственности и идея равенства³³. И далее Струве разворачивает принципиально новую в обществоведении аргументацию, венцом которой и становится концепция «личной годности».

«В основе всякого экономического прогресса лежит вытеснение менее производительных общественно-экономических систем более производительными. Это не общее место, а очень тяжеловесная истина... Более производительная система не есть нечто мертвое, лишенное духовности. Большая производительность всегда опирается на более высокую личную годность. А личная годность есть совокупность определенных духовных свойств: выдержки, самообладания, добросовестности, расчетливости. Прогрессирующее общество может быть построено только на идее личной годности, как основе и мере всех общественных отношений»³⁴.

Струве отмечает, что в русской революции идея «личной годности» была «совершенно погашена»: «Она была утоплена в идее равенства безответственных личностей. Идея личной безответственности есть прямая противоположность идее личной годности. Я требую того-то, и того-то, совершенно независимо от того, могу ли я оправдать это требование своим личным поведением, во имя равенства всех людей — говорит идея личной безответственности. Я требую того-то, и того-то, и берусь оправдать это требование своим личным поведением — говорит идея личной годности. Эти противоположения могут показаться отвлеченными, но мы с болью в сердце наблюдали и наблюдаем их значение в русской действительности»³⁵.

³² Там же.

³³ Там же.

³⁴ Там же. С. 203.

³⁵ Там же. При этом Струве оговаривается, что нарочно избегает в своей аргументации слова «социализм», хотя «идея безответственного равенства часто проповедовалась и проповедуется и на Западе, и у нас под этой популярной кличкой»: «Дело тут в идеях не как отвлеченных построениях, а как живых силах. Если идея личной годности есть идея “буржуазная”, то я утверждаю, что всякий хороший европейский рабочий — органический “буржуа”, который в своем поведении так же не может отрешиться от этой идеи, как человек вообще не может разучиться передвигаться на двух ногах» (там же). Догадка Струве о том, что идея «личной годности» — универсальна и гораздо более фундаментальна, чем разделение обществ на «социалистические», «буржуазные» и пр., полностью подтвердилась и посткоммунистическим развитием России. Человеческая «негодность» и «безответственность» перебороли в России не только «социализм», но и тот странный «капитализм», который пришел ему на смену.

В 1906–1908 гг., в условиях массовой общественной дезорганизации и дезориентации, когда одна часть общества, выражаясь словами Струве, находилась в ситуации «постыдной капитуляции», а другая — всё еще пребывала в эйфории «революционного исступления», Струве начинает предъявлять обществу человеческие примеры подлинной «личной годности». Увы, поводом для этого, как правило, являлись печальные факты ухода из жизни этих образчиков гражданского поведения.

Семен Франк в своей известной статье об «умственном складе» Струве заострил внимание читателей на этом принципиальном увлечении своего друга — интересе Петра Бернгардовича к отдельным людям, стремлении максимально глубоко вникнуть в индивидуальную человеческую психологию. В этой связи Франк отмечает, что «жанр некрологов» отвечал глубочайшей потребности Струве не только почтить память ушедших, но и предъявить современникам, пребывавшим в состоянии глубокого психологического стресса, назидательные уроки конструктивного и порядочного человеческого поведения. Франк вспоминал: «В “Русской мысли” он (Струве.— А.К.) завел особый ежемесячный отдел некрологов, который он составлял сам, поминая жизнь и деятельность иногда до десяти людей, скончавшихся в истекшем месяце. Он очень дорожил такой биографической работой; когда однажды в редакции возникли сомнения в надобности этого отдела некролога, он горячо воскликнул: “Нет, уж оставьте мне моих покойников”»³⁶.

Примеры «личной годности»: Герценштейн, Корсаков, Гейден

18 июля 1906 г. в Териоках, недалеко от Выборга, был убит черносотенцами депутат распущенной Первой Думы от кадетской партии Михаил Яковлевич Герценштейн — талантливый экономист, финансист и политик. 20 июля П.Б. Струве опубликовал некролог в «Русских ведомостях», где ярко обрисовал всю глубину общественной потери: «Есть что-то бессмысленно-роковое и ужасное в том, что первой жертвой политического фанатизма, распаленного бесславленным торжеством реакции, пал именно такой человек...». Струве справедливо отнес Герценштейна к числу тех сограждан, которые были «так нужны для великой только еще начинавшейся строительной работы»: «Это был настоящий спокойный и в то же время не равнодушный, а стойкий до упорства мудрец... Среди всеобщего возбуждения, среди поголовной нервности поражала и в то же время ободряла его *спокойная ясность и твердость*. Верный себе, он *оставался одинаково чужд и трусливого пессимизма, и мечтательного оптимизма*» (везде курсив Струве.— А.К.). Сила людей, подобных Герценштейну, согласно Струве, «заключается в положительной

³⁶ Франк С.Л. Умственный склад, личность и воззрения П.Б. Струве. С. 478.

работе, в творчестве, а не в критике и не в отрицании. Он рвался к этой положительной работе, и чисто политическая борьба была для него тяжелым долгом»³⁷. «Спокойствие», «стойкость», «ясность», «твердость» — эти человеческие качества на многие годы составят костяк струвистских критериев «личной годности».

Первая половина 1907 г. принесла новые утраты в когорте людей, единых со Струве «человеческой породы». 8 мая 1907 г. скончался Павел Асигкритович Корсаков — хорошо знакомый Струве старейший деятель тверского земства, одно время влиятельный прогрессивный чиновник (уволенный от должности за подписание «земского адреса» новому царю Николаю II), ставший в конце жизни руководителем крупного банковского учреждения. Вот это совмещение либерального мировоззрения и деловой практической хватки особенно привлекало Струве в людях, подобных Корсакову. «Часто мне приходилось слышать отзывы о П.А. Корсакове, в особенности после того, как он стал банковским деятелем, как о типичном “буржуа”, — писал в некрологе Струве. — Я думаю, что покойный не отрекся бы от этого прозвища; скорее он подхватил бы его и присвоил себе. И, я думаю, он был бы прав. Он был “буржуа” в том смысле, в котором известные “буржуазные” черты неотъемлемы от всякой культуры, основанной, с одной стороны, на дисциплине и личной ответственности, а с другой стороны — на стремлении к наивысшей производительности труда. А может ли быть какая-нибудь культура вне этих начал?»³⁸. Итак, такие качества как «дисциплина», «личная ответственность», «стремление к наивысшей производительности труда» встают в ряд характеристик, определяющих, согласно Струве, идеальный для современной ему России тип человеческой личности.

15 июля 1907 г., в ходе заседаний земского съезда, в Москве внезапно скончался граф Петр Александрович Гейден — бесспорный лидер общероссийского земского движения. Струве, полагавший политическое поведение Гейдена в годы революции практически безупречным, откликнулся на эту кончину некрологом в «Русской мысли». «Смерть графа П.А. Гейдена, — писал он, — произвела сильнейшее впечатление в самых широких кругах русского общества. Почувствовалось, что ушел человек, в котором с удивительной красотой и законченностью сочетались свойства и черты, драгоценные для нашего времени»³⁹.

По словам Струве, передовая российская общественность с «неподдельным восхищением и глубочайшим уважением» следила за деятельностью этого «благородного старца» — «всегда твердого и всегда деликатного, всегда

³⁷ Струве П.Б. Памяти М.Я. Герценштейна // *Patriotica*. С. 21–22.

³⁸ Струве П.Б. Памяти А.А. Бакунина и П.А. Корсакова // *Patriotica*. С. 50.

³⁹ Струве П.Б. Граф П.А. Гейден // *Patriotica*. С. 36.

прямого и всегда сдержанного». Сначала на посту Президента Вольного экономического общества, а затем во главе немногочисленной умеренно-либеральной фракции в Первой думе, П.А. Гейден явил себя образцом особого человеческого стиля: «У графа Гейдена был действительно во всем его существе тот стиль свободы и независимости, который делал непереносимым для него всякий рабий образ и всякое хамство. Его одинаково отталкивали и холопство толпы, и хамство революционно-интеллигентское, и хамство помещичье, бюрократическое... В современном кризисе нужны эти люди, которые в политическом движении являются представителями разума и меры, твердости и сдержанности»⁴⁰.

Проблема «отрицательного отбора»

В первом номере центристского «Московского еженедельника» за 1908 г. Струве опубликовал принципиальную статью под названием «Культура и дисциплина». В ней он постарался проанализировать причины поражения русской революции и пришел к выводу, что они кроются в том, что русское общество, «вдвинутое» в революционные катаклизмы, было лишено сложившихся механизмов поддержания культуры и дисциплины. «Дисциплина для личности и общественных групп означает сознательное подчинение известным общеобязательным нормам, вытекающим из существа той или другой объективной культурной задачи. Там, где жива идея дисциплины, там невозможно, чтобы студенты командовали профессорами; чтобы рабочие “явочным порядком” выбрасывали и упраздняли предпринимателей (что есть не социализм и даже не классовая борьба, а хулиганство); чтобы во главе людей стояли те, кто умеют к ним подлаживаться и им льстить, а не те, кто знает надлежащий путь и смело указывает его»⁴¹.

Поэтому политические процессы в России по сравнению с устоявшимися обществами Запада протекают принципиально иным образом:

⁴⁰ Там же. С. 37. На уникальность личности графа Гейдена указал в своем печальном отклике на его смерть даже такой его политический «оппонент слева», как П.Н. Милюков: «Фигура редкого благородства, с кристальной чистотой помыслов... Этот высокий, стройный старик с лицом методистского проповедника оказался драгоценным, редким продуктом высшей культуры, случайно свалившемся в самый сумбур русской жизни с какой-то чужой планеты... Провести эти горячие годы в самом пекле политической борьбы и выйти из нее без малейшей царапины, — это счастье, которое достается немногим...». Как видим, если Милюков считает феномен Гейдена — «драгоценной случайностью», то Струве склоняется к оценке графа как «образцового гражданина», но при этом лидера определенного — либерально-консервативного — направления в русской культуре. Подробнее об откликах на смерть гр. Гейдена, в том числе о позорной — иначе не назовешь — статье В.И. Ульянова-Ленина «Памяти Гейдена», см.: *Шевырин В.М.* Рыцарь российского либерализма. Граф Петр Александрович Гейден. М., 2007.

⁴¹ *Струве П.Б.* Культура и дисциплина // *Patriorica*. С. 88.

«В обществе, в котором есть дисциплина политического поведения, максимум политического авторитета для “толпы” приобретали такие люди, как Гладстон и Дизраэли; в обществе, в котором отсутствовала всякая тень подобной дисциплины, максимум авторитета доставался у “толпы” на долю Гапонов и Аладьиных»⁴².

Эту же тему Струве развил в своих «Размышлениях на политические темы» в мае 1909 г. в газете «Слово». По его мнению, закономерностью русского освободительного процесса является постоянное сетование на «отсутствие талантливых вождей». «В этом обвинении, продолжает Струве, интересно полное извращение истинного соотношения между “ведущими” и “ведомыми” в эпоху русской революции. Кто имел в русском освободительном движении наибольшее личное обаяние и, в силу того, мог иметь наибольшее влияние и сконцентрировать в себе наибольшую сумму авторитета? Именно люди, которые имели наименьшие права на авторитет. Русская “толпа” ... сама создавала себе авторитеты. Не подчинялась авторитету, как некоему объективному превосходству, а превращала в авторитет то, что угождало и “служило” ей, толпе. Вот почему до 17 октября (1905 г.— А.К.) единственным действительно влиятельным человеком в массовом народном движении был Гапон. Вот почему самым популярным в широких кругах деятелем первой Думы был г. Аладьин»⁴³.

Напротив, люди по-настоящему политически талантливые (и именно поэтому чаще всего умеренные и независимые) почти всегда отвергаются толпой — по причине их мнимой «реакционности». «“Реакция”, “реакционер”, — пишет Струве, — значит, его нечего слушать не только теперь, но и вообще. В стадном обществе действия всякой смелой, дерзающей мысли необычайно легко пресекаются такими обвинениями... При той бесшабашной легкости, с которой у нас раздаются и воспринимаются широкой публикой подобные политические аттестации, смелые и независимые люди попадают в “подозрение», а люди, умеющие думать и говорить так, как это нравится “большинству собрания», люди, мыслящие и чувствующие в меру настроения толпы, становятся авторитетами и вершителями. Т. е. в корне извращается и подрывается та духовная и моральная основа, на которой может держаться авторитет как нечто здоровое и законное... — истинный, а не облыжный»⁴⁴.

Именно эта хроническая «неспособность к качественным оценкам людей», а вовсе не «нехватка людей» обуславливает отсутствие в России

⁴² Там же. С. 88–89.

⁴³ Струве П.Б. Размышления на политические темы. XII. «Общественная реакция» или борьба с реакцией? Призыв к покаянию или призыв к собиранию сил? // *Patriotica*. С. 137–138.

⁴⁴ Там же. С. 137.

подлинных, а не мнимых лидеров: «“Толпа” не умела ни различать, ни признавать истинного авторитета. Именно в этом сказалась политическая и, вообще, духовная незрелость всего народа, и в том числе интеллигентного общества. В дни свобод такого человека, как Д.Н. Шипов, в широких кругах трактовали едва ли не как реакционера... В обществе с таким духовным складом выдвигать... обвинения в “реакционности” значит не только увековечивать его верхоглядство, но и всячески поддерживать в нем черту, которая оказалась едва ли не самой пагубной для торжества новых государственных порядков»⁴⁵.

Констатируя склонность русской радикальной общественности призывать на лидерские роли «фатально негодных» людей, Струве, помимо предъявления обществу примеров подлинной «годности», начинает не менее важную параллельную работу — вскрытие механизмов «отрицательного отбора» в русском социуме, демифологизацию крайне опасных для дела русской свободы «ложных авторитетов». Рассматривая ретроспективно эту вторую сторону струвистской концепции «личной годности», можно вычленил в рассуждениях Струве *трех исторических деятелей*, которых он наиболее часто приводит в качестве примеров «отрицательного отбора». Выбор этих персонажей глубоко закономерен: каждый из них сыграл по-своему выдающуюся (хотя и в глубоко негативном смысле) роль в определенных исторических фазах русского развития, значимых как для России в целом, так и лично для Струве. Это: Георгий Аполлонович Гапон, руководитель петербургского рабочего движения 1904–1905 гг.; Борис Викторович Савинков — лидер антибольшевистской борьбы; Владимир Ильич-Ульянов Ленин — вождь большевиков и глава советского правительства⁴⁶.

Примеры «отрицательного отбора»:

Георгий Гапон

Фигура Георгия Аполлоновича Гапона была, по существу, первой значимой фигурой, олицетворившей для Струве его идею «отрицательного отбора». Вообще, оценка Гапона его современниками из оппозиционного правительству лагеря претерпела со временем разительную трансформацию. Если на волне популярности и влияния Гапона среди питерских рабочих, самые разные силы — социал-демократы, социалисты-революционеры,

⁴⁵ Там же. С. 138.

⁴⁶ В качестве «негодного», «ложного» лидера часто упоминался Струве в 1906–1907 гг. и Алексей Федорович Аладьин — лидер радикалов из «трудоу группы» в Первой Думе, популярный думский оратор демагогического склада. Представляется, однако, что имя «Аладьин» было для Струве неким собирательным образом для характеристики целой группы перводумцев-радикалов, куда, помимо Аладьина, входили также депутаты Жилкин, Аникин др.

деятели «Союза Освобождения» — наперебой хвалили его, стремились завлечь в свои ряды, любыми способами «отбив» у конкурентов (в этом деле «отметились» Горький, Ленин, Чернов и др.), то после падения и гибели священника-расстриги те же самые люди начали наперегонки очернять Гапона, подчеркивая собственный приоритет в разоблачении его «ничтожности» и «продажности»⁴⁷.

Сам П.Б. Струве неоднократно отмечал, что он неплохо лично знал Гапона, и в разные периоды им приходилось «подолгу беседовать»⁴⁸. Нет сомнений и в том, что достаточно долгое время Струве, возглавлявший радикальный фланг «Союза Освобождения», очень рассчитывал на Гапона, находившегося в тесном контакте с Петербургским отделением «Союза» — с его лидерами Е.Д. Кусковой, С.Н. Прокоповичем, В.Я. Яковлевым-Богучарским, с которыми бывший за границей Струве, в свою очередь, находился в постоянной переписке. Известно также, что политические разделы гапоновской петиции царю 9 января 1905 г. были написаны именно членами «Союза освобождения», а само шествие, которое организовал и вел за собой Гапон, было воспринято всеми как еще одна манифестация «Союза» Освобождения, одним из следствий чего был арест полицией его руководителей⁴⁹.

По мнению Р. Пайпса, Струве воспринял январские события в Петербурге как *большую личную победу*: «То, что Союзу Освобождения удалось убедить единственную легально функционировавшую рабочую организацию включить в свою петицию требование политической свободы, тем самым выразив согласие совместно с другими социальными классами участвовать в создании конституционного правительства, стало его величайшей, единственной в своем роде победой. Сбылись самые смелые ожидания Струве: весь народ — от аристократа славянофила до простого рабочего — встал под знамена политической свободы. Это был триумф его программы и его стратегии: все классы и практически все партии страны поняли, что свобода является неперенным условием жизни. Достижение ее перестало быть абстрактной идеей, с которой носились “обуржуазившиеся” помещики, и стало целью всего народа»⁵⁰.

⁴⁷ Опубликованные документы, исходящие в том числе от высокопоставленных сотрудников императорских спецслужб, убедительно свидетельствуют о том, что контроль этих спецслужб над Гапоном был утерян уже ко второй половине 1904 г., и события «кровавого воскресенья» 9 января 1905 г. явились для них полной неожиданностью. (См., напр.: Герасимов А.В. На лезвии с террористами // Охранка. Воспоминания руководителей охранных отделений. М., 2004, т. 2. С. 161–163).

⁴⁸ Струве П.Б. Размышления на политические темы // *Patriotica*. С. 138.

⁴⁹ См.: Пайнс Р. Струве: левый либерал. С. 521–522.

⁵⁰ Там же. С. 522.

По свежим следам январских событий Струве опубликовал «гапоновско-освободительную» петицию в своем «Освобождении»⁵¹ и лично писал передовицы с осуждением царской расправы над рабочими. «Народ шел к нему, народ ждал его. Царь встретил свой народ. Нагайками, саблями и пулями он отвечал на слова скорби и доверия. На улицах Петербурга пролилась кровь, и разорвалась навсегда связь между народом и этим царем... Он сам себя уничтожил в наших глазах — и возврата к прошлому нет. Эта кровь не может быть прощена никем из нас... Возмездием мы освободимся, свободой мы отомстим...» — эти слова из «освободительной» статьи Струве⁵² не только по смыслу, но порой и текстуально совпадают с прокламациями самого Гапона, распространяемыми после «Кровавого воскресенья».

Струве продолжал делать ставку на Гапона и в последующие месяцы. Когда летом 1905 г. тот через своих эмиссаров в России принялся за создание новой организации, которую предполагалось назвать «Всероссийским рабочим союзом», Струве активно поддержал это начинание. В июле 1905 г. он писал в Петербург С.Н. Прокоповичу: «Следует, не теряя времени, приехать за границу для переговоров и соглашения с Гапоном и основания совместно с ним рабочей партии и начертания плана компании. Это станет крупным делом и его нужно как можно скорее подвинуть вперед»⁵³.

То, что после поражения революции Струве стал давать Гапону, своему бывшему тактическому союзнику, самые отрицательные характеристики, было признанием его — Струве — личного поражения и в известном смысле его покаянием за былое «искушение успехом любой ценой». Струве вынужден был признать: «Это был человек при всей своей сметливости духовно совершенно ничтожный и глубоко бесчестный. Но в итоге встреч с этой любопытной “исторической фигурой” я понял и теперь совершенно ясно вижу, что не вопреки отмеченным свойствам, а именно *благодаря* им он в свое время явился авторитетом и приобрел такое влияние на умы»⁵⁴.

⁵¹ Освобождение, № 65, 27 января 1905 г.

⁵² Струве П.Б. Палач народа // Освобождение, № 64, 12 января 1905 г.

⁵³ См.: *Потолов С.И.* Георгий Гапон и российские социал-демократы в 1905 г. // Социал-демократия в российской и мировой истории. М., 2009; *Потолов С.И.* Георгий Гапон и либералы (новые документы) // Россия в XIX–XX вв. Сб. статей к 70-летию со дня рождения Р.Ш. Ганелина. СПб, 1998.

⁵⁴ Струве П.Б. Размышления на политические темы. XII. «Общественная реакция» или борьба с реакцией? Призыв к покаянию или призыв к собиранию сил? // *Patriotica*. С. 138. И позднее, в эмиграции, Струве не раз вновь и вновь поражался тому обстоятельству, что первым в русской истории вывести рабочие массы русской столицы на улицы — «факт, огромный и сам по себе и по своим последствиям» — удалось священнику Гапону, которого сам Струве знал, как «малоинтересное ничтожество». (См. напр.: *Струве П.Б.* По поводу выступления г. Бадьяна // Струве П.Б. Дневник политика (1925–1935). М. — Париж, 2004. С. 172)

Примеры «отрицательного отбора»: Борис Савинков

Подобно тому, как Георгий Гапон явился несомненным лидером самого известного и массового выступления петербургского пролетариата, так у антибольшевистской борьбы появился свой «герой», глубоко взволновавший умы современников, и среди них — Петра Струве. У Бориса Викторовича Савинкова, как известно, были свои ярые почитатели: от четы Дмитрий Мережковский — Зинаида Гиппиус и вплоть до поэта Максимилиана Волошина, который предрекал Савинкову «чрезвычайную роль в окончании русской смуты». С другой стороны, было у Савинкова немало недоброжелателей и врагов, в том числе и в эмиграции, часто формировавшей свои политико-эстетические предпочтения на «духе отрицания». Так, Георгий Адамович, критически оценивая литературные опыты Савинкова, укорял его в «обмельчавшем байронизме», а Владислав Ходасевич, «в пику» нелюбимой им Гиппиус (литературной покровительнице Савинкова и автору его литературного псевдонима «Ропшин»), писал, что в эмигрантских стихах Савинкова-Ропшина «трагедия террориста низведена до истерики среднего неудачника»... Пытаясь преодолеть клановую ангажированность эмигрантских партий, П.Б. Струве в ряде работ попытался сформировать по возможности объективистский взгляд на «феномен Савинкова» в русле созданной им концепции «личной годности».

Струве и Савинков были знакомы: сначала по совместной работе в октябре 1917 г. во Временном Совете Российской Республики (Предпарламенте), а затем — гораздо более тесно — в конце 1917 г. на Дону, в ближайшем окружении генералов Корнилова, Алексеева, Каледина. Тесное общение было продолжено в Москве весной-летом 1918 г., когда они оба работали в подпольных антибольшевистских группах. «Я не раз ходил с ним по Москве и участвовал в ряде важнейших практических совещаний, — вспоминал Струве. — Нас обоих в два счета могли поставить “к стенке”»⁵⁵. Через некоторое время, уже в Париже, Струве и Савинков начали активное сотрудничество в рамках эмигрантских антисоветских организаций⁵⁶.

По мнению П.Б. Струве, загадка личности Савинкова (как и его последующей трагической гибели) состояла в том, что тот, будучи «весьма одаренным, и одаренным именно активностью», вовсе не имел «железной воли». А потому он «никогда не мог окончательно-несдвигаемо уяснить для себя вопрос: *«революция или Россия?»*» (курсив Струве. — А.К.). Именно потому, что Савинков вовсе не обладал «железной волей» (все рассказы об этом, по мнению Струве, есть вымысел по преимуществу), он «не мог обуздать своего

⁵⁵ Струве П.Б. Дневник политика. С. 21.

⁵⁶ См.: Пайнс Р. Струве: правый либерал. С. 346–347, 364.

непомерного честолюбия» и совершить действительно волевой и мужественный акт — «пойти прямо и просто за Корниловым»⁵⁷. Воля, мужество, ответственность, согласно Струве, в конечном счете проявляются не в показной и brutальной решительности, а, напротив,— в самообуздании и самоконтроле. У Савинкова же «была неутолимая жажда личного значения и влияния, ненасытная тяга к первой роли, и поэтому, как это часто бывает, он не получил того значения и не сыграл той роли, которые могли бы ему достаться, если бы он их не... искал»⁵⁸.

К размышлениям о Борисе Савинкове Струве вернулся в связи со смертью в эмиграции Н.В. Чайковского — старейшего русского народника, впоследствии активного участника антибольшевистской борьбы, одно время тесно сотрудничавшего с Савинковым. Интересно было наблюдать Чайковского, писал Струве в некрологе, рядом с формально «близким» ему Савинковым: «Трудно представить себе более различных по душевному складу людей». Если «уважающий культуру и тянувшийся к религии» мечтатель-демократ Чайковский, согласно Струве, «был простым и простодушным человеком, и поэтому ему была присуща та мудрость, которая не дает человеку быть упростиателем», то в самолюбивом Савинкове «не было ни грана простодушия»: «Он весь был себялюбие и расчет, с налетом не мечтательного утопизма, а, если угодно, жестокой фантастики». Струве было трудно представить, как незадолго до собственной смерти Чайковский воспринял известие о гибели Савинкова в большевистской Москве: «Быть может, только тогда, когда эта бурная и ослепительная жизнь так завершилась, Николай Васильевич понял, как его простая душа была далека от сложной, себялюбивой душевной извилистости Савинкова»⁵⁹.

А в статье «Нетерпение или активная выдержка», опубликованной первоначально в июне 1926 г. в «Возрождении», Струве опять возвращается к фигуре Савинкова и проблеме «ложного активизма». «Задача непосредственного политического действия в деле борьбы с угнетающим Россию III Интернационалом, — писал Струве, — бесконечно трудна. Она требует сочетания величайшей активности с величайшей *выдержкой*... Трудности нашего положения сейчас, трудности активной борьбы состоят вовсе мне в простом отсутствии активности с чьей-либо стороны, а в объективной сложности и трудности той обстановки, в которую поставлены действенные души и активные силы. Не в косности, не в вялости чьей-либо тут дело, а в трудности самой задачи»⁶⁰.

⁵⁷ Струве П.Б. Дневник политика. С. 21.

⁵⁸ Там же.

⁵⁹ Струве П.Б. Памяти Н.В. Чайковского // Дневник политика. С. 114.

⁶⁰ Струве П.Б. Нетерпение или активная выдержка // Дневник политика. С. 124–125.

Вот почему, полагает Струве, задачей «непосредственного политического действия» является не прямолинейный активизм, а «подбор личных сил»: «Не все, кто призывает к действиям, к сожалению, годны для них. Какие огромные надежды и иностранцы, и очень широкие русские круги возлагали на энергию и способности Б.В. Савинкова, и как они глухи были к нашему скептицизму в отношении к этому весьма одаренному, обладавшему действительно огромной энергией и исключительным опытом в непосредственном политическом действии человеку! Те, кто верили в Савинкова, просто не имели известного, необходимого для подбора личных сил “чувства”. Они не ощущали, не осязали, что в Савинкове не было обязательного в наши дни морально-психологического станового хребта, того духовного стержня, на котором не может не держаться в наше время стойкое политическое действие. Они не обоняли того глена, который был в Савинкове и который сочетался в нем и со “старорежимным” восприятием политической борьбы наших дней»⁶¹.

И Струве делает важный вывод, а точнее почти дословно повторяет свою догадку, сделанную еще в России на материале «первой революции»: «В русской общественности всегда пагубно отражался один основной, необыкновенно стойкий порок: неспособность качественной расценки людей. Когда-то я об этом писал, имея в виду расцветшую на моих глазах и постыдно канувшую фигуру Гапона. Для той современной борьбы, которую в бесконечно трудных условиях должна вести национальная Россия, сугубо важна правильная расценка людей. Она важна не только потому, что предлежащая задача объективно трудна. Она важна и ответственна еще и потому, что в трудных условиях и зарубежного существования, и того ужасающего гнета, под которым живет Внутренняя Россия, невозможны легкомысленные опыты с людьми, необходимо точное знание их объективной ценности, их личной годности и личной стойкости»⁶².

Наконец, Струве подробно пишет о Савинкове в начале 1928 г. в статье «Действительность и условия ее успеха. Некоторые морально-политические уроки», опубликованной в газете «Россия». Ему (как и очень многим в эмиграции), по всей видимости, по-прежнему не дает покоя тот факт, что «в новейшее время», после гражданской войны был «только один опыт активной революционной борьбы против большевиков, опыт более или менее законченный, отошедший в историю и потому подлежащий обдумыванию и обсуждению с общих точек зрения. Это — действительный опыт Савинкова»⁶³.

⁶¹ Там же. С. 125.

⁶² Там же. С. 125–126.

⁶³ Струве П. Б. Действительность и условия ее успеха. Некоторые морально-политические уроки // Дневник политика. С. 376.

«Вне всякого сомнения, в очередной раз повторяет Струве, Савинков был не только умный и даровитый человек, это был умный и опытный заговорщик. В нем было много той предприимчивости и “выдумки”, которые необходимы для того, чтобы творить “авантюры”»⁶⁴. Но хотя «авантюра» есть «необходимый элемент заговорщической деятельности», Савинков, по мнению Струве, обладал авантюризмом особого типа: «Авантюризм, будучи, так сказать, формально — психологическим условием и необходимой оболочкой заговорщической политической работы, таит в себе большую опасность. Из условия и орудия работы он может превратиться в основную, задающую тон, поглощающую стихию этой работы; из психологической оболочки — стать душевным ядром или осью, вокруг которой начинает вращаться личность. Это и случилось с Савинковым»⁶⁵.

Но помимо этих качеств, которые «извращали всю контрреволюционную работу Савинкова, отрывая его от живых источников новой, рожденной крушением исторической России, патриотической энергии», — в его личности, по мнению Струве, «был один огромный порок, который становился все явственнее по мере того, как он внешне отрывался от своей прежней революционной среды, не будучи... способен внутренне-душевно пристать к новой, контрреволюционной белой среде». Струве пишет: «Савинков по своей натуре был лишен нравственного пафоса и морального стержня. Он был самолюбив и честолюбив. Это не беда, и даже для крупных исторических деятелей известная доза самолюбия и честолюбия есть необходимое *осоление* их общественного призвания и творчества. Но никогда ни один общественный деятель не может безнаказанно и для дела, и для своей роли в нем превращать себя из орудия объективной высшей задачи в ее цель и венец»⁶⁶.

«В каких бы условиях не производилась политическая работа, делает важный вывод Струве, в удушливом ли предбурье скрытой или в бушующем урагане открытой гражданской войны, на относительно ли мирном и плавном ходу государственного корабля или же в перипетиях внешних столкновений народов — такая политическая работа должна быть не только на словах, но и на деле подчинена началу служения. Ни монарх, ни революционер не могут безнаказанно переставать быть слугами своего призвания и своей задачи и становиться их господами. В контрреволюционной работе Савинкова как-то ослабело и сникло начало служения, которое никогда не было сродни его эгоцентрической натуре»⁶⁷.

⁶⁴ Там же.

⁶⁵ Там же. С. 376.

⁶⁶ Там же. С. 376–377.

⁶⁷ Там же. С. 377–378.

Примеры «отрицательного отбора»: Владимир Ульянов-Ленин

Как известно, в середине 1890-х гг. молодой марксист П.Б. Струве достаточно тесно сотрудничал с В.И. Ульяновым-Лениным. За их идейную близость и общую решительность в борьбе с русским народничеством их «политический тандем» даже прозвали «близнецами». Впоследствии, по не вполне объясненным самим Струве причинам, он избегал подробно высказываться о бывшем приятеле, с которым позднее радикально разошелся. Воспоминания Струве о Ленине, написанные в эмиграции в конце жизни, были опубликованы сначала в 1934 г. в «Slavonic Review» на английском языке, и только в 1950 г. (уже после смерти Струве) увидели свет на русском языке в издаваемом теперь уже С.П. Мельгуновым «Возрождении»⁶⁸. Тем не менее, без этой оценки Ульянова-Ленина концепция «личной годности» П.Б. Струве была бы очевидно неполной.

Согласно воспоминаниям Струве, он в первый раз увиделся с Владимиром Ульяновым-Лениным «в осенний или зимний день 1894 г.» в квартире инженера Классона на Охте, почти напротив Смольного института. «Впечатление, с первого же разу произведенное на меня Лениным — и оставшееся во мне на всю жизнь — было неприятное, — вспоминал Струве. — Неприятна была не его резкость. Было нечто большее, чем обыкновенная резкость, какая-то издевка, частью намеренная, а частью неудержимо стихийная, прорывавшаяся из самых глубин его существа в том, как Ленин относился к людям, на которых он смотрел, как на своих противников. А во мне он сразу почувствовал противника... В этом он руководился не рассудком, а интуицией, тем, что охотники называют “чутьем”»⁶⁹.

Характер Ульянова-Ленина Струве имел возможность позднее сравнить с характером Г.В. Плеханова. «В нем (Плеханове. — А.К.) тоже была резкость, граничившая с издевкой, в обращении с людьми, которых он хотел задеть или унизить. Все же, по сравнению с Лениным, Плеханов был аристократом. То, как оба они обращались с другими людьми, может быть охарактеризовано непереводаемым французским словом “cassant”. Но в ленинском “cassant” было что-то непереносимо плебейское, но в то же время и что-то безжизненно и отвратительно холодное»⁷⁰.

⁶⁸ Струве П.Б. Мои встречи и столкновения с Лениным // Возрождение. Литературно-политические тетради (под ред. С.П. Мельгунова), Париж, 1950, №№ 9, 10, 12.

⁶⁹ Там же, № 10 (июль-август). С. 114.

⁷⁰ Там же. С. 115. Это впечатление от Ленина разделяла и Вера Ивановна Засулич, которую Струве называл «самой умной и чуткой из женщин», каких ему приходилось встречать. Засулич, по словам Струве, «испытывала к Ленину антипатию, граничившую с физическим отвращением — их позднейшее политическое расхождение было следствием не только теоретических или тактических разногласий, но и глубокого несходства натур» (там же).

«В своем отношении к людям Ленин подлинно источал холод, презрение и жестокость», — вспоминал Струве, делая при этом парадоксальный вывод: «Мне было ясно даже тогда, что в этих неприятных, даже отталкивающих свойствах Ленина был залог его силы, как политического деятеля: он всегда видел перед собой только ту цель, к которой шел твердо и непреклонно. Или, вернее, его умственному взору всегда преподносилась не одна цель, более или менее отдаленная, а целая система, целая цепь их. *Первым звеном в этой цепи была власть в узком кругу политических друзей* (курсив Струве. — А.К.). Резкость и жестокость Ленина — это стало ясно мне почти с самого начала, с нашей первой встречи — была психологически связана, и инстинктивно, и сознательно, с его неукротимым властолюбием. В таких случаях обыкновенно бывает трудно определить, что служит чему, властолюбие ли служит объективной цели или высшему идеалу, который человек ставит перед собой, или, наоборот, эта задача или этот идеал являются лишь средствами утоления ненасытной жажды власти»⁷¹.

«Самой разительной чертой» в Ленине, открывшейся Струве «с первой же встречи», была именно «жестокость» — «в том самом общем философском смысле, в котором она может быть противопоставлена мягкости и терпимости к людям и ко всему человеческому»⁷².

В соответствии с этой «преобладающей чертой» в характере Ленина, продолжает Струве, «главной установкой» его (Струве употребляет здесь популярный немецкий психологический термин *Einstellung*) была «ненависть»: «Ленин увлекся учением Маркса прежде всего потому, что нашел в нем отклик на эту основную установку своего ума. Учение о классовой борьбе, беспощадной и радикальной, стремящейся к конечному уничтожению и истреблению врага, оказалось конгениально его эмоциональному отношению к окружающей действительности. Он ненавидел не только существующее самодержавие (царя) и бюрократию, не только беззаконие и произвол полиции, но и их антиподов — “либералов” и “буржуазию”. В этой ненависти было что-то отталкивающее и страшное; ибо коренясь в конкретных, я бы сказал даже животных, эмоциях и отталкиваниях, она была в то же время отвлеченной и холодной, как самое существо Ленина»⁷³.

Таким образом, общая идея мемуаров Струве о Ленине состояла в том, что, не отрицая тесное «умственное общение» («особенно в течение многих зимних часов 94–95 гг.») Струве «никогда не был и не мог быть в близких личных отношениях с ним», ибо «этот человек был по своему складу ума

⁷¹ Там же. С. 115–116.

⁷² Там же. С. 116.

⁷³ Там же.

совершенно мне чужд»⁷⁴. «В сущности, в лице Ульянова-Ленина и моем столкнулись две непримиримые концепции — непримиримые, как морально, так и политически и социально. Каждый из нас понимал это в то время, но смутно; лишь позже мы отчетливо осознали это»⁷⁵.

Герои Белой борьбы

Большой и разнообразный материал для построения Петром Струве его концепции «личной годности» дало ему участие в Белом движении. В оценке этого явления, которое Струве всегда анализировал не только политически, но, возможно, в первую очередь, *этически*, проявилась глубокая христианско-либеральная подоснова его «человеческой типологии».

Так, Струве всегда отказывался мерить «личную годность» критериями «эффективности» и «успеха». Действительно, все герои Струве, как уже перечисленные (Герценштейн, Корсаков, граф Гейден), так и не перечисленные, — это люди формально «побежденные». Но Струве, как истинному христианину, глубоко претили «низость и хамство тех, кто обо всем судил и судит по успеху». Вот и подвиг участников Белой борьбы для него — это подвиг *«побежденных непобедимых»*.

Летом — осенью 1926 г. руководимая Струве газета «Возрождение» напечатала серию «Очерков Ледяного похода», написанных близким другом Струве — Николаем Николаевичем Львовым. Речь в очерках шла о легендарном 1-м Кубанском (Ледяном) походе Добровольческой армии из Ростова в Новочеркасск в феврале-апреле 1918 г., в ходе которого сложился костяк и была сформулирована идеология Белой армии. «Ледяной поход», по мнению Струве, стал «целой эпопеей героизма и жертвенности», которая есть «неотделимое и драгоценное достояние национальной России, тот свет, который светил, светит и будет нам светить во всякой тьме»: «Здесь излились и просияли такие нравственные силы, здесь собраны такие душевные сокровища, которые будут вдохновлять и питать целые поколения»⁷⁶.

Но «Ледяной поход», согласно Струве, явился образцом «самого трудного героизма» — героизма, «который уничижался и уничижается до сих пор со всех сторон». «Были и есть враги, — пишет Струве, — и злостные,

⁷⁴ Струве П.Б. Мои встречи и столкновения с Лениным, 1950, № 9 (май–июнь). С. 121. Об эмоционально-психологической несовместимости Ленина и Струве, даже в период их активного идейно-политического сотрудничества говорит и такой важный свидетель, как Н.К. Крупская. Крупская вспоминает: «Для отдыха брал Струве читать Фета. Кто-то в воспоминаниях своих писал, что Владимир Ильич любил Фета. Это не верно. Фет — маховый крепостник, у которого не за что зацепиться даже, но вот Струве действительно любил Фета» (Крупская Н.К. Воспоминания. М.— Л., Госиздат, 1926. С. 26).

⁷⁵ Струве П.Б. Мои встречи и столкновения с Лениным, 1950, № 10. С. 109.

⁷⁶ Струве П.Б. По поводу окончания очерков Н.Н. Львова // Дневник политика. С. 173.

нападающие, и клеветущие. Но не лучше, а может быть, хуже их равнодушные и холодные, проходившие мимо. И всего хуже, может быть, даже не вражда и злословие, не равнодушие и холод, а *низость* и *хамство* тех, кто обо всем судил и судит *по успеху*, кто увлекался и восторгался, когда ждал победы, но кто отпал духовно и изменил душевно, когда счастье отвернулось»⁷⁷.

То, какой высокий статус придавал сам П.Б. Струве этической стороне своей «человеческой типологии» применительно к оценке Белого движения, свидетельствует небольшая, но весьма принципиальная статья, опубликованная в «России и славянстве» в дни празднования в зарубежье 70-летнего юбилея старшего и стариннейшего внутрилиберального оппонента Струве — Павла Николаевича Милюкова⁷⁸. Струве сразу оговаривается, что, по большому счету, его претензии к Милюкову не носят чисто политического характера, и уж во всяком случае «тут не играют вовсе роли какие-нибудь счёты “правых” с кадетским лидером о том, что было до революции 1917 г.». «Наше разногласие и разночувствие с Милюковым как политиком вообще не укладывается в чисто политические рамки», — настаивает Струве. Речь, по его словам, идет о гораздо более существенном — *о принципиально разном отношении к людям и их личностным переживаниям*.

По мнению Струве, П.Н. Милюков всегда поражал его «исключительным искусством располагать идеи, аргументы, и в этом смысле “аранжировать” — “вещи”». Милюков, согласно Струве, — исключительный по ловкости «аранжер и калькулятор», т.е. «устроитель и расчислитель» идей и идейных комбинаций: «Если бы политика была шахматной игрой и люди были бы деревянными фигурками, П.Н. Милюков был бы гениальным политиком»⁷⁹.

Однако, «будучи вдумчивым и осторожным аранжером и методическим и осторожным калькулятором идей и в этом смысле вещей», Милюков, по мнению Струве, «роковым образом не способен видеть и ощущать живых людей (курсив мой. — А.К.), им со-чувствовать и со-страдать, а потому на них влиять, ими управлять, ими распоряжаться»⁸⁰. В области «со-чувственного проникновения в живые человеческие души П.Н. Милюков достаточно бессилён, и в этом причина, субъективная и объективная, его роковых внутренних неудач как политика в широчайшем смысле слова». Отстранившись от «белой армии» после крымской эвакуации 1920 г., Милюков, по мнению Струве, «как-то задел и ранил самое чувствительное место в национальной душе русских людей, пребывающих в изгнании»⁸¹.

⁷⁷ Там же.

⁷⁸ См.: Струве П.Б. П.Н. Милюков // Дневник политика. С. 434–436.

⁷⁹ Там же. С. 436.

⁸⁰ Там же.

⁸¹ Там же. С. 435–436.

Петру Струве принадлежат удивительные личностные характеристики главных героев Белой борьбы — за этими короткими зарисовками совершенно очевидно стоит огромная мыслительная работа. В этом смысле выделяется, например, короткая, но чрезвычайно емкая по смыслу речь Струве на публичном заседании 13 апреля 1923 г. в Праге в память Л.Г. Корнилова, устроенном Галлиполийским студенческим землячеством и Русским Национальным Студенческим объединением. Рассказывая эмигрантской молодежи о легендарном Корнилове, Струве оговаривается, что «быть может, нет для исторической психологии задачи более трудной и в то же время более привлекательной, чем следить за разными видами, формами и этого замечательного явления — человека, ставшего легендой»⁸².

Струве крайне высоко ценил Л.Г. Корнилова, с которым был близко знаком: «В нем было величайшее напряжение героической воли, героизмом заражавшее все окружающее... Он был деятельный герой, сам ставивший себе задачи, своим волевым напряжением их творивший и осуществлявший и этим напряжением зажигавший других. Железный исполнитель долга и деятельный герой-творец в одном лице, живое воплощение героической воли и ее магнетизма»⁸³.

Но в своей речи, очень далекой от мемуарной описательности, Струве не хочет ограничиться апологетикой Корнилова. Не менее важна, полагает он, сравнительная оценка сильных характеров: «люди распознаются в сопоставлении с другими, сравнимыми с ними»⁸⁴. И чтобы дать аудитории точное понимание феномена Корнилова, Струве сравнивает его с другими легендарными лидерами Белой борьбы — М.В. Алексеевым, А.М. Калединым, А.В. Колчаком. Вот эти сравнительные характеристики, которые можно считать вершинами аналитических возможностей концепции «личной годности».

Алексеев: «Как человек долга, т.е. как трезвый слуга-исполнитель его велений, М.В. Алексеев был сильнее и как-то... осязательнее Корнилова, но того особенного и собственного напряжения героической воли, которое было в Корнилове и излучением которого он заражал все вокруг себя, в Алексееве не было. В его трезвой и сухой личности не было корниловского магнетизма»⁸⁵. Каледин: «Каледин был героической фигурой — это был какой-то римлянин в обличье донского казака. Но, будучи верным исполнителем долга, суровым и к себе и к другим, Каледин оказался буквально не в силах жить и устоять в удрушающей атмосфере гражданской войны. Он был воином, но не борцом»⁸⁶.

⁸² Струве П.Б. Две речи. 2. Героическая воля // *Patriotica*. С. 164.

⁸³ Там же. С. 165.

⁸⁴ Там же.

⁸⁵ Там же.

⁸⁶ Там же.

Колчак: «В нем нервность натуры, в этом отношении почти женственной, не давала воле доходить до того самобытного героического напряжения, которого достиг Корнилов. Колчак был гораздо больше поставлен другими, чем сам стал на место, на котором он стоял. У Колчака не было той неукротимой и в то же время стальной активности, какую был одарен Корнилов»⁸⁷.

А вот апофеоз речи Струве, где он сводит все характеристики воедино, предварительно оговорившись: «Я ощущаю их личности в каких-то физических образах и символах». «Алексеев — это массивная железная балка-стропило, на которое в упорядоченном строе и строительстве можно возложить огромное бремя и оно легко подымлет это бремя»; «Каледин — это мощный камень, как бы вросший в свою историческую почву и вне ее беспомощный и слабый»; «Колчак — это сосредоточенный в целую даровитую личность нерв, чувствительная струна, которой угрожало порваться или быть прорванной»; «Корнилов — это стальная и живая пружина, которая, будучи способна к величайшему напряжению, всегда возвращается к исходному положению, подлинное воплощение героической воли»⁸⁸.

«Идеальная русская личность»:

Иван Сергеевич Аксаков

Важным элементом концепции «личной годности» П.Б. Струве были его размышления об «идеальной русской личности». По его собственным воспоминаниям, его первой в жизни «идеологической любовью» были «славянофилы вообще» и, в первую очередь, Иван Сергеевич Аксаков⁸⁹. До конца жизни убежденный западник, Петр Струве считал, что именно славянофил Иван Аксаков — есть «первый по специфической духовной одаренности и значительности русский публицист... В русской публицистике нет лучшей защиты свободы слова и совести, чем классические статьи на эти темы Ивана Аксакова»⁹⁰.

Что особенно привлекало уже юного Петра Струве в И.С. Аксакове, так это то, что тот сумел удивительным образом соединить все то лучшее, что было выработано в замечательной семье Аксаковых: «художническая чуткость к быту и природе» отца, Сергея Тимофеевича, и «философски-исторический интерес к народу» старшего брата Константина сопряглись у Ивана Сергеевича с «величайшей действенностью»⁹¹.

⁸⁷ Там же. С. 165–166.

⁸⁸ Там же. С. 166. Взяв за правило писать только об ушедших людях, П.Б. Струве позднее опубликовал некрологи на П.Н. Врангеля и А.П. Кутепова (*Струве П.Б. Памяти генерала П.Н. Врангеля // Россия и славянство, 1929, № 22. С. 1; Струве П.Б. А.П. Кутепов // Россия и славянство, 1931, № 113. С. 1*).

⁸⁹ См.: *Струве П.Б. Аксаковы и Аксаков // Patriotica. С. 232*.

⁹⁰ Там же.

⁹¹ Там же.

Как младший сын в семье, вспоминал Струве, он очень рано был приобщен «ко всему тому, что тогда составляло духовное содержание жизни»: «Вместе со своей семьей я пережил эпопею русско-турецкой войны и ее финал — Берлинский конгресс и трактат, заключение которого вызвало пламенный протест — историческую речь Ивана Сергеевича Аксакова. Мы, дети (да и одни ли только дети?), конечно, мало понимали в политике, но мы с волнением ощущали, что Россия оскорблена и унижена в своем национальном и славянском призвании. А когда Иван Аксаков громко и мужественно поведал всему миру об этой обиде, — наши души трепетали созвучно с его боевым духом русского и славянина, глашатая и вождя»⁹².

Тетрадки аксаковской «Речи», вспоминал Струве, «с увлечением читались и прилежно перечитывались»: «Я втихомолку строчил что-то для «Руси, скрывая написанное и от родителей, и от братьев. Мать моя что-то писала и Достоевскому, и Аксакову»⁹³. До конца жизни Струве помнил в подробностях тот важный для всей их семьи эпизод, когда летом 1882 г., будучи проездом в Москве, они удостоились посещения Иваном Аксаковым их гостиничного номера в «Славянском базаре»: «Он пришел отдать визит моему отцу и поблагодарить мою мать за читательское сочувствие... В маленьком теле Ивана Аксакова была как-то собрана огромная действенность и законченно выразилось то своеобразное сочетание неукротимого восторга и боевой энергии с трезвостью, с чувством меры и возможностей, с хозяйственной деловитостью, сочетание, в котором вся сила и прелесть подлинного политического горения и национально-государственного делания»⁹⁴.

На многие годы И.С. Аксаков стал для Струве образцом человеческой «действенности» (именно это слово встречается в работах Струве об Аксакове наибольшее число раз). В нем особенно поражало то, что, «будучи приверженцем и носителем мировоззрения, и писателем, он не замкнулся ни в учении, ни в теории, ни в писательстве или пропаганде. В лице Ивана Аксакова... славянофильство спустилось с высоты историко-философского учения и вошло в реальную жизнь»⁹⁵.

Высокие идеалы и — одновременно — умение претворять их в жизнь; подлинное свободолобие и — в то же время — обостренное национальное чувство — в этих парадоксальных, на первый взгляд, соединениях был удивительный секрет Аксакова, волновавший и воодушевлявший Струве на протяжении всей его жизни: «В этом смыкании был свой стиль или, да позволено будет употребить одно из излюбленных самим Иваном Сергеевичем и красивых русских

⁹² Там же.

⁹³ Там же.

⁹⁴ Там же.

⁹⁵ Там же.

слов, был свой “лад”, т.е. своя собственная смысловая красота, воистину музыкальная... Эта духовная музыка была гармонически проникнута двумя основными мотивами-идеями: идеей свободной личности и идеей себя сознающего и утверждающего народа... Вот почему Иван Аксаков был в одно и то же время борцом и за права человека и гражданина, и за национальное начало. Ему было присуще острое и тонкое чувство права, укорененного в правде, и глубокое, трепетно-восторженное ощущение соборного начала народности»⁹⁶.

Собственно, непосредственным импульсом становления молодого Петра Струве как убежденного либерала стал конфликт И.С. Аксакова в конце 1885 г. с цензурным ведомством, конфликтом, ускорившим его кончину. Струве вспоминал: «Его (Аксакова. — А.К.) статья в “Руси” против цензурного ведомства, которое почти перед самой смертью знаменитого публициста осмелилось обвинить его в “недостатке истинного патриотизма”, читалась и перечитывалась людьми нашего поколения буквально с трепетом и восторгом, как беспримерно-мужественное обличение бюрократической тупости и как такая же защита свободной речи»⁹⁷. «Либерализм — это и есть истинный патриотизм» — это кредо Петра Бернгардовича Струве было несомненно унаследовано им от И.С. Аксакова⁹⁸.

«Идеальная русская личность»: Борис Николаевич Чичерин

Своим непосредственным предшественником в выработке концепции «личной годности» П.Б. Струве считал русского правоведа и философа Бориса Николаевича Чичерина, к анализу творчества которого он возвращался неоднократно. Интересно, что в годы своей «марксистской молодости» Струве оказался, по его собственным словам, «последним представителем

⁹⁶ Там же.

⁹⁷ Там же.

⁹⁸ В этой связи необходимо оспорить мнение об И.С. Аксакове (в том числе об Аксакове 1880-х гг.) одного из самых авторитетных биографов П.Б. Струве — американского историка Ричарда Пайпса. В своем, ставшем классическим, двухтомнике о Струве, Пайпс, в частности, дает Аксакову такую характеристику: «Это был рупор славянофильства в его завершающей фазе, после того, как оно растеряло присущий его ранней стадии этнокультурный идеализм и превратилось в политическое движение с отчетливо выраженными чертами ксенофобии. В преклонные годы поведение Аксакова все в большей степени приобретало параноидальный характер. Он науськивал своих читателей против поляков, немцев и евреев, ставя им в вину все неурядицы российской действительности, взвинчивал общественную истерию, доводя ее до воинственно-имперских устремлений. В принципе, Аксакова последнего периода его жизни можно охарактеризовать как националиста-реакционера и одного из идеологических предшественников фашизма XX века» (*Пайпс Р.* Струве: левый либерал. С. 34). Строго говоря, Пайпс, употребляя по отношению к И. Аксакову такие слова, как «параноидальный характер», «науськивал», «взвинчивал» и т.п., оспаривает один из центральных тезисов самого П.Б. Струве о том, что все творчество Аксакова — это как раз образец трезвости и здравомыслия.

русской радикальной публицистики, скрестившим шпаги с либеральным консервативным Чичериным»⁹⁹.

В 1897 г. Струве опубликовал в «Новом слове» критическую статью об исторических взглядах Чичерина¹⁰⁰. Однако достаточно скоро Струве, по его признанию, «пришел в своих собственных путях к общественно-политическому мировоззрению, близкому ко взглядам покойного московского ученого»¹⁰¹.

Либерально-консервативный синтез, который олицетворял собой Чичерин, был, согласно Струве, наиболее оптимальной мировоззренческой и общественной позицией, ибо мог одновременно и гармонично решать две главные российские проблемы: проблему «освобождения лица» и проблему «упорядочения государственного властвования, введения его в рамки правомерности и соответствия с потребностями и желаниями населения»¹⁰². Дело Чичерина попытки решить эти две проблемы предпринимались почти исключительно «по двум параллельным осям: по оси либерализма и по оси консерватизма»: «Для индивидуальных сознаний эти оси по большей части никогда не сближаются и не сходятся. Наоборот, по большей части они далеко расходятся». И в этом смысле именно Чичерин представил в истории русской культуры и общественности «самое законченное, самое яркое выражение гармонического сочетания в одном лице идейных мотивов либерализма и консерватизма»¹⁰³.

В чичеринской критике радикальной публицистики Герцена Струве усматривал первые наброски близкого ему культурно-антропологического подхода к политической истории. Чичерин, по его мнению, был абсолютно прав, когда в своем «Письме к издателю Колокола» (1858) предупреждал о недопустимости проявлений политической нетерпеливости в обществе, еще не выработавшем гражданских добродетелей и способности к самоограничению. Особенно ценил П.Б. Струве сборник Чичерина «Несколько современных вопросов» и прежде всего статью «Меры и границы», где Чичерин «превосходно охарактеризовал русские чрезмерности вообще и тем самым наперед обрисовал чрезмерности большевизма и его “эмигрантского” отражения — евразийства»¹⁰⁴.

⁹⁹ Струве П.Б. Б.Н. Чичерин и его место в русской образованности и общественности // Россия и славянство, 1929, № 9, С. 3.

¹⁰⁰ Струве П.Б. Чичерин и его обращение к прошлому // Струве П.Б. На разные темы. СПб., 1902. С. 84–20.

¹⁰¹ Струве П.Б. Б.Н. Чичерин и его место в русской образованности и общественности. С. 3. См. также: Струве П.Б. Б.Н. Чичерин: некролог // Освобождение, 1904, 19 февраля. С. 323.

¹⁰² Струве П.Б. Б.Н. Чичерин и его место в русской образованности и общественности. С. 3–4.

¹⁰³ Там же.

¹⁰⁴ Струве П.Б. Из Б.Н. Чичерина в «Хрестоматию евразийства» // Дневник политика. С. 417–418.

Общеисторическую позицию Чичерина, с которой он был абсолютно солидарен, Струве изложил следующим образом: «Поскольку он (Чичерин — А.К.) верил в реформаторскую роль исторической власти, т.е. в эпоху великих реформ, в 50-х и 60-х годах, Чичерин выступал как либеральный консерватор, решительно борясь с крайностями либерального и радикального общественного мнения. Поскольку же власть стала упорствовать в реакции, Чичерин выступал как консервативный либерал против реакционной власти, в интересах государства отстаивая либеральные начала, защищая уже осуществленные либеральные реформы и требуя в царствование Александра III и, особенно энергично и последовательно, в царствование Николая II коренного преобразования нашего государственного строя»¹⁰⁵.

Когда в 1928 г. исполнилось 100-летие со дня рождения Б.Н. Чичерина, Русский институт в Белграде организовал торжественное заседание, на котором выступил и П.Б. Струве. В своей речи он сказал об актуальности либерально-консервативных идей Б.Н. Чичерина для всех, кто борется за освобождение России от большевизма. «Что отстаивал в свое время Чичерин? Свободу экономическую и свободу гражданскую. А это как раз то, что нужно современной, изнывающей под ярмом коммунистического большевизма России. Экономическую свободу Чичерин отстаивал против социализма, и эта именно свобода, т.е. разрыв всех сковывающих экономическую жизнь России насильнических (по новой терминологии, «идеократических») пут... Гражданскую свободу Чичерин отстаивал против абсолютизма»¹⁰⁶.

«Идеальная русская личность»: Александр Сергеевич Пушкин

Через всю свою жизнь П.Б. Струве пронес огромный интерес к жизни и творчеству А.С. Пушкина. Но был в его биографии один эпизод, когда Пушкин стал, и уже навсегда, поистине главным героем размышлений Струве об «идеальной русской личности». Летом 1918 г., покинув большевистскую Москву в расчете попасть на территорию, которая, как тогда казалось, могла быть уже занята высадившимися на севере России англичанами, Струве и его спутник Аркадий Борман (сын известной кадетской журналистки А.В. Тырковой-Вильямс) оказались в поместье Алятино, в сорока верстах к югу от Вологды, принадлежавшем родителям школьного друга Бормана. Там, по воспоминаниям последнего, они со Струве прожили август и сентябрь, и все это время Струве работал в великолепной библиотеке хозяев. Основываясь на мемуарах Бормана, Р. Пайпс пишет: «Струве с головой

¹⁰⁵ Струве П.Б. Б.Н. Чичерин и его место в русской образованности и общественности. С. 4.

¹⁰⁶ Струве П.Б. Два основных освободительных требования // Дневник политика. С. 416.

ушел в книги. Особенно интересовал его Пушкин, воплощавший, как полагал Струве, все лучшее и обнадеживающее, что было в русской культуре. Он *проштудировал пушкинское собрание сочинений от корки до корки* (курсив мой. — А.К.) и сразу же задумал новую книгу: трактат о Пушкине и его значении для русской жизни. Книга, разумеется, так и осталась ненаписанной. Но подборка пушкинских цитат и пушкинский словарь, составленные им тогда, время от времени всплывали в работах периода эмиграции»¹⁰⁷.

Струве увидел в Пушкине идеальное сочетание двух качеств: любви к свободе и любви к национальной форме порядка; он был согласен со старым определением Пушкина кн. Вяземским как *либерального консерватора*. В работе «Политические взгляды Пушкина» Струве писал: «Пушкин непосредственно любил и ценил начало *свободы*. И в этом смысле он был *либералом*. Но Пушкин также непосредственно ощущал, любил и ценил начало власти и его национально-русское воплощение, принципиально основанное на законе, принципиально стоящее над сословиями, классами и национальностями, укорененное в вековых преданиях или традициях народа *Государство Российское* в его исторической форме — свободно принятой народом наследственной *монархии*. И в этом смысле Пушкин был *консерватором*»¹⁰⁸.

Вслед за Гоголем и Достоевским, Струве полагал, что Пушкин является образцом русской гражданской зрелости. «Пушкин не отрицал *национальной силы* и *государственной мощи*, — писал Струве в «Возрождении» в июне 1926 г. — И в то же время Пушкин, этот ясный и трезвый ум, этот выразитель и ценитель *земной силы* и *человеческой мощи*, почтительно *склоняется перед неизъяснимой тайной Божьей*, превышающей всё земное и человеческое... Пушкин знал, что всякая земная сила, всякая человеческая мощь сильна *мерой* и в меру собственного *самоограничения* и самообуздания. Ему чужда была нездоровая *расслабленная* чувствительность, ему претила пьяная чрезмерность, тот прославленный в настоящее время «максимализм», который родится в угаре и иссякает в похмелье (курсив везде П.Б. Струве. — А.К.)»¹⁰⁹.

Развивая свою культуроцентричную концепцию истории, Струве представлял себе борьбу с большевизмом, как борьбу культуры — с «новым варварством»: «Та борьба, которую мы ведем с большевизмом и советским гнетом, не есть только политическая борьба и не в политике содержится ее конечное оправдание. Совсем наоборот. Наша политическая непримиримость по отношению к большевизму есть не только осуществление принадлежащего нам, гражданам права, она есть наша обязанность, как носителей

¹⁰⁷ *Пайнс Р.* Струве: правый либерал. С. 334. См. также: *Борман А.* Из воспоминаний о П.Б. Струве // Новое русское слово, 8 сентября 1969 г.

¹⁰⁸ *Струве П.Б.* Политические взгляды Пушкина // *Patriotica*. С. 310.

¹⁰⁹ *Струве П.Б.* Именем Пушкина // Струве П.Б. Дух и слово. Статьи о русской и западно-европейской литературе. Париж, 1981. С. 10.

культуры, перед соборным существом, перед “мистическим телом”, именуемым — Россия»¹¹⁰. И в этом смысле закономерно, что лидером борьбы за русскую культуру должен стать абсолютный человек культуры, ее символ. Таким символом несомненно является Пушкин, в лице которого, «быть может, даже не вполне заметно и ощутимо для него самого, история подвела итог огромной культурно-национальной работе»¹¹¹.

Пушкин, согласно Струве, — «самый объемлющий и в то же время самый гармонический дух, который выдвинут был русской культурой... Он был — до конца прозрачная ясность, всеобъемлющая сила, воплощенная мера... Этой мерной силе было присуще величайшее творческое спокойствие, ей была свойственна спокойная и ясная справедливость»¹¹². Именно такой водитель нужен России в борьбе с «новым варварством», в котором «западная отравляющая интернационального коммунизма сочетается с архи-русским ядом родной сивухи»¹¹³.

Струве видел в Пушкине «первого и главного учителя для нашего времени»¹¹⁴. Вот почему, цитируя стихотворения Пушкина в июне 1930 г. в Белграде, Струве говорил, что «дух Пушкина... велит изгнать из тела и души России полонившие ее бесовские силы безобразного большевизма и утвердить вновь свободу человека, его “по воле Бога самого” основанное “от века” *самостоянье*»¹¹⁵. Струве верил в наступление «русского Возрождения», которое начнется «под знаком Силы и Ясности, Меры и Мерности, под знаком Петра Великого, просветленного художническим гением Пушкина»¹¹⁶.

Послесловие

Свою концепцию «личной годности» Петр Бернгардович Струве считал творческим развитием либеральной идеи, ее реализацией в общественной практике: «Если в идее свободы и своеобразия личности был заключен вечный идеалистический момент либерализма, то в идее личной годности перед нами вечный реалистический момент либерального мирозерцания»¹¹⁷.

Истоки своей позиции Струве находил в «радикальном протестантизме разных оттенков и разных стран, провозгласившем автономию личности. Из этой идеи религиозной автономии вытекало и начало веротерпимости — не как выражение религиозного безразличия, а как высшее

¹¹⁰ Струве П.Б. Заветы Пушкина // Струве П.Б. Дух и слово. С. 14.

¹¹¹ Струве П.Б. Растущий и живой Пушкин // Струве П.Б. Дух и слово. С. 18.

¹¹² Там же. С. 18–19, 20.

¹¹³ Струве П.Б. Культура и борьба. С. 13.

¹¹⁴ Там же. С. 9.

¹¹⁵ Там же. С. 13.

¹¹⁶ Струве П.Б. Именем Пушкина. С. 10.

¹¹⁷ Струве П.Б. Интеллигенция и народное хозяйство // *Patriotica*. С. 203.

подлинно-религиозное признание идеи свободы лица»¹¹⁸. Струве верил, что «личная годность» станет важнейшим принципом возрожденного христианского миропонимания, «в котором воскреснут старые мотивы религиозного, выросшего из христианства, либерализма — идея личного подвига и личной ответственности, осложненная новым мотивом свободы лица, понимаемой как творческая автономия... Человек как носитель в космосе личного творческого подвига — вот та центральная идея, которая... захватит человечество, захватит его *религиозно* и волеет в омертвевшую личную и общественную жизнь новые силы. Такова моя вера»¹¹⁹.

Литература

- Бердяев Н.А.* Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990. — 224 с.
- Борман А.* Из воспоминаний о П.Б. Струве // Новое русское слово, 8 сентября 1969 г.
- Гайденко П.П.* Под знаком меры // Вопросы философии, 1992, № 12. С. 54–64.
- Герасимов А.В.* На лезвии с террористами // Охранка. Воспоминания руководителей охранных отделений. М., 2004, т. 2.
- Кантор В.К.* Откуда и куда ехал путешественник? «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева // Вопросы литературы», 2006, № 4. С. 83–138.
- Кара-Мурза А.А., Жукова О.А.* Свобода и вера. Христианский либерализм в русской политической культуре. М.: Институт философии РАН, 2011. — 192 с.
- Милюков П.Н.* Интеллигенция и историческая традиция // Интеллигенция в России. Сборник статей. СПб., 1910.
- Пайнс Р.* Струве: левый либерал. 1870–1905. Т. 1 (пер. А. Цуканова). М.: МШПИ, 2001. — 552 с.
- Пайнс Р.* Струве: правый либерал. 1905–1944. Т. 2 (пер. А. Захарова). М.: МШПИ, 2001. — 668 с.
- Потолов С.И.* Георгий Гапон и либералы (новые документы) // Россия в XIX–XX вв. Сб. статей к 70-летию со дня рождения Р.Ш. Ганелина. СПб, 1998.
- Потолов С.И.* Георгий Гапон и российские социал-демократы в 1905 г. // Социал-демократия в российской и мировой истории. М.: Собрание, 2009. С. 224–239.
- Струве П.Б. А.П. Кутепов* // Россия и славянство, 1931, № 113. С. 1.
- Струве П.Б. Б.Н. Чичерин и его место в русской образованности и общественности* // Россия и славянство, 1929, № 9.
- Струве П.Б. Б.Н. Чичерин: некролог* // Освобождение, 1904, 19 февраля.
- Струве П.Б. Дневник политика (1925–1935)* (вст. ст. М.Г. Вандакковской, Н.П. Струве). М.: Русский путь; Париж: YMCA-Press, 2004.
- Струве П.Б. Заветы Пушкина* // Струве П.Б. Дух и слово. Статьи о русской и западноевропейской литературе. Париж, 1981.
- Струве П.Б. Именем Пушкина* // Струве П.Б. Дух и слово. Статьи о русской и западноевропейской литературе. Париж, 1981.
- Струве П.Б. Интеллигенция и революция* // Вехи. Из глубины. М., 1991.
- Струве П.Б. Мои встречи и столкновения с Лениным* // Возрождение. Литературно-политические тетради (под ред. С.П. Мельгунова), Париж, 1950, №№ 9, 10, 12.
- Струве П.Б. Палач народа* // Освобождение, № 64, 12 января 1905 г.

¹¹⁸ *Струве П.Б.* Религия и социализм // Patriotica. С. 331.

¹¹⁹ Там же. С. 333–334.

Струве П.Б. Памяти генерала П.Н. Врангеля // Россия и славянство, 1929, № 22. С. 1.

Струве П.Б. Радищев и Пушкин // Струве П.Б. Дух и слово. Статьи о русской и западно-европейской литературе. Париж, 1981.

Струве П.Б. Растущий и живой Пушкин // Струве П.Б. Дух и слово. Статьи о русской и западно-европейской литературе. Париж, 1981.

Струве П.Б. Чичерин и его обращение к прошлому // Струве П.Б. На разные темы. СПб., 1902. С. 84–20.

Струве П.Б. Patriotica. Политика, культура, религия, социализм (сост. В.Н. Жукова, А.П. Полякова). М.: Республика, 1997.

Франк С.Л. Умственный склад, личность и воззрения П.Б. Струве // Струве П.Б. Patriotica. Политика, культура, религия, социализм. — М.: Республика, 1997. С. 476–493.

Шевырин В.М. Рыцарь российского либерализма. Граф Петр Александрович Гейден. М.: Премьер-пресс, 2007. — 255 с.

КРИТИКА РЕВОЛЮЦИОННОГО СОЗНАНИЯ В РАБОТАХ СЕМЕНА ЛЮДВИГОВИЧА ФРАНКА (К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Крупнейший русский мыслитель Семен Людвигович Франк (1877–1950), 140-летие которого отмечалось в январе 2017 г., начинал свой сложный интеллектуальный путь, как известно, с увлечения революционным социализмом в его марксистском варианте. При внешней скромности и даже застенчивости, уже юный Семен Франк выделялся среди сверстников неуступчивостью и радикализмом суждений как в гимназии-пансионе московского Лазаревского института, так и затем на юридическом факультете Императорского Московского университета, что, естественно, создавало ему большие проблемы¹.

Лишь печальные уроки революции 1905–1907 гг. заставили Франка, как и многих других русских интеллектуалов его поколения (Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, П.Б. Струве, А.С. Изгоева, Б.А. Кистяковского) существенно пересмотреть свои взгляды, зримым результатом чего стало сотрудничество в умеренно-либеральном проекте «Вехи» (1909)². Впрочем, еще до участия в знаменитом «сборнике статей о русской интеллигенции», каждый из мыслителей «веховского» направления в русской историософии прошел свой индивидуальный путь от марксизма и позитивизма — к философскому идеализму и христианскому политическому либерализму³.

В революционном 1905-м году Семен Франк, в то время уже член либерального «Союза Освобождения»⁴ и корреспондент издававшегося

¹ Там же — сначала в «Лазаревке» в Армянском переулке, а затем на юридическом факультете на Моховой, учился, будучи на год младше, и мой родной дед, будущий присяжный поверенный, журналист и театровед, оставшийся после революции в Советской России, Сергей Георгиевич Кара-Мурза (1878–1956) — *примеч. авт.*

² Вехи. Сб. статей о русской интеллигенции. М.: Новости, 1990.

³ Кара-Мурза А.А., Жукова О.А. Свобода и вера. Христианский либерализм в российской политической культуре. М.: Институт философии РАН, 2011.

⁴ В августе 1904 г. С.Л. Франк принял участие в нелегальном Учредительном съезде либерального «Союза Освобождения» в швейцарском городке Шаффхаузен на берегу Боденского озера. Вместе с ним в работе съезда участвовали и другие будущие «веховцы»: П.Б. Струве, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Б.А. Кистяковский. В посмертном сборнике памяти Франка, близко знавший его А.В. Карташев оставил нам портрет Франка того времени: «Франка я встретил впервые в 1904 г. в редакции “Вопросов жизни”. При редких редакционных встречах я не переставал удивляться исключительному впечатлению, которое оставляло во мне его крупная, рослая фигура. Медлителен, неповоротлив, с тихим голосом. Бесстрастен, нерезв, нешутлив. Выразительно, лучисто улыбался лишь своими большими выпуклыми глазами. Казалось:

П.Б. Струве сначала в Штутгарте, а затем в Париже одноименного эмигрантского журнала, пережил очередной всплеск увлечения радикализмом, на короткое время став сторонником немедленного вооруженного восстания. 5 мая (ст. ст.) 1905 г. он писал супругам Нине Александровне и Петру Бернгардовичу Струве в Париж: «Начиная с 9-го января («Кровавого воскресенья» — А.К.), и чем дальше, тем больше, единственным реальным и нужным делом стала подготовка вооруженного сопротивления... Одно, что осталось делать после того, как идейные средства были исчерпаны, это вести борьбу силой — в форме ли массового движения, или индивидуального террора. Все остальное несущественно, или полезно лишь после того, как вырешится борьба силой»⁵. Впрочем, это право — «решать борьбу силой» — интеллигент Франк оставлял «профессионалам революции»: «Как я ни жажду политической свободы, я не смогу для нее ни убивать людей, ни звать на смерть, ни — говоря вполне откровенно — сам умереть в качестве пушечного мяса... Я как-то инстинктивно чувствую элемент безнравственности в этой деятельности, оплодотворяемой чужой кровью»⁶.

Внешне добровольное «дарование» октябрьским Манифестом Николая II гражданам России основных политических прав и свобод произвело сильнейшее впечатление на Франка, бывшего в то время в Москве и участвовавшего в учредительном съезде либеральной Конституционно-демократической партии⁷. 19 октября 1905 г. он писал супругам Струве в Париж: «За эти немногие дни произошли такие головокружительные события, мы жили так лихорадочно, что... я положительно не в состоянии опомниться. Вчера (Манифест был обнародован 18 октября.— А.К.) я со всей Москвой пережил день глубокого счастья. Восторг был всеобщий — в самом точном смысле слова. Никогда не мог бы я поверить, чтобы русский человек мог быть столь экспансивным, чтобы русская улица могла бы так интенсивно реагировать на политические события. Я убедился также воочию, как глубоко заложены не только в обществе, но и в народе освободительные идеи... Говорят, что казаки в манеже целовались с народом»⁸. Впрочем, констатировал в конце того же письма Франк, «всеобщий восторг и единение» оказались недолгими: «Уже сегодня наступает

вот такой был Адам. Такова природа первых восточных людей. Что-то по природе почтенное, даже величественное» (*Карташев А.В. Идеологический и церковный путь Франка // Сборник памяти Семена Людвиговича Франка (под ред. прот. о. Василия Зеньковского). Мюнхен, 1954. С. 69).*

⁵ Письма С.Л. Франка к Н.А. и П.Б. Струве (1901–1905) (публ. и коммент. М.А. Колерова // Путь. Международный философский журнал, 1992, № 1 (2). С. 285.

⁶ Там же.

⁷ Первый (Учредительный) съезд Конституционно-демократической партии прошел в Москве с 12 по 18 октября 1905 г.

⁸ Письма С.Л. Франка к Н.А. и П.Б. Струве (1901–1905). С. 291–292.

Katzenjammer (похмелье — нем.); у меня по крайней мере: на моих глазах сегодня казаки и драгуны били толпу на Мясницкой — вот и свободная Россия»⁹.

Психологическое состояние Франка, лишённого в те дни идейного водительства ещё не вернувшегося из эмиграции Струве, было неустойчивым и противоречивым. С одной стороны, он прекрасно видел неоднородность «революционного лагеря», и его человеческие симпатии были полностью на стороне так называемых «правых» — умеренных либералов-конституционалистов из числа деятелей земского и городского самоуправления: «Я получил глубокое убеждение, что теперь и в нашей среде... самыми симпатичными людьми, даже с точки зрения непосредственного морального впечатления, являются не “интеллигенты”-радикалы, а земцы и провинциалы»¹⁰. Франку, как и его старшему другу Струве, уже некоторое время откровенно претила экзальтированность революционной «интеллигентщины»: «Радикализм такой публики, как адвокаты и журналисты, есть фраза и рисовка»¹¹.

С другой стороны, Франк в те решающие дни считал необходимым сохранить монолитность «революционных рядов»: «Вся страна, вся улица раскололась на два лагеря — за казаков и против них. Черная сотня и казаки на одной стороне, народ, студенты, революционеры, рабочие, общество, конституционалисты на другой. Это носится в воздухе, это вы видите, слышите, нюхаете, как только выйдете на улицу»¹². Поэтому, полагал Франк, «политическая борьба налево и даже резко подчеркнутое политическое размежевание сейчас — колоссальная ошибка»¹³.

Увлеченный радикализмом, Франк даже позволил себе тогда упрекнуть «оторвавшегося от родины» Струве, который в эмигрантском «Освобождении» активно оппонировал «русским якобинцам». По мнению Франка, либералы смогут добиться своих целей только при опоре на народную революцию: «Т<ак> к<ак> размежевание принципиальное должно быть основано на признании философского либерализма, то если его произвести, вся партия не наберет и двух десятков людей. Это печально, но это факт... Вы скажете, тем более нужно пропагандировать эти идеи и бороться с якобинством. Конечно, но только в философских рассуждениях, п<отому> ч<то> в политической борьбе с якобинством сейчас мы провалимся с позором и треском»¹⁴.

⁹ Там же. С. 292.

¹⁰ Там же. С. 293.

¹¹ Там же.

¹² Там же. С. 294.

¹³ Там же. С. 293.

¹⁴ Там же. С. 294. Франк, очевидно, полностью воспроизводил в те дни возобладавшую среди конституционных-демократов логику лидера партии П.Н. Милюкова: «Идти соединением либеральной тактики с революционной угрозой... Врагов слева у нас нет» (См.: Кара-Мурза А.А. Интеллектуальные портреты. Очерки о русских политических мыслителях XIX–XX вв. М.: Институт философии РАН, 2006. С. 27–47).

Однако уже в последней декаде ноября 1905 г. временное *Katzenjammer* сменилось у Франка стойким разочарованием в революционных методах борьбы. Прямолинейный радикализм, не достигнув положительных целей, спровоцировал контрреволюцию, породив крайнюю реакцию: «После дарования Конституции в России началось что-то невообразимое: полиция, черная сотня и казаки устраивают прямо какое-то нашествие варваров и истребление огнем и мечом. Надо думать, что наверху какая-то очень сильная кучка людей таким путем подставляет подножку Витте и конституции. Вообще настроение в России самое подавленное и смутное, и с каждым днем все больше начинает казаться, что Россия верными шагами идет к анархии и настоящей междоусобной войне. Во всяком случае, борьбе еще далеко не пришел конец, и впереди ждут, вероятно, еще большие ужасы»¹⁵ (из письма к Н.А. и П.Б. Струве от 22 октября 1905 г.); «Положение сейчас очень неопределенное, настроение смутное, в воздухе как-то пахнет кровью, разгромом, шаткостью всего — и конституции, и самой монархии — никто не знает, что принесет завтрашний день — и ко всему этому несомненная полная неподготовленность всего русского общества к ответственному делу активного устройства жизни»¹⁶ (из письма к супругам Струве от 1 ноября 1905 г.).

Возвращение из-за границы амнистированного Петра Струве возвратило Франку душевное равновесие и более точное уяснение политической ситуации: «С тех пор, как приехал П.Б. (Струве. — А.К.), — писал Франк оставшейся пока с детьми во Франции Нине Струве, — я еще сильнее, чем прежде, убедился, что он единственный мыслящий у нас политик, и что у всех других собственно никаких практических политических идей в голове нет. П.Б. совершенно справедливо говорит, что вместо того, чтобы вотировать разные дешевые резолюции о недоверии и требовать учредительного собрания, конституционалисты должны были поставить ряд условий Витте и на этих условиях обеспечить ему поддержку. Витте несомненно пошел бы на это, т.к. он беспомощен»¹⁷. Вслед за Струве, Франк оказался на правом фланге кадетской партии, представители которого (В.А. Маклаков, М.В. Челноков и др.) оппонировали «милюковцам» и близко примыкали к «либеральным центристам» из других политических организаций: графу П.А. Гейдену, М.А. Стаховичу, М.М. Ковалевскому, князю Е.Н. Трубецкому и др.¹⁸

¹⁵ Там же. С. 295.

¹⁶ Там же. С. 296.

¹⁷ Письма С.Л. Франка к Н.А. и П.Б. Струве (1901–1905). С. 296.

¹⁸ См.: Хайлова Н.Б. Либералы-центристы о проблемах партийного строительства в России в начале XX в. // Власть, 2012, № 11. С. 166–169; Жукова О.А. Национальная культура и либерализм в России (о политической философии П.Б. Струве) // Вопросы философии, 2012, № 3. С. 126–135.

Согласно «прозревшему» Франку, уникальная историческая возможность обрести искомую политическую свободу была упущена в России не столько по вине правительства, сколько из-за неадекватности самого «общества» — «из-за лени и инертности правых (в данном контексте — “умеренных”. — А.К.) и самомнения и доктринерства левых»¹⁹. «Я с грустью констатирую, — подводит итог Франк, — что интеллигенция не оказалась на высоте положения, и ради частью удобства, частью прямолинейности преда-ла и предает Россию в самую опасную минуту»²⁰.

8 ноября 1905 г., Франк написал из Москвы новое письмо к Нине Струве в Париж, в котором впервые подробно обрисовал интеллигентский синдром «революционной левизны» — «иррационального, слепого поветрия», охватившего широкие круги русского образованного класса: «Чем больше я наблюдаю теперешнюю политическую жизнь, тем более она мне представляется в виде какого-то муравейника или улья, где вся жизнь движется не на разуме и сознательной воле, а на глубочайших и неискоренимых инстинктах, слепых побуждениях, привычках и традициях»²¹. Франк приводит при этом пример практического проявления этих «слепых стадных инстинктов», который наблюдал лично: «Я присутствовал при отвратительном зрелище стадности и трусости в союзе писателей, где все без исключения были поодиночке против забастовки... и все коллективно вотировали ей сочувствие»²². «Тут какой-то фатум, — делает печальный вывод Франк, — 50 лет все честные люди воспитывались в убеждении, что все радикальное хорошо, и теперь люди мыслящие, как только они сознают нелепость и ненужность какой-либо радикальной меры, начинают конфузиться, чувствуют себя неловко, молчат, трусят, и уступают первому бесшабашному горлодеру»²³.

В этих обстоятельствах оказалось незавидным положение немногих «инакомыслящих» (к ним Франк причислял себя и своего друга Струве),

¹⁹ Письма С.Л. Франка к Н.А. и П.Б. Струве (1901–1905). С. 297.

²⁰ Там же. Похоже, в те дни Франк в очередной раз оценил глубокую мысль А.И. Герцена, высказанную им в сочинении «С того берега» (этот короткий фрагмент под названием «Перед грозой. Разговор на палубе» очень любил и П.Б. Струве, да и вообще все русские либерал-консерваторы): «Вот откуда идет большая доля неустройства в нашей жизни... Мы лишнее требуем, лишнее жертвуем, пренебрегаем возможным и негодуем за то, что невозможное нами пренебрегает; возмущаемся против естественных условий жизни и покоряемся произвольному вздору... Мы не любим простого, мы не уважаем природу по преданию, хотим распорядиться ею, хотим лечить заговариванием и удивляемся, что больному не лучше; физика нас оскорбляет своей независимой самобытностью, нам хочется алхимии, магии; а жизнь и природа равнодушно идут своим путем, покоряясь человеку по мере того, как он выучивается действовать их же средствами» (*Герцен А.И. Собрание сочинений* в 8 тт. Т. 3. М.: Правда, 1975. С. 239–240).

²¹ Письма С.Л. Франка к Н.А. и П.Б. Струве (1901–1905). С. 298–299.

²² Там же. С. 299.

²³ Там же.

которые «философски и принципиально стоят на другой почве, которые имеют собственную веру, дающую им смелость выступать против общественного мнения»: «Все “правые” (т.е. “умеренные”. — А.К.) исповедуют в сущности веру левых и только по темпераменту или тактическим соображениям не сходятся с ними. Поэтому и тактика их непринципиальная, и они постоянно делают уступки настроениям левых, — уступки, по существу недопустимые и практически ни к чему не приводящие, т.к. левых ничем не удовлетворишь»²⁴. Вывод Франка крайне пессимистичен: «Общий разброд, общее смятение и глубокое одиночество людей, не поклоняющихся идолам и мыслящих самостоятельно, — таково наше теперешнее состояние»²⁵.

Тем не менее, сразу после временного замирения революции С.Л. Франк, вслед за Струве, предпринял немало усилий по «выправлению», как им обоим казалось, интеллектуальных «вывихов» русского освободительного движения, стремясь насытить его глубокими культурными и философскими смыслами. Эта была работа публицистическая по преимуществу — в таких изданиях, как «Полярная звезда», «Политика и культура», «Русская мысль». Окончательно выкристаллизовалась и творческая «специализация» друзей-единомышленников: если Струве, безусловно, лидировал в актуальной политической аналитике, то Франк, уже «прицеливающийся» в те месяцы к магистерской диссертации по философии, все более сосредотачивался на углубленном философском анализе социальной теории и практики.

Согласно воспоминаниям самого С.Л. Франка, «эпоха неверующей юности» закончилась у него примерно к 1907 г.²⁶ Официально он принял православие позднее, в мае 1912 г.: его крестил в своем храме при Ларинской гимназии²⁷ священник Константин Агеев — один из лидеров обновленческого движения в Русской православной церкви и активный участник Санкт-Петербургского Религиозно-философского общества²⁸.

В 1907 г. в журнале «Русская мысль», редактируемом Струве, была опубликована теоретическая статья Франка «Философские предпосылки деспотизма»²⁹. В ней, отталкиваясь от запомнившейся ему удачной фразы князя Е.Н. Трубецкого в некрологе на убитого черносотенцами кадетского депутата

²⁴ Там же.

²⁵ Там же. С. 300.

²⁶ Франк С.Л. Предсмертное. Воспоминания и мысли // Франк С.Л. Русское мировоззрение. СПб.: Наука, 1996. С. 44.

²⁷ Домовая церковь св. мученицы Татианы, 6-я линия Васильевского острова (теперь — здание филологического факультета Санкт-Петербургского университета).

²⁸ См.: Аляев Г.Е. Петербургский период жизни и творчества Семена Франка // Соловьевские исследования, вып. 2 (46), 2015. С. 76.

²⁹ Франк С.Л. Философские предпосылки деспотизма // Вопросы философии, 1992, № 3. С. 114–127.

М.Я. Герценштейна: «понятия добра и зла заменились у нас понятиями левого и правого»³⁰, тридцатилетний Франк предпринял первую «философскую атаку» на абстрактный и, по его мнению, глубоко порочный принцип деления общественно-политической жизни на «правое» и «левое»: «Это суждение, обличающее в текущей политической жизни действие иезуитической морали, констатирует, конечно, бесспорный факт; но, к счастью или к несчастью, мотивом такого искажения нормальной и общечеловеческой нравственности является не простая разнузданность, безнравственность или ничем не оправдываемый партийный эгоизм, а нечто гораздо более глубокое и прочное — именно своеобразная нравственность, *целая специфическая моральная философия* (курсив мой. — А.К.)»³¹.

«Эта философия, — полагает Франк, — могла бы открыто поднять перчатку, брошенную ей кн. Трубецким. Она сказала бы: “Да, понятия добра и зла тождественны с понятиями левого и правого. Ибо для нас, верующих и доподлинно знающих, что все “левое” полезно и служит для осуществления высшего блага, а все “правое” вредно ему и задерживает его осуществление, — для нас действительно нет иных мерил нравственности, кроме содействия всему “левому” и истребления всего “правого”. Когда партия Бога противостоит партии сатаны, то над их спором нет никакой высшей инстанции, и все средства в этой борьбе святы и благи, раз они полезны Богу”. Так рассуждал католицизм, так — открыто или молчаливо — рассуждают и современные католики демократической религии»³².

«Против самого рассуждения нельзя ничего возразить, — продолжает Франк. — С точки зрения логики оно безупречно. Можно возражать только против его основной посылки — против отождествления какого-либо человеческого идеала, стремления с абсолютной святыней. Только признав, что человеку не дано знать сполна и целиком высшей правды, что в человеческой жизни нет непогрешимой инстанции, которая указала бы, где Бог и где сатана, — можно опровергнуть это искажение морали. Кто отверг эту основную предпосылку, тому ясно, что служение Богу всегда более или менее субъективно, всегда зависит от недостоверного человеческого понимания Бога и потому не дает человеку права игнорировать свои обязанности по отношению к людям. Эти обязанности кладут преграду не только его личным, эгоистическим побуждениям, но и его высшим стремлениям к идеалу»³³. Эта идея — любой деспотизм всегда паразитирует на фанатической вере

³⁰ Трубецкой Е.Н. Убийство М.Я. Герценштейна // Московский еженедельник, 1906, № 19. С. 12.

³¹ Франк С.Л. Философские предпосылки деспотизма. С. 126.

³² Там же.

³³ Там же. С. 127.

в осуществимость некоего положительного идеала — станет впоследствии одной из излюбленных тем Франка-философа — как в России, так и в эмиграции.

С 1908 г., как вспоминал позднее С.Л. Франк, «я стал систематически пополнять пробелы моего философского образования, исподволь готовясь к сдаче магистерского экзамена. Одновременно завершилась эпоха моего интеллектуального и духовного формирования; именно к этому времени я окончательно уяснил себе основы моего собственного философского мировоззрения»³⁴. Зримым воплощением этого духовного сдвига стало участие Франка в знаменитом сборнике «Вехи» (1909), авторы которого поставили своей целью выявить и развенчать философские основания «интеллигентского социализма».

Чисто теоретически, показал в своей «веховской» статье «Этика нигилизма» Франк, в основе социалистической веры лежит «утилитаристический альтруизм» — «стремление к благу ближнего»: «Но отвлеченный идеал абсолютного счастья в отдаленном будущем убивает конкретное нравственное отношение человека к человеку... Социалист — не альтруист..., он любит уже не живых людей, а лишь свою идею — именно идею всечеловеческого счастья. Жертвуя ради этой идеи самим собой, он не колеблется приносить ей в жертву и других людей... Это чувство ненависти к врагам народа и образует конкретную и действенную психологическую основу его жизни. Так из великой любви к грядущему человечеству рождается великая ненависть к людям, страсть к устроению земного рая становится страстью к разрушению, и верующий народник-социалист становится революционером»³⁵.

Подводя итоги своему анализу, Франк в «Этике нигилизма» определил русского радикального интеллигента как «воинствующего монаха нигилистической религии земного благополучия».³⁶ «Если в таком сочетании признаков содержатся противоречия, — замечает Франк, — то это — живые противоречия интеллигентской души. Прежде всего, интеллигент и по настроению, и по складу жизни — монах. Он сторонится реальности, бежит от мира, живет вне подлинной исторической бытовой жизни, в мире призраков, мечтаний и благочестивой веры... Но, уединившись в своем мона-

³⁴ Франк С.Л. Воспоминания о П.Б. Струве // Франк С.Л. Непрочитанное... Статьи, письма, воспоминания. М.: МШПИ, 2001. С. 448–449.

³⁵ Франк С.Л. Этика нигилизма // Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. М.: Новости, 1990. С. 166–167. В 1990-х гг. «линию Франка» на углубленный философский анализ «мутации» эмансипаторского мышления русских радикалов в тоталитарную идеологию продолжила, к несчастью, рано ушедшая от нас замечательная исследовательница «русских утопий» В.А. Чаликова (1935–1991) (см. напр.: Чаликова В. С Лениным в башке // Век XX и мир, 1990, № 8. С. 34–35).

³⁶ Франк С.Л. Этика нигилизма. С. 177.

стыре, интеллигент не равнодушен к миру; наметив, из своего монастыря он хочет править миром и насадить в нем свою веру; он — воинствующий монах, монах-революционер. Все отношения интеллигенции к политике, ее фанатизм и нетерпимость, ее непрактичность и неумелость в политической деятельности, ее невыносимая склонность к фракционным раздорам, отсутствие у нее государственного смысла, — все это вытекает из монашески-религиозного ее духа, из того, что для нее политическая деятельность имеет целью не столько провести в жизнь какую-либо объективно полезную, в мирском смысле, реформу, сколько — истребить врагов веры и насильственно обратить мир в свою веру»³⁷.

Как мы знаем из мемуаров Франка, революционные события 1917 г., о большой вероятности которых он, увы, безуспешно, пророчествовал в течение целого десятилетия, стали причиной еще большего сдвига его идейно-политических позиций «вправо». При этом, в отличие от своего друга Струве, Франк с большой настороженностью воспринял уже «Февраль», хотя и попытался вместе со Струве издавать новый культурно-политический еженедельник «Русская свобода», в очередной раз ставящий задачу «победить революцию культурой»: «Это было как бы возрождением во вторую русскую революцию “Полярной звезды”, которую мы вместе (с П.Б. Струве.— А.К.) издавали одиннадцать лет до этого»³⁸. При этом Франк честно признавался: «У меня было тогда острое чувство бесполезности этого начинания; я говорил ему (Струве.— А.К.), что мы делаем безнадежную попытку листами “Русской свободы” заткнуть прорвавшуюся плотину огромного бушующего потока»³⁹.

Закономерным итогом нового этапа эволюции политико-философских взглядов С.Л. Франка стало его участие в задуманном и собранном Струве сборнике «Из глубины»⁴⁰, написанном группой «старых веховцев» и некоторых примкнувших к ним единомышленников по еще горячим следам большевистского переворота. Имя знаменитому сборнику, с большим трудом увидевшему свет, дало, как известно, название принципиальной статьи Семена Франка — «De profundis».

Основную вину за «русскую катастрофу» Франк и в 1918 г. продолжает возлагать на «разнуздавшую» массовые анархические инстинкты радикально-социалистическую интеллигенцию. Он, разумеется, признает,

³⁷ Там же. С. 177–178.

³⁸ Франк С.Л. Воспоминания о П.Б. Струве. С. 484.

³⁹ Там же. С. 484–485.

⁴⁰ Из глубины. Сборник статей о русской революции. М., Новости, 1991. Сборник редактировался П.Б. Струве, тайно приехавшим в Москву с «белого» юга России, в доме князей Гагариных на углу Поварской улицы и Мерзляковского переулка. Этот исторический дом, увы, был снесен в начале 1960-х гг. при прокладке Нового Арбата.

что «в народных массах в силу исторических причин накопился, конечно, значительный запас анархических, противогосударственных и социально-разрушительных страстей и инстинктов»⁴¹. Но, с другой стороны, «в тех же массах были живы и большие силы патриотического, консервативного, духовно-здорового, объединяющего направления»⁴².

«Весь ход так называемой революции, — приходит к выводу Франк, — состоял в постепенном отмирании, распылении, уходе в какую-то политически-бездейственную глубину народной души сил этого последнего порядка. Процесс этого постепенного вытеснения добра злом, света — тьмой в народной душе совершался *под планомерным и упорным воздействием руководящей революционной интеллигенции* (курсив мой. — А.К.)»⁴³. При всем избытке «взрывного материала», накопившегося в народе, «понадобилась полугодовая упорная, до иступления энергичная работа разнудывания анархических инстинктов, чтобы народ окончательно потерял совесть и здравый государственный смысл и целиком отдался во власть чистокровных, ничем уже не стесняющихся демагогов»⁴⁴. При этом, «народная страсть в своей прямолинейности, в своем чутье к действительно-волевой основе идей лишь сняла с интеллигентских лозунгов тонкий слой призрачного умствования и нравственно-беспочвенных тактических дистинкций»⁴⁵.

Анализируя причины большевистской катастрофы, Франк обратил внимание на серьезное различие влияния на общественную жизнь радикальных идей на Западе и в России. В самом деле, с одной стороны, «Россия произвела такой грандиозный и ужасный по своим последствиям эксперимент всеобщего распространения и непосредственного практического приложения социализма к жизни, который не только для нас, но, вероятно, и для всей Европы обнаружил все зло, всю внутреннюю нравственную порочность этого движения»⁴⁶. Но, с другой стороны, очевидно, что в странах Запада «социализм» сыграл все-таки иную роль, нежели в России: «На Западе социализм лишь потому не оказал разрушительного влияния и даже, наоборот, в известной мере содействовал улучшению форм жизни, укреплению ее нравственных основ, что этот социализм не только извне сдерживался могучими консервативными культурными силами, но и изнутри насквозь был ими пропитан; короче говоря, потому, что это был нечистый социализм в своем собственном существе, а всецело буржуазный, государственный,

⁴¹ Франк С.Л. De profundis // Из глубины. Сб. статей о русской революции. М.: Новости, 1991. С. 305.

⁴² Там же.

⁴³ Там же.

⁴⁴ Там же.

⁴⁵ Там же. С. 306.

⁴⁶ Там же. С. 307.

несоциалистический социализм»⁴⁷. В России же, «при отсутствии всяких внешних и внутренних преград и чужеродных примесей, при нашей склонности к логическому упрощению идей и прямолинейному выявлению их действительного существа, социализм в своем чистом виде разросся пышным, махровым цветом и в изобилии принес свои ядовитые плоды»⁴⁸.

Итак, «внешне побеждая, социализм на Западе был обезврежен и внутренне побежден ассимилирующей и воспитательной силой давней государственной, нравственной и научной культуры. У нас же, где социализм действительно победил все противодействия и стал господствующим политическим умонастроением интеллигенции и народных масс, его торжество с неизбежностью привело к крушению государства и к разрушению социальных связей и культурных сил, на которых зиждется государственность»⁴⁹. Таким образом, делает окончательный вывод Франк, «нас погубили не просто низкие, земные, эгоистические страсти народных масс, ибо эти страсти присущи при всяких условиях большинству людей и все же сдерживаются противодействием сил религиозного, морального и культурно-общественного порядка; нас погубило именно разнуздание этих страстей через прививку идейного яда социализма, искусственное накаление их до степени фанатической иступленности и одержимости и искусственная морально-правовая атмосфера, дававшая им свободу и безнаказанность»⁵⁰. И сразу далее — излюбленная, не первый раз встречающаяся, но теперь уже отточенная Франком до афоризма, мысль: «Неприкрытое, голое зло грубых вожделений никогда не может стать могущественной исторической силой; такой силой оно становится лишь, когда начинает соблазнять людей лживым обличем добра и бескорыстной идеи»⁵¹.

В конце сентября 1922 г. Семен Людвигович Франк был выслан из Советской России на печально известном «философском пароходе» «Oberburgermeister Naken» (вместе с Н.А. Бердяевым, И.А. Ильиным, Б.П. Вышеславцевым, А.А. Кизеветтером, М.А. Осоргиным и др.). И в Германии, и позднее во Франции его, параллельно с разработкой глубокой метафизической системы, продолжает интересовать философия *политическая*, а также философия русской истории.

Свои тревоги за Россию и надежды на ее будущее «воскресение» С.Л. Франк продолжает связывать с внутренним перевоспитанием русской национальной «души». Оказавшись в Германии, он в уже в октябре 1922 г. писал своему старинному другу и единомышленнику П.Б. Струве, еще

⁴⁷ Там же. С. 307–308.

⁴⁸ Там же. С. 308.

⁴⁹ Там же.

⁵⁰ Там же. С. 309–310.

⁵¹ Там же. С. 310.

увлеченному «белой борьбой» и не оставлявшим надежды на союзников и «белый переворот», о своем неверии в «какие-либо механические меры излечения» и, напротив, о своей вере «в исцеление путем внутреннего перевоспитания в процессе самой революции, т.е. духовной реакции на длительный опыт революции»⁵². «Обывательская мечта о возвращении, на следующий день после “переворота”, потерянного рая, — иронически писал Франк, — кажется нам наивной и ложной; для нас она совершенно тождественна с обнаружившимся уже как губительное заблуждение старым убеждением, что с падением “самодержавия” добрый русский народ установит рай земной»⁵³.

Вместе с тем, Франк хорошо понимал, что очередной «механический переворот» не способен решить фундаментальных российских проблем, лежащих в плоскости народной нравственности: «Существует некое органическое русское свинство, которое независимо от политической формы; и черный большевизм, который уже достаточно накопился и легко может возобладать после падения нынешней власти, будет свинством не лучшим, чем нынешний ее красный облик»⁵⁴. С другой стороны, отмечал Франк в цитируемом письме к Струве, «процесс революции, будучи грандиозным стихийным обнаружением этого исконного “русского свинства”, т.е. духовного недуга, есть вместе с тем — таково мое глубокое убеждение, которое может тебе показаться величайшей ересью, — болезнь роста и развития русского народа, нечто аналогичное тем явлениям духовного упадка, извращения и кризиса, которые сопровождают переход от детства к зрелости в индивидуальном организме»⁵⁵.

⁵² Письмо С.Л. Франка — П.Б. Струве 18 октября 1922 г. // Вопросы философии, 1993, № 2. С. 123.

⁵³ Там же.

⁵⁴ Там же. В своих эмигрантских работах С.Л. Франк неоднократно писал и о том, что в глубинном смысле большевистская власть лишь на свой, «красный», манер воспроизводит пороки дореволюционного русского «черносотенства». Так, в «размышлениях о русской революции», опубликованных впервые в «Русской мысли» в 1923 г., он писал: «Тип старого русского администратора, презирующего всяческие сентименты и утонченности, равнодушного к праву и закону и водворяющего справедливость или воспитывающего людей попросту, с помощью палки и мордобоя, внутренне почти совпадает с типом “честного” большевистского комиссара» (Франк С.Л. Из размышлений о русской революции // Франк С. По ту сторону правого и левого. Париж, 1972. С. 16).

⁵⁵ Вопросы философии, 1993, № 2. С. 123. Кстати, П.Б. Струве, похоже, несколько задетый иронией Франка, сразу же ответил на письмо друга: «Именно потому, что я сознаю “органичность” того, что произошло в России, я никакой “реакции” не боюсь. Никакая реакция, никакой “черный большевизм” не посягнет на то, на что посягнул красный большевизм: на хозяйственную автономию личности. Ибо основной смысл реакции, происходящей уже в России, и той, которая будет происходить и дальше, будет состоять в восстановлении хозяйственной автономии» (там же. С. 124). Очевидно, что в самом Струве «политик» и «экономист» (он был избран, как известно, академиком Российской Академии наук по специальности «экономика») всегда превалировали над «философом».

Из эмигрантских политико-философских работ С.Л. Франка особого внимания заслуживает статья «По ту сторону “правого” и “левого”», написанная весной 1930 г. в Белграде, где Франк тогда читал двухмесячный курс лекций по приглашению все того же Струве, перебравшегося в 1928 г. из Парижа в столицу Королевства сербов, хорватов и словенцев и возглавившего там философское отделение «Русского научного института». Струве, живущий теперь в основном в Белграде, оставался соредктором издававшейся в Париже еженедельной газеты «Россия и славянство»⁵⁶, где и предложил Франку опубликовать «По ту сторону...» в нескольких газетных номерах. Франк, однако, не согласился разбивать статью — и без того весьма небольшую — на фрагменты. При посредничестве Н.А. Бердяева, он отдал статью в парижский журнал-альманах «Числа», где статья и была напечатана в четвертой книжке за 1931 г.⁵⁷

Позднее сам Франк так писал об этой статье: «Я обосновывал в ней давно обдуманную и пережитую мной мысль, что перед лицом новейшего политического развития — я имел в виду коммунизм, фашизм и только что нарождавшийся тогда национал-социализм — понятия “правого” и “левого”, обычно употребляемые как некие имманентно-вечные категории политической жизни, собственно, совершенно устарели, стали беспредметными абстракциями, неадекватными актуально и подлинно существенным разногласиям между политическими направлениями»⁵⁸.

Действительно, Франк начинает свою статью с констатации того, что «еще недавно» вопрос: «что такое “правое” и “левое”?» «<...> был ясен для всякого политически грамотного человека»⁵⁹. Для русской интеллигенции был абсолютно ясен и ответ на вопрос: «А какому из этих направлений следует сочувствовать?». По крайней мере, по мнению Франка, этот ответ «не возбуждал сомнений до 1917 и тем более до 1905 года»: «“Правое” — это реакция, угнетение народа, аракчеевщина, подавление свободы мысли и слова, произвол власти; “левое” — это освободительное движение, освященное именами декабристов, Белинского, Герцена, требования законности и уничтожения произвола, отмены цензуры и гонений на иноверцев, забота о нужде низших классов, сочувствие земству и суду присяжных, мечта о конституции»⁶⁰. Или иначе: «“Правое” есть жестокость, формализм, человеконенавистничество,

⁵⁶ Официальным редактором парижской еженедельной газеты «Россия и славянство» (1928–1933) был ближайший ученик П.Б. Струве еще по преподаванию в петербургском «Политехе», а позднее соратник по работе в Крыму у П.Н. Врангеля и затем в парижском «Возрождении» К.И. Зайцев, впоследствии — архимандрит Константин.

⁵⁷ Франк С.Л. По ту сторону «правого» и «левого» // Числа, Париж, 1931, кн. 4. С. 128–142.

⁵⁸ Франк С.Л. Биография П.Б. Струве. Нью-Йорк, 1956. С. 157–158.

⁵⁹ Франк С.Л. По ту сторону «правого» и «левого». С. 128.

⁶⁰ Там же.

высокомерие власти; “левое” — человеколюбие, сочувствие всем “униженным и оскорбленным”, чувство достоинства человеческой личности, своей и чужой. Колебаний быть не могло; “у всякого порядочного человека сердце бьется на левой стороне”, как сказал Гейне. Ибо коротко говоря — “правое” было зло, “левое” — добро»⁶¹.

Между тем, продолжает Франк, с годами, прошедшими после большевистского переворота, это ощущение ясности и определенности исчезло — «провалилось в какую-то бездну небытия, испарилось как дым», и «нынешнему молодому поколению эта цельность чувств уже недоступна»: «Отчасти теперь в русской эмиграции (и отчасти и в самой России) “правое” и “левое” просто переменились местами: “левое” стало синонимом произвола, деспотизма, унижения человека, “правое” — символом стремления к достойному человеческому существованию; словом, правое стало добром, левое — злом». «За этим поворотом,— добавляет Франк,— скрывается другой, гораздо более значительный, хотя менее явственный: нарастает чувство непонятности, неадекватности, смутности самих определений “правого” и “левого”»⁶².

Сам С.Л. Франк при этом признается: «В ранней молодости я был, как все русские молодые интеллигенты того времени, “крайним левым” — марксистом, социал-демократом. Потом в течений всей жизни постепенно “правел”, не дойдя, впрочем, до настоящей “правизны”, а тяготел скорее к “центру” между “правым” и “левым”... Революция 1917 года была для меня, как для всех русских людей, не утеревших совести и здравого смысла, непосредственным толчком к решительному “поправению”»⁶³.

По мере «духовного взросления», замечает Франк, в его сознании нарастал и другой процесс: «Сами понятия “правого” и “левого” начали становиться все более случайными, шаткими, теряли свой былой однозначный смысл; становились призрачными и неактуальными. В них ощущалось даже что-то оскорбительно-неуместное: человеку, тонущему в водовороте и пытающемуся спасти свою жизнь, не время думать, “правый” ли он или “левый”; человеку, попавшему в плен к разбойникам или сумасшедшим, не до партийной политики; человек, потерявший родину, потерял все — в том числе и ту почву, на которой он мог идти направо и налево»⁶⁴.

⁶¹ Там же.

⁶² Там же.

⁶³ Там же. С. 128–129. Именно на эту фразу Франка в интересующем нас номере «Чисел» обратил критическое внимание в своей рецензии в «Современных записках» известный левый литератор-эмигрант М.А. Осоргин, который отмечал, что «Числа» «дают обильнейший и самый разнообразный материал, не склонны к политиканству (немного поперхнулись на С. Франке с его обязательством поправления для “всех русских людей, не утеревших совести и здравого смысла”» (Осоргин Мих. Рец. «Числа», кн. 4 // Современные записки, 1931, № 46. С. 508).

⁶⁴ Франк С.Л. По ту сторону «правого» и «левого». С. 129.

Некоторое время, добавляет Франк, услыша вопрос, «правый» он или «левый», он сам испытывал «странное чувство неловкости и недоумения». Однако, через некоторое время, «поразмысливши над этим чувством», он пришел к убеждению, что в его «неспособности дать прямой ответ на вопрос» повинна «не неопределенность моего ...<его> политического мировоззрения, а неуместность самого вопроса»: «<...> Теперь я предпочитаю, вместо ответа на этот вопрос, со своей стороны спрашивать вопрошающего: “А вы сами причисляете себя к какой партии — к “гвельфам” или к “гибеллинам”?” Тогда я испытываю удовольствие привести вопрошающего в такое же замешательство, какое он причинил мне»⁶⁵.

В самом деле, рассуждает Франк, «мы привыкли употреблять слова — “правый” и “левый” как понятия, которые, во-первых, имеют всем известный, точно определенный смысл и, во-вторых, в своей совокупности исчерпывают всю полноту возможных политических направлений и потому имеют всеобъемлющее значение каких-то вечных “категорий” политической мысли. Мы забываем, что эти понятия имеют лишь исторически обусловленный смысл, определенный своеобразием эпохи, в которой они возникли и действовали (или действуют), и что им рано или поздно суждено, как всем историческим течениям, исчезнуть, потерять актуальный смысл...»⁶⁶

Франк отмечает, что если брать понятия «правого» и «левого» «в совершенно формальном и общем смысле», то «можно разуметь под ними “консерватизм” и “реформаторство” в общесоциологическом смысле — с одной стороны, склонность охранять, беречь уже существующее, старое, привычное, и, с другой стороны, противоположное стремление к новизне, к общественным преобразованиям, к преодолению старого новым»⁶⁷.

Но даже в этом случае, гораздо более логичным, по мнению Франка, «было бы не двучленное, а трехчленное деление»: «Наряду со “староверами” и “реформаторами” должны найти себе место и те, кто сочетает обе тенденции, кто стремится к обновлению именно через его реформу, через приспособление его к новым условиям и потребностям жизни»⁶⁸. При этом, подчеркивает Франк, «такое не “правое” и не “левое”, а как бы “центральное” направление совсем не есть, как часто у нас склонны думать, какое-то эклектическое сочетание обоих первых направлений; оно качественно отличается от них тем, что, в противоположность им, его пафос есть идея полноты, примирения. Практически крайне важно, что различие в этом смысле между “правым” и “левым” менее существенно, чем различие между уме-

⁶⁵ Там же.

⁶⁶ Там же. С. 129–130.

⁶⁷ Там же. С. 130.

⁶⁸ Там же.

ренностью и радикализмом (все равно — “правым” или “левым”) (курсив С. Франка — А.К.)»⁶⁹.

Мысль, высказанная Франком в белградской статье, разумеется, не нова. Еще в XIX в. о безусловном наличии самостоятельного, «срединного», «либерально-консервативного» направления общественной мысли говорили Н.М. Карамзин и кн. П.А. Вяземский (например, оценивая интеллектуальную позицию А.С. Пушкина), а вслед за ними и Б.Н. Чичерин, который сам себя аттестовал как «консервативного либерала». В XX столетии «классиком» «либерального консерватизма» можно считать старшего друга С.Л. Франка — П.Б. Струве.

Заслугой Франка в данном случае является развернутая констатация того, что «радикализм справа» и «радикализм слева» в своей сущности чрезвычайно схожи: «Сохранение наперекор жизни, во что бы то ни стало старого и стремление во что бы то ни стало переделать все заново сходны в том, что *оба не считаются с органической непрерывностью развития*, присущей всякой жизни, и потому вынуждены и *хотят действовать принуждением, насильственно* (курсив мой. — А.К.) — все равно насильственной ли ломкой или насильственным “замораживанием”. И всяческому такому, “правому” или “левому”, радикализму противостоит политическое умонастроение, которое знает, что насилие и принуждение может быть в политике только подсобным средством, но не может заменить собою естественного, органического, почвенного бытия»⁷⁰.

В статье «По ту сторону “правого” и “левого”» С.Л. Франк вернулся, таким образом, к уже не раз высказанной ранее мысли об *изоморфности*, взаимопроницаемости и взаимопревращении различных («разноцветных») видов тоталитаризма: «Замечательно также, что “черносотенство” (в обычном смысле), будучи доселе в каком-то отношении политическим антиподом “красного”, практически весьма часто обнаруживает свое духовное сродство с последним и близость к нему (как и обратно). Административный состав большевистской власти, преимущественно армии и полиции, был создан при существенном участии “черносотенства”. Лица “черного” образа мыслей, при всей непривычности для них некоторых “красных” идей, чувствуют часто некоторое эстетическое и духовное сродство с “красным” стилем и относительно легко с ним сживаются и его усваивают (связующим звеном здесь является господство грубого насилия в управлении и момент демагогии)»⁷¹.

В этом контексте Франк высказывает ряд плодотворных социологических соображений относительно современной ему большевистской России:

⁶⁹ Там же.

⁷⁰ Франк С.Л. По ту сторону «правого» и «левого». С. 130.

⁷¹ Там же. С. 138.

«Прежнему типичному частному приставу и исправнику или некультурному армейскому офицеру демократического происхождения неизмеримо легче приспособиться к советским порядкам и найти применение своим старым навыкам, чем профессору-либералу и даже чем культурному революционеру. В подлинной черни различие между “черным” и “красным” вообще становится почти неуловимым. Толпа, участвовавшая в былые времена в еврейских погромах и еще в 1915 году устроившая в Москве по мнимонациональным мотивам немецкий погром, есть та самая толпа, которая совершила большевистский переворот, громила помещиков и “буржуев”. С другой стороны, антисемитизм, эта традиционная черта “правого” умонастроения, стал, по достоверным известиям, общим достоянием коммунистической среды, и в особенности ее “левого» крыла. Типично “черный” национализм есть вообще характерная черта русского коммунизма, выражающаяся в его ненависти к “буржуазной” Европе»⁷².

Прямым философским последователем Семена Франка, открыто деклариовавшим по отношению к нему свою преемственность, стал в отечественной культуре философ и религиовед Григорий Соломонович Померанц (1918–2013). В своей ранней, еще самиздатовской, работе «Проблема Воланда» он так прокомментировал основную идею статьи Франка «По ту сторону правого и левого»: «Не лучше ли отказаться от двоичной классификации? И Франк предлагает троичную. Белыми он называет либералов, сторонников самодержавия — черными, социалистов красными. Гражданская война описывается в этих терминах как коалиция белых и черных против красных. Но все коалиции неустойчивы, и возможны другие сочетания, например черносотенского с красногвардейским (пережив 1949 год, я охнул от восторга: какое предвидение!)»⁷³

Всамом начале 1990-х гг., в своей, пока заочной, интеллектуальной полемике с радикальным антикоммунистом (еще эмигрантом) А.И. Солженицыным, «умеренный», в духе Семена Франка, либерал Г.С. Померанц писал: «Где-то в большом, сложном, запутанном мире коммунисты так же вдохновляются борьбой со злом, как антикоммунисты. И антикоммунисты так же стервенеют, так же сатанеют от своего антикоммунизма, как коммунисты от своего антиимпериализма, антифашизма и т.п. И нельзя преодолеть зло, не избавившись от всех “анти”, от захлеба борьбы. “Антипалач” несет в себе заряд остервенения, который завтра породит нового палача. Нужно не “анти”, нужно “а”, т.е. “не” (ненасилие, недвойственность; с “не” начинаются многие превосходные идеи, с “анти” — ни одна)»⁷⁴.

⁷² Там же.

⁷³ Померанц Г.С. Проблема Воланда // Померанц Г.С. Выход из транс. М.: Юрист, 1995. С. 149–150.

⁷⁴ Померанц Г.С. Сон о справедливом возмездии. (Мой затянувшийся спор) // Век XX и мир, 1990, № 11. С. 39.

Выход из этого фатального противостояния («или-или»), по мнению Померанца, один — отказ от бинарного мышления: «При двоичном мышлении — решает цвет... При троичном важнее оттенки»⁷⁵. Опираясь на новую, более богатую «символическую картину», представленную в эмигрантских работах С.Л. Франка, Померанц, мудрец и бывший фронтовик, заявляет о своей собственной интеллектуальной идентичности: «Я могу сказать, что предпочитаю светлые тона, а розовое или голубое мне все равно; лишь бы не темное, лишь бы не крайность революции и контрреволюции. Разумеется, бывает положение, когда светлого выбора нет вовсе. Тогда приходится воевать за Сталина, чтобы не победил Гитлер. В рукопашной схватке жизненная задача сводится к “или — или”. Здесь справедлива бинарная логика (кто не с нами, тот против нас). Но и сражаясь, можно внутренне стоять выше сражения. И с этой внутренней высоты... видеть, как меняются оттенки партийных знамен. Как (на больших перегонах истории) то революция, то контрреволюция, то правое, то левое становятся относительным благом (светлеют, белеют) и как вчерашнее светлое темнеет»⁷⁶.

Мне думается, что покойный Г.С. Померанц, бывший большим другом Института философии РАН и неоднократно выступавший на наших конференциях, посвященных «судьбам России», очень точно обозначил собственную родословную. Его ближайшим предшественником в отечественной культуре, несомненно, был Семен Людвигович Франк, который всю жизнь считал, что «существо человека лежит в его свободе»⁷⁷, и следовал принципу, сформулированному им еще в момент перехода от марксизма, с его «классовой логикой», к христианскому либерализму, ставящему во главу угла примат индивидуальной, творческой личности: «Никакое счастье, никакое прочное устройство жизни невозможно при порабощении личности, этого творца всякого общественного прогресса...»⁷⁸

Литература

Аляев Г.Е. Петербургский период жизни и творчества Семена Франка // Соловьевские исследования, 2015, вып. 2 (46). С. 65–84.

Вехи. Сб. статей о русской интеллигенции. М.: Новости, 1990.— 216 с.

Герцен А.И. С того берега // Герцен А.И. Собрание сочинений в 8 тт. Т. 3. М.: Правда, 1975. С. 223–354.

⁷⁵ Померанц Г.С. Проблема Воланда. С. 150.

⁷⁶ Там же. С. 151.

⁷⁷ См.: Кантор В.К. Семен Людвигович Франк: «Существо человека лежит в его свободе...» // Российский либерализм: идеи и люди (общ. ред. А.А. Кара-Мурзы). М.: Новое издательство, 2007. С. 853–863.

⁷⁸ Франк С.Л. Государство и личность (по поводу 40-летия судебных уставов Александра II // Новый путь, 1904, № 11, ноябрь. С. 317.

Жукова О.А. Национальная культура и либерализм в России (о политической философии П.Б. Струве) // Вопросы философии, 2012, № 3. С. 126–135.

Из глубины. Сборник статей о русской революции. М.: Новости, 1991. — 344 с.

Кантор В.К. Семен Людвигович Франк: «Существо человека лежит в его свободе...» // Российский либерализм: идеи и люди (общ. ред. А.А. Кара-Мурзы). М.: Новое издательство, 2007. С. 853–863.

Кара-Мурза А.А. Интеллектуальные портреты. Очерки о русских политических мыслителях XIX–XX вв. М.: Институт философии РАН, 2006. — 180 с.

Кара-Мурза А.А., Жукова О.А. Свобода и вера. Христианский либерализм в российской политической культуре. М.: Институт философии РАН, 2011. — 184 с.

Карташев А.В. Идеологический и церковный путь Франка // Сборник памяти Семена Людвиговича Франка (под ред. прот. О. Василия Зеньковского). Мюнхен, 1954. С. 67–70.

Письма С.Л. Франка к Н.А. и П.Б. Струве (1901–1905) (публ. и коммент. М.А. Колерова) // Путь. Международный философский журнал, 1992, № 1 (2). С. 280–290.

Померанц Г.С. Проблема Воланда // Померанц Г.С. Выход из транс. М.: Юрист, 1995. С. 140–160.

Померанц Г.С. Сон о справедливом возмездии. (Мой затянувшийся спор) // Век XX и мир, 1990, № 11. С. 35–45.

Трубецкой Е.Н. Убийство М.Я. Герценштейна // Московский еженедельник, 1906, № 19. С. 12.

Франк С.Л. Воспоминания о П.Б. Струве // *Франк С.Л.* Непрочитанное... Статьи, письма, воспоминания. М.: МШПИ, 2001. С. 394–582.

Франк С.Л. Государство и личность (по поводу 40-летия судебных уставов Александра II // Новый путь, 1904, № 11, ноябрь. С. 308–317.

Франк С.Л. По ту сторону «правого» и «левого» // Числа, Париж, 1931, кн. 4. С. 128–142.

Франк С.Л. Философские предпосылки деспотизма // Вопросы философии, 1992, № 3. С. 114–127.

Хайлова Н.Б. Либералы-центристы о проблемах партийного строительства в России в начале XX в. // Власть, 2012, № 11. С. 166–169.

ПРОБЛЕМА «СВОБОДЫ» В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ Г.П. ФЕДОТОВА

Выдающийся русский историк, философ, культуролог Георгий Петрович Федотов (1866–1951) на протяжении своей наполненной жизненными и творческими коллизиями жизни (например, эмиграций в его биографии было целых три¹) прошел несколько этапов в своем интеллектуальном становлении: он был последовательно марксистом-социалистом, христианским социалистом, христианским демократом, и, наконец, христианским либералом. И в каждый из этих периодов центральной в творчестве Г.П. Федотова была и оставалась проблематика «свободы».

Свобода и насилие: марксистский социализм Г.П. Федотова

С марксистскими идеями «освобождения труда» Г.П. Федотов, саратовец по рождению, познакомился во время обучения в гимназии в Воронеже, а затем в Петербургском технологическом институте, куда он поступил с прямой целью вести потом социалистическую пропаганду среди рабочих. Мировоззрение юного Федотова, как и очень многих молодых людей его поколения, сформировалась под определяющим влиянием публицистики Белинского, Добролюбова, Писарева, Михайловского, Шелгунова — эти авторы постепенно расшатывали и вытеснили из сознания юноши христианские основы, заложенные вполне консервативным семейным бытом и воспитанием. В начале двадцатого века Федотов увлекся «социальными» произведениями Горького, Леонида Андреева, «Скитальца» (псевдоним С.Г. Петрова), зачитывался радикальными, в том числе нелегальными, брошюрами².

¹ В 1906 г. Г.П. Федотов был приговорен за революционную деятельность к ссылке в Архангельскую область, которая, в результате хлопот матери, была заменена высылкой в Германию «при условии возвращения не ранее 7 июля 1908 г.». В 1911 г. Федотов, опасаясь нового ареста, по подложному паспорту уехал в Италию, где провел несколько месяцев. В 1925 г., не в силах ужиться с большевистским режимом, он навсегда уехал из России — сначала в Германию, а затем во Францию. К этим «трем эмиграциям» можно добавить еще одну: в 1941 г. Федотов покинул покоренную нацистами Францию и отправился по выхлопотанной американскими друзьями визе в США. Он скончался 1 сентября 1951 г. в госпитале г. Бэкон (штат Нью-Джерси). Подробнее см.: *Кара-Мурза А.А. Георгий Петрович Федотов: «Духовное спасение России заключается в возрождении потребности в свободе» // Российский либерализм: идеи и люди* (отв. ред. А.А. Кара-Мурза). М.: Новое издательство, 2007. С. 864–871.

² *Федотова Е.Н. Георгий Петрович Федотов // Федотов Г.П. Лицо России. Статьи 1918–1930 гг.* Париж, YMCA-Press, 1988. С. IV.

В разгар первой русской революции девятнадцатилетний Федотов активно включился в революционное движение в родном Саратове, вел марксистские кружки, стал одним из лидеров местных социал-демократов, примкнув к крайне-левому крылу партии. Свободу в России, по мнению Федотова-радикала, можно было вырвать прямым силовым захватом власти: «Социалисты, воспитанные на традициях 48-года (т.е. европейских революций. — А.К.) призывают к уличной революции, которая должна решить вопрос в несколько дней»³. Такая «уличная революция», прямое насилие во имя свободы, согласно раннему Федотову, возможно и эффективно именно в России, где политическая власть не укоренена в общественных институтах (как, например, в Европе), а «государственный строй держится силой городских»⁴.

Ораторские успехи молодого саратовского марксиста тем более впечатляют, что оппонентами Федотова «справа» на оппозиционных митингах 1905 г. выступали такие видные интеллектуалы и изощренные полемисты (юристы по образованию), как саратовские либералы-кадеты Н.Н. Львов, С.А. Котляревский, А.М. Масленников — люди, уже получившие к тому времени общероссийскую известность. Их позиция принципиально отличалась от федотовской. Биограф Николая Николаевича Львова, известный историк русского либерализма В.М. Шевырин, отмечает: «Для Н.Н. Львова было очевидно, что Россия стоит на пороге великих перемен. Он умел читать знамения времени, предвидел возможность “кровавого кошмара” революции и насильственного крушения существующего строя. Все свои усилия он направил на то, чтобы предотвратить погружение страны в хаос анархии и смуты... Уже в 1902 году Львов говорил о необходимости “примирить два начала, начало власти и начало свободы”, соединив их в такое гармоничное целое, где бы оба начала не пожрали бы друг друга»⁵. Со временем Г.П. Федотов вынужден будет признать резоны своих либеральных оппонентов.

Поражение первой революции повлияло на быструю эволюцию общественно-политических взглядов Федотова — он на свой лад проделал путь от левого радикализма к центризму, характерный для очень многих думающих современников. Основным смыслом этого «поправения» стал отказ от иллюзий быстрого, силового и «внешнего» освобождения,

³ Федотов Г.П. Собрание сочинений в 12 тт. Т. 1. М.: Мартис, 1996. С. 94.

⁴ Там же. С. 94–95.

⁵ См.: Российский либерализм: идеи и люди. С. 660–661. Впоследствии жизненные траектории бывших оппонентов — Н.Н. Львова и Г.П. Федотова — близко сошлись: в 1910-е гг. они, например, активно работали в Саратовской историко-архивной комиссии. В августе 2004 г. мне, как руководителю Фонда «Русское либеральное наследие», довелось открывать мемориальную доску двум выдающимся интеллектуалам на здании Областной библиотеки в Саратове (ул. Горького, 40), где до революции работала Архивная комиссия — Авт.

погружение в проблематику культуры с ее идеей личностного и общественного совершенствования.

Во время своей «первой эмиграции» Федотов посещал лекции по истории и философии в Берлинском, а потом (после высылки из Пруссии) Йенском университетах. После возвращения в Россию осенью 1908 г. он восстанавливается на историко-филологическом факультете Петербургского университета (куда был формально зачислен еще до ареста и высылки), где попадает в орбиту выдающегося педагога и ученого-медиевиста Ивана Михайловича Гревса⁶, воспитавшего целую плеяду русских интеллектуалов (Л.П. Карсавин, Н.П. Оттокар, Н.П. Анциферов, В.В. Вейдле и др.)⁷. Именно в историко-культурных семинарах Гревса Федотов знакомится с именами блаженного Августина, Абеяра, Франциска Ассизского, Данте (фигурами, ставшими в дальнейшем предметом его специальных исследований), начинает глубоко интересоваться проблематикой римского права, средневековых итальянских и французских коммун, историей зарождения и становления религиозной свободы в Европе. Через товарища по семинару, С.И. Штейна, — пасынка известного правоведа, политика и журналиста И.В. Гессена, Федотов погружается в «широкую гуманистическую атмосферу старого Петербурга»⁸.

Большую научную и культурную пользу для Федотова принесла нелегальная (из-за опасений нового ареста) поездка в 1911–1912 гг. в Италию, где он, по совету Гревса, много занимался в библиотеках Рима и Флоренции. Разумеется, социалистические пристрастия определяли жизнь Федотова и в Италии: в знаменитой Библиотеке Лауренциана во Флоренции он с наслаждением читал манускрипты кумира своей юности Томмазо Кампанеллы⁹. Однако в сознании молодого человека подспудно шел процесс,

⁶ Федотов вспоминал об И.М. Гревсе как о «замечательном воспитателе», который «с редкой объективностью взращивал самые противоречивые научные дарования» (*Федотов Г.П. С.И. Штейн // Новый журнал, 1951, № 5. С. 219*). Молодой Федотов воспринял даже стиль поведения любимого учителя (*padre* — как он его называл на итальянский лад). Вот две портретные зарисовки — портрет Гревса 1910-х гг., нарисованный его учеником Н.П. Анциферовым, и портрет Федотова 1930-х гг. в изображении Ф.А. Степуна: «Что-то скромное, почти застенчивое, и, вместе с тем, полное благородного изящества и чувства достоинства. Движения были мягки и сдержанны» (*Анциферов Н.П. Из дум о былом. Воспоминания. М.: Феникс, 1992. 166*); «Очень сдержанная речь, тихий, но богатый интонациями голос; во внешнем облике нечто очень изящное, хрупкое и даже “декадентское”» (*Степун Ф.А. Г.П. Федотов // Степун Ф.А. Сочинения (отв. ред. В.К. Кантор). М.: РОССПЭН, 2000. С. 747*).

⁷ О глубоком влиянии «школы Гревса» на его учеников см.: *Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Флоренции. М.: Изд-во «Независимая газета», 2001. С. 136–146*.

⁸ См.: *Федотова Е.Н. Георгий Петрович Федотов. С. VII*.

⁹ «Кампанелла только теперь раскрыл мне свою душу, и помимо исторического интереса его хроника, как мемуары всех революционеров, — человеческий документ, для меня очень ценный» (Письмо Г.П. Федотова Т.Ю. Дмитриевой 9 августа 1911 г. из Флоренции // *Федотов Г.П. Собрание сочинений: в 12 т. Т. 12. С. 164*).

точно описанный Ф.А. Степуном: «Известно, с какою внезапностью революция 1905 г., разочаровавшая многих идейных попутчиков, распахнула двери в Европу и тем обнаружила провинциальную серость второсортной направленной литературы, философскую отсталость марксизма и многое другое»¹⁰.

Вернувшись в Россию весной 1912 г., Федотов явился с повинной в жандармское управление и получил разрешение на сдачу экзаменов в Петербургском университете. В дальнейшем он был оставлен при кафедре всеобщей истории для подготовки магистерской диссертации, в 1916 г. стал приват-доцентом, одновременно работая сотрудником Публичной библиотеки. В годы мировой войны он окончательно отошел от космополитического большевизма и, оставаясь демократом-социалистом, занял после Февральской революции активную «оборонческую» позицию: россиянам теперь предстояло защищать не только отечество, но и недавно завоеванную февральскую свободу.

Весной-летом 1917 г. Федотов — активный лектор-пропагандист петроградского Народного университета им. Л.И. Лутугина. Его основные темы: происхождение и смысл войны, судьба человеческой свободы в мировом катаклизме и пути выхода из него. Главное бремя войны и ее опасность для европейской цивилизации состояла, согласно Федотову, в том, что во всех участвующих в ней странах война поставила под угрозу завоевания свободы: «Война вызвала всюду реакцию... Всюду отказ от завоеванной раньше свободы, усиление государственного рабства... Делается ясным, что продлись она еще несколько лет, погибнет вся материальная и духовная культура Европы»¹¹.

Выступая в середине 1917 г. перед своими слушателями, Федотов отчетливо понимал накопившуюся в людях военную усталость. Однако, по мнению Федотова-оборонца, чтобы обрести прочный и длительный мир, необходимо предварительно одолеть кайзеровскую Германию. Все революции, напоминал Федотов, «совершаются тогда, когда правительство оказывается банкротом, когда оно теряет всякое доверие, когда падает престиж власти»: «И, если Вильгельм обманет надежды на победу и на “почетный”, т.е. выгодный и хищнический мир, тогда падет престиж его власти и разразится революция... Путем насилия (революции) приходим мы к свободе... Так и сейчас мы вынуждены на насилие ради свободы. Теперь впервые, может быть, меч находится в руках освобождающего класса... Поэтому социализм, войну отрицающий, должен еще продолжать ее для осуществления своих идеалов»¹².

¹⁰ Степун Ф.А. Г.П. Федотов. С. 749–750.

¹¹ Там же. С. 94.

¹² Там же. С. 99–100.

**«Свобода любви» против «свободы ненависти»:
христианский социализм Г.П. Федотова**

Путь Г.П. Федотова от марксизма к христианству (его можно назвать и *возвращением*, если вспомнить семейное воспитание Федотова) не был легким. Большое значение имели здесь встречи во время учебы в Германии с русской антропософкой Ольгой Николаевной Анненковой (1884–1949), ближайшей ученицей и переводчицей Рудольфа Штайнера, которая, по воспоминаниям Е.Н. Федотовой (урожденной Нечаевой), «сумела открыть ему мир символизма и, таким образом, пробить первую брешь в его, казалось, прочно сколоченном материалистическом мирозерцании»¹³.

Влияние «символизма» на эволюцию взглядов Федотова точно уловил в свое время Степун. Отталкиваясь от федотовской фразы: «Символизм в лице самых лучших и мудрых своих провидцев, подводит к порогу Церкви; гром революции лишь ускорил неизбежную развязку» (1930)¹⁴, Степун писал: «Он (Федотов. — А.К.) не был ни философом, ни поэтом в профессиональном смысле этих слов, т.е. не работал в тех областях культуры, что в начале века были революционизированы символическим методом осознания и ознаменования своих достижений... Тем не менее, он всем своим существом принадлежал к новым людям нашего культурного возрождения»¹⁵.

Однако определяющую роль в переходе Федотова «от марксизма к идеализму» сыграло его тесное общение с Александром Александровичем Мейером (1874–1939) — самобытным мыслителем, религиозным и общественным деятелем. Мейер, будучи на двенадцать лет старше Федотова, ранее проделал схожую эволюцию: учился на историко-филологическом факультете (в Одессе), увлекался радикальным марксизмом, неоднократно арестовывался за революционную пропаганду среди рабочих. После поражения первой революции перешел от социального радикализма к «новому религиозному сознанию», важнейшим элементом которого стала оригинальная концепция свободы.

Еще в 1909 г. вышла в свет большая работа Мейера «Религия и культура», направленная как против «старого» (классового) коллективизма, так и против индивидуалистического «гуманизма» (либерализма). Мейер провозгласил себя апологетом «нового коллективизма», т.наз. «пребывания вместе», «общего переживания восторга общения со свободным бытием», основанного на спонтанном религиозном действии, схожего с мистерией: «Христиане начинали жизнь святых, как только становились христианами. Общение в свободе уже начинали постигать возвещавшие *urbi et orbi* благую весть... В Мюнстере

¹³ Федотова Е.Н. Георгий Петрович Федотов. С. VI.

¹⁴ См.: Федотов Г.П. Новая Россия // Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Т. 1. СПб.: София, 1991. С. 224.

¹⁵ Степун Ф.А. Г.П. Федотов. С. 749.

уже начинала рождаться свобода, прежде чем о замысле освободившихся узнали их враги... Свободное общение — это уже Царствие Божие... Пребывая вместе, начиная вместе разрушать твердыню несвободы, они готовили пути грядущему»¹⁶. Индивидуальную правовую свободу, за которую боролись либералы, Мейер объявлял «ложной»: «Это — свобода приспособления, свобода, которая сама по себе делает необходимым право, норму, суверенитет общественного целого... Это свобода людей, не умеющих быть свободными, свобода недостойных свободы, не знающих свободы *в себе*»¹⁷.

После большевистского переворота Г.П. Федотов стал активным участником сложившегося вокруг Мейера религиозного кружка; через некоторое время его основное ядро основало более узкое братство «Христос и свобода», заседание которого начиналось молитвой: «Просим тебя, Христос, Учитель... Да будем свободны по воле Твоей, Да будем свободны в любви Твоей, Свободны во всех путях наших к Тебе...»¹⁸

В марте 1918 г. начал издаваться печатный орган Братства «Свободные голоса», в первом номере которого появилась статья Федотова «Лицо России». Именно в ней он подвел черту под своим атеистическо-космополитическим прошлым и обозначил принципиально новую философско-историческую идею, которую можно коротко сформулировать так: «Россию убила ненависть, и ее способна воскресить только Любовь». Противоставление так необходимой в России (и так трудно достигаемой здесь) «Свободы-как-Любви» — «Свободе-как-Ненависти» — вот первое самостоятельное открытие еще очень молодого Федотова в осмыслении проблематики русской свободы. Этой свободе, согласно «новому» Федотову, мешают не столько охранители несвободы (опыт демократизации европейской культуры доказывает, что *культурные* борцы за свободу могли бы с ними справиться); гораздо больше подлинной свободе препятствуют отечественные «нигилисты», только рядящиеся в одежды эмансипаторов, но, в действительности, способные лишь в очередной раз «проиграть свободу», а не завоевать ее¹⁹.

¹⁶ Мейер А.А. Религия и культура. (По поводу современных религиозных исканий) // Meyer A.A. Oeuvres Philosophiques. Paris: Presse libre, 1982. P. 79, 81. Частые упоминания Мейером, выходцем из немецко-лютеранской семьи, «Мюнстера» (т.е. вспыхнувшего там в 1534 г. движения секты анабаптистов) наводят на мысль о том, что Мейер ни много ни мало примерял на себя харизматические одежды вождя движения, проповедника Иоанна Лейденского.

¹⁷ Там же. С. 87.

¹⁸ Там же. С. XIII.

¹⁹ Двадцать лет назад, исследуя проблематику «русского варварства» и его рецидивов в нашей истории, я, опираясь в том числе на труды Федотова, писал: «Свобода, как и культура, никогда и никому не гарантирована. А опасность социальной деградации поджидает нас в том числе и в облике особенно тонкого искусителя — “бескомпромиссного борца с варварством”» (Кара-Мурза А.А. «Новое варварство» как проблема российской цивилизации. М.: Институт философии РАН, 1995. С. 196).

Главный источник русской катастрофы, согласно Федотову, — это накопившаяся в самых разных слоях «ненависть к России»: «Гипнотизировал политический лик России — самодержавной угнетательницы народов. Вместе с Владимиром Печериным проклинали мы Россию, с Марксом ненавидели ее. И она не вынесла этой ненависти»²⁰.

В первые послереволюционные месяцы Федотов приходит к принципиальному выводу: благополучие и величие нации создаются не там, где народ получает право *свободно ненавидеть* свое государство (такие образования долго не живут — ненависть их убивает), а там, где появляется возможность и право *свободно любить* свою историю и свою культуру. Именно «любовь», согласно Федотову, «есть начало, скрепляющее всякое общество»: «Без нее высвобождается хаос противоречивых стремлений групп и личностей, начинается процесс распада»²¹.

Итак, уже в первые пореволюционные годы Г.П. Федотов начинает постепенно обживать позицию, со временем ставшую в его творчестве центральной: свобода может родиться только из культуры, причем из культуры национальной за счет творческого развития накопленных в ней позитивных смыслов²².

Свобода как творчество: христианский демократизм Г.П. Федотова

В свое время друг и коллега Федотова, Ф.А. Степун, хорошо написал об уникальности Федотова в русско-эмигрантской среде: «Особенность федотовского мирозерцания главным образом объясняется противостественным сращением начал христианской истины и марксистской социологии... В каждом образе и в каждом обороте мысли динамика торжествовала над статикой. Все дышало, с одной стороны, христианским ожиданием преображения мира, а с другой, — подчинением марксистскому требованию активной, т.е. изменяющей лицо мира науки»²³. По мнению Степуна, среди русских интеллектуалов, «по существу» перешедших от марксизма к Церкви, Федотов занимал совершенно особое место: «Читая Бердяева, Булгакова, Франка или Струве, чувствуешь, что, придя к вере, они отошли от своего прошлого, претворили его в своем новом религиозно-философском утверждении веры и Церкви. Федотов единственный, который, придя в Церковь, не отказался от своего интеллигентски-революционного прошлого. Читая его, иной раз

²⁰ Там же.

²¹ Федотов Г.П. Лицо России // Федотов Г.П. Лицо России. С. 1.

²² О необходимости различать в любой культуре (в т.ч. русской) *традицию*, способную к творческому развитию, и омертвевший *традиционализм* см.: Жукова О.А. Исторический облик России: традиция и традиционализм // Гуманитарные и социально-экономические науки, 2007, № 4. С. 56–60.

²³ Степун Ф.А. Г.П. Федотов. С. 747.

видишь перед собой типично русского интеллигента-радикала марксистского толка, поселившегося в келье старца, и в этом не чувствуется раздвоение личности, а как бы религиозная двухполюсность ее»²⁴.

Интеллектуала Федотова, очень одинокого при всех режимах, всегда отталкивала любая «партийность» — от ее ранящих проявлений он много натерпелся и на родине, и на чужбине. Поэтому, как никто другой в эмиграции, он стал фигурой интегральной, общедемократической, стягивающей воедино конструктивные «русские смыслы», о чем хорошо написал ученик Федотова, Ю.П. Иваск: «Он — Герцен, ставший христианином; он — Хомяков, опять вернувшийся на Запад»²⁵.

В своих эмигрантских работах Федотов принципиально ушел от противопоставления «правого» и «левого», заменив его другой оппозицией: «цивилизация против варварства». Уже в ранее-эмигрантской статье «Трагедия интеллигенции» (1926) он указал на важнейшую проблему «стоялых» периодов русской истории, в которых невозможность или ограниченность свободы творчества часто компенсируется «свободой бунта». Именно так подошел он к осмыслению двух последних веков допетровской России: «Нельзя закрывать глаза на подвиг создания великой державы, нельзя не видеть и огромных сил народных, которые живы в узах сыромятных ремней. Но страшно, что эти силы громче всего говорят о себе — в бунте: Ермак, смута, Разин, раскол! Как не поразиться, что единственный великий писатель московской Руси — мятежный Аввакум!»²⁶

Отсюда родом, согласно Федотову, и феномен русской интеллигенции, компенсирующей свою «беспочвенность» (т.е. невозможность применить свои силы к позитивному творчеству) повышенной, диссидентской «идейностью»: «Знаете ли, кто первые русские интеллигенты? При царе Борисе были отправлены за границу — в Германию, во Францию, в Англию — 18 молодых людей. Ни один из них не вернулся... Не будем осуждать их. Несомненно, возвращение в Москву означало для них мученичество. Подышав воздухом духовной свободы, трудно добровольно возвращаться в тюрьму...»²⁷

Согласно общей философско-исторической концепции Федотова, развитие России происходило в условиях острого соперничества по меньшей мере трех тенденций: самодержавно-деспотической, антигосударственно-нигилистической и творческо-европеистской. Только победа этой третьей, европейской, культуроцентричной тенденции открывала перед Россией

²⁴ Там же С. 749.

²⁵ *Иваск Ю.* Георгий Петрович Федотов (1886–1951) // *Опыты*, 1956, № 7. С. 67. (См. также: *Жукова О.А.* Русская культура в историософской рефлексии Г.П. Федотова // *Культура культуры*, 2014, № 1. С. 5.

²⁶ *Федотов Г.П.* Трагедия интеллигенции // *Лицо России*. С. 87.

²⁷ Там же. С. 88.

перспективу свободного и полного развития. «Судьба, увы, сулила иное», — констатировал Федотов. Изучению причин крушения русского европеизма, анализу истоков большевистского варварства и поиску путей освобождения России и посвящена главным образом эмигрантская публицистика Федотова.

Петровские реформы, по мысли Федотова, дали мощный импульс российскому европеизму. Творческий потенциал этого реформаторства мог двинуть Россию не по пути банального подражательства Европе, а в направлении творческого развития самой «культурной идеи Европы». Петровская реформа, писал Федотов в «Письмах о русской культуре» (1938), создала породу «русских европейцев», которая могла не только сродниться с Европой, но и стать воплощениями «высшей Европы»: «Их (русских европейцев. — А.К.) отличает прежде всего свобода и широта духа — отличает не только от москвичей, но и от настоящих западных европейцев. В течение долгого времени Европа, как целое, жила более реальной жизнью на берегах Невы или Москва-реки, чем на берегах Сены, Темзы или Шпрее»²⁸.

Тип русского европейца, по мысли Федотова, — вовсе не отрицание «старой русскости», а творческое ее преодоление и развитие. В противоположность вульгарным «западникам» (это понятие, в отличие от «европеистов», носит у Федотова негативный оттенок²⁹) — скептиков, циников и порой откровенных русофобов, в которых петровское «открытие Европы лишь закрепило неверие в собственную страну, — русские европейцы, напротив, не утратили ни связи с отечеством, ни силы национального характера»: «В каждом городе, в каждом уезде остались следы этих культурных подвижников... Это они не давали России застыть и замерзнуть, когда сверху старались превратить ее в холодильник, а снизу в костер»³⁰. К несчастью для страны, человеческий тип «русского европейца» не успел достаточно развиться и не получил надежного политического представительства, а потому проиграл двум другим национальным типам, принципиально антикультурным и, в сущности, антинациональным — реакционеру-охранителю и разрушителю-нигилисту.

В ряде работ Федотов писал о возможной в России, но, увы, не сложившейся «национально-либерально-демократической партии», возможное кредо которой он сформулировал так: «православная, национальная, но враждебная бюрократии и оторвавшемуся от народа дворянству, защищающая свободу печати и слова, единения царя и земли в формах Земского Собора»³¹. По мне-

²⁸ Федотов Г.П. Письма о русской культуре // Судьба и грехи России. Т. 2. С. 178.

²⁹ Плодотворную идею Г.П. Федотова о необходимости смыслового разведения понятий «европеизм» и «западничество» (для многих до сих пор кажущихся синонимами) автор этой статьи поддержал более двадцати лет назад (См.: Кара-Мурза А.А. Что такое российское западничество? Размышления участника конференции // Полис. Политические исследования, 1993, № 2. С. 90–96).

³⁰ Федотов Г.П. Письма о русской культуре. С. 179.

³¹ Федотов Г.П. Революция идет // Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Т. 1. С. 164–165.

нию Федотова, и в Москве, и в русской провинции «никогда не угасала эта благородная традиция — Самариных, Шиповых, Трубецких»: «Национально-демократическая партия приобрела бы огромный резонанс в городском купеческом и служивом населении, будь она почвенна и национальна»³². Эта партия, по мнению Федотова, могла бы стать «не классовой, а всенародной, с ударением, однако же, на торгово-промышленные слои как силу земскую по преимуществу, почвенную и прогрессивную»³³. Однако вырождение в России раннего, либерального славянофильства в духе Ивана Аксакова и деградация его к черносотенству (Федотов повторяет здесь известную схему «вырождения славянофильства» Вл.С. Соловьева) «обескровило это направление»³⁴.

В 1930-е годы историософская и политическая публицистика Федотова еще более насыщается *общедемократическим* содержанием. Этому в немалой степени способствовало его более тесное сближение (особенно в «новоградский» период) с Ф.А. Степуном, который, по его собственным словам, «противопоставлял федотовским взглядам свои собственные, гораздо более консервативные», и которого, отличало «гораздо более снисходительное отношение к грехам капитализма»: «Никакой живой ненависти к вольному рынку и частной собственности я никогда не испытывал. Попытки многих ученых социалистов доказать, что социализм является единственно правильной социально экономической проекцией христианства, мне всегда казались таким же насилием, как и научные усилия христианской защиты капиталистического строя»³⁵.

Свобода как высшая ценность: христианский либерализм Г.П. Федотова

Исследование причин трагедии России, где борьба за человеческую свободу породила в конечном итоге многократное умножение рабства, привело христианина Федотова к необходимости глубинного анализа самого понятия «свобода».

В 1944 г. в нью-йоркском «Новом журнале» он опубликовал знаменитую статью «Рождение свободы». Вопреки известному изречению Ж.—Ж. Руссо о том, что «человек рождается свободным, а умирает в оковах», умудренный

³² Там же. С. 165. Очевидно, что в своих работах конца 1920-х — 1930-х гг. Федотов производит политическую логику лидеров национал-либеральной «Партии мирного обновления» Д.Н. Шипова, М.А. Стаховича, кн. Е.Н. Трубецкого, Н.Н. Львова, опиравшихся в начале XX в. именно на наследие русских либеральных славянофилов. Увы, это перспективное, центристское направление в среде поборников русской свободы было в итоге «сплющено» между кадетским радикализмом и октябристским соглашательством.

³³ *Федотов Г.П.* Революция идет. С. 165.

³⁴ Там же.

³⁵ *Степун Ф.А.* Г.П. Федотов С. 749, 755–756.

Федотов, напротив, приходит к выводу о том, что «свобода есть поздний и тонкий цветок человеческой культуры»: «Это несколько не уменьшает ее ценности. Не только потому, что самое драгоценное — редко и хрупко. Человек становится вполне человеком только в процессе культуры, и лишь в ней, на ее вершинах, находят свое выражение его самые высокие стремления и возможности»³⁶.

Свобода, согласно позднему Федотову, — уникальное явление, возникшее в уникальном культурном контексте: «Культуры могут поражать нас своей грандиозностью, пленять утонченностью, изумлять сложностью и разумностью социальных учреждений, даже глубиной религии и мысли, но... *мы не найдем свободы как основы общественной мысли* (курсив мой. — А.К.)»³⁷. Как сама культура — «исключение на фоне природной жизни», так и свобода — «исключение в цепи великих культур», утверждает Федотов. Свобода появляется как результат культурного творчества особого рода. Она приходит не тогда, когда государственность подтачивается и разрушается, а, наоборот, тогда, когда укрепляется новый порядок — «утверждение границ для власти государства, которые определяются неотъемлемыми правами личности»³⁸.

Все виды свободы, согласно, Федотову, «могут быть сведены к двум основным началам». «Главное и самое ценное содержание свободы» — это «свобода убеждения — религиозного, морального, научного, политического, и его публичного выражения»³⁹. С другой стороны, «целая группа свобод защищает личность от произвола государства независимо от вопросов совести и мысли: свобода от произвольного ареста и наказания, от оскорбления, грабежа и насилия со стороны органов власти»⁴⁰.

Федотов называет эти две группы свобод — «свободы духа» и «свободы тела», показывая, что первые (и фундаментальные) зарождаются внутри христианской культуры средневековья, в то время как вторые — в результате политической борьбы нового и новейшего времени. Без укорененных в метафизике завоеваний в области «свободы духа» не выйдет политически завоевать «свободы тела»; все попытки «перепрыгнуть через метафизику» — опыт Европы это хорошо показывает — обречены на неудачу и, как правило, оборачиваются новой несвободой.

³⁶ Федотов Г.П. Рождение свободы // Судьба и грехи России. Т. 2. С. 253.

³⁷ Там же.

³⁸ Там же. С. 254. Цикл статей о свободе «американского периода» показывает, что в последние годы Г.П. Федотов перешел на позиции «охранительного либерализма», сформулированные в русской политической философии Б.Н. Чичериным (См.: Кара-Мурза А.А. Либерализм против хаоса (Основные интенции либеральной идеологии на Западе и в России) // Полис. Политические исследования, 1994, № 3. С. 118–124; Чижков С.Л. Охранительный либерализм Б.Н. Чичерина и проблема свободы, порядка и права // Право и политика, 2008, № 10. С. 2550–2557).

³⁹ Федотов Г.П. Рождение свободы. С. 253.

⁴⁰ Там же.

Итак, свобода, будучи феноменом развитой (и при этом христианской) культуры, не может стать легко достигаемым обретением «голой», этически выхолощенной политики. Более того, при своем зарождении правовая свобода всегда оказывается свободой для немногих — иной она и не может быть. Человеческая свобода рождается как *привилегия*, подобно всем другим плодам высокой культуры.

Драма России заключалась в том, что она во многом была воспитана в восточной деспотической традиции. Когда все равны и беззащитны перед лицом деспота (включая и формально элитные слои), подданные ни за что не соглашаются со «свободой для немногих, хотя бы на время»: «Они желают ее для всех или ни для кого. И потому получают “ни для кого”... Им больше нравится царская Москва, чем шляхетская Польша. Они негодуют на замысел верховников, на классовый эгоизм либералов. И в результате на месте дворянской России — Империя Сталина»⁴¹.

Большой заслугой Федотова-интеллектуала является разграничение в русском культурно-политическом контексте понятий *свобода* и *воля*. В статье «Россия и свобода» (1945) он дал определение, ставшее в русском либерализме классическим: «Личная свобода немыслима без уважения к чужой свободе; воля — всегда для себя... Воля есть, прежде всего, возможность пожить по своей воле, не стесняясь никакими социальными узами... Воля торжествует или у выхода из общества, на степном просторе, или во власти над обществом, в насилии над людьми»⁴². Поэтому «русская воля» (часто обманчиво принимаемая за подлинную свободу), не страшна для тирании, ибо является лишь ее оборотной стороной. «Она (воля.— А.К.) не противоположна тирании, ибо тиран есть тоже вольное существо...»⁴³

Федотов хорошо понимал, что «европейскую культуру» нельзя заимствовать и механически пересаживать в Россию — ее (в том числе культуру политическую) можно только целенаправленно и упорно растить. В противном случае «культурное облучение Западом» приводит на русской почве к фатальной «мутации» — гипертрофии политических, т.е. насильственных, антикультурных настроений и действий. Поздний Федотов, отдающий полное предпочтение *свободе* перед *равенством* (само слово «демократия» попадает у него под подозрение), приходит к итоговому выводу: стремление к всеобщему уравниванию, прикрывающееся лозунгами предельного демократизма, губительно для личных свобод и не только не обеспечивает исковой свободы, но и способно привести к еще более тяжкому деспотизму.

⁴¹ Там же. С. 261–262.

⁴² Федотов Г.П. Россия и свобода // Судьба и грехи России. Т. 2. С. 286.

⁴³ Там же.

Литература

- Анциферов Н.П.* Из дум о былом. Воспоминания. М.: Феникс, 1992.— 546 с.
- Жукова О.А.* Исторический образ России: традиция и традиционализм // Гуманитарные и социально-экономические науки. 2007, № 4.
- Жукова О.А.* Русская культура в историософской рефлексии Г.П. Федотова // Культура культуры, 2014, № 1.
- Иваск Ю.* Георгий Петрович Федотов (1886–1951) // Опыты, 1956, № 7.
- Кара-Мурза А.А.* Георгий Петрович Федотов: «Духовное возрождение России заключается в возрождении потребности в свободе» // Российский либерализм: идеи и люди (отв. ред. А.А. Кара-Мурза). М.: Новое издательство, 2007.
- Кара-Мурза А.А.* Знаменитые русские о Флоренции. М.: Изд-во «Независимая газета», 2001.— 352 с.
- Кара-Мурза А.А.* «Новое варварство» как проблема российской цивилизации. М.: Институт философии РАН, 1995.— 211 с.
- Мейер А.А.* Религия и культура. (По поводу современных религиозных исканий) // *Meuer A.A. Oeuvres Philosophiques.* Paris: Presse libre, 1982.
- Российский либерализм: идеи и люди (отв. ред. А.А. Кара-Мурза). М.: Новое издательство, 2007.
- Степун Ф.А.* Г.П. Федотов // *Степун Ф.А. Сочинения* (отв. ред. В.К. Кантор). М.: РОССПЭН, 2000.
- Федотов Г.П.* Лицо России // *Федотов Г.П. Лицо России.* Статьи 1918–1930 гг. Париж: YMCA-Press, 1988.
- Федотов Г.П.* Новая Россия // *Федотов Г.П. Судьба и грехи России.* Избранные статьи по философии русской истории и культуры. Т. 1. СПб.: София, 1991.
- Федотов Г.П.* Письма о русской культуре // *Федотов Г.П. Судьба и грехи России.* Т. 2. СПб.: София, 1992.
- Федотов Г.П.* Революция идет // *Федотов Г.П. Судьба и грехи России.* Избранные статьи по философии русской истории и культуры. Т. 1, СПб.: София, 1991.
- Федотов Г.П.* Рождение свободы // *Судьба и грехи России.* Избранные статьи по философии русской истории и культуры. Т. 2, СПб.: София, 1992.
- Федотов Г.П.* Россия и свобода // *Федотов Г.П. Судьба и грехи России.* Избранные статьи по философии русской истории и культуры. Т. 2, СПб.: София, 1992.
- Федотов Г.П.* С.И. Штейн // *Новый журнал*, 1951, № 5.
- Федотов Г.П.* Трагедия интеллигенции // *Федотов Г.П. Лицо России.* Статьи 1918–1930 гг. Париж: YMCA-Press, 1988.
- Федотова Е.Н.* Георгий Петрович Федотов // *Федотов Г.П. Лицо России.* Статьи 1918–1930 гг. Париж: YMCA-Press, 1988.
- Чижков С.Л.* Охранительный либерализм Б.Н. Чичерина и проблема свободы, порядка и права // *Право и политика.* 2008, № 10.

«ИСТОРИЯ» И «ИСТОРИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» В СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ РУССКОГО БОЛЬШЕВИЗМА В.И. ТАЛИНА

«В. И. Талин» — наиболее известный литературно-политический псевдоним Семена Осиповича Португейса (1880–1944), одного из самых интересных социальных теоретиков и политических публицистов русской эмиграции, которого близко знавшие его современники считали равным по таланту таким корифеям политико-философской публицистики, как Федор Степун и Георгий Федотов.

В юности у Талина-Португейса были хорошие учителя. Как и многие российские интеллектуалы его поколения, он, уроженец Кишинева, прошел через увлечение радикальным социализмом, основы которого изучал в кружке образованнейшего из марксистов, а тогда политического ссыльно-го Давида Борисовича Гольдендаха, ставшего впоследствии известным под именем «Рязанов». А первые самостоятельные литературные опыты Талина состоялись в конце 1890-х гг., в одесском «Южном обозрении», которое редактировал Арон Соломонович Ланде — настоящее имя будущего члена кадетского ЦК А.С. Изгоева, блестящего теоретика и публициста, одного из авторов знаменитых сборников «Вехи» (1909) и «Из глубины» (1918).

Биограф Талина, известный историк-меньшевик Б.И. Николаевский, верно заметил, что тот «несомненно, был прирожденным писателем, принадлежал к числу тех людей, которые, говоря словами Михайловского, лучше всего думают, если в руках имеется перо для занесения этих дум на бумагу»¹. Поверив в свое литературное призвание, Талин переезжает в начале XX в. в Петербург и активно сотрудничает в левых изданиях: «Современный Мир», «Литературный распад», «Вершины», «Современное Слово», где за ним закрепляется слава одного из лучших политических фельетонистов России².

С началом первой мировой войны Талин становится «оборонцем», редактирует вместе с А.Н. Потресовым меньшевистскую газету «День», где продолжает работать и после большевистского переворота. Однако после ужесточения репрессий он покидает Петроград и пробирается в Киев, а затем в Одессу, где и находится в годы гражданской войны. Перед ним возникает

¹ Николаевский Б.И. Памяти С.О. Португейса // Новый журнал, Нью-Йорк, 1944, № 8. С. 394.

² Аронсон Г.Я. С.О. Португейс. 1880–1944 // Социалистический Вестник, Париж, 1944, № 5–6. С. 66.

дилемма: оставить Россию или «перетерпеть» новую власть, которая, как тогда казалось, не могла продержаться долго.

Некоторое время он, не приемлющий большевизм скорее *эстетически* (страдая, как он признавался, более всего от «пошлости большевистского иллюзиона»), пытается найти компромисс с режимом, профессионально работая в области статистики: служит инструктором учетно-статистического отдела во время всероссийской переписи населения 1921 г., работает в губернском продовольственном комитете, где составлялись и постоянно переделывались списки лиц, получающих продовольственные пайки («пай-граждан», по определению самого Талина). Позднее он опишет эту, претендующую на строгую рациональность систему, как «тотальный хаос», кое-как регулируемый столь же «тотальным враньем», — причем как со стороны блага раздающих, так и их получающих: «Все это “регулирование” — одна сплошная чепуха; никто ничего не знает и ни о чем представления не имеет, и, если все это не взрывается и не взлетает на воздух, то только потому, что установилось какое-то равновесие всестороннего обмана, когда уже никто сам не знает, когда он врет, когда правду говорит и чем собственно правда отличается от самого гнусного вранья и очковтирательства»³.

Ставший одним из первых российских социологов, Талин увидел в большевистском режиме не реализацию утопии тотальной регламентации, а внутренне противоречивую систему, чья относительная стабильность основана не только на постоянной репрессии, но и на «*равновесии всестороннего обмана*». Личный опыт переживания и осмысления большевизма «изнутри системы» стал впоследствии прочной основой и своеобразным камертоном многочисленных социально-исторических работ Талина.

В 1921 г. Талин решает бежать из большевистской России. С помощью контрабандистов нелегально перебирается в аннексированную тогда Румынией Бессарабию, оттуда приезжает в Берлин, затем в Париж, где печатает памфлет «Сумерки русской социал-демократии», принесший ему широкую известность⁴. В противовес либерально-кадетской и консервативно-монархической версиям о «вине социализма перед Россией», но и вопреки официальной меньшевистской позиции о якобы «непричастности социализма к большевизму», он пишет о большевизме, как об «острой болезни социализма», явившейся закономерным результатом его постепенного теоретического и политического «*помрачения*».

Сразу по приезде во Францию Талин начинает активно сотрудничать в самом авторитетном журнале русской эмиграции — парижских «Современных

³ Талин В.И. Пай-граждане // Последние новости, Париж, 21 мая 1929 г. С. 5.

⁴ Талин В.И. Сумерки русской социал-демократии // Современные записки, Париж, 1921, кн. VI. С. 112–145.

записках»; параллельно работает политическим обозревателем газеты «Последние новости», редактируемой П.Н. Милюковым. Но главное: пишет и одну за другой издает серьезные монографии: «Пять лет большевизма (Начала и концы)» (1922); «Российская коммунистическая партия» (1924); «РКП. Десять лет коммунистической монополии» (1928), «Красная Армия» (1931). Каждая из этих книг готовилась долго и тщательно, с использованием большого документального и статистического материала, разными путями получаемого из России Тургеневской библиотекой в Париже, а также библиотекой Международного бюро труда в Женеве, где заведующим «русским отделом» был ближайший друг и единомышленник Талина — С.О. Загорский⁵.

Катастрофа новой мировой войны привела Талина, как и многих других русских изгнанников, из оккупированного нацистами Парижа в Нью-Йорк. Приехав в Америку уже больным, он, тем не менее, продолжает занятия публицистикой, сотрудничая с главными изданиями русской эмиграции — «Новым журналом» и «Новым русским словом». В ночь на 27 февраля 1944 г. Талин тихо скончался в Нью-Йорке и был похоронен на еврейском кладбище Маунт Кармел в Квинсе.

В.И. Талина можно отнести к редкой породе адептов «либерально-демократического социализма». Современный ему либерализм он не жаловал за высокомерную элитарность, нечувствительность к проблемам большинства, а также за «буржуазность», примат экономической расчетливости над культурным творчеством. Но, с другой стороны, редко можно встретить другого автора, который, причисляя себя к «социалистам», столь активно критиковал бы пороки социалистической доктрины с позиций защиты прав и свобод личности. Многие сблизало Талина с либералами кадетского толка — немалую роль здесь сыграли прочные рабочие контакты с А.С. Изгоевым, а затем П.Н. Милюковым.

Важной причиной большевистской катастрофы в России Талин (часто публиковавшийся под другим псевдонимом — «*Ст. Иванович*», взятым в память о видном социалисте Степане Ивановиче Радченко) считал давно обозначившийся разрыв между уровнем культуры дореволюционной русской элиты, достигшей безусловных высот в искусстве, литературе, социальной теории — и человеческой массы, явно не способной «подпереть эти культурные максимумы»: «На высоченных, но редких скалах водились немногие орлы, а на необозримо громадных болотах водились во множестве лягушки»⁶. Но если в области искусства или литературы такое несоответствие вер-

⁵ Кара-Мурза А.А. Интеллектуальные портреты. Очерки о русских политических мыслителях XIX–XX вв. М.: Институт философии РАН, 2006. С. 137–139.

⁶ *Ст. Иванович*. Об историческом массиве (Из размышлений о русской революции) // Современные записки, Париж, 1927, кн. XXXII. С. 378.

шин и общего ландшафта можно считать естественным и закономерным, то элитарный максимализм в социально-политической области был опасно оторван от общего уровня гражданской зрелости народа. В этом, по мнению Талина, и состояла главная беда русского развития: «У нас были громадной силы и громадной высоты прыжки ввысь, а когда в великой войне и затем в великой революции понадобился народ, понадобились массы, национальная воля и государственный разум, то вместо всего этого оказалось пустое место, превратившееся в могилу всех наших максимумов»⁷.

В конечном итоге, в России победили те, кто полагал, что капитализм — не *предпосылка* социализма, а лишь *помеха* ему. Возобладала опасная логика: «Когда капитализму худо — социализму хорошо. Когда капитализм болен — надо его добить, чтобы стал возможен социализм»⁸. Но в том-то и дело, отмечал Талин, что между понятиями «невозможен капитализм» и «возможен социализм» существует принципиальная логическая и политическая разница. Буржуазию можно свергнуть (это не так уж трудно, если та погрязла в преступлениях, глупа, бездарна, эгоистична до слепоты), но это будет иметь прогрессивный смысл только в том случае, если «то дело, которое она делала плохо, делать хорошо, если это, конечно, по силам тем, кто буржуазию заменит»⁹.

Без нарочитого антибольшевистского пафоса, столь характерного для интеллектуальных вождей белой эмиграции, Талин тщательно анализирует факторы, при которых русские большевики смогли победить. Большевизм у него — срыв восходящей революции в хаос из-за, прежде всего, поражения культуры и ее носителей. Велика была здесь роль мировой войны — апофеоза контркультурных тенденций. Ибо, при всей поверхностности и непрочности европеизации России (по словам Талина, она была лишь «хрупкой глазурью на нашем варварстве»¹⁰), только война сумела пробить оболочку культуры и обнажить русский хаос.

И здесь, на беду России, нашлась сила, которая сделала сознательную ставку на разнуздание отечественного варварства. По мнению Талина, «большевизм предвидел то, что другие не видели. Он предвидел, что ближайшие годы пройдут в России под знаком хаоса, крушения всех самых элементарных основ общественной, экономической, культурной и практической жизни. Он — или будем говорить так: Ленин — предвидел, что война, другие народы разорившая, русский народ искалечит, физически и душевно искалечит, ломает спинной хребет народа. Он знал, что отныне на ближайшие

⁷ Там же.

⁸ Талин В.И. Сумерки русской социал-демократии. С. 113.

⁹ Там же.

¹⁰ Этапы комсомольских блужданий // Записки социал-демократа, Париж, 1931, № 4, май. С. 22.

годы править бал будет Сатана — и Сатане, хаосу поклонился, включив свою партию в их чертов пляс»¹¹.

Гениальность Ленина состояла в том, что тот без боязни отдался этой стихии бунта, интуитивно чувствуя, что «бунт — не антагонист власти, а судорожный порыв от власти, переставшей пугать, к власти, которая внушит дрожь страха заново»¹². Ленин оказался единственным, кто понял, что «власть абсолютную, типа божественной, он получит, разнуздав стихию бунта». Он чувствовал, что «только массу, пришедшую в ярость, потерявшую всякие следы общественного сознания, можно превратить в послушное стадо диктатора. Он знал, что через бунт она придет в изнеможенное и опустошенное состояние, на котором легче всего можно будет построить свое царство»¹³.

Но как смог удержаться и столь долго просуществовать режим, в генезисе которого лежала опора на антисоциальные элементы и разрушение всякого порядка — вот вопрос, который занял центральное место в интеллектуальном поиске Талина. Его историософская концепция, в общем виде сформулированная в 1927 г. в принципиальной статье «Об историческом массиве (Из размышлений о русской революции)» состояла в рассмотрении цепи исторических событий с двух противоположных ракурсов, на скрещении двух разнонаправленных аналитических стратегий. С одной стороны, согласно Талину, каждое событие так или иначе «входит в историю» — в этом смысле «демократическая революция 1917 г. и большевизм войдут в историю России»¹⁴. «Есть, однако, другой элемент исторического понимания и на нем, к сожалению, останавливаются меньше, — продолжает Талин. — Не только события входят в историю, но и *история входит в события* (курсив мой. — А.К.). Иными словами, в данное событие врываются силы “диалектики”, силы социологического развития, превращающие первоначальную значимость этого события из одной в другую, нередко прямо противоположную»¹⁵.

По мнению Талина, не только «большевизм вошел в историю», но и в него самого *вошла история*, вошли исторические силы, давшие ему жизнь, но жизнь эту направившие по путям, над которыми замыслы самих большевиков были уже не властны: «В большевизм вошла русская история, история русского народа и история русской страны»¹⁶.

¹¹ Ст. Иванович. Четыре года (Юбилейные заметки) // Современные записки. 1921, кн. VIII. С. 183–184.

¹² Талин В.И. У гроба Великого Диктатора // Заря, Берлин, 1924, № 1. С. 9.

¹³ Там же.

¹⁴ Ст. Иванович. Об историческом массиве (Из размышлений о русской революции) // Современные записки, Париж, 1927, кн. XXXII. С. 356.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Там же.

Но большевизм тем и отличался, потому и прибегал к террористическим средствам, что «возымел безумное намерение запретить Россию и запретить себя таким образом, чтобы русская история никоим образом сюда не вошла. Русский большевизм захотел быть антиисторичным, внеисторичным и надисторичным, и в этом и заключалась его крайняя «революционность», чтобы в историю войти, а ее к себе не впустить. Вся его жестокость, вся его слепота, вся его историческая фантастика и фантастическая истеричность питались вот этим намерением оградить себя от проникновения истории в его собственный организм»¹⁷.

В своем анализе большевизма Талин использует еще одну пару понятий: «История» и «Исторический Случай». Большевики, по его мнению, прекрасно сознавали, что «за них — *случай* — экономический, политический и моральный развал войны, но против них — *история* — основные законы современного экономического, политического и морального развития, законы, на которые война наложила свой “мораторий”, но которые уничтожить война не могла. И вот социалистическая бессмыслица коммунистической утопии и состояла в том, что случай она захотела превратить в историю, а историю, хотя бы тысячелетнюю историю России, в необязательный случай»¹⁸.

Несомненная заслуга Талина — историософа и социолога — всесторонний анализ взаимоотношений органики истории и большевистского насилия над историей. Очередной сформулированный автором парадокс состоит в том, что все «антиисторические» намерения и попытки большевиков, как они были теоретически задуманы, «провалились самым плачевным образом»¹⁹. Но именно потому, что эти планы регулярно проваливались, и именно в той мере, в какой они проваливались, большевики только и могли удерживать свое господство над Россией: «Случай привел большевиков к власти, но история отвела большевиков от той программы, для осуществления которой они обещали положить свой живот. Живота своего они не положили, предпочтя положить свою совесть и свою программу. Только старательно облегчаясь от своей программы, только ценой неслыханного в истории революции бесстыдного оппортунизма, большевики могли удержаться у власти. Только терпя изо дня в день поражение, как принцип, большевизм мог до сих пор удержаться, как факт. Они объявили священный поход против истории, но история забралась внутрь их самих, дала им жизнь, и отняла у нее их смысл... *Случаи проходят, история остается* (курсив мой.— А.К.)»²⁰. В самом деле, последовательная сдача большевиками всех изначальных

¹⁷ Там же.

¹⁸ Там же. С. 356–357.

¹⁹ Там же. С. 357.

²⁰ Там же.

принципов коммунистической доктрины (необходимость отказа от государства как машины насилия, ликвидация имущественного неравенства, мировая революция и т.д.) — это ведь и есть летопись эволюции «коммунизма по-русски».

Но как именно «русская история вошла в большевизм»? Талин утверждает: в первые послереволюционные годы «история, вошедшая в большевизм, вошла в него не передом, а задом, повернув Россию к, казалось, уже пройденным ступеням»²¹. В самом деле, «спустя некоторое время после воцарения большевизма многие стали замечать, что вселившаяся в большевизм русская история относится к довольно давним эпохам»: «Мы стали вспоминать, что уже самый приход большевиков к власти носил на себе неизгладимые черты “русских древностей”. Древняя пугачевщина и разиновщина, древнее исконное “бунташество”, древние настроения “черного передела”, древнее безразличие не столько антигосударственного, сколько до-и-внегосударственного анархизма русского народа — сколько всяких таких древностей стали улавливать в очертаниях “социалистической”, “пролетарской” революции!...»²². А очень скоро и сами большевики во главе с Лениным «стали к величайшему своему изумлению воспринимать в музыке своей революционной новизны мотивы отъявленной старины. Даже в том, что большевики сами создали “свою собственную руку” — в новой советской бюрократии — они к ужасу своему увидели типичные черты бюрократии царской, Гоголем описанной»²³.

Однако откат к архаике, как заметил Талин, с годами сменился в России новым процессом, также большевиками не предусмотренным, — выходом на авансцену российской истории «новых средних слоев», тех «мещан», «которых мы раньше не замечали или всячески презирали»: «Вот они-то и заявили о своем существовании и о своих исторических претензиях с наглядностью воистину убийственной. Убийственность эта заключалась в том, что необходимой предпосылкой для выхода на историческую арену средних классов являлось катастрофическое понижение, обвал всех, достигнутых столетиями дореволюционного развития, уровней, — экономических, культурных и духовных. Все должно было стремительно покатиться вниз для того, чтобы эти, поздно родившиеся социальные элементы могли подняться вверх... Иначе им подняться невозможно было»²⁴.

«История», показывает Талин, медленно «разворачивается», чтобы войти в большевистскую Россию «как полагается» — «передом, а не задом». Повседневная жизнь, развиваясь вопреки большевизму, постепенно

²¹ Там же. С. 358–359.

²² Там же. С. 357.

²³ Там же. С. 358.

²⁴ Там же. С. 363.

регенерирует объективную логику развития человеческих отношений, логику *поступательного развития культуры*. При этом сами ключевые институты большевистского режима — партия, профсоюзы, комсомол, армия, задуманные авторами как надежные инструменты своего господства, объективно становятся ареной острейшей внутренней борьбы. В них (а, учитывая их значение, — прежде всего в них) и проявляется главное противоречие системы — возрождение органической культуры вопреки пароксизмам революционной чрезвычайщины.

Исследование внутренних метаморфоз, претерпеваемых главным институтом большевизма — Партией — излюбленная тема Талина-советолога. История, по его мнению, «сыграла с РКП злую шутку»: «Если хозяйствовать можно только или состоя в РКП, или “примыкая к ней”, то, стало быть, весь многообразный мир интересов, страстей, столкновений, связанных с хозяйственной деятельностью, с классовой борьбой, с борьбой в пределах каждого класса — все это должно найти то или иное отражение внутри этой огромной губки — РКП. Если никуда нельзя пойти и ничего сделать нельзя, не побывав внутри или около РКП, то естественно здесь образуется водоворот, дикая свалка тех интересов, которые в нормальной обстановке находят себе свои собственные многочисленные русла, свои собственные организационные формы... Борьба населения с монополией легальности РКП была перенесена в пределы самой РКП»²⁵.

Большевистская партия стала своеобразным «Ноевым ковчегом», где самые разные группы населения, часто с резко отличными интересами, пытались спастись от потока бесправия, бушующего по всей стране: «Это легальная часть страны, объединенная только этим — титулом легальности... Они накрылись партийной шапкой-невидимкой, они даже состоят иногда в списках партийного “актива”, но по своей роли в политическом развитии страны они представляют собою самую опасную для политической диктатуры силу»²⁶.

Со своей стороны, большевистский режим, интуитивно чувствуя, где сокрыта его «кощеева игла», всеми силами противодействует регенерации исторической органики: «Надо во что бы то ни стало длить революцию. Иначе — смерть»²⁷. Один из наиболее эффективных способов искусственного продления «революционной молодости» — постоянное поддержание в общественном сознании «образа врага»: «Всегда и непрерывно надо, чтобы что-то где-то происходило, чтобы было страшно, чтобы были коварные враги, чтобы

²⁵ Ст. Иванович. Российская коммунистическая партия. Берлин, 1924. С. 8–9.

²⁶ Талин В.И. Побежденные и победители // Современные записки, Париж, 1928, кн. XXXIV. С. 405–407.

²⁷ Талин В.И. Кутерьма и революция // Последние новости, Париж, 2 апреля 1929 г. С. 2.

их ловили, судили, изобличали... Чтобы каждый день чуть-чуть не падала советская власть, но чтобы каждый день она чудесным образом спасалась, по каковому случаю раздавались бы пальба и крики, а там, в стороне, подбирались бы новый враг, фабрикуемый шпионами и провокаторами, специально на то и приставленным, чтобы было оживление, чтобы похоже было все на “революцию”, которая все еще продолжается, продолжается, продолжается...»²⁸

Еще одно радикальное средство «самоомоложения режима» — политические чистки. Их образное описание также принадлежит к числу публицистических шедевров Талина, соединяющих в себе глубину политологического анализа с фельетонной изысканностью: «Партия чистится — это означает, что сотни тысяч людей будут в покаянном трансе сами на себя клепать и возводить небылицы, чтобы лошадиными дозами искренности и искусственно растравленными гнойными язвами своими симулировать подкупающие строгих судей бездны раскаяния своего. Партия чистится — это значит, что армии коммунистических подхалимов, шкурников, проплеванных душ и восторженно-искренних мерзавцев явят собою образ наиболее ревнивых охранителей партийной чистоты и радетелей партийного благочестия»²⁹.

Между тем, по мере неуклонного «старения» режима, репрессивные формы его «самоомоложения» сменяются формами все более «вегетарианскими», характерными, по ироничному выражению Талина, скорее для «суетливой кутерьмы», нежели для «возвышенной революции». «Деланье революции» на излете режима на самом деле означает, что власть «бесконечно длит и длит кутерьму, выдумывает для нее все новые и новые формы и с насупленным лбом, со страшно серьезным “революционным” выражением в лице титанически и планетарно переливает из пустого в порожнее»³⁰. Режим уже не в силах «запретить историю», но он еще способен «по мелочам» ставить палки в колеса процессу регенерации исторической нормы. «Советская власть и компартия, — пишет Талин, — органически не способны спокойно видеть человека, занимающегося своим делом, потому, что всякое погружение человека в свое дело неизбежно включает его в органическую систему возрождающейся жизни, в корне враждебной искусственной системе дурацкого партийно-советского колпака, по уши натянутого на рвущуюся к хозяйственной и духовной свободе страну»³¹.

«Окончание революции», согласно Талину, станет делом рук *самой коммунистической элиты*, и коллапс советской системы начнется изнутри ее

²⁸ Ст. Иванович. Актеры и зрители // Записки социал-демократа, Париж, 1931, № 2, март. С. 17–18.

²⁹ Ст. Иванович. Великая чистка // Записки социал-демократа, Париж, 1933, № 18. С. 13.

³⁰ Талин В.И. Кутерьма и революция. С. 2.

³¹ Талин В.И. Наследники революции // Современные записки, Париж, 1927, кн. XXX. С. 509.

главного института — монопольной партии. В отличие от большинства эмигрантов первой послереволюционной волны, Талин был убежден, что «большевизм могут преодолеть не те, которые с ним и к нему не пошли, а только те, которые из него или от него ушли»³².

Путем серьезного социально-исторического анализа Талин пришел к пониманию, что «никогда не свергается сложившийся “новый режим”»: «Если он успел благополучно миновать “детские болезни” своего роста, если он устоял против первых конвульсивных контратак того общества и государства, которые он обезвластил и обесправил, тогда ему уже более или менее гарантирован относительно длинный период жизни»³³. Следует признать, утверждал Талин, что большевистский режим устоял против «первых контратак» и «детских болезней», и теперь все расчеты на его преодоление можно, увы, связывать только с его «постарением»: «Он обязательно должен постареть, чтобы сконцентрировать на себе ненависть народного большинства, чтобы разрушить все иллюзии, связанные с его рождением и молодыми годами... Режим должен остыть, сложиться, стать “пожилым”, потерять блеск великих событий..., чтобы в отношениях к нему страдающих масс могла проявиться свобода оценки и в психике народа могли бы накопиться элементы объективной ориентации в своем собственном положении»³⁴.

Итак, еще на рубеже 1920–1930-х гг. Талин-советолог предвидел, что «новую свободную Россию добудут и новую свободную Россию укрепят не старые силы, не силы, большевизмом побежденные, а силы, большевизмом рожденные, себе на погибель большевизмом выпестованные... История... изгрызет до дыр свое временное политическое вместилище и сбросит остаток небольшим рывком, далеким от стиля “великой революции” и близким по стилю какого-нибудь переворота или даже просто... замешательства»³⁵.

Что же касается предположений о возможном характере будущей, постбольшевистской России, то здесь Талин никогда не был большим оптимистом. Он нисколько не сомневался, что и после падения большевиков путь России не будет усеян розами — ей, судя по всему, предстоит выбор «не между добром и злом, а между злом большим и меньшим»³⁶.

В самом деле, каким образом из диктатуры, «разводящей вокруг себя мерзость и нечисть шпионства, доноительства, пролазничества и подхалимства, убивающей всякую свободную и независимую мысль, всякую твердость характера и человеческое достоинство» — каким образом из этого «режима лжи и террора» можно разом перепрыгнуть в обетованное «царство

³² Пути русской свободы // Современные записки, Париж, 1936, кн. LX. С. 390.

³³ Там же. С. 391.

³⁴ Там же. С. 392.

³⁵ Ст. *Иванович*. Об историческом массиве. С. 376–378.

³⁶ Ст. *Иванович*. О революции // Заря, Берлин, 1922, № 4. С. 105.

подлинной демократии»? Думать, что под завалами диктатуры сокрыто благостное общество, требующее только высвобождения «из-под глыб», — значит, по мнению Талина, в очередной раз повторять ошибку, уже сделанную однажды русскими предреволюционными «мечтателями»³⁷. Подлинная дебольшевизация России потребует немало времени: «Только медленными молекулярными наслоениями, только на протяжении большого исторического пути произойдет духовная и политическая европеизация России, только медленно и постепенно будет с нее спадать спесивая доморощенность»³⁸.

Литература

Аронсон Г.Я. С.О. Португейс. 1880–1944 // Социалистический Вестник, Париж, 1944, № 5–6.

Кара-Мурза А.А. Интеллектуальные портреты. Очерки о русских политических мыслителях XIX–XX вв. М.: Институт философии РАН, 2006. — 180 с.

Николаевский Б.И. Памяти С.О. Португейса // Новый журнал, Нью-Йорк, 1944, № 8. С. 394–397.

Ст. Иванович. Актеры и зрители // Записки социал-демократа, Париж, 1931, № 2, март. С. 17–18.

Ст. Иванович. Великая чистка // Записки социал-демократа, Париж, 1933, № 18.

Ст. Иванович. О революции // Заря, Берлин, 1922, № 4.

Ст. Иванович. Об историческом массиве (Из размышлений о русской революции) // Современные записки, Париж, 1927, кн. XXXII. С. 356–380.

Ст. Иванович. Пути русской свободы // Современные записки, Париж, 1936, кн. LX. С. 383–403.

Ст. Иванович. Пятилетка, социализм и Отто Бауэр // Записки социал-демократа, Париж, 1931, № 3, апрель.

Ст. Иванович. Российская коммунистическая партия. Берлин, 1924.

Ст. Иванович. Четыре года (Юбилейные заметки) // Современные записки. 1921, кн. VIII. С. 179–213.

Талин В.И. Кутерьма и революция // Последние новости, Париж, 2 апреля 1929 г.

Талин В.И. Наследники революции // Современные записки, Париж, 1927, кн. XXX. С. 479–513.

Талин В.И. Пай-граждане // Последние новости, Париж, 21 мая 1929 г.

Талин В.И. Победенные и победители // Современные записки, Париж, 1928, кн. XXXIV. С. 401–423.

Талин В.И. Сумерки русской социал-демократии // Современные записки, Париж, 1921, кн. VI. С. 112–145.

Талин В.И. У гроба Великого Диктатора // Заря, Берлин, 1924, № 1.

Талин В.И. Этапы комсомольских блужданий // Записки социал-демократа, Париж, 1931, № 4, май.

³⁷ Ст. Иванович. Пятилетка, социализм и Отто Бауэр // Записки социал-демократа, Париж, 1931, № 3, апрель. С. 15.

³⁸ Талин В.И. Наследники революции // Современные записки, Париж, 1927, кн. XXX. С. 513.

ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ МАКЛАКОВ — ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ «ПОЛИТИЧЕСКОЙ АЛЬТЕРНАТИВИСТИКИ»

В мае 2019 г. исполнилось 150 лет со дня рождения Василия Алексеевича Маклакова — выдающегося интеллектуала русского Серебряного века. Маклаков, окончивший сразу два факультета Московского университета, был профессиональным историком и юристом. Но огромный корпус его текстов, в том числе мемуарных, наглядно показывает: Василий Алексеевич, несомненно, проявил свой профессионализм и еще в одной области — он оказался интереснейшим «философом истории».

Скажу несколько слов о том, в чем я вижу разницу между «исторической наукой» и «философией истории». «Философия истории» отличается от «просто истории» тем, что «просто история» — это научное знание о том, что в истории *произошло*, а «философия истории» — это наднаучное рассуждение о том, что в истории *возможно*. Выражение: «история не знает сослагательного наклонения» — всего лишь трюизм, часто скрывающий под строгостью рассуждения нежелание мыслить глубже. Но работа с «сослагательным наклонением» — это особая профессиональная работа и в особом профессиональном поле — в области «философии истории», где речь идет именно о *возможном* в истории. В какой мере этот *дискурс о возможном* должен и может выполнять историк, а, может быть, это естественный удел совсем другой профессии — философии, — об этом в историческом знании продолжают споры.

Маклаков в своих поздних мемуарах (к одному из переизданий я имел честь писать Предисловие¹) довольно подробно описал нам свой путь к пониманию «смысла истории», к пониманию того, насколько она, с одной стороны, естественна и закономерна, а какой, с другой стороны, она — непредсказуема и вероятностна.

Еще молодой Маклаков, по его признанию, прекрасно отдавал себе отчет в том, что есть разница, между человеком, кто *знает* «факты истории» (пусть даже в большом объеме) и тем, кто *понимает* их «внутренний смысл». «В нашей деревенской библиотеке находились многие классические сочинения и журналы старого времени... Таким образом давно, незаметно для себя самого я знакомился с историей, но подходил к ней исключительно с точки

¹ Кара-Мурза А. А. Василий Алексеевич Маклаков и его «Воспоминания» // Маклаков В. А. Из воспоминаний. Уроки жизни. М.: МШПИ, 2011. С. 6–8.

зрения ее «созерцания», то есть знакомства с людьми и событиями. Но «понимания» истории, то есть смысла происходящих на протяжении ее перемен, мне никто не давал. Время для понимания и наступило на историческом факультете»².

Отмечу, что для профессиональных философов это признание дорогого стоит, ибо говорит о понимании Маклаковым смысла «философствования». Ведь согласно Сократу, одному из философских «классиков», философа можно отличить от простолюдина *апофатически*: все люди много чего не знают, но только философ «знает о том, что он не знает» и открыто признается в этом.

Как известно, Маклаков на историческом факультете Императорского Московского университета был учеником Павла Гавриловича Виноградова. Именно Виноградов наглядно показал студенту-историку, что главная задача профессионала — это пройти между двумя крайностями — с одной стороны, «не превратиться в тупицу, шкап, набитый книгами»; а с другой стороны, — «не стать фантазером в науке».

Виноградов, в свою очередь, был последователем Герберта Спенсера, либералом-эволюционистом — таким в общем сформировался и его ученик Маклаков. Тот вспоминал об учителе: «В его распоряжении всегда находилась масса аналогий, сравнений, иллюстраций из разных эпох и народов, которые показывали с кристальной ясностью, что в истории все совершается по непреложным законам общественной жизни, что в ней нет ничего необъяснимого (курсив мой. — А.К.). В обнаружении и определении этой закономерности был лейтмотив виноградовских лекций и его научных работ. При этом идею этой закономерности он нам не навязывал, не внушал *a priori*, как аксиому своей исторической философии (курсив мой. — А.К.). Это был просто логический вывод, к которому каждый естественно приходил сам, усвоив его изложение»³.

Мы знаем, как назывался семинар Виноградова, где Маклаков близко подружился с будущим известным философом Михаилом Осиповичем Гершензоном. Он назывался «Афинская полития Аристотеля» — рамка студий была изначально задана как «политико-философская».

Но я подозреваю, что точно также Виноградов относился и к «истории вообще» — недаром Маклаков назвал его метод «исторической философией». Виноградов, как известно, читал студентам курс истории Средних веков, и Маклаков вспоминал один из разговоров с учителем: «Мой идеал, — сказал он мне раз, прочитать историю Средних Веков, не назвав ни одного

² Маклаков В.А. Из воспоминаний. Уроки жизни (с предисловием А.А. Кара-Мурзы). М.: МШПИ, 2011. С. 171.

³ Там же.

собственного имени. Они не нужны для ее понимания»⁴. Что это? По большому счету, «история» за вычетом «имен собственных» — это и есть философия истории.

И здесь вспоминается история с публикацией в парижских «Современных записках» воспоминаний Маклакова: редакция в лице И.И. Бунакова-Фондаминского заказала ему именно личные мемуары, а он, как мы помним, принес под видом мемуаров чисто «историософское предисловие». Более того, когда ему на это указали, он и для второго выпуска принес... второе «историософское предисловие». И тут Бунаков-Фондаминский в разговоре с Вишняком признал, что Маклаков строго говоря, имел на это право. Ведь Бунаков, заказывая мемуары, поставил всего лишь два условия: 1) не ругать Милюкова; и 2) не хвалить Столыпина. Маклаков честно выбросил из своей истории эти два имени (прямо в стиле Виноградова) и получилась «историософия», ибо теперь в истории стали действовать два философско-исторических концепта: «Освободительное движение» (его квинтэссенция — Милюков); и «конституционное самодержавие» (это, конечно, Столыпин).

Еще один член редакции «Современных записок», тоже правый эсер Руднев — знаете, как назвал мемуары Маклакова? — «медитациями»⁵ и вместе с Вишняком требовал их скорейшего прекращения, так как «Современные записки», журнал возглавляемый четырьмя эсерами, под видом мемуаров получил сокрушительную историософскую «критику справа».

Назову, как я его понимаю, историософское кредо Маклакова, сжато сформулированное в поздних мемуарах: «Медленная эволюция — закон жизни; переворот — ее кризис, иногда необходимый, но сам по себе никогда не желательный»⁶.

Нечто подобное Маклаков писал и раньше — например, в одном из очерков мемуарной серии «Из прошлого» в 1929 г. в «Современных записках»: «Конечно, никому не дано обойти этапы естественного развития государства, как никому не дано помешать организму расти, зреть и стариться. Но как можно избавить организм от болезней или увечий, можно избавить и государство от катастроф и революций»⁷.

Эпоха Александра II — идеальное время для Маклакова, когда власть работает «на опережение»: «Революция, несмотря на видимость всеобщей покорности, была давно возможна в России. Конец царствования Николая I уже заставил опасаться ее в форме крестьянских движений. Страх мог быть

⁴ Там же. С. 172–173.

⁵ Письмо В.В. Руднева — М.В. Вишняку от 2 мая 1930 г. См.: «Современные записки» (Париж, 1920–1940). Из архива редакции (ред. О. Коростелев, М. Шруба). Т. 1. М.: НЛО, 2011. С. 524.

⁶ Маклаков В.А. Из воспоминаний. С. 330.

⁷ Маклаков В.А. Из прошлого: [продолжение] // Современные записки, 1929, № 40. С. 295.

преувеличен; но из-за него Александр II разорвал с сословной Россией и положил начало преобразованию ее в современную демократию. Эта последняя должна была быть капиталистической по социальному строю и конституционной по политической форме. После реформ Александра II возврат к старым порядкам стал невозможен. Россия шла медленно, но неуклонно по новому пути; чтобы дойти по нему до конца не было нужды в революции. Было достаточно не противиться естественному развитию жизни»⁸.

Итак, задача власти, задача политики, да и общества в целом — помогать эволюции, расчищать ей дорогу, освобождать от препятствий. Если это не получается (например, власть мешает эволюции) — вот тогда и случаются «завихрения», которые и порождают те самые «альтернативы»⁹.

Вот примеры маклаковских «альтернатив» (цитирую дословно): «Взрыв 1917 года совершился бы раньше, если бы Александр II попытался продолжать политику Николая»¹⁰; или: «Царствование Николая II могло пойти иначе, если бы в 95 году он вдохновился примером своего Великого Деда...»¹¹.

Уроки Виноградова не прошли для Маклакова даром. Он, например, был очень далек от «морализаторства» по поводу истории; например, к ужасам большевистского террора в России он старался относиться профессионально-спокойно. Например, 5 апреля 1921 г. Маклаков писал Шульгину из Парижа о «виноградовских уроках»: «Вспоминаю период, о котором я когда-то писал сочинение в студенческие годы и который потому живо помню и чувствую; это о завоевании Англии норманнами; Вильгельм Завоеватель был злодей не меньше большевиков; а то, что он проделал с бунтующим севером Англии, не идет ни в какое сравнение с тем, что делали большевики; прецедентов этого злодейства Вильгельма Завоевателя нужно искать разве что в Книге Царств. А между тем вся будущая Англия выросла из этого Вильгельма Завоевателя, который останется в памяти потомков как один из величайших ее королей»¹².

Итак, с идеалом «власти» у Маклакова более-менее понятно — это Александр II. Но какова роль интеллектуала, историка, политика в такой картине мира — познаваемой, рациональной, предсказуемой, в целом оптимистичной? Но и, разумеется, полной драм — но драм разрешимых, в которых понятно, как себя вести.

⁸ Маклаков В.А. Из прошлого. Первая революция // Современные записки, 1934, № 54. С. 317.

⁹ См.: Кара-Мурза А.А. Как идеи превращаются в идеологии: российский контекст // Философские науки, 2012, № 2 (9). С. 27–24.

¹⁰ Маклаков В.А. Из прошлого: [продолжение] // Современные записки, 1929, № 40. С. 295.

¹¹ Там же.

¹² Маклаков В.А. Из воспоминаний. Уроки жизни. С. 66–67.

Широко известно, что во всемирной истории у Маклакова был кумир — еще с юности, с первого его посещения с отцом Франции. Это был граф Мирабо. Маклаков как-то вспоминал: «Потом уже в России мне подарили восемь томов Лука Монтиньи с биографией Мирабо и выдержками его речей, из которых многие я до сих пор помню. Вообще, к соблазну наших политических “ригористов”, у меня образовался культ Мирабо. Я ценил в нем то, что если он толкал на реформы, то старался снабдить “власть” средствами помешать “разрушению” пойти слишком далеко; для этого отстаивал королевское “вето”»¹³.

А кого из русских политиков, своих современников, Маклаков приводил в качестве образца? Он был критичен, иногда придирчив, но и симпатизировал многим, однако выделял все же *одного*, и с большим отрывом от остальных — графа Петра Александровича Гейдена. Для него Гейден был русский аналог Мирабо: не по внешности, а по сущности: Мирабо был красноречив, а Гейден — по большому ораторскому счету скорее косноязычен. И тем не менее, по сути именно Гейден — русский аналог Мирабо: «Ум трезвый и ясный, он видел, как под блестящею оболочкой разлагалось Самодержавие и понимал, что без поддержки либеральной общественности погибнет Монархия. Отсюда его одинаковая преданность конституции, как и Монархии... Когда перводумская демагогия стала доказывать, что спасение России только в полном «народоправстве», он стал обличать *эту* ложь с той же настойчивостью, с которой боролся против лжи *старого* строя»¹⁴.

Бывали, конечно, периоды, когда у спокойного и рассудительного в целом Маклаковы бывали уклоны в сторону исторического фатализма. Следы этого настроения встречаются в основном в письмах — но это особый жанр; он более подвержен настроению, и его невозможно наутро подредактировать. Любят цитировать письмо Маклакова — Шульгину от 18 февраля 1924 г.: «Всё, что случилось с нами, не только заслужено за наши ошибки, но и вполне закономерно. Российской революцией завершился длинный период русской истории; мы подросли только к концу его... Если с высоты птичьего полёта смотреть на историю последних годов, то становится поразительно ясно неизбежность всего того, что случилось, а потому, в сущности, и бесполезность не только обличения других, но даже и собственных покаяний»¹⁵.

8 марта 1929 г. Маклаков сообщал в Нью-Йорк Б.А. Бахметеву о скором появлении в «Современных записках» первой части его мемуаров: «Не хочу ни приносить покаяния, ни себя превозносить; я считаю, что всё, что

¹³ Там же. С. 92.

¹⁴ Маклаков В.А. Первая Государственная Дума. Париж, 1939. С. 38.

¹⁵ Спор о России: В.А. Маклаков — В.В. Шульгин. Переписка 1919–1939 гг. М.: РОССПЭН, 2012. С. 175–176.

случилось, до такой степени закономерно и неизбежно, так логически вытекает из всей русской истории, что какие бы то ни были осуждения просто нелепы»¹⁶.

А главная «русская альтернатива» была изложена В.А. Маклаковым в 1939 г. в предисловии к книге «Первая Дума»: «В конечном счете Россию в Революцию столкнула война. Без нее Революции не было бы. Но если после 8 лет (1906–1914) «конституции» Россия смогла воевать целых три года, то будет ли смело предположить, что, если бы эти 8 лет протекали иначе, Россия смогла бы в войне дотянуть до конца? В совместной конституционной работе с общественностью здоровые элементы исторической власти получили бы такую опору, что они смогли бы преодолеть осилившие их микробы разложения власти и государства в форме Распутинства»¹⁷. «Война, — делает вывод Маклаков, — тогда пошла бы иначе и могла бы иначе окончиться. Конечно, во время войны общественность свой долг исполняла; но тогда было поздно. Она уже несла прямые последствия ошибок 1905–1906 годов; эти последствия так неисчислимо громадны, что их размер себе страшно представить»¹⁸.

Литература

Кара-Мурза А.А. Василий Алексеевич Маклаков и его «Воспоминания» // Маклаков В.А. Из воспоминаний. Уроки жизни. М.: МШПИ, 2011. С. 6–8.

Кара-Мурза А.А. Как идеи превращаются в идеологии: российский контекст // Философские науки, 2012, № 2 (9). С. 27–24.

Маклаков В.А. Из воспоминаний. Уроки жизни (с предисловием А.А. Кара-Мурзы). М., МШПИ, 2011. — 381 с.

Маклаков В.А. Из прошлого: [продолжение] // Современные записки, 1929, № 40. С. 250–300.

Маклаков В.А. Из прошлого. Первая революция // Современные записки, 1934, № 54. С. 300–350.

Маклаков В.А. Первая дума. Воспоминания современника. Париж, 1939. — 256 с.

«Совершенно лично и доверительно!» Б.А. Бахметев — В.А. Маклаков. Переписка 1919–1951. В 3-х тт. Т. 3 (общ. ред. О.В. Будницкого). М.: РОССПЭН; Стэнфорд: Изд-во Гуверовского института, 2002.

Современные записки (Париж, 1920–1940). Из архива редакции (ред. О. Коростелев, М. Шруба). Т. 1. М.: НЛО, 2011.

Спор о России: В.А. Маклаков — В.В. Шульгин. Переписка 1919–1939 гг. М.: РОССПЭН, 2012. — 438 с.

¹⁶ «Совершенно лично и доверительно!» Б.А. Бахметев — В.А. Маклаков. Переписка 1919–1951: в 3 т. Т. 3 (общ. ред. О.В. Будницкого). М.: РОССПЭН; Стэнфорд: Изд-во Гуверовского института, 2002, С. 426.

¹⁷ *Маклаков В.А.* Первая дума. Воспоминания современника. Париж, 1939. С. 11.

¹⁸ Там же. С. 12.

«ВОЖДИСТСКАЯ» СУБКУЛЬТУРА В РОССИИ В ПОИСКАХ ИСТОРИЧЕСКИХ АЛЬТЕРНАТИВ (В. В. ШУЛЬГИН)

Введение

Крупного русского политика и публициста Василия Витальевича Шульгина (1878–1976) в литературе принято называть националистом и монархистом. Среди других доминант его мировоззрения часто называют «черносотенство», «антисемитизм» и пр. В действительности, все эти, не лишённые смысла характеристики являются скорее производными от главной, как представляется, идейно-политической «идентичности» Шульгина: он, в первую очередь, был адептом и, наверное, одним из самых серьёзных идеологов «вождистской» (или, как он сам выражался, «*вожаческой*») политической субкультуры в России.

Между «монархизмом» и «вождизмом»

В отечественной литературе принципиальное различие между «вождизмом» и «монархизмом» обосновал, в частности, крупнейший русский историк С.М. Соловьев — главным образом, в трудах, посвящённых временам Петра Великого. Эту эпоху историк образно описал так: «Народ собрался в дорогу и ждал вождя...». И вот «появился Петр» — «вождь своего народа в великом движении, охватившем весь организм народной жизни»¹. «Следя за деятельностью Петра, — любил повторять Соловьев, — мы не должны забывать, что имеем дело *не с государем только*, а с начальником нового общества, *с вождем дружины*, основывающей новое государство» (курсив мой. — А.К.)². А вот более подробное объяснение: «Образуются новое общество, новое государство и, как обыкновенно бывало при этом, является дружина со своим вождем, которая и движется, разрушая старое, созидая новое; *царь по происхождению* (rex ex nobilitate) *становится вождем дружины по личной доблести* (dux ex virtute)» (курсив мой. — А.К.)³.

При этом, согласно Соловьеву, Петр Великий был вождем особого типа: «Подобно древним вождям дружин, он принимает каждого и дает ему место

¹ Соловьев С.М. Сочинения. М., 1991, кн. VII, тт. 13–14. С. 427.

² Там же. С. 429.

³ Там же. С. 432. В прорисовке С.М. Соловьевым образа Петра Великого, разумеется, заметны черты из пушкинских «Полтавы» и «Медного Всадника». — *Авт.*

по мере способности. В древних дружинах большая или меньшая храбрость определяла место дружинника, степень приближения его к вождю; в дружине Петровой одной храбрости было мало, прежде всего требовалось искусство, образование...»⁴

Что же касается «монархизма», то его принципиальное отличие от «вождизма» хорошо сформулировал, в свою очередь, И.Л. Солоневич в своей знаменитой книге «Народная монархия»: «Моя собственная теория, вероятно, уже известная читателям, относится к культу личности довольно мрачно: “гений в политике — это хуже чумы”... Ибо монархия есть единоличная власть, подчиненная традициям страны, ее вере и ее интересам, иначе говоря, власть одного лица, но без отсебятины. Вождь — тоже одно лицо, но с отсебятиной. Петр был смесью монарха с вождем — редкий пример царя с отсебятиной»⁵.

Итак, то, что в деятельности Петра-реформатора апологет «вождизма» Соловьев именовал «подвигом» и «творчеством гения», ортодоксальный монархист Солоневич иронически называл «отсебятиной», открыто и во всем предпочитая царю Петру его отца — «тишайшего» Алексея Михайловича.

...Теоретическим основанием шульгинской концепции «русского вождизма» («вожачества») является выделение им двух исторических типов человеческой «солидарности». Первый — *бессознательный* (или «непосредственный»), Шульгин уподобляет «солидарности» муравьев или пчел: «Муравьи и пчелы тоже солидарны до удивительности; но они бессознательно солидарны, ибо так называемые “матки” или “царицы” ульем не правят и никому ничего не приказывают; они попросту рожают новые поколения, за что их берегут и лелеют, как единственный источник продолжения муравьиной или пчелиной расы. Кто-то, конечно, муравьями и пчелами управляет, но этот “кто-то” не персонифицируется в какой-нибудь пчеле или синедрионе пчел»⁶. Этот тип «бессознательной солидарности» характерен, по мнению Шульгина, и для некоторых человеческих общностей, например, для «еврейского народа»: к конспирологической идее о существовании некоего «тайного еврейского всемирного правительства» Шульгин относился крайне скептически.

Существует, однако, и другой тип «солидарности» — *сознательный* (или «нарочитый»), и он тоже имеет свои аналоги в животном мире: «Другие животные слепо повинуются видимым вожакам и безоговорочно исполняют их

⁴ Соловьев С.М. Сочинения. кн. VII, тт. 13–14. С. 427. См. также: Кара-Мурза А.А., Поляков Л.В. Реформатор. Русские о Петре I. Опыт аналитической антологии. Иваново: Фора, 1994. С. 110–111.

⁵ Солоневич И.Л. Народная монархия. М.: Институт русской цивилизации, 2010. С. 574. См. также: Кара-Мурза А.А., Поляков Л.В. Реформатор. Русские о Петре I. С. 117.

⁶ Шульгин В.В. «Что нам в них не нравится...» Об антисемитизме в России. СПб.: Хорс, 1992. С. 88.

приказы. Тем, кому приходилось иметь дело с тысячными стадами, например, быков, этот факт хорошо известен. Рассказывают, что иногда приходится простаивать целые месяцы при переправе через какую-нибудь реку, потому что быки-вожаки по каким-то известным им одним причинам не желают лезть в воду. По истечении “времени и сроков” они же так же непонятно бросаются в реку, а за ними неудержимо прет бычья лавина; прет то самое стадо, которое до этого времени никакими самыми невероятными (человеческими) усилиями нельзя было сдвинуть с места»⁷.

Таким образом, утверждает Шульгин, «среди людей можно тоже себе представить эти два типа солидарности» — «солидарность бессознательную, или непосредственную, и солидарность — “через фокус”»: «В первом случае люди стремятся к одной цели без видимого приказа кого-нибудь — это, скажем, случай пчелиный или еврейский; во втором случае люди делают общее дело только по приказу своего видимого вожака или владыки — это, скажем, *случай бычий или русский* (курсив мой. — А.К.) (да простят мне мои единоплеменники сие сближение и вспомнят, что быки у многих народов были тварями почитаемыми и даже священными)»⁸. «Эти два типа психики, — заключает Шульгин, — к которым по принадлежности тяготеют два рассматриваемых нами народа, являются, на мой взгляд, своего рода фатумом. Эта разница психической структуры и обуславливает полярность стихий еврейской и русской, по крайней мере в плоскостях политической и общественной»⁹.

«Русские вожди»:

Петр Алексеевич и Николай Павлович

Согласно Шульгину, в процессе трудного складывания единого «русского народа» имела место постоянная борьба за доминирование между «северянами» (царями московскими) и «южанами» (вождями русско-казацкими). Самого Шульгина, воспитанного отчимом, русско-казацким профессором-националистом Д.И. Пихно, всегда больше привлекали образы русский *вождей-южан*: «История говорит нам, что другое действующее лицо этой же эпохи (московского царя Алексея Михайловича — А.К.), гетман Богдан Хмельницкий, смотрел на себя и на своих, как на истинных носителей русского начала. Южане напоминали Государю Московскому, что древнее гнездо воссоединяемого русского народа есть Киев и вся вообще “Малая Русь”... Но эта русскость, будем называть ее южной, отличается от Московской, которую будем называть северной»¹⁰.

⁷ Там же. С. 88–89.

⁸ Там же. С. 89.

⁹ Там же.

¹⁰ Там же. С. 91.

Согласно Шульгину, в эпоху, непосредственно предшествовавшую «петровской», русскому народу предстояло совершить важнейший рывок на пути национально-государственного соединения «русского Севера» и «русского Юга». Эту миссию мог выполнить только новый *национальный вождь*, но непременно вышедший из устоявшейся легитимной династии.

«Поэтому недаром, — писал Шульгин в конце 1920-х гг., — Петр Великий, коему предстояло использовать великое дело своего отца (направившего “Московию» с пути местно-московского на путь общерусский), недаром Петр Великий стремился найти новое гнездо для удвоившегося в своих возможностях народа»¹¹. «Москва для этого дела была тесна и провинциальна, — объясняет Шульгин логику вождя-реформатора. — Она не могла импонировать русскости южной; ибо эта последняя традиционна, от времен Владимира и Ярослава, протягивала щупальцы на Запад и тянула в себя завоевания культуры общечеловеческой»¹².

Петр Великий правильно рассчитал, что «из воссоединения двух братских племен, одинаково русских, но несколько разошедшихся в течение веков различной политической жизни, непременно должно было родиться “нечто третье”, что не было бы ни древний Киев, находившийся в состоянии упадка, но хранивший варяжские традиции русского западничества; ни Москва, набравшаяся силы, но носившая на глазах повязку из чисто московских, “сепаратистических” от остального мира предрассудков»¹³. «Это третье, — продолжает Шульгин, — *гениальным вожаком обеих русскостей* (курсив мой. — А.К.), северной и южной, было найдено; и нарекли ему имя... Санкт-Петербург... При помощи прозревших “москвичей” и наследственно зрячих “киевлян” он стал тем котлом, где великолепно, можно сказать “блистательно”, варилась каша из двух воссоединившихся племен русского народа»¹⁴.

Эпоха исторических преобразований Петра Великого, по мнению Шульгина, наглядно показала: «Наиболее выгодная для русских (по своему их психологии) организация есть организация *вожаческая*» (выделено Шульгиным — А.К.): «Причем — безразлично, какое “формальное наименование» к ней прищипливать. При соответствующем вожаке русские могут быть очень сильны. Их лучшие качества складываются, будучи толкаемы в одном направлении; их нестерпимые недостатки (грызня, взаимное недоброжелательство) парализуются. Ведомые подлинным вожаком, русские могут с успехом конкурировать с другими народами во всех тех областях, где вожаческая организация вообще пригодна»¹⁵.

¹¹ Там же.

¹² Там же.

¹³ Там же.

¹⁴ Там же. С. 91–92.

¹⁵ Там же. С. 95.

Сфера применения принципов «вожачества», согласно Шульгину, «конечно, не безгранична, но значительно шире, чем об этом принято думать». В трудные времена — например, династических кризисов — именно нетрадиционные навыки «вожачества» выходят на передний план. Наглядный пример этому — царствование «сурового вожака Николая I»¹⁶ (подлинные слова Шульгина — А.К.).

В свое время на молодого Шульгина произвела большое впечатление «сшибка» сильных характеров в драматические часы «декабристского бунта». В письме к В.А. Маклакову от 10 декабря 1924 г. Шульгин отмечал: «В самые реакционные периоды русской истории мы видим, однако, людей, у которых по жилам струилась кровь, а не вода, и которые то, что они считали своим долгом, умели исполнять вплоть до личного самопожертвования. И если 14 декабря 1825 года высшая аристократия страны лично повела ничего не понимающих солдат на мятеж против императора, обнаружив при этом хотя и весьма мало рассудительности, но и несомненное мужество, то и противная сторона, в лице Государя Николая I и наследника престола Михаила (так у Шульгина. — А.К.), окруженные дворянством, оставшимся верным престолу, раздавила мятеж, можно сказать, персональной энергией, не щадя своей личной безопасности и даже жизни»¹⁷.

И, конечно, история России пошла бы совсем иначе, если бы заговор декабристов удался: «Государь был бы убит кинжалом, который Рылеев подал для этой цели Каховскому; вся Императорская фамилия была бы истреблена “до корня”...; Петербург был бы реформирован при помощи “красного петуха”, чернь грабила бы и убивала»¹⁸.

Николаевское время, не раз подчеркивал Шульгин, было вместе с тем «золотым веком русской литературы»: «Этого расцвета русского слова Россия не увидела бы, если бы удался заговор декабристов... В этой катавасии, которую гвардейцы начала XIX века готовили России, конечно, погиб бы цвет нации: Жуковский, Пушкин, Грибоедов и Гоголь покончили бы свои дни на эшафоте, ничего не написав». Вывод Шульгина: «Истинный вожак, Государь Николай I, 14 декабря 1825 года *спас русских от самих себя*» (выделено Шульгиным. — А.К.)¹⁹.

В качестве доказательства для своих умозаключений Шульгин приводит аналогию с судьбой российской интеллигенции после большевистского переворота: «Ведь на наших глазах в революции погибли все те, кто не успел вовремя унести ноги. А те, что унесли? Их талант не распустился в суровой

¹⁶ Там же.

¹⁷ Спор о России: В.А. Маклаков — В.В. Шульгин. Переписка 1919–1939 гг. (ред. О.В. Будницкий). М.: РОССПЭН, 2012. С. 210–211.

¹⁸ Шульгин В.В. «Что нам в них не нравится...». С. 95–96.

¹⁹ Там же. С. 96.

прозе эмиграции “песнями и молитвами”, которые так легко слагались под воркованье уютной вьюги села Михайловского или “в страданиях” ласковой ссылки на благословенный юг России»²⁰.

Однако со временем, согласно Шульгину, в среде правящего класса России стали заметны признаки деградации. Да и сам тип правления представителей правящей династии перестал отвечать требованиям времени — и это в условиях нарастания внутренних и внешних вызовов. «Северянская» Москва все более заражала своим влиянием послепетровский имперский Петербург — для переехавшего в столицу «южанина» Шульгина это стало в свое время неприятным потрясением.

Характерны слова, вырвавшиеся у Шульгина в уже упомянутом письме Маклакову: «Поверхность же наша русская с той минуты, по крайней мере, когда я, человек провинциальный и необразованный, стал наблюдать лик столь высоко ценимой на юге Северной Пальмиры, показалась мне собранием, если это выражение не оскорбит Вас, недоносков и вырождков»²¹. «И думаю я посему, дорогой Василий Алексеевич, — писал тогда Шульгин Маклакову, — что причина постыдного поведения нашего в 1917 году кроется гораздо глубже, чем в особенностях политического правления нашей родины, и таится она там, где и всегда на протяжении истории таилась: ... в *вырождении физическом и душевном классов, предназначенных для власти* (курсив мой. — А.К.), ибо власть требует наличности некой материи, некой субстанции, не особенно удобно определяемой, но весьма ясно мною ощущаемой субстанции, я бы сказал, имеющей нечто общее с ощущением силы и молодости»²².

В характере и стиле правления предреволюционной Россией (возможно, адекватному более мирным временам) националисту Шульгину явно не хватало «вождистского» компонента.

Петр Столыпин — «русский Дуче»

Включившийся в общероссийскую политику в начале нового столетия, молодой парламентарий от дворян Волынской губернии Василий Шульгин однажды подметил: «Времена меняются. В былое время достаточно было быть Царем, чтобы вбирать в себя все лучшие токи нации. Драки сами собой смолкали на ступенях трона; оставалось одно очищенное желание служить родине, — через Царя... Сейчас Государь, который хотел бы выполнить цареву службу былых времен (то есть выловить из народа все творческое, отринув разрушительное), должен быть персонально на высоте своего

²⁰ Там же.

²¹ Спор о России: В.А. Маклаков — В.В. Шульгин. Переписка 1919–1939 гг. С. 211.

²² Там же. См. также: *Буднички* О.В. В.А. Маклаков и В.В. Шульгин: друзья-противники // Спор о России: В.А. Маклаков — В.В. Шульгин. Переписка 1919–1939 гг. С. 7–50.

положения. Если же этого нет, то *рядом с ним становится вождь, который, по существу, исполняет царские функции* (курсив мой. — А.К.) »²³.

«Ныне мы живем в веке фашизма», — делает вывод правый политик и убежденный «социалистоед» Шульгин, поставивший целью своей жизни решительную «борьбу налево». Слово «фашизм», итальянского происхождения (от *fascio* — пучок), Шульгин всегда использовал в сугубо положительном смысле: его тексты в этом отношении можно сравнить с сочинениями другого русского националиста (и тоже большого поклонника Бенито Муссолини) И.А. Ильина.

У России, согласно Шульгину, в начале века появился шанс на «выздоровление». «Нашелся Столыпин — предтеча Муссолини. Столыпин по взглядам был либерал-постепеновец; по чувствам — националист благородной, “пушкинской”, складки; по дарованиям и темпераменту — природный “верховный главнокомандующий”, хотя он и не носил генеральских погон. Столыпин, как мощный волнорез, двуединой системой казней и либеральных реформ разделил мятущуюся стихию на два потока»²⁴. «Правда, — добавляет Шульгин, — за Столыпина стало меньшинство интеллигенции, но уже с этой поддержкой, а главное, черпая свои силы в сознании моральной своей правоты, Столыпин раздавил первую русскую революцию»²⁵.

Столыпин давал России шанс на мирную эволюцию, и «разумные» депутаты русского парламента (к ним Шульгин относил и себя) понимали это. «Мы, провинциалы, — писал Шульгин в автобиографической книге “Дни”, — твердо стали вокруг Столыпина и дали ему возможность вбивать в крепкие мужицкие головы сознание, что земли “через волю” они не получают, что грабить землю нельзя — глупо и грешно, что земельный коммунизм непременно приведет к голоду и нищете, что спасение России в собственном, честно полученном куске земли..., и, наконец, что “волю” народ получит только “через землю”, т.е. не прежде, чем он научится ее, землю, чтить, любить и добросовестно обрабатывать, ибо только тогда из вечного Стеньки Разина он станет гражданином»²⁶.

Проблема Столыпина, однако, была в том, что он вышел из среды административной, а не «идейной» (как тот же Муссолини) элиты. В своей переписке с либералом Маклаковым Шульгин не раз пенял своему корреспонденту за то, что тот был лишен малейших симпатий и к Муссолини, и к тем русским крайне правым кругам (Маклаков сравнивал их с «фашистами»), которые могли бы в свое время выдвинуть аналогичную фигуру «русского дуче».

²³ Шульгин В.В. «Что нам в них не нравится...». С. 95.

²⁴ Там же. С. 48.

²⁵ Там же.

²⁶ Шульгин В.В. Дни // Шульгин В.В. Дни. 1920 год (вступ. ст. В.М. Хрусталева). М.: Прозаик, 2017. С. 54.

10 декабря 1924 г. Шульгин писал Маклакову: «Вы правильно изволили сравнить некогда существовавший “Союз русского народа” с нынешними фашистами. Действительно, среда, из которой вышеупомянутые союзы рекрутировались, в некоторых отношениях весьма напоминает среду фашистскую, и, думаю, ничуть не хуже ее»²⁷. «Среди революционеров справа, — продолжает Шульгин, — я знавал личностей почтенных, а главное — способных к отпору и борьбе, способных и жизнь свою положить за други своя, что в других, благородно-умеренных партиях наших (явный намек на либералов. — А.К.), не замечалось»²⁸.

«К сожалению, — подытоживает Шульгин, — не нашлось в нашей русской действительности лица, подобно итальянскому Муссолини. А Петр Аркадьевич Столыпин, по многих отношениях его напоминавший, всецело занялся упорядочиванием аппарата правительственного и посему, конечно, не успел создать контр-форса, если смею так выразиться, справа, который развил бы в политической борьбе ту же свирепую лютость, каковую обнаружили революционеры слева»²⁹.

Столыпин, по мнению Шульгина, «заплатил жизнью за то, что он раздал революцию, и, главным образом, за то, что он указал путь для эволюции»: «Выстрел из револьвера в Киеве — увы, нашем Киеве, всегда бывшем его лучшей опорой, — закончил столыпинскую эпоху... Печерская лавра приняла пробитое пулей Богрова тело...»³⁰

Убийство русского премьера в решающее для страны время сделало место «национального вождя» не просто вакантным — оно обнажило огромную зияющую дыру в русском правящем классе. Шульгин-парламентарий вынужден был констатировать: «Будет беда. Россия безнадежно отстает. Рядом с нами страны высокой культуры, высокого напряжения воли. Нельзя жить в таком неравенстве. Такое соседство опасно. Надо употребить какие-то большие усилия. Необходимы размах, изобретательность, творческий талант. Нам надо изобретателя в государственном деле. *Нам надо социального Эдисона* (курсив мой. — А.К.)»³¹.

Русская революция: вожди истинные и мнимые

Первая мировая война, по мнению В.В. Шульгина, обнажила структурные слабости российской монархии. Решающей ошибкой было то, что Россия оказалась *одновременно* втянутой в борьбу с двумя мощнейшими «мирами»:

²⁷ Спор о России: В.А. Маклаков — В.В. Шульгин. Переписка 1919–1939 гг. С. 211.

²⁸ Там же.

²⁹ Там же. С. 211–212.

³⁰ Шульгин В.В. Дни. С. 54–55.

³¹ Там же. С. 55.

«германской нацией», с ее склонностью к военной экспансии, и «революционным еврейством», разлагавшем Россию изнутри. «Сатанинско-разлагающее» влияние Распутина на правящую элиту лишь довершило дело.³²

Огромное впечатление на страну произвела антиправительственная речь В.В. Шульгина в Государственной думе 3 ноября 1916 г.: ее эффект, как представляется, был на порядок выше аналогичных выступлений «старых оппозиционеров» (например, знаменитой речи «глупость или измена?» кадетского лидера П.Н. Милюкова). На это раз против «Власти» выступил консерватор, националист и монархист, и этот факт Шульгин подчеркнул в самом начале своего думского выступления: «Я не принадлежу к тем рядам, для которых борьба с властью есть дело, если не сказать привычное, то, во всяком случае, давнишнее. Наоборот, в нашем мировоззрении та мысль, что даже дурная власть лучше безвластия, эта мысль занимает почетное место».³³

Изменить своей привычной позиции, объяснил Шульгин, его и его товарищей из числа умеренных правых («*левой части правой*» — согласно стенографическому отчету) заставили чрезвычайные обстоятельства: «Произошло то, что страна, которая в продолжение более двух лет безбоязненно и доблестно борется с самым страшным врагом, который когда-либо был пред Россией, эта страна смертельно испугалась своего собственного правительства»³⁴.

Трагический парадокс ситуации, продолжил свою мысль Шульгин, состоял в том, что в глазах думающей части русского общества германский главнокомандующий стал представлять *меньшую опасность*, чем новоназначенный (при поддержке Распутина) премьер Российской империи: «Произошло то, что люди, которые бестрепетно смотрели в глаза Гинденбургу, затрепетали перед Штюрмером (*Смех слева; голоса: правильно; рукоплескания в левой части правой, в центре и слева*)»³⁵.

Шульгин выразил распространяющиеся в обществе опасения, «что это только заглавие к той сатанинской грамоте, в которой будет изложена программа позора и гибели России».³⁶ «И вот, чтобы этого не случилось, господа,— сделал вывод Шульгин,— Государственная дума должна стоять здесь на своем месте и бороться за безопасность России... У нас есть только одно средство: бороться с этой властью до тех пор, пока она не уйдет»

³² Шульгин В.В. «По поводу одной статьи» // Спор о России: В.А. Маклаков — В.В. Шульгин. Переписка 1919–1939 гг. С. 96–107.

³³ Шульгин В.В. Россия, Украина, Европа: избранные работы (ред. А.В. Репников). М.: Посев, 2015. С. 110.

³⁴ Там же.

³⁵ Там же.

³⁶ Там же. С. 113.

*(Продолжительные и бурные рукоплескания центра, левой и в левой части правой; голоса: браво)*³⁷.

В этом контексте выглядит абсолютно естественным и символичным, что «монархист» Шульгин стал одним из тех посланцев Временного комитета Государственной думы, кто 3 марта 1917 г. принял отречение Государя Николая II.

На протяжении всей своей долгой жизни (98 лет!) убежденный «вождист» Шульгин неоднократно возвращался к тому драматическому эпизоду, когда он, вместе с А.И. Гучковым, принимал, от имени Временного комитета Государственной думы, акт отречения Николая II. Шульгин всегда оставался при мнении, что в своей «вождистской» логике был тогда абсолютно прав, защищая принцип «монархизма» от искажений (вольных или невольных) этого принципа. Однажды, в 1921 г., Константинополе, уже после изгнания врангелевцев из Крыма, группа русских эмигрантов затеяла некое «объединение», намереваясь поставить во главе его Шульгина. В мемуарной книге «1921 год» сам он вспоминал: «Я согласился, предупредив, что ничего не выйдет. Я ведь прекрасно знаю, что некоторые не могут мне забыть, что ездил в Псков. А я не могу им простить, что они прятались во все дыры, когда все рушилось, а теперь могут упрекать меня за то, что я осмелился поехать к Царю и принять неизбежный акт отречения во всем уважении к Венценосцу, вместо того, чтобы вместе с ними смотреть, как Чхеидзе и Нахамкес (партийный псевдоним “Стеклов”.— А.К.) будут “читать мораль” последнему русскому Государю»³⁸.

Как известно, среди «выдающихся представителей общественности» из состава Временного комитета Государственной думы, в чьих руках оказалась власть весной 1917 г. (в состав Комитета входил и Шульгин), не оказалось людей с «вожаческой» психологией и навыками. «Разве мы-то сами к чему-нибудь такому годны? — писал Шульгин в “Днях”. — Разве мы были способны в то время «молниеносно» оценить положение, предвидеть будущее, принять решение и выполнить за свой страх и риск?... Тот между нами, кто это сделал бы, был бы Наполеоном, Бисмарком или Столыпиным... Но между нами таких не было...»³⁹

Среди лучшего, написанного Шульгиным,— те страницы его мемуаров, которые дают анализ периода «междуревolutionонного двоевластия» 1917 г., способного (или неспособного) разродиться новыми «вождями». «Революционное человеческое болото, залившее нас, все же имело какие-то кочки... На революционной трясине, привычный к этому делу, танцевал

³⁷ Там же. С. 111, 113.

³⁸ Шульгин В.В. 1921 год. М.: Кучково поле, 2018. С. 130.

³⁹ Шульгин В.В. Дни. С. 117–118.

один Керенский... Он выросал с каждой минутой... Эти «кочки опоры», на которых нельзя было стоять, но по которым можно было перебежать, — были те революционные связи, которые Керенский имел: это были люди, отчасти связанные в какую-то организацию, отчасти не связанные, но признавшие его авторитет. Вот почему на первых порах революции (помимо его личных качеств как первоклассного актера) Керенский сыграл такую роль»⁴⁰.

Новые кандидаты в «русские вожди»

После большевистского переворота, будучи одним из идеологов Белого движения, В.В. Шульгин имел возможность общаться со многими кандидатами в новые «вожди». Он, например, был очень высокого мнения о «вождистском» потенциале А.И. Деникина. Его не смущало то, что Деникину, как полагали монархисты-радикалы, не хватает «диктаторских мер». «Деникин, несомненно, либерал по природе, — писал Шульгин в марте 1919 г. из Добровольческой армии В.А. Маклакову. — Вы знаете, что русский либерал с твердой волей и способный отстаивать свои либеральные убеждения силой оружия — это белая ворона в наших условиях, ибо обычно либерализм совпадает с полным отсутствием воли, решимости и твердости»⁴¹.

«Я знал только одного по существу либерального человека, который вместе с тем был и волевым человеком, — это был Столыпин, — продолжает Шульгин. — Я думаю, что идеология Деникина близка к Столыпинской... Этот человек..., так же, как и Столыпин — несокрушимого упрямства в основных вопросах. Многие обвиняют Деникина в слабости: это неверно — нельзя забывать, что он либерал по природе, а потому всякие действия из арсенала диктаторских мер будут им пущены в ход только в случае крайней необходимости»⁴². Деникин, делает вывод Шульгин, на тот момент — главный кандидат в «национальные вожди»: «Несмотря на всю его медлительность, он, в конце концов, единственный, кто выживает и неумолимо растет, поглощая остальных. Думаю, что его надо держаться, не мудрствуя лукаво, ибо от добра добра не ищут»⁴³.

При этом Шульгин полагал, что, ведя страну к Учредительному Собранию «военный вождь» Деникин уступит со временем лидерство законному монарху: «Если демократия значит большинство, то Деникин сражается именно за то, чтобы выявить свободную волю большинства... Я нимало не сомневаюсь, что через некоторое время воля этого большинства будет

⁴⁰ Там же.

⁴¹ Спор о России: В.А. Маклаков — В.В. Шульгин. Переписка 1919–1939 гг. С. 45.

⁴² Там же.

⁴³ Там же.

определенно монархической, ибо крестьяне, насытившись большевиками, будут требовать только одного — царя»⁴⁴.

То, что войска «белых», в середине 1919 г. дошедшие до Орла («московский царь» Ленин уже отдал приказ об эвакуации большевистского правительства в Вологду), вынуждены были потом отступать до Одессы, затем, уже при Врангеле, перебраться в Крым, а после его сдачи вообще эвакуироваться за пределы России, — стало для Василия Шульгина, потерявшего в борьбе с «красными» двух сыновей (третий, младший, отступил с русским флотом в тунисскую Бизерту) огромной личной трагедией.

Тем более серьезный смысл имеет главный вывод Шульгина — политика и политического аналитика: «белые» проиграли потому, что по пути к российской власти «загрязнились», а «красные», наоборот, одержали верх только потому, что взяли на вооружение главные принципы своих противников: во-первых, идею профессиональной армии и, во-вторых, — идею Единой и Неделимой России...

Следующий русский «самодержец» вырастет ... из большевизма

Но большевики, согласно Шульгину, взяли у «белых» еще и третий принцип удержания и выстраивания России — *принцип единоличной власти*. Ведь еще на «Московском совещании» в августе 1917 г., — вспоминал Шульгин, — большевистские лидеры твердили о «диктатуре пролетариата», в то время как их оппоненты «справа» возражали: «Управление выборным коллективом в условиях войны и революции — вздор»⁴⁵. «Вышло по-нашему», — констатирует Шульгин: «Обе половинки России — Северная и Южная — отвергли коллектив и перешли: Южная — к единоличной диктатуре генералов..., а Северная — к “двуличной” диктатуре двух дворян: одного симбирского, а другого иерусалимского (читай: Ленина и Троцкого — А.К.)»⁴⁶.

Итак, согласно Шульгину, большевики, прорываясь к власти опирающиеся на анархию, теперь не только восстанавливают «военное могущество России» и «границы Российской державы до ее естественных пределов», но и «подготавливают пришествие самодержца всероссийского» (курсив мой. — А.К.)⁴⁷.

При этом Шульгин отрицал, что этим «самодержцем» может стать Ленин или Троцкий: «Он не будет ни психопатом, ни мошенником, ни социалистом... На этих господах висят не сбрасываемые гири..., их багаж, их

⁴⁴ Там же.

⁴⁵ Шульгин В.В. 1920 год. С. 403.

⁴⁶ Там же.

⁴⁷ Там же.

вериги... — социализм... они не могут отказаться от социализма... они ведь при помощи социализма перевернули старое и схватили власть. Они должны нести этот мешок на спине до конца и он их раздавит...»⁴⁸

И вот тогда, — предвидел Шульгин, — «придет Некто, кто возьмет от них их “декретность”... Их решимость — принимать на свою ответственность, принимать невероятные решения. Их жестокость — проведение однажды решенного... Но он не возьмет от них их мешка. Он будет истинно красным по волевой силе и истинно белым по задачам, им преследуемым. Он будет большевик по энергии и националист по убеждениям. У него нижняя челюсть одинокого вепря... И “человеческие глаза”. И лоб мыслителя...»⁴⁹

«Комбинация трудная — я знаю, — писал Шульгин в начале 1920-х гг., когда вся «старая эмиграция» еще всерьез обсуждала перспективы «новой интервенции». — Всё, что сейчас происходит, весь этот ужас, который сейчас навис над Россией, — это только страшные, трудные, ужасно мучительные... роды... Роды самодержца... Легко ли родить истинного самодержца, и еще всероссийского!»⁵⁰

Заключение

Не подлежит сомнению, что именно трагический личный опыт выработал в Василии Витальевиче Шульгине уникальные навыки «беспощадной» политической аналитики. 9 марта 1921 г. он писал В.А. Маклакову: «Тяжелые личные утраты выращивают на мне какую-то буйволовую шкуру, сквозь которую не могут пробиться самые отчаянные на первый взгляд события»⁵¹.

При этом Шульгин, как это ни невероятно, продолжал верить в Россию, в «необычайную живучесть русского тела». Он сохранял убеждение в том, что «процесс жестокого прессования, которому подвергнуты одинаково русские и Белой, и Красной России, — даст нам в итоге фалангу людей необычайно закаленных, т.е. именно то, чего нам недоставало»: «Ибо... причина всех несчастий была изнеженность руководящего класса, неспособного нести на себе бремя власти»⁵².

Когда в 1921 г., в эмигрантском Константинополе, один белый генерал-беженец спросил Шульгина, что же теперь будет с Россией, Шульгин ответил: «Половина русского населения вымрет, а остальная восстановит всё... “с гаком”... Расцвета мы не увидим... Расцвет через пятьдесят лет...»⁵³

⁴⁸ Там же.

⁴⁹ Там же.

⁵⁰ Там же. С. 403–404.

⁵¹ Спор о России: В.А. Маклаков — В.В. Шульгин. С. 55.

⁵² Там же.

⁵³ Шульгин В.В. 1921 год. С. 130.

Литература

Будницкий О.В. В.А. Маклаков и В.В. Шульгин: друзья-противники // Спор о России: В.А. Маклаков — В.В. Шульгин. Переписка 1919–1939 гг. (ред. О.В. Будницкий). М.: РОССПЭН, 2012. С. 7–50.

Кара-Мурза А.А., Поляков Л.В. Реформатор. Русские о Петре I. Опыт аналитической антологии. Иваново: Фора, 1994. — 320 с.

Соловьев С.М. Сочинения. М., 1991, кн. VII, т. 13–14.

Солоневич И.Л. Народная монархия. М.: Институт русской цивилизации, 2010. — 624 с.

Спор о России: В.А. Маклаков — В.В. Шульгин. Переписка 1919–1939 гг. (ред. О.В. Будницкий). М.: РОССПЭН, 2012. — 439 с.

Шульгин В.В. «Что нам в них не нравится...» Об антисемитизме в России. СПб.: Хорс, 1992. — 286 с.

Шульгин В.В. По поводу одной статьи // Спор о России: В.А. Маклаков — В.В. Шульгин. Переписка 1919–1939 гг. М.: РОССПЭН, 2012. С. 224–246.

Шульгин В.В. Россия, Украина, Европа: избранные работы (ред. А.В. Репников). М.: Посев, 2015. — 416 с.

Шульгин В.В. Дни // Шульгин В.В. Дни. 1920 год. М.: Прозаик, 2017. С. 21–200.

Шульгин В.В. 1920 год // Шульгин В.В. Дни. 1920 год (вступ. ст. В.М. Хрусталева). М.: Прозаик, 2017. С. 201–414.

Шульгин В.В. 1921 год (ред. А.А. Чемакин). М.: Кучково поле, 2018. — 608 с.

**«КУЛЬТУРА» ПРОТИВ «ПОЛИТИКИ»
(ИСТОРИОСОФСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
БОРИСА КОНСТАНТИНОВИЧА ЗАЙЦЕВА)**

В середине 1920-х годов, уже в парижской эмиграции, русский литератор Борис Зайцев однажды вдруг ясно припомнил тот день и час, когда его впервые в жизни пронзило чувство несовершенства этого мира. Ему, учащемуся калужской гимназии, было тогда одиннадцать лет: «Я носил ранец и длинное гимназическое пальто с серебряными пуговицами. Однажды, в сентябре, нагруженный латинскими глаголами, я сумрачно брел под ослепительным солнцем домой, по Никольской. На углу Спасо-Жировки мне встретился городской. На веревке он тащил собачку. Петля давила ей шею. Она билась и упиралась, и жалобно волочилась по канаве рядом с тротуаром. В те годы я был очень робок. Все-таки побежал за городским, пробормотал что-то вроде: Куда вы ее тащите? — Городской посмотрел равнодушно и, скорей недружелюбно: Известно куда. Топить. — Послушайте... залепетал я. — Отпустите ее, за что же так мучить? — На это раз городской сплюнул и мрачно сказал: Пошел-ка ты, барин, в...»¹

Немолодой уже Зайцев записал в дневнике (эти фрагменты вошли потом в автобиографическое повествование «Дни»): «Я хорошо помню тот осенний день, пену на мордочке собаки, пыль, спину городского и ту клумбу цветов у нас в саду на Спасо-Жировке, вокруг которой я все бегал, задыхаясь от рыданий. Так встретил я впервые казнь. Так в первый раз возненавидел власть и государство. С тех пор мои любви и нелюбви менялись и слагались, но через все прошла и *укрепилась безграничная ненависть к казни* (выделено мной — А.К.)»².

Быстро освободившись от искушения победить несправедливость революционным заговорщичеством (Зайцев-студент одно время был близок к эсерам), Борис Константинович рано решил посвятить себя литературе, пестуя свое «пространство культуры» — полнокровное, самодостаточное и, как ему казалось, неуязвимое для поползновений политики в любой ее форме. В самые первые годы двадцатого столетия недоучившийся студент Горного института и юридического факультета, начинающий литератор Борис Зайцев с головой окунулся в мир литературной богемы. Позднее

¹ Зайцев Б.К. Дневниковая запись от 18.02.1926 // Зайцев Б.К. Дни. М.: Русская книга, 2000. С. 61–62.

² Там же. С. 62.

в эмиграции он напишет, что окружавшие его тогда писатели, художники и, конечно, он сам мало отдавали себе отчет об истинном состоянии России. Увлеченные интенсивностью жизни («сколько бурь, споров, ссор, примирений!»), люди его поколения и круга не смогли, например, распознать великий, но и трагический феномен т.н. «русского Ренессанса», частью которого сами явились: «Россия, несмотря на явно неудачное правительство, росла бурно и пышно, тая все же в себе отраву... Некоторые называли даже начало века “русским Ренессансом”. Преувеличенно, и не нес ренессанс этот в корнях своих здоровья — напротив, зерно болезни... Материально Россия неслась все вперед, но моральной устойчивости никакой, дух сомнения и уныния овладевал»³.

Большое значение в становлении литературного таланта Бориса Зайцева имело его приобщение к европейской культуре, и, в первую очередь, — к культуре Италии. В 1904 г. он вместе с женой Верой Алексеевной (дочерью А.В. Орешникова, хранителя Исторического музея) впервые побывал во Флоренции, городе, ставшем, по собственному признанию, его «второй родиной». Тогда же во Флоренции он выбрал себе на всю жизнь духовного водителя — им стал гениальный поэт и несчастный скиталец Данте Алигьери. Зайцев позднее вспоминал: «Началось с Флоренции 1904 года, первой встречи с Италией. Собственно, я тогда почти ничего не знал о ней. Но как город этот сразу ударил и овладел, так и семисотлетний его гражданин Данте Алигьери Флорентиец. Не могу точно вспомнить, но наверное знаю, что он поразил сразу — профилем ли, своей легендой, неким веянием над городом. Началась болезнь, называемая любовью к Италии, несколько позже и к самому Данте»⁴.

С тех пор Зайцевы бывали во Флоренции почти ежегодно: в 1907, 1908, 1910, 1911–1912 гг. и всегда во Флоренции останавливались в одном и том же отеле — «Итальянская корона», рекомендуя его и всем своим знакомым: «С нашей легкой руки, стада русских оживляют скромные коридоры с красными половичками скромного albergo»⁵.

В годы литературной молодости, отвечая на вопросник для известного биографического словаря С.А. Венгерова, Зайцев счел важным отдельно

³ Зайцев Б.К. Молодость — Россия // Зайцев Б.К. Дни. С. 13, 16.

⁴ Зайцев Б. Семь веков // Русская мысль, 6.02.1965.

⁵ Зайцев Б.К. Флоренция // Зайцев Б.К. Звезда над Булонью. М.: Русская книга, 1999. С. 447. Действительно, скромная гостиница «Итальянская корона» на углу Via Nazionale и Via del Agiento существует и в наши дни — я останавливался там во время одной из своих поездок. Кстати, хозяева и персонал отеля полностью в курсе его «русской истории» и поддерживают идею «Московского флорентийского общества» (есть в нашей столице и такое) установить на фасаде дома мемориальную доску в честь знаменитых постояльцев — Зайцева, Осоргина, Муратова и др. — прим. авт.

отметить: «Не могу не прибавить, что одним из крупнейших фактов духовного развития были путешествия в Италию и страстная любовь к итальянскому искусству, природе и *городу Флоренции*. Не боясь преувеличить, автор этих строк мог бы сказать, что имеет две родины, и какая ему дороже, определить трудно»⁶. Это ощущение Борис Зайцев пронес через всю свою долгую жизнь. Спустя более чем полвека, незадолго до смерти он напишет: «Если бы я верил в перевоплощение, то утверждал бы, что во Флоренции когда-то жил, и Данте был чуть ли не моим соседом». «Да, вот так получилось, что калужско-московско-тульского человека заполонил этот флорентиец средневековый! — подводил итог своим «отношениям» с Данте восьмидесятипятилетний Зайцев. — Не вру, действительно рядом жили и не один год, и в тяжелые времена»⁷.

В первые два десятилетия XX в. именно Флоренция стала главным объектом массового «культурного паломничества» в среде русской интеллигенции. В Петербурге зачинателем этой традиции принято считать блестящего историка и педагога Ивана Михайловича Гревса; его преклонение перед Флоренцией разделили затем его ученики — такие корифеи русской мысли, как Лев Платонович Карсавин, Георгий Петрович Федотов, Владимир Васильевич Вейдле.

А в Москве «первым флорентийцем» стал Борис Зайцев, который быстро втянул в эту орбиту такую новую звезду, как, например, Павел Павлович Муратов (тогда увлекавшийся главным образом французской живописью) — автор ставших потом культовыми для интеллигенции «Образов Италии» — книги, которую он посвятил Зайцеву. В числе «новообращенных» оказались в 1910-х гг. и мои родные дед и бабушка — присяжный поверенный и знаток театра Сергей Георгиевич Кара-Мурза и его жена — Мария Алексеевна, урожденная Головкина. Путевой дневник деда за 1913 г. свидетельствует: настольными книжками в их итальянском турне по стандартному для «русских пилигримов» маршруту «Венеция — Падуя — Флоренция — Рим — Неаполь» были сочинения Зайцева и Муратова — близких знакомцев по московским литературно-художественным салонам...⁸

Сам Борис Зайцев неоднократно писал о той «почти религиозной роли», которую Италия сыграла в жизни его, Муратова и других людей их круга:

⁶ Из письма Б.К. Зайцева — С.А. Венгеру. 24.05.1912.

⁷ Из письма Б.К. Зайцева — Л.Н. Назаровой 12.03.1965.

⁸ Отметим, что характер италофильских настроений Бориса Зайцева и Павла Муратова все-таки несколько различны. Наиболее четко увидел эту разницу хорошо знавший обоих известный итальянский литературовед Этторе Ло Гатто: «Зайцев дал поэтическую картину окружающей жизни; знание искусства помогало ему лучше чувствовать ее пульс. Несомненно, он читал “Образы Италии” Муратова, но при этом открыл, что тот шел от жизни к искусству, а не наоборот» (Ло Гатто Э. Борис Зайцев // Зайцев Б. Звезда над Булонью. М.: Русская книга, 1999. С. 547).

«Мы любили свет, красоту, поэзию и простоту этой страны, детскость ее народа, ее великую и благодатную роль в культуре. То, что давала она в искусстве и в поэзии, означало, что есть высший мир. Через Италию шло откровение творчества»⁹. Можно сказать, что Борис Зайцев стал одним из интеллектуальных лидеров процесса, важного для русского «Серебряного века», — во многом спонтанного, но со временем все более акцентированного. Это характерный процесс размежевания двух пространств — «пространства власти» и «пространства культуры», создающегося в значительной степени переживаниями «паломничества» в Европу. То было движение, однозначно плодотворное для самоопределения русской культуры, но весьма неоднозначное для российской политики. Ведь значительная часть творческих сил периодически (и иногда надолго) как бы самоустраивалась с арены политики, оставляя «один на один» официальное охранительство и нарастающий русский радикализм, другими словами, — Реакцию и Революцию.

Впрочем, было бы ошибкой говорить, что «образы Европы» (и конкретно Италии) были обречены на выстраивание в русском интеллигентском сознании «чистого пространства культуры». Параллельно этому в русском зарубежье конца XIX — начала XX в. активно формировалось и свое диссидентское «пространство власти» — как политической альтернативы наличному русскому режиму. Если говорить конкретно об Италии, то ограничимся хотя бы примером «русского Капри», где в числе эмигрантов (от Плеханова до Чернова) перебывали целых четыре будущих большевистских наркома — Ленин, Дзержинский, Луначарский, Красин¹⁰. Здесь важно другое: это альтернативное русское «политическое пространство» пребывало и развивалось синхронно с итальянскими культурными паломничествами Зайцева, Муратова и других «русских культурников». Кстати, и Зайцев, и Муратов, судя по всему, заметно недолюбливали Капри — и это несмотря на фантастическую красоту этого места. Почти наверняка — именно из-за риска столкнуться с политизированными русскими: этой «политики», почему-то всегда тяготеющей к нетерпимости, им хватало и на родине¹¹.

⁹ Зайцев Б.К. Письмо другу // Зайцев Б.К. Дни. С. 233. Напомню попутно тот факт, что другая культовая книга русского «Серебряного века» — «Смысл творчества» Николая Бердяева была написана именно во Флоренции и по свежим следам от ее посещения. (Подр. об этом см.: Кара-Мурза А.А. Николай Александрович Бердяев и Евгения Казимировна Герцук // Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Флоренции. М., 2000. С. 205–219.)

¹⁰ См. подробнее: Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Неаполе. М., 2001. С. 12–13.

¹¹ Свой имидж именно «культурника», а не «политика», долгое время пытался поддерживать живущий на Капри Максим Горький. Известно, как он не раз чертыхался на толпы «бородатых русских», которые, проходя мимо окон горьковской виллы, считали своим долгом затянуть нестройным хором песню из пьесы «На дне»: «Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно...» (Подр. см.: Кара-Мурза А.А. Алексей Максимович Горький // Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Неаполе. С. 236–237).

В своем личном поиске предреволюционных лет, в своем разграничении пространств «власти» и «культуры», Борис Зайцев был предельно логичен и последователен: он предпочитает официозному Петербургу провинциальную Москву, а петербургской сановной политике — культуру «прекрасной Италии». Характерно, что в самой Италии он явно отдает предпочтение «родине творчества» Флоренции — перед Римом с его застывшим духом имперского величия. Но и в самом Риме для него не всё однозначно: он явно предпочитает демократический Форум («светлый и дневной») — имперскому Палатину («темному и ночному») ¹². Двигает Зайцевым, судя по всему, не просто нелюбовь к политике — когда надо было отстоять свою общественную позицию, он делал это с редкой для интеллигента твердостью. Для Зайцева «политика» и «культура» — метафизически разнородные субстанции. Первая, — как правило, — нивелировка, усреднение, забалтывание и омертвление смыслов. Вторая, напротив, — созидание, творчество, жизнь.

Борис Зайцев, либерал-христианин по натуре и умонастроению, свято ненавидевший фальшь имперского официоза, не очень долюбивал и «либеральствующую общественность». Чего стоит только его зарисовка с одного из популярных в начале века «банкетов» — на тот раз по случаю юбилея судебной реформы Царя-Освободителя: «Банкет в Эрмитаже по случаю сорокалетия Судебных уставов. Отличные уставы, гордость наша, но до чего же тоска была слушать честных стариков из “Русских ведомостей”... Все “на посту», многозначительно разглаживают бороды, все в упоении от себя и уверены, что вполне могут спасти Россию от “надвигающейся черной реакции». Потому, что знают где “огоньки”, где “факелы в беспросветной мгле окружающего”. Будьте покойны, приведут, куда надо. Колонный зал “Эрмитажа”, триста интеллигентов, осетринка америкэн, сбившиеся с ног “человеки” в белых рубахах и штанах...» И характерная для «культурника» Зайцева концовка: «Нет, отсюда уж лучше улизнуть в Литературный кружок!» ¹³

При все при этом Борис Зайцев — очевидно не интеллектуальный сноб и не воинствующий эстет. Его не интересуют искусственные сгущения «ди-стиллированной культуры»; он ищет реальных полнокровных проявлений культуры победившей и побеждающей. В России он видит прямо обратное: победу над творчеством и культурой «идеи власти» в разных ее ипостасях. В Италии, и в первую очередь во Флоренции, его особенно увлекает то обстоятельство, что здесь «идея культуры» оказалась настолько сильна, горда и независима, что оказалась способной великодушно принять и вместить

¹² Зайцев Б.К. Рим // Зайцев Б. Звезда над Булонью. С. 479–483. См. об этом также: Кара-Мурза А.А. Борис Константинович Зайцев // Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Риме. М., 2000. С. 417–418).

¹³ Зайцев Б.К. Молодость — Россия. С. 12.

и саму политику — когда-то, между прочим, предельно «темную», кровавую и тираническую.

Поразительно глубоки и интересны рассуждения Бориса Зайцева о культовом для флорентийцев месте сожжения диктатора Джироламо Савонаролы на площади Синьории. «Не раз бывало во Флоренции: был властелин, завтра растерзан. Но ныне огромная медаль выбита там (на месте казни Савонаролы. — А.К), и в день годовщины, в середине мая, груды венков и цветов утишают боль этого сердца; дивные розы Флоренции и Фьезоле окаймляют его носатый профиль; профиль того, кто при жизни топтал их, но велико погиб и вызвал удивление и восторг веков»¹⁴.

Да, Савонарола был жестоким тираном, но так велика культурная сила Флоренции, что она и его (человека все-таки искреннего и верного гражданина города) готова взять под свое покровительство. Вот это особо поражает Зайцева: величие и великодушие культуры, способной принять политику как свою законную (пусть и не самую рафинированную) часть. Во Флоренции политический изгнанник Данте стал со временем символом величия города. Данте парадоксальным образом приютил казненного Савонаролу под свою опеку — и тем самым победил его. «Казнь», которую так возненавидел одиннадцатилетний калужский гимназист Борис Зайцев, оказалось возможным победить — победить культурой.

Данте и Савонарола равно ушли в бессмертие — эту возможность и привилегию подарил им породивший их город. Флоренция для Зайцева — символ общеродового торжества человечества над смертью. Его любимое место во Флоренции — маленькое кладбище рядом с монастырем Сан-Миниато — там он всякий раз проводил вечер перед отъездом из любимого города: «Чёрные кипарисы, мрамор, решетки, гробницы, золотые надписи, часто ангелы крылатые изображены — и все это навсегда спит, но *над* её бессмертным телом. И цветут каждую весну розы на могилах, умирая сами; и дамы в трауре приезжают сюда, и плачут под этими кипарисами. В светлом вечере звонит колокол San-Miniato, а она всё лежит там у себя, туманеет вечерней дымкой, и вечно юны и древни эти острые колоколенки. Да, там жили, думали, творили, пламенели и сгорали тысячи душ; длинными рядами шествуют они со времен Данте. Все навсегда ушли отсюда. Но всегда живы, и как в дивную корону вставили сюда свои алмазы... Скоро будет Флоренция засыпать; но наутро пробудится — как раньше, вечная и мудрая, лёгкая, бессмертная и стройная»¹⁵.

В 1915 г. Борис Зайцев издает свой знаменитый роман «Дальний край», в котором Италия (и в первую очередь Флоренция) является не просто

¹⁴ Зайцев Б.К. Флоренция // Зайцев Б. Дни. С. 442–443.

¹⁵ Там же. С. 446.

фоном, а важным содержательным элементом действия. Вот, к примеру, фрагмент, когда главные герои, Петр и Лизавета, впервые приезжают поездом во Флоренцию: «Петя отворил окно, и в бархатной ночи, в звездах над горами, в сонной переключке служащих на станции — и особенно в щелканье соловья из кустов — он почувствовал такое дорогое и родное, что захотелось плакать. Всё здесь его, казалось ему; всё ему принадлежит. Его сердце принимает в себя весь этот новый, так мало еще известный, но уже очаровательный мир...»¹⁶. И далее: «Лишь только они слезли во Флоренции, увидели Santa-Maria Novella с острой колоколенкой, увидели флорентийцев, флорентийские дома с зелеными ставнями, услышали крики ослов и звон флорентийских кампанилл, — оба сразу поняли, что это их город... Монахи, торговцы, уличные ораторы, запахи овощей на рынке, серый камень дворцов, лоджия Орканьи, где спят среди статуй флорентийцы, щелканье бича, рубиновое вино, бессмертие искусства — это Флоренция, это принадлежало им»¹⁷. Налицо, в беллетризованной форме, любимый лейтмотив Зайцева — «главного русского флорентийца» и поклонника Данте: Флоренция — это «вторая родина» для русского культурного человека.

В разгар первой мировой войны Зайцев, по совету Павла Муратова, начал работу над ритмическим переводом «Ада» из «Божественной комедии» Данте. К этому переводу он будет возвращаться в самые тяжелые годы своей жизни и окончательно завершит работу только в глубокой старости: «Дважды приходилось бросать всё, скрываться на время, но на столе все стоял белый гипсовый Данте, всё смотрел безучастно-сурово, с профилем своим знаменитым, во флорентийском колпаке, на возню дальнего потомка русского вокруг его текста»¹⁸.

Летом 1916 г. тридцатипятилетний Борис Зайцев («ратник ополчения второго разряда») был призван в армию, а в декабре стал юнкером ускоренного выпуска Александровского военного училища. В июле 1917 г. артиллерийский прапорщик Зайцев, тяжело заболевший пневмонией, получил отпуск и приехал для лечения в имение отца Притыкино (Каширского уезда Тульской губернии). Именно там он с опозданием узнал о большевистском перевороте: «Мне не дано было ни видеть его, ни драться за свою Москву на стороне белых»¹⁹.

Понятно и отношение Бориса Зайцева к большевистскому перевороту: он воспринял его как тотальную победу в России «идеи власти» над «идеями культуры». Но то, как остающийся пока в России Зайцев защищал этот

¹⁶ Зайцев Б.К. Дальний край // Зайцев Б.К. Тихие зори. М.: Русская книга. 2000. С. 536.

¹⁷ Там же. С. 538.

¹⁸ Зайцев Б.К. Семь веков // Зайцев Б.К. Дни. С. 365.

¹⁹ Подр. об этом см.: Кара-Мурза А.К. Борис Константинович Зайцев: культура против большевизма // Наше либеральное наследие. М., 2004, вып.1. С. 179–180.

сильно сократившийся плацдарм культуры в окружении наступающего пространства новой власти, заслуживает уважения и восхищения.

Уже в ноябре 1917 г. Борис Зайцев, один из самых авторитетных русских писателей, активно включился в общественную и литературную жизнь Москвы. Ему особенно претили покушения отечественных «савонаролл» на свободу мысли и слова. В те дни он писал в газете Клуба московских писателей: «Гнет душит свободное слово. Старая, старая история... Жить же, мыслить, писать будем по-прежнему. Некого нам бояться — служителям слова. Нас же поклонники тюрем всегда боялись. Ибо от них и их жалких дел останется пепел. Но бессмертно слово. И осуждает. Ни сломить, ни запугать его нельзя»²⁰. А 16 ноября 1917 г. Зайцев публикует получившее широчайшую известность «Открытое письмо» наркому Луначарскому, с которым некогда приятельствовал во время итальянских путешествий (в 1907 г. они даже жили во Флоренции в одном отеле — той самой «Итальянской короне», неподалеку от знаменитой церкви Сан-Лоренцо).

Письмо Зайцева стало своего рода манифестом о необходимости решительного размежевания русской культуры и большевистской диктатуры: «Милостивый государь Анатолий Васильевич! В мае 1907 г. во Флоренции нам приходилось встречаться довольно часто, вместе бродить по городу, который вы любили, беседовать об итальянских художниках... Прошло десять лет. Ныне, игрой фатальных общественных обстоятельств, вы сделали «министром»... Вы не протестовали против цензуры социалистических газет, против принятого центральным комитетом вашей партии решения о закрытии всех «буржуазных» газет — вы, русский писатель!... Остается предположить, что в вас есть черты, которых я не замечал, прискорбные черты нравственной одичалости. Всякой снисходительности пределы есть. Нельзя быть писателем и дружить с полицейскими. Сколь ни печально и ни тяжело это, все же должен признать, что с такими «литераторами», как вы, мы, настоящие русские писатели, годами работающие под стягом искусства, просвещения, поэзии, — общего ничего иметь не можем»²¹.

Революционные и первые послереволюционные годы были драматическими для Зайцева. В Февральскую революцию был растерзан бесчинствующей толпой его племянник Юрий Буйневич — офицер Измайловского гвардейского полка. Через два года умер отец. Чекистами был арестован и расстрелян его пасынок Алексей Буйнов. В первые послереволюционные годы ушли из жизни друзья Зайцева — Л. Андреев, С. Глаголь, Ю. Бунин, В. Розанов, А. Блок. Зайцев вспоминал о том времени: «Убогий быт Москвы,

²⁰ Зайцев Б.К. Слово — свобода // Зайцев Б. Дни. С. 29.

²¹ Зайцев Б.К. Давнее. Луначарский. Каменев // Русская мысль, Париж, 5.11.1960.

разобранные заборы, тропинки через целые кварталы, люди с салазками, очереди к пайкам, примус, пшенка без масла и сахара, на которую и взглянуть мерзко. Именно вот тогда я довольно много читал Петрарку, том “Canzonieri” в белом пергаментном корешке, который купил некогда во Флоренции, на площади Сан-Лоренцо... Думал ли я, что эта книга будет меня согревать в дни господства того Луначарского, с которым во Флоренции мы по-богемски жили, пили кьянти и рассуждали о Боттичелли? Да, но тогда времена были в некотором смысле младенческие...»²²

Именно в те годы «русский флорентиец» Борис Зайцев во всей полноте проявил во многом потаенные до времени свойства своей натуры, которые позволили ему стать безоговорочным лидером свободной русской литературы — сначала в большевистской Москве, а потом и в эмиграции. В 1921 г., когда избирали Председателя Союза писателей, большевистские «кураторы» всю лоббировали кандидатуру Максима Горького, но тайным голосованием Правления (всеми голосами против одного) был избран Зайцев. Его заместителями стали Николай Бердяев и Михаил Осоргин.

Постепенно открытая политическая борьба в Советской России становилась все менее возможной, но какое-то время можно было еще находить и удерживать отдельные анклав культуры. Борис Зайцев написал в те первые послереволюционные годы свои знаменитые очерки о городах Италии. В предисловии к этой книге есть характерные слова: «В самый разгар террора, крови автор уходит, отходит от окружающего — сознательно это не делалось, это просто некоторая «*evasion*» (бегство), вызванная таким “реализмом» вокруг, от которого надо было куда-то спастись»²³.

В своих «итальянских очерках», написанных вдали от Италии, Зайцев противопоставляет темноте и тлену окружающей его советской повседневности светлую гармонию бессмертной Флоренции: «Есть в ней нечто от древней, бессмертной гармонии, где всё на месте, всё нужно и в мудром сочетании принимает побудительный, неуязвимый оттенок. Таково впечатление: *тлен* не может коснуться этого города, ибо какая-то нетленная, объединяющая идея воплотилась в нем и несет жизнь. Называли Флоренцию Афинами; это понятно и верно, это сродно самим богам ионическим, эллинской кругообразности, светлости мрамора; только плюс христианство, которым многое *ещё* осветлено, еще оласковано»²⁴.

²² Там же.

²³ Зайцев Б.К. О себе // Зайцев Б.К. Путешествие Глеба. М.: Русская книга, 1999. С. 590. К слову сказать, что уже упоминавшаяся в этом тексте моя родная бабушка по отцу, Мария Алексеевна, дочь купца 2-й гильдии, в совершенстве знавшая три иностранных языка, в годы террора и голода переводила в Москве книгу именно об итальянской культуре — «Венецию в XVIII веке» Филиппа Монье.

²⁴ Зайцев Б.К. Флоренция. Молодость. С. 28–30.

Очерки, написанные в Притыкине зимой 1918–1919 г., имели немного шансов быть опубликованными в России. Но для Зайцева не это было главным. «Я кончаю свою итальянскую книжку,— писал он весной 1919 г. И.А. Новикову.— Она поддерживала меня этой ужасною зимой; в ее мире светлом я сколько-нибудь мог дышать... Но когда все это *выйдет*? Через 3–5 лет? “Посмертными произведениями”? Все равно. Это сейчас жизнь моя. Еще привожу в культурный вид малинник. Этим делом занимался и Ариосто, которого читаю, и нахожу, что он на меня похож. Хороший был писатель, дай Бог ему Царства Небесного»²⁵.

Позднее, уже в эмиграции, Зайцев вспоминал об одном случае, как он в мае 1919 г. читал в саду интеллигентского особняка в центре Москвы главы из своей работы о Рафаэле: «Я читал за столом, вынесенном из дома под зеленую сень, в оазисе среди полуразоренной и полуголодной Москвы, в остатке ещё человеческой жизни, среди десятка людей элиты — слушателями были, кроме хозяйки, Вячеслав Иванов, Бердяев, Георгий Чулков. Помню, когда я закончил, солнце садилось за Смоленским бульваром... Помню удивительное ощущение разницы двух миров — нашего, с этим золотящимся солнцем, и другого»²⁶.

В апреле 1918 г. в Москве был создан Институт итальянской культуры — «Studio Italiano», основателями которого были работавший в библиотеке Румянцевского музея итальянец Одоардо Кампо и Павел Муратов. Кружок стал бесценным пристанищем высокой культуры в большевистской Москве. Зайцев с первых же дней стал активным участником институтских сессий и неоднократно выступал там с докладами на итальянские темы. О подготовке к одной из таких лекций (посвященной все тому же Данте Алигьери) Зайцев вспоминал: «Итак, иду читать. Для этого надо бы купить манжеты, неудобно иначе. Захожу в магазин. В кармане четыре миллиона. Манжеты стоят четыре с половиною. Ну, почитаем и без манжет...»²⁷

А вот еще одна грань жизни Б. Зайцева того времени: вместе с М. Осоргиным, М. Линдом, Н. Бердяевым, Б. Грифцовым, М. Дживелеговым он приобщается к работе т. наз. «Книжной лавки писателей» — букинистического магазина, еще одного островка культуры посреди тусклой и холодной Москвы. Зайцев вспоминал: «Огромная наша витрина на Большой Никитской имела приятный вид: мы постоянно наблюдали, чтобы книжки были хорошо разложены. Их набралось порядочно. Блоковско-меланхолические девичьи, спецы или просто ушастые шапки останавливались перед выставкой,

²⁵ Из письма Б.К. Зайцева — И.А. Новикову 4.06.1920.

²⁶ Зайцев Б.К. О себе. С. 590.

²⁷ Зайцев Б.К. Москва 20–21 // Зайцев Б.К. Мои современники. М.: Русская книга, 1999. С. 119.

разглядывали наши сокровища, а то и самих нас... Летом над зеркальным окном спускали маркизу, и легонькие барышни смотрели подолгу, задумчиво, на нашу витрину. С улицы иногда влетала пыль»²⁸. Бывало, что литераторы-компаньоны переписывали собственные сочинения от руки, переплетали и даже сами иллюстрировали обложки. Уже в эмиграции Зайцев как-то припомнил, что за изготовленный им таким образом сборничек итальянских эссе он получил «15 тысяч рублей (фунт масла)»²⁹.

Наблюдения над большевистской повседневностью, размышления о драматической судьбе России снова и снова выводили мысли Зайцева к теме любимого им Данте. Он всерьез задавался вопросом, как бы отнесся флорентийский поэт-изгнанник к новейшим катаклизмам, переживаемым человечеством? Что бы его поразило, а к чему бы он отнесся печально-равнодушно? «Борьба классов, диктатура, казни, насилия — вряд ли бы остановили внимание (Данте. — А.К.), — рассуждал Зайцев. — Флоренция его века знала *porolo grasso* (буржуазия) и *porolo minuto* (пролетариат) и их вражду. Борьба тоже бывала не из легких. Тоже жгли, грабили и резали. Тоже друг друга усмиряли...» (Тут Зайцев с усмешкой вспомнил, как во Флоренции ему показали старинный дом, где в XIV в. располагался штаб плебейского восстания «чомпи» — «первый Совет рабочих депутатов»). Другое дело, что «Данте не знал “техники” нашего века, его изумили бы автомобили, авиация...» Но, главное, «удивила бы открытость и развязность богохульства... Некрасота, грубость, убожество Москвы революционной изумили бы флорентийца. Вши, мешочки, мерзлый картофель, слякоть... И люди! Самый наш облик, полумонгольские лица...» «Данте был флорентийский дворянин, — подытоживает Зайцев. — Он ненавидел “подлое”, плебейское, в каком бы виде ни являлось оно. Много натерпелся от хамства разжиревших маленьких “царьков” Италии. Не меньше презирал и демагогов. Что стало бы с ним, если бы пришлось ему увидеть нового “царя” скифской земли — с калмыцкими глазами, взглядом зверя, упряма и сумасшедшего? Дантовский профиль на бесчисленных медалях, памятниках, барельефах треснул бы от возмущения...»³⁰

Поразительно, но время показало, что до поры предельно аполитичный литератор Зайцев, обожатель Италии и апологет высокой культуры, на всех жизненных развилках занимал принципиальную политическую позицию. В 1921 г., вопреки интригам некоторого количества большевистствующих литераторов, Зайцев был подавляющим большинством голосов избран председателем московского Союза писателей. Летом того же года он вошел во «Всероссийский комитет помощи голодающим» (Помгол). Через несколько

²⁸ Зайцев Б.К. Веселые дни 1921 г. // Зайцев Б.К. Мои современники. С. 127, 128.

²⁹ Там же. С. 127.

³⁰ Зайцев Б.К. Москва 1920–1921. С. 121.

недель был арестован ВЧК по обвинению в «антисоветской деятельности» (вместе с М. Осоргиным, П. Муратовым и др.), но вскоре выпущен. Для развлечения себя и других Зайцев и другие заключенные читали в лубянской камере друг другу лекции на темы литературы и искусства. В мемуарной новелле с ироническим названием «Сидим» Зайцев вспоминал: «Было утро, солнечный день. Я говорил о русской литературе, как вдруг в камеру довольно бурно и начальственно вошло двое чекистов. В руке одного была бумажка. По ней он так же громко и бесцеремонно, прерывая меня, прочел, что я и Муратов свободны, можем уходить... Но, вероятно, подсознанию не понравилось вторжение “постороннего тела”, да еще грубоватого, прерывающего меня, я ответил почти недовольно: “Ну да, вот кончу сперва лекцию...”»³¹.

А потом пришло «знамение свыше», подтвердившее, что в момент жизненного выбора он, русский литератор Борис Зайцев, нашел единственно верный путь культурного самостояния. Весной 1922 г. писатель тяжело заболел в Москве сыпным тифом; двенадцать суток находился без сознания — врачи считали положение безнадежным. Дочь Зайцевых, Наталья Зайцева-Соллогуб, вспоминала: «Мама беспрестанно молилась. В страшную тринадцатую ночь она положила папе на грудь иконку Св. Николая Чудотворца, которого особенно чтит, и просила Господа о спасении папы. Произошло невероятное: утром к нему вернулось сознание...»³²

Выживать людям с такой репутацией и такого масштаба, как Борис Зайцев, в Совдепии становилось все менее возможным. «Пространство власти» исторгало из себя неудобных. Оставалось по сути два выхода: добровольный или принудительный отъезд из страны. Летом 1922 г. Зайцев с женой и десятилетней дочерью Натальей выехал за границу. Официально — «для лечения», но, как оказалось, навсегда. В мемуарном очерке «Москва сегодняшняя» Зайцев вспоминал: «Март двадцать второго года — тяжелая болезнь, едва не уложившая. Бритая голова, аппетит, выздоровление, — апрель. Май — пыль на московских улицах, бесконечные обивания порогов в комиссариатах... Стараемся держаться крепко, бодро: уезжаем на год, самое большое на полтора. Дела в России идут лучше, НЭП приведет всё к “естественному состоянию”; одолеют свобода и здравый смысл. Мы и вернемся: подлечимся, побываем в Италии, да и домой... Разгромленная комната, где я умирал, чемоданы, извозчики, медленная езда через всю Москву, на Виндавский вокзал... В этот день судят эсеров. Толпа перед бывшим Дворянским Собранием. Манифестации ходят по улицам — требуют кровушки. Печально покидаем мы Москву...»³³

³¹ Там же. С. 137.

³² *Зайцева-Соллогуб Н.Б.* Я вспоминаю... // Зайцев Б.К. Путешествие Глеба. С. 3–4.

³³ *Зайцев Б.К.* Москва сегодняшняя // Зайцев Б.К. Улица Святого Николая. М.: Русская книга, 1999. С. 482.

После лечения в Германии Б. Зайцев осенью 1923 г. провел три месяца в Италии: группа русских лекторов-эмигрантов (в нее кроме Зайцева входили также Н. Бердяев, П. Муратов, М. Осоргин, С. Франк, Б. Вышеславцев и др.) была приглашена в Рим славистом Этторе Ло Гатто. Встретились русские изгнанники, люди «одной крови». Зайцев до конца жизни вспоминал это «эмигрантское братство»: «Мы были пришельцами из загадочной страны. Наша жизнь в революцию для них (слушателей) фантастична. Голод и холод, чтения в шубах об Италии (Studio Italiano Муратова), торговля наша в лавках писателей, книжки, от руки писанные за отсутствием (для нас) книгопечатания, наши пайки, салазки, на которых мы возили муку, сахар, баранину академического пайка — все это воспринималось здесь как быт осады Рима при Веллизарии...»³⁴

Ситуация в России не позволила Зайцевым вернуться в Россию. Не реализовались и их планы обосноваться в любимой Италии — помешала муссолиниевская диктатура. Неожиданно для многих, Италию, казалось бы, уже победившего Данте, сменил режим «нового Савонаролы». Вспоминая Италию 1923 г., Зайцев в очерке «Латинское небо» написал об итальянских фашистах: «На родине мы навидались товарищей. Эти — тоже товарищи, только навыворот...»³⁵ И перед новым, 1923-м годом, Зайцев покинул Италию и уехал во Францию.

В 1926 г. разошелся Борис Зайцев и с Максимом Горьким, которому когда-то симпатизировал: они (как ранее в случае с Луначарским) оказались все-таки принадлежащими к разным «пространствам». Поводом к интеллектуальному разрыву стал некролог Горького на смерть Феликса Дзержинского, в котором «совершенно ошеломленный» Горький вспоминал о «душевной чуткости и справедливости» умершего. «Ошеломленный», в свою очередь Зайцев не поспешил на оценки коллеги-литератора, теперь уже «бывшего»: «Двусмысленный, мутный и грубый человек, очень хитрый и лживый», «при случае он отречется от своих слов, если это выгодно». И вывод: «Грустно одно, что друг палачей, восхвалитель Лениных и Дзержинских, разбогатевший пролетарий и человек весьма темной репутации, грязнит собою русскую — *русскую!* литературу. Грустно, что этот недостойный литератор в глазах Европы и прочих стран является каким-то претендентом на литературный русский трон. А между тем, надо сказать прямо: письмо о Дзержинском есть основание, чтобы поднять вопрос: да можно ли вообще считать такого человека «в ограде литературы»? Ведь и Менжинский литератор, если не ошибаюсь, даже беллетрист! А, может быть, и сам покойник (Дзержинский) писал сантиментальные стишки? Нельзя никому запретить

³⁴ Зайцев Б.К. Латинское небо // Зайцев Б. Мои современники. С. 263.

³⁵ Там же. С. 265.

быть мерзавцем. Но в целях ясности следовало бы точнее разграничиться: писатели, скажем, составляют свой союз, спекулянты свой, чекисты — тоже свой»³⁶.

Эмиграция оказалась для Бориса Зайцева плодотворной в творческом отношении. Он написал несколько романов, беллетризованные биографии Жуковского, Ивана Тургенева, Чехова, большое количество рассказов и мемуарных очерков. В годы второй мировой войны, в оккупированном немцами Париже, он снова возвращается к переводу «Ада» Данте. Во время англо-американских бомбежек летом 1943 г. Зайцев всякий раз брал драгоценные рукописи в бомбоубежище: «Когда сирены начинают выть, рукопись забирается, сходит вниз, в подвалы... Ну что же, “Ад” в ад и опускается, это естественно. Минотавров, Харонов здесь нет, но подземелье, глухие взрывы, сотрясение дома и ряды грешников, ожидающих участи своей, — всё, как полагается. С правой руки жена, в левой “Божественная комедия”, и опять тот, невидимый, многовековой и гигантский, спускается с нами в бездны, ему знакомые. Но он держит... Все это видел, прошел и вышел...»³⁷

Тут надо сделать небольшое, но важное отступление. Культ Данте Алигьери, как символа общечеловеческой культуры, противостоящей тлену и смерти, был присущ многим выдающимся русским, находящим в Данте утешение и поддержку в самые трудные минуты. ...По пути в ссылку Александр Герцен перечитывал «Божественную комедию» и находил, что стихи Данте «равно хорошо идут к преддверию ада и к сибирскому тракту». Там же, в ссылке, Герцен ставил домашние спектакли — «живые картины» по мотивам Данте, где, разумеется, сам исполнял заглавную роль... Анна Ахматова, будучи во время войны в эвакуации в Ташкенте, любила декламировать наизусть терцины «Божественной комедии» по-итальянски. Близкие вспоминали, какой подъем охватил ташкентскую литературно-художественную колонию, когда в разгар войны Ахматова зачитала телеграмму от своего друга Михаила Лозинского об окончании им перевода дантовского «Рая»...³⁸

Еще более поразительна человеческая стойкость другого «русского флорентийца» — историка, философа и богослова Льва Карсавина. В лагере Абезь (Коми), куда он в 1950 г. был отправлен по приговору Особого совещания «за антисоветскую деятельность», быстро распространилась молва о нем как о христианском мудреце и духовном учителе. Продолжая работать, Карсавин записывал своим мысли ритмическими периодами, подражая Петрарке и Данте. Сосед по лагерному бараку оставил воспоминания о последних неделях умирающего учителя: «После завтрака он устраивался

³⁶ Зайцев Б.К. Странник (Дневник 1925–1929 гг.) // Зайцев Б.К. Дни. С. 72–73.

³⁷ Зайцев Б.К. Семь веков // Русская мысль, 6.02.1965.

³⁸ См.: Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Флоренции. С. 10.

в кровати. Согнутые в коленях ноги и кусок фанеры на них служили ему как бы пюпитром. Осколком стекла он оттачивал карандаш, неторопливо расчерчивал линиями лист бумаги и писал — прямым, тонким, слегка проявлявшим дрожание руки почерком. Писал он почти без поправок, прерывая работу лишь для того, чтобы подточить карандаш или разлиновать очередной лист. Прежде всего был записан венок сонетов, сочиненный на память в следственной тюрьме... Закончив работу над сонетами, Карсавин продолжил стихотворное выражение своих идей в терцинах...»³⁹

В годы эмиграции Борис Зайцев, никогда не нарушая бесконечно ценимой им «мистической связи» с Данте, неоднократно пытался ответить на вопрос, который он считал едва не решающим. А кто в русской культуре мог бы стать аналогом флорентийца Данте, быть символом борьбы русского национального жизнетворчества против косности и гниения? Всякий раз мысль закономерно приводила литератора-эмигранта к Александру Сергеевичу Пушкину, которому Зайцев посвятил ряд глубоких текстов. В статье «Пушкин в нашей душе» (написана в 1924 г.; издана в 1925 г.) Зайцев обращает внимание на знаменательный факт: в «канунной России», на пороге испытаний войнами и революциями, в русской литературе обострилась борьба за интерпретацию пушкинского наследия. Одним из главных защитников Пушкина выступил русский символизм, в котором «жила традиция большой духовной культуры, и была она во многом пушкинскому времени созвучна»⁴⁰.

Напротив, «восставший на Пушкина» футуризм был, согласно Зайцеву, «ранним сигналом того мрачно-грубого и механически спортивного, что дало «великую» войну и «великую» революцию»⁴¹. Эта «схватка за Пушкина», первоначально пребывавшая в «пространстве культуры», но выплеснувшаяся затем в политику, была естественна и характерна: «Как станут дружить духи тления с духами жизни? Пушкин — поэзия, и облегченность, и улыбка, космос; футуризм — развал и гибель... Кто за Пушкина, нельзя быть с мертвецами и слепыми»⁴².

«Погрубение» (выражение Зайцева) сначала литературы, а потом и «всей жизни» обозначило сначала литературную, а потом и политическую победу «футуризма». «Мы в нем и посеяны, — констатирует Зайцев. — Если под современностью разумеешь аэропланы, бокс, кинематограф, спортивные романы, комсомольство и тому подобное, то ясно, что такая современность должна Пушкина отбросить. Поэзии с наглюющей материей не по дороге... Натурам более глубоким снова придется спускаться в катакомбы»⁴³.

³⁹ Там же. С. 22–23.

⁴⁰ Зайцев Б.К. Пушкин в нашей душе // Зайцев Б. Дни. С. 36.

⁴¹ Там же.

⁴² Там же.

⁴³ Там же.

Характерно, что Зайцев все время поверяет значение Пушкина своим итальянским опытом. Пушкин, как ранее Данте и Флоренция, становятся для Зайцева камертоном культуры и залогом ее будущей победы: «Кто с Пушкиным дружит, тому стыдно писать плохо, вот так возбуждающе-оздоровляюще он действует на артиста. Противоядие всякой растрепанности и неряшливости, преувеличенню, болтовне нервической. Смерть провинциализму, доморощенности. Пушкин обязывает, и в его присутствии, как во Флоренции перед Palazzo Vecchio... неловко писать под Демьяна Бедного»⁴⁴. Пушкин, по мысли Зайцева, становится для России тем, кем был Данте для объединяющейся Италии: «Пушкин, думаю, для всех сейчас — лучшее откровение России. Не России старой или новой: *истинной*. Когда Италия объединялась, Данте был знаменем национальным. Теперь, когда России предстоит трудная и долгая борьба за человека, его вольность и достоинство, имя Пушкина приобретает силу знамени»⁴⁵.

...Бориса Зайцева принято считать крупнейшим русским религиозным писателем. Это, безусловно верно. Будучи несомненно искренне верующим христианином, Зайцев был и до конца жизни остался христианским либералом. Взыскуемая им «христианская общность» не была безличностной корпорацией, нивелирующей и растворяющей в себе человеческие индивидуальности. Подобно позднему Герцену, Зайцев, судя по всему, мечтал о такой христианской общности, в которой, напротив, Личность способна была найти наивысшее выражение. Девизм Зайцева был сформулированный им самим тезис: «Да не потонет личность человеческая в движениях народных!» Вот что написал, например, Зайцев после кончины своего друга и коллеги Вячеслава Иванова (в 1948 г., за несколько месяцев до смерти Иванова, Зайцев с женой сумели навестить его в Риме): «Был он представителем особенным, культурой даже перегруженным, довоенной России в литературе: поэт, ученый, утонченнейший стилист и провозвестник не индивидуализма самозаключенного, а «органической эпохи», «соборности» — вот о чем мечтал, живя в России, несшейся неудержимо к такой «соборности», от которой сам он в некий срок на всех парах выплыл в Италию»⁴⁶.

Важно учитывать также, что источником религиозности в творчестве Зайцева во многом также стала... Италия. Прорыв италофила Зайцева к образу Святой Руси в эмиграции не был внезапным и одномоментным. Представляется, что важнейшим мостиком в религиозном обновлении писателя стали размышления об итальянском городке Ассизи — родине

⁴⁴ Там же. С. 38.

⁴⁵ Там же. С. 39–40.

⁴⁶ Зайцев Б.К. Молодость Россия. С. 15.

св. Франциска. Когда-то, во время одного из своих итальянских паломничеств Борис Константинович вместе с Верой Алексеевной посетили по дороге из Римини в Перуджу этот умбрийский городок и оценили его потаенно-мистическую суть.

В сборнике итальянских очерков, написанном холодной послереволюционной зимой 1918 г. в Притыкине, главка «Ассизи» стоит особняком, выделяясь особо интимным, сокровенным тоном: «Это была страна Святого, безбрежная и кроткая тишина, что составляет душу Ассизи, что вводит весь строй в ту ясность, легкость и плавучесть, когда уходят чувства мелкие и колющие — дальше становится своим, любимым. Да, позабудешь все тревоги, огорчения, надломы, только смотришь, смотришь! С этой минуты, открывшей мне Ассизи, я его полюбил навсегда, без оговорок, без ограничений...»⁴⁷ Текст очерка показывает, что автор по-прежнему весь находится во власти Данте, и автор не может отрешиться от этой мистической связи даже рядом с католической святыней — могилой св. Франциска: «И лишь Данте недостает в S. Francesco, чтобы дать полное созвучие *мистического средневекового Италии*»⁴⁸.

Зайцев не удерживается и от ссылки на слова из «Божественной комедии» Данте, где высоко ценивший св. Франциска флорентийский поэт-изгнанник уподобляет Ассизи «Востоку», «откуда солнце некое взошло над миром»⁴⁹. Однако «притыкинский» очерк об Ассизи уже не просто конструирует мыслительное «пространство культуры», но повествует о целой гармоничной «мистической стране». В очерке «Ассизи» автор вспоминает, как обозревал долину Умбрии с террасы отеля «Джотто»: «Невидимо идет время, очень легко, светло, но это вообще свойство Ассизи — давать жизни какую-то музыкальную, мечтательную прозрачность. Поистине, дух монастыря, самого возвышенного и чистого, сохранялся здесь. Кажется, тут трудно гневаться, ненавидеть, делать зло. Здесь нет богатого красками, яркого зрелища жизни. Тут если жить — то именно как в монастыре: трудясь над ясною, далекой от земной суетою работой, посещая службы, совершая прогулки по благословенным окрестностям. И тогда Ангел тишины окончательно сойдет в Душу, даст ей нужное спокойствие и чистоту»⁵⁰.

Боле того, Ассизи — «Страна Святого» — видится Б. Зайцеву некоторой «социальной идиллией», порождающей и удерживающей особый человеческий тип — не элитарно-богемный, а вполне «массовый», особенно

⁴⁷ Зайцев Б.К. Ассизи // Зайцев Б. Звезда над Булонью. С. 534.

⁴⁸ Там же. С. 536.

⁴⁹ Там же. С. 540–541.

⁵⁰ Там же. С. 539. К слову сказать, исторический отель «Джотто» в Ассизи существует и в наши дни. — А.К.

притягательный для Зайцева в переживаемый им период русской катастрофы: «Встречаешь по дороге крестьян, возвращающихся с работы. Они имеют утомленный вид, но с отпечатком того изящества и благородства, какой поκειται на земледельце Италии. Почти все они кланяются. Я не вижу в этом отголоска рабства и боязни. Некого здесь бояться; и не перед скромным пилигримом, странником по святым местам унижаться гражданину Умбрии. Мне казалось, что просто это дружественное приветствие, символ того, что в стране Франциска люди друг другу братья»⁵¹. И, наконец, итоговый вывод: «Хорошо жить в Ассизи. Смерть грозна, и страшна везде для человека, но в Ассизи принимает очертания особые — как бы легкой, радужной арки в Вечность»⁵².

К теме «Ассизи — Святой земли» Борис Зайцев возвратился затем в эмиграции. Однажды на его парижский адрес пришло письмо от некоего русского певца, который в составе русского вокального квартета выступал в Перудже (столицы Умбрии) с русскими церковными песнопениями (в письме перечислялось: ««Отче наш» знаменного распева, «Свете тихий» киевского, «Пасхальные песнопения» валаамского» и т.д.). Зайцев был обрадован и потрясен — его корреспондент, очевидно, был в курсе италофильских пристрастий русского писателя: «К нам доходил и доходит, и будет доходить несмотря ни на что, свет *их* Франциска. Но вот и они слушали сначала со вниманием просто, а потом с умилением, а в конце и с восторгом — с итальянской горячностью выражавшимся — слушали наши напевы, голос русской религиозной души (и русского понимания красоты)... Вот, значит, в Перуджии, рядом с Ассизи, смиренно показывали наши певцы Русь Италии. Да, пора, пора! И настоящую. И в тишине. Слишком привыкли мы за последнее время к шуму, самовосхвалению. Бахвальство утомительно, невыносимо. Да к земле святого из Ассизи вовсе не идет». Зайцев далее полностью соглашается со словами из итальянской газетной рецензии, приложенной к письму: ««Какая страна, кроме Умбрии наших святых, могла бы лучше понять музыку, столь глубоко мистическую?»⁵³.

Зайцев тогда снова вспомнил о старой поездке: «Вечером, на заре, выходя из Ассизи на прогулку, проходили мы тихими дорогами, среди виноградников, яблонь, оливок, при мелодическом перезвоне колоколов. И когда встречали крестьян, было такое чувство, что и эти простые, трудолюбивые люди, правда, ведь они братья наши, хоть и верим на разных языках, да и вера не совсем одна. И почтительно друг с другом раскланивались. Да, радостно

⁵¹ Там же. С. 540.

⁵² Там же. С. 541.

⁵³ Там же.

узнать, что край святого все такой же, как и надо, и душа его отзывается голосу Руси вечной»⁵⁴.

Без учета работ Бориса Зайцева об Ассизи и св. Франциске невозможно понять его позднейшие «паломнические очерки» о посещениях православных святых Афона и Валаама, его знаменитую работу о св. Сергии Радонежском и т.д.

Вера Алексеевна Зайцева скончалась в Париже в 1965 г. В течение восьми последних лет она была разбита параличом — духовной опорой Зайцевым в те годы служили воспоминания о совместных поездках в Италию...

Борис Константинович прожил еще семь лет. За несколько месяцев до смерти произошла трагикомическая история с визитом в Париж Леонида Брежнева. Советское посольство настояло тогда перед французскими властями на необходимости максимально оградить высокого гостя от возможных провокаций со стороны... русских эмигрантов. Десятки русских были временно выселены из Парижа, а 90-летнего Зайцева было решено интернировать в его собственной квартире под присмотром полиции. Сам Борис Константинович потом много потешался над этим случаем, подтверждающим, что большевистские власти далекой России не только помнят о нем, но и побаиваются его авторитета и влияния.

В конце жизни Борис Зайцев, в течение последних двадцати пяти лет своей жизни бывший бессменным председателем Союза русских писателей за рубежом, поместил текст-напутствие русской молодежи в эмигрантском сборнике «Старые — молодым»: «Юноши, девушки России, несите в себе Человека, не угашайте его! Ах, как важно, чтобы Человек, живой, свободный, — то, что называется Личностью, — не умирал... Пусть будущее все более зависит от действий массовых, ... но да не потонет личность человеческая в движениях народных. Вы, молодые, берегите личность, берегите себя, боритесь за это, уважайте образ Божий в себе и других»⁵⁵.

Оставаясь лидером русской культуры в эмиграции, Борис Зайцев внимательно следил за тем, что происходит в России. В свое время он дал путевку в литературную жизнь юному Борису Пастернаку, вел переписку с ним, с Ахматовой, с Паустовским. Он не отлучал культуру, оставшуюся под большевиками, от большой русской культуры.

Б.К. Зайцев скончался в Париже в 28 января 1972 г. Близкие говорили, что он до последних часов сохранял ясность мысли и только перед самым концом впал в полубагытье и ушел, что-то себе напевая... «Я надеюсь. Я в Россию верю. Выберется на вольный путь», — написал он незадолго перед смертью⁵⁶.

⁵⁴ Зайцев Б.К. Русь в Умбрии // Зайцев Б. Дни. С. 242–243.

⁵⁵ Зайцев Б.К. Старые — молодым. С. 372.

⁵⁶ Из письма Б.К. Зайцева — Л.Н. Назаровой, 4.02.1967.

Литература

- Зайцев Б.К.* Ассизи // *Зайцев Б.* Звезда над Булонью. М.: Русская книга, 1999. С. 533–540.
- Зайцев Б.К.* «Веселые дни» 1921 г. // *Зайцев Б.К.* Мои современники. М.: Русская книга, 1999. 127–137.
- Зайцев Б.К.* Дальний край // *Зайцев Б.К.* Тихие зори. М.: Русская книга. 2000. С. 369–580.
- Зайцев Б.К.* Давнее. Луначарский. Каменев // *Русская мысль*, Париж, 5.11.1960.
- Зайцев Б.К.* Молодость — Россия // *Зайцев Б.К.* Дни. М.: Русская книга. 2000. С. 6–18.
- Зайцев Б.К.* Москва 20–21 // *Зайцев Б.К.* Мои современники. М.: Русская книга, 1999. 118–122.
- Зайцев Б.К.* Москва сегодняшняя // *Зайцев Б.К.* Улица Святого Николая. М.: Русская книга, 1999. С. 482–486.
- Зайцев Б.К.* Латинское небо // *Зайцев Б.К.* Мои современники. М.: Русская книга, 1999. С. 261–270.
- Зайцев Б.К.* О себе // *Зайцев Б.К.* Путешествие Глеба. М.: Русская книга, 1999. С. 587–592.
- Зайцев Б.К.* Старые-молодым // *Зайцев Б.К.* Дни. М.: Русская книга. 2000. С. 371–372.
- Зайцев Б.К.* Письмо другу // *Зайцев Б.К.* Дни. М.: Русская книга. 2000. С. 232–235.
- Зайцев Б.К.* Пушкин в нашей душе // *Зайцев Б.К.* Дни. М.: Русская книга. 2000. С. 35–39.
- Зайцев Б.К.* Рим // *Зайцев Б.К.* Звезда над Булонью. М.: Русская книга, 1999. С. 476–513.
- Зайцев Б.К.* Русь в Умбрии // *Зайцев Б.К.* Дни. М.: Русская книга. 2000. С. 241–242.
- Зайцев Б.К.* Семь веков // *Русская мысль*, 6.02.1965.
- Зайцев Б.К.* Слову — свобода // *Зайцев Б.К.* Дни. М.: Русская книга. 2000. С. 29.
- Зайцев Б.К.* Странник (Дневник 1925–1929 гг.) // *Зайцев Б.К.* Дни. М.: Русская книга. 2000. С. 40–90.
- Зайцев Б.К.* Флоренция // *Зайцев Б.К.* Звезда над Булонью. М.: Русская книга, 1999. С. 439–458.
- Зайцева-Соллогуб Н.Б.* Я вспоминаю... // *Зайцев Б.К.* Путешествие Глеба. М.: Русская книга, 1999. С. 3–21.
- Кара-Мурза А.А.* Борис Константинович Зайцев: культура против большевизма // *Наше либеральное наследие*, 2004, вып.1. С. 179–180.
- Кара-Мурза А.А.* Знаменитые русские о Неаполе. М.: Независимая газета, 2002. — 512 с.
- Кара-Мурза А.А.* Знаменитые русские о Риме. М.: Независимая газета, 2000. — 472 с.
- Кара-Мурза А.А.* Знаменитые русские о Флоренции. М.: Независимая газета, 2000. — 352 с.
- Кара-Мурза А.А.* Что такое российское западничество? Размышления участника конференции // *Полис. Политические исследования*, 1993, № 2. С. 90–96.
- Ло Гатто Э.* Борис Зайцев // *Зайцев Б.* Звезда над Булонью. М.: Русская книга, 1999. С. 545–551.

Раздел пятый

**ФИЛОСОФСКОЕ
КРАЕВЕДЕНИЕ**

ШВЕЙЦАРСКИЕ СТРАНСТВИЯ НИКОЛАЯ КАРАМЗИНА (1789–1790)

Предисловие

Европейское путешествие молодого Николая Михайловича Карамзина, известное нам, главным образом, по его знаменитым «Письмам русского путешественника»¹, продлилось около четырнадцати месяцев: с мая 1789 года по июль 1790 года. «Швейцарский период», безусловно, занял в этом турне центральное место: в Швейцарии Карамзин пробыл около семи месяцев — с начала августа 1789-го до начала марта 1790-го. Для сравнения: в Германии он провел менее двух месяцев, во Франции около трех с половиной, в Англии около двух с половиной месяцев. Судя по всему, главным пунктом пребывания Карамзина в Европе изначально намечалась Женева: здесь «русский путешественник» прожил долгие пять месяцев — со 2 октября 1789 года по 1 марта 1790 года, делая лишь небольшие «вылазки» по окрестным местам.

Согласно авторитетному мнению Юрия Михайловича Лотмана (1922–1993), «путешествие, если судить по характеру интересов Карамзина в 1780-е годы, задумывалось как некая дуга с двумя основными точками опоры: Швейцарией и Англией»². Эти две страны, разъясняет далее ученый, «как бы олицетворяли для Карамзина две возможности развития человечества, между которыми колебались симпатии Карамзина в то время, когда он готовился к путешествию... Патриархальности Швейцарии противостоял идеал “просвещенности” — Англия. В конечном счете, это была антитеза общественных устремлений Руссо и Вольтера. Карамзин испытал сильное влияние и того и другого, и желание произвести “следствие на месте” над идеями двух апостолов Просвещения XVIII века было одной из побудительных причин путешествия»³.

Действительно, во второй половине XVIII века «швейцарский миф» стал важным элементом русского отношения к Европе. Швейцария предстала в отечественной культурной традиции «некой парадигмой, которая тревожила российское сознание необычайностью своей природы

¹ В настоящей работе используется классическое издание «Писем» в серии «Литературные памятники». См.: Карамзин Н.М. Письма русского путешественника (ред. Ю.М. Лотман, Н.А. Марченко [И.А. Паперно], Б.А. Успенский). Л.: Наука, 1984.

² Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. СПб.: Азбука, 2015. С. 101.

³ Там же. С. 101–102.

и кажущейся идеальностью своей судьбы» и служила россиянам чем-то вроде «нравственно-политического “зеркала”, в котором отражались социокультурные мечтания и утопические проекты русской общественной мысли. Картины сказочной земли справедливости, таинственного Беловодья народных религиозных преданий, где “мужички-то все богаты”, подспудно проецировались на реально существующую страну»⁴.

В этом контексте, именно Николай Михайлович Карамзин (1766–1826), по справедливому замечанию современной исследовательницы русских вояжей в Швейцарию, «без сомнения, сыграл ключевую роль в зарождении русского “паломничества” в Швейцарию и надолго определил парадигму восприятия этой страны русскими путешественниками... Практически все описанные Карамзиным достопримечательности и природные красоты, а также его маршруты — всё это вскоре станет “хрестоматийным” и в некотором роде обязательным для посещения россиянами, а его размышления и переживания превратятся для последовавших за ним путешественников в некий духовный *vademecum*, с которым они будут сверять свои впечатления»⁵.

Что же касается самого Карамзина, то «воспоминания о Швейцарии и интерес к швейцарской теме — как с литературной, так и с нравственно-политической точек зрения — будут сопровождать кумира просвещенной молодежи и придворного историографа всю жизнь»⁶.

Исторический контекст: Россия и Европа

Во второй половине XVIII века Российская Империя была активно вовлечена в бурные общеевропейские трансформации политической и культурной жизни. Особую роль в пестрой череде событий сыграла Семилетняя война (1756–1763), в годы которой Россия во многом определяла судьбы Центральной Европы. По точному замечанию Василия Васильевича Сиповского (1872–1930), одного из самых профессиональных исследователей жизни и творчества Н.М. Карамзина, «почти шесть лет прожили за границей русские дворяне, служившие в полках Елизаветы (императрицы Елизаветы

⁴ Данилевский Р.Ю. Русские миражи в Швейцарских Альпах (Швейцария и российские социокультурные утопии) // К истории идей на Западе: «Русская идея». СПб.: Изд-во Пушкинского дома, 2010. С. 237.

⁵ Смекалкина В.В. Русские путешественники в Швейцарии во второй половине XVIII — первой половине XIX в. М., Языки славянской культуры, 2015. С. 193, 201. См. также: Иванов М.В. Мир Швейцарии в «Письмах русского путешественника» // XVIII век. Сборник 10. Л.: Наука, 1975. С. 296–302.

⁶ Там же. С. 193. См. также: Немировский И.В. Швейцарская тема в «Вестнике Европы» Н.М. Карамзина // XVIII век. Сборник 16. Итоги и проблемы изучения русской литературы XVIII века. Л.: Наука, 1989. С. 271–280.

Петровны — А.К.)»: «Они увидели совершенно новую жизнь, в которой чувствовалось тогда культурное движение; они присматривались к этой жизни и многое принесли на родину из чужих краев»⁷.

Характерно в этой связи умонастроение одного из интеллектуальных лидеров того, предкарамзинского, поколения, молодого Андрея Тимофеевича Болотова (1738–1833), который, прослужив несколько лет в покоренном русскими Кенигсберге, так описал свое прощание в 1762 году, году восшествия на престол императрицы Екатерины II, с этим немецким городом: «Прости, милый и любезный град, и прости навеки! Никогда, как думать надобно, не увижу я уже тебя боле! Небо да сохранит тебя от всех зол, могущих случиться над тобою, и да излиет на тебя свои милости и щедрости. Ты был мне полезен в моей жизни, ты подарил меня сокровищами бесценными, в стенах твоих сделался я человеком и спознал самого себя, спознал мир и все главнейшее в нем... Слеза горячая, текущая теперь из очей моих, есть жертва благодарности моей за вся и все, полученное от тебя! Прости навеки!»⁸

«Манифест о вольности дворянства», задуманный Елизаветой, изданный Петром III и подтвержденный Екатериной, разбросал по всей России десятки тысяч энергичных дворян, которые ранее бывали в родных гнездах лишь наездами: «Возвращаясь на родину уже не с тем, чтобы умирать на покое, а для того, чтобы жить в свое удовольствие, они легко увлекались всем, что могло хотя до некоторой степени поддержать ту культурную атмосферу, в которой они были приучены жизнью в умственных центрах»⁹.

Как это всегда бывает, убыстрение общественного развития порождало социальную и интеллектуальную дифференциацию и даже политическое напряжение, пусть на первых порах и неявное: «Русское общество очень заметно расколосось на две половины, враждующие одна с другою: Петербург и Москва были центрами враждующих лагерей; французское влияние, с одной стороны, и немецко-английское, с другой, — вот две столкнувшиеся силы. Императрица, с ее верой в просвещенный абсолютизм, — и молодое русское общество, выходящее на самостоятельный путь, без всяких помочей, своими силами, — вот враги, культурная борьба которых заполнила конец XVIII века»¹⁰. По сути, речь шла о конкуренции двух возможных для России «стратегий прогресса»: властно-контролируемой, идущей с самого политического «верха» — или более спонтанной, идущей от прорастающей «снизу» гражданской просвещенности. Что нужнее и возможнее: постепенное окультури-

⁷ Сиповский В.В. Н.М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». СПб.: Тип. В. Демакова, 1899. С. 4–5.

⁸ Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные им самим. 1728–1793. СПб.: Тип. В. Головина, 1871, т. 2. С. 143.

⁹ Сиповский В.В. Н.М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». С. 5.

¹⁰ Там же. С. 11.

вание «политики» — или, напротив, отвердевание в политической культуре нравственных гуманистических императивов?

Самобытная, свободолобивая мысль просыпающейся к общественной жизни русской провинции ориентировалась в последней трети XIX века на Москву и ее мозговой центр — Московский университет. Среди интеллектуальных лидеров «московской партии» выдвинулись два талантливых человека — перебравшийся в Москву в 1779 году литератор и издатель Николай Иванович Новиков (1744–1818) и профессор Московского университета Иоганн Георг (Иван Егорович) Шварц (1751–1784)¹¹. «Новиков и Шварц были вожаками этого движения, а студенты университета и молодые “любословы” — той толпой, в которой это движение назрело до сознательных стремлений, — пишет Сиповский. — Творцом этой новой жизни Новиков не был: он — только талантливый выразитель тех желаний, которые с половины XVIII века пробуждаются в русском провинциальном обществе. Он один из первых дал себе отчет в этих желаниях и помог разобраться в них русскому обществу. Благодарная Россия послала к нему в Москву своих сынов; он соединил их около себя и, главным образом, благодаря Шварцу, повел эту молодежь туда, где, как ему казалось, мерцал свет истины»¹².

Среди этих молодых людей, вовлеченных в «новиковскую партию», был и Николай Михайлович Карамзин, герой этой книги, 250-летний юбилей которого Россия отмечает в 2016 году.

Карамзин: начало биографии

Биографы так и не договорились по поводу точного места рождения Н.М. Карамзина. В качестве его «малой родины» называют то село Михайловка Симбирской губернии (ныне Бузулукский район Оренбургской области), то поместье Знаменское Симбирского уезда Казанской губернии, то село Богородское на территории Симбирского наместничества, то сам Симбирск.

Как бы там ни было, детство Карамзина прошло в городе Симбирске и в Знаменском — усадьбе его отца, М.Е. Карамзина (1724–1783), выходца из среднепоместного рода, происходящего от татарского князя «Кара-Мурзы», который «вышел в Москву», принял православную веру и за верную службу получил от Московского государя дворянский титул и земли на Волге: на гербе Карамзиных изображен на голубом фоне полумесяц над двумя скрещенными золотыми мечами. Некий «Семен Карамзин» числился в дворянах еще при царе

¹¹ См.: Лонгинов М. Новиков и Шварц. Материалы для истории русской литературы в конце XVIII века (Сочинение Мих. Лонгинова). М.: Тип. В. Готье, 1958.

¹² Сиповский В.В. Н.М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». С. 12.

Иване IV Грозном; один из его пра-пра-правнуков, Михаил Егорович Карамзин, отец историка, служил при императрице Елизавете Петровне в Оренбурге, рядом с наместником края Иваном Ивановичем Неплюевым — учеником и любимцем самого Петра Великого — и вышел в отставку капитаном.

Начальное образование Николай Карамзин получил в родительском доме и в частном пансионе француза Пьера Фовеля в Симбирске, а в двенадцать лет был направлен для продолжения учебы в Москву. В сопровождении крепостного дядьки, он приехал осенью 1778 года в московскую Немецкую слободу, в частный пансион профессора философии Московского университета Иоганна Матиаса Шадена (1731–1797). В судьбе Карамзина четыре года пребывания в Немецкой слободе стали временем исключительно важным; фактически — его *первым путешествием в Европу*. Парадокс заключался в том, что эту свою «первую Европу» юный Карамзин нашел не на Западе, а в Москве, причем как вполне органичную часть русской жизни. Ведь Немецкая слобода времен Карамзина-подростка — это уже екатерининская Москва, прожившая со времен царя Петра Алексеевича с его «потешными» катаниями по Яузе-реке и наивно-любопытным подглядыванием за жизнью «немцев» (то есть всех «немых», не говорящих по-русски, чужаков) содержательный период межкультурного синтеза¹³.

Из пансиона профессора Шадена Карамзин вышел хорошо образованным юношей со знанием немецкого и французского языков, а также самых широких основ европейской культуры. Однако его планам продолжить обучение в одном из университетов Германии (Шаден считал наиболее предпочтительным из них — Лейпцигский) помешали семейные обстоятельства: Карамзин отправился в Петербург для прохождения военной службы в гвардейском Преображенском полку, в который, по тогдашнему обычаю, был записан с самых юных лет.

Впрочем, военная служба Карамзина продолжалась недолго: после смерти отца молодой поручик, уже накопивший некоторый опыт литературной работы, подал в отставку и вернулся на родину, в Симбирск. Здесь на талантливого молодого человека обратил внимание богатый помещик, влиятельный московский масон Иван Петрович Тургенев (будущий ректор Московского университета и отец знаменитых впоследствии братьев Тургеневых), который вовлек Карамзина в местную ложу «Золотой венец», а спустя некоторое время фактически рекрутировал его в Москву, в окружение своего друга, просветителя Николая Новикова и поселил в знаменитом доме «Дружеского ученого общества» в Архангельском (Кривоколенном) переулке.

¹³ Подр. см.: *Кара-Мурза А.А.* Карамзин, Шаден и Геллерт. К истокам либерально-консервативного дискурса Н.М. Карамзина // *Филология: научные исследования*, 2016, № 1. С. 101–106.

Продолживший уже в послевоенные годы лучшие традиции отечественной карамзинистики Ю.М. Лотман талантливо развил несколько упрощенную схему В.В. Сиповского о противостоянии в последней трети XVIII века «петербургского двора» и «новиковской партии»: «Новиков по характеру и складу личности был, прежде всего, общественным деятелем. Люди, воспитанные Петровской эпохой, считали, что служение обществу и государственная служба — одно и то же. Новиков не предполагал, что польза общества требует борьбы с государством. Он исходил лишь из того, что следует научиться в жизненно важных вопросах обходиться без помощи дворянской государственности. Его лозунг — общественная самодеятельность, идущая не за и не против, а *мимо* государственной машины. Но именно этого ему не могла простить Екатерина II. Вся государственная пирамида с нею во главе оказывалась даже не врагом. Она — и это делалось очевидным — была просто лишняя, нужная лишь самой себе. С ее помощью нельзя было сделать для общества ничего. Деятельность Новикова была эффективна и утопична — противостоящая ей государственность реальна, но бесплодна и фантазмагорична»¹⁴.

Уникальные личные качества Новикова — мечтателя и практика одновременно — помогли ему, согласно Лотману, увидеть в молодом Карамзине не просто сотрудника, но и надежного продолжателя своего дела: «Новиков... умел находить и привлекать к себе талантливых людей. Пожалуй, во всей русской истории XVIII века только Петр I мог соперничать с ним в умении с одного взгляда определить, в чем состоит талант человека и к какому делу его лучше всего привлечь. Именно эта способность помогла Новикову разглядеть в приехавшем из Симбирска молодом человеке писателя-журналиста»¹⁵.

В течение нескольких лет, проживая в «масонском доме» около Чистых прудов, Николай Карамзин играл заметную роль, вместе со своим рано умершим старшим другом Александром Андреевичем Петровым (1763–1793), в издательско-просветительских проектах Новикова, в частности, редактируя журнал «Детское чтение для сердца и разума» (бесплатное еженедельное приложение к новиковской газете «Московские ведомости») и регулярно участвуя в собраниях новиковцев в доме наставника возле Никольских ворот Кремля.

Проблема, однако, состояла в том, что к тому времени, когда Карамзин лишь начинал свою литературную карьеру, «славное» для русского Просвещения «новиковское десятилетие» (1779–1789), как его метко назвал В.О. Ключевский, подходило к своему, увы, печальному завершению.

¹⁴ Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. С. 40.

¹⁵ Там же. С. 39–41.

¹⁶ См.: Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 2. СПб.: Наука, 1990. С. 34.

Юный Карамзин и Швейцария

В жизни и творчестве Н.М. Карамзина Швейцария очень рано заняла особое место. Например, с сочинениями поэта Соломона Геснера (1730–1788) Карамзин, по его собственному признанию, был знаком «с самых детских лет»¹⁷.

Интерес к С. Геснеру в России возник в начале 1770-х, когда переводы пяти его идиллий были напечатаны в петербургском журнале «Вечера», идейным вдохновителем которого был М.М. Херасков. В дальнейшем переводы из Геснера печатались в таких журналах, как «Санкт-Петербургский вестник» (1778–1781) и «Модное ежемесячное издание» (1779); на протяжении 1770-х годов они выходили и многочисленными отдельными изданиями.

А в 1783 году в русском переводе впервые была опубликована идиллия Соломона Геснера «Деревянная нога»¹⁸: по остроумному замечанию профессора Кембриджского университета Энтони Кросса, «с точки зрения истории русского “геснеризма” этой публикации можно было бы не придавать особого значения, не будь она первым печатным трудом Н.М. Карамзина, в то время шестнадцатилетнего сержанта гвардейского Преображенского полка»¹⁹. Удивительно, но в ранние годы переводами из швейцарца Геснера увлекался и молодой морской офицер, а в будущем — главный оппонент Карамзина по реформированию русской словесности, адмирал и государственный деятель Александр Семенович Шишков²⁰.

Уже в юношеском переводе «Деревянной ноги» С. Геснера, Николай Карамзин, среди прочих добродетелей швейцарцев, особо превозносит их *вольность*. Фразу Геснера «Freyheit, Freyheit beglückt das ganze Land!» русский переводчик передает следующим образом: «Вольность, сия дражайшая вольность делает счастливой всю сию страну»²¹.

А через три года, в 1786 году, уже девятнадцатилетний Карамзин издает прозаический перевод поэмы другого швейцарского поэта (а также

¹⁷ Детское чтение для сердца и разума. М., 1789, ч. XVII. С. 200. Известность Геснера достигла апогея в 1790-х, однако увлечение им продолжалось и позднее, вплоть до конца 20-х гг. XIX в.

¹⁸ Геснер С. Деревянная нога, швейцарская идиллия господина Геснера / Пер. с нем. Н. Карамзина. СПб.: Тип. Брейткопфа, 1783. Об этом переводе Карамзина см.: Виноградов В.В. О языке карамзинского перевода идиллии С. Геснера «Деревянная нога» // Проблемы теории и истории литературы: Сб. статей, посвященных памяти проф. А.Н. Соколова. М., 1971. С. 101–105.

¹⁹ Кросс А. Разновидности идиллии в творчестве Карамзина // XVIII век. Сборник 8. Л.: Наука, 1969. С. 210.

²⁰ См.: Геснер С. Дафнис (пер. с нем. А.С. Шишкова). СПб.: Тип. Морского шляхетского кадетского корпуса, 1785.

²¹ Геснер С. Деревянная нога. С. 7. См. также: Кара-Мурза А.А. К истокам сентиментального либерализма Н.М. Карамзина (к 250-летию со дня рождения) // Нравственные аспекты политической деятельности в теории, программатике, партийной практике и законодательстве российского либерализма. Орел: Орлик, 2016. С. 101–110.

выдающегося естествоиспытателя), Альбрехта фон Галлера (1708–1777), «О происхождении зла» — теперь уже в Москве, в «Типографической компании» Н.И. Новикова. В своих комментариях к переводу Галлера Карамзин подтверждает свое особое отношение к Швейцарии и швейцарцам: «Под сими счастливыми тварями разумеет Галер альпийских пастухов. Всё, слышанное мною от путешествовавших по Швейцарии в роде жизни их, в восхищение приводило меня. Размышление о сих счастливыхцах часто побуждало меня восклицать: “О смертные! просто уклонились вы от начальной невинности своей! Почто гордитесь мнимым просвещением своим!”»²²

«Швейцарская тема» присутствует у юного Карамзина и в повести «Пустынник»²³: ее написание исследователи связывают с работой автора над переводом из «Деревенских вечеров» французской писательницы сентименталистского направления С.-Ф. Жанлис для «Детского чтения». Герой повести, англичанин Дэвис, путешествуя по Европе, заезжает, в частности, в Швейцарию: Карамзин вводит в повесть сюжеты встреч с местными знаменитостями — Шарлем Бонне, Иоганном Якобом Бодмером, Соломоном Геснером, Иоганном Каспаром Лафатером, а также Вольтером.²⁴

В «швейцарский ряд» можно поставить и работу Карамзина по переводу для того же «Детского чтения» отдельных статей из «Созерцания природы» уроженца Женевы Шарля Бонне (1720–1793)²⁵ — с ним Карамзин будет потом близко общаться в Швейцарии, на берегах Лемана.

Обращает на себя внимание и стихотворение Карамзина «Поэзия», написанное незадолго до поездки в Европу: здесь в центре европейской литературы поставлены поэзии английская и швейцарская: первая представлена именами Шекспира, Мильтона, Юнга, Томсона, вторая — Геснера и Галлера. При этом из поэтов Германии Карамзиным назван лишь Клопшток (кстати, долгое время проживший в Швейцарии), а из французских и русских поэтов не названо ни одного имени!²⁶

Ну и, наконец, еще одной важнейшей нитью, связавшей молодого Николая Карамзина со Швейцарией, стала его личная переписка и Иоганном Каспаром Лафатером (1741–1801) — цюрихским пастором, знаменитым философом и литератором²⁷. Лафатера высоко ценили в образованных кругах

²² Галер А. О происхождении зла, поэма великого Галера (в 3-х песнях) (пер. с нем. Н. Карамзина. М., 1786. С. 11.

²³ Детское чтение для сердца и разума. М., 1788, ч. XV. С. 27–94.

²⁴ Подр. см.: *Смекалкина В.В.* Русские путешественники в Швейцарии. С. 196–197.

²⁵ Детское чтение для сердца и разума. М., 1788, ч. XVII. С. 3–53; ч. XIX. С. 165–205.

²⁶ См. *Лотман Ю.М.* Сотворение Карамзина. С. 102.

²⁷ См.: Переписка Карамзина с Лафатером. 1786–1790 (подг. текста Ю.М. Лотмана) // *Карамзин Н.М.* Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 464–498.

России: в сентябре 1782 года у него на личной аудиенции в Цюрихе побывал путешествовавший по Европе под именем «князя Северного», наследник русского престола, великий князь Павел Петрович, будущий император Павел I.

Обстоятельства отъезда за границу

Причины, побудившие Н.М. Карамзина весной 1789 года прервать участие в «Дружеском ученом обществе» и литературное сотрудничество с новиковской «Типографической кампанией» (единственную работу, дававшую ему регулярный заработок) и отправиться в длительный — четырнадцатимесячный! — вояж в Европу, до сих пор остаются до конца не выясненными²⁸. Известный литератор и один из первых биографов Карамзина Альберт Викентьевич Старчевский (1818–1901) писал, что в конце XVIII — начале XIX века в столичных кругах бытовало мнение, «будто известный патриот, Новиков, желая содействовать распространению просвещения в отечестве, и видя в молодом Карамзине человека, подающего большие надежды, доставил ему средства совершить путешествие по образованнейшим государствам Европы, с тем, чтобы Карамзин, возвратившись с богатым запасом новых идей, содействовал его видам»²⁹.

По словам Старчевского, долгое время принималось за доказанный факт и то, что, отправляясь за границу, Карамзин получил от видного масона и ближайшего друга Новикова, Семена Ивановича Гамалеи (1743–1822), подробную «инструкцию», которой должен был руководствоваться в Европе «в выборе предметов изучения». Более того, согласно Старчевскому, «копии с этой инструкции имелись у многих любителей русской старины в Москве»³⁰. Обсуждались в обеих столицах и свидетельства литератора Ф.Н. Глинки (будущего декабриста), который ссылался на слова самого Карамзина, будто бы доверительно сообщившего ему, что «был направлен за границу на средства масонов», и что «общество», отправившее его, «выдало путевые деньги из расчета на каждый день на завтрак, обед и ужин», и поэтому, например, для покупки книг за границей, он вынужден был экономить на еде и т.д.³¹.

В дальнейшем, однако, «масонская версия» путешествия Карамзина стала сходить на нет и была задвинута на дальний план — общими усилиями

²⁸ См.: *Кара-Мурза А.* Чем беглец отличен от путешественника. Загадка европейского турне Николая Карамзина // НГ-Сценарии, 2016, № 7 (165), 27 сентября. С. 14.

²⁹ *Старчевский А.В.* Николай Михайлович Карамзин. СПб.: Тип. К. Крайя, 1849. С. 28.

³⁰ Там же. С. 29. Правда, сам Старчевский в своем сочинении сетовал, что, при написании биографии Карамзина, ни одной из этих «копий» у него «под рукой не оказалось» (там же).

³¹ См.: *Шторм Г.П.* Новое о Пушкине и Карамзине // Известия АН СССР. Серия литературы и языка, т. 19, вып. 2. С. 150.

как друзей Карамзина, сочувствовавших ему и уберегавших от возможных неприятностей, так и, похоже, самих «властей предержавших», приблизивших со временем Карамзина ко двору и сделавших его имя частью официоза. «В новейшее время доказано, — уверенно пишет тот же Старчевский, — что эта молва (о “масонском” характере вояжа Карамзина — А.К.) не имеет никакого основания, и что молодой Карамзин путешествовал на свой собственный счет, уступив часть имения, приходившуюся ему по смерти отца, своему старшему брату, Василию Михайловичу»³². Решающими в определении судьбы Карамзина на следствии по «новиковскому делу» 1792 года³³ стало свидетельство одного из лидеров московского масонства, князя Николая Никитича Трубецкого (1744–1820), который, лично покаявшись в увлечении мартинизмом, попутно уверенно заявил: «Что же принадлежит до Карамзина, то он от нас посылаем не был, а ездил вояжером (путешественником — А.К.) на свои деньги»³⁴.

По каким причинам видные масоны из окружения Новикова дали на допросах реабилитирующие Карамзина показания, и почему следствие удовлетворилось ими и не стало копать глубже, тем самым сохранив для нас литератора и будущего историка, — можно только догадываться. Однако нельзя при этом не отметить, что другой основной «опорой», на которой отрицатели масонской версии заграничной поездки Карамзина вот уже многие десятилетия строят свою позицию, — это свидетельства литератора Н.И. Греча, которому в иных случаях, как известно, не принято особо доверять.

В самом деле, авторитетные исследователи — от М.П. Погодина до Ю.М. Лотмана — охотно цитируют фрагменты из «воспоминаний» Греча, который сразу после кончины Карамзина в 1826 году поспешил опубликовать мемуары о нем³⁵. По словам Греча, Карамзин якобы доверительно рассказывал ему о днях, непосредственно предшествовавших отъезду в Европу и о своих сильно охладевших к тому моменту отношениях с обществом московских мартинистов: «Я был обстоятельствами вовлечен в это общество в молодости моей и не мог не уважать в нем людей, искренно и бескорыстно искавших истины и преданных общепольному труду. Но я никак не мог разделить с ними убеждения, будто для этого нужна какая-либо таинственность, — и не могли мне нравиться их об-

³² Старчевский А.В. Николай Михайлович Карамзин. С. 28.

³³ Ю.М. Лотман пишет, что в 1792 г., когда произошел разгром новиковского кружка, «Карамзин уцелел почти чудом» (Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. С. 307).

³⁴ Подр. об этом: Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. С. 52.

³⁵ В нашей литературе неоднократно отмечалось, что скороспелые мемуары Греча о Карамзине — это чистая «конъюнктура» и «дань моде» (см. напр.: Венюк Карамзину. М., 1992. С. 43–52).

ряды, которые всегда казались мне нелепыми. Перед моею поездкою за границу я откровенно заявил в этом обществе, что, не переставая питать уважение к почтенным членам его и признательность за их постоянное доброе ко мне расположение, я, однако ж, по собственному убеждению, принимать далее участие в их собраниях не буду и должен проститься. Ответ их был благосклонный; сожалели, но не удерживали, и на прощанье дали мне обед. Мы расстались дружелюбно. Вскоре затем я отправился в путешествие»³⁶.

И по сей день, за отсутствием иных документов, сомнительные «мемуары» Греча успешно кочуют из одного сочинения в другое. При этом почему-то не вызывает удивления тот странный факт, что во всех своих публикациях о якобы «близких отношениях» с Карамзиным Греч очевидным образом путает даты карамзинского путешествия, утверждая, что оно имело место «в 1789–1791 годах» (?)³⁷. Человеку, не знающему или забывшему, что «путешественник» вернулся из Европы уже летом 1790 года, согласимся, трудно верить, как мемуаристу.

Однако даже Ю.М. Лотман, в других случаях добросовестный до дотошности, охотно и обильно цитирует «мемуары» Греча и спешит поставить на этом точку: «Самый простой и безболезненный вид разрыва (Карамзина с масонами — А.К.) был отъезд. Тем более что планы путешествия Карамзин строил давно, и эти планы были известны в масонской среде и даже, видимо, первоначально одобрялись...»³⁸ Остается признать, что большинство исследователей карамзинского вояжа, ставшего поистине культовым в нашей литературе, так или иначе согласились с магистральной версией отъезда Карамзина: «*разошелся с масонами и на собственные деньги отправился путешествовать*».

Однако при таком подходе остается совершенно необъяснимым тот факт, что за всё время своего длинного путешествия по Германии, Швейцарии, Франции и Англии Карамзин *практически ничего не писал в Россию* — ни родным братьям Василию и Федору, ни сестре Екатерине (в замужестве Кушниковой), ни самым близким друзьям. А объяснение этому, на наш взгляд, предельно просто: еще перед отправлением в Европу, между Карамзиным и его близкими было договорено, что он *не будет писать из-за границы*; более того, Карамзин просил *не писать к нему самому*.

Единственной, кто попытался игнорировать эту странную договоренность была, судя по всему, по-матерински любившая и опекавшая Карамзина

³⁶ «Северные цветы» на 1828 г. СПб., 1827. С. 186–188. См. также: *Погодин М.П.* Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников: Материалы для биографии. М.: Тип. А. Мамонтова, 1866, ч. 1. С. 69.

³⁷ См. напр.: «Северные цветы» на 1828 г. С. 187–188.

³⁸ *Лотман Ю.М.* Сотворение Карамзина. С. 52.

Анастасия (Настасья) Ивановна Плещеева³⁹. Когда в июле 1790 года (т.е. спустя четырнадцать месяцев после отъезда Карамзина в Европу) она, ранее безуспешно писавшая ему за границу и не получавшая ответов, узнала, что тот объявился в Лондоне и готовится к возвращению в Россию, отправила ему гневное письмо: «Я уверена и уверена совершенно, что проклятые чужие края сделали с тебя совсем другого: не только дружба наша тебе в тягость, но и письма кидаешь, не читая! Я в том столько уверена, как в том, que j'existe (что я существую. — *франц.*), потому, что с тех пор, как ты в чужих краях, я не имела удовольствия получить не единого ответа ни на какое мое письмо...»⁴⁰.

И это писала Плещеева, которой (вместе с ее мужем Алексеем Александровичем) Карамзин впоследствии и посвятил свои «Письма русского путешественника» — да еще с надписью: «Вам писано — вам и посвящаю!» Похоже, прав литературовед В.В. Сиповский насчет того, как именно задумывались, а потом были положены на бумагу «Письма русского путешественника»: «Можно предположить, что Карамзин, заноса свои впечатления в записную книжку, вел «заглазную беседу» со своими друзьями...»⁴¹

Однако отсутствием взаимной переписки с близкими людьми странности карамзинского путешествия не исчерпываются. Исследователи и комментаторы настойчиво продолжают отгонять от себя еще одну простую мысль: каким образом, бросивший литературный труд у Новикова, отставной поручик Карамзин смог позволить себе многомесячное заграничное турне по Европе на те небольшие деньги, которые он смог выручить от продажи брату Василию своей доли отцовского наследства? К тому же, основную часть этих денег — и это доказано — Карамзин получит от брата лишь несколькими годами позже, в 1795 году, и, кстати, известно, как потратит — на помощь бедствующей семье своих друзей Плещеевых! Об этом он тут же сообщит старшему (на пятнадцать лет) брату Василию, которого всю жизнь боготворил и называл только на «вы»: «Я, получив от вас деньги, по долгу сердечной дружбы, обязан отдать их Алексею Александровичу, который имеет в них нужду. Странно было бы для всех, знающих связь мою с его домом, если бы я поступил иначе»⁴².

³⁹ Ю.М. Лотман полагает, что с А.И. Плещеевой Карамзин в юные годы «был связан нежной платонической дружбой»: «Настасья Ивановна учила его искусству нежной дружбы... Томная сладость этих отношений была связана с тем, что юноша играл роль мальчика, а его наставница примешивала к нежной дружбе нежную строгость матери» (*Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. С. 20–21*).

⁴⁰ Барсков Я.Л. Переписка московских масонов XVIII века. 1780–1792 гг. Пг.: Изд-во Отделения русского языка и словесности Императорской АН, 1915. С. 2–3.

⁴¹ Сиповский В.В. Н.М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». С. 156.

⁴² Цит. по: *Погодин М.П.* Н.М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Ч. 1. С. 254).

Напомним, что не приносящее особого дохода отцовское имение Знаменское было, согласно завещанию, разделено между тремя сыновьями от первого брака — Василием, Николаем и Федором. Поэтому особенно забавным выглядит утверждение М.П. Погодина, что Карамзин употребил на путешествие «*часть полученных денег*» от продажи брату своей трети отцовского наследства⁴³.

Если еще чуть-чуть углубиться в рассмотрение финансовой стороны карамзинского турне, то обращает на себя внимание и тот факт, что путешественник, по-видимому, начал испытывать материальные затруднения уже через пару месяцев после начала своего, продлившегося в итоге четырнадцать месяцев, вояжа — а именно в Саксонии. Сохранилось письмо к Карамзину его оставшегося в Москве друга — А.А. Петрова, который, получив письмо от Карамзина из Дрездена (не дошедшее до нас⁴⁴), направил ему ответное письмо в Женеву, где, как справедливо полагали карамзинские друзья в Москве, тот непременно должен был остановиться. В письме Петрова, в частности, говорилось: «Ты жалуешься, что всё, примечания достойное, что ты видел, стоило тебе денег. Пожалуй, уведоь, в каких обстоятельствах твой кошелек, и не должен ли ты больше издерживать денег, нежели прежде думал?»⁴⁵ Судя по всему, дрезденский «сигнал» от Карамзина, полученный через Петрова (об этом единственном письме за весь вояж 1789 года еще пойдет речь), был воспринят «московскими друзьями» Карамзина правильно, и уже в Швейцарии его финансовое положение вполне стабилизировалось.

Между тем, представляется глубоко неверной и точка зрения, согласно которой молодой Карамзин отправился в Европу «с заданием от масонов». Известно, что в иерархии московских мартинистов он имел невысокий статус «брата», полученный еще в Симбирске, — с таким статусом в Европу ни с каким заданием не посылают! Очевидно, что Карамзину помогло деньгами не «сообщество», а, скорее, *лично* Н.И. Новиков, — а это совершенно разные вещи. Отправляя Карамзина за границу, Новиков мог увлечь его «журналистским заданием» с обещанием последующих публикаций и даже в счет будущих гонораров — сейчас об этом опять-таки можно только гадать. Гораздо важнее другой и главный вопрос: а зачем Новикову вообще потребовалось отсылать Карамзина за границу именно весной 1789 года?

⁴³ Погодин М.П. Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников, ч. 1. С. 70.

⁴⁴ Письма Н.М. Карамзина к А.А. Петрову не сохранились: после смерти последнего в 1793 г., его брат, И.А. Петров, напуганный преследованиями, обрушившимися на «кружок Новикова», уничтожил архив покойного брата. Тогда же Карамзин писал И.И. Дмитриеву: «Я доволен, что письма мои сожжены...» (Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву. СПб.: Тип. Императорской АН, 1866. С. 35).

⁴⁵ Письма А.А. Петрова к Карамзину. 1785–1792 (подг. текста Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского) // Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. С. 509.

Загадочный Тартюф

Чтобы ответить на этот вопрос, стоит внимательно перечитать переписку интересующего нас времени двух близких к Карамзину людей: Настасьи Плещеевой и масонского наставника Карамзина Алексея Михайловича Кутузова, в самом деле посланного кружком Новикова в Берлин «с заданием». Из этих писем, зачастую непростых для восприятия (оба участника догадывались о перлюстрации), можно сделать, тем не менее, однозначный вывод: весной 1789 года Карамзин *не собирался уезжать за границу и отправился в Европу не по своей воле.*

Так, 22 июля 1790 года А.И. Плещеева писала из орловского имения Знаменское А.М. Кутузову в Берлин: «К счастью, не все, например, вы знаете причины, которые побудили его (Карамзина — А.К.) ехать. Поверите ли, что я из первых, плакав пред ним, просила его ехать; друг ваш Алексей Александрович (Плещеев — А.К.) — второй; знать сие было нужно и надобно. Я, которая была вечно против одного вояжа, и дорого мне стоила она разлука. Да, таковы были обстоятельства друга нашего, что сие непременно должно было сделать».⁴⁶ Из этих слов следует, что именно супруги Плещеевы, имевшие влияние на Карамзина, окончательно склонили его ехать в Европу, после того, как узнали о неких «обстоятельствах».

И далее в письме к Кутузову Плещеева указывает на вполне конкретное лицо (хотя прямо и не называет его имени), поведение и поступки которого стали главной причиной отъезда Карамзина: «После этого скажите, возможно ли мне было и будет любить злодея, *который всему почти сему главная причина* (курсив мой. — А.К.)? Каково расставаться с сыном и другом и тогда, когда я не думала уже увидеться в здешнем мире. У меня тогда так сильно шла горлом кровь, что я почитала себя очень близкой к чахотке. А того, кто причиной сего вояжу, вообразить без ужаса не могу, сколько я зла ему желаю! О, Тартюф!»⁴⁷

Из несколько сумбурного письма Плещеевой, во-первых, следует, что Карамзин направлялся в Европу на неопределенный срок: «*я не думала уже увидеться в здешнем мире...*». Что касается конкретного лица, ставшего причиной отъезда (фактически — бегства) Карамзина за границу, то установить его непросто. Важной зацепкой является плещеевское именование пресловутого «злодея» — «Тартюфом». Подобная аттестация, естественно, наводит на мысль, что речь идет не о заведомом враге, а, напротив, — о человеке, который числился некоторое время среди «своих» и, возможно, был даже вхож в круг Плещеевых. Ведь «Тартюфом», вслед за Ж.-Б. Мольером (одноименная комедия была написана им в 1664 году), принято называть до поры не

⁴⁶ Барсков Я.Л. Переписка московских масонов XVIII века. С. 5–6.

⁴⁷ Там же. С. 6.

разоблаченного, показного святошу, абсолютно безнравственного внутри, ловко прикидывающегося другом дома.

В рассказанной истории А.И. Плещеева, очевидно, невольно отождествляет себя с мольеровской Эльмирой, которой, как известно, хотя и не сразу, удалось разоблачить Тартюфа. А уже после возвращения Карамзина в Россию, А.И. Плещеева, в письме к А.М. Кутузову из Москвы от 10 ноября 1790 г., сетуя на то, что «Рамзей» (т.е. Карамзин) вернулся из Европы сильно изменившимся («сердце его сто раз было нежнее и чувствительнее»), снова возвращается к теме «злодея», из-за которого Карамзин вынужден был покинуть Россию: «Есть ли человек, столь великодушный, который бы мог простить злодея, причинившего все эти перемены? Считайте меня, как хотите, но я не себя виню, а виню того злодея, который был причиной моего согласия на отъезд Рамзея»⁴⁸.

Первый публикатор переписки Плещеевой и Кутузова в журнале «Русская старина» (1874) был склонен искать «Тартюфа» среди высокопоставленных московских масонов, близких к Новикову, и высказал предположение, что в письме Плещеевой «Тартюфом» назван С.И. Гамалея, человек набожный и имевший репутацию «божьего человека»⁴⁹. Несколько позднее, публикатор переписки московских масонов Я.Л. Барсков выразил сомнение в подобном методе поисков «Тартюфа», потому что как раз репутация С.И. Гамалеи, по его мнению, всегда была и осталась незапятнанной⁵⁰. Добавлю от себя, что в уже упоминавшемся письме А.А. Петрова Карамзину в Женеву от 20 сентября 1789 года, среди общих знакомых, которые, по словам Петрова, «благодарят тебя за то, что ты их помнишь и желают тебе всякого добра», под инициалами «С.И.» наверняка упоминается именно С.И. Гамалея⁵¹. Из контекста этого письма следует, что до этого сам Карамзин в своем несохранившемся послании из Дрездена просит передать привет в том числе и «С.И.». Всё это окончательно убеждает, что Гамалея, разумеется, никак не мог быть «Тартюфом».

В своей книге о Карамзине (1899) В.В. Сиповский также был склонен считать (правда, не называя конкретных имен), что интрига против молодого Карамзина шла изнутри ближайшего круга Н.И. Новикова: «Из первых писем Плещеевой, писем, в которых чувствуются и слезы, и страх, — видно, что тогда в новиковском кружке не всё было благополучно: какая-то трагедия разыгрывалась там втихомолку на глазах у Плещеевой, а она, перепуганная женщина, спасая дорогих ей людей, дерзала бороться с каким-то “злодеем”, “Тартюфом”...»⁵²

⁴⁸ Там же. С. 29.

⁴⁹ Русская старина, 1874, январь. С. 5.

⁵⁰ Барсков Я.Л. Переписка московских масонов XVIII века. С. 289.

⁵¹ Письма А.А. Петрова к Карамзину. С. 509.

⁵² Сиповский В.В. Н.М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». С. 143–144.

Совсем иначе интерпретирует содержание писем Плещеевой Кутузову Ю.М. Лотман: «Мы не знаем и, вероятно, никогда не узнаем, кого Плещеева называла “злодеем” и “Тартюфом”, но мы вряд ли ошибемся, если предположим связь этих событий с гонениями, обрушившимися в это время на московский круг единомышленников Н.И. Новикова, к которому принадлежал и Карамзин»⁵³. Лотман, таким образом, склоняется скорее к версии о том, что в начале 1789 года юный Карамзин каким-то образом оказался мишенью начинающихся репрессий со стороны императорского двора против московской партии Новикова.

Наиболее радикальное предположение в этой связи выдвигает В.Б. Муравьев — автор новейшей биографии Н.М. Карамзина в серии «Жизнь замечательных людей». Припомнив пушкинское определение Екатерины II, данное поэтом в бессарабских ссылке 1822 года: «*Тартюф в юбке и короне*», Муравьев делает смелый вывод: «Так что теперь к письму А.И. Плещеевой можно сделать объяснительное примечание: Тартюф — это российская императрица Екатерина II (1729–1796)»⁵⁴. Если быть последовательным, то по Муравьеву выходит, что весной 1789 года двадцатидвухлетний Карамзин бежал из России, став объектом преследования не кого-нибудь, а самой русской императрицы! Однако, увы: версия эта в книге Муравьева не имеет никакого продолжения и выглядит абсолютно «вставной», ибо в дальнейшем изложении автор полностью воспроизводит концепцию о Карамзине как о вольном путешественнике.

Мне представляется, что к разгадке внезапного отъезда Карамзина в Европу (им самим весной 1789 года не планируемого, тем более — на длительный срок) парадоксальным образом, хотя и с различных сторон, приблизились разные исследователи: интрига против Карамзина шла *и изнутри, и извне его близкого окружения*.

...Еще в 1975 году крупнейшая исследовательница русской культуры конца XVIII — начала XIX веков Людмила Васильевна Крестова (1892–1978) в одной из своих последних статей «А.И. Плещеева в жизни и творчестве Карамзина» писала: «А.И. (Плещеева — А.К.) огорчалась из-за отъезда Карамзина за границу в 1789 г. и осуждала его врага. Им был, по-видимому, князь Г.И. (?) Гагарин, порвавший в это время с масонами и доносивший Прозоровскому об участии Карамзина в кружке Новикова в “Дружеском обществе”»⁵⁵.

Прежде всего, надо заметить, что, в своем предположении Л.В. Крестова делает акцент на поведении искомого «Тартюфа» во время следствия по

⁵³ Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. С. 35.

⁵⁴ Муравьев В.Б. Карамзин. М.: Молодая гвардия, 2014. С. 104–105.

⁵⁵ Крестова Л.В. А.И. Плещеева в жизни и творчестве Карамзина. // XVIII век. Сб. 10. Русская литература XVIII века и ее международные связи. Памяти чл.-корр. АН СССР П.Н. Беркова. Л.: Наука, 1975. С. 266.

делу московских масонов, затеянном новым главнокомандующим Москвы князем И.И. Прозоровским в 1792 году и оставляет в стороне интересующие нас события начала 1789 года, когда Карамзин отправился за границу. Кроме того, в рассуждениях Крестовой, как представляется, содержится досадная описка в инициалах князя Гагарина: речь может идти, разумеется, не о «Г.И. Гагарине»⁵⁶, а о князе Гаврииле Петровиче Гагарине (1745–1807), крупнейшем петербургском масоне шведского обряда, знатоке трудов шведского мистика Эммануила Сведенборга, в то время как Н.И. Новиков и его московские друзья тяготели к немецкими розенкрейцерам. В 1780-х годах князь Гагарин, уловив антимазонские настроения Екатерины II, постепенно свернул деятельность своих лож в Петербурге и вскоре получил назначение на высокую гражданскую должность в Москве — обер-прокурора 6-го департамента Сената. Разумеется, появление в «первопрестольной» знатока эзотерических текстов и масонского гроссмейстера (хотя и иного, чем москвичи, обряда) не могло не остаться незамеченным кругом Новикова, который сделал попытку сблизиться с Гагариным. Похоже, однако, что сам тайный советник Гагарин очень скоро повел двойную игру: вникая в секреты новиковцев, он не прочь был поучаствовать в их разгроме. В 1792 году он станет одним из главных свидетелей на процессе против Новикова и его друзей.

Уже после смерти князя Гагарина, в 1811 году, граф Федор Васильевич Ростопчин, человек, очень близкий в те годы к Карамзину⁵⁷, представит императору Александру I свои «Заметки о мартинистах», где о покойном Гаврииле Гагарине говорилось следующее: «Этот человек был гроссмейстером тайной масонской ложи в Москве и решил пристать к мартинистам; но, узнав, что им грозит гонение, счел за лучшее избавиться от всякой ответственности и выслужиться посредством разоблачения вверенных ему тайн. Он сделался предателем единственно из страха... Это был человек умный, опытный в де-

⁵⁶ Трудно предположить, что исследовательница такого уровня, как Л.В. Крестова, окончившая классическое отделение университета еще до революции (1914), могла действительно вести речь о другом Гагарине — князе Григории Ивановиче, будущем известном дипломате. Г.И. Гагарин и по возрасту не подходит на роль «Тартюфа» (в 1789 г. ему было семь лет!), и впоследствии он был в самых приятельских отношениях с Карамзиным. Единственное, что сближает Гавриила и Григория Гагариных — это страсть к сочинению «эротических стихов», в чем оба они были большие мастера.

⁵⁷ По московским меркам, Карамзин и Ростопчин считались родней: жена Ростопчина и первая жена Карамзина (урожденная Протасова) были двоюродными сестрами. В 1811 г. Ростопчин был частым гостем в доме Карамзиных; вместе они навещали в тверскую резиденцию сестры Александра I, великой княгини Екатерины Павловны, через которую передавали «аналитические материалы» для царя. А летом 1812 г. Карамзин, в свою очередь, переехал с семьей жить в дом Ростопчина, назначенного генерал-губернатором Москвы.

лопроизводстве, но корыстный, склонный к пьянству, погрязший в долгах и никем не уважаемый»⁵⁸. Очень вероятно, что эту свою характеристику князя Гагарина Ростопчин, мало сведующий на самом деле в масонских делах, писал со слов близкого к нему Карамзина.

На козни «*злых людей*», ставших причиной бегства Карамзина за границу, прямо указывают и фрагменты из уже упоминавшегося сентябрьского письма А.А. Петрова, полученного Карамзиным в Женеве: «Я думаю, что теперь ты давно уже в Швейцарии. Усердно желаю, чтобы во всех местах находил ты таких людей, которых знакомство и воспоминание повышало бы удовольствие, какое ты находишь в наслаждении прекрасною природою и новости предметов, и утешало бы тебя в твоём опыте, что *везде есть злые люди*. Могу себе представить, что *сей опыт часто тебя огорчает*, при твоей чувствительности, и приводит в такое грустное расположение, в каком видал я тебя, живши с тобою. Но, не правда ли, что он и даёт тебе живее чувствовать цену людей достойных почтения? (курсив мой. — А.К.)»⁵⁹.

Интересно, что Карамзин, цитируя позднее это письмо А.А. Петрова в литературном некрологе на смерть друга («Цветок на гроб моего Агатона»), заменяет слова: «утешало бы тебя в твоём опыте, что *везде есть злые люди*» на другой вариант: «утешало бы тебя в неприятном опыте, что *везде есть зло*» (курсив мой — А.К.)⁶⁰. Незначительное, казалось бы, изменение, внесенное Карамзиным в текст письма Петрова, на мой взгляд, призвано смикшировать тот факт, что речь в аутентичном письме Петрова шла не об *абстрактном зле*, а о *вполне конкретных людях!*

Каким именно образом в начале 1789 года двадцатидвухлетний Карамзин оказался замешанным в интриги князя Гагарина, мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Однако нам известна развязка тех событий: Карамзин был выведен из-под удара и отправлен за границу — скорее всего, лично Новиковым, не желавшим ни «сдавать» молодого сотрудника, ни ссориться с влиятельным Гагариным. Новиков тогда еще надеялся, что гнев императрицы минует его, и что он по-прежнему будет пользоваться покровительством московского наместника («главнокомандующего») П.Д. Еропкина, чей глава канцелярии («правитель дел») И.А. Барнашев был активным масоном и близким к Новикову человеком.

⁵⁸ Записка о мартинистах, представленная в 1811 году графом Ростопчиным великой княгине Екатерине Павловне // Ростопчин Ф. Мысли вслух на Красном крыльце. М.: Институт русской цивилизации, 2014. С. 140–141.

⁵⁹ Письма А.А. Петрова к Карамзину. С. 509.

⁶⁰ Карамзин Н.М. Цветок на гроб моего Агатона // Карамзин Н.М. Записки старого москвича. Избранная проза. М., 1986. С. 234–235.

Начало путешествия

Если принять нашу версию, и т. наз. «путешествие» Карамзина 1789–1790 годов фактически было бегством за границу (по сути — эмиграцией), то карамзинские «Письма русского путешественника» предстают *литературно обработанным дорожным дневником эмигранта* и, соответственно, должны читаться *принципиально иным образом*.

Это касается уже самого первого карамзинского «Письма...», помеченного: «*Тверь, 18 мая 1789 г.*», которое историк и литератор М.П. Погодин называл ни много ни мало «эпохой в истории Русского слова»: «С него начинается наша настоящая литература»⁶¹. Понятно, что в такой ситуации адекватное прочтение этого важнейшего литературного памятника является делом принципиально важным.

Действительно, при новом прочтении, описанные Карамзиным-беглецом чувства расставания с близкими и родиной уже не выглядят нарочитой самоэкзальтацией, ранее списываемой комментаторами на сентименталистские пристрастия автора. Беглец покидает родину на неопределенный срок и без гарантий возвращения, а поэтому и «путешествие в Европу», о котором он когда-то действительно мечтал, окрашивается в совершенно иные тона: «О сердце, сердце! Кто знает: чего ты хочешь? — Сколько лет путешествие было приятнейшею мечтою моего воображения?.. Но — когда пришел желаемый день, я стал грустить, вообразив в первый раз живо, что мне надлежало расстаться с любезнейшими для меня людьми в свете и со всем, что, так сказать, входило в состав нравственного бытия моего... Простите! Дай Бог вам утешений! — Помните друга, но без всякого горестного чувства (курсив мой.— А.К.)»⁶². О каком «горестном чувстве» говорит Карамзин? Разумеется, сам «путешественник» вправе и обязательно будет тосковать по оставшимся в России друзьям, но почему эти друзья, провожая Карамзина в Берлин, Женеву, Париж, Лондон должны вспоминать о нем «с горестным чувством»? Ведь о праздных «туристах» принято вспоминать скорее с завистью, но никак не с горестью.

Хорошо известен и другой фрагмент из самого начала «Писем русского путешественника», где Карамзин описывает, как его московский друг А.А. Петров провожал его до тверской (петербургской) заставы на выезде из Москвы: «Там обнялись мы с ним, и еще в первый раз видел я слезы его; — там сел я в кибитку, взглянул на Москву, где оставалось для меня столько любезного, и сказал: прости! Колокольчик зазвенел, лошади помчались... и друг ваш осиротел в мире, осиротел в душе своей!»⁶³.

⁶¹ Погодин М.П. Н.М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Ч. 1. С. 72.

⁶² Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. С. 5, 6.

⁶³ Там же. С. 5–6.

Ю.М. Лотман, много сделавший для того, чтобы выявить документальную основу «Писем...», в своем комментарии к данному фрагменту, увы, полностью и без перепроверки доверяет литературному тексту: «18 мая 1789 г. (ст. ст.) по петербургской дороге из Москвы выехала карета. В ней сидел молодой путешественник. До петербургской заставы его проводил друг. Расстались они в слезах»⁶⁴.

Согласно же нашей версии, вынужденный изгнанник Карамзин не мог не взять с собой в дорогу (по крайней мере, до русской границы) надежного сопровождающего⁶⁵, посвященного во все тайные «обстоятельства». И поэтому, после расставания с Петровым, в кибитке, вместе с Карамзиным, из Москвы отправился еще один человек, *имя которого было решено впоследствии не упоминать*. Этим «вторым», расставшимся с Карамзиным лишь на русской границе, был, согласно нашей версии, еще один близкий друг Карамзина — литератор Иван Иванович Дмитриев (1760–1798).

К такому выводу прямо подталкивает фрагмент из письма Карамзина И.И. Дмитриеву (в то время уже — александровскому министру юстиции!) от 4 августа (ст. ст.) 1810 года, на которое исследователи не обращали ранее должного внимания. В этом письме Карамзин, говоря о скором своем отъезде из Москвы в Арзамас по делам нижегородского имения, неожиданно «проговаривается» на интересующую нас тему: «Эта дорога напомнит мне лета первой молодости и *путешествие мое с тобою к пределам нашей общей родины* (курсив мой. — А.К.)»⁶⁶. Поскольку Карамзин никогда более за границу не выезжал, остается предположить, что речь идет *именно о мае 1789 года* — самом начале четырнадцатимесячных европейских странствий Карамзина.

Что касается самого И.И. Дмитриева, то, ни разу не упомянутый в «Письмах русского путешественника», он до конца жизни хранил тайну карамзинского вояжа в Европу. В своих поздних мемуарах он так написал об общении с Карамзиным в конце 1780-х гг.: «Несколько раз встречались в Москве, и, наконец, разлучились уже на долгое время: он отправился в чужие края, но не за счет общества, как многие о том разглашают, а на собственном иждивении»⁶⁷.

⁶⁴ Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. С. 29.

⁶⁵ Речь в данном случае не идет, конечно, о личном крепостном слуге Карамзина — Илье, который, разумеется, сопровождал барина до самой русской границы (там, согласно русской традиции, отношения барин/крепостной заканчивались). Присутствие крепостного Ильи в барской кибитке на российской территории в «Письмах...» всегда как бы подразумевается, но почти никогда не оговаривается.

⁶⁶ Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву. С. 119.

⁶⁷ Дмитриев И.И. Взгляд на мою жизнь. Записки действительного тайного советника Ивана Ивановича Дмитриева. М.: Тип. В. Готье, 1866, кн. 2. С. 100.

Эта случайная находка в позднейшей переписке Карамзина с И.И. Дмитриевым заставляет по-новому перечитать и второе письмо из «Писем путешественника», помеченное: «С. Петербург, 26 мая 1789», в котором Карамзин рассказывает о посещении им своего друга «Д» — тоже гвардейского офицера и литератора Александра Ивановича Дмитриева (1759–1798), старшего брата И.И. Дмитриева: «В Петербурге я не веселился. Приехав к своему Д., нашел его в крайнем унынии. Сей достойный, любезный человек открыл мне свое сердце: оно чувствительно — он несчастлив!»⁶⁸

Находившийся «в крайнем унынии» по причине, как ему казалось, неразделенной любви⁶⁹, Александр Дмитриев подумал было, что Карамзин, отправлявшийся в обещавшее бесконечные наслаждения путешествие, не в состоянии понять и разделить его печаль: «Состояние мое совсем твоему противоположно, сказал он со вздохом: главное твое желание исполняется: ты едешь наслаждаться, веселиться; а я поеду искать смерти, которая одна может окончить мое страдание»⁷⁰.

Что же ответил своему «несчастному» другу Карамзин? Его ответ никак не соответствует состоянию предвкушающего европейские радости «туриста», но зато очень соответствует настроению беглеца, не по своей воле покидающего родину: «Но не думай, мой друг — сказал я ему — чтобы ты видел перед собою человека, довольного своею судьбою; приобретая одно, лишаясь другого, и жалею. — Оба мы вместе от всего сердца жаловались на несчастный жребий человечества, или молчали. По вечерам прохаживались в Летнем саду, и всегда больше думали, нежели говорили; каждый о своем думал»⁷¹.

Итак, согласно новой версии, начальный этап «путешествия» Карамзина выглядит следующим образом. В мае 1789 года он отправляется сначала в Санкт-Петербург в сопровождении И.И. Дмитриева, который мог предложить беглецу свою дружескую помощь еще по одной причине: именно в мае 1789 года его брат, Александр Иванович, ранее подпоручик, был выпущен из Семеновского полка в армию премьер-майором⁷² — это событие братья, вероятно, хотели отметить в Петербурге вместе. Участие в этом празднике бежавшего из Москвы Карамзина также более чем вероятно, как ясно и то,

⁶⁸ Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. С. 6.

⁶⁹ В конце концов, А.И. Дмитриев благополучно женился на девушке, по которой так тосковал, — Марии Александровне Пиль, шведке по происхождению. Семейное счастье их, увы, продолжалось недолго: в 1798 г. Александр Иванович скорострительно скончался.

⁷⁰ Там же.

⁷¹ Там же.

⁷² В том же 1789 г. А.И. Дмитриев был произведен в подполковники и определен в Суздальский мушкетерский полк, в составе которого позднее воевал во время русско-шведской кампании.

что описание подобного «мероприятия» совсем не укладывалось в авторскую схему «Писем русского путешественника». Кстати, тот факт, что, бежав из Москвы, Карамзин отправился сначала в Санкт-Петербург и провел там пять дней, первоначально собираясь плыть в Германию морем, подтверждает то, что источник проблем Карамзина — тот самый «Тартюф» — находился в Москве, а не в тогдашней столице.

Судя по всему, И.И. Дмитриев сопровождал Карамзина от столицы вплоть до самой границы, о чем говорят вышеприведенные слова Карамзина: «*путешествие мое с тобою к пределам нашей общей родины*» из его письма Дмитриеву от 4 августа 1810 года.

Новое прочтение «Писем русского путешественника» (в самом этом названии звучит *горчайшая карамзинская ирония!*), казалось бы, многократно читанных-перечитанных поколениями русских, показывает, что автор постоянно посылает нам — читателям — своего рода *маячки-сигналы* об истинных причинах своего т.наз. «путешествия». Это вполне объяснимо и оправданно: ведь некоторые его современники (к примеру, те же супруги Плещеевы, которым были впоследствии посвящены «Письма...») знали об истинной подоплеке карамзинского турне. Увы, позднейшие исследователи очень долго игнорировали эти карамзинские «сигналы» и степень их исторической и литературной важности.

Что касается автора настоящего текста, то стремясь, как и его герой, в Швейцарию, мы вынуждены задержаться лишь еще на одном, но, как представляется, принципиальном фрагменте из карамзинских «Писем путешественника», касающемся пока его пребывания в Германии, конкретно — в Саксонии.

Выше уже несколько раз упоминалось о неожиданном для московских друзей Карамзина его письме к А.А. Петрову из Дрездена — единственном известном нам письме, посланном Карамзиным из-за границы за весь 1789-й год! Если верна наша догадка о том, что перед «путешествием» был заранее обговорен полный запрет на переписку, то в столице Саксонии Карамзин должен был попасть в некие форс-мажорные обстоятельства, *вынудившие* его (и одновременно *позволившие* ему) прервать молчание. Что-то случилось в Дрездене такое, что подвигло Карамзина нарушить договоренность и черкнуть-таки весточку в Москву!

Как уже говорилось, спонтанная отправка Карамзиным послания из Дрездена объяснима, в первую очередь, начавшимися финансовыми затруднениями, наложившимися на острый душевный кризис.⁷³ Перечитаем под

⁷³ Письмо Карамзина московским друзьям из Дрездена, как уже отмечалось, не сохранилось. Между тем, сентябрьский ответ на него А.А. Петрова в Женеву весьма характерен, ибо из него следует, что, во-первых, Петров в течение четырех месяцев *не предпринимал никаких*

этим углом зрения фрагменты из «Писем путешественника», посвященные пребыванию в Дрездене.

Согласно «Письмам», Карамзин был в Дрездене по дороге из Берлина с 10 по 13 июля 1789 года. Главка, помеченная автором «*За две мили от Дрездена, 10 Июля, 1789*» является, по своему настроению, одной из самых грустных во всей книге. Небывалая тоска охватила Карамзина еще накануне, в Берлине: «В тот же вечер стало мне так грустно, что я не знал куда деваться. Бродил по городу, нахлобучив себе на глаза шляпу, и тростью своею считал на мостовой камни... Что же делать?...»⁷⁴. И далее — важнейший пассаж: «*Кто еще не заперт в клетку* (курсив мой — А.К.) — кто может, подобно птичкам небесным, быть и здесь и там, и там и здесь — тот может еще наслаждаться бытием своим, и может быть счастлив, и должен быть счастлив»⁷⁵.

«*Кто еще не заперт в клетку...*» — согласимся, эта горькая мысль мало подходит «вольному вояжеру», каким представляется Карамзин в традиционной интерпретации. Зато она очень логична для сознания скитальца, вынужденного — во избежание худшего! — бежать из родного дома действительно «куда глаза глядят». Только скитальцу остается радоваться тому, что он, хотя и лишен родины, но во всем остальном — «подобно птичкам небесным» — абсолютно свободен!

Тема разлуки с отечеством и друзьями не оставляет Карамзина и на подъезде к Дрездену. Переменяя на одной из почтовых станций лошадей, «русский путешественник» знакомится с прекрасной незнакомкой — «в Амазонском зеленом платье с белым платком в руках»: «Вы конечно иностранец, если смею спросить? — Так сударыня. — Конечно Англичанин? Потому что англичане хорошо говорят по-Немецки. — Извините сударыня: я Москвитянин. — Москвитянин? Ах, боже мой! Я еще от роду не видывала Москвитян. Как вы к нам заехали? — Из любопытства сударыня. — Надобно, чтобы вы были очень любопытны. Ведь вы, конечно, оставили в отечестве

попыток связаться с любимым другом: «Четыре уже месяца, как мы расстались, а я теперь только в первый еще раз пишу тебе. Но ты весьма ошибаешься, если заключишь из этого, будто я мало о тебе помню. Нет, любезный друг, воспоминание о тебе есть одно из лучших моих удовольствий. Часто я путешествую за тобою по ландкарте; расчисляю, когда куда мог ты приехать, сколько там пробыть; вскарабкиваюсь с тобою на высокие горы, воображаю тебя бродящего по прекрасным местам, или делающего визит какому-нибудь важновидному ученому» (Письма А.А. Петрова к Карамзину. С. 509). И далее важное напоминание о необходимости соблюдать крайнюю осторожность в переписке: «Я не ожидаю от тебя подробных описаний твоего путешествия...» (там же). Судя по всему, главной причиной того, что Петров вообще ответил на письмо Карамзина, было желание сообщить ему, что «московским друзьям» известны финансовые затруднения «путешественника» и дополнительные деньги будут переведены в Швейцарию.

⁷⁴ Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. С. 49.

⁷⁵ Там же.

своем много любезного? — Много, сударыня, много: я оставил отечество и друзей...» и т.д.⁷⁶ Пассаж об исключительном «любопытстве», заставившем вояжера «оставить отечество и друзей», — еще один блестящий пример горькой самоиронии автора «Писем русского путешественника».

Остается вопрос: кто мог конфиденциально переправить дрезденское письмо Карамзина в Москву, если официальной почте он категорически (и справедливо) не доверял? Согласно «Письмам путешественника», 12 июля 1789 года Карамзин посетил русское посольство при саксонском дворе. Поскольку сам посланник был в отъезде,⁷⁷ Карамзин, по его словам, «познакомился с секретарем нашего Министра».⁷⁸ Очень вероятно, что именно этот человек и стал тем лицом, который переправил (по дипломатическим каналам, а, возможно, и лично) письмо Карамзина в Москву — такова моя версия происхождения ставшего полной неожиданностью для московских друзей Карамзина его послания из Дрездена к А.А. Петрову.

Понятно, что отослав важную для него весточку в России, наш «путешественник» на следующее утро, 13 июля, отправляясь из Дрездена в Лейпциг, был уже в совершенно ином, приподнятом состоянии духа: «Так ясно было небо, так ясна была душа моя...»⁷⁹

Страсбург: в Париж или в Базель?

Согласно «Письмам русского путешественника», 5 августа 1789 года в семь часов вечера, Николай Карамзин приехал из немецкого Мангейма во французский Страсбург. В его сочинении описываются приметы волнений, докатившихся из революционного Парижа: «Везде в Эльзасе приметно волнение. Целые деревни вооружаются, и поселяне пришивают кокарды к шляпам. Почтмейстеры, постиллионы (ямщики почтовых карет — А.К.), бабы говорят о революции»⁸⁰.

Мирный путешественник иронично-отстраненно пишет о скорее раздражающих, нежели всерьез пугающих признаках начинающегося в Страсбурге «бунта»: «Весь здешний гарнизон взволновался. Солдаты не слушаются офицеров, пьют в трактирах даром, бегают с шумом по улицам, ругают своих начальников и проч. В глазах моих толпа пьяных солдат остановила ехавшего в карете прелата и принудила его пить пиво из одной кружки с его кучером,

⁷⁶ Там же. С. 50–51.

⁷⁷ Русским посланником в Дрездене был тогда князь Александр Михайлович Белосельский-Белозерский (1752–1809), кстати, родной отец ставшей знаменитой впоследствии княгини Зинаиды Волконской, родившейся в Дрездене в декабре того самого, 1789-го года.

⁷⁸ Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. С. 56.

⁷⁹ Там же. С. 57.

⁸⁰ Там же. С. 94.

за здоровье нации. Прелат бледнел от страха и трепещущим голосом повторял: «Друзья мои! Друзья мои! — Да, мы твои друзья! — кричали солдаты. — Пей же с нами!». Крик на улицах продолжается почти непрерывно... Между тем в самых, окрестностях Страсбурга толпы разбойников грабят монастыри. Сказывают, что по деревням ездил какой-то человек, который называл себя графом д'Артуа (братом короля — А.К.) и возбуждал поселян к мятежу, говоря, что король дает народу полную свободу до 15 августа и что до сего времени всякий может делать что хочет»⁸¹.

Декларируемые симпатии автора «Писем путешественника» явно на стороне мирных обывателей, чурающихся беспорядков: «Жители затыкают уши и спокойно отправляют свои дела. Офицеры сидят под окном и смеются, смотря на неистовых». «Я был ныне в театре, — продолжает Карамзин, — и, кроме веселости, ничего не приметил в зрителях. Молодые офицеры перебегали из ложи в ложу и от всего сердца били в ладоши, стараясь заглушить шум пьяных бунтовщиков, который раза три приводил в замешательство актеров на сцене»⁸².

Карамзину явно импонирует кампания офицеров (он сам, как мы помним — отставной гвардейский офицер-преображенец): «За ужином у нас был превеликий спор между офицерами о том, что делать в нынешних обстоятельствах честному человеку, французу и офицеру? «Положить руку на эфес, — говорили одни, — и быть в готовности защищать правую сторону». — «Взять абшид» (отставку. — от нем. *Abscheid* — А.К.), — говорили другие. — «Пить вино и над всем смеяться», — сказал пожилой капитан, опорожнив свою бутылку»⁸³.

По мнению Ю.М. Лотмана, тот факт, что из Германии Карамзин поехал не сразу в Швейцарию, а во французский Страсбург, свидетельствует о том, что планы Карамзина изменились, и он решил обязательно найти (и, в итоге, нашел-таки) своего старшего друга и масонского наставника А.М. Кутузова в революционном Париже: «Итак, он спешит в Швейцарию. Однако из Мангейма он направляется совсем не туда, а едет во Францию — в Страсбург... Таким образом, из Мангейма Карамзин «торопился» совсем не в Швейцарию, а во Францию»⁸⁴.

Версия о тайной поездке в Париж летом 1789 года Лотман развивает и в книге «Сотворение Карамзина»: «Согласно тексту “Писем”, Карамзин пересек границу Франции, приехал в Страсбург, но, вдруг свернув

⁸¹ Там же.

⁸² Там же.

⁸³ Там же. С. 96.

⁸⁴ Лотман Ю.М., Успенский Б.А. «Письма русского путешественника» Карамзина и их место в развитии русской культуры // Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. С. 537.

с дороги на Париж, отправился в Швейцарию. В тексте «Писем» это решение, по сути, никак не мотивировано... Предположив, что Кутузов звал Карамзина не в Страсбург, а в Париж, что Карамзин откликнулся на это предложение и что почтовая карета, в которой сидел русский путешественник, выехала из столицы Эльзаса не через южные ворота по базельской дороге, а через западные по парижской, мы сразу получим ответы на ряд вопросов»⁸⁵.

Лотману явно сам «торопится» отправить Карамзина в Париж: и «тайно» из Страсбурга, в августе 1789 года, и потом — «досрочно», из Женевы, зимой 1790 года. Его логика понятна: как можно «гулять по Швейцарии», когда во Франции — Революция! Увы, версия Юрия Михайловича *не получила никаких подтверждений* и никаких серьезных вопросов не решила.

Тот факт, что из Германии Карамзин поехал во французский Страсбург имеет достаточно простое объяснение: путешественник намеревался въехать в Швейцарию через Базель, а удобный путь из Мангейма в Базель лежит именно через Страсбург. Кроме того, именно в Страсбурге долгое время жил и работал близкий друг Карамзина по московскому «масонскому дому», немецкий поэт и философ Якоб Ленц (1751–1792), который, по-видимому, активно участвовал в составлении плана путешествия Карамзина по Европе. Нет сомнений, что после рекомендаций Ленца Страсбург изначально стоял в плане европейской поездки Карамзина⁸⁶.

К безотлагательной поездке в Швейцарию и — конкретно — в ближайший к Эльзасу Базель Карамзина подталкивало еще и то обстоятельство, что в Страсбурге он узнал, что И.К. Лафатер (с которым, как он предполагал, он непременно должен встретиться чуть позже, в Цюрихе), оказался в те дни именно в Базеле, где, поближе к Франции, конфиденциально встречался со старым знакомым, государственным деятелем и финансистом Жаком Неккером — уроженцем протестантской Женевы, игравшим в те месяцы одну из важнейших ролей во французских событиях. Карамзин прямо пишет об этом важном обстоятельстве в «Письме», помеченном: «*Страсбург, Августа б*»: «Мне сказывали, что Лафатер за несколько дней пред сим был в Базеле для свидания с Неккером»⁸⁷.

Мог ли в этих условиях Карамзин променять гарантированную, как ему тогда казалось, встречу с Лафатером в Базеле, на весьма проблематичную встречу в Париже с Кутузовым, от которого, как мы узнаем из «Писем», он к тому же не получил в Страсбурге никаких дополнительных известий?⁸⁸

⁸⁵ Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. С. 95, 97.

⁸⁶ См.: Леман-Карли Г. Я.М.Р. Ленц и Н.М. Карамзин // XVIII век. Сборник 20. СПб.: Наука, 1996. С. 145–149.

⁸⁷ Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. С. 96.

⁸⁸ Там же.

От Страсбурга до Базеля

Согласно «Письмам», в Страсбурге у нашего «путешественника» появился друг-напарник, датчанин Беккер, сын придворного копенгагенского аптекаря, изучавший медицину и химию в Берлинском университете и затем много путешествовавший по Германии. В «Письмах русского путешественника» из Швейцарии этот «г-н Б.» — «молодой человек в красном камзоле» — станет своего рода *alter ego* русского путешественника, средоточием всех качеств, которые Карамзин ценил в других и стремился культивировать в себе — прямоты, искренности, приподнятой чувствительности. Кроме того, в «Письмах» датчанин выполняет, на наш взгляд, еще одну важнейшую функцию: доктор медицины Беккер — вольный путешественник в подлинном смысле этого слова, в то время как сам Карамзин — «путешественник русский», «путешественник поневоле».

Доктор Беккер обратил на себя внимание Карамзина еще в Страсбурге, когда, при посадке в почтовый дилижанс, направляющийся в швейцарский Базель, всех пассажиров строго предупредили: «Берегитесь! Дорога не совсем безопасна; в Эльзасе много разбойников...» «Мы посмотрели друг на друга, — пишет Карамзин в «Письмах». — “У меня есть кортик и собака”, — сказал молодой человек в красном камзоле, севший подле меня...»⁸⁹

Карамзин близко сошелся с молодым симпатичным датчанином, опытным и смелым путешественником, который «прошел большую часть Германии пешком, один, со своею собакою и с кортиком на бедре, пересылая через почту чемодан свой из города в город»: «В Страсбурге заболела у него нога и принудила его сесть в дилижанс. Теперь хочет он видеть все примечания достойнейшее в Швейцарии... Со всею нежностью дружбы любит он свою собаку и дорогою беспрестанно смотрел, бежит ли она за каретою; когда же заметил, мили за две, не доезжая до нашего ночлега, что она устала и начала отставать, то, пожелав нам счастливого пути, вышел сам из дилижанса, чтобы брести потихоньку со своим другом»⁹⁰.

Характерно, что именно в этом месте «Писем» — в преддверии въезда в Швейцарию — Карамзин помещает свою знаменитую «апологию путешествия»: «Приятно, весело, друзья мои, переезжать из одной земли в другую, видеть новые предметы, с которыми, кажется, самая душа наша обновляется, и чувствовать неоцененную свободу человека, по которой он подлинно может назваться царем земного творения. Все прочие животные, будучи привязаны к некоторым климатам, не могут выйти из пределов, начертанных им натурою, и умирают, где рождаются; но человек, силою могущественной воли своей, шагает из климата в климат — ищет везде наслаждений и находит

⁸⁹ Там же. С. 96–97.

⁹⁰ Там же. С. 97.

их — везде бывает любимым гостем природы, повсюду отверзающей для него новые источники удовольствия, везде радуется бытием своим и благословляет свое человечество. А мудрая связь общественности, по которой нахожу я во всякой земле все возможные удобства жизни, как будто бы нарочно для меня придуманные; по которой жители всех стран предлагают мне плоды своих трудов, своей промышленности и призывают меня участвовать в своих забавах, в своих весельях... Одним словом, друзья мои, путешествие питательно для духа и сердца нашего. Путешествуй, ипохондрик, чтобы исцелиться от своей ипохондрии! Путешествуй, мизантроп, чтобы полюбить человечество! Путешествуй, кто только может!»⁹¹

Московскому беглецу Карамзину действительно хочется вжиться в образ «вольного путешественника»! Встреча с реальной Швейцарией — страной юношеских грез — описана в «Письмах», как апогей либеральных мечтаний «русского путешественника»: «Итак, я уже в Швейцарии, в стране живописной натуры, в земле свободы и благополучия! Кажется, что здешний воздух имеет в себе нечто оживляющее: дыхание мое стало легче и свободнее, стан мой распрямился, голова моя сама собою подымается вверх, и я с гордостью помышляю о своем человечестве»⁹².

Базель. Дорога до Цюриха

В Базеле Карамзин и доктор Беккер остановились в отеле «Storchen» («Аист») на площади Рыбного рынка, знаменитой своим готическим фонтаном (Fischmarktbrunnen), украшенном 24 цветными фигурами — одним из самых известных фонтанов Европы.

К досаде Карамзина, И.К. Лафатер уже уехал к тому времени из Базеля снова в Цюрих, но в Базеле — первом швейцарском городе в запланированном турне — было, что посмотреть. В Мюнстере, «главной базельской церкви», Карамзина привлек монумент Эразму Роттердамскому, который, по свидетельству Карамзина, «считался в свое время ученым и остроумнейшим человеком в Европе». О юморе Эразма 22-летний Карамзин пишет в «Письмах» с рассудительностью, которую трудно было предположить в столь молодом человеке: возможно, эти характеристики — плод не спонтанного восприятия, а более поздних текстовых наслоений: «Из сочинений его (Эразма — А.К.) самое известнейшее есть “Похвала дурачеству” (чаще переводится как «Похвала глупости» — А.К.), в котором он смеется над всеми состояниями жизни, а наиболее над монашеским, не щадя и самого папы. Некоторые шутки, конечно, довольно остры, но многие грубы, сухи и натянуты — и вообще книга сия довольно скучна для тех, которые

⁹¹ Там же. С. 93–94.

⁹² Там же. С. 97.

уже читали остроумные сочинения Вольтеров и Виландов осьмого-надесять века»⁹³. Быстро взрослеющий, в силу личных талантов и внешних обстоятельств, Карамзин уже считает себя вправе иронизировать над самим Эразмом в делах оттенков юмора и сарказма!

В «базельских письмах» Карамзин особо подчеркивает свою увлеченность поисками шедевров «славного» Ганса Гольбейна-младшего — «базельского уроженца и друга Эразмова»: «Знаточи говорят о сем живописце, что фигуры его вообще весьма хороши, что тело писал он живо, но одежду очень дурно... Какое прекрасное лицо у Спасителя на вечери! Иуду, как он здесь представлен, узнал бы я всегда и везде... Страсти Христовы изображены на восьми картинах»⁹⁴.

Большое впечатление на путешественника произвели «Венера и Амур», написанные, как и некоторые другие картины Гольбейна, с местной красавицы Доротеи Оффенбург: «Между прочими Гольбейновыми картинами, которыми гордится Базель, есть прекрасный портрет одной молодой женщины, славной в свое время. Живописец изобразил ее в виде Лаисы⁹⁵ (по чему легко можно догадаться, какого рода была слава ее), а подле нее представил Купидона, облокотившегося на ее колени и держащего в руке стрелу. Сия картина найдена была на алтаре, где народ поклонялся ей под именем Богоматери; и на черных рамах ее написано золотыми буквами: “Verbum Domini manet in aeternum” (Слово Господне пребывает вовеки)»⁹⁶.

Но особенно поразила Карамзина картина Гольбейна «Христос во гробе»: «В Христе, снятом со креста, не видно ничего божественного, но как умерший человек изображен он весьма естественно. По преданию рассказывают, что Гольбейн писал его с одного утопшего жида»⁹⁷.

В 1867 году эту картину посмотрел специально приехавший для этого в Базель Ф.М. Достоевский, который, по словам Е.Г. Новиковой, «путешествуя по Европе в 1860-х гг., ощущает себя “русским путешественником” — прямым потомком Карамзина»⁹⁸. Жена Достоевского, Анна Григорьевна,

⁹³ Там же.

⁹⁴ Там же. Возможно, при составлении литературного текста «Писем русского путешественника» (эту работу Карамзин всерьез начнет осенью 1789 г. в Женеве), Карамзин сначала планировал максимально насытить «Письма» очерками о художественных шедеврах, виденных им в европейском турне. Об этом говорят подробные искусствоведческие «вставки» в «Письмах» из Дрездена, посвященные шедеврам местной художественной галереи (см.: Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. С. 51–55).

⁹⁵ Лаис Коринфская — известная греческая гетера IV в. до н.э.

⁹⁶ Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. С. 99.

⁹⁷ Там же.

⁹⁸ Новикова Е.Г. Картина Ганса Гольбейна мл. «Христос в могиле» в русской культуре: Н.М. Карамзин и Ф.М. Достоевский // Евроазиатский межкультурный диалог: «свое» и «чужое» в национальном самосознании культуры. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2007. С. 261.

вспоминала: «По дороге в Женеву мы остановились на сутки в Базеле, с целью в тамошнем музее посмотреть картину, о которой муж от кого-то слышал. Эта картина, принадлежавшая кисти Ганса Гольбейна, изображает Иисуса Христа, вынесшего нечеловеческие истязания, уже снятого со Креста и предававшегося тлению. Вспухшее лицо его покрыто кровавыми ранами, и вид его ужасен. Картина произвела на Ф. М. подавляющее впечатление, и он остановился перед нею как бы пораженный. Я же не в силах была смотреть на картину: слишком уж тяжелое впечатление, особенно при моем болезненном состоянии, и я ушла в другие залы. Когда минут через 15–20 я вернулась, то нашла, что Ф.М. продолжает стоять перед картиной, как прикованный. В его взволнованном лице было то, как бы испуганное, выражение, которое мне не раз случалось замечать в первые минуты приступа эпилепсии. Я потихоньку взяла мужа под руку, увела в другую залу и усадила на скамью, с минуты на минуту ожидая наступления припадка. К счастью, этого не случилось: Ф.М. понемногу успокоился и, уходя из музея, настоял на том, чтобы еще раз зайти посмотреть столь поразившую его картину»⁹⁹.

Свои впечатления от гольбейнова «Христа во гробе» Достоевский потом передал в романе «Идиот», в диалоге князя Мышкина и Рогожина перед картиной, висящей в квартире последнего («странная по своей форме, около двух с половиной аршин в длину и никак не более шести вершков в высоту»): «Это копия с Ганса Гольбейна,— сказал князь, успев разглядеть картину,— и хоть я знаток небольшой, но, кажется, отличная копия. Я эту картину за границей видел и забыть не могу.— А на эту картину я люблю смотреть! — пробормотал, помолчав, Рогожин.— На эту картину! — вскричал вдруг князь, под впечатлением внезапной мысли,— на эту картину! Да от этой картины у иного вера может пропасть! — Пропадает и то,— неожиданно подтвердил вдруг Рогожин»¹⁰⁰.

Согласно «Письмам», 9 августа 1789 года Карамзин, в обществе двух знакомых берлинцев, совершил поход в городок Арлесгейм, рядом с которым находится один из самых живописных романтических парков Европы. Совсем незадолго до этого, в 1785 году, швейцарская аристократка Бальбина фон Андлау и ее кузен Генрих фон Лигерц, владельцы старинного замка Бирсек, создали в красивейшем месте под Арлесгеймом обширный парк-эрмитаж в духе пейзажной идиллии Соломона Гесснера — крупнейший в Швейцарии

Действительно, в своих «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863) Достоевский неоднократно мысленно дискутирует с Карамзиным на общую тему «Россия и Европа»: «Почему Европа имеет на нас, кто бы мы ни были, такое сильное, волшебное, призывное впечатление?.. Неужели же кто-нибудь из нас мог устоять против этого влияния, призыва, давления?» (Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Т. 5. Л., 1973. С. 51).

⁹⁹ Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1987. С. 185–186.

¹⁰⁰ Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Т. 8. Л., 1973. С. 181.

и сразу ставший популярным у путешественников. В соответствии с романтической модой, на площади в сорок гектаров, между скалистыми холмами, покрытыми девственным кустарником, были проложены узкие тропинки и выстроены смотровые беседки в окружении пещер, гротов, горных ручьев и даже водопадов.

В 1788 году, в заброшенной пещере (согласно преданию, ранее принадлежавшей монаху-отшельнику) был создан мемориальный грот в честь недавно скончавшегося в Цюрихе Геснера, с монументом из красного песчаника, на котором высечены изображения палитры с кистями, лиры, потухшего факела и лаврового венка. Этот свежий мемориал, один из первых в Швейцарии, и стал главной целью похода в Арлесгейм русского поклонника Геснера¹⁰¹.

В «Письмах русского путешественника» читаем: «В семи верстах от Базеля находится так называемая *пустыня*, или обширный сад, принадлежащий одному из здешних богачей. Туда ходил я пешком с двумя молодыми берлинцами, здесь живущими. Кажется, будто бы искусство не имело никакого участия в разведении сего сада. Надобно везде ходить по узеньким тропинкам и взбираться на утесы по каменным ступеням. Инде видишь частый зеленый кустарник — инде глубокие пещеры или разбросанные шалаши. Во глубине дикого грота, где чистая вода, струясь с высоких камней, ископала себе маленький бассейн, стоит монумент покойного Геснера, печальною дружбою сооруженный... Поздно, поздно приехал я в Швейцарию: умолк голос нежного певца ее! В сем тихом гроте, в сем святилище меланхолии душа чувствует томное уныние и погружается наконец в сладкую дремоту...»¹⁰²

Удивительно, но литературно поданная история с походом Карамзина в Арлесгейм «с двумя молодыми берлинцами» нашла не так давно полное документальное подтверждение: подписи всех трех, «*Николая Карамзина из Москвы*», «*С. Т. Матиса из Берлина*» и «*Фердинанда Трониеля, библиотекаря из Берлина*» — были найдены швейцарской исследовательницей Светланой Геллерман в книге записей посетителей Эрмитажа именно за 9 августа 1789 года!¹⁰³ Эта уникальная историко-краеведческая находка полностью опровергает версию Ю.М. Лотмана о том, что в начале августа Карамзин, якобы тайно, находился в Париже для встречи со своим бывшим масонским наставником Кутузовым.

Вечером того же дня, 9 августа, Карамзин, вместе с доктором Беккером (переживавшим очередную романтическую влюбленность), выехали из

¹⁰¹ Мемориал С. Геснеру в «Эрмитаже» под Арлесгеймом был разрушен в годы Французской революции и затем восстановлен в 1811 г.

¹⁰² Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. С. 101.

¹⁰³ Gellerman S. Karamzine a Geneve. Notes sur quelques documents d, archive concernant les Lettres d, un Voyageur russe / *Fakten und Fabeln: Schweizerisch-slavische Reisebegegnung vom 18. bis zum 20. Jahrhundert*, Basel — Frankfurt am Main: Helbing & Lichtenhah, 1991. S. 85.

Базеля по дороге вдоль Рейна в направлении Цюриха (через Рейнфельден и Бругг): «Наняли мы здесь извозчика, или так называемого кучера (Kutscher), который за два луидора с талером повезет нас в Цюрих на паре жирных лошадей, в двухместной старомодной карете; и таким образом за 60 верст платим мы 17 руб.»¹⁰⁴.

Далее в «Письмах...», в маленькой главке под названием «*В карете дорогою*», Карамзин сочиняет еще одну апологию — на этот раз самой земле Швейцарии, в духе другого кумира своей молодости — Жан-Жака Руссо: «Уже я наслаждаюсь Швейцариюю, милые друзья мои! Всякое дуновение ветерка проникает, кажется, в сердце мое и развеивает в нем чувство радости. Какие места! Какие места! Отъехав от Базеля версты две, я выскочил из кареты, упал на цветущий берег зеленого Рейна и готов был в восторге целовать землю. Счастливые швейцары! Всякий ли день, всякий ли час благодарите вы небо за свое счастье, живучи в объятиях прелестной природы, под благодетельными законами братского союза, в простоте нравов и служа одному богу? Вся жизнь ваша есть, конечно, приятное сновидение, и самая роковая стрела должна кротко влетать в грудь вашу, не возмущаемую свирепыми страстями!»¹⁰⁵

«Прелестная натура» Швейцарии подвигает нашего путешественника на философские размышления: «Я думаю, что ужас смерти бывает следствием нашего уклонения от путей природы. Думаю, и на сей раз уверен, что он не есть врожденное чувство нашего сердца. Ах! Если бы теперь, в самую сию минуту, надлежало мне умереть, то я со слезою любви упал бы во всеобъемлющее лоно природы, с полным уверением, что она зовет меня к новому счастью, что изменение существа моего есть возвышение красоты, перемена изящного на лучшее. И всегда, милые друзья мои, всегда, когда я духом своим возвращаюсь в первоначальную простоту природы человеческой — когда сердце мое отверзается впечатлениям красот природы — чувствую я то же и не нахожу в смерти ничего страшного. Высочайшая благодать не была бы высочайшею благодатию, если бы она с которой-нибудь стороны не усладила для нас всех необходимостей — и с сей-то услажденной стороны должны мы прикасаться к ним устами нашими! — Прости мне, мудрое провидение, если я когда-нибудь, как буйный младенец, проливая слезы досады, роптал на жребий человека! Теперь, погружаясь в чувство твоей благодати, лобызаю невидимую руку твою, меня ведущую!»¹⁰⁶

Погружение во «всеобъемлющее лоно природы», обещающее русскому страннику «новое счастье», очевидно, начинает врачевать душу беглеца, успешно вживающегося в образ «путешественника».

¹⁰⁴ Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. С. 102.

¹⁰⁵ Там же. С. 102–103.

¹⁰⁶ Там же. С. 103.

В Цюрихе. В гостях у Лафатера

Как следует из «Писем», 10 августа 1789 года, в 10 часов утра, Карамзин и Беккер приехали в Цюрих и остановились «в трактире под вывескою “Ворона”», где им отвели «большую светлую комнату»¹⁰⁷. Место это в современном Цюрихе легко отыскать: в доме на площади Хехтплатц (Hechtplatz) рядом с набережной Лимматы, после закрытия гостиницы, долгое время существовало кафе под тем же названием «Рабен», а совсем недавно открылся ресторан средиземноморской кухни «Cedre Bellevue».

Вот что пишет об истории цюрихского постоялого двора «Рабен» современный русский литератор, долгое время живший в Цюрихе, М.П. Шишкин: «“Рабен”, один из самых старых гастхаузов Цюриха, построенный еще в XIV в., служил долгое время пристанищем для паломников, отправлявшихся из Цюриха озером в направлении знаменитого монастыря в Эйнзидельне. Название свое гостиница получила, согласно легенде, от ворона, жившего у одного монаха. Когда накормленные отшельником разбойники убили его, ворон летел за ними до самого Цюриха и карканьем своим на крыше гастхауза обратил внимание честных людей на ночевавших здесь убийц»¹⁰⁸.

Вход в гостиницу «Рабен» был со стороны площади Хехтплатц с фонтаном, открытым в 1760 году (и существующим сегодня), из которого брали питьевую воду и поили лошадей. Карамзин достаточно подробно описывает, как он, из окна гостиницы, впервые увидел, пока в отдалении, Альпийские горы: «Обширное Цюрихское озеро разливается у нас перед глазами, и почти под самыми нашими окнами вытекает из него река Лиммата, которой шумное и быстрое стремление приятным образом отличается от тихой зыби вод его; прямо против нас, за озером, стоят высокие горы; далее, в сторону, видны Швицкие, Унтервальденские и другие высочайшие и снегом покрытые горы, составляющие для меня совершенно новое зрелище; и все это могу я видеть вдруг, сидя под окном в своей комнате... Нам принесли кушанье. После обеда пойду — нужно ли сказывать, к кому?»¹⁰⁹. Разумеется, Карамзин предвкушает встречу с великим уроженцем Цюриха, с которым ранее находился в переписке, — с Иоганном Каспаром Лафатером.

Встреча Карамзина с Лафатером, жившем в старинном доме на той же стороне Лимматы, что и гостиница Карамзина, многократно описана в литературе. Хорошо известен и портрет европейской знаменитости, нарисованный Карамзиным: «Он имеет весьма почтенную наружность: прямой и стройный

¹⁰⁷ Там же. С. 106.

¹⁰⁸ Шишкин М. Русская Швейцария. Литературно-исторический путеводитель. М.: Астрель, 2012. С. 162.

¹⁰⁹ Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. С. 106.

стан, гордую осанку, продолговатое бледное лицо, острые глаза и важную мину. Все его движения живы и скоры; всякое слово говорит он с жаром. В тоне его несть нечто учительское или повелительное, происшедшее конечно от навыка говорить проповеди, но смягчаемое видом непритворной искренности и чистосердечия. Я не мог свободно говорить с ним, первое потому, что он, казалось, взором своим заставлял меня говорить как можно скорее; а второе потому, что я беспрестанно боялся не понять его, не привыкнув к Цюрихскому выговору»¹¹⁰.

Ю.М. Лотман, опубликовавший переписку Карамзина и Лафатера, как представляется, весьма точно воспроизводит психологическую атмосферу первой очной встречи Карамзина с Лафатером: «Можно полагать, что наивное восхищение “южным магом” (как называли Лафатера по аналогии с предромантическим философом-интуитивистом И.Г. Гаманном, прозванным “северным магом”), свойственное Карамзину в те годы, когда он направил первое письмо в Цюрих, уже прошло. Карамзину, который в эту пору уже был внимательным читателем Вольтера, Кондильяка, Канта, который прочел критическую брошюру Мирабо против Лафатера, наивная религиозная философия и вера в чудеса, защищаемая Лафатером, не могли не казаться архаичными. К Лафатеру его привлекали симпатичные черты личности: патриархальная простота обращения, практическая филантропия, столь ценная в московских масонских кругах, сентиментально-идиллический быт, царивший в доме цюрихского пастора»¹¹¹.

В карамзинских «Письмах», помеченных Цюрихом, начинает особенно ярко просвечивать тема ностальгии по родине и оставшимся там друзьям: «Для того чтобы узнать всю привязанность нашу к отечеству, надобно из него выехать; чтобы узнать всю любовь нашу к друзьям, надобно с ними расстаться»¹¹².

«Русский путешественник» все внимательнее прислушивается к швейцарским песням: «Какая приятная, тихая мелодия нежно потрясает нервы моего слуха! Я слышу пение; оно несется из окон соседнего дома. Это голос юноши — и вот слова песни: Отечество мое! Любовью к тебе горит вся кровь моя; для пользы твоей готов ее пролить; умру твоим нежнейшим сыном. Отечество мое! Ты все в себе вмещаешь, чем смертный может наслаждаться в невинности своей. В тебе прекрасен вид природы; в тебе целителен и ясен воздух; в тебе земные блага рекою полною лиются. Отечество мое! Любовью к тебе горит вся кровь моя; для пользы твоей готов ее пролить; умру твоим нежнейшим сыном. Мы все живем в союзе братском; друг друга любим, не боимся и чтим того, кто добр и мудр. Не знаем роскоши, которая свободных в рабов, в тиранов превращает. На что нам блеск искусств, когда природа

¹¹⁰ Там же. С. 108.

¹¹¹ Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. С. 103.

¹¹² Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. С. 108.

здесь сияет во всей своей красе — когда мы из груди ее пьем блаженство и восторг? Отечество мое! Любовь к тебе горит вся кровь моя; для пользы твоей готов ее пролить; умру твоим нежнейшим сыном...»¹¹³

Не без некоторой зависти беглец Карамзин, ставший европейским «путешественником» поневоле, присматривается к разнообразным проявлениям тесной связи жителей Швейцарии с их родной землей: «Швейцары так страстно любят свое отечество, что почитают за великое несчастье надолго оставлять его»¹¹⁴. Возможно, этими двумя чувствами: ностальгии по родине и симпатии к *душевным* проявлениям швейцарского патриотизма, объясняется тот странный факт, что швейцарские города, как воплощения застывшей материальности, не производили на Карамзина позитивного впечатления.

Вот его описание Базеля: «Базель более всех городов в Швейцарии, но, кроме двух огромных домов банкира Саразеня, не заметил я здесь никаких хороших зданий, и улицы чрезмерно худо вымощены. Жителей по обширности города очень немного, и некоторые переулки заросли травой»¹¹⁵.

А вот мнение о Цюрихе: «О городе скажу вам, что он не прельщает глаз, и, кроме публичных зданий, например ратуши и проч., не заметил я очень хороших или огромных домов, а многие улицы или переулки не будут и в сажень шириною»¹¹⁶.

Примерно в том же духе Карамзин выскажется потом о Шафхаузене или, например, о Лозанне. О Шаффаузене: «О городе не могу вам сказать ничего примечания достойного, друзья мои»¹¹⁷. О Лозанне: «Исходил я весь город и могу сказать, что он очень нехорош; лежит отчасти в яме, отчасти на косогоре, и куда ни поди, везде надобно спускаться с горы или всходить на гору. Улицы узки, нечисты и худо вымощены»¹¹⁸.

Шафхаузен и Рейнский водопад

Согласно карамзинским «Письмам» (доверие к точности которых, после находок С. Геллерман, естественно, возрастает) рано утром 13 августа 1789 года Карамзин и доктор Беккер вышли из цюрихского «Ворона» и отправились в пеший поход на север, к Шафхаузену, чтобы посмотреть знаменитый Рейнский водопад: «Сперва шел я довольно бодро, но скоро силы мои начали истощаться — день был самый ясный — жар беспрестанно усиливался — и наконец, прошедши мили две, я от слабости упал на траву подле дороги, к великой досаде моего Б. [Беккера], которому хотелось как можно скорее

¹¹³ Там же. С. 108–109.

¹¹⁴ Там же. С. 116.

¹¹⁵ Там же. С. 97.

¹¹⁶ Там же. С. 109.

¹¹⁷ Там же. С. 113.

¹¹⁸ Там же. С. 148.

дойти до Рейнского водопада. Из трактира вынесли нам воды вина, которое подкрепило силы мои, и мы чрез час опять пустились в путь. Однако ж до Шафхаузена я еще раза три останавливался отдыхать. Наконец, в семь часов вечера, услышали мы шум Рейна, удвоили шаги свои, пришли на край высокого берега и увидели водопад»¹¹⁹.

Далее в «Письмах» следует знаменитый фрагмент, который до сих пор вызывает повышенный и «карамзинистов», и рядовых читателей: «Не думаете ли вы, что мы при сем виде закричали, изумились, пришли в восторг и проч.? Нет, друзья мои! Мы стояли очень тихо и смиренно, минут с пять не говорили ни слова и боялись взглянуть друг на друга. Наконец, я осмелился спросить у моего товарища, что он думает о сем явлении? “Я думаю,— отвечал Б*,— что оно — слишком — слишком возвеличено путешественниками”. — “Мы одно думаем,— сказал я,— река, с пеною и шумом ниспадающая с камней, конечно, стоит того, чтобы взглянуть на нее; однако ж, где тот громозвучный, ужасный водопад, который вселяет трепет в сердце?” — Таким образом мы поговорили друг с другом и, боясь, чтобы в Шафхаузене не заперли ворот, отложили до следующего дня посмотреть на водопад вблизи»¹²⁰.

Карамзин и его спутник успели тогда в Шафхаузен до закрытия городских ворот и переночевали в отеле с популярным названием «Crone», «почитаемом одним из лучших в Швейцарии» и видевшим за два столетия своей истории многих знаменитых путешественников. Особо отмечается в «Письмах» посещение старинной гостиницы Мишелем де Монтенем в 1581 году, описанное в известном в России «Дневнике путешествия в Италию через Швейцарию и Германию». (Добавим от себя, что в январе 1814 года, в той же «Crone» останавливались ставшие к тому времени близкими знакомыми придворного историографа Карамзина российский император Александр I и его сестра, великая княгиня Екатерина Павловна)¹²¹.

...Рано утром 14 августа 1789 года Карамзин, захватив в Шафхаузене рекомендательные письма из Цюриха от Лафатера, нанес визиты философу Миллеру, автору недавно вышедшей книги «Philosophische Aufsätze» («Статьи по философии» — нем.) и богатому местному купцу Гауппу. Оба они, радушно принявшие русского путешественника, были несколько озадачены тем, «что падение Рейна не сделало во мне сильного впечатления, но, услышав, что мы видели его с горы, со стороны Цюриха, перестали удивляться и уверяли меня, что я, конечно, перемену свое мнение, когда посмотрю на него с другой стороны и вблизи»¹²².

¹¹⁹ Там же. С. 112.

¹²⁰ Там же.

¹²¹ Старая гостиница «Crone» не соответствует современному отелю в Шафхаузене с тем же названием. Но сам дом, неоднократно перестроенный, сохранился (Vordergasse, 54) — А.К.

¹²² Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. С. 112–113.

На следующее утро предположения знатных шафхаузенцев полностью подтвердились. Новая попытка Карамзина и Беккера взглянуть на Рейнский водопад с иного ракурса произвела на путешественников совершенно иное впечатление, нежели накануне: «После обеда поехали мы в наемной коляске к водопаду, до которого от города будет около двух верст. Приехав туда, сошли с горы и сели в лодку. Стремление воды было очень быстро. Лодка наша страшно качалась, и чем ближе подъезжали мы к другому берегу, тем яростнее мчались волны. Один порыв ветра мог бы погрузить нас в кипящей быстрине. Пристав к берегу, с великим трудом взлезли мы на высокий утес, потом опять спустились ниже и вошли в галерею, построенную, так сказать, в самом водопаде. Теперь, друзья мои, представьте себе большую реку, которая, преодолевая в течении своем все препоны, полагаемые ей огромными камнями, мчится с ужасною яростию и наконец, достигнув до высочайшей гранитной преграды и не находя себе пути под сею твердою стеною, с неописанным шумом и ревом свергается вниз и в падении своем превращается в белую, кипящую пену. Тончайшие брызги разнородных волн, с беспримernoю скоростью летящих одна за другою, мириадами поднимаются вверх и составляют млечные облака влажной, для глаз непроницаемой пыли. Доски, на которых мы стояли, тряслись беспрестанно. Я весь облит был водяными частицами, молчал, смотрел и слушал разные звуки ниспадающих волн: ревущий концерт, оглушающий душу! Феномен действительно величественный! Воображение мое одушевляло холодную стихию, давало ей чувство и голос: она вещала мне о чем-то неизглаголанном!»¹²³

Вот уже более двух столетий «русский путешественник» Николай Карамзин, чьи «Письма» переведены на десятки языков, по праву считается одним из самых талантливых певцов европейского чуда — Рейнского водопада, осмотр которого давно стал аттракционом мирового значения. Путешественники из разных стран сравнивают с карамзинскими не только свои впечатления, но и свои самые глубинные переживания.

В своих «Письмах» Карамзин написал: «Я наслаждался — и готов был на коленах извиняться перед Рейном в том, что вчера говорил я о падении его с таким неуважением»¹²⁴. И далее: «Долее часа стояли мы в сей галерее, но это время показалось мне минутою. Переезжая опять через Рейн, увидели мы бесчисленные радуги, производимые солнечными лучами в водяной

¹²³ Там же. С. 113.

¹²⁴ Состояние, сходное с «карамзинским» при повторном посещении им Рейнского водопада, через много лет испытал Ф.М. Достоевский, во второй раз увидев Кельнский собор: «В обратный проезд мой через Кельн, я увидел собор во второй раз... Я хотел «на коленах просить у него прощения» за то, что не постиг первый раз его красоту, точь-в-точь как Карамзин, с такою же целью становившийся на колени перед рейнским водопадом» (*Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений и писем. Т. 5. С. 48*).

пыли, что составляет прекрасное, великолепное зрелище... Каменная стена, с которой низвергается Рейн, вышиною будет около семидесяти пяти футов. В середине сего падения возвышаются две скалы, или два огромные камня, из которых один, несмотря на усилие волн, стремящихся сокрушить его, стоит непоколебим (подобно великому мужу, скажет стихотворец, непреклонному среди бедствий и щитом душевной твердости отражающему все удары злого рока), — а другой камень едва держится на своем основании, будучи разрушаем водою»¹²⁵.

Позднее, многие путешественники взяли за правило последовательно осматривать Рейнский водопад с тех самых точек, с которых глядел на него Карамзин в середине августа 1789 года. Так, литератор Павел Васильевич Анненков в своих «Письмах из-за границы» (само название — явный парафраз «Писем русского путешественника») вспоминал, что одним из самых ранних его, обожателя Карамзина, юношеских мечтаний было увидеть Рейнский водопад¹²⁶. Путешествуя по Швейцарии летом 1842 года, он даже «подгадал» таким образом, чтобы посетить Шаффхаузен и его окрестности в те же самые августовские дни, что и Карамзин за несколько десятилетий до него: «Я так живо помнил страницу Карамзина о Рейнском водопаде, что в осмотре своем старался соблюсти тот самый порядок, которому он следовал»¹²⁷.

Стоит добавить, что меланхоличный Анненков, увидев водопад, спустя полвека после Карамзина, не удержался, чтобы не попенять, что, со времен Карамзина, «рейнское чудо», увы, утратило известную долю эффектности: «Не только политическое состояние Европы изменилось с того времени, как странствовал молодой наш путешественник, даже и изменился водопад. Много утесов сбросил он уже с себя, сравнивал много скал (смотри виды водопада в конце прошлого столетия и вид его в 1840 году), и если что одинаково отразилось в *его* (Карамзина) и *моем* глазе, так это клубы пены да еще влажные облака водяной пыли, освещенной солнечным сиянием...»¹²⁸

...А тогда, летом 1789 года, Карамзин и датчанин Беккер, осмотрев водопад и отпустив коляску назад в Шаффхаузен, наняли лодку и поплыли вниз по течению Рейна до Эглизау, чтобы вернуться в Цюрих более коротким путем. Не раз они оглядывались на «чудо природы»: «Он скрылся — но шум его долго еще отзывался в моем слухе. Лодочник почел за нужное сказать нам, что в Америке есть подобный водопад. Он не умел назвать его, но мы поняли, что он говорит о Ниагаре...»¹²⁹

¹²⁵ Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. С. 113.

¹²⁶ Анненков П.В. Парижские письма (изд. подг. И.Н. Конобеевская; отв. ред. Б.Ф. Егоров). М.: Наука, 1984. С. 75.

¹²⁷ Там же.

¹²⁸ Там же.

¹²⁹ Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. С. 114.

Припомнив в 1842 году эти страницы из «Писем» Карамзина, П.В. Анненков, в точности повторив маршрут великого предшественника, попытался, в свою очередь, завязать разговор с рейнским лодочником: «Я спросил также у лодочника: нет ли где такого же водопада, и, увы, не мог намекнуть он мне о Ниагаре в Америке, а просто отвечал: “Нигде нет такого...”» Итак, пропало даже и поколение умных лодочников с [времен] Карамзина, как пропадают письма на почте (весьма неприятная потеря), как пропадает всё на свете...»¹³⁰

Плавание по Рейну от Шафхаузена до Эглизау описано в «Письмах» Карамзина, как очередная «швейцарская идиллия»: «Шумящие волны быстро несли нашу лодку между плодоносных берегов Рейна. День склонялся к вечеру. Я был так доволен, так весел; качание лодки приводило кровь мою в такое приятное волнение; солнце так великолепно сияло на нас сквозь зеленые решетки ветвистых деревьев, которые в разных местах увенчивают высокий берег; жаркое золото лучей его так прекрасно мешалось с чистым серебром рейнской пены; уединенные хижины так гордо возвышались среди виноградных садиков, которые составляют богатство мирных семейств, живущих в простоте природы, — ах, друзья мои! Для чего не было вас со мною?»¹³¹

Вот уж, действительно: Швейцария, с ее природными красотами и чудесами, поистине умела врачевать душевные раны «русского путешественника».

Берн и поход в Бернские Альпы

Переехав из Цюриха в Берн, «русский путешественник» остановился в гостинице «Сроне» («Короне», или, как Карамзин называет ее на русский манер, — «Венце») на центральной улице старого Берна — Gerechtigkeitsgasse. Некоторые комментаторы затрудняются с определением точного места проживания Карамзина в Берне на том основании, что в те годы в Берне, мол, существовали две гостиницы с одинаковым названием. Это недоразумение легко разрешается: гостиница «Сроне», занимавшая целый квартал, имела два входа — со стороны Gerechtigkeitsgasse и с параллельной ей Postgasse. Сегодня в помещениях бывшего отеля находится ресторан, сохранивший историческое название — «Сроне».

Как следует из «Писем», 29 августа 1789 года Карамзин, оставив вещи в Берне, отправился, поначалу в экипаже, в свой «альпийский поход», взяв с собою «только теплый сертук, половину белья своего, записную книжку и карандаш».¹³² В десять часов вечера он был уже в Туне и остановился в отеле «Фрейгоф» на самом берегу озера: «Заказав ужин, бродил по городу и всходил на здешнюю высокую колокольню, откуда видны многие цепи гор

¹³⁰ Анненков П.В. Парижские письма. С. 75.

¹³¹ Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. С. 114.

¹³² Там же. С. 130.

и все обширное Тунское озеро. Завтра разбудят меня в четыре часа. В это время отходит отсюда почтовая лодка, на которой перееду через озеро»¹³³.

На следующее утро, отплыв в почтовой лодке из Туна, Карамзин делает новую запись: «Темнота ночи мало-помалу исчезает. Горы открываются минута от минуты яснее. Все дымится! Тонкие облака тумана носятся вокруг нашей лодки. Влага проникает сквозь мое платье, и сон смыкает глаза мои. Добродушный швейцар подает мне черный мешок, который должен служить мне вместо пуховой подушки. Величественная натура! Прости слабому! На несколько часов отвращает он взор свой от твоего великолепия»¹³⁴.

Пробудившись от неудобного сна, путешественник в семь часов утра делает в дорожном дневнике новую запись. Впервые за время путешествия, «швейцарская идиллия» Карамзина обретает новые, необычные обертона: «Внизу дымятся хижины, жилища бедности, невежества и — может быть — спокойствия. Вечная премудрость! Какое разнообразие в твоём физическом и нравственном мире!»¹³⁵ Итак, простота жизни швейцарцев — возможно, лишь признак бедности и невежества: от всех преимуществ этой руссоистской идиллии остается лишь... возможное спокойствие.

Однако, похоже, путешественник гонит от себя эти, пока неоформленные и непривычные, мысли. Его внимание привлекают достопримечательности Тунского озера. Вдали справа, на южном берегу, виднеются очертания старинного замка Шпиц, связанного с историей аристократических семей Страттлигенов, Бубенбергов, Дисбахов. А на ближней, северной стороне озера, Карамзина привлекает гора, в пещерах которой укрывался святой Беатус, монах-отшельник IV века, освободивший, согласно легенде, местных жителей от злого чудовища, «первейший из христиан Швейцарии»¹³⁶.

Пристав к берегу вблизи Унтерзеена, Карамзин нанимает горного проводника и двигается по направлению к Лаутербруннену: «Дорога от Унтерзеена до Лаутербруннена идет долиною между гор, подле речки Литшины [Lütschine], которая течет с ужасною быстротою, с пеною и с шумом, падая с камня на камень. Я прошел мимо развалин замка Уншпуннена, за которым долина становится час от часу уже и, наконец, разделяется надвое: налево идет дорога в Гриндельвальд, а направо — в Лаутербруннен. Скоро открылась мне сия последняя деревенька, состоящая из рассеянных по долине и по горе маленьких домиков»¹³⁷.

Проходя долиной Лаутербруннена, путешественник увидел самый высокий в Швейцарии водопад Штауббах, который за несколько лет до этого был

¹³³ Там же. С. 131.

¹³⁴ Там же.

¹³⁵ Там же.

¹³⁶ Там же.

¹³⁷ Там же. С. 132.

прославлен И.В. фон Гёте, посетившим эти места в 1779 году и посвятившим Штауббаху знаменитую «Песнь духов над водами»¹³⁸.

В «Письмах» Карамзина появляется запись: «Версты за две, не доходя до Лаутербруннена, увидел я так называемый Штауббах, или ручей, свергающийся с вершины каменной горы в девятьсот футов вышиною. В сем отдалении кажется он неподвижным столбом млечной пены. Скорыми шагами приблизился я к этому феномену и рассматривал его со всех сторон. Вода прямо летит вниз, почти не дотрагиваясь до утеса горы, и, разбиваясь, так сказать, в воздушном пространстве, падает на землю в виде пыли или тончайшего серебряного дождя. Шагов на сто вокруг разносятся влажные брызги, которые в несколько минут промочили насквозь мое платье»¹³⁹.

Продвигаясь далее, Карамзин наблюдает еще одно природное чудо — водопад Трюммельбах: десять каскадов пробивают себе путь внутри горы, падая с высоты 150 метров. «Вода, прокопав огромную скалу, из внутренности ее с шумом надает и стремится в долину, где, мало-помалу утишая свою ярость, образует чистую речку. Вид рассевшейся горы и шумное падение Триммербаха [Трюммельбаха] составляют дикую красоту, пленяющую любителей природы. Около часа пробыл я на сем месте, сидя на возвышенном камне, — и наконец, в великой усталости, возвратился в Лаутербруннен, где теперь отдыхаю в трактире»¹⁴⁰.

Вечером того же дня путешественник наблюдает восход луны над горным хребтом Юнгфрау: «Светлый месяц взошел над долиною. Я сижу на мягкой мураве и смотрю, как свет его разливается по горам, осребряет гранитные скалы, возвышает густую зелень сосен блистает на вершине Юнгферы [Юнгфрау], одной из высочайших Альпийских гор, вечным льдом покрытой».¹⁴¹ В «Письмах» появляются входящие в литературную моду эротические ассоциации: «Два снежные холма, девическим грудям подобные, составляют ее корону. Ничто смертное к ним не прикасалось; самые бури не могут до них возноситься; одни солнечные и лунные лучи лобызают их нежную округлость; вечное безмолвие царствует вокруг их — здесь конец земного творения!»¹⁴²

В четыре часа утра началось восхождение путешественника на высокогорное плато Венгернальп (около двух тысяч метров): «Я вооружился Геркулесовскою палицею — пошел — с благоговением ступил первый шаг на Альпийскую гору и с бодростию начал взбираться на крутизны. Утро было холодно, но скоро почувствовал я жар и скинул с себя теплый сертук. Через

¹³⁸ Позже, в 1816 году, об этом же водопаде написал Байрон, сравнив его с хвостом коня, который на поле Апокалипсиса везёт Смерть.

¹³⁹ Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. С. 132.

¹⁴⁰ Там же. С. 132–133.

¹⁴¹ Там же. С. 133.

¹⁴² Там же.

четверть часа усталость подкосила ноги мои — и потом каждую минуту надлежало мне отдыхать. Кровь моя волновалась так сильно, что мне можно было слышать биение своего пульса... Более четырех часов шел я все в гору по узкой каменной дорожке, которая иногда совсем пропадала; наконец достиг до цели своих пламенных желаний и ступил на вершину горы, где вдруг произошла во мне удивительная перемена»¹⁴³.

Действительно, на вершине с Карамзиным происходит еще одна «швейцарская метаморфоза»: он ощущает себя сверхчеловеком, приблизившемуся к Божеству (недаром он уподобляет свою дорожную палку «Геркулесовской палице»). В «Письмах» читаем: «Чувство усталости исчезло, силы мои возобновились, дыхание мое стало легко и свободно, необыкновенное спокойствие и радость разлились в моем сердце. Я преклонил колена, устремил взор свой на небо и принес жертву сердечного моления — Тому, Кто в сих гранитах и снегах напечатлел столь явственно Свое всемогущество, Свое величие, Свою вечность!.. Друзья мои! Я стоял на высочайшей ступени, на которую смертные восходить могут для поклонения Всевышнему!.. Язык мой не мог произнести ни одного слова, но я никогда так усердно не молился, как в сию минуту»¹⁴⁴.

«Сверхчеловек» с чувством превосходства оглядывает лежащие далеко внизу жилища простых поселян, которые еще совсем недавно представлялись ему «идеальными людьми»: «Все земные попечения, все заботы, все мысли и чувства, унижающие благородное существо человека, остаются в долине — и с сожалением смотрел я вниз на жителей Лаутербруннена, не завидуя им в том, что они в самую сию минуту увеселялись зрелищем серебряного Штауббаха, освещаемого солнечными лучами. Здесь смертный чувствует свое высокое определение, забывает земное отечество и делается гражданином вселенной; здесь, смотря на хребты каменных твердынь, ледяными цепями скованных и осыпанных снегом, на котором столетия оставляют едва приметные следы, забывает он время и мыслию своею в вечность углубляется; здесь в благоговейном ужасе трепещет сердце его, когда он помышляет о той всемогущей руке, которая вознесла к небесам сии громады и повергнет их некогда в бездну морскую»¹⁴⁵. Впечатления от горного восхождения остаются у Карамзина надолго: «Теперь лежу на хижине... и пишу карандашом в своей дорожной книжке. Как в сию минуту низки передо мною все великаны земного шара! — Через полчаса пойду далее»¹⁴⁶.

С высоты Венгернальпа Карамзин спускается к Гринденвальду: «Шедши от хижин около часа по отлогому скату — мимо стад, пасущихся на цветной

¹⁴³ Там же.

¹⁴⁴ Там же. С. 133–134.

¹⁴⁵ Там же. С. 134.

¹⁴⁶ Там же.

благовонной зелени, — начали мы спускаться с горы. Гриндельвальд был уже виден. Долина, где лежит эта деревенька, состоящая из двух или трех сот рассеянных домиков, представляется глазам в самом приятном виде. В то же самое время увидел я и верхний глетчер¹⁴⁷, или ледник, а нижний открылся гораздо уже после, будучи заслоняем горою, с которой мы спускались. Сии ледники суть магнит, влекущий путешественников в Гриндельвальд. Я пошел к нижнему, который был ко мне ближе»¹⁴⁸.

Зачарованный фантастическим видом «глетчера», наш путешественник теряет осторожность, чем вызывает недовольство проводника. Однако фантастически выросший в собственных глазах «Герой-Путешественник» уже не готов считаться с опасениями «маленького человека». Ведь его теперь ведет Судьба, которая явно благоволит ему: «Посмотрев на ледник с того места, где с страшным ревом вытекает из-под свода его мутная река Литтина, ворочая в волнах своих превеликие камни, решил я взойти выше. К несчастью, проводник мой не знал удобнейшего ко восходу места, но как мне не хотелось оставить своего намерения, то я прямо пошел вверх подле льду, по кучам маленьких камешков, которые рассыпались под моими ногами, так что я беспрестанно спотыкался и полз, хватаясь руками за большие камни. Проводник мой кричал, что он предает меня судьбе моей, но я, смотря на него с презрением и не отвечая ему ни слова, взбирался выше и выше и храбро преодолевал все трудности. Наконец открылась мне почти вся ледяная долина, усеянная в разных местах весьма высокими пирамидами...»¹⁴⁹

Проведя ночь в Гринденвальде, в пять часов утра Карамзин начинает новое восхождение и поднимается на перевал Гроссе Шайдек, осматривает ледник Розенлауи и спускается в долину Гасли, где любитесь знаменитым Рейхенбахским водопадом. Выйдя затем на берег Бриенцкого озера, Карамзин возвращается в Тун и далее в Берн.

На берегах Лемана

Держа путь к главной цели своего швейцарского турне — Женеве, Карамзин проделывает путь от Берна к Женевскому озеру (Леману) и посещает сначала Лозанну. В дорожном блокноте фиксируются всё новые проявления швейцарского патриотизма, не перестающие удивлять «русского путешественника»: «День был воскресный; нарядные поселяне веселились в кругах и пили пенистое вино с восклицанием: “Да здравствует Швейцария!”»¹⁵⁰

¹⁴⁷ Слово «глетчер» вошло в русский язык с легкой руки Карамзина.

¹⁴⁸ Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. С. 134–135.

¹⁴⁹ Там же. С. 135.

¹⁵⁰ Там же. С. 146.

Лозанна произвела на Карамзина сильное, но очень противоречивое впечатление пестрым смешением людей разных национальностей и религий: «Сие смешение для меня противно. Целость, оригинальность! Вы во всем драгоценны; вы занимаете, питаете мою душу — всякое подражание мне неприятно... Мне кажется, что здешние жители переняли не только язык, но и самые нравы у французов, по крайней мере, отчасти, то есть удержав в себе некоторую жесткость и холодность, свойственную швейцарам... Лозанна бывает всегда наполнена молодыми англичанами, которые приезжают сюда учиться по-французски и — делать разные глупости и проказы. Иногда и наши любезные соотечественники присоединяются к ним и, вместо того, чтобы успевать в науках, успевают в шалостях. По крайней мере, я никому бы не советовал посылать детей своих в Лозанну, где разве только одному французскому языку можно хорошо выучиться. Все прочие науки преподаются в немецких университетах гораздо лучше, нежели здесь, чему доказательством служит и то, что самые швейцары, желающие посвятить себя учености, ездят в Лейпциг, а особливо в Геттинген»¹⁵¹.

С другой стороны, Карамзин, сам проучившийся четыре года в немецком пансионе в интернациональной Немецкой слободе в Москве, не может не признать, что именно смешение людей разных национальностей порождает общественную динамику, прогресс и, в итоге — достаток, в сравнении, например, с архаичными и замкнутыми нищими савойскими поселениями, которые он мог наблюдать из интернациональной Лозанны на противоположной стороне Лемана: «На здешнем загородном гульбище, называемом Mont-Venon, нашел я ныне ввечеру множество людей. Какое смешение наций! Швейцары, французы, англичане, немцы, италиянцы толпились вместе. Я сел на уединенной лавке и дождался захождения солнца, которое, спускаясь к озеру, освещало на стороне Савойи дичь, пустоту, бедность, а на берегу лозаннском — плодоносные сады, изобилие и богатство; мне казалось, что в ветерке, несущемся с противоположного берега, слышу я вздохи бедных поселян савойских»¹⁵².

В местном Соборе во имя Богородицы (Нотр-Дам) Карамзина привлекло надгробие умершей в Лозанне русской княгини Екатерины Николаевны Орловой¹⁵³, супруги первого фаворита императрицы Екатерины II, графа Григория Орлова: «Сию минуту пришел я из кафедральной церкви. Там из черного мрамора сооружен памятник княгине Орловой, которая в цветущей молодости скончала дни свои в Лозанне, в объятиях нежного, неутешного

¹⁵¹ Там же. С. 148–149, 154.

¹⁵² Там же. С. 155.

¹⁵³ Позднее тело графини Екатерины Орловой перевезли в Россию и похоронили в Александро-Невской лавре, в Благовещенской усыпальнице. Ее старое надгробие украшает интерьер Нотр-Дам в Лозанне до сих пор — А.К.

супруга. Сказывают, что она была прекрасна — прекрасна и чувствительна!.. Я благословил память ее»¹⁵⁴.

Пиетет автора «Писем» перед памятью соотечественницы, заброшенной причудливой судьбой на берега Лемана и здесь умершей — вполне объясним и понятен. Карамзин умалчивает еще об одном обстоятельстве: княгиня Орлова (в девичестве Зиновьева) приходилась родной сестрой близкому знакомому Карамзина — Василию Николаевичу Зиновьеву, тоже известному путешественнику (оставившему интересные заметки о многих странах Европы), впоследствии сенатору, тайному советнику и камергеру.

Многие страницы «Писем русского путешественника» посвящены описанию того, как их автор, взяв томик Жан-Жака Руссо, путешествовал по берегам Женевского озера, осматривая места, связанные с именами персонажей одной из излюбленных книг Карамзина — «Новой Элоизы». Веве, Кларан, Шильонский замок — талантливейшие описания Карамзиным этих культовых для сознания любого европейца мест поставили совсем молодого автора «Писем русского путешественника» в ряд классиков европейской литературы.

«Надобно, чтобы красота здешних мест сделала глубокое впечатление в Руссовой душе: все описания его так живы и притом так верны! — пишет Карамзин. — Вы можете иметь понятие о чувствах, произведенных во мне сими предметами, зная, как я люблю Руссо и с каким удовольствием читал я вам его “Элоизу”! Хотя в сем романе много неестественного, много увеличенного — одним словом, много романического, — однако ж на французском языке никто не описывал любви такими яркими, живыми красками, какими она в “Элоизе” описана — в “Элоизе”, без которой не существовал бы и Немецкий “Вертер”»¹⁵⁵.

Впереди Карамзина ждала Женева, которую его «московские друзья» наметили как главный центр его тайного пребывания за границей.

Женева: долгие пять месяцев.

Часть первая

По справедливому замечанию швейцарской исследовательницы Светланы Геллерман, много сделавшей для установления важных деталей жизни Карамзина в Швейцарии, «женевское пребывание Карамзина интересно и по своей продолжительности (более пяти месяцев), и по информации, которой мы располагаем об этом сюжете»¹⁵⁶.

Действительно, в Женеве наш «путешественник» прожил долгие пять месяцев: со 2 октября 1789 года по 1 марта 1790 года. Здесь Карамзин

¹⁵⁴ Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. С. 149.

¹⁵⁵ Там же. С. 150.

¹⁵⁶ Gellerman S. Karamzine a Geneve. P. 74.

остановился по адресу: Гран Рю (Большая Улица), дом № 17¹⁵⁷ — совсем недалеко от дома, где 28 июня 1712 года родился кумир его юности Жан-Жак Руссо¹⁵⁸.

«Письма путешественника» из Женевы полностью подтверждают версию о том, что многомесячная остановка в Женеве, конечно же, не была дорожной импровизацией уставшего «туриста». С не замеченной за ним ранее деловитостью, Карамзин подробно описывает свое обустройство в городе на берегу Женевского озера: «Трактирная жизнь моя кончилась. За десять рублей в месяц я нанял себе большую, светлую, изрядно прибранную комнату в доме, завел свой чай и кофе; а обедаю в пансионе, платя за то рубли четыре в неделю»¹⁵⁹.

К этому остается только добавить то, о чем, по нашему мнению, «путешественник» умалчивает: квартира на Большой улице была заранее снята для него друзьями, а деньги уплачены за несколько месяцев вперед — иначе, придется признать, что наш «путешественник» в течение трех месяцев каким-то образом таскал деньги с собой по трем странам, чтобы в нужный момент отдать их в Женеве хозяйке мадам Лажье за постой.

Разумеется, в «Письмах путешественника» тайный беглец должен был как-то объяснить читателю свою внезапную и длительную остановку в ранее весьма динамично развивающемся вояже. Прислушаемся к его аргументации: «Вы, конечно, удивитесь, когда скажу вам, что я в Женеве намерен прожить почти всю зиму. Окрестности женевские прекрасны, город хорош. По рекомендательным письмам отворен мне вход в первые дома. Образ жизни женевцев свободен и приятен — чего же лучше? Ведь мне надобно пожить на одном месте! Душа моя утомилась от множества любопытных и беспрестанно новых предметов, которые привлекали к себе ее внимание; ей нужно отдохновение — нужен тонкий, сладостный, питательный сон на персях любезной Природы»¹⁶⁰.

Между тем, многие фрагменты из последующих «Писем» свидетельствуют о том, что заявленный в первом «женевском письме» расчет обрести «сладостный и питательный сон на персях Природы» был всего лишь стилизуемой под сентиментализм печально-иронической декларацией изгнанника. Перечтем, например, фрагмент о тяжелейшей *бессоннице*, который в «Письмах» следует сразу же (sic!) за нарочито-слащавыми словами об исскомом «сне на Персях природы»: «В полночь. Ныне ввечеру чувствовал я в душе своей великую тягость и скуку: каждая мысль, которая приходила ко мне в голову, давила мозг мой; мне неловко было ни стоять, ни ходить. Я пошел в Бастион, здешнее гульбище, — лег на углу вала и дал глазам своим

¹⁵⁷ Сейчас на фасаде этого дома, сменившего нумерацию на «Гран-Рю, 14», висит мемориальная доска, повешенная поклонниками Карамзина в 1980-е годы.

¹⁵⁸ Сейчас это дом под номером 40 по той же Большой улице.

¹⁵⁹ Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. С. 156.

¹⁶⁰ Там же.

волю перебегать от предмета к предмету. Мало-помалу голова моя облегалась вместе с моим сердцем... Тут вдруг ударили в барабан. Боясь, чтобы меня не заперли в Бастионе, я вскочил и вышел оттуда, но, не желая расстаться с вечером, пошел на Трель [Treille], другое гульбище подле ратуши, и сел на лавке под ореховыми деревьями... Темнота сгущалась, ветер усиливался и шумел ужасно между деревьями, облака неслись быстро, натекли на город, и пошел дождь»¹⁶¹. Хорош «сладостный сон» — не правда ли?

Но на этом поистине беспощадное к самому себе описание Карамзиным бессонной женеvской ночи под усиливающимся дождем (заметим: московский скиталец не спешит вернуться в сухое и теплое жилище) не заканчивается. У автора начинаются фантастические галлюцинации на темы своего симбирского детства: «Обратив глаза на долину, вдруг увидел я множество огней, которые в темноте представляли романическое зрелище. Мне казалось, что я вижу там замки благодетельных фей — и все сказки, которые воспаляли младенческое мое воображение и делали меня в ребячестве маленьким Дон-Кишотом, оживились в моей памяти. Между прочими тогдашними подвигами моими вспомнил я один вечер, сумрачный и бурный, в который, ощутив вдохновение божественных фей, укрылся я от своего, впрочем, весьма бдительного дядьки, забрался в ту горницу, где хранились разные оружия, покрытые почтенною ржавчиною, — схватил саблю, которая пришлась мне по руке, и, заткнув ее за кушак тулупа своего, отправился на гумно (я жил тогда в деревне) искать приключений и противиться силе злых волшебников, но чувствуя в себе на каждом шагу умножение страха, махнул саблею несколько раз по черному воздуху и благополучно возвратился в свою комнату, думая, что подвиг мой был довольно важен»¹⁶².

К ранне-женеvскому ночному видению со взрослой саблей, призванной оборонить от «злых волшебников», примыкает описанный Карамзиным эпизод из другого «Письма путешественника» — о возвращении в Женеvу после загородного обеда в сельском домике: «Обед был самый веселый; все мы сидели в шляпах и пели песни. После стола одни катались в лодке по озеру, другие играли в шары или, сидя на крыльце, спокойно курили свои трубки».¹⁶³ Пробыв за городом до вечера, вспоминает далее путешественник, он отправился пешком в Женеvу, и здесь-то с ним и случилась удивительная история: «Мог ли я думать, чтобы на сем пути ожидала меня опасность? Вы, конечно, не угадаете, какая? Я шел, задумавшись; наступил на змею и увидел ее только тогда, как она начинала уже обвиваться вокруг ноги моей и подымала вверх голову, чтобы сквозь чулок ужалить меня... Но не бойтесь! Я сбросил ее с ноги

¹⁶¹ Там же. С. 157–158.

¹⁶² Там же. С. 158.

¹⁶³ Там же. С. 160–161.

прежде, нежели она могла влить в нее яд свой. “Злобная тварь! — думал я, смотря, как она ползла от меня по желтому песку. — Злобная тварь! Жизнь твоя теперь в моих руках, но если натура терпит тебя в своем царстве, то я не хочу прекращать бедного бытия твоего — пресмыкайся!”¹⁶⁴. Похоже, причудливые метаморфозы женевских видений Карамзина, описанные им в «Письмах русского путешественника», еще ждут внимательнейшего изучения не только историками и философами, но и профессиональными психоаналитиками!

Во всяком случае, «история со змеей», описанная Карамзиным, претендует на то, чтобы считаться *одним из смысловых центров* всего комплекса «Писем русского путешественника». Напомним, что, согласно нашей версии, источником проблем Карамзина на родине, из-за которых «московские друзья», собственно, и сочли необходимым отправить его за границу, был бывший масонский гротсмейстер, а впоследствии обер-прокурор Московского департамента Сената, князь Г.П. Гагарин. «Змея», о которой пишет Карамзин в «письме из Женевы» — это, очень вероятно, и есть князь Гагарин. Попытавшая укусить Карамзина, мирного московского участника дружеского круга, «злобная тварь» — это, скорее всего, то же самое лицо, которое харкающая кровью А.И. Плещеева с ненавистью объявила «Тартюфом», а аккуратный А.А. Петров называл в письмах среди «злых людей», ставших причиной бегства друга.

Таким образом, женевские образы Карамзина, мимо которых прошли, не заметив, практически все комментаторы «Писем путешественника», — это литературно представленное нравственное *credo* Карамзина — невинной жертвы гонений, но истинного христианина, — публично объявляющего об отказе от мести: «*Не хочу прекращать бедного бытия твоего — пресмыкайся!*»

Женева: долгие пять месяцев.

Часть вторая

Известный российский литературовед Илья Захарович Серман (1913–2010) в своей поздней статье «Где и когда создавались “Письма русского путешественника” Н.М. Карамзина?» (2004), утверждал, ссылаясь на новейшие розыскания С. Геллерман, что «центральной фигурой женевского пребывания Карамзина был Шарль Бонне»¹⁶⁵. Действительно, новые материалы, найденные в архиве выдающегося женевского философа и естествоиспытателя Шарля Бонне (1720–1793), убедительно свидетельствуют, что Карамзин неоднократно, иногда по несколько раз в неделю, общался с Бонне в доме последнего в местечке Gentod (у Карамзина — «Жанту») под Женовой. Однако

¹⁶⁴ Там же. С. 161.

¹⁶⁵ Серман И.З. Где и когда создавались «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина? // XVIII век. Сб. 23. СПб., 2004. С. 196.

можно ли говорить, что Бонне был «центральной фигурой» *всего* пятимесячного периода пребывания Карамзина в Женеве: с октября 1789-го по март 1790-го? Разумеется, нет.

Материалы, собранные С. Геллерман, как раз свидетельствуют, что в первый раз Карамзину удалось встретиться с престарелым Бонне лишь в начале 1790 года, т.е. *спустя три месяца* после своего приезда в Женеву. Это — ответ тем авторам, которые на резонный вопрос: «Что же делал так долго путешественник Карамзин в Женеве?» отвечают приблизительно следующее: «Заехал, путешествуя, в Женеву, встретился с мудрецом Бонне, да и остался рядом с ним — учиться и перенимать опыт...»

Вернемся, однако, к самим «Письмам путешественника». «Вы, может быть, удивляетесь, друзья мои, — пишет Карамзин, — что я по сие время ничего не говорил вам о великом Боннете, который живет верстах в четырех от Женевы, в деревне Жанту. Мне сказали, что он весьма нездоров, глух и слеп и никого, кроме ближних родственников, не принимает, почему я не имел надежды видеть сего славного Философа и Натуралиста». ¹⁶⁶ Итак, зная, разумеется, что в пригороде Женевы обитает «великий Боннет» (Bonnet — *франц.*), Карамзин, наслышанный о его болезнях, долгое время и не помышлял о возможности лично с ним встретиться.

«Но третьего дня, — продолжает Карамзин, — г. Кела, свойственник его, вызвался сам ехать к нему со мною, уверив меня, что посещение мое не будет ему в тягость. Мы приехали к нему поутру, но не застали его дома: он прогуливался. Господин Кела велел ему сказать, что один русский путешественник желает быть у него, — и на другой день Боннет прислал звать меня» ¹⁶⁷.

Остается вопрос: в какие именно дни (и, соответственно какого года) все это происходило? Означенный фрагмент в «Письмах» Карамзина не имеет датировки и обозначен просто: «*Женева*». В книге он расположен сразу вслед за «письмом», имеющим точную авторскую датировку: «*1 декабря 1789 г.*». Видимо, именно на этом, очень ненадежном основании А.З. Серман решил, что и следующее, «недатированное письмо» написано «в начале декабря 1789 г.» ¹⁶⁸.

Между тем, материалы, найденные С. Геллерман в архиве Бонне, расставляют всё на свои места. Во-первых, исследовательница поясняет, что указанный в карамзинских «Письмах» Гийом Кела (Guillome Cayla) (1746–1794) был видным деятелем в истории Женевы: с 1775 года был членом Совета двухсот, а потом два раза избирался в синдики. ¹⁶⁹ Его жена

¹⁶⁶ Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. С. 167.

¹⁶⁷ Там же. С. 167–168.

¹⁶⁸ Серман И.З. Где и когда создавались «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина? С. 196.

¹⁶⁹ В июне 1794 г. Гийом Кела был расстрелян развязавшими революционный террор «по парижскому образцу» женевскими радикалами.

происходила из того же семейства де ля Рив, в которому принадлежала жена Шарля Бонне: вот почему Карамзин справедливо называет Кела «свойственником Боннета»¹⁷⁰.

Во-вторых, в архиве Ш. Бонне Геллерман обнаружила копию письма его к Г. Кела, датированное 1 января 1790 года: «Я Вас уверяю, мой дорогой родственник, что мы, моя жена и я, были очень огорчены тем, что не были во время вашего приятного посещения... Если он (Карамзин. — А.К.) будет еще несколько дней в нашем городе, то я мог бы принять его в понедельник или во вторник, то есть 4 или 5 января»¹⁷¹. А в письме к Сюзанне Бонне, своей сестре, от 4 января Бонне сообщал: «В этот момент русский дворянин уходит из моей комнаты. Он очень хотел меня видеть, поскольку он переводит на русский язык “Созерцание природы” с последнего издания... Я очень им доволен, и, как кажется он — мной»¹⁷².

Итак, благодаря еще одной исследовательской находке С. Геллерман, мы теперь знаем точную дату первой встречи Карамзина с Бонне: она произошла 4 января 1790 года, то есть спустя более чем три месяца после приезда Карамзина в Женеву. Результаты, полученные Геллерман, — это ответ профессионального историка и на недоумения другой категории авторов, которые никак не могли взять в толк: что вообще мог делать Карамзин в Женеве в течение пяти месяцев?! — и на этом основании «придумывали» ему «тайные отлучки», например, в революционную Францию.

Женева: долгие пять месяцев.

Часть третья

Наш выдающийся карамзиновед Ю.М. Лотман, вплоть до последних своих работ, не переставал удивляться: «Беспрецедентная длительность пребывания в одном месте может быть сопоставлена лишь с краткостью и бессодержательностью писем этого периода. Карамзину решительно нечего делать в Женеве!»¹⁷³

Любопытен в этой связи разговор, состоявшийся между Ю.М. Лотманом и С. Геллерман в Мюнхене в 1989-м, юбилейном для карамзинского путешествия, году, о котором Геллерман рассказала А.З. Серману. Признавая «всю весомость документальных доказательств» того, что Карамзин реально отправился из Страсбурга в Швейцарию, а не тайно поехал в Париж «смотреть

¹⁷⁰ *Gellerman S. Karamzine a Geneve. P. 75–76.*

¹⁷¹ *Ibid. P. 76.*

¹⁷² *Ibid. P. 78.* О том, что Ш. Бонне весьма высоко оценил Карамзина, говорит и письмо Бонне от 26 января: «Мы сегодня имели к обеду одного почтенного русского, переводчика “Созерцания”. Он пишет на нашем языке как француз... Он пришел утром пешком, и мы, моя жена и я, отвезли его в карете до Сешерона...» (*ibid. P. 81*).

¹⁷³ *Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. С. 125.*

революцию», Юрий Михайлович снова задался вслух тем же самым вопросом: «А что так долго делал Карамзин в Швейцарии?»¹⁷⁴

В самом деле, распорядок дня Карамзина в Женеве в «Письмах» представлен как весьма однообразный: «Вы не можете вообразить себе, как приятен мне теперь новый образ жизни и маленькое заведенное мною хозяйство! Встав рано поутру и надев свой походный сертук, выхожу из города, гуляю по берегу гладкого озера или шумящей Роны, между садов и прекрасных сельских домиков, в которых богатые женевские граждане проводят лето, отдыхаю и пью чай в каком-нибудь трактире, или во Франции, или в Швейцарии, или в Савоие (вы знаете, что Женева лежит на границе сих земель), — еще гуляю, возвращаюсь домой, пью с густыми сливками кофе, который варит мне хозяйка моя, мадам Лажье, — читаю книгу или пишу, — в двенадцать часов одеваюсь, в час обедаю; после обеда бываю в кофейных домах, где всегда множество людей и где рассказываются вести; где рассуждают о французских делах, о декретах Национального собрания, о Неккере, о графе Мирабо и проч. В шесть часов иду или в театр, или в собрание — и таким образом кончится вечер»¹⁷⁵. Ю.М. Лотмана можно понять: столь быстрый и демонстративный, в чем-то — даже вызывающий, переход от свободных странствий (вспомним дрезденское сравнение себя с «птичками небесными») к выверенному, если не сказать: *рутинному* распорядку заставляет задуматься.

По нашему мнению, объяснение этому очень просто: «женевское сидение» Карамзина было, конечно, делом, вынужденным, заранее глубоко продуманным и спланированным. Чем же реально жил Карамзин в Женеве — хотя бы первые три месяца, пока не начал тесно общаться с Шарлем Бонне?

Прежде всего, «путешественник» получил в Женеве письма из России, которым, разумеется, обрадовался, но на которые отвечать был не вправе. В литературном «Письме», помеченном: «Женева, Октября 2, 1789» (этот день, видимо, был днем приезда Карамзина из Лозанны) читаем: «Вдруг три письма от вас, милые! Если бы вы видели, как я обрадовался! По крайней мере, вы живы и здоровы! Благодарю Судьбу! Если счастье ваше несовершенно; если... [пропуск]¹⁷⁶. Друзья мои! Более ничего не скажу; но я хотел бы отдать вам все свои приятные минуты, чтобы сделать жизнь вашу цепью минут, часов и дней приятных. Когда-нибудь — мы будем счастливы! Верно,

¹⁷⁴ См.: Серман И.З. Где и когда создавались «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина? С. 200.

¹⁷⁵ Там же.

¹⁷⁶ В этом месте Карамзин делает характерную авторскую пометку, полностью подтверждающую нашу версию: «Здесь выпущено несколько строк, писанных не для Публики» (там же). Налицо — очередной карамзинский «сигнал-маячок» для ориентировки внимательного читателя — А.К.

верно будем!»¹⁷⁷. Можно предположить, каким именно письмам из России обрадовался в Женеве Карамзин: разумеется, письму А.А. Петрова с приветом от «московских друзей», и, вероятно, письмам А.И. Плещеевой, которые она безответно слала ему из России. Излишне еще раз повторять, что ни на одно из этих писем Карамзин не ответил.

В «Письмах русского путешественника», относящихся к пребыванию Карамзина в Женеве, наше внимание привлекла небольшая главка, помеченная: «*Женева, 26 ноября 1789*». В ней автор рассказывает о «странной болезни», которая, якобы, продолжалась у него «около двух недель»: «Долго я не писал к вам, друзья мои, для того что не мог писать. Около двух недель мучила меня такая жестокая головная боль, какой я отроду не чувствовал, и которая не только не давала мне за перо приняться, но даже и спать мешала. Опершись на стол, просиживал я дни и ночи, почти без всякого движения и закрыв глаза. Добродушная хозяйка моя, мадам Лажье, приводила ко мне доктора, но лекарства его не помогали. Наконец, благодетельная натура сжалилась над бедным страдальцем и сняла с головы моей свинцовую тягость. Вчера я в первый раз вздохнул свободно и первый раз, вышедши на чистый воздух, поднял на небо глаза свои. Мне казалось, что вся природа радовалась со мною, — я плакал, как младенец, и узнал, что болезнь не ожесточила моего сердца — оно не разучилось наслаждаться, — чувствует так же, как и прежде, нелюбезный образ друзей моих снова сияет в нем во всей своей ясности. Ах, милые! В сию минуту исчезло разделяющее нас пространство — я обнимал вас вместе с нагурою, вместе с целою вселенною! Исчезни, воспоминание о прошедшей болезни! Я не хочу быть злопамятен против матери моей, природы, и забуду все, кроме того, чем она улаждает чашу дней моих!»¹⁷⁸

Приведенная нами полностью важный фрагмент из карамзинских «Писем» обычно выпадает из поля зрения комментаторов: кому охота комментировать болезнь героя, смело путешествующего по экзотическим краям. Между тем, в свете новой версии о Карамзине-беглеце, вынужденном в течении многих месяцев скрываться в Женеве, фрагмент о болезни представляется нам гораздо более реальным и жизненным, чем иные страницы «Писем», ставших, возможно, плодом литературной выдумки. Болезнь Карамзина, носившая, судя по описанию, в основном «душевный» характер, была, на наш взгляд, во-первых, еще *более серьезной*, чем описывает автор (хотя, и он пишет поистине трагические вещи), а, во-вторых, скорее всего, *гораздо более продолжительной*. Очень вероятно, что болезнь эта началась сразу после той драматической бессонной ночи под женевским дождем,

¹⁷⁷ Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. С. 166.

¹⁷⁸ Там же. С. 167.

о которой говорилось выше, и ночная бессонница с галлюцинациями стала ее первым приступом). Если это так, то Карамзин тяжело заболел в Женеве не позднее середины октября 1789 года и его болезнь длилась, как минимум, полтора месяца!

Хочется верить, что Карамзин пишет правду, и в день своего двадцатитрехлетия, 1 декабря 1789 года, он действительно смог выйти на берег Лемана, как пишет о том в «Письмах русского путешественника»: «Ныне минуло мне двадцать три года! В шесть часов утра вышел я на берег Женевского озера и, устремив глаза на голубую воду его, думал о жизни человеческой. Друзья мои! Дайте мне руку, и пусть вихрь времени мчит нас куда хочет! — Доверенность к провидению — доверенность к той невидимой руке, которая движет и миры, и атомы; которая бережет и червя и человека, — должна быть основанием нашего спокойствия. Этот день хотел бы я провести с вами, но как быть! — Стану хотя в мыслях вами радоваться. И вы, конечно, вспомните ныне своего друга»¹⁷⁹.

Другие интереснейшие заметки «русского путешественника» из Женевы, рассказывающие о посещении им мест, связанных с тем же Руссо и героями его произведений (на берегах Женевского и Бриенцкого озер), рассказ о посещении Фернейского дома Вольтера и многие другие эпизоды, ставшие в нашей литературе культовыми, источником многочисленных реплик «а ля Карамзин» — для самого автора «Писем русского путешественника», фигуры по-своему трагической, явились лишь искусно нарисованным историческим и литературным фоном для философского в своей основе повествования о личных скитальческих переживаниях. Близкие друзья Карамзина, посвященные в тайны его «путешествия», хорошо понимали это. Потомки, литературные эпигоны, многочисленные комментаторы-карамзинисты, похоже, — не понимают до сих пор...

Заключение

Когда летом 1790 года Н.М. Карамзин вернулся в Россию, властям было уже не до него: новый наместник Екатерины II в Москве князь И.И. Прозоровский начал открытый поход против масонской верхушки, который окончился в 1792 года полным разгромом «кружка Новикова». Недолгий, но яркий период русского «просветительства» сменился очередным «затемнением».

По мнению В.О. Ключевского, «постигшая Новикова катастрофа произвела на русское образованное общество такое потрясающее впечатление, какого, кажется, не производило падение ни одной из многочисленных

¹⁷⁹ Там же. С. 170.

«случайных» звезд, появившихся на русском великосветском небосклоне прошлого века»¹⁸⁰.

Однако просвещенческая «эстафета» уже была передана. Прав критик К.А. Полевой (брат Н.А. Полевого): «Семена, посеянные Новиковым и его товарищами, принесли столь благодетельные плоды, что, когда Карамзин начал издавать “Московский журнал”, публика была для него уже готова, и публика не придворная, как то было при Сумарокове, а русская».¹⁸¹

Литература

Анненков П.В. Парижские письма (подг. И.Н. Конобеевская; ред. Б.Ф. Егоров). М.: Наука, 1984.

Барсков Я.Л. Переписка московских масонов XVIII века. 1780–1792 гг. Пг.: Изд-во Императорской АН, 1915.— 405 с.

Дмитриев И.И. Взгляд на мою жизнь. Записки действительного тайного советника Ивана Ивановича Дмитриева. М.: Тип. В. Готье, 1866, кн. 2.

Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Т. 8. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1973.

Карамзин Н.М. Письма русского путешественника (ред. Ю.М. Лотман, Н.А. Марченко, Б.А. Успенский). Л.: Наука, 1984.— 720 с.

Карамзин Н.М. Цветок на гроб моего Агатона // Карамзин Н.М. Записки старого москвича. Избранная проза. М.: Тип. Смирдина, 1986.

Кара-Мурза А.А. Карамзин, Шаден и Геллерт. К истокам либерально-консервативного дискурса Н.М. Карамзина // Филология: научные исследования, 2016, № 1 (21). С. 101–106.

Кара-Мурза А.А. Путешественник или беглец: загадки и интерпретации «европейского путешествия» Н.М. Карамзина // НГ-Сценарии, 2016, № 191 (6806).

Ключевский В.О. Воспоминания о Н.И. Новикове и его времени // Русская мысль, 1895, № 1.

Крестова Л.В. А.И. Плещеева в жизни и творчестве Карамзина. // XVIII век. Сб. 10. Русская литература XVIII века и ее международные связи. Л.: Наука, 1975.

Леман-Карли Г. Я.М.Р. Ленц и Н.М. Карамзин // XVIII век. Сб. 20. СПб.: Наука, 1996. С. 145–149.

Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. СПб.: Азбука, 2015.— 448 с.

Муравьев В.Б. Карамзин. М.: Молодая гвардия, 2014.— 479 с.

Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву. СПб.: Тип. Императорской АН, 1866.— 730 с.

Погодин М.П. Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников в 2 чч. Ч. 2. СПб.: Тип. А.И. Мамонтова, 1866.

Полевой К.А. Взгляд на два обозрения русской словесности 1829 года, помещенные в «Деннице» и в «Северных цветах» // Московский телеграф, 1830, ч. 31, № 2.

Ростопчин Ф. Мысли вслух на Красном крыльце. М.: Институт русской цивилизации, 2014.— 695 с.

Серман И.З. Где и когда создавались «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина? // XVIII век. Сб. 23. СПб.: Наука, 2004.

¹⁸⁰ *Ключевский В.О.* Воспоминания о Н.И. Новикове и его времени // Русская мысль, 1895, № 1. С. 49.

¹⁸¹ *Полевой К.А.* Взгляд на два обозрения русской словесности 1829 года, помещенные в «Деннице» и в «Северных цветах» // Московский телеграф. 1830. Ч. 31. № 2. С. 213.

Сиповский В.В. Н.М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». СПб.: Тип. В. Демакова, 1899.— 654 с.

Старчевский А.В. Николай Михайлович Карамзин. СПб.: Тип. К. Крайя, 1849.— 280 с.

Шишкин М. Русская Швейцария. Литературно-исторический путеводитель. М.: Астрель, 2012.

Шторм Г.П. Новое о Пушкине и Карамзине // Известия АН СССР. Серия литературы и языка, т. 19, вып. 2.

Gellerman S. Karamzine a Geneve. Notes sur quelques documents d, archive concernant les Lettres d'un Voyageur russe // Fakten und Fabeln: Schweizerisch-slavische Reisebegegnung vom 18., bis zum 20. Jahrhundert, Basel–Frankfurt am Main: Helbing & Lichtenhah, 1991.

ИТАЛЬЯНСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПЕТРА ЧААДАЕВА (1824–1825)

*Памяти младшего брата,
историка и журналиста
Владимира Кара-Мурзы*

Предисловие

Жизнь русского философа Петра Яковлевича Чаадаева (1794–1856), 225-летие со дня рождения которого отмечалось в 2019 г., полна загадок, тайн и мистификаций. Достаточно сказать, что два самых авторитетных биографа Чаадаева XIX в. — М.Н. Лонгинов и М.И. Жихарев, называют две различные даты рождения Чаадаева (соответственно, 1793 и 1796 гг.) — и обе неверные!¹ При этом Жихарев — родственник и душеприказчик Чаадаева, долгие годы был уверен, что Чаадаев, вошедший в историю как великий москвич, родился... в Нижегородской губернии².

Но даже на этом туманном биографическом фоне совсем мало прояснены обстоятельства европейского путешествия Чаадаева 1823–1826 гг. по Англии, Франции, Швейцарии, Италии, Германии, откуда он привез основные идеи прославившей его впоследствии историософской системы. Тот же Логинов, например, существенно ошибался в определении самих сроков чаадаевского вояжа, утверждая: «Вышедши в отставку, Чаадаев предпринял весной 1821 года (на самом деле летом 1823 г. — А.К.) путешествие за границу, продолжавшееся пять лет (в реальности три года — А.К.)»³.

...Начнем с мотивов путешествия Чаадаева в чужие края. Его близкий приятель, Д.Н. Свербеев, встречавшийся с Чаадаевым летом 1824 г. в швейцарском Берне, а потом много общавшийся с ним в Москве, изложил в мемуарах свою версию путешествия Чаадаева: «Судя по его собственным рассказам и по отдельным его статьям, которые читались потом в коротком его кружке, он преимущественно обращал внимание на произведения искусства древнего мира и средних веков и ими поверял и объяснял любимые свои исторические убеждения»⁴.

¹ См.: *Лонгинов М.Н.* Воспоминание о П.Я. Чаадаеве // Петр Яковлевич Чаадаев. Философское и публицистическое наследие (ред. Б.Н. Тарасов). М.: Русский мир, 2008. С. 316; *Жихарев М.И.* Докладная записка потомству о Петре Яковлевича Чаадаеве // Петр Яковлевич Чаадаев. Философское и публицистическое наследие. С. 343.

² *Жихарев М.И.* Докладная записка. С. 343.

³ *Лонгинов М.Н.* Воспоминание о П.Я. Чаадаеве. С. 331.

⁴ *Свербеев Д.Н.* Мои записки (ред. М.В. Батшев, Б.П. Краевский, Т.В. Медведева). М.: Наука, 2014. С. 522. Свербеев, судя по всему, плохо себе представлял и обстоятельства возвращения Чаадаева из-за границы, будучи почему-то уверенным, что это произошло... «в 1827 году» (там же. С. 522–523).

Нам почти ничего неизвестно о рассказах Чаадаева-путешественника «в коротком его кружке», но в главном Свербеев, конечно, ошибается: «интерес к древностям» совсем не был среди изначальных приоритетов чаадаевского отъезда из России в 1823 г.

Чаадаев, как известно, подал в отставку после аудиенции у императора Александра I во время конгресса «Священного союза» в Троппау, будучи посланным туда его военным командиром, князем И.В. Васильчиковым, с докладом об «истории» в Семеновском полку. Чаадаев, сам в 1812–1814 гг. бывший гвардейцем-семеновцем, глубоко переживал за бывших однополчан, воспротивившихся самодурству нового командира, полковника Г.Е. Шварца, и особенно — за любимого двоюродного брата, князя Ивана Щербатова, которого неправомерно записали в число главных зачинщиков «бунта».

Судя по всему, вызвавшись доложить Александру I о «семеновской истории», Чаадаев рассчитывал смягчить недовольство царя, представив дело в нужном свете. Однако австрийский канцлер Клеменс Меттерних, исподволь укрепляя свои позиции в Троппау, был, напротив, заинтересован представить безобидную в сущности историю как «военный заговор». Царь был вынужден оправдываться, уверяя союзников, что «ручается головою, что у него в России никаких не будет восстаний»⁵. На что Меттерних с сарказмом отреагировал: «Государь, не теряйте голову; она слишком драгоценна для России и для Европы»⁶.

Как бы там ни было, император Александр склонился в итоге к варианту жестких репрессий по отношению к «семеновцам». Миссия Чаадаева потерпела неудачу, и, чтобы спасти репутацию, он вынужден был подать в отставку. Некоторое время он еще оставался в России, с горечью наблюдая за деградацией так много обещавшего когда-то царствования и — особенно внимательно — за эскалацией репрессий в отношении несчастного брата (князь И.Д. Щербатов в итоге оказался на Кавказе, где и погиб в 1829 г.).

В июле 1823 г. Чаадаев, находившийся в состоянии глубокой депрессии, отправился из Кронштадта морем за границу, следуя рекомендациям врачей и намереваясь подлечиться «морскими купаниями». Обстоятельства привели его вместо германского побережья на курорты южной Англии — в Брайтон, Уортинг, на остров Уайт. После «Туманного Альбиона», где он жил с августа по середину декабря 1823 г., Чаадаев побывал во Франции (конец декабря 1823 — август 1824 г.), а затем в Швейцарии (август — декабрь 1824 г.).

⁵ Глинка С.Н. Исторический взгляд на общества европейские и судьбу моего отечества // Николай I. Личность и эпоха: Новые материалы. СПб., 2007. С. 121.

⁶ Там же. Лукавый австрийский канцлер в своих позднейших мемуарах писал, что якобы именно он, Меттерних, хотел смягчить гнев Александра I и предостерегал императора от поспешных радикальных выводов. Увы, некоторые отечественные исследователи до сих пор всерьез используют мемуары Меттерниха в качестве надежного источника.

Понятно, что ни в одной из этих стран он не мог удовлетворить приписываемого ему Свербеевым «интереса к древностям».

Иное дело — пребывание Чаадаева в Италии, которое поначалу вообще не замысливалось, потом планировалось максимально коротким, но затем растянулось на восемь месяцев — с декабря 1824 г. по август 1825 г.

Из Швейцарии в Италию

О том, чтобы продлить путешествие и после Англии, Франции и Швейцарии посмотреть еще и Италию, Чаадаев всерьез задумался, скорее всего, в Париже. 1 января 1824 г.⁷ он писал из французской столицы родному брату Михаилу: «Я помню, мой друг, что отпуск мне дан (братом и тетусхой. — А.К.) только на год, но в год не успею всего сделать; пришлите мне отсрочку на шесть месяцев, более не требую; неужто мне не видать Италии!»⁸. И далее — уже как о деле, почти решенном: «Самая дорогая часть моего странствия окончена, теперь остаются одни дешевые земли: Швейцария, Италия и Германия»⁹.

Тетка и брат были, разумеется, против новых задержек в и без того затянувшемся вояже, поэтому 1 апреля 1824 г. Чаадаев пишет Михаилу из Парижа уже более настойчиво: «Что же касается вашего запрещения мне ехать в Италию, то я уверен, что вы отмените его, если немного обдумаете это дело»¹⁰. И далее он напоминает брату, как оба они в детстве грезили об Италии — «стране очарования»: «Я думал, что ты достаточно благоразумен, чтобы не отклонять меня от этого путешествия. Если Италия не представляет ничего соблазнительного для твоего воображения, то это потому, что ты Гурон, но меня-то, который в этом не повинен, за что ты меня хочешь лишить удовольствия ее видеть? А затем, неужели ты желаешь, чтобы, находясь в Швейцарии, у самых врат Италии, и видя с высоты Альп ее прекрасное небо, я удержался от того, чтоб спуститься в эту землю?»¹¹.

В первых числах августа 1824 г. в приобретенной им дорожной коляске Чаадаев отправляется из Парижа в Швейцарию, где при русской миссии служил переводчиком младший брат его военного приятеля Ф.Ф. фон Берга (при Александре II дослужившегося до генерал-фельдмаршала) Александр

⁷ В дальнейшем изложении все события, имевшие место на территории Российской Империи, как и написанные в России письма, датируются по юлианскому календарю («старому стилю»). Равным образом, всё, что будет иметь отношение к событиям в Европе, будет датировано по принятому там григорианскому календарю («новому стилю»).

⁸ Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма: в 2 т. (ред. З.А. Каменский). Т. 2. М.: Наука, 1991, С. 30.

⁹ Там же.

¹⁰ Там же. С. 35.

¹¹ Там же.

фон Берг — вся швейцарская корреспонденция Чаадаева пойдет теперь через Берга-младшего.

Вообще говоря, четыре месяца, проведенные в Швейцарии,— это тоже весьма загадочный отрезок чаадаевского вояжа. Беглые заметки Д.Н. Свербеева, свидетельствующие об экстравагантном поведении Чаадаева в тесном кружке дипломатов в Берне¹², лишь в очень малой мере отвечают на вопрос: что мог делать Чаадаев в Швейцарии в течение целых четырех месяцев?!

Особый смысл в этой связи приобретают свидетельства Н.И. Тургенева, встретившего Чаадаева несколько месяцев спустя в Риме: «Что-то мрачное замечаю я в Чаадаеве... Я нахожу, что он переменялся против прежнего. К тому же он не здоров и похудел» (запись из дневника от 29 марта 1825 г.)¹³; «в первые дни мне грустно было смотреть на него. К тому же он очень похудел» (из письма брату Сергею от 13 апреля 1825 г.)¹⁴. Очень вероятно, что путешествие Чаадаева, которое было предпринято, как мы знаем, в целях поправления здоровья, имело в какой-то момент обратный результат, и осенью 1824 г., т.е. именно в Швейцарии, Чаадаев серьезно болел.

Нечто подобное за несколько десятилетий до этого произошло в Швейцарии с другим «русским путешественником», Н.М. Карамзиным. Тайно бежавший из Москвы из-за преследований екатерининского обер-прокурора князя Г.П. Гагарина, он из четырнадцати месяцев скитаний по Европе пять месяцев провел в швейцарской Женеве. Наше исследование карамзинских странствий привело к однозначному выводу: в Женеве беглец пережил тяжелую душевную болезнь. Этим, кстати, объясняется отмеченная многими исследователями крайняя скудость «женевских» фрагментов «Писем русского путешественника»¹⁵.

...Мы не имеем документально подтвержденных свидетельств того, как именно Чаадаев из Швейцарии оказался в Италии. Строго говоря, через Альпы в те времена было лишь два пути. Либо из Цюриха, Люцерна, Беллинцоны — через перевал Сен-Готард: этим путем, например, осенью 1811 г. впервые попал в Италию Н.И. Тургенев¹⁶. Либо из Берна, Лозанны или Женевы — через Симплонский перевал; о путешествии в 1839 г. этим

¹² Свербеев Д.Н. Мои записки. С. 376–377.

¹³ Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева. Т. IV: Путешествие в Западную Европу. 1824–1825. СПб.: Нестор-История, 2017. С. 303.

¹⁴ Декабрист Н.И. Тургенев. Письма к брату С.И. Тургеневу. М.— Л.: Изд-во АН СССР, 1936. С. 458.

¹⁵ См.: Кара-Мурза А.А. Швейцарские странствия Николая Карамзина. М.: Аквилон, 2016. С. 61–70.

¹⁶ См.: Дневники Николая Ивановича Тургенева за 1811–1816 гг. (ред. Е.И. Тарасов). СПб.: Тип. Императорской АН, 1913. С. 130–131.

путем оставил воспоминания Н.В. Станкевич¹⁷. Если учесть, что последнее из известных нам «швейцарских» писем Чаадаева (письмо брату от 30 ноября 1824 г.) написано в Женеве¹⁸, то «симплонский вариант» представляется более вероятным.

Первый городок на итальянской стороне Альп, через который следовали путешественники, спустившиеся с Симплона, — это старинная Домодоссала, находящаяся у подножия «Святой горы» (Sacro Monte Calvaro), на которой капуцинские монахи еще в XVII в. построили комплекс памятников, воспроизводящих Крестный путь Христа на Голгофу. А как раз в 1820-х гг. Домодоссала с ее Святой горой стали еще и местом подвижничества выдающегося итальянского философа-монаха Антонио Розмини-Сербати.

Дальнейшая дорога на юг шла вдоль Лаго Маджоре в направлении Милана. Оттуда желающие продолжить путь вынуждены были двигаться в объезд Апеннин и ехать сначала каретой через Алессандрию до Генуи, а потом — либо опять же в дилижансе вдоль тирренского берега, либо морем до Ливорно или Чивитта-Веккья. В любом случае, доказано, что, переправляясь в начале зимы 1824 г. через Альпы, Чаадаев поначалу собирался ограничиться лишь северной Италией (конкретно — Миланом и Венецией), а затем — через Вену — быстро возвратиться в Россию. В письме брату от 30 ноября 1824 г. Чаадаев вообще мотивировал необходимость переправиться через Альпы тем, что кратчайший путь в Россию был невозможен из-за необычайного разлива Рейна: «Прямым путем ехать нельзя, за дорогами; Рейн разлился; должен ехать через Милан»¹⁹.

Милан в те годы был столицей Ломбардо-Венецианского королевства, созданного решением Венского конгресса в качестве одной из коронных земель Австрийской империи — в интересующие нас годы этим королевством, от имени императора Франца I, управлял вице-король Йозеф Райнер Габсбург.

В Милане планы Чаадаева в очередной раз поменялись. 30 декабря 1824 г. он писал оттуда брату: «Я приехал сюда с намерением через Венецию пробраться в Вену и оттуда домой. Здесь вижу, что в два месяца могу объехать Италию. То есть, отправившись через Геную и Ливорно в Рим, а оттуда в Неаполь, возвратиться через Флоренцию и быть в Венеции в начале марта. Я здесь на равном расстоянии от Вены и от Рима. Я еще ни на что не решился;

¹⁷ См.: *Кара-Мурза А.А.* Знаменитые русские в Генуе. М.: Альтекс, 2013. С. 50–51. В 1821 г. оставил краткие заметки об этих двух разных маршрутах и В.А. Жуковский, который сначала спустился в Италию через Сен-Готард, а вскоре вернулся в Швейцарию через Симплонский перевал (см.: *Собрание сочинений В. Жуковского*. 6-е изд., СПб.: Тип. Императорской АН, 1869. Т. 6. С. 247–249).

¹⁸ *Чаадаев П.Я.* Полное собрание сочинений и избранные письма. Т. 2. С. 47–48.

¹⁹ Там же. С. 48.

собираю сведения; большой охоты пуститься по Италии не имею, но надобно отделаться, чтоб вперед не иметь более никакой похоти»²⁰.

Об этом же — в письме от 8 января 1825 г. из Милана университетскому другу, а потом боевому сослуживцу И.Д. Якушкину: «Прожив в Швейцарии четыре месяца, совершенно поправился... (еще одно свидетельство того, что обострение все-таки было. — А.К.). Намерение мое было через Милан и Венецию проехать в Вену и оттуда прямым путем домой... Приехав сюда, увидел, что могу объехать всю Италию в два месяца, и решился на это — последнее дурное дело; точно, дурное, непозволительное дело! Дома ни одной души нет веселой, а я разгуливаю и веселюсь; но скажи, как, бывши за две недели езды от Рима, не побывать в нём?»²¹

Некоторые биографы Чаадаева, не располагая достоверными источниками, тем не менее решились предположить, что будучи в Милане, Чаадаев просто не мог не посетить (помимо, разумеется, всемирно известных Миланского собора и театра «Ла Скала») трапезную доминиканского монастыря Santa Maria delle Grazie, где можно было увидеть то, что осталось от знаменитой фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», написанной мастером в 1495–1498 гг. по заказу миланского герцога Лодовико Сфорца и его рано умершей супруги Беатриче д'Эсте²².

Скорее всего, Чаадаев действительно видел работу Леонардо²³: на протяжении многих десятилетий трапезная миланского монастыря являлась одним из обязательных мест для посещения русскими путешественниками и художниками. Так, в 1816 г. молодой художник Орест Кипренский проводил там целые дни, пытаясь постичь секреты Леонардо²⁴.

Однако в конце 1810-х — начале 1820-х гг. поврежденный временем и вандалами шедевр Леонардо да Винчи подвергся новым испытаниям — на этот раз со стороны... реставраторов. Сначала Антонио де Антони и Франческо Барецци попытались очистить фреску от грязи и позднейших наслоений, но, не учтя, что Леонардо писал темперой, попутно смыли часть «леонардовского слоя». После них за дело взялся Стефано Барецци, применивший опробованную в Венеции технологию «strappo» — перенесение фрески на ткань,

²⁰ Там же. С. 49.

²¹ Там же. С. 51.

²² См. напр.: *Тарасов Б.* Чаадаев. М.: Молодая гвардия, 1986. С. 110.

²³ Строго говоря, «фреска» предполагает роспись по влажной штукатурке. Миланская «Тайная вечеря» написана иначе: Леонардо покрыл каменную стену слоем смолы, гипса и мастики, а затем писал по этому слою темперой, что оказалось технологией недолговечной. К тому же в 1796 г. захватившие Милан французские солдаты превратили трапезную монастыря в военный склад и сильно повредили творение Леонардо.

²⁴ *Талалай М.Г.* Русский мир Милана. Прогулки по историческим адресам с Михаилом Талалаем. СПб.: Изд-во «Лик», 2001. С. 190.

пропитанную специальным клеевым раствором, с последующим «возвращением» красок на новый носитель. Однако и эта попытка также была признана специалистами неудачной.

Что же мог увидеть П.Я. Чаадаев в конце декабря 1824 г. — первых числах января 1825 г.? Наиболее близкое по времени упоминание о посещении доминиканского монастыря в Милане и состоянии «фресок» Леонардо находим в путевом дневнике Николая Тургенев от 7 мая 1824 г.: «Вчера... в рефектории (от латинского *refectorium* — трапезная) бывшего монастыря *Madonna delle Grazie*, видел “Тайную вечерь” *Leonardo da Vinci*. Она совсем почти пропала. Но лицо Спасителя представляет еще прекрасное выражение, особливо в томных глазах...»²⁵

...Итак, после Милана Чаадаев отправился не на восток, в Венецию (как ранее планировал, собираясь через Вену быстро вернуться в Россию), а на юго-запад, в Геную, чтобы затем морем достичь Великого герцогства Тосканского, а потом двинуться еще дальше на юг. Можно предположить, что, проезжая по дороге городок Алессандрию, «столицу» пьемонтской революции 1821 г.²⁶, он не мог не размышлять о том, как менее четырех лет назад, когда он выходил в отставку, многие знакомые офицеры обсуждали вероятность «похода в Пьемонт» стотысячного русского корпуса во главе с генералом А.П. Ермоловым, который Александр I, увлеченный идеями «Священного союза», был готов бросить на подавление пьемонтского восстания. К счастью, карательный поход, который, несомненно, отравил бы отношения между русскими и итальянцами на долгие десятилетия, не состоялся: союзники-австрийцы быстро решили вопрос без участия русских²⁷.

В середине января 1825 г. Чаадаев оказался в Генуе, которая решением Венского конгресса была присоединена к Сардинскому королевству со столицей в Турине. После революционных событий в Пьемонте, затронувших

²⁵ Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева. Т. IV. С. 339.

²⁶ В ночь на 10 марта 1821 г. заговорщики овладели главной военной цитаделью Пьемонта — крепостью г. Алессандрия, создали там временный совет во главе с полковником Г. Ансальди, провозгласили Конституцию и объявили войну Австрии.

²⁷ Вот что писал о той истории сам несостоявшийся командующий карательным корпусом генерал А.П. Ермолов: «Государь император, вспоможествуя австрийцам, назначил особенную армию из ста тысяч человек, которой и дано повеление приуготовиться к следованию в Италию... Были слухи, что я назначен главнокомандующим идущей в Италию армии, и прежде отъезда моего из Петербурга получены некоторые иностранные газеты, в коих о том упоминаемо было... Успехи австрийских войск в Пьемонте и сдача на капитуляцию Александрийской крепости положили конец возмущению... Таким образом, сверх всякого ожидания моего, был я главнокомандующим армии, которой я не видал и доселе не знаю, почему назначение мое должно было сопровождаться быть тайною. Не было на сей счет указа, хотя во время пребывания в Лайбахе (на конгрессе “Священного союза” 1821 г.— А.К.) Государь и император австрийский не один раз о том мне говорили» (Записки А.П. Ермолова. 1798–1826. М.: Высшая школа, 1991. С. 371–372).

и Геную, порядок в старинном городе, некогда центре свободной республики, был восстановлен австрийскими войсками. К моменту приезда Чаадаева австрийцы покинули Геную, но город жестко контролировался сардинской администрацией: король Карл Феликс, бывший «герцог генуэзский», в 1822 г. награжденный Александром I русским орденом Андрея Первозванного (в том числе за подавление «пьемонтского бунта»), предпочитал жить не в Турине, а именно в Генуе, продолжая розыск «карбонариев» и практикуя внесудебные по преимуществу расправы над ними.

Из Генуи Чаадаев поплыл морем в Ливорно — главную гавань Великого герцогства Тосканского. После краха Бонапарта Тоскана была возвращена Фердинанду III Габсбургу, полностью находившемуся в орбите австрийской политики²⁸. В июне 1824 г., совсем незадолго до описываемых событий, ему наследовал его сын Леопольд II.

В столице Великого герцогства

Во Флоренцию — столицу Тосканы — Чаадаев приехал в конце января 1825 г. и был там радушно принят в доме Алексея Васильевича Сверчкова, российского поверенного в делах Великого герцогства, служившего до этого в русских представительствах в Американских Штатах и Бразилии. Сверчков был женат на Елене Гурьевой (дочери недавно умершего министра финансов Д.А. Гурьева и сестре Марии Гурьевой — супруги российского министра иностранных дел К.В. Нессельроде). Чаадаев передал хозяевам привет от недавно виденного им в Париже брата Гурьевой, Николая, бывшего однополчанина по Семеновскому полку, а теперь тоже видного дипломата²⁹. Почти каждый свой вечер в столице Тосканы Чаадаев проводил в гостеприимном доме Сверчковых-Гурьевых.

Неоднократно посещал Чаадаев и резиденцию русского посланника в Тоскане Николая Никитича Демидова, который переехал во Флоренцию из Парижа в 1820 г. после смерти первой жены Елизаветы Александровны (урожденной Строгановой) и вскоре сменил Н.Ф. Хитрово на посту императорского посланника при дворе Великого герцога.

Граф М.Д. Бутурлин, много лет проживший во Флоренции, так описал дом Демидова — представителя знаменитой семьи русских горнозаводчиков: «Нанимаемый им палаццо Серристоры у моста delle Grazie представлял пеструю смесь публичного музея с обстановкою русского вельможи прошлого века. Тут были французские секретари, итальянские комиссионеры, сибирские горнозаводские конторщики, приживалки, воспитанницы

²⁸ В 1809–1814 гг. Тосканой правила старшая сестра Наполеона Бонапарта — Мария Анна Элиза, получившая от брата-императора титул «Великой герцогини».

²⁹ Впоследствии граф Н.Д. Гурьев будет русским посланником в Риме и Неаполе.

и в дополнение ко всему этому французская водевильная труппа в полном составе»³⁰. «Сверх сего штата, — добавляет Бутурлин, — постоянно проживали у него бездомные игроки и паразиты... В доме Н.Н. Демидова находилась также выставка малахитовых и других ценных вещей, а в саду — коллекция попугаев. Оба эти отделения были доступны флорентийским зевакам... Французские спектакли давались два раза в неделю, а затем следовал бал. Самого хозяина, разбитого параличом, перевозили из комнаты в комнату в креслах с колесами»³¹.

Михаил Бутурлин, конечно, предвзят к Демидову. Николай Никитич прославился во Флоренции не только своей экстравагантностью. Назначенный во Флоренцию русским посланником, он открыл здесь на свои средства художественный музей и картинную галерею, в которых собрал произведения знаменитых художников, ценные изваяния из мрамора и бронзы и массу других раритетов. Пожертвовав немалый капитал, Демидов устроил во Флоренции начальную школу для 160 мальчиков из бедных семей, а также дом призрения для престарелых и сирот. (В 1871 г. благодарный муниципалитет Флоренции назвал именем Николая Демидова площадь рядом с его дворцом. В центре Piazza Nicola Demidov, выходящей на набережную Арно, был установлен роскошный памятник работы Лоренцо Бартолини: Демидов изображен в образе римского патриция в белой тоге, обнимающий сына. Женская фигура, сидящая с лавровым венком у ног героя, символизирует признательность граждан Флоренции. По углам постамента — четыре статуи-аллегии: Природа, Искусство, Милосердие и... Сибирь, держащая на руках Плутона с мешком золота)³².

Есть все основания полагать, что, приехав во Флоренцию зимой 1825 г., Чаадаев в первые же дни стал читателем «Научно-литературного кабинета Вьессё» (*Gabinetto scientifico-letterario G.P. Vieusseux*) — просветительского учреждения, уникального не только для Италии, но и для всей тогдашней Европы. Основателем «кабинета», открывшегося во Флоренции в январе 1820 г., был коммерсант, издатель и путешественник швейцарского происхождения Джованни-Пьетро Вьессё, поставивший свое необычное «детище» на коммерческий лад: каждый посетитель «кабинета» должен был оформить платный абонемент на определенный срок (во времена Чаадаева недельный

³⁰ Записки графа М.Д. Бутурлина // Русский Архив, 1897, т. 1, № 4. С. 622.

³¹ Там же. С. 622–623. Именно на место тяжело болевшего русского посланника во Флоренции Н.Н. Демидова будет претендовать в 1826 г., в последние месяцы жизни, Н.М. Карамзин, однако безуспешно. Министр Нессельроде предназначал это место для любимого свояка Сверчкова, который и занял его после смерти Демидова в 1828 г., впрочем, очень ненадолго по причине собственной внезапной смерти.

³² См.: *Кара-Мурза А.А. Демидовы* // Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Флоренции. С. 81.

пропуск стоил 10 паолов; месячный — 20 паолов). «Кабинет» размещался во дворце Буондельмонти на площади Santa Trinita: среди его читателей, вслед за Чаадаевым, позднее будут Станкевич, Чичерин, Герцен, Бакунин, Достоевский³³.

В объявлении 1819 г., оповещающем о скором открытии «литературного кабинета», сообщалось, что в распоряжении публики будут три зала для чтения, один для бесед, и особо подчеркивалось, что все они хорошо освещены и протоплены: для страстного читателя и библиофила Чаадаева, приехавшего во Флоренцию стылой зимой, да еще нездоровым, это было существенно. «Кабинет» был открыт ежедневно с 8 до 22 часов; выдача книг начиналась в 9 и продолжалась до 17 часов. Среди услуг, которые предоставлялись читателям, помимо чтения иностранных изданий³⁴ была библиотека, книги которой можно было читать только в читальном зале, и абонемент — здесь можно было взять книги на дом (со временем их число достигло 20 тысяч единиц). Кроме того, у посетителей была возможность играть в шахматы, в шашки, а также пользоваться услугами кафе³⁵.

...Между тем главная флорентийская встреча ожидала Чаадаева впереди. Точно установлено, что 31 января 1825 г. он в очередной раз осматривал шедевры галереи Медичи в Уффици и, прохаживаясь по длинной Лоджии второго этажа, широкие окна которой выходили на Арно, случайно познакомился с английским священником-методистом Чарльзом Куком, который возвращался из паломничества по Святой земле в свой приход в южной Франции. Спустя несколько лет Чаадаев вспоминал о той встрече: «Лет пять тому назад я встретил во Флоренции человека, который мне очень понравился. Я провел с ним только несколько часов; часов, не больше, правда, очень приятных и очень хороших»³⁶.

«В нем, — продолжает свои воспоминания о необычном англичанине Чаадаев, — было странное смешение пыла и благочестия, живого интереса к великому предмету своей заботы — религии, и безразличия, холодности,

³³ В архиве «Кабинета Вьесе» есть отметки, что уже в январе-феврале 1820 г. среди самых первых читателей были русские — молодой дипломат князь Николай Васильевич Долгоруков и путешествовавший по Италии тайный советник, князь Сергей Николаевич Салтыков. В том же году в «Кабинет» записались русский посланник в Тоскане Н.Н. Демидов и обосновавшийся во Флоренции граф Д.П. Бутурлин.

³⁴ В 1825 г. «Кабинет Вьесе» регулярно и довольно оперативно получал по меньшей мере одно издание из России — столичную газету «Санкт-Петербургские ведомости» (см.: Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма, т. 2. С. 425).

³⁵ Позднее на фасаде флорентийского Palazzo Buondelmonti была установлена мемориальная доска Дж.-П. Вьессе.

³⁶ Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. Т. 2. С. 462. Этот написанный по-французски фрагмент, найденный в бумагах Чаадаева и переведенный князем Д.И. Шаховским, написан, судя по всему, в конце 1829 — начале 1830 гг.

спокойствия ко всему остальному (в этом образе легко узнается позднейший прототип поведения самого Чаадаева. — А.К.). В галереях Италии великие произведения искусства его почти не трогали, но маленькие саркофаги времен первых веков Церкви особенно его занимали. Он их рассматривал и размышлял о них с воодушевлением; в них он видел что-то святое, трогательное и глубоко поучительное, и он погружался в размышления, которые они у него вызывали»³⁷.

«Итак, — подытоживает Чаадаев свой рассказ о Чарльзе Куке, — я провел с этим человеком лишь несколько часов — время совсем непродолжительное, почти мгновение; с тех пор я не имею о нем никаких известий. И что же! С этим человеком я в настоящее время общаюсь больше, чем с кем бы то ни было (“voilà l’homme, avec lequel je suis à cette heure le plus en société” — *франц.*). Не проходит и дня, чтобы я не вспоминал о нем; и всегда с волнением, с мыслью, которая среди моих столь великих печалей меня ободряет, среди столь многочисленных разочарований меня поддерживает. Вот настоящее общество для разумных существ; поистине, вот как две души влияют друг на друга: пространство и время здесь не могут ничего поделать»³⁸.

На основании этих кратких воспоминаний биограф Чаадаева Б.Н. Тарасов попытался реконструировать эту встречу. Тарасов, видимо, полагает, что слова «провели несколько часов...» означают, что Чаадаев с Куком *вышли из Уффици* и продолжили разговор где-то в городе (что, заметим, совершенно не следует из текста самого Чаадаева): «Выйдя из галереи, они все время говорили о религии, о ее связи с социальными вопросами»³⁹. Мы склоняемся к иному мнению. Ведь интересующее нас событие имело место 31 января, а это зимнее время, по всем свидетельствам (в том числе и нашим личным впечатлениям), совсем не предполагает длительных прогулок по Флоренции. Почти наверняка свой многочасовой разговор Чаадаев с Куком провели, прогуливались туда-обратно по длинной лоджии второго этажа галереи Уффици.

Встреча во Флоренции с англичанином Чарльзом Куком, которого, как мы знаем со слов Чаадаева, «великие произведения искусства почти не трогали», многое объясняет в развитии эстетических взглядов самого Чаадаева. Только в контексте «флорентийской встречи» можно понять затруднительный для многих исследователей фрагмент из седьмого «Философического письма», практически полностью созданный Чаадаевым на основе

³⁷ Там же. С. 462. Во времена Чаадаева (и до 1888 г.) в Лоджии галереи Уффици размещалась в том числе коллекция древностей, которая составила позднее основу Национального археологического музея, расположенного ныне в Palazzo della Crocetta. Версия о том, что встреча Чаадаева с пастором Куком произошла якобы в Palazzo Bargello, не выдерживает критики: музей здесь будет организован лишь в 1865 г.

³⁸ Там же.

³⁹ Тарасов Б.Н. Чаадаев. С. 112.

итальянских впечатлений: «Вы спросите меня, может быть, *всегда ли я сам был чужд этим обольщениям искусства* (курсив мой.— А.К.)? Нет, сударыня, напротив. Прежде даже, чем я их познал, какой-то неведомый инстинкт заставлял меня предчувствовать их, как сладостные очарования, которые должны наполнить мою жизнь. Когда же одно из великих событий нашего века *привело меня в столицу, где завоевание собрало в короткое время так много чудес* (в Париж.— А.К.),— со мной было то же, что с другими, и я даже с большим благоговением бросал мой фимиам на алтари кумиров. Потом, когда я во второй раз *увидал их при свете их родного солнца* (в Италии.— А.К.), я снова наслаждался ими с упоением. Но надо сказать правду,— на дне этого наслаждения всегда оставалось что-то горькое, подобное угрызению совести (“au fond de cette jouissance quelques chose d’amer, semblable à un remords, se cachait toujours”.— *франц.*); поэтому, когда понятие об истине озарило меня, я не противился ни одному из выводов, которые из него вытекали, но принял их все тотчас же без уверток»⁴⁰.

Разумеется, «духовный переворот», случившийся с Чаадаевым во Флоренции, был результатом долгой эволюции. В этом контексте несколько по-иному читаются некоторые фрагменты из более ранних и уже нами цитированных писем Чаадаева, например: «Большой охоты пуститься по Италии не имею, но надобно отделаться, чтоб вперед не иметь более никакой похоти» (из письма брату из Милана от 30 декабря 1824 г.)⁴¹; «Последнее дурное дело (путешествие по Италии.— А.К.); точно, дурное, непозволительное дело! Дома ни одной души нет веселой, а я разгуливаю и веселюсь» (из письма И.Д. Якушкину из Милана от 8 января 1825 г.)...⁴²

Почти столетие спустя, в 1920-х гг. история встречи во Флоренции отставного гусарского ротмистра и протестантского проповедника стала предметом серьезного обсуждения публикатора и переводчика «философических писем», князя Дмитрия Шаховского (внучатого племянника Чаадаева), и его старинного друга Ивана Гревса — крупнейшего итальяниста и автора нескольких книг о Флоренции. В те годы оба, отказавшись покинуть Советскую Россию, по сути, «спасались» ностальгическими разысканиями «ушедшей под воду Атлантиды» — «русской Европы». Шаховской внимательно изучал «европейские следы» Чаадаева; Гревс, в свою очередь, писал книгу «Иван

⁴⁰ Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. Т. 1. С. 421. Чаадаев пытался опубликовать шестое и седьмое философические письма в 1832 г. в типографии А. Семена под названием «Deux lettres sur l’histoire, adressées à une dame» («Два письма об истории, адресованные даме»), однако публикацию не разрешила духовная цензура (см. об этом: Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма, т. 1. С. 690–691; т. 2. С. 526–527, 536–538.)

⁴¹ Там же, т. 2. С. 49.

⁴² Там же. С. 51.

Тургенев и Италия»⁴³. В 1929 г. Шаховской не раз писал Гревсу из Москвы в Ленинград о том, что именно итальянские встречи и впечатления были, несомненно, определяющими в формировании историософии Чаадаева⁴⁴.

...А тогда, зимой 1825 г. во Флоренции, наш путешественник произвел, в свою очередь, сильное впечатление на англичанина Кука — вероятно, тот впервые в жизни общался с «русским европейцем», к тому же за полтора года объездившим пол-Европы. По-видимому, Кук посоветовал тогда Чаадаеву снова приехать в Англию и углубить свои интуиции относительно возможностей «соединения религиозной и гражданской жизни»⁴⁵. Об этом свидетельствует рекомендательное письмо, которое Кук написал тогда к своему лондонскому приятелю, пастору Томасу Марриотту: «Флоренция, Янв. 31, 1825. Милостивый Государь. Позвольте мне рекомендовать вашему знакомству и дружескому вниманию, на время пребывания его в Лондоне, г-на П. Чаадаева, который намерен посетить Англию с целью изучить причины нашего морального благополучия и возможность применить оные к его родине, России (“with the intention of examining the causes of our Moral Prosperity, and the possibility of applying them to his native country, Russia.” — *англ.*)»⁴⁶.

Когда летом 1826 г. Чаадаев возвращался в Россию, следствие по декабристскому делу еще продолжалось. Новый император Николай I старался тогда представить дело так, будто «революционный дух был внесен в Россию горстью людей, заразившихся в чужих краях новыми теориями»⁴⁷; Чаадаев был задержан на пограничном пункте в Брест-Литовске, и найденная в его бумагах записка Кука стала предметом внимательного изучения. Специальная комиссия под руководством некоего «флота капитан-командора Колзакова» (как позже выяснилось, доверенного лица Великого князя Константина, который проявил особое рвение в преследовании «заговорщиков») предложила Чаадаеву «вопросные пункты», и в том числе такой: «Кто таков англичанин Кук и какие именно причины нравственного благоденствия предполагали вы исследовать в Англии?»⁴⁸

⁴³ Гревс И.М. Тургенев и Италия (культурно-исторический этюд). Л.: Брокгауз-Ефрон, 1925.

⁴⁴ Шаховской Д.И. Письма к И.М. Гревсу // Философский век. Альманах № 26. История идей в России: исследования и материалы. СПб.: Санкт-Петербургский центр истории идей, 2004. С. 184–185.

⁴⁵ М.О. Гершензон удачно формулирует эту идею, ставшую подлинным *credo* Чаадаева: «Всякое общественное дело по существу своему не менее религиозно, нежели жаркая молитва верующего» (Гершензон М.О. П.Я. Чаадаев. Жизнь и мышление // Гершензон М.О. Избранные труды в 2-х частях. Часть 2. М.: РОССПЭН, 2010. С. 181).

⁴⁶ Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма, т. 1. С. 759.

⁴⁷ Андреева Т.В. Тайные общества в России в первой трети XIX в.: Правительственная политика и общественное мнение. СПб.: Лики России, 2010. С. 480.

⁴⁸ Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма, т. 1. С. 576.

Чаадаев тогда письменно ответил: «Англичанин Кук известный миссионер. Я познакомился с ним во Флоренции при проезде его из Иерусалима во Францию. Так как все его мысли и весь круг действий обращены были к религии, я же, со своей стороны, говорил ему с горестью о недостатке веры в народе русском, особенно в высших классах. По сему случаю он дал мне письмо к приятелю своему в Лондон, с тем чтобы он мог познакомить меня более с нравственным расположением народа в Англии»⁴⁹. «Так как я в Англии после сего не был,— с чистым сердцем прибавил Чаадаев,— то и письмо это осталось у меня, а с Куком и с Мариоттом никакого после того не имел сообщения и даже о них ничего не слыхал»⁵⁰.

...Короткий разговор Чаадаева с английским пастором Чарльзом Куком в одной из флорентийских галерей 31 января 1825 г. заслуживает того, чтобы попасть в пособия по отечественной культуре. Вспоминаются в этой связи слова Василия Розанова, размышлявшего над известным портретом Чаадаева на фронтиспise первого собрания его сочинений: «Наконец Россия достигла состояния говорить с европейцами европейским языком: и этот первый говорящий — Я»,— говорят губы Чаадаева, этот маленький, сухой, сжатый рот...»⁵¹

На пути к Риму

Решение непременно побывать в «Вечном городе» было принято Чаадаевым, как мы знаем, в Милане. И к этому были важные причины. Дело в том, что 1825-й год был объявлен папой Львом XII «юбилейным», «Святым» годом — собираясь в 1823 г. в Европу, Чаадаев мог еще не знать об этом. Но, оказавшись сначала в католической Франции, а потом в Италии, он в полной мере ощутил экстраординарность происходящего. Десятки тысяч паломников со всего католического мира устремились в Рим в стремлении получить полную индульгенцию за бывшие и будущие грехи⁵².

Молодой русский пейзажист Сильвестр Щедрин, пенсионер Российской Академии художеств, с которым Чаадаев будет потом общаться в Риме, так описал религиозный экстаз, охвативший «Вечный город» и его окрестности (где Щедрин часто писал с натуры) уже летом-осенью 1824 г.: «Теперь

⁴⁹ Там же.

⁵⁰ Там же. См. также: *Шаховской Д.И.* П.Я. Чаадаев на пути в Россию в 1826 году // Литературное наследство. Т. 19–21. М.: Журнально-газетное объединение, 1935. С. 16–32.

⁵¹ *Розанов В.В.* Чаадаев и князь Одоевский // П.Я. Чаадаев: Pro et Contra (ред. А.А. Ермичев, А.А. Златопольская). СПб., 1998. С. 360.

⁵² «Святой год» — юбилейный год от Рождества Христова, празднуется в католическом мире с 1300 г. В 1470 г. папа Павел II выпустил энциклику, согласно которой «юбилейные годы» должны были отмечаться каждые 25 лет, дабы каждое поколение могло реально ощутить величие этого события.

мы приближаемся к святому году, по всем городам разъезжают миссионеры приуготовлять народ к сему торжественному времени; в Альбано я сам был свидетель их поучений, делаемых на большой площади, а по вечерам на градских улицах. Проповедник становился на возвышенное место в первом встретившемся перекрестке и после небольшого поучения колотил себя по голой спине цепями, которые столь остры, что каждым ударом выпускают кровь, народ также оному следовал и колотил себя кому чем пришлось, ужасный крик наполнял городские улицы»⁵³.

В письмах Щедрина родным в Россию не раз отмечается, что даже на фоне тягостной, но уже привычной «несказанной скуки» в патриархальной папской столице⁵⁴ перспективы «Святого года» выглядели крайне удручающе: «Публичные театры и прочие увеселения в конце нынешнего месяца (декабря 1824 г. — А.К.) запрут на целый год (вот тут-то будет весело)...»⁵⁵.

Но то, что раздражало и отпугивало бонвивана Щедрина, стремящегося поскорее вернуться на любимые пленэры Южной Италии: в Неаполь, Сорренто, Амальфи⁵⁶, напротив, манило аскетичного и склонного к самоуглублению Чаадаева. В тому же во Флоренции ему стало известным воодушевившее его обстоятельство: оказывается, в те же месяцы, что и он, по Италии путешествовал его старший друг по университету, один из особо ценимых им людей — Николай Иванович Тургенев (1789–1871). Всего за два месяца до приезда Чаадаева во Флоренцию Тургенев был там, а потом отправился на юг — в Рим, Неаполь и, как поговаривали, даже на Сицилию!

Узнав о пребывании Тургенева в Италии, Чаадаев сразу же написал ему из Флоренции наудачу — в Неаполь с предложением непременно встретиться: «Любезный Николай Иванович. Мне сейчас сказали, что вы были здесь тому месяца два назад, а отсюда поехали в Рим и Неаполь. Мне и в голову не приходило, что вы странствуете... Скажите, где можно нам будет свидеться? Напишите ко мне, когда где вы будете; так как я *шатаюсь по свету без всякой цели* (это была суцная правда. — А.К.), то могу приехать куда прикажете. Если назад поедете через Флоренцию, то я, пожалуй, подожду вас здесь; на всякий случай, прежде шести недель отсюда не выеду, — если до того не получу

⁵³ Итальянские письма и донесения Сильвестра Феодосьевича Щедрина. 1818–1830 (ред. М.Ю. Евсевьев). М. — СПб.: Альянс–Архео, 2014. С. 248.

⁵⁴ В письме родным в Петербург от 7 ноября 1824 г. С.Ф. Щедрин писал из Рима: «По вечерам здесь скука несказанная, театры нестерпимы своими узенькими местами, и скамейки так близки одна к другой, что отбило всю охоту ходить в театры, где, просидевши два часа, кажется, будто бы проехал 25 миль в прусском дилижансе» (Итальянские письма и донесения Сильвестра Феодосьевича Щедрина. С. 250).

⁵⁵ Там же. С. 249.

⁵⁶ Кара-Мурза А.А. Сильвестр Феодосьевич Щедрин // Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские в Амальфи. М.: Альтекс, 2012. С. 21–37.

от вас назначения. На возвратном пути не заедете ли еще раз в Рим? всего бы лучше нам там свидеться. — Могли бы поболее побыть вместе. Впрочем, своего плана для меня, ради Бога, не нарушайте. — У меня никакого нет, следовательно, мне должно сообразиться с вашим удобством, а не вам с моим... Ваш старый друг П. Чаадаев»⁵⁷.

В ответ Тургенев, получивший-таки это письмо, писал 26 февраля 1825 г. из Неаполя: «Какое удовольствие для меня, любезнейший Петр Яковлевич, найти, по возвращении моем из Сицилии, здесь письмо Ваше! Я никак не полагал быть так близко от Вас... Как бы то ни было, вы теперь в Италии и будете к Страстной неделе в Риме (католическая Пасха в том году отмечалась 3 апреля. — А.К.), следственно, я вас увижу... Письмо Ваше от 6 февраля, вероятно, нового стиля. Вы пробудете во Флоренции 6 недель. Следовательно, в половине марта оттуда отправитесь в Рим. Я также еду отсюда между 15 и 20 марта в Рим. Там увидимся»⁵⁸.

Тургенев написал тогда, что думает отказаться от гостиницы «Allemagne» на углу Piazza Spagna и Via Condotti, где жил в декабре-январе, т.к. «Франц (хозяин-немец. — А.К.) непременно хочет, чтобы живущие у него в доме у него же и обедали»⁵⁹, и, чтобы быть на этот раз более независимым, собирается предпочесть «Albergo dell'Europa» рядом с Испанской лестницей⁶⁰. (Этих двух знаменитых в свое время отелей, где некогда жили известные русские, сегодня не существует).

Итак, в середине марта 1825 г. Чаадаев выехал из Флоренции каретой в Рим. Путь из столицы Тосканы в «Вечный город» предполагал в те годы четыре промежуточных ночевки. Выехав из Флоренции из Porta San Niccolò, Чаадаев взял путь на Ареццо, где путешественники обычно обедают, потом ужинал и провел первую ночь в Кортоне.

На второй день справа показалось Lago di Perugia — крупнейшее в Италии Тразиментское озеро; в крепости Monte Gualandro, при выезде из Тосканы, была таможня Папского государства с проверкой документов. Наверняка *vetturino* — возница экипажа, не мог отказать себе в удовольствии указать путешественникам место, где в апреле 217 г. до н.э., в ходе 2-й Пунической войны, Ганнибал разбил высланную ему навстречу из Рима армию консула Гая Фламиния.

Вторая ночевка была в Перудже, столице Умбрии, входившей в те годы в состав папских владений. В середине дня, проехав Фолиньо, путешественники достигли «священных мест», связанных с именем св. Франциска

⁵⁷ Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма, т. 2. С. 52.

⁵⁸ Там же. С. 418.

⁵⁹ Там же.

⁶⁰ Там же. С. 418–419.

Ассизского. Трудно представить себе, чтобы Чаадаев, глубоко интересовавшийся религиозной проблематикой, не проявил интереса, например, к стоящей рядом с почтовым трактом священной для христиан «великой базилики» Санта-Мария дельи Анжели, выстроенной в 1569–1679 гг. у подножия холма в Ассизи, «накрыв» каменную часовенку IX в., именуемую «Порциункула», где молился св. Франциск Ассизский.

Третью ночь путешественники из Флоренции в Рим обычно проводили в Сполето — городке, откуда Ганнибал, после многих побед, вынужден был отступить под давлением превосходящих римских войск.

За Сполето, у местечка Терни, в стороне от основного тракта, находится еще одна всеевропейская достопримечательность, которую Чаадаев не мог не посетить. Это знаменитый водопад Терни, многократно воспетый лучшими поэтами со времен античности. Разумеется, наблюдая водопад, Чаадаев видел нечто иное, чем то, что наблюдают восторженные зрители сегодня: «мраморный каскад», запускаемый на несколько часов в день, уже давно превратился в популярный и прибыльный аттракцион. К счастью, в нашем распоряжении есть изображения водопада Терни времен Чаадаева. Среди лучших картин — работы итальянца Джамбаттисты Басси (1820) и француза Камиля Коро (1826).

Четвертая ночевка на пути из Флоренции в Рим была уже посреди пустынно-унылой Campagna di Roma — обычно это делалось в городке Монтероси, в 35 километрах от Вечного города. За Стортой, последней почтовой станцией перед Римом, вдаль открывается величественный микельанджеловский купол собора св. Петра. Путешественники, приехавшие с севера, въезжали в «Вечный город» через мост Ponte Molle и заканчивали маршрут на Площади народа (Piazza del Popolo) — конечной станции почтовых дилижансов.

В «Вечном городе»

Итак, рассчитывая на встречу с Николаем Тургеневым, Петр Яковлевич Чаадаев приехал в Рим в середине марта 1825 г. и поселился в «Albergo dell'Europa» на Испанской площади. 19 марта он написал брату в Россию: «Я в Риме. Слава богу, здоров»⁶¹.

В те дни выяснилось, что в той же гостинице проживает еще один русский, ожидающий Тургенева. Это был вышедший отставку по здоровью и теперь путешествующий по Европе (в Париже он слушал лекции по философии и истории) полковник лейб-гвардии Финляндского полка, владимирский дворянин Михаил Фотиевич Митьков (1791–1849) — тоже замечательная в своем роде личность. О военной доблести и одновременно

⁶¹ Там же. С. 52.

человеческой скромности Митькова в армии ходили легенды. Еще 16-летним прапорщиком юный Митьков проявил героизм в проигранной русскими битве под Фридландом (1807), за что получил орден св. Анны III-й степени. За Бородино был награжден Золотой шпагой «За храбрость»; со своим гвардейским батальоном прошел заграничные походы, заслужил несколько орденов, потом, уже штабс-капитаном, брал Париж...

Что касается «поведения в быту», то однополчанин Митькова (впоследствии декабрист) А.Е. Розен вспоминал, что, когда во время военных привалов другим офицерам разносили «большие корзины с завтраком», батальонный командир Митьков «каждый раз отказывался от угощения, прося извинить его по нездоровью, но действительная причина заключалась в том, что он не мог разделить эту закуску с целым батальоном своим»⁶². Удивительно, добавляет в своих мемуарах Розен, но точно таким же образом Митьков повел себя, находясь под следствием в Петропавловской крепости: «Однажды спросил я у плац-адъютанта Николаева, получают ли товарищи мои табак, книги, белье от своих родственников? Он сказал мне, что получают те, у которых есть родственники и знакомые в Петербурге, что он вчера отнес узел полковнику Михаилу Фотьевичу Митькову с бельем и английским фланелевым одеялом; но когда он узнал от меня, что не все арестанты, а, напротив того, весьма немногие получают такие вещи из дому, то он снова завязал узел, просил меня возвратить его, сказав, что он может обойтись без этих вещей»⁶³.

Некоторые факты позволяют предположить, что Чаадаев испытывал большой пиетет перед своим новым знакомым. Ведь сам Чаадаев хотя и прошел войну с честью совсем юным офицером, но служил в элитном Семеновском полку, который командование берегло и который почти всегда находился в резерве⁶⁴. Митьков же, будучи всего на три года старше Чаадаева, был настоящим боевым офицером.

В этой связи Д.Н. Свербеев, вспоминая о настроениях Чаадаева во время заграничного вояжа, приводит интересный случай: «Он не скрывал в своих резких выходках глубочайшего презрения ко всему нашему прошедшему и настоящему и решительно отчаивался в будущем. Он обзывал Аракчеева злодеем, высших властей военных и гражданских — взяточниками, дворян — подлыми холопами, духовных — невеждами, все остальное — коснеющим и пресмыкающимся в рабстве»⁶⁵. «Однажды, — продолжает

⁶² Розен А.Е. Записки декабриста. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное изд-во. 1984. С. 160–161.

⁶³ Там же. С. 160.

⁶⁴ В самом конце войны П.Я. Чаадаев сделал попытку перевестись в Ахтырский гусарский полк, но приказ о его переводе состоялся уже после победы над Наполеоном.

⁶⁵ Свербеев Д.Н. Мои записки. С. 377.

Свербеев, — возмущенный подобными преувеличениями, я напомнил ему славу нашей Отечественной войны и победы над Наполеоном и просил пощады русскому дворянству и нашему войску во имя его собственного в этих подвигах участия»⁶⁶. «“Что вы мне рассказываете! — ответил тогда Чаадаев. — Все это зависело от случая, а наши герои тогда, как и гораздо прежде, прославлялись и награждались по прихоти, по протекции”»⁶⁷. И в качестве примера, немного задумавшись, Чаадаев привел пример... давно умершего родного отца, Я.П. Чаадаева, когда-то офицера-семеновца: «В шведскую войну, при Екатерине, оба они с Чертковым (по-видимому, Д.В. Чертковым. — А.К.) были гвардейскими штаб-офицерами и за то, что во время жаркого боя прятались за скалой, получили Георгиевские кресты. Им какой-то фаворит покровительствовал, да и надобно почему-то было, чтобы гвардейские полковники воротились в Петербург с явными знаками отличия за храбрость»⁶⁸.

...В субботу 26 марта 1825 г. из Неаполя по Новой Аппиевой дороге почтовым дилижансом в Рим приехал Николай Тургенев. В Вечном городе он уже бывал дважды: в первый раз в ноябре-декабре 1811 г., потом в декабре 1824 — январе 1825 гг., и хорошо знал Рим. По не до конца понятным причинам он поселился в этот раз не на Испанской площади, а рядом с южной таможенной, в существующей до сих пор гостинице «Albergo Cesari»⁶⁹ на via di Pietra — сюда, в апартаменты друга недалеко от Пантеона, Чаадаев и Митьков в последующие дни будут приходить неоднократно.

Чаадаева, также собиравшегося после Рима в Неаполь, очень интересовали живые наблюдения друга о южном королевстве, которое в начале 1820-х годов оказалось в центре европейской политики. Тургенев рассказал, что, приехав в Неаполь 12 января, он как раз успел к похоронам умершего недель раньше короля Фердинанда I Бурбона. В тот же вечер он проник с толпой в Королевский дворец «для прощания», а с утра 13 января занял купленное им место на одном из балконов на Via Toledo, откуда в подробностях видел траурную процессию⁷⁰.

Покойный король, хотя и косвенным образом, сыграл свою роль в судьбе Чаадаева. Ведь конгресс «Священного союза» 1820 г. в силезском городке Троппау (куда так спешил Чаадаев с рапортом императору Александру) был в значительной мере посвящен именно революции в Неаполе,

⁶⁶ Там же.

⁶⁷ Там же.

⁶⁸ Там же.

⁶⁹ Эта гостиница, которую Н.И. Тургенев в своих мемуарах называет «Локанда Джачинте», была открыта в начале XIX в. синьорой Джачинте Чезари и в обиходе называлась по ее имени «Джачинте». См.: Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева, т. IV. С. 301–302.

⁷⁰ Там же. С. 239–241.

в результате которой король Фердинанд вынужден был даровать своим подданным Конституцию. Однако, вырвавшись в Европу из-под опеки «своего» парламента, он быстро переменял позицию и призвал «Священный союз» силой подавить революцию. Австрийские войска, при моральной поддержке русского правительства, оккупировали тогда Южную Италию; эти события не могли не ускорить эволюцию царя Александра в сторону охранительства и печальным образом отразились на атмосфере в России...

Начиная с «Вербного воскресенья» 27 марта, Чаадаев, Тургенев и Митьков с раннего утра отправлялись в Ватикан, где уже вовсю шли предпасхальные церемонии. Тургенев в тот день записал в дневнике: «С дорогими земляками поехали в Ватикан. Пробрались в капеллу Сикстину и заняли места... Папу (Льва XII. — А.К.) понесли на креслах. Сидя спокойно на креслах, Папа благословлял присутствующих в церкви»⁷¹. И далее: «Чаадаев заметил то же, что и я заметил, быв в первый раз в сей капелле, то есть что *служение более относится к Папе, нежели к Богу* (курсив мой. — А.К.). Всё церемонии, а истинно величественного не видно...»⁷².

Действительно, ощущение отсутствия «истинно величественного» не отпускало Николая Тургенева и во время его предыдущего пребывания в Риме. В дневниковой записи от 12 декабря 1824 г. читаем об очередном посещении Сикстинской капеллы в преддверии грядущего Рождества: «Видели ту же церемонию, что и прежде. Мне и в другой раз было уже довольно скучно видеть эти совершенно пустые церемонии!... Папе целовали ногу, которую он для этого приподнимал, — и это служение истинному Богу!»⁷³

Вот и на этот раз Тургенев, а рядом с ним Чаадаев и Митьков испытывали схожие впечатления, в том числе и от собственно Пасхального богослужения («папской обедни») 3 апреля 1825 г.: «В 10 часов принесли Папу. Началась обедня... По окончании обедни его вынесли в большие двери. Мы с Чаадаевым смотрели на это шествие. Оно только что картинно, но не величественно»⁷⁴.

Однако по мере «вживания в Рим» в настроениях и Тургенева, и особенно Чаадаева добавляются новые нотки. Началось с простого. Недалеко от «Albergo Cesari», где жил Тургенев, есть в Риме церковь Пресвятой Троицы (Santissima Trinita dei Pellegrini), которая с XVI в. считается одним из центров римского паломничества. Заходя туда после походов в Ватикан, Чаадаев и Тургенев поразились некоторым ритуалам, которые в пасхальном Риме соблюдались, оказывается, со всей строгостью.

⁷¹ Там же. С. 302.

⁷² Там же.

⁷³ Там же. С. 200.

⁷⁴ Там же. С. 308–309.

Так, на «Святой неделе» простые паломники, «пеллегрини», пришедшие в Рим со всей Европы, были окружены нарочитым вниманием со стороны местного клира и даже римской аристократии. Тургенев записал в дневнике о первом посещении церкви Троицы: «Там здешние братья мыли ноги пришедшим пелегринам, и мыли *tout de bon* (всерьез. — *франц.*). Налив воды, стоя на коленях, братья ожидали сигнала. Позвонил колокол; все начали творить молитву *Ave Maria*, и началось умывание. Это повторялось несколько раз с различными пелегринами. В числе мывших я видел арабского архиерея. Говорят, что вчера был в числе их принц Луккский. Потом в предлинной зале кормили пелегринов... Братья им служили. В числе служивших я видел *Duc'a di Bonacossi*»⁷⁵.

«Не могу дать себе отчета в том впечатлении, которое произвело на меня все это, — отметил Тургенев. — *Тут есть что-то истинно христианское* (курсив мой. — А.К.)»⁷⁶. Действительно, в России обычай омовения ног нищим давно выветрился, и Чаадаев с Тургеневым, скептики по натуре, засомневались: а вдруг и здесь, в центре католического мира, всё это — простая имитация? «Что за пелегрини? — поначалу задавался вопросом Тургенев. — Зачем они таскаются по свету? Мудрено себя уверить, чтобы чувство религии одно их к тому побуждало. Особливо слыша, что четверо из них недавно ограбили кого-то на дороге»⁷⁷.

Католические ритуалы «угощения нищих и страждущих», «омовения ног» и т.п., строгость и искренность их соблюдения стали, похоже, предметом споров, а потом и «*idée fixe*» для трех русских путешественников. Но одно дело — приходская церковь; совсем другое — церемония в Ватикане с участием самого папы.

30 марта, в «Святой четверг», все трое в очередной раз отправились в Ватикан: «Пробрались в залу, где делается омовение ног (*Sala Clementina* Апостольского дворца. — А.К.). 13 попов, представляющие всех апостолов (включая св. Павла. — А.К.), сидели в белых платьях и белых шапочках, готовые для церемонии. Принесли папу. После некоторых молитв он подходил к каждому из 13, умывал ноги, целовал ноги и давал каждому букет цветов... По окончании сей церемонии мы пробрались в залу (*Sala Regia* Апостольского дворца. — А.К.), где Папа служил сим тринадцати пилигримам за обедом»⁷⁸.

Уходя с утра в Ватикан, Чаадаев, Митьков и Тургенев днем возвращались на правый берег Тибра, гуляли по Монте-Пинчио (сильный дождь переждали в гостинице у Митькова или Чаадаева), потом обедали в любимой

⁷⁵ Там же. С. 302.

⁷⁶ Там же.

⁷⁷ Там же.

⁷⁸ Там же. С. 305.

русскими траттории «Лепре» в самом начале Via Condotti. Гуляя на вилле Боргезе, не раз видели престарелую Марию Летицию Рамолино, мать Наполеона Бонапарта, которая после падения и ссылки сына проживала в Риме в приобретенном ею Палаццо д'Асте Бонапарте на Площади Венеции, а также младшего брата Наполеона — Жерома (Иеронима) и его вторую жену Катарину Вюртембергскую⁷⁹.

Дневники и письма Н.И. Тургенева — это на сегодняшний день основной источник наших знаний о пребывании Чаадаева в «Вечном городе» весной 1825 г. Вот некоторые из записей: «За дождем просидели до обеда у Митькова. Чаадаев весьма говорил умно об Англии, очень забавно о французах. Перед обедом прошли немного по Monte Pincio. Повечеру ели мороженое и болтали в большом кафе» (27 марта); «Из Ватикана пошли к обеду пешком же... За обедом Чаадаев очень умно говорил о христианской религии... Что-то мрачное замечаю я в Чаадаеве» (28 марта); «После обеда в 3 часа я с Чаадаевым опять отправился в Капеллу слушать третье Miserere. Сидели очень спокойно... Поехали домой окружной дорогою... Проезжали Рим по Ponte Sisto. Тени. Ночь покоилась на берегах исторической реки...» (1 апреля) и т. д.⁸⁰

Пасхальное богослужение 3 апреля 1825 г. произвело, конечно, впечатление на русских путешественников. Но кульминацией торжеств стала вечерняя иллюминация на площади св. Петра. Тургенев записал в дневнике: «После обеда, посидев на Monte Pincio, поехали в 5 часов на площадь (св. Петра.— А.К.). Вошли в церковь... Когда стало смеркаться, вышли на площадь, маленькая иллюминация уже началась. Горели фонари по карнизам церкви и колоннады. В $\frac{3}{4}$ 8-го, по удару колокола, вдруг зажглись везде большие плашки — вид единственный. В одну минуту вся эта громада, купол, церковь, колоннада, сияла. Тогда-то купол (построенный по чертежам самого Микельанджело — А.К.) — эта осуществленная смелость мысли человека, представился во всей своей огромности, в настоящем своем виде»⁸¹.

Потом Тургенев, Чаадаев и Митьков проехали в экипаже вокруг площади: «Множество карет разъезжало в различных направлениях. Я насчитал подле нас 10 рядов карет. Между ними ходили пешеходы — и всем было просторно! Вид площади был также прекрасный. Она была освещена светлее, нежели всякая зала для бала. Народ и экипажи двигались по всему ее пространству»⁸².

Далее путешественники отправились на правый берег Тибра, на Monte Pincio, чтобы оттуда, сверху и на некотором расстоянии, взглянуть на

⁷⁹ Там же. С. 304.

⁸⁰ Там же. С. 303, 304, 305.

⁸¹ Там же. С. 309.

⁸² Там же.

иллюминированный Собор: «Тут было торжество купола. Как огромная митра, он возвышался над всем Римом. Все окружающее его было покрыто темнотой ночи. Один он возвышался, как Этна, над Римом»⁸³. Наши соотечественники подумали тогда о символичности этой картины для многих тысяч других «пеллегринов», стремящихся в Вечный город со всех концов света: «Сколько мыслей о новом Риме, о сем средоточии католического мира. Ватиканская базилика в огне посреди развалин и пустыни!»⁸⁴

Из записей Тургенева следует, что в те весенние недели в «Вечном городе» они с Чаадаевым беспрестанно спорили о ситуации в России. Возвращаясь из Ватикана («луна светила; ночь была тихая, теплая»⁸⁵), они обычно заходили в гостиницу к Чаадаеву и долго обсуждали новости о новых перестановках при императорском дворе из привезенных Чаадаевым из Флоренции газет⁸⁶.

Напротив, произведения искусства, которые Чаадаев, заодно с друзьями, исправно осматривал в Риме, волновали его ощутимо меньше. А ведь многое из того, что он, Тургенев и Митьков увидели весной 1825 г. в дворцах и галереях Рима, они уже ранее видели в покоренном ими Париже, куда Наполеон свозил итальянские шедевры в качестве трофеев. Тем более удивительно, что теперь, когда эти картины и статуи вернулись в Италию, Чаадаев проявил к ним демонстративное равнодушие — и всё это на фоне восторгов рьяных поклонников искусств Тургенева и Митькова. Более того, когда между друзьями возникали «искусствоведческие» споры (например, кто выше: Рафаэль или Доменикино?⁸⁷), холодный Чаадаев предпочитал отмалчиваться.

«Тема Колизея»

А еще Тургенев, Чаадаев и Митьков много катались по Риму верхом. Вот запись Тургенева от 30 марта: «Вчерашнее утро было, конечно, одним из приятнейших в моей жизни... Прочитав газеты, я встретил Чаадаева и пошел к нему. В 12 часов мы сели все трое на лошадей и поехали мимо Траяновой колонны на Форум. Смотрели на прелестные его развалины. Объехали около Колизея, отчасти под его огромными арками. — “Скифы ездили по Колизею”, — заметил Чаадаев»⁸⁸.

Колизей — главное открытие Чаадаева в Риме. Именно ему он посвятит большой историософский пассаж, который был найден кн. Д.И. Шаховским в архиве Чаадаева и который он посчитал правильным опубликовать в качестве «приложения» к седьмому «Философическому письму»: «В этом самом

⁸³ Там же.

⁸⁴ Там же. С. 309–310.

⁸⁵ Там же С. 305.

⁸⁶ Там же.

⁸⁷ Там же. С. 303.

⁸⁸ Там же. С. 304.

Риме, о котором столько толкуют, осматривать который все ездят и который так мало понимают, имеется удивительный памятник, о котором можно сказать, что это древнее произведение, продолжающее жить и поныне, деяние другого века, остановившееся среди течения времени: это Колизей»⁸⁹.

«На мой взгляд, — продолжает Чаадаев, — нет исторического явления, которое пробуждало бы столько глубоких мыслей, как вид этой развалины, которое бы лучше выявляло характерные черты двух эпох человечества и которое бы убедительнее свидетельствовало о великой аксиоме истории, что никогда не было ни настоящего прогресса, ни настоящей устойчивости в обществе до эпохи христианства. Эта арена, куда римский народ толпами приходил упиваться кровью, где весь мир язычества так верно отражался в ужасающей игре, где вся жизнь того времени развертывалась в своих живейших наслаждениях, в своих самых блестящих торжествах, — разве она действительно не возвышается здесь перед нами, чтобы показать, к чему пришел мир в такое время, когда все имеющиеся в человеческой природе силы были пущены в дело сооружения социального здания, а между тем крушение его возвещалось со всех сторон и должна была наступить новая полоса варварства? И там же впервые пролилась кровь, оросившая основание нового здания. Не стоит ли этот памятник целой книги? И удивительно, что он никогда не возбуждал исторической мысли, заключающей в себе эти великие истины!»⁹⁰

В своих историософских заметках о Колизее Чаадаев вступил в прямую полемику с главным авторитетом на тот момент — английским историком Эдуардом Гиббоном, автором многотомной «Истории упадка и разрушения Римской империи», прочитанной Чаадаевым в английском оригинале: «Между толп путешественников, стекающих в Рим, нашелся, впрочем, один, который при взгляде на памятник с соседней и также знаменитой высоты, с которой он мог наблюдать памятник в его поразительном обрамлении (с Палатинского холма. — А.К.), по его же словам, вообразил себе, что он воочию видит, как развертываются перед его глазами века, объясняющие ему загадку своего движения. И что же? Этот человек заметил там только шествия триумфаторов и капуцинов...! Как будто там ничего не происходило помимо триумфов и процессий»⁹¹. «Мелкая и жалкая идея, — заключает Чаадаев, — которая принесла нам лживое произведение, столь известное всем: настоящее поругание со стороны одного из самых великолепных человеческих гениев, какие когда-либо были!»⁹²

⁸⁹ Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма, т. 1. С. 418 (прим.).

⁹⁰ Там же.

⁹¹ Там же. С. 418, 420.

⁹² Там же. С. 420.

Чаадаев, по сути, явился одним из первооткрывателей в нашей литературе плодотворной в историософском отношении «темы Колизея», которая стала отчетливо приоритетной и как-то по-особенному интимной в контексте русских размышлений о «Вечном городе».

Юный Иван Тургенев, с детства бредивший античностью (а потом и профессионально изучавший ее в Москве, Петербурге, Берлине) сделал именно ночной Колизей декорацией своей первой, еще полудетской поэмы «Стено» (1834)...⁹³

Когда весной 1839 г. в Рим приехал историк Михаил Погодин, его приятель Николай Гоголь, на правах «римского старожила», потащил его в Колизей: «Посредине, на небольшом дерновом возвышении, стоит простой деревянный крест с изображением распятого Господа. Мы прилегли у подножия. День был прекрасный. Солнце сияло. Тишина восхитительная, упоительная. Только птички пели так приятно, так беззаботно, так весело! А как расстилается плющ по этим развалинам... кое-где мелькают весенние цветочки... Давно я не чувствовал такого наслаждения. Что за спокойствие было на сердце. Как все хорошо это: и небо, и воздух, и этот плющ, и птички, и этот смиренный крест... на месте беев гладиаторских со львами и тиграми, где лилась кровь, и сто тысяч рукоплескало победителям!»⁹⁴ Тогда, в римском Колизее, славянофил Погодин сказал «римлянину» Гоголю: «Оставайся, брат, здесь... Я понимаю, что ты мог зажитья. Твои теперешние впечатления принесут Отечеству плод сторицею»⁹⁵.

Молодой Макс Волошин, путешествовавший по Италии летом 1900 г., достигнув Рима, пошел с друзьями в Колизей (запись в дневнике: «15 июля, 12 часов ночи»), где они наперебой сочиняли шуточные «стихи-пугалки» на тему Колизея: «Спит Великан Колизей, /Смотрится месяц в окошки, /Тихо меж черных камней /Крадутся черные кошки...»⁹⁶ Этих безобидных созданий юный ироничный поэт, полностью в чаадаевской традиции, назвал «потомками пантер», «скушавших столько народу /Всем христианам в пример, /Черни голодной в угоду...»⁹⁷

А когда перед первой мировой войной русский литератор Михаил Осоргин водил экскурсии по Риму для групп русских земских учителей,

⁹³ Кара-Мурза А.А. Рим Ивана Тургенева (1840) // Философские науки, 2018, № 7. С. 127–128; Kara-Murza A.A. Spiritual Rebirth: Ivan Turgenev's 1840 Trip to Rome // Russian Studies in Philosophy, 2018, vol. 56, № 5. P. 434–443.

⁹⁴ Погодин М.П. Год в чужих краях (1839). Дорожный дневник. М.: Тип. Н. Степанова, 1844, часть II. С. 10.

⁹⁵ Там же.

⁹⁶ См.: Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Риме. М.: Изд-во О. Морозовой, 2014. С. 265.

⁹⁷ Там же.

кульминацией программы было посещение ночного Колизея, где русские «скифы», пользуясь определением Чаадаева, дикими голосами хором распевали «Вниз по матушке по Волге»...⁹⁸

Встречи с русскими художниками

В дневнике Н.И. Тургенева отмечено, что в понедельник 4 апреля 1825 г., они с Чаадаевым, обедая в трактире «Лепре», разговорились с группой русских художников — Сильвестром Щедриным, Федором Бруни и Семеном Гальбергом, у которых в ресторане был собственный «русский стол»⁹⁹. По-видимому, именно тогда Тургенев, хорошо знавший наших стажеров по своему предыдущему пребыванию в Риме, договорился, что назавтра они вместе с Чаадаевым посетят их мастерские.

Первой Чаадаев с Тургеневым пришли в мастерскую Ф.А. Бруни (1799–1875) на Via Margutta, 5. Федор (тогда еще Фиделио) Бруни приехал в Рим на скромные средства отца-художника и пользовался покровительством давно живущей в Италии княгини Зинаиды Волконской. К двадцати четырем годам Бруни уже успел получить известность в Риме: его картина «Смерть Камиллы, сестры Горация» (1824) была отобрана для показа в Капитолийской галерее¹⁰⁰.

В мастерской молодого художника Чаадаев с Тургеневым посмотрели только что оконченную в Риме «Святую Цецилию» — картину, изображающую деву-мученицу III-го века н.э., которая в католической культуре стала покровительницей церковной музыки. Показал Бруни и свою любимую картину — «Портрет княгини З.А. Волконской», на которой Волконская, талантливая певица контральто, изображена в костюме Танкреда из одноименной оперы Джоакино Россини по мотивам трагедии Вольтера, поставленной в начале 1820-х гг. в частном римском театре княгини.

Затем Чаадаев с Тургеневым взойшли по Испанской лестнице, прошли к Piazza Barberini, откуда поднялись к монастырю Sant Isidoro, напротив которого на одноименной улице жили пенсионеры Императорской Академии художеств пейзажист Сильвестр Феодосьевич Щедрин (1791–1830) и скульптор Самуил Иванович Гальберг (1787–1839)¹⁰¹.

В мастерской Щедрина посмотрели недавно законченные виды «Вечного города» из серии «Новый Рим» — с замком св. Ангела на переднем и базиликой св. Петра на заднем плане¹⁰².

⁹⁸ Там же. С. 322.

⁹⁹ Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева, т. IV. С. 310.

¹⁰⁰ Привезенная через десять лет в Россию, «Смерть Камиллы» принесет ее Бруни звание академика живописи.

¹⁰¹ В 1837 г. в этом же доме, только в соседнем подъезде, поселится Н.В. Гоголь.

¹⁰² Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева, т. IV. С. 310.

Но самое любопытное ждало Чаадаева с Тургеневым в мастерской скульптора Гальберга. Там они, во-первых, увидели гипсовую модель будущего шедевра, украшающего сегодня зал Третьяковской галереи, — мраморной скульптуры «Начало музыки. Фавн, прислушивающийся к звуку ветра в тростнике». Замысел этой, возможно лучшей, работы 38-летнего Гальберга была навеяна ему известным стихом римского поэта-философа Лукреция из его трактата «О природе вещей»: «Свист же Зефира в пустых стеблях камышовых впервые дуть научил поселян в пустые тростинки цевницы...»

Но, конечно, еще больше должны были поразить Чаадаева гипсовые модели будущей скульптуры «Граф Остерман-Толстой в бою под Кульмом», заказанной мастеру самим А.И. Остерманом-Толстым в бытность его в Риме¹⁰³.

История эта была прекрасно известна Чаадаеву, который считал битву под Кульмом 17 августа 1813 г. вершиной собственной военной биографии — он тогда сам был награжден прусским «Кульмским крестом»¹⁰⁴.

Граф Остерман-Толстой командовал в том бою 1-й Гвардейской пехотной дивизией в составе Измайловского, Егерского и находившихся до поры в резерве лейб-гвардии полков Преображенского и Семеновского, в котором служил Чаадаев. Критическая обстановка (прорыв французского корпуса генерала Вандама) потребовала тогда задействовать все резервы, и молодой прапорщик впервые в жизни, по сути, оказался в настоящем сражении. Он, конечно же, великолепно знал о кульмском подвиге своего боевого командира. Остерман-Толстой получил тогда тяжелое осколочное ранение левой руки. Руку пришлось ампутировать почти по плечо прямо на поле боя: хирургическим столом послужил походный барабан. Без единого стога, граф мужественно выдержал мучительную процедуру, приказав солдатам петь хором русскую песню. Согласно легенде, в ответ на сочувственные возгласы обступивших его подчиненных, Остерман-Толстой произнес тогда: «Быть раненому за Отечество весьма приятно, а что касается левой руки, то у меня остается правая, которая мне нужна для крестного знамения, знака веры в Бога, на коего полагаю всю мою надежду...»

В своем дневнике адъютант Остермана-Толстого, Иван Лажечников, записал вскоре после кульмского сражения: «Гордись, Россия! Дух сынов твоих победил величие Греции и Рима. Ты не имеешь более нужды, в пример питомцам твоим, указывать на родину Леонидов и Сципионов: ты перенесла её с сими Героями на священную твою землю. Потомство твое, при новых

¹⁰³ Граф А.И. Остерман-Толстой, будучи любимцем царя Александра I, не поладил с новым императором Николаем I и большую часть времени проводил в Италии.

¹⁰⁴ За битву при Кульме прапорщик Петр Чаадаев был награжден еще и орденом Св. Анны III-й степени, но «Кульмский крест» был ему особенно дорог: он часто носил его на левой стороне груди, будучи в партикулярном платье. А.И. Герцен так и запомнил его: «Ротмистр с железным кульмским крестом на груди...»

непомерных подвигах мужества, не будет более говорить: они сражались и умирали, как спартанцы при Фермопилах. Нет! Сыны и внуки наши скажут тогда: они сражались и побеждали, как русские под Кульмом»¹⁰⁵.

С выполненных С.И. Гальбергом в начале 1820-х гг. в Риме гипсовых моделей, были позднее сделаны мраморные копии и бронзовые отливки. Одна стояла в подмосковном имении Остермана-Толстого Ильинском (в качестве паркового украшения), другая — в его петербургском доме на Английской набережной. Д.И. Завалишин, будущий декабрист, был нередким гостем в доме Остермана-Толстого и видел в одной из комнат скульптуру Гальберга, по его утверждению, «надгробный памятник Остерману, самим им себе заготовленный... Он изображен лежащим, опираясь рукою на барабан, как и происходило это при операции; возле лежала оторванная рука, и в барабан были вделаны часы, на которых стрелки означали время получения тяжелой раны, и была надпись латинская: *Vidit horam; nescit horam!* («видит час, но не знает час». — лат.)»¹⁰⁶.

...Познакомился Чаадаев в Риме и с еще одним русским художником, Петром Васильевичем Басиным (1793–1877). Произошло это, согласно записям Тургенева, во вторник, 12 апреля 1825 г., когда Чаадаев, Тургенев и Митьков осматривали знаменитые фрески Рафаэля в Ватиканском дворце. В Станцах д'Элиодоро они нашли Басина, который в те месяцы ежедневно приходил в Ватикан, где копировал две фрески Рафаэля: «Изведение Петра», рассказывающую о чудесном освобождении апостола Петра из темницы, и «Месса в Больсене», изображающая чудо, которое произошло в 1263 г., когда во время богослужения евхаристический хлеб (хостия) в руках у неверующего священника обагрился кровью. Согласно записям Тургенева, Басин долго и подробно рассказал трем русским путешественникам о художественном методе Рафаэля и секретах различных красок¹⁰⁷. Облик молодого живописца Басина хорошо передан его другом С.Ф. Щедриным в портрете, написанном примерно в интересующее нас время.

С русским художником Сильвестром Щедриным связана для П.Я. Чаадаева еще одна любопытная римская история. Благодаря счастливому стечению обстоятельств, мы опять можем назвать точное время и место случившегося события.

Уже уехав из Рима в Неаполь, Сильвестр Щедрин написал оттуда в Петербург брату Александру: «Слышал ли ты когда-нибудь о бичевании (*Dissciplina*), так она называется у римских католиков? Проживши около

¹⁰⁵ Лажечников И.И. Походные записки русского офицера 1812, 1813, 1814 и 1815 годов. М., 1820. С. 208–209.

¹⁰⁶ Завалишин Д.И. Воспоминание о графе А.И. Остермане-Толстом // Исторический вестник. СПб., 1880, № 5. С. 95.

¹⁰⁷ Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева, т. IV. С. 315.

семи лет в Италии, я никогда не имел любопытства туда войти, тем более, что римляне мне сказывали, что там иногда поколачивают любопытствующих. Н.И. Тургенев, встретившись со мною, предложил туда зайти, с страхом я вошел, и мы сели в сторонке»¹⁰⁸.

«В Оратории *Cara Vita*, принадлежащей иезуитам,— продолжает Сильвестр Щедрин,— собираются богомольцы один раз в неделю, в *Ave Maria*, то есть по закате солнца; вся Оратория освещена небольшим светом от престола. Священник читает ектеньи, народ поет гимны богородицы, и это продолжается довольно долго, так что мы думали, этим и кончится; дьячок, подошедши к дверям, постучал, это обыкновенный знак, что церковь хотят запирасть, на сей стук я оглянулся и увидел кучу веревок с узлами, висевших у него на руке, почему некоторые вышли; между тем как я от страха колебался, не зная, на что решиться, как двери заперли на ключ, погасили свечи, глубокое молчание царствовало с минуту»¹⁰⁹.

«Наконец, священник,— заканчивает свой рассказ Щедрин,— сказавши небольшую речь, воскликнул *viva Maria* (славься, Мария — *итал.*), за ним народ повторил то же, и пошла хлопотня, ты сам себе можешь представить мое положение, я закрыл голову полою моего сертука, ожидая ударов ежеминутно; между тем началось пение, сопровождаемое всегда бичеванием, наконец, церковь осветили, и все было в порядке, выключая моей внутренности, которая еще продолжала трястись. Вышедши оттуда, я рассуждал, что все надо видеть собственными глазами, ибо г. путешественники делают все эти описания ложны, или как бы сказать, непременно хотят обратить все в дурную сторону, на меня это не сделало никакого дурного впечатления, всякий вправе чувствовать и молиться по своему образу мыслей, лишь бы не было вреда другому, к тому ж нет к оному никакого принуждения»¹¹⁰.

Удивительно, но описание той же самой истории (редкая удача!), связанной с обрядом «флагелляции» (от лат. *flagellum* — плеть, бич) и произошедшей в *Oratorio del Caravita* (построенной в XVII в. во имя св. Франциска Ксаверия — католического миссионера, одного из основателей Ордена иезуитов), мы находим в римском дневнике Николая Тургенева. Оказывается, в интересующих нас событиях (которые Щедрин, как выясняется, изрядно драматизировал) принял участие еще один персонаж — Петр Чаадаев!

«Пообедав наскоро,— пишет в дневнике Тургенев о событиях субботы 9 апреля 1825 г.— пошли в церковь *Caravita*. Сначала пели. Потом потушили свечи. Поп сказал несколько слов к слушателям о страданиях, кажется, Богоматери. Потом закричал *Evviva Maria* и началось хлестанье! Мы сидели

¹⁰⁸ Итальянские письма и донесения Сильвестра Феодосьевича Щедрина. С. 265.

¹⁰⁹ Там же.

¹¹⁰ Там же.

в углу. Подле нас было 2 попа, которые однако же, не хлестались. Хлестанье, начавшееся в молчаньи, продолжалось и кончилось с молитвами. По окончании зажгли опять свечи, пели; было благословение сакраментом. Две группы вышли из церкви и с пением пошли по улице к образам Мадонны. Люди, кажется, всякого состояния тут были. За мороженым мы рассуждали о сей *pratique religieuse* (религиозной практике — А.К.). Чаадаев (*sic!*) весьма умно толковал, что все, даже и незначительные, *pratiques religieuses* полезны как напоминание...»¹¹¹

Прощание с «Вечным городом»

Поразительно, но на фоне подробных дневниковых записей Николая Тургенева о католических церемониях, которые они ежедневно наблюдали в Риме вместе с Чаадаевым, в его дневнике *нет практически ничего*, что имело бы отношение к Православной Пасхе, которая в 1825 г. отмечалась через неделю после католической — 10 апреля.

Это тем более удивительно, что в свое время, когда Николай Тургенев учился в Геттингенском университете, он каждый год с трепетом ожидал наступления русской Пасхи. Вот что он, например, записал в своем дневнике вечером «Великой субботы» 13 апреля 1811 г. (в тот год Пасха в Европе и России отмечалась в один день), в предвкушении Чуда, за пятнадцать минут до полуночи: «Радостно бьется теперь сердце у 40 миллионов Русских. Россия через четверть часа — в радости истинной, чистейшей»¹¹². «Если когда-либо Зиждитель мира мог радоваться своим творениям, — продолжает восторженный Тургенев, — то это, конечно, в первый день светлого праздника, смотря на Русскую землю... Где найдешь тебе подобного, великодушный, храбрый, величавый, одним словом, Русский Народ!... Радуйся, благословенный народ, лучшее произведение Руки Творческой! Радуйся и чувствуй свою радость, свое существование!»¹¹³

А в конце этой записи «геттингенского юноши», уже почти три года проучившегося в немецкой земле, — предельно «славянофильский» пассаж, поразительный для будущего лидера русского либерального западничества: «И между тем, как сорок миллионов моих соотечественников находятся теперь в очаровательном волнении, я, отгороженный от отчизны, между презренными иноплеменниками, осужден только чувствовать свое несчастье — но нет: и я буду радоваться при одной мысли, что Русской народ теперь радуется. Сердце Русское бьется и под другим небом при воспоминаниях

¹¹¹ Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева, т. IV. С. 313.

¹¹² Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева за 1806–1811 г. Т. 1, СПб.: Тип. Императорской АН, 1911. С. 297.

¹¹³ Там же.

о веселящихся миллионах своих единоземцев. Презрение к бесчувственным сердцам Немецким! нет для них радости: Рок судил им быть Немцами... Чем более возвышаюсь я к духу Русского народа, чем более чувствую достоинство, тем более невольно чувствую презрение к тем, с коими протрадал уже почти 3 года»¹¹⁴.

Между тем, несмотря на все ограничения, налагаемые в папском Риме на все иные, кроме католицизма, конфессии, православная церковь в интересующее нас время (весна 1825 г.) в Риме была. Еще в 1803 г., указом императора Александра I, при русской миссии при папском престоле учреждался греко-русский православный приход. Правда, создание собственно церкви, в связи со сложной геополитической обстановкой в Европе, постоянно откладывалось, и православный храм в Риме во имя св. Николая Мирликийского был освящен лишь в 1823 г. Он первоначально располагался в доме русского посольства в Palazzo Rondinini по адресу: Via del Corso, 518¹¹⁵.

Единственное «мероприятие» в весеннем Риме 1825 г., которое, по-видимому, можно отнести к разряду «православно-пасхальных» и в котором приняли участие Тургенев и Чаадаев, был обед во вторник 5 апреля у русского посланника Андрея Яковлевича Италинского в нашем посольстве в Palazzo Rondinini. Тургенев сделал в дневнике короткую отметку: «Обедали у посланника. Гостей было за столом человек 60. В огромной галерее с славными фресками был накрыт широкий, длинный стол, пышно убранный. Много было русских. Стол был хорош. Я болтал с Чаадаевым, с которым всегда мне быть весьма приятно. Я могу ездить на эти обеды только из любопытства, ибо в прочем мне они очень трудны»¹¹⁶.

...12 апреля, за два дня до своего отъезда из Рима, Николай Тургенев записал в дневнике: «Теперьшнее мое пребывание в Риме будет для меня особенно памятно. Я прожил здесь с лишком две недели, ездя, ходя с таким человеком, каков Чаадаев, по развалинам Рима. Кроме приязни давнишней, общество его для меня весьма дорого и по его умному разговору, по вниманию, которое он обращает на все предметы физические и нравственные»¹¹⁷.

¹¹⁴ Там же. С. 297–298.

¹¹⁵ Позднее, православная церковь, интерьер которой был создан по проекту К.А. Тона, «кочевала» вслед за русским посольством: Palazzo Chigi-Odescalchi (1828–1836), Palazzo Doria-Pamphili (1826–1845), Palazzo Giustiniani (1845–1901) и т.д. Православные богослужения в домашних храмах нашего посольства в Риме многократно описаны русскими путешественниками.

¹¹⁶ Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева. Т. IV. С. 311.

¹¹⁷ Там же. С. 315. О днях, проведенных в Риме весной 1825 г., Николай Тургенев рассказал в письме брату Сергею от 13 апреля: «Часто мне казалось весьма странным, что случай привел меня в Рим вместе с Чаадаевым. Я его всегда любил и уважал, но теперь более чем когда-либо умею ценить его. В продолжении всего путешествия голова его весьма хорошо образовалась. Размышления и болезнь (и он терпит от желудка) сделали, однако же, его несколько мрачным...» (Декабрист Н.И. Тургенев. Письма к брату С.И. Тургеневу. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1936. С. 458).

Этот день они провели так: «Почитав газеты, пошли все трое в Ватикан... Оттуда пешком же прошли на Monte Citorio и, выпив по чашке шоколада, поехали на Виллу Боргезе. Там расположились в тени на траве и болтали, спорили о России... Потом приехали к обеду. И тут толковали о религии и проч. Потом в Café и, наконец, на Corso, разговаривая с Чаадаевым, мы согласились, что мы жизнь нашу *verfangt* (запутали. — нем.) и сами никуда не годимся»¹¹⁸.

А вот и последний вечер Тургенева в Риме, 13 апреля: «Уклавшись, пошел на улицу. Мне было очень, очень грустно. Оставляю Рим весьма неохотно, потому что оставляю Чаадаева, с которым мне так было хорошо!... С ним и Митьковым обедал, и повечеру сидел на лестнице Piazza di Spagna. Все толкуем и рассуждаем. С Чаадаевым тем хорошо, что он и сам рассуждает, и меня заставляет рассуждать... Дилижанс едет в час пополудни...»¹¹⁹

Авторы примечаний ко второму тому «Полного собрания сочинений и избранных писем» Чаадаева, конечно, ошибаются, когда пишут (в комментарии к флорентийскому письму Чаадаева к Николаю Тургеневу от 6 февраля 1825 г.): «Чаадаев и Н.И. Тургенев съехались в Риме и прожили там *около двух месяцев* (курсив мой. — А.К.)»¹²⁰. Причиной ошибки является неверная трактовка фрагмента из письма самого Чаадаева к брату Михаилу от 25 мая 1825 г. о пребывании в Риме: «Я провел там два приятных месяца, отгадай с кем? с старым и добрым своим приятелем Ник. Тургеневым»¹²¹. Дневник самого Николая Тургенева однозначно свидетельствует, что он на этот раз прожил в Риме без малого *три недели*: приехал в Рим в субботу 26 марта и уехал в четверг 14 апреля 1825 г. Что касается Чаадаева, то он действительно прожил в Риме два месяца: приехав в Вечный город на неделю раньше Тургенева, он покинул его спустя примерно месяц после отъезда друга.

И причиной очередной задержки было отсутствие денег на путешествие. Об этом мы узнаём из более позднего письма Чаадаева брату из Карлсбада: «Деньгами не нуждаюсь... Когда могу — занимаю, когда же не могу — живу на месте, вот вся беда; а иногда не только что не беда, но и счастье, например, в Риме я прожил по этой причине лишний месяц, и это точно пресчастливым случаем...»¹²²

После Рима

После Рима Чаадаев поехал не на юг, в Неаполь, как планировал, а снова во Флоренцию. 25 мая 1825 г. он писал оттуда брату: «Собирался я в Неаполь, потому не отвечал тебе, хотел оттуда отвечать; вместо Неаполя очутился я во

¹¹⁸ Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева, т. IV. С. 315–316.

¹¹⁹ Там же. С. 316.

¹²⁰ Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма, т. 2. С. 301.

¹²¹ Там же. С. 54.

¹²² Там же. С. 54–55.

Флоренции, по какому именно случаю, долго тебе сказывать, но главное ветер, называемый сирокко, про который ты, вероятно, слышал, но того, конечно, об нем не знаешь, что для сложений, подобных моему, он убийственная вещь, — в Риме испытал я его действие, бегу от него на север»¹²³.

Из того же письма следует, что в столице Тосканы Чаадаев был на этот раз две недели, примерно с 13 по 27 мая (похоже, он задержался там, чтобы вновь насладиться богатствами «читальни Вьессё» в Палаццо Буондельмонти), а после этого отправился в Венецию.

Маршрут путешественника средней руки из Флоренции в Венецию занимал во времена Чаадаева четыре полных дня и был настолько «отработан», что мы смело можем назвать все основные вехи этого пути. Путь проходил через Апеннины на Болонью, потом на Феррару, где папские владения кончались. На берегу реки По путешественники пересаживались в почтовую гондолу, на борту которой достигали устья По, выходили в Адриатику и, минуя Кьоджу, по Венецианской лагуне приплывали в «город на воде».

В карлсбадском письме Чаадаева брату от 28 августа 1825 г. есть очень странный фрагмент о его пребывании в Венеции: «Я был там (в Венеции. — А.К.) в самое то время, в которое в старину бывал там карнавал, а выехал в самый день, в который Дождь бывало пирует свою свадьбу с морем...»¹²⁴

Б.Н. Тарасов, автор интересной биографии Чаадаева, попытался объяснить поведение Чаадаева: «Во Флоренции он задержался на две недели и лишь затем продолжил свой путь в Венецию, резкое своеобразие которой должно было остановить на себе его внимание... В свое время он специально задержался в Лондоне, чтобы посмотреть праздник Лорда Мэра. А сейчас без сожаления покидает город в день не менее интересного торжества, когда венецианский Дождь “пирует свою свадьбу с морем”. Рим, “единственный Рим”, вытеснил все мыслимые и немыслимые итальянские впечатления»¹²⁵.

Увы, авторитетный исследователь в данном случае пошел по ложному пути. В 1825 г., когда Чаадаев был в Венеции, там, конечно, не было и не могло быть никакого праздника «свадьбы дождя с морем». По очень простой причине: последний дождь Венеции был низложен Наполеоном еще в 1797 г.! А потом французские солдаты разграбили и сожгли знаменитый «Бученторо» — украшенный золотом корабль Дождя, на борту которого во времена Республики, собственно, и проходил обряд «обручения с морем». Биограф, к сожалению, просмотрел в чаадаевском письме брату ключевое слово: «бывало» (т.е. «бывало в прошлом»).

¹²³ Там же. С. 53.

¹²⁴ Там же. С. 55.

¹²⁵ Тарасов Б.Н. Чаадаев. С. 123.

Странность «венецианского фрагмента» путешествия Чаадаева, на наш взгляд, состоит еще и в другом. Из писем Чаадаева можно высчитать, что приехал он в Венецию в последних числах мая или первых числах июня и пробыл там очень недолго. А потому фраза: «выехал в самый день, в который Дождь бывало пирует... и т.д.» — это мистификация, и не столько по причине отсутствия тогда самого праздника, сколько потому, что ритуал «обручения дождя с морем» всегда совершался в свободной еще Венеции в праздник Вознесения — т.е. на 40-й день после Пасхи. В 1825-м году это был четверг 12 мая, когда Чаадаев был еще на пути из Рима во Флоренцию.

Но и на этом «странности» карлсбадского письма Чаадаева о его пребывании в Венеции не заканчиваются. Слова: «я был там в самое то время, в которое в старину бывал там карнавал...» — тоже мистификация. Венецианский карнавал, запрещенный Наполеоном, а потом и австрийцами, традиционно праздновался, как и всякая масленица, в *феврале*. Последний день карнавала, его кульминация — Жирный Вторник; за ним следует сорокадневный пост перед Пасхой.

Закономерен вопрос: зачем понадобились Чаадаеву все эти «венецианские сказки»? Похоже, прав М.О. Гершензон, обративший внимание на общие особенности писем Чаадаева к тетке и брату из-за границы: «Он знает, что и они живут в непрерывной тревоге за него, главное — за его здоровье, и потому старается в письмах казаться бодрым и даже веселым. Поэтому его письма представляют собою своего рода *систематический обман* (курсив мой.— А.К.),— очень обычный спутник пугливо-нежной семейственности. Разумеется, этот обман не всегда удается скрыть»¹²⁶. «Венецианские сказки» Чаадаева — характерный тому пример.

Но и это, я думаю, не самое главное. Ключевое слово в письме Чаадаева о Венеции — ностальгическое «*бывало*». Русский путешественник не мог не сочувствовать свободной Республике Дожей, задавленной сначала Наполеоном, а теперь и Австрийской империей, цинично подчинившей Венецию еще и своему миланскому вице-королю из Габсбургов. Во времена Чаадаева даже патриарх оккупированной Венеции назначался австрийским императором, и, по совместительству, ломбардо-венецианским королем. В 1825 г. первоиерархом Венеции был назначенный Францем I венгр по национальности Иоганн Ладислаус (Янош Ласло) Пиркер.

Уверен, что Чаадаев, приехав в Венецию, только и слышал вокруг: «А *бывало*, здесь в мае был грандиозный праздник обручения дождя с морем! Но дождя свергли, а его корабль — сожгли... А какой карнавал здесь раньше был на масленицу!...»

¹²⁶ Гершензон М.О. П.Я. Чаадаев. Жизнь и мышление // Гершензон М.О. Избранные труды. Часть 2 (ред. Л.Г. Березовая). М.: РОССПЭН. С. 213.

...Судя по письмам, Чаадаев довольно скоро оказался потом в Карлсбаде. Это означает, что в июне 1825 г. он практически без остановок проследовал из Венеции обычным для путешественников того времени маршрутом: выехал из Венеции почтовой гондолой до Фузино; потом ехал почтовой каретой через Падую, Верону¹²⁷, Триент (Тренто)¹²⁸. Далее его путь лежал через альпийский перевал Бреннер — в австрийский Инсбрук. Кстати, менее чем за год до этого, в сентябре 1824 г., этот же путь — только в обратном направлении — проделал, направляясь из Центральной Европы в Италию, Николай Тургенев.

Возвращение в Россию

Первым из трех друзей, вместе гулявших по весеннему Риму, в Россию вернулся Михаил Митьков — осенью 1825-го к этому еще не было никаких препятствий. Его дальнейшая судьба сложилась драматически. Переполненный европейскими впечатлениями, немного окрепший Митьков не смог усидеть во владимирском имении, наслаждаясь привезенными из Европы книгами по философии и истории, и снова окунулся в круговорот политической жизни, став одним из лидеров московских «заговорщиков».

После декабрьского восстания на Сенатской площади он был арестован в Москве, доставлен в Санкт-Петербург на Главную гауптвахту в Зимнем дворце. На допросе Митьков показал, что «свободный образ мыслей заимствовал из чтения книг и от общества Николая Тургенева, который наиболее способствовал внушению сих мыслей»¹²⁹. Он был уверен, что Тургенев, будучи одним из лидеров «декабризма», не станет возвращаться в Россию.

В январе 1826 г. Митькова перевели в Петропавловскую крепость; в июле Верховный уголовный суд приговорил его к «политической смерти по 2-му разряду», позднее замененной царем Николаем 20-летней каторгой. Митьков прошел все «круги ада»: Свеаборгскую, Свартгольмскую, Кексгольмскую крепости, потом Читинский острог и каторжную тюрьму в Петровском заводе. Переведенный на поселение, жил в Иркутске, потом в Красноярске, где и скончался в 1849 г.¹³⁰

¹²⁷ Очень вероятно, что в Вероне Чаадаев посмотрел, в числе главных достопримечательностей, и Palazzo Canossa, в котором в ноябре–декабре 1822 г. жил участвовавший в Веронском конгрессе «Священного союза» император Александр I, к которому у Чаадаева всегда было очень личностное отношение.

¹²⁸ Главной достопримечательностью итальянского городка Тренто является церковь Santa Maria Maggiore, где в 1545–1563 гг. проходили заседания Тридентского собора — вселенского собора католической церкви, решения которого стали программой Контрреформации.

¹²⁹ Восстание декабристов: Материалы. М. — Л., 1927, т. 3. С. 192.

¹³⁰ Декабрист А.П. Беляев оставил воспоминания о жизни ссыльного Митькова в Красноярске: «Михаил Фотич Митьков, прекраснейший и в то же время очень оригинальный человек, жил совершенным философом. Он имел хорошенькую небольшую квартиру, которая содержалась в самой педантической чистоте, меблированная с большим вкусом и комфортом. Тут буквально нельзя было найти пылинки. У него была большая библиотека. Чтение было его страстью...» (Беляев А.П. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. СПб.: Изд-во А.С. Суворина, 1882. С. 339).

Николай Тургенев, будучи одним главных идейных вдохновителей декабризма¹³¹, действительно, отказался тогда возвращаться в Россию. В объяснительной записке, которую он направил в Санкт-Петербург из Англии в апреле 1826 г., есть строки, которые относятся к Митькову: «Я никого не вводил в Общество, кроме одного человека, который, впрочем, прежде слышал уже о сем Обществе. Я ему сообщил то, что знал и что думал... С этим человеком впоследствии я часто виделся, даже жилал вместе, но во все время едва ли однажды мы говорили об Обществе»¹³². Николай Тургенев посетит Россию только глубоким стариком, после амнистии, объявленной Александром II. Скончается в своем поместье во Франции в 1871 г.

Петр Чаадаев, как мы знаем, был задержан по возвращении на русской границе. Совершенно очевидно, что именно его смелость и мужество обезоружили молодого императора Николая I, видимо, посчитавшего сам факт возвращения признаком лояльности (за четверть века до этого так же повела себя Екатерина II в отношении молодого Карамзина)¹³³.

Поэт русского Серебряного века, знаток Италии и творчества Чаадаева, Осип Мандельштам написал в одном из эссе о том мощном духовном импульсе, который путешествие в Европу задало последующему философскому творчеству Чаадаева: «В младенческой стране, стране полуживой материи и полумертвого духа, седая антиномия косной глыбы и организующей идеи была почти неизвестна. Россия, в глазах Чаадаева, принадлежала еще вся целиком к неорганизованному миру. Он сам был плоть от плоти этой России и посмотрел на себя как на сырой материал. Результаты получились удивительные. Идея организовала его личность, не только ум, дала этой личности строй, архитектуру, подчинила ее себе всю без остатка и, в награду за абсолютное подчинение, подарила ей абсолютную свободу. Глубокая гармония, почти слияние нравственного и умственного элемента придают личности Чаадаева особую устойчивость. Трудно сказать, где кончается умственная и где начинается нравственная личность Чаадаева, до такой степени они близятся к полному слиянию. Сильнейшая потребность ума была для него в то же время и величайшей нравственной необходимостью»¹³⁴.

¹³¹ См.: Парсамов В.С. Николай Иванович Тургенев: «Нельзя произнести слово человек, чтобы не иметь вместе с ним понятия о свободе» // Российский либерализм: идеи и люди (ред. А.А. Кара-Мурза). Т. 1. XVIII–XIX вв. М.: Новое издательство, 2018. С. 166–178.

¹³² Цит. по: Дубровин Н.Ф. Василий Андреевич Жуковский и его отношение к декабристам // Русская старина, 1902, № 4. С. 54.

¹³³ См.: Кара-Мурза А.А. Швейцарские странствия Николая Карамзина. С. 71–72; Кара-Мурза А.А. Философские дилеммы «Писем русского путешественника» Н.М. Карамзина // Философские науки, 2016, № 11. С. 59–68; Kara-Murza A. A. Traveler or Fugitive? A New Reading of Nikolai Karamzin's Letters of a Russian Traveler // Russian Studies in Philosophy, 2017, vol. 55, № 6. С. 410–421.

¹³⁴ Мандельштам О. Петр Чаадаев // П.Я. Чаадаев: Pro et Contra (ред. А.А. Ермичев, А.А. Златопольская). СПб., 1998. С. 406.

Согласно Мандельштаму, огромное значение имел сам факт возвращения Чаадаева в Россию в переломный для нее момент истории: «Когда Борис Годунов, предвосхищая мысль Петра, отправил за границу русских молодых людей, ни один из них не вернулся. Они не вернулись по той простой причине, что нет пути обратно от бытия к небытию, что в душевной Москве задохнулись бы вкусившие бессмертной весны неумирающего Рима. Но ведь и первые голуби не вернулись обратно в ковчег. Чаадаев был первым русским, в самом деле идейно побывавшим на Западе и нашедшим дорогу обратно. Современники это инстинктивно чувствовали и страшно ценили присутствие среди них Чаадаева. На него могли показывать с суеверным уважением, как некогда на Данта: “Этот был там, он видел — и вернулся”...»¹³⁵

Послесловие

Феномен Чаадаева вот уже более двух столетий будоражит умы тех, кто всерьез задумывается об исторических судьбах России. С годами русские интеллектуалы, наряду с пополнившимся знанием о жизни Чаадаева, обрели еще одну возможность — свободно и много *путешествовать* и, соответственно, *лично пережить* опыт общения с реальной Европой, в том числе с так увлекшим Чаадаева католическим миром.

Весной 1839 г., незадолго до Пасхи, в Рим приехал один из лидеров русского славянофильства, профессор истории Московского университета Михаил Погодин. Осмотрев «римские древности» под водительством Гоголя, он вынужден был признать: «Как воспроизводится древняя жизнь в воображении, когда смотреть на все сии развалины. В наше время нельзя быть ни профессором археологии, ни профессором истории без путешествия. Я вообразить себе не могу, что я говорил о Риме, по книгам, не выдав его памятников»¹³⁶. А потом занес в дневник нетривиальную мысль о вожде антипапской Реформации Мартине Лютере: «В нем, кажется, ни на грош не было эстетического образования, и потому он видел в Риме только развратных капуцинов, против которых и вооружился»¹³⁷.

В те дни у Погодина состоялся в Риме еще один разговор, абсолютно в чаадаевском духе. Тем более что оба участника той беседы были москвичами и прекрасно помнили наделавшую шум историю с публикацией в «Телескопе» в 1836 г. «Первого философического письма». Погодин нанес в те дни визит вежливости московскому генерал-губернатору князю Д.В. Голицыну,

¹³⁵ Там же.

¹³⁶ Погодин М.П. Год в чужих краях (1839). Дорожный дневник. М.: Тип. Н. Степанова, 1844, часть II. С. 12.

¹³⁷ Там же.

находившемуся в те дни в «Вечном городе». Погодин и Голицын поговорили «о Риме, о духовном единстве, о политических единствах, о гордости Папы» и согласились в том, что «Папа хотя и христианин, а все-таки древний римлянин...»¹³⁸

В апреле 1901 г. аналогичный опыт получил один из самых известных оппонентов Чаадаева в отечественной культуре — философ и литератор Василий Розанов, также побывавший на Страстной неделе в Риме. Обладавший культурной интуицией и несомненным литературным талантом, Розанов оставил очерки о торжественной службе в Соборе св. Петра в «Великую пятницу» (21 апреля), а потом и на католическую Пасху (23 апреля). Эти церемонии, которые вел видный католический теолог и политик, Государственный секретарь Святого престола кардинал Мариано Рамполла, произвели большое впечатление на Розанова, дважды проведенного по несколько часов в окружении истинных католиков. И он, скорее всего, не отдавая себе в том отчета, написал по следам своего пребывания в пасхальном Риме абсолютно «чаадаевские» тексты!

Читаем у Розанова: «Насколько в современном итальянце много выродившегося, размягченного, нежного, настолько в... фигурах, передо мной сидевших, было много богатства крови и сил»; «католицизм вобрал в себя все талантливое из расы и оставил в политике, торговле, литературе объедки своего вкусного завтрака»; «сила — вот отличие, вот сущность Рима»; «там есть бесконечная дисциплина. Но это дисциплина не мертвая, а живая»¹³⁹ ... и т.п.

Сам, по-видимому, удивившись своей обнаружившейся любви к Риму, Розанов, отнес ее на счет своего эстетического чувства и православного отношения к миру: «Буду рассказывать с любовью, понеже православному подобает все любить. Прежде всего — бездна вкуса разлита во всем. Это вы замечаете, едва из прозаической и безвкусной Австрии, с ее пирожками, немцами, кофе и сливками, спускаетесь в Италию...»¹⁴⁰

Удивительно, но в 1913 г. в петербургской газете «Новое время» тот же самый Розанов, который двенадцать лет назад восхищался красноречием кардинала Рамполлы, «силой» и «бесконечной живой дисциплиной» католицизма, очередной раз обернулся непримиримым православным идеологом и написал несправедливые слова в адрес Чаадаева, который в своей историософии якобы «развивал ту мысль, что Россия и Восток... остаются деревней, не слушая католической мессы и не слушая красноречивых итальянских

¹³⁸ Там же. С. 15.

¹³⁹ Розанов В.В. Рим. Страстная пятница в соборе св. Петра // Розанов В.В. Иная земля, иное небо... Полное собрание путевых очерков 1899–1913 гг. М., 1994, с. 85–88.

¹⁴⁰ Розанов В.В. Рим. Пасха в соборе св. Петра // Розанов В.В. Иная земля, иное небо... С. 100.

и французских проповедников (курсив мой.— А.К.), таких же бритых, как сам Чаадаев»¹⁴¹. И при этом зачем-то обозвал великого москвича Чаадаева «маленьким петербургским католиком»...¹⁴²

Литература

Андреева Т.В. Тайные общества в России в первой трети XIX в.: Правительственная политика и общественное мнение. СПб.: Лики России, 2010.

Беляев А.П. Воспоминания декабриста о пережитом и пережитом. СПб.: Изд-во А.С. Суворина, 1882.

Гершензон М.О. П.Я. Чаадаев. Жизнь и мышление // Гершензон М.О. Избранные труды в 2-х частях. Ч. 2 (ред. Л.Г. Березовая). М.: РОССПЭН, 2010. С. 180–301.

Глинка С.Н. Исторический взгляд на общества европейские и судьбу моего отечества // Николай I. Личность и эпоха: Новые материалы (отв. ред. А.Н. Цамутали А.Н.) СПб.: Нестор-История, 2007. С. 100–150.

Гревс И.М. Тургенев и Италия (культурно-исторический этюд). Л.: Брокгауз-Ефрон, 1925.
Декабрист Н.И. Тургенев. Письма к брату С.И. Тургеневу. М.— Л.: Изд-во АН СССР, 1936.— 588 с.

Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева. Т. IV: Путешествие в Западную Европу. 1824–1825 (ред. М.Ю. Коренева) СПб.: Нестор-История, 2017.— 1032 с.

Дневники Николая Ивановича Тургенева за 1811–1816 гг. (ред. Е.И. Тарасов). СПб.: Тип. Императорской АН, 1913.

Дубровин Н.Ф. Василий Андреевич Жуковский и его отношение к декабристам // Русская старина, 1902, № 4.

Завалишин Д.И. Воспоминание о графе А.И. Остермане-Толстом // Исторический вестник. СПб., 1880, № 5.

Записки А.П. Ермолова. 1798–1826. М.: Высшая школа, 1991.— 463 с.

Записки графа М.Д. Бутурлина (1817–1824) // Русский Архив, 1897, т. 1, № 4. С. 577–652.
Итальянские письма и донесения Сильвестра Феодосьевича Щедрина. 1818–1830 (ред. М.Ю. Евсевьев). М.— СПб.: Альянс-Архео, 2014.— 760 с.

Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские в Амальфи. М.: Альтекс, 2012.— 142 с.

Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские в Генуе. М.: Альтекс, 2013.— 188 с.

Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Венеции. М.: Изд-во О. Морозовой, 2019.— 576 с.

Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Неаполе. М.: Изд-во О. Морозовой, 2016.— 576 с.

Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Риме. М.: Изд-во О. Морозовой, 2014.— 496 с.

Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Флоренции. М.: Изд-во О. Морозовой, 2016.— 640 с.

Кара-Мурза А.А. Как идеи превращаются в идеологии: российский контекст // Философский журнал, 2012, № 2 (9). С. 27–44.

Кара-Мурза А.А. Рим Ивана Тургенева (1840) // Философские науки, 2018, № 7. С. 124–142.

Кара-Мурза А.А. Петр Яковлевич Чаадаев // Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Флоренции. М.: Изд-во О. Морозовой, 2016. С. 117–125.

Кара-Мурза А.А. Сильвестр Феодосьевич Щедрин // Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские в Амальфи. М.: Альтекс, 2012. С. 21–37.

¹⁴¹ *Розанов В.В.* Чаадаев и князь Одоевский // П.Я. Чаадаев: Pro et Contra (ред. А.А. Ермичев, А.А. Златопольская). СПб.: Изд-во РХГИ, 1998. С. 361.

¹⁴² Там же. С. 368.

Кара-Мурза А.А. Философские дилеммы «Писем русского путешественника» Н.М. Карамзина // *Философские науки*, 2016, № 11. С. 55–68.

Кара-Мурза А.А. Швейцарские странствия Николая Карамзина. 1789–1790. М.: Аквилон, 2016. — 110 с.

Лажечников И.И. Походные записки русского офицера 1812, 1813, 1814 и 1815 годов. М.: Тип. Н. Степанова, 1820.

Лонгинов М.Н. Воспоминание о Чаадаеве // *Петр Яковлевич Чаадаев. Философское и публицистическое наследие* (ред. Б.Н. Тарасов). М.: Русский мир, 2008. С. 316–340.

Мандельштам О. Петр Чаадаев // *П.Я. Чаадаев: Pro et Contra* (ред. А.А. Ермичев, А.А. Златопольская). СПб., 1998. С. 401–406.

Парсамов В.С. Николай Иванович Тургенев: «Нельзя произнести слово человек, чтобы не иметь вместе с ним понятия о свободе» // *Российский либерализм: идеи и люди* (ред. А.А. Кара-Мурза). Т. 1. XVIII–XIX вв. М.: Новое издательство, 2018. С. 166–178.

Погодин М.П. Год в чужих краях (1839). Дорожный дневник. М.: Тип. Н. Степанова, 1844, ч. I–IV.

Розанов В.В. Рим. Пасха в соборе св. Петра // *В.В. Розанов. Иная земля, иное небо... Полное собрание путевых очерков 1899–1913 гг.* М., 1994. С. 100–105.

Розанов В.В. Рим. Страстная пятница в соборе св. Петра // *Розанов В.В. Иная земля, иное небо... Полное собрание путевых очерков 1899–1913 гг.* М., 1994, с. 85–88.

Розанов В. Чаадаев и князь Одоевский // *П.Я. Чаадаев: Pro et Contra* (ред. А.А. Ермичев, А.А. Златопольская). СПб., 1998. С. 360–369.

Собрание сочинений В. Жуковского (6-е изд.). СПб.: Тип. Императорской АН, 1869. Т. 6. — 820 с.

Свербеев Д.Н. Мои записки (ред. М.В. Батшев, Б.П. Краевский, Т.В. Медведева). М.: Наука, 2014. — 942 с.

Талалай М.Г. Русский мир Милана. Прогулки по историческим адресам с Михаилом Талалаем. СПб.: Изд-во «Лик», 2001. — 256 с.

Тарасов Б.Н. Чаадаев. М.: Молодая гвардия, 1986. — 448 с.

Тарасов Б.Н. Чаадаев. Жизнь. Личность. Творчество // *Тарасов Б.Н. Избранные труды* в 4 тт. Т. 1. СПб.: Алетейя, 2017. С. 109–513.

Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма в 2-х тт. (ред. З.А. Каменский). М.: Наука, 1991.

Шаховской Д.И. П.Я. Чаадаев на пути в Россию в 1826 году // *Литературное наследство*. Т. 19–21. М.: Журнально-газетное объединение, 1935. С. 16–32.

Шаховской Д.И. Письма к И.М. Гревсу // *Философский век. Альманах № 26. История идей в России: исследования и материалы*. СПб.: Санкт-Петербургский центр истории идей, 2004. С. 146–254.

Kara-Murza A.A. Traveler or Fugitive? A New Reading of Nikolai Karamzin's Letters of a Russian Traveler // *Russian Studies in Philosophy*, 2017, vol. 55, № 6. P. 410–421.

Kara-Murza A.A. Spiritual Rebirth: Ivan Turgenev's 1840 Trip to Rome // *Russian Studies in Philosophy*, 2018, vol. 56, № 5. P. 434–443.

ПЕРЕРОЖДЕНИЕ ДУШИ: ИВАН ТУРГЕНЕВ В РИМЕ В 1840 Г.

Зимой 1834–1835 гг., в Петербурге, с шестнадцатилетним Иваном Тургеневым случилась история, которую с равным основанием можно назвать и странной, и драматической, и чудесной. Об этой истории сам писатель в конце жизни подробно рассказал литератору и ученому-этнологу Дмитрию Садовникову. Согласно мемуаристу, Тургенев, которого принято представлять человеком очень большого роста (в зрелом возрасте так оно, конечно, и было), признался ему, что в детстве и раннем отрочестве он заметно отставал от сверстников в физическом развитии. «Ростом я был в 15 лет не выше семилетнего», — рассказывал Тургенев¹.

Всё начало радикально меняться во второй половине 1834 г., когда окончивший первый курс Московского университета Тургенев переехал с отцом в Санкт-Петербург: «Затем совершилась удивительная перемена после 15 лет. Я заболел. Со мною сделалась страшная слабость во всем теле, я лишился сна, ничего не ел, и когда выздоровел, то сразу вырос чуть не на целый аршин (более 70 сантиметров! — А.К.)»².

Причиной этой «болезни роста» стали, в первую очередь, драматичные семейные обстоятельства. 30 октября³ 1834 г., от обострения мочекаменной болезни, не дожив до 41 года, скончался отец, Сергей Николаевич. Предсмертные мучения красавца-полковника осложнились запутанностью его отношений с «последней любовью» — поэтессой, княжной Екатериной Шаховской, прообразом Зинаиды Засекиной из «Первой любви». Мать юного Тургенева, гордая и своенравная Варвара Петровна, уставшая от романов мужа и родившая за год до этого в Италии дочь Варю от домашнего врача А.Е. Берса, демонстративно уехала тогда в новое длительное путешествие по Италии и вернулась в Россию лишь в июне 1835 г.

Результатом этой семейной драмы стало для опасно переболевшего зимой 1834–1835 гг. Ивана Тургенева не только физическое «преображение». «Одновременно с этим, — вспоминал он, — совершилось и духовное перерождение. Прежде я знать не знал, что такое поэзия; а тут математику с меня

¹ Садовников Д.Н. Встречи с Тургеневым // Русское прошлое, 1923, № 1. С. 117.

² Там же.

³ В дальнейшем, все события, имевшие место на территории Российской Империи, равно как и написанные в России письма, датируются по юлианскому календарю («старому стилю»). Равным образом, всё, что будет иметь отношение к событиям в Италии и Германии, будет датировано по принятому в Европе григорианскому календарю («новому стилю»).

точно что сдуло (раньше юноша ложился спать, держа под подушкой книжки по математике и тригонометрии Л.Б. Франкёра — А.К.), я начал мечтать и пописывать стихи»⁴.

Летом 1836 г. Тургенев окончил философский факультет Санкт-Петербургского университета по 1-му (словесному) отделению со степенью «действительного студента», а в январе 1837 г. успешно защитил выпускную работу на латинском языке «Об эпиграмме Гомера». В 1838–1839 гг. он продолжил занятия греческой и римской античностью в Берлинском университете, у таких европейских светил, как профессор древнегреческого языка и литературы Philipp August Böckh и профессор латыни и латинской литературы, академик Karl Gottlob Zumpt. Один из биографов Тургенева, литератор Борис Зайцев, писал об этом периоде жизни своего героя: «Берлинский университет дал ему знание древних языков — он всю жизнь свободно читал классиков»⁵. Так оно и было: в свой последний приезд в Россию в 1881 г. шестидесятитрехлетний Тургенев, по свидетельству его друга, Якова Полонского, «латинские книги читал еще легко и свободно»⁶.

В конце лета 1839 г. Тургенев, уступив настояниям матери, вынужден был вернуться в Россию. Осенью и в начале зимы он жил в Петербурге у старшего брата Николая, готовясь к магистерским экзаменам. Из писем Тургенева к Тимофею Грановскому мы знаем, что декабрь 1839 г. он провел за чтением «Римских элегий» Гёте: как раз в это время отдельные фрагменты «Элегий», в удачном русском переводе Александра Струговщикова, появились сразу в нескольких петербургских журналах. В письме Грановскому от 4 декабря Тургенев писал: «Я всё не перестаю читать Гете... Какая страсть, какое здоровье дышит в них! Гете — в Риме, в объятых римлянки!»⁷ И далее: «Как я жажду любви!... Как я был бы добр, и чист, и откровенен, и богат, полюбив!»⁸

А 14 января 1840 г. двадцатиоднолетний Тургенев пишет одному из своих постоянных адресатов — издателю Александру Никитенко: «Я уехал в Рим — совсем неожиданно...»⁹

Ехать в «Вечный город» Тургенева соблазнил направлявшийся туда для продолжения службы в русской миссии при Папском престоле, друг семьи Тургуевых, Павел Кривцов. Молодой, но уже опытный карьерный дипломат

⁴ Садовников Д.Н. Встречи с Тургеневым. С. 117–118.

⁵ Зайцев Б.К. Жизнь Тургенева // Зайцев Б.К. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 5. М.: Русская книга, 1999. С. 36.

⁶ Полонский Я.П. И.С. Тургенев у себя в его последний приезд на родину // И.С. Тургенев в воспоминаниях современников. Т. 2. М.: Художественная литература, 1983. С. 392.

⁷ Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: в тридцати томах. Письма: в 18 т. Т. 1. М.: Наука, 1982. С. 144.

⁸ Там же.

⁹ Там же. С. 147.

получил тогда новую должность — «начальника над русскими художниками, посылаемых в Рим для усовершенствования»¹⁰. Именно в санном экипаже Кривцова, оплаченном Императорским Министерством иностранных дел, Тургенев отправился зимой 1840 г. в очередной раз в Европу.

Павел Кривцов начал работу в русской дипломатической миссии в Риме в 1826 г. В 1839 г. он приехал по делам в Россию, чтобы, по выражению биографа семьи Кривцовых, Михаила Гершензона, «пожать плоды услуг, которые ему удалось в последнее время оказать царской фамилии»¹¹. В имперской логике эти «услуги» были весьма существенны: во-первых, Кривцов состоял при наследнике-цесаревиче Александре Николаевиче в бытность того в Риме в начале 1839 г.; во-вторых, именно он, Кривцов, организовал удачную закупку в Тоскане большой партии каррарского мрамора для отделки Зимнего дворца, пострадавшего от недавнего пожара. К моменту отъезда в Италию, получивший новое назначение дипломат находился в приподнятом настроении: к Пасхе ему был обещан чин статского советника; государь Николай Павлович обласкал Кривцова, а государыня Александра Федоровна, несмотря на недомогание, приняла его и поблагодарила за услуги, оказанные сыну-наследнику¹².

Сам Тургенев припомнил свое зимнее путешествие 1840 г. с Кривцовым в письме к Михаилу Бакунину, в конце того же года: «Как для меня значителен 40-й год!.. Вообрази себе — в начале января скачет человек в кибитке по снегам России... С ним едет толстый человек, секретарь посольства, человек рассудка — и желудка, презирующий философию, профан в художестве. Они расстаются в Вене...»¹³.

Досрочное расставание в Вене (первоначально Тургенев собирался составить кампанию Кривцову до самого Рима) объясняется скорее всего тем, что покровительственно держащий себя Кривцов попросту наскучил стремящемуся к независимости Тургеневу. Тот, уже считавший себя чуть ли не «профессиональным антиковедом», учеником самого академика Цумпта (!), похоже, никак не мог смириться с этим вопиющим, на его взгляд, парадоксом: «профан в художестве» назначен на должность «начальника русских художников», и не где-нибудь, а в великом Риме!

В первых числах февраля 1840 г. Тургенев, наконец, прибывает в Рим. Он, как и мечтал, въехал в «Вечный город» один, в торжественном уединении. Он пробудет в Риме до 12 (24) апреля — более двух месяцев, то есть

¹⁰ См.: *Капитанова Е.В.* Начальник над русскими художниками в Риме П.И. Кривцов // Вопросы истории, 2006, № 9. С. 146–151.

¹¹ *Гершензон М.О.* Декабрист Кривцов и его братья // Гершензон М.О. Избранное. Т. 2. М.— Иерусалим: Университетская книга, 2000. С. 326.

¹² Там же. С. 326–327.

¹³ *Тургенев И.С.* Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма: в 18 т. Т. 1. С. 162.

значительно дольше, чем первоначально предполагал¹⁴. Каким предстал «Вечному городу» Тургенев в свой первый приезд в Рим?

В биографическом романе Бориса Зайцева «Жизнь Тургенева», написанном в конце 1920-х гг. в Париже, имеется любопытный фрагмент: «Среди тургеневских червоточин была одна, очень его мучившая, — он заметил ее за собою еще в детстве: неполная правдивость (курсив мой. — А.К.). Живое ли воображение, желание ли “блеснуть”..., но он иногда бывал лжив. Это отдаляло от него многих...»¹⁵

Павел Анненков, близко знавший Тургенева, но писавший свои мемуары уже после его кончины в 1883 г., попытался объяснить юношеский максимализм своего покойного друга: «Самым позорным состоянием, в какое может попасть смертный, считал он то состояние, когда человек походит на других. Он спасался от этой страшной участи, навязывая себе невозможные качества... и даже пороки, лишь бы только они способствовали к его отличию от окружающих»¹⁶.

Есть немало доказательств тому, что в Европу в конце 1830-х гг. приехал именно «такой Тургенев». Евдокия Сухово-Кобылина, которая была на год младше его, оставила мемуары о коротком пребывании девятнадцатилетнего Тургенева в Гейдельберге летом 1838 г.: «Этот Тургенев приходил к нам часто, два раза обедал, на третий день опять пришел, побранился с маменькой об Московском университете, говорил, что он полон дураками. Маменька при мне такую ему нотацию пропела, что он с тех пор не казал глаз к нам, — и уехал, не простясь»¹⁷.

Заметим, однако: менее чем через два года, в Риме, с Тургеневым произошла *разительная трансформация*, своего рода «перерождение души», аналог того, как в 1834–1835 гг., в Петербурге, в результате тяжелых переживаний, чудесным образом преобразилась до неузнаваемости его, так сказать, «физическая оболочка».

Приехав в Рим, Тургенев первым делом нашел квартиру своих знакомых по Берлину — русскую семью Ховриных, снимавших в «папском городе» весь четвертый этаж в доме по адресу: Via Pontefici, 57. Двадцать лет назад, богатый пензенский помещик и отставной гусарский подполковник, Николай Ховрин, встретил в Пензе юную Марию Лужину и женился на ней. В 1820-е гг.

¹⁴ *Кара-Мурза А.А.* Иван Сергеевич Тургенев // *Кара-Мурза А.А.* Знаменитые русские о Риме. М.: Изд-во О. Морозовой, 2014. С. 189–199.

¹⁵ *Зайцев Б.К.* Жизнь Тургенева. С. 37.

¹⁶ *Анненков П.В.* Молодость И.С. Тургенева // *И.С. Тургенев в воспоминаниях современников*: в 2 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1983. С. 84.

¹⁷ Тургенев в Гейдельберге летом 1838 г. Из дневника Е.В. Сухово-Кобылиной. Публикация Л.М. Долотовой // *И.С. Тургенев: Новые материалы и исследования*. М.: Наука, 1967. С. 340.

пензенское имение Ховриных Саловка славилось далеко за пределами края как своей хлебосольностью, так и исключительной красотой, умом и обаянием хозяйки, Марии Ховриной-Лужиной: частыми гостями этого «дворянского гнезда» были Д.В. Давыдов, князь П.А. Вяземский, Е.А. Баратынский, юный Н.П. Огарев. Проживая в Москве, Мария Дмитриевна собирала гостей в доме своего брата, генерала И.Д. Лузина на Тверском бульваре: сюда приходили А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, С.Т. Аксаков с сыновьями.

...Той дождливой весной 1840 г. Тургенев встретил у Ховриных небольшое общество, каждый из членов которого стал близким для него человеком: русского исторического живописца Маркова, немецкого художника Рундта, польского композитора и пианиста Брингинского. Как мы помним, начитавшийся в начале зимы 1839 г. эротических «Римских элегий» Гёте, Тургенев мечтал отправиться в Рим и там — «влюбиться»¹⁸. В те недели в «Вечном городе» он действительно серьезно увлекся старшей дочерью Ховриных — семнадцатилетней Александрой, по прозвищу «Шушу», девушкой, склонной к религиозности, музыкально и поэтически очень одаренной и ставшей впоследствии известной детской писательницей на религиозные темы А.Н. Бахметевой (по мужу).

О своем увлечении «Шушу» Тургенев регулярно и в самых восторженных тонах писал домой матери. Из этих, не дошедших до нас, писем, Варвара Петровна, по-видимому, составила себе несколько преувеличенное представление о намерениях сына и даже начала собирать сведения о Ховриных. Ее, конечно, настрожила репутация Марии Дмитриевны — интеллектуалки, поэтессы и держательницы популярного салона. Отговаривая сына от возможных матримониальных планов, Варвара Петровна писала в Рим: «Дочь такой матери может быть хорошо учена, невинна, умна, но! — она не будет помнить правила матери, потому что у матери правил никаких нету... Ох! Выйдет Шаховская (Варвара Петровна так и не смогла простить покойному мужу его последнее увлечение. — А.К.)»¹⁹.

Именно Александра Николаевна Ховрина (1823–1901) станет позже прототипом Лизы Калитиной в романе Тургенева «Дворянское гнездо», начатого

¹⁸ Эта тема: «поехать за границу — и там влюбиться», с легкой руки И.С. Тургенева, станет популярной среди русских литераторов. Со временем «традиционные места» — Рим или Париж — заменил, например, Неаполь. В апреле 1891 г. ироничный Антон Чехов писал родным: «Завтра еду в Неаполь. Пожелайте, чтобы я встретился там с красивой русской дамой, по возможности с вдовой или разведенной женой. В путеводителях сказано, что в путешествии по Италии роман непременно условие. Что ж, черт с ним, я на все согласен» (подр. см.: *Кара-Мурза А.А. Антон Павлович Чехов // Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Неаполе. М.: Изд-во О. Морозовой, 2016. С. 231–235).*

¹⁹ *Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Сочинения: в 12 т. Т. 11. С. 455.*

поздней осенью 1857 г. в том же Риме, навеявшему автору, спустя семнадцать лет, массу воспоминаний. Если внимательно вчитаться в текст знаменитого романа, то само «гнездо» литературных Калитиных очень напоминает семейство Ховриных. Тургенев даже посчитал нужным сохранить имя и отчество хозяйки дома: «Мария Дмитриевна» — именно так, как мы помним, звали Ховрину-старшую, у которой, в точности, как и у литературной Марии Дмитриевны Калитиной, в семье было трое детей — две дочери и сын, учившийся в Петербурге.

Однако решающим аргументом в пользу нашей версии является тот факт, что Тургенев включил в канву романа «Дворянское гнездо» свое стихотворение, которое он в 1840 г. посвятил Александре Николаевне Ховриной. Речь идет о произведении «Луна плывет...», которое имеет подзаголовок «К А.Н.Х.»: «Луна плывет над дремлющей землею / Меж бледных туч, / Но движет с вышины волной морскою / Волшебный луч...»²⁰. В «Дворянском гнезде», начатом спустя годы в Риме, Тургенев вложил эти слова в уста своего героя, Владимира Паншина, красивого и беззаботного молодого человека, поющего любовный романс собственного сочинения, посвященный Лизе Калитиной.

Можно даже предположить, при каких именно обстоятельствах и даже, какого примерно числа Тургеневу, весной 1840 г., пришла мысль написать стихотворный этюд о «плывущей луне» и «морской волне». В двадцатых числах апреля он, вместе с Ховриными, ездил из Рима в Неаполь, где путешествовал по побережью Залива. Сведения об этой поездке довольно скудны, но в письме Тургенева к Николаю Станкевичу от 8 мая есть такие слова: «Я так привык слышать каждый день голосок Шушу (Александры Ховриной. — А.К.)... Однажды я с ней говорил дольше; *это было во время возвращения из Сорренто, вечером, — ехав вдоль морского берега* (курсив мой. — А.К.)»²¹. Итак, согласно нашей версии, толчком к написанию Тургеневым стихотворения «Луна плывет», посвященному Александре Ховриной (и вошедшего потом в роман «Дворянское гнездо» в виде романса, спетого Лизе Паншиным), явилось их совместное возвращение в открытой коляске из Сорренто в Неаполь — по ночной, освещенной луной дороге, вдоль берега Неаполитанского залива...

Общение с семьей Ховриных, благоговейное преклонение перед умом и не поблекшей к сорока годам красотой Марии Дмитриевны и — особенно — влюбленность в «Шушу», пусть и безответная, благотворно сказались на характере Тургенева. Эту сторону его мироощущения подметил близко

²⁰ Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Сочинения: в 12 т. Т. 1. С. 339.

²¹ Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма: в 18 т. Т. 1. С. 151.

знавший его Анненков: «Он... был несчастным человеком в собственных глазах: ему недоставало женской любви и привязанности, которых он искал с ранних пор»²². И далее Анненков приводит любимое выражение Тургенева, которое не раз слышал от него самого: «Общество мужчин, без присутствия доброй и умной женщины, походит на тяжелый обоз с незазаными колесами, который раздирает уши нестерпимым, однообразным своим скрипом...»²³.

...Вернемся, однако, в Рим, где в начале марта 1840 г. в квартире Ховриных появились новые гости — из Флоренции приехали Николай Станкевич и его приятель, географ Александр Павлович Ефремов²⁴. Во время совместной учебы в Берлине в 1838–1839 гг. интересы Тургенева и Станкевича не вполне совпали: Тургенев занимался в университете греческими и римскими древностями и зубрил дома языки; Станкевич же, тяжело больной туберкулезом, работал в основном у себя на квартире, беря частные уроки по гегелевской философии у молодого берлинского профессора Karl Werder.

«Во время моего пребывания в Берлине я не добился доверенности или расположения Станкевича, — вспоминал Тургенев. — Станкевич не очень-то меня жаловал»²⁵. Со временем он поймет, что главная причина была не в Станкевиче, а в нем самом: «Я очень скоро почувствовал к нему уважение и нечто вроде боязни, проистекавшей, впрочем, не от его обхожденья со мною..., но от внутреннего сознания собственной недостойности и лживости (курсив мой. — А.К.)»²⁶. Как бы там ни было, в очерке «Воспоминание о Станкевиче», написанном в Спасском-Лутовинове летом 1856 г., Тургенев смог написать уже совсем другое: «В Риме я сошелся с ним гораздо теснее... Я его видел каждый день — и он ко мне почувствовал расположение»²⁷.

Важно подчеркнуть, что «Вечный город» той поры был идеальным местом для «восхождения» человеческой души. Хорошо написал об этом Анненков, большой знаток Рима: «Рим... носил особенный характер и как будто создан был для того, чтобы образовать душу художника или философа»²⁸. Анненков сравнивал тогдашний «Вечный город» с «Академией, разросшейся в большой город»: «У великолепных ворот его замолкал весь шум Европы, и человек невольно обращался или к прошедшему, которое встре-

²² Анненков П.В. Молодость И.С. Тургенева // И.С. Тургенев в воспоминаниях современников: в двух томах. Т. 1. М.: Художественная литература, 1983. С. 91–92.

²³ Там же.

²⁴ Кара-Мурза А.А. Николай Владимирович Станкевич // Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Риме. С. 84–92.

²⁵ Тургенев И.С. Воспоминания о Н.В. Станкевиче // Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Сочинения: в 12 т. Т. 5. С. 360.

²⁶ Там же. С. 362.

²⁷ Там же.

²⁸ Анненков П.В. Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография. М.: Тип. Каткова, 1857. С. 226.

чало его на каждом шагу, или под тенью его сосредотачивался в себе самом, в собственной мысли»²⁹. «Если в ограде Рима,— продолжает Анненков,— скрывались и словно пропадали для всего света многие личности, проשמевшие в Европе, то не менее было и таких, которые в нем искали необходимого приготовления к подвигам жизни и деятельности»³⁰.

Эта тема — «юношеского паломничества в Рим», как уникального жизненного шанса, и, в то же время, — как опасной ловушки, где индивидуальная жизнь может как расцвести, так и внезапно оборваться, — Тургенев обдумывал и творчески варьировал всю жизнь. Приходит на ум, например, диалог Павла Шубина и Андрея Берсенева на берегу Москва-реки из романа «Накануне». «Когда же, боже мой, поеду я в Италию?» — вопрошает романтик-скульптор Шубин. — «Ты поедешь в Италию... и ничего не сделаешь. Будешь все только крыльями размахивать и не полетишь», — отвечает скептик-естествоиспытатель Берснев³¹.

Жизненная мечта героя Тургенева, Шубина, — попасть в Рим и там работать — была глубоко выношенной: «Ставассер полетел же... И не он один. А не полечу — значит, я пингвин морской, без крыльев. Мне душно здесь, в Италию хочу..., там солнце, там красота... Конечно, я знаю: вне Италии нет спасения!»³². Шубин, с которым Тургенев во многом отождествлял самого себя³³, приводит в качестве примера судьбу молодого русского скульптора Петра Ставассера, отправившегося в Рим и сделавшего там несколько работ, признанных современниками гениальными. Увы, в 33 года Ставассер скончался в «Вечном городе» от туберкулеза, и его могила на римском кладбище Тестаччо не сохранилась.

Юный Тургенев, попав в Рим в двадцать один год, сполна воспользовался своим «римским шансом». Очень точно написал об этом Зайцев: «В этот первый итальянский приезд ничего у Тургенева не было на душе, кроме молодости и порыва все взять, не упустить, узнать. И он зажил милой, светлой жизнью итальянского паломника... Прелестно, что и самую Италию увидал, узнал и полюбил он в юности. Светлый ее след остался навсегда...»³⁴. Об этом же пишет и еще один биограф Тургенева, крупнейший итальянист Иван

²⁹ Там же.

³⁰ Там же.

³¹ *Тургенев И.С.* Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Сочинения: в 12 т. Т. 6. С. 168.

³² Там же.

³³ Знаток творчества Тургенева, историк-итальянист И.М. Гревс пишет: «Шубин часто выражает мысль самого автора, и автор понимал такую спасительность Италии в области не только чистого искусства, но и культурного развития вообще» (*Гревс И.М.* Тургенев и Италия (культурно-исторический этюд). Л.: Брокгауз-Ефрон, 1925. С. 16).

³⁴ *Зайцев Б.К.* Жизнь Тургенева. С. 41–42.

Гревс: «Тело его (Тургенева. — А.К.) еще не терзалось никакими недугами, дух же открыто рвался в широкий мир, жадно поглощая чудеса, какие дарила ему судьба»³⁵.

«Увидеть Рим молодым» — интереснейшая тема русской философии и литературы. Ее остро ощутил в свое время приятель Тургенева, поэт и издатель Николай Некрасов, впервые приехавший в Рим осенью 1856 г. в возрасте 35 лет и быстро понявший, что, увы, ... опоздал. И Некрасов тут же написал об этом «более счастливому» Тургеневу: «Зачем я не попал сюда, здоровей и моложе?»³⁶ Некрасов пришел к выводу, что «Рим есть единственная школа, куда бы должно посылать людей в первой молодости. В ком есть что-нибудь непошрое, в том оно разовьётся здесь самым благодатным образом...»³⁷. «Но людям, подобным мне, — продолжает Некрасов, — я думаю, легче вовсе не ездить сюда. Смотришь на отличное небо — и злишься, что столько лет кис в болоте... Зачем я сюда приехал!»³⁸ Под этим впечатлением Некрасов забрался однажды под купол Собора Св. Петра — и... «плюнул отсюда на свет божий»³⁹.

Видимо, именно эти, в сущности, глубоко трагические слова друга Тургенев прокомментировал позднее в письме к Льву Толстому из Парижа: «Я бы давно уехал в Рим, к Некрасову... Что в Риме есть великого, только окружает его; он не живет с ним...»⁴⁰. Та же мысль звучит и в написанном в те же дни письме Тургенева к Александру Герцену: «Плохо умному человеку... в чужой земле, среди незнакомых и неизвестных явлений! Он чувствует их значение, и тем больше разбирает его досада и горечь не бессилия, а невозвратно потерянного времени»⁴¹.

Больше всего поразила Тургенева в Риме моральная стойкость смертельно больного (это было понятно всем) Николая Станкевича. Тургенев не раз потом вспоминал, как весной 1840 г. они все вместе — Марков, Рундт, Ховрины — разъезжали по окрестностям, осматривая памятники древности: «Станкевич не отставал от нас, хотя часто плохо себя чувствовал; но дух его никогда не падал... Ни разу не слышал я от него жалоб на свое здоровье. О болезни своей он говорил не иначе, как в шутовском тоне; никогда он не хандрил»⁴².

³⁵ Гревс И.М. Тургенев и Италия. С. 24.

³⁶ Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений и писем: в 15 т. Т. 10. М.: Наука, 2000. С. 298.

³⁷ Там же. С. 298–299.

³⁸ Там же. С. 299.

³⁹ Там же. С. 300. Подробнее см.: Кара-Мурза А.А. Николай Алексеевич Некрасов // Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Риме. С. 212–221.

⁴⁰ Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма: в 18 т. Т. 3. С. 149.

⁴¹ Там же. С. 151.

⁴² Тургенев И.С. Воспоминания о Н.В. Станкевиче. С. 363, 365.

Тургенев особо припомнил один случай, когда они вдвоем со Станкевичем направлялись к Ховриным в квартиру на Via Pontefici и, как обычно, поднимались по высокой лестнице на четвертый этаж. Станкевич тогда неожиданно заговорил о Пушкине, («которого он любил страстно») и начал читать стихотворение «Снова тучи надо мною» — «своим чуть слышным голосом»⁴³. И далее Тургенев пишет: «Взбираясь на лестницу, Станкевич продолжал читать и вдруг остановился, кашлянул и поднес платок к губам — на платке оказалась кровь... Я невольно содрогнулся — а он только улыбнулся и дочел стихотворение до конца»⁴⁴.

Станкевич в те дни регулярно писал из Рима во Флоренцию оставшимся там друзьям, супругам Николаю и Елизавете Фроловым, которые знали юного Тургенева по Берлину, где он, заходя к ним в гости, вел себя весьма бесцеремонно. Ответные письма Фроловых Станкевичу в Рим не сохранились, но, похоже, супруги были немало удивлены теми положительными характеристиками, которые Станкевич давал «римскому» Тургеневу. Так, 19 марта 1840 г. он писал из Рима Фроловым: «Тургенева никто не сбивает с толку, от этого он говорит связно и хорошо — ничего не заметно, чтобы он мог когда-нибудь плести такую дичь, какую он плел у вас. Право, он умен! Не говорю о степени..., но все-таки умнее, чем мог казаться у вас...»⁴⁵.

Станкевич был первым, кто принял Тургенева таким, каким он есть, — в его самобытной неповторимости. Он поверил в Тургенева — и Тургенев оценил это и оказался достоин этого. Борис Зайцев прав, когда следующим образом рисует «римские» отношения Станкевича и Тургенева: «Италия помогла царскому сыну (Тургенев однажды назвал Станкевича “царским сыном, не знавшим о своем происхождении”⁴⁶. — А.К.) отшлифовать другого юного принца, престолонаследника русской литературы. Именно в Италии, на пейзаже Лациума, вблизи “Афинской школы” и “Парнаса” Рафаэля, овладевал Тургеневым дух Станкевича — дух поэзии и правды»⁴⁷.

Николай Станкевич не смог составить компанию друзьям, уехавшим в апреле 1840 г. из Рима в Неаполь. Немного оправившись, он, в сопровождении Варвары Дьяковой (в девичестве Бакуниной) и вернувшегося в Рим Ефремова, отправился — через Флоренцию и Геную — к ломбардскому озеру Комо для дальнейшего лечения. Однако в сорока милях к северу от Генуи, в городке Novi Ligure, Станкевич скончался в ночь с 24 на 25 июня 1840 г.

⁴³ Там же. С. 363.

⁴⁴ Там же.

⁴⁵ Станкевич Н.В. Из переписки (сост., вступит. ст. и примеч. Т.Г. Елизаветиной). М.: Советская Россия, 1982. С. 200.

⁴⁶ Тургенев И.С. Воспоминания о Н.В. Станкевиче. С. 362.

⁴⁷ Зайцев Б.К. Жизнь Тургенева. С. 42. См. также: Жукова О.А. Философия культуры Николая Станкевича: к вопросу о русском европеизме // Вопросы философии, 2014, № 7. С. 81–89.

Тургенев, в одиночестве уехавший в Германию продолжать учебу, был потрясен этой смертью. 8 сентября он написал Михаилу Бакунину о той роли, которую сыграл Станкевич в его жизни «Как я жадно внимал ему, я, предназначенный быть последним его товарищем, которого он посвящал в служение Истине своим примером, поэзией своей жизни, своих речей!.. Он обогатил меня тишиной, уделом полноты — меня, еще недостойного...»⁴⁸.

И это был уже совершенно другой Тургенев...

Литература

Анненков П.В. Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография. М.: Тип. Каткова, 1857. — 395 с.

Гершензон М.О. Декабрист Кривцов и его братья // Гершензон М.О. Избранное. Т. 2. М.— Иерусалим: Университетская книга, 2000. С. 179–370.

Жукова О.А. Философия культуры Николая Станкевича: к вопросу о русском европеизме // Вопросы философии, 2014, № 7. С. 81–89.

Зайцев Б.К. Жизнь Тургенева // Зайцев Б.К. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 5. Жизнь Тургенева: Романы-биографии. Литературные очерки. М., Русская книга, 1999. — 544 с.

Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Риме. М.: Изд-во О. Морозовой, 2014. — 496 с.

Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Неаполе. М.: Изд-во О. Морозовой, 2016. — 576 с.

Кашитанова Е.В. Начальник над русскими художниками в Риме П.И. Кривцов // Вопросы истории, 2006, № 9. С. 146–151.

Кнабе Г.С. Тургенев, античное наследие и истина либерализма // Вопросы литературы, 2005, № 1. С. 84–110.

Полонский Я.П. И.С. Тургенев у себя в его последний приезд на родину // И.С. Тургенев в воспоминаниях современников. Т. 2. М., Художественная литература, 1983. С. 358–407.

Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830–1840 (ред. и изд. А. Станкевича). М., 1914. — 786 с.

Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. М.: Наука, 1978–2014.

Тургенев И.С. Воспоминания о Н.В. Станкевиче // Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Сочинения: в 12 т. Т. 5. М.: Наука, 1980. — 543 с.

Тургенев в Гейдельберге летом 1838 г. Из дневника Е.В. Сухово-Кобылиной. Публикация Л.М. Долотовой // И.С. Тургенев: Новые материалы и исследования. М.: Наука, 1967.

Садовников Д.Н. Встречи с Тургеневым // Русское прошлое, 1923, № 1.

⁴⁸ *Тургенев И.С.* Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма: в 18 т. Т. 1. С. 162–163.

ХОЛОДНЫЙ МАРТ 1857-ГО ГОДА (О КОРОТКОЙ ПОЕЗДКЕ ИВАНА ТУРГЕНЕВА И ЛЬВА ТОЛСТОГО В ДИЖОН ВЕСНОЙ 1857 Г.)

Эта короткая история, занявшая всего пять дней, случилась 160 лет назад, весной 1857-го года. 10 марта (по «новому стилю», т.е. согласно принятому в Европе григорианскому календарю), живший тогда во Франции тридцатидевятилетний Иван Сергеевич Тургенев написал своему петербургскому приятелю, литератору П.В. Анненкову: «Вы, я полагаю, еще не настолько забыли географию, изученную Вами в нежном возрасте, любезный Анненков, чтобы забыть, что есть на свете и даже во Франции город Дижон, бывшая столица Бургундского герцогства...»¹

Предваряя естественный вопрос о причинах столь неожиданной поездки («почему я нахожусь в Дижоне — это, я воображаю, для Вас должно быть совершенно непонятно...»), Тургенев разъясняет: «А дело очень простое: пузырь мой так меня мучил в Париже, что мне присоветовали попробовать перемену воздуха; я вот и выехал в Дижон, а Дижон я выбрал собственно потому, что Виардо² дал мне рекомендательные письма к своим здешним знакомым. Я их еще не представил — но уже влияние воздуха ощутительно. Со дня приезда (т.е. со вчерашнего дня) пузырь мой меня не тревожит — и меня, хотя издали, можно опять принять за человека»³.

Далее из письма выясняется еще одно примечательное обстоятельство: «Вообразите себе, что я здесь не один. Со мной поехал Толстой, который обрадовался случаю уединиться, чтобы привести к окончанию начатую им большую повесть... Он работает усердно, и страницы исписываются за страницами. Я радуюсь, глядя на его деятельность»⁴. Действительно, именно в Дижоне двадцатидевятилетний Лев Николаевич Толстой окончил первую редакцию своей повести «Пропавший»; в окончательном варианте она получит название «Альберт» и будет опубликована в августовской книжке «Современника» за 1858 г.

Что касается Тургенева, то сам он окончил в Дижоне и отослал в Петербург давно обещанное сочинение для «Библиотеки для чтения», издаваемой А.Г. Дружининым, — рассказ «День второй» из цикла «Поездка в Полесье».

¹ Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма: в 18 т. Т. 3. М.: Наука, 1987. С. 100.

² Луи Виардо — французский искусствовед и критик, в доме которого, находясь во Франции, подолгу жил И.С. Тургенев. Уроженец города Дижона. Муж певицы Полины Виардо.

³ Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма: в 18 т. Т. 3. С. 100.

⁴ Там же.

Следует признать, что уже тот факт, что два корифея отечественной литературы — Тургенев и Толстой, — отъехав на пять дней на триста с небольшим километров от шумного Парижа, закончили в провинциальном бургундском городке по целому произведению, заслуживает того, чтобы историки культуры внимательнее отнеслись к весенней поездке двух литераторов. Ведь не просто так, в конце концов, Тургенев, чудесным образом получивший в Дижоне облегчение от застарелой болезни, провозгласил в письме к Анненкову здравицу в честь столицы Бургундии: «Со всем тем, как патриот Гаряйнов кричал: Ура! тамбовским дамам, — так и я кричу: Ура! Дижону за освобождение меня от пузыря!»⁵

Причиной совместной поездки Ивана Тургенева и Льва Толстого в начале марта 1857 г. в Дижон исследователи обычно называют необходимость консультаций Тургенева с местными врачами, а Толстого называют скорее *сопровождающим*, поехавшим в Дижон якобы *за кампанию*. По нашему мнению, дело обстояло иным образом.

О планах Тургенева ехать в Дижон Толстой, незадолго до этого приехавший в Париж⁶, действительно узнал, скорее всего, случайно. Однако он более чем серьезно воспринял возможность съездить именно в Дижон — бургундский город, с которым прочно связано имя Жан-Жака Руссо — кумира Толстого на протяжении всей его жизни. Как известно, Руссо в свое время дважды принял участие в литературных конкурсах, объявленных Дижонской академией в 1750 и 1754 гг. В первом из них сочинение Руссо «Рассуждения о науках и искусствах» получило главную премию и впервые прославило его имя. Обрело европейскую известность и другое сочинение Руссо, на дижонском конкурсе 1754 г., — «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми»⁷. Итак, возможность побывать в Дижоне и прикоснуться таким способом к священному для него имени Ж.-Ж. Руссо увиделась Толстому воодушевляющим стимулом для собственного творчества⁸.

⁵ Там же.

⁶ Отставной артиллерийский поручик и начинающий литератор Л.Н. Толстой приехал в Париж 9 (21) февраля 1857 г. Это было его первое в жизни заграничное путешествие.

⁷ Сочинение, представленное Руссо на конкурс 1854 г. (разумеется, как и в первый раз, анонимно), показалось дижонским академикам слишком радикальным. Конкурс выиграл скромный священнослужитель из Безансона, не сохранивший свое имя в истории.

⁸ По пути в Париж Толстой урывками — и в мальпосте, и в поезде — быстро набрасывал «Пропащего» («дорогой думается несвязно, но живо», — любил он повторять), «который в продолжение дороги так вырос, что уже кажется не по силам» (Из письма Толстого В.П. Боткину от 22 февраля 1857 г. из Парижа (см.: *Толстой Л.Н.* Полное собрание сочинений. Т. 60. С. 159). Однако расчет быстро окончить «Пропащего» в Париже, чтобы успеть к апрельскому номеру «Современника», не оправдался, о чем свидетельствуют записи в дневнике: «написал только один листок»; «чуть-чуть и плохо пописал»; «написал страницу» и т.д. (См.: *Гусев Н.Н.* Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. М.: Изд-во АН СССР, 1957. С. 180.)

Рано утром 9 марта 1857 г. Тургенев, живший тогда в Париже рядом с церковью Мадлен по адресу: rue des Arcades, 11, заехал за Толстым в пансион на rue Rivoli, 206, напротив сада Тюильри. Вместе они отправились на «Лионскую платформу»⁹ на том же правом берегу Сены и ровно в 8 часов утра выехали лионским поездом в Дижон. Дорогой играли в карты. Из упоминающихся мест Толстой отметил в дневнике чудесный лес вокруг императорской резиденции Фонтенбло — сюда он потом приедет специально, буквально на второй день после возвращения в Париж.

В Дижоне Тургенев и Толстой поселились в двухместном номере отеля «La Cloche» («Колокол») на центральной rue Liberte (улице Свободы), совсем рядом с Porte Guillaume. Эта старейшая гостиница города, существующая с XV в., видела среди своих постояльцев таких знаменитостей, как король бельгийцев Леопольд I, маршал Ней, Альфонс Ламартин и др. А совсем незадолго до Тургенева и Толстого, в июне 1856 г., в «Колоколе» на одну ночь останавливался сам французский император Наполеон III, направлявшийся в Лион во время борьбы с последствиями наводнения из-за небывалого разлива Роны¹⁰.

Сразу после размещения литераторы сходили, как полагается, в баню. Фешенебельная услуга для состоятельных постояльцев скорее раздражила привыкшего к спартанской жизни Толстого. Вечером он записал в дневнике: «Пошел в баню — мерзость. Несмотря на этот комфорт, пропасть своего рода лишений для нашего брата русского...»¹¹

Из письма Тургенева Анненкову можно узнать, что в гостиничном номере, хотя и выходящем окнами на южную сторону¹², было очень холодно, что необычно для Бургундии в первой декаде марта: «жесточайший холод, царствующий в комнате гостиницы, в которой мы остановились, заставляющий нас сидеть не близ камина, но в самом камине, на самом пылу огня...»¹³

Намерение Толстого в первый же вечер наброситься на неоконченную повесть поначалу не имело успеха: «Дижон. 9 марта. Писал и плохо и хорошо.

⁹ Собственно, Лионский вокзал (Gare de Lyon) был открыт только в 1860 г.

¹⁰ В начале 1880-х «Колоколу» стало тесно на узкой улице Свободы, и он переехал в новое шикарное здание за воротами Porte Guillaume на Place Darcy. С тех пор гостиница приумножила свою репутацию одного из самых изысканных отелей Франции. Вот лишь краткий перечень его новых звездных гостей: Камиль Сен-Санс, Огюст Роден, король бельгийцев Альберт I, принцесса Грейс из Монако, Морис Шевалье, Жан Маре, Луи де Фюнес, Бурвиль, Шарль Азнавур и мн. др.

¹¹ Толстой Л.Н. Собрание сочинений: в 22 т. Т. 21. Дневники (1847–1894). М.: Художественная литература, 1985. С. 181.

¹² Строить гостиницы окнами на солнечную сторону — обычная европейская практика во времена, когда электричество еще не использовалось. Многие путешественники XIX — начала XX вв. отмечали, что даже зимнее солнце (особенно в средней и южной Италии) позволяло не отапливать дополнительно комнаты даже зимой.

¹³ Тургенев И.С. Письма: в 18 т. Т. 3. Письма (1855–1858).

Больше первое. Слишком смело и небрежно»¹⁴. Возможно, присутствие рядом Тургенева смущало Толстого. Это началось еще в поезде: «Он добр и слаб ужасно»¹⁵; «Тургенев ни во что не верит, вот его беда, не любит, а любит любить»¹⁶. А вот запись о первом вечере в номере дижонской гостиницы: «Я с ним смотрю за собой. Полезно. Хотя чуть-чуть вредно чувствовать всегда на себе взгляд чужой и острый, свой деятельнее»¹⁷.

Зато на следующий день, начавшийся у Толстого, как всегда, с интенсивной гимнастики, все задалось с самого утра: «Дижон, 10 марта. Спал отлично. Утром написал главу славно»¹⁸.

Из коротких записей в толстовском дневнике мы знаем некоторые подробности того дижонского дня — 10 марта 1857 г., ставшего для обоих литераторов удачным в творческом отношении: «Ходил с Тургеневым по церквам. Обедал. В кафе играл в шахматы... Театр Etoile du Nord»¹⁹. И сразу далее в дневнике — загадочное слово «*Sakinkers*», не расшифрованное никем из комментаторов Толстого и помеченное во всех изданиях его сочинений знаком вопроса²⁰.

Попытаемся, однако, вникнуть в беглые толстовские заметки о тех пяти днях в Дижоне. Удивительно, но для этого придется иногда прибегать к не менее скудным позднейшим записям. Так, 16 марта, т.е. на второй день после возвращения из Дижона в Париж, Толстой отметил в дневнике, что с утра он ездил в Дом инвалидов (*Hotel des Invalides*) смотреть могилу Наполеона Бонапарта («обоотворение злодея ужасно»)²¹; затем отправился в Фонтенбло — место, где Наполеон отрекся от престола и попрощался с верной ему гвардией. А между этими двумя визитами — совсем короткая запись: «*Notre dame*. Дижонская лучше»²², что дает нам ключ к расшифровке дневникового фрагмента недельной давности о «хождении» с Тургеневым по дижонским церквам.

Становится ясным, что 10 марта 1857 г. Толстой и Тургенев прошли от отеля «Ля Клош» к центру Дижона по рю Либерте и осмотрели

¹⁴ Толстой Л.Н. Собрание сочинений: в 22 т. Т. 21. С. 181.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Там же.

¹⁷ Там же.

¹⁸ Там же. С. 181–182.

¹⁹ Там же. С. 182.

²⁰ Там же.

²¹ Разумеется, Толстой не мог видеть ныне знаменитый саркофаг из темно-красного кварцита, сделанный из огромного куска карельского камня, подаренного Франции еще императором Николаем I. Он будет установлен только в 1861 г.

²² Толстой Л.Н. Собрание сочинений: в 22 т. Т. 21. С. 182. Можно предположить, что от Дома инвалидов Толстой шел к «Лионской платформе» пешком, как он любил, — сначала вдоль набережной Сены, а, дойдя до острова Сите, где находится Собор Парижской богородицы (Нотр-Дам), перешел на правый берег.

Нотр-Дам — готический собор, возведенный в столице Бургундии в XIII в. во славу Девы Марии. Что могло тогда привлечь их внимание?

Знаменитых «гаргулий» (химер), в три ряда украшающих сегодня ажурно-резной фасад дижонского Нотр-Дам, в 1857 г. не было: они были сняты еще в Средневековье²³ и восстановлены лишь в начале 1880-х гг. Зато, как и сейчас, красовался на часовой башенке «Жакмар» — заводная фигурка из бронзы, отбивающая молоточком время, снятая бургундским герцогом Филиппом Смелым в 1382 г. с колокольни фландрского городка Куртре в качестве военного трофея.

Правда, и в этом случае то, что видели Толстой и Тургенев 160 лет назад, не вполне совпадает с сегодняшней картиной. В семнадцатом веке механический «Жакмар», по решению полюбивших его дижонцев, обрел пару — «супругу Жаклин». А в первой половине XVIII в. у них появился «сын Жаклине» — эту дружную троицу, задающую ритм жизни Дижона, и могли видеть наши герои на крыше Нотр-Дам весной 1857 г. Четвертая фигурка — «дочь Жаклинет» — будет установлена только в 1884 г.

Не могли не обратить внимания русские литераторы и на еще один символ Дижона — маленькую каменную сову (La Chouette) в нише северного фасада Нотр-Дам. Согласно поверью, к сове надо прикоснуться и чуть погладить левой рукой (она ближе к сердцу) — и тогда исполнятся самые заветные желания²⁴. Можно только догадываться, что загадали тогда Толстой и Тургенев, но фактом остается то, что поздним вечером того дня литературное вдохновение посетило обоих, и каждый окончил в натопленной комнате отеля «Ля Клош» по литературному произведению.

Мы не знаем наверняка, какие еще из многочисленных храмов Дижона имел в виду Толстой, записавший в дневнике о «хождении с Тургеневым по церквам». Но невозможно себе представить, чтобы они не зашли тогда в Кафедральный собор Св. Бенигна (St.-Benigne), находящийся в каких-нибудь двухстах метрах прямо перед старым отелем «Колокол», и громада которого отлично просматривалась из окон гостиничного номера. Собор был возведен в XIV в. над тем местом, где был похоронен раннехристианский мученик Бенигн Дижонский, святой покровитель города. В крипте Собора до сих пор хранится часть его мощей, а также находится могила знаменитого герцога Бургундии Филиппа III Доброго.

²³ Согласно местной легенде, в 1240 г. одна из «гаргулий», выполнявшая роль водостока, упала вниз и убила жениха на свадебной процессии — после этого все остальные фигуры, по требованию граждан, были сняты с фасада. Поскольку несчастный жених, согласно, той же легенде, оказался по профессии ростовщиком, вся эта история обрела еще и назидательный характер.

²⁴ Фигурка совы — главного символа Дижона — появилась не при постройке Нотр-Дам, а позднее, в XV или XVI в. В 2001 г. сову повредили вандалы несколькими ударами молотка, но через несколько месяцев она была отреставрирована и помещена под видеонаблюдение.

...Нельзя обойти вниманием и, так сказать, *гастрономическо-винный* аспект пребывания Тургенева и Толстого в Дижоне. Тем более что сам Тургенев, например, откровенно хвалился Анненкову в своем письме от 10 марта: «Мы здесь находимся в Бургундии, в самом центре бургундских виноградников! — А? Что скажете, почтеннейший? Если бы Вы были с нами, то-то мы нализывались. Здесь мы пьем “Nuit” в 5 франков за бутылку, которое и за 3 целковых в Петербурге не достанешь»²⁵. Действительно, красные бургундские вина из винограда сорта «пино нуар», собранного в районе городка Nuits-St.-George чуть южнее Дижона, — и по сию пору считаются одними из лучших в мире.

Что касается местной гастрономии, то здесь Тургенев ограничивается в письме краткой, но весьма емкой фразой: «Едим мы тоже сильно...»²⁶. Не будет риском предположить, что, «нализываясь» бургундским красным, два русских гурмана параллельно перепробовали в Дижоне все традиционные блюда, среди которых вот уже несколько столетий выделяется трио: говядина по-бургундски, петух в красном вине и виноградные улитки.

«Говядина по-бургундски» (*Boeuf bourguignon*) несколько часов тушится в красном вине и заправляется мукой, луком, морковью, салом, чесноком и грибами. «*Coq au vin*» — блюдо, популярное во многих регионах Франции, однако именно в Бургундии, на своей родине, петух, тушеный в красном вине Шамбертен, особенно нежен. Что касается «*Escargot de Bourgogne*», то виноградные улитки в Бургундии традиционно готовятся со сливочным маслом, петрушкой и чесноком и подаются в собственных раковинах со специальными, придуманными именно в Бургундии, приборами для извлечения и поедания.

Случились в Дижоне и бесспорные гастрономические откровения. «Открылся здесь сыр по прозванию *fromage des Riceys*, — писал Тургенев Анненкову. — Сами боги не едали ничего подобного!»²⁷. Ошибутся те, кто предположит, что речь опять идет о бургундском продукте. Мягкие сыры *Riceys*, которые так хвалил Тургенев, — из частично обезжиренного коровьего молока, в традиционной оболочке из плесени, присыпанной золой, — поставляют в Дижон из одноименной коммуны *Riceys*, что на самом юге соседнего с Бургундией региона Шампань.

...В удачный для двух литераторов день 10 марта произошло, однако, событие, расстроившее их обоих, в первую очередь, Тургенева. Заезжая труппа из Нанта давала в Дижонском театре комическую оперу Дж. Мейербера «*Étoile du Nord*» («Северная звезда»). Воспитанный на оперной классике

²⁵ Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма: в 18 т. Т. 3. С. 100.

²⁶ Там же.

²⁷ Там же.

Россини, Беллини, Доницетти, Тургенев был, как известно, большим знатоком и страстным поклонником оперного искусства. Любил он и музыку Джакомо Мейербера. Еще в начале 1850 г. Тургенев отправил из Парижа А.А. Краевскому, редактору и издателю «Отечественных записок», большую рецензию на постановку мейерберовской оперы «Пророк», которая тогда представлялась в Париже в сороковой раз (сам Тургенев, по его признанию, слушал «Пророка» раз десять).

«Конечно,— писал тогда Тургенев,— довольно значительную часть этого успеха должно приписать прекрасному исполнению, великолепной постановке, множеству иностранцев и провинциалов, наехавших в Париж, но и сама музыка “Пророка” вполне оправдывает энтузиазм публики. Она достойна творца “Роберта” и “Тугенотов”». Тургенев признавал, что «в искусстве двигать целые громады музыки (если можно так выразиться) на сцене и в оркестре, никто не может сравниться с Мейербером»²⁸.

Конечно, восхищение Тургеневым парижской постановкой «Пророка» во многом определялось тем, что заглавную партию Фидэс пела Полина Виардо: «Арию Фидэс “Ah, mon fils!” многие почитают перлом всей оперы: действительно, нельзя себе представить ничего более трогательного при всей простоте мелодии... Должно тоже сознаться, что Виардо удивительно поет эту арию... Что касается до актеров, то первое место, бесспорно, принадлежит Виардо...»²⁹

Хорошо была знакома Тургеневу и новая опера Дж. Мейербера «Étoile du Nord», впервые поставленная в 1854 г. в Париже труппой «Опера-комик». Автором либретто снова выступил Эжен Скриб, продолживший в «Северной звезде» традиции немецкого «зингшиля», но в этот раз, очевидно, превысивший норму допустимых фантазий.

Суть сумбурного действия такова. Петр Первый находится инкогнито в Финляндии в местечке близ Выборга на берегу Финского залива. Под видом простого плотника Петра Михайлова он покупает у местного пекаря Даниловича (читай: Меншикова) пирожки. Другие работники предлагают выпить за здоровье шведского короля Карла, но Данилович отказывается, чем вызывает симпатии Петра. Они становятся друзьями. Одновременно Петр ухаживает за маркитанткой Катериной и, чтобы почаще быть рядом с ней, берет уроки игры на флейте у ее брата Георгия Скавронского. Пришедшие в местечко русские казаки забирают Георгия в армию, и, чтобы спасти его, Катерина переодевается в мужское платье и поступает на военную службу вместо брата. В русской армии она узнает, что там назревает бунт против царя, отошедшего от старомосковских традиций. В результате

²⁸ Там же.

²⁹ Там же.

нелепых обстоятельств Катерину арестовывают — ей грозит смертная казнь. Царь-Петр, гуляющий с новым другом Даниловичем, не узнает девушку и отказывается ей помочь — от обрушившихся на нее несчастий та лишается рассудка. Когда подтверждается, что это именно Катерина, Петр пытается вернуть ей разум, воссоздав перед девушкой счастливую атмосферу минувших дней. Он начинает музицировать на флейте, — и к Катерине возвращается память. В конце концов, Петр женится на ней, и счастливую Катерину коронуют как русскую императрицу...

Если в Европе и даже Северной Америке «Северная звезда» имела успех, то, поставленная в Санкт-Петербурге Императорской итальянской труппой в январе 1856 г. на сцене Большого (Каменного) театра, она продержалась всего шесть представлений. Бывший в те месяцы в Петербурге Тургенев несомненно присутствовал на премьере, в которой выступили оперные звезды: бас Луиджи Лаблаш (Петр), сопрано Анджолина Бозио (Катерина), лирический тенор Энрико Кальцолари (Данилович).

Короче говоря, узнав, что вечером 10 марта 1857 г. в Дижоне представляется «Северная звезда» Мейербера, заинтригованный Тургенев, конечно же, не мог пропустить представление. Охотно согласился составить ему кампанию и Толстой, чей оперный опыт пока составляли услышанные незадолго до этого в Париже «Севильский цирюльник» Россини и «Риголетто» Верди³⁰.

Увы, впечатление от «Северной звезды по-бургундски» превысило самые худшие опасения меломана Тургенева. «Но зато театр здесь и даваемая на оном “Étoile du Nord” — чудо!,— писал он в тот же вечер Анненкову.— Посмотрели бы Вы на Русских солдат с киверами, вроде мучных совков, на казаков, на мужиков — и как это всё поет! Такая каша выходит, что вообразить нельзя. Точно всякий сброд, прохожие прегадкие люди. Вам в мозг с...т. Никак потом проветриться нельзя»³¹.

Несколько спокойнее отнесся к услышанному и увиденному Толстой. В своем дневнике он кратко отметил: «“Étoile du Nord”. *Sakinkers*», употребив придуманное им на пару с Тургеневым ругательно-презрительное сложносоставное (русско-англо-французское) слово, буквально означающее: «*гадящие-в-сердце*».

³⁰ См.: Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. С. 173.

³¹ Тургенев И.С. Письма. Письмо П.В. Анненкову 26 февраля (10 марта) из Дижона. Спустя четверть века, в декабре 1881 г., очередными «жертвами» неудачной постановки «Северной звезды» Дж. Мейербера (на этот раз в Риме, в оперном театре «Констанци»), стали П.И. Чайковский и его знакомый, харьковский помещик Н.Д. Кондратьев. Петр Ильич писал тогда оставшемуся в России брату Анатолию: «Был в опере, где слушал «Северную звезду» Мейербера, в коей Петр Великий очутился в Финляндии, причём декорация изображает швейцарский ландшафт, а народ одет в русские костюмы; тут же Маленьких продаёт пирожки. Смешно и глупо ужасно» (см.: Кара-Мурза А.А. Петр Ильич Чайковский // Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Риме. С. 245).

Парадоксально, но разочарование и ярость от увиденного и услышанного в оперном театре Дижона конвертировалась поздним вечером в бурное творчество. Для Толстого, писавшего повесть о гениальном музыканте, способном своей игрой преобразовывать жизнь, это, должно быть, стало открытием: оказалось, что стимулом для творчества может стать не только восхищение, но и горькое разочарование музыкой. Так сказать, — от противного!

Как бы там ни было, но в ночь с 10 на 11 марта 1857 г. Толстому показалось, что сам он окончил в Дижоне вещь неординарную. Судя по записям в дневнике, 11 и 12 марта он лишь переписал «Пропавшего» набело, а в последний дижонский вечер, 13 марта, рискнул прочесть повесть Тургеневу.

Велико же было его разочарование! «Прочел ему “Пропавшего”. Он остался холоден. Чуть ссорились. Целый день ничего не делал»³². На самом деле, Тургенев, хотя и не показал вида, не остался равнодушным к сочинению приятеля. 16 марта он уже из Парижа конфиденциально писал Анненкову: «Толстой в Дижоне окончил вещь, которую он читал мне. Ее надо будет несколько переделать и обчистить — и тогда выйдет отличнейшая штука — Вы увидите»³³.

Оконченный самим Тургеневым той же ночью с 10 на 11 марта 1857 г. и отосланный им в Россию рассказ «День второй» (из цикла «поездок в Полесье»), — вещь, крайне необычная для нашей литературы. По сути, именно там впервые появляется (более чем за полвека до русской катастрофы!) не вполне пока отчетливый, образ «грядущего русского хама» — в лице некоего «вора Ефрема» — человека, с одной стороны, предельно десоциализированного, а, с другой, — потенциального лидера русской жизни, лишь поджидающего до поры «своего часа».

Сам автор, Тургенев, по-видимому, чувствовал неловкость и — одновременно — очевидную тревогу при описании этого «Ефрема»: «Небольшого роста мужик в черном коротком армяке, подпоясанном веревкой быстро вскинул на меня свои прищуренные глазки и тотчас опустил их снова. Такого странного лица я давно не видывал... Его голубые глазки так и бегали, как живчики. Стоял он развязно, легонько подпершись руками в бока и не ломая шапки». Привычные для «охотничьих записок» Тургенева сельские «типы» — возница Кондрат и охотник Егор — явно пасуют перед развязным, наглым, хоронящимся в лесу вором, живущим по принципу: «Гуляй, пока хвост цел!; оробел — пропал, смел — съел» и т.п. Предельно тревожно звучат у Тургенева слова смиренного и простоватого Егора о том, что, казалось

³² Толстой Л.Н. Собрание сочинений: в 22 т. Т. 21. С. 182.

³³ Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма: в 18 т. Т. 3. С. 100.

бы очевидный «аутсайдер» Ефрем забирает все больше власти в умах кротких односельчан: «Да, мудреный этот Ефрем. Пока дома — любезный человек, всех потчует: пей, ешь сколько хочешь, пляска тут у него поднимется, балагурство всякое; а что коли на сходке... уж лучше его никто не рассудит; подойдет сзади, послушает, скажет слово, как отрубит, и прочь; да уж и слово-то веское. А как вот уйдет в лес, ну, так беда! Жди разорения... Коли встретит кого святовского — “Обходи, брат, мимо,— кричит издали,— на меня лесной дух нашел: убью!” Беда!».

Реальная «беда» от таких, как Ефрем, придет на Русь лишь спустя несколько десятилетий, но гениальный художник Тургенев не мог умолчать о своем провидении будущего уже в начале 1857-го года. Он несколько раз пытался уничтожить написанное (уж не поклеп ли возводит он на «Святую Русь»?), но все-таки отправил рассказ для печатания в Россию. Его тревожная растерянность перед собственным произведением, укрывающаяся за нарочитым пренебрежением написанным, явно следует из дижонского письма к Анненкову. «Что же касается до меня,— писал Тургенев, пересылая приятелю «День второй», — то из прилагаемого несомненного, хотя не размазанного г... Вы можете усмотреть, в каком плачевном состоянии находится моя творческая фантазия. С невероятным трудом выдавил я, давно затасканный лимон, эти последние капли из себя. Сделайте с этим “Вторым днем” что хотите. Присовокупите его к первому и напечатайте или назначьте им мирную могилу на дне ватерклозета — это совершенно в Вашей воле; но, во всяком случае, передайте Дружинину, что, если бы не желание исполнить свое слово и очистить его перед публикой — я бы ни за что не дал бы себе труда переписывать такую дребедень. О денежном вознаграждении, разумеется, и помину быть не может; если он поставит Вам бутылку трехрублевого Лафиту, требовать большего было бы неприлично»³⁴.

Между тем Дружинин, получив «День второй», оценил его весьма высоко: «Повесть Вашу я получил, ее можно печатать смело, да и как могли Вы в том сомневаться? Форма “Записок охотника” при Вас навсегда, Вы в ней хозяин, и как бы неохотно Вы ни писали в этом роде, все-таки будет очень хорошо»³⁵.

Судя по всему, скоротечный «дижонский эпизод» весны 1857 г. стал прямым прологом для последовавших вскоре важнейших событий. Растревоженный мыслями о своем кумире Ж.-Ж. Руссо, Толстой менее чем через месяц не выдержал жизни в Париже и в апреле 1857 г. бежал в Швейцарию, к берегам Женевского озера, в родные для Руссо места.

³⁴ Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма: в 18 т. Т. 3. С. 100.

³⁵ Тургенев и круг «Современника». М.: Accademia, 1930. С. 209.

Холодный март 1857-го года
(о короткой поездке Ивана Тургенева и Льва Толстого в Дижон весной 1857 г.)

Маявшийся во Франции Тургенев, в свою очередь, предпринял путешествия в Англию, потом в Германию, и, наконец, в Рим, где его зимой 1857–1858 гг. посетило подлинное вдохновение. Закончив в «Вечном городе» «Асю» и начав «Дворянское гнездо», он и стал тем Тургеневым», которого мы все знаем и любим³⁶.

Литература

Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 гг. М.: Изд-во АН, 1957.

Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Риме. М.: Издательство Ольги Морозовой, 2014.— 496 с.

Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 60 т. М.: Терра, 1928–158.

Тургенев И.С. Полное собрание сочинений: в 30 т. М.: Наука, 1978–2014.

Тургенев и круг «Современника». М.: Accademia, 1930.— 550 с.

³⁶ Подробнее см.: *Кара-Мурза А.А.* Иван Сергеевич Тургенев // *Кара-Мурза А.А.* Знаменитые русские о Риме. М.: Изд-во О. Морозовой, 2014. С. 189–199.

СОРРЕНТО ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА

Сорренто — небольшой приморский городок недалеко от Неаполя, сыграл немалую роль в истории русского культурного класса. Достаточно, например, напомнить, что в конце XIX — начале XX вв. Одессу и Сорренто связывали прямые пароходные рейсы. А визуальные «образы Сорренто» (в первую очередь, его отвесных берегов над Большой и Малой бухтами, с домом, где по преданию, родился великий Торквато Тассо), созданные художниками Сильвестром Щедриным (умершим и похороненным в Сорренто), Иваном Айвазовским, Алексеем Боголюбовым были хорошо знакомы широкому кругу культурных русских. Немало сделал для закрепления «образа Сорренто» в отечественном сознании и наш литературный гений — Иван Сергеевич Тургенев, дважды побывавший в Сорренто (в 1840 и 1858 гг.). Русский читатель «знает» Сорренто по тургеневским «Трем встречам» (1852), а немалому числу театралов обеих российских столиц «образ Сорренто» наверняка врезался в память декорациями к одноактной комедии Тургенева «Вечер в Сорренте» (краткой реплики «Месяца в деревне») в Александрино, в театре Корша, Малом театре, Театре им. Ермоловой — с неизменным видом Неаполитанского залива с курящимся Везувием на заднем плане...

«Образ Сорренто» навеивает русскому уху и музыка. Слова «Вернись в Сорренто» из облетевшей весь мир песни братьев ди Куртис парадоксальным образом нашептывают нечто (и довольно много) людям, никогда в Сорренто не бывавшим. И та же «Torna a Surriento» продолжает отзываться в музыкальных стилизациях Алексея Рыбникова в сравнительно недавнем (и очень популярном по сей день) детском фильме «Приключения Буратино», проникая в подсознание уже нового поколения русских.

Иначе говоря, «образ Сорренто» оказывается включенным в не столь уж широкую галерею не вполне четких, но достаточно устойчивых национальных представлений («отпечатков»), которые еще великий Платон называл «врожденными идеями». Из «образов Италии» (термин П.П. Муратова) конкурентку «Сорренто» может составить разве что образ «Venezia la bella» — «прекрасной Венеции».

Южноитальянский городок, еще полтора-два века назад бывший рядовой рыбацкой деревушкой, в свою очередь, отвечает нам, русским, своими собственными мифами: на фасаде одного из соррентийских палаццо в числе мировых знаменитостей, посетивших Сорренто, значится некто «Nikola Cermicewsky». Не будет ошибкой предположить, что это не кто иной, как

наш Николай Гаврилович Чернышевский — правда, никогда в Сорренто не бывавший. Однако оплошность впечатлительных соррентийцев становится объяснимой, когда в обширной переписке ссыльного в суровые края Чернышевского с его женой Ольгой Сократовной мы находим яркие описания «Сорренто» — как чаемого ими обоими «земного рая», где они когда-нибудь окажутся вместе. Миф в который раз обретает черты реальности.

Предлагаемая статья, как надеется автор, призвана укрепить образ «русского Сорренто», ибо именно там, весной 1876 г., самый крупный из русских философов — Владимир Сергеевич Соловьев — пережил невероятные приключения и написал один из самых значимых и одновременно самых загадочных своих текстов.

Заграничному путешествию В.С. Соловьева 1875–1876 гг. (в Англию, Египет, Италию, Францию) посвящена большая литература. Это вполне объяснимо: исследователи жизни и творчества Соловьева сходятся в том, что из этой поездки он вывез некоторые важные контуры своей дальнейшей религиозно-философской системы, первыми набросками которой стали тексты, написанные в Каире и Сорренто на французском языке и объединенные под названием «София»¹. Письма самого В.С. Соловьева того времени, а также большая работа, сделанная его биографом С.М. Лукьяновым, позволяют достаточно подробно проследить путешествие Соловьева².

Как известно, в марте 1875 г. Совет Московского университета, рассмотрев представление историко-филологического факультета, удовлетворил ходатайство двадцатидвухлетнего доцента В.С. Соловьева о предоставлении ему заграничной командировки на один год и три месяца в Англию, «преимущественно для изучения в Британском музее памятников индийской, гностической и средневековой философии»³. 21 июня 1875 г.⁴ Соловьев выехал поездом из Москвы по маршруту Варшава — Берлин — Ганновер — Кельн — Остенде. Оттуда он переправился морем до Дувра и далее прибыл в Лондон.

В Лондоне Соловьев работал главным образом в библиотеке Британского музея. К.В. Мочульский в своей «интеллектуальной биографии» Соловьева

¹ Фрагменты, вошедшие в трактат «София», были впервые опубликованы в Швейцарии на языке оригинала (*Soloviev V. La Sophia et les autres ecrits francais. Lausanne, 1978*). Большая работа по комментированному переводу этих текстов на русский язык сделана А.П. Козыревым (См.: *Козырев А.П. В.С. Соловьев и гностики. М., 2007*).

² *Лукьянов С.М. О Вл.С. Соловьеве в его молодые годы. Материалы к биографии. Кн. 3, вып. 1, Пг., 1921, гл. XIX–XXV (далее в сносках: Лукьянов С.М. Материалы).*

³ См.: *Лукьянов С.М. Материалы, кн. 3, вып. 1. С. 64.*

⁴ Здесь и далее в тексте, за исключением особо оговариваемых случаев, все даты даются по новому стилю.

точно замечает: «Молодой философ... искал ключа к тайной мудрости, чуда, преображающего мир; ему было мало теоретического познания, он хотел дела... Соловьев никогда не был кабинетным ученым и отрешенным от мира мистиком. Он чувствовал себя религиозно-социальным реформатором, жил сознанием приближающегося конца света и хотел действовать немедленно, чтобы его ускорить»⁵. Вот в это время Соловьеву и следует «второе видение» Софии — Премудрости Божией, когда некий Голос отчетливо произнес: «В Египте будь...».

И Соловьев, не мешкая, отправляется в Египет. Ненадолго остановившись в Париже, он пересекает Францию и попадает в Италию. Миновав далее Турин, Пьяченцу, Парму, проехав по Адриатическому побережью Италии через Анкону и Бари в апулийский порт Бриндизи на итальянском «каблуке», Соловьев 11 ноября 1875 г. прибыл в египетскую Александрию.

Через некоторое время в пустыне под Каиром ему следует «третье видение», о подробностях которого он, однако, умалчивает как в письмах родным, так и в устных рассказах. В письме от 27 ноября он коротко сообщает о случившемся матери: «Путешествие мое в Фиваиду, о котором я писал в прошлом письме, оказалось невозможным. Отойдя верст 20 от Каира, я чуть не был убит бедуинами, которые ночью приняли меня за черта, должен был ночевать на голой земле... вследствие чего вернулся назад»⁶.

4 марта 1876 г. Вл. Соловьев пишет матери из Каира о намерении в ближайшие дни возвратиться в Европу и на месяц поселиться в Сорренто, на берегу Неаполитанского залива: «Пищи себе в Египте не нашел никакой, а потому через 8 дней и уезжаю отсюда в Италию вместе с Калачовым (сыном директора архивов), который жил здесь все время. Цертелев уезжает еще раньше. В Италии я поселюсь на один месяц в Сорренто, где в тиши уединения буду дописывать некоторое произведение мистико-теософо-философско-теурго-политического содержания и диалогической формы. Затем отправлюсь в Париж, где для очищения совести займусь немного в *Bibliothèque Nationale*, и, захав на несколько дней в Лондон, возвращусь к июню через Киев в Москву»⁷.

12 марта Соловьев отплыл из Александрии в Неаполь. Несколько днями раньше по этому же маршруту отправился упоминаемый в переписке Соловьева князь Д.Н. Цертелев, который в конце своей жизни кратко

⁵ Мочульский К.В. Владимир Соловьев. Жизнь и учение // Мочульский К.В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995. С. 97.

⁶ Письма. Т. 2. С. 19. Через некоторое время, поняв, что подобное сообщение могло встревожить родных, он пытается их успокоить: «Происшествие с арабами более меня позабавило, чем испугало» (там же. С. 21).

⁷ Там же. С. 23.

высказался на эту тему: «Соловьеву не удалось выехать из Каира вместе со мною, как он предполагал, и я один отправился в Неаполь и во Флоренцию»⁸. Не известно ни одного факта о какой-либо размолвке друзей — в ближайшие полтора месяца они будут обмениваться доверительными письмами, а потом радостно встретятся во Флоренции. Скорее всего, разошлись ближайшие планы: Дмитрий Цертелев торопился встретиться во Флоренции с путешествующим по Италии старшим братом Петром Николаевичем, а Владимир Соловьев, в свою очередь, искал максимального уединения и возможности доработать и подготовить к изданию текст, который он начал в Каире и которому придавал очень большое значение.

16 марта 1876 г. Соловьев приплыл в Неаполь, откуда переехал в Сорренто. 20 марта он писал матери: «Покинув землю Египетскую 12-го марта, после благополучного плавания прибыл в Неаполь 16-го, где пробыл 2 дня, и... уехал в Сорренто вместе с Калачовым (с которым приехал из Египта). Сорренто, как вам, вероятно, известно⁹, есть маленький приморский городок в виду Неаполя и Везувия, и отличается всевозможными красотами природы, которыми я, впрочем, не успел еще насладиться по причине непрерывного дождя и бурных ветров, свойственных этому месяцу. Живу я в довольно дешевом отеле над самым морем и думаю пробыть здесь до конца апреля, который в Италии есть лучший месяц»¹⁰.

«Отель над самым морем» из письма домой — это, вообще говоря, мог быть любой отель в приморском Сорренто. Слова «довольно дешевый» в применении к гостиницам — понятие для Соловьева столь же привычное, сколь и относительное. Приехав за восемь месяцев до этого в Лондон, он, по его словам, тоже поселился в «маленьким дешевом отеле»¹¹, который, однако, по воспоминаниям бывшего в то время в Лондоне И.И. Янжула, на поверку оказался «дорогим аристократическим отелем», в котором, помимо запредельной цены за номер, Соловьеву навязали еще и знающего немного по-русски «комиссионера», которому надо было платить дополнительно фунт стерлингов в день. Янжулу, имевшему от отца Соловьева полномочия опекать

⁸ Цертелев Д.Н. Из воспоминаний о Владимире Сергеевиче Соловьеве // Книга о Владимире Соловьеве. М., 1991. С. 309.

⁹ Интонация этой фразы абсолютно утвердительная: разумеется, в интеллигентнейшей московской семье Соловьевых хорошо знали о существовании Сорренто — А.К.

¹⁰ Письма, т. 2. С. 24. Слова в письме о «благополучном плавании» и точное соблюдение графика морского перехода говорят о том, что корабль, на котором плыл Соловьев, шел из Александрии в Неаполь кратчайшим путем — через Мессинский пролив. В случае большого шторма при подходе к Сицилии (в марте это нередко случается) капитаны иногда принимают решение плыть вокруг острова, через Трапани и Палермо, избегая рискованного прохода между печально знаменитыми Сциллой и Харибдой.

¹¹ Письмо родителям от 12 июля 1875 г. (Письма, т. 2. С. 3).

Владимира в Лондоне¹², пришлось срочно перевозить его в популярный среди русских ученых частный пансион, комната в котором (да еще «с чаем и кофеем») стоила всего три фунта в месяц¹³.

Есть все основания полагать, что в Сорренто В.С. Соловьев поселился в отеле «Cocumella» в районе Сант-Аньелло, ближайшем пригороде Сорренто в направлении Вико, Кастелламаре и Неаполя. По крайней мере, именно так считали члены семьи младшего брата Соловьева — Михаила, когда в 1890 г. отправились в Италию, предварительно забронировав номера в отеле «Cocumella». На Брянском вокзале Москвы семью брата в Италию провожал сам Владимир Соловьев, который, несомненно, был в курсе, что в Сорренто брат с семьей намерен поселиться именно в «Cocumella»¹⁴.

Племянник Вл. Соловьева, Сергей Михайлович Соловьев-младший, позднее так написал об этом путешествии: «Далее вспоминаю себя на широкой террасе отеля “Bauer”¹⁵ в Венеции; зеленые волны плещут о ступени, скользят гондолы. Золотое великолепие святого Марка, голуби на площади, которых мы кормили маисом, разноцветные стекла в сверкающих витринах. Промелькнул Неаполь, грязный и жаркий, Кастелламаре,— и вот наш экипаж подъезжает к густому апельсиновому саду, и мы поселяемся в отеле “Cocumella”. Мы прожили в Сорренто сентябрь и октябрь. В отеле “Cocumella” еще жива была старая, грязноватая и дикая Италия. В большом саду все дорожки были завалены гнилыми апельсинами и лимонами... В конце сада была каменная площадка, прямо над морем: оттуда был виден Капри и дымящийся Везувий... Через пещеры, где росли кактусы, дорога вела на морской берег. Я собирал раковины и все, что оставлялось на песке приливом»¹⁶.

Известно, что и Михаил Соловьев, и его жена Ольга Михайловна (урожденная Коваленская) буквально боготворили Владимира Сергеевича¹⁷.

¹² И.И. Янжул вспоминал, что накануне отъезда в Лондон он встретился с отцом В.С. Соловьева — историком С.М. Соловьевым: «Сергей Михайлович в конце вечера отвел меня в сторону и сообщил мне интимным образом: “Вот вы теперь едете в Лондон, как сообщали, где скоро будет мой сын Володя... Он мальчик хороший, но жить не умеет, проживает очень много от неопытности; его обируют. Не будете ли вы так добры, если встретитесь, это, наверно, возможно, если пожелаете, позаботиться об его устройстве и помочь ему, в виду его неопытности”». (Янжул И.И. Воспоминания о пережитом и виденном в 1864–1909 гг. СПб., 1910, вып. 1. С. 125.)

¹³ Янжул И.И. Воспоминания о пережитом и виденном. С. 125–126; см. также письмо Вл. Соловьева родителям от 13 июля 1875 г. из Лондона (Письма, т. 2. С. 4).

¹⁴ См.: Соловьев С.М. Воспоминания. М., 2003. С. 91.

¹⁵ Не могу не добавить, что здесь же, в венецианском «Баузере», весной 1913 г. останавливались во время своего итальянского путешествия и мои дед с бабушкой — присяжный поверенный Сергей Георгиевич Кара-Мурза и его жена, дочь московского купца 2-й гильдии Мария Алексеевна Головкина.

¹⁶ Соловьев С.М. Воспоминания. С. 92.

¹⁷ С.М. Лукьянов замечает, что, будучи моложе Владимира на девять лет, Михаил настолько любил и уважал брата, что в порыве восторга целовал ему руки (Лукьянов С.М. Материалы. Кн. 1, вып. 1. С. 19). Что касается Ольги Михайловны, то она была ученицей Владимира Сергеевича и к тому же убежденной италоманкой: училась живописи во Флоренции, а в конце жизни даже расписала один из тамбовских храмов в духе Мазаччио.

Легко понять, что, направляясь в Италию в 1890 г., Соловьевы хотели поселиться не просто в Сорренто, а в том самом месте, где Вл. Соловьев жил четверть века назад, и прославившееся в силу обстоятельств, в которые тогда 14-летний Михаил был посвящен первым в семье. Позднее семейную легенду об отеле «Cocumella», созданном на территории старинного католического монастыря, близко воспринял и сын Михаила Сергеевича — Сергей Михайлович Соловьев-младший, который был уверен: «В этом отеле — древнем монастыре иезуитов — написана замечательная третья глава “Софии” — “Процесс космический и исторический”»¹⁸.

Отель, где поселился в марте 1876 г. В.С. Соловьев, действительно имеет богатую историю. В конце XVIII в. помещения бывшего монастыря иезуитов были переделаны под пансионат для отдыха генералов наполеоновских армий. Собственно отель был создан здесь в 1822 г. и прославился своими постояльцами, среди которых Гете, Андерсен, герцог Веллингтон, Фрейд, Моравиа. Территория отеля примыкает к прекрасному ботаническому саду — Parco dei Principi, достопримечательностью которого является самая знаменитая соррентийская вилла — Villa di Poggio Siracuza, приобретенная в конце XIX в. русским князем К.А. Горчаковым (младшим сыном знаменитого канцлера). Собирая материалы об отеле «Cocumella», С.М. Соловьев пишет и о том, что в нем некогда останавливался и друг семьи Соловьевых — Павел Александрович Бакунин¹⁹. Однако в текст книги Сергея Соловьева-мл. не вошло важное: летом 1865 г. Павел Бакунин жил в Сорренто не один, а с семьей своего брата Михаила Александровича Бакунина. Очевидно, П.А. Бакунин не особенно афишировал факт встречи с братом-эмигрантом, которого разыскивали многие спецслужбы Европы, да и сам С.М. Соловьев не счел правильным упоминать об этом.

При описании отеля «Cocumella» С.М. Соловьев приводит длинную цитату из популярных среди русских читателей мемуаров Ипполита Тэна «Путешествие по Италии» в изысканном переводе П.П. Перцова²⁰. Будет, однако, более уместным сослаться на рассказ соотечественника — Иннокентия Федоровича Анненского, который, как нам удалось установить²¹, останавливался в отеле «Cocumella» летом 1890 г., т.е. совсем незадолго до приезда туда Михаила Сергеевича и Ольги Михайловны Соловьевых. 28 июля 1890 г. Анненский писал жене из отеля «Cocumella»: «Вот я и в Сорренто, послед-

¹⁸ Соловьев С.М. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. М., 1997. С. 117. В 1912–1913 гг. Сергей Михайлович Соловьев-мл. снова проедет по «соловьевским местам» в Сорренто и Флоренции со своей женой Татьяной Алексеевной (урожденной Тургеневой).

¹⁹ Соловьев С.М. Жизнь и творческая эволюция. С. 117.

²⁰ Там же.

²¹ Кара-Мурза А.А. Иннокентий Федорович Анненский // Знаменитые русские о Неаполе. М., 2002. С. 184–188.

нем этапе моем в движении на юг. Боже мой, что за красота этот юг! Я сижу на балконе, прямо перед глазами море: наконец-то я увидел настояще-синий (как в корыте с синькой) и настоящий изумрудный цвет моря. Огромный Везувий просто лезет в глаза... От залива отделяет нас один сплошной сад — я таких деревьев, такой зелени никогда не видал. Темная раскидистая шапка грецкого ореха и рядом пыльная оливка, красные апельсины — они поспевают в течение целых шести месяцев, золотые огромные лимоны, олеандры, фиговые деревья. Особую красоту вида составляют сосны особого вида, похожие на пальмы, с зеленью только наверху. С боковых крыльев балкона открывается вид на горы, покрытые сверху хвойными деревьями... Среди зелени садов (Сорренто — все один сплошной сад), там и сям видны отели, виллы, группы домиков, старинная церковь»²².

Судя по всему, весной 1876 г. все эти красоты неаполитанского побережья не очень интересовали Владимира Сергеевича Соловьева. Как же он проводил время и с кем встречался в Сорренто? Как мы знаем из писем Соловьева домой, его спутником в путешествии из Египта в Неаполь, а потом в Сорренто был Александр Николаевич Калачов, сын директора Императорского архива, историка-академика Н.В. Калачова, который регулярно выезжал на юг лечиться от туберкулеза²³. По информации мужа сестры А.Н. Калачова, барона П.Г. Черкасова, весной 1876 г. Владимир Соловьев и Александр Калачов, помимо Неаполя и Сорренто, жили также некоторое время на острове Капри²⁴, что требует, однако, дальнейшего исследования.

С.М. Лукьянов постарался разыскать людей, которые могли лично встречаться с Вл. Соловьевым в Сорренто. Один такой свидетель был найден. Это А.А. Фишер фон Вальдгейм, крупный натуралист, профессор ботаники, ставший впоследствии Директором Императорского ботанического сада в Петербурге. Лукьянов пишет в этой связи: «В Сорренто он (А.А. Фишер фон Вальдгейм. — А.К.) участвовал в некоторых туристских прогулках по окрестностям, и ему приходилось видеть Вл.С. Соловьева. Подобно другим,

²² Анненский И.Ф. Письмо Н.В. Анненской от 28 июля 1890 г. // Встречи с прошлым. М., 1996, вып. 8. С. 45–46.

²³ По некоторым сведениям, А.Н. Калачов скончался в 1877 г. (см.: Лукьянов С.М. Материалы, кн. 3, вып. 1. С. 256, прим. 1627).

²⁴ Лукьянов С.М. Материалы, кн. 3, вып. 2. С. 17–18. Этой информацией бар. П.Г. Черкасов поделился с С.М. Лукьяновым в конце 1914 г. Правда, свидетельство это в устах барона выглядело странно: «Сначала они жили вместе на Капри, а затем в Италии». С.М. Лукьянов, видимо, посчитал такой оборот речи нонсенсом (в самом деле, остров Капри — это ведь тоже Италия) и указал в примечании, что под «Капри» Черкасов имел в виду, конечно же, «Каир» (Лукьянов С.М. Материалы, кн. 3, вып. 2. С. 187, прим. 1849). На наш взгляд, это все-таки излишне смелое решение: Капри находится так близко от Сорренто, что жить достаточно продолжительное время в Сорренто и не побывать на Капри — это тоже нонсенс. Остается признать, что вопрос о пребывании Вл. Соловьева весной 1876 г. на острове Капри остается открытым.

он невольно обращал внимание на обаятельную внешность молодого философа, но близких отношений между ними не завязалось. Одно только хорошо запомнилось А.А. Фишеру фон Вальдгейму: необыкновенная щедрость Соловьева. Бедняки, преследовавшие туристов своим попрошайничеством, неизменно находили в Соловьеве отзывчивого и всегда благодушного благотворителя. Он беззаботно опоражнивал для них свой кошелек, а когда кошелек оказывался пустым, он бросал им, наконец, и самый кошелек, что было, по-видимому, приемом для него привычным»²⁵. Свидетельства А.А. Фишера фон Вальдгейма совпадают с воспоминаниями близко общавшейся с В.С. Соловьевым в Сорренто Н.Е. Ауэр, которыми она в 1890-х гг. поделилась с С.К. Маковским: «Надежда Евгеньевна не без юмора рассказывала о необыкновенно расточительной его (Соловьева. — А.К.) щедрости и полной не приспособленности к практической жизни»²⁶.

Владимир Соловьев и Надежда Ауэр. Везувий. Сорренто

Здесь мы подошли к описанию наиболее интересной из встреч В.С. Соловьева в Сорренто, сыгравшей важную роль в его жизни, а именно — к его знакомству с Надеждой Евгеньевной Ауэр. Диапазон определений, которыми сам Вл. Соловьев характеризовал эти отношения, весьма широк: от «приятного знакомства» (письмо к матери, помеченное 12 апреля 1876 г.)²⁷, до «ухаживания» (письмо к брату Михаилу)²⁸ и, наконец, «увлеченности» (письмо к В.Л. Величко на Пасху 1895 г.)²⁹. Подтверждает факт «ухаживания за нею молодого, легко воспламеняющегося доцента» и сама Н.Е. Ауэр³⁰. В тоже время С.М. Соловьев, как и многие из близких В.С. Соловьева, защищающих версию о «единственной любви» в его жизни — к С.П. Хитрово,

²⁵ Лукьянов С.М. Материалы. Кн. 3, вып. 1. С. 330–331.

²⁶ Маковский С.К. Последние годы Владимира Соловьева // Маковский С.К. Портреты современников. М., 2000. С. 278–279. Эти свидетельства становятся в общий ряд с десятками аналогичных случаев, имевшими место уже в России и подтверждаемых многими наблюдателями. Не вдаваясь в перечисление, приведем лишь обобщающую характеристику этого явления (В.Л. Величко точно назвал его «мистической любовью к нищим»), данную князем Евгением Трубецким: «Он (В.С. Соловьев — А.К.) был бессребрянником в буквальном смысле слова, потому что серебро решительно не уживалось в его кармане; и это — не только вследствие редкой своей детской доброты, но также вследствие решительной неспособности ценить и считать деньги. Когда у него их просили, он вынимал бумажник и давал, не глядя, сколько захватит рука, и это — с одинаковым доверием ко всякому просившему» (*Трубецкой Евг. Мирозерцание Вл. Соловьева*. М., 1913, т. 1. С. 12).

²⁷ Письма, т. 2. С. 25.

²⁸ См.: Соловьев С.М. Жизнь и творческая эволюция. С. 308.

²⁹ Письма, т. 1. С. 222.

³⁰ См.: Маковский С.К. Последние годы Владимира Соловьева. С. 279.

предпочитал говорить об отношении Соловьева к Ауэр как о «мимолетном романическом чувстве»³¹.

Неоднократно отмечалось, что сам Владимир Соловьев был всегда крайне деликатен и немногословен в описании подобного рода сюжетов. Исследователи вынуждены строить догадки и даже вычитывать из текстов Соловьева прямо не изреченное. Так, С.М. Лукьянов предпринял под этим углом зрения текстологический анализ одного из писем Соловьева из Сорренто, а именно его письма от 27 апреля 1876 г. к Д.Н. Цертелеву во Флоренцию, в котором Соловьев, в частности, пишет: «Очень желал бы тебя увидеть, но крайняя скудость средств не позволяет заехать во Флоренцию, да и не знаю, застал ли бы тебя там. Что ты делал в это время во Флоренции? Уж не явились ли и у тебя сердечные дела?»³² С.М. Лукьянов задается вопросом: «Как понимать это “и” (“и у тебя”)? Сопоставляет ли здесь Соловьев кн. Д.Н. Цертелева с самим собою, поддававшимся или поддающимся романическим увлечениям?... Ведь и в Сорренто у Соловьева были кое-какие “сердечные дела”...»³³

Надежда Евгеньевна Ауэр (в девичестве Пеликан) была младшей дочерью Евгения Венцеславовича Пеликана — профессора Медико-хирургической академии, лейб-медика вел. кн. Елены Павловны, ставшего затем директором Медицинского департамента³⁴. В мае 1874 г., в девятнадцать лет и менее чем за два года до описываемых событий, Надежда Ауэр, «по страстной любви» и вопреки сопротивлению отца, вышла замуж за скрипача-виртуоза венгерско-еврейского происхождения Леопольда Ауэра, приехавшего работать в Россию и ставшего солистом двора Его Императорского Величества, а потом и дирижером придворной певческой капеллы (в 1883 г. он сменил австро-венгерское подданство на российское). После свадебного путешествия в Венгрию молодые супруги сняли апартаменты в Петербурге на Крюковом канале, а позднее купили большую дачу в Дуббельне — известном курорте под Ригой, где регулярно давались представления и концерты.

³¹ См.: Соловьев С.М. Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция. С. 127.

³² Письма, т. 2. С. 232.

³³ Лукьянов С.М. Материалы, кн. 3, вып 1. С. 328.

³⁴ Друг семьи Ауэров, Р.М. Хин-Гольдовская, так пишет о Е.В. Пеликане: «Энциклопедически образованный, чрезвычайной доброты и доступности в обществе и либерал, пользовался огромной популярностью во всей России» (цит по: Раабен Л. Леопольд Ауэр. Очерки жизни и деятельности. Л., 1962, с. 35). Кстати, именно Хин-Гольдовской, хорошо знавшей также и В.С. Соловьева, Макс Волошин посвятил свои стихи «Я мысленно вхожу в Ваш кабинет». Там есть, в частности такие строчки:

*«К Вам приходил Владимир Соловьев,
И голова библейского пророка
(К ней шел бы крест, верблюжий мех у чресл)
Склонялась на обшивку этих кресл...»*

Постепенно литературно-музыкальный салон Ауэров стал одним из самых популярных в столице. В семье Леопольда и Надежды Ауэров родились четыре дочери — Зоя, Надежда, Наталья и Мария³⁵.

Внешность Надежды Ауэр описал близко ее знавший известный юрист А.Ф. Кони: «Надежда Евгеньевна — белокурая стройная особа, с изящным лицом польского типа; глаза темно-голубые, изящные ручка и ножка, мягкий контральт... Нельзя было назвать ее победительной красавицей, но она покорила окружающих необыкновенно мягкой и изящной женственностью»³⁶. Аналогичный образ Надежды Ауэр рисует близкая к ее семье А. Унковская: «блондинка, изящнейшее в мире существо»³⁷. Надо добавить, что Н.Е. Ауэр была очень образованной женщиной: свободно читала и переводила с французского, знала наизусть Монтеня, Ронсара, Бодлера.

В ту весну 1876 г., о которой идет речь, Леопольд Ауэр был сильно занят концертной деятельностью, и Надежда Евгеньевна отправилась в Сорренто в сопровождении некоей «приятельницы», фигурирующей в письмах Владимира Соловьева, как «m-lle Train». О некоторых подробностях взаимоотношений Соловьева и Ауэр в марте-апреле 1876 г. пишет в своей книге С.М. Соловьев. Одна из соррентийских историй, по-видимому, хорошо известная родным Соловьева со слов, несомненно, самого Владимира Сергеевича, выглядит так: «Н.Е. Ауэр недавно вышла замуж и очень тосковала о своем муже, находившемся в Петербурге. Однажды Соловьев попросил провести с ним вечер. Надежда Евгеньевна согласилась при условии, что Соловьев даст ей услышать голос или звуки скрипки ее мужа; подобно многим, она верила в магические способности Соловьева. Когда они остались одни, Соловьев вперил в нее такой взгляд, что ей сделалось страшно. Лампа сама потухла, в воздухе явственно пронесся звук отдаленной скрипки. Лампа вновь зажглась сама собой, а измученный напряжением Соловьев упал на колени перед Надеждой Евгеньевной и зарыдал»³⁸.

6 апреля 1876 г. во время прогулки с Надеждой Ауэр к кратеру вулкана Везувий с Владимиром Соловьевым приключилось несчастье. О подробностях случившегося написал в своих воспоминаниях князь Д.Н. Цертелев, одним из первых услышавший эту историю непосредственно от Соловьева

³⁵ Мария Ауэр — эта та самая «Муха», которой был одно время сильно увлечен в Париже близкий к семье Ауэров молодой Максимилиан Волошин. — А.К.

³⁶ Своими воспоминаниями А.Ф. Кони поделился с С.М. Лукьяновым (*Лукьянов С.М. Материалы*, кн.3, вып 1. С. 328).

³⁷ Унковская А. Воспоминания // Вопросы теософии, 1916, № 5–6. С. 42.

³⁸ Соловьев С.М. Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция. М., 1997. С. 127. Надо добавить, что С.М. Соловьев считал, что его дядя, Вл. Соловьев, обладал «исключительными оккультными знаниями и силами» (*Соловьев С. Идея церкви в поэзии Владимира Соловьева // Соловьев С. Богословские и критические очерки*. Томск, 1996. С. 14).

во Флоренции. Когда путешественники уже спускались с крутого склона Везувия верхом на лошадях, к Соловьеву «пристала куча мальчишек, требуя милостыни. Соловьев раздал им всю мелочь, а так как они продолжали приставать, то в доказательство, что у него больше ничего нет, бросил им свой кошелек; когда и это не помогло, вздумал спастись от них бегством»³⁹. Спасаясь от попрошайек, Соловьев на крутом склоне попытался пустить лошадь в галоп, та оступилась и упала, а сам всадник больно расшиб руки и колени. Соловьев был доставлен в клинику в Неаполь, где пролежал около недели.

Обобщив все имеющиеся в его распоряжении материалы, биограф Владимира Соловьева, С.М. Лукьянов, пришел к выводу: «Несчастливая случайность, жертвою которой он (Соловьев. — А.К.) сделался, угрожала ему, действительно, существенными бедами... Соловьев был, можно сказать, на волосок от смерти тут же, на месте. В Англии и в Египте ему приходилось считаться с серьезными для него мистическими переживаниями; теперь, в Италии, ему суждено было испытать, в буквальном смысле слова; серьезные столкновения с реальной действительностью... Пожалуй, в душе Соловьева обстоятельство это, хотя своих соображений по соответствующей части он и не высказывает, могло получить особое освещение и истолкование»⁴⁰.

Перевезенный в свой отель в Сорренто где-то 13–14 апреля, Владимир Соловьев лишь 20 апреля смог написать несколько строк Д.Н. Цертелеву во Флоренцию: «Дорогой Дмитрий Николаевич! Могу написать тебе только несколько слов: рука болит. Возвращаясь с Везувия, я искалечился и, может быть, останусь калекой на всю жизнь. Нахожусь в состоянии плачевном и намерений никаких не имею. В мае, вероятно, буду в Париже»⁴¹. В тот же день Соловьев пишет столь же короткое доверительное письмо брату Михаилу, которому недавно исполнилось 14 лет: «Дорогой Миша! Поздравляю тебя с совершеннолетием и сожалею, что не могу по сему случаю прислать тебе ни торжественной оды, ни даже длинного письма, ибо рука моя действует плохо. Две недели назад, возвращаясь с Везувия, я упал вместе с лошастью и получил рану на колене и разбил обе руки. 4 дня лежал без движения и теперь еще едва хожу»⁴².

Несмотря на то, что биографу Соловьева, С.М. Лукьянову, удалось убедительно реконструировать период между 6 апреля 1876 г. (падение на склоне

³⁹ *Цертелев Д.Н.* Из воспоминаний о Владимире Сергеевиче Соловьеве // Санкт-Петербургские ведомости, 1910, № 211, 4 октября. С. 3.

⁴⁰ *Лукьянов С.М.* Материалы, кн. 3, вып. 1. С. 327.

⁴¹ Письма, т. 2. С. 231.

⁴² Цит. по: *Лукьянов С.М.* Материалы, кн. 3, вып. 1. С. 323. Это письмо было найдено Лукьяновым в архиве Российской публичной библиотеки и не вошло в первое Собрание сочинений В.С. Соловьева. Это скорее всего говорит о том, что письмо было конфиденциальным и хранилось Михаилом Соловьевым отдельно от семейного архива. — А.К.

Везувия) и 20 апреля (первые письма, написанные рукой Соловьева уже из Сорренто), для него осталось загадкой т.н. «пасхальное письмо» Соловьева матери, отправленное, судя по авторской пометке, из Сорренто 12 апреля по новому стилю. В этом письме Соловьев, в частности, пишет: «Я это время жил попеременно в Неаполе и Сорренто; сделал одно новое приятное знакомство, о котором напишу после... На днях оставляю Сорренто и еду в Париж один...»⁴³ С.М. Лукьянов справедливо обратил внимание на серьезное противоречие, которое, впрочем, не стал никак комментировать: «Спокойный тон письма от 31-го марта (12-го апреля) 1876 г. не позволяет предполагать, чтобы Соловьев находился в это время в сколько-нибудь исключительных условиях. А между тем примерно за неделю до названной даты с ним произошло несчастное происшествие, которое могло угрожать даже очень тягостными последствиями»⁴⁴.

Действительно, как могло получиться, что Соловьев смог написать матери 12 апреля достаточно объемное письмо, если 6 апреля он получил тяжелейшие травмы, в том числе обеих рук, и даже 20 апреля с трудом смог вывести несколько строчек брату Михаилу в Москву и Цертелеву во Флоренцию? Загадка усугубляется еще и тем, что, судя по отметке на письме матери, оно было написано 12 апреля именно в Сорренто, в то время как все другие документы и материалы убедительно говорят, что минимум до 13–14 апреля Соловьев еще лежал в больнице в Неаполе. На мой взгляд, все противоречия снимаются предельно простым объяснением, на которое не отважился осторожный Лукьянов, часто предпочитающий вообще замалчивать очевидные нестыковки.

Итак, не поздравить родителей с Пасхой Владимир Соловьев никак не мог. Но и написать вовремя он был тогда не в силах по причине серьезных травм. Судя по всему, он выбрал меньшее из зол, пойдя на сравнительно невинную хитрость: написал письмо позднее, когда чуть поправился, проставив «правильную дату». Нашу версию косвенно подтверждает еще одно (без точной даты, но очевидно, более позднее) письмо Соловьева младшим членам семьи: «Дети мои! Благодарю вас сердечно за письма ваши, еще в земле Египетской мною полученные, и на которые я хотел отвечать отдельно, но сначала разные дела, а потом падение на Везувии и происшедшее от оногo калечество воспрепятствовали. Италия мне надоела порядочно и давно уже собираюсь в Париж, да боюсь повредить колено и остаться безногим. Теперь мы с Калачовым осиротели вследствие отъезда двух добродетельных дам, которые за нами ухаживали. Приходится самому себе корпию щипать. Надеюсь, что вы проводите праздники веселее. Будьте здоровы,

⁴³ Лукьянов С.М. Материалы, кн. 2, вып. 1. С. 311.

⁴⁴ Там же.

рука устала. Неужели мама не получила моего последнего письма, посланного к Пасхе?»⁴⁵

Надо добавить, что после 20 апреля Соловьев, судя по всему, быстро пошел на поправку, так как 27 апреля уже смог написать во Флоренцию большое письмо Д.Н. Цертелеву, высказывавшему готовность ехать в раненому другу в Сорренто: «Сердечно благодарю тебя за участие и готовность ехать ко мне, но, к счастью, в этом нет никакой надобности. Рана моя... совершенно заживает, и рукой также могу действовать, и на днях отправляюсь в Париж. После своего падения я пролежал неделю в Неаполе, где меня лечил хороший немецкий доктор, а потом в Сорренто два русские. Очень желал бы тебя увидеть, но крайняя скудость средств не позволяет заехать во Флоренцию, да и не знаю, застал ли бы тебя там... Возвращаясь в Россию, я буду проезжать через Петербург; может быть, увидимся там, а то в Липягах непременно»⁴⁶.

Судя по всему, в самом конце апреля или в первых числах мая 1876 г. Н.Е. Ауэр и ее компаньонка м-ль Трайн уехали из Сорренто. Но в эти последние перед их отъездом дни выздоравливающий Владимир Соловьев буквально осыпал их знаками благодарности. На этот счет есть мемуары В.А. Пыпиной-Ляцкой — дочери известного историка русской культуры, академика А.Н. Пыпина, в доме которого Соловьев часто бывал: «С большим юмором рассказывал он (Соловьев. — А.К.) также о своих злоключениях в Италии, когда он, поднимаясь на Везувий с двумя знакомыми дамами, повредил себе ногу и лишен был возможности продолжать путешествие. Последние деньги истратил он на чудные розы, которые послал своим спутницам, и жил в гостинице в долг, ожидая присылки денег из Москвы. В гостинице сначала ему охотно открывали кредит, но потом стали косо поглядывать. Владимир Сергеевич все более и более сокращал свои потребности, стал уже питаться одним кофе. Деньги все не шли. Как только нога поправилась настолько, что явилась возможность передвигаться, он обратился к русскому консулу, рассказал о своей беде, дал о себе необходимые сведения и просил ссудить деньгами. Консул выслушал серьезно, денег дал, но

⁴⁵ Письма, т. 2, С. 26. В.С. Соловьев, как представляется, несколько нарочито «удивляется», что его пасхальное поздравление не было получено. Но это неудивительно: тогда, перед Пасхой, это письмо не только не было отправлено, но еще и не написано.

⁴⁶ Письма, т. 2. С. 232. Добавим, что добросовестный С.М. Лукьянов попытался установить имена «двух русских докторов», лечивших перевезенного из Неаполя в Сорренто Соловьева, однако успеха не добился: «Кто были врачи, лечившие Соловьева, мы выяснить не были в состоянии...Наличность русских врачей в Сорренто не удивительна, если принять в соображение данные, относящиеся до тогдашнего положения этого благословенного уголка» (См.: Лукьянов С.М. Материалы, кн. 3, вып.1. С. 327). Разгадка и здесь, как представляется, проста: почти наверняка этими «двумя русскими» были... Надежда Ауэр и ее компаньонка m-lle Train. Во врачебных навыках по крайней мере Н.Е. Ауэр сомневаться не приходится: как-никак она, как мы помним, была дочерью «министра здравоохранения» Российской Империи!

выразил сожаление, что у столь знаменитого уважаемого человека, как историк Соловьев, такой “беспутный” сын. Вернувшись в гостиницу, Владимир Сергеевич велел подать себе шампанское и как можно больше роз. Хозяин гостиницы стал называть его князем. Рассказывал Владимир Сергеевич искренно и с увлечением»⁴⁷.

«На заре туманной юности»

В литературе о В.С. Соловьеве существует версия о том, что Владимир Соловьев и Надежда Ауэр могли встречаться и раньше весны 1876 г., а именно летом 1872 г. Эту версию, восходящую к одной из ранних статей С.М. Лукьянова⁴⁸ и воспроизведенную им в его фундаментальном исследовании о «молодых годах» Соловьева⁴⁹, считает, например, «весьма убедительной» К.В. Мочульский, который строит на ней свое дальнейшее изложение.

Действительно, С.М. Лукьянов еще в 1914 г. обратил внимание на удивительный смысловой резонанс между драматическим случаем на Везувии весной 1876 г. и событиями лета 1872 г., описанными В.С. Соловьевым в его единственной повести «На заре туманной юности», впервые опубликованной в майском номере «Русской мысли» за 1892 г. Основой повести стала действительно имевшая место поездка Владимира Соловьева в Харьков, к его кузине Екатерине Романовой, которая некоторое время считалась его невестой, фигурирующей в повести под именем «Ольги». Между тем главный интерес представляет сейчас не она, а, собственно, главная героиня повести — попутчица Соловьева, молодая особа, назвавшаяся «Julie». Не вдаваясь в подробное изложение фабулы повести, отметим два обстоятельства, за которые цепко ухватился дотошный С.М. Лукьянов.

Первый касается несчастного случая, который происходит с героем повести. При переходе из вагона в вагон он теряет сознание и едва не погибает под колесами поезда, но Julie удерживает его и тем самым спасает⁵⁰.

⁴⁷ *Пыпина-Ляцкая В.А.* Владимир Сергеевич Соловьев. Страничка из воспоминаний // Книга о Владимире Соловьеве. М., 1991. С. 208–209.

⁴⁸ *Лукьянов С.М.* Юношеский роман В.С. Соловьева в двойном освещении // Журнал Министерства народного просвещения, 1914, № 9. С. 132–133.

⁴⁹ *Лукьянов С.М.* Материалы, кн. 3, вып. 1. С. 327.

⁵⁰ Считаю нелишним привести в примечаниях этот фрагмент повести: «Утомление долгой дороги, непривычные волнения прошедшей бессонной ночи, наконец, горячий напряженный разговор о самых отвлеченных материях, — все это вместе, должно быть, совсем расстроило мои нервы. Только что я, пройдя впереди моей дамы, хотел ступить на вторую чугунную доску между вагонами, как вдруг потерял сознание. Я очнулся на площадке своего вагона. Потом мой новый приятель, видевший нас через отворенную дверцу и поспешивший на помощь, рассказал мне, что я, наверное, упал бы в пространство между вагонами и непременно был бы раздавлен поездом, бывшим на всем ходу, если бы не “эта барынька”, которая схватила меня за плечи и удержала на площадке. Это я узнал потом» (Письма, т. 3. С. 295).

С.М. Лукьянов делает плодотворное предположение о том, что в превращенной форме Соловьев в повести 1892 г. мог передать свои ощущения от драмы у Везувия в 1876 г.⁵¹

Второе, на что обратил внимание Лукьянов, — это заключительная фраза соловьевского рассказа 1892 г.: «Четыре года после того я встретился с Julie в Италии, на Ривьере, но это была такая встреча, о которой можно рассказывать только любителям в ночь под Рождество»⁵². Лукьянов пишет: «Если действие рассказа относится, в самом деле, к весне 1872 г. и имеет автобиографическую основу, то ближайшим сроком для появления “Julie” в жизни Соловьева должно бы считать весну 1876 г. В это время Соловьев был в Италии, на пути из Каира в Париж. Конечно, мы не считаем себя вправе идти слишком далеко в этих сопоставлениях и вовсе не стремимся к безусловно точным отождествлениям. Но не любопытно ли, что в 1876 г. в Италии, на Ривьере, Соловьеву пришлось подвергнуться довольно тяжелой опасности, напоминающей ту, которая — по предположению, в 1872 г., т.е. четыре года тому назад — угрожала герою рассказа «На заре туманной юности» на пути в Харьков, и что в обоих случаях дело не обошлось без женской помощи? Уж не это ли приключение близ Везувия имел в виду Соловьев, когда заканчивал свой только что названный рассказ, и не было ли у него намерения связать вагонное происшествие на пути в Харьков с каким-то более поздним эпизодом в его жизни, казавшимся ему значительным?»⁵³

Продолжим линию, начатую Лукьяновым. Разумеется, молодая дама, назвавшаяся «Julie» (если сам факт такой встречи имел место), никак не могла быть ни самой Надеждой Ауэр, ни даже ее прямым прототипом. «Julie», по ее собственным словам, была уже несколько лет замужем, имела детей, в пятый раз ехала в Крым. Надежде Ауэр в 1872 г. было лишь семнадцать лет (она — ровесница Кати Романовой), и замуж она выйдет лишь через два года, в мае 1874 г.

Но есть другое обстоятельство, говорящее в пользу версии Лукьянова, но не отмеченное им самим. Портрет «Julie», написанный автором повести «На заре туманной юности», поразительно похож на реальный портрет Надежды Ауэр в зрелые годы. Вот описание «Julie» Соловьевым: «Молодая белокурая дама..., небольшого роста, худенькая и очень стройная. Лицо у нее было далеко не красиво..., но, когда она ласково взглядывала своими светлыми глазами, это некрасивое и простое лицо становилось чрезвычайно привлекательным. Не то, чтобы ее взгляд был особенно выразителен, но в нем было что-то более глубокое, чем мысль, какой-то тихий свет без огня и блеска»⁵⁴. А вот портретные

⁵¹ Лукьянов С.М. Материалы, кн. 3, вып. 1. С. 327–328.

⁵² Письма, т. 3. С. 298.

⁵³ Лукьянов С.М. Юношеский роман В.С. Соловьева. С. 113–115.

⁵⁴ Письма, т. 3. С. 284.

характеристики Надежды Ауэр в изложении (частично уже нами представленном) близко знавшего ее А.Ф. Кони: «Белокурая стройная особа, с изящным лицом польского типа; глаза темно-голубые, изящные ручка и ножка...», «сидела в кресле, ласково улыбаясь», «нельзя было назвать ее победительной красавицей, но она покорила окружающих необыкновенно мягкой и изящной женственностью», «она теплилась и грела, как яркая лампада» и т. п.⁵⁵

Итак, С.М. Лукьянов, как никто знающий и чувствующий молодого Вл. Соловьева, судя по всему, прав в главном: художественное описание Соловьевым своих переживаний, после того как он «чудом избежал гибели» на железнодорожном перегоне между Курском и Харьковом является отголоском реальных ощущений, имевших место в 1876 г. на берегах Неаполитанского залива. Перечитаем отрывок из повести уже под этим углом зрения: «Тут же очнувшись, я видел только яркий солнечный свет, полосу синего неба, и в этом свете и среди этого неба склонялся надо мною образ прекрасной женщины, и она смотрела на меня чудными знакомыми глазами и шептала мне что-то тихое и нежное. Нет сомнения, это Julie, это ее глаза, но как изменилось все остальное! Каким розовым светом горит ее лицо, как она высока и величественна! Внутри меня совершилось что-то чудесное. Как будто все мое существо со всеми мыслями, чувствами и стремлениями расплавилось и слилось в одно бесконечное сладкое, светлое и бесстрастное ощущение, и в этом ощущении, как в чистом зеркале, неподвижно отражался один чудный образ, и я чувствовал и знал, что в этом одном было все. Я любил новую, всепоглощающую и бесконечную любовью и в ней впервые ощутил всю полноту и смысл жизни... Я долго не мог говорить. Я только смотрел на нее безумными глазами и целовал край ее платья, целовал ее ноги. Она тоже ничего не говорила и только прикладывала мне к голове платок, намоченный одеколоном. Наконец, бессвязным отрывочным шепотом я стал передавать ей, что делалось со мною, как я ее люблю, что она для меня все, что эта любовь меня возродила, что это совсем другая, новая любовь, в которой я совершенно забываю себя, что теперь только я понял, что есть Бог в человеке, что есть добро и истинная радость в жизни, что ее цель не в холодном, мертвом отрицании...»⁵⁶ — Здесь, со всей очевидностью, совме-

⁵⁵ См.: Лукьянов С.М. Материалы, кн. 3, вып. 1. С. 344–345. Приведенные сравнения позволяют подвергнуть сомнению расхожую версию о том, что толчком к написанию Соловьевым повести «На заре туманной юности» было его любовное увлечение Софьей Михайловной Мартыновой, приходящееся как раз на то время, когда повесть увидела свет. Не оспаривая саму возможность такого подхода, отметим, что Мартынова никак не могла быть физическим прототипом Julie. Она, дочь наказного атамана Оренбургского казачьего войска, имела ярко выраженные восточные черты лица (см. об этом, напр.: Аксакова-Сиверс Т.А. Семейная хроника. Париж, 1988, кн.1. С. 107).

⁵⁶ Письма, т. 3. С. 295–296.

щаются реальный образ Надежды Ауэр и скорее всего вымышленной «Julie» из «Туманной юности».

Завершая эту тему, имеет смысл обратить внимание еще на одну интересную переключку смыслов, не замеченную С.М. Лукьяновым. Мемуаристка Е.И. Боратынская, рассказывая о Владимире Соловьеве, вспоминает рассказ своей старшей приятельницы А.О. Смирновой-Россет о том, как Владимир Соловьев любил пугать дам страшными мистическими историями. В числе других Смирновой-Россет особенно запомнилась следующая. Английский художник встречает в железнодорожном вагоне (sic!) загадочную даму, которая вскоре исчезает. Вскоре художник получает заказ от некоего лорда написать портрет его умершей дочери. Художнику советуют создать образ не той, умершей несколько лет назад девушки, а повзрослевшей молодой женщины, такой, какой дочь лорда могла стать спустя годы. Художник мучается непростой задачей, и тут в его студии появляется молодая дама, в которой художник узнает прекрасную незнакомку из железнодорожного вагона. Дама требует, чтобы он рисовал с натуры ее портрет, что художник и делает. А дама сама надписывает его в посвящение отцу⁵⁷.

Непосредственная слушательница Соловьева Смирнова-Россет умерла в 1882 г.; следовательно, описываемый ею разговор произошел раньше. Так или иначе, но эпизод со случайной попутчицей в вагоне и реинкарнацией женских образов невольно наводит на мысль, что эта тема была близка Владимиру Соловьеву и вполне могла стать отправной точкой для сюжета его единственной повести.

После Сорренто. Флоренция

Литературный критик и педагог Н.А. Макшеева вспоминала, как 19 апреля 1896 г. она навестила В.С. Соловьева в Царском селе в «розовом домике на Церковной улице». Когда гостя сообщила Соловьеву, что едет на тирренское побережье Италии, тот ответил: «Теперь еще ничего, а уж в мае там невыносимо будет из-за цветов, так они ароматичны. Я положительно не мог спать, когда мне пришлось быть в это время в Италии»⁵⁸. Это свидетельство добавляет небольшой, но характерный штрих к жизнеощущению Владимира Соловьева в апреле-мае 1876 г. К последствиям тяжелой травмы на Везувии, оказывается, добавились еще и «невыносимые», не дававшие уснуть запахи цветов... Вот при каких обстоятельствах писались итальянские фрагменты «Софии».

Впрочем, возможно, речь идет уже о пребывании Соловьева во Флоренции, куда он направился после Сорренто. С.М. Лукьянов полагает,

⁵⁷ Лукьянов С.М. Материалы, кн. 3, вып. 2. С. 9–10.

⁵⁸ Чит по: Владимир Соловьев: Pro e contra. Т. 1. С. 369.

что «в Сорренто Соловьев оставался почти до половины мая по новому стилю, ибо в Париж он прибыл 1-го (13-го) мая»⁵⁹. Это — явное заблуждение: многие факты говорят о том, что между Сорренто и Генуей, откуда Соловьев направился поездом во Францию, он не менее недели еще пропутешествовал по Италии.

В начале мая 1876 г., несколько наладив свои финансовые дела, Соловьев приехал во Флоренцию к кн. Д.Н. Цертелеву. В те дни во Флоренции жили также брат последнего Петр⁶⁰ с женой — выдающейся певицей-контральто, солисткой Мариинского театра Елизаветой Андреевной Лавровской. В те месяцы в Неаполе и Флоренции с триумфом прошли выступления Лавровской-Цертелевой, после чего музыкальные общества этих городов выпустили памятную медаль в ее честь.

Сведения о пребывании Владимира Соловьева во Флоренции более чем скудны. Собственно, единственной подробностью является воспоминание Д.Н. Цертелева, впервые опубликованное в 1910 г., незадолго до смерти автора: «Во Флоренции Соловьев пробыл несколько дней, и я предложил ему познакомиться с А.М. Жемчужниковым, как одним из главных участников в коллективном творчестве К. Пруткова, и он охотно принял мое предложение, но, поздоровавшись с ним и увидав какой-то заинтересовавший его № газеты, он занялся чтением почти все время, пока мы разговаривали с Алексеем Михайловичем»⁶¹.

Эпизод этот мало что говорит о состоянии Соловьева, тем более что Цертелев умалчивает об одном немаловажном обстоятельстве. Незадолго до описываемой встречи (судя по всему, именно Цертелев и Соловьев пришли в гости к Жемчужникову, а не наоборот), у А.М. Жемчужникова скончалась жена, Елизавета Алексеевна (урожденная Дьякова), и он, в поисках утешения, путешествовал по городам Европы. Вряд ли 55-летний вдовец был в тот момент особенно настроен делиться с двумя молодыми людьми забавными обстоятельствами создания образа Козьмы Пруткова. Не стоит забывать и то, что за несколько месяцев до описываемых событий скончался и граф Алексей Константинович Толстой, двоюродный брат Жемчужникова и один из создателей «Козьмы Пруткова». Поэтому «разговор», о котором пишет Дмитрий Цертелев (сам он был, напомним, племянником вдовы писателя, Софьи Андреевны Толстой), заведомо не мог получиться веселым. Вполне возможно, что В.С. Соловьев почувствовал это общее настроение

⁵⁹ Лукьянов С.М. Материалы, кн. 3, вып. 1. С. 329.

⁶⁰ Петр Николаевич Цертелев был сыном князя Н.А. Цертелева от первого брака с А.Н. Воиновой, т.е. единокровным братом Д.Н. Цертелева.

⁶¹ Цертелев Д.Н. Из воспоминаний о Владимире Сергеевиче Соловьеве // Книга о Владимире Соловьеве. М., 1991. С. 310.

и предпочел уединиться с газетой, оставив возможность Жемчужникову и Цертелеву предаться общим не совсем веселым воспоминаниям.

При всей скудости документальных свидетельств о пребывании В.С. Соловьева во Флоренции, он все-таки пробыл там «несколько дней», и можно высказать ряд предположений, подкрепляемых некоторыми фактами, правда в основном косвенными, относительно его флорентийских маршрутов и впечатлений.

Первое вероятное предположение состоит в том, что В.С. Соловьев (возможно, в сопровождении Цертелева) посетил во Флоренции собор Сан-Лоренцо и находящуюся внутри него Капеллу Медичи со знаменитыми скульптурными шедеврами Микеланджело. Согласно нашей версии, воспоминание об этом всплыло в памяти Соловьева несколько лет спустя, летом 1883 г. Тогда, после тяжелейшего заболевания тифом, Соловьев отдыхал в бывшем имении графа А.К. Толстого в Красном Роге в гостях у вдовы литератора, Софьи Андреевны Толстой, и ее племянницы Софьи Петровны Хитрово; в тот год Соловьев особенно верил в то, что она станет его женой. Лето в Красном Роге прошло для Соловьева «под знаком Италии»: продолжая писать «Духовные основы жизни», он читает и переводит Петрарку и Данте. Именно тогда В.С. Соловьев и сделал ставший известным перевод знаменитых эпиграмм на тему микеланджеловской статуи «Ночь» из Капеллы Медичи:

(Эпиграмма Дж. Строцци на статую «Ночь» Микеланджело)
*Ты Ночь здесь видишь в сладостном покое,
Из камня Ангелом изваяна она,
И если спит, то жизнь полна:
Лишь разбуди, — заговорит с тобою!*

(Ответ Микеланджело)
*Мне сладок сон, и слаще камнем быть!
Во времена позора и паденья
Не слышать, не глядеть — одно спасенье...
Умолкни, чтоб меня не разбудить⁶².*

⁶² Соловьев Вл. Стихотворения. Издание 7-е (ред. и предисл. С.М. Соловьева). М., 1921. С. 202. Как известно, после открытия в 1520 г. капеллы Медичи со скульптурами Микеланджело флорентийский поэт Джованни Строцци написал по поводу аллегии «Ночь» хвалебную эпиграмму, перефразировав античное четверостишие Филострата. Микеланджело ответил гораздо более политически заостренным текстом, который прокомментировал: «Вдохновившись одной из моих скульптур, молодой флорентиец сочинил эпиграмму, прекрасную по форме, но не по содержанию... В долгу я не остался и ответил ему четверостишием, в котором напомнил землякам о нашем позоре (падении республики — А. К.)».

Позднее крупнейший отечественный итальянист А.М. Дживелегов попытался описать то грандиозное впечатление, которое производят скульптурные аллегории Микеланджело в Капелле Медичи собора Сан-Лоренцо: «Через все непонятности, которых немало, — ларчик под левую рукою Лоренцо, цветы в ногах у «Ночи», маска под ее рукою, сова, забравшаяся к ней под колено, — через темную символику, великая реальность изображенного действует с силой подавляющей»⁶³. «Сова Минервы» — символ философии. Можно не сомневаться, что Цертелев и Соловьев, два дипломированных талантливых философа, уже замыслившие свои докторские диссертации, не могли не говорить об этом во Флоренции. В дальнейшем творения Микеланджело в Капелле Медичи собора Сан-Лоренцо стали важным элементом «культы Флоренции» в литературе русского Серебряного века, во многом благодаря одному из его зачинателей — Владимиру Соловьеву.

Выскажем и еще одно предположение о флорентийских маршрутах В.С. Соловьева в мае 1876 г. — конкретно, о посещении им знаменитой картинной галереи Питти, находящейся в бывшем дворце великих герцогов на левом берегу Арно. Толчком к этой гипотезе стали записи Владимира Соловьева, занесенные им в «Альбом признаний» Т.Л. Сухотиной-Толстой в начале 1890 г. На вопрос, кто является его любимым художником, Соловьев однозначно записал в альбоме: «Мурильо», — а на следующий вопрос, о его любимой картине, последовал столь же категоричный ответ: «Непорочное зачатие».

Логично предположить, что с картинами Бартоломе Эстебана Мурильо (1618–1682) Соловьев был хорошо знаком по петербургскому Эрмитажу, где собрана, пожалуй, лучшая (после, естественно, родной для Мурильо Севильи) коллекция полотен испанского художника⁶⁴. Однако когда началась любовь Соловьева к творчеству Мурильо, если учесть, что в молодые годы он, коренной москвич, достаточно редко бывал в северной столице?

Весьма вероятно, что первотолчок был дан именно во Флоренции в 1876 г., где в галерее Питти находится общепризнанный шедевр

(Кристофанелли Р. Дневник Микеланджело Неистового. М., 1985). Классическим образцом перевода на русский эпиграмм Строщи и Микеланджело являются две версии, написанные в 1855 г. Ф.И. Тютчевым. Впоследствии свои версии перевода предложили такие корифеи стихосложения, как М.А. Кузмин, Вяч. И. Иванов, А.М. Эфрос, А.А. Вознесенский, А.Б. Махов. Однако и в этой солидной кампании перевод Владимира Соловьева считается одним из лучших. — А. К.

⁶³ Дживелегов А.М. Микеланджело. М., 1938.

⁶⁴ Украшением этой коллекции, как известно, являются и два больших полотна на тему «Непорочного зачатия». Одна из этих картин ранее принадлежала испанскому маркизу Эскилаче, а затем герцогской семье Браски (из которой вышло несколько кардиналов и даже один папа — Пий VI) и была приобретена для Эрмитажа в Риме в 1842 г. Другое «Непорочное зачатие» из Эрмитажа ранее входило в собрание британца Р. Уолпола и было приобретено в 1779 г. русским посланником в Англии А.И. Мусиным-Пушкиным.

Мурильо — «Мадонна со стоящим младенцем». Именно эта флорентийская «Мадонна», имеющая абсолютно славянский («родной» — по признанию многих русских) вид, производила огромное впечатление на наших соотечественников. Достаточно назвать лишь Аполлона Григорьева, который, по его собственному признанию, мог часами простаивать и плакать над этой «Мадонной» Мурильо в 1857 г. Григорьев написал об этой «славянской мадонне» целое эссе в объемном письме Е. С. Протопоповой, а затем и большое стихотворение⁶⁵. Как известно, отец Владимира Соловьева, историк Сергей Михайлович Соловьев, был очень близок с А. Григорьевым (ум. 1864) и был одним из активных участников группировавшегося вокруг Григорьева кружка. Владимир Соловьев вряд ли мог знать Григорьева лично, но, несомненно, много слышал о нем и от отца, и от А. А. Фета.

После Флоренции. Венеция. Генуя

Что касается завершающего этапа итальянской поездки В. С. Соловьева 1876 г., то С. М. Лукьянов, со ссылкой на князя Евгения Трубецкого, останавливается на одном из происшествий, случившихся с Соловьевым в Генуе. Правда, биограф делает здесь оговорку: «Здесь считаем целесообразным отметить один небольшой эпизод, который биографам Соловьева приходится приурочивать к участку от Генуи до Канн. Досадным образом, мы не можем указать в точности, к какому именно времени относится этот эпизод, т. е. принадлежит ли он к составу первой поездки Соловьева за границу, или же его следует включить в повествование об одной из позднейших его поездок. Вероятнее последнее, но общий смысл эпизода характерен не столько для той или другой поездки в частности, сколько для личности Соловьева вообще, а потому мы и даем ему место в настоящей главе»⁶⁶.

Представляется, что педантичный Лукьянов здесь зря перестраховывается. Ни о каком включении данного эпизода «в повествование об одной из позднейших поездок» не может быть и речи. По маршруту Генуя — Канны Владимир Соловьев ехал первый и последний раз в жизни. Так что рассказ Е. Н. Трубецкого, услышанный князем, несомненно, из уст своего учителя, однозначно относится к моменту переезда Соловьева из Италии во Францию, то есть к маю 1876 г.

⁶⁵ См.: *Кара-Мурза А. А.* Аполлон Александрович Григорьев // Кара-Мурза А. А. Знаменитые русские о Флоренции. М., 2001. С. 47–49. Восхищены «Мадонной» Мурильо были и более поздние русские визитеры во Флоренции, Савва Мамонтов и Константин Коровин: «В Палаццо Питти мы простояли перед мадонной Мурильо. Удивительная теплота и женственность».

⁶⁶ *Лукьянов С. М.* Материалы, кн. 3, вып. 1. С. 331–332.

Итак, Лукьянов пишет со слов Е. Трубецкого: «Однажды, когда он (Соловьев.— А.К.) ехал из Генуи в Канн (повторяю, это, несомненно, май 1876-го.— А.К.), в занятое им отделение вагона вошла какая-то супружеская чета; оставив вещи на полке, она тотчас удалилась, после чего поезд тронулся. Соловьеву мигом представилось, что в покинутом чемодане лежит зарезанный младенец. Взволнованный страшной картиной подозреваемого преступления, он решил заявить об этом кондуктору. Оказалось, разумеется, что в чемодане находились обыкновенные пассажирские вещи, а супруги просто-напросто завтракали в вагоне-ресторане». Трубецкой делает из этого эпизода характерный вывод: «Глядя на действительность с недостижимой для простых смертных высоты, он, понятное дело, ясно видел общую схему жизни, но сбивался в оценке ее отдельных явлений и в особенности индивидуальных характеров. Его неуравновешенное, вечно работавшее воображение часто приписывало людям несуществующие положительные качества... Та же близорукость относительно житейского нередко вовлекала Соловьева в заблуждения противоположного свойства: иногда он предполагал адские замыслы там, где на самом деле были только самые обыденные и невинные человеческие поступки»⁶⁷.

Однако не это в общем верное обобщение поражает нас в мемуарах князя Е.Н. Трубецкого, а следующее краткое замечание в том же самом абзаце: «За это же путешествие с ним случилось другое характерное для него приключение: не рассчитав путевых издержек, он оказался без денег в Венеции (sic! — А.К.) и, чтобы доехать, вынужден был заложить свои часы»⁶⁸.

Поскольку речь идет все о «том же путешествии», когда был и случай в поезде между Генуей и Каннами, а такая поездка была у Соловьева только один раз — в мае 1876 г., то получается, что и Венеция была тогда же. Вырисовывается только одна возможность заезда Соловьева в Венецию: выехав из Флоренции от Цертелевых, Соловьев отправился сначала в Венецию, а потом уже поехал в Геную и далее в Канны. Если это так, то вся поездка Соловьева по Италии «удлиняется»: чтобы пробыть «несколько дней во Флоренции», побывать в Венеции (хотя бы один день) и, в конце концов, быть 13 мая в Париже, Соловьев должен был выехать из Сорренто в конце апреля, в крайнем случае — в самых первых числах мая. Это не противоречит единственному из известных свидетельств Цертелева: «В конце апреля или в начале мая Соловьев был уже во Флоренции... Во Флоренции Соловьев пробыл несколько дней»⁶⁹.

⁶⁷ *Трубецкой Евг.* Мирозерцание Вл. Соловьева. М., 1913, т. 1. С. 14–15.

⁶⁸ Там же.

⁶⁹ *Цертелев Д.Н.* Из воспоминаний. С. 310.

Владимир Соловьев и Надежда Ауэр: новые встречи

Осенью 1894 г. на популярном финском курорте Рауха на озере Сайма Владимир Соловьев и Надежда Ауэр случайно встретились вновь. Соловьев написал тогда брату Михаилу: «Еще третьего дня гулял по снежным равнинам на Сайме с м-м Ауэр, за которой 19 лет назад ухаживал на Везуви; какой символизм! Теперь у нее 19-летняя дочь Зоя, напоминающая мне Катю Владимировну (Романову) лет двадцать тому назад»⁷⁰. Позднее Соловьев подробнее написал об этом В.Л. Величко: «Я благополучно приехал, но не совсем благополучно водворился в Раухе. Она полна гостей, комната моя оказалась занятой, и мне дали другую внизу, с ходящими над моей головой индивидуями обоего пола и разного возраста. Зима здесь в полной силе, и это начинает быть скучным. Некоторая компенсация всего этого — соседство семьи Ауэр, воспоминания о Сорренто, где я был 19 лет тому назад»⁷¹.

Владимир Соловьев посвятил Надежде Ауэр два стихотворения, написанные во время пребывания в Финляндии в 1894–1895 гг. И если первое — «Сайма в полдень» («Этот матово-светлый жемчужный простор...») — это явная стилизация с нехитрым описанием окрестного пейзажа, то второе — «Лишь только тень живых, мелькнувши, исчезает», написанное в апреле 1895 г., — несет в себе подлинный трагизм и является вершиной стихотворного творчества Соловьева. Это стихотворение заслуживает того, чтобы привести его полностью:

*Лишь только тень живых, мелькнувши, исчезает,
Тень мертвых уж близка,
И радость горькая им снова отвечает
И сладкая тоска.
Что ж он пророчит мне, настойчивый и властный
Призыв родных теней?
Расцвет ли новых сил, торжественный и ясный,
Конец ли смертных дней?
Но чтоб ни значил он, привет ваш замогильный,
С ним сердце бьется в лад,
Оно за вами, к вам, и по дороге пыльной
Мне не идти назад.*

⁷⁰ См.: Соловьев С.М. Жизнь и творческая эволюция. С. 308.

⁷¹ Величко В.Л. Владимир Соловьев. С. 187. В первом томе «Писем» В.С. Соловьева письмо это воспроизводится несколько иначе. Фамилия семьи Ауэров скрыта под буквой N, а последняя фраза звучит так: «Где я 19 лет тому назад слегка увлекался m-me N., — теперь она наполовину оглохла и с нею три взрослых дочери» (Письма, т. 1. С. 222).

Близкая дружба Владимира Соловьева и Надежды Ауэр продолжилась в Петербурге. К тому времени Ауэр разошлась с мужем-скрипачом, хотя официально развод будет оформлен много позже. Хорошо знавший ее в те годы А.Ф. Кони рассказал С.М. Лукьянову: «Надежда Евгеньевна с годами оглохла... Надо было говорить очень громко, чтобы она хоть что-нибудь услышала. Это была очень образованная женщина, с грациозным складом ума, умевшая высказывать разные мысли в изящной форме. Так как глухота мешала ей посещать различные публичные собрания, театры и т.под., то она вела довольно уединенную жизнь; но у себя дома она теплилась и грела, как яркая лампада»⁷².

Близко знал Н.Е. Ауэр и Сергей Константинович Маковский: «В семье Ауэр... царила не только музыка, но и французская книга. Надежда Евгеньевна читала и перечитывала своих любимцев неутомимо. К тому же смолоду она стала глухнуть, в сорок лет слышала совсем плохо, больше угадывала слова по движению губ — оттого перестала посещать концерты, вообще замкнулась у себя дома, в обществе избранных французских авторов и немногих друзей — писателей по преимуществу. Своим едва слышным голосом, необыкновенным изяществом обращения и умением проникаться мыслью собеседников эта хрупкая, преждевременно увядающая, даже некрасивая, но изумительно очаровательная женщина приколдовывала к себе, когда этого хотела»⁷³. «Одним из приколдованных», полагал Маковский, «был и Владимир Сергеевич Соловьев, которого я встретил у Ауэр. Они познакомились за границей, где-то в горах... Надежде Евгеньевне невольно говорилось о том, что другому не скажешь, она располагала к исповеди... Владимир Соловьев не раз поверял ей свои тайные видения. От нее не раз слышал я рассказы об этой “ненормальности” философа. Он был галлюциантом закоренелым»⁷⁴.

Маковский был непосредственным участником встреч Соловьева и Ауэр сначала на Сайме, а потом в Петербурге: «Соловьев дружески сошелся с Надеждой Евгеньевной, и эта умственная близость оставалась неомраченной в его последние годы. У меня создалось впечатление, что ни с кем не общался он так душевно просто, никому не поверял чистосердечнее своих тайных дум и невероятнейших духовных «приключений»... Н.Е. Ауэр была одной из тех, кому он верил и кому доверял свои таинственные видения. Искушенная во всех тонкостях интеллектуализма конца века, она восторгалась гениальностью Соловьева, умела его слушать и ничему не удивлялась. После Рауха он часто навещал ее в Петербурге (больше по вечерам), чтобы

⁷² См.: Лукьянов С.М. Материалы, кн. 3, вып. 1. С. 343–344.

⁷³ Владимир Соловьев: Pro et contra. Т. 1. С. 517.

⁷⁴ Там же. С. 517–518.

поделиться мыслями и рассказать о являвшихся к нему запросто призраках... Он любил говорить о мире загробном. Может быть, уже предчувствовал смерть?»⁷⁵

Владимир Сергеевич Соловьев скончался 13 августа 1900 г. в имении своих друзей Трубецких в Узком. После 1876 г. он никогда не был в Италии: история о том, что в 1888 г., во время поездки в Париж для печатания своих церковно-политических работ на французском языке, он якобы имел тайную аудиенцию у римского папы в Ватикане, не более чем легенда.

Дальнейшая судьба Надежды Евгеньевны Ауэр, напротив, оказалась тесным образом связана с Италией. После революции она уехала во Флоренцию и жила там до 1929 г., когда решила вернуться на родину, поближе к дочерям. Скончалась в 1933 г. Ее глухота с годами еще более обострилась, но ее друг, А.Ф. Кони, однажды обратил внимание на удивительный факт: «Надежда Евгеньевна странным образом могла всё ясно слышать лишь на железной дороге, под равномерный стук колес...»⁷⁶

Литература

- Аксакова-Сиверс Т.А.* Семейная хроника. Париж, 1988, кн.1.
Величко В.Л. Владимир Соловьев. Жизнь и творения. СПб.: Тип. Р. Голике, 1903.— 214 с. Встречи с прошлым. М., 1996, вып. 8.
Кара-Мурза А.А. Аполлон Александрович Григорьев // Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Флоренции. М., 2001. С. 47–49.
Кара-Мурза А.А. Иннокентий Федорович Анненский // Знаменитые русские о Неаполе. М., 2002. С. 184–188.
Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Неаполе. М.: Изд-во «Независимая газета», 2002.— 512 с.
Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Флоренции. М. Изд-во «Независимая газета», 2001.— 352 с.
Книга о Владимире Соловьеве. М.: Советский писатель, 1991. 511 с.
Козырев А.П. В.С. Соловьев и гностики. М.: Изд-во Савина, 2007.— 544 с.
Кристофанелли Р. Дневник Микеланджело Неистового. М.: Прогресс, 1980.— 383 с. 1985.
Лукьянов С.М. О Вл.С. Соловьеве в его молодые годы. Материалы к биографии. Кн. 3, вып. 1, Пг.: Российская АН, 1921.
Лукьянов С.М. Юношеский роман В.С. Соловьева в двойном освещении // Журнал Министерства народного просвещения, 1914, № 9.
Маковский С.К. Последние годы Владимира Соловьева // Маковский С.К. Портреты современников. М., 2000.
Мочульский К.В. Владимир Соловьев. Жизнь и учение // Мочульский К.В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995.
Письма Владимира Сергеевича Соловьева (под ред. Э.Л. Радлова). СПб.: Тип. «Общественная польза», 1909.
Пытина-Ляцкая В.А. Владимир Сергеевич Соловьев. Страничка из воспоминаний // Книга о Владимире Соловьеве. М., 1991.

⁷⁵ *Маковский С.К.* На Парнасе Серебряного века. С. 100.

⁷⁶ *Лукьянов С.М.* Материалы, кн. 3, вып. 1. С. 343–344.

- Раабен Л.* Леопольд Ауэр. Очерки жизни и деятельности. Л.: Музгиз, 1962.— 178 с.
- Соловьев В.* Стихотворения. Изд. 7-е (под ред. и с предисл. С.М. Соловьева). М.: Русский книжник, 1921.— 368 с.
- Соловьев С.М.* Владимир Соловьев: Жизнь и творческая эволюция. М.: Республика, 1997.— 431 с.
- Соловьев С.М.* Воспоминания. М.: НЛО, 2003.— 484 с.
- Соловьев С.* Идея церкви в поэзии Владимира Соловьева // Соловьев С. Богословские и критические очерки. Томск, 1996.
- Трубецкой Евг.* Миросозерцание Вл. Соловьева. Т. 1. М.: Тип. Мамонтова, 1913.— 652 с.
- Унковская А.* Воспоминания // Вопросы теософии, 1916, № 5–6.
- Цертелев Д.Н.* Из воспоминаний о Владимире Сергеевиче Соловьеве // Книга о Владимире Соловьеве. М., 1991.
- Янжул И.И.* Воспоминания о пережитом и виденном в 1864–1909 гг. СПб., 1910, вып. 1.
- Soloviev V.* La Sophia et les autres ecrits francais. Lausanne: L'Age d'homme, 1978.— 367 p.

ЧЕХОВ И ДАНТЕ (К ИСТОРИИ ИТАЛЬЯНСКИХ ПУТЕШЕСТВИЙ А.П. ЧЕХОВА)

Литераторы, в том числе русские, любили путешествовать. «Дорога», с легкой руки Гоголя, была объявлена излюбленным состоянием человека пишущего. Но даже на общем фоне русских литераторов-путешественников Антон Павлович Чехов выделяется масштабностью своих вояжей. С детства его кумирами были выдающиеся путешественники — Стэнли, Камерон, Пржевальский. Как известно, после поездки на Сахалин 30-летний Чехов вернулся в Россию сложным кружным путем — через Японию, Китай, Филиппины, Сингапур, Индию, Цейлон, Египет и Турцию. Но мало кто знает, что по возвращении он почти сразу начал планировать поездки в Америку, в Японию и Индию — причем надолго. Несколько раз порывался ехать в Австралию и Африку. Ну и, разумеется, неоднократно бывал в Европе.

Путешествие — особое состояние человека. Материалы, связанные с путешествиями (путевые дневники, переписка с близкими людьми, воспоминания) вскрывают порой такие глубины, о которых не догадывались окружающие, тем более, если речь идет о человеке по жизни закрытом, не любящим пускать в свою душу. Чехов — именно такой человек, но и Италия — такая страна, которая едва ли не в наибольшей степени провоцирует спонтанное вскрытие человеческих чувств и переживаний. Знаменитый социолог Максим Ковалевский, одно время бывший очень близким другом Чехова, мудрый и энциклопедически образованный человек, сказал как-то о Чехове: «Из всех встреченных мною людей Чехов в наименьшей степени был туристом».

Антон Павлович Чехов трижды путешествовал по Италии. Первый раз — в марте-апреле 1891 г. (ему тогда был 31 год) вместе со своим издателем и другом Алексеем Сувориным. Маршрут: поездом через Варшаву и Вену в Венецию; затем — Болонья, Флоренция, Рим, Неаполь (с посещением Помпей и восхождением на Везувий), опять Рим, потом — Ницца, Монте-Карло, Париж.

Второй раз — в сентябре-октябре 1894 г. снова с Сувориным. Маршрут: на этот раз из Крыма в Вену, потом Аббатия (сегодня курорт Опатия в Хорватии), Триест (тогда австрийский, сегодня итальянский порт), Венеция, Милан, Генуя, затем Ницца, Париж, Берлин.

Наконец, третий раз — в январе-феврале 1901 г. вместе с Максимом Ковалевским и ученым-биологом Коротневым. Маршрут: из Ниццы (где они

тогда жили) в Пизу, Флоренцию, Рим. Планировали ехать дальше в Неаполь, но Чехов, взволнованный известиями о постановке «Трех сестер» в МХТ, внезапно решил прекратить вояж и ехать из Рима в Россию.

Первое путешествие в Италию было предпринято Чеховым всего лишь через несколько месяцев после поездки на Сахалин. Эти два путешествия, на мой взгляд, и надо рассматривать в паре. Ведь у каждого путешествия есть своя пространственно-временная метафизика. Сахалин и Италия (прежде всего Венеция) представляют из себя именно такую метафизическую пару: «Ад – Рай».

Об этой «дантовской теме» в путешествиях Чехова немало написано в литературе. Есть и известные театральные постановки: например, к последнему чеховскому юбилею на сцене сахалинского «Чехов-центра» шведский режиссер Александр Нордштрем поставил спектакль «Остров Сахалин», где переплетены переписка Чехова и мотивы «Божественной комедии» Данте.

Надо сказать, что рубеж 1880–1890-х гг. был очень тяжелым для Антона Павловича. В первой половине 1889 г. буквально сгорел от туберкулеза за каких-то три-четыре месяца брат Чехова — художник Николай Павлович. После похорон брата Чехов, гонимый тоской, вплотную начинает переговоры с издателем Алексеем Сувориным о своей поездке на Сахалин. Суворин поначалу отговаривал Чехова, справедливо полагая это сумасшествием для нездорового человека.

Но уже 9 марта 1890 г. Чехов пишет Суворину о своей поездке, как о вопросе решенном: «Вы пишете, что Сахалин никому не нужен и ни для кого не интересен... Сахалин — это место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный и подневольный... Жалею, что я не сентиментален, а то я сказал бы, что в места, подобные Сахалину, мы должны ездить на поклонение, как турки в Мекку... Из книг, которые я прочел и читаю, видно, что мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски, мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников и все это сваливали на тюремных красноносых смотрителей».

В литературе о Чехове неоднократно отмечалось то влияние (тщательно прикровенное, но для внимательного специалиста очевидное), которое сыграла в решении Чехова ехать — «Божественная комедия» Данте. Путешествие на Сахалин — это путешествие в дантовский Ад, тем более страшный, что он вполне реален.

Уже приближение к Сахалину описывается Чеховым как «дорога в Ад». В очерках «Из Сибири» Чехов писал об Иртыше и его берегах, что «судя по виду», на здесь «могут жить одни только жабы и души больших грешников. Иртыш не шумит и не ревет, а похоже на то, как будто он стучит у себя на дне

по гробам». А в книге «Остров Сахалин» Чехов напишет: «Приговоренный к каторге удаляется из нормальной человеческой среды без надежды когда-либо вернуться в нее и, таким образом, как бы умирает для того общества, в котором он родился и вырос. Каторжные так и говорят про себя: “Мертвые с погоста не возвращаются”». Надо добавить, что, чурающийся всякой метафизической отвлеченности, Чехов вымарывал из черновиков практически все прямые коннотации с дантовским «адам». Его слог жесткий, почти бухгалтерский, — но тем самым еще более страшный.

Вскоре после возвращения с Сахалина Чехов создает рассказ «В ссылке». Американский литературовед Роберт Джексон пишет о символике в этом рассказе, связанной с образами «Божественной комедии» Данте: Семен Толковый — это Харон, перевозчик в «страну мертвых»; река — это Стикс, отделяющий страну мертвых от страны живых...

Однажды, в письме Д.В. Григоровичу в связи с его рассказом «Сон Карелина», Чехов так описал свой сон, который он часто видит, когда сильно замерзает: «Когда ночью спадает с меня одеяло, я начинаю видеть во сне громадные склизкие камни, холодную осеннюю воду, голые берега... в унынии и тоске, точно заблудившийся или покинутый, я гляжу на камни и чувствую почему-то неизбежность перехода через глубокую реку... Все до бесконечности сурово, уныло и серо. Когда же я бегу от реки, то встречаю на пути обвалившиеся ворота кладбища, похороны... И в это время весь я проникнут... своеобразным кошмарным холодом... во сне ощущаешь давление злой воли, неминуемую погибель от этой воли...»

Аллюзиями на тему дантовского «Ада» буквально пропитаны чеховские «Три сестры». Для потрясенных современников это было очевидно: постоянный мотив холода; пожар; фантазмагорический рассказ Андрея о жителях города, в котором живут Прозоровы; образ реки, через которую везут Тузенбаха прежде чем убить на дуэли; руки Соленого, «пахнущие мертвечиной»; военврач Чебутыкин — новый Харон, сопровождающий дуэлянтов и удостоверяющий смерть. Наконец, подполковник Вершинин — этот новый Вергилий (созвучие имен очевидно) и т.д.

Современники понимали даже мелкие детали, без всякой назидательной патетики, но драматургически очень точно разбросанные Чеховым. Например, когда в первом действии входит Наталья, жена Николая — эта «фурия пошлости», она и входит как фурия — в розовом платье, подпоясанном зеленым поясом: фурии дантовского «Ада», как известно, были в огненных одеждах, и их обвивали зеленные гидры... Всё это не выдумки Станиславского и Немировича, а тщательно продуманные Чеховым реминисценции, протрясавшие тем более, что без всякого пафоса были вживлены в самый контекст драматургически изображаемой повседневности.

Экзотические импровизации на чеховские темы имеют место и в наши дни. На Чехов-фесте 2009 г. показывали в т.ч. постановку «В Москву! В Москву!» немецкого режиссера Франка Касторфа: чеховские «Три сестры» там соединены с рассказом «Мужики». На пятом часу спектакля Ольга, Маша и Ирина сами становятся фуриями, хохочущими черными птицами и изгоняют, наконец, из прозоровской жизни фурию Наташу...

Итак, с метафизическим «Адом» у Чехова более или менее понятно. Но где же «Рай»? В тех же «Трех сестрах» он вроде предполагается в образе далекой и манящей Москвы, и, конкретно, Старой Басманной улицы, где когда-то счастливо жили Прозоровы и о которой так хорошо рассказывает Вершинин-Вергилий.

Теме «Рая», «райского сада» посвящена последняя пьеса Чехова — гениальный «Вишневый сад». «Вишневый сад» — пьеса о рае. Словосочетание «райский сад» тавтологично. Как утверждается в «Библейской энциклопедии» 1891 г. (чеховского времени), рай — «слово персидского происхождения и означает сад». С.С. Аверинцев, отмечая не вполне ясную этимологию слова «рай», указывает на связь его с греческим словом «парадиз» («сад», «парк»), произошедшем, в свою очередь, от древнеиранского «отовсюду огороженное место». Сама мифологема «райского сада» восходит к библейскому, ветхозаветному представлению о саде-рае в первой книге Моисея «Бытие»: «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке и поместил там человека, которого создал...» Далее в Библии описывается, с какой целью Бог поместил человека в сад: «поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». Чехов понимал человеческое предназначение в сходном ключе: слово «труд» часто встречается в его письмах и в самой пьесе.

Но были и другие подступы Чехова к проблематике «Рая». Кусочек «рая» обозначен уже в путевых заметках о путешествии 1890 г., когда Чехов возвращался с Сахалина кружным путем через экзотические страны. Чехов тогда в дневниках и письмах несколько раз называет «раем» Цейлон, Шри-Ланку. Вот фрагмент из письма Чехова И.Л. Леонтьеву (Щеглову) от 10 декабря 1890 г.: «Я был и в аду, каким представляется Сахалин, и в раю, т.е. на острове Цейлоне». Но Чехов отлично понимает, что Цейлон — это парадиз скорее природный, чем человеческий, а детская непосредственность безгрешных островитян — ну никак не тянет на концептуальную симметрию с сахалинской каторгой. Принципиальный вопрос остается: возможен ли «рай» в цивилизации?

Вот в этом контексте и можно рассматривать европейское путешествие Чехова 1891 г., прежде всего в Италию. Очевидно здесь влияние Суворина: сам убежденный италофил, знаток европейской культуры, Суворин явно

спешит подставить Чехову готовый ответ: «рай» — это страна победившей культуры, это культурная Европа, Италия прежде всего.

Чехов явно сопротивляется навязанной идее, полагая ее стереотипом. 22 марта (3 апреля) 1891 г. они едут из Вены в Венецию, и Чехов записывает: «От Вены до Венеции ведет красивая дорога, о которой раньше мне много говорили. Но я разочаровался в этой дороге. Горы, пропасти и снеговые вершины, которые я видел на Кавказе и на Цейлоне, гораздо внушительнее, чем здесь».

Вечером того же дня они прибыли в Венецию и на следующий день случайно встречаются в соборе св. Марка чету Дмитрий Мережковский — Зинаида Гиппиус. Те тоже впервые в Италии. Зинаида только что еле выкарабкалась из тифа. Известно, какую роль для них всю жизнь играл Данте: Мережковский на гранте Муссолини даже писал большую работу. Чехов тогда пишет родным: «Мережковский, которого я встретил здесь, с ума сошёл от восторга. Русскому человеку, бедному и приниженному, здесь в мире красоты, богатства и свободы не трудно сойти с ума». Но, оказывается, эти слова Чехов относит не только к Мережковскому, но уже и к самому себе. Ибо продолжение письма таково: «Хочется здесь навеки остаться, а когда стоишь в церкви и слушаешь орган, то хочется принять католичество».

Чехов в Венеции демонстративно ерничает надвосторгами Мережковских и Суворина, но в письмах родным и в дневнике дает волю собственным восторгам. Вот лишь один пример. Существует рассказ Суворина о пребывании Чехова в Венеции, который напечатал в своих мемуарах В.И. Немирович-Данченко. Суворин рассказывал: «Антон Павлович там ни на что не смотрел. Больше с Алешей (сыном Суворина.— А.К.) в винт играл. В Венеции мне хотелось, чтобы он памятник Кановы посмотрел. (надгробие архитектора Кановы в францисканской церкви Фрари.— А.К.). Взял с него слово. Утром спрашиваю: Видели? — Видел.— Ну что ж? — Хоть сейчас на Волково кладбище! Я даже плюнул. А потом добился: он там и не был. Купил себе открытку с этим памятником и на этом успокоился. Упрекаю его, а он: А, зачем мне? Я ведь не собираюсь открывать мастерскую надгробных монументов для рогожских купцов?».

На самом деле, Чехов конечно же был в Церкви Фрари и надгробие Кановы, как и находящееся прямо напротив надгробие Тициана, конечно же, видел. Об этом ясно свидетельствуют письма Чехова родным. Вот фрагмент из письма М.Е. Чехову от 25 марта 1891 г. из Венеции: «В одной из знаменитейших церквей у усыпальницы скульптора Кановы лежит просто чудо: лев положил голову на протянутые передние лапы, и у него такое грустное, печальное, человеческое выражение, какого нельзя передать на словах». Эстетическую сторону увиденного Чехов постиг вполне, но даже не это

главное. Читаем письмо брату Ивану от 5 апреля 1891 г.: «Великолепны усыпальницы Кановы и Тициана. Здесь великих художников хоронят, как королей, в церквах; здесь не презирают искусства, как у нас: церкви дают приют статуям и картинам, как бы голы они не были».

Ну и масса других писем с восторгами о венецианской жизни, не только искусстве. Из письма Ивану: «Одно могу сказать: замечательнее Венеция в своей жизни городов не видел. Это сплошное очарование, блеск, радость жизни... А в храмах скульптура и живопись, какие нам и во сне не снились. Одним словом, очарование. Если когда-нибудь тебе случится побывать в Венеции, то это будет лучшим в твоей жизни». Или там же: «А вечер! Боже, ты мой господи! Вечером с непривычки можно умереть. Едешь ты на гондоле... Тепло, тихо, звёзды... Лошадей в Венеции нет, и потому тишина здесь, как в поле. Вокруг снуют гондолы... Поют из опер. Какие голоса! Проехал немного, а там опять лодка с певцами, а там опять, и до самой полночи в воздухе стоит смесь теноров, скрипок и всяких за душу берущих звуков».

Наконец, вот финальные чеховские обобщения из писем родным: «Из всех мест, в каких я был доселе, самое светлое воспоминание оставила во мне Венеция»; или: «Италия, не говоря уж о природе её и тепле, единственная страна, где убеждаешься, что искусство, в самом деле, есть царь всего, а такое убеждение дает бодрость».

Итак, Венеция для Чехова — это воплощенный Рай, мир победившей культуры — это несомненно. Чехов даже, со свойственной ему, как говорили, «бухгалтерской педантичностью», перечисляет в одном из писем родным критерии этого «рая»: «Самое лучшее время в Венеции — это вечер. Во-первых, звезды, во-вторых, длинные каналы, в которых отражаются огни и звезды, в-третьих, гондолы, гондолы и гондолы; когда темно, они кажутся живыми. В-четвертых, хочется плакать, потому что со всех концов слышатся музыка и превосходное пение... В-пятых, тепло...»

Но, повторяю, бедняга Суворин так и не узнал обо всем этом. Вернувшись в Петербург Суворин всем рассказывал (в т.ч. своему приятелю и неоднократно напарнику по путешествиям по Италии Григоровичу): Чехову, мол, «за границей не понравилось». Престарелый Григорович написал об этом в журнале, сделав глубокомысленные обобщения, приписав Чехову чуть ли не славянофильские убеждения: Чехов-де сознательно «уклоняется от запада» — его душа тяготеет к востоку. В этом же была уверена и жена Суворина, Анна Ивановна, о чем открыто писала Чехову. Дело зашло так далеко, что Чехов, живший с мая 1891 г. на даче в Богимово, вынужден был написать специальное письмо Суворину, где с недоумением и горечью цитировал слова Григоровича о том, что Чехов, оказывается, принадлежит к поколению, «которое заметно стало отклоняться от Запада и ближе присматриваться

к своему... Венеция и Флоренция ничего больше, как скучные города для человека даже умного».

Чехов написал тогда Суворину: «Merci, но я не понимаю таких умных людей. Надо быть быком, чтобы, приехав первый раз в Венецию или во Флоренцию, стать “отклоняться от запада”. В этом отклонении мало ума. Но желательно было бы знать, кто это старается, кто оповестил всю вселенную о том, будто за граница мне не понравилась? Господи ты, Боже мой! Никому я, ни одним словом, не заикнулся об этом... Что же я должен был делать? Реветь от восторга? Бить стекла? Обниматься с итальянцами и французами?».

Добавлю, что впечатления от Венеции вошли в произведения Чехова: в первую очередь, в «Рассказ неизвестного человека», где герой и его возлюбленная живут в том же самом отеле «Бауэр», где жили Суворины и Чехов. Герой после тяжелейшей болезни возвращается в Венеции к жизни... Есть там, кстати, и рассуждения про могилу Кановы. (Добавлю от себя: для многих русских путешественников отель «Бауэр» стал местом культовым; например, в 1913 г. там поселились всю жизнь обожавшие Чехова мой родной дед — присяжный поверенный Сергей Георгиевич Кара-Мурза и моя бабушка, дочь купца второй гильдии Мария Алексеевна, урожденная Головкина).

Впечатления и от второго путешествия в Италию, в 1894 г., также вошли в произведения Чехова. То было время, когда Чехов обдумывал будущую «Чайку», но все время откладывал начало писания. И все-таки впечатления об Италии 1894 г. вошли в «Чайку». Вспомним разговор Медведенко, Треплева и Дорна из последнего четвертого действия.

Медведенко. Позвольте вас спросить, доктор, какой город за границей вам больше понравился?

Дорн. Генуя.

Треплев. Почему Генуя?

Дорн. Там превосходная уличная толпа. Когда вечером выходишь из отеля, то вся улица бывает запружена народом. Движешься потом в толпе без всякой цели, туда-сюда, по ломаной линии, живешь с нею вместе, сливаешься с нею психически и начинаешь верить, что, в самом деле, возможна одна мировая душа, вроде той, которую когда-то в вашей пьесе играла Нина Заречная.

Генуя, которую посетил Чехов в 1894 г., в развязке пьесы возвращает к ее завязке — пьесе-мышеловке, когда Нина Заречная говорит словами «мировой души». Генуя, ее толпа — воплощенная «мировая душа», — эта тема, по-видимому, тревожила Чехова, но прошла пунктиром — в жизни Чехова наступал новый период.

Суворин вспоминал о том путешествии, в частности о посещении Милана и Генуи, что в тот раз Чехова странным образом интересовали две

вещи: кладбища и цирк. Суворин пишет: «Это как бы определяло два свойства его таланта — грустное и комическое, печаль и юмор, слезы и смех и над окружающим, и над самим собою!». К тому же времени относится и известное высказывание Чехова о том, что он «оравнодушен ко всему на свете», и что «начало этого оравнодушение совпало с поездками за границу».

Последний раз Чехов был в Италии с Максимом Ковалевским в 1901 г., намереваясь спуститься на юг в Неаполь, потом в Бриндизи, откуда намеревался пароходом плыть через Корфу в Россию. Флоренция тогда снова понравилась ему. Он пишет Ольге Книппер: «Одно скажу, здесь чудесно. Кто в Италии не бывал, тот еще не жил». Вот следующее письмо ей же: «Ах, какая чудесная страна, эта Италия! Удивительная страна! Здесь нет угла, нет вершка земли, который не казался бы в высшей степени поучительным».

Однако это был уже другой Чехов. Путешествовавший с ним вместе по Италии в 1901 г. Ковалевский вспоминал о бессонной ночи в вагоне поезда «Флоренция — Рим»: «Нам обоим не спалось. Мы разговорились о своих планах и надеждах. “Мне трудно, — сказал он, — задаться мыслью о какой-нибудь продолжительной работе. Как врач, я знаю, что жизнь моя будет коротка”. Чехов, в молодости столь жизнерадостный, заражавший своим смехом читателей “Русского курьера”, в котором печатались его мелкие рассказы, под влиянием болезни становился все более и более сосредоточенным, но не мрачным. Он без страха смотрел в будущее и не жаловался на свою судьбу, считая ее неотвратимой...»

Несмотря на точное знание о собственном состоянии, в своих последних письмах родственникам и друзьям смертельно больной Чехов несколько раз упоминал о том, что хочет отправиться на лечение в Италию, в городок Нерви под Генуей. Это была «последняя Италия», о которой Чехов думал и мечтал...

В 2004 г. во время международной конференции «Душа мира и мир Чехова», посвященной 100-летию смерти Чехова, в память о Чехове лицеисты Генуи посадили вишневые деревья в Садах Нерви.

ВЕНЕЦИЯ ЛЕОНИДА ПАСТЕРНАКА (1904)

Вместо введения

Жанр «интеллектуального краеведения», позволяющий органично соединить внимательное отслеживание конкретных человеческих судеб и точное понимание подвижного культурно-географического контекста, прочно закрепился в отечественной литературе non-fiction. Жанр этот оказывается особо плодотворным в отношении литераторов и художников, в первую очередь,— философствующих. Русско-еврейская семья Пастернаков, давшая России и миру по меньшей мере три бесспорных таланта (художника Леонида Осиповича, пианистку Розалию Исидоровну и их сына — поэта Бориса Леонидовича Пастернака), является наглядным тому примером.

В становлении людей искусства, в том числе россиян, Италия сыграла огромную роль. И так получилось, что среди других великих итальянских городов Венеция заняла особое место. Именно она для русского путешественника чаще всего становилась первым открытием Италии — в силу своей географии и кажущейся (и часто обманчивой) «легкости восприятия».

Есть у Венеции уникальное свойство: мгновенно и глубоко взбудоражить воображение и спровоцировать в человеке то, что принято называть «творчеством». Это потом выяснится, что «родиной творчества» является все-таки Флоренция (об этом хорошо написал Бердяев), а родиной историософии — конечно же, Рим (согласно Гоголю или Герцену). Однако первое «чувство Италии» в пришельцах с Севера, будь то русские или англичане, пробуждает именно Венеция. Иначе говоря, «философом» человека делают Рим, Флоренция, а иногда даже Неаполь. Но человека «просто философствующего» из путешественника делает именно «Venezia la bella».

Тема: «Венеция Пастернака» неплохо разработана не только в отечественной, но и в мировой литературе¹. Речь, разумеется, идет о Борисе

¹ Меднис Н.Е. Венеция в русской литературе. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 1999; Москалева А.Е. Две Венеции Бориса Пастернака // Образы Италии в русской словесности XVIII–XX вв. (ред. О.Б. Лебедева, Н.Е. Меднис). Томск, 2009. С. 491–498; Соболева О.В. Венецианский текст в современной русской литературе: продолжение и преодоление традиции // Вестник Пермского университета. Сер.: Российская и зарубежная филология, 2010 № 5 (11). С. 184–188; Сергеева-Клятис А.Ю. Две «Венеции» Бориса Пастернака // Арион, 2018, № 3. С. 104–113; Чудова О., Толова Г.Н. Венеция в поэзии Серебряного века: мотивы жизни и смерти // Мировая литература в контексте культуры, 2007, № 2. С. 251–256; Эванс-Ромейн К. Стихотворение Б. Пастернака «Венеция» и традиции немецкого романтизма // Литературный текст: проблемы и методы исследования (ред. И.В. Фоменко). Тверь, 1997. С. 105–113.

Пастернаке, «Пастернаке-младшем», и о его поездке в Италию, к родителям, в августе 1912 г. Этот короткий вояж оставил нам две редакции знаменитого стихотворения «Венеция» («Я был разбужен спозаранку») — в редакциях 1913-го² и 1928-го³ годов. Но, возможно, еще бóльшую известность получили великолепные «венецианские» страницы из второй части мемуарной книги Бориса Пастернака «Охранная грамота»⁴. Мне и самому пришлось много писать на тему венецианских приключений Бориса Пастернака 1912 г. в двух изданиях моей книги «Знаменитые русские о Венеции»⁵.

В данной же статье речь пойдет о путешествии в Венецию *другого Пастернака* — «Пастернака-старшего», отца поэта, художника-академика Леонида Осиповича.

Впервые в Италии

Леонид Осипович (Исаак Иосифович) Пастернак (1862, Одесса — 1945, Оксфорд) трижды бывал в Венеции — в 1904, 1912 и 1923 гг. В своей мемуарной книге «Записи разных лет» он вспоминал, что еще с юности, «чуть ли не со времен Одесской рисовальной школы», мечтал попасть в Италию: «Но ехать туда художнику надо обязательно на продолжительный срок — на это у меня в те годы не было ни средств, ни свободного времени; потому поездка в Италию каждый раз отодвигалась “на будущий год”. И сколько же таких “будущих годов” у меня накопилось!»⁶

И вот, наконец, мечта сбылась. Весной 1904 г. в Дюссельдорфе должна была открыться Международная художественная выставка, и организаторы пригласили Л.О. Пастернака стать «комиссаром» русского отдела: «Я был приглашен устроителем этой выставки — организовать и “представлять” на этой выставке отдел русского искусства (живописи и скульптуры). Это приглашение и послужило поводом к поездке — сначала в Германию на выставку, по обязанности, а затем — в Италию!»⁷

Леонид Пастернак отправился тогда в Германию поездом — через Минск, Брест и Варшаву. Участниками «русского отдела» на дюссельдорфской выставке были той весной Игорь Грабарь, Виктор Борисов-Мусатов, Сергей

² Пастернак Б. Стихотворения и поэмы 1912–1931 // Пастернак Б. Собрание сочинений в 5 тт. Т. 1. М.: Художественная литература, 1989. С. 435.

³ Там же. С. 56.

⁴ Пастернак Б.Л. Охранная грамота // Пастернак Б. Собрание сочинений в 5 тт. Т. 4. М.: Художественная литература, 1991. С. 194–210. Вторая часть ранних мемуаров Б.Л. Пастернака «Охранная грамота» впервые появилась в журнале «Красная новь» (1931, № 4). В том же году «Охранная грамота» вышла в Ленинграде отдельной книгой.

⁵ Кара-Мурза А.А. Борис Леонидович Пастернак // Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Венеции (2-е изд., расш. и доп.). М.: Изд-во О. Морозовой, 2019. С. 295–299.

⁶ Пастернак Л.О. Записи разных лет. М.: Советский художник, 1975. С. 67.

⁷ Там же.

Виноградов. Был представлен на выставке и Валентин Серов — сам он тогда, кстати, путешествовал с семьей по Италии.

А после Дюссельдорфа Пастернак двинулся — через Берлин, Дрезден и хорошо знакомый ему Мюнхен⁸ — в вожделенную Италию: «Я уж думал, что просто не доживу — собирался ведь 42 года, и теперь прямо стыдно где-нибудь сознаться, что художник не был там, где родина искусства!»⁹ Узнавший о планах Пастернака Игорь Грабарь, бывавший в Италии неоднократно, не удержался тогда от восклицания: «Однако, какой Вы порядочный человек, Вы не стесняетесь говорить правду, что не были до сих пор в Италии, другой бы даже соврал...»¹⁰

И вот, наконец, поезд «Вена — Венеция», который многие годы исправно доставлял сотни наших соотечественников на берега Адриатики: «В одну из теплых летних ночей, уставший за целый день езды в душном вагоне, я подъезжал в начале июня 1904 года (если быть точным, в ночь с 24 на 25 мая по григорианскому календарю. — А.К.) к Венеции...»¹¹

Дорожные картины скорее разочаровали нетерпеливого путешественника: «Из расхваленной и неописуемой красоты итальянских пейзажей, признаться, я ничего за целый день езды не увидел, кроме станционных будничных зданий и пыльных участков земли с деревьями, перевитыми гирляндами дикого винограда. Несмотря на усталость, я жадно вглядывался в эти участки, ища обещанных апельсиновых рощ и зреющих лимонов, — увы, напрасно! Все те же станционные сараи и тощие запыленные деревья, обвитые серым плющом»¹².

Но вот: «Какая-то дамба (соединившая еще в XIX в. Венецию с материком — А.К.), мы едем по ней; справа и слева — вода; начинается что-то вроде сна... Венеция. Вокзал (Санта-Лючия в начале Большого канала. — А.К.). Поздно... Спасибо соседу моему — он видит мою усталость и сонливую растерянность, подзывает “извозчика”, но тут их нет! Это он уговаривается с гондольером! Гондольер берет мои вещи, я схожу по широкой лестнице и сажусь в колеблющуюся гондолу — и это уже действительность, а не бутафория; сон становится явью...»¹³

Пастернак-старший заранее забронировал тогда номер в скромном отеле «Capello Nero», рядом с площадью Св. Марка. В гондоле рядом с ним

⁸ В середине 1880-х гг. Леонид Пастернак занимался в Мюнхенской академии художеств, где учился у выдающихся художников и педагогов Иоганна Каспара Гертериха и Александра Лицен-Майера.

⁹ Пастернак Л.О. Письма к Розе — невесте и жене. М.: Азбуковник, 2017. С. 405.

¹⁰ Там же.

¹¹ Пастернак Л.О. Записи разных лет. С. 67.

¹² Там же.

¹³ Там же.

оказались двое попутчиков-французов. На следующий день, 25 мая, Леонид написал жене Розалии Исидоровне, оставшейся дома с четырьмя детьми, старшему из которых, Борису, недавно исполнилось четырнадцать: «Мы трое (еще два француза в гондоле со мною) пробирались плавно, таинственно по уснувшему, мертвому городу, почерневшему от времени, и, скользя по узким уличным каналам... Мы все плавно огибали улицы и грязные переулки с такой художественной и живописной, “как будто ненастоящей”, а нарочно, как в сказках сделанной, внешностью, что казалось, что весь этот город, если его можно было так назвать,— одна сказка»¹⁴.

Венецианские гондолеры, возившие гостей по Canal Grande от Santa-Lucia к San-Marco, обычно, срезая путь, сворачивали сразу за мостом Риальто налево — в канальчик Rio San-Salvador: «Гондола скользит между поднимающимися прямо из воды спящими домами и какими-то полосатыми столбами; палаццо с черными зияющими открытыми окнами, а кое-где со спущенными оранжевыми портьерами — очень декоративным мотивом для живописи — обступают канал. Гондолер плавно, бережно и молча скользит в узких каналах, и вдруг, как крик совы, из тишины ночи вылетает окрик его, чтобы легче разбегаться на углах канала. Вот гондола тихо подплывает к ступеням лестницы отеля. Все похоже на сон, но я вовсе не сплю, наоборот, широко раскрыв глаза, смотрю, чтобы лучше разглядеть всю эту, ни на что раньше виденное не похожую, сказочную действительность...»¹⁵

Венеция как... итальянская Одесса

Уже в своих первых письмах из Венеции жене и детям Леонид Пастернак высказывает парадоксальную мысль, которая будет затем навязчиво преследовать его все пять дней пребывания в городе на Адриатике: Венеция напомнила ему... родную Одессу!

Это «открытие» случилось в первый же день во Дворце дождей, когда Пастернак, «усталый от созерцания венецианских мастеров», подошел к открытому окну большого зала Палаццо Дожей и, выглянув из него, увидел «этот солнцем залитый рейд, это множество остроносых сонных кораблей, эти оранжево-красные черепичные крыши внизу, когда повеяло этим особенным запахом моря»: «Что-то давным-давно знакомое, родное охватило меня... “Да это ведь мое детство!”... Одесса... порт, эстакада... “Пересыпь”, куда ходили купаться. То же горячее солнечное утро, летний стоячий зной, те же одесские глиняные красноватые, черепицы домов и домиков, раскаленные на солнце, тот же штиль уснувшего залива, те же иглы мачт бесчисленных

¹⁴ Пастернак Л. О. Письма к Розе — невесте и жене. С. 405–406.

¹⁵ Пастернак Л. О. Записи разных лет. С. 67–68.

парусных кораблей и дальние гудки пароходов — всё, что меня завораживало, когда на спуске я мальчиком стоял и глядел вдаль»¹⁶.

Леонид Пастернак потом хорошо описал в мемуарах свое потрясение: оказывается, Венеция, пусть бессознательно, все эти годы была неотъемлемой частью его идентичности! «И когда я отошел от окна огромной залы Палаццо Дожей и снова взглянул на колоссальный холст “Рая” Тинторетто, на плафон Веронезе, на “Шествие во Храм” Тициана — все эти итальянские мастера показались мне как-то связанными с моим детством, с чем-то родным, далеким и дорогим. И я понял, почему мне больше всего (кроме Рембрандта) нравятся итальянские мастера и итальянское искусство»¹⁷.

Одесская юность вспоминалась потом Пастернаку-путешественнику постоянно: «В Одессе, этом портовом, наполовину иностранном городе, жили греки, итальянцы, французы, турки (некоторые из них — потомки бывших пиратов). Мальчиком я играл с жившими у нас во дворе (в новом флигеле) детьми итальянской семьи Кавасс-Поццо. Я тогда не чувствовал, конечно, что живу в атмосфере чего-то итальянского...»¹⁸

Однако в Одесской художественной школе (Школе рисования), куда поступил юноша Пастернак, чувство сопричастности Италии и ее искусству усилилось¹⁹. Леонид Осипович всегда с благодарностью вспоминал основателя Школы, выходца из Кремоны, академика Императорской академии художеств Франческо (Франца Осиповича) Моранди, который, уехав на закате жизни из России, скончался в 1893 г. в итальянском Фиуме, но завещал похоронить себя в Одессе²⁰.

Особенно полюбил юноша Пастернак своего школьного наставника, тоже ломбардца Луиджи Домениковича Иорини, выпускника Миланской Академии художеств: «Высокий, коренастый милый старик, точно из времен Ренессанса... Холостой, одинокий, он был один со своей скульптурой. Только мрамор и молот — мир его, да трубка во рту. Он любил учеников, как отец, прожил большую часть жизни в России, но так и не научился говорить по-русски»²¹. Синьор Иорини приехал в Одессу в 1869 г., когда ему было уже 53 года. На здании Одесской городской думы (здание Старой биржи на Думской площади), в боковых нишах слева и справа от колонн размещены скульптуры Меркурия (бога торговли) и Цереры (богини плодородия), выполненные Иорини. Умер и похоронен этот «русский итальянец» тоже в Одессе²².

¹⁶ Там же. С. 23.

¹⁷ Там же.

¹⁸ Там же.

¹⁹ См.: Одесская художественная школа. Воспоминания бывших учеников, 1865–1940. Одесса: изд-во Национальной научной библиотеки, 2015.— 148 с.

²⁰ Краснова Е., Дроздовский А. Итальянцы в Одессе // Мигдаль Times, 2015, № 133. С. 5.

²¹ Пастернак Л.О. Записи разных лет. С. 23.

²² Краснова Е., Дроздовский А. Итальянцы в Одессе. С. 5.

Ценил и уважал Леонид Пастернак и своего однокашника по Школе рисования — Марка Луиджи Молилари, называвшего себя потомком Гарибальди: «Молилари, уже говоривший по-русски, но малограмотный, был подлинным каменотесом — глина, стилет и глыба мрамора были его родной стихией. Молилари исполнил мой портрет, гипсовый бюст, который находился у сестры моей»²³. Уже в начале нового века Марк Молилари стал известным в Одессе скульптором, создавшим, помимо прочего, грандиозный по размерам временный памятник Петру I для проведения торжественного парада (20 июня 1909 г.) на одесском «Куликовом поле» в честь 200-летия Полтавской битвы²⁴.

28 мая 1904 г. Леонид Пастернак написал жене Розалии Исидоровне (тоже, как мы знаем, одесситке по рождению) письмо на бланке гостиницы «Capello Negro», где подробно и несколько сумбурно рассказал о своих ощущениях от Венеции: «Она мне так Одессу напоминает, что даже просто смешно сравнивать! Вчера я при луне после обеда (играет музыка на площади и на главной набережной) хожу, вдыхаю этот особенный морской запах, что в Одессе, помнишь, вспоминаю этих горляющих итальянцев с шляпой на затылке, жестикулирующих, шляющихся без дела, Бог знает зачем, в это кафе — и мне Фанкони (кафе в Одессе, на углу Ланжероновской и Екатерининской улиц — А.К.) и одесские биржевики-пшеничники вспоминаются; по улицам и из этих переулков (тут улицы узкие до игрушечного, а переулки — едва пройдешь один!) шныряют дети, грязные, оборванные, женщины в шлепанцах, как Ваша кухарка, помнишь — в шальях все, и старухи, и молодые, «расхристаные цишойберт и ефкер ди велт» («расстрепанные и лахудры» — *идиш.*) — ну совсем Большая Арнаутская в жаркую летнюю пору или к вечеру, когда солнце скроется и всё вывалит наружу, и стар, и млад до грудного ребенка — все это с этим морским особенным запахом — ни дать, ни взять, Одесса!!...»²⁵ «Это, конечно, современная Венеция, — добавляет Леонид Осипович, — а не старая Венеция, которая давно уснула, умерла, и еще живым и говорящим о прежнем величии и блеске — осталось ее искусство в живописи, архитектуре и скульптуре»²⁶.

Мечтой Пастернака в Венеции было отправиться на один из пляжей на острове Лидо и вдоволь искупаться: «Уже второй день хочу съездить на

²³ Пастернак Л. О. Записи разных лет. С. 23.

²⁴ Краснова Е., Дроздовский А. Итальянцы в Одессе. С. 5. В одесской Школе рисования в 1870–1872 гг. занимался и М.А. Врубель, чье творчество впоследствии будет тоже тесно связано с Венецией. Леонид Пастернак полагал, что «пристрастие Врубеля к итальянскому Ренессансу в известной мере было... следствием его пребывания в этой полуитальянской школе» (Пастернак Л. О. Записи разных лет. С. 23).

²⁵ Пастернак Л. О. Письма к Розе — невесте и жене. С. 407.

²⁶ Там же.

взморье (тут остров с купальнями на пляже) и выкупаться (жарко порядочно), но не могу — не успеваю, жалко времени, а когда я уже никуда не могу к вечеру, то и поехать купаться поздно. Так и не выкупаюсь, должно быть»²⁷. Один только раз удалось ему вечером съездить на Лидо и там пообедать: «Я съездил туда вчера вечером и обедал. Ресторан выходит в море, как в Ланжероне. Ей-Богу, в Одессе это не хуже. Луна всходила точно, как на Большом Фонтане...»²⁸

В мистическую связь Венеции, впервые живую увиденной им на сорок третьем году жизни, с родной Одессой Пастернак-старший окончательно поверил, когда в одну из южных ночей гулял в одиночестве по набережной Скьявони: «В тихую лунную ночь однажды стоял я, очарованный феерической красотой этой мягкой теплой ночи, ощущая удивительно знакомый запах морской травы и арбузных корок, слыша особо запомнившийся мне звук плеска гондол и лодок — стоял, углубившись в свои воспоминания, как вдруг слышу сзади себя голос узнавшего меня товарища по Школе рисования, Брицци: “Не Одесса разве? А?”»²⁹ Долго потом они оба вспоминали Одессу, Школу рисования, Моранди, Иорини, Молинари...

Об одном жалел Леонид Пастернак в Венеции — о том, что нет с ним детей и жены, которая могла бы разделить его «венецианско-одесские» переживания: «Неужели мне не удастся когда-нибудь вместе с тобою побывать за границей, и только здесь! Как я болею душой, если бы ты знала! Нужно много денег для того, чтобы вдвоем провести здесь какое-то время! Авось, Бог даст, когда дорогие наши детки чуточку подрастут...»³⁰

Вместо заключения

31 мая 1904 г. Леонид Пастернак уехал из Венеции поездом на Флоренцию: «Пять дней я здесь провел — точно год, многое бросил — надо было бы еще долго здесь оставаться... Но слава тебе, Господи, и благодарение Господу, что довелось хоть поздно, но все это, наконец увидеть...»³¹

Дорога на Флоренцию опять настойчиво напоминала ему родной российский юг: «Жарко... Удивительно пейзаж и зелень напоминают юг Малороссии;

²⁷ Там же. С. 410.

²⁸ Там же.

²⁹ Пастернак Л.О. Записи разных лет. С. 23.

³⁰ Пастернак Л.О. Письма к Розе — невесте и жене. С. 408. Эта мечта осуществилась летом 1912 г., когда, после посещения баварского курорта Бад-Киссинген, где Розалия Исидоровна лечилась водами, семейство Пастернаков, вместе с сыном Александром и дочерьми Жозефиной и Лидией, проехали по Италии (включая Венецию), а затем отдыхали на Тирренском побережье недалеко от Пизы. На несколько дней к ним в Марина-ди-Пиза приезжал и учившийся в Марбурге Борис Пастернак.

³¹ Там же. С. 409, 410.

хаты. Как у нас белые и крыты камышом. Только больше растительности; между деревьями в виде гирлянд всюду сплошь вьется виноград»³².

Проезжая Падую, Леонид Осипович вдруг вспомнил одну подзабытую семейную легенду. Будто на рубеже XVIII–XIX вв., откликаясь на всевропейский призыв русской императрицы Екатерины Великой активно заселять недавно отвоеванный у турок «благодатный край» — Малороссию, из итальянской Падуи в Одессу отправились два предприимчивых брата-еврея по фамилии «Пастернак»...³³

Литература

Кара-Мурза А.А. Борис Леонидович Пастернак // Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Венеции (2-е изд., расш. и доп.). М.: Изд-во О. Морозовой, 2019. С. 295–299.

Краснова Е., Дроздовский А. Итальянцы в Одессе // Мигдаль Times, 2015, № 133. С. 5.

Меднис Н.Е. Венеция в русской литературе. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 1999. — 392 с.

Москалева А.Е. Две Венеции Бориса Пастернака // Образы Италии в русской словесности XVIII–XX вв. (ред. О.Б. Лебедева, Н.Е. Меднис). Томск, 2009. С. 491–498.

Одесская художественная школа. Воспоминания бывших учеников, 1865–1940. Одесса: Изд-во Национальной научной библиотеки, 2015. — 148 с.

Пастернак Б.Л. Стихотворения и поэмы. 1912–1931 // Пастернак Б. Собрание сочинений в 5 тт. Т. 1. М.: Художественная литература, 1989. — 751 с.

Пастернак Б.Л. Охранная грамота // Пастернак Б. Собрание сочинений в 5 тт. Т. 4. Повести; статьи; очерки. М.: Художественная литература, 1991. С. 149–239.

Пастернак Л.О. Записи разных лет. М.: Советский художник, 1975. — 287 с.

Пастернак Л.О. Письма к Розе — невесте и жене. М.: Азбуковник, 2017. — 480 с.

Соболева О.В. Венецианский текст в современной русской литературе: продолжение и преодоление традиции // Вестник Пермского университета. Сер.: Российская и зарубежная филология, 2010, № 5 (11). С. 184–188.

Сергеева-Клятис А.Ю. Две «Венеции» Бориса Пастернака // Арион, 2018, № 3. С. 104–113.

Чудова О., Толова Г.Н. Венеция в поэзии Серебряного века: мотивы жизни и смерти // Мировая литература в контексте культуры, 2007, № 2. С. 251–256.

Эванс-Ромейн К. Стихотворение Б. Пастернака «Венеция» и традиции немецкого романтизма // Литературный текст: проблемы и методы исследования (ред. И.В. Фоменко). Тверь, 1997. С. 105–113.

³² Там же. С. 410.

³³ Там же. С. 410–411. В 1921 г. Леонид Осипович Пастернак вместе с женой и дочерью уехал на лечение в Германию. Однако после операции Пастернака семья не вернулась в СССР. В 1923 г. Л.О. Пастернак в третий (и последний) раз оказался в Венеции. В «Записях разных лет» он вспоминал: «Я принял участие в художественной экспедиции по Палестине и возвращался домой пароходом с заходом в Венецию. Огромный наш пароход стоял на рейде. Более двух часов длилась стоянка. Почти все пассажиры сошли на берег. Из опасения, что, пережив за эти двадцать лет слишком многое, я по-иному буду смотреть на Венецию или что все давнишние венецианские впечатления вдруг потеряют для меня свою прелесть, я на берег не сошел; я предпочел глядеть на дорогой мне город с борта громады — парохода, перед которым венецианские дома и палатцы оказались маленькими, детскими, чем-то игрушечным... Сквозь слезы глядел я, пока пароход не снялся с якоря и не пошел на Триест... Так Венеция навсегда скрылась от меня...»

ОСТРОВ КАПРИ ИВАНА БУНИНА

*«Острова Капри совсем не было видно —
точно его никогда и не существовало на свете...»*
(И.А. Бунин. «Господин из Сан-Франциско»)

*«Проносились над островом
зимние шквалы и бури...»*
(И.А. Бунин. «Капри»)

Предисловие

Иван Алексеевич Бунин — один из главных «путешественников» в русской литературе. В написанной им в Москве в апреле 1915 г. «Автобиографической заметке» читаем: «С 1907 года жизнь со мной делит В.Н. Муромцева¹. С этих пор жажда странствовать и работать овладела мной с особенной силой... Неизменно проводя лето в деревне, мы почти все остальное время отдали чужим краям. Я не раз бывал в Турции, по берегам Малой Азии, в Греции, в Египте вплоть до Нубии, странствовал по Сирии, Палестине, был в Ороне, Алжире, Константине, Тунисе и на окраинах Сахары, плавал на Цейлон, изъездил почти всю Европу, особенно Сицилию и Италию..., был в некоторых городах Румынии, Сербии»².

В том же очерке Бунин с иронией вспоминает, как в отместку за все эти «странствия» иные критики долгое время называли его «праздным вояжером» («приплетали некстати мои “поездки в Индию»»), а не глубоким русским художником («я для деревни только “пришлый интеллигент»»). «Хотя поездки эти, — возражал своим недоброжелателям Бунин, — могли принести мне, конечно, только пользу, ибо справедливо сказал Шекспир, что “недалеко ушла от глупости домоседная мудрость”»³.

Часто цитировал Бунин и «Стансы» своего любимого поэта Е.А. Баратынского, умершего в 1844 г. в Неаполе, повторяя строки: «пó свету

¹ Муромцева-Бунина Вера Николаевна (1881, Москва — 1961, Париж) — дочь Н.А. Муромцева — члена Московской городской управы и племянница С.А. Муромцева — Председателя I Государственной думы. Окончила естественный факультет Высших женских курсов в Москве, знала немецкий, французский, английский языки. Переводчица, мемуаристка.

² Бунин И.А. Автобиографическая заметка // Бунин И.А. Собрание сочинений в 6 тт. Т. 6. М.: Художественная литература, 1988. С. 554.

³ Там же. С. 555–556. «Недалеко ушла от глупости домоседная мудрость» — бунинская вариация известной реплики Луцио — персонажа комедии Шекспира «Мера за меру»: «Я предпочитаю быть глупцом на свободе, чем умным в тюрьме» (пер. Т. Щепкиной-Куперник).

бродил и наблюдал людское племя» и «к вам приходил, родные степи, моя начальная любовь»⁴.

...Остров Капри недалеко от Неаполя — место, прославленное литераторами. Однако тема: «Капри Ивана Бунина» почти незнакома современному русскому читателю. В советские годы ее полностью заслонил собой другой сюжет — «Капри Максима Горького»⁵, центральными фрагментами которого стали два приезда на Капри Владимира Ульянова-Ленина в 1908 и 1910 гг. и основание на острове (усилиями группы Горького–Богданова–Луначарского) большевистской «партийной школы»⁶.

Между тем, пребывание на Капри Ивана Бунина также несомненно требует глубокого внимания. Бунин прожил на Капри в общей сложности около года: именно здесь им написаны многие знаменитые произведения. Центром бунинского Капри является, конечно, гранд-отель «Quisisana»⁷: здесь будущий нобелевский лауреат по литературе провел (с небольшими перерывами) три плодотворные писательские зимы: с ноября 1911 г. по март 1912 г., с ноября 1912 г. по февраль 1913 г., и с декабря 1913 г. по март 1914 г.

Первые знакомства с Италией

Впервые Иван Бунин побывал в Италии (Венеции) во время короткого европейского вояжа в декабре-январе 1903–1904 гг. Напарником его стал молодой драматург С.А. Найденов, уже успевший прославиться пьесой «Дети Ванюшина», которую поставили многие театры страны. Бунин и Найденов встретились тогда в Вене⁸; оттуда поехали на Лазурный берег Франции, а затем двинулись в Италию — через Геную и Флоренцию в Венецию.

⁴ Там же. С. 554.

⁵ *Викторова Е.В.* Горький на Капри // О Горьком — современники. М., 1928. С. 165–181; *Муратова К.Д.* Горький на Капри. 1911–1913. Л.: Наука, 1971.; *Ревякина И.А.* Шалапин и Горький: двойной портрет в каприйском интерьере. М.: Компания «Спутник», 2002.

⁶ *Strada V.* L'altra rivoluzione. Gor'kij-Lunačarskij-Bogdanov. La "Scuola di Capri" e la "Costruzione di Dio". Capri: La Conchiglia, 1994; *Cioni P.* Un ateismo religioso: dalla scuola di Capri allo stalinismo. Roma, 2012; *Кара-Мурза А.А.* Александр Богданов и «Каприйская школа»: между Горьким и Лениным // Полюлог, 2018, т. 2, № 4. С. 8.

⁷ Помимо легендарной «Квисисаны», с именем Бунина связаны еще два отеля на острове Капри: «Pagano» (где Иван и Вера Бунины жили в 1909 и в 1910 гг.) и «Caesar Augustus» в горном городке Анакапри (март-апрель 1913 г.). Все эти гостиницы, существенно увеличившие свою «звездность», существуют и сегодня.

⁸ Московские знакомые, получив тогда открытки от Бунина и Найденова из Вены, а потом из Ниццы, предположили, что те и из Москвы выехали вместе. В эту версию искренно верил еще в 1934 г., во время Нобелевского триумфа Бунина, его ближайший друг литератор Б.К. Зайцев: «Оседлости не любил Бунин... Вдруг взяли да уехали они с Найденовым на Рождество в Ниццу — тогда виз не требовалось!...» (*Зайцев Б.К.* Молодость — Иван Бунин // *Зайцев Б.К.* Мои современники: Воспоминания. Портреты. Мемуарные повести. М.: Русская книга, 1999. С. 46). О том, как было на самом деле Бунин рассказал лишь в годы второй

На берегах Неаполитанского залива Бунин оказался весной 1909 г., во время нового путешествия с В.П. Муромцевой-Буниной. В марте они отправились за границу поездом из Одессы: побывав в Вене и Инсбруке, через тирольский перевал Бреннен спустились в Северную Италию. Муромцева вспоминала в книге «Беседы с памятью»: «Когда мы переехали границу и очутились в Италии, то сразу почувствовали иной мир: вместо высоких сильных жандармов появились в касках с перьями маленькие военные, и уже на вокзальной тележке были фисташки (*sic!*) и апельсины. И то и другое Ян (Бунин. — А.К.) мгновенно купил»⁹. (Позднейшая работа над рукописями Муромцевой показала, что Бунин, конечно, купил тогда не «фисташки», а «фиаски» — т.е. итальянские бутылки красного вина. Однако в 1973 г., когда в «Литературном наследстве» готовилась первая публикация мемуаров Муромцевой, редакторы не знали никаких «фиасок» и поправили мнимую опечатку на привычные «фисташки». В более поздних изданиях недоразумение было, конечно, устранено. — А.К.)

Коротко побывав в Вероне, Бунины отправились в Венецию: «Прибыли уже вечером, за дорогу очень устали, но в траурной гондole с красавцем гондольером почувствовали такое спокойствие, плывя в город-призрак и слушая пение, раздававшееся со всех сторон, что усталость как рукой сняло, — захотелось пожить здесь. К сожалению, скверная погода, не позволила нам долго остаться»¹⁰.

Бунины отправились дальше на юг — в Рим, где опять хотели остановиться, однако и там погода нарушила планы: «Встретило нас серое низкое небо с дождем и ветром... И мы взяли билеты дальше, на юг, спасаясь от непогоды... В Неаполе, где было теплее, мостовые блестяли от только что пролившегося дождя»¹¹.

В Неаполе они остановились в отеле «Виктория» на набережной залива: «Наутро мы поднялись на Вомеру, откуда открывается один из широчайших видов мира (Ян всегда в новом городе прежде всего искал самое высокое

мировой войны А.В. Бахраху: «Был у меня в то время головокружительный, “африканский” роман с некой Любой Р. ...Подумайте только — зимняя Москва, молодость, льстящая известность, рестораны, веселые кутежи. “Литературно-художественный кружок”, писательские “Среды”, беззаботность и легкость жизни... А тут, кроме этого основного романа, еще ряд встреч полуслучайных и мимолетных. Не ценил, с жиру бесился... Однажды в середине зимы, рассердившись на Любу из-за какого-то нелепого и не стоящего замечания пустяка, я взял плацкарту в спальном вагоне теплого и уютного экспресса Москва-Вена и ни с того, ни с сего ускакал в Ниццу... В Вене я столкнулся со старым другом, драматургом Найденовым, который тоже не знал толком, что его принесло в австрийскую столицу» (*Бахрах А.* Бунин в халате: по памяти, по записям. Bayville [N.J.]: G. Nomyakow Publ., 1979. С. 80).

⁹ Бунин В.Н. Беседы с памятью // Литературное наследство, т. 84, вып. 2, М., 1973. С. 207.

¹⁰ Там же.

¹¹ Там же.

место). А на второе утро мы отправились в сторону Позилиппо, шли долго апельсиновыми и лимонными садами. А потом рыбный завтрак с холодным вином “Позилиппо” в огромном длинном ресторане, еще пустом — сезон едва начался — и Неаполь победил меня»¹².

Из Неаполя Иван и Вера съездили в Сорренто, где чуть не сняли комнаты: «О Капри ничего не было говорено, мы только смотрели на него с нашего балкона, и я, восхищаясь его тонкими очертаниями, спросила: поедем ли мы туда? Ян ответил неопределенно. О Горьком мы тоже не говорили, слишком в те дни было много нового, необычайного»¹³.

Однако часто в жизни играет роль пустой случай: «Войдя в столовую, мы увидели, что за столиком, где мы эти дни обедали, сидели англичане. Ян рассердился и заявил, что обедать не будет и завтра же покидает отель. Метрдотель очень извинялся, предлагая другой стол, начал называть его “*принчипе*” (князь. — *итал.*), но Ян остался неумолим...»¹⁴

Утром 25 марта (н. ст.) 1909 г. Бунины без сожаления покинули отель «Виктория»¹⁵ и сели на пароходик на остров Капри: «Высадившись, мы пошли в ближайший отель, расположенный на берегу, оставили там наши чемоданы, позавтракали, поразившись дешевизной и свежестью рыбы и, отдохнувши с час в отведенной нам комнате, отправились пешком в город»¹⁶. Случайно встретив по дороге падчерицу Максима Горького Катю Желябужскую (дочь жены Горького, актрисы М.Ф. Андреевой, от первого брака), они узнали, что Горький и Андреева именно в этот день уезжают в Неаполь, и решили их навестить.

Горький в то время жил уже на второй своей каприйской вилле — «Villa Spinola», расположенной в конце Via Sopramonte на крутом обрыве над Большой бухтой (Marina Grande). Обрадовавшись Буниным, Горький

¹² Там же.

¹³ Там же. Со слов Бунина, В.Н. Муромцева-Бунина пишет в мемуарах, что в последний раз перед встречей на Капри Бунин видел Горького в Москве в декабре 1905 г. при весьма необычных обстоятельствах: «За завтраком я спросила о Горьком, увидимся ли мы с ним, Ян <Бунин> опять ответил неопределенно. Он, посмеиваясь, рассказал, что в последний раз виделся с ним и Марьей Федоровной во время «вооруженного восстания», когда они жили на Воздвиженке, квартира была забаррикадирована, в передней сидели в черных папахах, вооруженные кинжалами, револьверами и двустволками кавказцы, охранявшие его, хотя никто не нападал» (Бунина-Муромцева В.Н. Беседы с памятью. С. 208).

¹⁴ Там же.

¹⁵ 13 (26) марта 1909 г. Бунин, находясь все еще в некотором раздражении от Неаполя, писал в Москву Н.Д. Телешову: «Дорогой и милый друг, получил твое письмо в Неаполе, дня четыре тому назад, но не ответил потому, что каждую минуту собирался удрать из этого гнусного города жуликов, бездарностей и пьяниц. Вчера удрал — и основались мы — думаю, неделе на 2 — на Капри, несмотря на мерзкую погоду, наступившую нынче ночью» (Бунин И.А. Из записей // Бунин И.С. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 6. М.: Художественная литература, 1988. С. 557–584).

¹⁶ Бунина-Муромцева В.Н. Беседы с памятью. С. 209.

посоветовал им до его возвращения пожить в отеле «Pagano», знаменитом тем, что, по выражению Муромцевой, «все стены были расписаны неизвестными художниками, которые иной раз оплачивали этим свое пребывание там»¹⁷.

Горький тогда написал о встрече с Буниными на Капри своей первой жене Е.П. Пешковой: «Приехал Бунин с молодой своей женой — женился он на племяннице Муромцева. Ничего, славная и простая. И он такой же, как был, — хороший человек. Несколько постарел — кокетничает этим, но — жив душой и очень радуется меня серьезным своим отношением к литературе и слову»¹⁸.

Через несколько дней Горький и Андреева вернулись на Капри вместе с четой Луначарских: все они тогда были увлечены организацией «школы» для передовых рабочих-большевиков. В те дни Бунины почти ежедневно бывали у Горького. Муромцева вспоминала: «Все наше пребывание, особенно первые недели, было сплошным праздником. Хотя мы платили в “Пагано” за полный пансион, но редко там питались. Почти каждое утро получали записочку, что нас просят к завтраку, а затем придумывалась всё новая и новая прогулка. На возвратном пути нас опять не отпускали, так как нужно было закончить спор, дослушать рассказ или обсудить “животрепещущий вопрос”»¹⁹.

Атмосфера на горьковской вилле «Спинола» особенно нравилась Вере Николаевне: «Сама вилла была прелестная: одна стена в кабинете была скалой. Дом старинный, с высокими просторными комнатами, их было семь или восемь, со старинной мебелью. Широкое низкое окно кабинета, за которым стояли цветы... С балкона открывался вид на Неаполь... Больше времени мы проводили в салоне с гербами под самым потолком или в огромной столовой, где *асти* в те дни лилось рекой — то под пение с аккомпанементом мандолин и гитары местных любителей; то под изумительную тарантеллу знаменитой

¹⁷ Там же. С. 210. Известный русский художник М.В. Нестеров, несколько раз живший на Капри, отмечал в своих мемуарах, что настенные «фрески» в элитном отеле «Pagano» в разное время писали немецкие художники: «Многие из них во времена своего пребывания в «Пагано» были молоды, а теперь прославленные старики. Имена их принадлежат всей Европе, всем народам, ее населяющим» (*Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Неаполе* (2-е изд., расш. и дополн.). М.: Изд-во О. Морозовой, 2016. С. 209–210). В 1889 г. Нестеров решил повторить этот опыт в своей, очень скромной гостинице «Голубой грот»: «Я, недолго думая, написал на двух дверях своей комнаты — на одной «Царевну — Зимнюю сказку», на другой — девушку-боярышню на берегу большого северного озера, с нашей псковской церковкой вдали. Об этом сейчас же узнали хозяин отеля и жильцы. И я еще более стал с того времени своим» (там же).

¹⁸ Горький М. Письма (конец августа 1908–1909) // Горький А.М. Полное собрание сочинений. Письма: в 24 т. Т. 7. М.: Наука, 2001. С. 109.

¹⁹ Бунина В.Н. Беседы с памятью. С. 212.

на весь мир красавицы Кармеллы, которая особенно талантливо танцевала для *Массимо Горки* со своим партнером, местным учителем в очках...»²⁰

Особенно поразило Бунину-Муромцеву то, что все итальянские слуги на вилле Горького «были красивы и держали себя просто»: «Красавец подросток Лоренцо сидел под столом в непринужденной позе, — он был мальчиком на побегушках; красавица горничная Кармелла с двумя маленькими девочками, необыкновенно прелестными, с которыми возился с любовью и лаской Алексей Максимович, тоже чувствовала себя не как прислуга. И я часто думала: “Вот как будет, когда настанет на земле социализм!”...»²¹

Надо заметить, что Горький долгое время (по крайней мере, до появления бунинской «Деревни») считал Бунина *преимущественно поэтом*, причем поэтом хорошим. Часто просил Бунина почитать старые лирические стихи, над которыми всегда плакал... А когда на Капри приехал начинающий сочинитель (и уже опытный революционер-эмигрант, побывавший и в Австралии, и в Японии, и взявший себе псевдоним «Изгнанник») И.Н. Антонов, Горький, с трудом дослушавший неуклюжие вирши, наставительно сказал: «Необходимо читать Пушкина, Лермонтова и вообще старых поэтов, ибо из современников, думается мне, никто не может явиться учителем начинающего писать. Рекомендую лишь Бунина как человека, превосходно знающего язык, строгого к форме и хранящего заветы русской поэзии»²². Бунин был близок Горькому еще и тем, что категорически отвергал малейшие «заигрывания» с популярными тогда модернистскими тенденциями в литературе, стремясь удержать и продолжить традиции русской поэтической классики.

На горьковской вилле «Спинола», вспоминали Бунины, «в ту весну (1909-го года. — А.К.) царила на редкость приятная атмосфера бодрости и легкости, какой потом не было»: «На обратном пути домой мы почти всегда соблазнялись лангустой, выставленной в окне, и заходили в маленький кабачок. А затем шли по пустынному острову в новые места, и гулко раздавались наши шаги по спящему Капри, когда подымались куда-то вверх. Эти ночные прогулки были самым интересным временем на Капри. Ян становился блестящ. Критиковал то, что слышал от Луначарского, Горького, представлял их в лицах. Сомневался в затевавшейся школе: “пустая затея!”»²³.

1 апреля 1909 г. Бунины уехали с Капри в Неаполь, а потом на Сицилию, где посетили Палермо, Сиракузы, Мессину и видели страшные последствия недавнего землетрясения. 10 апреля они вернулись на Капри. Муромцева вспоминала: «Горький делал всё, чтобы удержать нас на Капри.

²⁰ Там же.

²¹ Там же. С. 213.

²² *Горький М.* Письма (конец августа 1908–1909). С. 158.

²³ *Бунина В.Н.* Беседы с памятью. С. 213.

Мы просиживали у них иногда до позднего часа. Возбужденные, как и до Сицилии, заходили в кабачок, лакомились лангустой с <вином> каприбианко и шли по спящему, пустынному острову куда глаза глядят. Мне иной раз казалось, что мы не в реальной жизни, а в сказочной, особенно когда мы проходили под какими-то навесами, поднимаясь все выше и выше, выходя из темноты в лунное сияние...»²⁴

«Страстную неделю» 1909 г. они провели на Капри и вместе с Горьким «видели процессии с фигурами Христа, Марии-девы, слушали пасхальную мессу»²⁵. На следующий день после католической Пасхи (бывшей в тот год 11 апреля) они отправились в Рим, оставив вещи у Горьких. 22 апреля 1909 г. Бунины вернулись на Капри, а на следующий день уехали в Неаполь и оттуда — на итальянском пароходе — в Одессу.

Вспоминая свой первый приезд на Капри, Бунин в августе 1909 г. писал Горькому: «С великой нежностью и горечью вспомнил Италию — с нежностью потому, что только теперь понял, как она вошла мне в сердце, а с горечью по той простой причине, что когда-то теперь еще раз доберешься до Вас, до казы <виллы> Вашей и до вина Вашего. А идет осень, самое лучшее, самое винное время в Ваших морях и странах»²⁶.

В начале марта 1910 г., в интервью корреспонденту «Одесского листка», Бунин сказал по поводу острова Капри (журналист пометил: «*мечтательно произнес*»): «Хорошо там, очень хорошо... И народ хороший — такой прямой, гордый, милый. Два часа всего отделяют Капри от Неаполя, а какая разница в людях: неаполитанцы жадны, шумливы, вечно гоняются за туристами — словом, полная противоположность каприйцам... А Горького как они любят, как восторженно приветствуют его, когда он появляется на площади, на улице»²⁷.

Тепло отзываясь о Капри и Горьком, Бунин, похоже, еще не предполагал, что с Горьким они скоро разойдутся, а вот Капри, напротив, сыграет большую роль в его жизни — пока же остров виделся ему, скорее, «удобной гаванью» в вояжах между Средиземноморьем и континентальной Италией.

Во второй половине марта 1910 г. Бунины снова отправились за границу. Проехали Вену, Милан, Геную, Ниццу; оттуда пароходом в Марсель и далее в Северную Африку — Оран и Бискру. Из Туниса переправились на Сицилию, потом в Неаполь, а оттуда, 5 мая, снова оказались на Капри — и опять в день отъезда Горького и Андреевой! В тот раз Бунины снова поселились в «Пагано».

²⁴ Там же. С. 214.

²⁵ Там же. С. 215.

²⁶ Бунин И.А. Письма 1905–1919 годов. М.: ИМЛИ, 2007. С. 100.

²⁷ К-ский. У И.А. Бунина. Беседа // Одесский листок, 1910, № 49 (2 марта). С. 2.

После возвращения Горького, 17 мая, большой кампанией, ночью, пошли по дороге к горному селению Анакапри смотреть знаменитую комету Галлея. Живший тогда на Капри издатель К.П. Пятницкий записал в дневнике: «Вот ушли на Анакапри ждать комету... Хвост около 40%. Головы не видно. Рабочие, Бунины, Горький с М.Ф... Светлеет. Серое море. Парусное судно. Венера. Заря, 4 (часа), $\frac{1}{4}$ хвоста не видно. Заря разгорается. Венера едва видна»²⁸.

Бунины уехали с Капри 21 мая 1910 г. После нескольких дней, проведенных вместе с Горьким в Неаполе, они отправились в Афины, Смирну, Константинополь и далее через Одессу вернулись в Москву. Бунин написал потом Горькому: «А на Капри теперь небось, так ярки и чисты звезды, так восхитительно редко вздыхает у берега море ночное, летнее, итальянское. Хоть бы когда-нибудь рассказали Вы про это ночное море и про Ваши рыбачьи ночные таинства! Горжусь, что уговорил Вас когда-то рассказать о рождении человека. Помните, как это было? Мы ходили комету смотреть — поздно, поздно, по дороге к Анакапри...»²⁹

Первая зима на Капри (1911–1912)

Почти полтора года Бунины не были на Капри. Остров еще «не зацепил» их, хотя Горький настойчиво звал приехать. То он слал Бунину тексты неаполитанско-каприйских песен (летом 1910 г.) в подстрочном переводе Андреевой с просьбой: «Нестерпимо хочется, чтоб Вы коснулись их Вашей, милой мне рукою поэта»³⁰. То сообщал (осенью 1911 г.) о закончившейся реновации на Капри отеля «Quisisana»³¹, хозяином которого был друг Горького (и по совместительству мэр Капри) Федерико Серена: «Приезжайте сюда, будьте добры! Какую мы Вам квартиришку устроим — ах! На юг, целый день солнце, балкон крытый! Собирайтесь-ка!»³².

Наконец, поздней осенью 1911 г. Бунины приплыли на остров. Вместе с племянником Ивана Алексеевича, Николаем Пушешниковым, переводчиком Джека Лондона, Голсуорси, Тагора, Киплинга, они через Берлин, Люцерн, Геную и Флоренцию приехали в Неаполь, а оттуда 14 ноября

²⁸ Цит. по: Горький М. Письма 1910–1911 (январь–февраль) // Горький А.М. Полное собрание сочинений. Письма: в 24 т. Т. 8. С. 79.

²⁹ Бунин И.А. Письма 1905–1919 годов. С. 110.

³⁰ Горький М. Письма 1910–1911 (январь–февраль). С. 91.

³¹ «Квисисана» (от местного «Qui si sana» — «здесь вы восстановите здоровье») была основана в 1845 г., как туберкулезный санаторий для англичан, шотландским врачом Джорджем Сидни Кларком. С 1861 г.— гостиница. В настоящее время фешенебельный пятизвездочный гранд-отель принадлежит потомкам каприйской семьи Моргано.

³² Горький М. Письма 1910–1911 (январь–февраль). С. 198.

1911 г. отправились на Капри, где на всю зиму поселились в том самом, лучшем на острове, отеле «Квисисана», на верхнем этаже с видом на огромный сад и море. Бунин сообщал в одном из писем друзьям: «Живем мы отлично, отель в очень уютном теплом месте, комфорт хоть бы и не Италии впору. У нас подряд три комнаты, все сообщаются — целая квартира, и все окна на юг, и чуть ли не весь день двери на балконы открыты, слепит солнце, пахнет из сада цветами, гигантским треугольником синее море»³³.

Есть факты, говорящие за то, что к моменту нового приезда на Капри поздней осенью 1911 г. Бунины уже серьезно охладели к Горькому. Причины этого «охлаждения» тонко понял Г.А. Адамович: «Он (Бунин. — А.К.) был на редкость умен... Людей он видел насквозь, безошибочно догадывался о том, что они предпочли бы скрыть, безошибочно улавливал малейшее притворство. Думаю, что вообще чутье к притворству — а в литературе, значит, ощущение фальши и правды,— было одной из основных его черт»³⁴. Именно это, по мнению Адамовича, в свое время побудило Бунина «остаться в стороне от русского доморощенного модернизма, в котором по части декламации и позы далеко не все было благополучно»³⁵.

Судя по всему, то же самое «ощущение фальши» развело Бунина с Горьким. Это подтверждают слова самого Бунина из мемориальной заметки 1936 г. о недавно скончавшемся Горьком. Бунин вспоминал, как он, одно время находившийся под большим обаянием Горького, в какой-то момент ясно понял, что Горький склонен к «актерству и позе», быстро меняя маски в зависимости от того, например, выступает ли он на публике или общается тет-а-тет: «На людях он бывал совсем не тот, что со мной наедине или вообще без посторонних, — на людях он чаще всего басил, бледнел от самолюбия, честолюбия, от восторга публики перед ним, рассказывал все что-нибудь грубое, высокое, важное, своих поклонников и поклонниц любил поучать, говорил с ними то сурово и небрежно, то сухо, назидательно, — когда же мы оставались глаз на глаз или среди близких ему людей, он становился мил, как-то наивно радостен, скромн и застенчив даже излишне»³⁶.

Как бы там ни было, каприйской зимой 1911–1912 гг. отношения Буниных и Горького не были уже теплыми и доверительными: сам Иван Алексеевич определил их как «холодно-любезные и тяжело-дружеские». Бунин писал тогда с Капри старшему брату Юлию: «Что до Красноперого (прозвище Горького. — А.К.), то необходимость ходить к нему выбивает из интимной,

³³ Бунин И.А. Письма 1905–1919 годов. С. 115.

³⁴ Адамович Г.А. Бунин. Воспоминания // Новый журнал, 1971, № 105. С. 120.

³⁵ Там же.

³⁶ Бунин И.А. Воспоминания. Париж: Изд-во «Возрождение», 1950. С. 120.

тихой жизни, при которой я только и могу работать; мучиться тем, что совершенно не о чем говорить, а говорить надо, имитировать дружбу, которой нету, — все это так тревожит меня, как я и не ожидал. Да и скверно мы встретились: чувствовало мое сердце, что энтузиазму этой “дружбы” приходит конец, — так оно и оказалось, никогда еще не встречались мы с ним на Капри так сухо и фальшиво, как теперь»³⁷.

В ноябре-декабре 1911 г. Бунин закончил на Капри повесть «Суходол», написал рассказы «Хорошая жизнь», «Сверчок» и «Ночной разговор». Писал Бунин очень быстро и тут же отправлял готовые тексты в петербургские журналы. Публикация бунинских рассказов вызвала в России неоднозначную реакцию: черносотенная критика писала, например, что изображение Буниным русской деревни — это «опачкивание народа, поэзия дурных запахов, миллионы блох и вшей, портянки и портянки...»

Под новый, 1912-й год, Бунин прочел на новой горьковской вилле «Serafina» только что оконченный рассказ «Веселый двор». Горький так описал этот вечер в письме Е.П. Пешковой: «С восьми часов Бунин читал превосходно написанный рассказ о матери и сыне: мать умирает с голода, а сын ее, лентяй и бездельник, пьет, пьяный пляшет на ее могиле, а потом ложится под поезд, и ему отрезает ноги. Все это в высшей степени красиво сделано, но — производит угнетающее впечатление... Потом долго спорили о русском народе и судьбах его»³⁸.

Сохранились воспоминания об этом вечере и жившей тогда на Капри Е.В. Викторовой: «Пасмурный зимний день. Дует сырой, липкий <ветер> сирокко. Свирепо хлещет в окна дождь. В огромном кабинете А.М. <Горького> мрачно, на всем лежит серый отсвет. Кажется, холодно, хотя большой камин пылает жарким багровым пламенем. Окна затянуло паром от поданного в кабинет самовара. Повар Катальдо в белом фартуке бесшумно устраивает раскинутый у камина чайный стол. Публики набралось много... Все расположились чинно на диванах и стульях. А.М. сел у камина в свое любимое деревянное кресло, а его место возле стола занял маленький, зеленовато-желтый, похожий на мумию И.А. Бунин... Бунин откашлялся и начал читать... И вот мы все перенеслись из дождливого дня на острове Капри в глухую русскую деревню, утопающую в знойных лучах июльского солнца... Когда Бунин прочел, как распорол бык живот старухе, у А.М. незаметно потекли слезы. Рассказ окончен. Мы все сидели подавленные. А.М. встал, подошел к маленькому Бунину и будто окутал его своей широкоплечей фигурой: — Иван Алексеевич! Ну и хорошо же! — восторженно проговорил

³⁷ Бунин И.А. Письма 1905–1919 годов. М.: ИМЛИ, 2007. С. 115.

³⁸ Цит. по: Викторова Е.В. Горький на Капри // О Горьком — современники. М., 1928. С. 170.

Горький, обнимая Бунина. — Вот как нужно писать! — обратился он к нам. — Учитесь! Дайте прочту! Он еще раз перечитал яркие места»³⁹.

Сам Иван Алексеевич существенно иначе описал этот новогодний вечер на вилле «Серафина» в письме брату: «Под Новый год читал у Горького. Все очень хвалили, сам Горький — сдержанно, намекнул, что России я не знаю, ибо наши места — не типичны, “гиблые места”... Думаю, что Горький полагает, что касаться матерей, души русского народа — это его специальность, он даже Гоголя постоянно толчет с дерьмом за “Мертвые души” — писал Гоголь Ноздревых да Собакевичей, а Киреевского, Хомякова, Бакунина — проглядел»⁴⁰.

В январе 1912 г. Бунины отъезжали с острова на несколько дней в Неаполь, посетили Поццуоли, Помпеи и вернулись на Капри через Сорренто. В феврале Бунин закончил на Капри рассказы «Захар Воробьев» (в котором некоторые критики увидели «новый пасквиль на Россию») и «Игнат» (который вышел с задержкой и купюрами, по причине того, что издатель нашел в тексте «некоторую рискованность положений и описаний»⁴¹).

13 февраля 1912 г. на Капри неожиданно приехал Федор Иванович Шаляпин с женой И.И. Торнаги. Находясь на гастролях в Монте-Карло, он решил посетить старинных друзей — Ивана Бунина и Максима Горького и отплыл из Канн на Капри на личной яхте известного промышленника и политика М.И. Терещенко (будущего министра иностранных дел Временного правительства). Остановился Шаляпин на вилле Горького «Серафина», но посещал и Буниных в отеле «Квисисана». В один из последних вечеров на Капри Шаляпин познакомил слушателей с оперой Мусоргского «Хованщина», виртуозно исполнив не только свою партию — Досифея, но и все остальные, включая женские.

1 марта 1912 г. Бунины уехали с Капри. Несколько дней они провели в Неаполе, а потом отплыли на корабле через Бриндизи и остров Корфу в Патрас. Осмотрев Афины и еще несколько греческих городов, они вернулись в Россию.

Вторая зима на Капри (1912–1913)

В конце 1912 г. Иван и Вера Бунины в очередной раз отправились в Италию. Побывали в Венеции и Риме, а 29 ноября приехали на Капри, чтобы провести там еще одну зиму. С дороги, в предвкушении новой встречи с островом, где ему так хорошо работалось, Бунин писал: «Домой, домой,

³⁹ Там же. С. 172.

⁴⁰ Бунин И.А. Письма 1905–1919 годов. С. 120.

⁴¹ Подр. см.: Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Неаполе. М.: Изд-во «Независимая газета», 2002. С. 330.

в Вязьму, в Вязьму!»⁴². А Вера Николаевна, в свою очередь, отметила в одном из писем: «Приехав сюда, почувствовали мы великое успокоение; совсем как дома»⁴³. И на этот раз Бунины (опять вместе с Н.А. Пушечниковым) поселились в отеле «Quisisana», заняв на этот раз четыре комнаты. Уже к концу года Бунин закончил на Капри несколько новых рассказов — «Князь во князьях» (в черновом автографе «Лукьян Степанов»), «Преступление» («Ермил»), «Вера» («Последнее свидание»).

21 февраля 1913 г., после очередных гастролей в Монте-Карло, на Капри снова приехал Федор Шаляпин — на этот раз с новой женой М.В. Петцольд. 23 февраля, остановившийся на этот раз в каприйской гостинице «Splendid» Шаляпин дал в ресторане отеля обед в честь Бунина; после обеда Шаляпин читал пушкинского «Дон-Жуана», отрывки из «Моцарта и Сальери»... Через два дня Бунин устроил ответный обед в ресторане отеля «Quisisana».

Бунин вспоминал в 1938 г.: «Мы дали обед в честь его (Шаляпина. — А.К.) приезда, пригласили Горького и еще кое-кого из каприйской русской колонии. После обеда Шаляпин вызвался петь. И опять вышел совершенно удивительный вечер. В столовой и во всех салонах гостиницы столпились все жившие в ней и множество каприйцев, слушали с горящими глазами, затаив дыхание... Когда я как-то завтракал у него в Париже, он сам вспомнил этот вечер: — Помнишь, как я пел у тебя на Капри? — Потом завел граммофон, стал ставить напетые им в прежние горды пластинки и слушал самого себя со слезами на глазах, бормоча: — Неплохо пел! Дай бог так-то всякому!»⁴⁴

В январе-феврале 1913 г. Бунин написал на Капри несколько новых рассказов — «Жертва» (в первоначальной редакции «Илья Пророк»), «Будни» («На погосте»), «Всходы новые» («Весна») и «Последний день».

1 марта 1913 г. Бунины решили переменить обстановку и переехали в горную часть острова, в Анакапри, в отель «Caesar Augustus». В.Н. Муромцева-Бунина писала Ю.А. Бунину: «В Анакапри устроились прекрасно, у нас с Яном две хорошие комнаты с прекрасными видами. Из одних окон видна гора Монте-Соларо с замком Барбаросса; из другого — вид на залив, Везувий, гору Тиберия и т.д. Отель очень старинный, комфортабельный, хозяин его — сын адъютанта Гарибальди. Кухня лучше Quisisan, ской. Комната Николая Алексеевича <Пушешникова> этажом выше, тоже большая, смотрит на горы и замок»⁴⁵.

Месяц с небольшим, проведенный в Анакапри, оказался также плодотворным для Бунина — он написал там рассказы «Иоанн Рыдалец», «Худая трава»,

⁴² Там же. С. 331.

⁴³ Там же.

⁴⁴ Бунин И.А. Произведения 1914–1931 гг. // Бунин И.А. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 4. М.: Художественная литература, 1988. С. 244.

⁴⁵ Цит. по: Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Неаполе. С. 331–332.

«Лирник Родион», «Сказка». Примерно к этому времени относятся и два стихотворения из «Неаполитанского цикла», посвященные острову Капри: «Капри» («Проносились над островом зимние шквалы и бури...») и «Каприйский грот» («Волна хрустальная, тяжелая лизала подножие скалы...»).

6 апреля 1913 г. Бунины уехали с острова. В интервью «Московским новостям» Бунин рассказал о своей второй каприйской зиме: «Я очень однообразно провел зиму, прожив всю сплошь на острове Капри. Пришлось очень много работать: к этому там располагает тамошняя жизнь. На этой скале, торчащей среди синего моря и голубого прозрачного неба, много уюта, простоты, нет сутолоки, шума, а я все это очень ценю. На Капри мало живет народа. Единственный человек, с кем встречался постоянно, — это Алексей Максимович Горький. Вот уже вторую зиму я провожу с ним вместе»⁴⁶.

Третья зима на Капри (1913–1914)

В конце декабря 1913 г. Бунины в очередной раз приехали на Капри, предпочтя на этот раз хорошо знакомый отель «Quisisana». В эту, третью по счету, каприйскую зиму Буниным были написаны рассказы «Святые», «Весенний вечер», «Братья». В конце марта 1914 г. Бунины покинули Капри и уехали в Россию через Рим и Зальцбург.

С тех пор И.А. Бунин более не бывал на Капри. Однако к «каприйскому периоду» творчества можно с полным правом отнести и один из его безусловно лучших рассказов — «Господин из Сан-Франциско» (в первой редакции «Смерть на Капри» — по прямой аналогии со знаменитой венецианской новеллой Томаса Манна). Основное действие рассказа, написанного Буниным вскоре после отъезда из Италии, разворачивается сначала в Неаполе, а затем в том самом каприйском отеле «Quisisana», где в 1910-х гг. подолгу жили Бунины.

Сам Бунин вспоминал историю этого произведения так: «Летом пятнадцатого года, проходя однажды по Кузнецкому мосту в Москве, я увидел в витрине книжного магазина “Готье” на русском языке издание повести Томаса Манна “Смерть в Венеции”, но не зашел в магазин, не купил ее, а в начале сентября 1915 года, живя в имении моей двоюродной сестры, в селе Васильевское, Елецкого уезда, Орловской губернии, почему-то вспомнил эту книгу и внезапную смерть какого-то американца, приехавшего на Капри, в гостиницу “Квисисана”, где мы жили в тот год, и тотчас решил написать “Смерть на Капри”, что и сделал в четыре дня — не спеша, спокойно, в лад осеннему спокойствию сереньких и уже довольно коротких и свежих дней и тишине в усадьбе»⁴⁷.

⁴⁶ Там же. С. 333.

⁴⁷ Бунин И.А. Произведения 1914–1931 гг. С. 667.

От первоначального названия рассказа Бунин довольно быстро отказался: «И Сан-Франциско, и всё прочее (кроме того, что какой-то американец действительно умер после обеда в “Квисисане”) я выдумал... “Смерть в Венеции” я прочёл в Москве лишь в конце осени. Это очень неприятная книга»⁴⁸.

А по свидетельству В.Н. Муромцевой, творческий толчок к написанию «Господина из Сан-Франциско» у Бунина произошел раньше, а спустя несколько лет просто «припомнился». В апреле 1909 г., когда Бунины, впервые побывав на Капри, плыли на итальянском пароходе в Одессу, у Бунина, на верхней палубе для привилегированных пассажиров «завязался спор о социальной справедливости», и он в полемике так ответил оппоненту: «Если разрезать пароход вертикально, то увидим: мы сидим, пьем вино, беседуем на разные темы, а машинисты в пекле, черные от угля, работают и т.д. Справедливо ли это? А главное, сидящие наверху и за людей не считают тех, кто на них работает...». «Я считаю,— пишет Муромцева,— что здесь зародился “Господин из Сан-Франциско”»⁴⁹.

Послесловие

В истории русской литературы так и осталось загадкой, как умел Бунин, живя на Капри, в дорогом отеле с видом на море, писать и писать столь «тяжелые рассказы» из русской жизни. 22 августа 1947 г. известный русский писатель-эмигрант М.А. Алданов, пытаясь проникнуть в тайну этого парадокса, прямо спрашивал об этом в письме к Бунину: «Но какой вы (по крайней мере, тогда были) мрачный писатель! Я ничего безотраднее этой “Хорошей жизни” не помню в русской литературе... Да, дорогой друг, не много есть в русской классической литературе писателей, равных вам по силе. А по знанию того, о чем вы пишете, и вообще нет равных; конечно, язык “Записок охотника” или чеховских “Мужиков” не так хорош, как ваш народный язык... Нет ничего правдивее того, что вами описано. Как вы все это писали по памяти иногда на Капри, я просто не понимаю. По-моему, сад, усадьбу, двор в “Древнем человеке” можно было написать только на месте. Были ли у вас записные книжки? Записывали ли вы отдельные народные выражения (есть истинно чудесные, отчасти и по неожиданности, которой нет ни у Тургенева, ни у Лескова)»⁵⁰.

23 августа Бунин ответил Алданову: «Что иногда, да даже и частенько, я “мрачен”, это правда, но ведь не всегда, не всегда... Только я не понимаю,

⁴⁸ Там же.

⁴⁹ Бунина-Муромцева В.Н. Беседы с памятью. С. 220.

⁵⁰ Алданов М.А. Письма к И.А. и В.Н. Бунину (комм. М. Грин) // The New Review/Новый журнал, Нью-Йорк, 1965, кн. 81. С. 138–139.

чему вы дивитесь. Как я все это помню? Да это не память. Разве это память у вас, когда вам приходится говорить, например, по-французски? Это в вашем естестве. Так и это в моем естестве — и пейзаж, и язык и все прочее... И клянусь вам — никогда я ничего не записывал... Клянусь, что девять десятых этого не с натуры, а из вымыслов: лежишь, например, читаешь — и вдруг ни с того ни с сего представишь себе что-нибудь, до дикости не связанное с тем, что читаешь, и вообще, со всем, что кругом...»⁵¹

В 1926 г., в парижских «Современных записках», известный русский философ и литературный критик Ф.А. Степун, рецензируя свежую бунинскую повесть «Митина любовь» (действительно замечательную), постарался дать общую оценку творчества Бунина. Степун отметил, что проза Бунина начала века принципиально отличалась от сочинений его главных литературных соперников — Максима Горького и Леонида Андреева: «Бунин, как писатель, никогда не был занят теми “проклятыми вопросами”, которые волновали русскую интеллигенцию, никогда не был направленно заштампован ни в общественном, ни даже в эстетико-каноническом смысле»⁵². «У Горького, — продолжает Степун, — была своя большая тема: — пролетариат, и своя заветная теория: — марксизм. Леонида Андреева постоянно мучила какая-то мирозерцательная изжога от жадно поглощаемых им метафизических проблем»⁵³.

Итак, «Горький поучал»; «Андреев погружал»; Бунин же «ничего такого не делал»: «Он всего только описывал окружающую его природу и жизнь, оставаясь при этом как будто бы даже на поверхности... Никаких невиданных типов, никаких психологических бездн у него нет»⁵⁴.

И здесь Степун делает неожиданное открытие: творчество Бунина — это эманация его судьбы, судьбы человека, «бесконечно путешествующего»! «Читая его поэмы и рассказы, — пишет Степун, — книгу за книгой, чувствуешь будто ты то в поезде, то в тарантасе, иной раз пешком, иной раз на заокеанском пароходе, кружишь по белому свету»⁵⁵.

В итоге, получается, что всё, описанное Буниным-странником, — «со всем не описанное, а просто-напросто существующее»⁵⁶. Поистине, заключает Степун, «Бунинская проза — Священное Писание самой жизни...»⁵⁷

⁵¹ И.А. Бунин: pro et contra. Личность и творчество Ивана Бунина в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей. Антология. СПб.: РХГИ, 2001. С. 64–65.

⁵² Степун Ф.А. Литературные заметки: И.А. Бунин (По поводу «Митиной любви») // Современные записки, 1926, кн. 27. С. 326.

⁵³ Там же.

⁵⁴ Там же.

⁵⁵ Там же. С. 326–327.

⁵⁶ Там же. С. 327.

⁵⁷ Там же.

Литература

- Адамович Г.А. Бунин. Воспоминания // Новый журнал, 1971, № 105. С. 115–137.
- Алданов М.А. Письма к И.А. и В.Н. Бунину (комм. М. Грин) // Новый журнал, Нью-Йорк, 1965, кн. 81. С. 110–147.
- Бахрах А. Бунин в халате: по памяти, по записям. Bayville [N.J.]: G. Homyakow Publ., 1979. — 176 с.
- Бунин И.А. Воспоминания. Париж: Возрождение, 1950. С. 118–129.
- Бунин И.А. Автобиографические и мемуарные записи // Литературное наследство, М., 1973, т. 84, вып. 1. С. 381–395.
- Бунин И.А. Интервью (подг. И.С. Газер, А.К. Бабореко, Т.Г. Динесман) // Литературное наследство, М., 1973, т. 84, вып. 1. С. 381–395.
- Бунин И.А. Переписка с Н.Д. Телешовым // Литературное наследство. М.: Наука, 1973, т. 84, вып. 1. С. 471–638.
- Бунин И.А. Произведения 1914–1931 гг. // Бунин И.А. Собрание сочинений: в 6 т. М.: Художественная литература, 1988, т. 4. — 703 с.
- Бунин И.А. Автобиографическая заметка // Бунин И.А. Собрание сочинений: в 6 т. М.: Художественная литература, 1988, т. 6. С. 545–556.
- Бунин И.А. Дневники // Бунин И.А. Собрание сочинений: в 6 т. М.: Художественная литература, 1988, т. 6. С. 309–540.
- Бунин И.А. Из записей // Бунин И.С. Собрание сочинений: в 6 т. М.: Художественная литература, 1988, т. 6. С. 557–584.
- И.А. Бунин: pro et contra. Личность и творчество Ивана Бунина в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей. Антология. СПб.: РХГИ, 2001. — 1016 с.
- Бунин И.А. Письма 1905–1919 годов. М.: ИМЛИ, 2007. — 832 с.
- Бунина В.Н. Беседы с памятью // Литературное наследство. М.: Наука, 1973. т. 84, вып. 2. С. 159–223.
- Бурнакин А. Пасквиль на Россию (о повести «Деревня») // Новое время, 1911, № 12543 (11 февраля). С. 4.
- Вейдле В.В. На смерть Бунина // Опыты, Нью-Йорк, 1954, № 3. С. 80–93.
- Вейдле В.В. Умирание искусства. М.: Республика, 2001. — 447 с.
- Викторова Е.В. Горький на Капри // О Горьком — современники. М., 1928. С. 165–181.
- Горький М. Письма (конец августа 1908–1909) // Полное собрание сочинений. Письма: в 24 т. Т. 7. М.: Наука, 2001. — 624 с.
- Горький М. Письма 1910–1911 (январь–февраль). // Полное собрание сочинений. Письма: в 24 т. Т. 8. М.: Наука, 2001. — 606 с.
- Зайцев Б.К. Молодость — Иван Бунин // Зайцев Б.К. Мои современники: Воспоминания. Портреты. Мемуарные повести. М.: Русская книга, 1999. С. 46–49.
- Зензинов В.М. Беседы с И.А. Буниным // Новый журнал, 1965, кн. 81. С. 271–275.
- Золотарев А.А. Сampo Santo моей памяти. Мемуары. Художественная проза. Стихотворения. Публицистика. Философские произведения. Высказывания современников (ред. В.Е. Хализев). СПб: Росток, 2016. — 960 с.
- К-ский. У И.А. Бунина. Беседа // Одесский листок, 1910, № 49 (2 марта).
- Кара-Мурза А.А. Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Риме. М.: Изд-во «Независимая газета», 2001. — 472 с.
- Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Неаполе. М.: Изд-во «Независимая газета», 2002. — 512 с.
- Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Неаполе (2-е изд., расш. и дополн.). М.: Изд-во О. Морозовой, 2016. — 512 с.

- Кара-Мурза А.А.* Александр Богданов и «Каприйская школа»: между Горьким и Лениным // Полилог, 2018. Т. 2, № 4 [Электронный ресурс].
- Крутикова Л.В.* В мире художественных исканий Бунина (как создавались рассказы 1911–1916 гг.) // Литературное наследство. М.: Наука, 1973. т. 84, вып. 2. С. 90–120.
- Муратова К.Д.* Горький на Капри. 1911–1913. Л.: Наука, 1971. — 275 с.
- Жизнь Бунина. Беседы с памятью. М.: Советский писатель, 1989. — 509 с.
- Нинов А.А.* Бунин и Горький. 1899–1918. // Литературное наследство. М.: Наука, 1973, т. 84, вып. 2. С. 7–65.
- Иван Алексеевич Бунин // Литературное наследство. М.: Наука, 1973. т. 84, вып. 2. С. 247–250.
- О Горьком — современники: Сборник воспоминаний и статей. М.: Т-во писателей, 1928. — 256 с.
- Одоевцева И.В.* На берегах Сены. Paris: La Presse libre, 1983. — 529 с.
- Ревякина И.А.* «Русский Капри». 1907–1914 // Россия и Италия. Русская эмиграция в XX веке (ред. Н.П. Комолова). М.: Наука, 2003. С. 12–31.
- Ревякина И.А.* Шаляпин и Горький: двойной портрет в каприйском интерьере. М.: Спутник, 2002. — 114 с.
- Степун Ф.А.* Литературные заметки: И.А. Бунин (По поводу «Митиной любви») // Современные записки, Париж, 1926, кн. 27. С. 323–345.
- Степун Ф.А.* Иван Бунин // Современные записки, Париж, 1934, кн. 54. С. 197–211.
- Талалай М.Г.* «Русский Капри» после Горького // Проблемы истории Русского зарубежья. Вып. 1 (ред. Н.Т. Энеева). М.: ИВИ РАН, 2005. С. 254–265.
- Телешов Н.* Записки писателя. Рассказы. М.: Правда, 1987. — 464 с.
- Шаховская З.* Отражения. Paris: IMCA-Press, 1975. — 279 с.
- Cazzola P.* Artisti e scrittori russi a Capri dall'Ottocento ad oggi [Русские художники и писатели с XIX века и до наших дней] // Le pagine dell'Isola. Quaderni del Centro Caprese Ignazio Cerio, 1992, № 1.
- Cioni P.* Un ateismo religioso: dalla scuola di Capri allo stalinismo. Roma, 2012.
- Strada V.* L'altra rivoluzione. Gor'kij-Lunačarskij-Bogdanov. La “Scuola di Capri” e la “Costruzione di Dio”. Capri: La Conchiglia, 1994.

БЕРДЯЕВСКАЯ МОСКВА

В год 140-летия Николая Александровича Бердяева (1874–1948) московские философы и историки-краеведы должны в очередной раз отметить тот факт, что Бердяев, родившийся в Киеве и скончавшийся в Кламаре под Парижем, был по своему складу в значительной мере «москвичом»¹. Таковым его сделала в том числе уникальная роль в интеллектуальной жизни Москвы, особенно в последние перед высылкой из большевистской России годы.

Увы, Москва пока не потрудились установить ни одного мемориального знака Бердяеву (заметим, это сделано не только в его родном Киеве, но и в Житомире, Судаке), а с его московскими адресами до сих пор имеет место неприличная путаница — даже в изданиях, претендующих на академичность. Юбилейный год — хорошее время, чтобы разобраться с московскими (весьма содержательными) фрагментами жизни Бердяева, и сделать это должны профессиональные краеведы в содружестве с историками русской философии.

Н.А. Бердяев в первый раз относительно надолго поселился в Москве осенью 1908 г.², когда, приехав из Санкт-Петербурга (и получив там опыт работы в журналах «Вопросы жизни» и «Новый путь»), начал сотрудничать в «Московском еженедельнике», издаваемом М.К. Морозовой и кн. Е.Н. Трубецким. Тогда Бердяевы (Николай Александрович вместе со второй женой Лидией Юдифовной, урожденной Трушевой, в первом браке — Рапп³)

¹ Бердяев неоднократно — и до вынужденной эмиграции, и позже — писал, что «умственная насыщенность московской жизни» ближе ему по духу, чем жизнь в Санкт-Петербурге, Берлине или Париже.

² В некоторых из своих многочисленных (и весьма противоречивых) мемуаров Андрей Белый утверждал, что Бердяев «появился в Москве в 1905–1906 гг.», но это является или очевидной ошибкой памяти, или нередкой для Белого-мемуариста небрежностью. Наиболее авторитетным свидетельством в этом смысле мне представляются воспоминания всегда точной в деталях Евгении Казимировны Герцык, которая относит переезд Бердяева в Москву именно к осени 1908 г.: «Он (Бердяев — А.К.) был бездомным, только что порвавшим с петербургским кругом модернистов... Бездомный, переживший лихорадку отворачивания и вдруг опять помолодевший, посветлевший, полный творческого бурления — как он мне был нужен такой весной девятого года... *С осени* (курсив мой. — А.К.) он с женою поселился в Москве, в скромных меблированных комнатах...» (*Герцык Е.К. Воспоминания. Париж, 1973. С. 120*).

³ В начале 1903 г., отбывая ссылку в Житомире, Бердяев венчался с дочерью губернского почтмейстера В.А. Семенова — Еленой Васильевной. У них родилась дочь, которая, к несчастью, вскоре умерла и была похоронена на одном из житомирских кладбищ. Второй брак Бердяева был, как известно, гражданским.

поселились в меблированных комнатах Тимофеевой в доходном доме на углу Кривоколенного и Армянского переулков.

В большинстве изданий ошибочно говорится, что проживали они по адресу «Армянский переулок, д. 1» — на самом деле, вход в двухкомнатную квартиру Бердяевых был со стороны Кривоколенного переулка, д. 8. Дело в том, что один из самых знаменитых в Москве доходных домов — «дом Микини» (или «дом-корабль», как его часто называют) — это два разных здания двух разных архитекторов, хотя и построенные в едином «стиле модерн» в 1901–1905 гг. Дом со стороны Армянского переулка построен В.А. Властовым для владельца М.М. Лернера; дом же со стороны Кривоколенного проектировал архитектор П.К. Микини для своего брата — подполковника инженерно-технической службы В.К. Микини. Все письма, отправленные Бердяевым с этого адреса в 1908–1911 г., однозначно помечены: «Кривоколенный переулок, дом Микини»; сюда же приходила и корреспонденция на его имя.

Добавим, что дом, где жили тогда Бердяевы, имеет свою историю. В 1797 г. здесь, у графа А.Ф. Санти (сардинского аристократа, отличившегося на русской службе), снимало квартиру лютеранское семейство Пестелей — московский почтмейстер Иван Борисович с женой Елизаветой Ивановной (урожденной Крок) и тремя малолетними сыновьями; в тот год их первенцу Паулю (будущему декабристу Павлу Пестелю) было четыре года. В 1831 г. наследники Санти продали владение Екатерине Львовне Тютчевой, матери Ф.И. Тютчева (кстати, любимого поэта Бердяева), которая жила здесь до 1840 г. Сменив затем нескольких владельцев, дом в 1856 г. перешел в собственность Михаила Никифоровича Каткова — магистра философии, известного московского издателя и публициста. Здесь, по адресу «Кривоколенный, д. 8», Катков, вместе со своим другом и единомышленником, историком и филологом П.М. Леонтьевым, издавал «Русский вестник», а потом и «Московские ведомости».

О жизни Н.А. Бердяева в маленькой квартирке в Кривоколенном переулке осталось мало свидетельств. Одно из них принадлежит Е.К. Герцык: «...Всегда острое безденежье — но убогость обстановки не заслоняла врожденной ему (Бердяеву — А.К.) барственности. Всегда элегантный, в ладно сидящем костюме, гордая посадка головы, пышная черная шевелюра, вокруг — тонкий дух сигары. Красивая, ленивая в движениях Лидия Юдифовна в помятых бархатах величаво встречала гостей. И за чайным столом острая, сверкающая умом беседа хозяина»⁴.

В период проживания в «доме Микини» Бердяев иногда, для удобства общения, снимал номера в меблированных комнатах «Княжий двор», расположенных на территории городской усадьбы князей Голицыных на углу

⁴ Герцык Е.К. Воспоминания. С. 120.

Волхонки и Малого Знаменского переулка. Именно здесь обычно останавливались иногородние участники заседаний Московского Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева, одним из организаторов которых был Бердяев. Часто бывал он в те годы и в московских особняках меценатки Маргариты Кирилловны Морозовой, щедро спонсирующей работу МРФО: на Смоленском бульваре; на Знаменке, д. 11 (там некоторое время работало издательство «Путь»); в новом особняке Морозовой в Мертвом (Пречистенском) переулке, д. 9 (здесь теперь расположено посольство Дании)⁵. Помнит Бердяева и флигель усадьбы Хрущева-Котлярева на Пречистенском (ныне Гоголевском) бульваре, д. 31. Здесь в 1910–1916 г. жил один из лидеров символистов Андрей Белый и существовало издательство «Мусагет»⁶.

Начиная с 1909 г. Н.А. Бердяев читал лекции в Университете имени А.Л. Шанявского, который располагался сначала в городской усадьбе Голицыных (отдельный вход был со стороны Волхонки), а потом и в новом здании на Миусской площади.

Примерно в те же годы Бердяев увлекся богословскими спорами, которые обычно проходили по воскресеньям в некоторых московских трактирах — т.наз. «ямах»⁷. Есть достоверные свидетельства о посещениях Бердяевым одной из таких «ям» — трактира Чуева на углу Рождественки и Софийки⁸. Превращению этого рядового заведения в своего рода клуб способствовали два приятеля — известный всей Москве букинист А.А. Астапов и историограф Н.П. Бочаров (автор книги «Москва и москвичи»). Астапов имел тогда книжную лавку рядом с церковью Троицы в Полях у ворот Китай-города (на этом месте был потом поставлен памятник первопечатнику Ивану Федорову). По воскресеньям Бочаров шел к Астапову за очередной порцией редких изданий, и пока приказчики разыскивали нужные книги в обширных астаповских развалах, приятели отправлялись на Рождественку в находившийся в каких-нибудь трехстах метрах трактир Чуева. Очевидец

⁵ Именно в этом особняке, специально перестроенном М.К. Морозовой для заседаний МРФО, 26 мая 1917 г. прошло заседание в память о недавно умершем В.Ф. Эрне. Одним из главных докладчиков выступил Н.А. Бердяев.

⁶ Здесь, например, 26 января 1911 г. состоялась известная дискуссия Бердяева с Ф.А. Степуном после доклада Эллиса (Л. Кобылинского) об отношениях католицизма и символизма.

⁷ «Ям» в Москве было несколько. В «Самопознании» сам Бердяев вспоминает трактир в Мясницкой части, около церкви Фрола и Лавра. См.: *Бердяев Н.А. Самопознание (опыт философской автобиографии)*. М., 1990. С. 180.

⁸ Многие москвичи хорошо знают это место. В 1970–1980-е гг. здесь, в подвале дома на углу Рождественки (тогда улицы Жданова) и Пушечной (я жил тогда в каких-нибудь двухстах метрах) располагалось популярное рыбное кафе «Сардинка», сыгравшее, по воспоминаниям участников, немалую роль в становлении рок-группы «Машина времени».

вспоминал: «Приятели сделали “Яму” своей резиденцией. Около них всегда масса знакомых. Сидят, беседуют. От книги и русской старины один шаг до Бога. Даже шага нет. Русский простой человек именно в трактире больше всего любит говорить о божественном. За “книжниками” в трактир потянулись богоискатели»⁹. Говорили, на «чаепития» в чуевскую «Яму» в последние годы жизни любил заходить сам Владимир Сергеевич Соловьев. А в начале 1910-х гг. завсегдаятами богословских споров в «Яме» на Рождественке стали Н. А. Бердяев и С. Н. Булгаков¹⁰.

Атмосферу религиозных споров в «Яме» описала Е. К. Герцык, несколько раз сопровождавшая Бердяева: «...Собирались сектанты разных толков, толстовцы, велись прения... Кругом за столиком с пузатыми чайниками слушатели больше мещанского вида, но иногда и любопытствующие интеллигенты: религия в моде. Споры об аде: где он, реален или в душе?.. Это — мистики, для них смерти уже нет, и греха нет... Сколько индивидуальностей, столько вер. Та же страсть к игре мысли у этих трактирных, малограмотных, что и у философов, заседающих в круглом зале университета, а может быть и более подлинная. Случалось, когда посторонние разойдутся, останутся только самые заядлые, сдвинут столики, и Бердяев острыми вопросами подталкивает, оформляет их мысль, а потом не казенным, своим огненным словом говорит о церкви, о вселенскости»¹¹.

Особый период в московской жизни Бердяева — месяцы, проведенные в 1913–1914 гг. в особняке его друзей Гриневичей в Савеловском (ныне Пожарском) переулке. Некоторые биографы, основываясь на упоминаниях о «жизни на Остоженке», ошибочно помещают искомый дом на улице Остоженка (и, разумеется, не могут его точно указать), путая собственно улицу и одноименный район Москвы. На самом деле, дом Гриневичей находился по адресу «Савеловский переулок, д. 10» — действительно, совсем рядом с Остоженкой.

Вера Степановна Гриневич, урожденная Романовская, дочь коменданта Судакской крепости, была хорошо знакома с семьей Бердяевых через сестер Евгению и Аделаиду Герцык. Женщина, хорошо образованная и имеющая средства (муж, Павел Иванович, — богатый полтавский помещик), она была увлечена гуманитарно-просветительскими проектами и новейшими методиками детского обучения. В 1907–1908 гг. она организовала в Санкт-Петербурге издательство; позднее, после переезда в Москву, задумала открыть в своем доме гимназию для девочек с церковно-философским уклоном в память о Владимире Сергеевиче Соловьеве.

⁹ Цит. по: Н. А. Бердяев: pro et contra. Антология. Кн. 1. СПб., 1994. С. 35–36.

¹⁰ Там же.

¹¹ Герцык Е. К. Воспоминания. С. 122.

Гриневич предложила тогда не имевшим жилья в Москве Бердяевым пожить в ее доме. За отсутствием свободных комнат, она поселила их первоначально в большой парадной зале, которая некоторое время служила гостям и кабинетом, и столовой, и спальней. В феврале 1913 г. Евгения Герцык писала в Петербург Вячеславу Иванову: «Живу я теперь в гимназии Веры Степановны, все еще создающейся ее фантастической гимназии, и здесь же мы поселили Бердяевых, и живем пока как странники»¹².

Просветительско-педагогический проект Веры Гриневич, увы, не реализовался. В главе своих воспоминаний «Вера» Е.К. Герцык писала об этом: «Она (В.С. Гриневич — А.К.) захвачена идеей создать школу, пронизанную евангельским духом любви и братства, истиной народной... Старинный особняк на Остоженке. Уют старого барства. Школа им. Вл. Соловьева. К идейному участию привлечены эпигоны славянофильства: памятные москвичам фигуры из дворянских переулочков. Менее всего заметны в школе дети... Перебои в уроках... Химера — эта школа на Остоженке, как и многое, что возникало в те обреченные годы (это был 913-ый)»¹³.

При всем при этом, «особняк Гриневичей» явно недооценен биографами Бердяева — некоторые из них даже считают, что дом вообще не сохранился. На самом деле, особняк второй половины XIX в., перестроенный архитектором Б.Н. Кожевниковым в 1907 г. и имеющий сегодня адрес «Пожарский переулок, д. 6» (нумерация домов в прошлом веке сместилась, что и вводит подчас в заблуждение), — это и есть искомый «старинный барский особняк», где Н.А. Бердяев жил в 1913–1914 гг. Подтверждением этому служат старые фотографии из знаменитого собрания Э.В. Готье-Дюфайе. Среди них есть по меньшей мере две¹⁴ с видами Савеловского переулка «снизу» — от Нижнего Лесного (ныне Курсового) переулка по направлению к Остоженке, и относящиеся как раз к 1913 г. Богатый дом Гриневичей виден здесь четко, и иных «старинных барских особняков с садом» на этой, четной, стороне переулка попросту нет. Проведенная на рубеже 1970–1980-х гг, а затем в 1990-х гг. реставрация усадебного комплекса (о чем знатоки Москвы знают) была сделана, по-видимому, на основании аутентичных чертежей¹⁵.

Установление этого обстоятельства достаточно важно, поскольку, по нашему мнению, именно в «доме Гриневичей» в Савеловском переулке Бердяевы и отмечали наступление нового, 1914-го года — торжество, не раз описанное в мемуарной литературе, как крайне важное для многих его участников.

¹² Сестры Герцык. Письма. СПб., 2002. С. 606.

¹³ Герцык Е.К. Воспоминания. С. 125.

¹⁴ В коллекции члена Императорского Московского археологического общества Эмиля Владимировича Готье-Дюфайе эти фотографии значатся под номерами 2329/52 и 2485/16.

¹⁵ В 1999 г. Постановлением Правительства Москвы за подписью мэра Ю.М. Лужкова усадебный комплекс на правах долгосрочной аренды был передан некоему ООО «Сол-ГН».

Так, Лидия Иванова, дочь Вячеслава Иванова, приехавшая в середине 1913 г. из Рима в Москву поступать в консерваторию (осенью к ней присоединились сам Иванов, его новая жена Вера Шварсалон с маленьким сыном Дмитрием) вспоминала: «Зимний сезон 1913/14 в Москве был необычайно возбужденный и радостный. Было ли это подсознательным предчувствием, что идет последний светлый и беспечный год? Или у всех были точно завязаны глаза? Люди жадно веселились: театры, концерты, а главное, балы: всем хотелось танцевать»¹⁶. По свидетельству Ивановой, ей особенно запомнился «бал у Бердяевых», где она появилась в сшитом Верой Шварсалон костюме итальянской цветочницы: «Бердяевы — Николай Александрович, его жена Лидия Юдифовна и ее сестра Евгения Юдифовна Рапп — жили в центре города, где-то в переулках между Арбатом и Остоженкой, в старом барском особняке. У них был чудный двусветный большой зал прекрасной архитектуры. Они любили время от времени собирать изрядное количество друзей у себя в зале и в шутку называли эти вечера “балами”. Но на святках 1913/14 они пригласили друзей действительно на бал, и даже костюмированный. Было чрезвычайно весело, и мы танцевали»¹⁷.

Однако тот «бал» запомнился Лидии Ивановой не только веселыми развлечениями: «Но тут словно бы мимоходом прошла какая-то туча, которую, однако, не все заметили. В тот год появился в Москве Бог знает откуда какой-то мистик, высокий старик-швед с пышной бородой, длинными волосами, как-то странно одетый. Он был принят у многих наших друзей. На этот раз он оказался на балу у Бердяевых. Я была слишком увлечена танцами в кружке молодежи, чтобы подходить к нему и его слушать, но знаю, о чем он говорил, со слов Лидии Юдифовны (Бердяевой — А.К.): “Вот, вы все радуетесь, встречаете Новый год. Слепые! Наступает ужасная пора. Кровавый 1914 год открывает катаклизм, целый мир рушится...” И прочее в этом духе»¹⁸.

Эти мемуары можно дополнить воспоминаниями самого Н.А. Бердяева, который написал в «Самопознании», что «таинственный швед» поселился у них в доме за несколько дней до новогоднего бала: «Очень запомнился мне один очень яркий человеческий образ. Однажды вошел к нам в столовую во время завтрака таинственный человек. Все почувствовали странность его появления. Это был *nordischer Mensch* (человек нордического типа — А.К.),

¹⁶ Иванова Л. Воспоминания. Книга об отце. М., 1992. С. 54.

¹⁷ Семнадцатилетняя Лидия Иванова, лишь полгода назад приехавшая тогда в Москву, еще несколько путается в московской топографии. «Бал у Бердяевых» имел место, без всякого сомнения, в особняке Гриневичей в Савеловском переулке — т.е. не «*между Арбатом и Остоженкой*», а между Остоженкой и Москвой-рекой. «Чудный двусветный зал прекрасной архитектуры» — это и есть первоначальное жилище Бердяевых в доме Гриневичей.

¹⁸ Иванова Л. Воспоминания. С. 54.

напоминающий викинга: огромного роста, очень красивый, но уже среднего возраста, с падающими на плечи кудрями, одетый в плащ. На улице он ходил без шляпы. Когда мы ходили с ним по Москве, то он обращал на себя всеобщее внимание... Он оказался шведским врачом Любеком. Он специально был направлен ко мне и проникся ко мне большой симпатией. Более всего поражал Любек своей пронизательностью, близкой к ясновидению... Любек встречал с нами Новый год, это был канун 1914 года... Было большое общество, и все пытались делать предсказания на следующий год. О войне никто не думал. Любек сделал следующее предсказание. В наступающем году начнется страшная мировая война, Россия потерпит поражение и будет обрета в своей территории, после этого будет революция»¹⁹. Сбылось впоследствии и другое предсказание д-ра Любека — о том, что сам Бердяев скоро станет профессором Московского университета! Тогда это тоже казалось немислимым: ведь Бердяев не имел не только докторской, но и магистерской степени. Тем не менее, в 1920 г. это случилось!

В Москве до начала 1960-х гг. существовал еще один «бердяевский адрес» — дом Аделаиды Герцык и ее мужа Д.Е. Жуковского в Кречетниковском переулке²⁰, где Николай Александрович, приезжая в Москву из имения Бабаки под Харьковом, несколько раз останавливался в первую военную зиму 1914–1915 гг., пытаясь найти стабильный журналистский или лекторский заработок. В январе 1915 г. он приехал сюда в очередной раз с Лидией Юдифовной — как они думали, всего на несколько дней. Евгения Герцык, также жившая тогда в доме в Кречетниковском, вспоминала: «Квартира в переулке у Новинского <бульвара>, снежные сугробы во дворе. Жили мы тихо, притаясь, оглушенные совершавшимся. С приездом Бердяевых хлынули люди, закипели споры. В один из первых дней Николай Александрович, возвращаясь с какого-то собрания, поскользнулся и сломал ногу. Когда его вносили в дом, он доспаривал с сопровождавшим его знакомым на какую-то философскую тему. Потом два месяца лежания, нога во льду, в лубках, сращение перелома затянулось. Друзья и просто знакомые навещают его. Телефонные звонки, уходы, приходы, все обостряющиеся споры между ним и Булгаковым, Вяч. Ивановым, которых захватил шовинистический угар. Приезжие из Петербурга, с фронта»²¹.

¹⁹ Бердяев Н.А. Самопознание (опыт философской автобиографии). С. 183–184. Добавлю, что доктор Эдвард Вильгельм Любек, известный врач-психиатр, имевший в Финляндии клинику-санаторий для лечения нервных болезней, в июне 1919 г. покончил жизнь самоубийством.

²⁰ Этот дом по адресу «Кречетниковский переулок, д.13» просуществовал вплоть до начала 1960-х гг. и был снесен (как и весь окружающий его квартал) при прокладке Нового Арбата.

²¹ Герцык Е.К. Воспоминания. С. 132–133.

Е. Герцук свидетельствует: в те недели неожиданно дали о себе знать польские корни и полонофильские симпатии Бердяева; многие близкие впервые узнали, что его крестной матерью была графиня Елизавета Красинская (в девичестве Браницкая), жена знаменитого польского поэта Сигизмунда Красинского, наследника таланта и политических убеждений Адама Мицкевича. «Новыми были хлынувшие из Варшавы беженцы-поляки, у некоторых из них создается живой контакт с Бердяевым, разговор переходит на французский язык, на очереди вопросы польского мессианизма. На нашем давно молчавшем пианино играет Шимановский, талантливый композитор-новатор... Николай Александрович глубоко переживал трагическую судьбу этого народа. Вообще в это время у него обострился интерес к вопросам национальностей. Не так, как у славянофилов или тогдашних эпигонов их, чувствующих только одну свою народность — он же остро вникал в особенности каждой нации... Но также, как шовинизм, ненавистен ему и пацифизм, уклонение от ответственности за судьбу родины. Любовь к России как вино ударила ему в голову»²².

Перейдем, наконец, к описанию последнего, самого длительного и насыщенного этапа пребывания Н.А. Бердяева в Москве — того периода, когда он жил в ставшем, благодаря ему, знаменитом доме в Большом Власьевском переулке. Увы, именно этот, последний московский адрес Бердяева стал предметом уникальной в своем роде путаницы, не делающей чести некоторым «биографам»²³.

Есть немало свидетельств тому (в первую очередь, это личная переписка Н.А.), что Бердяевы поселились по адресу «Большой Власьевский переулок, д. 14, кв. 3» в конце сентября 1915 г. Этому предшествовали долгие поиски подходящей квартиры: ведь там предстояло разместиться не только Николаю Александровичу (с разросшимся архивом и библиотекой), Лидии Юдифовне и Евгении Юдифовне, но и больному отцу Бердяева Александру Михайловичу, который после смерти в 1914 г. старшего сына Сергея остался в Киеве один.

²² Там же. С. 133.

²³ Так, во вкладке иллюстраций к очень добротной в целом книге О.Д. Волкогоновой о Бердяеве из серии «ЖЗЛ» (вкладке, сделанной, по утверждению автора, без согласования с ней) помещена фотография с подписью, являющейся верхом некомпетентности: «Власьевский переулок в Москве. Церковь Успения на Могильцах. Рядом, в доме 4, жили Бердяевы». На самом деле, Бердяевы жили в доме № 14 по Большому Власьевскому переулку рядом с церковью св. Власия, т.е. весьма далеко от изображенного на фото храма Успения Божьей Матери на Могильцах. Путаница с адресами Бердяева перекочевала и в «Хронику жизни и творчества Н.А. Бердяева», приложенную к совсем свежему тому о Бердяеве в серии «Философия России первой половины XX века». Автор «хроники» почему-то относит к 1916 г. «переезд в Москву, в квартиру в Малом Власьевском переулке, 14, кв. 3». (См.: Николай Александрович Бердяев. М., 2013. С. 508). Здесь в одной строчке сразу две ошибки: в Большом Власьевском переулке Бердяев поселился в конце сентября 1915 г. Чтобы поставить окончательную точку в этом вопросе достаточно посмотреть материалы двух арестов и последующих допросов Н.А. Бердяева в 1920 и 1922 гг., где везде значится один и тот же официальный адрес: «Большой Власьевский переулок, д. 14».

Наконец, нужная квартира из шести комнат была найдена: она состояла из трех спален, кабинета (где Бердяеву на ночь стелили на диване), гостиной и столовой. Часть окон выходила в переулок; другая часть, в том числе окна кабинета Бердяева — во двор, где стоял (и стоит сейчас) другой примечательный дом, имеющий свою историю.

В литературе о Бердяеве часто можно встретить утверждение, что последние перед высылкой годы он жил в «бывшем доме Герцена» (детали варьируются). На самом деле, дом, действительно связанный с семьей Герцена, находится во дворе «бердяевского» дома (сейчас он, надстроенный одним этажом, значится по адресу «Большой Власьевский, д. 14, корп. 2). Александр Иванович Герцен, как известно, родился в 1812 г. в доме дяди на Тверском бульваре. В 1824 г. Иван Алексеевич Яковлев (отец Герцена) приобрел, наконец, собственный дом в обширном дворе между двумя Власьевскими переулками. Здесь А.И. Герцен прожил с родителями почти десять лет, до 1833 г., когда его отец купил у графини Раstopчиной особняк на Сивцевом вражке (т. наз. «большой дом»).

То, что «дом Бердяева» и «дом Герцена» не следует путать, убеждают многочисленные мемуары. Ограничимся здесь лишь воспоминаниями одного из литераторов, часто посещавшего квартиру Бердяева в послереволюционные годы и хорошо знавшего настроения «бердяевского кружка»: «Раз меня поразило определенно отрицательное отношение к Герцену. Дело было так. Окно кабинета Николая Александровича во Власьевском переулке выходило в глубь двора. Там стоял дом. Во время европейской войны там помещался госпиталь. Затем туда вселился неизвестно кто. Домик подвергался разграблению, кажется, был частично пожар, а затем дом стал разрушаться, стоял без окон и дверей. Это был дом, в котором одно время жил Герцен, его только не следует смешивать с домом, в котором родился Герцен, на Тверском бульваре. Все стояли у окна кабинета. Бердяев сказал, смотря на остатки здания: “Вот плод взглядов Герцена — достойный пример того, к чему вели Россию Герцен и иже с ним”. Букштин (?) и Грифцов сочувственно подхватили слова Бердяева»²⁴.

Дом Бердяева в Большом Власьевском переулке находился совсем рядом с Церковью св. священномученика Власия Севастийского, активным членом приходского совета которой Николай Александрович являлся (Лидия Юдифовна, принявшая летом 1918 г. католичество, стала прихожанкой греко-католической общины В.В. Абрикосова²⁵).

²⁴ См.: Н.А. Бердяев: pro et contra. Антология. Книга 1. СПб., 1994. С. 64. Добавим только, что «Букштин» — это наверняка Яков Михайлович Букшпан, экономист, участник (вместе с Бердяевым) известного сборника 1922 г. «Освальд Шпенглер и Закат Европы» (расстрелян в 1939 г.).

²⁵ В сентябре 1922 г. В.В. Абрикосов был выслан из России тем же самым «философским пароходом», что и Бердяевы.

А между жилищем Бердяевых и оградой храма св. Власия росли великолепные вековые дубы, каждый из которых имел свое имя²⁶ и несомненно помнящие еще юного Герцена. Автор этой статьи склонен с большой долей уверенности утверждать, что именно эти дубы (а, возможно, какой-то из них конкретно) воодушевили Бердяева написание одного из его самых знаменитых текстов тех лет.

Дело в том, что одной из первых работ Н.А. Бердяева, написанной в квартире в Большом Власьевском, стала статья «Дух и машина», первоначально опубликованная в газете «Биржевые ведомости» за 12 октября 1915 г. и включенная затем Бердяевым (в качестве завершающей) в знаменитый сборник «Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности»²⁷. Эту статью, направленную против ставших популярными в первые месяцы мировой войны неославянофильских утверждений о превосходстве «русского духа» перед «германской машиной», Бердяев начинает словами: «Никогда еще так остро не стоял вопрос об отношении духа и машины, как в наши дни. Мировая война очень заостряет эту тему. Наши споры о германизме вращаются вокруг темы — дух и машина. Нельзя отрицать, что в Германии было много духа, и Германия же пришла к самым совершенным образцам механизации и машинизации. Германская машина, как бы выброшенная из недр германского духа, идет впереди, она задавала тон в жизни мирной, а теперь задает тон в войне»²⁸. «Но можно ли сказать, что дух погибает в этой материализации, что машина изгоняет его из жизни?» — задается вопросом Бердяев. И отвечает: «Я думаю, что это слишком поверхностный взгляд. Смысл появления машины и ее победоносного движения совсем не тот, что представляется на первый взгляд. Смысл этот — духовный, а не материальный. Сама машина есть явление духа, момент в его пути»²⁹.

И далее Бердяев разворачивает целую цепочку умозаключений, метафорическим стержнем которых становится образ «цветущего дуба», несомненно навеянный автору дубовой рощицей перед окнами рабочего кабинета:

²⁶ Один из этих уникальных дубов, ставший достопримечательностью старой Москвы, растет во дворе дома Бердяева до сих пор. Это дуб «Филимон», которому более 200 лет, что удостоверяет поставленная горожанами табличка. «Филимон» стал героем московского фольклора, что передал в своем стихотворении поэт-москвич Илья Фаликов: «Дуб по имени Филимон среди безымянной флоры, // Посреди безымянной флоры дуб по имени Филимон. // Он единственный старожил — проходимцы, фигляры, воры, // Финансисты, гипнотизеры напирают со всех сторон. // Уроженец, абориген, не захватчик и не лимитчик, // Не хомячит куски халявы, не добытчик и не купец, // Не выдумывает родни, с документами не химичит, // Не накручивает на спиле не своих годовых колец...»

²⁷ Бердяев Н.А. Дух и машина // Бердяев, Н. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности. М.: Изд-во Г.А. Лемана и С.И. Сахарова, 1918. С. 233–240.

²⁸ Там же. С. 233.

²⁹ Там же.

«Прекрасен цветущий дуб и уродлива машина, оскорбительна для глаза, уха и носа, нимало не радует. Мы любим дуб и хотели бы, чтобы он унаследовал вечность, и чтобы в вечной жизни мы сидели под цветущим развесистым дубом. Машину же любить мы не можем, в вечности ее увидеть не хотели бы, и в лучшем случае признаем лишь ее полезность. И как соблазнительно желание остановить роковой процесс жизни, ведущий от цветущего дуба к уродливой и смрадной машине»³⁰.

Бердяев, однако, уходит от легковесных противопоставлений и постулирует, что «переход от органичности дерева, от благоухающей растительности к механичности машины, к мертвящей искусственности должен быть пережит и прожит религиозно»: «Чтобы воскреснуть, нужно умереть, пройти через жертву. И переход от органичности и целостности к механичности и расщепленности есть страдальческий, жертвенный путь духа. Эта жертва должна быть сознательно принята. Через нее лишь достигается свобода духа. Машина есть распятие плоти мира, вознесение на крест благоухающих цветов и поющих птиц. Это — Голгофа природы. В неотвратимом процессе искусственной механизации природа как бы искупает грех внутренней скованности и вражды»³¹.

В «Духе и машине» Бердяев утверждает, что его оппоненты-неославянофилы — это «реакционеры-романтики, в тоске и страхе держащиеся за отходящую, разлагающуюся старую органичность, боязливые в отношении к неотвратимым процессам жизни». «И как мало,— восклицает Бердяев,— эти люди верят в дух, в его бессмертие и неистребимость, в его неодолимость темными силами»³².

Образ «дуба» продолжает оставаться центральным звеном и последующих рассуждений Бердяева: «То, что было вечно в дубе..., то преобразится и пребудет в духе, то сохранит свою непреходящую форму, освобожденную от материальной тяжести и скованности... Истинная жизнь — творимая жизнь, а не исконно данная жизнь, не органически элементарная, животное-растительная жизнь в природе и обществе»³³. Бердяев завершает статью словами: «В старый рай под старый дуб нет возврата... Если Россия хочет быть великой Империей и играть роль в истории, то это налагает на нее обязанность вступить на путь материального технического развития. Без этого решения Россия попадет в безвыходное положение. Лишь на этом пути освободится дух России и раскроется ее глубина»³⁴.

Обстановку бердяевской квартиры в Большом Власьевском описала в своих «Воспоминаниях» Е.К. Герцык: «Вечер. Знакомыми Арбатскими

³⁰ Там же. С. 236.

³¹ Там же. С. 236–237.

³² Там же. С. 237.

³³ Там же. С. 239.

³⁴ Там же. С. 240.

переулочками — к Бердяевым. Квадратная комната с красного дерева мебелью. Зеркало в старинной овальной раме над диваном. Сумерничают две женщины: красивые и приветливые — жена Бердяева и сестра ее. Его нет дома, но привычным шагом иду в его кабинет. Присаживаюсь к большому письменному столу: творческого беспорядка никакого, все убрано в стол, только справа слева стопки книг. Сколько их: ближе — читаемые, заложенные, дальше — припасенные вперед. Разнообразие: Каббала, Гуссерль и Коген, Симеон-Новый богослов, труды по физике, а поодаль непременно роман на ночь — что-нибудь изысканное у букиниста: Мольмот Скиталец. Прошаживаюсь по комнате: над широким диваном, где на ночь стелется ему постель, распятие черного дерева и слоновой кости — мы вместе его в Риме купили. Дальше на стене акварель — благоговейной рукой изображена келья старца. Рисовала бабка Бердяева: родовитая киевлянка, еще молодой она подпала под влияние схимника Парфения»³⁵.

Остались зарисовки того «общества», которое регулярно собиралось в квартире Бердяева в последние перед высылкой из России годы: «Окружение Бердяева было всегда очень интересным, он ценил людей по их значимости, а не по степени близости их к собственным его взглядам. Можно сказать, что при всем многообразии лиц, являвшихся постоянными посетителями Бердяева, было что-то общее у всех. Они разделяли многие симпатии и антипатии, в иных вопросах они точно вперед сговорились. Из гениев русской культуры Бердяев и его окружение больше всего ценили Достоевского и Вл. Соловьева»³⁶.

С Н.А. Бердяевым связаны, разумеется, и многие другие адреса в Москве. Назовем, конечно, храм Святителя Николая в Кленниках в начале Маросейки, где служил духовник Бердяева, старец в миру Алексей Мечёв. В 1922 г. он благословил высылаемого из России Бердяева: «Вы должны ехать. Ваше слово должен услышать Запад».

Нельзя обойти вниманием и квартиру композитора А.Н. Скрябина по адресу «Николопесковский переулок, д.11», которую часто посещали Бердяевы (сегодня здесь мемориальный музей с сохранившейся обстановкой тех лет).

Два московских адреса: Леонтьевский переулок, д.16 и Большая Никитская, д.24 (оба дома сохранились) связаны с работой Бердяева в 1918–1922 гг. в т.наз. «Лавке писателей», книготорговом предприятии на паях, где, помимо него сотрудничали М.А. Осоргин, Б.К. Зайцев, Б.А. Грифцов и др.

³⁵ Герцык Е.К. Воспоминания. С. 117. Бабка Бердяева по отцу, урожденная княжна Бахметьева, еще при жизни мужа, генерала М.Н. Бердяева, приняла монашеский постриг.

³⁶ Н.А. Бердяев: pro et contra. С. 64.

...Старая Москва запомнила самобытный облик Николая Александровича Бердяева: «высокий, чернявый, кудрявый, почти до плечей разметавшийся гривой, высоколобый, щеками румяными, с черной бородкой и синим, доверчивым глазом» (Андрей Белый о «ранне-московском» Бердяеве); «в светло-сером пальто, в шляпе светло-кофейного цвета с полями, в таких же перчатках и с палкой» (он же о Бердяеве-москвиче позднего периода).

Современная Москва в долгу перед прославившем ее замечательным мыслителем и гражданином.

Литература

Бердяев Н.А. Дух и машина // Бердяев. Н.А. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности. М., Изд-во Г.А. Лемана и С.И. Сахарова, 1918. С. 233–240.

Бердяев Н.А. Самопознание (опыт философской автобиографии). М.: Международные отношения, 1990. — 336 с.

Герцык Е.К. Воспоминания. Париж: YMCA-Press, 1973. — 193 с.

Иванова Л. Воспоминания. Книга об отце. М.: Фкеикс, 1992. — 428 с.

Н.А. Бердяев: pro et contra. Антология. Кн. 1. СПб.: РХГУ, 1994. — 704 с.

Николай Александрович Бердяев. М.: РОССПЭН, 2013. — 578 с.

Сестры Герцык. Письма. СПб.: ИНАПРЕСС, 2002. — 760 с.

МОСКВА «ДО» И «ПОСЛЕ» РЕВОЛЮЦИИ: СОЦИОЛОГИЯ РОДНОГО ГОРОДА В СОЧИНЕНИЯХ ФЕДОРА СТЕПУНА

Задачей данной статьи, написанной в излюбленном автором жанре «философского краеведения», является исследование «социологии Москвы» русского мыслителя Федора Августовича Степуна (1884–1965). В Москве Степун родился, учился в немецком реальном училище, а, после возвращения из Гейдельбергского университета в Германии, занимался философией, социологией, художественной критикой и постановкой театральных спектаклей. Из большевистской Москвы Степун осенью 1922 г. отправился в вынужденное изгнание на одном из «философских паровозов» — в отличие от некоторых своих друзей, уплывших на чужбину морем.

В своем «Автобиографическом очерке», написанном в конце жизни для русской эмигрантской молодежи, Ф.А. Степун ясно обозначил свое московское происхождение: «Родился я 6 февраля 1884 г. в Москве, в доме “Человеколюбивого общества” (можно сказать — обязывающее место-рождение!)»¹. Здесь же, в Москве, юный Степун окончил престижное в среде технической интеллигенции реальное училище при Евангелической лютеранской церкви св. Михаила. Семилетняя учеба в реальном училище при лютеранской церкви св. Михаила (Степуну эта кирха всегда напоминала «гигантскую серокаменную улитку») сформировала у него еще одну «локальную идентичность», важную для личностного ощущения будущего философа и литератора. Это — самоидентификация с московским районом Лефортово, бывшей «Немецкой слободой», куда Степун каждое утро добирался с братом из центра через Маросейку, Покровку, Земляной Вал, и которую Степун многократно с ностальгией вспоминал в своих знаменитых эмигрантских

¹ Степун Ф.А. Автобиографический очерк // Старые — молодым. Мюнхен, 1960. С. 91. Дом Императорского Человеколюбивого общества находится в центре Москвы, в Малом Златоустыинском переулке между Мясницкой и Маросейкой. А само слово «человеколюбивый» с годами стало у Степуна-литератора нарицательным. Когда, например, летом 1921 г. в земельной комиссии губернского исполкома слушалось дело о судьбе трудовой коммуны, где крестьянствовали, пытаясь выжить «на земле», Степун и его близкие, и, в конце концов, все решилось благополучно, Степун иронично отнес этот итог на счет добрых природных предзнаменований: «День разбирательства нашего дела в Москве был на редкость тихий, мягкий, какой-то *человеколюбивый*» (курсив мой. — А.К.) (Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. СПб.: Алетейя, 2000. С. 586).

мемуарах «Бывшее и несбывшееся»². На протяжении всей последующей жизни в голове Степуна часто оживали воспоминания «о тех ранних темных утрах, которыми мы с братом в продолжение многих школьных зим садились в допотопную конку, еле освещенную двумя маленькими керосиновыми лампочками по углам»³.

Лефортовская Москва в описании Степуна очень отличается и от дворянских кварталов Пречистенки, Поварской, обеих Молчановок; и от интеллигентско-профессорского Арбата; и от Замоскворечья, где «тяжело спало (от переедания) старозаветное купечество»; и от Марьиной рощи, в которой «заливалась мещанская гармоника», и от Пресни, где «уже зарождался красный рабочий»⁴. Особая атмосфера Лефортово, согласно Степуну, чувствовалась сразу за границей Земляного города: «Вот Земляной Вал, мост над запасными путями Курской железной дороги, а за ним совсем уже иная Москва, тихая, провинциальная Москва моих первых школьных лет... Дома в этой тишайшей части Москвы стояли в то время все больше маленькие, одноэтажные, с мезонинчиками, какие-то пестрые коробочки под зелеными крышами... Целых семь лет ходил я по два раза в день по неровным тротуарам лефортовских переулков на Вознесенскую гору: как хорошо, как привольно стояла церковь Вознесения на своем зеленом, садовом острове, среди каменного разлива трех стекавших к ней улиц»⁵.

В годы юности Степуна московское Лефортово уже утратило черты старого «Кокуя»: зажиточные немецкие семьи к тому времени перебрались в более престижные кварталы на Воронцовом поле. Характер района вокруг лютеранской кирхи св. Михаила и Вознесенского православного храма во многом определялся тогда насыщенностью учебными заведениями: женского Елизаветинского института, мужского реального училища и находящихся чуть дальше кадетских корпусов. Эта «юная аура» тогдашнего Лефортово

² Полный текст этих воспоминаний хранится в архиве Степуна в Йельском университете США. Этот текст был переведен на немецкий язык, авторизован и вышел в Мюнхене в 1947–1950 гг. под названием «Vergangenes und Unvergänglich». Лишь в 1954 г. Степуну удалось издать сокращенную русскоязычную версию мемуаров. См. об этом: *Кантор В.* Как издают шедевры. О публикации русского варианта мемуаров Ф. Степуна «Бывшее и несбывшееся». Письма Федора Степуна в издательство им. Чехова // Вопросы литературы, 2006, № 3. С. 278–319.

³ *Степун Ф.А.* Бывшее и несбывшееся. С. 474.

⁴ Там же. С. 29.

⁵ Там же. «Три улицы», помнящие юного Степуна,— это бывшая Гороховская (ныне Казакова), бывшая Вознесенская (ныне Радио) и сохранивший свое название Токмаков переулок. Стоит сегодня на своем месте православный Храм Вознесения Господня на Гороховом поле, построенный в XVIII в. на землях канцлера петровских времен Г.И. Головкина. Однако, увы, утрачены многие другие строения этой части «степуновской Москвы»: и уникальная Michael-Kirche — духовный и культурный центр московских лютеран (закрыта в 1928 г. и позднее снесена), и комплекс зданий Михайловского реального училища.

с ностальгией описана Степуном-мемуаристом: «Оживала для нас, реалистов, сонная лефортовская Москва... на Вознесенской горе, там, где среди деревьев старого парка за высокою чугуною оградю белел Елизаветинский институт... С этой институтски-кадетской горы, с горы белых пелеринок и черных мундирчиков, мне в душу и ныне нет-нет да повеет ранне-весенний ветерок грустной романтической влюбленности»⁶.

Степун вспоминал, как на майских выпускных экзаменах «реалисты» выбегали в перерывы из ворот училища «повертеться перед институтскою оградю, подышать светлою зеленью весенних тополей... Вольные казаки, мы задорно фланировали по тротуару, поджидая пока девичья карусель выйдет из глубины двора и с лукавыми взорами из-под благонравно опущенных ресниц пройдет совсем близко мимо нас. Кадетам наши штатские вольности были строго запрещены: гордясь своею военною выправкою, они четкою походкою, не останавливаясь и не поворачивая головы, а лишь “глаза на-ле-во”, быстро проходили мимо институтского двора»⁷.

Новый этап московской жизни Степуна — пребывание, правда, недолгое в квартире родителей первой жены, Анны Серебренниковой, с которой они познакомились во время учебы в Гейдельберге: он — на философском факультете, она — в Зоологическом институте. Серебренниковы (в мемуарах Степуна они представлены как «Оловянные») — известный в Москве купеческий род, занимавшийся торговлей экипажами и москательным товаром. Именно в доме Аниного отца, А.С. Серебренникова, на Самотечной площади, Степун впервые столкнулся с московским купеческим бытом: «Войдя в Анину семью, я встретился с совершенно чуждым мне миром. Несуразно высившийся среди маленьких домишек декадентский дом выходил на грязноватую Самотечную площадь, как раз против второразрядного ресторана “Волна”... явно носил следы легко-го в России тех времен обогащения и часто связанной с ним безвкусицы»⁸.

Еще сильнее впечатлил молодого интеллектуала-европеиста Степуна старомосковский быт обитателей дома Серебренниковых — «Оловянных»: «Хотя я по фотографиям и Аниным рассказам и имел некоторое представление о ее родителях, они при первой встрече все же весьма поразили меня. Культурный и бытовой разрыв между ними и дочерью был так велик, что они как были, так и остались для меня совершенно чужими людьми»⁹. Особенно

⁶ Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. С. 30.

⁷ Там же.

⁸ Там же. С. 122. Бывший дом купцов Серебренниковых под № 20 на Садово-Самотечной площади сохранился. Еще в дореволюционные годы он перестал выглядеть столь «декадентски», как это некогда казалось молодому Степуно.— На фоне, например, построенного в 1908 г. на другой стороне Самотечной площади «особняка Правдиной» с его вычурным декором в стиле венского модерна.

⁹ Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. С. 122–123.

типичен был глава семьи, Александр Сергеевич: «В длинном, узком сюртуке, с черною тесемкою вместо галстука, он показался мне классическим европеизированным купцом эпохи Островского. С чужими тихий и молчаливый, он в семье был настоящим деспотом. Направляясь из передней в столовую, он уже в коридоре хлопал в ладоши. При пятом хлопке тарелка супа с мясом, без которого он не признавал обеда, должна была стоять на своем месте... Летом, когда семья жила на даче, богатей Оловянныхиков с удовольствием обедал в грязноватой “Волне”, хотя до первоклассного “Эрмитажа” было рукой подать. Часов в пять он почти ежедневно выезжал на дачу в Медведково в легком шарабанчике, запряженном тяжелым орловцем»¹⁰.

С осени 1907 по весну 1908 г. Федор и Анна, приехав из Гейдельберга в Москву дописывать свои диссертации (Федору для завершения работы по историософии Владимира Соловьева была нужна Румянцевская библиотека), жили уже на съемной квартире. Сведений о ней почти не сохранилось: в мемуарах Степун ограничивается лишь упоминанием о том, что для приема гостей был куплен огромный самовар, а над диваном в кабинете он, как обычно, повесил большой портрет Владимира Соловьева, с которым никогда не расставался и который увез потом в эмиграцию... А летом 1908 г., когда Федор сдавал в Гейдельберге выпускной экзамен, Анна Серебренникова погибла в литовском Ковно (Каунасе), пытаясь спасти подростка, попавшего в стремнину в Немане...

Москва перед мировой войной — отдельная и очень яркая тема Степуна-мемуариста. В отличие от многих сверстников, называвших период 1907–1914 гг. «потерянным временем», периодом «консервативного отката», и мечтавших о новом «приливе», Степуну, напротив, нравился культурный рост России, та энергия, с которой «русская жизнь в “темные годы” реакции боролась против интеллигентской революции»¹¹. Литератор, вскоре прошедший окопы первой мировой войны, уподобил спонтанно развивавшуюся довоенную Москву «ничейной полосе» между охранительством и революционаризмом: «Как в межфронтовой полосе, под перекрестным огнем двух вражьих станов, каким-то чудом сажалась и выкапывалась насущная картошка, так и в России накануне Великой войны наперекор смертному бою охранного отделения и боевой организации, на жалкой почве, как-никак добытой 1905-м годом свободы, выростала какая-то новая, с году на год все крепнувшая жизнь... Силовая станция всероссийской культурной работы находилась, конечно, в Москве, вдали от министерств и правительственных канцелярий»¹².

Коренной москвич Степун был воодушевлен быстрым предвоенным ростом старой столицы — как культурным, так и хозяйственным (здесь явно

¹⁰ Там же. С. 123.

¹¹ Там же. С. 154.

¹² Степун Ф. А. Бывшее и несбывшееся. С. 154, 157.

сказались не только философский диплом Гейдельберга, но и аттестат реального училища): «Бульжные мостовые главных улиц заменялись где торцом, где асфальтом, улучшалось освещение. Фонарщиков с лестницею через плечо и с круглою щеткой для протирания ламповых стекол за пазухой я по возвращении в Москву уже не застал... Молочно-лиловые электрические шары, горевшие поначалу лишь в Петровских линиях, на Тверской и Красной площади, стали постепенно появляться и на более скромных улицах городского центра. Ширилась и разветвлялась трамвайная сеть, уходили в прошлое милые конки»¹³.

Немало страниц посвятил Степун описанию впечатляющих изменений городской архитектуры: «Всюду, как грибы после дождя, вырастали дома. Недалеко от Красных ворот забелела одиннадцатизэтажная громада дома Орлика. У Мясницких ворот высоко подняла свои круглые часы башня нового почтамта... На плоской крыше многоэтажного дома Нирнзее с уютными квартирами для холостяков (комфорт модерн) раскинулось совсем по-европейски нарядное кафе (на этой смотровой площадке первого московского небоскреба в самом центре города Степун, судя по всему, неоднократно бывал. — А.К.). Особенно быстро преображалась “улица святого Николая”, интеллигентский Арбат. Едешь и дивишься — что ни угол, то новый дом в пять-шесть этажей»¹⁴.

Изложение степуновской «метафизики» предвоенной Москвы¹⁵ следует, конечно, дополнить его статьями середины 1930-х гг., посвященными встречам автора с некоторыми выдающимися москвичами-современниками. Когда в январе 1934 г. в Москве скончался Андрей Белый (коренной житель Арбата Борис Николаевич Бугаев), Степун откликнулся на это печальное событие статьёй в парижских «Современных записках»: «После внезапного отъезда Белого из Берлина в Россию, я, думая о Москве, постоянно думал и о нем в ней... С официальной Москвой образ Белого, несмотря на некоторые “коммуноидности” в его последних писаниях, в моем представлении никак не связывался... Нет сомнения — смерть Белого это новый этап развоплощения прежней России и старой Москвы. Это углубление нашей эмигрантской сироты и нашего одиночества»¹⁶.

¹³ Там же. С. 154.

¹⁴ Там же. С. 154–155.

¹⁵ Проблематика «феноменологии ландшафта» — одна из старейших и важнейших в творчестве Степуна. Достаточно вспомнить его раннюю работу 1912 г., посвященную сравнению философского смысла «ландшафтов» итальянской Тосканы, Германии и Центральной России (Степун Ф. К феноменологии ландшафта // Труды и дни. 1912, № 2. С. 52–56).

¹⁶ Степун Ф.А. Памяти Андрея Белого // Степун Ф.А. Сочинения (сост., вступит. статья и коммент. В.К. Кантора). М., 2000. С. 704–705. Степун многократно, особенно часто в 1910–1913 гг., бывал в квартире Андрея Белого на Пречистенском бульваре (в том же доме работали издательство «Мусагет» и редакция журнала «Логос»); в свою очередь, Андрей Белый любил навещать квартиру Степуна в Штатном переулке (см.: Степун Ф.А. Мистическое мировидение. Пять образов русского символизма. СПб.: Изд-во «Владимир Даль», 2012. С. 307–312).

В статье 1934 г., посвященной Андрею Белому, Степун вновь обратился к своей излюбленной теме — так много обещавшему предвоенному культурному взлету России: «В Москве, в которой жил тогда Белый и на фоне которой помню его, шла большая, горячая и подлинно-творческая духовная работа... Писатели, художники, музыканты, лектора и театралы без всяких затруднений находили и публику, и деньги, и рынок»¹⁷. Степун снова подчеркивает глубинно духовный и несомненно демократичный характер этого роста: «В Москве одно за другим возникали все новые и новые издательства — “Весы”, “Путь”, “Мусагет”, “София”... Издательства эти не были, подобно даже и культурнейшим издательствам Запада, коммерческими предприятиями, обслуживающими запросы книжного рынка. Все они исходили... из велений духа и осуществлялись не пайщиками акционерных обществ, а творческим союзом разного толка интеллигентских направлений с широким размахом молодого меценатствующего купечества»¹⁸.

Об этом же написанный тоже в 1934 г. очерк Степуна о Вячеславе Ивановиче Иванове, живущем тогда в Риме¹⁹. Степун не упускал случая подчеркивать (особенно при общении с ревнивыми петербуржцами или мало осведомленными иностранцами) *московское происхождение* Вяч. Иванова, который родился в маленьком домике у Зоосада на углу Егорьевского и Волкова переулков, был крещен в храме Георгия Победоносца в Грузинках, с золотой медалью окончил Первую московскую гимназию и, прежде чем уехать доучиваться за границу, два года слушал курс на историко-филологическом факультете Московского университета²⁰.

В очерке об Вяч. Иванове 1934 г. Степун не в первый раз припомнил парадоксальную мысль Фридриха Шлегеля²¹ о том, что вся древнегрече-

¹⁷ Там же. С. 705.

¹⁸ Там же. С. 705–706.

¹⁹ Эта статья Степуна была первоначально издана на немецком языке, а спустя два года, в 1936 г., напечатана в парижских «Современных записках».

²⁰ См. напр.: *Степун Ф.А. Мистическое мировидение*. С. 222. Добавлю, что когда в 1913 г. Вячеслав Иванов в очередной раз приехал в Москву и поселился на Зубовском бульваре, он стал часто выступать с публичными лекциями. На одной из таких лекций, в большом зале Счетоводных курсов Ф.В. Езерского на Тверской улице, его впервые услышал Степун, о чем вспоминал потом в одном из писем жене: «А вот и нелепое, памятное здание, где я впервые слушал златокудрого дионисиста с его характерною походкой, изысканным наклоном львиной головы и прекрасными белыми руками с черным перстнем» (*Степун Ф.А. Из писем прапорщика-артиллериста. Прага: Изд-во «Пламя», 1926. С. 100*).

²¹ Как известно, свою дебютную статью в основанном им совместно с Сергеем Гессеном журнале «Логос» Степун посвятил именно Шлегелю. Точно так же, как Шлегель, Степун мечтал о том времени, когда мысли «лишатся окончательно всякого оттенка безжизненной парадоксальности и станут послушным принципом живой культурной работы» (*Степун Ф. Трагедия творчества (Фридрих Шлегель) // Логос. Международный ежегодник по философии культуры. 1910, книга первая. С. 171*).

ская культура выросла в свое время «из того творческого досуга, которым в богатеющей Греции располагали высшие слои общества», а, следовательно, «античная праздность — есть высшая форма общественной жизни». Русская жизнь начала двадцатого века, развивает Степун парадокс Шлегеля, «была в этом смысле подлинно античной»: «У всех людей, принадлежавших к высшему культурному слою, у писателей, поэтов, публицистов, профессоров, присяжных поверенных и артистов было очень много свободного времени. Ходить друг к другу в гости, вести бесконечные застольные беседы, заседать и публично дискутировать в философских обществах считалось таким же серьезным делом, как читать университетские лекции, выступать на судебных процессах и писать книги... Несмотря на демократические и социалистические устремления в политике, культура жила своей интимной аристократической жизнью, и лишь в очень незначительной степени капиталом и рынком. По всем редакциям, аудиториям и гостиним ходили одни и те же люди, подлинные перипатетики, члены единой безуставной вольно-философской академии»²².

Степун и сам, как мог, активно включился в предвоенные годы в культурническую работу. Два московских адреса считал он в те месяцы для себя важнейшими. Во-первых, — дом вечерних Пречистенских рабочих курсов в Нижнем Лесном (ныне Курсовом) переулке, где он читал популярный курс философии: «Помнится мне грязноватый кирпичный корпус, к которому меня еженедельно подвозил извозчик, и те темноватые коридоры, которыми я проходил в небольшую поначалу аудиторию, состоявшую на добрую половину из настоящих рабочих. Могу сказать, что к своему первому курсу «Введение в философию» я готовился с очень большим воодушевлением, движимый горячим желанием доказать рабочим, что над всеми людьми царствует единая в веках истина, которая и тогда единит нас борьбою за себя, когда ослепленные ее отрицанием мы озлобленно боремся друг против друга»²³.

²² Степун Ф.А. Вячеслав Иванов // Степун Ф.А. Сочинения. М., 2000. С. 722–723. Ностальгические размышления о предвоенной России, как о «золотом веке культуры», не раз встречаются и у Н.А. Бердяева, и у Б.П. Вышеславцева, и у других русских мыслителей-эмигрантов. Наиболее ярко общую идею о России, как «лучшей Европе», сформулировал в 1938 г. в парижских «Русских записках» друг Степуна — Георгий Федотов: «Петровская реформа действительно вывела Россию на мировые просторы, поставив ее на перекрестке всех великих культур Запада, и создала породу русских европейцев... В течение долгого времени Европа, как целое, жила более реальной жизнью на берегах Невы или Москва-реки (курсив мой. — А.К.), чем на берегах Сены, Темзы или Шпрее» (Федотов Г.П. Судьба и грехи России. СПб., 1992, т. 2. С. 178).

²³ Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. С. 157–158. Дом № 17 в Курсовом переулке, построенный в начале прошлого века по проекту архитектора В.Н. Башкирова, и сегодня сохраняет свою «просветительскую специализацию»: здесь расположен Международный союз инженерных общественных объединений.

И, во-вторых, особняк на углу Воздвиженки и Большого Кисловского переулка, где при «Обществе распространения технических знаний» было организовано «Бюро провинциальных лекторов». Командируемый этим Бюро, Федор Степун объездил в предвоенные годы с просветительскими лекциями пол-России («от Смоленска до Коканда и от Петербурга до Одессы и Кавказа»): «Дело велось широко, горячо, с подлинным идеалистическим подъемом и в том прогрессивном духе, которые были всегда характерны для начинаний “отзывчивой русской общественности”... На доме по Большой Кисловке должна быть со временем прикреплена мраморная доска с выражением глубокой благодарности всем, кто бескорыстно в нем трудился на пользу России»²⁴.

И в предвоенные годы, и позднее — в эмиграции, Степун был абсолютно уверен: «Еще десять-двадцать лет дружной, упорной работы и Россия бесспорно вышла бы на дорогу окончательного преодоления того разрыва между “необразованностью народа и ненародностью образования”, в котором славянофилы правильно видели основной грех русской жизни»²⁵. Впрочем, он ясно понимал, что и в самом этом предвоенном росте России далеко не все обстояло благополучно: «В московском воздухе стояло не только благоухание ландышей, украшавших широкую лестницу морозовского особняка (где проходили заседания Религиозно-философского общества. — А.К.), ...но и пахло тлением и разложением. Несчастье канунной России заключалось в том, что в общественности и культуре цвела весна, в то время, как в политике стояла злая осень. Власть лихорадило: она то нерешительно отпускала поводья, то в страхе бессмысленно затягивала их... Ясно, что трупный запах заживо разлагавшейся власти, отнюдь не столь злой и жестокой, как в те времена казалось, но уж очень беспомощной в делах государственного управления и окончательно безвольной, не мог не отравлять самых светлых начинаний предвоенных лет»²⁶.

В 1911 г. Степун вторично женился — на студентке историко-философского отделения Высших женских курсов Наталье Никольской. Ее родители — Николай Сергеевич и Серафима Васильевна — жили в большой квартире на Тверской улице, в пятиэтажном доходном доме товарищества «А. Бахрушина сыновья», построенном в 1900–1901 гг. в стиле «ар-нуво» архитектором Карлом Карловичем Гиппиусом, семейным архитектором купцов и меценатов Бахрушиных. Владельцем дома был Алексей Александрович Бахрушин — собиратель театральной старины, создатель частного литературно-театрального музея.

²⁴ Там же. С. 45, 160–161. Сегодня в этом доме по адресу: Большой Кисловский переулок 1/12 работает Институт языкознания РАН.

²⁵ Там же. С. 161.

²⁶ Там же. С. 164–165.

Тесть Степуна владел небольшой фирмой, продающей фотографические и типографские принадлежности, и выбор им квартиры в доме на Тверской был неслучаен: нижние два этажа, выходящие огромными окнами на оживленную (хотя в те времена еще довольно узкую) улицу, были заняты московским представительством французской фирмы братьев Пате, специализировавшейся на продаже патефонов, фонографов, проекционных аппаратов, а позднее и самостоятельном производстве фильмов. Квартиры жильцов находились на трех верхних этажах: вход был не только с улицы, но и с большого двора со стороны Козихинского переулка, где Гиппиус спроектировал еще несколько «бахрушинских» многоквартирных домов классом поскромнее. (Доходный дом Бахрушина на Тверской, сегодня числящийся под № 12, уцелел в почти неизменном виде после расширения и радикальной реконструкции улицы в конце 1930-х гг.)²⁷.

В последние предвоенные годы, в 1912–1914 гг. Федор и Наталья Степун снимали квартиру в доме № 13 по Новослободской улице («*небольшом под вековым тополем домике*»²⁸), принадлежавшей дворянке В.Н. Новиковой. В соседней квартире жил сын домовладелицы — Михаил Михайлович Новиков, ученый-зоолог, знакомый Степуна по Гейдельбергскому университету. В 1911 г. Новиков в числе 130 других профессоров и приват-доцентов демонстративно покинул Московский университет в знак протеста против антистуденческих репрессий правительства. Новиков, в то время гласный Московской думы, где он занимался проблемами народного просвещения, перешел в Коммерческий университет, возглавляемый его другом П.Н. Новгородцевым, а в 1912 г. был избран депутатом IV-й Государственной думы от кадетской партии. (Осенью 1916 г. М.М. Новиков вернулся профессором в Московский университет, в 1918 г. был избран деканом физико-математического факультета, а весной 1919 г. стал избранным ректором Московского университета. Осенью 1922 г. Новиков был выслан из страны «философским пароходом» и впоследствии много общался с Федором Степуном в эмиграции).

Военные годы «прапорщика-артилериста» Федора Степуна являются темой отдельного исследования²⁹. Укажем здесь лишь на тот факт, что честно исполняя свой офицерский долг, интеллеktуал Степун слабо верил в удачный для России исход мировой войны: «Иной раз, внутренне созерцая

²⁷ Сохранился (хотя и находится в состоянии затянувшийся реконструкции) и соседний, в сторону Кремля, дом с бывшей «булочной Филиппова», фешенебельной кофейней в первом этаже и гостиницей «Люкс», отданной большевиками в 1919 г. под общежитие НКВД, потом Коминтерна, и ставшей, в конце концов, «Центральной».

²⁸ *Степун Ф.А.* Бывшее и несбывшееся. С. 230. Весь квартал старых домов по нечетной стороне Новослободской улицы не сохранился.

²⁹ *Кара-Мурза А.А.* Степун, Москва и мировая война // Вопросы философии, 2015, № 10. С. 83–86.

Россию и всю накопившуюся в ней ложь, я решительно не представляю себе, как мы доведем войну не до победного, конечно, но хотя бы до не стыдного, приличного мира... Вокруг неразрешимых вопросов внутреннего бытия России царствует полная отрешенность ее сынов от всех задач сознательного национального строительства, кружит какая-то бескрайняя свобода в решении себе безудержной спекуляции, лихого воровства, шантажа, кутежа и разврата»³⁰. Тем не менее, Степун попытался принять личное участие в демократической трансформации России после падения самодержавия (себя он до конца жизни считал «человеком Февраля»): был делегатом от фронта в Центральном Исполнительном комитете в Петрограде, а летом-осенью 1917 г. работал в Политуправлении при военном министерстве, будучи близким сотрудником Б.В. Савинкова.

После переезда поздней осенью 1917 г. из революционного Петрограда в Москву Степуны более года прожили в квартире Никольских на Тверской улице. Не всякий извозчик соглашался тогда везти на Тверскую и в Козихинский переулочок, находившихся в центре боев белых юнкеров с красной гвардией: стреляли и от Страстного монастыря, и с крыши высотного дома Нирнзее в Гнездиновском переулке. Закрепившиеся в городе большевики разместили свой Военно-революционный комитет совсем рядом — в бывшем доме генерал-губернатора. Степун вспоминал о тех днях: «По внешности наша жизнь была как будто бы еще та же, на самом деле, все было уже иным. Прошрое еще присутствовало в нашем домашнем обиходе, но лишь так, как угасающий больной присутствует среди здоровых. Всякое слово о нем было словом прощания с ним»³¹.

Перебираясь в Москву, Степун рассчитывал подальше уйти от утомившей и только раздражавшей его петроградской политики: все-таки, в военно-политических структурах Временного правительства он был заметной фигурой. Позднее он вспоминал о своих политических настроениях первых послереволюционных месяцев и своем неучастии в работе ушедших в подполье антибольшевистских организаций: «Зная понаслышке об этих политических объединениях, я и сознательно, и бессознательно держался в стороне от них. Не то, чтобы я отрицал возможность всякой борьбы, но я уже не верил ни в себя, как политического деятеля, ни в политические способности разогнанных большевиками сил. Мне казалось, что люди, не сумевшие удержать так легко доставшуюся им власть, вряд ли смогут вернуть себе ее при гораздо более сложных обстоятельствах. В те дни мною владела уверенность, что чашу большевистского яда России придется выпить до дна»³².

³⁰ Там же. С. 244.

³¹ Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. С. 466.

³² Там же. С. 463.

В эмигрантских очерках «Мысли о России» Степун подробно написал о том, почему вооруженная борьба против большевиков казалась ему «бесмысленной и бессельной»: «Было ясно, что большевизм — одна из глубочайших стихий русской души: не только ее болезнь и ее преступление. Большевики же совсем другое: всего только расчетливые эксплуататоры и потакатели большевизма... Дело было всё время не в них, но в той стихии русского безудержа, которую они оседлать — оседлали, которую шпорить — шпорили, но которой никогда не управляли... Историческая задача России в изжитые нами годы, в годы 1918–1921, заключалась не в борьбе с большевиками, но в борьбе с большевизмом: с *разнузданностью нашего безудержа* (курсив Степуна. — А.К.). Эту борьбу нельзя было вести никакими пулеметами; ее можно было вести только внутренними силами духовной сосредоточенности и нравственной выдержки»³³.

Между тем, в Москве, примерно до середины 1918 г., сохранялась некоторая свобода печати. Сам Степун объяснял это тем, что «закрывая газеты, большевики не могли не чувствовать, что они возвращаются в ненавистный им старый мир, и это в глубине души было им, быть может, все же неприятно. Дух творческого радикализма и рассекающей жестокости был им исконно свойственен, скудный же дух реакции завладевал ими лишь постепенно». По мнению Степуна-социолога, «утверждение наших либералов и социалистов, что дух большевизма с самого начала был духом реакции, социологически, конечно, неверно. Несомненно, большевики войдут в историю наследниками Великой французской революции, а не наследниками романтически-националистической реакции против нее, как властители фашистской Италии и национал-социалистической Германии»³⁴.

Степун согласился тогда войти в редакцию формально независимой, а по сути правоэсеровской, газеты «Возрождение», которой финансово помогали через свои посольства союзники по Антанте, и во главе которой встал близкий друг еще по Гейдельбергу Илья Исидорович Бунаков-Фондаминский: «Ему, влюбленному во французскую культуру, французский язык и французскую журналистику, старому парижскому эмигранту, уже давно начавшему разочаровываться в политике как таковой, страстно мечталось создать в Москве большую газету нового типа, некий социалистический “Temps”»³⁵.

³³ Степун Ф.А. Мысли о России. Очерк первый // Современные записки, Париж, 1923. Кн. 14. С. 396–397.

³⁴ Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. С. 468–470.

³⁵ Дружеские и литературно-издательские связи с Ильей Бунаковым-Фондаминским Степун сохранил и в эмиграции: в Париже он станет сотрудником и автором журнала «Современные записки», одним из редакторов которого был Бунаков, а позднее организует вместе с ним и Георгием Федотовым еще одно замечательное издание — «Новый град».

Конечно, Бунаков-Фондаминский обратился тогда к Степуна «не как к политическому деятелю, а «как к писателю-философу» и предложил ему возглавить культурно-философский отдел «Возрождения». Тот, почти не раздумывая, согласился: «Дело окультуривания русского демократического социализма было мне близко и дорого; к тому же предложение газеты и с внешней стороны устраивало мою жизнь. Идти на службу в какое-нибудь большевистское учреждение было для меня неприемлемо. Зарабатывание же пропитания случайной публицистической работой было крайне трудно. Вполне достаточное месячное вознаграждение за интересную работу сразу же разрешало все трудности практической жизни»³⁶.

Каждое утро, в течение нескольких месяцев, Степун ходил пешком в редакцию «Возрождения», находившуюся в новопостроенном «доме-утиуге» на углу Спиридоновки и Гранатного переулка. Идти было недалеко: до угла Тверской, где еще стояла уже закрытая большевиками церковь Дмитрия Солунского (снесена в 1934 г.), мимо громады Страстного монастыря (через год он будет упразднен, а его кельи заняты Военным комиссариатом Троцкого) и далее вниз по Тверскому бульвару. И всякий раз охватывало Степуна странное ощущение новой Москвы — «будто бы еще своей», но «уже ускользающей от тебя»³⁷. Единственное, что удерживало в его сознании прежний образ Москвы — это Пушкин, «светлое имя которого еще в раннем детстве таинственно прозвучало мне в соседнем с нашим Кондровым “Полотняном заводе” Гончаровых»³⁸. Ибо оставались на своих местах и стоявший тогда спиной к Тверскому бульвару пушкинский памятник Опекушина, и Церковь Большого Вознесения у Никитских ворот, где поэт венчался³⁹.

Уже в эмиграции, в цикле очерков «Мысли о России» (бесспорно выдающихся по своей историософской глубине), Федор Степун попытался осмыслить и описать произошедший с Россией и искореживший его собственную жизнь экзистенциальный переворот, сломавший все привычные человеческие «идентичности»: «Каждый перестал быть тем, чем был, и каждый сразу мог стать всем... С невероятной быстротой исчезли все фиктивные перегородки жизни, и тысячи тысяч судеб сразу же вышли из предназначенных им рождением и воспитанием форм. Словно кто внезапно рванул все двери

³⁶ Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. С. 470–471.

³⁷ Там же. С. 474.

³⁸ Там же. В усадьбе породнившихся с Пушкиным Гончаровых в Полотняном заводе А.С. Пушкин бывал дважды — в 1830 и 1834 гг.

³⁹ Во времена Степуна рядом с Церковью Большого Вознесения еще стояла шатровая колокольня старого Вознесенского храма времен царицы Натальи Нарышкиной — матери Петра I (снесена в 1937 г.). Новая колокольня построена в 2002–2004 гг.

классовых, сословных и профессиональных убежищ, выгнав наши души в бескрайние просторы чего-то исконно и первично человеческого»⁴⁰.

Впрочем, во время наступления на Москву генерала А.И. Деникина в июле — августе 1919 г. и вероятной перспективы краха большевиков, в среде новой советской номенклатуры начался процесс «нового оборотничества». Степун вспоминал потом один московский вечер в кругу сотрудничающих с большевиками, а теперь серьезно призадумавшихся высокопоставленных «военспецов»: «По обывательской Москве ходили слухи, что уже заняты Рязань и Кашира... Вывернутая наружу красная генеральская подкладка была у всех присутствующих явно подбита траурным крепом... По глазам и за глазами у всех бегали какие-то странные, огненно-лихорадочные вопросы, в которых перекликалось и перемигивалось все: лютая ненависть к большевикам с острою завистью к успехам наступающих добровольцев..., боязнь развязки, с твердою верою — ничего не будет, что ни говори, наступают свои... Атмосфера была жуткая и призрачная, провоцирующая, провокаторская»⁴¹.

Согласно Федору Степуну, большевистский переворот в России произвел буквально тектонический сдвиг человеческого бытия, не только выбив миллионы из привычных контекстов существования, но и до предела оголил все его первичные смыслы: «В страшные первые годы большевистского царствия мы не только поняли, что есть хлеб, кров, одежда, но также и то, что есть любовь, дружба и верность; родина, государство, семья. Поняли, кто поэт, кто ученый, кто герой, кто трус, кто настоящий русский человек, а кто на Руси прохожий. Все встало и определилось в своем подлинном удельном весе»⁴². Эту мысль, впервые высказанную в очерке 1925 г., Степун затем несколько иначе изложил в более поздних мемуарах: «По всей линии разрушающейся цивилизации новый советский быт почти вплотную придвигался к бытию... Сквозь внешнюю оболочку вещей всюду видимо проступали заложенные в них первоидеи... В свете «красной звезды» всем нам становилось по-новому ясно, что есть любовь, дружба, чем поэт отличается от версификатора, подлинный философ от профессора философии, герой от позера и коренной русский человек от случайного по Руси прохожего. Распознавание сущности становилось жизненною необходимостью для каждого из нас, потому что на каждом перекрестке стояла судьба, потому что каждый поворот означал выбор между верностью себе и предательством себя»⁴³.

⁴⁰ Степун Ф.А. Мысли о России. Очерк шестой // Современные записки, Париж, 1925, кн. 23. С. 352–353.

⁴¹ Степун Ф.А. Мысли о России. Очерк четвертый // Современные записки, Париж, 1924. Кн. 19. С. 329–330.

⁴² Там же. С. 352.

⁴³ Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. С. 459–460.

Изменилась, согласно Степуну, и сама «метафизика» Москвы, быстро утрачивающей свою привычно-передовую цивилизующую роль: «Отсталая деревня внезапно оказалась во главе жизни. Город и фабрика начали жаться к ней и просить у нее милостыни: насущного хлеба и насущных устоев; как это ни странно, но деревня не только хозяйственно, но и культурно оказалась сильнее города, сохранив и под диктатурой пролетариата те старые формы бытового своего обихода, которые так легко уступили большевикам цивилизованные столицы. Однако не только вхождение в жизнь деревни и оскудение города меняло привычную перспективу времени, пробуждая в душе новое чувство бренности и вечности жизни,— менял ее и сам вид большевицкого города»⁴⁴.

В 1920-е гг., в Берлине, Париже, Дрездене Федор Степун много писал о новой большевистской Москве, изменившей, по его мнению, не только облик, но и свое существо: «Москва 1919 года напоминала, особенно под вечер и ночью, древнюю Москву Аполлинария Васнецова. Темные окна. Занесенные тротуары. Нанесены сугробы. Ныряют по ним изредка одинокие извожичьи санки. Скрипит в тишине на морозе снег. Идешь — озираешься, нет ли где за углом чекиста-опричника, и невольно вздрагиваешь, услышав чьи-то смелые, громкие голоса. Но не то, конечно, в первую очередь важно, что чекист, смешивая исторические перспективы, обращал наши взоры к древнему облику Москвы, а то, что, стирая грани жизни и смерти, обращал наши души к Вечности»⁴⁵. Позднее, в своих мемуарах, Федор Степун дополнил и развил эту картину: «По-новому ощущались и пространства Москвы. По всему городу... просторными пустырями переливались через растасканные заборы, еще Герценом прославленные, московские двory. По этим просторам в разные стороны разбегались утопанные тропки, по которым с утра до ночи с оглядкой спешил нагруженный кладью люд. На привокзальных площадях “древними кочевьями” темнели толпы народа, сутками ожидавшие отхода поезда... По ночам от всеобщего беспорядка часто горели деревянные окраины города. Тогда казалось, что Москва бежит от француза и, спасаясь, сжигает себя»⁴⁶.

Москва, внешне отброшенная в архаику, в своих обнажившихся метафизических глубинах оказалась перед лицом Вечности — в этом проявилась новая, возможно, самая фундаментальная ее идентичность: «На каждом перекрестке стояла судьба, каждый поворот жизни был выбором между верностью и предательством, между честью и подлостью. Во внешне до убожества упрощенной жизни на каждом шагу свершались нравственно бесконечно

⁴⁴ Степун Ф.А. Мысли о России. Очерк шестой. С. 353–354.

⁴⁵ Там же. С. 355.

⁴⁶ Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. С. 460–461.

сложные процессы. Обесмыслились все впрок заготовленные точки зрения, жизнь требовала живых пытливых глаз»⁴⁷.

Трудно было ожидать от большинства городских обывателей способности выдержать подобное испытание — эту мысль, неоднократно посещавшую его в обольщенной Москве, Степун впоследствии разовьет в соответствующих главах эмигрантских мемуаров: «Тысячи и тысячи людей, насильственно выгнанных революционным законодательством и произволом масс из своих... городских особняков и даже скромных интеллигентских квартир, бросали вместе с накопленным добром и весь свой мирозерцательный багаж, дабы хоть кое-как устроиться под спасительной крышей марксистской идеологии. Толпы этих обнищавших, внутренне неприкаянных переселенцев заполняли собою... всевозможные советские учреждения, придавая жизни неуловимо-призрачный, двоящийся характер. Охваченные со всех сторон партийным шпионажем, эти новоявленные “товарищи” легко запутывались в нем и, спасая себя, выдавали других»⁴⁸.

Однако, одновременно с массовой антропологической деградацией, свершался в Москве и противоположный процесс — процесс удивительного «восхождения души» и «жизни на вершинах»: «О, конечно, не всех, но тех, в которых спасалась душа России... Глубже всего свершалось в Москве, которая отнюдь не была только грязным и разваливающимся, но и совершенно фантастическим городом, в котором призрачно переплетались все времена и пространства русской истории»⁴⁹. И тому были не менее глубокие экзистенциальные причины, чем инстинкт физического самосохранения: «Чтобы устоять, чтобы оградить себя от самого страшного, от гибели души и совести, надо было иметь живые, неподкупные глаза и владеть даром интуитивного распознавания “духов”. Жизнь на “вершинах» становилась биологической необходимостью; абсолютное “бытие” переставало быть возвышенным предметом философского созерцания и поэтического вдохновения, с каждым днем оно все больше становилось единственно возможною опорой нашей каждодневной жизни»⁵⁰.

В своих мемуарах Федор Степун приводит несколько примеров этой «вершинной жизни», разумеется, разорванной и фрагментарной, но единственно для автора *своей*. Одним из таких «островков» прежней Москвы была для Степуна квартира его друга А.С. Шора на углу Большой Никитской улицы и Большого Кисловского переулка⁵¹. Александр Соломонович Шор,

⁴⁷ Там же.

⁴⁸ Там же. С. 458.

⁴⁹ Там же. С. 461.

⁵⁰ Там же.

⁵¹ Этот когда-то очень красивый доходный дом с угловыми ажурными балкончиками, построенный по проекту В.А. Мазырина в 1890-х гг., подвергся в прошлом веке многочисленным переделкам и сейчас снова находится на реконструкции.

бывший владелец фабрики роялей и находящегося в нижнем этаже его дома музыкального магазина, оказавшийся при Советской власти простым на-стройщиком роялей с сильно поредевшей клиентурой, проживал в квартире на Большой Никитской с женой Раисой Моисеевной (всю жизнь проработавшей в благотворительности), сыном-музыкантом Юрием и дочерью Ольгой — историком и искусствоведом, впоследствии активно печатающейся в эмиграции под псевдонимом «Ольга Дешарт»⁵².

Часто в квартиру к А.С. Шору приходил его младший брат, пианист-виртуоз и музыкальный педагог Давид Соломонович Шор (организатор, вместе со скрипачом Крейном и виолончелистом Эрлихом, европейски знаменитого «Московского трио»), а также другие члены многочисленного семейства, в основном из врачебного сословия, жившие и практикующие на той же Большой Никитской ближе к бульварам. В гостеприимный и хлебо-сольный дом («у Шоров дольше, чем у других, держались кое-какие последние запасы, которые они, не заглядывая в будущее, радушно и беззаботно скармливали всем, кто попадал к ним») часто приходили подискутировать об искусстве, философии и политике Вячеслав Иванов и Густав Шпет.

Степуну особенно запомнились последние перед его высылкой из России вечера в квартире Шоров в июле-августе 1922 г.: «Как памятны мне поздние летние вечера на небольшом балконе у Шоров. Летняя Москва была по-старому полна своею милою провинциальною грустью. Пахло пылью, нагретым за день железом крыш и увядающим жасмином... В гостинной о чем-то несбыточном раздумчиво пела виолончель Юрия Шора и было до полной утраты ощущения своего собственного “я” непонятно, почему засевшие в недалеком Кремле большевики творят в этом тихом, печально-прекрасном мире свое злое, громкое, бескорбно-мажорное дело и почему, творя его, они приглашают в Кремль трио “Шор, Крейн и Эрлих” и слушают музыку чуть ли не со слезами на глазах»⁵³.

Действительно, выступая на приемах в Кремле, Давид Шор не раз пользовался сентиментальностью некоторых его обитателей, чтобы выхлопотать чье-то помилование. Когда в том же, печальном для интеллигенции, 1922-м году в Советской России начались массовые аресты сионистов, Д. Шор, через своего приятеля Льва Каменева-Розенфельда (председательствовавшего тогда, в связи с болезнью Ленина, на Политбюро), добился для них замены тюрьмы и ссылки высылкой за границу «без права возвращения». В общей сложности такая мера была применена до начала 1930-х гг. примерно к двум

⁵² В своих мемуарах Ф.А. Степун так написал о совсем юной Ольге Александровне Шор: «Исключительно умная, многосторонне образованная и очень талантливая девушка, с большим успехом читавшая лекции по истории искусства на всевозможных рабочих курсах» (Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. С. 511).

⁵³ Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. С. 512.

тысячам советских евреев (позднее, выходцы из России, которым инициатива Шора спасла жизнь, посадили в его честь рощу в поселении Бен-Шемен). В 1927 г. Давид Шор навсегда уехал в Палестину. Он скончался в Тель-Авиве в 1942 г.

Другим «духовным прибежищем» стала для Степуна квартира философа и публициста Николая Александровича Бердяева в Большом Власьевском переулке, где проходили первые заседания «Вольной Академии духовной культуры»⁵⁴ Степун искренне считал Бердяева (с которым часто расходился во взглядах) «одной из наиболее центральных фигур философской, да и вообще духовной жизни советской Москвы»: «Большевистский вихрь не только взволновал его, как всех нас, но и оплодотворил, как немногих. В его голове и сердце неустанно клокотали тысячи мыслей и страстей. Ни раньше, ни позже не чувствовал я вулканической природы бердяевского духа так сильно, как в последние годы нашей жизни в Москве»⁵⁵.

Степуну принадлежит и, возможно лучшее в отечественной литературе, описание духовно насыщенной атмосферы последнего в Москве бердяевского дома: «Небольшая писательская квартира, чадит железная печка, холодно. Кто в драповом пальто, кто в фуфайке, многие в валенках. На чайном столе ржаной символ прежних пирогов и печений и изобретение революции, керосиновая свеча. В комнате почти вся философствующая и пишущая Москва. Иногда до 30–40 человек. Жизнь у всех ужасная, а настроение бодрое и в корне, по крайней мере, — творческое, во многих отношениях, быть может, более существенное и подлинное, чем было раньше, в мирные, рыхлые, двоенные годы»⁵⁶. Позднее, в мемуарах, Степун добавит к этому описанию фразу, важную для него лично: «Если бы в моей памяти не темнел небольшой кабинет Николая Александровича и не светилась бы красными бликами шелковая обивка его гостиной, мне было бы много грустнее вспоминать нашу подсоветскую жизнь»⁵⁷.

Добавлю, что именно в кабинете Бердяева, выходящем во двор с полуразрушенным временем и людьми домом, где прошло детство Герцена, и сговорились в 1921 г. о сборнике «Освальд Шпенглер и Закат Европы» четыре его автора: Федор Степун, Николай Бердяев, Семен Франк и Яков Букшпан. Первые трое, как известно, были вскоре высланы из России, а четвертый, талантливый экономист Я.М. Букшпан, отказавшийся покинуть страну, был через несколько лет расстрелян.

⁵⁴ Подробнее об этом, последнем московском адресе Н.А. Бердяева см.: *Кара-Мурза А.А. Бердяевская Москва. Опыт философского краеведения // Философские науки. 2014, № 4. С. 71–77.*

⁵⁵ *Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. С. 508.*

⁵⁶ *Степун Ф.А. Мысли о России. Очерк первый. С. 399.*

⁵⁷ *Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. С. 510.*

Из других степуновских зарисовок послереволюционной Москвы выделяется рассказ об одном из публичных заседаний Академии духовной культуры в нетопленной аудитории Высших женских курсов в Мерзляковском переулке: «Все сидели в пальто, шубах, валенках; как во внешней обстановке, так и в тревожном настроении собравшихся чувствовалось наступление вражьей власти и повелительная необходимость не говорить перед ее лицом никаких случайных, поверхностных и праздных слов»⁵⁸. С выступавшим в качестве докладчика Бердяевым вступил в полемику другой мэтр московской философии Густав Густавович Шпет: «Отдельных возражений Шпета я не помню, помню только, что он запальчиво нападал на христианство и с непонятною страстностью защищал в большевистской Москве... Элладу. В этом выверте была, конечно, своя, шпетовская логика. Думаю, что, преувеличенно ощущая внутреннюю близость христианского и коммунистического утопизмов, Шпет только потому и говорил о светлой, трезвой, здешней Греции, что его раздражал традиционный в Религиозно-философской академии взгляд на Москву, как на третий Рим. Какой — к черту — третий Рим, когда в Кремле засели большевики! Не расстрелять ли вместе с большевиками и христиан, чтобы наконец-то вытрезвилась матушка-Русь»⁵⁹.

Несмотря на дружеские отношения с Бердяевым и обоюдно прохладные со Шпетом, Степун, похоже, не был равнодушен к логике последнего. Ему, прошедшему школу строгого философствования в Гейдельберге и Марбурге, была чужда спекулятивная «пан-идеологизация» (термин Степуна) жизненных явлений. В 1933 г., отвечая на анкету эмигрантского «Пореволюционного клуба»⁶⁰ (потом этот ответ был перепечатан в журнале «Новый град»), Степун с горечью написал о идеологических мифах, долгие годы насильвавших русскую жизнь и, в итоге, приведших ее к катастрофе. И первым в ряду этих убийственных мифов он назвал как раз идею «Москвы — третьего Рима»: «Думаю, что нам... необходимо стать гораздо более трезвыми, чем были наши предшественники-славянофилы. Москва — третий Рим..., Россия — третья сила, которой суждено примирить безбожного человека Запада и бесчеловечного Бога Востока, Россия — единственный оплот против западно-европейской революции — вот несколько примеров того, чего больше не надо, что потерпело страшное крушение, отчего становится

⁵⁸ Там же. С. 149.

⁵⁹ Там же.

⁶⁰ «Пореволюционный клуб» был основан в мае 1932 г. в Париже по инициативе местного отдела Союза российских национал-максималистов и объединил многих умеренных эмигрантских литераторов и политиков. В его деятельности принимали активное участие парижские друзья Федора Степуна, работавшего тогда в Дрездене, — И.И. Бунаков-Фондаминский, Г.П. Федотов и монахиня Мария (Е.Ю. Скобцова).

как-то стыдно при взгляде на Советскую Россию и на нашу общественную вину и немощь»⁶¹.

Вообще, одна из фундаментальных философских идей Ф.А. Степуна, окончательно продуманная им уже в эмиграции, — необходимость строгого различения *идей* и *идеологий*. «Идея», согласно Степуну, — это «структура бессознательного переживания», в отличие от «идеологии», которая есть «построение теоретического сознания»⁶². Поэтому сам он никогда не пытался сформулировать, например, некую особую «русскую» или «московскую идею», — но всегда стремился уловить и по возможности адекватно передать смыслы, прорастающие снизу: «Не надо формулировать идеи. Идея... — это зерно, это “путь зерна», это органический рост и цветение, нечто изнутри каждому причастному идее ведомое, но одновременно тайное, сокровенное, а потому и неизреченное»⁶³. Поэтому «формула России», предложенная Степуном звучит так: «Идея России заключается в защите Божьих замыслов (идей) от человеческих выдумок (идеологий) и в блюдении себя, как главной твердыни на фронте идей... Я уверен, что без внутреннего сопротивления отвлеченному раскрытию русской идеи обязательно переусердствуешь в ее формулировке; а это весьма опасно не только для теории, но и для политической практики... Русскость есть качество духовности, а не историософский, политический и идеологический монтаж»⁶⁴.

Оказавшись в Германии и ностальгируя (что вполне естественно) по Москве своей молодости, Ф.А. Степун, однако, не мог согласиться с бытовавшим в эмигрантских кругах убеждением, что это, мол, новые большевистские правители «беспощадно стерли с Москвы ее стародавний облик». «Облик этот начал меняться задолго до большевиков, — возражал Степун. — Спору нет: большевизм проявил в своем коммунистически-государственном грондерстве много бестактности и безвкусицы, но ведь и в вольном меценатски-купеческом строительстве не было недостатка ни в том, ни в другом. Достаточно вспомнить Врубелевскую мозаику на Метрополе, громадные золотом окаймленные лиловые ирисы всем нам памятного особняка <Рябушинского> недалеко от Никитских ворот, неоготический

⁶¹ Степун Ф. Идея России и формы ее раскрытия. Ответ на анкету Пореволюционного Клуба // Новый град, Париж, 1933, № 8. С. 19–20. В своей относительно поздней статье «Москва — третий Рим» Степун писал, что от идеи старца Филофея идет прямая линия к новейшей большевистской идеократии с ее идей «Москвы — столицы Третьего Интернационала» (Степун Ф.А. Москва — третий Рим // Степун Ф.А. Сочинения. М., 2000. С. 596–611).

⁶² Степун Ф.А. Религиозный смысл революции // Современные записки, Париж, 1929, № 40. С. 441.

⁶³ Степун Ф. Идея России и формы ее раскрытия. С. 16.

⁶⁴ Там же. С. 18, 20. Подробнее о философском различии Степуном «идей» и «идеологий» см.: Кара-Мурза А.А. Как идеи превращаются в идеологии: российский контекст // Философский журнал, 2012, № 2. С. 34–40.

замок <Зинаиды> Морозовой глубоко во дворе на Спиридоновке, и знаменитый по своей нелепости особняк <Арсения Морозова> на Воздвиженке в мавритански-готическом стиле, с его усыпанными раковинами и окантованными каменными морскими канатами башнями»⁶⁵. По мнению Степуна, «все эти стилистические изощрения подходили к старой Москве не больше, чем здание Моссельпрома»⁶⁶.

Но в степуновской констатации того, что Москва начала радикально меняться по меньшей мере за десятилетие до прихода неомодернистов-большевиков, проявился и его своеобразный оптимизм: «Единственное, что можно сказать в защиту вольного московского строительства, это то, что в Москве всякая нелепая причуда всегда была больше к лицу, чем покорное послушание закону планового строительства»⁶⁷. «Иногда мне, впрочем, думается, — добавлял Степун, — что при внимательном рассмотрении советской столицы, образ которой, несмотря на сотни фотографий, мне все еще как-то не видится, и в ней где-нибудь да скажется исконный русский дар всё — хорошо ли, плохо ли — переделывать на собственный лад»⁶⁸.

«Идеальная Москва» для Степуна — это непрерывное вольное творчество, самовоспроизводящаяся энергетика города, не опосредованная ни буржуазным рынком, ни, тем более, чьей-то авторитарной волей. Как бы там ни было, ясно то, что сам Ф.А. Степун, москвич не только по рождению, но и по духу, внес в осмысление *метафизики* Москвы, а, значит, и в ее пребывающую в постоянном развитии *идентичность*, свои, абсолютно неповторимые краски и ноты.

...А перед самым отъездом в вынужденную эмиграцию Ф.А. Степун вдруг снова, во всей полноте, в последний раз ощутил *свою* Москву: «Паспорта лежали в кармане. До отъезда оставалась неделя. Каждый день мы с женой ходили к кому-нибудь прощаться. Ходили по всей Москве: со Смоленского рынка на Солянку, с Мясницкой к Савеловскому вокзалу, и странное, трудно передаваемое чувство с каждым днем все больше и больше укреплялось у нас в душе: *чувства возвращения нам нашей Москвы* (курсив мой. — А.К.), Москвы, которую мы уже долго не видали, как будто совсем потеряли и вдруг снова нашли. В этом новом чувстве нашей Москвы снова торжествовала свою победу вечная диалектика человеческого сердца, которое окончательно овладевает предметом своей любви всегда только тогда, когда его теряет»⁶⁹.

Казалось бы, невозможно сформулировать абсолютную человеческую уверенность в своей глубинной *московской идентичности* более точно.

⁶⁵ Там же. С. 155.

⁶⁶ Там же.

⁶⁷ Там же.

⁶⁸ Там же.

⁶⁹ Степун Ф.А. Мысли о России. Очерк первый. С. 398–399.

И, тем не менее, ранне-эмигрантский очерк Федора Степуна о «прощании с Москвой» в октябре 1922 г. заканчивается еще более удивительным фрагментом: «Весь вагон давно спит, лишь мы с женой стоим у окна. Я смотрю в черную ночь и страницу за страницей листаю свои воспоминания за пять безумных лет. И странно, чем дальше я листаю их, тем дальше отодвигается от души приближающаяся ко мне разумная Европа, тем значительнее вырисовывается в памяти удаляющаяся от меня безумная Россия»⁷⁰.

Литература

Кантор В. Как издают шедевры. О публикации русского варианта мемуаров Ф. Степуна «Бывшее и несбывшееся». Письма Федора Степуна в издательство им. Чехова // Вопросы литературы, 2006, № 3. С. 278–319.

Кара-Мурза А.А. Бердяевская Москва. Опыт философского краеведения // Философские науки. 2014, № 4. С. 71–77.

Кара-Мурза А.А. Как идеи превращаются в идеологии: российский контекст // Философский журнал, 2012, № 2. С. 34–40.

Кара-Мурза А.А. Степун, Москва и мировая война // Вопросы философии, 2015, № 10. С. 83–86.

Степун Ф.А. Автобиографический очерк // Старые — молодым. Мюнхен, 1960.

Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. СПб, Алетей, 2000.

Степун Ф. Идея России и формы ее раскрытия. Ответ на анкету Пореволюционного Клуба // Новый град, Париж, 1933, № 8. С. 19–20.

Степун Ф.А. Из писем прапорщика-артиллериста. Прага: Изд-во «Пламя», 1926.

Степун Ф. К феноменологии ландшафта // Труды и дни. 1912, № 2. С. 52–56.

Степун Ф.А. Мистическое мировидение. Пять образов русского символизма. — СПб., издательство «Владимир Даль», 2012. С. 307–312.

Степун Ф.А. Москва — третий Рим // Степун Ф.А. Сочинения. М., 2000. С. 596–611.

Степун Ф.А. Мысли о России. Очерк первый // Современные записки, Париж, 1923. Кн. 14.

Степун Ф.А. Мысли о России. Очерк четвертый // Современные записки, Париж, 1924. Кн. 19.

Степун Ф.А. Мысли о России. Очерк шестой // Современные записки, Париж, 1925. Кн. 23.

Степун Ф.А. Памяти Андрея Белого // Степун Ф.А. Сочинения (сост., вступит. статья и коммент. В.К. Кантора). М., 2000. С. 704–705.

Степун Ф.А. Религиозный смысл революции // Современные записки, Париж, 1929, № 40.

Степун Ф.А. Сочинения (сост., вступит. статья и коммент. В.К. Кантора). М.: РОССПЭН, 2000. — 1000 с.

Степун Ф. Трагедия творчества (Фридрих Шлегель) // Логос. Международный ежегодник по философии культуры. 1910, кн. 1.

Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Т. 2. СПб.: София, 1992. — 198 с.

⁷⁰ Там же. С. 399.

ФЛОРЕНЦИЯ ВЛАДИМИРА ВЕЙДЛЕ

Флоренция — столица итальянской Тосканы, родина европейского Возрождения, сыграла значительную роль в истории русской философской и общественной мысли. Можно, к примеру, вспомнить, что именно здесь Петр Яковлевич Чаадаев в 1824–1825 гг. задумал свою оригинальную философско-историческую концепцию; Николай Александрович Бердяев написал знаменитый труд «Смысл творчества» (1911–1912), а И.А. Ильин — свою этапную работу «О сопротивлении злу силой» (1924–1925). Особое место заняла Флоренция в судьбе таких отечественных мыслителей, как Н.В. Станкевич, А.И. Герцен, Ф.М. Достоевский, Б.Н. Чичерин, М.А. Бакунин, В.В. Розанов, Л.П. Карсавин, Г.П. Федотов, Ф.А. Степун¹. Неповторимый отпечаток этот «умнейший в мире город» наложил на творчество Владимира Васильевича Вейдле (1895–1979) — русского культуролога и философа христианско-либерального направления, 120-летие со дня рождения которого отмечалось в марте 2015 г.

Свою первую поездку в Италию семнадцатилетний Владимир Вейдле совершил с матерью и школьным другом Шурой Куренковым весной 1912 г., после окончания немецкого реформатского училища в Петербурге и перед поступлением на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета. В своих мемуарах, написанных уже на закате жизни, умудренный В.В. Вейдле подробно описал это путешествие, предпослав соответствующей главе искренний и характерный заголовок: «Сто дней счастья или Моя первая Италия»². «Ничего более решающего для всего дальнейшего в жизни моей не было, — написал тогда Вейдле. — И никогда, за всю жизнь, не был я так безмятежно, длительно и невинно счастлив, как на ее заре в эти итальянские сто дней»³. И далее Вейдле сформулировал определяющую роль своей юношеской влюбленности в Италию (фактически, первых самоощущений некоей «итальянской идентичности»⁴) для

¹ См. подробнее: *Кара-Мурза А.А.* Знаменитые русские о Флоренции. М.: Изд-во «Независимая газета», 2001.

² *Вейдле В.* Воспоминания (вступит. ст., публ. и коммент. И. Доронченкова) // *Дiaspora II. Новые материалы.* СПб.: Феникс, 2001. С. 46–95.

³ Там же. С. 47.

⁴ В своих работах автор активно использовал понятие «локальная идентичность» по отношению к философам русского «Серебряного века» (см.: *Кара-Мурза А.А.* Бердяевская Москва. Опыт философского краеведения // *Философские науки.* 2014, № 4. С. 65–77; *Кара-Мурза А.А.* Москва Федора Степуна // *Философские науки.* 2014, № 8. С. 60–77). Понятие «флорентийская идентичность» было применено автором к исследованию творчества замечательного русского писателя-эмигранта Б.К. Зайцева (см.: *Кара-Мурза А.А.* Данте и Пушкин (Флорентийско-московские размышления Б.К. Зайцева) // *Россия, история и политика: к 80-летию И.К. Пантина.* М., 2010. С. 113–154).

всей последующей жизни: «Первая она была и основная, воспитательница всех любовей, узанных мною позже, и которых без нее не узнал бы я, быть может, никогда — к странам, провинциям, городам, к очеловеченной природе, к воплощенной в очеловечении этом истории. Эрос такого рода захирел и выветривается теперь, но многим был свойствен в прошлом веке и в начале нашего века. Ему научила меня Италия. Если б я ее на пороге юности не встретил, *не стал бы я тем, кем я стал* (курсив мой. — А. К.)»⁵.

Планируя весеннее путешествие 1912 г., семья Вейдле обстоятельно продумала маршрут (многое, судя по всему, было подсказано оставшимся в Петербурге отцом — состоятельным предпринимателем и «почетным гражданином» Вильгельмом Вейдле⁶): решено было ехать сразу, без особых остановок, на итальянский юг, а уже затем, по мере наступления весны, «подниматься» на север. Так, в марте путешественники осмотрели побережье Неаполитанского залива, были в Помпеях, на Везувии, съездили на остров Капри, совершили редкую по тем временам поездку к греческим храмам в Пестуме. Затем прожили почти весь апрель в Риме, посетили умбрийские городки Орвьето, Перуджу и Ассизи, а в начале мая достигли, наконец, Тосканы, поселившись во Флоренции в частном пансионе Бенуа на набережной Серристри на левом берегу реки Арно, рядом с Piazza Demidoff, связанной с многолетней историей пребывания во Флоренции русской семьи уральских промышленников и меценатов Демидовых⁷.

Вейдле позднее вспоминал их пансион на Lungarno Serristori (его через несколько лет снесли при расчистке квартала): «Историческая Флоренция возле нас кончалась, но мы как раз еще оставались в ней. Трехэтажный наш дом не старинный был, но старенький: во Флоренции чуть ли не до семидесятых годов прошлого (т.е. XIX-го. — А.К.) века продолжали строить дома безо всякого удобства и к тому же очень флорентийские»⁸. За домом начиналась улочка, почти тропинка (ею любил ходить еще великий Данте Алигьери), по которой можно кратчайшим путем дойти до высившегося на холме старого монастыря Сан-Миниато, откуда открывается захватывающий вид на Флоренцию. Эта панорама, многократно описанная в том числе и русскими путешественниками, на всю жизнь отпечаталась в сознании Владимира Вейдле: «Гляди и гляди, никогда не устанешь глядеть: вся Флоренция перед тобой, и от одних

⁵ Вейдле В. Воспоминания // Диаспора II. С. 49. Аналогичные признания в определяющей роли раннего узнавания Италии в своей дальнейшей судьбе сделаны Борисом Чичериным, Павлом Милюковым, Борисом Зайцевым, Михаилом Осоргиным и многими другими знаменитыми русскими.

⁶ Отец Вейдле переименовал немецкое имя «Вильгельм» на русское «Василий» с началом первой мировой войны.

⁷ Подробнее о роли семьи Демидовых в истории Флоренции см.: Кара-Мурза А.А. Демидовы // Знаменитые русские о Флоренции. М., 2001. С. 27–38.

⁸ Вейдле В. Воспоминания // Диаспора II. С. 69–70.

ее черепичных крыш, от изгиба реки, от единственной в мире, над Фьезоле, линии холмов — будет тебе хорошо, так хорошо, что и немножечко грустно»⁹. И далее в мемуарах следует пассаж о сравнении «идеи Флоренции» и «идеи Рима», не раз варьировавшийся затем в историософских и искусствоведческих сочинениях Вейдле. «Смерть родилась в Риме», — цитирует Вейдле Шатобриана. — Надо в Риме умереть, чтобы не пришлось ей гнаться за тобой из Рима. А Флоренцию надо увидеть молодым, потому что нет моложе ее города на свете (курсив мой. — А.К.). Самым большим счастьем путешествия нашего считаю, что увидел я ее, полюбил, к сердцу прижал в семнадцать лет. И что весна тогда была — май, оттого, что город этот поистине весенний»¹⁰.

Спустя несколько десятилетий, В.В. Вейдле вернулся к этой теме в специальном «флорентийском очерке»: «Надо видеть Флоренцию в ранней юности, да и не понять ее, пожалуй, никогда, если не взглянуть на нее юношескими глазами. Так много в ней навсегда исчезло, кончилось, прошло, но и самую смерть нельзя помыслить тут старухой. Если и встретишь ее, бродя среди жизнерадостно-многоглаголющих могильных плит, то не в образе скелета с разящею косою, а в виде отрока, опрокинувшего факел, — такой, как после греков, в первые века христианства видели ее: знамением, преддверием бессмертия»¹¹.

Удивительно, но в начале все того же, 1912-го года, на противоположном берегу Арно, в небольшом пансионе «Луккези»¹², Н.А. Бердяев, уже вступивший в пору философской зрелости, писал свой «Смысл творчества», тоже навеянный пребыванием во Флоренции. Пафос этой книги¹³ во многом совпадает с ощущениями семнадцатилетнего Вейдле, развитыми затем в специальных работах по философии культуры и искусствознанию: «В истории искусства Флоренция всего решительней начинает италийское обновление его и новшества эти обосновывает всего глубже. Перестраивает все искусства, стиль, единящий их, строит на века вперед — уже трудами Джотто и Арнольфо. И совсем бесповоротно, через сто лет, соединенными силами Бруннелески, Донателло и Мазаччо. Новую землю рождает и новые небеса — гораздо более прежних похожие на землю»¹⁴. И точно так же, как почти сорокалетний Бердяев, юноша Вейдле делает однозначный выбор между уже

⁹ Там же. С. 70.

¹⁰ Там же.

¹¹ Вейдле В. Месяц мертвых. // Вейдле В. Вечерний день. Отклики и очерки на западные темы. Нью-Йорк, 1952. С. 58. Флорентийское кладбище рядом с церковью Сан-Миниато Вейдле любил называть «самым несмертельным кладбищем на свете» (Вейдле В. Воспоминания // Диаспора II. С. 72).

¹² В наши дни бывший пансион «Lucezi», где в 1911–1912 гг. жили Бердяев с женой Л.Ю. Трушевой и ее сестрой Е.Ю. Рапп, превращен в дорогой отель «Plaza Lucezi».

¹³ Подробнее см.: Кара-Мурза А.А. Николай Александрович Бердяев и Евгения Казимировна Герцкы // Знаменитые русские о Флоренции. М., 2001. С. 205–219.

¹⁴ Вейдле В. Воспоминания // Диаспора II. С. 70.

виденным им Римом и Флоренцией — в пользу последней: «Юности нетрудно понять юность. Я Рим забыл (до поры до времени забыл). Я изменил ему, влюбившись во Флоренцию»¹⁵. Спустя многие годы, уже немолодой В.В. Вейдле писал о Флоренции: «Стоит мне подумать о ней, пусть даже и теперь, — и я молодую. Всем дерзостям сочувствую, разрыв с преданием хвалю...»¹⁶

Тогда, в мае 1912 г., юному Владимиру Вейдле очень повезло: опеку над ним в узнавании Флоренции взял Николай Петрович Оттокар, талантливый ученик петербургского медиевиста Ивана Михайловича Гревса (у которого позднее будет учиться сам Вейдле), тоже выходец из русско-немецкой семьи, командированный Петербургским университетом во Флоренцию для написания диссертации¹⁷. Вейдле так описывает двадцативосьмилетнего тогда Оттокара: «Темные волосы, небольшие усы. Матовое белое лицо, порой розовевшее очень нежно. Прекрасные глаза, лоб, также и руки... Похож в целом больше на итальянца, чем на русского»¹⁸.

Н.П. Оттокар в 1912 г. жил вместе с матерью Цецилией Яковлевной на другой стороне Арно, на Lungarno delle Grazie, прямо напротив пансиона Бенуа¹⁹.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Там же.

¹⁷ Н.П. Оттокар (1884–1957) стал в России профессором Санкт-Петербургского, а затем Пермского университетов. Впоследствии, живя во Флоренции и написав несколько книг по флорентийской истории (и перейдя из лютеранства в католичество), Оттокар стал профессором Флорентийского университета и «почетным гражданином» города; похоронен на флорентийском кладбище «Аллори». В.В. Вейдле посвятил старшему другу, открывшему для него Флоренцию в 1912 г., несколько публикаций. См.: *Вейдле В. Почетный гражданин Флоренции (Н.П. Оттокар) // Новое русское слово. Нью-Йорк, 17 июля 1971 г.; Вейдле В. В. О тех, кого уже нет (Воспоминания. Мысли о литературе) // Новый журнал, 1993, № 192–193. С. 421–424.*

¹⁸ *Вейдле В. Воспоминания // Диаспора II. С. 75.* Другой ученик И.М. Гревса, будущий известный историк и краевед Н.П. Анциферов, встречавшийся с Оттокаром в Италии примерно в это же время, рисует такой портрет: «На вокзале нас встретил Оттокар. Я не ожидал таким увидеть ученика профессора Гревса. Он был одет “с иголки”. Великолепная панاما, серый костюм со всеми складочками (словно его только что утюжили заботливые руки), галстук бабочкой, сверкающие туфли — могли заменить зеркало. На руках необыкновенного цвета перчатки (помнится, сиреневого). Гладко выбритый, крепкий подбородок, черные холеные усики, несколько оттопыренные губы (зубы слегка выдавались) и глубоко сидевшие, яркие, блестящие глаза... В тот же вечер Н.П. Оттокар прочел нам свою первую лекцию по истории Флоренции, о жестокой борьбе с соседями, о бурной борьбе ее сословий. И Оттокар покорила меня» (*Анциферов Н.П. Из дум о былом. Воспоминания. М.: Феникс, 1992. С. 290–291.*)

¹⁹ Вообще, те месяцы во Флоренции были особо богатыми на посещение «города цветов» русскими путешественниками, прославившимися в отечественной культуре. В 1911–1912 гг., например, во Флоренции в очередной раз жил с семьей (на Via Tripoli, совсем рядом с Оттокаром) и работал в местных библиотеках еще один ученик Гревса — Лев Платонович Карсавин (см.: *Кара-Мурза А.А. Лев Платонович Карсавин // Знаменитые русские о Флоренции. М., 2001. С. 147–152.* К слову сказать, спустя год после юного Вейдле, весной 1913 г., Флоренцию посетили и мои родные дед и бабушка — присяжный поверенный Сергей Георгиевич Кара-Мурза и его жена, дочь московского купца второй гильдии Мария Алексеевна, урожденная Головкина. Они жили в отеле «Milano» (на правом берегу Арно), известном посещением многих знаменитостей, в т.ч. П.И. Чайковским.

Вейдле позднее вспоминал: «Я не считал возможным много времени у него отнимать, но сговорено было, что, когда он захочет нас увидеть, он вывесит с утра полотенце на подоконнике своей комнаты, а мы, в знак согласия, ответим тем же, после чего в два часа зайдем за ним и он хоть часок погуляет с нами по городу. В последнюю неделю вывешивал он полотенце каждый день, да и у нас в пансионе бывал, обедал со своей милой матерью и со всеми нами... Увижу ли еще раз Флоренцию, не знаю. Но когда вижу ее, во сне или в мечте, все того полотенца ищу, на Лунгарно делле Грации»²⁰.

В своих многочисленных характеристиках Флоренции В.В. Вейдле чаще всего употребляет две — «умная» и «строгая»: «Твердый стержень Флоренция сама дарует любой не слишком растрепанной душе. Дарует, прежде всего, четким обликом своим — привольным, живым, но всегда этой четкостью обузданным... Поглядим еще раз, с холма Сан-Миниато, на черепичные крыши умнейшего в мире города. Как девически изящны и стройны колокольни Бадии и Санта Мария Новелла!»²¹

Видел Владимир Вейдле города (а также отдельные шедевры искусства) и по красивее, и по наряднее, но сердце его всегда оставалось со «скромной» Флоренцией²²: «Палаццо Публико Съены гостеприимней, краше и веселей; Палаццо Веккио флорентийской синьории внушительней, собранней и строже... Среди всех великих живописцев Джотто и Мазаччо наименее нарядны, и Микельанджело презрению ко всякому “реквизиту” учился именно у них... Изю всех великих зодчих послеготической Европы Брунеллески (автор флорентийского собора Санта-Мария дель Фьоре — А. К.) наименее велеречив... Почтению учит нас ребрастый купол Брунеллески, самый боевой, в своем крутом подъеме, среди всех на свете куполов»²³.

Отпущенный для осмотра Флоренции май месяц 1912 г. пролетел очень быстро: «Месяц для Флоренции — только-только... Остальное увижу — мечталось мне, — когда вернусь во Флоренцию через два-три года. Ни на миг мне в голову не приходило, что приеду я сюда — в гости к Николаю Петровичу — из Парижа через двадцать лет»²⁴.

А тогда, в 1912 г., ободренный поддержкой Оттокара, Владимир Вейдле поступил на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, где учился в том числе у крупнейших итальянистов И.М. Гревса и Д.В. Айналова. После большевистской революции Вейдле — профессор

²⁰ Вейдле В. Воспоминания // Диаспора II. С. 76–77.

²¹ Там же. С. 72.

²² Возможно, именно это имел в виллу Д.С. Мережковский, когда писал: «Я ни о чем думать не могу, как о Флоренции... Она — серая, темная и очень простая, и необходимая. Венеция могла бы и не быть. А что с нами было бы, если бы не было Флоренции!»

²³ Вейдле В. Воспоминания // Диаспора II. С. 72.

²⁴ Там же. С. 77.

Пермского университета, где он преподавал вместе с Н.П. Оттокар — деканом местного истфака, а затем и ректором университета. В длинных пермских разговорах с другом речь не раз заходила о далекой Италии: «Поговорим с Николаем Петровичем о Флоренции и осоловеем немного от этого разговора, а потом опомнимся: она ведь за тридевять земель. Попадем ли мы еще туда? Верим, верим, или, по русской формуле, с резиньязией, “будем верить”, что попадем. Будем верить. Не останемся же на всю жизнь без нее!»²⁵

В 1922 г. Н.П. Оттокар получил, наконец, командировку во Флоренцию через А.В. Луначарского и уехал в Италию навсегда. В 1924 г. В.В. Вейдле эмигрировал во Францию, где прожил до конца жизни. Осенью 1932 г. ему, профессору истории христианского искусства парижского Богословского института, удалось приехать из эмигрантского Парижа в любимую Флоренцию (увы, муссолиниевскую) — впервые после 1912 г. После второй мировой войны Вейдле, живя в основном в Париже, преподавал историю христианского искусства в Европейском колледже в Брюгге, университетах Мюнхена, Принстона, Нью-Йорка.

Неоднократно бывал он и во Флоренции — например в сентябре 1967 г. на торжественных празднествах в честь 700-летия Джотто²⁶. И всякий раз, приезжая во Флоренцию, Вейдле соблюдал один и тот же ритуал: шел в церковь Санта-Мария Новелла или в капеллу Бранкаччи при церкви Санта-Мария дель Кармине смотреть фрески великого Мазаччо: «А Мазаччо? Какой высший образ Богочеловека сумел он увидеть и явить в капелле Бранкаччи! Но фундаментальней, быть может, для обновления религиозного воображения, неразрывного с обновлением искусства, надгробная фреска его же в Санта Мария Новелла — Распятие с Марией, Иоанном и молящимися мужем и женой у подножия креста; Распятие и одновременно Троица: голубь, летящий к терновому венцу, и во весь рост Отец в глубокой сводчатой нише, держащий в руках поперечную доску креста, на которой распят Распятый. Фреску эту за последнюю четверть века никогда не забывал я благоговейно навещать, в начале и в конце каждой новой встречи моей с Флоренцией»²⁷.

Наблюдая толпы туристов в городах Италии, Вейдле полагал это «итальянское паломничество» и естественным, и благотворным. Поэтому он

²⁵ Вейдле В. Воспоминания. Часть вторая. (Публ. и коммент. И. Доронченкова) // Диаспора III. Новые материалы. СПб.: Феникс, 2003. С. 30. В феврале 2005 г. на историческом факультете Пермского университета, по инициативе Фонда «Русское либеральное наследие», открыта мемориальная доска В.В. Вейдле.

²⁶ См. доклад В.В. Вейдле на Международном конгрессе во Флоренции 29 сентября 1967 г. «Джотто и Византия» (*Weidle W. Giotto et Byzance // Giotto e il suo tempo*. Б.м., 1971. P. 197–219). Джотто всегда был объектом особого почитания В.В. Вейдле. Известно его выражение: «Перед Мадонною Джотто (в галерее Уффици. — А.К.) вполне возможно пропеть “Достойно есть, яко воистину”, став на колени».

²⁷ Вейдле В. Воспоминания // Диаспора II. С. 71.

был уверен, что и традиция русских путешествий в Италию — это ни много ни мало «залог европейского бытия России (курсив мой.— А. К.), ибо нет в Европе страны, где не было бы собственной вереницы итальянских путешествий и своего, одной этой стране присущего вида любви к Италии»²⁸.

Поразительный факт: приближаясь к своему семидесятилетию, Владимир Васильевич Вейдле, в юности писавший неплохие стихи в духе акмеизма, а потом на полвека бросивший это занятие, вдруг снова ощутил в себе поэтический дар. Излишне добавлять, что произошло это во время одной из очередных поездок в любимую Италию.

Италия как «вторая родина» русской души — излюбленная русская тема: от Николая Гоголя до Иосифа Бродского. В конце своей жизни Владимир Вейдле полагал, что сердце настоящего русского и после земной кончины останется в Италии:

*Да и биться зачем ему? Незачем.
Заслужило оно благодать
Под крыльцом у цирюльника Чезаре
Розовым камнем спать...*

Литература

- Анциферов Н.П. Из дум о былом. Воспоминания. М.: Феникс, 1992.
- Вейдле В. Воспоминания. Часть первая. (Вступит. ст. публ. и коммент. И. Доронченкова) // Диаспора II. Новые материалы. СПб.: Феникс, 2001.
- Вейдле В. Воспоминания. Часть вторая. (Публ. и коммент. И. Доронченкова) // Диаспора III. Новые материалы. СПб.: Феникс, 2003.
- Вейдле В. Месяц мертвых. // Вейдле В. Вечерний день. Отклики и очерки на западные темы. Нью-Йорк, 1952.
- Вейдле В.В. О тех, кого уже нет (Воспоминания. Мысли о литературе) // Новый журнал, 1993, № 192–193. С. 421–424.
- Вейдле В. Почетный гражданин Флоренции (Н.П. Отгокар) // Новое русское слово. Нью-Йорк, 17 июля 1971 г.
- Вейдле В. Притяжение Италии // Вейдле В.В. Вечерний день. Отклики и очерки на западные темы. Нью-Йорк, 1952.
- Кара-Мурза А.А. Бердяевская Москва. Опыт философского краеведения // Философские науки. 2014, № 4. С. 65–77.
- Кара-Мурза А.А. Данте и Пушкин (Флорентийско-московские размышления Б.К. Зайцева) // Россия, история и политика: к 80-летию И.К. Пантина. М., 2010. С. 113–154.
- Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Флоренции. М.: Изд-во «Независимая газета», 2001.— 352 с.
- Кара-Мурза А.А. Москва Федора Степуна // Философские науки, 2014, № 8. С. 60–77.
- Weidle W. Giotto et Byzance // Giotto e il suo tempo. Б.м., 1971. P. 197–219.

²⁸ Вейдле В. Притяжение Италии // Вейдле В.В. Вечерний день. Отклики и очерки на западные темы. Нью-Йорк, 1952. С. 37.

ПРИМЕЧАНИЯ

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. Наброски автобиографии

О нашем поколении

Первая публикация: Философские поколения (сост. и отв. ред. Ю.В. Синеокая). М.: Издательский дом «ЯСК», 2022. С. 657–670.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. Вопросы методологии

Между философской критикой и идеологической апологетикой
(об уровнях бытования человеческих идей)

Первая публикация: Вопросы философии, 2023, № 2. С. 10–14.

Философия в России и русская философская публицистика

Первая публикация: Философский журнал, 2023, т. 16, № 3. С. 17–23.

Некоторые вопросы генезиса и типологии русского либерализма

Первая публикация: История философии, 2016, т. 21, № 2. С. 69–76.

Испытание философией. Философия в императорской России перед «Великими реформами» 1860-х гг.

Первая публикация: Вопросы философии, 2022, № 7. С. 39–47.

Как идеи превращаются в идеологии: российский контекст

Первая публикация: Философский журнал, 2012, т. 9, № 2. С. 27–44.

Статья написана на основе доклада на научном семинаре Института философии РАН «Философия в публичном пространстве» 5 июня 2012 г.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. Россия в поисках цивилизационной идентичности

История цивилизации в России: органическое развитие *versus* социальный конструктивизм

Первая публикация: Вопросы философии, 2021, № 7. С. 17–26.

Российский путь цивилизационного развития:

«преемственность через катастрофы» (памяти В.М. Межуева)

Первая публикация: Полилог, 2020, т. 4, № 3 [Электронный ресурс].

У истоков «русского северянства»: споры о Ломоносове

(конец XVIII — начало XIX вв.: Муравьев, Карамзин, Батюшков)

Первая публикация: Полилог, 2022, т. 6, № 1 [Электронный ресурс].

У истоков «русского северянства»: споры о Ломоносове (первая треть XIX в.:

Мерзляков, Грибоедов, Бестужев-Марлинский)

Первая публикация: Полилог, 2022, т. 6, № 2 [Электронный ресурс].

Россия как «Север». Метаморфозы национальной идентичности в XVIII–XIX вв.: Г.Р. Державин

Первая публикация: Философские науки, 2017, № 8. С. 121–134.

Улыбышев и Пушкин о «дурном синтезе цивилизаций» («Азиопа» в свете «Зеленой лампы», 1819–1820)

Первая публикация: Полилог, 2020, т. 4, № 4 [Электронный ресурс].

«Всемирная отзывчивость» или «русский европеизм»? (Владимир Вейдле о творчестве Пушкина)

Первая публикация: Полилог, 2018, т. 2, № 1 [Электронный ресурс].

«Русское северянство» князей Вяземских (к вопросу о национальной идентичности)

Первая публикация: Вопросы философии, 2018, № 3. С. 7–13.

«Русское северянство» Николая Тургенева (молодые годы)

Первая публикация: Полилог, 2020, т. 4, № 1 [Электронный ресурс].

«Северная» идентичность России как предмет цивилизационной самокритики (от Петра Чаадаева до Василия Шульгина)

Первая публикация: Философский журнал, 2022, т. 15, № 2. С. 5–16.

Лев Карсавин о религиозном смысле большевизма и русской революции

Первая публикация: Полилог, 2023, т. 7, № 1 [Электронный ресурс].

Восточная теократия на севере Евразии: «пути России» в историософии И.И. Бунакова-Фондаминского

Первая публикация: Философский журнал, 2021, т. 14, № 2. С. 5–20.

Поэт-философ Иван Ореус-Коневской — культовая фигура «русского северянства» Серебряного века

Первая публикация: Человек, 2020, т. 31, № 3. С. 155–172.

Россия как «Север»: проблемы цивилизационной идентичности в философии Бориса Пастернака (к 130-летию со дня рождения)

Первая публикация: Философский журнал, 2020, т. 13, № 2. С. 5–18.

Цивилизационная оппозиция «Север — Юг» в философско-литературном творчестве Осипа Мандельштама

Первая публикация: Философские науки, 2021, т. 64, № 2. С. 21–36.

Проблема «Россия и Европа» в эмигрантских трудах В.В. Вейдле

Первая публикация: Философский журнал, 2018, т. 10, № 4. С. 139–152.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. Философия истории

Русские посланцы Петра I у мощей св. Николая в Бар-граде

Первая публикация: Барградский сборник. № 1 (под ред. М.Г. Талалая). М.: Индрик, 2019. С. 45–68.

Загадка «Великой особы». Европейские странствия князя Петра Алексеевича Голицына (1697–1699 гг.)

Первая публикация: Человек, 2023, № 5. С. 70–82.

Карамзин, Шаден и Геллерт. К истокам либерально-консервативного дискурса
Н.М. Карамзина

Первая публикация: Филология: научные исследования, 2016, № 1 (21). С. 101–106.

«Политическая свобода» versus «свобода от политики»: европейские странствия
Карамзина как прототип русских поисков общественного идеала

Первая публикация: История философии, 2021, т. 26, № 2. С. 114–126.

Поэма «Медный всадник» А.С. Пушкина: политико-философские проекции

Первая публикация: Философский журнал, 2016, т. 9, № 2. С. 54–65.

Герцен в доме князей Голицыных на Волхонке. Следствие и суд по делу «О лицах,
певших в Москве пасквильные песни» (1834–1835 гг.)

Первая публикация: Александр Иванович Герцен и исторические судьбы России (под
ред. А.А. Гусейнова, А.А. Кара-Мурзы, А.Ф. Яковлевой). М.: Канон+, 2012. С. 10–23.

Статья написана на основе доклада на Международной научной конференции
к 200-летию А.И. Герцена (Институт философии РАН, 20 июня 2012 г.).

И.С. Тургенев как политический мыслитель

Первая публикация: Полилог, 2018, т. 2, № 3 [Электронный ресурс].

Статья написана на основе доклада на Международной научной конференции:

«Иван Сергеевич Тургенев: философствующий писатель и политический философ.

К 200-летию со дня рождения» (Институт философии РАН, 15 ноября 2018 г.).

П.Б. Струве и развитие им концепции «личной годности»

Первая публикация: Петр Бернгардович Струве (под ред. О.А. Жуковой, В.К. Кантора).
М.: РОССПЭН, 2012. С. 130–170.

Критика революционного сознания в работах Семена Людвиговича Франка
(к 140-летию со дня рождения)

Первая публикация: Философский журнал, 2017, т. 10, № 4. С. 41–58.

Проблема свободы в интеллектуальном творчестве Г.П. Федотова

Первая публикация: Философские науки, 2015, № 4. С. 27–36.

«История» и «исторический случай» в социальной концепции русского большевизма
В.И. Талина

Первая публикация: Вопросы философии, 2017, № 4. С. 112–115.

Василий Алексеевич Маклаков — один из основателей «политической
альтернативистики»

Первая публикация: Полилог, 2019, т. 3, № 2 [Электронный ресурс].

Статья написана на основе доклада на Научном симпозиуме «Развилки русской истории
начала XX века: к истокам “политической альтернативистики”» (Институт философии
РАН, 21 мая 2019 г.).

«Вождистская» субкультура в России в поисках исторических альтернатив
(В.В. Шульгин)

Первая публикация: Философские науки, 2019, т. 62, № 4. С. 7–24.

«Культура» против «политики» (историософские размышления Бориса Зайцева)

Первая публикация: Полилог, 2017, т. 1, № 1 [Электронный ресурс].

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.
Философское краеведение

Швейцарские странствия Николая Карамзина (1789–1790)
Первая публикация: Издательство «Аквилон», 2016. — 110 с.

Итальянское путешествие Петра Чаадаева (1824–1825)
Первая публикация: Издательство «Аквилон», 2019. — 112 с.

Перерождение души: Иван Тургенев в Риме в 1840 г.
Первая публикация: Spiritual Rebirth: Ivan Turgenev's 1840 Trip to Rome // Russian Studies in Philosophy, 2018, vol. 56, № 5. P. 434–443 (на англ. яз.).

Холодный март 1857-го года (о короткой поездке Ивана Тургенева и Льва Толстого в Дижон весной 1857 г.)
Первая публикация: Русская литература и философия: пути взаимодействия (под ред. Е.А. Тахо-Годи). М.: Водолей, 2018. С. 140–153.

Сорренто Владимира Соловьева (1876)
Первая публикация: Издательство «Аквилон», 2020. — 110 с.

Чехов и Данте (К истории итальянских путешествий А.П. Чехова)
Первая публикация: Проблемы российского самосознания: мировоззрение А.П. Чехова (под ред. С.А. Никольского). М.: Институт философии РАН, 2011. С. 163–172.
Статья написана на основе доклада на 7-й Всероссийской конференции «Проблемы российского самосознания» (Институт философии РАН, 12 октября 2010 г.)

Венеция Леонида Пастернака (1904)
Первая публикация: Философские науки, 2020, т. 63, № 7. С. 96–108.

Остров Капри Ивана Бунина
Первая публикация: Философские науки, 2020, т. 63, № 6. С. 110–132.

Бердяевская Москва
Первая публикация: Философские науки, 2014, № 4. С. 65–77.

Москва «до» и «после» Революции: социология родного города в сочинениях Федора Степуна
Первая публикация: Социологическое обозрение, 2018, т. 17, № 2. С. 262–283.

Флоренция В.В. Вейдле
Первая публикация: Философские науки, 2015, № 7. С. 45–52.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Кара-Мурза Алексей Алексеевич — доктор философских наук (1994), кандидат исторических наук (1981), профессор (2013). С 1981 г. работает в Институте философии Российской Академии наук. В настоящее время — главный научный сотрудник, руководитель Сектора философии российской истории ИФ РАН; Председатель Секции социальной и политической философии Ученого совета ИФ РАН; Председатель Диссертационного совета по политическим наукам ИФ РАН. Заведующий кафедрой прикладной политологии факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН).

Известный специалист в области истории русской философской и политической мысли. Награжден государственными и ведомственными наградами: медалью «За трудовое отличие» (1986); медалью Института философии РАН «За вклад в развитие философии» (2016); медалью Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «За вклад в реализацию государственной политики в области научно-технологического развития» (2021).

Со-председатель Международной «Ассоциации друзей Амальфи» (АДА); Президент Московского «Флорентийского общества». Обладатель Международной премии «Amalfi People's Bridge» (Амальфи, 2012) — за большой вклад в развитие русско-итальянских культурных связей.

Автор более 250 научных публикаций. Среди них монографии:

- Реформатор. Русские о Петре Великом. (Опыт аналитической антологии), М.–Иваново: Фора, 1994 (в соавт. с Л.В. Поляковым);
- «Новое варварство» как проблема российской цивилизации. М.: ИФ РАН, 1995;
- Россия в треугольнике «этнократия — империя — нация». М.: Аргус, 1995;
- Между Евразией и Азией. М.: Аргус, 1995;
- Между Империей и Смутой. М.: ИФ РАН, 1996;
- Большевизм и коммунизм: интерпретации в русской культуре. М.: ИФ РАН, 1996;
- Как возможна Россия? М.: ИФ РАН, 1999;
- Русские о большевизме. (Опыт аналитической антологии). СПб.: РХГИ, 1999 (в соавт. с Л.В. Поляковым);
- Знаменитые русские о Риме. М.: Независимая газета, 2001;
- Знаменитые русские о Венеции. М.: Независимая газета, 2001;
- Знаменитые русские о Флоренции. М.: Независимая газета, 2001;

- Знаменитые русские о Неаполе. М.: Независимая газета, 2002;
- Roma russa (итал. яз.). Roma: Sandro Teti editore, 2005;
- Venezia russa (итал. яз.). Roma: Sandro Teti editore, 2005;
- Firenze russa (итал. яз.). Roma: Sandro Teti editore, 2005;
- Napoli russa (итал. яз.). Roma: Sandro Teti editore, 2005;
- Интеллектуальные портреты. Очерки о русских политических мыслителях XIX–XX вв. М.: ИФ РАН, 2006;
- Первый советолог русской эмиграции: Семен Осипович Португейс (1870–1944). М.: Генезис, 2006;
- Из истории либерализма в Красноярском крае: В.А. Караулов, С.В. Востротин. М.–Красноярск: Премьер-пресс, 2007;
- Крестный путь русского врача и политика. Иван Павлович Алексинский (1871–1945). М.: Генезис, 2009;
- Свобода и порядок. Из истории русской политической мысли XIX–XX вв. М.: Московская школа политических исследований, 2009;
- Интеллектуальные портреты. Очерки о русских мыслителях XIX–XX вв. Вып. 2. М.: ИФ РАН, 2009;
- Свобода и Вера. Христианский либерализм в российской политической культуре. М.: ИФ РАН, 2011 (в соавт. с О.А. Жуковой);
- Знаменитые русские в Амальфи. М.: Альтекс, 2012;
- Знаменитые русский в Генуе. М.: Альтекс, 2013;
- Знаменитые русские о Риме. М.: Изд-во Ольги Морозовой, 2014;
- Интеллектуальные портреты. Очерки о русских мыслителях XIX–XX вв. Вып. 3. М.: ИФ РАН, 2014;
- I Russi ad Amalfi. Suggestioni mediterranee e storie di vita (итал. яз.). Amalfi: Centro di Cultura e Storia Amalfitana, 2015 (в соавт. с О.А. Жуковой и М.Г. Талалаем);
- Знаменитые русские о Неаполе. М.: Изд-во Ольги Морозовой, 2016;
- Знаменитые русские о Флоренции. М.: Изд-во Ольги Морозовой, 2016;
- Очарование красоты: Амальфи в русской культуре. М.: Старая Басманная, 2016 (в соавт. с О.А. Жуковой и М.Г. Талалаем);
- Швейцарские странствия Николая Карамзина (1789–1790). М.: Аквилон, 2016;
- Знаменитые русские о Венеции. М.: Изд-во Ольги Морозовой, 2019;
- Итальянское путешествие Петра Чаадаева (1824–1825). М.: Аквилон, 2019;
- Сорренто Владимира Соловьева (1876). М.: Аквилон, 2020.

Научное издание

Алексей Алексеевич Кара-Мурза

**Избранные работы
по русской философии, политике и культуре**

Компьютерная верстка и оформление

Е.Д. Платонова

Выпускающий редактор

Т.В. Глазкова

Формат 70×100/16. Усл. печ. л. 45,5.

Подписано к печати 15.01.2024. Тираж 500 экз.

Заказ № 314

Отпечатано

Филиал «Чеховский Печатный Двор

АО «Первая Образцовая типография»

142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1

Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru, секр. тел 8(495)107-102-68*101